

В. В. Розанов

О писательстве и писателях



В. В. Розанов

Собрание
сочинений

В. В. Розанов

О писательстве и писателях

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
Издательство «Республика»
1995

ББК 83.3Р1

Р64

Составление,
подготовка текста
и комментарии
А. Н. Николюкина

*Издание выпущено в счет дотации,
выделенной Комитетом РФ по печати*

Розанов Василий Васильевич.

Р64 Собрание сочинений. О писательстве и писателях/Под
общ. ред. А. Н. Николюкина.— М.: Республика, 1995.— 734 с.
ISBN 5—250—2416—5

Очерки В. В. Розанова о писательстве и писателях впервые публикуются отдельной книгой. Речь в ней идет о творчестве многих отечественных и зарубежных писателей — Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Блока, Чехова, Мережковского, Гёте, Диккенса, Мопассана и других, а также писательском мастерстве русских философов — Леонтьева, Вл. Соловьева, Флоренского и других. В этих очерках Розанов последовательно проводит концепцию ценностного подхода к наследию писателей, анализирует прежде всего художественный вклад каждого из них в сокровищницу духовной культуры. Очерки отличаются присущим Розанову литературным блеском, поражают глубиной и свежестью мысли.

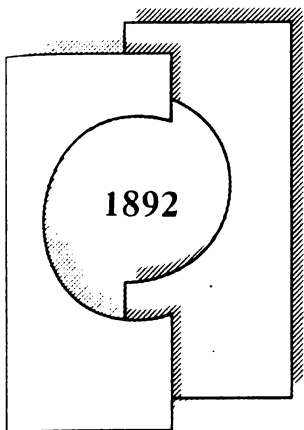
Книга адресована тем, кто интересуется литературой и философией.

Р 030108000—097
079(02)—95

ББК 83.3Р1

ISBN 5—250—2416—5

© Издательство «Республика», 1995



Эстетическое понимание истории

Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь или чьи-нибудь убедительные доводы доказали мне, что я заблуждаюсь.

К. Леонтьев

Все, привыкшие следить за литературной критикой, вероятно, с большим любопытством встретили ряд статей, помещенных в «Русском Вестнике» за истекший 1890 год и посвященных разбору двух главных романов гр. Толстого: «Войны и мира» и «Анны Карениной» *.

Имя, подписанное под этими статьями, не принадлежит к числу тех, которые утомили своим звуком слух, и даже для многих читателей, вовсе не равнодушных к литературе, оно, вероятно, показалось ново. Правда, кто привык толкаться, в качестве зрителя или действующего лица, по базару литературной суеты, мог припомнить это имя из «Биографии и писем» покойного Ф. М. Достоевского **. Но и это мелькнувшее, хоть и незабытое впечатление было как-то двусмысленно: в желчных строках Достоевского сказалась какая-то ненависть... Во всяком случае это впечатление было слишком кратко, чтобы пробудить в читателях ищущий интерес, а тот, к кому относились эти мимо-летные заметки, по-видимому, сам несколько не заботился о том, чтобы привлечь к себе внимание. Его имя не повторялось в газетах и журналах, и было естественно для каждого подумать, что он стоит в стороне от большой дороги, по которой движется развитие идей, владеющих сознанием нашего времени. Вне этого движения, из какого-то глухого угла, раздался и замолк голос, который тотчас же покрылся тысячею других голосов, правда, не очень внятных и вовсе не вызывающих в нас желания прислушиваться к ним, но шум которых, вопреки этому желанию, совершенно не дает возможности сосредоточиться на чем-нибудь, что им не вторит, с ними не совпадает.

Таким образом, повторяем, для очень широких слоев читающего общества имя К. Леонтьева год тому назад могло показаться новым. И тем сильнее и ярче становилось впечатление, которое производил ряд его критических статей, посвященных писателю, на котором так ясно лежит печать высшего избранничества. Как ни много об этом писателе передумано, каждый, кто хочет к сказанному прибавить еще слово,

* «Анализ, стиль и веяние. По поводу романов гр. Толстого». См. «Русский Вестник», 1890 г., июнь, июль, август.

** «Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского». СПб., 1883. Т. 1, отд. 2, стр. 369 («Из записной книжки»).

невольно возбуждает к себе теперь внимание всех. Все с таким напряжением следят за развитием его душевной истории. Усилия, которые делаются многими для того, чтобы набросить покров на эту историю, хотя исходят из высоких и чистых побуждений, производят невольное впечатление во всех, кто ясно понимает, где мы и куда идем. В них видно опасение за какую-то святыню, за что-то вековечное и незыблемое, что будто бы может пошатнуть этот человек, и не видно сознания, как в действительности далека от нас эта святыня, как давно и беспредельно отошли мы от всяких незыблемых основ. Мы не с ними, не на безопасном материке — мы, как и многие уже поколения, уносимся в мутном потоке все далее и далее, бессильные ухватиться за что-нибудь прочное своим колеблющимся сердцем и слабым умом. И если среди нас, одинаково чувствующих свою беду и одинаково бессильных бороться с нею, находится человек, который пытается это сделать, — мы должны бы этому только радоваться. Совсем не стремление к чему-нибудь дурному, но именно полное сознание невозможности для человека жить без какой-нибудь святыни, без вековечных основ в своей душе — заставляет нас с величайшим ожиданием смотреть на писателя, который из всех один как мощный конь бьет и обрывает берег, усиливаясь на него выйти.

В отношении к человеку такой силы и такого значения мы всегда ожидаем встретить критику подчиненную, — и, однако, достаточно было прочесть немного страниц в статье г. Леонтьева, чтобы понять, что здесь оцениваемая сила столкнулась с не меньшею оценивающею. Писатель, так мало известный, что мы могли бы его счесть молодым, в словах, несколько разбросанных и, однако, убедительных в каждом своем изгибе, входит в безграничный лабиринт художественного творчества нашего романиста и именно в том, в чем он казался нам всемогущим, *в искусстве созидания*, прямо указывает недостатки, которые ему больно видеть. Страстная любовь к избранному писателю сквозит через эти упреки, и мы почти не удивляемся, видя, как далее он приводит на память целые места из него, без особенной боязни ошибиться хоть в одном слове. Мы начинаем сомневаться только в молодости критика, мы угадываем в нем человека, который хоть впервые заговорил о романисте, о котором уже давно говорят все, кто может хоть что-нибудь сказать — однако, очевидно, сжился с миром его художественного творчества и, наконец, через много-много лет, как будто пресытившись им, теперь отрывается от красоты, так долго и безмолвно созерцаемой, и, отрываясь, высказывает, почему это он делает. Почти невозможно не согласиться с его взглядом на Толстого, как на последнего и высшего выразителя своеобразного цикла нашей литературы, после которого ей предстоит или повторяться и падать в пределах того же внешнего стиля и внутреннего настроения, или выходить на новые пути художественного творчества, искать сил к иным духовным созерцаниям, чем какие господствовали последние сорок лет, и находить иные приемы, чтобы их выразить.

И в самом деле, всех поражающее отсутствие новых дарований, уже давно замечаемое в этой сфере, есть верный симптом того, что мы живем в промежуточную эпоху среди двух литературных настроений, из которых одно уже замирает, а другое еще не имеет силы родиться. Редкое знакомство г. Леонтьева с литературами разных народов и при том в очень различные периоды их развития, без сомнения, помогло ему, выйдя из интересов и пристрастий своего дня, подняться над целым ее циклом и, поняв его отличительные черты, понять вместе и то, что в их пределах все возможное уже достигнуто, и нечего ожидать еще чего-нибудь лучшего. А по самой природе своей человеческий дух, раз в каком-нибудь направлении достигнув предела, за который ему не дано переступить, избирает новые направления, в которых он может двигаться, т. е. жить.

С большим мастерством, сравнивая два главных романа гр. Л. Толстого, г. Леонтьев находит художественные недостатки в «Воине и мире», которые в «Анне Карениной» окончательно исчезают. Таким образом, именно этот роман является окончательным и высшим выражением того направления нашей литературы, которое получило, не совсем правильно, название «натурального». Отражение человеческой жизни в нем становится действительно безупречным, и эта безупречность настолько велика, что изучение людей и их отношений в самой жизни или рассматривание всего этого в отражении зеркально чистого художественного произведения становится уже одинаково и равноценно. Это — действительно апогей натуралистического развития, достигнув которого, в тех же пределах, искусство уже не имеет более целей, теряет их. В частности эта безупречность достигнута тем, что и психический анализ, и скульптурность внешнего изображения в этом романе уже лишены и тех недостатков, которые еще есть в «Воине и мире» и которых было гораздо более в других, ранее написанных очерках и рассказах нашего романиста.

Понимание человеческой души есть необходимое условие для понимания человеческой жизни, и вот почему в цикле нашей литературы, имевшем задачей воспроизвести последнюю, первый занял центральное положение. Этот анализ, недостаточно проникающий у Гончарова, узкий в своем применении у Тургенева, искаженный и болезненный у Достоевского, только у гр. Л. Толстого вырос во всю полноту свою, двигаясь во всех направлениях, повсюду нормальный и достигающий везде той глубины, дальше которой для художника предстоит уже не изображение, но придумывание и фантазирование. Ему, как справедливо замечает г. Леонтьев, одинаково доступен внутренний мир мужчины и женщины *, человека, не вышедшего из первобытной наивности **

* В противоположность Достоевскому, который вовсе не знал и никогда не пытался изображать внутренние движения женщины; отсюда все женские характеры у него — бледные тени, которые действуют, но не живут, около изображаемых им мужских характеров. См., например, ряд женских фигур в «Идиоте».

** Сюда принадлежит, например, удивительный тип старика Алпатыча, с его поездкою в Смоленск (в «Воине и мире»).

и высокообразованного *, старика и ребенка **. В возрасте, в поле, в степени образования и в уклоне характеров разные писатели встречали грани, за которыми они видели лишь положения и движения,— и только для одного гр. Толстого как будто не существует этих граней, и каков бы ни был человек, где бы он ни находился и что бы ни делал — он был ему понятен с внутренней стороны своей жизни. В одном только, в национальности, он встречает некоторое препятствие для своего анализа, чрез которое не знаем, может ли, но очевидно не хочет *** переступить. Зато его анализ и хочет, и может переступать даже границы, положенные для человеческого понимания формами человеческой же психической жизни: он без труда, на некоторые моменты, спускается и в животный мир, с его чуть брезжущими зачатками душевных состояний (например, в сценах охоты).

В этом анализе, столь всеильном по сферам изображаемым, г. Леонтьев находит исчезающие недостатки в «Войне и мире», которые в «Анне Карениной» пропадают окончательно. Он справедливо указывает на излишество наблюдения, на придирчивость, на подозрительное подглядыванье, которое великий романист допускает в себе по отношению к выводимым у него лицам. Не только для читателя его произведений, но и для самого художника скульптурность и жизненность созданных им образов так велика, что они движутся, говорят и действуют, хотя, конечно, по воле творца своего, но и вместе как будто независимо от этой воли, и он следит за ними пытливым взглядом человека, который прежде всего хочет не доверять. Он ищет дурных и мелочных мотивов даже там, где они вовсе не необходимы. Критик правдоподобно указывает и вероятную причину этого: он посмотрел в душу художника, так скептически смотрящего на своих героев, и увидел, что он ищет в них того, чего боится в себе. Он ищет в них ложного величия, он опасается, как бы под каким-нибудь извне высоким поступком у них не оказалось пустого места внутри. От этого он любит их унижать, он хочет видеть их смешными даже и тогда, когда они хотят быть только серьезными. Странное следствие получается из этого: оборванные, общипанные своим творцом, перед нами выходят люди, как их Бог создал, и если мы все-таки находим в них иногда черты высокого и героического, то это уже героизм истинный, правдивый. Природа человеческая высока и прекрасна, хотя и не на тот манер, как обыкновенно про это думают — вот

* Психический мир этого последнего служит предметом постоянного анализа у Тургенева; напротив, механизм внутренних движений у людей непосредственных этому художнику недоступен.

** Сережа Каренин.

*** Судя по типам двух гувернеров, немца и француза, в «Детстве и отрочестве», скорее можно думать, что не хочет. По поводу психического анализа иноплеменных людей у гр. Толстого, вообще, можно заметить, что он *собирателен*, тогда как, касаясь русских, он *индивидуален*. В изображении французов или немцев мы не видим у него *лица*, но только племя, народ, представленный в собирательных чертах своих через одно лицо; напротив, в изображении русских это собирательное есть, но оно рассеяно, как и должно, по бесчисленным фигурам его произведений, совершенно теряясь, в каждой из них, за чертами личными.

окончательное и неизгладимое впечатление, которое ложится на душу размышляющего читателя после долгого и внимательного изучения произведений гр. Толстого.

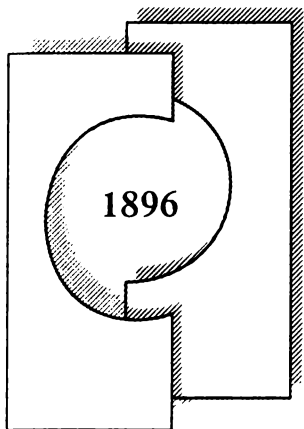
Психический анализ в «Анне Карениной» чужд этой нервной подозрительности. Как будто взгляд автора на человека окончательно установился, когда он писал этот роман, и все приемы в изображении людей приобрели здесь окончательную твердость и отчетливость, так что в движении художественной кисти нет уже ни одного пробного мазка. Он уже не высматривает здесь душу человека, он видит ее и говорит о том, что видит, но не описывает того, что подозревает в ней.

Не менее убедительно, подробными сравнениями, г. Леонтьев указывает и превосходство «Анны Карениной» над «Войною и миром» в изображении общего колорита представленной там и здесь эпохи. Всегда и всеми «Война и мир» считалась безупречным романом с точки зрения исторической верности. Анализ необыкновенной тонкости, которому подверг критик этот роман, открывает в нем, при всюду безупречной верности природе человека вообще, некоторые отклонения в верности тому, как могла выразиться эта природа в начале нашего века. Неточность, в которую впал здесь гр. Толстой, двоякая: общая, которая чувствуется во всем романе, и частная, которая выступает особенно резко при чтении некоторых сцен его. Все в России, за исключением государственного патриотизма, было «поплоше, послабее, побледнее» выражено в эпоху отечественной войны, нежели как это представил гр. Толстой. Люди того времени не имели такой сложности в своем душевном развитии, и в особенности они совершенно не умели так отчетливо и точно выражать свои душевные движения. Они отлично действовали и хорошо чувствовали, но впадали в неприменную запутанность языка и в неясность выражений, как только им приходилось говорить о чем-нибудь сложном, углубленном, не так очевидном. Рефлексия, вечное обращение внутрь себя еще не углубило в то время и не разрыхлило душу русского человека, и все мысли в нем были не так тягучи, а чувства имели у себя более простую и ясную основу в фактах внешней действительности. С несравненным пониманием и обильным знанием фактов г. Леонтьев отмечает последовательные психические наслоения, которые позднее сгустили краски нашей личной и общественной жизни. Так, он тонко указывает на первое пробуждение у нас сильного воображения, которое замечается в Гоголе. И гораздо раньше, чем он оканчивает свою осторожную аргументацию, читатель убеждается, как много мыслей и чувств, ставших возможными и обычными лишь впоследствии, гр. Толстой внес в изображение эпохи, совершенно чуждой им. Как на пример особенно поразительный, г. Леонтьев указывает на отношения Пьера Безухова к пленному солдату, Платону Каратаеву, и на все размышления первого о народном. Эти мысли и подобные отношения стали возможны лишь после славы Фюминых, после Достоевского, но никакого следа их мы не открываем

в воспоминаниях или в литературных произведениях за два первые десятилетия нашего века.

Третий недостаток, так же пропадающий в «Анне Карениной», есть излишество в «Войне и мире» ненужных натуралистических мазков. Г. Леонтьев не находит лишним введение каких бы то ни было грубых описаний или сцен, если они чем-нибудь служат, если их требует правда жизни. Так, грубое описание физиологических отправлений в «Смерти Ивана Ильича» не оскорбляет его вкус, как оно оскорбляло вкус многих критиков, во всех других отношениях менее взыскательных. Напротив, множество мимолетных замечаний, вовсе не грубых, в «Войне и мире» он справедливо признает ни для чего не служащими и видит в них только результат напряженного усилия художника всюду стоять как можно ближе к действительности. Эти излишества натурализма ничего не объясняют и не дополняют в ходе рассказа, а в искусстве, как и в органической природе, что не строго целесообразно, — то уже портит, что не нужно более — делается вредным.

Таков, всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже и отчуждающийся суд, который произносит г. Леонтьев над высшими произведениями нашей натуральной школы. Мельком рассеяны в его пространном разборе меткие характеристики и других наших писателей, напр. Достоевского, Тургенева, Щедрина, Кохановской, Евг. Тур, Марко-Вовчка и др. Немногие строки, посвященные им, так изумительно захватывают самую сердцевину этих писателей, что они все будут сохранены историей нашей литературы, если она захочет быть маломальски внимательной к своему предмету. Несколько более пространная вводная характеристика посвящена только С. Т. Аксакову. Как бледною и неумелою кажется рядом с нею краткая же характеристика этого писателя, оставленная нам Хомяковым. Этот последний был только мыслитель и публицист, а это всегда недостаточно, когда нам предстоит говорить о людях или об их истории.



Еще о гр. Л. Н. Толстом и его учении о несопротивлении злу

В обществе ходит (по крайней мере, в Петербурге) новое произведение гр. Л. Н. Толстого — письмо его к г. Кросби «My dear Crosby» * — это обращение, оставленное без перевода, служит как бы заглавием русского текста небольшой, страниц в 10

малого формата, статьи. Не только подпись автора и обозначение «1896 год», но также внутреннее содержание письма и особенно слог его не оставляют сомнения, что мы имеем в нем действительно позднейший труд гр. Толстого. Оно могло бы — за исключением, впрочем, немногих строк, почти только отдельных выражений — появиться в печати. Его язык — умерен, изложение — спокойно; в общем оно производит впечатление гораздо лучшее, нежели многие из последних писаний знаменитого моралиста.

I

Его тема — «непротивление» злу, разъяснения этого доказательства; Толстой отвергает здесь известный выставляемый ему пример: что стал бы он делать, видя разбойника, готового убить младенца? Он называет этот пример фантастическим и самое придумывание подобных примеров относит к нашей нравственной лености, которая, в нежелании исполнить Евангельское слово, укрывается за невозможные случаи. В общем нельзя не признать этот упрек справедливым; но, именно в общем же, чего он хочет? чего достигает?

«Любите друг друга», «будьте милосердны», «прошайте обиды» — кто этого не знает? Это — учение Церкви. Нужно *так* эти слова сказать, нужно иметь *силу*, нужно владеть *умением* так выговорить их, чтобы люди действительно, бросив дела свои, обратились каждый к делам милосердия, любви, прощения обид. Говорит ли так Толстой? бегут ли люди за ним, хотя бы так, как за Иоанном Кронштадтским, стекаются ли к нему с таким доверием, как стекались к о. Амвросию Оптинскому?

* «Мой дорогой Кросби» (англ.).

Нет. Он — литератор, *только* литератор. Он не пророк, он не священник. И в этом вся тайна. Мы слабы, дурны; мы знаем слово Божие и не исполняем его. Нужно, чтобы кто-нибудь расплавил кору порока около наших душ; чтобы кто-нибудь коснулся души нашей отяжелелой и окрылил ее к добру, которое *теоретически* она знает, практически немощна исполнить. В силу лежащего на них священства, *некоторых* и в *некоторой* степени окрыляли к этому добру Иоанн Кронштадтский и Амвросий Оптинский; никого не окрылил Толстой. Он увеличил массу разговоров на эти темы; вызвал множество печати, и без того чрезмерной; он произвел повторение и повторение теорий, которые, может быть, потому так и недействительны, что слишком обволоклись словами, в своем роде — отяжелели под изукрашающим словом и не умеют дойти до души. Во всяком случае, ни нового, ни значительного тут нет.

Но он говорит: «*не противься злему*»; никогда, ни в каком случае всякий да не противится» (письмо к г. Кросби). Действительно, тут есть новизна, но есть ли истина? Прежде всего, слова эти в Евангелии есть ли завет главный, универсальный, все собою покрывающий, на котором «висят писание и пророки», как это указано нам, в известных словах, относительно любви к Богу и любви к ближнему? Нет, Толстой понял как единственную почти для себя заповедь или, по крайней мере, как заповедь главную, как основу своему учению — слова совершенно простые, без особенного в них значения, кроме того, какое принадлежит всякому слову И. Христа. «Я же говорю вам: не противься злему» — ничего еще не значит, кроме увещания: при встрече с злым, сварливым человеком, с человеком неуступчивым, задорным — уступи ему, не раздражай своего сердца, не оспаривай его, и, в пределах возможного, не нарушая других верховных заветов, сделай даже вид, что ты с ним согласен. Но, Боже, неужели Спаситель хотел сказать, что — что бы вы ни увидели, какая бы мерзость перед вами ни происходила — вытянув покорно руки, пожалуй сложив эти руки пассивно, вы говорили бы в душе своей: «*не противлюсь злему* и есмь праведен». Какая клевета! какая клевета на самого Спасителя! И неужели, неужели, если бы Спаситель ставил это высочайшею заповедью, в Евангелии не было бы это оттенено, указано, как-нибудь выражено, как ясно выражено, точно оговорено верховенство заповедей о любви к Богу, о любви к ближнему.

Таким образом, что касается слов Спасителя, на которых Толстой пытается основать свое учение, он, без всякого на то указания в Евангелии, понял их усиленно, чрезмерно; он поработил все Евангелие одной строке в нем; он, вместо того, чтобы ясно и спокойно читать это Евангелие от начала и до конца, берет карандаши красный, зеленый, синий, и с усилием все новым и новым, с раздражением все большим и большим подчеркивает одну строку и, поднимая взор на людей, гневно спрашивает: «видите ли?» — Да, видим; и в меру сил своих не противимся злему, а когда противимся, считаем это за грех и искушение и впредь ему пытаемся не подпадать. Чего он требует еще? В меру того,

насколько в словах его есть истина — они исполнены, не по его требованию, но по учению Церкви, и не исполнены только в той части своей, в которой представляют исключительность и преувеличение и перестают быть истиной.

II

Толкуя как верховную и исключительную заповедь совершенно простые слова Спасителя, промежуточно сказанные, — Толстой, в том же письме к г. Кросби, лишает какой-либо силы целый евангельский рассказ, принимая его за случайный эпизод, без всякого руководящего и указующего значения. Мы разумеем изгнание торгующих из храма. Это уже не одна строка, это — страница; это не слово, но акт, деяние; это — *первое* деяние И. Христа, когда он выступил на общественное служение, и невольно мысль наша останавливается на нем. Можно ли отвергнуть, что Спаситель не имел ничего указать нам им, что евангелистами внесен этот акт на страницы Нового Завета случайно, по старческой памяти, которая и важное и неважное одинаково заносит на страницы летописи? Смеем ли мы так думать об Евангелии? Однако почти так думает об этом Толстой, в кратких словах оговаривая, что Спаситель, при этом, «оружия не употреблял», что Он «не бил». Он взял «бич» и изгоняемые вышли; он их *понудил* выйти; и слова: «дом Отца моего не делайте домом торговли» — так же святы для христианина, как святы (истинно святы) и слова: «не противься злему». Но те слова о несопротивлении были сказаны позднее; раньше чем раскрыть свое учение, Он указал, что в месте святом не должно быть несвятое. Вот завет, и он связуем с заповедью, верховенство которой оговорено в Евангелии: «возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всем помышлением твоим; возлюби ближнего, как самого себя». — Да, возлюби Бога — это первое, это абсолютное; ранее этой любви еще ничего не началось в тебе, ты еще не христианин, и нечего тебе спрашивать о других заповедях, помышлять об их исполнении. Ты возлюбил Бога, ты его крепко держишь в сердце? — теперь возлюби ближнего силою Божией, которая сообщена тебе через исполнение первой заповеди: как *самого себя*, то есть менее, чем Бога, под условием неослабления к нему любви. Ты это исполнил; теперь взгляни вокруг себя: не осквернен ли святой храм делами, в нем неуместными, не дурными в самих себе, позволительными за оградой храма, но в самом храме недопустимыми? И это сделано? Итак, радость в сердце твоём, мир вокруг тебя: теперь — не противься злему. В веселии сердца своего прости заушение, какое нанесут тебе, и обними врага своего; все это — уже малое, то есть мала твоя обида, ничтожна, презренна, не обращай на нее внимания. Вот ясный евангельский путь, вот ступени требуемого от человека, если понимать Евангелие не как компактную массу слов, если различать в нем первое и второе, господствующее и подчиненное, или точнее — поясняющее.

III

Толстой исключает вовсе *деятельную* любовь, он закрывает от людей мысль, проходящую через все страницы евангелистов. Он убеждает: *будем любить друг друга*. Но как? но через что? но в чем обнаруживая и доказывая эту любовь? Неужели, если мы рассядемся по стульям и будем пылать взаимною любовью — пусть это возможно — мы уже можем подумать, что завет евангельский исполнен нами, и вознести Богу молитву фарисея: «благодарим Тебя! мы уже не таковы, как прежде, и как теперь иные», еще продолжающие сопротивляться злу. И какая бы мерзость перед нами ни совершалась, что бы *между* стульями у нас ни произошло, пусть это будет кровь, насилие, растление, каждый из нас, видя все и беспокойно пошевеливаясь на своем сиденье, не смел бы, однако, под страхом сейчас же перестать быть христианином, спустить ноги на пол и побежать к чужому горю, против чужого злодеяния. Какая мерзость! какое запустение жизни! какое понимание Евангелия! И как, наконец, мы узнаем, что «истинные христиане» еще пылают любовью? Может быть — они спокойно дремлют; при невозможности двинуться — они и непременно задремлют; они устанут *говорить*, к чему их приглашает Толстой, что единственно он допускает, как средство *противления злу*. Эта словесность, эта все поглощающая словесность, которая потянется на новое тысячелетие, на тысячелетие нового понимания Евангелия — станет, наконец, невыносима, отвратительна; никто ей не будет внимать, зная, что никакого действия за нею не последует и не может последовать; и, конечно, после некоторого употребления недействующего орудия — все перестанут его употреблять. И что за странность: может быть *я не умею* убеждать? Я косноязычен, — нет? я так непривлекателен лицом, что всякий, взглянув на меня, — засмеется и отвернется? Средства убеждения мои — так же бедны, как у Акима из «Власти тьмы» перед сонмом образованных сотрудников «Вестника Европы»? Что *ему* делать? что *мне* делать? что делать *нам* всем? А ведь доброе благое сердце нудит и нас к деланию. «*Убеждайте* разбойника, стоящего над младенцем...», — пишет Толстой в письме к г. Кросби, — он может удержаться тогда». Но вот же сам он, со всем духом своим, при всем совершенстве, не убедил даже ближайших своих родных последовать своему учению, — как же можем мы, без всяких даров, подействовать даже на разбойника и при том так скоро, что подняв нож — прежде чем его опустить, он уже станет другим человеком?

IV

«*Не противься злему...*» Но ведь в Евангелии не сказано: *оружием, бичом*. Быть может, вовсе не нужно противиться злему, т. е. не употреблять против него и убеждения? Если Толстой так озабочен исполнением евангельских слов, если никакой *своей* мысли он не преследует, если

только бояться не исполнить волю Божию — зачем он не понимает выражающего его слова полно, без прибавлений, без убавлений? «Не противься злему», т. е. вовсе оставь думать о нем, предоставь злу совершаться по законам природы физической, природы человеческой или, наконец, по усмотрению Божию: больного не лечи, от града и засухи полей не оберегай, и, наконец, когда торговец-кулак хочет обмануть тебя при покупке леса — обмана его не замечай и ни в каком случае его не обнаруживай. *Не противься злему* — когда это народное бедствие; но ведь Толстой едва ли не помогал голодающим? *не противься злему* — когда это твое бедствие; но, ведь, он призвал медиков, когда у него прошлую весну умирал маленький сын? *Не противься злему*, когда люди не понимают, что — зло и что — добро; но он же пишет сам, т. е. в пределах сил своих и понимания противится существующему злу. Но вот он оговаривает: противься, но не касаясь *кожи человека, тела* его. Почему? Это в Евангелии не сказано! Это — телесное понимание зла вопреки духовному, евангельскому. В Евангелии прямо сказано: «если глаз твой соблазняет тебя, если соблазняет тебя рука твоя — вырви глаз, отсеки руку свою» (Марка, IX, 43—47); и сказано также: «возлюби ближнего, как *самого себя*», т. е. *по подобию себя*. Слишком ясно, что сопротивление злу насилием не только допущено в Евангелии, но и прямо указано, требуется. Кого же Толстой хочет обмануть? как можно поддаться этому обману? «Истинно, истинно говорю вам: если кто *соблазнит* единого от малых сил, верующих в Меня, лучше было бы, если бы камень повис на шее его и пучина морская поглотила его». Это — слишком страшно; «лучше было бы» — до того духовное зло соблазна представляется страшным. И еще бы: в Евангелии на все вещи брошен взгляд из вечности; а мы на самую вечность смотрим с точки зрения не болящей спины. Боль, которая протянется до завтра, заключение в тюрьму на сентябрь и октябрь месяц — заставляют забывать нас и небо и землю. Это — так страшно: ни в сентябре, ни в октябре я не увижу милой Аркадии; так страшно, что все будут смеяться над моею экзекуцией. Нет, уж лучше я отрекусь от Бога; нет, уж Бог с ней и с Церковью, только бы меня не высекли. Какая мерзость! какое низкое падение человека! И Толстой сочувствует ему, влечет туда же человека.

V

Всегда мне представлялись загадочными и смущающими слова Спасителя, сказанные в ответ на упрек ученикам его, почему они не постятся, как ученики Иоанновы: «Могут ли», сказал Христос, «поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? *Доколе* с ними жених — не могут поститься. *Но придут дни, когда отнимется у них жених; и тогда будут поститься, в те дни*» (Марка, II, 19—20): «*Доколе...*» Он сказал: «приидут другие дни, когда люди будут поститься», прибавил Он. И еще

в другой раз Он сказал: *«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку с свекровью ее. И враг человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня — не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более Меня — не достоин Меня. И кто не берет креста своего, и следует за Мною — тот не достоин Меня»* (Матф. X, 34—38). В последних словах указана Спасителем цель своего пришествия; но сказано с печалью и о последствиях, какие вытекут из этого пришествия по слабости человеческой, по необходимости греховной и злой его воле. И как слова любви и милосердия текут по всем страницам евангелистов, эти же страницы пронизывает и угроза: в прямых словах, как приведенные, и в притчах. Но все грозное и печальное, всякая нужда и скорбь — отнесены к будущему. Пока Спаситель был между людей, когда «жених был в чертоге брачном», естественное и необходимое в другое время, необходимое и нужное во всякие дни — на эти *особенные* дни было отменено. Для всех остальных дней, кроме Спасителява пришествия на землю, дан завет: даже от отца, даже от матери, не говоря уже о других «ближних», отделиться, если эти «ближние» и родные отделяются от Христа или в чем-нибудь Его учению противостоят; принять крест на себя, т. е. страдание, и нести его до победы, — как это и исполнили апостолы и ученики их до победы при Константине Великом, и исполняет весь христианский мир — до этого века блудливого и неверного, который на словах Спасителя думает основать борьбу против Него; направля меч против Евангелия, им же обороняется, как щитом.

VI

«Не противься злему». — И Толстой понимает это как несопротивление и злу вообще. Но кто есть *первый* злой? Отвергнем ли мы, что вовсе не человек со своим слабым соизволением, но иной и могущественнейший стоит за ним и влечет его к злу? Мы не отвергаем Бога и Божие в человеке; не отвергая в человеке и демонического, отвергнем ли мы того, именем кого называем темные влечения в нем? Кому же Толстой указывает человеку не противиться? с кем пытается убедить нас умерить, смягчить борьбу? Он пишет, в том же письме к г. Кросби, что «физически не *может*, не в *состоянии* присутствовать» в суде, «осудить ближнего». Он так добр — верим ему. Но так ли он рассудителен? Ему представляется суд как некоторое таскание осужденных на веревке в темницу, и он от этого грязного и жестокого дела отказывается. Но зачем же учил он в Яснополянской школе, когда и училище можно определить как место, где дети наказываются. Он взял побочную сторону предмета и определил предмет через нее, упустив сущность. Его в суд зовут *рассудить* дело, а не осудить человека; помочь людям разобраться

между множеством известных и неизвестных данных и сказать, по разумению, слово правды. Это — правое, святое дело. Можно жалеть о публичности судов и выставлении без вины, на позор людей, человека, который, быть может, будет оправдан; о театральности, о состязании в красноречии; вообще святая идея суда и наказания у нас утрачена, да и не юристы — делатели «святых дел», а они, к сожалению, были устроителями суда. Но, повторяем, в основе своей — это идея святая и необходимая; и Бог будет судить людей, а уж Ему ли бы не простить, Он ли не благ, не человеколюбец? Но идея суда необходима не божественному милосердию, но человеческому достоинству. Животных не судят; их бьют или еще чаще прощают. Человек один подлежит суду, и только утратив в себе всякие человеческие черты, он откажется от права своего, от высокого преимущества — быть судимым. В помиловании он нуждается, милосердия он ищет; но не ищет бессудности, — и помилование возможно после доказанной вины, милосердие может быть оказано уличенному и обвиненному. Идея греха глубочайшим образом завита в наказание и суд, — и удивительно, как чистые юристы, как только юристы призваны были у нас сперва к организации, а теперь к реорганизации судебных учреждений: это — показатель, что совесть уже утрачивается нами и мы понимаем только удобства и неудобства *правило-нарушений*, за них одних судим, без всякого ужаса перед грехом, без всякой святости негодования против него. Через суд и воздаяние человек ранее, чем подойдет под Вечный суд и осуждение, к нему приуготовляется: чтобы ответить легче там, он хочет бояться и удерживаться здесь. Вот полная идея суда. Человек борется — прежде всего со злом в себе; а потом — и со злом в другом, помогая ему. В целой своей жизни, во всей истории — он борется божественными силами, в нем заключенными («Божией искрой», как прекрасно усвоено у нас), против сил демонических. Церковь и суд — краеугольные камни этой борьбы. Церковь влечет нас к Богу; она не нудит; она в себе самой, в святости своего научения, в благодатных своих дарах содержит источник великого притяжения, и сильнейшие из нас тяготеют к добру только через нее. Есть, однако, между нами слабейшие, в которых демоническое властнее, Божеская искра вот-вот погаснет. Их без призора оставить — безжалостно; нужно поддерживать в них этот гаснущий огонь. И именно потому, что он гаснет — они не внимают более слову; их не влечет та сила, которая для лучших достаточна. Эта крупинка железа так мала, что ее не влечет магнит. и она носится ветром туда и сюда. Дурно ли поставить для нее преграды в этом движении; ограничить в идее и слове (*закон*) для нее свободу? И, наконец, в самую эмоцию движений, во внутренний порыв — примешать ограничивающий и смущающий страх? вот идея наказаний, вот оправдание суда. Влеку ли я к добру, отталкиваю ли от зла, я равно творю благое. Так творит и человек, история, имея Церковь, учреждая суд.

Толстой хотел бы энервировать человека, вынуть из него все страстные эмоции. Он именно хочет погасить в нас искру, которую зажег Спаситель. Разве Иоанн был бездеятелен? разве Петр не был пылок? И Он *избрал* их, то есть Он нашел, что свойство живой деятельности и пылкого сердца особенно отвечают, как восприимчивая почва, семени, которое Он пришел бросить в человека. Петр отсек ухо воину, пришедшему с другими, в числе стражи, взять Учителя; Спаситель приставил ухо и исцелил раненого,— ибо то, для чего Он пришел на землю, должно было совершиться, да и воин, пришедший сюда не по своей воле, не был ни в чем виновен. Но, однако же, Петр *отсек*,— таково было его *первое* движение; Иаков и Иоанн *хотели* низвести огонь на самарянское селение, которое не впустило к себе Иисуса, как иудея, идущего в Иерусалим. А они были не худшие, Христос не избрал себе в ученики лукавых, порочных, злых. Но негодование не есть проявление зла в человеке, а часто — правды; и наказание не есть злое действие, а часто праведное. Христос входил в общение с мытарями; однако он не вошел в общение с фарисеями. Мытари были внешне унижены, но они были чисты сердцем; они сознавали грехи свои, они калялись. Таковых возлюбил Христос. Но и Он юношу богатого — *отпустил*, книжников и лицемеров — не искал *привлечь*. Та, не заключающая в себе никаких внутренних разграничений, «любовь», тот *звук* любви, который мы произносим — и он естественно касается всех, никого не обходит — не из Евангелия. Это не та любовь, которая нам заповедана Спасителем. Любовь ищет, разглядывает; любовь трудится, любовь соучаствует людям; любовь часто гневается, иногда негодует; она иногда даже наказывает. Но эта «любовь», которая нам проповедуется со страниц журналов? которую несет и Толстой людям? Отчего она так мало жжет? так мало утешает даже несущих ее,— как утешает истинная любовь? она не ласкает, не возбуждает, она — *мертва*. Отчего это? какая тут тайна? Нет *любящего* сердца: это — риторическая любовь конца XIX века, искусственный цветок, сделанный в подражание живому, который умер.

* * *

Проповедь Толстого не имеет и так же не будет иметь действия, как попытка г. Вл. Соловьева способствовать соединению церквей; не по отсутствию надобности в этом, но по отсутствию способностей к этому в инициаторах обоих движений, полурелигиозного и полупереховного. Если бы кто-нибудь явился с Запада ли, на Востоке ли с равной любовью к разделившимся церквам, с горем мучительным об этом разделении, со слезами, с ночами без сна, с убеждением к людям, молитвою к Богу, если бы в порочную толпу нас вошел кто-нибудь с даром истинной благодатной любви, если бы не оратора мы видели перед собою и не литератора, если бы перед нами явился *святой*,

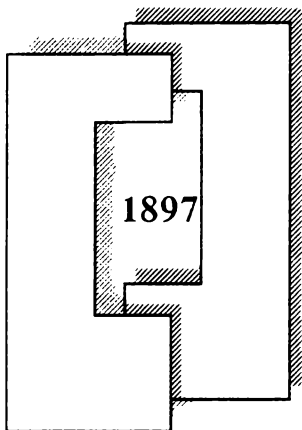
то есть Богу угодный человек, и к этому нас позвал — Божие дело совершилось бы. Такогожде ждем; дело ими предпринятое — не отрицаем; их отвергаем.

* * *

Р. С. Я только что прочел (в мартовской книжке «Северного Вестника») биографию Ницше, писанную лицом, его близко знавшим, и которая была им лично просмотрена, — и, в виду все возрастающего внимания к этому философу, не могу удержаться, чтобы не сказать о нем нескольких слов.

Стрелка попорченных часов может делать какие угодно любопытные движения, но она не может показывать *время*; Ницше, в течение 14 лет медленно сходявший с ума (наследственная болезнь) и в эти именно годы написавший свои сочинения, мог написать в них много любопытного, но все это любопытное имеет тот недостаток в себе, что оно — *не истинно*.

Кажется, это неоспоримо; и, кажется, это достаточно, чтобы удерживать *ищущих истины* от изучения его сочинений. Заблуждаться же можно многими способами, на многие манеры, и между ними есть тот, который нашел Ницше и который зовут, без всякого на то права, его «философией». Ибо самой идеи *знания*, самого усилия к *правильному* в мысли у него не было; и как он, так и труды его — даже не лежат в той общей *категории*, куда мы относим родственные факты «науки», «философии», «знания», «понимания».



Два вида «правительства»

Прочитав статью г. Ник. Энгельгардта «Спасович о Пушкине», не могу удержаться, чтобы не сделать к ней несколько добавлений. И да простит читатель, если они не будут того же спокойного тона.

Если вдуматься, нападения г. Спасовича на Пушкина гораздо более для памяти великого поэта, нежели та грязь непонимания, которую когда-то лил на его голову наивный Писарев. Во-первых, они опаснее потому, что осторожнее и умнее; во-вторых, потому, что они не так ярки и не вызывают сейчас же и резкого отпора, т. е. они остаются в уме читателя. Между тем предмет их гораздо мучительнее, избранные точки для нападения — гораздо тягостнее и не только для Пушкина, но и для русского общества, привязанного к его памяти. Писарев доказывал, что Пушкин «не поэт», как, напр., был для него поэтом Гейне; а во-вторых, что если бы он и был поэтом, то это — «ничего не значит, не содержит в себе никакой заслуги, так как всякий, если захочет, «может сделаться таким же поэтом, как Пушкин». Эта детская аргументация, детская и по теме своей, и по способу выполнения, могла подействовать на детские части общества, но она как-то в сущности не задевала и не касалась самого Пушкина. Так его понимают — ну, что ж, всякий в понимании волен и качества понимания лежат на ответственности каждого.

Нападения г. Спасовича, не затрагивая поэта, даже усиленно охраняя от умаления его гений, — тем, кажется, с большим беспристрастием и основательностью сосредоточиваются на Пушкине-человеке, на Пушкине, как члене общества, хотя бы и живущего. Упрек здесь бросается не в литературную мантию поэта, а ему в лицо. И содержание упреков г. Спасовича таково, что они пачкают это лицо, равняют человека; они клонятся к тому, чтобы исключить из общества его члена. Само собою разумеется, что «поэт» погиб, когда погублен человек, и этот прием неизмеримо оскорбительнее, чем все, что писал наивный Писарев.

Г. Энгельгардт не без остроумия и меткости назвал статью г. Спасовича «эристикой»; даже не софистикой, но эристикой — и только. Г. Спасович, обладающий прекрасным и легким слогом, умом совер-

шенно достаточным, чтобы не дать заметить отсутствие в нем оригинальных мыслей, и гражданским чувством настолько приподнятым и шуршащим, что оно не дает подслушать и подглядеть человека, — не есть в собственном смысле писатель. Потому что нет новой, ему лично и исключительно принадлежащей мысли, за которую он бился бы с пером в руке, отстаивал ее, страдал за нее, на ее торжество надеялся, об ее непризнанности скорбил. Нет ничего такого, т. е. нет содержания писателя в нем, а есть только форма. Все его мысли — подняты с улицы, т. е. вы их читаете в «Вестнике Европы» или в «Русской Мысли», у г. Спасовича или у покойного Евг. Утина. Он — носильщик в литературе; коробейник, у которого за плечами товар не его фабрики. В конце концов, и, как это общеизвестно, он — сытый и самодовольный адвокат, орега отпіа которого могли бы быть удобно озаглавлены названием «В часы досуга». В нем мы наблюдаем игру «прекрасного слога» над человеком, которого этот стилистический талант, без тяжести внутреннего содержания, повлек сделаться журналистом.

Пушкин народен и историчен, вот точка, которой в нем не могут перенести те части общества и литературы, о которых покойный Достоевский в «Бесах» сказал, что они исполнены «животною злобой» к России. Он не отделял «мужика» от России и не противопоставлял «мужика» России; он не разделял самой России, не расчленял ее в своей мысли и любил ее в целом; т. е. он — именно «свободно», как прекрасно настаивает г. Энгельгардт, — около мужика любил помещика, около Петра I — Иоанна IV; и, наконец, он любил правительство свое, ну, хоть в той степени, в какой позволительно же, не вызывая насмешек, татарину любить свой шарият и своих мулл, еврею позволительно любить синагогу и раввинов. Он до конца жизни своей любил и уважал декабристов; и никто никогда не подслушал, нет ни одного об этом буквенного памятника, чтобы, говоря с императором Николаем I, он когда-нибудь в этом разговоре попрекнул их память.

Вот этого отношения к России ему не могут простить, ибо это значило бы помириться с Россией, чего решительно не могут носители «животной ненависти к ней», по определению Достоевского. Создалась легенда о «придворной ливрее» Пушкина; о перемене, «чередовании» (выражение г. Спасовича) в убеждениях Пушкина; о том, что это «чередование» совершилось «не безвыгодно» (термин г. Спасовича) для него. Наконец, вопреки свидетельству его поэзии, в ее неисчерпаемых глубинах; вопреки свидетельству его прозаических отрывков, где каждая страница может быть развита в философский трактат и каждая строка может быть раздвинута в страницу, создалась версия о его «поверхностности» и «малообразованности». «Шекспир создал целое человечество»: ведь эта мысль, эта короткая строчка 36-летнего Пушкина ценностью и обилием содержания перевешивает все, что успел в критике и истории литературы написать г. Спасович к 60-ти летнему своему возрасту. Его параллель между Мольером и Шекспиром есть программа литературно-

критической школы; возражения Радищеву и Чаадаеву есть программа политическая, более ясная и убедительная, чем какую 30 лет проводит и защищает «Вестник Европы». Мы говорим о черновых его набросках, о бумажном хламе, который он бросал в корзину, а не нес в печать. Мы не подыдем речи о таких его созданиях, как «Египетские ночи», где на протяжении всего 16 страниц он дал три образа незабываемых, три клочка, разделенных тысячелетиями миров, углубившись в которые и отделяя форму от содержания, мы не знаем, кому более удивляться в Пушкине — вдохновенному ли поэту, который так умеет рисовать, или всемирному мудрецу, который так умеет понимать. Но для г. Спасовича Пушкин «легковесен»... Sancta simplicitas! *

Остроумно г. Энгельгардт говорит, что статья г. Спасовича оставляет впечатление смешного. Это — для читателя зоркого, размышляющего, наконец, знающего и понимающего Пушкина; но у «Вестника Европы» 6000 подписчиков, т. е. 60 000 читателей, между которыми многим, без сомнения, нужна указка, и г. Спасович, при всегдашней серьезности его тона, может показаться указкою совершенно достаточною. Подобные «писатели» поэтому, мы думаем, понижают общество умственно, удерживая от размышлений, от изучения, от простой любви к человеку такого поэтического дара и таких глубин ума, как Пушкин. Ибо «поэт» и «мыслитель», который оказался столь слаб теоретически и нравственно так несостоятелен, как Пушкин по объяснениям Спасовича, имеет мало вероятия быть внимательно изучаемым. Критики, когда они несправедливы или когда они вообще почему-либо не стоят на уровне с критикуемым автором или книгою, бесспорно, умственно деморализируют общество.

Мы сказали, что под гражданским шумом — точней, шуршаньем, в пределах законодательных §§,— г. Спасович не дает рассмотреть в себе человека; и между тем именно на человека, на лицо нападает он в Пушкине. Мало кто помнит теперь, но, справившись с «Дневником Писателя» Достоевского, всякий может узнать, что г. Спасович защищал на суде не розгу, но истязание розгами девочки-ребенка семи лет; истязание с кровью, и столь вообще дикое по форме, что дело и до суда дошло через «донос» соседней бабы-прачки. Баба-прачка оказалась на большей высоте гражданского и даже государственного развития, чем знаменитый юрист и очень известный журналист. Оставим это. Мы хотим поговорить о «ливрее», которую г. Спасович усиливает натянуть на плечи Пушкина, и мы поищем ее на нем.

Пушкин «подыгрывался» к правительству, и не «безвыгодно»; изменил дружбе приятелей, когда они оказались в беде; «не безвыгодно», оставив прежние убеждения, вызвал «на очередь» в себе другие. Так «указывает ему двери» из общества, и уже, конечно, из литературы, литератор и член общества г. Спасович. Но что есть «правительство»

* Святая простота! (лат.)

для человека? Не то ли, отчего или, точнее, от кого он зависит, кто его держит у себя в руках? Итак, для Пушкина в том незначительном объеме, насколько он был подданным и насколько именно это подданничество составляло содержание его жизни, его трудов, дум, опасений, надежд,— правительством был император, его лично знавший; для всякого чиновника, уже во всей полноте его жизни, правительство есть бюрократический механизм. Но нет ли в этой же полноте, нет ли правительства и на бирже? Струсберг звался в Германии «железнодорожным королем»: вот правительство и вот лицо правителя. Нет ли правительства у адвоката? — Да, его клиент, т. е. возможных тысяча клиентов, которые дадут богатство или возможных два клиента, которые оставят нищим; и, наконец, есть правительство у писателя; это — его читатели, которые дадут ему известность, положение, деньги; или безвестность, нищету, презрение. Я сказал, что в строгом смысле г. Спасович не есть писатель; и теперь прибавлю, что он не достоин этого имени, истинно высокого в истинном его значении. Капель утружденного пота не видно на листах его трудов; пота, который окрашивался бы кровью, не видно; мысли, за которую он боролся бы с «правительством»...

Ну, конечно, со своим правительством, т. е. с правительством читателей, которым, говоря новую мысль, он их убеждал бы, распинался бы и, даже готов был бы «пострадать за убеждения», т. е. потерять читателей или очень значительную их часть. Вот новый вид мученичества, и слава Богу, что еще есть какой-нибудь, т. е. что можно по готовности к мученичеству отличать честного от бесчестного, ибо время наше — время «подделок», и, так сказать, «маргарина» на всех путях, во всех сферах, в том числе и литературной и политической. Но вы указываете, т. е. я говорю о г. Спасовиче и аналогичных ему «писателях», что вы «готовы пострадать за убеждения» не перед своим правительством, а перед чужим, перед начальством чиновников, которому никакого дела до литературы нет, оно эту литературу почитывает да позевывает, и переходит, как к серьезному делу, к своим «отношениям», «делопроизводителям», «директорам» и проч. Даже в тех случаях, когда оно считает своим долгом «присмотреть» за писателем, при малейшей осторожности так легко ускользнуть от его кар, не меняя нисколько убеждений, каковы бы ни были они, и лишь несколько прибегая к «эзоповскому языку», читателям, т. е. единственному истинному правительству писателя, совершенно понятному. Но вот кого нельзя обмануть, кто истинно зорок и кто беспощадно строг — это правитель-читатель. Попробуйте с ним бороться; попробуйте перед ним отстоять свое «я», свою уединенную работу, свои нервы, свой ум и «искру Божию» в вас. Я хочу сказать, попробуйте не уважить кумиров этой тысячеголовой вас слушающей толпы, не уважить ее предрассудков, привычек, иногда ее сна, ее болезни,— и она вас потрет или причинит вам столько страданий, сколько не сможет

и не сумеет причинить совершенно вам чуждое «правительство» чиновников. Вспомним, как мало чувствительна была, какую вообще незначительную роль в жизни Тургенева играла ссылка его в деревню за некролог о Гоголе; и какую мучительную болью через его письма, воспоминания, предисловия к сочинениям проходит то простое отчуждение, какое он почувствовал в себе в 60-е годы со стороны читателя. Ссылки были и в жизни Лермонтова, и в жизни Пушкина, даже продолжительные. Но, не затрагивая существа писателя, не касаясь, не муча его главный нерв, нерв безостановочного духовного творчества, они вообще как-то мало его касаются, касаются его внешним механическим образом и не оставляют таких мучительно-тягостных впечатлений, как простое пренебрежение читателя, если бы он его встретил. Вспомним Тургеневское «Довольно» и тон разлитой в нем бесконечной грусти; вспомним «Записки из Мертвого дома» Достоевского и их тон, т. е. субъективную, личную сторону этого тона.

Вот к этому-то истинному и истинно страшному для писателя «правительству» Пушкин, не вступая с ним в прямую борьбу, сохранил полную достоинства независимость. Он подымался в высшие и высшие сферы созерцаний, находил чистейшие и чистейшие формы отношения к действительности, давно чувствуя, что одинок, что никто за ним не следует. Напрасно думать, что он ни от чего окружающего не страдал, и попытки изобразить его всегда и со всем примиренным и, так сказать, «моложавым» (его собственный термин) — не истинны, не справедливы и смешны. Но только скептицизм его, его седая мудрость, при выющихся черных кудрях, шла неизмеримо дальше, была неизмеримо глубже, чем, например, у декабристов или Чаадаева. «Черт угораздил меня, с умом и талантом, родиться в России» — эта опять одна строчка содержит в себе такие бездны критического отношения к действительности, такую боль от глухоты действительности к живому сердцу, живой мысли, живому порыву, дальше которой не пошли ни Чаадаев, ни декабристы, пожалуй, не пошли дальше и шестидесятые годы. Все то же, все та же боль к необозримой дремлющей стране, где «десять лет скачи — ни до какого государства не доскачешь» и где часто плач бывает тоже, что плач в сибирской тайге, проповедь — проповедью Бэды-проповедника, и всякий вообще голос «гласом вопиющего в пустыне». Но острым и всеобъемлющим умом своим Пушкин видел, что условия этой дремоты и ее качества так глубоко залегли, так далеко идут из истории, что критика декабристов или Чаадаева была совершенно детской игрою около них. Мы пережили шестидесятые годы и в последнем анализе видим, как даже эта критика, гораздо более сильная, — в сущности заставила дремлющего исполнина почесаться и перевернуться на свежий бок, и насколько не превратила его в бодрствующего. Все это очень сложно, все это очень трудно; и Пушкин не притворился только «моложавым», не слившись ни с Чаадаевым, ни с декабристами.

он высказал с невыразимою скорбью ту боль отчуждения, которое почувствовал вокруг себя за то только, что был зрел, что был сед. Под строками этого сонета, истинно кровавым потом наливавшимися строками, мы читаем невыразимую любовь поэта к обществу, людям, всей шумящей жизни, к которым он, автор простосердечных «Повестей Белкина» и «Капитанской дочки», не питал высокомерия, с которыми всегда хотел быть слит. В некоторых строках сонета как будто слышится пренебрежение:

Услышишь смех глупца и смех толпы холодной,

но по всему строю своему без этой или подобной строки сонет не мог быть составлен, — не мог просто потому, что тогда не понятно было бы, почему же поэт не бежит к обществу, откуда между ними разделение. Мысль этого сонета в заключительной строчке:

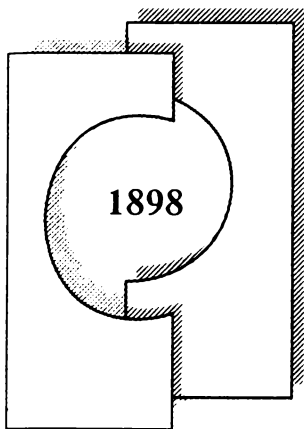
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Он на «Письма» Чаадаева, на попытку декабристов смотрел как на род исторической «резвости» и на все его окружающее общество смотрел как на пору нашего исторического детства, где также грубо ошибочно было бы что-нибудь презирать, как и чему-нибудь последовать. Вот его отношение, прекрасное и свободное; и Тургенев, также перенесший пору от себя отчуждения, хотя и не мог с этим терновым венцом, надеваемым на писателя его читателем, справиться так твердо, говорил, что этот сонет должен заучить наизусть, как свое евангелие, всякий начинающий в литературе. Вообще наша литература этому и следует. Гончаров в «Обрыве», Достоевский в «Бесах» сказали много горького обществу. Общество приучается к этому и даже опытами мужественной борьбы с собою оно воспитывается. Сперва оно раздражается, волнуется, закидывает поэта грязью; но потом оно же усердно и расчищает эту грязь, и вообще в своей неправде не упорствует. Автор «Бесов» умер, увенчанный хвалой и любовью. Но вот г. Спасович...

Он даже не понимает, что такое свободное отношение общества и писателя, потому что не понимает, что такое индивидуальность в литературе и лицо в писателе. «Общественная служба» — это для него шаблон, те «общие сапоги», стоящие перед дверями Собакевича, которые обязательно должен был видеть каждый, кто хотел явиться перед лицом барина. В литературе или в судебной практике он сам является в этих «общих сапогах», или, пожалуй, является в той ливрее, какая требуется родом особому в каждом случае «служения»... И по различию переодевания, по строгому соответствию всякого переодевания вкусу «господина», перед которым является, мы узнаем, что это именно не платье, а ливрея, всегда ливрея и только ливрея. Вот отчего, когда клиенту нужна оправданная розга, он кладет перед ним «убеленную паче

снега» розу; конечно он имеет не двух, но две тысячи клиентов. Но читателю требуется поруганная розга, и на страницах «Вестника Европы» он кладет поруганную розгу и, конечно, также имеет двадцать тысяч, а не две тысячи писателей. Конечно, что мог ему сказать сонет Пушкина? И вот свободного раб зовет на суд и обвиняет в рабстве; он обвиняет его в том, что он не держался так независимо перед особым и частным правительством чиновником, к которым оба они, поэт и адвокат, не имеют в сущности отношения, и перед которыми адвокат, не служа ему, держится так мужественно, впрочем, однако же, «в границах»...

Вот суть «эристики» г. Спасовича, и вполне удивительно, что и она поднята им с улицы, и он, для кого так «легок» Пушкин, не имел силы расчленить понятие «службы» и разъединить, так сказать, рассортировать то коллективное «лицо», к которому «служба» может быть отнесена, чтобы узнать, к чему в этом собирательном «лице» в данном случае и данным человеком не могло быть отнесено никакой «службы». Поверхностному писателю не помог юрист, и, может быть, потому, что в существе дела и он гораздо более блестящ, чем проныцателен.



Гр. Л. Н. Толстой

70-летие рождения автора «Войны и мира», исполнившееся 28 минувшего августа, вызвало появление множества снимков с его бюстов и портретов, выставленных в окнах художественных магазинов и частью воспроизведенных в иллюстрированных лите-

ратурных изданиях. Не все они одинаковы; но некоторые, как бюсты Перовского и Гинцбурга, кажутся удачными, и кто не видел их оригинала, невольно приковывался вниманием и любопытством к изображениям человека, с именем которого так много соединено.

Много есть прекрасных лиц в русской литературе, увитых и повитых задумчивостью. Лица Тютчева, Тургенева, Островского не только выразительны и полны мыслью, но они как бы договаривают недоговоренное в «полном собрании сочинений». Самая поза, напр. Тютчева, со сложенными на груди руками, как бы сообщает ему вид уставшего и задумавшегося после разговора человека; в Тургеневе, за писателем, вы так и чувствуете помещика, любителя пострелять куликов, или вечером у камина, после охоты — что-нибудь рассказать. Быт, манера, воспитание, привычки — все это, как-то одухотворившись, бросило свою черту на лицо и последнее получило ту сложность и глубину, которую никак нельзя покрыть кратким и оголенным, в сущности одичалым термином: «интеллигентный». Тургенев — «интеллигентный человек», у Тютчева — «интеллигентное» лицо: какая профанация! «Интеллигентность» — это, правда, нечто «духовное», но это — бедно духовное; это — бедность именно в самом духовном, какое-то умственное мещанство. Но мы отвлеклись в несколько общую сторону. При рассматривании портретов Толстого невольно думалось: именно такого прекрасного лица еще не рождала русская литература, — коренное русское лицо, доведенное до апогея выразительности и силы, наша родная деревня, вдруг возросшая до широты и меры Рима, конечно как прообраз, как штрих, коему через немного лет сбежать в могилу, укрыться стыдливо под землю, как преждевременному еще явлению. Но если когда-нибудь настанет время (если только оно настанет), что русский голос заговорит миру, — то по прекрасным чертам этих портретов мы можем приблизительно догадываться, какое будет, как сложится, как выразится это грядущее и русское,

и одновременно уже мировое лицо. И в самом деле: в нем есть все черты исторической многозначительности и устойчивости; и вместе это буднично-сегодняшнее лицо, какое я могу встретить, выйдя на улицу. Это, как «наш Иван», «наш Петр» — мужики, с которыми мы ежедневно говорим; но, поставленное между лицами Сократа, Лютера, Микель-Анджело, оно не нарушило бы единства и общности падающего от них впечатления; совсем напротив... тогда как, напр., лицо Тургенева или Островского — нарушило бы; это — слишком частные и дробные лица, не отстоявшиеся в тишь и величие истории.

Тишина вечера естественно наступает для всякого человека в 70 лет; по молчаливому согласию и врожденной деликатности люди не нарушают язвами или излишеством похвал этой тишины. Толстой мало печатает, но при относительном молчании — он виднее всех, и имя «русской литературы» сейчас получает определенный смысл и вес в связи с именем «Толстой». Умри он, так мало пишущий, и река русской литературы сейчас же превратится в пересыхающее болотце. Даже когда он не пишет — он думает; он всех нас видит; слава Богу, он жив — и нам как-то бодрее работать, больше воздуха в груди, яснее кажется солнце: великая связность людей, великое единство биений пульса в них!

На Толстого так много нападали с теоретически-умственной стороны, что хочется поговорить, или, точнее, прекрасное лицо его внушает мысль поговорить о нем не как о художнике, но как именно об уме, о теоретике, об умственной силе.

Не правда ли, вы предпочли бы беседу с «видавшим виды» дедом, который у вас на кухне греется около печи, умному разговору с «приват-доцентом», который входит к вам в кабинет, с *chapeau-claque*, и как право на разговор и даже «поучение» показывает свежееотпечатанный диплом, только что ему выданный конференцией академии. Какая скучища: это «мы», это «я»; это «книга», которую я могу взять с полки; зачем он переступает мой порог? И, скрывая зевоту, и не имея сил преодолеть раздражение, я веду с ним разговор как «канитель», как учтивость, но не как удовольствие и всего меньше как поучение. Но вот он ушел; я спускаюсь в кухню; и живостью, интересом, вниманием загорелась душа моя: тут копаются дед, от которого я уже и слыхал, а, может быть, и сегодня услышу необыкновенной оригинальности, новизны и, наконец, поучительности словечки. Тут именно все падает в книгу, конечно если бы записывать; это — еще не разрезанные страницы всемирной истории; «прибавления» к «полному собранию сочинений» целого человечества. И как душисто: склад речи — иной; иной слог; под каждым словом лежит факт, виденный, слышанный и часто живьем пережитый. «Приват-доцент» ушел: как жалко; можно бы и его пригласить послушать, но он так высокомерен, а главное — так счастлив внутренне, что его сегодня не провалили на диспуте, что, конечно, он остался бы равнодушен к моему приглашению. Так Россия, спуская в прихожую «приват-доцентов» и почтительно им раскланиваясь за «плоды наук и искусств»,

которые они носят с собою, бежит, торопливо, весело к своему старому «деду», расспрашивает его о том, о сем: и о чем бы он ни заговорил — о зверях, о жизни, о смерти, о труде людском, о злобе, о доброте людской — все выслушивает как настоящую, ей бесконечно милую астрономию, политическую экономию или мораль. Все выслушивает и все похваливает; и хорошо ей со своим писателем дедом; уютно, тепло; и не заблудится она в потемках, а главное — не назевается вдосталь, как если бы, все почтительно покланиваясь, все почтительно выслушивали от приват-доцентов.

Летом нынче я видел Севастополь: ведь это — историческая руина. «Россия времен Севастополя» — это то же, что Россия «времен очаковских и покоренья Крыма»: до того все окружающее нас ново, до того все старо, умерло. Освобождение крестьян: да ведь это-то уже почти не нашей истории; до того от этого «крепостного права» ни былинки не осталось. Дело в том, что за эти 50 лет «родилась» Россия, родилась в смысле народа, общества, законодательства, всех подробностей и частностей; и «умерла» Россия же, тоже во всех подробностях, этнографических (бытовых) и юридических. Каждый из нас ведет свое умственное «зачало» от какого-нибудь камешка в новой храмине; мы все — подробности в новом здании; мы лежим каждый в своей ячейке, с мыслью о том, какой камень на нас давит, а какой камень мы под собою давим. Словом, чувство частного и маленького в высшей степени присуще нам; правда, и целое нам доступно, но тут уже начинается «книга». В живых ощущениях, насколько нас научал в жизни глаз, слух, испытания — мы представляем самонаименьшие дробы. Между севастопольскими людьми, конечно, много еще есть живых; они все — любопытны и поучительны; но в своей рушившейся эпохе они были такими же частностями и подробностями, как мы в своей. Толпой... но тут начинается характерно другое.

Он все время это, т. е. целый цикл истории встретившейся смерти и жизни — и в каких огромных размерах, с какими огромными последствиями — не только ощутил непосредственно, но и все время это он не уставал наблюдать и размышлять. Он видел (пересмотрел) такое множество людей, такое разнообразие характеров в таких сплетениях страстей; наконец, он видел столько трагического и комического: разочарования, неудач, надежд, справедливого и несправедливого, — что, так сказать, гамма бытия человеческого ему полнее открыта, чем кому-либо из теперь живущих смертных. Вот его преимущество и оно еще осложняется его преимуществами, как человека: есть старые министры, старее его, но их опыт сужен, они не были ранены на Севастополе и не были так страстно влюблены, или так страшно убиты — после неудачного объяснения в любви. Ведь нужно же брать всего человека, ведь преимущество и исключительность Толстого состоят в том, что он не только видел всю полноту бытия человеческого, но и в том, что он сам необыкновенно полон как человек. Показывали, уже лет

15 назад, его карточки, в офицерском мундире, щеголеватого покроя и щеголеватых манер: «посмотрите-ка, каким был когда-то схимничек». Но то и важно, что «всем» был «бывалый» дед. Он упорно боролся с «по-реформенным» положением помещиков и отстаивал свое имение: т. е. был зорким хозяином, отнюдь не был ротозеем в экономических делах. Стал «Никитой» (в «Хозяине и работнике»), но побывал и «хозяином»: «дворянство все разорено вокруг» — попадаетеся выражение в его письмах, к Фету, кажется; т. е. он видел и он боялся разорения, предугадывал, боролся (см. также в «Анне Карениной», как Левин лес Облонского продает). Он запирается в Ясной Поляне, т. е. узнает образ пустынно-жительного «жития», со всеми подробностями его особой духовной атмосферы; и, первое лицо в литературе русской, он есть центр огромного всемирно-литературного, т. е. самого суетливого, движения: это ли не площадь, не базар, не толпа. Но где бы он ни был и кто бы, т. е. в каком бы положении, ни был, он совмещал в себе действующего и наблюдателя; и действуя — он страстно отдавался своему положению, но, кажется, еще страстнее наблюдал себя в нем, размышляя об этой самой среде своего действия. В его романах всюду есть параллелизм движений: «Анна Каренина» — это ряд параллельных романов Анны и Вронского, Долли и Стивы, Левина и Китти; тоже в «Войне и мире»: т. е. он везде наблюдает, размышляет, для него жизнь человеческая есть как бы опыт, за подробностями коего он следит, имея позади него какую-то свою думу, и от этого варьирует опыт, ставит в разные условия, меняет входящие его данные. И везде он наблюдает лицо человека, его душу. Нам, нашим живым душам, нам, как человеческим лицам, чья еще речь может быть так занимательна и поучительна, как не этого человека, столько подумавшего — именно об нас, о нашем лице, о нашей душе.

И за этой огромной фугой созерцаемых им дел, за обширностью и опытностью его глаза, есть еще одно качество: правильность его зрительной перспективы. Он берет человека не в скорлупе, а в зерне, и все его дела и самое лицо человеческое он всегда как бы отбрасывает на экран вечности: видит их в лоне жизни и смерти. Никто так страстно, с такою безмерною любовью не отдавался жизни и так многодумно и тяжело не гадал о смерти. От кончины Андрея Болконского до «Смерти Ивана Ильича» — сколько лет протекло: но дума автора, «что будет там» — одна. Роды Анны, роды Китти — описаны почти в физиологической грязи; он даже пишет предисловие к «Токологии»; но, кажется, ему самому хочется сочинить «Токологию», и к этому он порывался уже в конце «Войны и мира» около испуганной своею некрасивостью Marie Ростовой, около раздобревшей и неряшливой Наташи. — Тут староста Дрон, стакнувшийся против господ с мужиками, и окрик на него управляющего:

— «Ты, Дрон, от меня не уйдешь; ты на два аршина в землю закопайся — я тебя и там рассмотрю»!..

Там — теснота на Аустерлицком мосту: «а ядра, нагнетая воздух, каждые полминуты шлепались в эту кучу повозок, людей, лафетов:

— «Чего, чего заробел? Ступай на лед! Ступай на лед!» Долохов первый побежал — и перебежал; за ним тронулась толпа; тоненький ледок обломился — и люди, и льдины перемешались». — «Тютюкин coiffeur, je me fais coiffer par * Тютюкин», — предсмертно улыбается Анна, проезжая через московские улицы. И тут же, чуть-чуть в стороне, — дети Долли забавляются, жаря малину на огне. Полная fuga человеческого существования: человеческих страхов, забот, положений; и все, как говорится в геометрии, проложенное на фон вечности, на крышку гроба, на колыбель младенца.

Вот чем богат Толстой, какою особенною «наукою». Покойный Гиляров-Платонов первый имел неосторожность пустить эту мысль о разделенности в человеке, о разделенности и в Толстом, даров изобразительности от даров мышления. Но когда же Толстой только изображал? Его первое произведение «Детство и отрочество» есть уже философия в самой теме своей; и что бы еще ни писал Толстой, всегда заметно для внимательного читателя, что он — философствует образами, что он есть вечный и неутомимый философ; и только потому, что тема его философии есть «человек» и «жизнь» — иллюстрации к ней вытягиваются в страницы рассказов и романов. Толстой никогда не был только романистом; он никогда, «изменяя себе», не обращался к рассуждениям. Он целен от «Детства и отрочества» до «Почему люди одурманиваются»; и если в нем есть перемены, то только перемены тем мышления и также предметов любви и отвращения. Он двигался, но это не движение вспять и не движение в сторону. Но он... «не кончил курса (кажется, не кончил) в университете» и вообще не проходил тех специальных наук, «какие мы прошли». Нужно знать все убийственное тщеславие русского общества, все убийственное тщеславие специально бесталанного человека, чтобы знать, до чего «тернии» этого обвинения легли на «благодатную почву». Маленький человек, который о чем-нибудь может сказать по отношению к великому: «в этом-то я больше его» — да вы хоть не кормите людей, а дайте поживку этому их тщеславию, и они озолотят вас. Ведь духовная бедность есть самая мучительная бедность; она — всегда тут, при себе, у себя, под черепом:

И не вздремнуть в могиле ей
Она то ластится, как змей,
То жжет и блещет...
То давит мысль мою, как камень:
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей...

* парикмахер, я причесываюсь у (фр.).

Толстой не учился астрономии, «когда я учился»; «не читал Моммзена, когда я читал»; да ведь это визитная карточка с рекомендацией значительной особы, имея которую в кармане я смелее вхожу во всякий кабинет. Нужно заметить, что Фарадэй, сделавший самые удивительные (и тонкие) открытия в физике за этот век, не кончил даже гимназии или колледжа; не говоря о Платоне, который слушал только «мужика Сократа», и его диалогов до сих пор не умеют расщелкать искуснейшие из профессоров. Самому Гилярову — как будто судьба захотела подсмеяться над умным — привелось написать несколько (истинно замечательных) страниц по русской грамматике и набросать начало замечательного (говорят) трактата по политической экономии: как раздражен бы он был, как мучительно бы загорелся и бессильно опустил руки, если б ранее, чем читать эти специальные и живые страницы, читатель потребовал у него диплом филологического факультета и факультета юридического, на которых он не был. И между тем эту острую булавку непонимания он воткнул в голову Толстого. Толстой «игнорант»; но он умный и, следовательно, скромный * человек, и во всякой науке, говоря, будет говорить о той стороне предмета и в тех специальных ее частях, которые ему совершенно открыты и он стал на них неколеблющеюся пятой. Ведь если так судить, как его,— то смертным нельзя было бы раскрыть рот, ни просто даже беседовать между собою: ибо первый профессор астрономии не знает все-таки истории нравственных доктрин, и на попытку сказать, что его «обманули», что он «протестует», ему можно бы заткнуть рот тем, что он не изучал Гоббса, ни Мандевилля. Тогда нельзя ни о чем общем говорить; но разум дан человеку, чтобы понимать то тонкое разграничение, где в специальном начинается действительно специальное и где остается общее. Если б Толстой поправил Штрауса, что такой-то «codex sinaicus» ** он неправильно отнес к VI веку, когда по данным палеографии он относится к первой четверти VII, мы могли бы рассмеяться. Но когда он говорит: «не противься злumu»; или в одном случае: «должна рождать каждая честная женщина», или: «никакая и никогда», то он может говорить вздор, но нельзя ему возразить, что он не занимался филологической экзегетикой. Он говорит о практическом и из огромного практического опыта: нужно ловить или угадывать мотивы его речи и бороться с этими мотивами; не с «Толстым недостаточно образованным», а с Толстым-проповедником; «правдою» и против «правды» же. Очень печально, что в последнем сочинении «Об искусстве» Толстой как бы поддался на эти обвинения и привел убогое количество ссылок; «дал свидетельство знакомства с литературою предмета»; для понимающих его речь всегда и о всяком предмете интересна, с простою ссылкой, что это — речь умного и, следовательно, скромного, не заносящегося в незнакомые сферы, человека.

* Гений бывает «дерзок» в темах, от которых не может удержаться; но даже до преувеличенности скромнен в оценке средств решить тему.

** Синайская рукопись (*лат.*).

Мы упомянули о мотивах. Высоко печальны все-таки для православного и русского уклонения его последних лет; но тут жестокость негодования нашего должна притупиться о незнание именно всей полноты его мотивов. Левин (в «Ан. Карениной») женится — и как тревожна его исповедь; какой диалог (по поучительности) между священником и философом; как обаятельно лицо священника и сколько глубины в его простом недоумении-вопросе кающемуся:

— «Без веры в Бога, как же вы будете воспитывать детей?»

В последующих главах романа приведены отрывки из чина венчания; Долли и Левин — слушают и умиляются *. У Толстого была кроткая полоса в отношениях к церкви; он брел — некоторое время, и очевидно издавна (см. его «Юность» и там тоже радостное исповедание кн. Неклюдова), до очень поздних лет — как безмолвная овца в церковном научении; но что-то случилось, чего мы не знаем: ведь мы не знаем начатых и не конченных его работ, не слушали его бесед с людьми, не сливались с его зорким и пытливым глазом, когда он наблюдал то и это. Едва ли, однако, можно сомневаться, что у этого человека, у коего все идет из опыта и возвращается к жизни, и мотивом его церковных блужданий и (с нашей точки зрения) заблуждений служило что-нибудь практически-жизненное. Он мог не увидеть труда церкви там, где ожидал бы его видеть, жаждал видеть; он мог до излишества страстно скорбеть о том, о чем скорбят и тысячи православнейших людей: что, погружаясь в истончение богословских доктрин, церковь не проливает учения и, так сказать, жезла действия в скорбь и грязь, где копошится человечество. Излишество «не от мира сего», отчуждение от жизни, неслиянности с жизнью, столь очевидная и о которой скорбят преданнейшие церкви люди, — вот что, не уравновесившись в его душе тысячей соображений, которые действуют в прочих людях, могло вызвать его печальные и поспешные разочарования. Он впал в бедные и скудные опыты новых построений; нельзя не отметить, что тогда как в «Войне и мире», в «Анне Карениной», в «Севастопольских рассказах» он — может быть незаметно для себя — являлся религиознейшим писателем, заставив всех самым способом изображения почувствовать в жизни что-то трансцендентно-неясное, высокое, могущественное и праведное, — в это же время его катехизические опыты последних лет, это сгущенное богословие, бедны собственно религиозным элементом, сухо рациональны, этичны и иногда даже просто диетичны, т. е. сводят религию к правилам опрятного и жалостливого поведения. Где же тут Бог — как в битвах при Бородине? Судьба — как в неравенствах доль Наташи и Сони («Война и мир»)? Вмешательство иного мира в наши действия — как сны-предчувствия Вронского и Анны, или Немезида, которая тяготеет над Карениной? И в самом авторе — где преклонение перед неисповедимым? Все сужено:

* Ни в каких романах, в целой русской литературе, этого не сделано; и параллель есть только в известных «Извлечениях из поучений старца «Зосимы», в «Братьях Карамазовых». Иноческое научение, мирское научение — там и здесь почти церковными текстами.

и вместо мира, таинственного и пугающего, мира огромного — мы вступаем в келью-кабинет крайне понятного устройства, где нам показывают узоры новых умственных комбинаций, опять крайне понятных, т. е. существенно не религиозных.

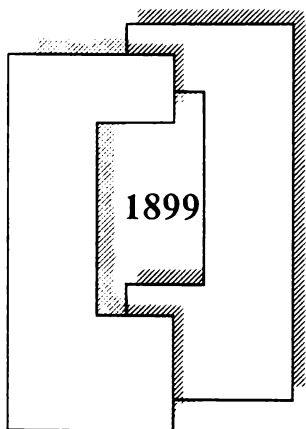
Но мы критикуем, когда хотели бы только очерчивать.

Повторяем, мы всех мотивов Толстого не знаем; но всякая попытка наша сухо-ригористически отнестись к последней публицистической его деятельности разбивается о соображение, что к исторической России, и даже к России православной и «правительствующей», автор «Войны и мира» пережил такую важнейшую, детски чистую и упорную (в 60-е годы) привязанность, до зарождения какой в себе миллионы нас не доросли. Он любил ее серою любовью солдата; «казака» на Кавказе; обыкновенного русского крепостного мужика. Ведь от мужика Дрона до двух братьев, офицера и прапорщика, которые спрашивают друг у друга о «родительских» деньгах перед тем как завтра умереть за отечество (см. конец «Севастопольских рассказов») — все это понятно Толстому, т. е. все это прошло страданием и любовью через его сердце.

Но мы отвлеклись к ненужной нам теме. При чтении романов Толстого, если следить за фигурами и жизненной судьбой героев как за иллюстрацией к тут же присутствующей и не напечатанной его мысли, его «философии» или, точнее, «философствования», то поразишься чрезвычайною множественностью пунктов в бытии человеческом, на которые устремлено его внимание. Элен Безухова хочет перейти в католичество (кажется, даже перешла) — и тут краткий ее диалог с «обращающим» священником. Известно, что о католичестве Толстой ничего не писал и как бы не интересовался этою «старой» темой: но он ею интересовался и в мимолетном штрихе дал твердый, отчеканенный ответ на вечную тему. Он не писал о славянофильстве, но он написал, как Кознышев, ища грибы, так и не объяснился с «Варенькой»; славянофильство взято в мясо, с костями, — и хотя чуть-чуть, но все же показано, что тут много из папье-маше и подкладной ваты. Если сплести тысячи таких штрихов и понять, что за каждым из них — море наблюдения и мысли; что штрих потому и приведен, что Толстой когда-то стоял и думал над целой темой и, разрешив ее в уме своем, дал этот скульптурный штрих: то мы и придем к заключению, что интерес (для читателя) и авторитет Толстого основывается на том, что среди всех теперь живущих или высказавшихся людей он видит наибольшее число предметов и с наибольшего числа точек зрения.

Это и образует фигуру «мудреца» «своего времени»: титул, который безотчетно у всех установился за Толстым, и по праву принадлежит ему. Отсюда и это лицо, которым последние дни множество из нас любовалось на окнах художественных магазинов и в иллюстрированных изданиях; его надо «заслужить», его можно только «выработать». Вообще, кто любит человека, не может не любить лица человеческого; «лицо»

у себя под старость мы «выслуживаем», как солдаты — «георгия». В лице — вся правда жизни; замечательно, что нельзя «сделать» у себя лицо, и если вы очень будете усиливаться перед зеркалом, «простодушное человечество» все-таки определит вас «подлецом». Лицо есть правда жизненного труда именно в скрытой, а не явной его части: это как бы навигаторская карта, но по которой уже совершилось мореплавание, а не предстоит. Сумма мотивов, замыслов; не одного осуществленного, но и брошенного в корзину. У Толстого — истинно-прекрасное лицо, мудрое, возвышенное; и по нему русское общество может гадать и довериться, что он знал заблуждения, но не — порочное, так сказать, в мотиве своем, в замысле. Это лицо чистого и благожелательного человека, и... «да будет благословенно имя Господне» за все и о всем, что он совершил.



А. С. Пушкин

Удивителен рост значения литературы за последние десятилетия. Выключая имя Толстого, мы не имели за последние 10—15 лет таких сил перед собою, какие имели решительно каждое десятилетие этого века.

Но, несмотря на это, поступательный рост внимания к литературе не останавливается. В литературе творится меньшее, слабейшее, но очевидно, вся литература, в целом своем, стала столь ценным явлением, ее плоды так ярки и непререкаемы, что недостаток отдельных ярких точек уже не ослабляет общей световой силы ее и внимание относится не столько к лицу писателя, сколько к существу слова. Недавно исполнилась 50-летняя годовщина смерти Белинского; теперь — сто лет со дня рождения Пушкина. Какое же имя не литературное и поприще вне литературы найдем мы, которое пробудило бы вокруг себя у нас столько духовного и даже физического движения. Наступило время, что всякое имя в России есть более частное имя, нежели имя писателя, и память всякого человека есть более частная и кружковая память, чем память творца слова. Кажется, еще немного, и литература станет у нас каким-то *ἱερός λόγος*, «священною сагою», какие распевались в древней Греции: так много любви около нее и на ней почил и, верно, так много есть любви в ней самой. Это — огромный факт. Россия получила сосредоточение вне классов, положений, вне грубых материальных фактов своей истории; есть место, где она собрана вся, куда она вся внимает, это — русское слово.

Неудивительно, что место этого сосредоточенного внимания имеет свои святыни. Это не только сила; наоборот, сила этого духовного средоточия русского общества вся и вырастает из того, что оно сумело стать воочию для всех и для всех признанным святым местом. Замечательна в этом отношении оценка многих русских писателей: над гробом многих из них поднимался упорный и продолжительный спор об их так называемой искренности. Какое было бы дело до этого, если бы литература была у нас только силою или если бы она была только красотою: «прекрасное и мудрое слово» — разве этого недостаточно для бессмертия? Нет, до очевидности нет — у нас: начинаются споры, начинается внимательнейшее посмертное исследование слов писателя, проверяемых

его жизнью. Так древние египтяне производили суд над мертвыми, и мы делаем через 2000 лет то же: с великой беспощадностью мы перетряхиваем прах умершего, чтобы убедиться в такой, казалось бы, литературно-безразличной вещи, как его чистосердечие.

Что же это значит? Что за критический феномен? Мы ищем в писателе, смешно сказать... святого. Томы его сочинений свидетельствуют об образности языка, о пронизательности мысли, о прекрасном стихосложении или благоуханной прозе. И вдруг Аристарх, совершенно нигде невиданный Аристарх замечает или заподозривает: «Да,— но все это было вранье». Замечание это нигде не обратило бы на себя внимания, потому что не содержит в себе в сущности никакого литературного обвинения, но у нас оно поднимает заново вопрос о писателе, и пока он не решен, место писателя в литературе вовсе не определено: начинается «суд» именно с точки этого специального вопроса, опаснейший у нас суд. И хотя немного, но есть у нас несколько репутаций, пользовавшихся при жизни огромным, непобедимым влиянием, которые, попав уже по смерти на черную доску, умерли разом и окончательно. Чудовищное явление: но оно-то и объясняет, почему у нас литература стала центральным национальным явлением.

Есть свои святыни в этой сфере, свой календарь, свои дорогие могилы и благодарно вспоминаемые рождения. Сегодня — первый вековой юбилей главного светоча нашей литературы. Мы говорим — «первый», потому что не думаем, чтобы когда-нибудь века нашей истории продолжали течь и в надлежащий день «26 мая» не было вспомнено имя Пушкина.

Сказать о нем что-нибудь — необыкновенно трудно; так много было сказано 6 и 7 июня 1880 года, при открытии ему в Москве памятника, и сказано первоклассными русскими умами. То было время золотых речей: нужно было преодолеть и победить, в два дня победить, тянувшееся двадцать лет отчуждение от поэта и непонимание поэта. Ясно, почему битва была так горяча и блистательна, победа — так великолепна. Что нам остается сказать теперь? Увы, все золото мысли и слов исчерпано и приходится или вновь сковать несколько жалких медяков, или лучше подвести скромно итог тогда сказанному, без претензий на оригинальность и новизну. Так и поступим.

Пушкин — национальный поэт, вот что многообразно было утверждено тогда. Что значит «национальный поэт»? Разве им не был Кольцов? Почему же мы усиленно придаем это определение Пушкину, не всегда прибавляя его к имени Кольцова? Он не был только русским по духу, как Кольцов, но русскому духу он возвратил свободу и дал ему верховное в литературе положение, чего не мог сделать Кольцов и по условиям образования своего, и по размеру сил. Можно быть свободным и независимым — по необразованности; можно сохранить полную оригинальность творчества, не имея перед собою образцов или чураясь образцов, зажимывая перед ними глаза. Этою мудростью

страуса, прячущего перед охотником голову под крыло, грешили и грешат многие из нас, иногда грешили славянофилы: они не смотрели (повторяю — иногда) на Европу и тем побеждали ее, избегая соблазнительного заражения. Отождествляя Европу с Петербургом, Ив. Аксаков говаривал: «Нужно стать к Петербургу спиной». Ну, и прекрасно, — для Европы и для Петербурга; но что же специально приятного или полезного получалось для такого стоятеля? Проигрыш, просчет; а что касается до сил, — то и яркое признание их незначительности. Вот почему было много «руссизма» в славянофилах, но никогда они не сумели сделать свою доктрину центральным национальным явлением. Пушкин не только сам возвысился до национальности, но и всю русскую литературу вернул к национальности, потому что он начал с молитвы Европе, потому что он каждый темп этой молитвы выдерживал так долго и чистосердечно, как был в силах: и все-таки на конце этой длинной и усердной молитвы мы видим обыкновенного русского человека, типичного русского человека. В нем, в его судьбе, в его биографии совершилось почти явление природы: так оно естественно текло, так чуждо было преднамеренности. Парни, Андре Шенье, Шатобриан; одновременно с Парни для сердца — Вольтер для ума; затем Байрон и, наконец, Мольер и Шекспир прошли по нему, но не имели силы оставить его в своих оковах, которых, однако, он не разбивал, которых даже не усиливался снять. Все сошло само собою: остался русский человек, но уже богатый всемирным просвещением, уже узнавший сладость молитвы перед другими чужеродными богами. Биография его удивительно цельна и едина: никаких чрезвычайных переломов в развитии мы в нем не наблюдаем. Скорее он походит на удивительный луг, засеянный разными семенами и разновременного всхода, которые, поднимаясь, дают в одном месяце одно сочетание цветов и такой же общий рисунок; в следующий месяц — другой и т. д.; или, пожалуй, — на старинные дорогие ковры, которые под действием времени изменяют свой цвет, и чем долее, чем позднее, тем становятся прекраснее. Да в стихотворении

«Художник-варвар кистью сонной»

— он сам так и определил себя. Тут только не верно слово «варвар»: напротив, душу Пушкина чертили великие гении и его создания, его «молитвы» перед ними сохраняют и до сих пор удивительную красоту и всю цену настоящих художественных творений. Без этого Пушкин не был бы Пушкиным и вовсе не сделался бы творцом нашей оригинальности и самобытности. Посмотрите, как он напоминает эти чуждые на себе краски, уже свободный от них, когда уже спала с него их «ветхая чешуя». Как глубоко сознательно он относится к богам, когда-то владевшим его душою. Он начинает с Вольтера, когда-то любимца своего, коего «Генриаду» он предпочитал всем сладким вымыслам:

...циник поседелый,
Умов и моды вождь *пронырливый и смелый*,
Свое *владычество* на Севере любя,—
Могильным голосом приветствовал тебя.
С тобой *веселости* он расточал избыток,
Ты *лесть* его вкусил, земных богов напитков.

Какая точность! Какое понимание человека и писателя! Что нового прибавил к этим шести строкам в своей блестящей характеристике Вольтера Карлейль? Ничего, ни одной черты, которая не была бы здесь вписана. Но человека можно понимать только в обстановке:

...увидел ты Версаль;
Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало все... Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветреным двором окружена.

Как многое достигнуто одною заменой имени Марии-Антуанетты греческим: «Армида». Гениально поставленное слово воскрешает в вас разом «Сады» Де-Лиля, весь ложный классицизм, полусмеженный пасторалью, когда придворные дамы, читая Феокрита, неудержимо разводили своих коров и навевали лучшие сны юному еще Жан-Жаку.

Ты помнишь Трианон и шумные забавы?
Но ты не изнемог от сладкой их отравы;
Ученье делалось на время твой кумир;
Уединялся ты. За твой суровый пир
То читатель промысла, то скептик, то безбожник
Садился Дидерот на шаткий свой треножник.
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедовал. И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту
Как любопытный скиф афинскому софисту.

Тут опять мы припоминаем «Путешествие молодого Анахарсиса», которым на Западе и у нас зачитывались в XVIII веке. Заменой «Дидеро» — «Дидеротом», как писалось это имя в екатерининскую эпоху, новой пушкинской странице вдруг сообщается колорит времен Богдановича, Княжнина, Сумарокова. У Пушкина повсюду в исторических припоминаниях есть это удивительное искусство воскрешать прошлое, и помощью самых незаметных средств: он поставит, например, неупотребительное уже в его время «афей», и точно вы находите в книге новой печати старый засохший цветок, екатерининский цветок, и чувствуете аромат всей эпохи.

Скучая, может быть...
Ты думал дале плыть. Услужливый, живой,
Подобный своему чудесному герою,
Веселый Бомарше блеснул перед тобою.
Он угадал тебя: в пленительных словах
Он стал рассказывать о ножках, о глазах,

О неге той страны, где небо вечно ясно;
Где жизнь ленивая проходит сладострастно.
Как пылкий отрока, восторгов полный, сон;
Где жены вечером выходят на балкон,
Глядят и, не страшась ревнивого испанца,
С улыбкой слушают и манят иностранца.

Опять какая точность! «Блеснул»... Действительно, при огромном значении, Фигаро Бомарше не имеет вовсе в истории литературы такого фундаментально-седалищного положения, как, например, Дидеро или даже как Бернарден де Сен-Пьер: какой-то эпизод, быстро сгоревшая магниева лента, вдруг осветившая Франции ее самое, но и затем моментально потухшая, прежде всего по пустоте Фигаро-автора.

И ты, встревоженный, в Севиллу полетел.
Благословенный край, пленительный предел!
Там лавры зыблются, там апельсины зреют...
О, расскажи ж ты мне, как жены там умеют
С любовью набожность умильно сочетать,
Из-под мантильи знак условный подавать;
Скажи, как падает письмо из-за решетки,
Как златом усыплен надзор угрюмой тетки;
Скажи, как в двадцать лет любовник под окном
Трепещет и кипит, окутанный плащом.

И опять тут тон, краски и определения прекрасного гейневского стихотворения «Исповедь испанской королевы»:

Искони твердят испанцы:
«В кастаньеты громко брякать,
Под ножом вести интригу
Да на исповеди плакать —
Три блаженства только в свете».

Пушкин продолжает, — и какая, без перемены стихосложения перемена тона:

Все изменилось. Ты видел вихорь бури.
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон.
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы,
Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,
Превратности судеб разительный пример,
Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доныне странствует с кладбища на кладбище.
Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причет,
И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мнения, толки, страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, бывшее истребля.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,

Едва опомнились молодые поколения
Жестоких опытов собирая поздний плод.
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры,
Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.

Какая бездна критики во всем приведенном стихотворении. Ведь это — курс новой литературы, так бесцветно обыкновенно развиваемый на сотнях водянистых страниц учеными, томы которых мы имеем неосторожность читать вместо того, чтобы заучить наизусть, упиться и, упиваясь, невольно запомнить эти краткие и вековые строфы!

Но чтобы их написать, разве достаточно волшеббно владеть стихом? Нужны были годы развития, сладостная молитва перед этими именами и осторожная от них отчужденность, основанная на тончайшем вкусе, и моральном, и эстетическом.

Умов и моды вождь пронирующий и смелый...

Кто это сказал о Вольтере, уже перерос Вольтера. Так Пушкин вырастал из каждого поочередно владевшего им гения,— как бабочка вылетает из прежде живой и нужной и затем умирающей и более не нужной куколки. Пушкин оживил для нас Вольтера и Дидеро; заставил вспомнить их, даже их полюбить, когда мы и не помнили уже, и уже не любили их; в его абрисах их нет и тени желчи, как и никакого следа борьбы с побежденным гением. Это — любовное, любящее оставление, именно, вылет бабочки из недавно соединявшейся с нею в одно тело оболочки, «ветхой чешуи». Ум и сердце Пушкина, как это ни удивительно, как ни странно этому поверить, спокойно переросли столько гениев, всемирных гениев. Факт поразителен, но он точен, и мы точно его формулируем. Никто не отважится утверждать, что в приведенных характеристиках есть неполнота понимания; и никто же не докажет, что можно отчуждаться от гения, поэта или философа, вполне понимаемого, не став с тем вместе и выше его.

Таким образом, слова о себе Пушкина, что память о нем и его памятник подымется

...выше Наполеонова столпа,—

не есть преувеличение: и даже сравнение взято не искусственно. Пушкин был царственная душа; в том смысле, что, долго ведомый, он поднялся на такую высоту чувств и созерцаний, где над ним уже никто не царил. То же чувство, какое овладело Гумбольдтом, когда он взобрался на высшую точку Кордильер: «Смотря на прибой волн Великого океана, с трудом дыша холодным воздухом, я подумал: никого нет выше меня. С благодарностью к Богу я поднял глаза: надо мной вился кондор» («Космос»).

Сейчас, однако, мы выскажем отрицание о Пушкине. И над ним поднимался простой необразованный прасол Кольцов — в одном определенном отношении, хотя в другом отношении этот простец духа стоял у подошвы Кордильер. Как он заплакал о Пушкине в «Лесе» — этим простым слезам

Что дремучий лес,
Призадумался.

.....
Не осилили тебя сильные,
Так зарезала
Осень черная

мы можем лучше довериться, чем более великолепному воспоминанию Пушкина о Байроне:

Меж тем как изумленный мир
На урну Байрона взирает
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает.

До чего тут меньше любви! Есть великолепие широкой мысли, но нет той привязанности, что не умеет развязаться, нет той ограниченности сердца, в силу которой оно не умеет любить многого, и в особенности — любить противоположное, но зато же не угрожает любимому изменой... Пушкин был универсален. Это все замечают в нем, заметил еще Белинский, заметили даже раньше Белинского непосредственные друзья поэта, назвавшие его «протеем». Но есть во всякой универсальности граница, и на нее мы указываем: это — забвение. Пушкин был богат забвением, и, может быть, более богат, чем это вообще удобно на земле, желательно на земле для ее юдоли, но это забвение — гениальное. Он все восходил в своем развитии; сколько «куколок», умерших трупиков оставил его великолепный полет; эти смертные остатки, сброшенные им с себя, внушают грусть тем, кто за ним не был в силах следовать. Где же конец полета? что, наконец, вечно и абсолютно? Атмосфера все реже и реже;

Ты — Царь. Живи один...

Глазам обыкновенного смертного трудно и тягостно за самого гения следить этот полет, взор, наконец, отрывается от него — потому-то гениальные люди остаются непонятными для самых близких своих, к своему и их страданию!.. Не та ли темная пустота раскрывается перед этим восходящим полетом, которая делает гениальных людей безотчетно сумрачными и, уходящей которой, люди, простые люди, так любят жаться на земле друг к другу, оплакивать друг друга, хранить один о другом память; и отсюда вытекли если не самые великолепные, то самые милые людские сказочки и песенки. Отсутствие постоянного и вечно одного и того же составляет неоспоримую черту Пушкина и в особом смысле — слабость его, впрочем, только перед слабейшими на земле. Собственно абсолютным перед нами является только его ум и критическая способность; но тем глубже и ярче выступает временность

и слабость перед ним всего, что было на земле предметом его внимания, составило содержание его творений. Нет суженной, но в суженности-то и могучей цели, как нет осязаемо постоянной меры всем вещам, если не назвать ею вообще *правду*, вообще *прелесть*: но это — качества, а не имя предмета, как и не название лица или даже убеждения. Пушкин был великий «прельститель», «очарователь», владыко и распорядитель «чар», впрочем, и сам вечно живший под чарами. Но под чарами чего? Тут мы находим непрерывное движение и восхождение, и нет конца, нет и непредвидимо даже завершение восхождения:

...В цепях, в унынии глубоком
О светских радостях стараясь не жалеть,
Еще надеясь жить, готовясь умереть,
Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком,
Под черным куколом, с *распятием в руках,*
Согбенный старостью беседовал монах.
Старик доказывал страдальцу молодому,
Что смерть и бытие равны одно другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа
И что подлунный мир не стоит ни гроша.
С ним бедный Клавдио печально соглашался,
А в сердце милою Джульетой занимался.

(«Анжелло»)

Какая правда, и вместе какое безмерное любование юности на себя, на радость жизни и мира! И около этого, с равною красотою, но не с большею правдою и не с большею простотою, умиление перед полным упразднением всякой юности и всякого земного тления:

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем улетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И павшего свежит неведомою силой:
«Владыко дней моих, дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи».

У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоят сын и отец в «Скупом рыцаре»; входящий к Альберу еврей есть еще контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Моцарт — в таком же между собою отношении взаимного отрицания. «Египетские ночи», быть

может, лучший или, по крайней мере, самый роскошный пример этой манеры Пушкина: петербуржец Чарский, с его мелочной о себе озабоченностью, и скупой и гениальный «импровизатор», так мало усиливающийся скрыть свою жадность к деньгам, и, наконец,— Клеопатра.; далее, если от лиц перейдем и к сценам: петербургский концерт и ночь в Александрии: какие сочетания! Откуда же этот закон у Пушкина, это тяготение его воображения к совмещению на небольшом куске полотна разительных противоположностей: закон прелести и как бы высшего засвидетельствования... о «несотворенном себе кумире». Мир был для Пушкина необозримым пантеоном, полным божеского и богов, однако, везде в контрасте друг с другом, и везде — без вечного, которому-нибудь поклонения. Это и делает абсолютным его, но без абсолютного в нем, кроме одного искания бестрепетной правды во всем, что занимало его ум. Вечный гений — среди преходящих вещей.

«Преходящими вещами» и остались для Пушкина все чужеродные идеалы. Они не отвергнуты, не опрокинуты. Нет, они все стоят на месте, и через поэзию Пушкина исторгают у нас слезы. Отсюда огромное воспитывающее и образующее значение Пушкина. Это — европейская школа для нас, заменяющая обширное путешествие и обширные библиотеки. Но дело в том, что *сам* Пушкин не сложил своих костей на чужом кладбище, но, помолившись, вернулся на родину цел и невредим. Надо, особенно, указать, что сказки, его предисловие к «Руслану» и вообще множество русизма относится к очень молодым годам, так что не верно изображать дело так, что вот «с годами он одумался и стал руссачком». Это — слишком простое представление, и неверное. Дело именно заключается в способности его к возрождению в его универсальности и простоте, простоте, всегда ему присущей. Он ни в чем не был напряжен. И... с Байроном он был Байрон; с Ариной Родионовной — угадчик ее души, смиренный записыватель ее рассказов; и когда пришлось писать «Историю села Горохина», писал ее как подлинный горохинец. Универсален и прост, но всегда и во всем; без швов в себе; без «разочарований» и переломов. В самом деле, не уметь разочаровываться, а уметь только очаровывать — замечательная черта положительности.

* * *

В своих тетрадах, посмертно найденных, он оставил следы критической работы над чужеземными гениями. Замечательную особенность Пушкина составляет то, что у него нельзя рассмотреть, где кончается вдохновение и начинается анализ, где умолк поэт и говорит философ. Обратите внимание у монолога Скупого рыцаря стихотворную форму, и перед вами платоновское рассуждение о человеческой страсти. У Пушкина не видно никаких швов и сшивок в его духовном образе. Слитность, монолитность — его особенность. Его огромная способность видеть и судить, изумительная и постоянная трезвость головы и помогла ему увидеть или ложное в каждом из владевших им гениев, или — и это гораздо чаще —

ограниченное, узкое односторонне-душевное (суждения о Байроне и Мольере).

Он остался, из-под всех сбежавших с него красок, великою русскою душою. Мы упомянули о черновых его набросках, заговорили об его уме: в самом деле, среди современников его, умов значительных и иногда великих, мы не можем назвать ни одного, который был бы так свежо-поучителен для нас и так родствен и душевно-близок. Жуковский пережил Пушкина; Чаадаев был его учителем; Белинский был его моложе: однако все три как архаичны сравнительно с Пушкиным! Как, наконец, архаичны для нас даже корифеи 60-х годов: не враждебны, но именно старомодны. Между тем в публицистических своих заметках, как журналист, как гражданин, Пушкин не испортил бы гармонии, сев между нами как руководитель наш, как спикер сегодняшней словесной палаты. Вот удивительная в нем черта: он не только пожелал освобождения крепостного населения, но в пожелании предугадал и образ этого освобождения:

...по манию царя.

Как глубоки и отвечают современным нам мыслям его замечания о внутреннем управлении в царствование Екатерины II. Или его заметка о речи Николая I на Сенной площади, во время холерных беспорядков, к народу. Державин написал бы по этому поводу оду, Жуковский — элегию, Белинский — восторженную статью, и даже перед фактом оказался бы молод Герцен; Пушкин осторожно оговаривает: «это хорошо раз, но нельзя повторять в другой раз, не рискуя встретить реплику, которая носила бы очень странный вид и на которую не всегда можно найти удачно ответить». Это почти речь Каткова, его сухой слог и деловитая осторожность. До Пушкина мы имели в писателях одистов или сатириков, но только в Пушкине созрел гражданин, обыватель. очень прозаических черт, но очень старых, седых, очень нужных. Обращаясь к императору Николаю, он говорил:

Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий,
Самодержавною рукою
Он смело сеял просвещение.

Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь прашуру подобен,
Как он — неутомим и тверд
И памятью, как он, незлобен *.

* Император Николай I, поговорив с час с 26-летним Пушкиным, сказал: «Я говорил сейчас с умнейшим человеком в России». Очевидно, Россия перед обоими стояла одна и та же, хотя разница в высотах созерцания, казалось бы, была несравнимая.

Этой твердости и спокойствия тона не было у Жуковского, не было у нервно-капризного Грибоедова. Из этого трезво спокойного настроения его души вытекли внешние хлопоты его об основании журнала: его черновые наброски в самом деле все представляют собою как бы подготовительный материал для журнала; из них некоторые в тоне и содержании суть передовые статьи первоклассного публициста, другие суть критические статьи, и последние всегда большей зрелости и содержательности, чем у Белинского.

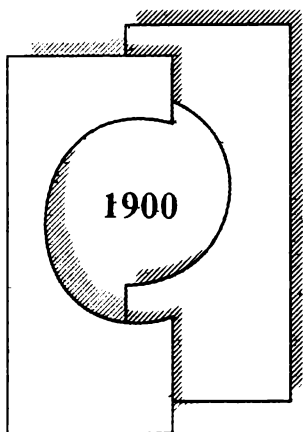
Появление «Современника» в формате, сохранившемся до минуты закрытия этого журнала, самым именем своим свидетельствует о крайней жадности Пушкина применить свой трезвый гений к обсуждению и разрешению текущих жизненных вопросов. Так из поэта и философа вырастал и уже вырос гражданин.

У Гете Фауст, в самом конце второй части, занимается,— да всюю душою,— простыми ирригационными работами: проводит канал и осушает поля. Мы знаем, что сам творец «Вертера» и «Фауста» с необыкновенным интересом ушел в научные изыскания: о теории цветов, о морфологии организмов.

Есть кое-что родственное этому у Пушкина, в этом практицизме его, в журнальных хлопотах, публицистической озабоченности. Укажем здесь один контраст: Достоевский накануне смерти пишет самое громоздкое и обильное художественное создание — «Карамазовых», Толстой — стариком создает самое скульптурное произведение «Каренину», — Лермонтов — в последние полгода пишет множество и все лучших стихов. Но просматривая, что именно Пушкин написал в последние 1½ года жизни, мы видим с удивлением все деловые работы, без новых поэтических вспышек или концепций. Мы можем думать, что собственно поэтический круг в нем был сомкнут: он рассказал нам все с рождением принесенные им на землю «сны» и по всему вероятно остальная половина его жизни не была бы посвящена поэзии и особенно не была бы посвящена стихотворству, хотя, конечно, очень трудно гадать о недоконченной жизни. С достаточным правом во всяком случае можно предполагать, что если бы Пушкин прожил еще десять — двадцать лет, — то плеяда талантов, которых в русской литературе вызвал его гений, соединилась бы под его руководством в этом широко и задолго задуманном журнале. И история нашего развития общественного была бы, вероятно, иная, направилась бы иными путями. Гоголь, Лермонтов, Белинский, Герцен, Хомяков, позднее Достоевский пошли вразброд. Между ними раскололось и общество. Все последующие, после Пушкина, русские умы были более, чем он, фанатичны и самовластны, были как-то неприятно партийны, очевидно, не справляясь с задачами времени своего, с вопросами ума своего, не умея устоять против увлечений. Можно почти с уверенностью сказать, что, проживи Пушкин дольше, в нашей литературе, вероятно, вовсе не было бы спора между западниками и славянофилами, в той резкой форме, как он происходил, потому что авторитет

Пушкина в его литературном поколении был громаден, а этот спор между европейским Западом и Восточной Русью в Пушкине был уже кончен, когда он вступил на поприще журналиста. Между тем сколько сил отвлек этот спор и как бесспорны и просты истины, им добытые долговременною враждой! Но отложим гадания, признаем бесспорное.

Путь, пройденный Пушкиным в его духовном развитии, бесконечно сложен, утомительно длинен. Наше общество — до сих пор Бог весть где бы бродило, может быть, между балладами Жуковского и абсентеизмом Герцена и Чаадаева, если бы из последующих больших русских умов каждый, проходя еще в юности школу Пушкина, не созревал к своим 20-ти годам его 36-летней, и гениальной 36-летней, опытностью. И так совершилось, что в его единичном, личном духе Россия созрела, как бы прожив и проработав целое поколение.



На границах поэзии и философии

Стихотворения
Владимира Соловьева

Издание третье, дополненное.
С. Петербург, 1900 г.

Среди всех литературных фигур наших нет ни одной столь... сложно составной и трудной для понимания и оценки, как всем знакомая и вместе едва ли кому известная фигура автора лежащей перед нами изящной книжки стихов. У Вл. Соловьева, оче-

видно, не один дар; настойчиво хочется сказать — в нем не одна душа, по крайней мере не одно настроение. Перед нами специалист-ученый, специалист-публицист, специалист-богослов и вовсе не притворный и не деланный поэт: какое обилие призваний, тем. Преобладающий интерес к богословствованию сближает его с Хомяковым, но Хомяков весь — в служении России, между тем как до очевидности ясно, что у г. Вл. Соловьева Россия ни в одной области его занятий не занимала первенствующего места, не была *prima donna*, но всюду становилась на второе, подчиненное и служебное место. Это в свое время вызвало наибольшее критическое ожесточение против него. Всем казалось странным и немного циничным, что такого ископаемого мамонта, как Россия, человек нашего текущего дня и нашего текущего общества обращает в передаточное колесо механизма, пусть бы даже замечательных своих идей, но все же, по происхождению автора, идей русских, а не свехрусских. Но не будем критиковать, а станем характеризовать. Чтобы найти параллель Соловьеву, мы должны пойти в чужеземные истории, выбрать эпоху или критического перелома, или вымирающего эклектизма, но вернее и правдоподобнее первого: народ ломался, время ломалось; в точке излома совершалось величайшее движение, тут была великая талантливость и вместе полная неуверенность в себе, непонимание «сегодня», незнание, что будет «завтра». И вместе из точки этого исторического разрыва торчат безобразные углы, колющие шипы, вообще неприятное и болезненное. В силу самого характера такой минуты человек не знает, что значит служить своему народу и может в такую минуту предатель сойти за патриота, а патриот может не только сойти, но и быть в самом деле предателем. Тут — исторически темно; темно идущему и темно его критикам.

Нам кажется так лучше всего объяснить его удивительнейшую судьбу. Мало было в нашей литературе людей, которые бы столь единодушно приветствовались при появлении, как г. Вл. Соловьев в семидесятые годы, когда он чуть не 23-х лет выступил как доктор философии с «Кризисом западной философии против позитивизма». Солидные, заслуженные ученые, как Б. Н. Чичерин, отвечали целыми трактатами на диссертацию. Все ему улыбалось тогда и все на него улыбалось. И потом долгие годы общество русское в высших образованных его слоях, по-видимому, делало все усилия, чтобы как можно долее прощать ему, забывать его ошибки, ожидать от него поворотов к лучшему. Никого так упорно множество людей не хотело непременно любить. Но тут стало происходить что-то, очевидно высшее и сильнейшее, нежели частные произволения. Дело в том, что г. Вл. Соловьев не только не равнодушен к... «психологии толпы», но его душа как бы сейчас только обнажилась от испанской мушки и чувствительна к укусу комара, как бы это был удар шила. Казалось бы при такой гармонии между впечатлительностью писателя и готовностью общества от него все ожидать и ожидать — он должен был лечь счастливо в свою ячейку, охорошиться в ней, созреть, утешиться и сотворить жизнь, достойную своих талантов и радостную для своего времени. Между тем с каждым шагом вперед он делает что-то до такой степени неправильное, изломанное, прямо неестественное, что ожидания всех мало-помалу стали переходить в отчаяние, привязанность — в раздражение и, наконец, в явное неуважение, а у сколько-нибудь его любящих, вероятно, поднималась глубокая скорбь... В самом деле, были у нас фигуры в литературе ненавидимые; но, вероятно, множество читателей согласится со мною, вдумавшись, взглядевшись во впечатление истекших лет, что фигура Соловьева поразительна тем, что около нее скопилось множество не негодования, а... неуважения, неуважительных, пренебрежительных чувств, взглядов, мнений, отзывов. И что еще поразительнее — этот упадок уважения нисколько не выражается в желании отнять у него дарования или отвергнуть его заслуги, даже ограничить его успехи. «Ты успеваешь; мы тебя приветствуем; но мы совершенно холодны к твоим успехам, и нам не нужны ни эти успехи, ни ты сам».

Тут... какая-то историческая бесовщина; но, вероятно, многие согласятся со мною, что действительно мало есть людей и даже вовсе их не было, которые, занимая столь видное положение в поле зрения своего времени, были бы так глубоко инородны, чужеродны, почти чужестранны для людей этого времени. Сколько у нас до сей минуты любви к Баратынскому, поэту-философу; Гл. Успенский имеет, может быть, очень тесный, но зато фанатический культ к себе; Писарев, Добролюбов — все это точки притяжения национальной любви. Вот этого центра притяжения не образует г. Вл. Соловьев. И этому вовсе не препятствует, что его работами по богословию и философии пользуются и будут

пользоваться. Тут есть что-то странное. Масло и вода не сливаются. Вообще есть вещества, не образующие никакого из себя соединения. Россия или, по крайней мере, русский ум, русская душа и стоящий перед нею данный человек не сливаются и не образуют никакого нового соединения.

Заслужил ли он этой судьбы? Можем ли мы сказать, что он не любил своего отечества? Позволю высказать один каприз своей догадки. Невозможно, конечно, доказать, но как-то можно чувствовать, что если бы в роковую минуту вдруг нужно было прямо умереть, погибнуть за Россию — жизнь за жизнь — странная эта и непонятная фигура прямо бросилась бы в пропасть, как какой-то римский воин в битве бросился в какую-то роковую расщелину земли и тем спас Рим. И без фразы, и не потому, что на глазах общества, а даже — ночью, невидимый и без вознаграждения. В г. Вл. Соловьеве есть что-то предопределенное, роковое; неуклонное для него. «Судьбы на коне не объедешь»: и это относится именно к печальным и двусмысленным сторонам его полета. Но почти бесспорно потребность любви и жертвы в нем обитает огромная. Любит ли он Россию? — Конечно, да! — Бога? — Конечно и конечно! Истину, науку, философию? — Опять, да! Но служить ничему он не умеет. И не умеет... охватить никакой цели. Золотая голова, серебряная шея, медная грудь... и, дальше — железо, кирпич, песок, глина, плохо, хуже и хуже. Так виделся какой-то бессильный сон Навуходоносоры.

У Достоевского в его смутных «Бесах» есть одна фигура, которую замечательно характеризует другое лицо: «если Ставрогин верит (положим, в Бога или во что-нибудь), то он не верит, что он верит; а когда он не верит, то он не верит, что не верит». Выслушав это странное определение целостной натуры, ее «святая святых», третье лицо говорит, что это определение «довольно глупо». Но, однако, почему же глупо? Я думаю, такая «простреленность» души скептицизмом должна между прочим порождать в человеке глубокое и постоянное смятение ума и чувств, соединенное с ледяным равнодушием сердца. Но вот если бы столь очевидная и короткая вещь, такое $2+2=4$, как броситься в пропасть за отечество — то геройское движение великим скептиком было бы совершено.

Еще одно и последнее замечание, относящееся к общей литературной физиономии г. Вл. Соловьева. Говорили, и много раз, почти постоянно, что г. Вл. Соловьев «перешел в лагерь либералов для популярности» и что таков был мотив его перехода из «Русского Вестника» катковской редакции и из аксаковской «Руси» в «Вестн. Европы». Однако почему же? Консервативная популярность так же сладка, как и либеральная; а в смысле сфер влияния и обширности популярности, конечно, впереди либерализма у нас всегда стоял радикализм. «Вестн. Европы» никогда не был сладко-любимым органом печати; он читался, и обширно, но он не имел аудитории заслушивающейся, читателей зачитывающихся. Между тем можно подметить, что если Вл. Соловьев ищет быть любимым,

то горячо и интимно, а не в смысле просто известности. Далее, консерватизм есть стояние; это — status quo; между тем даже из такой мелочи, как его постоянные, в сущности, путешествия (см. темы его стихов), то в Норвегию, в Шотландию, во внутреннюю Финляндию, в Архипелаг, Египет (немножко похоже на старшего сына Владимира Св.), — даже из этой географической непосидчивости, с которой ни малейше не расходятся и все его остальные способности и дары, как бы не сохраняющие устойчивого равновесия, — очевидно, что он и не мог иначе, как случайно и минутно, или, пожалуй, «для хитрости», находиться в лагере ожесточенного стояния на месте. Он мог быть не искренен в «Русск. Вестнике»; но в «Вестн. Европы» он искренен.

* * *

Было бы неблагоразумно и грубовато ожидать от человека, который столь большую долю усилий и жизни посвятил философствованию, богословствованию и общественной борьбе, чтобы он в то же время был выдающийся поэт. Мы, во всяком случае, благодарны, что он «и поэт». Ксенофан, греческий философ, изложил свое афористическое и, однако, глубокое мышление в нескольких стихотворных отрывках; Парменид написал поэму, выразившую в двух половинах «мнения смертных» и его собственные философские открытия; пифагорец Филолай изложил мистику чисел, непонятную и в прозе, и с комментариями, тоже в стихах и без всяких комментариев. На наш лично взгляд, плох тот человек, который не писал стихов; и плоха та философия, в которой ни одна часть не просится в стихи. В средние века писали множество научных стихов, и, между прочим, в стихах излагали даже арифметику. Кажется, единственный род словесных и умственных произведений, никогда не оканчивавшихся рифмами, — это проповеди. По всей совокупности этих данных нет ничего безвкусного соединять серьезную, даже философскую мысль с стихотворною формою; но в данном случае мы нисколько не имеем перед собою философов, изложенных вместо прозы стихами, а блестящие и вейния настоящей поэзии, совершенно невыразимые или едва ли выразимые прозою.

На вопрос, почему люди пишут стихами, а не прозою, можно, действительно, дать этот общий ответ, что стихи есть особенная и новая форма для содержания тоже особенного и нового. Напр., что вы сделаете в усилиях переложить из ритмических строчек в неритмические следующие нашего поэта-философа:

Ступая глубоко
По снежной пустыне сыпучей
К загадочной цели
Иду одиноко.
За мной только ели
Кругом лишь далеко.

Раскинулась озера ширь в своем белом уборе,
И вслух тишина говорит мне: неожиданное сбудется вскоре.

Лазурное око
Опять потонуло в тумане,
В тоске одинокой
Бледнеет надежда свиданий.
Печальные ели
Темнеют вдали без движенья,
Пустыни без цели
И путь без стремленья
И голос все тот же звучит в тишине без укора:
Конец уже близок, неожиданное сбудется скоро.

У г. Соловьева нет сильного стиха. Вообще в поэзии — он рисовщик красивых фигур, образов, положений. Если бы в нашей воле было сочетать облака на небе, передвигать их и группировать — это могло бы нас занять, могло бы занять художника-созерцателя. Таков и есть Соловьев: из тумана мыслей, не сильных волевых движений, воспоминаний и ожиданий он ткёт фигуры, сцены, случаи, всегда бледные, но часто изящные и привлекательные.

В стихотворной его манере есть черты родства с гр. А. Толстым. Неудачнейшие стихи — те, где он пытается шутить, что всегда у него выходит неуклюже. Таково «Скромное пророчество» или в серьёзном по теме стихотворении: «Три свидания» — воспоминание о первой своей в девятилетнем возрасте любви, когда о предмете этой любви ему объяснила бонна:

Володенька — ах! слишком он глупа!

Конечно, немцы ломают наш язык; но зачем передавать это несколько не в колоритном стихотворении. Это — лишнее в теме, а следовательно, и мешающее ей. Лучшие раковинки его поэзии, в которых нарастает жемчуг, находятся на границах религии и философии. Таково «Око вечности», «Умные звезды», в особенности последние его строчки, «Земля владычица, к тебе чело склонил я» или, напр., эта мистически-неясная «Песня офитов» (одна из темных сект времени появления христианства):

Белую лилию с розой
С алою розою мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем.
Веще слово скажите!
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!
Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея.
Вольному сердцу не больно...
Ей ли бояться огня Прометея?
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего змея.
Пойте про ярые грозы
В яркой грозе мы покой обретаем...
Белую лилию с розой
С алою розой мы сочетаем.

Стихотворение заинтересовывает нас каким-то содержательным намеком, который мы боимся отгадать. Что это за жемчуг в чаше? Какая голубка, откуда змей? Какой мир между ними и даже, по-видимому, дружба? Но нельзя отказать в яркости и красоте, даже, кажется, в задушевности, стихотворению.

Вообще поэтическое чувство нашего автора, который в прозаических трудах кажется усердно-точным защитником верований самых ортодоксальных и почти по параграфам, тянется... к очень далеким берегам, и не прочь приотворить дверцу иногда самого темного и сомнительного сектанства. Хорошо, хоть тоже сомнительно по источнику, стихотворение «Из Платона»:

На звезды глядишь ты, звезда моя светлая:
О, быть бы мне небом в широких объятиях
Держать бы тебя и очей мириадами
Тобой любоваться в безмолвном сиянии.

Стихотворение «Das Ewig-weibliche» * (слово увещательное к морским чертям) вовсе не так дурно и не смешно, как о нем высказывалось в печати при первом появлении в 1898 году. Г. Вл. Соловьев верит в какую-то или предполагает какую-то небесную женственность, которая может прийти или придет на землю. Ею он и заклинает, ею и отгораживается от «морских чертей». В подобных случаях мы читаем: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...», а наш философ опять несколько не по-православно поет:

Черти морские меня полюбили
Рыщут за мной они по следам,
В Финском поморье недавно ловили,
В Архипелаге я — они уже там.
Ясно, что черти хотят моей смерти
Однако поверьте
Вам я себя на съеденье не дам.
Лучше вы сами послушайтесь слова —
Доброе слово для вас я припас.

И начинается «увещание», если не объективно истинное, то все же стихотворчески-удовлетворительное:

Помните ль розы над пеною белой,
Пурпурный отблеск в лазурных волнах?
Помните ль образ прекрасного тела,
Ваше смятенье, и трепет, и страх?

Это — появление из пены известной Афродиты, «тело которой», по предположению г. Соловьева, смирило, отогнало и вообще «запечатало в бездну» чертей — непонятно, почему? Все привыкли думать, что, напротив, с Афродитой пришли на землю «черти». Но не будем спорить, а станем излагать:

* «Вечно женственное» (нем.).

Та красота своей первою силой,
Черти, недолго была вам страшна;
Дикую злобу на миг укротила,
Но покорить не умела она.

И пугает их пришествием новой красоты, может быть, той, о которой писал некогда г. Мережковский:

Мы для новой красоты
Преступаем все законы,
Переходим все черты.

Эту за чертою и вне закона лежащую новую красоту г. Соловьев описывает так:

Знайте же; вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет;
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилось с *пучиною* вод.
Все, чем красна Афродита мирская,
Радость домов, и лесов, и морей,—
Все совместит красота неземная
Чище, сильнее, и живей, и полней.
К ней не ищите напрасно подхода
Умные черти...

И т. д. Помню письмо Курбского к Иоанну Грозному и в нем один упрек: «ты слишком много думаешь об Афродитских делах». Г. Соловьев, по теоретическим убеждениям,— известный аскет и постник, а вот таких-то «черти и подпекают»; и тут приходит на ум один диалог Шекспира:

Хармиана. А скажи, гадалщик, сколько будет у меня мальчиков и девочек?

Предсказатель.

Когда бы каждое твое желанье
Вдруг стало чревом — было б миллион.

Хармиана. Вот, шут! Я прощаю тебя только потому, что ты колдун.

Алексис. А ты, кажется, думала, что о желаньях твоих знают только твои простыни («Антоний и Клеопатра»).

В «Предисловии» к книжке стихов г. Вл. Соловьев туманно развивает мысль, что не предосудительно и вполне «истинно почитание вечной женственности, от века воспринявшей силу божества, действительно вместившей полноту добра и истины, а через них нетленное сияние красоты». Но эта красота действительно «вне закона и по ту сторону черты», как мы выразились, ибо автор говорит далее: «Но чем совершеннее и ближе откровение настоящей красоты, одевающей божество и его силою ведущей нас к избавлению от страданий и смерти, чем тоньше черта, выделяющая ее от лживого ее подобия,— от той обманчивой и бессильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти» (стр. XIV).

В «царстве страданий и смерти» живем мы, рожденные и рождающие, и смысл этих строк совпадает с «Послесловием» к «Крей-

церовой сонате», которое тоже указывает людям «выйти из круга рождения и страдания», не отвергая, по крайней мере не убивая женственности и существа женщины. Грешный человек, ничего в этом не понимая,— живя, страдая и рождая,— я оставляю эти темы для философствования и богословствования современным Платонам и платоникам, которые пусть уж сочетают

Белую лилию с алою розой,

как это устроил и наш московский самодержец, когда в Александровской слободе клал поклоны, а Басманов ему подзванивал:

С девичьей улыбкой, с змеиной душой
Отверженный Богом Басманов,

как его характеризовал гр. Алекс. Толстой. «Змеиная эта душа» немного напоминает «древнего змея», о коем поет не без звучности и Влад. Соловьев, по крайней мере напоминает термином. По-нашему же, по-простому, змей всегда есть зло, как древний, так и самые новенькие, последнего выводка.

То, что остается ясным после всех этих суждений, поэтических и прозаических; о «женственности» — это то, что они все смутны, не сказаны и, может быть, вовсе не установились в мысли почтенного философа и поэта. Конечно, мужское и женское начала есть до такой степени космическая вещь, так это проникает всю природу и именно высшие ее части, не минеральные — что нельзя совершенно отвергнуть, что мир, космос, так сказать, есть пирамида, основание которой — минерально, средние части — жизненны и муже-женски, а вершина всей пирамиды раздвоится в два конуса, где пол уже не смешивается ни с какими минеральными частицами, есть *an und für sich* * пол, как «вечная небесная женственность» и «вечная мужественность». Но это — вещи темные и гадательные. Конечно, можно согласиться, что в жизни ничто так нас не покоряет, как женственность, это милое и кроткое, и грациозное, что могущественнее умного, сильного, хитрого. «Могущественнее» — т. е. можно предположить — «божественнее», «трансцендентнее». Но прозой на эти темы ничего не удастся, и Вл. Соловьев хорошо сделал, что посвятил этому следующие, хоть и переводные, но как-то очень почувствованные стихи:

В солнце одетая, звездо-венчанная
Солнцем превышшим любимая Дева!
Свет его вечный в себе ты сокрыла.

О, бесконечности Око лучистое
Пристань спасенья, начало свободы.

Лесвница чудная, к небу ведущая
Воду живую, в вечность текущую
Ты нам дала, голубица смиренная.

* сам по себе (нем.).

Читатель вспоминает чистую голубку: в «Песне офиртов». Автор продолжает:

О, таинница Божьих советов!
Проведи ты меня сквозь земные туманы.
В горные страны
В отчизну светов.

Редко можно встретить такое напряжение чувства. Я думаю, в поклонении Миере древних персов было нечто подобное. Стихотворение это, самое длинное в книжке, распадается на 7 глав. Приведем последнюю:

Облако светлое мглою вечерней
Божьим избранникам ярко блестящее!
Радуга, небо с землею мирящая,
Божьих заветов ковчег неизменный,
Манна небесной фиал драгоценный,
Высь неприступная, Бога носящая!
Дальний нам мир осени лучезарным покровом,
Свыше ты осененная
Вся озаренная
Светом и словом!

Мне кажется, к этим, самому еще поэту неясным образам, относится следующее лучшее стихотворение его, столь полное автобиографических черт. Какая мелодия! Вот тема, не переложимая в размеры Некрасова:

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.

* * *

В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко
Далеко все, что грезилося мне.

И до полуночи не робкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам.
Туда, где на горе, под новыми звездами
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.

Нам думается, здесь очень точно г. Вл. Соловьев очертил свое историческое положение — как человека в момент какого-то исторического излома, в котором ему самому больно, где он занял некрасивое и неестественное положение и не может из него ни рвануться назад, ни рвануться вперед. Думается, что болящей его душе необходимы забвение, отдых, утешение — и стихи, естественно, появились как ответ на эту потребность. Но и читателя — не увлекая, они ласкают и балуют вкус и фантазию.

Кое-что новое о Пушкине

Самое скучное в литературе — это повторения. И бывают прекрасные и нужные темы, которые вступают в опаснейшую минуту своего существования, когда ум человеческий начинает бесплодно вертеться около них, не находя ничего нового и в то же время по какой-либо причине не желая или не будучи в состоянии отстать от темы. Лучшие задачи, цели погибли от этого. Некрасов не оттого сравнительно забыт, что был плох, но оттого, что после него начали перепевать его темы, не находя более в круге их ни новой мысли, ни свежего чувства, ни оригинального слова. Всем стало ужасно скучно... После двух памятных торжеств над Пушкиным — московского и петербургского, имя поэта находится перед такою же опасною минутою человеческой изболтанности. Хочется о нем говорить, но нечего о нем говорить. Однако совершенно ли нечего? Где граница возможного и невозможного? Скажем так: о «Пушкине вообще» — нечего более говорить и не нужно более говорить; «Пушкин вообще» так исчерпан, выговорен, обдуман, что на этих путях даже очень остроумный критик будет впадать только в болтовню. Нельзя собирать сто первого зерна ни с какого колоса. Но если формулы, характеристики, очерки «вообще» — не нужны, то наступает настоящее время для «Пушкина в подробностях». Крошечные его пьесы суть часто миры прелестного и глубокого. И заскучав, решительно заскучав над «Пушкиным, как человеком», «как национальным поэтом», «как гражданином» и т. д., и т. д., мы можем отдохнуть и насладиться, и надолго насладиться эстетически, идейно и философски просто над одною определенной страницей Пушкина. Здесь для остроумия критика, для историка, для мыслителя — продолжительная прохлада от зноя мысли, от суеты мысли; огромные темы для размышления и наблюдения.

Жид и Пушкин... что общего между мелочным торгашом и великодушнейшим из смертных? Какое взаимное понимание? Не знаем мыслей евреев о Пушкине, но ярко помним эти строки Пушкина из «Скупого рыцаря». Только в «Венецианском купце» есть такое же проникание. Альбер говорит:

Иль рыцарского слова
Тебе, собака, мало?

Ж и д

Ваше слово,
Пока вы живы — много, много значит.
Все сундуки фламандских богачей,
Как талисман, оно вам отопрет,
Но если вы его передадите
Мне, бедному еврею, а меж тем
Умрете (Боже сохрани!), тогда
В моих руках оно подобно будет
Ключу от брошенной шкатулки в море.

Хитрость, лесть в этом как бы испуге при мысли о смерти ему постороннего и ненужного человека, и какая-то сжатость и замкнутость в себе в свою очередь никому ненужного «жида» чудно передана всего в восьми строках. «Я один и мне никто не поможет. Я должен помогать себе сам». И сейчас внимайте, что-то опытное и старое, что-то библейское в духе строк:

Ужель отец меня переживет?

Ж и д

Как знать? Дни наши сочтены не нами:
Цвел юноша вечер, а нынче умер,
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу.

Ведь это — мысль, страница, ответ Библии? Это — глубоко и прекрасно, как в «Эклезиасте» и однако без малейшей ему подражательности, в обороте мысли, чисто пушкинском. Альбер говорит: что я стану делать с деньгами через тридцать лет, если отец проживет тридцать лет?

Тогда и деньги
На что мне пригодятся?

Ж и д

Деньги? — Деньги
Всегда, во всякий возраст нам пригодны;
Но юноша в них ищет слуг проворных
И, не жалея, шлет туда-сюда,
Старик же видит в них друзей надежных
И бережет их, как зеницу ока.

Какая старость ответа, какая мудрая старость! Мы удивляемся, почему «жид» побеждает русского, да победил и француза, между тем, в строках Пушкина есть ответ на это. «Жид» — всемирный старик, а между тем все европейские народы еще очень молоды и как-то малоопытны душою. Старик всегда обойдет юношу, не потому, чтобы он был умнее и даровитее его, и в особенности не потому, чтобы он был нравственно крепче его, но потому, что он опытнее, больше видел и наконец более вынослив. В чисто вводном лице, на минуту и побочно введенном в пьесу, Пушкин и набросал эти главные и существенные черты, под которыми мы должны рассматривать «загадочное лицо» европейской цивилизации. Если мы сравним с этим очерком знаменитого Янкеля у Гоголя, мы поразимся, до чего мало схватил Гоголь в теме, как скользнул по ней. Янкель болтается ногами, когда его хотели бросить в Днепр — во-первых; Янкель бормочет, покрывшись простынею во время молитвы — во-вторых; и в-третьих — Янкель называет, пробираясь в тюрьму, хорунжего полковником. И ни в-первых, ни во-вторых, ни в-третьих не выходит ничего всемирного, как в смысле значительности, так и силы. Пушкин сразу угадал: всемирное в «жиде» — его старость.

Было бы ошибочно думать, что какой-нибудь народ может достигнуть сколько-нибудь значительной старости, т. е. долговечности, не имея чего-нибудь, что согревало бы его в веках и наконец в тысячелетиях. Печальная сторона отношений между евреями и Европою заключается в том, что к Европе они обращены исключительно отрицательными, действительно дурными и ничтожными своими сторонами, а тепло и красота еврея обращена исключительно внутрь себя. Это — семья еврейская. Он с нами соприкасается как торгош, как продавец и часто как обманщик; но, вдумываясь в это, нельзя же не засмеяться мысли, что тысячи лет можно прожить только торгуя и не имея ничего более заветного. Еврей, в исторических и общественных его судьбах, очень похож на того сатира, о котором говорит, устами Алкивиада, Платон в конце «Пира». Статуя сатира ставилась в греческих домах и представляла собою в сущности шкаф. Ее раскрывали и внутри открывались сокровища, золотая утварь, драгоценные камни. Но только хозяин дома умел и мог его открыть; для всякого же гостя статуя являла обыкновенные, отвратительные черты этого низкого божества греков. Так и еврей. Что такое в нем хорошего — это знают его дети, его жена, его отец. Мы знаем в нем только отвратительное: пронырство, жадность, торговую безжалостность. Но замечательно, что Пушкин сумел растворить сатира и уловить, что изнутри и для себя он вовсе не то, что снаружи и для нас. У него есть «Начало повести», т. е. был обширный сюжет на обширную тему, которого выполнено только начало:

В еврейской хижине лампада
В одном углу горит;
Перед лампадою старик
Читает библию. Седые
На книгу падают власы.
Над колыбелию пустой
Еврейка плачет молодая.
В другом углу, главой
Поникнув, молодой еврей
Глубоко в думу погружен.
В печальной хижине старушка
Готовит скудную трапезу.
Старик, закрыв святую книгу,
Застежки медные сомкнул.
Старуха ставит бедный ужин
На стол и всю семью зовет:
Никто нейдет, забыв о пище.
Текут в безмолвии часы.
Уснуло все под сенью ночи,—
Еврейской хижины одной
Не посетил отрадный сон.
На колокольне городской
Бьет полночь.— Вдруг рукой тяжелой
Стучатся к ним — семья вздрогнула.
Младой еврей встает и дверь
С недоуменьем отворяет —
И входит незнакомый странник...

Что хотел рассказать Пушкин — неизвестно. Можно только догадываться, что он хотел взять средневековый сюжет из истории религиозного преследования евреев, и «незнакомый странник» есть или дозор св. инквизиции, или член какого-нибудь еще иного судилища. Но оставим предположения. Ни кожаных застежек на книгах, ни лампад у евреев нет; здесь вся внешность неправильна; и тем правильнее — дух. «Лампада» есть способ нашего европейского религиозного освещения, и Пушкин безотчетно употребил его как способ религиозно осветить и выразить то, что в самом себе священно. «Жид» взят здесь в том особенном сцеплении отношений, которое составляет его всемирную крепость. После тех аллегорических, символических и прообразовательных истолкований Библии, какие были сделаны на Западе и Востоке в средние века и ни малейше не отвечают ни тому, как сами евреи понимают смысл священной своей книги, ни ее прямому, чистому и незапутанному значению, можно кажется остановиться на мысли, что весь библейский теизм есть собственно семейный теизм, что здесь как его родник, так и предметное устремление. И Пушкин это понял и безмолвно указал.

* * *

Мы указываем это мимоходом, потому что на отношение пушкинского гения к семитизму никогда не было до сих пор обращено внимания. Настоящий предмет нашей статьи — прекрасные биографические соображения, высказанные И. Л. Щегловым в «Литературных приложениях» к «Торгово-Промышленной Газете» относительно источников пушкинского творчества. «Нескромные догадки» — так озаглавил он свой этюд. Посвящен он «Каменному гостю» и «Моцарту и Сальери». Справедливо говорит г. Щеглов, что под самыми жизненными созданиями поэтов, как бы они ни были отвлечены в окончательной отделке, лежат жизненные впечатления, личные думы и иногда личная судьба их творцов. «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы» и «Моцарт и Сальери» написаны осенью 1830 года в селе Болдине, и г. Щеглов пытается ориентироваться среди обстоятельств этих дней и восстановить приблизительно думы поэта. «Думы эти были,— пишет он,— как известно, невеселого свойства. Приближение холеры, денежные затруднения и разные волнения и огорчения, вызванные предстоящей свадьбой, все это настраивало мысль и лиру поэта на самый скорбный лад... И вот, под влиянием грозного призрака смерти, он пишет потрясающие сцены «Пир во время чумы»; денежный гнет вызывает в нем злые мысли о предательской власти денег, что отражается более чем прозрачно в «Скупом рыцаре». Его собственное высокое положение, как писателя, и вместе оскорбительная тяжкая материальная зависимость весьма недалеки от положения благородного рыцаря Альбера, вынужденного обращаться за презренным металлом к презренному жидам. А трагическая сцена барона с сыном, разыгрывающаяся в присутствии герцога,— весьма недвусмысленно намекает на известную тяжелую сцену, проис-

шедшую в селе Михайловском между Пушкиным-сыном и Пушкиным-отцом, в присутствии брата Льва. Наконец «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость»?..»

Автор ставит вопрос и рядом мельчайших штрихов доказывает, что и здесь лежат автобиографические родники. В «Дон-Жуане» Пушкин сводит концы своей молодости перед женитьбой. Это — взгляд назад и таинственное предчувствие будущего. Напр. в стихах:

А завтра же до короля дойдет,
Что Дон-Жуан из ссылки самовольно
В Мадрид явился — что тогда, скажите,
Он с вами сделает?..

Этот вопрос Лепорелло навеян воспоминанием Пушкина о попытке, к счастью неудачной, без разрешения оставить ссылку в Михайловском и явиться неожиданно в столицу. Восклицание Дон-Жуана:

А муж ее был негодяй суровый —
Узнал я поздно... Бедная Инеза!..

есть «опять реальный факт. Под Инезой скрыто воспоминание о г-же Ризнич. Богатый помещик Сабальский, с которым Ризнич уехала из Одессы в Вену, скоро потом ее бросил и она умерла в нищете и одиночестве». Под Лаурою выведена Керн. «Характер Лауры, веселой, легкомысленной, живущей одной любовью и не думающей о завтрашнем дне, кружащей головы испанским грандам, одинаково и мрачному Дон-Карлосу, и жизнерадостному Дон-Жуану... как нельзя более сходен с характером тригорской Лауры — А. П. Керн — стоит только перенести воображением из комнаты Лауры в окрестности Тригорского. Там — та же гитара, то же пение, те же восторги веселой молодой компании»... Лаура поет и гости восхищаются:

Какие звуки! Сколько в них души!
А чьи слова, Лаура?

Лаура

Дон-Жуана. Их сочинил когда-то
Мой верный друг, мой ветреный любовник.

В самом деле — это оглядка женившегося Пушкина на себя и свои отношения к обворожительной девушке, потом так несчастной. Как очень правдоподобно догадывается г. Щеглов, даже фигура Лепорелло — не выдумана. У Пушкина был безотлучный слуга Ипполит, всюду его сопровождавший. Из Оренбурга он пишет о нем жене: «Одно меня сокрушает — человек мой. Вообрази себе тон московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом. Бесит он меня, свет-то мой Ипполит, да и только». В другом месте: «Важное открытие: Ипполит говорит по-французски».

В «Моцарте и Сальери» автор «Нескромных догадок» — усматривает горькие воспоминания поэта о Баратынском. Материалом для его соображений послужили письма Баратынского к И. В. Киреевскому, впервые появившиеся в «Татевском Сборнике», изданном С. А. Рачинским, и извлеченные из местного Татевского архива. Известно необыкновенное горькое чувство, часто соединяемое Пушкиным с мыслью о дружбе; между тем как о нем определенно известно, что сам он был чудно открытая и ясная, безоблачная душа. Эта горечь воспоминаний давно могла дать подозрение, что около Пушкина стояла какая-то облачная душа, которою напрасно усиливалась пронизать своими лучами пушкинская «дружба», — и г. Щеглов опять очень правдоподобно указывает Баратынского-Сальери. В «Татевском Сборнике» приведены письма Баратынского, которые никак не могли попасть на глаза Пушкину, и где отзывы о пушкинском творчестве более чем странны: «Если бы все, что есть в «Онегине» было собственностью Пушкина, то без сомнения он ручался бы за гений писателя. Но форма принадлежит Байрону, тон — тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано у того и у другого. Пушкину принадлежат в «Онегине» характеры его героев и местные описания России. Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенности. Ленский — ничтожен. Местные описания прекрасны, но только там, где чистая пластика. Нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский быт. Вообще это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта человека с большим дарованием. Оно блестяще, но почти все ученическое, потому что почти все подражательное. Так пишут обыкновенно в первой молодости, из любви к поэтическим формам более, нежели из настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее мое мнение об «Онегине». Поверяю его тебе за тайну и надеюсь, что она останется между нами, ибо мне весьма не кстати строго критиковать Пушкина».

Действительно «не кстати». В другом месте он ставит подражания народным песням Дельвига выше народных сказок Пушкина. При появлении «Бориса Годунова» он «на слово верит своему брату, что гораздо выше его одновременно появившаяся историческая трагедия Хомякова». — «На слово верю», т. е. уже à priori хочу верить. И одновременно с этим в письмах к самому Пушкину он рассыпался в похвалах, в одном месте сравнивая его поэтическую деятельность даже с государственною деятельностью Петра Великого. — «Тут выходит, — замечает г. Щеглов, — уже не только обычное у вторых нумеров *jalousie de metier* *, но прямо вероломство».

По крайней мере недоброжелательство, явно неосновательное и очевидно скрываемое («не показывай письма Пушкину»). Баратынский принадлежит к прекрасным нашим поэтам, но его характер

* профессиональная ревность (*фр.*).

и литературная судьба действительно очерчиваются этим признанием о себе Сальери.

Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолея
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник; перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить, но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять еще о славе.

В самом деле — это так конкретно, как бы с кого-то списано. — «Я не отказываюсь писать; но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение. Я не имею нужды в похвалах (разумеется, черни), но не вижу, почему обязан подвергаться ее ругательствам». Это — язык Сальери! Между тем — это письмо Баратынского. И наконец грустное признание последнего, всегда казавшееся нам *chef d'oeuvre* * его поэзии, по искренности глубокого сознания:

Не ослеплен я музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Толпой влюбленною не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица не общим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он скорей, чем едким осужденьем,
Ее почитит небрежной похвалой.

Опять это язык и мысли Сальери, которые можно почти вплести в пушкинскую пьесу. И везде почти у Баратынского та же мысль, например:

И я, в безвестности, для жизни жизнь люблю
Что нужды до былых иль будущих племен?
Я не для них брянчу незвонкими струнами:
Я, невнимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

(«Финляндия»).

* шедевр (фр.).

Тот же язык в стихотворении:

О счастья с младенчества тоскуя,
Все счастьем беден я...

и — прочее. Сальери — глубок. Сальери только не даровит тем особенным и действительно почти случайным даром, который Бог весть откуда приносит на землю «райские виденья», который творцу ничего не стоит, дается ему даром и совершенно затмевает глубокие и трудные дары, какими обладает иной раз душа возвышенная и только лишенная этого специально-го дара. Тут — несправедливость, тут действительная и роковая несправедливость, и Пушкин в бессмертной пьесе возвел к вечному началу случай своей жизни. Пьеса его первоначально и называлась просто «Зависть». Перенесение литературных отношений на музыкальные — только аноним для прикрытия лиц, как и придуманные имена Моцарта и Сальери. Что творение это глубоко субъективно и лично, видно из того, что в нем, как и в «Каменном госте», проходит образ смерти, предчувствие смерти: очевидно чувство самого Пушкина, выразившееся в столь не сродных сюжетах. Дон-Жуан в «Каменном госте» и Моцарт в последней пьесе — один характер, под которым мы можем почти прочесть подпись: «я, Пушкин». В одной пьесе он взят как член общества, в окружении ласкающих сирен; в другой — как творец, с стоящей около тенью «друга». В самом деле, отчетливы отношения к Пушкину Языкова, Дельвига, Пущина, горе по нем Гоголя, стихи о нем Лермонтова; но один друг, о котором сам Пушкин высказал самые шумные похвалы в печати, всегда выдвигая его с собой и почти вперед себя, до сих пор оставался в тени и не рассмотренным в своем обратном отношении к Пушкину. В то же время Пушкин время от времени вскрикивал от боли какой-то «дружбы» и наконец запечатлел мучительное и долгое ее впечатление в диалогах поразительной глубины. Догадки г. Щеглова так интересны и многозначительны, что хочется, чтобы он приложил дальнейшее усердие к их разработке. Они очень правдоподобны, и мы должны быть благодарны автору уже за то, что он наводит мысль исследователя, открывает дверь исследованиям.

Памяти Вл. Соловьева

Смерть унесла в лице Вл. С. Соловьева самый яркий, за истекшую четверть века, светоч нашей философской и философско-религиозной мысли. Можно было резко расходиться с почившим во взглядах, можно было бороться против всего его мирозерцания, неприятно-старческого, сухо-аскетического, в общем эклектического *, но в каждую минуту

* В одной ненапечатанной статье своей «Схема развития славянофильства» я, указывая историческое положение Соловьева и характеризуя общий склад его ума, занятий и направлений, определил их словом: «эклектизм». Покойный, прочитав эту рукопись и возвращая ее мне, сказал: «Только слово *эклектизм* вы заменили бы словом *синкретизм*».

борьбы необходимо было чувствовать, что борешься с силами, высшими собственными и только минутно и странно увлекшимися поверхностными теориями. Нам думается, в Соловьеве выше его учений — его личность. Учения его менялись, но всегда в центре их стоял прекрасный человек, с горным устремлением мысли, с высшими историческими и общественными интересами, привлекательный лично и в личных отношениях. Вся жизнь его была сплошное скитальчество. В сущности, ему постоянно нужна была аудитория, слушатели; он был урожденный, врожденный учитель, *didascalos*, *professor*. В лучшей стране и в лучшую минуту истории эти его богатые инстинкты были бы бережно утилизированы и принесли бы отечеству плод сторицею. Но, увы, русская действительность похожа на печальный сон Фараона, где тощие коровы пожирают тучных. Пришли какие-то тощие умом, послушали, не поняли и изрекли о философе и богомысле «не надо»... И «не нужный» философ пошел в продолжительное скитальчество, может быть раздраженный, наверно опечаленный, и, может быть, много горьких и ошибочных слов, слов желчных и несправедливых вырвалось у него как ответ на это «не надо»... «Тощие коровы» нашей действительности прежде всего худые политические счетчики. Они не только устранили превосходного религиозного, серьезного руководителя молодых колеблющихся умов, но и создали многолетнего и талантливейшего в литературе бойца против консервативных начал жизни, антиславянофила, антирусиста. То, что здесь было у него ошибочного, должно быть особенно легко отпущено почившему и в значительной степени объяснено превратностями его биографии.

Навсегда останется прекраснейшим в Соловьеве его высокая мечтательность. «Вот человек сухарь», говорим мы о профессоре, ученом, труженике библиотек и музеев. Ничего подобного нельзя сказать о Соловьеве. Он был мистик, поэт, шалун (пародии его на декадентов, некоторые публицистические выходки), комментатор и наряду с этим, в глубокой с этим гармонии — первоклассный ученый и неустанный мыслитель. Ничего здесь не надо исключать. И в этой-то сложности духовного образа — его заслуга, его превосходство. Думается, однако, что задушевнейшею его областью была его поэзия. Оговоримся. Почивший был несколько робок и нежен. В прозаических трудах он говорил кое-что, чего не думал, и что произносилось *ad publicum* *; другого, по нежности и робости, он не говорил — стесняясь. В поэзии он выступал как бы анонимом; в ее неясных звуках он дышал привольно и легко. Он любил поэзию как любят свободу, и еще он любил ее как прекрасную форму, ибо в душе его был силен эстетический идеал. В ряду стихотворе-

Считаю долгом внести эту личную поправку Соловьеву, не отвергая ее хотя и не настаивая на ней. *Своего, ждущего* не было так много у Соловьева; соединяя чужие части в новую храмину был ли он эклектиком? синкретистом? — ужасно трудно сказать. Во всяком случае *в усилиях соединить* он не был мертвенным, но не был (нигде и ни в чем) Вагнером, но и в Фауста он не вырос.

* публично (*лат.*).

ний его отметим как прекраснейшие — «На смерть друзей». Какой-то друг сложит над его прахом подобное стихотворение! Вот что, например, он писал в 1897 г. об Ап. Н. Майкове и что так идет к самому ему:

Тихо удаляются старческие тени,
Душу заключившие в звонкие кристаллы,
Званы еще многие в царство песнопений,
Избранных как прежние, — уж почти не стало!

Вещие свидетели жизни пережитой,
Вы увековечили все, что в ней сияло,
Под цветами вашими плод земли сокрытый
Рос, и семя новое тайно созревало.

Мир же вам с любовью, старческие тени!
Пусть блещат по-прежнему чистые кристаллы,
Чтобы звоном сладостным в царстве песнопений
Вызывать к грядущему то, что миновало.

Стихи его так хороши, что хочется их цитировать, и цитировать, как его биографический образ, как вереницу его душевных картин. Прав тысячу раз Тютчев, что все выразимое — не истинно, а все истинное — невыразимо; так и философия: хочется иногда сказать, что философы-прозаики, по несовершенству своего орудия, суть плотники-философы, а поэты суть тоже философы, но уже ювелиры, по тонкости и переливчатости своих средств. Напр., вот его «Око вечности»:

Одна, над белою землею
Горит звезда.
И тянет вдаль эфирною стезею
К себе — туда.

О нет, зачем? В одном недвижимом взоре
Все чудеса,
И жизни всей таинственное море,
И небеса.

И этот взор так близок и так ясен, —
Глядись в него,
Ты станешь сам — безбрежен и прекрасен —
Царем всего.

Руководимый, может быть, очень верным инстинктом, Соловьев, по виду относясь шутливо к своим стихам, на самом деле и в глубине души едва ли не чувствовал их более серьезно, чем философскую и богословскую свою прозу, слишком обрубленную и деревянистую, чтобы выразить тонкие и неясные движения его души. Прозу надо *доказывать*, а главное (в мире и в душе) — недоказуемо. Как «доказать» это чувство, выразившееся в стихотворении «*Отшедшим*» (усопшим):

Едва покинул я житейское волнение,
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.

Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
Печалью сладкою душа упоена,

Еще незримая, уже звучит и веет
Дыханьем Вечности грядущая весна.

Я знаю: это вы к земле свой взор склонили,
Вы подняли меня над тяжелой суетой
И память вечного свиданья оживили,
Едва не смытую житейскою волной.

Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
Вы в явь откроете обитель примиренья
И путь укажете к немеркнущим звездам.

Теперь он ушел в эти звезды, присоединился к хору усопших теней. Он эти тени вечно чувствовал. Как, однако, доказать их бытие? Как «оправдать», через какой силлогизм, свое чувство к ним? И как объяснить вообще внешнему и не чувствующему свое касанье «мирам иным», мирам горним и лучшим? Здесь опадают крылья философии, а крылья поэзии здесь именно и поднимаются. Поэзия может быть и у Соловьева; она и была недоказуемою философиею, «метафизикою», т. е. тем, что «над физикою» в древнем греческом смысле.

Менее удачны были опыты критического суждения, за которые иногда брался покойный. Чего ему здесь не доставало? Спокойствия суждения. Он всегда высказывал что-нибудь экстравагантное, что трудно было доказать, и впадал в раздражение и разные литературные неудачи, все-таки пытаюсь доказать. Такова его «Судьба Пушкина» и статьи, к ней примыкающие. У него было мало чувства действительности, чувства земли. Имея какую-нибудь превосходную отвлеченную мысль, он обыкновенно выбирал самый неудачный пример на нее из области действительности. Так случилось и с Пушкиным. Сами по себе все религиозные и философские идеи, положенные в основу «Судьбы», привлекательны и правдоподобны. Но Пушкин с своей печальной семейной историей запутался в эти идеи как в тенета, и общество русское, а также и сильная антикритика поторопились извлечь поэта, так измученного при жизни, из этого посмертного критического мучения. К сожалению, у Соловьева не было такта, хладнокровия и рассудительности, чтобы неверную и неудачную попытку не защищать и далее. Едва ли более успешны были его многочисленные публицистические нападения. Вообще, созерцатель по существу, поэт по темпераменту, он напрасно и бес- сильно бросался в борьбу. Он никому не нанес тяжких ударов; между тем, по-видимому, для его нежной натуры были тяжелы ответные удары, которые уже невольно вызывались его нападениями.

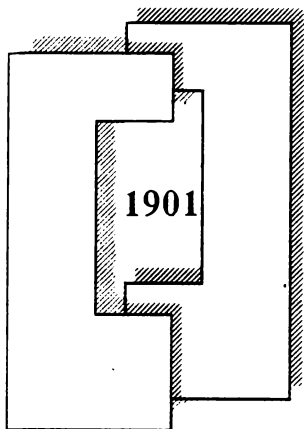
Соловьев оставил после себя до известной степени школу. Школа эта определяется кругом интересов: граница между философиею и богословием, *теософия*, в обширном, а не специальном и не сектантском смысле. Профессор Лопатин и особенно двое Трубецких суть талантливейшие из его полуучеников, полупоследователей. Вообще в Соловьеве было много *бродила, закваски*; мысли его колебались или были

неясны, но они всегда и очень многих возбуждали; они давали темы, они указывали области исследования; из них очень многие уже содержат в себе исходную точку зрения и метод.

Таланты его были больше, чем успех. От чего это зависело? Темы его не были *практические* и не могли взволновать практические интересы; а для внепрактических интересов у нас еще нет достаточно людного общества. Вообще, общество русское — загадка. Чем оно живет? Что ему нужно? Что его могло бы взволновать, и всегда ли одно и то же его может взволновать в 20-е, 40-е, 60-е, 80-е года? Германия имеет реформацию и на почве реформации, в направлении реформации всякая мысль, в 17 или 19 веке, будет возбуждательна и благотворна. То же можно сказать о французских революционных идеях, об английских экономических или пуританских идеях. Но Россия? но русское общество? По-видимому, такую почву у нас должно бы быть православие, между тем огромный ум и талант Хомякова или Гилярова-Платонова был все-таки *провинциальным* явлением в русской литературе, а не *коренным*. «Корневое» ее течение до сих пор было, как в этом ни печально сознаться, *либеральное*, т. е. просто *бессодержательное*, и лишь бы красивое. Все, что пыталось у нас *определиваться*, сузиться в *доктрину*, в маленькую религию ума и сердца — просто не принималось, не прививалось к обществу. «Мы хотим, чтобы вы тревожили наше сердце, но не хотим, чтобы в чем-нибудь нас убеждали», по-видимому, говорят из общества писателям. И писателям трудно.

Нам нужно ждать *событий*. Литература может вырасти только из событий, и собственно все писатели, которые *томятся* — томятся о событиях, о *бытии*, как роднике *идеи*. «Боже, зачем я существую? Боже, зачем Ты меня послал в мир?» И под Соловьевым не было *непоколебимого* события, которое выпрямило бы пути его и устранило колебание его биографической походки. «Вы падаете на оба колена», — упрекал пророк человеков; мы же, или те из нас, кто не лежат плашмя на земле, «падаем» на бесчисленные колена, чужие, свои, ищем, встаем, и ежедневно надеемся, и каждый день не находим. Так сплелась и судьба Соловьева, и окончательная правда его сердца состояла в том, чтобы он ни на чем не устоял. «Искал, но не нашел». И «школа» его, в смысле заданной *темы*, конечно просуществует некоторое время, но она начнет теряться, как ненужный ручеек, в пустынности и безмолвии общего нашего исторического бытия. Все — *безосновательно*, все *безбытийственно* пока у нас; и нет, конечно, основания *быть* его школе.

Да будет прощено некоторое личное слово, не нужное читателю, но которое нужно пишущему. Мне принадлежит о покойном несколько резких слов, прижизненно сказанных ему по поводу его идей. Неприятное в литературе, что она огорчает, что из-за нее огорчаешься. Во всяком случае теперь своевременно высказать сожаление о возможном огорчении, какое эти слова могли причинить усопшему. Хоть поздно, но можно и хочется обратиться к нему не одно общее всем людям надмогильное «прощай», но и отдельное свое: «прости»...



М. Ю. Лермонтов

(К 60-летию кончины)

Сегодня исполняется 60 лет со дня кончины Лермонтова, и вот приходится взяться за перо, чтобы отметить этот день в памяти и мысли читателя. Умершему было 26 лет от роду в день смерти. Не правда ли, таким юным заслужить воспоминание

о себе через 60 лет — значит вырасти уже к этому возрасту в такую серьезную величину, как в равный возраст не достигал у нас ни один человек на умственном или политическом поприще. «Необыкновенный человек», — скажет всякий. «Да, необыкновенный и странный человек», — это, кажется, можно произнести о нем, как общий итог сведений и размышлений.

Им бесконечно интересовались при жизни и сейчас же после смерти. О жизни, скудной фактами, в сущности — прозаической, похожей на жизнь множества офицеров его времени, были собраны и записаны мельчайшие штрихи. И как он «вошел в комнату», какую сказал остроут, как шалил, какие у него бывали глаза — о всем спрашивают, все ищут, все записывают, а читатели не устают об этом читать. Странное явление. Точно производят обыск в комнате, где что-то необыкновенное случилось. И отходят со словами: «Искали, все перерыли, но ничего не нашли». Есть у нас еще писатель, о котором «все перерыли, и ничего не нашли», — это Гоголь. Письма его, начиная с издания Кулиша, зарегистрированы с тщательностью, с какой регистрируются документы, прилагаемые к судебному «делу». Ищейки ищут, явно чего-то ищут, хотя, может быть, и бессознательно.

О Гоголе записал сейчас же после его смерти С. Т. Аксаков: «Его знали мы 17 лет, со всеми в доме он был на ты — но знаем ли мы сколько-нибудь его? Нисколько». Без перемен эти слова можно отнести к Лермонтову. Именно как бы вошли в комнату, где совершилось что-то необыкновенное; осмотрели в ней мебель, заглянули за обивку, пощупали обои, все с ожиданием: вот-вот надавится пружина и откроется таинственный ящик, с таинственными секретными документами, из которых пойдем наконец все; но никакой пружины нет или не находится; все обыкновенно; а между тем необыкновенное в этой комнате для всех ошутимо.

Мы, может быть, прибавим верный штрих к психологии биографических поисков как относительно Лермонтова, так и Гоголя, сказав, что все кружится здесь и неутомимо кружится вокруг явно чудесного, вокруг какого-то маленького волшебства, загадки. Мотив биографии и истории как науки — разгадка загадок. Посему историки и биографы жадно бегут к точке, где всеобщий голос и всеобщий инстинкт указывают присутствие необыкновенного. Такими необыкновенными точками в истории русского духовного развития являются Лермонтов и Гоголь, великий поэт и великий прозаик, великий лирик и великий сатирик, и являются не только величием своего обаятельного творчества, но и лично, биографически, сами. «Он жил между нами, и мы его не знали; его творения в наших руках — но сколько в них непонятого для нас!»

Что же непонятого? И темы, и стиль. Остановимся на последнем. Давно сказано и никем не отвергается, что «стиль автора есть сам автор». По-видимому, имея перед собою биографическую загадку и никакого матерьяла к ее разрешению, мы прежде всего должны броситься к стилю двух великих писателей. Он необыкновенен и чарующ. Но что мы в нем открываем? Глубокую непрозрачность, глубочайшее отвлечение от земли, как бы забывчивость земли; дыханье грез, волшебства — все противоположное данным их биографии. Читатель простит меня, если я позволю себе привести два отрывка из одного и другого писателя, отрывки известные, но которые нужно иметь перед глазами и внимательно перечитать их 2—3 раза, чтобы почувствовать, напр., такую вещь, как глубокое родство и единство стиля Гоголя и Лермонтова. «Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою дорожью и белою как снег кисеєю покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чашу сосен... Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса. Горы те не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверх, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах,— не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга не луга: то зеленый пояс, препоясавший посредине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц» («Страшная месть», т. II).

Протираем глаза и спрашиваем себя, о чем речь? где движется рассказ и где рассказчик? Да рассказчик — малоросс, все это выдававший, но грезит-то он о совсем другом мире, никем не виденном, и грезит так беззастенчиво, точно в самом деле потерял сознание границы между действительностью и вымыслом или не обращает никакого внимания на то, что мы-то, его читатели, уж конечно знаем эту границу и остановим автора. Перед нами сомнамбулист. Конечно, никаких таких гор нет около Днепра; да кто видал и настоящие горы, Карпаты или даже Кавказ, хорошо знает, что никак о них нельзя сказать: «подошвы у них

нет», «острые у них вершины». Все гораздо проще для наблюдателя. О, и Гоголь имеет тайну искусства так нарисовать действительность, так ее подметить в самонаименьших реальных подробностях, как никто. Но он имеет тайную силу вдруг заснуть и увидеть то, чего совсем не содержится в действительности, увидеть правдоподобно, ярко... точно «пани Катерина» в этой же «Страшной мести», душу которой вызывал ее страшный отец: «Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела», — говорит «душа» странной сновидицы. Так и Гоголь. Какая-то внутренняя метаморфоза, и вдруг хорошо знакомый Аксаковым малоросс отделяется от своего тела, странствует по каким-то мирам, и потом, когда возвращается в свое «тело», друзья, знакомые говорят: «Мы ничего о нем существенного не знаем: существенное — в его загробных почти странствованиях, в сомнамбулических видениях, в неисследимой и неисповедимой организации его души, а в руках у нас — матерьялы скучнейшей его биографии, совершенно с этими видениями не связанной». Но мы заговорили о стиле и что есть тут родство между Гоголем и Лермонтовым:

Задумчиво столбы дворцов немых
По берегам теснились, как тени,
И в пене вод — гранитных крылец их
Купались широкие ступени;
Минувших лет событий роковых
Волна следы смывала роковые,
И улыбались звезды голубые,
Глядя с высот...

(«Сказка для детей»)

Опять протираем глаза и спрашиваем себя: что это, Венеция описана? Нет, Петербург! Немного выше читаем:

Над городом таинственные звуки,
Как грешных снов нескромные слова,
Не ясно раздавались — и Нева,
Меж кораблей сверкая на просторе,
Журча — с волной их уносила в море.

Один писатель взял «Днепр», и другой — «Петербург», взяли реальные предметы, но тотчас они почувствовали или какое-то отвращение, или скуку к теме; надпись, заголовок — остались: «Днепр», «Петербург»; но уже в их голове зашуршали какие-то нисколько не текущие из темы мысли, о которых Лермонтов оставляет даже след в стихотворении: «грешных снов неясные слова», «следы роковые роковых событий», «голубые звезды», — и смело, мужественно, беззастенчиво в отношении к читателю оба унеслись в рисовку картин неправдоподобных и, однако, для самого читателя становящихся дорогами, милыми, чарующими. У Гоголя в самом тоне слов: «Тихо светит по всему миру», — появляется какая-то нега, какое-то очарование, описание получает тон космополитический. Это — не Днепр рисует автор, он рисует свою душу, но душу,

тянущуюся ко всему миру, и странные слова о горах, которых «ни подошвы, ни вершины не охватить глазом», ни малейше не удивляют читателя, не шокируют его. «Мало ли что есть в свете, мало ли чего нет в мире: Гоголь все видит, все знает, и если его горы не похожи ни на какие земные, то, может быть, они похожи на горы Луны или Марса. Где-то, что-то подобное есть, и Гоголь мне показывает, и я плачу и благодарю, что он раздвинул мое знание, показал воочию мои предчувствия». Этот-то характер рисовки, неправдоподобной и столь напряженно страстной, что она создает иллюзию полного правдоподобия, и заставил когда-то воскликнуть Белинского, что «степи Гоголя лучше степей Малороссии», как и Петербург Лермонтова лучше Петербурга, в котором мы живем. И, однако, Лермонтов, когда хочет, может быть таким же натуралистом, как Гоголь. В «Бородине», «Купце Калашникове», «Люблю отчизну я...» он дает такие штрихи действительности, является таким ловцом скрупулезного, незаметного и характерного в ней, как это доступно было Гоголю только и последующим нашим натуралистам писателям:

Люблю дымок спаленной жнивы
С резными ставнями окно...
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно.

Тут уже взят полный аккорд нашего народничества и этнографии 60-х годов. Но не здесь «родина» странного поэта; тут только мощь его. Сомнамбулист сочетает в себе величайший реализм и несбыточное, он идет по карнизам, крышам домов, не оступаясь, с величайшей точностью, и в то же время он явно руководствуется такою мыслью своего сновидения, которая очевидно не связана с действительностью. Вот это-то и было у них обоих, Гоголя и Лермонтова. Оба они имеют параллелизм в себе жизни здешней и какой-то нездешней. Но родной их мир — именно нездешний. Отсюда некоторое их отвращение к реальным темам: знаменитые «лирические места» у Гоголя. Возьмем его «Мертвые души»; как они не похожи на выполнение аналогических сюжетов — «Базар житейской суеты» у Теккерея или великолепный «Пикквик» у Диккенса. Гоголь явно страдает, страдает от темы, страдает от манеры письма. Он не «гуляет», как в фантастических малороссийских вымыслах. Рассказ узок, эпопея удушлива, тесна; ни одного лишнего слова в ней; автор точно надел на себя терновый венец, и идет, сколько будет сил идти. Но вот колена подгибаются, и вдруг — прыжок в сторону, прыжок: в свою сомнамбулу, «лирическое место», где тон сатиры вдруг забыт, является восторженность, упоение, счастье сновидца. Это он в родном мире, и опять мы не можем не сравнить его со страшными путешествиями души пани Катерины в старый замок ее грозного отца. «О, зачем ты меня вызвал, отец. Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо

там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве; и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород!» Тоска виденья, какую знал и Лермонтов:

И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
И за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над водами,
В аллею темную вхожу я...

(«1-е января»)

Автор грезит об этом... на балу в Московском дворянском собрании 1-го января,— место столь же неудобное для засыпания, для видения, для сомнамбулических странствований, как и та мирная печка, на которой заснула казачка Катерина, а «пан-отец» позвал ее к себе. Вообще, если от характера живописи мы обратимся к самым темам, мы найдем и здесь близость Лермонтова и Гоголя. Известно, как дивился Белинский, что 26-летний Лермонтов, офицер и дуэлист, проник с изумительною правдою в материнские чувства в «Казачьей колыбельной песне». Но что такое, как не эта же песнь причитанья матери Андрея и Остапа Бульбы в ночь перед отправлением их в «Сечь». Одна мысль, одно чувство, и как выраженное, с какою пронзительностью, у малоросса-сатирика и петербургского денди.

* * *

Входя в мир тем нашего поэта, нельзя не остановиться на том, что зовут его «демонизмом». Но и здесь поможет нам параллелизм Гоголя. «Приподняв иконы вверх, уже есаул готовился сказать краткую молитву,— как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их казака.

Кто он таков — никто не знал. Но уж он протанцовал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо казака переменялось: нос вырос и наклонился в сторону, вместо карих — запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак — старик» («Страшная месть»).

Как похоже... на Гоголя, который уже «насмешил всю почтеннейшую публику», отплясав казачка в «повестях Рудого Панько», и когда все ожидали, что он такое еще выкинет, «вдруг поднялся у казака горб из-за спины», он состарился, осунулся в петербургских своих рассказах, и, наконец, в «Переписке с друзьями» и «Авторском завещании» заговорил самые необыкновенные вещи, а умер фантастично и покаянно, как будто нагрешил самые несбыточные грехи. Как хотите, нельзя

отделаться от впечатления, что Гоголь уж слишком по-родственному, а не по-авторски только знал бабушку Катерины, как и Лермонтов решительно не мог бы только о литературном сюжете написать этих положительно рыдающих строк:

Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений,
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений
Как царь, немой и гордый он сиял
Такой волшеббно-сладкой красотой,
Что было страшно... И душа тоскою
Сжималась — и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет...

Это слишком субъективно, слишком биографично. Это — было, а не выдуманно. «Быль» эту своей биографии Лермонтов выразил в «Демоне», сюжет которого подвергал нескольким переработкам и о котором покойный наш Вл. С. Соловьев, человек весьма начитанный, замечает в одном месте, что он совершенно не знает во всемирной литературе аналогий этому сюжету и совершенно не понимает, о чем тут (в «Демоне») идет речь, т. е. что реальное можно вообразить под этим сюжетом. Между тем эта несбыточная «сказка», очевидно, и была душою Лермонтова, ибо нельзя же не заметить, что и в «Герое нашего времени», и «1-го января», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», да и везде, решительно везде в его созданиях, мы находим как бы фрагменты, новые и новые переработки сюжета этой же ранней повести. Точно он всю жизнь высекал одну статую, — но ее не высек, если не считать юношеской неудачной куклы («Демон») и совершенных по форме, но крайне отрывочных осколков целого в последующих созданиях. Чудные волосы, дивный взгляд, там — палец, здесь — ступня ноги, но целой статуи нет, она осталась не извлеченной из глыбы мрамора, над которою всю жизнь работал рано умерший певец.

Они были пассивны, эти темные души — так я хочу назвать и Гоголя, и Лермонтова. Вот уж рабы своей миссии. Да Лермонтов прямо об этом и записал:

Есть речи — значенье

Но в храме средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду;
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

Черновой набросок этого стихотворения еще выразительнее:

Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки

Волшебного слова
Целебные звуки,
Душа их с молением
Как ангела встретит,
И долгим биением
Им сердце ответит.

Оба писателя явно были внушаемы; были обладаемы. Были любимы небом, скажем смелое слово, но любимы лично, а не вообще и не в том смысле, что имели особенную даровитость. Таким образом, я хочу сказать, что между ними и совершенно загробным, потусветлым «х» была некоторая связь, которой мы все или не имеем, или ее не чувствуем по слабости; в них же эта связь была такова, что они могли не верить во что угодно, но в это не верить — не могли. Отсюда их гордость и свобода. Заметно, что на обоих их никто не влиял ощутимо, т. е. они никому в темпераменте, в настроении, в «потемках» души — не подчинялись; и оба шли поразительно гордою, свободною поступью.

Поэт, не дорожи любовью народной.

Это они сумели, и без усилий, без напряжения, выполнить совершеннее, чем творец знаменитого сонета. Ясно — над ними был авторитет сильнее земного, рационального, исторического. Они знали «господина» большего, чем человек; ну, от термина «господин» не большое филологическое преобразование до «Господь». «Господин» не здешний — это и есть «Господь», «Адонаи» Сиона, «Адон» Сидона-Тира, «Господь страшный и милостивый», явления которого так пугали Лермонтова, что он (см. «Сказку для детей») кричал и плакал. Вот это то и составляет необыкновенное их личности и судьбы, что создало импульс биографического «обыска». Но «ничего не нашли». Лермонтов, как бы предчувствуя поиски биографов, бросил им насмешливое объяснение.

Но дух... известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух,
И мысль без тела — часто в видах разных
Бесов вообще рисуют безобразных.

Оба были до того испуганы этими бестелесными явлениями, и самые явления — сколько можно судить по их писаниям — до того не отвечали привычным им с детства представлениям о религиозном, о святом, что они дали им ярлык, свидетельствующий об отвращении, негодовании: «колдун», «демон», «бес». Это — только штемпель несходства с привычным, или ожидаемым, или общепринятым. В «Демоне» Лермонтов, в сущности, слагает целый миф о мучащем его «господине»; да, это — миф, начало мифологии, возможность мифологии; может быть, метафизический и психологический ключ к мифологии Греции, Востока, имея который перед собою мы можем отпереть их лабиринт. Но, повторяем, имя «бес» здесь штемпель не сходного, память об испуге. Ибо что мы наблюдаем позднее? Известно, как умер Гоголь: на коленях, в молитве,

со словами друзьям и докторам: «Оставьте меня, мне хорошо!» Лермонтов созидает, параллельно со своим мифом, ряд подлинных молитв, оригинальных, творческих, не подражательных, как «Отцы пустынных...». Его «Выхожу один я на дорогу», «Когда волнуется желтеющая нива», «Я, Матерь Божия», наконец — одновременное с «Демоном» — «По небу полуночи» суть гимны, суть оригинальные и личные гимны. Да и вся его поэзия — или начало мифа («Мцыри», «Дары Терека», «Три пальмы», «Спор», «Сказка для детей», неоконченные «Отрывки»), или начало гимна. Но какого? Нашего ли? Трудные вопросы.

* * *

Гимны его напряжены, страстны, тревожны и вместе воздушны, звездны. Вся его лирика в целом и каждое стихотворение порознь представляют соединение глубочайше-личного чувства, только ему исключительно принадлежащего, переживания иногда одной только минуты, но чувства, сейчас же раздвигающегося в обширнейшие панорамы, как будто весь мир его обязан слушать, как будто в том, что совершается в его сердце, почему-то заинтересован весь мир. Нет поэта более космического и более личного. Но и кроме того: он — раб природы, ее страстнейший любовник, совершенно покорный ее чарам, ее властительству над собою; и как будто вместе — господин ее, то упрекающий ее, то негодующий на нее. Казалось бы, еще немного мощи — и он будет управлять природой. Он как будто знает главные и общие пружины ее. Всякий другой поэт возьмет ландшафт, воспоет птичку, опишет вечер или утро; Лермонтов всегда берет панораму, так сказать, качает и захватывает в строку целый бок вселенной, страну, горизонт.

В «Споре» даны изумительные, никому до него не доступные ранее, описания стран и народов: это — орел пролетает и называет, перечисляет свои страны, провинции, богатство свое:

Дальше — вечно чуждый тени
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.

В четырех строчках и география, и история, и смысл прошлого, и слезы о невозвратимом.

И, склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.

Невозможно даже переложить в прозу — выйдет бессмыслица. Но хозяин знает свое, он не описывает, а только намекает, и сжато брошенные слова выражают целое, и как выражают! У Лермонтова есть чувство собственности к природе: «Она мною владеет, она меня зачаровала; но это пошло так глубоко, тронуло такие центры во мне, что и обратно — чего никто не знает и никто этому не поверит — я тоже могу ее

зачаровывать и двигать и чуть-чуть, немножко ею повелевать». Это, пожалуй, и образует в нем вторую половину того, что называют «демонизмом». Все знают, и он сам рассказывает, что плакал и приходил в смятение от видений «демона»; но публика безотчетно и в нем самом чувствует демона. «Вас — двое, и кто вас разберет, который которым владеет». Но тайна тут в том, что действительно чувство сверхъестественного, напряженное, яркое в нем, яркое до последних границ возможного и переносимого, наконец, перешло и в маленькую личную сверхъестественность. Так сказать, электротехник в конце концов пропитался электричеством, с которым постоянно имел дело, и уж не только он извлекает искру от проволоки, но и из него самого можно извлечь искру. «Бог», «природа», «я» (его лермонтовское) склубились в ком, и уж где вы этот ком ни троньте — получите и Бога, и природу вслед за «я», или вслед за Богом является его «я» среди ландышей полевых («Когда волнуется желтеющая нива»), около звезды, на сгибе радуги (многие места в «Демоне»).

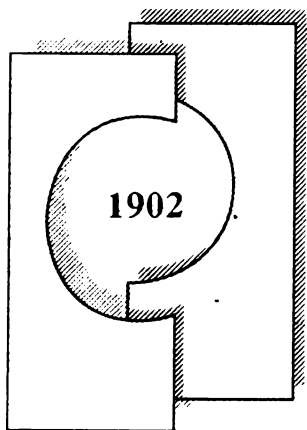
То, что у всякого поэта показалось бы неестественным, превеличенным или смешной претенциозностью, напр. это братанье со звездами:

Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменаться с ним —

у Лермонтова не имеет неестественности, и это составляет самую удивительную его особенность. Кто бы ни говорил так, мы отбросили бы его с презрением. «Бери звезды у начальства, но не трогай небесных». Между тем Лермонтов не только трогает небесные звезды, но имеет очевидное право это сделать, и мы у него, только у него одного, не осмеливаемся оспорить этого права. Тут уж начинается наша какая-то слабость перед ним, его очевидно особенная и исключительная, таинственная сила. Маленький «бог», бог с маленькой буквы, «бесенок», «демон», — определения эти шепчет язык «как он смеет!» Но он все смеет:

...с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой...
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью.

Язык его тверд, отчеканен; просто он перебирает свои богатства, он ничего не похищает, он не Пугачев, пробирающийся к царству, а подлинный порфиродный юноша, которому осталось немного лет до коронавания. Звездное и царственное — этого нельзя отнять у Лермонтова; подлинно стихийное, «лешее начало» — этого нельзя у него оспорить. Тут он знал больше нас, тут он владел большим, чем мы, и это есть просто факт его биографии и личности.



Концы и начала, «божественное» и «демоническое», боги и демоны

(По поводу главного сюжета
Лермонтова)

I

Апулей в XI книге «Золотого осла» дает изображение одной из древних религиозных процессий. Мы не назовем имени божества, которому она посвящена. *Имя* является поздно, имя и *статуя* — ничто, привесок, позднее изобретение. Чувство бога — вот главное, вот все. Важно, чтобы поднялась грудь, а уж уста произнесут имя.

...его ты назови
Как хочешь: пламенем любви,
Душою, счастьем, жизнью, Богом —
Для этого названья нет;
Все — чувство... Имя ж — звук и дым
Вокруг небесного огня...

Сперва были жесты, вздохи; люди бродили, собирались, глаза их сияли. Образовались церемонии, процессии, «гимны торжественные и непонятные»; и уже после всего появились имена, разные в разных странах, у разных народов, на разных языках, а по существу — одно. Время описания церемонии, которое мы берем, — царствование Адриана римского, т. е. уже полное и глубокое разложение древнего теизма. И все-таки кое-что мы уловим... удивительно напоминающее «Сон смешного человека» Достоевского.

«Тени темной ночи стали расходиться и бледнеть перед рассветом. Показалось золотое солнце. Густые толпы народа в праздничном и торжественном настроении покрывали все дороги и площади. Наступил день, посвященный великой богине. Легко и весело было у меня на душе. Мне казалось, что и все кругом, — и животные, и стены домов, и даже сам день, — радуется моему радости и полно моим весельем. Густой туман минувшей ночи бесследно исчез. День был тих и ясен. Во влажном воздухе, напитанном ароматами весны, раздавались звонкие трели проснувшихся птичек. Казалось, что и они своими светлыми гимнами славили Мать созвездий, Родоначалницу времен, Праматерь мира. И плодовые деревья с первую завязью будущих плодов, и бесплодные, которые своей зеленью дают только тень, мягко сгибая свои зеленеющие

ветви, с нежным и ласковым ропотом склоняли молодую блестящую листву под тихим дыханием утра. Замерли все бурные отголоски зимнего ненастья, улеглись шумные звуки половодья, тихо журчало у берегов море, а небо, рассеяв мглу тумана, в ослепительном блеске сияло своею лазурью.

Но вот появляются первые вестники великого праздника. Впереди идут комические маски, сделанные с большим остроумием и вкусом. Идет солдат, туго затянутый своим поясом. За ним, в длинной хламиде, с саблею у бока и с дротиком в руках, показывается охотник. Этот очевидно замаскировался женщиной; он драпируется в шелковые ткани, весь убран драгоценными украшениями, заплет свои волосы в косы и щеголяет в золоченых башмачках. Тот, должно быть, только что вышел из школы гладиаторов: он в легких сандалиях, со шлемом на голове, вооружен щитом и кинжалом. А этот, по всем признакам, один из высших сановников города; он в пурпурной тоге, перед ним — ликторы со своими связками. За ним идет философ в длинной мантии, в туфлях, с длинною палкою в руке и с всклокоченною бородою. С удочкою в руках и со всеми атрибутами своего ремесла идут рыбаки. Птицеловы несут на плечах силки и сети. На носилках, в костюме знатной дамы, несут ручную медведицу. За нею идет обезьяна в костюме Ганимеда, с тюрбаном на голове, в одежде шафранного цвета; в руках у нее золотой бокал, и вся она напоминает фракийского пастуха. Шествие включает осел, убранный в птичьи перья; за ним — его хилый и дряхлый погонщик. Эта группа вызывает самый громкий смех, потому что погонщик называет себя Беллерофонтом, а осла Пегасом).

Это введена в процессию шутка. Шутка и смех — и ничего более. «Они всегда были веселы», замечает проникновенно и Достоевский в мечте золотого века. Уныние — начало смерти, путь к смерти, ибо оно ослабляет в нас силы, т. е. способность противостоять смерти. Однако эта древняя шутка имеет в себе нечто для изучения: люди идут не просто, а в религиозной процессии, перед нами — уголок религии, кусочек религии. Кто же идет? *Все*. Это есть *всеобщее шествование*, всяких званий и чинов и *рукомерл*, всех видов *труда* и непременно, непременно со святыми *орудиями* этого труда, еще не надоевшего, еще легкого и радостного, еще не проклятого несчастным человеком. «Вот, Боже, и сети, и силки, и удочки!» Идут — звания, чины; перед Богом шествует и государство. Но идут не с серьезностью, а в шутке — и вот около сенатора выступает осел в перьях! И павиан, и медведица, человекообразные, приближенные к человеку. О, тут еще не было сатиры, маскарад не был сатиричен, он был скорее пантеистичен и был как бы пиршеством мира за одним столом, где одною салфеткою утираются рыбак, консул и маленький умный ослик, кормилец своего погонщика. Занятия, ремесла еще не разделились, не пошли одни в гору, другие — под гору, но всякий труд был свят и достоин и, следовательно, все труды и способы пропитания были равны.

«За комическими масками, которые вызвали в народе полный восторг, в торжественной процессии показались жрецы великого божества. Шли женщины в ослепительно белых одеждах; на их лицах светилась веселая и довольная улыбка. Одни из них несли в подолах букеты и гирлянды цветов; цветами и зеленью они усыпали дорогу, по которой двигалось это торжественное шествие. У других на спине были блестящие зеркала *, в которых отражалась вся многочисленная свита богини. У третьих в руках были гребенки из слоновой кости; те делали вид, будто убирают царственные волосы великой Изиды. Наконец, было несколько таких женщин, которые, по капле изливая из сосудов ароматные вещества и драгоценный бальзам, опрыскивали улицы и площади. Огромная толпа мужчин и женщин шла с лампами, факелами, восковыми свечами и всевозможными светильниками в руках, чтобы светом земного огня почтить высокую Госпожу небесных созвездий. Раздавались стройные звуки музыки. Трубы и свирели наигрывали мелодичные и грациозные гимны. Им вторил хор из лучшей молодежи города. Все в одинаковой белоснежной одежде без рукавов — девушки и юноши — пели вдохновенную песнь, которую по высокому внушению Камен сложил и написал по этому случаю знаменитый поэт, воспользовавшийся для этого обрядными молитвами и обетами...»

Что же они делают, куда идет процессия? Где точка, куда приложена эта религия жизни, бытия? Шла весна, открывалась навигация, и процессия спешила к морю. Здесь был изготовлен корабль-лодочка. Подходят. «Верховный жрец (читай: главный поэт и философ, он же — невиннейший ** младенец) факелом, яйцом и серою освятил корабль, сделанный с большим искусством, и покрытый египетскими письменами и начертаниями. Он очистил его, вознося из своих чистейших уст торжественнейшие молитвы, и посвятил его божеству. Священный корабль, как жертвенный дар, стоял у берега. На его белоснежном парусе большими буквами было написано пожелание счастливой навигации на новый год. Высоко поднималась круглая, блестяще отполированная

* Я не отказываю себе в удовольствии со временем дать читателям «Мира Искусства» изображение большой, сложной египетской процессии, очевидно, перенесенной в Рим и Грецию в эпоху Адриана. В процессии этой действительно некоторые лица несут на спинах *оеромные зеркала*, как у нас — стенные. Через это процессия, и без того нарядная, делалась для зрителей, т. е. народа, участников — еще пышнее и ликующее. Нельзя не заметить, что *зеркала* были помещены и в Соломоновом храме, именно — вделаны в умывальники, где умывались священники. В одном восточном (арабском) описании я был поражен следующей подробностью праздника: было расставлено (по полю? саду?) прямо на земле множество цветов; но перед каждым цветком стояло небольшое *зеркало* и *две зажженных свечи*. Через это все пространство праздника было унизано, как небо звездами, мириадами огней и цветов.

** Я вычитал в «Истории священства и левитства Ветхозаветной церкви» священника Г. Титова (Тифлис, 1878 г.) до последней стени поразившее меня следующее сведение: «Право на первосвященство получалось на 13-м году жизни, именно, — когда показывались первые признаки бороды» (стр. 59). Таким образом, все, у Густава Дорэ и прочих иллюстраторов, изображения священников и первосвященников израильских в виде наших «заслуженных протоиереев» с длинными и седыми бородами, есть плод всего только нашего самолюбия, как бы кричащего из каждой строки и рисунка — «всегда и все было, как у нас». Ничего подобного не было: храм был юн, и священствовавали в нем *юноши* и отроки, святые не ученостью, а невинностью!

мачта; на ней по ветру развевался яркий и блестящий выпел. Блистала загнутая, покрытая золотыми бляхами корма. И вся лодка, сделанная из лучшего лимонного дерева, так и сияла, так и светилась своей полировкой. Все присутствующие, и жрецы, и миряне, льют на воду молоко, несут в лодку корзины с ароматами и другими приношениями с пожеланиями счастливого плавания. Щедрыми дарами лодка наполняется до краев. Перерубаются якорные канаты. Свежий и легкий ветерок гонит лодку в море. И вот обетный кораблик скрылся из глаз народа, покрывавшего берег».

Точкою сосредоточения религии, этого белого чувства, белого сердца еще невинного человека, служит просто момент годового бытия. «От сего дня будем плавать по морю, ловить рыбу, торговать. Но пусть вперед нас побежит по священным волнам священный кораблик. И от всякого-то имени, от всякого человека он понесет... цветок, плод, золотую бляху или немного труда». — «Здравствуй, море! вслед за корабликом — мы сами завтра в твои волны!» И больше — ничего. Никакого другого мотива, ни повода, ни цели в процессии. Просто — жили и радовались.

* * *

Года четыре назад я решился рассмотреть египетские рисунки в здешней Публичной библиотеке. Я служил, и день у меня был занят, а единственное свободное воскресенье заперта бывает библиотека. Ни взять на дом страшно дорогие атласы египетских научных экспедиций, ни даже вытребовать их в общий читальный зал оказалось невозможным. Что же мне было делать? «Четвертая пошла неделя, — а я всегда говею на четвертой, не так тесно», — сказал мне товарищ по службе. — Это меня надоумило. Я отпросился у начальства говеть и с энтузиазмом, какого не могу передать, поспешил в понедельник в заветные и с тех пор священные для меня двери Публичной библиотеки, в ее знаменитые, тихие, поэтические залы «отделений». В самом деле — это прекраснейшее, религиознейшее (по серьезности) здание в Петербурге. Но что читать? А я страшно торопился. Полочек, шкафчиков специально с Египтом — нет. О! теперь я уже знаю все уголки, где старый египетский аист свил себе гнезда, но тогда не знал. К счастью, помог мне случайно встреченный там знакомый. «Да вот длинные красные томы... *«Denkmäler» Lepsius'a* *, ну — и довольно, и насытитесь, и нечего больше искать. Смотрите — какие двенадцать томищев: каждый нужно на лошади везти».

И я погрузился. В шесть дней недели я не терял минуты; потом — немножко страстной недели, потом — субботы летом (день, свободный от занятий в Петербурге) и среди обычно служебной недели хоть денек скажешься больным — и все сюда, в знаменитые и прекраснейшие

* «Памятники» Лепсиуса (нем.).

«отделения». Согрешил, украл у христианского Бога одно говенье и заглянул в Фивские и Гелиопольские святилища.

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую;
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе.
Сколько богов и богинь, и героев...

Право, лучше чем этим стихом Пушкина не умею изобразить то веселое, раскатистое чувство, с каким при изнурении физических сил я все глубже и глубже закапывался в египетские фолианты. «Золотой сон человечества» — его я увидел здесь воочию. Я увидел его как картину, а не как рассказ. Право же, египетскими рисунками можно иллюстрировать, как миниатюрами по полям книги, весь «Сон смешного человека» Достоевского, как и беседу Версилова с сыном, и много, много... страниц из Лермонтова. Весь Египет есть только необозримая и по широте, и по разнообразию, и по углубленности иллюстрация к стихотворению:

Когда волнуется желтеющая нива
или, *vice-versa* *, это знаменитое стихотворение с заключительным:

И в небесах я вижу Бога
есть только странный атавизм, «заговорившие в пра-пра-правнуке предки», жившие еще на берегу горячего Нила. Все, как и у Лермонтова, — там: серебристые ландыши, тенистые сады, прячущийся в зелени листов пунцовый плод и... бог, везде — Бог, все — боги,

Сколько богов и богинь...

О! «боги сходили там на землю и роднились с людьми». Из трогательных рисунков передам один. Нарисован ряд осликов, целое стадо, вереница. Все, вероятно, видали у конечных пунктов петербургских конок, в знойные летние дни, как наши добрые кондукторы-мужички, жалея уставших лошадей, мочат обильно тряпки и кладут им на усталый череп. Я замечал, что кондукторы (сами очень усталые) неумоимо, безустанно это делают. Но вот что я раз заметил на адмиралтейском конце конки: кондуктор положил лошадиную морду на плечо себе и, обняв ее шею, долго так держал. Это уже ласка, это одухотворение, это не (медицинская) помощь. Теперь, на поразившем меня египетском рисунке осликов ли, или лошадей, они все заложили морду за шею друг другу, т. е. все стоят в ласке, в одухотворении. Ничего подобного и никогда я не видал во всемирной живописи. Через три года в той же Публичной библиотеке я нашел изображения ланей, но в странном сочетании: черепа их как бы раскрыты, оттуда тянутся рога, но и вместе выходит человек, что-то человекообразное, голова, руки, туловище, и так согнутое как бы говорит: «вот — я родился! вот — из какой родины!» Вполне удивляюсь, как историки культуры и религии никогда не воспроизвели этого рисунка: в нем уже вся Греция, со множеством

* наоборот (лат.).

мифов, с царями Миносами и Минотаврами, с Гераклами в львиной шкуре и проч. И вместе здесь тоже и родина «Рейнеке-Лис» Гете (животный и человекообразный эпос).

Высокое счастье, высокая радость бытия разлиты в египетских лицах. Слова Достоевского: «они были прекрасны, потому что были похожи на детей» — совершенно определенно описывают сущность прелести египетских лиц. Напр., на одном рисунке «Экспедиции французской армии под предводительством Бонапартэ» (многотомный атлас), — перенесена живопись с какой-то стены храма: лица (фигурки) — человеческие, они очень невелики, каждая в мизинец величины, и все, т. е. такое огромное множество, улыбаются. Улыбается египтянин (как я рассмотрел на других больших рисунках) не губами, а лицом: губы чуть-чуть изогнуты в улыбку, но она своеобразно стянула и щеки, и лоб, и вы получаете впечатление не смеющегося человека, а обрадованного или известием, или находкою, или удачею, но вообще каким-то благополучием. Сонм благополучных лиц — вот впечатление. Грех еще не начался, скорби еще нет, уныния не знаем. Улыбка тонкая и нежная, несколько таинственная, именно как у детей. Дети ведь еще другого мира, чем мы, без греха, т. е. без главной нашей психологии. Таковы египтяне; в меньшей степени — греки; почти совсем этого нет — у римлян. При Адриане у них уже было только декадентство, и вот, однако, отрывок из этого декадентства (возобновленный культ Изиды) все еще прекрасен, звучен, цветист, душист.

Последняя туча рассеянной бури...

«Не было чувство греха», — говорит (о грехах) Хрисанф. «У них вовсе не было того жестокого сладострастия, которое у нас составляет почти единственный источник всех и всяких грехов», — описывает Достоевский людей другой планеты, — и в тоне слов его слышатся почти слезы, слезы скорби о настоящем, слезы указания на будущее. А он был слишком проникателен, чтобы ошибиться; автор «Карамазовых» именно в теме сладострастия был слишком компетентен, чтобы сказать пустое определение. Что же тут за тайна, которую он хотел выразить?! «У них рождались дети; но эти дети были как бы общие и все эти прекрасные, добрые, еще не согрешившие люди составляли одну семью». Если мы спросим, чем семья и ее существо отличается от общества, от компании, от государства (в их существе), от всех видов человеческого общения и связанности, то ответим: святым и чистым своим духом, святою и чистою своею настроенностью. Семья есть самое непорочное на земле явление; в отношениях между ее членами упал, умер, стерт грех. Все — просто. Все не зложелательны. Говорят, что думают; делают, что хотят; прощают, терпят; всегда веселы и все в союзе. Грех — на периферии, за границами семьи. Члены семьи в отношении к внешним уже обманывают, гnevаются, хитрят. Безгрешность среди жителей целой страны («Сон смешного человека» Достоевского) очевидна и осуществима только

через один путь: через устранение вовсе периферии с семьи, т. е. через раздвижение семьи на всю страну, включение всей страны в семью *. Мать мне — не одна эта старушка, а все старушки, каждая встреченная на дороге; но и дальше, больше: Улисс, как родную, увидел старую собаку, которая встретила его после 20 лет отлучки и, завив хвостом, умерла. И она есть член дома, не чужая Улиссу **, и так — все друг другу, так — вся страна. Гомер, старец, человек еще почти «золотого века», уловил эту «собаку»: животное есть неперенная принадлежность полного дома, и коровки, и лошадки, и овцы — все. Человек вместе с животными, друг животного — это прежде всего человек, оставивший гордость. А гордость «Эдемом» исключается. Отсюда невинные и дружные человеку животные введены как органическое звено в «рай» первых людей. Но вернемся к указанию Достоевского: «у них не было жестокого сладострастия». Сцена его «Сна» до такой степени полна субъективного экстаза, что он, конечно, ничего не вспоминал, когда писал ее. Между тем в «Бытии» также сказано, что грех человека, грехопадение, хотя оно заключалось только в неповиновении Богу, однако сопровождалось странным последствием: что-то моментально произошло в поле, и люди закрылись древесными листьями. Началось «жестокое сладострастие».

Грех, смерть, стыд — связаны, как числитель и знаменатель одной дроби. Изменяется *знаменатель* — не остается тем же и *числитель*, хотя бы цифра его была *та же*.

У греков «не было чувства греха» (Хрисанов). Как же они смотрели на пол? Обратно нашему. Как мы смотрим? Как на грех. Грех и пол для нас тождественны, пол есть первый грех, источник греха. Откуда мы это взяли? Еще невинные и в раю мы были благословлены к рождению.

Мысль, что в роднике семьи, в поле, содержится грех, есть одна из непостижимых исторических аберраций; она сейчас же перенесла святость в смерть, в гроб. Как только человек подумал, что в рождении — грех, испугался его, застыдился: сейчас же святость и славу он перенес в могилу и за могилу, и поклонился смертному и смерти. Вот где связь трех факторов грехопадения: поверив Искусителю и вождю смерти, *eo ipso* *** человек застыдился, остудил в себе родники жизни; а осудив родники жизни (стыд) — причастился смерти, стал смертен.

* Одна из поразительных тайн юдаизма, еврейства, поддерживаемых такими учреждениями их, как абсолютное закрытие брачных связей с чужеплеменниками, как *миква* (священное погружение в бассейн воды перед субботой) и проч., заключается в том, что *все еврейское племя, на всем земном шаре, имеет родственное сложение и психологию только очень разросшейся, но одной семьи*. Отсюда их эгоизм к внешним и необыкновенная теплота друг к другу. У европейцев все отношения суть *соседские, гражданские, римские*, или отношение — *соучеников на парте* (в линии религиозной связи).

** Поразительно до сих пор чувство животных у магометан: они их не трогают, не гонят и не убивают. *Не смеют* (психологически) этого и *не хотят*. Этим объясняется безобразие Константинополя, которого улицы — что собачий двор: но собаки, как мне передавали, до того тихи, что через каждую можно безопасно перешагнуть. Это некрасивая форма престального венецианского обычая: во всей Венеции не убивают голубей.

*** тем самым (*лат.*).

Мы уже подходим здесь совершенно к теме «Демона». У Достоевского сказано: «Дети были общие, невинные люди радовались рождению их, как участников земного своего блаженства». Чем более сядет за стол гостей, тем радостней пиршество. И о смерти они не скорбели; но смерть, даже безболезненная, есть уход, сокрытие. Гость вышел из-за стола и ушел в иное место. Если даже он ушел в лучшее место, это лучшее — для него, а у нас, за нашим пиршеством, стоит пустой стул. Хоть легкая тень скорби останется при виде пустого стула. Итак, смерть все-таки есть скорбь, но рождение — «здравствуй, еще человек, гряди в мир!». Древний теизм, да и теизм в видении Достоевского, есть как бы разлившееся молоко, пожалуй — как бы разлитие по всем нашим жилам чего-то нежного, мягкого, любящего, бессловесного, поднимающего грудь, без имен, без статуй, без средоточий в один пункт или минуту. Посему первые храмы не имели ничего общего с нашими: идешь, идешь — поле; не очень много святости; входишь в лес — больше святости! Тут и птички, и дикая коза, и такая большая куча листочков — «божков». День — хорошо; сияет солнце, есть святость; но ночь — зажигаются мириады солнц, все небо «в очах» — тут святость гуще, тут слезы подступают к горлу. Все и везде свято; но нажим святости сосредоточивается в некоторых местах, областях, пространствах, временах. Но из этих времен субъективно для каждого есть одно особенное и исключительное, по странности, по радости, по глубоким благодатным последствиям: — это рождение, мое или от меня. Представить себе можно этих первых людей в момент влюбленности. Достоевский и говорит: «они все были как бы влюбленные друг в друга». Тургенев рисует нам влюбленных, и он, старик, в старый фазис цивилизации рисует их, как древние своих полубогов, а мы все, не сговариваясь, называем их «героями». Любовь исключает обман; вот кого не обманет жених: свою невесту. Пожертвует жизнью. Они не лукавствуют, не хвастают, не лгут, не зложелательствуют: назовите мне грех между ними, и я дам на отсечение свою голову. Это — сейчас, в пору старости. «Весь избыток молодых сил уходил у них на любовь», — говорит Достоевский. Что же должны были чувствовать, влюбляясь, ранние человеки, и, главное, как они должны были быть удивлены, поражены этим чувством, его феноменом, его неразгаданною сущностью?! Но тут пусть скажет два слова наша наука:

«Мы обзрели все явления органической жизни, — питание тканей, рост, старость, — и видим, что ни к одному из них положительная наука, да и какая бы то ни была гипотеза, *не дает ключа*. Но мы ничего еще не сказали о *поле*: все живые существа, без какого-либо исключения, суть или мужские, или женские. Но *что такое пол — это наука менее знает, чем что-либо*». Так кончает на последней странице Страхов свою

философскую книгу, посвященную проникновеннейшему и осторожнейшему исследованию органических явлений *.

Если в XIX после Р. Х. веке Страхов не знал, то что же знали за XIX веков ранее Р. Х. египтяне, греки? А если это тайна и вековая тайна, то уж позвольте, как и всякую тайну, разложить ее на «здесь» и «там», земное и *сверхземное*, обыкновенное и *чудесное*, рациональное и *мистическое*, человеческое и... *божественное? демоническое?*

Как хотите. Если грех есть рождение — демоническое, а если рождение свято — божественное. В «Трех разговорах» Соловьев, человек весьма религиозный и до конца дней, написал (разговор третий): «сила зла царством смерти подтверждалась бы». И несколько далее: «Есть зло индивидуальное (перечисляются его виды), есть зло общественное (опять перечисление); есть наконец зло физическое в человеке, — в том, что низшие, материальные, химические и механические элементы его тела *сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма; сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку (т. е. тело) всего высшего (психической деятельности)*. Это есть *крайнее* (его курсив) зло, называемое смертью». Так предсмертно написал Соловьев. Он был благочестив. Итак: смерть — «крайнее зло», абсолют зла. Следовательно, одолевающее смерть рождение есть абсолют добра... Кто же оно? Демон?

Лермонтов назвал «демон», а древние называли «богом». В том белом, безымянном, бесфигурном теизме, какой вздымал их грудь в «золотом сне», они и называли «чудесным», «святым», «непостижимым» и «страшно могущественным» (о, беспредельно!), а наконец и волшебным по своим действиям необъяснимое для нас, и ни для кого, чувство любви и феномен пола. Его вторую неясную и мистическую половину, сверх видной и ясной, они отнесли «туда»... Куда? В лес густой — более, чем в поле; в ночь — более, чем в день; куда-нибудь, в «тайну», в место нажима теизма **. Но который пол? Да конечно — два! Вот Соловьев, так благочестиво умерший, по напечатанным воспоминаниям его друзей, высказывался, что Бог есть существо женского рода («Вечная Мировая Женственность», см. в предисловии к 3 изд. его стихотворений), а по одному воспоминанию г. Энгельгардта, по ночам он иногда запирался и «молился какой-то Розовой тени». Я никогда ей не молился, потому что не видал; но если Соловьев молился, то, очевидно, что он ее видел! Не слову же, не фетишу звуковому он молился. Он видел «розовую тень» по сказаниям, по напечатанным словам стихотворения «Три свидания» он видел ее всего три раза: в детстве, 9 лет, в Британском музее и в Египте, причем в последний поехал по назначенному там свиданию. Что это такое — я не знаю. Но знаю, что евреи перед каждою субботою и в каждую хижину ждут тоже какую-то золотую гостью, небесную, именуемую «Царица Шабас». А евреи довольно религиозный и вместе

* «Об основных понятиях психологии и физиологии», последняя страница.

** Идея священных рощ; идея храма, у египтян, имитировавшего рощу.

не фантастический народ; если еще допустимо, что Соловьев фантазировал, то евреи верят... как? Религиозно. Женское начало, прямо видение, образ, уже фигурно и поименно введено в религию строжайшего, суровейшего, вечно семинарствующего народа.

Так что же мы будем кричать на «Геру» греков, «Изиду» египтян, «Астарту» сидонян? Да это и есть «розовая тень» Соловьева, «Царица Шабас» евреев:

...Для этого названия нет,
Все чувство...

Я не видал ни Геры, ни Изиды, ни Шабас, ни «розовой тени». Но если у меня нет проказы, то я все-таки знаю, что есть прокаженные, и если не испытал «ауга» эпилептиков, то верю ощущению «мировой гармонии», перед припадком «священной болезни», какое описывает Достоевский. Я — не все. А показаниям моих братьев не могу не верить.

Но я могу читать и вот вижу, что первая строка «Книги Бытия»: «борейшись бара Элогим», «вначале сотворил Бог» имеет *сказуемое в единственном числе, а подлежащее* — к преткновению всех ученых — не в единственном, а во множественном числе (единственное число Елоах, арабийское — Аллах). Каким образом это может быть и как же тогда перевести это место? Да ведь, очевидно, не было никакого основания для Соловьева думать, что к его исключительному и личному удовольствию есть только «розовая тень», может быть около нее есть «грозная тень»; и если есть «Царица Шабас», то есть и «Адонай» — уже в единственном числе. Речи-то пророков ведь все льются в двух тонах: страшных угроз и нежнейшего утешения, как бы один голос слышится из-за другого, и из-за второго опять выступает первый, сплетаясь, как два вервия в одно. Загадку филологическую разрешается загадка метафизическая: «бара Элогим» очевидно и нужно перевести «сотворила Чета» (мистическая «Двоица» Пифагора). Да и понятно это. Если пол — тайна, непостижимость (мнение Страхова), имеет свое «здесь» и свое «там», то как здесь есть мужское начало и женское, то и «там», в структуре звезд что ли, в строении света, в эфире, магнетизме, в электричестве, есть «мужественное», «храброе», «воинственное», «грозное», «сильное» и есть «жалостливое», «нежное», «ласкающее», «милое», «со-страдательное». Тогда опять выражение Библии о человеке: «по образу нашему сотворим человека, мужчину и женщину, сотворим его» — понятно же.

Вот мы и подошли совсем к теме «Демона». Мы сделали ее уже совершенно понятной, нашей, близкой, родной. Но я скажу более: мы сделали ее научной; просто — научной как арифметика. «Демон» вовсе не фантазия, а самая реальная «быль», со мной не бывшая, но вот с Соловьевым бывшая, и только с Лермонтовым бывшая в платье другого покроя, не в тунике, а в тоге, не с нежною улыбкой, а с грозющим пальцем.

Древних греческих философов, до Сократа, историки называли «физиологами», хотя они не рассекали трупов и едва ли что знали из нашей науки физиологии. Такое имя им дали по характеру и по теме их размышления. Вот таким не физиологом-мудрецом, но физиологом-поэтом, в древнем и особенном смысле, был Лермонтов:

О грезах юности томим воспоминаньем
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.
О, если б знало ты, как я тебя люблю.
Как милы мне твои улыбки молодые
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок...

Это совсем другой состав слов и движение души, чем у Пушкина:

Младенца ль милого ласкаю
Уже я думаю: «прости»...

Пушкин чувствует младенца, если можно так выразиться, идиллически, картинно, Лермонтов — физиологически. Последнее — гораздо глубже, и слово «с содроганием» (смотрю) — тут не обмолвка. Это — взгляд отца, взгляд — матери, любовь — не скользящая по предмету художественным лучом, а падающая на предмет вертикально, как луч полуденного солнца, пронзающая предмет, сжигающая предмет. И такие вертикальные лучи, негодования ли, любви ли, палищие, знойные, действующие, ударяющие — везде у Лермонтова; в противоположность горизонтальным лучам, художественно успокоенным, у Пушкина. От этого действие их на душу глубоко, быстро, смущающе: без всякого преувеличения, слезы навертываются при чтении его строк, или сердцем овладевает восторг, победа: «веди нас, вождь наш», хочется сказать поэту. И его чувство о себе, о поэте:

Бывало, мирный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы.
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой...

Это не преувеличение, а правда. Из-под уланского мундира всегда у Лермонтова высовывается шкура Немейского льва, одевающая плечи Геркулеса. Древний он поэт, старый он поэт. И сложение стиха у него, и думы его, и весь он — тысячелетнего возраста. Точно он был и плакал при творении мира, когда «и сказал Бог — да будет свет, и стал вечер, и стало утро — день первый». Он все это запомнил, и вот этою давнею любовью, дедовскою, родною, лешеою, «ангельскою» ли, «демоническою» ли (как хотите, по выбору) полна его поэзия.

«Антропоморфизм» религии... смешно читать в исторических книгах издевательства над этою древнею верой. Как будто, имея понятие о себе, как «образе и подобии Божиим», мы исповедуем что-нибудь иное.

Какова фотография, таков и оригинал. Нет, из «антропоморфизма» не только не нужно, но и невозможно вырваться, и «розовые тени» (Соловьев) в неизъяснимых глубинах неба, как и «грозящие пальцы» в них же — не одна фантазия. У Лермонтова, кроме физиологии, есть романтизм природы; или, точнее потому-то его физиология и есть мистическая, что — она собственно везде разлагается на игру «розовой» и «грозовой тени», «туники» и «плаща», везде — тучка и утес, везде — тоска разлуки или ожидание свидания, везде — роман, везде — начало жизни, и небесной и земной, в слиянии.

По небу полуночи Ангел летел.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез...

Вот, что видит Лермонтов за начальным мигом человеческого существования, позади первого детского на земле вдоха, крика. Это — миф сзати физиологии, священный миф, в этом и мы ему не откажем. Все — антропоморфично в небе, все богообразно — на земле. Все — чудище, лес дриад, в котором запутался бедный странник, человек.

И звуков тех слов заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Геродот, когда в своих странствованиях дошел до Вавилона, то жрецы, т. е. певцы и поэты народа, показали ему древнейший в городе храм, который он описывает. «Это — четырехугольник, каждая сторона которого имеет две стадии. Уцелел он до моего времени (конец «Золотого сна»). Посередине храма стоит массивная башня, имеющая по одной стадии в длину и ширину; над этой башней поставлена другая, над второй третья и так дальше до восьмой. Подъем на них сделан снаружи; он идет кольцом вокруг всех башен. Поднявшись до середины подъема, находишь место для отдыха со скамейками; восходящие на башни садятся здесь отдохнуть. На последней башне есть большой храм, а в храме стоит большое прекрасно убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого кумира в храме, однако, нет. Провести ночь в храме никому не дозволяется, за исключением одной только туземки, которую выбирает себе божество из числа всех женщин. Так рассказывают халдеи, жрецы этого божества» (Первая книга, гл. 181). Ну, и что же дальше?

Лишь только мир волшебным словом
Завороженный — замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травую,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно *,

* Совершенны тема и тон стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива». Но там появляющееся среди всего этого названо «Бог», здесь — «демон».

Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет —
К тебе я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы,
И на шелковые ресницы
Сны — золотые навевать.

«Халдеи же говорят,— оканчивает Геродот,— чему, однако, я не верю, будто божество само посещает храм и почивает на ложе; нечто подобное таким же способом совершается в египетских Фивах, по словам египтян; и там будто бы ложится спать в храм женщина в храме Зевса Фивского, как здесь — в храме Зевса — Бела, причем ни вавилонянка, ни фивянка не имеют, говорят, вовсе сношений с мужчинами. Подобно этому в Ликийи, в Патарах, прорицательница,— если только она бывает, ибо оракул там не постоянный,— запирается по ночам в храме».

Вот общее, и без взаимного, конечно, соглашения — в Египте, Вавилоне, Греции азиатской. Очевидно, везде был вопрос: «что Богу понести самого чудесного...», нет, иначе, другими словами: «на высоту, ближе к звездам, в восьмой ярус, к первому дню творения, с чем я пойду чудодейственным, непостижимым, меня радующим, меня возвышающим в героя, чистым, развязывающим узы греха?» И везде инстинктивно ответили: «пойду с чудом любви, с таинственной *магией влюбленности*, которую никогда-то никто не умел постичь, и все перед ней плакали, умилялись на нее, от Тургенева до Шекспира.

О, ночь блаженства!
И радости! Подумать страшно мне,
Не грезой ли ночной я очарован!
Все то, что испытал я, слишком нежно,
Чтоб быть действительным.

Дж у л ь е т а

Еще два слова
Ромео, милый мой, а там — простимся
С тобой совсем! Когда любовь твоя
Честна и благородна, и коль скоро
Ее ты завершить намерен браком,
Пришли сказать мне завтра с тем, кого
Пришлю к тебе сама я, день и час,
Который ты назначишь для венчанья.
Себя и все свое с минуты этой
Отдам тебе во власть я и пойду
Вслед за тобой, хотя б на край вселенной...

Конечно — узы греха развязаны. Это такая чистота, такая невинность, с которой куда же и бежать, как не в точку нажима религиозного чувства, в «священную рощу», на восьмую башню — на Ефрате, или, как

поступили Веронские несчастливцы — в падре Лоренцо. Но куда-то вообще в «алтарь» или «к алтарю» священного места. Всемирный инстинкт, всемирно человеческий, на чем собственно, а не на каких-нибудь приказаниях, держится доселе, в своих остатках брак, «венчанный», «коронованный», с глазами, обращенными к небу. Но что же чувствует вавилонская, фиванская или патарская девушка?

Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненьи!
Все чувства в ней кипели вдруг.
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно новый,
Ей мнилось, все еще звучал.

И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил.

Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и страшной:
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей;
То не был ада дух ужасный
Порочный мученик — о, нет!
Он был похож на вечер ясный
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет!..

Образ человекообразный — рассеивается в природу («ландыши полевые», «ни день — ни ночь — ни мрак — ни свет»), хотя за минуту еще природа встала перед очами... духом «богом», «небожителем», которого Лермонтов не смеет похвалить, не в силах и порицать. Душа его смущена и встревожена... немножко, как и у вавилонской девушки. Вернемся к древним девушкам: к ним сходил — «Бел» в Вавилоне, «Озирис» в Фивах, «Зевс» в Патарах. Что имена? Грудь вздымалась.

Пал небесный цветок на землю — и девушка ловила его.

Жрецы-младенцы не лукавили, говоря, что «никто туда не входил».

* * *

О древних религиях, вот где всходили девушки на вершины башен, все ученые рассказывают, что в них поклонялись звездам. Не будем преувеличивать и особенно не будем утяжелять понятие: «поклонялись»;

это было поклонение воздушное, лесное, не угрюмое, не испуганное: это было что-то очень похожее на любовь же, на бесконечное «преклонение» и страх оскорбить «поклоняемого». Иов говорит стыдливо и оправдываясь: «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она плывет по небу, *прельстился ли я в тайне сердца моего и целовали ли уста мои руку мою*» (глава 31, ст. 26—27). Нам этого чувства представить уже нельзя: поцелуй воздушный — через биллионы верст луне, солнцу! Но тускло, но равнодушно почти, однако именно при влюблении и мы как-то внимательнее смотрим на звезды и на «луну, плывущую в небе» (Иов). Что-то есть между нами, между мною, моею возлюбленною и звездой, небом? Что? как? — «не вемы», но что-то чувствуем. И вавилонянка входила вверх. Храм был страшно высокий; на полдороге надо было отдыхать; а звезды там — огромные, как небесные сливы, как золотой спустившийся с небес виноград. До чего это древне, до чего это вечно, — это я подумал, прочитав в одной попавшейся мне еврейской рукописи, что евреи и до сих пор в *новолуние* выходят на двор, в поле, на улицу, и *скачут вверх, стараясь* («богоугоднее») *выше подпрыгнуть в направлении к луне*. — Достоевский в «Сне смешного человека» говорит о невинных людях: «они не имели науки, но имели что-то большее нашей науки: они *проникали в звезды* и я видел, что у них есть какое-то *внутреннее с ними общение, в этом я не ошибаюсь*!» Самое древнее изображение Астарты было найдено на глиняном (халдейском) цилиндре: простая человекообразная фигурка, которая держит в руках (как мы восковую свечу) трость, к концу которой прикреплена звезда. Вот, откуда мы и до сих пор «со звездой путешествуем»; в католических же храмах их таинственная «мадонна», кажется, более космологическая, чем историческая, тоже всегда или в окружении звезд (вокруг всего корпуса тела), или в венце из звезд, и стоит на изогнутом серпе луны: символы, о которых мы ничего не читаем в смиренном евангельском рассказе.

На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане
Хоры дивные светил.
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неувимых
Волокнистые стада...

Живое небо, так же прекрасное, как и для нас, но еще кроме того живое! Да ведь не замечаем ли мы, что свет солнца (звезды) и в самом деле органический, а не механический; это — не свет какой-то чугунной красной бомбы, глупой, бездумной, бессловесной. Да, оно немо, но фактами говорит. Говорит бытием и в бытии («Сый — так будешь ты называть меня». Исход). Говорит травкой в поле, листочком на дереве. От натопленной печки у нас голова болит, а под солнцем (при большой даже температуре) расцветаем, радуемся, скачем, почти как евреи. Нет,

не ошибалась древность, она более нас чувствовала, — и Иов не напрасно посылал украдкою поцелуй. «Что-то есть!» — «И ввел Дух меня во внутренний двор храма Господня; и вот я вижу: у дверей его, между притвором и жертвенником стояло до двадцати пяти мужей. Они стояли к Востоку лицом и поклялись солнцу, а к носу подносили свежие зеленые ветви» (Иезекииль, 7 гл., ст. 16—17). Вот своеобразные пифагорейцы, т. е. предшественники пифагорейцев, которые могли бы дать в Иерусалиме Пифагору те же уроки, какие он получил в Египте. «Золотой сон человечества везде был» (Достоевский). «Он умер! он умер» («ai linu»), «он — воскрес! он — воскрес!» («je chaveh hadad») — эту «песнь Лину» Геродот слышал в Египте и удивился, что «она поется там так же, как и в Аркадии». — «И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу, — и вот, там сидят женщины, плачущие по Таммузе» (Иезекииль, 8 гл.). «Золотой сон человечества везде тот же». Бл. Иероним, Кирилл Александрийский, Прокопий Газский и Ориген согласно говорят, что «Таммуз» евреев и сирийцев есть то же, что «Адонис» у греков; а именем «Таммуз» до сих пор называется у евреев один месяц в году, т. е. один месяц они называют «Адонис», самые правочерные до сих пор! Цветы Греции и плоды Сирии соединяются, касаются. В Греции только все выражено немного грубее, ибо осязательнее, все уже более приближается в возможности статуи, изображения, к участию мрамора, к возникновению искусства. Евреи этого страшились: как я стану любить статую, когда должен любить живое!» — вот неразгаданный единственный мотив их отвращения, их страха и вражды к «идолопоклонству», искусству. Возможно ли цитированные стихи:

С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...

Возможно ли проскандировать их кукле?! Чудовищно! жестоко! насмешка над поэзией и прямо ругательство, надругательство над ребенком! Евреи, взяв камень и бросив в статую (положим, «Афродиты») — дали знак: «не — ее, а — женщину» (жену), т. е. люби. Теологи же европейские чудовищно истолковали это так, что евреи через это выразили «отвращение к поклонению твари вместо Творца». Как будто не Соломонов храм был увешан гроздиями винограда, не Ааронов жезл дал миндальные цветы, не на одежде первосвященника сделаны были гранатовые яблоки, и не на крышке киота завета стояли «херувимы», т. е. «отроческие существа» по изъяснению слова «херувим» в *Мишне*; а «два» их было — ибо все «двоится» по «образу и подобию» Четырех Сотворившей. Но оставим этот вводный спор о причине отвращения иудеев к «статуям» — и вернемся к халдеям. Как неосязаемы были ночные волнения вавилонянки. Никто к ней не приходил и она сходила наутро с вершины башни только взволнованная. Это была дымка мечты, без всякого осуществления. Греки дали осуществление, солгали, написали то, чего не было, выдумали, начали «Миф» («сказание»).

У Лермонтова «демон» никак не назван. Если бы его спросили, как имя его героя — он был бы поражен. Имя и фамилия? Но, Боже, это — только *идея*, только *метафизическая истина*, но в самом деле истина, без прикрас, почти научная и вместе религиозная. Вот на этой-то правильной черте и не удержались греки, прописав паспорт и «особенные приметы» «богу», а когда во II веке до и после Р. Х. стали рассматривать этот паспорт, то конечно и нашли его фальшивым, по чему заключили, что «ни Зевса, ни Семелы, ни всех этих сказок никогда не было и нет» (критика Евгемера, критика отцов церкви). «Язычество — выдумка! Оно — пусто! Просто — нуль, гладкая доска, на которой только еще предстоит написать религию». Между тем при ложном паспорте неужели не может существовать истинного человека?!

В последний раз она плясала...
Увы, завтра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвое дитя,
Судьба печальная рабыни

И демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг...

Тот же миф, миф греков о «Зевсе и Семеле», но с осторожным обхождением имени. Евреи, чуткие, точные, не распушенные в воображении, тоже обходят имена, *вовсе их не пишут* или заменяют не настоящими, заменяют эпитетами, описаниями, *похвалами*. И у них от этого исключения «паспорта и примет» все цело до сих пор. Но нет ли *сходного* и даже *того же* и у них? Евреи хитрее и умнее; евреи — осторожнее: но в пределах той же темы.

Мы вносим труп в храм. Можно и это. Мы воскуряем перед ним фимиам, окружаем его свечами. Невозможно отрицать, что мы ему немножко поклоняемся, лобзаем его «последним целованием» и во всяком случае считаем святым и чистым. Гадок ли труп? — Фу, что за кошунство: конечно, нет! скорее свят, «божок!!» А младенец? «Вот вопрос, конечно — тоже чист». Но можно ли перед младенцем, в люльке, зажечь свечи и, положив ладонь в курильницу, обходить его вокруг и петь... конечно, не «со святыми упокой», но другое, обратное, и соответствующее? «Какая идея, к чему это!» Но ведь и трупу не более нужны, чем ребенку, свечи и фимиам? Конечно — все не нужно, но мы выражаем идею и свое чувство. «Нет, невозможно! Перед младенцем, в люльке, свечи и фимиам? Не могу себе представить». Но отчего? И неужели в самом деле труп, тело бездыханное, не только не физиология, но низшее и худшее, и слабейшее, чем она, именно «то крайнее зло, которое мы называем смертью» (определение Вл. Соловьева) — перед нами,

и мы же ведь жжем и фимиам, и свечи перед этим «крайним злом»? — «Это не перед ним, это перед воспоминанием». — «Зажгите и свечи перед младенцем и символ ожидания. Да и неправда, что вы вспоминаете только около трупa: вы именно курите ему фимиам, ибо вспоминать могли бы и запершись в кабинете». Нет, это — религия, другая, новая. Но если возможна она и стало можно поклониться «крайнему злу», смерти, то почему нельзя было поклониться и крайнему благу, жизни и жизне-даянию? Тогда... «боги» и «демоны» переместились взаимно. Что называлось «демоном» — стало «богом», а что было «богом» — стало «демоном». «Древние не совсем пустоте поклонялись — они поклонялись демонам», — говорила в начале новой эры другая половина апологетов, не остановившаяся на словах, что «мифы — сказки, а богов — не было».

«Демону» поклонился и Вл. Соловьев в «Розовой тени», а евреи ему кланяются в «царице субботе»; Лермонтов его же вспомнил, не дав никакого имени. «Не старайтесь: храм Сераписа невозможно разрушить; если он упадет — мир не устоит», — говорили жрецы какого-то египетского храма, когда стены его тряслись под таранами римлян-христиан. Стены дрожали, пали, забыты. Но около них росли пальмы. В каждом их листочке был «серапис»; а в пальме, в роще, в звезде, в римлянин-воине и в египтянине-жреце был Серапис. «Сего нельзя разрушить: если это разрушить — мир упадет».

— Тут в самом деле есть какая-то истина. *Generatio equivoca*, «самопроизвольное зарождение» — отвергнуто. Цольнер в отчаянии сознался, что единственная возможность объяснить органическую жизнь на земле заключается в предположении, что когда-нибудь первая живая клеточка упала на землю с метеором, т. е. упала из живого же другого мира. Капля за каплей, со звезды на звезду, но где же первое, Кто первый? Так, многотрудно покачав головой, мог бы дать свое *résumé* этим мыслям Страхов.

«Демон» Лермонтова и его древние родичи

Лермонтов чувствует природу человеко-духовно, человеко-образно. И не то, чтобы он употреблял метафоры, сравнения, украшения — нет! Но он прозревал в природе точно какое-то человекообразное существо. Возьмите его «Три пальмы». Караван срубает три дерева в оазисе — самый простой факт. Его не украшает Лермонтов, он не ищет канвы, рамки, совсем другое. Он передает факт с внутренним одушевлением, одушевлением, из самой темы идущим: и пальмы ожили, и с пальмами плачем мы; тут есть рок, Провидение, начинается Бог. Это все тоже

Когда волнуется желтеющая нива,

но уже переданное фигурно, образно, в драматической сцене, а не отвлеченно. Помню, как еще до поступления в гимназию и не зная, что такое «поэт» и «поэт Лермонтов», я придумал к поразившему меня стихотворению напев и, бывало, уединившись в лес или сад, пел эту песню («Три пальмы»), всегда с невыразимой грустью, как о живых и родных мне пальмах. Лермонтов роднит нас с природою. Это гораздо больше, чем сказать, что он дружит нас с нею. И это достигается особенным способом. Он собственно везде открывает в природе человека — другого, огромного; открывает макрокосмос человека, маленькая фотография которого дана во мне.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит; задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.

Это совсем просто. Ничего нет придуманного. Явление существует именно так, как его передал Лермонтов. Но это уже не камень, о котором мне нечего плакать, но человек, человек-гора или гора-человек, о которой или с которою я плачу. В «Рустеме и Зорабе» есть Горный Дух, которому на время Рустем передает часть своей силы и потом берет у него ее обратно, чтобы победить сына: вот такими-то «горными духами», большими, чем сами горы, древними «Виями», одного из коих показал нам Гоголь, полна поэзия Лермонтова. Возьмите «Дары Терека».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, будто спит,
И опять, ласкаясь, Терек
Старцу на ухо журчит

Это совершенно человекообразно. Это — сказка, не хуже народных, и с такою же, как у народа, прочною, но уже не наивною верою, что природа шевелится, слушает, ласкается, любит, ненавидит. Все, что есть в моем сердце, есть в сердце того огромного духа ли, чудовища ли, во всяком случае огромного какого-то древнего, вечного существа, которое обросло лесами, сморщилось в горы, гонит по небу тучи. Таким образом во всех стихотворениях Лермонтова есть уже начало «демона», «демон» недорисованный, «демон» многообразный. То слышим вздох его, то видим черту его «лика». Каспий принимает волны Терека только с казачкой молодежью: вот уже сюжет «Демона» в его подробностях; «дубовый листочек» молит о любви у подножия красивой чинары: опять любовь человеко-образная, человеко-духовная, между растениями; три пальмы в кого-то влюблены, кого-то ждут; караван они встречают, как брачный поезд:

Приветствуют пальмы нежданных гостей
И щедро поит их студеной ручей...

это — оживление, это раскрытые объятия невест, так жестоко обманувшихся... Тема «Демона» неугасима у Лермонтова, вечно скажется у него каким-нибудь штрихом, строкою, невольно, непреднамеренно. Что же это, однако, за тема?

Любовь духа к земной девушке; духа небесного ли, или какого еще, злого или доброго, — этого сразу нельзя решить. Все в зависимости от того, как взглянем мы на любовь и рождение, увидим ли в них начальную точку греха, или начало потоков правды. Здесь и перекрещиваются религиозные реки. А интерес «Демона», исторический и метафизический, и заключается в том, что он стал в пункт пересечения этих рек и снова задумчиво поставил вопрос о начале зла и начале добра, не в моральном и узеньком, а в трансцендентном и обширном смысле.

Средневековые легенды полны сказаниями о таких духах, всегда называемых «демонами», всегда обольстительных. Обольстительные девушки являются подвижникам, обольстительные юноши соблазняют подвижниц. Пушкин в легком очерке

За озером в тени дубравы
Спасался некогда монах...

нарисовал легкую и выразительную картину подобных искушений. Никогда не было исследовано: почему именно возможная страсть, страсть напряженная раздвигается, однако, в представлении цельного человеческого образа, в галлюцинацию необыкновенно живую, до полной веры в ее действительность и объективность. Почему страсть не остается в рамках физиологических, а переходит в искусство, в рисовку, в лепку форм, физиологически весьма мало нужных? Ведь голодный просто представляет себе кусок хлеба, миску щей, едва ли сервируя стол и задаваясь вопросом, серебряной или оловянной ложкой он ел бы такой померещившийся суп. Но у отшельников является какой-то астартизм, роскошествование, изящество в представлениях: в галлюцинациях вдруг встают древние «боги», навсегда похороненные, — и, как описал Пушкин, иногда эти «боги» побеждают всяческие заклания. Как для настоящих «духов», для них не существует замков, запоров, стен. Не понимаю, для чего спиритам потребовались их исключительные «духи», к тому же с такою коротенькою психологией, когда настоящие могущественные «духи» оставили такой реальный след по себе в стольких «житиях»?!

Начало жизни — грех, — вот философия наших времен. И что влечет к началу жизни, названо было в средние века «демоническим» и «демоном». «Это демоны соблазняют нас, чистых дев и чистых старцев, приобщиться к их жизни, которую мы прокляли, выйдя из ее кругооборотов...»

В томительных сценах искушения, увы, не ведется никаких теологических споров: «демон» никогда и ничего не доказывает, ничего и никогда не опровергает; не поддерживает ни одной ереси, не колеблет

никакого догмата. В житиях, ни в одном, ничего подобного не записано: он сияет, манит и влечет. Он только прекрасен и он только тело, живое, блистающее, гармоничное, весеннее; одухотворенное, но без всякого перевеса «духа над материей»; без речей, или с речами не умнее спиритических. Что же это за «икс»? Он не относится ни к какому частному, видовому, второстепенному утверждению нашей эры; он относится к коренному ее утверждению — гробу, маня перейти от него к акту, лежащему на противоположном полюсе смерти. «Демон телесной красоты и привлечения» борется с богом, и уже по тому одному, что в средние века он был назван «демоном», можно заключить, что в эти века сущность святости определялась, как бестелесность, анти-телесность, как некоторая акосмичность, если употребить слово «космос» в древне-пифагорийском смысле «красоты», «благоустройства».

Но то, что стало «демоном» в нашей эре, до нашей эры называлось «богом». Всмотримся в некоторые подробности. Все древние религии были романтические; вместе с тем все они — реальные. От холодного, остывшего Рима до знойной Сирии, везде сердце религии составляло жертвоприношение. Через кровь жертвы человек соединился с Богом. Что такое кровь? Бегущая жизнь, живое, творческое, безмолвное и создающее. Все органы тела творятся из материала крови, и кровь животного (сумма ее) есть как бы пар его образа, его же фигура, прозрачная, душеобразная. Избрать между Богом и собою посредником, вестником кровь — уже значит самого Бога представлять и чувствовать не отвлеченно, но живо, кровно, а следовательно родственно человеку. Если я пишу письмо, то посылаю его грамотному, и если в религию входит жертва, то непременно человек молится не понимаемому Богу, но существующему Богу, тому, который «есть», который скажет о Себе: «Я — есмь», и даже в этом, на первый взгляд странном определении, выразит свою главную сущность. «Я была, есмь и буду» — стояло, по словам Платона, на статуе Нейт в Саисе (египетский город). С наших, уже бескровных, логических точек зрения, «я есмь» как бы выражает отрицание сомнения в бытии: «не сомневайся — я есмь», «не ищите меня, не пугайтесь видимым отсутствием, — я есмь, существую». Между тем для народов, имевших жертвоприношения, ударение в этой формуле стояло не так: «существо я есмь», «сый я есмь», «вечно сущий, живой — как жива кровь, через которую ты ко мне относишься, и живой именно в крови, вечно гонящий кровь, струящий жизнь мира, нерв мира». Живого нельзя не бояться; это не просто сумма мнений теологов. Все древние народы, жертвоприносившие, трепетали Бога реально, невольно, неудержимо, как и любили его сыновне, реально же, и верили ему реально, как сын не может не верить в бытие отца своего, хотя бы никогда его не видел. Где были жертвы, — теизм был реален и неугасим. Теперь второе наблюдение. От Греции до Вавилона, до Египта звезды были разделены на группы, обведены фигурами-животными: вот подлинные боги древности, эти небесные животные! — и дева, и козерог,

и близнецы, медведица, лев, дракон. • У Геродота записано, что в каждом египетском городе почиталось свое животное, так что в сумме египетских городов почиталась вся сумма известных египтянам животных. Они же приносились в жертву, они же были брошены на небо — уже в каком-то новом смысле. Животное — предмет почтения в храме, животное — под ножом жреца, животное — обведенное вокруг звезд на небе, было взято вовсе не в одном смысле, но в трех разных, однако, относившихся к одной метафизической загадке. «Животное, жизнь — непостижимо, тут — и земля, тут — и небо; и перст, красная глина, — и дыхание Божие; его плоть я вкушаю, но пар его, но дух его улетает в небеса, — и вот отчего я тоже и молюсь ему». В одном атласе научной экспедиции в Египет я рассматривал рисунок красками неба: темно-голубой фон — это лазурь, твердь; среди его желтые лучистые звезды — того цвета, как они видны; но каждая звезда имеет красную каплю внутри, каплю — крови! Древние представляли небеса живыми, кровавыми, туманно-животными, паробразно-духовными. Иначе невозможно истолковать, для чего на рисунке центр звезды представлен пурпурно-красным, когда таких звезд не видит наш глаз, ничего подобного не видит! В астрономических атласах и до сих пор вся древняя религия.

Но ведь для этого есть основание, ибо звезды в самом деле романтичны, а любовники все и до сих пор великие звездочеты, звездомыслители, звездочувственники. Пусть кто-нибудь объяснит, отчего влюбленные пристращаются к звездам, любят смотреть на них и начинают иногда слагать им песни, торжественные, серьезные:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу
И звезда с звездою говорит,—

как написал наш романтический поэт, которому мерцала любовь и в дубовом листке, и в утесе, мерцала при жизни и за гробом. Отчего, в самом деле, полководцы и солдаты, накануне битвы, накануне возможного смертного часа, не взглядывают на звезды? Звезды — кровавы, как рисовали их египтяне, а

В крови горит огонь желаний.

Между животными глубинами нашего «я», откуда как бы там ни было, во всяком случае распускается цветок любви, и между звездами есть какое-то родство, близость, телепатическая связь, незримая и, однако, действительная. И потому, влюбляясь в юношу, девушка параллельно чуть-чуть влюбляется в звезды, кидая из четырех взглядов три — на него, а четвертый — на них, но тоже любующийся, но тоже влюбленный. «Ты загляни в мое сердце, звездочка, и что там увидишь — скажи возлюбленному, шепни в ночи или нарисуй мой полный образ ему в сновидении». Никогда ведь не было разгадано и явление сомнамбулизма (лунатизма): луна что-то показывает спящему (не в буквальном смысле, ибо глаза сомнамбулиста бывают открыты), чего никто

не видит, и он следует указанию, идет, не оступается, забыв, не чувствуя весь реальный мир. А когда просыпается — ничего не помнит. То есть лунный мир и здешний, лунные образы и здешние не имеют общего между собою ничего, не имеют моста между собою. Именно луну древние и называли «астартой», в то же время изображая ее в виде прекрасной девственницы. И до сих пор эта «астарта» является как девственница отшельникам, и как луна — водит за собою сомнамбулистов, посылая им небесные усыпляющие пассы через столько миллионов верст. Ведь если она на душу действует, внушая ей сны, давая образы, усыпляя, — то она действует, как гипнотизер, т. е. не только как человек, но как человек еще хитрый и могущественный. Древние дети и воскликнули: «это — бог! это небесная девственница». Диана (в Греции), Астарта (в Финикии), Милитта (в Вавилоне), Изиды (в Египте). Бог знает, в подробностях, что они думали: мы перебрасываем мостик от заметного и нам в явно бывшем там.

Религии были тогда реальные, романтические, кроваво-жертвенные, звездные. Они были метафизические, в противоположность только моральной, какую знаем мы. Зодиак находится во всех древних храмах; а до чего скептицизм не смел подступить к ним, видно из того, что молитвою «*πάσι θεοῖς καὶ πάσαις*» («всем богам и богиням») Демосфен начинал политические речи, а Платон окончил некоторые из своих диалогов. Представить себе речь Чемберлена, начинающуюся словом «Бог», или Спенсера, посвящающего заключительную главу трактата молитве благодарственной об окончании труда! Мы религиозно несравненно холоднее древних. Но если метафизика бытия составляла сущность их теизма, и святое они начинали с колыбели, то понятно, отчего храмы их были как бы приуготовительны к любви. Египетский храм есть имитация ночи и роши, он полон распускающихся лилий, не в виде поддерживающих потолок колонн, но лилий — наполняющих храм, стоящих посреди его, составляющих органическую и почти главную его часть. Человек, входя в храм, входил из жаркого полудня, из рациональной суety дня — в мистицизм ночи, в тайну сумерек, в средоточие тех пальм, в которых нашему Лермонтову померещились невесты.

...Кивая махровой главою,

Приветствуют пальмы нежданных гостей.

Так, вероятно, входя под необъятные своды своих рощ-храмов, чувствовали и египтяне, ответно улыбаясь невестам-растениям, сочувствуя их любви, готовые сами любить, пришедшие сюда, чтобы любить. Стены храмов исписаны сценами материнства: везде — мать, везде — младенец, лица улыбающиеся, таинственные, как будто они прозрели в какую-то тайну и обрадовались этой тайне. •Во всей необъятной египетской живописи нет ни одного унылого лица: а уныние ведь есть печать удаления от Бога, по заключению всех времён. В вечном и никогда в человеке не умирающем чувстве любви они нашли путь к Богу,

второй и параллельный жертвам. Ведь любовь — заря крови, ответ крови, цветок из ее глубин. Мы наблюдаем в истории, что везде, где были жертвы, чтились и звезды, а любовь считалась священным состоянием, несколько как бы вдохновенным, несколько как бы пророчесственным. Поразительное чувство веселости и облегченности души в древнем мире, как можно думать, и происходило от того, что они, купаясь в волнах самых теплых и приятных чувств, были убеждены, что океан этих волн уже независимо от их воли катит их к Богу, к вечному «Сый», к тому, что «было, есть и останется». Здесь объясняется и древнее обрезание, общее евреям, финикиянам, халдеям, египтянам. «Когда Пифагор пришел в Гелиополис и стал жрецов просить посвятить его в их тайны, они сказали, что это невозможно, пока он не примет обрезания, т. е. оно у них было началом священной науки, как у Израиля началом священных судеб. Обрезание — это вариант жертв, вариант звезд; «кровь завета», взятая из родника любви. «Ангел Иеговы («Аз есмь») сходит на младенца в секунду его обрезания», — говорят до сих пор евреи. В этом круге идей было не только счастье, но и необыкновенное упорство мысли. Мысль очень твердо оперлась на непобедимую скалу, не выворачиваемую иначе, как с выворачиванием, так сказать, всех потрохов мира. «Ну, рушьте мир: если вы проклинаете любовь, — уж прокляните заодно и травку, и листочек, ибо они все тоже любят, и звездочки, — ибо их любят влюбленные, а вместо прекрасных небесных животных изобразите на тверди небесной таблицу умножения. Но что же останется, кроме этой Геростратовой затеи и самодовольства глупца, утешающегося, что он плюнул на небо и плюнул на землю». От этой-то непобедимости скалы скептицизм и не подкрадывался к ним. Начиная святое и свет с жизни, они на периферии этой категории, в нестерпимого блеска животворных лучах помещали: «тайна», «Бог», «не вемы и трепещем», а демоническое и демона, темное и отрицательное, помещали в смерть, вечный холод, небытие. Все окружение рождения им представлялось святым; и как мы кадим успошим, зажигаем перед ними свечи, вносим тело в храм, — со своих особенных точек зрения они кадили же и возжигали свечи перед младенцем в колыбели, перед зрелищем матери, питающей с любовью своего ребенка. Во всяком случае они были чрезвычайно счастливы, хотя бы уже потому, что в каждой семье были «боги».

Сколько богов и богинь!..

Все это и продолжалось до начала новой эры. Тут вдруг один свет погас, зажегся другой. Категория правды началась с покойника. Разом хрустнули косточки «божков»-младенцев, «божков»-матерей, «божков»-папаш. Изиды и Озирисы были вынесены, как погань, из храмов. А то, чего потребовали от Пифагора в Египте и о чем было сказано Аврааму: «это — завет вечный даю тебе», было объявлено ветхим, не пользующим более, ненужным, зачеркнутым, неупотребительным. Пала древ-

ная астрология. Любовь стала физиологической, звезды — булжниками, животные и растения — бифштексом и дровами. Поразительно, что с падением обрезания разом рушились: жертвоприношения, чувство неба, священно-трепетная семья и брак, и стала медленно и упорно угасать, погашаться любовь к детям (метафизика возникновения детоубийства). Старость, дряхлость, а еще лучше — раны, а еще того хуже — гроб вызвали поток совершенно нового умиления, и образовалось другое небо, полное другими небожителями. Они теперь удерживают от рождения, более всего грозят за любовь. Не только у евреев, но в Греции и в древней Италии, человек, прикоснувшись к покойнику, считался нечистым или «оскверненным» до конца дня: ибо в нем — жало смерти, гниение, хвостовство и самоупоеание дьявола. Но все это прошло. Какой критерий перемены — этот труп! Перед ним стали воскурять фимиам, возжигать свечи, стали ему немножко поклоняться, — этого нельзя скрыть! Ибо кто уже не романтичен, — то это труп! Туманные образы юношей и дев, навеваемые «луною» ли «астартой», или «звездами — воинством небесным» (выражение о звездах Библии), в объятия которых в древности радостно шли, теперь стали пугать, названы были «соблазнителями». Ведь они уводят от смерти, коренной святости, в жизнь, главный грех. Но вот что замечательно: в новой зре их столько же является. И в средние века не менее было сожжено девушек на кострах за сношения с «духами» («колдуны», «succubi» и «incubi»), сколько в древности было прославлено храмами и мифами, на Кипре, в Сирии, в Месопотамии, на Ниле. Ничего не умерло, переменились только эпитеты «злой», «добрый».

Лермонтов в «Демоне» в сущности написал один из таких мифов. Все равно, если он ничего не знал о них, — это атавизм древности. В древности его стихотворение стало бы священной сагою, распеваемой орфиками, представляемую в Элевзинских таинствах. Место свиданий, сей

монастырь уединенный,

куда отвезли Тамару родители, стал бы почитаемым местом, и самый «Демон» не остался бы с общим родовым именем, но обозначился бы новым, собственным, около Адониса, Таммуза, Бэла, Зевса и других.

До какой степени это так, можно подтвердить одним подробным рассказом Иосифа Флавия о случае, имевшем место в Риме, во времена кесаря Тиверия. Вот этот рассказ. «В Риме жила одна знатная и славившаяся своею добродетелью женщина, по имени Паулина. Она была очень богата, красива и в том возрасте, когда женщины особенно привлекательны. Впрочем, она вела образцовый образ жизни. Замужем она была за неким Сатурнином, который был так же порядочен, как и она. В эту женщину влюбился некий Деций Мунд, один из влиятельнейших тогда представителей всаднического сословия. Так как Паулину нельзя было купить подарками, то Деций возгорелся еще большим желанием обладать ею и обещал, наконец, за одно дозволен-

ное сношение с нею заплатить 200 000 аттических драхм (на наши деньги 50 000 рублей). Однако он был отвергнут, и тогда, не будучи далее в силах переносить муки отверженной любви, решил покончить с собою и умереть голодной смертью. Он не откладывал в долгий ящик этого намерения и сейчас же приступил к его исполнению. У Мунда жила одна бывшая вольноотпущеница отца его, некая Ида, женщина, способная на всякие гнусности. Видя, что юноша чахнет, и озабоченная его решением, она явилась к нему и, переговорив с ним, выразила твердую уверенность, что при известных условиях вознаграждения, доставит ему возможность иметь Паулину. Юноша обрадовался этому, и она сказала, что ей будет достаточно всего 50 000 драхм. Получив от Мунда эту сумму, она пошла иною дорогою, чем он, ибо знала, что Паулину за деньги не купишь. Зная, как ревностно относится Паулина к культу Изиды, она выдумала следующий способ добиться своей цели: явившись к некоторым жрецам для тайных переговоров, она сообщила им, под величайшим секретом, скрепленным деньгами, о страсти юноши, и обещала сейчас выдать половину всей суммы, а затем и остальные деньги, если жрецы как-нибудь помогут Мунду овладеть Паулиною. Жрецы, побуждаемые громадностью суммы, обещали свое содействие. Старший из них отправился к Паулине и просил у ней разрешения переговорить с нею наедине. Когда ему это было позволено, он сказал, что явился в качестве посланца от самого бога Анубиса, который-де пылает страстью к Паулине и зовет ее к себе. Римлянке доставило это удовольствие, она возгордилась благоволением Анубиса и сообщила своему мужу, что бог Анубис пригласил ее разделить с ним трапезу и ложе. Муж не воспротивился этому, зная скромность жены своей. Поэтому Паулина отправилась в храм. После трапезы, когда наступило время лечь спать, жрец запер все двери. Затем были потушены огни и спрятанный в храме Мунд вступил в обладание Паулиною, которая отдавалась ему в течение всей ночи, предполагая в нем бога. Затем юноша удалился раньше, чем вошли жрецы, не знавшие об этой интриге. Паулина рано по утру вернулась к мужу, рассказала ему о том, как к ней явился Анубис, и хвасталась перед ним, как ласкал ее бог. Слышавшие это не верили тому, изумляясь необычайности события, но и не могли не верить Паулине, зная ее порядочность. На третий день после этого она встрети-лась с Мундом, который сказал ей: «Паулина, я сберег 200 000 драхм, которые ты могла внести в свой дом. И все-таки ты не преминула отдаться мне. Ты пыталась отвергнуть Мунда. Но мне не было дела до имени, мне нужно было лишь наслаждаться, а потому я прикрылся именем Анубиса». Сказав это, юноша удалился. Паулина теперь только поняла всю дерзость его поступка, разодрала на себе одежды, рассказала мужу о всей гнусности и просила помочь ей наказать Мунда за это чудовищное преступление. Муж ее сообщил обо всем императору («Древности иудейские», кн. XVIII, гл. III, 4). Жрецы и служанка были распяты, храм разрушен, Мунд отправлен в ссылку.

Наказание — страшное, оттого и цена была велика. Что же это такое? Миф в действии, миф с подлогом. Было злоупотребление. Но чтобы злоупотребить чем-нибудь, нужно иметь то, чем злоупотребляешь. Подделать фальшивую ассигнацию можно только тогда, когда есть настоящие и когда настоящие внушают веру, имеют ход. Миф древний есть то же, что сказание о «соблазнении» в житиях, и как под вторыми есть обширная философия, была она и под первым. Что же это за философия? Да то, что Достоевский и выразил формулой: «боги сходили на землю и роднились с людьми». Паулина — редкая из римлянок, особенно того испорченного времени. Но ни ее, ни ее мужа не оскорбляет требование в храм. «Наша любовь с тобою, Паулина, — не уличная любовь, не нравы этих Мессалин. Мы возвысились в ее строгости, в ее ощущении, в верности друг другу не только физической, но и мыслимой, и наконец в миловидной грации, — до звезд, до Зодиака. Вот одно из зодиакальных животных, сам Анубис (он изображался в виде шакала, это — «созвездие Пса») спускается к нам и хочет соучаствовать нашему браку, сделать тебя небожительницей. Спешите же, спешите и радуйтесь!» Не это, но что-то в этом роде мелькало у древних.

Поищем аналогий, не поступаем ли иногда так же и мы. Мы уже не умеем любить, мы уже любим, как кухарки и извозчики. Но мы мыслим, как боги (наука). И вот, эту возвышенную мысль, которая нам удалась, мы без трепета переносим в мир, возносим к Богу, не страшась что-нибудь замарать ею: «мир мудр», — говорим мы и не оскорбляем этим ни мира, ни нашего разума. «Небесный ум» — говорим мы о Ньютоне. Но почему наша жизнь, бытие, родники бытия и в частности рождения ниже мысли? Неужели рождающийся ребенок не лучше всякой книги, заключая в себе живую и трепещущую мудрость, яркую и поразительную красоту, глубину неисчислимых возможностей? Почему же бытие свое, нерв свой, роман свой тоже перенес в мир, не сказать: «мир мудр и жив, мир романтичен, нервен, богат нервами, но не нашими, а утонченнейшими, сокровеннейшими, невидимыми, но имеющими кое-что общее и аналогичное с нашими нервами, и чрезвычайно могущественными». Ведь ум же сам по себе бессилен, песчинки не созидает, а перед нами — бытие, золотой песок звезд в тверди небесной! Мышление нашего ума, открыв конические сочинения, открыло в них вместе и круги вращения светил небесных. И в небесах геометрия! «Но также и в небесах любовь, как у Паулины и Сатурнина, но еще лучшая, еще возвышеннейшая, еще глубочайшая. Кто знает, не небесные ли конические сечения родили в человеке отражение свое — мысль о конических сечениях, и не романтизм ли небес рождает нашу малую любовь? Если так, построим храм чудесному чувству, пойдем туда, чтобы удивляться, благодарить и счастливствовать».

Геродот в Вавилоне видел подобный храм. «Уцелел он до моего времени», — рассказывает отец истории. — Посредине его стоит массивная башня. Над этой башней другая — уже, и так далее до восьми.

Подъем идет кольцом вокруг всех башен. Поднявшись до середины, находишь там место для отдыха со скамейками. На последней башне есть большой храм, а в храме стоит большое, богато убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого кумира, однако, в храме нет. Провести ночь в храме никому не дозволяется, за исключением одной только туземки, которую выбирает себе божество из всех женщин. Так рассказывали мне халдеи». Почти можно иллюстрировать строфами из «Демона»:

Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет,—
К тебе я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы.
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать.

«Халдеи же говорят, чему, однако, я не верю, будто божество само посещает храм и почивает на ложе. Нечто подобное таким же способом совершается в египетских Фивах, по словам египтян; и там будто бы ложится спать женщина в храме Зевса Фивского, как здесь, в храме Зевса-Бела, причем и вавилонянка, и фивянка не имеют, говорят, вовсе сношений с мужчинами. Подобно этому в Лидии в Патрах прорицательница, если только она бывает, потому что оракул там не постоянный, запирается по ночам в храме» («История», кн. I, гл. 181).

Вот как это было всемирно в религиях порядка «сый», «я есмь»; но ведь и в самом деле, если геометрия есть в небе, почему не быть там какой-то далекой аналогии земных, физиологических, метафизических влечений?! А если там есть далекая аналогия романа, то оно может не только бросать сюда на землю и зажигать в нас любовь, но и внушать поэтам мифы, песни, стихи — подобного же сюжета. «Все, что есть в моем сердце,— есть и в небе, но огромнейшее, чудеснейшее, святейшее». Оттого философы зовут человека микрокосмосом, «малым, но целым миром». А более дорогое слово нам говорит, что мы «образ и подобие», т. е. земной и тусклый, не проявленный дагерротип Того, Кто «есть, был и будет» вечен и не причастен смерти. Вот отчего, когда сотворился человек, то и оказалось, что «мужчиною и женщиною сотворился он», т. е. сотворился романтическим. Этого и понять нельзя без романтизма в том, с кого сделан был дагерротип.

Счастливый обладатель своих способностей

«Его можно и *пожалеть*»,— замечает г. Михайловский о г. Мережковском в 3-й и последней рубрике своей статьи, рассматривающей «Религию Толстого и Достоевского» Д. С. Мережковского и мою книгу «В мире

неясного и не решенного». С усердием медведя, гнущего дуги, он «гнул» так и этак разные ему несвойственные темы, и критиковал или «писал замечания» на две вовсе ему непонятные и им непонятые книги, что-то из них выбирая, что-то комбинируя, но ничего кроме печатной бумаги не получая. Вот уж не разбогатеет «Русское Богатство» от этих его статей и к чему они? Разве мало других тем, совершенно доступных для обсуждения, чрезвычайно важных, и на которые вся Россия с удовольствием и пользой (конечно, говорим без всякой иронии) прочла бы его рассуждения: предполагается уничтожить крестьянскую общину, преобразуются университет и гимназия. Неужели же г. Михайловский, энергично некогда нападавший на гг. Герье, Чичерина и Цитовича, платонически выступавших против общины, не хочет ничего сказать в защиту ее теперь, перед лицом реальных для нее угроз. Но нам казалось всегда, что г. Михайловский только «бряцал на струнах» о самых кроваво-важных вещах, и любил даже в старину общину или артель, а пожалуй и Глеба Успенского или Салтыкова, не более чем Цезарь-музыкант свою столицу. «Бури и натиска», «Sturm und Drang'a» никогда в Михайловском не было и температура его за весь истекший юбилей в 40 лет не повысилась и не понизилась и на полградуса. Завидное спокойствие для литератора. Я сказал, что он «гнул дуги» все три месяца, и не только лишил Россию ценных статей, но и в «полное собрание» своих сочинений включил самые скучные его страницы.

Между тем напрасно было бы сказать, что он и не *хотел* понять. Он не только говорит, что усердно читал книгу Мережковского, но и по множеству данных видно, что он ловил все в ней ценное — с удачей медведя-полоскуна, кидающегося в воду, чтобы выудить лапами из нее игривую рыбку. Ничего не получилось из трехмесячной работы, а с чтением, пожалуй, и из годовой, кроме некоторого остроумия, всегдашней приправы статей Михайловского.

Но зачем он хотел понять непонятные книги, и вникнуть в недоступные темы? Что-то его туда влечет, и Михайловский потому конечно и получил блестящий триумф за 40 лет литературного трудолюбия, что он не только прилежен, но даровит, что он с *задатками*, хотя без *исполнения*. «Что-то, черт возьми, есть, чего я не понимаю, хоть и хотелось бы понять». Эта скромность составляет преимущество его над собратьями, девиз которых: «Я очень мало понимаю, но совершенно не важно все, чего я не понимаю». Обращаясь к серьезному тону, спросим: ну, что же он извлек из всех тем Мережковского и Розанова? Ну, неужели нет темы для *собственной* (Михайловского) мысли в цитатах из Достоевского: «кто *почвы* под собой не имеет, тот и *Бога* не имеет», «кто от родной *земли* отказался, тот и от *Бога* своего отказался», «у кого нет *народа* — у того нет *Бога*», «*Бог* есть синтетическая личность всего *народа*, взятого от начала и до конца». Неужели, говорю я, вычитав эти цитаты, возможно не зародиться мыслями, во-первых, о странном существе веры самого Достоевского,

а затем и о вечно-любопытном смысле борьбы между древними религиями, которые все были религиями (с усилением) *своего народа, своей земли*, и тем, кто сказал в видении самому пламенному ученику своему и прозелиту: «иди к язычникам» (иноплеменикам), иди в *Рим и Афины*, оставив родной тебе и по человечеству Мне Сион своей судьбе». Ни из чего, как из этих цитат, до такой степени не видно, что, во-первых, в Достоевском (его апогее) пылало какое-то язычество русизма, поздно вырвавшийся пламень заглушенной в зародыше веры славянства; пылали молнии Перуна, которому в свое время обрубили серебряные усы, а Достоевский пытался ему сделать даже золотую бороду (пожалуй, Михайловский и теперь скажет, что я говорю непонятно; вообще наивное: «этого я не понимаю» у него так и осыпается после каждой почти цитаты из Розанова и Мережковского). Это, во-первых, в смысле любопытного литературного объяснения, что такое был Достоевский. А во-вторых, через пламень Достоевского, столь религиозный, столь до известной степени *святой*, ценный, крепкий, цепкий, можно постигнуть, что за *сопротивление* встретила Христова проповедь в Европе, да и в Сионе, из которых каждый говорил буквально словами Достоевского: «признак уничтожения народностей — когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особеннее его бог... Народ — это что-то божие. Всякий народ только до тех пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных богов на свете исключает без всякого примирения, пока верует в то, что своими богами победит и изгонит всех остальных богов» (все цитаты взяты из статьи Михайловского, стр. 166—167). Послушайте, да ведь это чувство — разгадка крика: «ко лвам их» римлян о христианах и разгадка же камней избиения, поднимавшихся на ап. Павла в Иерусалиме. Таким образом, Достоевский *живым своим чувством*, столь огненно сказавшимся, столь прямо *религиозным*, дает разгадку древнего святого пламени древних религий, которые все стали религиями-родинами в отличие от христианского универсализма; религиями поклонения земле своей, крови своей, роду своему, привычкам, обычаям — до ликторов и консулов включительно, до четырех свеч, зажженных в субботу у евреев. Но что об этом Михайловский написал? Да ничего. Он недоумевает, как Достоевский сочетал сомнение в бытии Божиим с признанием и прозелитизмом православия. Да ведь «православие» родной «бог» Руси, в которого (пенат родины) почему же и не веровать против напора предложения веры в какого-то «бога вообще», «бога для мира», «смешанного бога», который, пожалуй, не столько есть «бог», сколько принцип уничтожения всяких вообще на земле «богов», живых и настоящих, действенных и охраняющих их «родины». Выражаясь конкретно, христианство есть вообще движение против «родных пенатов», и тут даже, пожалуй, есть объяснение, отчего Лютер, характерно национальный для немцев тип, выдумал

для родины «лютеранство», родного немецкого пената, в стороне от всемирно-уравнительного и всемирно-отвлеченного католицизма. Да и Достоевский понятен, как эмбрион славянского Лютера, тоже пытавшийся оторвать родину вообще от «сгнившего запада», сего «инобога», «не нашего» и уже *eo ipso* проклинаемого.

Какая масса света! А Михайловский шипит около него какою-то неудавшеюся ракетой. Ни света, ни красоты; только мальчикам позади фейерверка потеха. Но главное — три месяца! три месяца своей биографии зарезал Михайловский. Он также мало ценит свою кровь, как римский сенатор, выпускающий ее в теплую ванну. «Скучно на этом свете, господа». Впрочем, римский сенатор чувствовал при этом удовольствие, и Михайловский также с видимым удовольствием написал три бессодержательные статьи, ибо безмолвно около каждой его строки есть как бы подпись водяными знаками: «как я умею; я совершенно обладаю своими способностями, как и метранпаж типографии «Русского Богатства», с полным обладанием способностей говорящий мне по телефону: «Н. К., торопитесь дать статью: иначе не выйдет верстка книжки». Но я не знаю, зачем такие метранпажи занимаются критикою, а в игристые минуты даже и начинают рубрики: «Мысли о религии», хотя вовремя обрывают их, переходя в многоточие. И «многоточие»-то и есть единственно глубокомысленная и даже единственно думающая часть «Мыслей о религии»...

25-летие кончины Некрасова

(27 декабря 1877 г.—
27 декабря 1902 г.)

«Худо мне! Мой дом — постель. Мой мир — две комнаты; пока освежают одну, лежу в другой», — писал в марте 1877 г. Некрасов. Полгода, тянувшиеся за этими словами, памятливы или непосредственно, или через передачу, всем. Это был обоюдный энтузиазм поэта к публике и публики к поэту. Не станем избегать слова: «публика». Некрасов сам не любил и не подставлял вместо ходячих терминов, хотя бы несколько затасканных, других, не вполне точных, хотя бы и более величественных. Русская публика в эти страдальческие дни поэта сказала истинно благородным существом, как бы протягивавшим руки к одру умирающего, бессильная ему помочь, но говоря ему в письмах и приветствиях все, что может сказать родной родному. Взрывы чувства на минуту, в день или неделю похорон, около незасыпанной могилы, поднимаются до этой высоты сродненности; но чтобы они тянулись в этом напряжении полгода — это случилось впервые с Некрасовым. Он не был первым по размеру литера-

турного дарования в царствование Александра II, но его дарование было самым нужным и вместе самым, так сказать, законнорожденным за это царствование; и он может быть назван по справедливости первым поэтом этой эпохи; самым видным, значащим, влиятельным литератором. Кто помнит семидесятые годы, как свои гимназические или студенческие, помнит товарищей, которые никого другого из поэтов (и почти из литераторов), кроме Некрасова, не читали, или читали лишь случайно и отрывочно; зато у Некрасова знали каждую страницу, всякое стихотворение. Знали и любили; не сплошь, не одинаково, но некоторые стихотворения — восторженно.

Некрасов дал первый образ прозаического стиха и был первым публицистом-поэтом, в этом синтезе двух качеств достигнув почти величия. Нам его легко читать; он говорит, как мы и то же, что мы. Таким образом он стал голосом России; если кто усмехнувшись заметил бы, что это мало и грубо для поэта, тому в ответ мы добавим, что он был голосом страны в самую могучую, своеобразную эпоху ее истории, и голосом отнюдь не подпевавшим, а свободно шедшим впереди. Идет толпа и поет; но впереди ее, в кусточках, в дерелеске (представим толпу, идущую в поле, в лесу) идет один певец, высокий тенор, и заливается; — поет одну песню со всеми. И ни к кому он не подлаживается и никто к нему не подлаживается, а выходит ладно.

В это время славянофилы кисли в своих «трех основах», проповедывали «хоровое начало», но ничего у них не выходило; а настоящее «хоровое начало» и всяческая русская народность без всякого предварительного уговора и хитрых подготовлений и получилась вот в этой ладной песне тех памятных лет и напр. в таком энтузиазме публики к умиравшему поэту и поэта к ней, какая случилась у постели Некрасова. Не могу никого упрекать, но для дела не могу не заметить, как много дал бы И. С. Аксаков, если бы у его постели случилось подобное же явление: «хоровое начало! матушка Русь!! чую тебя!!! пробудил, пробудил», — думал бы редактор «Руси». Но он всегда был частичным русским явлением, а не общерусским, был фактом кабинета и гостиной, а не улицы, не площади. Именно Минина-то и не выходило. А у Некрасова и вышло нечто вроде Минина, конечно в сообразно изменившейся обстановке, совсем с другими темами, другими задачами, другими речами.

Скучно, скучно!.. Ямщик удалой
Разгони чем-нибудь мою скуку.

«Самому мне не весело, барин!
Сокрушила злодейка-жена». И т. д.

Кто этого не помнит? Кто не поймет, что это есть новая и нужная страница «Полного собрания русских летописей». Некрасов запел в глубоко русском духе. По «русизму» нет поэта еще такого, как он: тут отступают, как сравнительно иностранные, Пушкин, Лермонтов, да даже и Гоголь. У Некрасова все было ежедневно, улично, точно позвано

сейчас с улицы к столу поэта-журналиста; и вместе каждое у него стихотворение светилось смыслом целостной своей эпохи. Мы заметили, что у него было больше «русизма», чем даже у Гоголя. Гоголь смеялся над действительностью, и притом довольно полно, т. е. над всею и всякою русской действительностью. Ему надо было дотащиться до Рима, чтобы наконец начать смотреть кругом себя без сарказма, без улыбки. Весь мир Гоголя — глубоко фантастический; он изведен изнутри его бездонного субъективизма. Гоголь был необыкновенный человек. Напротив, Некрасов был совершенно-обыкновенный человек; и потому-то в эпоху простую, ясную, открытую, а вместе бесконечно деятельную и порывистую, он сыграл необыкновенную роль. Дайте Некрасову на вершок более гения, и его значительность в большой мере потухнет. Ведь и Толстой, и Достоевский, люди более гоголевского типа и сложения, с гоголевским углублением в себя и в мир, решительно не получили в то время настоящего значения и влияния. Некрасов весь вошел в кровь и плоть времени; это — как подкожное впрыскивание, где целая доза лекарства поступает в организм и сейчас же начинает его перерабатывать; сравнительно с приемом внутрь, где действие бывает медленно, наступает потом, да и усваивается-то из принятого вообще лишь некоторая доля.

* * *

Особенностями его биографии, личного сложения ума и характера Некрасова в высшей степени пришелся к своему времени, как и его время в высшей степени пришлось к нему. От этого совпадения он до редкости полно выразился и принес родине плод своего таланта, как и сам собрал с родины полную кошницу славы,— нет, выше и лучше: любви, слез и восторгов. Были ли они заслужены и именно в этой мере? Смешной вопрос: кто умел подымать сердце родины стихом,— а Некрасов несомненно это делал,— заслужил и то, что получил он, и даже больше. Заслужил чего угодно. Все время около него шипела зависть (немногие имели такт скрыть ее) людей отчасти более литературных, более образованных, но без специального отношения к своему времени и народу. Здесь мы снова возвращаемся к «русизму» Некрасова, о котором не хотели говорить больше: «Забытая деревня», «Коробейники», «Крестьянские дети», «Орина, мать солдатская», «Тройка», «О чем думает старуха», «Мороз-Красный нос», «Влас», «Притча о Ермолае трудящемся» (замечательное совпадение в моральной теме с «Много ли человеку земли надо» гр. Л. Н. Толстого), «Дума» (Сторона наша убогая, выгнать некуда коровушки), «Деревенские новости» и еще многие другие, будучи очень неровны в поэтическом отношении, принадлежат к таким, которые будут существовать в нашей памяти, пока в ней существует как милое и родное — русское лицо. Это как поэтический паспорт, где прописаны «приметы» народные и который придется предъявить иностранцу или далекому потомку всякий раз при вопросе: «Кто и что такое

русский народ». Здесь местами есть прелесть Кольцова, но уже углубленная исторически поздними думами; есть выразительность Толстого и Достоевского; а некоторые вещи, как «Влас» и «Крестьянские дети», суть единственные по колоритности и задушевности, суть перлы русской поэзии, ничем не заменимые, не заместимые. Их ни на что не захочется обменять, из русской ли поэзии, или из иностранной, если бы такой невозможный обмен кто-нибудь предложил, если бы его можно представить себе.

Этим, нам думается, решается вопрос, был ли Некрасов истинный поэт. Соглашаясь, что три четверти и может быть более его стихов представляют боевую публицистику времени, и даже просто журнальную работу, мы затем все-таки получим сотню или две страниц поэзии, относительно которой уже всякие сомнения и вопросы бессильны, ненужны, пошлы. Между тем, кто не настоящий поэт, не может дать и одного настояще-поэтического стиха. Великий скульптор сказывается в одном ударе молотка, музыкант — в одной ноте, поэт — в одном стихе. У Некрасова был настоящий родник поэтического слова, не надуманный, не приискиваемый, а сам бьющий. В некоторых скучных его стихотворениях — вдруг выскочит жемчужина — слово:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

Лучше этого никто ее не определил. И никто не сказал лучшей похвалы:

В рабстве спасенное
Сердце свободное,
Золото, золото
Сердце народное.

В последнем четверостишии две первые строчки искусственны, «литературны». Но две последние, где почти и стиха нет — скатились, что дождь с крыши, со всей биографии поэта, из всего его прижизненного опыта. Это точно старый охотник, поставив ружье вечером, тихой думой сказал все, что он встретил за день, что сделал, что «купил» у судьбы в этот окончившийся день.

И никогда, нигде не сказалась у Некрасова брюзготня на народ, нигде не посмотрел он на него недобрый взглядом, — хоть без сомнения и в ранние годы усадебной, помещичьей жизни, и позднее, бродя с ружьем по Ярославской губернии, встречал и грубость, и жестокость, и обман. Да разве в «Коробейниках» лесник добрая фигура? Но Некрасов на все имел большой взгляд, и злой лесник около проворных коробейников уложился в красивую и спокойную картину.

Легко, свободно и невыразимо могуче Некрасов, как бы захватив пригоршнями две волны, деревенско-мужицкую и школьно-интеллигентную, плеснул их друг на друга, к взаимному оплодотворению, к живому союзу в любви и помощи. Никто столько как он не сделал, что сельская учительница стала другом деревни, ее же другом стал земский врач: мы говорим, конечно, об идеале, о мечте, которая, однако, влечет за собою огромную действительность, хотя и не отвечает за бывающие исключения.

Сеять знания на ниву народную,
 Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
 Худы ль твои семена?
 Робок ли сердцем ты? Слаб ли ты силами?
 Труд награждается всходами хилыми
 Доброго мало зерна!
 Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
 Где же вы, с полными жита кошницами?
 Труд засевающих робко, крупницами,
 Двиньте вперед!
 Сейте разумное, доброе, вечное
 Сейте, спасибо вам скажет сердечное
 Русский народ...

Это, зовет как знамя — воинов; это годно как флаг развиться над русскою школою. Некрасов пережил ее счастливейшую пору, когда она не знала около себя сомнений, не слышала укоров и заподозревань. Мы входим в юбилейные Петровские дни; в 60-е годы мы пережили Петровские по свежести дни около школы, дни творческие, зачинающие. И этому зачинию Некрасов сказал неувядающие по истине и воодушевлению слова.

Вся сумма его публицистики, куда входят и журнальные водянистые стихотворения, имели совершить и совершили этот синтез русского ученого или полуученого человека и русского простого, неграмотного почти человека. Конечно, над темой этой трудилось, кроме Некрасова, очень много людей; вообще это было темой приблизительно двух десятилетий литературы и общественности. Но когда тема времени получает над собою стих поэта — она прививается вдохновенно. И вот это-то и совершил Некрасов, не только соединив деревню и русского «интеллигента», но как бы гальванопластически спаяв их. Образование русское не осталось отвлеченным, а налилось соком народности и практицизма, а деревня перестала быть французско-русской идиллией, предметом стихов Державина или Майкова. Мы произнесли слово «интеллигент», почти смешное. Смешных эпитетов и названий нужно усиливаться избегать. Слово «интеллигенция» многие годы, особенно восьмидесятые, не было лестным; около него колебались чувства, было множество гримас, и оно почти готово было перейти в кличку, весьма мало уважительную. Но колебания туда и сюда в смысле этого эпитета

улеглись; теперь он распространен, не марают того, к кому прилагается, и один талантливейший в наши дни историк (П. Милюков) уже написал без смущения на заголовке новейшего труда своего: «Очерки истории русской интеллигенции». Таким образом термин укрепился, стал почетным, имеет поползновение исторически укрепиться. «Интеллигенция» тем отличается от «культурного слоя», что последнее понятие есть более аристократическое и обнимает родовитые слои русского образованного класса. Между тем коренной нерв образованности русской проходит не по родовитым верхним слоям, например старого образованного дворянства, а по слою низшему, куда решительно тянет и лучшая часть собственно культурного слоя. Далее, если взять другой синонимический термин: «русская образованность», «русские образованные люди», — то в обоих их мы не найдем того нервного движения, того динамического, живого, кругообращающегося, растущего момента, который содержится в термине: «интеллигенция», «интеллигент». Последнее слово применяется к просвещенному русскому человеку, который дары просвещения не сохраняет, как драгоценный фрукт, завернутый в бумажку, — а, напротив, обильно его расточает вокруг, так сказать, дает «душу свою» в снедь ближнему, нужде, всякому жаждущему. «Культурный человек» или «образованный» — сохраняется; «интеллигент» — сгорает: и в этом их разница. Момент-то горения и есть здесь главный, ибо его процесс и образует «интеллигентную жизнь» учителя, лекаря, писателя, сестры милосердия, ученого землевладельца, кого угодно, которые все объединяются в «умном горении». Оно, как мы заметили, могло бы у нас вспыхнуть отвлеченной, кабинетной наукой, как в Германии, или сухим политическим пламенем, как во Франции; культурным комфортом, как в Англии, или художественным эстетизмом, как в лучшие дни старой Италии. В 40-е годы тенденция, например, к последнему была и у нас. Но у нас вышло «пламя ума» совсем в новой форме, самобытной, нам лишь присущей; где сострадательный, нравственный, человеколюбивый момент едва ли не составляет «душу», но душа эта одета плотью и нарядами и собственно философии, и эстетики, и политики, в замечательной и гармоничной связи. Тип доброго русского интеллигента (вспомним покойного доктора Белоголового) — чрезвычайно добротный, так добротный, что всмотревшись в него внимательно и потом долго думая, наконец, решаешь: «И не надо лучше; нечего переделывать: вышло хорошо». Я говорю о бессознательных недрах и токах истории, вырабатывающих типы людей, как бы творящих еще и еще «форму человека».

В эту форму Некрасов влил чрезвычайно много своего. Он как бы посыпал ее пшеничным зерном (деревенские его темы), а вместе дал суровый и сатирический закал горожанина, резкий очерк души, которую формировали злейшие ветры каменных улиц. Некрасовская поэзия — синтез нежности в ее крайнем выражении («Баюшки баю», «Рыцарь на час»), с насмешливостью и даже грубостью тоже крайне выразившейся

(«Подражание лермонтовской колыбельной песне», «Юбиляры и триумфаторы», «Герои времени»). Точно замерзающий человек: внутри — тепло, поэзия, грезы; снаружи — ледяные сосульки, ооченелый и не-движный вид.

Были ли у него общечеловеческие темы? Да, хотя и в форме столь личной, «некрасовской», что их общечеловечность не была даже замечена.

Великое чувство! у каждых дверей,
В какой стороне ни заедем
Мы слышим, как дети зовут матерей,
Далеких, но рвущихся к детям.

Великое чувство! Его до конца
Мы живо в душе сохраняем,
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем.

Все стихотворение — слабо и бледно, и представляет неискusное предисловие к двум последним строчкам. Но в них прорвалась такая буря настоящего чувства, испытанного и лично поэтом, а вместе и всемирно-истинного, что ради них все стихотворение входит необходимейшим нравственным звеном в русскую литературу. Взять из нее эти две строчки значит вдруг обеднить ее смысл. Есть также упрек, что Некрасов не пел любви, «которую поют все поэты». Между тем часть пятой главы «Коробейников», от стиха:

Хорошо было детинушке
Сыпать ласковы слова
Да трудненько Катеринушке
Парня ждать до Покрова

и до стиха:

Думы девичьи, заветные,
Где вас все-то угадать?
Легче камни самоцветные
На дне моря сосчитать.
Уж овечка опускается
Чуя близость холодов,
Катя пуще разгорается...
Вот и праздничек Покров!

возвышается до кольцовской простоты и прелести. «Буря», «Огородник», «Ты всегда хороша несравненно», «Когда из мрака заблужденья» и, наконец, почти предсмертное: «З-не» дают полную гамму любовных и любящих звуков, и в ее кратких эпизодах, и в художественных, и в высочайше-нравственных. Невозможно без волнения, почти без слез перечитать последнее:

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;

Ночью и днем
В сердце твоём
Стоны мои отзываются
Тёмные зимние дни,
Ясные зимние ночи...
З-на! закрой утомлённые очи
З-на! усни!

Это потрясает как зрелище спальни и постели умирающего; читаешь стих — как болеешь сам. Такое чувство родины,— не лучше ли, чем в отвлеченной, абстрактной оде, с припоминанием лат Рюрика, оно сказалось в этом кратком напутствии Салтыкову, при его отъезде за границу, умирающего поэта:

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь,
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь.

Право же, эта «любовь журналиста» стоит и любви офицера, да она не меньше и любви пахаря-крестьянина к своей земле-родине. Но Некрасов в кратком, небрежном и от этого так искреннем четверостишии, вычеканил как бы «медаль в память» и любви журналиста к земле своей,— и с каким отличительным, характерным колоритом!

* * *

Объём каждого писателя, конечно, уменьшается со временем. С каждым десятилетием остается меньше и меньше его произведений, *еще* живых, *еще* нужных, *еще* поэтических на новые вкусы. Поэты — *ссыхаются*. «Полные собрания сочинений» переходят в «избранные сочинения» и, наконец, в «немногие оставшиеся», которые читаются. В нашей литературе Лермонтов и Кольцов, оба писавшие так мало, являют единственное исключение поэтов почти без ссыхания (например Никитин весь почти высох, от него почти ничего живого, *перечитываемого, заучиваемого* не осталось). Этой судьбе подлежит и Некрасов и через 25 лет по кончине его едва четвертая доля его стихов остается в живом обороте. Но не говоря о том, что ни в какое время нельзя будет историку говорить о важнейшей эпохе 60—70-х годов XIX века без упоминания и разъяснения Некрасова, и в самой сокровищнице поэзии русской некоторые его стихотворения, как «Влас», и отдельные строфы из забытых стихотворений буквально:

Пройдут веков завистливую дань

и не забудутся вовсе, не забудутся никогда. Их будет всего около десятка листочков, но они останутся,— и, следовательно, Некрасов вообще увеличил «лик в истории» русского человека, русской породы, русской национальности.

Вопросы. 1) об искренности поэта, 2) о его равенстве или неравенстве с первыми корифеями нашей поэзии и 3) о его личных биографических «прегрешениях» всегда трактовались в каждой о нем критической статье. Всегда слышалось желание защитить память поэта; всегда слышалось желание ударить больно по памяти поэта; увенчать пышнее или развенчать вовсе. Ни для кого не был Некрасов безразличен; «odi» et «amo» («люблю» и «ненавижу») всегда волновались около него при жизни и после смерти. Теперь, в юбилейный день, конечно особенно легко говорить похвалы, но не потому, что это легко, а поистине мы ответим по пунктам на три указанные вопроса.

В последние месяцы, когда мы снова и снова перебирали в уме упрек: «он играл в карты», «ездил для этого в английский клуб», у нас сложился циничный ответ упрекающим: «играл, и представьте, счастливо!» Дело в том, что этот циничный ответ, и следовательно, рвется, так сказать, отражающею рапирою на циничный же вопрос. В вопросе этом сокрывается ужасная боль: боль эта идет, удар наносится завзятым фарисеем и фарисейством. Да, человек играл в карты, имел «страстишку» и даже поглощающую страсть (никто не скажет, что он играл, как торговал,— и при неблагоприятном обороте бросил бы игру: он скорее разорился бы, проигрался в пух),— как решительно все мы, кроме святош! Те не имеют никакой страсти,— кроме самолюбия! Крошечное их «я» сожрало их; святоша вечно носится с собою, так сказать мысленно лобзает себя со словами: «Душка! Какой ты!! Ты не играешь в карты!!!». Как Плюшкина сожрала его деньги, и от человека остался только засаленный халат,— так святошу сожрала «безгрешность моего я» и от него осталась какая-то психологическая кокетка, не могущая отвести лица от зеркала, отражающего из всего мироздания единственное его «я». Эти Нарциссы праведности на самом деле в категории именно праведности не только не стоят на высокой ступени, но и вовсе не стоят на этой лестнице. Они — вне категории добра и зла. Есть мировая загадка, сокрыта некая чудная тайна в том, что стать полным человеком, развитым, одухотворенным, тонким, так сказать, «родиться духом, а не плотски только»,— можно единственно ослабнув где-нибудь, в чем-нибудь,— как Некрасов в картах (легчайшая форма падения), но часто в гораздо большем, в тягчайшем. На испытания при приеме в «культ Митры»,— пришлось мне прочесть когда-то,— испытуемый проводился между прочим и через ступени «преступления», и до такой степени, что какой-то император римский должен был кого-то убить. Между тем самый культ этот считался кротким и к нему принадлежал Марк Аврелий; в кротчайших религиях, самых мирных, в зерне лежит: «жертва», «пролитие крови», «принесение в жертву жизни». Между тем, конечно, император, которому *хотелось* только убить, мог войти в тюрьму, проколоть ножом горло десяти приговоренным. Что же могло содержаться в таком «испытании», если в нем, очевидно, не содержалась

жестокость, жажда крови?! Да вот «карты» Некрасова, слабость, падение, которое его подняло на такую высоту над праведником-критиком, повторяющим знаменитую стереотипную молитву фарисея: «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как вон тот мытарь».

Святая загадка праведной лестницы заключается в том, что высокие ступени одухотворения, тонкости душевной вообще не достигаются без некоторых «падений». И что вечное оплакивание подлинными и удостоверенными праведниками «грехов своих» не есть только присказка, и не есть «уничуждение паче гордости», а есть плач о подлинных, настоящих грехах, каких и не узнаешь в миру. Праведники наибольшие суть те, которые наибольше согрешили: тогда их слово исполняется огнем правды, а сердце истекает в любви к слабому, «братскому» (в грехе). Является идея прощения и наконец всепрощения. Таким образом нужно вполне удивляться, что Некрасов, согрешив самую легкую формой греха, картами и Английским клубом, в тонком и нежном сердце своем нашел упрек себе, и чистый и прекрасный, и выразил его в стихотворениях «Рыцарь на час» и «Неизвестному другу», где так удивительно соединены гордость и скромность. Плюшкины праведности таких тонов не знают: они или кичливы, или малодушно испуганы.

«Неласковая муза», «муза мести и печали», конечно, имеет такие же права на существование около ласковых и грациозных, около хвалебных муз, как гроза — около затишья, буря — около солнечного дня. Мир был бы беднее, если бы их не было; и хотя мы все стереотипно повторяем строку, где говорится о «Богe — в тихом веяннн ветра», но не забудем, — что Иову он говорил «из бури». Наши религиозные представления, и за ними этические, страшно покачнулись в сторону «тихости», «кротости», «прощения», каковые качества напоследок времен начали переходить в «слащавость», «бесхарактерность», сахаристость самую безвкусную на всякий здоровый вкус. И стих некрасовский, и тоны, и темы его для пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов были и этичнее, и эстетичнее, чем тоны всех поэтов-сверстников его. Не только они по сердцу пришлись своему времени, но решительно ничего красивого не было в те дни повторять тоны Анакреона или Пиндара, Парни или Делиля.

Весна слетела к нам с лазоревых небес:
Воскреснули поля, и ожил спавший лес;
Природа облеклась в зеленую одежду;
Встречаем и любовь, и счастье, и надежду,
Ходящих об руку в долинах и лесах *.

Это можно было петь в какую-нибудь бесцветную эпоху, слишком общечеловеческую, т. е. без своего дела. В «благословенную» эпоху, когда Сперанский и Аракчеев попеременно несли «на раменах своих» Россию, эти песни были у места. Но была крайняя безвкусица перепевать

* «Сады, или искусство украшать сельские виды». Сочинение Делиля. Пер. Александр Восейков. СПб., 1816 г.

эти напевы в пору освобождения крестьян, падения старого суда и проч.

Положение Некрасова среди Пушкина, Гоголя, Лермонтова неуместно. Это люди вовсе разных категорий, разных призваний, разной исторической роли. Сравнивать их так же странно, как спрашивать, что лучше, железная дорога или Жанна д'Арк. На нелепый вопрос вовсе не нужно давать никакого ответа. Эта ошибка была сделана при похоронах Некрасова и подняла споры, вовсе не удобные и скорее унижительные для доброй памяти нашего поэта, памяти своеобразной, оригинальной, высокой. Поистине, продолжали его мучительную предсмертную болезнь люди, которые кричали: «Он — выше Пушкина». Не «выше» и не «ниже», а совершенно в стороне. Кто «выше», Аннибал или Сократ. Суворов или Сергей Радонежский? Что за вопросы? И кому их разрешение нужно? На могиле его совершенно нравственно было крикнуть: «Сейчас мы любим этого умершего поэта более, чем Пушкина; он нам привычнее, он нам больше сказал; он нас подвинул больше, чем вся остальная русская литература». В словах этих была бы правота и истина, личная, биографическая, выражающая истинный биографический факт людей 1877 года. И не за что нам упрекнуть их, как и не для чего повторять.

Искренность музыки Некрасовской всего лучше доказывается тем, что тон его сейчас же почти угас в литературе с ним. Значит, он и исходил из его сердца, а не то, чтобы сердце его было только резонатором несшихся кругом его звуков; чтобы он подражал или увлекаем был эпохой. Он был ее двигателем — это во всяком случае. В жалобах «покаянных стихов» он только сетует, что не двинул дальше, больше. Но, нужно заметить, общее положение его окружающих вещей было таково, что он мог собственно только больше нервничать, а не то, чтобы в самом деле что-нибудь мог дальше двинуть. И вовсе не по практицизму своему, но по холодной закаленности натуры, по трезвости и ясности головы решал, что пустые пространства биографии отчего же и не заполнить охотою летом и картами зимою. Пристрастие к последним, очевидно, ему было передано в роду, — совершенно как передается расположение к алкоголизму; т. е. было передано, как сумма нервных и умственных, страстных и почти счетных предрасположений и вкусов. Это принадлежит к числу тех недостатков, которые извиняются медиками, самыми компетентными здесь людьми. За потребностью, почти органической, карт последовало и общество большой картежной игры, к которому, однако, ни одним стихом он симпатии не выразил, и очевидно с этим обществом не было его сердца. Мне представляется Некрасов совершенно правдивым существом, богато во все стороны раздавшемуся натурою; оригинальною, сильною, до типичности великорусскою, до приурочения к известной губернии, до невозможности представить его уроженцем какой-нибудь другой губернии, кроме четырех смежных: Ярославской, Тверской, Костромской, Владимирской. И, в конце концов — был

натурою чуткою, нежною, деликатною (его стихотворения, посвященные памяти матери и вообще всемирному чувству материнства и чувству детей).

Из упреков настоящих на нем лежит только один: отношения к Белинскому, жесткие, своекорыстные. Это — темное пятно, не суживающееся от времени. Гордость поэта не допустила бы, чтобы мы его сузили или чем-нибудь «присыпали», чтобы было незаметно. Нет, это заметно и навсегда так останется. Достаточно сознать, что Некрасов болел об этом. А насколько он это искупил может быть чем-нибудь для нас незаметным, никому не рассказанным (у него есть в стихах намеки на разные маленькие надувательства его крестьянами, к которым, очевидно, он за это не придирался) — это пусть останется между ним и небом.

Гоголь

Есть стиль языка. Но есть еще стиль души человеческой и, соответственно этому, стиль целостного творчества, исходящего из этой души. Что такое стиль? Это план или дух, объемлющий все подробности и подчиняющий их себе. Слово «стиль» взято из архитектуры и перенесено на словесные произведения. Стиль готический, романский, греческий, славянский, византийский обозначают дух эпохи, характер племени и века, как-то связанный и понятно выражающийся в линиях зданий, храмов, дворцов. Стиль автора есть особаяковка языка или характер избираемых им для воплощения сюжетов, наконец — способ обработки этих сюжетов, связанный с духом автора и вполне выражающий этот дух. Известно, что каждый сильный автор имеет свой стиль; и только имеющий свой стиль автор образует школу, вызывая подражателей. Чем оригинальнее, поразительнее и новее стиль, чем, наконец, он прекраснее, тем большее могущество вносит с собою писатель в литературу.

За XIX век русская литература пережила три стиля: карамзинский, пушкинский и гоголевский. Кажется, не нужно объяснять, каковы они. Достаточно спросить читателя, правильно ли мы угадали дело. Стиль Карамзина равно владеет формою и содержанием, отражаясь на ковке фразы и выборе предметов повествования, стихотворного пения и изучения. Гениальный создатель «Истории государства Российского» не был или пренебрегал быть творцом-фантастом, довольствуясь не сотворением идеалов, а идеальным освещением действительности. Мало кто так доверчиво и благородно любил действительность, как он. Это отразилось на его слоге. То величественный, как в «Истории», то оживленный, как в «Письмах русского путешественника», он везде благоразумен, избегает излишнего, не бурлит чувствами, и его творения похожи на прекрасную римскую тогу, с легким греческим оттенком, которую

добрый скиф накидывает на плечи варваров и варварства. Россия с любовью посмотрелась в зеркало, которое он ей подставил; и хотя немного обманулась, увидя красивое свое отражение в стекле, но обманулась самым благородным образом, даже самым полезным, все время опра-вляясь, улучшаясь по показаниям немного неправдивого зеркала, кото-рое и льстило, и манило, и давало силы и бодрость к улучшениям. Язык и все творения Карамзина прекрасно-однообразны. Он все восходил к более серьезному, к более серьезным темам. Но он никогда не менялся сам. Лоб его, чело его царственно господствовали над остальными силами души, благоразумно правя ими, как патриций вольноотпущен-ными и клиентами. Это был барин-помещик-вельможа екатерининского духа, но с царством в умственной сфере. Все захотели быть, все побежа-ли стать «крепостными» этого великолепного экземпляра русской поро-ды, и лет на двадцать образовался в литературе, письменности, печати, даже в нравах гостиных «карамзинский стиль».

Пушкин всегда любил и не мог не любить Карамзина. Всякий благородный русский должен любить Карамзина. Но Пушкин был более мудр, чем он. Он кое-что убрал из римских черт русской тоги, он пошевелил под нею плечами скифа; он вообще догадался, что мы — скифы. Но, гениальное сердце, он в этом скифе открыл сокровища, которых, пожалуй, не было в Капитолии. Сущность Пушкина выражает-ся в совершенной естественности в нем русского, возвеличившегося до величайшей, до глубочайшей и высочайшей общечеловечности. От поэм и романов до мельчайших смехотворных шуток, от таких, по-видимому, иноземных сюжетов, как «сцены из рыцарских времен», и до стихотворе-ний с нерусскими именами, как, напр., «Играй, Адель, не знай печали», он везде является скифом, туземцем, но не самодовольным, а который мудрым оком и внимательным сердцем озирает панораму мира и наро-дов; и мудрейшие слова слагает о них в сердце своем. Если бы еще Пушкин видел мир, путешествовал, что бы мы от него имели! Карамзин украшал русского. Пушкин показал красоту его. Он разбил зеркало. Он велел дурнушке оставаться дурнушкою; но взамен внешней красоты, которой ей недостает, он речами своими и манерой обращения вызвал всю душу ее наружу, так сказать, потащил душу на лицо: и дурнушка стала бесконечно милым и дорогим для русского сердца существом. Только с Пушкиным начинается русский настоящий патриотизм, как уважение русского к душе своей, как сознание русского о душе своей. Пушкин открыл русскую душу — вот его заслуга.

Подвиг Пушкина был до такой степени труден и он в такой мере зависел от гармонии души его, что собственно в «школе» его мы имеем одно бессилие и внешность. «Петь» природу, «как она есть», вовсе не значит быть хотя бы мелкою гранью алмаза-Пушкина. Все это не то. Не будет доставать внутреннего. Самые страдания Пушкина (биографичес-кие) и счастье слились в какую-то гармонию. Вообще в Пушкине было много, так сказать, исторической «удачи». Пушкин просто «удался»

матушке-истории; как и образование чудного алмаза ведь всего только «дается» пластам земли, а не выделяется их преднамеренными усилиями. Ни объяснить алмаза и Пушкина, ни дать теорию их — невозможно. Можно ими обоими только пользоваться. Пушкин никогда не повторялся, и, напр., Языков, Дельвиг, Боратынский — составляют лишь слабое выражение его школы. Скорее Пушкин отражается или имеет себе «школу» в огромных частях (но не в целом) творчества позднейших великих наших прозаиков; в Тургеневе он более живет, чем в Языкове; огромные полосы в сотворении «Войны и мира» имеют в себе пушкинскую ткань. Хотя и Тургенев, и Толстой, уже по силе и самостоятельности своей, сами суть школа, суть солнца-человеки, а не спутники-планеты другого солнца.

Гоголь — какой-то кудесник. Он создал третий стиль. Этот стиль называли «натуральным». Но никто, и Пушкин не создавал таких чудодейственных фантазий, как Гоголь. «Вий» и «Страшная месть» суть единственные в русской литературе, по фантастичности вымысла, повести, и притом такие, которым автор сообщил живучесть, смысл, какое-то странное доверие читателя и свое. Я хочу сказать — в них чуешь какую-то истину, хотя их фабула переступает границы всякой возможности. Разве меньше, так сказать, фантазии мысли, фантазии мышления, узких и странных его коридорчиков, в «Невском проспекте», в «Риме»? Наконец, что за странность рассказывается нам в «Носе»?! Но при этом, действительно, рядом с этим могуществом и с этим призыванием к фантастическому Гоголь имел равное могущество и равное призывание и к натуральному, натуралистическому. Иногда кажется, что он носил в субъекте своем мир, совершенно подобный внешнему, и уже последний *знал* раньше, чем на него начинал глядеть! Как мало, в сущности, он видел Россию. В Москве был остановками, в Петербурге жил недолго, по «губерниям» только проехался, но поставил зеркало, перед которым канула вся Россия. И сколько он мелочей в ней заметил, духовных подробностей, но ценных, но важных и на которые до него никому не приходило в голову обратить внимание. Наконец, как он уловил «стиль» по преимуществу немощей ее». «Знаете, на таможене: обрадовался — вот отечество. Но первая фраза, какую я услышал на русском языке, было слово одного таможенного чиновника другому: Чин чина почитай. Право». И все. И все это слышали или подобное; слышали и забывали. Но Гоголь пригвоздил, «распял на кресте» этот «стиль» России. И Россия должна быть бесконечно благодарна ему, что силою чрезвычайного дарования своего он убил этот гнусный стиль. При Карамзине мы мечтали. Пушкин дал нам утешение. Но Гоголь дал нам неутешное зрелище себя, и заплакал, и зарыдал о нем. И жгучие слезы прошли по сердцу России. И она, может быть, не стала лучше. Но тот конкретный образ, какой он ненавидел в ней, она сбросила, и очень быстро. Реформ Александра II, в их самоуверенности и энергии, нельзя себе представить

без предварительного Гоголя. После Гоголя стало не страшно ломать, стало не жалко ломать. Таким образом, творец «Мертвых душ» и «Ревизора» был величайшим у нас, вне сравнения с ним кого-нибудь, политическим писателем. Царь-реформатор пришел тем вторым и подлинным «ревизором», о котором только упомянул, не выведя его, Гоголь. Да уж и не хотел ли сатирик сказать комедию современникам: «Вы все только Хлестаковы, предварительные и не настоящие; шуму от вас много, много от вас страху, а дела нет: но, подождите, будет настоящий ревизор». Кто знает, не заключалась ли тут негласная сатира на все 25-летие, от декабристов до Севастополя. Не забудем, что Гоголь чрезвычайно любил абстракции, обобщения, панорамы. Что все его творения, в особенности деловые, сатирические, в сущности, есть схемы.

Гоголь — пример великого человека. Выложите вы его из русской действительности, жизни, духовного развития: право, потерять всю Белоруссию не страшнее станет. Огромная зияющая пропасть останется на месте, где стоит краткое «Гоголь». Сколько дел, лиц исторических, сколько течений общественных и духовных явлений, если вырвать из них «Гоголя» и «гоголевское», получит сейчас другое течение, другую форму, совсем другое значение. Гоголь — огромный край русского бытия. Но с чем же он пришел к нам, чтобы столько совершить? Только с душою своею, странною, необыкновенною. Ни средств, ни положения, ни, как говорится, «связей». Вот уж Агамемнон без армии, взявший Трои; вот хитроумно устроенный деревянный конь Улисса, который зажег пожар и убийства в старом граде Приама, куда его ввезли. Так Гоголь, маленький, незаметный чиновничек «департамента подлостей и вздоров» («Шинель»), сжег николаевскую Русь. Не обращено, кажется, внимания, что в своих Костанжогло и Муразовых он предсказал Губонных, Кокоревых, Кауфманов, Барановых. Бенардаки даже и по фамилии похоже на Костанжогло. Из самой рисовки этих типов, типов Александровской эпохи, так чудодейственно угаданных, видно, что «Илион» императора Николая он в самом деле обрек в уме своем «на сожжение» и начинал «Ревизором» и «Мертвыми душами» пожар едва ли только «художнически-бессознательно». Гоголь — великий творец-фантаст; но припомним же, сколько в нем было преднамеренности, обдуманности, сколько было дальновидной хитрости в его хилом и странном тельце.

Биографы гадают и, по всему вероятно, никогда не разгадают Гоголя. А есть что разгадывать. Все знают о его скрытности и притворстве; но нельзя же отрицать, что в творчестве своем он был безмерно искренен, горел, пылал в нем и не притворным смехом, и не притворною любовью. И все-таки общее резюме о нем биографов: «Гоголь молчалив и загадочен, как могила; ничего в нем не понимаем». При бесспорной искренности его творений, к которым мы так мало имеем окончательного «ключа», остается думать, что Гоголь принадлежал к тем редким мятущимся и странным натурам, которые и сами от себя не имеют

«ключа». «Посланец божий» — вот ему и всем таким имя. Гоголь не имел очень большого самообладания. Посмотрите: он впечатлителен, он отдается влияниям, от Пушкина до священника Матвея Ржевского, — он, столь могущественный человек. Он слаб, он ищет опоры, этот насмешник и скрытный человек. Что же это значит? Он вечно борется с собою: он вечно кого-то побораёт в себе. «В нем был легион бесов, — как сказано о ком-то в Евангелии, — и они мучат и кричат в нем». И Гоголь был похож на такого «бесноватого», или, пожалуй, на «ящик Пандоры» с запертыми в нем самыми противоположными ветрами. Он вечно боится что-то «выпустить» из себя, таится, хитрит, не говорит о себе всего другим; и вместе в этих других явно ищет опоры против кого же, если не против себя. Он даже о своих творениях объяснял, что писание их составляло ступени его внутренней с собою борьбы, «улучшений» себя. Он вечно кается — непонятно в чем. Такой умеренный и благоразумный с виду человек. Мы всё склонны объяснять болезнью. «Болезнь» да «болезнь» — какое легкое объяснение: это *deus ex machina* * неумных биографов. Ибо почему, читатель, у нас с вами не быть такой гениальной болезни, с такими же причудами? Но у нас есть только ревматизмы и тому подобные рациональные пустяки. Гоголь был, конечно, болен нравственными заболеваниями от чрезмерности душевных глубин своих. Его трясло, как деревню на вулкане. Но в чем секрет его вулкана, из которого сверкали по ночному небу зигзаги молний, текла лава, сыпался песок и лилась грязь: этого, не заглянув туда, нельзя сказать. А заглянуть — тоже нельзя. Только и можно сказать, что вулкан был огромный, могучий, планетный; что это «дух земли» заговорил в нем. Но больше этих поверхностных слов что же мы можем сказать о нем. И Гоголь вечно, всю свою биографию, говорил: «Мне трудно». А что такое «трудно» и в чем трудно — не умел и, вероятнее всего, не в силах был объяснить. «Темно во мне», «и сам в себе дна не вижу», «вам около меня грозно, а мне с собою страшно», право, это как будто рвется из его биографии. Но ничего более ясного.

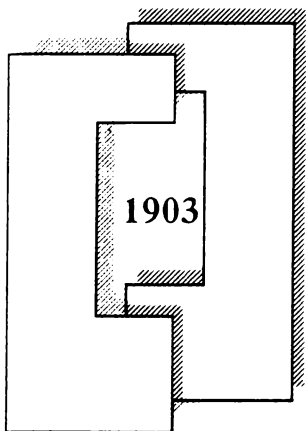
И вот этот «труждающийся» человек то давал нам «Нос», «Коляску», то выкладывал «Мертвые души» и «Ревизора» и в самые еще юные годы рассказал о «Страшной мести». Какая натуральная там фигура пана Данилы: «Отчего же, отец, ты галушки отказываешься есть? Это христианское кушанье, и его все святые угодники Божии кушали». Но поморщился пан-отец и, отодвинув казацкое кушанье, молча потянул из фляжки какой-то черной водицы. Вот иногда кажется, что у Гоголя было немножко такой «черной водицы», где был и талисман его силы, и источник его вздохов. «Уж проплясал на славу казачка, уж рассмешил всех: когда же есаул поднял иконы, вдруг все закричали, попятились, сторонясь от танцующего казака: нос у него удлинился и загнулся в сторону, запрыгали зеленые глаза, из-за спины поднялся горб, и стал казак —

* бог из машины (лат.).

старик». Как это похоже на биографию Гоголя, с смехотворностью его «сорочинской ярмарки» и разных сказочных диковинок, из-за которых вдруг полезли всем неожиданные глаголы, вплоть до непостижимой «Авторской исповеди».

И попятились все назад, и закричали, хватаясь за руки друг друга: «Это колдун».

Во всяком случае «чародей», даже с преобладающими добрыми намерениями, так сказать, «колдует с филантропическим образом мыслей», но все-таки с этим именно древним ведовским в себе началом, был в натуре Гоголя; от этого «Вия» в нем, «огромного, во всю стену обросшего землей, с железными веками на очах» — шла его таинственная и рациональная сила, его ведение настоящего и в значительной степени будущего. Только такой «ведун» мог написать «Невский проспект», «Портрет», «Коляску» и около нее «Рим»; задумать и Собакевича и Улиньку; смешаться и в слезах, и в смехе, удивляя друзей и оставляя недоумение в потомстве.



О благодущии Некрасова

С именем Некрасова у меня всегда почему-то связывается воспоминание об одном литературном обеде или, лучше сказать, полулитературном, полувоенном, где были исторические повествователи, генералы в отставке, и где что-то вспоминалось,

и обсуждались текущие обстоятельства, литературные и политические. Должен сказать, что я всегда не любил самого процесса еды; просто, мне антипатичен вид едящего человека, и от этого всякий раз, когда мне приходится не дома обедать, я прихожу в сквернейшее настроение духа, и линия движущихся ртов производит во мне самое унылое настроение, как бы прорезываемое сатирическими мыслями. И в этот обед, о котором я говорю, было чадно и шумно, хвастливо и тупо, как приблизительно на всяком, я думаю, «общественном обеде». Но особенно глаз мой фиксировался на одном публицисте-литераторе с плотной фигурой и уверенным лицом. Дома что ли он ничего не ел, но он с какою-то жадностью придвигал к себе то жестянку омаров, то особого сорта икру, то дорогое вино, и ел, ел — так, что тошно было смотреть. Когда обед достиг, так сказать, культурно-политического центра, и поднялись бокалы шампанского, то среди речей в пользу чего-то или в отрицание чего-то (шли годы значительного публицистического смысла, около середины минувшего десятилетия), послышалось имя Некрасова. И вот публицист-литератор, с плотной фигурой и с большим вкусом к омарам, заговорил, что ныне «Некрасов уже всем понятен, всеми забыт, но что первый, кто взвесил настоящим образом его талант и печатно развенчал его петербургско-либеральные вирши — был он, в таком-то издании, кажется, иллюстрированном, и что хотя это не было в свое время замечено и оценено, но что приоритет по времени развенчания Некрасова принадлежит ему». Нужно сказать, что этот литератор, с довольно громкой фамилией, впрочем более проистекающей от созвучия ее с фамилией других действительно знаменитых литераторов, в ту пору девяностых годов являл собою фигуру, на которую до некоторой степени опиралось отечество. Именно, он был из тех, которые раскапывали гробы прошлого и воспевали покойников. За свои работы, о которых он говорил,

что они вдохновенны, хотя мне, да кажется и всем (кроме наивных редакторов), они казались деланными, он получал огромные гонорары, хотя, может быть (по хвастливости), еще увеличивал их в рассказах. Во всяком случае, в речах его слышался сочный русский смысл, претензии были — на древний русский дух; все собрание было крайне русским, «народно-русским», хотя не без государственных оттенков. Высоты Шипки, Плевны, Балкан мелькали в речах, упоминались имена Хомякова и Аксаковых, хотя не упорно, хотя без настойчивости. Энергичные и отчасти угрюмые лица обедавших как бы говорили: «Мы сами — Аксаковы, мы тоже — Шипка». Все вообще было глубоко не интересно, за исключением этой речи исторического писателя, отрицавшего Некрасова, и отрицавшего его как-то морально, «за недостаточную искренность, полную деланность и отсутствие настоящего русского чувства». Речь эта как-то особенно запомнилась мне и, так сказать, легла на сердце неувядающим цветком, который освежается всякий раз, когда какой-нибудь повод пробудит имя Некрасова. Это — как жгущая крапива на могиле. Жжется она — больно могиле; шевелится могила и недобрый взглядом глядишь на крапиву. Впечатления заострились; стали недругами друг против друга. И, может быть, Некрасов был бы менее подчеркнут в моем сердце, или подчеркнут не так решительно и бесповоротно, если бы не это навязчивое впечатление, одно из ничтожных, но которые имеют фатум завязать в душе и до известной степени душу перерабатывать, воспитывать.

Белинский сказал про Некрасова: «Какой талант у этого человека, и какой *топор* его талант». Сам Некрасов признавал свою музу «музою *мести* и печали». Между тем, просматривая его стихи теперь, когда уже завершилось все, судя о нем не под впечатлением единичного стихотворения, только что вот появившегося в свежей книжке журнала, а по всей сумме его стихов, невозможно не заметить, что *благодущие* — все-таки небо в нем, а гнев — только облака, проносящиеся по нему; грозовые, темные, серьезные, однако отнюдь не преобладающие, не образующие постоянного угла настроения поэта. Невозможно без улыбки и глубокого доверия к сердцу автора перечитать его стихи, начинающиеся присказкой.

Не водись-ка на свете вина,
Тошен был бы мне свет,
И пожалуй — силен сатана —
Натворил бы я бед.

Такого благодущия стихов и у Пушкина надо с усилием выискивать. В «Зеленом шуме» это благодущие развивается во что-то пантеистическое. Вернувшись из города, с заработков, муж находит изменницу-жену:

В мои глаза суровые
Глядит — молчит жена.
Молчу, а дума лютая
Покоя не дает:
Убить — так жаль сердечную,
Смотреть — так силы нет.
А тут зима косматая
Ревет и день, и ночь:
«Убей, убей изменницу,
«Злодея изведи!

Срам соседей, суета мирская, так же как и подлинная ревность —
изводят мужика. Но зимние вьюги минуют:

Идет-гудет Зеленый Шум
Зеленый Шум, весенний шум.
Как молоком облитые
Стоят сады вишневые.
Пригреты теплым солнышком
Шумят повеселелые
Сосновые леса,
И липа бледнолистая,
И белая березынька.
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему,
Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук,
И все мне песня слышится
Одна — в лесу, в лугу:
«Люби, покуда любится,
«Терпи — покуда терпится,
«Прощай — пока прощается
«И Бог — тебе судья».

Это — пантеизм любви. И как нов и неожидан, а вместе неувядаемо
светел мотив прощения: не хныкающего, не с высокомерною остаточ-
ною мыслью: «вот, я прощаю — потому что я свят, ее, хотя она
и грешница». Право, это «благовестие» Зеленого Шума (и какой термин!)
не меньше может сказать нам, не меньшему научить, чем другое благо-
вестие, как-то уже слишком заглушившее в нас Зеленые Шумы, и чуткую
способность внимать им. — Самая бедность, на которой он останавлива-
ется, слишком зная ее острые когти, разрешается иногда в стих коль-
цовской простоты и беззлобия:

В ключевой воде купаюся,
Пятерней чешу волосыньки,
Урожаю дожидаясь
С непосеянной полосыньки.

(«Калистрат»).

Это благодущие переходит местами в смех, великорусский, здоровый:
тот смех, без которого народ наш и не перенес бы всего того, что перенес:

У людей-то для шей — с солониною чан,
А у нас-то во шах — таракан, таракан!

Как бы нам так зажить, чтобы свет удивить:
Чтобы деньги в мошне, чтобы рожь на гумне.

Или, того же тона, в другом размере, о «молодых»:

Повенчавшись, Парасковье
Муж имущество казал:
Это — стойлице коровье,
А корову Бог прибрал.

Есть и овощ в огороде —
Хрен да луковица.

и т. п. Колорит почти везде не имеет кольцовской нежности, нежности Воронежской губернии, уже обвеваемой ветрами с Черного моря; он суровее, беспощаднее, но не от души поэта, а от северных губерний, где он рос и бродил, обвеваемый стужей Ледовитого океана. Однако каждый признает, что нужны были свои песни и именно народные песни и этим северным странам. Невозможно отвергнуть, что Некрасов был их певцом, давшим в стихе своем очерк северного человека, северной природы. «Мороз-Красный нос» есть эпопея великорусского севера и вместе лучшее стихотворение Некрасова, по богатству красок, по разнообразию и трогательности тонов. Мы не станем на нем останавливаться по слишком большой его общеизвестности.

Север — суров, и наивно-лукав. Чувства в нем не вытягиваются в длинную пальму, не ветвятся, не раздаются в пышную зелень, а растут приземистой березкой, коротенькой, «ядреной», стелющейся по земле. Такова любовь у Некрасова. Она физиологична, коротка, простодушна, но очень тепла. «Для наших мест» она прелестна:

Вянет, пропадает красота моя!
От лихого мужа нет в дому житья:
Пьяный все колотит, трезвый все ворчит,
Сам, что ни попало, из дому тащит!

Ведь в этих четырех строчках — $\frac{3}{4}$ «домашнего быта» русского народа. По уменью дать формулу, подвести итог множеству явлений, глаз охотника — Некрасова не знает себе соперничества.

Не того ждала я, как я шла к венцу!
К братцу, я ходила, плакалась отцу,
Плакалась соседям, плакалась родной —
Люди не жалеют, ни чужой, ни свой!
«Потерпи, родная», — старики твердят:
«Милого побой недолго болят!»
«Потерпи, сестрица!», отвечает брат:
«Милого побой недолго болят!»
«Потерпи!» соседи хором говорят:
«Милого побой недолго болят!»

Это, по-северному, «накладывают» на человека, что на извозную лошадь кладут: «ничего, свезет: на то — одер». Но человек слабее лошади, и хитрее. Нельзя не улыбнуться дальнейшим строкам:

Есть солдатик — Федя, дальняя родня,
Он один жалеет, любит он меня:
Подмигну я Феде, — с Федей мы вдвоем
Далеко хлебами за село уйдем.
Всю открою душу, выплачу печаль,
Все отдам я Феде — все, чего не жаль!

А вот — кошка оглядывается на пройденный след и улыбается хозяину-драчуну. Читатель заметит, до чего великорусски речь и склад ума:

«Где ты пропадала?» — спросит муженек:
— Где была, там нету! так-то мил дружок!
— Посмотреть ходила, высока-ли рожь!
«Ах ты, дура баба. Ты еще и врешь»...
Станет горячиться, станет попрекать...
Пусть его бранится, мне не привыкать!
А и поколотит — не велик наклад —
Милого побои недолго болят!

Встань из гроба Пушкин и перечти это стихотворение — он пожалел бы, что оно не в «Собрании его сочинений». Тут такая бездна живописи, краткой, точной, с любовью сделанной; тут — и быт народный, и психология, и народная судьба. Заключительное:

Милого побои недолго болят

в устах сытой кошки, которую с молодую «драли» под эту самую присказку, отдает и злостью, и местью, но все какой-то коротенькой, без романтической разрисовки; злостью и местью, расплывающейся почти в благодушие. «Просто — так было», и никаких дальше рассуждений. «Так повелось, сестрица, дочка, соседка, что девиц в нашем краю без их воли замуж выдают; это еще от святой старины и от самих угодников Божьих, которые воли человеческой не возлюбили, волю человеческую изрекли грешною». — «Ничто, родименькие: я к Феде сбегала: так-то еще из старинки повелось, из древней старинки. И в сказках об этом сказывается, и от соседей я об этом слыхивала». И обошлось к взаимному удовольствию. Корельская береза коротка, но тверда.

Мало кто заметил, что в так называемых «гражданских стихах» Некрасова есть бездна этого же благодушия. Прежде всего, в них есть просто доброе чувство, без всяких осложнений, — как вздох облегченной груди:

Родина мать! по равнинам твоим
Я не ездил еще с чувством таким!
Видю дитя на руках у родимой,
Сердце волнуется думой любимой:

В добрую пору дитя родилось,
Милостив Бог, не узнаешь ты слез!
С детства ничем не испуган, свободен,
Выберешь дело, к которому годен...

Это просто доброе чувство при виде доброго поступка, счастливого положения,— без всякой «мести и печали». Если затем мы возьмем его «Песни о свободном слове», то и тут увидим гораздо меньше собственно гражданского чувства, так сказать, юридического восторга, а увидим скорее радость рабочего по облегченному труду, осложненную почти школьною резвостью, маленьким уличным озорством. «Песни» эти полны неувядающей свежести, и суть лучший монумент великой, хоть и кратковременной, эпохи. Они состоят из восьми рубрик: «Рассыльный», «Наборщик», «Поэт», «Литераторы», «Фельетонная букашка», «Публика», «Осторожность», «Пропала книга». Все рубрики полны живописи, олицетворения, одушевления.

Баста ходить по цензуре!
Осlobонилась печать,
Авторы наши в натуре
Стали статейки пушать.

Это говорит рассыльный, встречаясь со старым литератором на Николаевском мосту. Целый сонм кумушек слышится в сетовании пораженной, рассерженной «Публики»:

Нынче, журналы читая,
Просто не веришь глазам,
Слышали — новость какая?
Мы же должны мужикам!
Экой герой сочинитель!

Речь ее перебивает литератор, опытный журналист, толкующий о новых темах, новых настроениях, не то в кружке приятелей, не то с начинающими писателями:

В ледовитом океане
Лодка утлая плывет,
Молодой, пригожей Тане
Парень песенку поет:
«Мы пришли на остров дикий,
Где ни церкви, ни попов;
Зимовать в нужде великой
Здесь привычен зверолов;
Так с тобой, моей голубкой,
Неужель нам разное спать?
Буду я песцовой шубкой,
Буду лаской согревать!»
Хорошо поет собака,
Убедительно поет!
Но ведь это против брака,—
Не нажить бы нам хлопот?
Оправдаться есть возможность,
Да не спросят,— вот беда!

Осторожность! Осторожность!
Осторожность, господа!

Это несравненно по живости. Сколько бы ни упрекали нас, мы скажем: в чем же *новом* выразились 60-е годы у Майкова, Полонского, Фета? Все те же песни, как у Пушкина, та же «свирель», «роща», как в Галии — и в России, как в XV веке у трубадуров, так и у петербургских литераторов половины XIX века. Но в приведенном стихотворении своя историческая минута сказалась столь *индивидуально*, так *ново*, — что, конечно, именно он выразил вечную сущность поэта:

Ревет-ли зверь в лесу глухом
.....
На все, поэт,
Родишь ты отклик...

Вот этого «эха» не было у Майкова, Полонского, Фета. А у Некрасова оно было, — да только *оно* и было.

Ай да свободная пресса!
Мало вам было хлопот?
Юное чадо прогресса
Рвется, брызжется, бьет,
Как забежавший из степи
Конь, не знакомый с уздой.

Читая опись этого маленького литературного озорства, столь законного в первую минуту, столь милого, наконец — удивляешься вовсе не «музе мести и печали», а именно свирели мальчика, без всяких гневных, без всяких мужских, «гражданских» нот. В рубрике восьмой, «пропала книга», поэт благодушествует и шутит даже над духовным и материальным крахом, естественно переносимым с запрещением книги, уже отпечатанной, но не пропущенной новою тогда «последующею» цензурою (была отменена только «предварительная»).

Уж напечатана — и нет...
Не познакомимся мы с нею;
Девушка в девятнадцать лет
Не замечается над нею!
О ней не будут рассуждать
Ни дилетант, ни критик мрачный,
Студент не будет посыпать
Ее листов золой табачной.

Тут — все читатели, все время! Сколько живописи, и как она кратка! Если эпохи и события нарастают на народе, как на дереве круги древесины, то, конечно, 60-е годы именно в лице Некрасова выросли на русской истории новым поэтическим слоем. Стихи, темы, психология — все ново в нем, ничто не перепевает напевов прежних. Поразительно, как могло это отрицаться в свое время и вообще когда-нибудь, как заподозривалось в значительности, важности, в искренности. Некрасов был более

поэт, в строгом, классическом значении слова этого, нежели кто-нибудь из его поэтических сверстников; разъяснить это есть тема критики, в отношении его не выполненная и законная.

Возвращаясь к «музе мести и печали», мы удивляемся, как она не назойлива у Некрасова, не тягуча. Решительно, это был поэт малого гнева. Он сказался только в раннем, еще 1846 года стихотворении: «Родина». Оно не похоже на «родины» ни Пушкина, ни Лермонтова, но тут уже Некрасову некуда было уйти от своей биографии. И кто смеет из нас бежать от своей «биографии», и подставлять на место мотивов из нее мотивы чужих биографий? Ведь это было бы горчайшей изменой своей «родине»!! И Некрасов воспел свою, особенную, — не Пушкинскую и не Лермонтовскую — «родину». Как это совпало с надвигавшимся переломом в целом его отечестве; т. е., хотим мы сказать, как в конце концов был провиденциален весь Некрасов как поэт:

Вот темный-темный сад... Чей лик в аллее дальней
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил... о, знаю, знаю я!..
На веки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде —
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы...
Но знаю: не была душа твоя бесстрашна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
И все, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шепот твой губителю простил!
И ты, делившая с страдальцей безгласной
И горе, и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра...
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила...
Но матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой!

И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор;
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понутив голову над высохшим ручьем,
И на бок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий...

Это хорошо, как «Дума» Лермонтова, не уступает ей в силе и красоте. Но как здесь, в столь личном стихотворении, сказалось и чувство Русского и России о себе самой, между 1846 годом и 1877, когда почил поэт. Вот в истории литературы пример случая, каприза «Книги бытия»,

сливающего лицо человека с лицом народа, лицо певца с сюжетом воспеваемым! И посмотрите, какой мотив гнева — это не «общегражданское чувство», а личное: живая конкретная привязанность еще мальчика-поэта к теням замученных сестры и матери. Шалость его лиры потом, например, уже в приведенном отрывке —

В ледовитом океане,

да и вообще все «брыканье юного чада прогресса», объясняется до последней точки видным и пережитым, например, хотя бы в сфере семьи, этою «благодатною» судьбою двух самых дорогих поэту женщин. «А когда так — то все на сруб!» решил еще слишком благоразумно, слишком безгневно поэт и Россия тех дней. «Все было обещано, ничего не было дано», «все милые формулы и скверные дела», «прочь же, неправдоподобный флаг с нагруженного фальшивостями корабля». В ту приснопамятную пору произошло не так называемое «колебание основ»: дело в том, что сами «основы» уже ранее пропустили в себя негодное содержание, — и невозможно было выпотрошить эту начинку, не распарывая несколько самую «основу», туго и официальнойшим образом застегнутую на все пуговицы. Таким образом борьба по существу происходила за отечество, за историю, за каждую порознь из мнимооспариваемых «основ»: ну, например, в этом стихотворении —

В ледовитом океане,

по-видимому, чисто нигилистическом, почти татарском. Но ведь что же было делать, если в культурной России, из судьбы матери и сестры поэт увидел воочию, что в красивом футляре, с такой солидной надписью, как «брак», «семейство», вложены: позор, унижение, изломанная жизнь, распутство одной стороны и слезы — другой, текущие под всенародную приказку:

«Милого побои недолго болят».

На таковую татарскую действительность под православным крестом он и ответил, да и вообще ответили русские журналисты того времени, как бы татарской вывеской (нигилистическая форма) над нравственным и человеческим содержанием (быт и жизнь этих людей по существу; например, в браке — любовь, но подлинная, без всякой формы). Таковы были недоразумения времени. Встречу двух волн, старой и новой, наш же поэт выразил в «Песне Еремушки», которую я позволю себе назвать знаменитою. Нянька — деревенская — поет песню укачиваемому ребенку, причитает привычное, тысячелетнее:

Ниже тоненькой былиночки
Надо голову склонить,
Чтоб на свете сиротиночке
Беспечально век прожить.

Проезжий поэт, он же Н. А. Некрасов, берет у нее малютку с негодующим чувством: «Эка песня безобразная», — и, предложив няне отдохнуть и уснуть, начинает другую:

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремленьям
В ней проснуться не мешай...

И т. д.— целая программа пожеланий. У Некрасова не было только *длительного* поэтического подъема. От этого в прекраснейшие свои стихотворения, с середины или к концу, он иногда начинает брать чужие слова, то из поэтов, то даже из прозы, что было уже совершенно неудобно и роняло его как поэта. Так и в «Песне Еремушки», накидывая очерк желаемого, он вставил двестише:

Братством, истиной, свободою
называются они.

Но тот ошибся бы, кто подумал бы, что он противопоставляет русскому французское: у него просто не хватило словаря известных слов, к четырнадцатой строфе энтузиазм творчества угас, и он взял наскоро «fraternité, liberté», вставить неуклюже в середку их «истину». Заметно вообще, что Некрасов быстро утомлялся в писании стихов; «Эхо» в нем было коротко. Как много у него стихов с прелестнейшим началом, с вечно запоминаемой строкой, например, это:

Бес благородный скуки тайной

и которые кончаются тускло, да и в общем содержании запутаны, не ясны. В душе его не было «дали». «Эхо» быстро ударялось о ближнюю стенку и возвращалось коротким, не растянутым звуком.

Блажен, незлобивый поэт,

повторим мы его же стих в применении к нему,— как это ни странно покажется. Виденное или услышанное в нем не залеживалось и почти не перерабатывалось. Он не пел осенью о том, что видел весною: не запевал через пять лет о том, что испытал сегодня, он о весне пел по весне, а про осень пел осенью. В «Декабристах» Толстого есть наблюдения, мелочные, едкие, но эпически спокойно переданные, которые выразились в своих последствиях, в гневных последствиях, не ранее, как лет через десять после написания этого очерка. Вся «Исповедь» Толстого десятилетия зрела, но без передачи читателю малейшего штриха из того, что готовилось в душе автора. Вообще, если говорить о «музе мести и печали» серьезно, то ее куда больше у Толстого, Достоевского, нежели у Некрасова.

Напротив, они в применении к душе своей могли бы взять первый стих «Еврейской мелодии» Байрона.

Душа моя мрачна...

Некрасов вовсе не знал этой Сауловой тоски. Открытое, простое сердце, без лабиринтов в себе,— он и был оттого так полюблен эпохой тоже простой, без лабиринтов в ней; «честными и мыслящими реалистами», назовем мы ее ее любимым, ее наивным термином.

Вдохновение его, я сказал, не задерживалось. Подъем чувства не жил в нем долго. Отсюда происходит уже названная нами выше слабость и какая-то странная запутанность изложения его длинных поэм, например «Коробейники», «Мороз-Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо». Он меняет в них размеры; вставляет в текст, без всякой нужды, только для облегчения себя, народные песни (*всегда другим размером*). Путается и вязнет в теме, вдохновенно, с большими надеждами начатой. Чтобы он написал такое длинное произведение, как «Евгений Онегин» в стихах,— этого невозможно себе представить. Пушкин и Лермонтов *бременили* стихом: он в них рождался сам, и им трудно было *не писать, невозможно не писать*. Они задохлись бы, если бы рифмы не зазвучали, не легли на бумагу, не пошли в типографский станок. «Мцыри» Лермонтова довольно значительное стихотворение,— а между тем на третьей, на пятой, на шестой странице строки текут такие же густые, страстные, и, кажется, тянись сюжет — они потянутся бесконечно. Выражение Некрасова о себе:

...Мой неуклюжий стих

Относится не к *стиху* собственно, который у него бывает часто прелестен, иногда гениально *удачен*:

Порвалась цепь великая,
Порвалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим по мужику,

но это определение и самосознание поэта относится к компоновке стихотворений (особенно длинных), которая действительно выходила у него почти всегда неуклюжа, прямо — мало понятна и мало мотивирована. Он, как будто затрудняясь в рифме и особенно в размере, не находя слов в довольно бедном своем словаре (у *каждого писателя есть собственный лексикон* слов, которые у него всегда готовы, всегда на уме, толпятся во лбу и веют у кончика пера), начинал поворачивать так и этак ход рассказа, изложение содержания, уже применяясь, наконец, к найденной рифме, к вылившейся строке. Редкие стихотворения, как «Власть» (всегда не длинные), у него выходили целостно, монументально. Представляю себе его восторг, когда он поставил точку у «Власа»: ничего испорченного, ни одного лишнего слова, вдохновенно до последней строки. Так не радовался Пушкин «Евг. Онегину» и Лермонтов «Мцыри».

Все же это немножко сближает Некрасова с нами; он, как все, только талантливее. Тогда как те, Пушкин и Лермонтов — вовсе необыкновенные, «демонические» что ли или «божественные». Строй души Некрасова очень близок к земле, и это — ничего, это — хорошо, от этого он и был так возлюблен и справедливо возлюблен толпою. Разделим его радость, позволительный и исключительный восторг, что он дал нам такого великолепного «Власа», единственного в русской литературе

стихотворения, *которое не уступает ничему* и у Пушкина, и у Лермонтова. На вопрос, выключить ли из литературы нашей «Купца Калашникова» или «Власа», я не указал бы «Власа»: или никоторого, или обоих. Без «Власа» мне просто было бы скучно жить на свете, я обеднел бы на некоторое богатство в собственном и личном благополучии. Вот что значат «национальные» богатства, вот как они копятя.

Указанная краткость «эха» у Некрасова едва ли не объясняется одной его биографической чертой. Грустная мать его легла мостом между нигде и ни в чем не соединенными народностями: русскою и польскою. Мы имеем родное в немцах, во французах, в англичанах, в итальянцах. Тысяча воспоминаний нас соединяет с ними, — воображаемых и реальных, литературных и житейских, то в виде старого гувернера, то оставившей богатые впечатления заграничной поездки. Но нет от нас нации более далекой и даже, наконец, вовсе неизвестной — как поляки! Если мы спросим себя: да что же так разделяет нас? то ответим: польский «гонор», этот и сословный, и исторический аристократизм, да еще неудавшийся, очень не эстетичный. Русь по разным историческим обстоятельствам, еще начавшимся от татарщины, несет действительно на себе «зрак раба»; но она не приникла и не покорилась в нем, а как-то извернулась и поставила его, наконец, как флаг и завет для себя, как идеал и гордость, братски связавшись в нем и страстно ненавидя все, что имеет хотя бы какое-нибудь поползновение сословно, лично, разбив звенья цепи, отойти в сторону от общей, довольно горькой, доли, но по общности и единству ставшей наконец национально милою, и как бы всемирно-милою. У нас «демократизм» есть не юридический термин, не политический, не программный, это — бытовая психология и почти мировая метафизика. Польша и поляки, где все «*honor*» чужды нам не в частях своих, не в подробностях, а в целом и слитном своем составе. Мы и они по психологии как бы взаимно непроницаемы. Мицкевич не соединил нас с ними, несмотря на дружеские в России связи, — ибо ушел под конец в ту же национальную хвастливость «мессианизм» Товянского и свой: Замечательно, как худо в России прививается национальный «мессианизм», выраженный славянофилами и частью Достоевским: он подсекает главную добродетель России — скромность («зрак раба», не «заносись в мечтах»). И надо же было, — и я думаю это фатально, — что около самого любимого и самого демократического русского поэта, вечно возившегося с мужицким бытом, любимца студентов и гимназистов, встала и неотделимо встала страдальческая тень матери, дворянки-польки, заморенной русским самодуром. Это есть дорогое польское имя в русской истории, но неразрушимо дорогое — ибо около него уже все кончено, и все что было — было хорошо именно в русском нравственном смысле: терпение, несчастье и т. п. Мне думается, если место могилы ее известно — город Ярославль ничем не выразил бы так

почитание памяти поэта, как поставив хоть недорогой монумент на ее могиле. Да, думается, было бы хорошо и останки поэта перевезти туда же, и вообще соединить в воспоминании и в увековечении замечательную мать и замечательного сына. Некрасов совершенно немислим в красоте и силе своей, т. е. вообще во всей значительности, без этой особенной связи, и без особенной судьбы своей матери. «Муза» его там, около ее могилы; а «печаль и месть» этой музы было только разросшееся до национальной значительности негодование сына за свою мать; обобщенье (и действительное совпадение) обстоятельств личной биографии с обстоятельствами страны. Но я кончу о той черте Некрасова, о которой заговорил. Известно, что поляки — нация короткого «эха», быстро воспламеняющегося и недолгого впечатления. Некрасов воспринял в себя душу своей матери-польки. Отсюда не задерживающаяся, не залеживающаяся его впечатлительность; отсутствие упорно разгорающегося вдохновения; и отсюда же некоторые невольные его как бы франтоватые фразы:

Терпением изумляющий народ

или:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой...

и пр., или целые стихотворения, какие-то оперные («У парадного подъезда», «Убогая и нарядная»), которые более всего внушили подозрительности касательно его искренности и натуральности. Но это было наследство крови, которое он, так сказать, нес в горбе за спиною, даже не видя его: и не привлекая сюда никакой личной, сколько-нибудь сознательной психики, т. е. никакой вины. Это у него было, как у блондина белый цвет кожи.

Но нужно изумляться, с каким вниманием он выискивал чужое страдание, аналогичное тому, которое сам видел или перенес, т. е. подлинное, настоящее, не «литературное», и до какой высоты, простоты и правды восходил при передаче его. Перечтите под рубрикой: «О погоде» — 1) «Утренняя прогулка» (как хозяйка жильца-чиновника хоронит) и 2) «До сумерек», — разные уличные мелочи; также «Дешевая покупка», «Свадьба», и потом все стихотворения: «На улице».

Вот идет солдат. Под мышкою
Детский гроб несет детинушка.
На глаза его суровые
Слезы выжала кручинушка.
А как было живо дитяtko,
То и дело говорилось:
«Чтоб ты лопнуло проклятое!
Да зачем ты и родилось».

Конечно, это не так великолепно, как «адмиралтейская игла» в «Медном всаднике». Но эта поэзия *terre-à-terre* имеет свою невыразимую нравственную прелесть. Собственно, новое в истории лицо русского

человека, не похожее на римское, греческое, немецкое, английское, польское, — более говорит этим стихотворением, чем даже «иглою» Пушкина. Ибо «адмиралтейскую иглу» также можно было построить в Лондоне, как и в Петербурге, а в Эдинбурге она и светилась бы точь-в-точь как у нас. Великое дело — новое в истории лицо. Все можно сотворить, все можно сделать, всего великого или прекрасного достигнуть: но *еще* человек, еще другой и новый человек, или народ — это что-то драгоценнейшее всякого личного творчества. Русский мужик после римского пролетария есть большее историческое приобретение, чем около Сципиона другой Сципион, или чем после Сципиона — Цезарь. И вот это-то другое, новое и драгоценное, и рисовал Некрасов, ему послужил он.

...И дровни, и хворост, и легонький конь
И снег, до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь —
Все, все настоящее русское было...

Такими штрихами, непременно лично подсмотренными, полны стихотворения Некрасова, и в них-то лежит золото его поэзии.

Ив. С. Тургенев

(к 20-летию его смерти)

Имя Тургенева без вражды, без полемики, без ясных причин, тихо замерло в сознании живущего сейчас поколения. Мало кого называли так редко, как его, в литературе, в беседах истекших двух десятилетий. Конечно, печаталась всякая записочка, подписанная его именем; никакое воспоминание о нем не получало отказа в печатном станке. Но это все знаки академического почтения. Тургенев вошел в то безмолвие исторического почитания, где так же тихо, как в могильном склепе. Его статуя поставлена в пантеон русской славы, поставлена видно и вечно; ее созерцают, но с нею не переговариваются ни о чем живом живые люди.

Уже когда его хоронили, в нем хоронили великое литературное имя, а не оплакивали порыв, который остался бы незавершенным или незащищенным, за смертью своего начинателя или самого видного двигателя. Тургенев был литератор *pur sang*, в редко наблюдаемой чистоте. С его смертью умерло его *слово*; выпало *перо* из рук несравненного рассказчика; прекратились томы его изящных творений, которые несколько десятилетий доставляли умственное и эстетическое, частью философское наслаждение решительно всему образованному русскому обществу. Потеря в нем *русского образования* — была чрезвычайна. Хотя Тургенев важнейшею частью своей деятельности принадлежит послереформационной эпохе, но его корни, воспитание, настроение духа и даже самый внешний облик лежат в старом барском укладе русской жизни,

который он нежелчно ненавидел, без грусти с ним простился, сохранил его драгоценнейшие черты в своих рассказах и внес весь аромат его особой культуры в новую, более грубую и более сильную фазу нашего исторического существования.

Известно его великое уважение к Пушкину. Пушкин был зенитом того движения русской литературы, которое прекрасно закатывалось, все понижаясь, в «серебряном веке» нашей литературы, 40—50—60—70-х годов, в Тургеневе, Гончарове и целой плеяде рассказчиков русского быта, мечтателей и созерцателей тихого штиля. Отсутствие бури, порыва, который так ясен у Толстого и Достоевского, который был в Гоголе и Лермонтове, отсутствие этого порыва соединяет всю группу названных писателей, которые начертали великий и подробный портрет своей родины, довели до величайшего одухотворения и изящества русский язык, и в общем выковали почти всю русскую образованность, на которой спокойно, почти учебно воспитываются русские поколения, чуть-чуть скучая, как и всякий учащийся скучает над своим учебником. С Гоголем, Лермонтовым, Толстым, Достоевским вошло неправильное, но и гениальное, не педагогическое, но манящее начало в русское образование. Трудно их не только сейчас, но и когда-нибудь обработать для русской школы, но над ними всегда будет тайно задумываться все бродильное начало Руси. Если те писатели, спокойные, дали ей образы, как она жила и есть; то эти тревожные писатели пробовали, каждый по-своему, начертать ей закон и... *fatum* что ли, пророчество. Динамическое начало Руси — в них; статическое, очень красивое — в тех, от Пушкина до Тургенева.

Несмотря на всеобщий авторитет тургеневского языка, который признан классическим, эту похвалу надо ввести в некоторые границы. Язык его, кроме безусловной правильности и изящества, отличается теплотой и мягкостью, пожалуй большими, чем у кого-нибудь из его плеяды. Русская душа глубоко живет в этом языке. Но именно в ее тихих, не порывистых сторонах, которые есть. Теперь, когда мы имеем творения Тургенева рядом с таковыми же Толстого и Достоевского, мы не можем не отметить некоторую излишнюю неподвижность его языка, утомительную ровность, недостаток на всем почти протяжении — одушевления. У Тургенева не найти *великолепной* страницы: а такие есть у обоих названных писателей («Сон смешного человека», главы «Бунт» и «Великий инквизитор» у Достоевского, у Толстого — множество отдельных мест, которые не нужно перечислять за их общеизвестностью); хотя есть длинные страницы, десятки, чуть не сотни страниц, особенно у Достоевского, под которыми Тургенев, ради сохранения литературной репутации, никогда не подписал бы своего имени. Язык его равно хорош везде, но не имеет в себе вершин. Язык особенно Достоевского, а места-ми Толстого, ниже общим уровнем, но он имеет в себе отдельные пункты такой несравненной высоты, на которые Тургеневу едва можно было, закинув голову, взглянуть. Эти особые вершины языка уже

есть у Гоголя в знаменитых его то «отступлениях», то «лирических местах», где ткань книг вдруг прорывается и из разрыва несется ввысь слово такого восторженного напряжения, а наконец и могучей силы, каких мы напрасно искали бы у наших «тихих» писателей. Не говоря о Толстом, рассказ которого везде несравнен по живости, и большие романы Достоевского читаются теперь живее и интереснее, нежели значительно потускневшие от времени рассказы Тургенева. «Преступление и наказание», многие сцены «Братьев Карамазовых» и «Бесов» читаются так, как если бы они сейчас были написаны. Их психология — вечна, но и кроме этого самый язык то сарказмом, то одушевлением, то неожиданностями душевного анализа и наконец выразительностью рисовки волнует вас, занимает.

Значение Тургенева — в полной и удивительной гармонии не гениальных, но необыкновенно изящных способностей. Насколько он уступает и Толстому, и Достоевскому в силе, настолько же их превосходит в учительных качествах, в разносторонних сведениях вечно учившегося и хорошо учившегося человека; имеет преимущества спокойного, никогда почти не волнуемого, по крайней мере, не мятущегося ума. У него есть необыкновенно грустные страницы — о смерти, природе безжалостной и всеильной (см. «Старуха» в «Стихотворениях в прозе» или конце «Призраков»). Овладей это чувство Толстым или Достоевским и оно на годы подчинило бы их, растравило им душу, вызвало бы крикливые, мучительные и великолепные создания (так это и вышло у Толстого, в «Смерти Ивана Ильича», и в сложных картинах смерти Андрея Болконского и Карениной). У Тургенева все кончилось штрихом, страницей; прошло облачком, не разрушив небосклона. Таково элегическое окончание «Отцов и детей» или «Первой любви». Тургенев как будто никогда не был поражен исключительной идеей, исключительной по красоте, величию или ужасу. Его ум всегда господствовал над встречаемыми или приходившими самому ему на ум идеями: он ими управлял, а не то, чтобы идеи поднимали в нем неожиданный или опасный пожар. «Не горит этот феникс, не расшибется этот Икар», можно было подумать о нем во всякую минуту и во всяком положении. Самая образовательная сторона в нем, по которой он стал всего дороже русскому человеку, заключается в том, что свое высокообщечеловеческое развитие, до некоторой степени универсальную по интересам душу, он до того пропитал запахом полей русских, складочками русского темперамента, особыми приемами русского ума, что, как ни в ком еще, всемирное и русское в нем срослись, соединились, сроднились. Мы не можем назвать еще ни одну фигуру в нашей литературе, где «европеец» и «русский» кончались бы так незаметно, неуловимо один в другом. «Гамлет Щигровского уезда», «Степной король Лир» — это своим заглавием уже говорит о таком соединении. Тургенев знал и любил, и понимал Европу, как только лучшие, способнейшие из европейцев; и одновременно этот помещик Орловской губернии, этот страстный

охотник за вальдшнепами и дупелями был пропитан родиной, как немногие русские. Таким образом двухвековое слияние России с Европой, процесс многозначительный, трудный и не лишенный опасных сторон, в Тургеневе нашел себе классическое завершение. В нем и Европа явилась в самых изящных своих сторонах, только нужных и исключительно нужных нам, и Россия в нем выразилась в таких чертах ума и характера, которым нечего меркнуть перед европейским светом. Для этого классического соединения, личное в нем «я» должно было быть именно не гениально, даже не упорно, и вместе он должен был обладать чрезвычайными, исключительными способностями усвоения всего хорошего и доброго вокруг себя, изящного и благородного. Личность Тургенева просто как человека, как фигуры историко-литературной, едва ли менее значительна, чем собственно содержание его трудов.

* * *

Едва ли можно найти даже во всемирной литературе другого писателя, который бы столько посвятил внимания, заботы, разума, почти философской обработки чувству любви, влюбления. «Гости давно разъехались. Часы проббили половину первого. В комнате остались только хозяин да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович. Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина.— «Итак, это дело решенное,— промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закуривая сигару,— каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич» («Первая любовь», начало).

Это — почти турнир, но не с копьями в руках, а как бы с букетами роз. «О, лазурное царство! О, царство лазури, света молодости и счастья! Я видел тебя... во сне. Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами... Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. Не ветром двигалась она, ею правили наши собственные, играющие сердца. Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. Упоительные благовония неслись с округлых берегов: одни из этих островов осыпали нас дождем белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались радужные длиннокрылые птицы. Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки... Женские голоса чудились в них... И все вокруг: небо, море, колышание паруса в вышине, журчание струи за кормою — все говорило о любви, блаженной любви! И та, которую каждый из нас любил,— она была тут, невидимо и близко. Еще мгновение — и вот, засияют ее глаза, расцветет ее улыбка... Ее рука возьмет твою руку и увлечет тебя за собою в неувядаемый рай. О лазурное царство — я видел тебя во сне» («Стихотворения в прозе»).

Так написал Тургенев в глубокой старости, в 1878 году. «Видел во сне», — это только другое выражение для признания: «об этом я думал,

этим томился, это составило мой интимный мир, только частицу которого я успел рассказать». Мы должны здесь отвлечься от себя, от своих преимуществ, а может быть и слабостей, и войти в душу другого не со своею оценкою, а только со своим постижением. Конечно, у нас так много забот, что «лазурное царство» влюбленных и влюбленности мы замечаем только мимоходом, отдав ему 2—3 года молодости и не интересуясь нисколько им всю остальную жизнь. Но мы не вправе отказать в истине той мысли, что как есть дар и бездарность к музыке, дар и бездарность к поэзии, дар и бездарность даже к практическому ведению дел, к дипломатике или философии, так равно есть бездарность и есть же специальный дар к переживанию, испытыванию любви. И как суть философии мы можем узнать не из речей о ней обыкновенного человека, для которого она «между прочим», а из беседы о ней Платона, Декарта или Лейбница, так и о любви мы не вправе судить по своим кратким переживаниям ее, или даже на почве отсутствия всякого ее переживания, а лишь из рассказов о ней или объяснений ее таких же избранников. Есть несомненно талант влюбленности, и им обладал Тургенев. В своих произведениях он изобразил эту фазу возраста человеческого и души человеческой с изумительным богатством индивидуальных оттенков. Нужно заметить, что время его, время сильных общественных и исторических столкновений, было вообще благоприятно для проявления сильных выражений любви: противоположность убеждений, противоположность общественных положений, при загоревшемся чувстве, которое, как известно, не согласуется ни с убеждениями, ни с положением, давало особенно обильную пищу ее пламени. 60-е годы и к ним ближайшие резким столкновением, в них происходившим, давали обильный материал для этого огня, и, можно сказать, Тургенев рисовал вовремя. Его «Первая любовь» с началом, какое мы привели, как и «Лазурное его царство», поразили бы до последней степени читателя наших дней, если бы он, открыв январскую книжку «Вестник Европы», нашел в ней это или что-нибудь подобное. «Что за археология! Точно мы живем во времена странствующих рыцарей, для которых существовали эти праздные вымыслы и неинтересные, ненужные чувства».

Тургенев взял, однако, любовь не в полном круге ее течения, а только в фазе загорания и обыкновенно несчастного крушения. Никто не описал столько несчастной любви, как он; и рассказы его, везде немного меланхолические, можно определить как неумолимое исписывание надписями великолепного надгробного мавзолея, воздвигнутого над любовью. «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Первая любовь», «Рудин», «Фауст», да и все почти множество его мелких художественных вещиц посвящено не успехам любви, а разочарованиям любви; ее кратким вздохам и последующим слезам. Здесь, в изображении не семейной любви, а первой романтической, он опять сближается со старыми рыцарями, которые знали влюбленность и пренебрежительно относились к более устойчивым и спокойным формам этого чувства.

Замечательно, что сколько ни есть произведений у Тургенева, во всех их старшее поколение, уже пережившее любовь и вышедшее из ее магии, представлено не то чтобы дурным, не то чтобы злым, а каким-то точно закастенившимся, лишь с одними привычками жизни, но без всякого смысла жизни и чувства жизни. Это что-то до того жалкое, мизерное, как будто те люди и никогда не жили тою самою любовью, которую он воспекает в младшем, «лазурном» поколении выведенных лиц. Пигасов, Пандалевский, Сувенир — это одни насмешки, клички, но не образы, не имена. У него проходит ряд привлекательных девушек: но посмотрите, что сказал Тургенев о матерях безусловно всех их. У него не выдалось о них ни одного доброго слова, ни одного внимательного на них взгляда. Здесь сказывается чрезвычайная его слабость и какая-то неустранимая молоджавость в сравнении с Гончаровым (бабушка в «Обрыве») и особенно с Толстым, которые знали душу старости и постигали особый старческий идеализм. Он не тот, что в «лазурные» годы, однако имеет и свою, не заменимую ничем иным, прелесть. Своею односторонностью Тургенев более чем какой-либо другой писатель способствовал установлению одной нашей литературно-общественной односторонности: у него все «герои» молоды; даже только в молодых-то и есть ум, энергия, чувство. Тургенев действовал очень долго и очень influentially, — и вот от него более чем от кого-нибудь пошло представление, что и в самом деле все умное и прекрасное содержится только в людях до 35-ти лет, которым старшие только мешают жить. В этом поддерживал его и Достоевский, у которого «герои духа» тоже все от 20-ти до 30-ти лет, не старше. Толстой с неизмеримо большей опытностью раскидывает перед нами панораму движения взрослых, зрелых или старых людей, следуя в этом и деревенской мудрости, которая не дает слишком большой аттестации тем, «у кого на губах молоко не обсохло». Но этою долею своего зрелого суждения Толстой не имел силы перевесить тенденций Тургенева и Достоевского, давших целую плеяду юнцов, то действительно прекрасных (у Тургенева), то гениальных (у Достоевского — Раскольников, Иван и Алеша Карамазовы, Шатов, Ставрогин).

Быта, жизни, зрелой связанности зрелых людей, чего всего так много у Толстого, Тургенев почти не описывал же, или изображал слабо и неполно, афористично и акварельно. Точно он сам вечно жил «на хлебах» и изобразил каких-то идеальничавших «нахлебников», за которых и которым все приготовят их мамы и папы. Лодочка с «лазурными» людьми ведь и в самом деле плывет сама, без труда гребцов и предусмотрительности рулевого. Все уже управляется «движением сердца» счастливых. Но от этого несколько чахоточного характера идеализм его героев почти выигрывает. В «Накануне», «Отцах и детях», «Рудине», «Дворянском гнезде» мы видим людей, силы которых не только подняты высоким чувством любви, но около них вообще убрана вся трудная, хлебная и работная, сторона жизни. Мы называли Тургенева

великим европейцем и счастливым русским. Он дал чудную русскую обработку многим европейским идеям. В самом деле, эти идеи, весь дух европейской цивилизации он ввел в русские души в самую лучшую, «героическую» фазу их возраста, и заботливо из процесса перегорания этих идей убрал все сорное. Дал, так сказать, «субботу покоя» на Руси европейскому идеализму. Все это, понятно, односторонне и неестественно, как мало естественны же лица и общественная ситуация у Достоевского. Но последствия односторонности этой — благотворны. В рассказах и повестях Тургенева мы входим в мир какого-то рыцарского идеализма, одетого густою русскою плотью. Идеи философские, исторические, общественные смешаны с ароматом любви, и через призму этой «лазури» кажутся лучше, чем может быть есть на самом деле. Мы любим тревоги влюбленных, как любим самих влюбленных; а они тревожатся и самое чувство в них загорается на почве идейных столкновений. Таким образом «талант влюбленности» у художника слова дал лучшую атмосферу, лучшую «совокупность условий» для передачи на родину западных идей, ничего общего с любовью не имеющих. Труды его напоминают прекрасную афинскую «академию», или, пожалуй, так счастливо устроенную школу, где ученики и ученицы усваивают уроки от наставников и наставниц, в которых они влюблены. Все одурены, в тумане, но это только фаза возраста и удача минуты. Все заняты нисколько не возрастом своим или одурением, а теми спорами, точное содержание которых мы читаем в монологах и диалогах Потугина, Рудина, Лаврецкого, Базарова, Инсарова, Шубина, «Лишнего человека». Все за этими их диалогами следили. Споры в повестях Тургенева были три-четыре десятилетия беседами каждой русской гостиной, кабинета, спальни; возможно ли исчислить и оценить, насколько они воспитали и образовали русского человека, русский ум и сердце.

И вот почему, — подведем свой итог, — он был одним из величайших бессознательных педагогов. «Педагогия» редко удается преднамеренно; зато не преднамеренно она иногда поразительно удается. Ученики, которые бегут из школы и зажимают уши перед «должностным» учителем, — раскрывают и сердце, и ум перед таким учителем, как Тургенев. И в этом — не зло. Какого официального педагога мы можем представить себе, который мог бы наставить юношу и девушку так полно и закругленно, как Тургенев. Есть ли средства у государства, чтобы оплатить таких учителей. Но Бог заботится о человеке, когда он не может помочь себе. Такие педагоги ничего не требуют, ни даже стула себе, ни кафедры. Они учат бесплатно, безвозмездно, только за благодарность себе человеческую: и откажем ли мы в ней им, может ли отказаться и государство, чтобы почтить этих особых, бескорыстных учителей своего населения соответствующим образом? Нам хочется указать, что плеяда русских писателей, состоящая из 5—7 имен, за вторую половину XIX века, давно ожидает себе благодарного памятника, и именно не разрозненно, а памятника общего, всей группе.

Тургенев, Гончаров, Островский, Достоевский, Толстой, и может быть еще несколько около них, могли бы получить себе один общий монумент, монумент-картину, а не монумент-портрет. Мы почему-то ограничили себя воздаянием «каменной памяти» одному золотому веку нашей литературы, от Карамзина до Гоголя включительно. Форма этих писателей, язык их, яркость действительно несравненны с последующими. Но не забудем, что все содержание собственно развития русского, каково оно есть сейчас, идет уже от «серебряного периода» русской литературы, уступавшего предыдущему в чеканке формы, но неизмеримо его превзошедшему содержательностью, богатством мысли, разнообразием чувств и настроений.

Среди иноязычных

(Д. С. Мережковский)

Не без внутреннего стеснения, и имея в виду лишь пользу *дела*,— я согласился на предложение г. редактора «Н. Пути» дать в перепечатку настоящую статью свою, уже напечатанную в № 7—8 «Мира Искусства». По его специальным задачам и содержанию, последний журнал *вовсе не читается* нашим духовенством; между тем статья эта, будучи, конечно, обращена вообще к русскому обществу, в частности «просит рассудить» гг. духовных положение вещей, ход спора, силу тезисов, к ним обращенных Д. С. Мережковским.— «Несмотря на обилие речей г. Мережковского, я не ясно понимаю» или «не понимаю вовсе, что он говорит», или «чего он хочет»: так заявляли не раз (напр., М. А. Новоселов) в *религиозно-философских собраниях*. Ну, вот как бы в ответ на эти недоумения, и перепечатывается эта статья в «Нов. Пути», который уже читается всеми участниками и гостями *религиозно-философских собраний*, да и вообще обильно читается духовенством.

В. Р.

Года три назад, на видном месте газет печаталось о трагическом происшествии, имевшем место в Петербурге. Англичанин со средствами и образованием, но не знавший русского языка, потерял адрес своей квартиры и в то же время не помнил направления улиц, по которым мог бы вернуться домой. Он заблудился в городе, проплутал до ночи; и как было чрезвычайно студеное время, то замерз, к жалости и удивлению газет, публики, родины и родных.

Судьба этого англичанина на стогнах Петербурга чрезвычайно напоминает судьбу тоже замерзающего, и на стогнах того же города, Д. С. Мережковского. Еще этой зимой я читал перевод восторженного к нему письма, написанного из... Австралии! Автор письма называл его

самым для себя дорогим, ценным, глубокомысленным писателем, из всей современной всемирной литературы. Он писал это по поводу «Смерти богов» и «Воскресшие боги», — двух романов, только что переведенных на английский язык и как-то попавших в Мельбурн.

* * *

Помню, однажды, в сумерках вечера, попрощавшись с г. Мережковским на улице, я отыскал себе извозчика, и когда затем, нагнав его, идущего по тротуару, вторично ему поклонился, то с высоты пролетки следя за его сутуловатою, высохшею фигуркою, идущею небольшим и вдумчивым шагом, без торопливости и без замедления, «для здоровья и мотона», я подумал невольно: «так, именно *так*, — русские никогда не ходят! ни один!!» Впечатление чужестранного было до того сильно, физиологически сильно, что я, хотя и ничего не знал о его родоплеменн — но не усомнился заключить, что, так или иначе, в его жилах течет не чисто русская кровь. В ней есть несомненные западные примеси; а думая о его темах, о его интересах — невольно предполагаешь какие-то старокультурные примеси. Что-нибудь из Кракова или Варшавы, может быть из Праги, из Франции, через прабабушку или прадеда, может быть неведомо и для него самого, но в нем есть. И здесь лежит большая доля причины, почему он так туго прививается на родине, и так ходко, легко прививается на Западе. Сюда привходит одна из трогательнейших его особенностей. Что бы ему стоило, и без того уже почти «международному человеку», по образованию и темам, — всею силой души отдаться западной культуре, «отряса прах с ног» от своей родины, где он был столько раз осмеян и ни разу не был внимательно выслушан. Мало ли в России было эмигрантов из самых старых русских гнезд, часто оставлявших не только территорию отечества, но и его веру. Для Мережковского это было бы тем легче, что, воистину, он долгое время из всей России знал только Варшавскую жел. дорогу, по которой уезжал за границу, да еще одно-два дачных места около Петербурга, где отшельнически, без разъездов по сторонам, проживал лето. Когда я его впервые узнал лет семь назад, он и был таким международным воляпюком, без единой-то русской темки, без единой складочки русской души. У него был чисто отвлеченный, как у Меримэ, восторг к Пушкину, удивление перед Петром; но ничего другого, никакой более конкретной и ощутимой связи с Россией не было. Заглавие его книжки «Вечные спутники», где он говорит о Плинии, Кальдероне, Пушкине, Флобере — хорошо выражает его психологию, как человека, дружившего в мире и истории только с несколькими ослепительными точками всемирного развития, но не дружившего ни с миром, ни с человечеством. Он был глубокий индивидуалист и субъективист, без всякого ведения и без всякой привязанности к глыбам человечества, народностям и царствам, верам, обособленным культурам. Ничего «обособленного» в нем самом не было; это был человек без всякой *собственности* в мире и это

составило глубоко жалкую в нем черту, какую-то и грустную, и слабую; хотя в себе *сам* он ее и не замечал. Все потом совершилось непосредственно: сейчас я его знаю, как человека, который ни в одном народе, кроме русского, не видит уже интереса, занимательности, содержания. У него есть чисто детский восторг к русскому «мужику», совершенно как у Степана Трофимыча (из «Бесов» Достоевского), где-то заблудившегося и читающего с книгоношею Евангелие мужикам. Год назад, собирая материалы для романа о Царевиче Алексее, он посетил знаменитые Керженские леса Семеновского уезда, Нижегородской губернии, — гнездо русского раскола. Невозможно передать всего энтузиазма, с которым он рассказывал и о крае этом, и о людях. Все звали его там «болярином». «Болярин» уселся на пне дерева, заговорил об «Апокалипсисе», излюбленной своей книге — и с первого же слова он уже был понятен мужикам. Столько лет не выслушиваемый в Петербурге, непонимаемый, он встретил в Керженских лесах слушание с затаенным дыханием, возражения и вопросы, которые повторяли только его собственные. Наконец-то, «игрок запойный» в символы, он нашел себе партнера. «Как же, белый конь! бледный всадник!! меч, исходящий из уст Христовых и поражающий мир!!! понимаем, без этого и веры нет! тут — суть!!» Можно сказать, народ упивался «болярином», который его слушал и разумел и даже вел дальше, говоря о каком-то «крылатом Иоанне Крестителе» (в некоторых древних русских церквях, напр., в Ярославле, есть изображения Иоанна Крестителя — с огромными крыльями), а «болярин» в свою очередь наконец-то, наконец нашел аудиторию, слушателей, друзей и паству! Прямо из Таормины (чудное местечко в Сицилии, с классическими остатками), попав на Керженец, он не нашел здесь разницы с собою в темах, духе, в настроении духа. «Что Запад, — там уже все изверилось: Россия — вот новая страна веры! Петербург, с его позитивизмом и общественными вопросами — это отрывок Запада: но коренная Россия, но эти бабы и мужики на Керженце, с их легендами, эти сосновые леса, где едешь-едешь и вдруг видишь иконку на дереве, как древнюю нимфу в лесах Эллады: эта Россия есть мир будущего, нового, воскресшего Христа, примирения нимф и окрыленного Иоанна, эллинизма и христианства, Христа и Диониса. Ницше был не прав, их разделяя и противопоставляя: возможно их объединение!! Западные народы просмотрели Христа истинного, цельного, полного, усвоив в Нем только одну половину, аскетически-темную, но не увидев в Нем же стороны белой, воскресающей, оргийной, Дионисовой».

Здесь я теряю возможность следить дальше и излагать мысль Мережковского. Она ясна в своей заглавной теме, но непонятна и им самим не высказана в своих *документальных* основаниях. Михайловский, в одной из критических статей о Мережковском, статей грубых и плоских, передает правильно от них *впечатление*: «в каждой строке автора бьется одна и та же, очевидно очень ценная мысль: но так и остается на степени скрытого пульса».

Я знаю Мережковского более, чем читатели, только знающие его печатные труды: но я никогда не слышал и не знаю того «в высокой степени ценного, что бьется в каждой строке его последних произведений, а высказаться — не может». Не хочет ли он, не может ли высказаться, об этом мы не имеем средств судить. Но я не знаю другого литературного явления, чем «Д. С. Мережковский» (беру попен * взамен «орега omnia» **), которое бы так вразумительно и наглядно подводило нас к постижению другого, тоже никогда не разгаданного, огромного исторического явления. Я говорю о знаменитых и древних Элевзинских таинствах, — которым малые аналоги были и в разных других пунктах Греции, в Самофракии, на Крите, в Сицилии и пр. Это не были «таинства» эпической древности: Гомер ничего не знает о них. Итак, это было явление образованной Греции, явление греческого образования и фаза культуры. Кто-то, тогда-то их завел, начал, а имя «таинства» они получили не в том смысле, как мы теперь понимаем это слово: нечто совершаемое и могущее быть совершенным одним священником. Наши таинства (все) совершаются на глазах всех людей, а чин (порядок) совершения таинства напечатан в каждом требнике, продающемся в каждой лавке. «Таинства» в Греции, напр., Элевзинские, буквально совпадали со своим именем и обозначали сокровенную, в безмолвии и темноте хранимую вещь (или действие), которая не открывалась никому, кроме членов содружного общества. Они одни, «посвященные», и знали это. Известно, что в истории чрезвычайно много разболтанных секретов, личных, кружковых и политических «тайн», которые стали явными. «Тайны Версальского двора» или личные тайны, напр., Казановы, давно рассказаны и напечатаны, хотя в ограниченном количестве экземпляров. Болтливость человеческая, с одной стороны, и любопытство человеческое, с другой — желание узнать и желание похвастать: «а вот — я знаю, чего никто не знает», можно сказать, дало историкам как бы рентгеновские лучи ранее Рентгена. Но было что-то особенное, специфическое в Элевзинских таинствах, в силу чего их никто не захотел рассказывать, из посвященных в них тысяч людей, мудрецов, писателей, историков, риторов, поэтов, как, впрочем, и обыкновенных смертных! Очевидно, «ἐλευστινὰ» *** не снаружи только носили имя «таинств», не по наречению от человеков и условию между ними: но в самой сердцевине их в точности содержалось таинственное, как нераскрываемое. И таким образом охраняла их не скромность человеческая, но они сами неизглаголанной сущностью своею охранили свою сокрытость. «Тайны», настоящие, не мнимые, и пребыли в тайне, несмотря на всю слабость и любопытной, и болтливой человеческой природы. «Тайн» нельзя было раскрыть: не потому что страшно, не потому что стыдно, не потому что было запрещено: все эти три категории мотивов не оберегли

* имя (лат.).

** все сочинения (лат.).

*** Элевсин (лат.)

же других в истории рассказанных «тайн», но оттого, что — *нельзя, невозможно!* «не изреченно!» И не только *рассказать* их было невозможно, но и передать, напр., в *рисунке*. Особенно ценится в науке одна ваза, изображающая, так сказать, «отпуск народа» или напутственное благословение *после таинств*, т. е. в момент, когда «тайны» уже нет, она прошла; когда нечего и видеть, и узнавать. Между тем, кто видел собрания древних vaz в Неаполе, в Риме, в Петербургском Эрмитаже — знает, что их так много сохранилось, как у нас глиняных горшков на горшечной ярмарке: мириады! И нет ни одного взмаха кисти безымянного художника, который хотя бы анонимно передал потомству исторический секрет! — Заметим для историков, что построение «Святого святых» равно в Скинии Моисеевой и в Соломоновом храме представляет наибольшую, известную в истории, аналогию этим «тайнствам». За завесу его также никто не проникал, кроме первосвященника раз в год: но он там ничего не видел, ибо «Святое святых» не имело окон, ни дверей; а завесы его так заходили друг за друга, что ни единый луч света не мог туда проскользнуть. Во всяком случае закон сокровенности, как главный, равно выражен в эллинском секрете и в иудейской святыне. Что же это такое, само себя охраняющее в тайне? Рассказчиков этого мы не имеем, а рассказчиков о *действии* этого на «посвященных» есть несколько, и слова их еще увеличивают наше удивление. «Жизнь» для эллинов будет невыносима, если отнимутся у них священные мистерии, связующие человеческий род, — выразился проконсул Претекстат (записано у церк. ист. Зосимы, IV, 3). «Много прекрасного произвели Афины, но прекраснее всего эти мистерии, возвысившие нас до истинной человечности», записал Цицерон («De legibus» *, II, 14). «Участие в этих таинствах освобождает душу от земных пут и возвращает ее к небесной родине. В энтузиазме, их сопровождающем, есть какое-то божеское вдохновение... Таинственный характер священнодействий возвышает благоговение к божественному, соответствуя Его природе, ускользающей от наших чувств; а музыка и другие искусства, во время их совершения, сближают нас также с божественным. Хорошо сказано, что человек особенно подобитя богам, когда благодетельствует, но еще лучше сказать: когда блаженствует, т. е. радуется, празднует, философствует, предается музыке», сказал Страбон («География» X, 3). Казалось бы, как такого не рассказать? не дать человечеству явно и днем, устно и письменно, теперь и навсегда того, без чего «жизнь невыносима»?! Но «посвященные» промолчали: промолчали люди «с примиренною совестью и незапятнанною честью», каковые одни только допускались к «тайнствам». Один немец написал обширное двухтомное исследование о них, озаглавив его именем одного исторически известного жреца этих таинств **. В исследовании этом собраны и критически расследованы все

* «О законах» (лат.).

** Лобек. *Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis libri tres*. Regiom, 1829.

до малейшего известия и слухи о них: и оказались как одни, так и другие настолько сдержанными, что трудолюбивый немец пришел к «положительному и непререкаемому выводу», что в «тайнствах» нечто *показывалось*, были *видения*: но каждый из зрителей («посвященных») толковал их по-своему, и не было никакой «тайной науки», «тайного знания», «тайного объяснения» их, которое давалось бы участвующим. Но у читателя его заключений невольно возникает вопрос: отчего же тогда «тайнства» эти «суть лучшее в Греции» — неужели наиболее пластическое?! Но вот, во всяком случае, комбинация трех признаков: 1) увидеть можно; 2) рассказать нельзя; 3) а кто им причастился — стал ощущаемо ближе к Богу или «божественным вещам».

Я так подробно остановился на этом общеизвестном и обширного значения факте, чтобы показать, что в самом деле есть в мире... *истины ли, ценности ли*, которые никак не могут быть выявлены, *не выявляются сами по себе*, и вместе могут стать... скрытым пульсом жизни нашей, мыслей наших, нашей веры и самых страстных и прочных тезисов. В философии Декарта нет «тайнств», у Бэкона нет «умолчаний», у Канта их нет тоже: но ведь кто же не знает, что все эти философы, по крайней мере первый и последний, томились тем, что они знают только феномены, тогда как суть вещей, даже исследуемых ими, от них скрыта, *хотя она есть*. В «тайнствах», кто бы их ни открыл и ни начал в Греции, в таинственном «вот закон (метод построения и освящения) жертвенника», «таков закон храма» у Иезекииля в видении, или в тайной мысли, с которою Моисей построил скинию, дав до последнего гвоздика ее *непременный* план: во всем этом проглядывается такое особое ведение, которого не было дано ни Канту, ни Декарту, не говоря об эмпириках. Но ведь в Греции *кто-то* начал (учредил) Элевзинские «сокровенности», человек смертный, человек обыкновенный: и в наше время, да всегда (как равно возможно, что и *никогда*!) может появиться человек, который набредет на подобное, если и не то же самое, открытие, и тогда непременно в отношении его почувствует то же, что древний грек: «этого нельзя *рассказать*», «это можно было бы только *показать*!!», но непременно одним «*посвященным*»!! Когда читаешь десяток страниц за десятком у Мережковского, и наконец большие тяжелые его тома, и видишь усилия человека, страсть его, удрученность какою-то истиною, и вместе недосказанность вас раздражающую, которая вырывает положительно крик: «да что же, что это такое наконец?!» — то невольно приходит на мысль, что у автора дело заключается именно в *показе*, а не *рассказе*: что книга давно уже кончилась, напрасно шуршат ее листья; но автор *боится ли, стесняется ли* перейти к какому-то действию. Да он почти это самое, почти этими самыми словами говорит о себе, о своем времени, о задачах эпохи и человека. Но читатели и зрители молчат, ожидают. Вопрос, кажется, не в мудрости Мережковского, а в мужестве Мережковского; и томительное недоумение не длилось бы так долго, если бы сверх первого у него было и второе. Молчание так же может разразиться

смешным, как и потрясающим. И вот опасение-то первого и удерживает его, может быть, от второго. «Нужно иметь мужество, чтобы пройти перед улицей нагишом: одного из тысячи после этого венчают. Аполлона венчали бы; но 999 из тысячи, но всякого смертного, но меня — побьют камнями, освищут, заплюют». В самом деле — трагедия: иметь секрет мага, но не быть *магом*.

* * *

Вернемся от этих гаданий об его писаниях к тому, что есть в них обыкновенного и ясного. В разные эпохи и разные люди пытались *примирить* мир христианский и вне-христианский, до-христианский: через уменьшение *суровости* требований первого, через *обеление* некоторых сторон второго. «Я *христианин*, но люблю читать и *классиков*», «я *добрый католик*, но философия *Платона* меня трогает не меньше, чем *отцы церкви*». Некоторые *уступочки*; стирание всего *острого* равно в христианстве, как и в язычестве; вяленькое благодушие — вот, что всегда клалось фундаментом примирительных между христианством и язычеством построений. «Нагорная проповедь ведь не отрицает геометрии Эвклида, ни Эвклид — небесного учения нашего Спасителя» — так примиряли два мира, «безнравственный и умный» мир язычества и нравственный мир христианства. Отбросив некоторое «юрродство» христиан, легко соединяли их религию с культурой языческой, выбросив из последней «блестящие пороки». Между тем явно, что если развились две культуры столь могущественно и самоуверенно, то, очевидно, каждая из них питалась некоторой *остротой* собственного запаха; что в «юрродстве»-то и лежит корень обеих вещей, христианской и языческой: в «юрродстве христианском», «юрродстве языческом». Было и остается нечто весьма непереносимое для обыкновенного *третьейского* суждения, и в христианине-затворнике-молчальнике — «питающемся акридами и медом». — «К чему эти *излишества!*» — сказал бы о таком прохожий. Но в *излишествах-то* и суть дела: это лишь сконцентрированная форма того, что разрознено во всех христианах есть, было во всех христианских эпохах. И *непереносимы-то* для первых христиан были вовсе не Эвклид и геометрия, а совершенно другие специальные выразители специальных сторон античной жизни. Новизна и великое дело Мережковского заключалось в том, что он положил задачу соединить, слить *остроту* и остроту, острое в христианине и острое в язычнике; обоих их «юрродства». Открыть (перефразирую задачу так) в «величайшей добродетели» — «соблазнительный порок», а в «соблазняющем пороке» — «величайшую добродетель». Я заключаю в кавычках обычные штемпеля, привычные человеческие определения: ибо, очевидно, исполнить задача Мережковского, все в этой области стало бы так одно в отношении к другому, что к одной и той же вещи, поступку, приложимы сделались бы всякие имена. Открылся бы, так сказать, «пантеизм» единичных вещей: «сколько богов (и демонов) в каждой вещи»!

Из этого содержания вещей нам, христианам, видна только одна часть, да и язычникам была видна часть же. Задача эта ведет уже не к вялому, через уступочки, а к *восторженному* признанию, к *утверждению* обоих миров; ведет к прозрению, как бы через прозрачный, сзади освещенный транспарант — уже в язычестве и его «тайнствах» («юродстве») — христианства, а в христианстве, при его раскрывшихся наконец тайнах — язычества. Оба мира имеют свой ноуменальный секрет, не рассказанный, не выведенный, «скрытый от мудрых мира сего» и тогдашнего: и секреты эти как бы в длани одного Господина. Здесь задача Мережковского и достигает своего апогея: найти в Христе (я не отвечаю за его задачу, а только принимаю на себя смелость формулировать ее) лицо древнего Диониса-Адониса (греческое и сирийское имя одного лица, мифического, «угадываемого»), а в Адонисе-Дионисе древности прозреть черты Христа и, таким образом, персонально и религиозно слить оба мира, в отличие от слияний художественных, поэтических, философских, вообще *краевых* по метафизике и *вялых* по темпераменту, какие они делались до сих пор в истории.

В подтверждение своей мысли, конечно, Мережковский мог бы сослаться на то, какая вообще малая доля Евангелия получила себе историческую разработку и обработку. Возьмем притчу о десяти девах, ожидающих со светильниками жениха в полночь. Какая картина для пластических повторений, для поэтических воплощений, для размышлений моралиста и метафизика. Но вот мы наблюдаем, что тогда как притча о богатом и Лазаре выступила живописью на церковных стенах, создала вокруг себя легенды, дала начало множеству биографических, житейских копий, и служит опорой постоянных ссылок, постоянной аргументации у богословов, — эти самые богословы просто не имеют ни внутреннего пожелания, ни художественного искусства как-нибудь подступить к притче о Женихе и его десяти Невестах. Между тем притча эта вышла из уст Спасителя. Ведь Он не сказал же ее «только так». Невеста мыслилась именно как невеста, а не как манекен с накладными волосами и щеками из картона. Живое, жизнь, кровь и плоть, опущенные долу глаза и длинные таинственные ресницы, как и покрывало Востока, их закутывавшее — все было в мысли Христа не как *помен*, а как *res viva* *. Мы имеем службы церковные, где священник изображает собою Христа; а движения его, слова, «выход большой и малый» знаменуют собою служение миру Спасителя. Что если бы в такое же церковно-драматическое движение, пусть однажды в год в воспоминание дивной притчи, была воплощена эта аллегория о десяти девах, сдвигающих в полуночи жениха? Мережковский несомненно может указать, что в таком литургийно-церковном воплощении дивной притчи мы получили бы как бы волос, пусть один, с головы Адониса, павший на нашу почву, да и прямо

* живое дело (лат.).

найденный среди наших евангельских сокровищ. Или предсмертное возлияние блудницею мирра на ноги Спасителя в дому Симоновом, и отирание ног Его волосами своими. Опять Мережковский может спросить: какое же это получило литургийное воплощение себе, как получило же подобное воплощение омовение Спасителем ног апостолов? Да и это самое омовение, и вся Тайная Вечеря протекла в ночи: между тем как у нас вкушение Тела и Крови Спасителя происходит (за позднюю обедней) в 12 часов дня, самую рациональную и будничную часть суток; и не «возлежа» вокруг Трапезы Господней, а стоя... точно перед зеркалом в присутственном месте. Словом, в мистике Евангельской, без сомнения, многое обойдено молчанием, не пошло в разработку. Мережковский может указать, что и до сих пор мы имеем в сущности то же сухое книжничество и фарисейство, но только не Ветхозаветное, а Новозаветное: как будто, под ударом укоров Христа, фарисеи и книжники, поговорив между собою, решили *согласиться* с Ним и пойти за Ним: и тем однажды и навсегда победить Его в *главном*; победить — и господство свое над Иерусалимом превратить в господство над миром, несокрушимое и вечное. Они стали *позади* Его, «как ученики», и изрекли: «гряди Ты вперед, мы — за Тобою». И все осталось, после этого выверта, в мире по-прежнему: все тот же перед нами Христос и книжники с фарисеями: ибо как Он оспаривал не *доктрину* фарисейскую, а *душу* фарисейскую, то соглашение с доктриною (учением) Христа их фарисейских душ в данном историческом моменте равнозначуще стало соглашению Христа с душою фарисейскою. Ибо подойдешь ли ты ко мне, или я к тебе, обнимешь ли ты меня, или я тебя: все равно — мы *одно* в объятии. «Ты дал нам ключи Царства Небесного», «Он дал нам власть вязать и решать», «нарекать одно — добром, а другое — злом», услышал мир от старых формалистов, ритуалистов, постников и молитвенников.

* * *

Против всех этих указаний Мережковского было бы трудно спорить. Но, и согласившись, мы все же имеем в них слишком малое для его темы. Ему предстоит, очевидно, сделать то, что некогда сделал Толстой: тот выпустил Евангелие со *значительными пропусками* неудобного для него текста, и с *переменами перевода* некоторых речений Спасителя, чтобы указать в нем людям свое «Учение о смысле жизни». Мережковский, сколько мы знаем, имеет взгляд на Евангелие, как на книгу, в которой перемене или пропуску не подлежит «иота». Итак, ему предстоит выпустить Евангелие в окружении нового комментария: заметить, подчеркнуть и дать истолкование бесчисленным изречениям Спасителя и событиям в жизни Его, которые до сих пор или не попали на острие человеческого внимания, или истолковывались слишком по-детски, или наконец прямо перетолковывались во вкусе и методе старых фарисеев и книжников. Наконец, здесь очень много значит *тон, оживленность*

перевода. Перевод св. Писания на *мертвый* церковно-славянский язык, можно сказать, определил уже изначала *мертвенное* его восприятие, *неживое* к нему отношение. Не забудем, что на языке этом нет и никогда не было ни одного поэтического произведения; ни одной песни, ни сказки, ни былины; что «Слово о полку Игореве» написано на древне-русском, а не на церковно-славянском языке; и, словом, что четыре Евангелиста восприняты были на языке, как бы нарочно приготовленном для изложения предметов величественных и сухих, не интересных, не «хватящих за сердце», а только «важных, серьезных» и «должностных», и мы поймем, до чего от влияния самого языка перевода Евангелие представилось сознанию читавших его как некоторый «божественный» *Cogrus juris* *, как вещание и завет «Судий мира» в потусветной тоге. Ни один цветочек не мог удержаться, *если он был* на ветви этого слова: но как в старом ящике, в котором везут из-за моря фрукты, эти фрукты опадают, оставляя ветви голыми, и, словом, все ссыхается, распадается и теряет свежесть и ароматистость,— так и Евангелие, кириллицей начертанное, не могло не распасться на «тексты» и в этом виде дать лишь неистощимый запас для разных споров и доказательств «книжнического» характера. Словом, как Евангелие «в издании» Толстого положило начало толстоизму, как направлению религиозной мысли, как явлению церковной (или *ex-церковной*) жизни, так лишь Евангелие «в издании Мережковского могло бы дать торжество его теме: примирению христианства и язычества в лице Едино-поклоняемого, Обще-поклоняемого Христа-Диониса. Без этого, до этого мы имеем попытки с весьма проблематическим исходом. «Дай вложить персты и *осязать*»,— отвечаем мы невольно на все уверения.

Впрочем, и как *попытка* — его усилие велико. «Икар, Икар, не приближайся к Солнцу»,— много значит уже и услышать позади себя эти крики. Мы можем к попытке его подойти критически с другой стороны: со стороны *естественности и невольности* (исторической) его задачи. Здесь мы введем в рассмотрение его темы одного его антагониста, который первый дал, в публичных лекциях в Соляном городке, определение его тенденций. Это — молодой и пылкий, но недостаточно осмотрительный монах, переведенный недавно в Петербург из Казани и читающий в здешней Духовной Академии каноническое право. Он назвал проповедь Мережковского «дрянным учением»; его тенденции соединить Христа и Диониса — безнравственными, извращенными. Он остановился на определении Христа в известном стихотворении гр. Алекс. Толстого «Грешница»:

«В Его смиренном выраженьи
Восторга нет, ни вдохновенья»,

и, приведя его, *воскликнул*: «вот истинное и *глубокое* понимание Лица Христова и самой сущности христианства».

* Свод законов (лат.).

Примем этот тезис о. Михаила бесспорно в то же время тезис всего исторического христианства, и посмотрим до какой степени именно он и толкнул Мережковского к его специфической задаче, как «единоспасительной». — «Господь мой и Бог мой», — воскликнул невольно он, как бы уцепясь за ноги Распятого и Воскресшего, и защищая *божество* Его против *отрицания* в Нем божества со стороны таких людей, как о. Михаил. «*Вся Им быша и без Него ничто же бысть*»: вот определение Бога не только метафизическое, но и по Слову Божию. Полнота, *закругленность*, «богатство» Его входит даже в филологию слова «бог», «Бог». «Не пиши *бог* с маленькой буквы, как одно из простых нарицательных имен, а напиши Его большими буквами, как бы распространяющимися по всем вещам мира» — таков в сущности лозунг Мережковского. Его тенденция существенно *увеличительная, громадная, раздвигающая*: тогда как о. Михаил и все, «*иже до него и с ним*», век за веком все суживали Бога, расхищали Его богатства, соделывали Его бедным, неимущим, ничего почти не имеющим. Шаг за шагом теснили они Бога и вытеснили из мира, суживая владения Его, власть Его, дыхание Его — до затхлых коридоров каких-то «духовных» департаментов, одной «духовной» канцелярии, и даже наконец одного «столоначальничества» в ней, как некоего специфического места богословского скряжничества. Вот уж «соделали богов литых, по образу и подобию своему», можно сказать об этих «духовных» Плюшкиных. Гр. А. Толстой, конечно, не был гениален, и начертав:

В Его смиренном выраженьи
Восторга нет, ни вдохновенья,

не сказал ли этим, что «все восторженное и вдохновенное» на земле не от Христа и против Христа? Так что из собственных его стихотворений неудачные, «не вдохновенные», пожалуй, «от Христа и в христианском духе написаны», а вдохновенные, как

Колокольчики мои
Темноглубые,

— все «от Велиара». Обмолвка Толстого, не умная, но удивительно отвечающая историческому положению вещей, как они сложились в мире, и объясняет, каким образом все талантливое и вдохновенное, наконец просто все *искреннее*, одно за другим отталкивалось от себя «подлинными христианами», и тем самым очутилось и сбилось в великий стан «анти-христианства», «вне-христианства». Стан, победа которого предпрешена уже просто тем, что в самое определение его входит: «талант, вдохновение, искренность», тогда как круг христианства определился условиями: «скудно, не вдохновенно». Ну, где же Тредьяковскому победить Пушкина, хотя он и был «действительный статский советник», а Пушкин какой-то регистратик. У христианства и остались одни «чины», претензии, титулы; а все «богатство» Бога (см. филологию словопроизводства) очутилось собственностью людей без чинов,

но с силами. «Диониса, Диониса сюда!» — закричал Мережковский обо всем этом лагере: «таланта, вдохновения, и Того, из Коего по древним проистекает всякое в мире вдохновение, но не как собственность и мифическое изобретение древних, а как нашего подлинного, исторического Христа! Мы — христиане; но от Христа текут не только бедность и бездарность, худоумие и худородность, Он не принес на землю скряжничества: но *Им вся быша, и без Него ничтоже бысть*».

Вот и вся тема Мережковского в ее историческом обосновании.

«Скряжники» довели христианство до атеизма. Соделав «литого Христа, по образу и подобию своему» и Плюшкинскому, они подвели христианство к краю пропасти, куда еще один прыжок — и ничего не останется. Мережковский, может быть, говоря иногда бестактные слова (впрочем, я их не знаю), спасает то самое судно, на котором наивно и благодушно плавает сам о. Михаил, не подозревающий, за неимением морских карт, его географического положения.

Власть Христа, «область Христова» уже сейчас лишь номинально, а не *эссенциально* (не «по существу») распространяется на такие области, как семейство, брак, единение полов, и далее — как наука и искусство, и, наконец — как весь технический и материальный быт народов. Всмотримся во вздохи «бездарных»: они ведь сами вздыхают, прерывая вздохи скрежетанием зубным, зачем все это (семья, брак, искусство, наука, экономика) принадлежит им лишь платонически, по одному имени: «*искусство христианских народов*», «*семья у христианских народов*»; зачем везде они (скряжники) являются не подлинными обладателями, а лишь в качестве «имени прилагательного» около иных и единственно значащих имен существительных: «народ», «искусство». «Ах, *если бы* нам это все, но не платонически, а *эссенциально!*» вот вздох богословов и богословия за много лет уже, за многие века. Мережковский, со своим «Дионисом» и предлагает им все это невероятное богатство, предлагает *эссенциально*; но требует... Или, точнее, он ничего *сам и от себя и ради себя* не требует, а просто предлагает *самим христианам* разрешить почти математически-точную задачу:

- 1) кто хочет обладать кровью — должен быть сам *кровен*;
- 2) кто хочет обладать плотью — должен быть сам *плотянен*;
- 4) кто хочет обладать богатством — должен быть именно *богат*,
- 5) и *вдохновенен*,
- 6) и *обилен*,
- 7) богом и «Богом» быть: дабы стать Отцом и «главою» церкви обильной, «божественной».

И тогда — все пожелания богословов и богословия исполнятся. Бог — вечен и одно; но *сознание* Его «верующими» может быть различно: и вот *черты* этого-то сознания непременно сформируют *тип*, или *иначе* «предикаты», религии-церкви. Если вся боль богословов свелась почти к воплю: «отчего мы не по *существу* владеем миром», то позади его лежит та ошибка их же, что вообще все *эссенциальное* они выпустили,

враждебно вытолкнули из собственного представления «Бога» и, приняв Его, как великое *Nomen*, образовали не *Religio*, а *номинализм* с религиозными претензиями.

Ну, хорошо: согласимся с о. Михаилом, что «ни восторга, ни вдохновения» религии не нужно; что, не содержась в исповедуемом Боге, они не содержатся и в исповедующей Его церкви. Отлично, мы успокоились. Но что же у нас осталось? Например, не осталось ли у нас пронырство, каверзничество, — добродетели холодные, качества ледяные, в которых непременно напутает «вдохновенный», а вот без вдохновения человек весьма далеко может пойти в практике этих душевных способностей или «немошей»? Да, принципиально они не исключены. Обратим внимание. Действительно, не найдется ни одной строки во всей необозримой богословской христианской литературе за 2000 лет, «потворствующей разврату»; ну хоть бы пятистишие за 2000 лет:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени...

Ни одного такого или приблизительно подобного пятистишия в 390 томах in-folio «*Patrologiae cursus completus*» * Миня, который обнимает всю совокупность трудов древних писателей христианства. Ни цветочка. Ни лучика. Ни росинки. Была же причина, так радикально подсекшая

Шепот, робкое дыханье.

Но сказать и исповедать, что так-таки нигде, ну хотя бы у Тертулиана или вообще кого-нибудь, из *западных* отцов (ибо о восточных мы не смеем говорить), не было решительно ни одного слова «пронырливого» и «каверзного» — этого сказать невозможно. Познаем истину из взаимных упреков. Ни один восточный апологет не упрекнул западного богослова в «потворстве чувственности», в дифирамбах «робкому дыханью и вздохам»: до такой степени их действительно не было! А вот упреков в «пронырстве и каверзничестве» — сколько угодно. И значит, подлинно эти качества были! Были они в одной западной части христианского мира, и может быть не вовсе лишена их и другая. Не смеем здесь указывать, но вправе сослаться на о. Михаила. На магистерском диспуте в Казани, перед защитой диссертации, он произнес речь: «Две системы отношений государства к церкви. Римское и Византийско-славянское понимание принципа отношений государства к церкви» (Казань, 1902). В ней изображены идеалистические течения Византийской истории, как они выразились в совместной работе государства и церкви. Государство имело самое возвышенное воззрение на церковь, и то *помогало ей силой* (школа Юстиниана Великого, партия, группировав-

* «Полный курс патрологии» (лат.).

шаяся около Св. Софии), то само, так сказать, сгибалось и мякло в руках людей церкви, отказываясь даже и для себя, в своих собственных недрах, от жестких и твердых форм юридического существования (партия, группировавшаяся около Св. Непорочности, т. е. Церкви Влахерны вместе со Студийскою обителью). В конце концов победило второе течение, наиболее идеалистическое, небесное. И вот результат этого, т. е. результат того, что государство как бы передало в руки церкви, в лице ее самого кроткого и нежного, идеалистического течения, некоторые свои функции. «В последние дни Византии создан институт *вселенских судей*. Вселенские судьи, ведавшие важнейшие преступления граждан, были в большинстве священники. Они перед Евангелием давали обещание судить по правде и судили в обстановке, не похожей на суды мира сего. Суд часто происходил в церкви; на первом месте между книгами закона было Евангелие, и суд производился более по правде Христовой и апостольской, чем по институтам и пандектам. Имена Тита и Кая, которые так часто встречались в прежнем римском праве,— заменены были здесь именами Петра и Павла» (стр. 18). Так рассказывает о. Михаил одну половину дела и продолжает о другой: «Но сами вселенские судьи через несколько времени оказались под судом за лихоимство и неправые суды. Убийства, ослепления, кровь, казни и пытки — все это было кощунственным ослеплением Евангелия, хотя это Евангелие и заменило в судах свод законов» (стр. 19). Так на двух страничках рядом изображает историк, канонист и монах царство «бедных» по принципу, «не вдохновенных» по обету, которым, за исключением горячих сторон души, остались холодные: корысть, коварство, хитроумие и хитросплетения.

«Нет оргийного начала в религии» (тезис о. Михаила): это значит только, что в ней оставлены одни холодные качества, между которыми из первых — дипломатия, казуистика, суд и администрация. На вопрос, почему так обильно эти качества привились повсюду к европейскому «духовному строю», отчего воловьи жилы повисли на арфе Давида,— и можно ответить почти восклицанием Мережковского: «нет и не было здесь бога вина и веселья, веселого и опьяняющего, который... чему-чему ни научил бы людей, но уж во всяком случае не научил бы их юриспруденции». Тут и входит струя «сладких соблазнов» (не в худом смысле), которые несомненно включены в природу Диониса-Адониса: она острым и горячим своим дыханием убивает то смертное начало в смертном человеке, которое помешало служителям Влахерны и Непорочности выполнить не то, что небесную свою задачу, но хотя бы соблюсти обыкновенную человеческую добросовестность. Вечен плач богословов: «почему *мы* не таковы, как наши *принципы*». Но потому и не «таковы» вы, что принципы ваши лишь *алгебраически*-прекрасны, а не *истинно*-прекрасны; что они хороши — если их написать; а для исполнения... они *сами* не дают силы, ибо не эссенциальны, а номинальны, не вдохновляют и, словом:

Восторга нет, ни вдохновенья.

«Византия оклеветала те принципы, которые дают ей место в истории культурного самосознания человечества... Византийцы убили ту правду, которою жива была Византия, сами лишили себя света и разрушили грандиозное здание, какое создали. Учреждения, формы жизни приняли культурные начала Влахерны, но не нашлось людей, чтобы вместить эти начала. Сами вселенские судьи очутились «под судом за лихоимство» и т. д. и т. д. Так плачется автор. Все — «не по существу»; «только — форма», «шелуха и шелуха», «нет Диониса» — подводит итог этим «плачам» Мережковский*.

В другом месте («Психология тайнств») тот же о. Михаил пишет о браке, что он свят и чист, насколько из него исключена страсть; то есть опять же: «нет Диониса — будет добродетель. Но «добродетель» ли

* Касательно этой статьи надлежит заметить следующее. Св. Евангелист Марк предварительно повествованию о Претече Господнем Иоанне, приводя ветхозаветное пророческое место, говорит: *вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который призовет путь Твой пред Тобою* (Марк. 1, 2; сравн. Малах. 3, 1). Здесь «Ангел» относится к Претече Иоанну. Ангелы изображаются с крыльями, песему и св. Иоанн иногда изображается на иконе окрыленным в некоторых древних русских церквях. — Сопоставление в статье священных христианских имен с античными мифологическими «представлениями» следует понимать, конечно, не по существу, а лишь потенциально. Язычники славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся (Римл. 1, 23). Истинный Бог Иисус Христос неизменяем; всегда «новый», Он и вчера, и сегодня, и во веки Тот же (Евр. 13, 8); в Нем *ей и аминь* (Откров. 22, 20). — У народов древних, до-христианских, данное еще в земном раю божественное обетование о Спасителе, Избавителе мира, истинные понятия о Боге Вышнем, с течением времени, по мере того как народы все более и более «отходили на страну далече», затемнялись, помрачались. Но Создатель «не забывал убогих Своих до конца» и, хотя отрицательным путем, Он руководил их к Небу. Конечно, у народов древности, «не имеющих закона», было представление неясное о спасительном Промысле Божием. Указателем того могут служить выражающие идею чего-то тяготящегося над ними слова «οιρα», «fatum», «forma» и др. Ведь душа человеческая, по выражению древнехристианского церковного писателя Тертуллиана († в начале III ст. по Р. Хр.) есть «христианка»; и язычники, будучи *сами себе законом и по природе делающие законное* (Римл. 2, 14), временами обращали взоры в «превыспренняя». Отсюда и объясняется их духовное миробитие, их религиозные искаженные верования, мифология. Помраченные черты Исккупителя-Христа, допустимо, могли отразиться в Адонисе-Дионисе-Вакхе древности. Но пришел в мир Спаситель Иисус Христос, рассеял тьму «людских невежествий». Совершилось величайшее в мире чудо, которого решительно никто не признать не может и пред которым совершенно бледнеет, как мираж, всякое дионисово начало. Простые рыбаки-апостолы привели ко Христу эллинских мудрецов и всю эллинскую мудрость и «буйством Евангельской проповеди» покорили «все концы вселенныя». *Когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков* (1 Коринф. 1, 21, 25). — Конечно, в христианстве нет струи «сладких соблазнов», входящих в природу Диониса. Христианская религия есть особенная религия — богооткровенная, принесенная с неба. В ней есть спасительная благодать, *немощная врачующи и осуждающая восполняющи*. Она первая идет навстречу каждому человеку, желающему с верою принять ее. Как *Пиво новое*, Божественная благодать нравственно смягчает человека и постепенно возрождает его для жизни духовной: *Дух дышит, где хочет, и голос его слышиши, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа* (Иоанн. 3, 8). Христианский Бог есть Любовь (1 Иоанн. 4, 8), и принципы христианской религии — истинно-прекрасны. «Законы — святы», но исполнители их не всегда на подобающей высоте. — Притча о богатом и Лазаре одну своею стороною — богатством и бедностью — ударяет по самому жизненному нерву, касается области социальной; притча же о десяти девах прежде всего выражает момент эсхатологический, более или менее далекий от внимания члена Церкви. Этим и можно объяснить распространенность первой названной притчи и в меньшей степени жизненное развитие второй. К притче о десяти девах приурочена церковная песнь: *Се, жених грядет в полунощи...*

Примечание архимандрита Мефодия.

будет? не просчитался ли он, как «психолог» таинств, просчитавшись, как историк и канонист? Несколько лет назад печатался рассказ: уже подходивший к пристани пароход (на Волге) вспыхнул пожаром, и сгорел — как куча стружек. На нем обгорела жена одного художника, ехавшая с детьми. Она выскочила на пристань, едва подошли к ней — и спряталась за поленницами дров, обычно заготавливаемыми на берегу для пароходов. Когда ее там нашли, она закричала: «не приводите сюда детей — они испугаются», т. е. при виде обгоревшей матери. Несчастная, но и прекраснейшая из женщин, чуднейшая из тварей Божиих. До того она насыщена была заботою о детях, что всего за несколько часов до смерти (она скоро скончалась от ожогов) думала: как бы они не испугались изуродованного огнем вида матери. Это уже не «судьи Влахерны». Но откуда взялась эта необыкновенная и, смею сказать, неслыханная любовь к ближнему, к другому человеческому существу? Да из того, что это «иное человеческое существо» было из *ее крови* и сотворено было *в ее недрах*, — о чем всем один единомышленник о. Михаила, М. А. Новоселов, выразился, критикуя Мережковского же:

«Их конец — гибель, их Бог — *чрево* (его курсивы) и *слава их в сраме*: они мыслят о земном» («Нов. Путь», июль, стр. 277).

Так вот как именуются эти недра, дающие такую неслыханную любовь. Но, озирая неудачи Византии, хотя бы в цитатах из о. Михаила, не вправе ли был бы Мережковский перефразировать:

«Ваш конец — гибель, ибо ваш бог — *Номен*, и слава ваша в лже-словесничестве: ибо вы мыслите о воздушном и химерическом».

Да, эта мать, сгоревшая, не ознакомленная с «психологией таинств», по о. Михаилу, некогда просидела лунную ночь, не хуже Фетовской:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья...

В юном художнике, потом ее муже, она увидела «Адониса», точь-в-точь его: сквозь черты, обыкновенные, человеческие, ни для кого, кроме нее, не интересные, она прозрела «бога», «ангела»:

И лобзания, и слезы...
И заря! заря!

И сокровенное для всего мира, для отца и матери, подруг и даже детей, она раскрыла для него, как *единого и исключительного* во вселенной существа; раскрылась — и зачала, и понесла; а потом умерла с испугом: «как бы они все не *обеспокоились* — видя меня болеющей и умирающей».

Так вот почему «муж и жена — одно», а не по предписанию «судий Влахерна»; и отчего это святое соединение — «таинство», а вовсе не по определению, вышедшему из того же судилища. Не слова святы, а вещи. «Исключите страсть — и будет добродетель!» — учат человечество аскеты. Так ли это? «Трелей соловья» не заслушивался Домби-отец, когда начинал Домби-сына, как бы прочитав из о. Михаила эти тезисы:

«Муж и жена сходятся всегда и обязательно в целях созидания новой жизни в детях.

Ребенок и любовь к нему, хотя бы будущему, есть с самого начала несознанная причина связи между супругами, которая соединяет двоих в плоть едину.

Мысль о ребенке необходимо предносится мужу и жене в их отношениях, — конечно, если этот брак не для похоти.

По требованию церкви, для брака нужно святое бесстрастное настроение как *conditio sine qua non* *. Для того чтобы брак был свят и ложе не скверно, чтобы от страстного не родилось страстное, человек должен победить свою страстность, похоть, даже в момент зачатия ребенка, — более всего в этот момент» («Нов. Путь», июнь, стр. 252 и 253).

Вся Европа плакала, читая, как рожденный приблизительно по таким предписаниям Домби-сын хирел. Чудными глазками смотрел он на пылающий огонь камина, и чах — неудержимо, как этот огонь, по мере перегорания в нем угольев. Без болезней и боли, он умер — как многие дети, как вообще дети, бесстрастно (без «Адониса») зачинаемые. А общества европейские, без согласования с принципами Влахерны, назвали откровенно Домби-батюшку негодяем, а такой брак, в целях поддержания фирмы «Домби и Сын» заключаемый, называют «браком корысти», «браком-гадостью», «браком, как обманом и жестокостью». О. Михаил никогда не имел детей. Он не имел дочери, и не может вовсе представить ужаса и отвращения родителей при открытии, что с выходом замуж их дитя получило лишь производителя-Домби для производства Домби-сына, имеющего поддержать знаменитую фирму; или, как формулирует о. Михаил:

«Цель брака — будущие люди, дети. Вступая в брак, им передоверяет человек дело служения Церкви, в лице их он хочет дать жизни лучшего слугу, чем сам» (*ibid.*, стр. 250).

Благочестивые пожелания. Но слабость их в том, что целый час и наконец вечер предаваясь таковым размышлениям, никак не почувствуешь того специального в себе движения, волнения, которое и «прилепило бы мужа к жене», до плоти единой, между тем как это может сделать единая соловьиная трель, прорвавшаяся в оставленное незакрытым окно.

* * *

Бедный Филиппов, издатель «Научного Обозрения» и магистр каких-то наук, погиб, начав производить опасные опыты, основанные на совершенно глупой и, очевидно, неверной мысли Бокля: «усовершенствование орудий войны сокращает войну». Сравнить только войны Наполеона с войнами Фридриха Великого, а эти последние — с рыцарскими ломаниями копий. Но Бокль написал: «History of civilization» **, с мириадами

* обязательное условие (*лат.*).

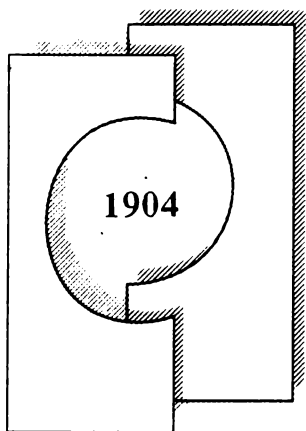
** «История цивилизации» (*англ.*).

цитат, и напечатал в Лондоне: достаточная причина, чтобы петербургскому магистру наук сойти с ума от восхищения, покорности и всяческих рабских чувств к заморской мысли, которая в самой Англии никого не заинтересовала. «Никто не бывает пророком в отечестве». Жалкая смерть «магистра наук» заинтересовала прессу, хотя бы легким интересом дня, и если никто при жизни не знал, кто и что Филиппов, все узнали о нем, по крайней мере, после смерти и по поводу смерти. Так вихрь улицы несет всякий сор, какой на ту пору будет выброшен из окна. И вот это-то «вихрь улицы» более всего и мешает «восстанию пророков в отечестве»: он поднимает легкое и носит-носит его, показывая глазам зевак; а тяжеловесное камнем падает на землю, непосильное крыльям воздушной стихии. И прохожие топчут ценность, в то же время любясь красной тряпкой или разноцветным перышком, носимым туда и сюда. Бэкон на этом построил свою гипотезу, конечно ошибочную, что от древних литератур, греческой и римской, до нашего времени дошло только малоценное, а все тяжеловесное забывалось и исчезло без возврата. Из греков и из римлян выбирали избранные умы, Свиды, Фотий, Августин; выбирали из них и хранили избранное тихие, созерцательные времена. «Вихря улицы» еще тогда не образовалось. Но вот он настал в Европе, понес легкое: и подите-ка, переборите его! Так же трудно, как повелеть: «стой, солнце, не двигйся, луна». Побудить ветер может только ветер же: нужно возникнуть чему-нибудь тоже легкому, но легкому, так сказать, обратного смысла, дабы овладеть вниманием улицы, перенести его на другие предметы, к другим горизонтам. Но качества «легкости» останутся, т. е. главный враг серьезного. Это — то же, что «фарисейство», о котором выше мы объяснили, как оно победило Христа. Однажды и навсегда фарисейство и «легкость» победили искренность и серьезность, и как одно убило религию, вообще всякую на земле религию, так второе на наших глазах убивает литературу, и трудно предвидеть, как далеко пойдет омертвление последней.

Мережковский попал именно в полосу этого омертвления, особенно быстрой и сильной фазы его, по крайней мере у нас. Можно представить себе, как принята была бы его мысль в пору Герцена, Грановского, Белинского. Бедные, ведь они все питались, до ниточки, западной мыслью; туземная почва не рождала ничего, кроме альманахов и «альманашиков». Вся русская мельница 40-х годов молола привозную муку: молола превосходно, с энтузиазмом и добросовестностью. И выходил хлеб, достаточный для туземного прокормления. Можно представить себе, как заработала бы мысль Герцена, Грановского, Белинского, если бы ей представилось это особенное сцепление тезисов, сделанное Мережковским, где мир древний и новый становятся один к другому в совершенно новое отношение, еще ни разу не показанное в истории. Теперь... только староверы на Керженце, да еще о. Михаил в «Миссионерское обозрение» внимают нашему литератору. «*Ни Христос, ни Дионис*» — отвечает согласно ему литература на его призыв «и Христос, и Дионис».

Вот связь таинственная, в пользу Мережковского: на Керженце или страницах «Миссионерского обозрения» все же чувствуют вопрос о Дионисе, именно потому, что там не умер и Христос. В его *зерне* античный мир разгадываем только через призму христианства. Лишь через Христа и веру в Него мы можем прийти и до постижения... «Элевзинских таинств». Там, где умер Христос и христианство, окончательно, неживимо, — не могут воскреснуть и Адонис, и адонисово. Исчез самый вкус к этому. Мы не всегда замечаем, что, напр., проблема пола, страсти, брака, — так или иначе все же воспринимается духовными писателями, и притом одними ими во всей литературе: вне их круга, т. е. вне круга религии, христианства, вопрос этот никак, вовсе не воспринимается, нет ни малейшего и ни у кого чувства к нему, органа соответственного обоняния. Это показывает, что, хотя (тезис о. Михаила) христианство и «убило оргийное в человеке начало», однако само оно еще полно запахом убитого. Не много времени пройдет, улетучится окончательно этот запах, и поле победы покроется тою мглою, косной и холодной, из которой уже сейчас несется крик: «*ни* Диониса, *ни* Христа, а давайте нам анекдоты о Филиппове, как он делал опыты и умер, вычитав какую-то из Бокля глупость». Я хочу сказать, что Мережковский прав в той части своих утверждений, где он говорит, что окончательная победа Христа, как Он до сих пор понимался и понимается, каким-то образом ведет к исчезновению и Самого Христа. Сперва — Голгофа, потом — один Крест, и наконец — пустыня, в которой ни Креста, ни Голгофы, *ничего*.

Вот в эту-то пустыню «после Христа» и врезывается его проповедь, никого не пробуждая к вниманию. От нее больно духовенству: и отсюда слышатся на него окрики. Но вне духовенства решительно никому не больно от нее, как и не сладко от нее. И Мережковский, со всем богатством совершенно новых тем — тем, наконец, житейски важных, ибо они или *рушат*, или *преобразовывают*, но ничего не оставляют в прежнем виде — являет сам вид того жалкого англичанина, который года три назад замерз на улицах Петербурга, не будучи в силах объяснить, *кто он, откуда* и чего ему нужно.



Американизм и американцы

Война северных штатов с рабовладельческими южными, совпавшая по времени с освобождением у нас крестьян, пробудила симпатий России к северо-американской республике. Развитие у них реального и технического образования именно в то время,

как Россия всячески стесняла у себя реализм и реалистов в школе, поддерживала эти симпатии. Но эти чрезвычайно честные и временные причины закрыли от глаз наших, и не слишком внимательных к предмету, целую пропасть, отделяющую вообще старые европейские культуры, и в их числе нашу, от американской; от американизма. Да, как можно говорить об европеизме, так можно говорить об американизме: оба эти факты огромного протяжения и неуловимого духовного смысла. «Европеизм» есть человечность, — как это понятие выработалось и утончилось в благородных европейских литературах XIX века, в европейской науке, в ее философии: в столкновениях идейных, политических и религиозных. Увы, ни романтизм, ни классицизм не перебросились через Атлантический океан. Когда Жуковский писал «Сельское кладбище» — американцы торговали; когда Байрон пел Чайльд-Гарольда — американцы опять же торговали. Пришел Гюго с «Негрانی» * — и все же американцы только торговали. Канта сменил Шеллинг, Шеллинга — Гегель, у англичан выросла и умерла величайшая из идеалистических философий, так называемая «Шотландская философия»: и все это время американцы только открывали банкирские конторы. Понятно, что они накопили в это время горы долларов. Если справедливо, что американцы идут на Европу (хотя бы идут пока духовно, гневным сердцем), то это прежде всего идет банкир на профессора, слесарь на астронома, биржевой маклер на старого геттингского или московского идеалиста. Тут расхождение огромное. Тут отсутствие взаимного понимания. Хотя бы уже потому, что все европейские страны имеют каждое тысячелетие свою национальную церковь, с неизмеримым и ежедневным ее влиянием (молитвы, служба); что они пережили, как Византия, католичество и Германия, необъятной глубины религиозные споры, доходившие в страстности своей до религиозных войн (а сколько за время их передумалось!

* «Эрнани».

переживалось! — и в каждой семье!); уже по этому своему прошлому Европа есть неисправимый идеалист. Законы «атавизма» действительны не только в отношении пороков. Это есть семена прошлых веков. Живущие или временами воскрешающие сейчас. Несмотря на скудость собственно школьного у нас образования, и Россия есть в точности и в самом строгом смысле культурная страна: по сложности истории своей, которая есть история государства, веры, искусства, народных песен, народной архитектуры и живописи, пусть лубочной — это все равно! Ибо дело не столько в том, как сделана икона, Рафаэлем или суздальцем, а в том, что с верой и надеждой на икону эту молились тысячу лет, молились души скорбные и угнетенные, каждая со своей надеждой, с своеобразными словами! Это и образует культуру, а не арифметика, которую можно выучить в год. Образуют культуру богатство духовного опыта, долголетность его, сложность его. Деревня может быть культурнее фабрики, ибо в ней есть песня, воспоминания-история, быт, семья, деды и внуки; чего всего нет на фабрике, состоящей единственно из рабочих и нанимателей. Школою мы уступаем едва ли не всем народам, и это есть вина наша, слабость наша, глупость наша. Но культурою, в смысле поэзии и мудрости, мы никому не уступаем — и наш былинник новгородский, или малороссийский бандурист, есть родной брат шотландскому барду, без всякой уступки, хотя, конечно, и без всякого самовозношения. Будем скромны. Но в скромности совершенно твердо признаем, что глубиною и тонкостью души мы никому решительно не уступаем. Что и отразилось, уже вторично и зависимо, в благородной нашей поэзии, литературе, в живописи, в музыке. Все это — дети своего народа, отнюдь не отец его. Отец нашей литературы — народ, деревня.

Янки ничего этого не понимают, это им невозможно растолковать. Знаменитый спор между сапогом и Пушкиным, прошедший в дикий период нашей критики, теперь повторяется чуть ли не в международном столкновении. Суть «янки» и состоит в том, что, торжественно поставив огромный сапог из американского бизона на академический стол, он увенчал его лаврами, снятыми с голов Гомера, Данта, Шекспира, Мильтона. Американская нация есть вообще не мечтательная нация, а мечта родит и поэзию, и философию. Даже она родит большую политику. Римляне уже с деревеньки на Mons Palatina были великими; а Штаты раскинулись почти на целом материке — при полной бессодержательности (кроме мордобития перед выборами) своей государственной истории... «Государственной»... даже нельзя с определенностью и уверенностью сказать, что они есть «государство»: до того их строй напоминает собою просто громадно-развившуюся администрацию богатейшей торговой компании — и только. За что они идут на Восток? За какую свою веру? отечество? Какого Рафаэля или Канта несут туда? Они идут с торговой конторой, каких чрезвычайно много и в Японии; и японцы, такие же плоские прозаики, такие же желтые «янки», тоже реалисты

и техники до мозга костей — крепко пожимают им руки как в сущности совершенно *однородной* цивилизации, как культуре совершенно *в их уровень*. Да, американцы даже и на один вершок не превосходят японцев (кроме обширности территории и населения): одни представляют собою *последнюю* минерализацию духа, его окостенение, «выветривание», как говорят геологи о горных породах; другие представляют какую-то изначальную «желтую глину», в которой «дух Божий на небе». Превосходство обеих наций (особенно японской) над нами в техническом отношении есть только следствие этой специализации. Они смотрят расширенным глазом, щупают утонченным осязанием; — ну, именно потому, что они *только* смотрят и щупают, *не задумываясь, не воображая*. Оба народа без *воображения*, без *творческой фантазии*, без страшного чувства *ответственности*, — как показали американцы в войне с Испанией, и японцы — в кровавой, разбойнической расправе все же с родственным и единоверным Китаем. Они умеют больно кусаться, эти крысы и мыши; они могут поесть наши хлебные запасы; разорить нашу бедность, кое-как сколоченную, скажем так. Но во всемирном смысле жизнь их была и останется отрицательною, без творчества, без идеала, без духа. Наступившая война — это разорительная, разрушительная война в отношении к идеалу, к человечности. И вот сознание чего, я думаю, может укрепить наши мускулы. Сознание это — правое, без ошибки.

Литературные новинки

Второй выпуск «Сборника» товарищества «Знания» содержит в себе «Вишневый сад» А. Чехова, несколько стихотворений Скитальца (псевдоним), небольшие рассказы А. Куприна и Е. Чирикова и довольно значительный по объему очерк г. С. Юшкевича «Евреи». По мастерству живописи, по опытности, по разлитой в нем мысли «Вишневый сад» Чехова без всякого сравнения господствует над всеми остальными статьями «Сборника». Красивая рамка природы, в которую автор вставил картину русской жизни, еще более оттеняет ее грусть. Вишни цветут, а люди блёкнут. Все разъезжаются, ничего не держится на своем месте, всем завтра будет хуже, чем сегодня, а уже и сегодня неприглядно-неприглядно... Право, местами и иногда Россия напоминает собою варшавские сапоги, поставленные для армии: пошел дождь, и подошвы, которые казались кожаными, спустили лак и растворились в мокрый картон. В рассматриваемой пьесе, — не понимаешь, для чего любовь, мысли, быт, нравы, деньги, — всем этим людям? На человеке ничего не держится. Единственная крепкая ухватка — это Лопахина за деньги: но совершенно непонятно, для чего же ему они? Деньги для денег? Но это знал уже Плюшкин, и этот новый человек новой России, хотя очень

энергичен и умен, — однако умен и энергичен как-то глупо, ибо в высшей степени бесцельно, бессодержательно. Он засеял тысячу десятин маком и сорвал с земли сорок тысяч рублей. Ну, хорошо, сорвал: но что дальше, что же он из них сделал? Настоящий вопрос о деньгах начинается с той минуты, как они положены в карман. Если из кармана им некуда *определенно* перейти, целесообразно, духовно, совершенно не нужен был и труд собирания их. Лопахин так же собирает деньги, как Епиходов (превосходная фигура, особенно на сцене) читает «Бокля», Любовь Андреевна привязана к парижскому альфонсу и Трофимов учится в университете. Каждый из них точно состоит не при своей роли. На сцене, однако, замечательно симпатична, хотя и бездеятельная, безвольная фигура студента Трофимова, который никак не может кончить курса и даже не может найти (при всеобщем отъезде) своих галош, так что ему находит их Варя:

— Возьмите вашу гадость (выбрасывая ему).

Он спокойно осматривает их и кричит барышне:

— Не мои.

Хороша эта фигура, потому что это какой-то невинный Адам. Едва ли художественно автор вложил в уста этому действующему (вернее — бездействующему) лицу монолог замечательной энергии, очевидно, грустный взгляд самого Чехова на Россию:

«...У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезные, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем громадное большинство из нас, девяносто девять из ста, живут как дикари, чуть что — сейчас зуботычина, брань, едят отвратительно, спят в грязи, в духоте, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина... Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!»

Мы не пережили великих одушевлений, великих вдохновений. Посмотрите, долго ли тянулось так называемое «смутное время»; однако великая безнадежность, прошедшая всего лет на десять по России, самым страхом и опасностью своею вызвала каких людей и какие события! Ибо если имя Минина мы запомнили, то не должны забывать и того, что были сотни Мининых, по городам, по пригородам, — и только одно из них случайно стало ярче и памятнее остальных. Это — всего три года и опасность только с гражданской, политической стороны.

Не думайте, что «школьный учитель» Германии, как и ее Гумбольдты, Риттеры, Лессинг и Гете явились без причины и основания: вся почва Германии была согрета колоссальным реформационным движением; и как горячая зола вулкана растит дивный виноград и фрукты, так и там на этой согретои великим движением земле произросли цветущие города, наука и философия, изумительная трудоспособность. Маленькая высококультурная Швейцария знала Кальвина и Цвингли, выслушала все слова Руссо. Теперь это мертвые камни. Но они продышались в истории, в них верили, они сами верили. Вулкан извергал: а теперь по его склонам, пусть потухшим, цветут сады. Ей-ей, я не могу понять хорошенько, для чего же мне, в России, иметь сто миллионов капитала или всю жизнь как вол трудиться? Для того, чтобы быть «хорошим человеком»? Но я, может быть, и без того хорош. Право, я не могу понять богатства и неутомимого труда в иных целях у нас, как чтобы вот взяли меня выставили в хорошей пьесе или в хорошем романе.

Как биолог, как доктор, г. Чехов лучше обыкновенного смертного знает, что нервы лежат в основе и красоты мускульной, и свежести кожи, и даже исправности внутренних органов. Хорошо: это так в организме единичном, но не так же ли это и в организме коллективном? Купцы, вышедшие из старообрядчества, дали кое-что больше, чем собирается дать России Лопахин. Укажем только на Солдатенкова, на Кожанчикова. А ведь численностью они тонут в массе «всероссийского купечества». На Воробьевых горах (около Москвы) я прожил два лета, на расстоянии десяти годов: и в оба раза до чего любовался чистотой их комнаток, множеством образов и лампад (точно домашний храм, дом — полупревращенный в моленную), обращением тихим и семейным с женой и детьми; о пьянстве даже духа нет! А вот культурная сторона, сами хозяева сытенькие, дома у них большие, просторные, не завалившиеся, и, главное, какая прелестная, уже высококультурная внешняя черта: три березки перед окнами дома. И не понимаю, откуда это взялось: ведь не в состав же «старой веры» входит; там об «Исусе», «двуперстии», и вообще совсем другое. Но связь — есть; но связь — открылась. Старообрядцы знали своих Кальвинов и Цвингли, пусть «темных», едва грамотных, и быт, община, хижина, земледелие сложились у них, как около Берна или Женевы. Таким образом, у них «цвет кожи» (быт, жизнь, экономика), свет потому, что нервы были некогда глубоко, по-европейски, потрясены. У нас же? Да вся Россия есть только *en grand*, «семейная хроника» С. Т. Аксакова. Если, как смеялся Гоголь, Бетрищев пишет «Историю генералов 12 года», то скажите, пожалуйста, что же ему еще писать?.. Все пишем то, что требуется, а в сущности — ничего не требуется. Торгуем помаленьку, учимся помаленьку, разговариваем потихоньку: все — как съестная лавочка в уездном городке, где достанешь леденцу, подсолнечников и дегтя. Литература раздражается: «Тем для литературы нет». Действительно, нет. Вся литература наша

есть или глубокая лирика от скуки, ничегонеделания и тоски (Лермонтов, Гоголь, Тургенев; сюда и Чехов входит); или «оды» в ожидании чего-то «грядущего» (преимущественно старая русская литература). Или глубокое, но личное творчество, из своего «я» возникающее и с историей общества русского лишь проблематично связанное (Толстой, Достоевский). Или — правописание, сатира, раздражение (начиная с Гоголя, и сюда также входит Чехов); но все это есть гнев на вялый цвет кожи, когда вопрос не в ней, а в нервах. А «нервы» русские... Ну, им и конца не предвидится. Кажется, никогда и ни от чего не лопнут...

Боли нервной, и притом всеобщей (национальной), никогда у нас не проходило, как она была решительно у всякой европейской страны. Вспомните борьбу Нидерландов с Филиппом II; и сам этот Филипп II поднялся последним звеном в длинной, на жизнь и смерть, борьбе кастильцев с маврами... Поразительно, что нельзя указать страны на Западе, которая не пережила бы почти полного уничтожения, не пережила бы смертельных испугов за самое существование свое; страны, в нервном отношении не пережившей полного перевертывания вверх дном (средневековый католицизм и Renaissance). Пахарь поднимает землю плугом и что же делает?! Дерн кладет травой вниз; все травы — прямо в гроб, преобразены в навоз. Земля перевертывается. А по осени вырастает высокая, красивая, сытная рожь. Никто не оспорит, что поле русское от «Рюрика, Синеуса и Трувора» живет пока как поле, как первоначальная степь; что почвы в России никто не «перевертывал». Мы не говорим о «правительстве», которое такие перемены знало (при Петре), — но быт народный глубоко не задевали. И вот мы видим на поле русском — там василек, там — иммортелька; много бурьяну, местами — совсем ничего. Это наши Пушкины, Гоголи, всеобщая безграмотность, «аглицкие клубы», московские расстегаи и картузы; «Минин, указующий Пожарскому на кремль» (памятник в Москве), кое-какая пресса, «народные дома» и «чайные», и отвратительнейшие петербургские извозчики, каким подобных можно встретить не ближе Аргентинской республики. Тут приютился и «Вишневый сад». Прекрасная, но бессильная живопись. Грустное произведение; но сколько уже их есть в русской литературе, безмерной яркости, силы и красоты. Ударяли они (начиная от «Горя» Грибоедовского) по русской впечатлительности: и рванется русская душа от *стыда* за себя (вечный мотив), но рвануться ей некуда, солнца нет. «Солнце» пытались показать только славянофилы (у других и попыток не было), но оно оказалось, более или менее, похоже на «луну, сделанную в Гамбурге», т. е. что-то не настоящее. Солнце потянуло бы. Солнце землю держит. А без него как будут «двигаться малые миры»? Не способны мы, русские: но вечно покуривали успокоительный гашиш и мало работали. И видим мы иногда хорошие сны (Пушкин, Тютчев, те же славянофилы, «Тройка» Гоголя, «Русь, о Русь» его же). А вот в натуре у нас — скверный шалаш, оборванный рабочий и тусклые сонные очи...

Во втором «Сборнике», кроме «Вишневого сада», останавливает собою внимание длинный беллетристический очерк г. С. Юшкевича: «Евреи». Мы порадовались самой этой теме. Не нужно, чтобы окраины наши и вообще другие народности проходились молча русскою литературою: это-де задача их местных литератур, литератур на других языках. Нет, это не так. Уже раз они вошли в Россию, как в «родину», то пусть найдут себе, пусть даже и не горячее, но все же «родное место», и прежде всего, конечно, в литературе. Короленко в рассказе «В дурном обществе» показал нам уголки Волыни и Подолии. Максим Горький тоже расширил этнографию русской литературы, введя сюда быт, лирику, голоса южных портовых городов и рыболовных промыслов. Все это нужно, все это «пожалуйте». «Пожалуйте» и евреи г. С. Юшкевича.

Рассказ написан тепло, с одушевлением,— и написан евреем, судя по везде почти неправильному русскому языку, напр.:

«Погруженные по сердце в труд, измученные, в длиннополых сюртуках, как армия бессмысленных рабов, служившая неведомому хозяину,— никто не бросал на миг дела. Что им был весь прекрасный труд? Что им была жизнь?»

Или:

«Ему казалось все поборимым» (казалось, что все он может побороть).

Еще:

«И то, что он начинал свыкаться с неизбежностью безумного труда, который раздавил и рассек его, что со всех сторон чужая жизнь билась в его душу и вырывала у нее участие, он сам пришел к норме, как приводится к правильному бегу молодая лошадь, если перегрузить ее тяжестью».

Таким образом, мы имеем еврея, говорящего как бы от лица евреев, и, конечно, это важно и интересно. К сожалению, очерк не ограничился этнографическим характером, а как бы пытается принять формы беллетристики: появляются лица, судьба их. Но это до того спутано, сбито все в теснейшую кучу, и все лица до того этнографически друг на друга похожи, что, напр., читая о судьбе какой-нибудь девушки (все они печально кончают), отвертываешь страницы назад и ищешь: «Да из которой же она семьи? Кто были сестры и родители ее?» Конечно, раз даже лица не запоминаются и не индивидуализируются в впечатлении читателя,— беллетристика является очень сомнительной. Рассказ его шел бы в статью «Географической энциклопедии» или в главу «Политической экономии и статистики», но около романов, повестей и стихов он кажется чем-то инородным. От этого и цель автора не достигнута. Автор выводит Вильну или вообще какой-то большой город в «черте оседлости» и показывает его еврейские кварталы: весь ужас нищеты там, пробогающие струйки сионизма и во множестве — «падения девушек». Молодого Нахмана, сперва бывшего извозчиком, а теперь собирающе-

гося торговать из корзины лепешками, ленточками и ситцами и ищущего для этого (у него было 60 руб. капитала) «компаньона», — старик Шлойма выводит ночью из коморки своей и, показывая на убогие квартирки, говорит:

«— Вот квартира первая — это Бейлы. Торговка. Две дочери работают на фабрике. По вечерам выходят на улицу (т. е. дорабатывают пропитание проституцией). Голодают. Пойдем дальше. Вот квартира вторая. Три старухи калеки. Живут подаением. Голодают. Пойдем дальше. Вот квартира третья, квартира Арона. Биндюжник. Большая семья. Голодают. Квартира четвертая. Слепой Мотель. Дочь в «доме» (т. е. дом терпимости). Голодает. Квартира пятая. Столяр — большая семья — голодают. Шестая. Маляр — семья голодает. Седьмая. Сапожник — семья голодает. Восьмая. Разносчик. Дочери продаются. Две уже в «домах» (терпимости). Голодает. Квартира девятая. Воры. Квартира десятая. Шулерский притон. Одиннадцатая...

— Довольно, довольно, — пробормотал Нахман.

— ...Пять девушек. Сироты. Продаются. Двенадцатая...»

Бедный друг наш, — но все это этнография, и не придете же вы в живое трепетание нервов, если я скажу: «В селе Вознесенском крестьяне Семен, Иван, Петр... живут впроголодь», или, как заменяет итогами статистика: «В селе Вознесенском 11 голодных крестьянских домов, из них трое хозяев в городе на заработках, а одна крестьянская девица попала в услужение, потеряла себя и поступила в дом». Нет лица, есть цифры; нет судьбы, а есть счет. Это не трогает, т. е. трогает общим состраданием, что вот, «есть такой угол в России», на каковой «доклад», если его обратиться к «начальству», то начальство скажет: «Есть у нас, в России, еще тысячи таких углов, даже несчастнее: может быть, вы пожертвовать собираетесь? Так вот расписная книга и пожалуйста деньги: мы, в благопопечительности своей, давно денежные сборы устроили». Этим скудным и едва ли желательным для автора результатом ограничивается его рассказ. Прием живописи, если она должна была тронуть, совсем другой: подробности, частности, интимный мир единой личности и широко раскинутая картина судьбы единичной семьи. Тогда это врезалось бы в память. Стало бы у двери истории, как неуходящий нищий.

Кое-что есть заметить русскому в очерке г. Юшкевича. Например, известно, что хотя в Западном крае есть, конечно, много фабрик, однако не создано типа еврея — фабричного рабочего. Т. е. хотя евреи — фабричные и есть, конечно, — однако они в этом положении или не остаются долго, или вовсе сюда не идут. Напротив, еврей-ремесленник, или торгош, или еврей-«гешефтмахер», занимающийся какими-то тусклыми и неуловимыми «посредничествами», явление повсюдное и массовое. Это приписывалось исключительно изворотливости еврейской и их безморальности. Г-н Юшкевич, едва ли думая что-либо опровергать или утверждать, а рисуя просто торопливые картинки, дает нам

увидеть подлинный мотив этих излюбленных еврейских занятий. Он лежит в восточной любви евреев к пестроте и подвижности; и в том, что еврей так же не выносит чужою рукою положенного на него «тягла», как степная лошадь сбрасывает седло. До сих пор еврей суть «не прирученные», не «домашние» животные: а всякая цивилизация есть до известной степени «народный дом», огромной сложности и давности, и вот к этому-то постоянному жилью чужих народов они не то чтобы не хотят, а никак не умеют прикрепиться, не умеют стать в правильные и постоянные отношения в сущности ни к какой постоянной и устойчивой цивилизации. В то же время — взирая на нее с чисто диким чувством изумления, как на какое-то сказочное великолепие. Тут автор показывает много нового и любопытного. Приблизительно Вильна, в ее нееврейских частях, описывается у автора так:

«...Ночная жизнь города только начиналась, и люди в блеске жемчужного света электрических солнц и ауэровских горелок, казалось, выступали как радостные видения, как триумфаторы (!!!). С победительным (!) звоном летели конки, и лошади отчетливо выбивали подковами по мостовым, закованным в гранит, мчались кареты на шинах и чудные женщины шли навстречу, и все улыбались (!). Высокие ряды холмов, изящных, хрупких (?), державно (!) протянулись своими окнами, в которых мелькали державные (!) люди, свободные, счастливые. Все казалось великолепным, живописным, и гуляющие почтительно расступались друг перед другом, точно отдавали честь себе, виновникам этого великолепия, этой феерии» (стр. 197).

Бедные еврейские девушки во множестве «падают» не от одной нужды, но и от истинно-мистического тяготения ко всему этому звону и блеску, довольно-таки скучному для нас.

«— Я сейчас пойду домой,— громко говорила она (17-летняя девушка), как бы рассказывая,— и подожду, пока все уснут. Потом выйду за ворота и буду смотреть в улицу, которая ведет в город.

— Хотела бы быть им,— прошептала Лея...

— В город,— продолжала Неси, и это походило теперь на сказку,— где так светло ночью, что кажется, он горит. И никто меня не увидит. Я буду смотреть на огни и мечтать о жизни...»

И еще через несколько страниц дальше та же девушка говорит:

«— Вы видите город, Нахман?

— Я вижу,— вдруг разочарованный ответил он.

— Он горит как на солнце. Посмотрите на окна. Мне кажется, там пляшут.

— В городе еще не спят,— поддержал он.

— Там пляшут,— уверенно выговорила Неси, повернувшись лицом к городу,— и мне хочется плакать от злости, что я родилась здесь, а не там.

— Где там? — удивился Нахман, оглядывая ее (NB. Он в нее влюблен).

— В городе, в городе. Каждую ночь я стою здесь и стерегу огни. И с каждым днем я чувствую, как руки мои становятся длиннее. Я скоро достану его...»

Таким образом, бабочка, падающая на огонь, есть буквальное сравнение для множества этих девушек, дочерей крайнего мещанства, полуголодных ремесленников и торговцев. Семья уже не имеет силы держать их, и сестры или родители рассказывают о сестрах или дочерях: «Пала во столько-то лет», «выходить на улицу» и проч. Социальный строй вообще уже здесь страшно расшатан. Все чуть-чуть лепится и может рухнуть завтра же, разом, превратившись в банду насилия и мятежа — в мужской половине, и в колоссальный уличный разврат — в женской.

Нахман, герой рассказа, пробирается в один из «новых ковчегов», которыми уставлен еврейский квартал:

«— Где здесь Шлойма живет? — обратился он к мальчику, шедшему ему навстречу.

— Шлойма? — переспросил тот и остановился. — Какой? Тут их много. Есть «наш Шлойма», есть Шлойма буц, Шлойма халат, Шлойма картежник...

— Мне нужен Шлойма сапожник, — с улыбкой перебил его Нахман.

— А, «наш Шлойма». Я сейчас догадался. Идите прямо. У дверей увидите кадку с водою».

Входит. Не застаёт. Жена отсутствующего спрашивает:

«— У вас дело к Шлойме?

— Да, дело.

— Чем вы занимаетесь? Работаете на фабрике?

— Нет, нет. Я служил у хозяина, собрал немного денег, а теперь ищу компаньона торговать в рядах.

— Ага, — загорелась черноглазая, — и у вас уже началось. Все хотят свободы в жизни. На что уж тут худо нам, но и мы мечтаем».

Нахман, молодой и дюжий работник, не только отлично жил у хозяина, торговца железом, но тот долго упрашивает остаться у него, не уходить от него. Полное обеспечение, но тот бросается в приключения; и вот, смотрите его психологию:

«Новая, полная особенного интереса жизнь началась для него. На рассвете приходил Даниэль, высокий, большой человек с фигурой цапли, и оба, подхватив большую корзину с товаром, отправлялись в путь. Теперь он не чувствовал себя под гнетом, рабом чужой воли. Шел хозяин с товаром, который будет продан, вновь куплен, вновь продан... Как токи, здесь пробегали люди по всем направлениям, куда-то уходили, возвращались и вновь уходили, — и это было чудесно и красиво, как во сне. То здесь, то там разносились бойкие голоса торговцев, лавочники раскрывали тяжелые двери, на тротуарах возились мелкие торговцы, тащились телеги с зеленью, с рыбой, с молоком, и Нахман, упившись окружающим, принимался с Даниэлем за работу».

«На людях — и смерть красна» — отчего это не так же для еврея, как, например, для русского, только в несколько ином стие. Как посетителя Монако опьяняет же блеск золота и передвижение из руки в руки сумм, опьяняет даже зрителя, т. е. платонически, так позволяйте же бедному еврею «упиться» видом этого Толкучего, с торговками, с селедками, с гамом, грязью: право, ведь не чище и не упорядоченнее и базары Дамаска, Константинополя, и, пожалуй, в древности базары еще Ниневии и Вавилона. Тут есть атавизм эстетики — для нас грязной, для них великолепной. Не забудем, что это все нищие, почти нищие.

«Он раскладывал свой товар и, оглядывая его, испытывал чувство ребенка, которому дали блестящую игрушку. Ласково смотрели на него ситцы, хорошенькие, пестренькие, дешевенькие, и ему казалось, что лучших не было во всем ряду. Ласково смотрели на него кошельки, куклы, галстуки, чулки, и он не уставал их перекладывать, чтобы сделать заметнее, красивее.

— Ситец, ситец, кто хочет лучшего ситца, лучшей российской фабрики.

И, помедлив, отрывисто выпалил:

— Семь копеек, семь, семь, семь! Подходите, девушки, барышни, хорошенькие дамочки. Кто не слышит? Семь, семь, семь!»

Торговля имеет почти азарт карточной игры,— почти, но лучше: здесь нет голых денег, нет животной праздности господ, перекидывающихся картонными квадратиками. Здесь есть труд, утомление, но они скрадываются поэзией «удачи» и «неудачи» и, наконец, действительною живописностью всевозможного народа.

«Нахман отвернулся и, насивистывая, стал оглядывать ряд. Мужчины и женщины, все будто сбились в одну кучу, и отсюда казалось, что они ловят людей, душат их, а те откупаются. Крик стоял стройный веселый, и чувствовалось, не было такой силы, которая прекратила бы ликование торговли. Все в ряду знали, что отравилась хромая беременная девушка, брошенная своим возлюбленным,— все были знакомы с ней, знали ее несчастную жизнь, но никто не отдал ей частицу своей души» (стр. 216).

Ведь не всякий, даже хоть и кой-как, сможет торговать. И есть талант торговли, где она перестает быть только прокормлением, ремеслом, а становится артистическим делом, вовлекает в себя страсти души, как красноречие вызывает страсти у оратора, как тонкости юриспруденции — у юриста с «призванием». И вот у евреев есть именно этот сорт таланта к торговле, вовсе не вытекающий из Плюшкинской жадности. Торговцы, не имеющие силы живо вспомнить и пожалеть отравившуюся девушку, когда успокоились и нервы у них улеглись, мигом помогли старухе, которая не в силах уплатить пошлину в 10 коп. за место.

«Не переставая плакать, старушка рассказала: что базарный опрокинул ее корзину с лимонами и прогнал с места.

— Дети,— произнес коренастый торговец,— соберем по грошу десять копеек и заплатим за место Двойры. Я даю копейку» (стр. 218).

Одно неудержимое впечатление было у меня при чтении, во всяком случае, полезного очерка г. Юшкевича. Все время, глядя на эту толпу евреев, я чувствовал маленькую детскую психологию. Точно маленькие зверьки, как каша «морских свинок» в огромной клетке Зоологического сада. Очерк автора не прикрашивает предмета. Какое прикрашивание, когда почти все женщины и девушки собираются в проституцию, с объяснением: «Зима не выгонит, весна выманит: и толкает, и манит». Но все здесь не перестают тесно жаться друг к другу. Как дан прекрасный очерк ребеночка Блюмочки, которая всех жалеет в «Ноевом ковчеге», страшно боится смерти, а когда кто-нибудь умирает, забивается в пустую комнату и молится Богу «о здоровья всех». Все сбиты в кучу, и не только общим несчастьем, а именно этою миниатюрною психологию. Зверьки ведь часто благодуще людей. Во всей толпе нет ни одного жестокого, черствого типа; нет эксплуататора, над гольтибой господствующего. Нет у них и вражды к этой Вильне, где жизнь так горька для них и отцов их. На призывы к сионизму Нахман дважды отвечает:

— Наша родина здесь.

Я и раньше слышал от русских, живших долго в Швейцарии и Берлине, что — не в целях сокрытия народности, ибо лицо еврея есть паспорт его, — а с действительным чувством родины, приезжавшие туда учиться евреи и еврейки говорили немцам и французам:

— Мы русские.

Я думаю, между русскими и евреями нет пропасти. В городе Б., где я преподавал в прогимназии, я наблюдал, до чего русские дети ни малейше не смотрели враждебно или отчужденно на евреев, и обратно. Общий смех, общие шалости, всегда полное участие в играх. Зная литературную, вообще «цивилизованную» на этой почве вражду, я был поражен этим племенным, этнографическим миром; и хорошо его запомнил. Позволю себе на доброе слово Нахмана «здесь — наша родина» обратить к русским слово из другого разговора его с невестою:

— В жизни, Мейта, нужно быть добрым, милосердным... Мы сами слабы, беззащитны, но нужно быть милосердным...

Право, это может приходиться, как правило, для всех народов.

Писатель-художник и партия

Смерть Чехова, во всякое время грустная, не почувствовалась бы так особенно остро, как ныне, будь иное литературное время. Но теперь, когда он стоял сейчас за Толстым, когда около Чехова и в уровень с ним называлось только имя автора «Слепого музыканта» (Вл. Короленко), и то почти переставшего писать; когда и в Европе торчит каким-то бесстыдным флагом только «всемирное имя» Габриэля д'Аннунцио,

и больше назвать некого, т. е. назвать сразу, без колебаний — потеря эта чувствуется чрезвычайно. Все талантливое — старо, уже почти не пишет, во всяком случае ничего большого не обещает; а все новое, молодое — бессильно... И это не в одной нашей стране, не только у славян, но и у немцев, англичан, у норвежцев, у кельтов... И даже больше: это не в одной литературе, но также — и в политике, стратегии, наконец — не иначе в религии, в церкви... Пушкин спрашивал: «В чем этот таинственный закон, что в одну эпоху рождается столько гениев во всех областях творчества, в поэзии, в политике, а в другую, в следующую эпоху — вдруг не рождается ни одного гения и ни в одной области?» Вопрос великого поэта и мыслителя остался без ответа. Но во всяком случае мы теперь являемся зрителями, до какой степени *точно* это наблюдение: что и в области духа, как в области растительности — то урожай, то голод...

Недавно я прочитал Сенкевича — тоже европейское имя — письма о Риме, о Венеции, о Париже... Все так обыкновенно! Не говорю о таланте: нет просто глаза наблюдателя, нет ума вдумчивого человека. Его прославленное «*Quo vadis*» * — что такое, как не грубейшая олеография, фабричная, а не художественная работа. С двадцатой страницы ее читать невозможно.

В этом безвременьи, на этом безлюдьи — целой эпохи, всей цивилизации — Чехов стоял вовсе не гигантскою фигурою, как о нем посмертно «записали», без такта, перья, но благородным, вдумчивым, талантливым лицом. Талант его всегда был и остался второго порядка: этого изумительного, титанического творчества, какое мы, слава Богу, видели у Гоголя, Толстого, Достоевского, конечно самых намеков на эти силы не было у Чехова, и он первый рассмеялся бы, если бы стали у него их искать. Но он умом и тонкостью натуры стоял выше своего, в сущности очень грубого, времени: и, мне думается, он был обижен, оскорблен, помят как мотивами своего непризнания в начальную пору писательства, так и мотивами последующего своего признания. Не для ремесленника, а для художника — разве много значит «признание», «одобрение»? Конечно, не много, но много значит понимание, мотивы оценки. Если вы назовете Чехова «великим Паном» (бог «Всего» в языческом мире), или Шекспиром, или Геркулесом, неужели это будет сладко ему? Вероятно так же, как если бы, пощупав его слабые мускулы, кто-нибудь ему сказал: «Э, да вы — «богатырь»! Он был «великий Пан», писал о нем один публицист; «он, если бы попал в дворянскую среду, вышел бы Пушкиным», писал о нем другой тоже публицист. Все эти суждения, какие привелось читать после его смерти, глубоко оскорбительны прежде всего для *вкуса* умершего писателя. «Неужели я не заслужил ничего, кроме шаржа?»

• Покойного я не знал лично. А из воспоминаний лично знавших его людей меня поразило следующее:

* «Куда идешь» (лат.).

— Что про меня писали! — волновался больной Чехов воспоминаниями. — Что писали! Нет, вы отыщите! Скабичевский посвятил мне в «Новостях» фельетон, в котором называл меня «беспринципным» писателем. За что? Когда я был «беспринципным»? В чем?

— Да стоит ли, Антон Павлович!..

Но он, заговорив о том, что мучило его незаслуженной обидой, не переставал:

— «Русская Мысль», — «Русская Мысль», которая через несколько месяцев печатала мой «Сахалин», что она про меня писала за книжку моих маленьких рассказов? За что? За что?

Критика усмотрела в Чехове «второго Лейкина», и только. Но мнение это выражала так, что через 20 лет человек не мог забыть. *Кажется, чтобы покончить с этой репутацией «беспринципного» писателя, Чехов и поехал на Сахалин.*

— Я поехал в отчаянии! — говорил он.

Изобилие статистических цифр, даже мешающее художественности чеховского «Сахалина», — было продиктовано, по всем вероятностям, желанием Чехова доказать, что он «серьезен». — В «Сахалине» нет того художественного полета, какого мы вправе бы ждать от Чехова. Такой читатель, как Толстой, говорил о нем:

— Сахалин написан слабо.

Этим мы обязаны критике. Она связала крылья художнику. Она лишила Россию произведения, наверное бы равного «Мертвому дому».

Художник-беллетрист ударился в статистику.

— Да, подите! — сказал он однажды автору этих строк. — Напиши я «Сахалин» в беллетристическом роде, без цифр! Сказали бы: «и здесь побасенками занимается». А цифры — оно почтенно. Цифру всякий дурак уважает.

Так можно «затравить» писателя.

(Воспоминания г. В. Дорошевича в № 183 «Русского Слова»).

Строки эти поразительны. Вся фактическая достоверность их, именно — жалоб Чехова автору воспоминаний, конечно, лежит на ответственности написавшего; но мы вправе вполне исходить из них, как документа. Лично нам он кажется вполне достоверным или правдоподобным, ибо, со своей стороны, и мы слышали в последний год его жизни о жалобах его на косность, тупость и недвижность тех журналов, в которых он печатался. Речь шла о «Русской Мысли». «Ничего здесь свежего и нового нет; никакое движение невозможно» (его слова). А припомним, как в «Палате № 6» он говорит устами доктора-мизантропа:

— На этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум служит единственно возможным наслаждением. Мы же не видим и не слышим около себя ума... (глава VI).

И опять, в другом месте:

— И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, Бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоело мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами.

С другой стороны, мы хорошо помним, как Н. Михайловский, останавливаясь на молодых рассказах Чехова, признавал в них талант собственно *письма*, но всякий раз сострадательно указывал, что ничего извлечь из этих рассказов нельзя, так как в авторе не видно сколько-нибудь определенных «убеждений». Было слишком прозрачно, что это значило в устах такого «направленного» критика. Прозрачно было и в смысле предостережения начинающему беллетристу, и в смысле зова, и в смысле некоторой угрозы. Ибо дирижерская палочка Михайловского махала не только над толпою сотрудников *своего* журнала, но с нею сообразовались сотрудники еще целого ряда других однородных журналов.

Собирая всю сумму этих данных, останавливаешься с большим вопросом относительно литературы и начинаешь думать, не лежит ли в ней самой причина того приблизительно вырождения, упадка талантов у нас и в Европе, какое мы отметили вначале? Ибо «твердость направлений» и в Европе та же, хотя может быть она и не высказывается нигде так жестко, как у нас. Литература разделилась на «программы действий» и требует от каждого нового писателя как бы подписи идейного «присяжного листа». — «Подпишись — и мы тебя прославим!» — «Ты отказываешься? Мы — проклинаем тебя». Всего этого нельзя осудить по существу. Литература и должна быть программна. Но это — дело очень сложное. И уж если партия хочет подчинять себе писателя, то она должна ответно давать ему удовлетворение в той умственной шире, духовной глубине, всяческой идейной роскоши, каких писатель, особенно начинающий, точно так же вправе для себя хотеть, как партия со своей стороны хочет «точности исполнения». Вопрос в том, вправе ли хозяин звать на пиршество, когда у него в доме заготовлен один сушеный хлеб? Зов пусть будет властен, но с условием, чтобы позванные ни в каком случае не остались голодны. Вот этого-то соотношения, да и самой догадки о необходимости его в нашей литературе да и во всех — нет. Партия вербует; зовет и зовет; *вы* (единичный писатель) должны ей помогать. А в чем она *вам* поможет — это не тревожит ее совести; что она *вам* предложит в качестве яств — об этом нет вопроса у публицистических «поваров». Чехов тосковал. Он жаловался. Вот В. А. Гольцев, слышно, изготовил уже в Историческом музее «комнату Чехова» и «принял на себя хлопоты по устройству погребения». Погре-

бут. А в «комнату» положат сочинения и рукописи Чехова. Прекрасный гроб. А чем при жизни вы его кормили? Для своего воображения, для своего сердца, для своих дум, для своих общественных сомнений и тревог, для своей философии, что он получил от вас? А ведь философии было очень много у Чехова; прочтите хотя бы рассуждения о стоиках и стоицизме в «Палате № 6». Увы, г. Гольцев пишет чуть не сто лет, и кроме того, что он «подписал присяжный лист» такой-то рубрики убеждений, ничего решительно о нем неизвестно, никакой определенной мысли, ни одного ярко сказавшегося слова! Просто — гробовщик. Как гроб сколотить Чехову — он знает, а о чем говорить с Чеховым — он не знает. Итак, Чехов дал ему и «направлению» свое перо; но «направление», подчинив его себе критическими «шпицрутенами», ничего решительно ответно ему не дало, что для Чехова было бы ново, озаряюще, трогательно; что взволновало бы и соблазнило его неиспытанным соблазном. Чехов был «соблазнитель» для партии; вкусен. Но была ли партия для Чехова «соблазнительна», «чарующа»... об этом — просто смешон вопрос. И вот здесь начинается «роковое» наших партий, ибо на этот жесткий суд и осуждение — им нечего ответить.

Программу их мы признаем.

Право страстного и властительного отношения к писателю — опять же признаем.

Признаем все, чего она хочет, и «не токмо за страх, но и по совести».

Но затем начинается ревизия ее багажа. Оказывается, как скверные интенданты времен турецкой войны, она страдалцев, как Чехов, солдат своих, «серую шинель» свою, кормит тухлой говядиной, заплесневелыми сухарями. Оставляет без воды и вина...

На этот неотступный вопрос — а уж позвольте и мне быть строгим «по программе» же: — что же именно Гольцев * сказал Чехову, чему научил его, какую ему «Америку» открыл, как вождь журнала? Что ему открыли такого интересного «Русская Мысль», «Р. Богатство», «Р. Ведомости»?! Где и в чем выразилась их личность, талант, не сливаемые с толпою, сколько-нибудь разграничивающиеся, так, чтобы невозможно было хоть целые кипы листов передвинуть по железной дороге из Петербурга в Москву или обратно, передвинуть из редакции одного журнала в редакцию другого без малейшего потрясения «образ мысли», без убыли — откуда уходит бумага, без прибыли — куда приходит бумага. Все равно! На протяжении годов, десятилетий, — открываете ли вы один журнал, берете ли другой; берете ли за 86 год, за 96 и верно за 1906: все равно, читаете то же, те же вздохи, экивоки, хандру... и ту же везде в сущности умственную трусость, боязнь которой-нибудь овцы

* Лишь для очень обширных кругов читателей, не подробно знакомых с положением журналистики, заметим, что проф. В. А. Гольцев вот уже около 20 лет стоит во главе «Русской Мысли», где печатался Чехов, и не от себя лично, но как представитель журнала, он устроил и «комнату Чехова», и т. д.

отделиться от стада; боязнь что-нибудь принять на себя, ответить своим именем, а не ссылкой: «так думает партия», «я — как все». При всех усилиях вспомнить, разыгрался ли в котором-нибудь «кружке» яркий эпизод, с многозначительными последствиями, да даже просто с ярко сказавшимся словом, — при всех напряжениях памяти — ничего не припоминаешь. Существовали. Прозябали. Но — конечно не жили!!

И вот то, что они не жили, а чужой жизни себе требовали — лежит грехом на партии. И из кровавых капель Чехова не одна алеет на блистательных одеждах его могильщиков. Слово мое жестко. Но пусть. Ибо и они ведь не были мягки к покойному, с требованием от него «направленного паспорта», где было бы прописано: «се — Чехов, либерал, ездил на Сахалин».

* * *

И еще вопрос: самое отношение к писателю. Чехов конечно не без причины начал через несколько месяцев печатать свой *Сахалин* в том самом журнале, где, всего за несколько месяцев, о нем писалась критика, которой он «не мог забыть 20 лет». Он вынужден был, как раб, задавить в себе все негодование художника, поэта, мыслителя и войти на правах товарища в толпу людей, его так же понимавших (см. его признания г. Дорошевичу), как осел соловья в известной басне Крылова. Где же это основание? Да очень простое. Чехов — мыслитель; он — лирик. А между тем могущество «направления», сплотившего в руках своих самые видные журналы, отнимало у него всю молодую, свежую аудиторию, до которой могли бы донестись его звуки, его тоска, его мысли. Или пой свои песни свободно — но их никто не услышит; или ты будешь услышан: но пой песни по нашим нотам. Вот дилемма для соловья. Нет, несчастнее: вот дилемма для человека XIX века, который потерял всю соловьиную свободу, всю свежесть лесов вокруг, аромат трав: и видит только проволоку клетки, которая никогда не раскроется иначе, как рукою его работодателя.

Литература конечно не может быть чужда политических мотивов: но литература в том отношении неизмеримо ценнее и выше всяческой политики, что в то время, как последняя лишь «правит должность», — литература отражает и выражает полного человека. Снимите даже с Акакия Акакиевича, с Плюшкина те конкретные и уже вовсе не необходимые для чиновнического трудолюбия одного, для скупости другого — черты, какие им придал Гоголь; опишите в Акакии Акакиевиче только механизм исправляемой им службы, а о Плюшкине доложите: «деньги, деньги, деньги» — и поэзия Гоголя рассыплется, ей не на чем будет держаться; останется голое имя порока или добродетели, и бич сатиры или лирики, который бьется о сухую палку с именем. Вот разница между политикой и поэзией. Политика входит в поэзию: но как скелет, одетый плотью, нервами, красотой, бледностью ланит, сиянием взора — что все уже не есть скелет и даже с ним не связано, а выткано

таинственным организмом человека, в сущности — душою его, как ею же сложен, и параллельно, а не зависимо, и скелет его. Великие поэты, как Байрон, как Шиллер, даже как Гёте или Пушкин, не могут не быть «гражданами» и, следовательно, очень определенными политиками, с совершенно определенной программой; но они не заимствовали ее ниоткуда, не подписали «присяжный лист» партии, а она вытекла из всего склада благородной души их и из жизненного их опыта, из испытаний. И будьте уверены, сведите Байрона, Шиллера, Пушкина, Гёте в одну комнату и дайте им одну тему, один вопрос для дебатирования, — они никогда не кончили бы речей своих, горячих споров, с лихорадящими щеками, с блестящими глазами; а слушающему было бы чему научиться из этих споров, а если бы стенографировать их речи — вышла бы превосходнейшая политическая литература, не в уровень с «политическими» и «ежемесячными обзорами» наших журналов. И Гёте, и Байрон, страшно расходясь в воззрениях, однако, страстно сошлись бы в некоторых утверждениях, а главное — все поняли бы друг в друге и все бы оценили, уважали. И у нас первоначально были в литературе как бы философские и поэтические *личности*, т. е. литература разделялась не по программам вовсе, а как бы слагалась, туманно колебалась, в несколько *духовных* личностей, с длинными чертами, с неясными гранями, — полных движения и перемен. Ведь лицо смеется и плачет, трагично и весело, убеждается и разубеждается, в противоположность кирпичу, который вечно убежден, что ему «надо лежать». Я хочу этим сказать не то одно, что в литературе действовали замечательные личности, а что она сама, эта литература, как бы распадалась на несколько философско-поэтических олицетворений. И вот эти прекрасные и глубокие олицетворения не позволили бы никогда коснуться себя, спуститься к себе такому жесткому, грубому и ограниченному явлению, как *партия*. Приняли бы в себя программу; но никогда не слились бы с программой. «Я, Пушкин — либерал»; «я, Лермонтов — протестующая личность». Фу! Здесь ходили тучи почерней теперешних; был штиль, была и гроза. Была ночь и был свет. И все это просто оттого, что человек не переставал быть человеком, не позволял вынуть из черепа у себя глазное яблоко, состричь волосы, снять одежды, выдернуть нервы — и оставить один безжизненный костяк, линии которого показывают «линии убеждений». Что мне говорить с таким? Что всякому делать с такою «партией»? Можно только толкнуть ногой эту мумию, — в ответ на приглашение подписать «присяжный лист» ее. И не по разногласию: а просто по презрению ко всему существу дела.

Либералы наши давно только лежбечат, т. е. довольствуются занятым положением, не двигаясь шагу вперед, особенно — не двигаясь в сторону, не развиваясь, не усложняясь. Всякий рост есть *усложнение*: а где оно у них? Говоря языком 40-х годов, они потеряли в себе Humanität: из них испарились все благовонные частицы воображения, сердечности, проникания внутрь вещей, даже простого «обмена мысли».

«Beati possidentes» *, говорят они дремливо, заняв места, где трудились, страдали и были в высоком беспокойстве Станкевич, Грановский, Герцен, Белинский и более даровитые из «шестидесятников». Ведь и про Чернышевского нельзя сказать, чтобы он не боролся, не придумывал, не спорил, не «реагировал на впечатления». Но на какие же впечатления «реагируют» все перечисленные выше органы, если не принять во внимание маленькую злободневность и усмешечки по поводу злободневности, т. е. какую-то такую «внутреннюю хронику» души, которую решительно нельзя отличить от блаженного сна. Вот эта-то сонливость, «неделание» в практике при отрицании «неделания» в теории — и составляет тяжелый исторический грех партии, куда попал Чехов; и был должен усиливаться в нее попасть, ибо, занимая места «пророков и законодателей» литературы нашей за век, — она одна видима, слушаема, внимаема.

Наверно слово мое бессильно. Но когда-нибудь над вопросом здесь поставленным задумаются: именно, что же в данный текущий момент русские воинствующие между собою литературные лагеря дают живой душе, с «верою, надеждой и любовью» входящей в них? Что дают таланту наши «направления»? Ему они не дают никакой пищи, содержательности; не дают в то же время и развернуться, как просто личности, суживая своими рамками. «Войди и умри»: как страшно это сказать о местах, о которых некогда говорили: «войди — и оживешь».

И между тем роковое положение еще утяжеляется тем, что, в частности, например программа «Русской Мысли» — добрая, нужная. Все буквы в ней верны; но все буквы не шевелятся. России точно нужны: и несколько большая свобода, даже очень большая; и земство, и самоуправление, словом — все «пункты», какие выставлены. Но в рядах партии нет... одушевления, что ли, или таланта в отношении к самым этим «пунктам». Здесь я не разумею талант *литературного* выражения, талант *мастерства* словесного, — а единственно и исключительно талант *самой души* (ведь «душа» от слова «вдохновение»? И «вдохнул» «душу» в человека Бог). Говорю это не отвлеченно; но как бывший участник петербургских «религиозно-философских собраний» — говорю, испытал *in concreto*, что значила бы маленькая прибавка к свободному духу нашего общества и внешних наших условий. Помню и опасные походы против «Собраний» — «Московск. Ведомостей»; и тревожные «дневники» кн. Мещерского. Итак, «лозу» нашего консерватизма я испытал на спине своей. Но и она не погнала бы меня в лагерь, *vis-à-vis* стоящий: просто — никуда бы не погнала. Некуда идти. Не к кому. И вот это — чрезвычайно грустное положение как русского писателя, так и вообще русской литературы текущего момента, последних 10—15—20 лет. Поскучнело в нашей литературе. Вся литература несколько попустилась. И это отражается на положении талантов: они — то дают литературе кто сколько может, искорку от себя; а из литературы никакого тока

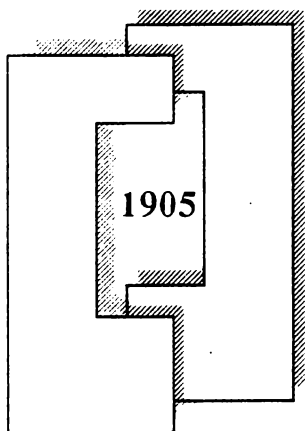
* Счастливы владеющие (*лат.*).

в них не идет, дабы личная их искорка разрослась в пламя. Посмотрите, какие особенные таланты были в Курочкине, в Лескове, в переводчике Диккенса — И. Введенском? Да и еще во множестве личностей даже меньшего калибра. Что особенного представляет собою Огарев? Или — вне «Семейной хроники» — С. Т. Аксаков? Поразительно, до чего все другие сочинения, оставшиеся от Грибоедова, ничтожны, кроме «Горя от ума». Был великосветский шалун и потом дипломат: и не будь вдохновений, впечатлений от Батюшкова, Пушкина, Крылова (язык его басен), Жуковского, он мог бы навсегда остаться с «Грузинской ночью», с комедией, написанною совместно с Шаховским, и тысячью передаваемых из уст в уста остроум, никогда не перейдя к труду великой его комедии. Яркие ли были творческие порывы в самом Жуковском? Как груб бывал Некрасов! Но все эти далеко не первосортные души получили во времени своем, в окружающей литературе — темы, толчок, порыв, технику; получили интерес жить и многозначительность положения. Катится могучая река: и неинтересный булыжник шлифуется в разноцветный узорчатый камешек, которым любитесь путешественник.

Вот этого-то «граждения» времени и не переживают писатели наших дней, этого вдохновения, которое бы давало ветер в крыльях. Все мокро, серо. Дождит. И вязнут крылья в тумане, не подымая вверх.

Это очень применимо к Чехову, к грусти его, тоске его; к серости сюжетов, лиц, положений, какими наполнены его милые, приветливые создания. Все они похожи на степь с колокольчиками. Но «среди долины ровныя», как поется в песенке, не зеленеет «могучего дуба».

И между тем само общество, вокруг литературы, гораздо более, чем она, одушевлено. Общество вообще интереснее теперь, чем литература, — и это есть страшная и роковая для литературы черта. Как отозвалось оно на смерть Чехова! Это — хороший симптом. Общество не дремлет. И решительно нужно подняться литературе.



Когда-то знаменитый роман

В витринах книжных лавок, в свежей зеленой обложке, появился роман Чернышевского «Что делать?». «Друг детства», подумал я о нем: ибо прочитан он был мною в пятом классе гимназии. Его потом спрятали блюстители нашего общественного

и семейного порядка. Теперь почему-то снова выпустили. Едва ли кто теперь им зачитается. Написанный Чернышевским в тюрьме, он написан свежо, ярко, молодо, с верою в дело. Но в сущности и в свое время он был уже стар, археологичен, не интересен. Вот я только что прочел интересный этюд г-жи Балабановой: «Отель Рамбулье» — очерк общественного и литературного салона Франции XVII века. Если взять: 1) ее Фронду, 2) нравы двора Генриха IV с Маргаритою Валуа в центре и 3) строгих затворников Порт-Рояля, то мы получим только в аристократическом и красивом выражении все три тенденции наших тех 60-х годов и вместо романа «Что делать?»: 1) некоторый коммунизм семейных нравов, «обобщение жен». Валуа хотела бы быть женою всех, как сам Генрих, любимейший король Франции, — мужем всех; 2) сухой, суровый аскетизм на почве философского и политического протеста (Порт-Рояль, Рахметов); 3) шумная борьба общества против двора регентши Марии Медичи и ее любимца Мазарини (у нас «прокламации, лекции при городской думе и проч.»). Сам отель Рамбулье до известной степени напоминал собою знаменитые литературные собрания при дворе просвещеннейшей женщины нашей эпохи реформ — великой княгини Елены Павловны.

Десять — пятнадцать лет спустя после появления романа «Что делать?» о смысле и достоинствах его еще спорили люди серьезные и перешептывались многодетные матроны, как сейчас помню, высокой личной добродетели. «Перешептывались», потому что неудобно было говорить вслух о смело проведенной там тенденции некоторого «обобщения жен». Как известно, Чернышевский не только отрицал, но резко топтал ногами древнее чувство ревности: то чувство, на котором в сущности единственно держится личный брак, держится семья — как личное и исключительное, как «мое» и еще «ничье» явление. Его парадокс, что ревновать свою жену — такое же дикое и «основанное исключительно

на предрассудке» явление, как привычка старых бар не давать никому курить из своего чубука, поражал всех. Бедный Отелло: утешился ли бы он, узнав об этой теории? Увы, инстинкты человеческие текут вовсе не из убеждений, не из теорий. Я помню виденного в Крыму ревнивого лебеда, который, потеряв одну подругу, заклеывал всех других, каких подпускали к нему «для утешения». Но в те годы, в 60-е годы, прошла вообще подобная тенденция, и она едва ли была присуща одному Чернышевскому. Я не могу забыть, до чего был поражен и удивлен, когда один друг покойного Ф. М. Достоевского, друг и личный, и литературный, рассказал о нем:

— Станный он был человек и высказывал иногда идеи ни с чем несуразные. Помню тесную комнату, набитую друзьями-журналистами. Дым, чад, шум. Но вот все замолкли. Федор Михайлович заговорил своим нервным, надтреснутым голосом. Он говорил долго, все о «призвании русского народа», и что в нем «спасение» и это «народ-богоносец». Только тянулся он, тянулся и, подняв палец вверх и сам став на цыпочки, почти взвизгнул: «Да знаете ли вы, к чему способен русский народ в его великом смирении, отречении, поглощении и отсечении личного я в общем и братском и Христовом, он, и только он, дойдет и уже доходит иногда до общности жен, до единения в женах». Вот каким был Федор Михайлович.

Рассказ этот о Достоевском был сделан не мне, а в небольшом кружке писателей, и сам рассказывавший жив еще, и вообще это достоверно. Все выслушавшие промолчали. А мне он запал в голову по одной особенной причине. Биографически, по письмам, мы знаем, до чего Достоевский ценил и возводил в культ «добрую старорусскую семью», насколько видел в этом источник всяческого личного покоя, личного добра и, наконец, общественной, национальной красоты. «Еще растленная семья», — с какой болью, точно кровью сердца, писал он одну маленькую статью в «Дневнике писателя». Можно сказать, последний кусочек счастливой семьи, глубоко индивидуальной и как бы отрезанной от мира в своем блаженном эгоизме, увеличивал в мысли его «шансы русского будущего народа». Пусть он мыслил и работал не так, как наше «хладное» духовенство (консистория), которое «семейным горем» не прошибешь. Итак — это одна линия Достоевского, совершенно бесспорная. Эгоистическая, своя семья, «моя» и «только моя» — идеал. «Мои дети! Моя жена!» Но кто не помнит и не поражался, что, когда, сквозь лазурные слезы, он начинал рисовать человечество отрешенным от тягостных условий былого существования, как бы перенесенным на новую явившуюся планету, где нет старого «греха, проклятия и смерти», где люди еще невинны и чисты как дети, — он вдруг начинал говорить, что «источник этой самой невинности заключался в том, что в них еще не рождалась ревность и дети и жены были общие». Что тут не окончательная глупость и бездушные говорили в Достоевском и уж во всяком случае не порочное поползновение (ну, что в такой мечте?

какая поживка в том, что «на луне»?! да и не мог же он не думать о пользе человечества, о пользе нашей русской, развивая свои идеалы), — можно видеть ну хотя бы из приводимых путешественниками рассказов, что «коммунальный брак» присущ первобытным народам, т. е. быту наивному и детскому состоянию... сравнительно с европейскою психологиею, конечно, невинному!!! Таким образом, очень мало что понимая в таком устройстве и в этой идее, мы должны признать, что Достоевский своим принципиальным гением уловил какую-то метафизическую, еще никому не открывшуюся связь между: 1) невинностью и 2) отрицанием эгоизма пола, личности в семье и браке. Я подведу разумение читателя к некоторому приближению к этой идее через следующий мой литературный опыт. В 1898 г. я впервые, в журнале «Русский труд», провел нечто вроде апофеоза семьи, нашей христианской и русской, нормальной и индивидуальной. Провел я это резко и упорно, не без серьезной цели вызвать и посмотреть: что скажут на это читатели, русские, христиане. Получилось согласие многих, но и резкая критика, и вот эта резкая критика вся сводилась к одному упреку:

— Семья, именно когда она глубока и идеальна, имеет ужасный порок в себе, неустранимый, из существа ее вытекающий, даже из существа ее идеализма: именно — эгоизм, попечение только о себе, полное забвение мира и ближних. Счастливая семья — ужасная семья, и лучший семьянин — ужасный человек. Правда, эта семья крепка, тверда, цветет и будет цвести своим соком, когда даже вокруг нее будет пустыня; но вот этой-то пустыни окружающего она не сумеет и не захочет предупредить. Семья, правда, камень общества, родины, государства; но только в смысле неподвижности ее, как мертвый кирпич в стене дома, а не как жилец дома. Всякий холостой, всякая блудница лучше семьянина в горе отечества, в пожаре родины: они бросятся спасать, жертвовать собою, гибнуть для общего блага. Тогда как ваша счастливая семейка преспокойно будет кушать чай с вареньем при общей гибели. Собственно, один только этот упрек, единственная эта критика достигала цели своей: ниспровержение апофеоза семьи. Тогда я критикам не отвечал (желая продолжать защиту семьи) и только теперь громко высказываю, что одна эта стрела (из многих пущенных) попадала в сердце семьи.

Действительно эгоизм! Евреи потому и не имеют отечества, потеряли государство, что, при их апофеозе семьи, никогда государство, нация, страна, законы, спасение и проч. и проч. не могли быть для многих из них, для какой-нибудь обширной группы их, горячо дороги, до муки защищаемы. «Что мне Иерусалим, когда жива моя Хайка». И поэтому же, по этому апофеозу семьи, они не умирают «в рассеянии». Каждая семья — неуничтожимая, не распадающаяся, вечная клеточка! Но продолжу критику:

И если бы нация, как мечтают все священники и требуют, как предписывают и благоустраивают все чиновники, и к этому направлено все

законодательство о семье всех европейских народов,— если бы нация, говорю я, сплошь и вся, без исключения и прорех, без мятежей и изломов, состояла из таких вот счастливых семей, «пьющих чай с малиной», то нация исчезла бы, государство погибло бы, история остановилась, или, будь это от начала, не началась бы! Все потухло бы, человечество потухло бы: просто за отсутствием связанности, соединительных каналов между этими глубокими семейными «колодцами», откуда ни солнца, ни звезд не видно! Не видно общего интереса, даже любви!!! Конечно — эгоизм моральный нуль! Не понятно, для чего, кому такая семья и служила бы? Семье ее бытие и продолжение — как кладка огурцов в рассол: бесчисленные ряды растут до неба! Но кто же будет их есть?!

Вот отчего, в течение многих лет как я пишу о семье и разводе, я, в противоположность оппонентам моим, не высказываю никакого страха перед «драмами семьи», «разводами» и пр. Это — соединительные каналы между «колодцами». Это — возникновение нации, государства, отечества. Это — начальное побуждение и движение истории. Это любовь, но не между 1) родителями + детьми, братьями + сестрами, а 2) любовь в человечестве, вспыхивающая и как зарница освещающая разом весь горизонт, а не точки его. Тут растет мир, а не человек. Все связывается, ссорится, горит; сходится и расходится. И океан имеет течение. Реки текут. Только болото стоит, гниет, заражает: чиновники и священники имеют неосторожность проповедовать, что «лучшее в мире явление, семья, должна не течь, а стоять и благоухать тиной болота».

Возвращаюсь к Чернышевскому. Я скажу больше, чем знал он; точнее, я знаю фактически больше, чем он проповедовал: есть мужья, влюбляющиеся в любовников своей жены, а не только спокойные в отношении их. Все закричат: «нет, не бывает». Но я спрошу: что представляет собою странное, всемирное и древнее, даже древнейшее явление любви, да еще безумной любви, до пожертвования своею жизнью, не в «холостую невинную девицу», а в супругу (не свою), счастливую мать прекрасных детей и верную спутницу своего мужа?! Сыновья Тарквиния Гордого ради такой пожертвовали жизнью и царством. Пусть мне объяснит кто-нибудь из физиков брака: что им от нее было нужно и что равное они не могли получить от которой-нибудь из свободных римлянок? Царскому сыну доступна всякая невеста. Но если физика тут ничего не объяснит, то объяснит метафизика: человечество бы умерло, будь оно системой колодцев «без связи». Кто-то должен «связать». Римское царство погибло, потому что фатально и случайно эту «связующую роль», которая в каждом веке, годе и городе выпадает на некоторых, на немногих, судьба возложила на «дерзких юношей». Они полюбили... чужую жену, не невинную, «обладаемую». Известно, до чего морщатся молодые люди, когда невеста их оказалась «с прошлым». Ну, это физикам понятно, тут они толкуют. Но разве не имела прошлого жена Коллатина? Увы, анатомически, физиологически, всячески она имела не только «прошлое», но и «настоящее в объятиях мужчины»... А как

хотели к ней «посвататься» сыновья Тарквиния. Опять повторю: Ливий, Тацит, все анекдотисты указывают здесь «приключение молодых людей». Но ведь им открыты были тысячи девиц. Тут была любовь, глубины мы не знаем, а прозреть ее может всякий поэт и романист-психолог. Любовь именно не к невинной! Желание обладать тою, которою уже обладают.

Из-за этого вешаются и стреляются до сих пор! Из-за чего «этого»? Страшно и назвать: из-за того самого «обольщения жен», о котором в каком-то туманном предвидении заговорил Достоевский.

Года три назад в корреспонденции из Парижа было передано содержание «превосходно написанной и превосходно разыгранной «новой пьесы»: муж узнает, что близкий друг его, друг жены и, кажется, воспитатель детей находится в близких отношениях с его горячо любимой им женою, в верности которой он всегда был уверен и вообще был «очень счастлив». По-моему, действительно счастлив... и непонятно, чего ему надо было! Таких бы я казнил за непонимание, за тупость, за отвержение мировых законов. Он застрелил любовника; в ту же минуту застрелилась его жена, закричав, что смерти этого дорогого человека она не может пережить! Ей-ей, такие драмы есть. Муж здесь прямо осел. Что он понимает? Жена, если б она не любила мужа, была цинична, грязна — прямо бросила бы его. Ведь была же смелость умереть! Нет, мужа она любила, определенно, крепко. Но он, определенный индивидуум, вот такой-то духовный образ, привлек, связался с половиною, так сказать, духовных ее прядей, как бы с одною половиною волос ее, с одной косой ее, не поглотив ее всю и оставив совершенно незанятою и свободною целую половину ее воображения, сердца, привычек, убеждений, всего, всего — и столь же идеального, как части души, которыми она любила.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,

— поет Лермонтов о душе человеческой. Если она умерла за возлюбленного своего, то, очевидно, она не физически, не как «женщина», а как человек и, может быть, глубочайшими сторонами души любила его, — и тут чудная музыка, которую, как прозаик, я не умею передать, но родится же поэт, который все это постигнет и расскажет. Поэт или музыкант. От совершенно невинной девушки, без «прошлого», и совершенно молоденькой, я слышал, прямо со страхом, и не на вопрос мой про себя сказанные слова.

— Любить трех, четырех — почему бы я не могла? Могла бы! Я любила, была счастлива, очень. Высшего состояния я не знаю. Политика, поэзия — все ниже любви, ибо это есть поэзия, по самой жизни; единственное условие, за ними ухаживала, берегла. Все бы им сделала, равно ко всем была бы привязана и принадлежала бы всем трем.

На мой изумленный взгляд, с ударением, в глубокой задумчивости (и тени улыбки не было: вообще выпадают такие патетические, секундные разговоры):

— Истинно могла бы! Нет, нет — никакого бы обмана не было! И вовсе не по чувственности — разве ее нельзя иначе и больше удовлетворить? — не потому, что они сами истинно прекрасны и так глубоко не сходны, и так постижимы мне... И я была бы несчастна или недолго счастлива с каждым из них, ибо в них есть односторонность и узость, при честности, при прямоте. Но сыта, духовного сыта я могла бы быть только в тройных лучах этих несходных и равно порознь милых душ.

Пусть читатель думает — я привожу, слышал. Мне кажется, мы самого «материала» любви не знаем; мало записано «случаев» и еще менее сделано подлинных настоящих признаний. Но я договорю о французской пьесе. Ну, соглашусь с физиками, что жена любила «еще и другого» по чувственности. Но отчего этот полюбил не девушку (мало ли их), а вот... «общился любимым существом» (мысль Достоевского) с совершенно счастливым ее мужем, с которым она настолько не прерывала отношений, что он много лет «был совершенно счастлив»?!

Ревность, Отелло — это конечно факт! Но только факт: я не прибавил бы к нему никакого плюса. Искоренение, да притом полное, даже не зарождение ревности — это есть также факт, только не подчеркнутый философами и моралистами. Насколько возникает в мире любовь к семейным людям (обоих полов), любви древнейшей, страшной, до риска жизнью, настолько вообще фактически врождено в человеке отталкивание от ревности и даже инстинкт к тому, о чем в экстазе заговорил Достоевский:

— Между ними не было источника почти всех несчастий человеческих: ревности. Все они были как дети, и ласками рождающихся у них детей, потому что дети их были общие.

Это в «Сне смешного человека» («Дневник писателя»), о котором опять мне пришлось услышать замечательный рассказ. Один писатель, сейчас живой, заговорил, что вот только Достоевский мог бы составить противовес и дать настоящую причину новым религиозным идеям Толстого. И прибавил: Толстой, вскоре после смерти Достоевского, желая что-нибудь, среди семьи своей, прочесть из него, открыл случайно «Сон смешного человека». Он до того был поражен силою, красотой и необыкновенною оригинальностью и новизною очерка, что, захлопнув книгу по прочтении рассказа, воскликнул: «Ничего подобного никогда я не мог написать».

Между тем тут именно и вложена та «несуразная мысль» Достоевского, которая в устном изложении так поразила его друга. Толстой даже не заметил ее; точнее: не заметить ее нельзя, ибо на ней-то все и зиждется, но в очерке Достоевского это «искоренение ревности» проведено с такою экстатической силой, а главное — показаны столь великие моральные плоды его, невинность, чистота, безмятежность, что творец «ревностей» Позднышева, Каренина и Болконского не почувствовал никакого укола своей мысли, никакого оскорбления своему сердцу, вкусу, воображению. Есть вещи — и вдруг все плачут, хотя вчера их

всех — проклинали. Такова сила слова. Сила гения. Все помнящие «Сон смешного человека» знают, что он принадлежит к таким вещам.

Окончательное же и «уравновешенное» объяснение заключается в следующем. Все мы еще в университете слышали, при изложении систем философии от Платона и Пифагора до Бруно и Лейбница, что, по мнению седых мудрецов, человечество, *homo sapiens*, есть «малое отражение всего мира», «микрокосм» его. Это — не бриллиант, а корона необыкновенной сложности, куда вставлены все камни, содержащиеся в горах, и все металлы, извлекаемые из руд. К этому естественному богатству цивилизация прибавила еще необыкновенной сложности «работу», узор, рисунок, стиль и план. Но вернемся к природному составу человека. Что он есть вершина, «корона» мира — это есть и религиозная истина, а не одна философская. Читайте в «Бытии» историю сотворения мира. Итак, все отражено в человеке, в его составе. Когда говорят о человеке, как о микрокосме, — и это есть возвышенная идея, никем не оспариваемая, — то почему *profanum vulgus*, «умственная чернь», не останавливается на том, что в глубочайших его недрах, рождающих, содержится также не мало-бриллиант, который совершенно ответил бы требованиям канонического права, но эта же там «сложная коронка», которая скорее ответит вкусам Пифагора. Пифагора и Соломона, Давида, «праотцев человечества». Лебедь, заклеывающий всех подруг после потери одной (и это нас трогает до слез), тогда найдет в человечестве свое отражение: он нашел его в Пенелопе греческой, Андромахе троянской, Дамаянти индусской, в нашей русской Ярославне («Слово о полку Игореве») и в великих героинях Эдды. Есть он и сейчас — ровно столько, сколько было в Греции и Индии, среди браминов и нибелунгов. «Сложная коронка» указывает, что каждый бриллиант горел, горит и будет гореть вечно, но «в своей оправе и в своем уголке». Это — вечная часть. В чем же остальное «целое»? Те же древние книги показывают нам, что одновременно с Дамаянти и Ярославною было совершенно иное сложение пола, по типу уже не лебединой привязчивости, а по другим космогоническим типам: все в удовлетворение требования, идеала и (по моему глубокому убеждению) закона Божия: «Человек есть последний, и в нем соединится все». Остается совершенно бесспорным, что любимейшая церковная книга нашего народа есть Псалтирь и что дивные эти песнопения, хвалящие Бога, зовущие Бога, как бы в богоприсутствии запеты, изошли от сердца, которому ничего не говорил пример привязчивого лебедя. Я сказал, что нигде нельзя поставить ни плюса, ни минуса. Андже́ло Пушкина был, с точки зрения VII заповеди, гораздо «богоугоднее» Давида, а в самом-то деле был ли он угоднее? Его проклинали люди, он был мучитель людей, он был Каин — вот его имя. Невозможно, при малейшей наблюдательности, не заметить, как люди, столь же мало помышлявшие об «умеренности и аккуратности» в данной сфере, как Пушкин или «праотцы» (они были все приблизительно одного сложения), отличались изумительной, совершенно не имеющей

себе конца добротою, благостью, готовностью все для другого сделать, правдивостью, прямою. Это добрые воли, как говорит Бульба о запорожском стаде, перебодавшем ляхов. Я говорю не в шутку. Я долго наблюдал. И совершенно не знал исключений из правила: 1) умеренность и аккуратность в сфере пола — сухость, лживость, бессердечие, жестокость, часто бесталанность; 2) «еда и питье с блудницами» и доброты, открытость, товарищество к человечеству «всем ровня» и часто гениальность или большой талант. И это — в обоих полах. Тут и находит свое место «причина семьи с точки зрения высших идеалов альтруизма и человечности, идеалов всемирности и братства. Тип семьи, и особенно моногамной семьи, никогда не обнимет собою человечества, но хотя он никогда и не сократится, не умалится. Навсегда это есть твердая, нерастущая и нестареющая часть. Человек есть микрокосм: и как полигамический, и так и полиандрический (французская пьеса) тип семьи мало и ни в угоду чему никогда не сократятся, хотя никогда и не вырастут.

Константин Великий испек живую в натопленном зале свою жену Фаусту; она знала грозную власть мужа своего и все же полюбила скромного певца своих дней (наездника цирка; цирк занимал такое же место тогда, как опера теперь). Нам это кажется некрасиво: «наездник», «простой человек». Но вспомните «Эолову арфу» Жуковского, где также княгиня полюбила нищего музыканта, «мужичка» почти, вспомните «Люцерна» ригориста Толстого: как он выше оценил странствующего музыканта, нежели завтракавших с ним лордов. Почему Толстой нравственно прав, а Фауста нравственно неправ? Любовь еще ценнее, тоньше и губительнее, и она еще щепетильнее в выборе «друзей» и «не друзей», нежели случайные вспышки «моральной души» Толстого. Никто столько не напутал у нас, столько несправедливого и жестокого не наговорил о любви, как вечно трактовавший о ней Толстой. Он ее преследовал как собаку, и бил как собаку: и она у него битая, лстивая, трусливая, опозоренная какая-то и гадкая. В этом отношении как выше и Тургенев, и Гончаров: которые знали не только «любовь — цемент семьи», но и любовь, как «известное чувство», как восходящие и заходящие звезды, как расцветающие и отцветающие цветы. Но возвращаемая к исходному пункту суждений наших, «старому другу» Чернышевскому. Очень наивно, очень грубо, очень деревянно — он указал свою «Верою Павловою» и кружком мужчин-аскетов, около нее занимавшихся медициною, техникою и политикою, что обычный тип полового сложения, который можно назвать толстовско-церковным (здесь эти антагонисты совпадут), «не отвечает моей натуре и натуре моей подруги». Он выразил это ужасно грубо, щетинисто. Очень многие и увлеклись им, «из молоденьких», но очень многие резко отвергли, и даже позорили за это его имя. Между тем истина состоит в том, что «натура моя и моей подруги» есть такая же часть, дробь, не имеющая вовсе возраста до «объема всего человечества», как он это проектировал в своих алюминиевых дворцах.

Таковых не возникло. Но и «развала семья», как пугались современники, не произошло от «Что делать?». Ничего не изменилось, ибо в этой именно области, как говорит Гёте, вы все и целое человечество

По вечным великим
Железным законам
Круг жизни свершаем.

Сам Толстой где-то обмолвился: «браки совершаются в небесах», т. е. без участия «звезд», что ли, мужчина ли, женщина ли «не находят своей судьбы». Мог ли применить это к Карениной и Позднышеву. Но я хочу договорить свою успокоительную мысль: сколько я наблюдаю много лет, нигде тип семьи, моногамически-верный, «по типу лебедя», не укрепился так, как именно в квартирках, где большая фотография Чернышевского висит среди разных Марксов и других «страшилищ», среди домашнего «иконостаса». Так я называю стенку либеральных и радикальных квартир, сплошь увешанную портретами «светил человеческой мысли», от Писарева до Будды. И все здесь останется по-старому. И я ничего не имею здесь прибавить, как эту крупницу мысли: судить здесь, и именно здесь, осуждать, порицать и еще больше казнить — страшно, невозможно; глупо — как судить, почему планеты, кометы и звезды движутся не по одним эллипсисам; или безбожно — как осуждать творение: зачем созданы не одни лебеди, но и травоядные, и всеядные, и хищные.

Мечта в щелку

...Нет, это ужасно. Быть трусом не только при жизни, но и после смерти! Ну, хорошо, я рос, сперва — мамаша, потом — брат, заступивший место отца, милый Коля, теперь покойник. Всегда обеспеченный стол, столь же обеспеченный, как плошка с молоком для комнатной собаки. В известный час дня, о котором я, конечно, знал, я входил в определенную комнату, садился на определенный стул, съедал две тарелки, жидкого и твердого, говорил куда-то в угол «спасибо» и возвращался в свою комнату, обыкновенно спал, затем пробуждался, приходил опять на тот же стул в той же комнате и выпивал два, а при смелости и три стакана чаю, опять повторял в угол «спасибо» и, вернувшись к себе, зажигал лампу. «Да, что такое? Завтра — уроки, надо приготовить уроки», и я раскрывал журналчик, смотрел: «пятница» — такие-то «уроки», но, припоминая пять учительских физиономий, вместе с тем вспоминал, что один учитель что-то как будто задал, но не прямо, а косвенно, второй велел что-то повторить, третий задает так много, что все равно не выучить, четвертый — дурак и его все обманывают, пятый урок — физика и будут опыты. Тогда я облегченно вздыхал. О, это был радостный вздох, настоящий вздох бытия. «Значит, ничего не задано». Тогда я все

пять книжек, по всем пяти урокам клал дружку на дружку и совал в угол стола, чтобы завтра не искать. «Значит, все готово к завтраму?!» И с аккуратностью Акакия Акакиевича, человека законного и исполнительного, я захлопывал журнальчик, всовывал его среди пяти книжек, чтобы завтра тоже не искать, энергично повертывался к постели, брал на всякий случай катехизис или алгебру, засовывал меж листов палец и, спустив книгу к полу, как бы в истоме усталости или пламенного зубрения (это на случай входа в комнату брата) закрывал глаза... и бурно, моментально, фантастично — не то что уносился, а прямо как будто падаю в погреб — уносился в мир грез, не только не имевший ничего общего с Нижним Новгородом и гимназией, но и с Россией, Карамзиным и Соловьевым (воплощение истории), ни с чем, ни с чем...

Так, царства дивного всесильный властелин...

Сумел же Лермонтов выразить настроение... Но это было до утра. Утром я вставал — тихий, скромный, послушный, опять выпивал два стакана чаю с молоком, брал приготовленные вчера пять книжек и шел в гимназию. Здесь я садился на парту и, сделав стеклянные глаза, смотрел или на учителя, который в силу чарующей гипнотической внимательности моей объяснял не столько классу, сколько в частности мне; а на математике смотрел также на доску. Семь лет постоянного обмана сделали то, что я не только внимательно смотрел на учителя, но как-то через известные темшы времени поводил шеей, отчего голова кивала, но не торопливо, а именно как у вдумчивого ученика, глаза были чрезвычайно расширены (ибо я был ужасно счастлив в душе), и, словом, безукоризненно зарабатывал «пять» в графе «внимание и прилежание». Конечно, я ничего не слышал и не видел. Когда меня вызывали — это была мука и каинство. Но все семь лет учения меня безусловно любили все товарищи (и я их тоже любил и до сих пор люблю), и едва произносилась моя фамилия, как моментально спереди, сзади, с боков — все оставляли друг с другом разговоры, бросали рассеянность, вообще бросали свои дела и начинали мне подсказывать. Я ловил слова и полуслова, и как Улпис умел же плавать с простыней (кажется) Лаодикеи, морской нимфы — так я отвечал на «три», на «четыре с минусом» или на «два с плюсом». Сам я никогда и никому не подсказывал, потому что совершенно ничего не знал и притом ни по одному предмету. Совестно признаться, но уж теперь дело кончено. И там, и здесь тоже было: «Так, царства дивного всесильный властелин»... Так же пролетели и четыре года филологического факультета. Этим только, то есть столькими годами мечты, воображения, соображений, гипотез, догадок, а главное — гнева, нежности, этой пустыни одиночества и свободы, какую сумел же я отвоевать у действительности, мелкой, хрупкой, серой, грязной, — и объясняется, что прямо после университета я сел за огромную книгу «О понимании», без подготовок, без справок, без «литературы предмета», — и опять же плыл в ней легко и счастливо, как с покрывалом

Лаодикеи... Странная судьба, странная жизнь. Но я заговорил не об ней, не об этой полосе жизни и счастья, а о часах покорности, действительности, когда у меня не было стеклянных (блаженных) глаз, а глаза робкие, тихие, я думаю (так я чувствую в душе, так было с внутренней стороны), глубокие, но в чем-то вечно извиняющиеся и за что-то просящие пощады, а вместе — хитрые и готовые на злость, готовые на моментальное бешенство, если бы меня не «простили» и не пропустили к той маленькой щелочке, к какой-нибудь нужной вещи, к которой я пробирался, извиняясь на все стороны. Странно, сколько животных во мне жило. Шакал и тигр, а право же — и благородная лань, не говоря уже о вымистой (с большим выменем) корове, входили в стихию моей души. «Ему приснилось во сне, — говорится о каком-то литовском князе, заснувшем на берегу реки Вилии, — что он видит волчицу, вывшую таким страшным голосом, точно в ней сидело еще тысяча волчат». Вот это обилие в животном — еще животных, как в пасхальных яичках (подарки детям) вкладываются еще яички, все мельче и мельче, и так множество в одном — эта бездонность разумной и провидящей животности всегда была во мне, и отталкивала от меня, и привязывала ко мне. Мне случалось бывать шакалом — о, ужасные, позорные минуты, не частые, но бывавшие — вот бегут люди, отворачиваются: глубокая скорбь проходит по душе, и вдруг выходит лань, да такая точная, с тонкими ногами, с богзданными рогами, ласкающаяся, кладущая людям на плечи морду с такой нежностью и лаской, как умеет только лань.

Но бросим. Я все увлекаюсь. Это — перед старостью. Давно все это прошло. Давно все это не нужно. В конце концов я трус, ибо умел быть смелым только в мечтах, а жизнь прожил позорным ослом, не умевшим ни бежать, ни лягаться, ослом благоразумным, прошедшим неизмеримо длинный путь, и тут сказала моя человекообразность: однако во весь путь я именно являл фигуру осла, которого бьют и который несет какую-то чужую проклятую ношу. Меня давит решительно мысль, что после наступающей старости я взойду и на «могильный холм» в этой же фигуре осла и, так сказать, печальная эмблема длинноухого и, главное, с чужою поклажею животного станет монументом над кучкой земли, которая вспухнет над моим гробом.

Нет, если я не умел или не смог жить, как хотел бы, я хотел бы по крайней мере умереть, как хочу.

Правда, первые дни пусть я буду по-прежнему ослом. «Никакого шума» — это было лозунгом моей тихой и кроткой жизни. Черт с ней — пускай так и останется. Т. е. пускай меня вымоют, наденут чистое белье — «ибо нужно на тот свет явиться чистым», ограбят мою душу... Это я говорю об одном, меня ужасно пугающем обыкновении. Именно когда умирала моя старшая дочка Надюша, то я, с неким «зарокном» (не исполнил) положил ей на глазки, уже закрывающиеся, носимый всегда на шею серебряный образок, маленький и квадратный. Потом

одел его опять на шею, рядом со старинным и некрасивым золотым крестиком, которым тоже заветно обменялся с существом, которому обещался последней любовью (это исполнил). Так вот меня и тревожит, что так как это золото и серебро, то его, как обыкновенно, снимут с меня и взамен дорогого и милого здесь на земле оденут на шею двухкопеечный кипарисный крестик, «дабы идти к Судии Вечному в деревянном смирении, а не в золотой и серебряной гордости». Так поступали со всеми умершими, каких я видел. Всегда нательный крест снимали и надевали торговый, из лавки. Это я считаю позором и кощунством. Позвольте мне рассуждать при жизни и твердо заявить, что я хочу идти «туда» именно тем шагом, каким ходил по земле, ну, например, ослиным и трусливым, а главное — неся на шее именно те дорогие и точные эмблемы, какие здесь носил, а не торговые и деревянные, будто бы из «смирения и страха, как туда явиться». Страх я точно имею, но не хочу «прощения» завоевывать, семена ножками и просовывая вперед кипарисовый крестик не дороже двух копеек: «вот-де, Господи, всегда был в рубище» и «сейчас в рубище». Вообще — как есть, так и желаю идти, а с «эмблемами» не хочу расставаться, в «рай» ли или «ад» меня пошлет Господь. Вообще, все, что любил здесь, — желаю сохранить и там, не исключая даже слабо помнимые тени подсказывавших мне в Нижнем товарищей. Я принимаю «суд» только с моих точек зрения и уж непременно, во всяком случае, с горячайшими моими привязанностями.

Ну, об остальном, кроме этих двух крестиков, — я не спорю и все принимаю с ослиным равнодушием, т. е. и сроки, и времена, и звуки, и позументы. Я до того позорный трус и осел, что хотя вот уже годы придумал себе особое местечко для похорон, но так как это вызвало бы споры и, следовательно, «шум и разговоры» надо мной, то вполне соглашаюсь, что, напр., на третий день меня с надлежащими словами и проч., провожатыми и каретами и проч. отнесут туда-то и опустят в могилу между статским советником Иваном Ивановичем и мещанкою Анфисой Федоровною. Не протестую. Лежу и соглашаюсь. Все пусть течет «как следует». Вообще от «как следует» никаких отступлений. Я притворялся при жизни, пусть притворно сойду в могилу. Но когда все разойдутся и меня немножко призабудут, т. е. неделек через восемь (через шесть, кажется, поминают) или через год с месяцами, когда окончательно «помянут» и скажут «а ну его к черту, довольно возились и, кажется, все прилично»... тут, кто любит меня, пусть исполнит мою фантазию.

Прежде всего уважения во мне к людям и теплой благодарности — бездна. К счастью — я знал друзей и, конечно, и «там» их не забуду. Но дело в том, что только друзья мои подлинно и знают, что я был им друг. И пусть это будет интимно, внутренне. Пусть это будет одиноко и молчаливо. В общем же опять режущую несправедливостью было бы, если б с этими немногими друзьями смешались вдруг «вообще знавшие», ахавшие, хлопотавшие и проч., вообще «похоронная толпа» или «толпа

помнящих людей». Я хочу войти «туда», так сказать, с пристально-определенными отношениями, в каких был и «здесь», т. е., в частности, не допуская до моей могилы. Поэтому через год с немногим, когда уже все забудется, я бесконечно хотел бы убежать с места моих «как принято» похорон и похорониться вновь по моей мучительной и одинокой фантазии. До сих пор были все «стеклянные глаза», а теперь пусть восстанут подлинные. «внутренние животные».

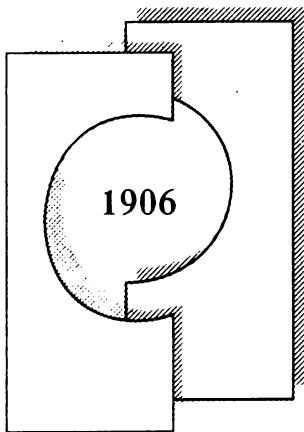
Именно прежде всего я не хотел бы совершенно одинокой своей могилы. Но кто знает, с кем я хотел бы лежать, пусть догадается. Тут придется, или пришлось бы, вырыть и одну старую могилу. Меня тяготит, что это невозможно, вот уже много лет тяготит, и только утешает то, что все равно будет подземное сообщение. Но, затем, я отнюдь не хотел бы и решительно не хочу лежать на общем кладбище, где лежат люди-цифры, для меня — цифры, которых я не знаю и не могу ничего к ним чувствовать, хоть они, может быть, и хорошие люди. Факельщиком за чужими похоронами я не ходил не потому, чтобы не жалел, а потому — что не знал умерших. И лежать «среди гробов» считаю то же, что равнодушно и бессмысленно идти за гробом «не знаю кого», — и этим бессмыслием и равнодушием я не хочу ни оскорблять, ни оскорбляться. «Общее кладбище» пусть будет для кого угодно понятная вещь, а для меня оно не понятная — и отвергаемая всеми силами души.

Мечта моя — природа и одиночество, за исключением близости близких, вечной, несокрушимой. Но о близких, чьи гробы я зову, — о них я уже сказал. Теперь это кончено, и я воздвигаю мавзолей. Это должна быть высокой, сажени в полторы, кирпичной кладки стена, с заостренными гвоздями наверху, какие устраиваются в заборах, «через которые никто не должен перелезть». В этой стене вокруг могилы главная и упорная моя мечта, лелеемая, нежная, глубокая, как мои робкие глаза. Разделенность с живущими, как и «с окружающей жизнью», должна быть вторым вечным и несокрушимым моментом. Никакой связи с «Карамзиным и Соловьевым», выражаясь иносказательно, не должно быть. И как перерыв, как «лестница» — прочь! должны быть убраны всякие надписи на стене, а тем паче на (никогда никем не видимой) могиле; вообще никакой «прописи паспорта» не должно быть около тела. Самое тело должно быть не просто в земле, а в свинцовом ящике, и вообще червей, гнили и растаскивания костей — не нужно. Это — возмутительно, что мы отдаем тела родных микробам и червям; говорим над ними прелестные слова по смыслу, а затем опускаем их в какие-то «почвенные воды», в гниль, холод и мразь... Возмутительно. И этого возмутительного я не хочу. Только неприятно «историю над телом затевать», а то через секунду по смерти я хотел бы (в предупреждение микробов), чтобы меня обмакнули в коллодиум или в часто употреблявшийся мною при жизни гуммиарабик, и затем — в свинцовый гроб, с запаиванием. Одежд как можно меньше, и кроме прощальных эмблем на шее, вообще хоть ничего...

Сверху — никакого соединения стен кирпичных, т. е. никакого потолка. Небо должно быть надо мною. И солнце. Но ноги должны быть повернуты к востоку, дабы я как бы встречал солнце — приветствовал, говорил ему каждое утро «здравствуй». При полном исполнении моего желания стены должны бы быть не вертикальными, а отвесно-пологими, раздающимися вширь кверху (воронка, опрокинутая широким краем кверху); это дабы солнце не только один час стояло надо мной, а чтобы весь день или его значительную часть светило лучами на землю. Но это — трудно. И последнее — чтобы земля была засеяна какими-нибудь возобновляющимися цветами, т. е. чтобы, умирая, они осыпали на землю семена, которые и без посадки, без углубления в землю, вырастали бы к следующей весне новыми цветами.

Всего лучше — это в лесу или в поле. И всего бы лучше *вне* градусов северной широты и восточной долготы. (Посмотреть градусы России, *вне* градусов России, но России не упоминать.)

Много? трудно? Ну, оставьте так, «как следует». Терпел при жизни. Потерплю и после смерти. А мистические животные во мне пускай уж через пространства вопят как-нибудь к Богу...



Памяти Ф. М. Достоевского

(28 января 1881—1906 гг.)

Вот бы в наши дни издаваться «Дневнику писателя» Достоевского. Уже четверть века назад, в эпоху несравненно тишайшую, он смог сделать, что выход почти каждого номера этого «Дневника» получал значение общественного, литературного и психоло-

гического события. Некоторые его рассуждения, как о католичестве и папстве, о еврейском вопросе, о русской народности и русской вере — не забыты и не могут быть забыты, они стали частью убеждений огромной части русского общества. Другие «Дневники», как с речью о Пушкине, с рассказами «Кроткая», «Сон смешного человека», «Мальчик у Христа на елке» суть жемчужины вообще нашей словесности. Достоевский писал иногда запутанно, темно, трудно, болезненно, почти всегда неправильно, хаотично: но остается вне споров, что когда он входил в «пафос», попадалась ему надлежащая тема и сам он был в нужном настроении, то он достигал такой красоты и силы удара, производил такое глубокое впечатление и произносил такие незабываемые слова, как это не удавалось ни одному из русских писателей; и имя «пророка» к нему одному относится в нашей литературе, если оно вообще приложимо или прилагается к обыкновенному человеку. Впрочем — может прилагаться: «пророк», по-еврейски «наби», значит просто — одушевленный, вдохновенный, патетический. Ведь были и языческие пророчества и пророчицы — Сивиллы, «сивиллины книги». Мы вполне можем сказать, что в XIX веке, среди пара и электричества, около граммофонов, милитаризма и банков счастливая судьба дала в лице Достоевского русскому народу кусочек «священной литературы», дала новую «сивиллину книгу», без уподоблений и аллегорий, в подлинном и настоящем виде, как некоторое в самом деле «*hieros logos*» *.

Кажется, не только у нас, русских, но и во Франции, Германии, всюду, где он читается и известен, есть молчаливое согласие видеть здесь центр его интереса и значительности, новизны и оригинальности. Как многие превосходили его в качестве романистов, публицистика его имеет свои недостатки; целые отделы его мышления, как о том же

* священное слово (греч.).

католичество, еврействе, русском народе и русской вере, — более сомнительны теперь, чем когда произносились, и даже для многих совсем не верны. Ведь и «пророки» иногда ошибались. Пророчество есть именно только пафос, высшее воодушевление: но принятое людьми за «священное» по крайней серьезности своего тона, по величию тем и предметов, каких коснулось, по изумительной, исключительной искренности, где «умерло все суетное». Бесспорно, на множестве своих страниц Достоевский вовсе выходил из рамок литератора и литературы, был вовсе и не романистом и не журналистом, оставаясь по виду им. Укажем на шаблонное: ну, как в «романе» писать главы: «О аде и адском огне; рассуждение мистическое», «Можно ли быть судьей себе подобных? О вере до конца», «О молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным», «Нечто о господах и слугах и о том, возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями». Да это — рассуждения Кирилла Туровского, Иосифа Волоколамского, это — темы, о которых любил рассуждать Иоанн Грозный с монахами, приезжая «отдохнуть от политики» в Кирилло-Белозерский монастырь. Между тем все это появилось в 1880 г., в журнале «Русский Вестник» редакции Каткова. Как странно звучит около этих тем самое название: «редакция», «журнал». Но мы указали только на шаблон, на темы в романе: но не только в этих «Братьях Карамазовых», но и во всех более ранних произведениях Достоевского, особенно в «Подростке» и «Бесах», попадают страницы до того нового и исключительного тона, что им бы место, казалось, в палате душевнобольных: но они до того трогают и потрясают душу, до того нравственны и религиозны, правдивы и всякой душе нужны, что мы перед «палатой умалишенных» останавливаемся и относим их в другую совсем сторону: «священные страницы», «святое слово». Очень рациональным и уравновешенным людям ведь и страницы подлинных пророков тоже кажутся иногда «только неуравновешенною, а-нормальною словесностью».

Я заговорил о том, как зашумели бы сейчас номера «Дневника писателя», живи Достоевский в наши смутные, тревожные, чреватые будущим дни. Вот кто сказал бы нужное слово, какого сейчас мы в литературе не имеем. Момент истории до такой степени исключительный по значительности, можно сказать перелом всей русской истории, — имеет отражения себя в литературе и не имеет руководителей себе в литературе, подлинных наставников, вождей. Все голоса слабы; даже таланты суть таланты литературные, блестящие излагатели блестящих и колеблющихся мыслей, которые не могут никак получить авторитета именно от того, что они не жизненны, не поднялись из тех глубин души народной или общественной, где начинается грозная правда, где уже слышится не «литература», а «дело». «Пророческий» характер Достоевского происходил именно от глубочайшей его преданности «делу», существу русской жизни, судьбам истории его под углом созерцания вечности. Он никогда не служил минуте и партии,

заботился не о впечатлении от такого-то номера «Дневника», но о том, чтобы сказать в «ближайшем номере» вечное слово, уже годы тоскливо носимое им в душе. И такого слушали. Могли ли такого не слушать? Все мы лучше, чем кажемся: по наружности все принадлежим партиям, отвечаем на события; а в глубине всем нам хочется высшего, окончательного, не переменного! Есть «пророчество» активное: но и у слушателей, читателей, у мириад людей и в конце концов у народа, общества есть другое, пассивное и тихое «пророчество» же в душе, по которому оно никак не может удовлетвориться мишурою, колебаниями, хотя за неимением иного — следует и этому. Следует, и остановится, и пойдет назад: пока не найдет окончательного!

Наше время, время наступающего конституционализма и парламентаризма, собственно, отрицает и упраздняет все мечты о «своей почве» Достоевского, мечты его молодой еще деятельности, связанной с «Временем» и «Эпохою», и пронесенные до могилы. Достоевский выступил и в обществе и в литературе сторонником «почвы», «почвенности», по каковым терминам его и друзей его современники осмеивали под именем «почвенников». Это — другое имя славянофилов и славянофильства, более, пожалуй, конкретное и жизненное, менее кабинетное и отвлеченно-философское. В самом деле Россия есть «почва», из которой произрастают «свои травы». Так в Англии, Германии, Франции, так всюду: так «должно быть» и в России. В теории казалось бы неопровержимо. Но, во-первых, кто на этой «почве» не сеял? Сеял византиец-монах, сеял татарин-хан, сеяли немецкие чиновники со времен Петра, сеяли Бюхнеры и Молешотты во время самого Достоевского. И все посеянное — всходило. От ханов (в союзе с ними) и по образцу ханов вырос «Московский Великий Князь» и «Царь Московский» — и к этому Достоевский относится почтительно и любовно: хотя почему это «туземное» и что тут «туземного»? От грека-монаха заимствовал много сам Достоевский, ну почти переписав только хоть это рассуждение «О аде и адском огне; рассуждение мистическое». И все это — не русское. «Почвенное» собрал у нас только Даль, в «Пословицах русского народа», в «Толковом словаре великорусского языка». Но на этих «материалах» Даля политики не построишь. А нужно русскому человеку строить. Нельзя жить без дома, усадьбы, хозяйства, нельзя жить в пустыне, где раздаются «великорусские говоры» и произносятся велемудрые пословицы и этнографические прибаутки. «Почва» и у нас, как было это еще более в Англии (кельты, англосаксы, норманны), в Испании, в Германии, в Италии везде есть ряд наслоений, везде есть ряд «перегноев», т. е. умерших и разложившихся организмов, которые служат просто туком, откуда растем и выросли вот — *мы*. Да, *мы* с царственными правами новгородцев, призвавших Рюрика и норманнов, с царственными правами киевлян, позвавших греков и православие, москвичей — черпавших у азиатчины. Да и забыл Достоевский притчу о совете Христа: всегда вытаскивать овцу из ямы, всегда лечить больного, даже и «в

субботу». Достоевский из «почвы» сделал свою «субботу», славянофильскую: которую решились нарушить «западники», нарушить школою, законом, судом, администрациею, крича: «Подавайте хоть с Запада, хоть из пёкла адского, откуда угодно, но подавайте. 2-е тысячелетие сидим без грамоты, без учения, без лечения, окруженные тунейдцами, казнокрадами и алкоголиками». Нет, тут вовсе и окончательно был неправ Достоевский. К нашему времени это стало очевидно до азбучности.

Все народы творили без «почвы», т. е. не принимая ее во внимание сознательно, преднамеренно, по «программе», но выходила отличнейшая «почва», «перегной» из этого смелого и свободного труда каждого поколения только как будто *для себя*. Мы таких ломов, как Италия или Англия, не знали. Россия собственно страшно засиделась и застоялась. В стороне от громадных всемирно-исторических движений, она ни разу не была вовлечена в поток их, где ломались народности и веры, «переменялось все до основания».

«Мало сеяли» — одно можно сказать; «не тяжел был плуг, мало глубины почвы забрал» — вот и только.

«Почва,— говорил Достоевский,— народ, племя, своя кровь и традиция». Известно, что он считается у нас в литературе таким «истинным христианином», как никакой другой писатель; и еще в ученические почти годы, т. е. самые легковесные в религиозном отношении, у него навертывались слезы на глаза, когда кто-нибудь неосторожно выражался об И. Христе. Между тем кто же основал «царство вне крови и племени», иерархию и систему духовных последовательностей и отношений, которая именуется «церковью», и самая коренная и самая индивидуально-характеризующая особенность которой и лежит в бескровности, бесплотности, в том, что оно «без родственников и соседей», «без отца, без матери», без «детей и внуков», в гранях чего жили и живут все без исключения языческие царства, народы, эти «12 колен Израиля», «12 фратрий Аттики», эти «трибы» Лациума, и до сих пор еще японцы и китайцы. Не нужно жертвоприношений «животных», т. е. «жизни», «биологии», у человека — его этнографии и племен: вот существенная новизна Евангелия, вот откуда пошел поворот новой истории, «новое благовестие», «другой завет с Богом», другая религия и летосчисление. Остается непостижимым, каким образом «такой христианин», как Достоевский, стоял, можно сказать, всем главным станом своих убеждений («почва», «почвенность», «почвенники») вне христианства и даже против главной Христовой мысли, стоял, глубоко уйдя ногами в языческую почву и даже именно ее-то и провозглашая «нашей русской верой», «православием», которое призвано сокрушить «сатанинскую» главу католицизма: тогда как бесспорно этот католицизм своею вненародностью и сверхнародностью, своею отвлеченностью и универсализмом, борьбою против «галикализма» и всяких «кириллиц» и «глаголиц» точно и просто последовал указанию Христа: «Отрясите прах Иерусалима

от ног своих», «идите к язычникам»: — «И кто не возненавидит отца и мать свою, и братьев, и сестер, даже и самую жизнь свою — не может быть Моим учеником».

Удивительная аберрация мирозерцаний: всю жизнь работать в направлении двух убеждений; не замечая, что «предки», что «деды» этих убеждений умертвили один другого и завещали всегда потомков этого другого ненавидить и гнать. Начало «крови», «родства», «почвы» — это язычество; универсализм, духовность, идеализм, «общечеловечность» ну хоть наших доморощенных Фохтов и Молешоттов — это и есть «опьяняющее духовное царство» наших хлыстов, только все грубо и резко выразивших, но выразивших точную мысль Христа, которая повторяется и у католиков, и у протестантских пасторов, идущих в Африку и Китай проповедывать евангелие, и у всех решительно «истинных христиан».

* * *

Сочинения Достоевского до сих пор еще не имеют научного издания. Никто не притрагивался к архиву его рукописей, хранящихся частью в Историческом музее в Москве, частью у его вдовы. Между тем в 1-м издании 1882 г. (до сих пор лучшим) в 1-м томе, где напечатаны «Воспоминания» о нем и письма его, — среди последних есть несколько чрезвычайно важных идейно. Как известно, теперь выходит новое «Полное собрание» его сочинений, — и мы слышали, что там будут помещены чрезвычайно важные отрывки из романа «Бесы», которые остались в черновике и не вошли в печатный текст романа, являя, однако, собою ценное целое. Невероятно, чтобы человек, так напряженно работавший мыслью всю жизнь, не оставил если не множество, то многих важных заметок на клочках бумаги. Хотя, судя по одному автобиографическому месту в «Униженных и оскорбленных», — может быть здесь поиски не будут особенно успешны. Вот это признание (в самом начале романа): «Не странно ли, что я всегда гораздо более любил *обдумывать* свои произведения, нежели писать их». Черта почти физиологически-«пророческая». «Давит мысль: и хочется ее сказать, счастлив сказать, а написать?.. не очень хочется. Это импровизатор (как у Пушкина в «Египетских ночах»), проповедник, и гораздо менее писатель. Недаром техника письма у Достоевского почти везде несовершенна, запутанна, трудна: и достигает великой силы и красоты там, где он собственно не пишет, а говорит, проповедует, произносит (от чьего-нибудь лица) речь. Таковы монологи в несколько глав Ивана Карамазова, исповедь-монолог Версилова (в «Подростке»), единый монолог, в форме которого вылилось цельное произведение, одно из лучших у Достоевского — «Сон смешного человека». Эти «монологи», «излияния», бывшие лучшею частью, самую сильную и красивую, и во всех предыдущих произведениях Достоевского, — естественно закончились «Дневником писателя», т. е. монологом самого автора. Многие пытались повторять эту форму,

не замечая, до чего она есть форма лично Достоевского, связана с особенностями его индивидуальности и хороша была только при них. Но мы хорошо понимаем, что от «монолога-дневника» уже только один шаг до прозелитизма, «пророчества», как равно, впрочем, и до «Записок сумасшедшего», тоже роковым образом вылившихся в форму «дневника».

* * *

Достоевского везде читают как романиста, мыслителя, психолога. Но неустанно его цитируют и комментируют малейшие его строчечки и словечки в литературном лагере, именуемом «декадентами», «символистами» и проч. Вообще здесь он интимно, кровно привился. Есть обширные разборы отдельных им выведенных лиц, напр. Кириллова (из «Бесов»). Почему это? Откуда это? Причин так много, что не знаешь, с которой начать. Если, напр., взять все 14 томов его «Сочинений», то увидим, что они все проникнуты тоном чего-то «прощающегося», оканчивающего, отъезжающего куда-то; тон как бы господина, сводящего последние расчеты с хозяином и выезжающего с квартиры. Этот тон «прощания» — везде у него. Достоевский относился ко всей нашей цивилизации, как Иона к Ниневии, ожидавший, что «вот ее поглотит Господь». Совершенно серьезно с грустью, тоскою, но и с неодолимым, чуть не врожденным желанием, доходящим уже до чего-то злого, он видел и чувствовал глубокую конечность, окончательность, «подведение итогов» всей вообще европейской истории. Опять он тут не связал тех истин, что ведь «европейская история» есть только «история христианства», ибо ни христианства нет вне орбиты Европы, как цивилизации, ни Европы нет иначе как с душою христианскою: и что ожидать «конца Европы» значит только ожидать «конца христианства», и, определеннее — «разрушения всех христианских церквей». Но церкви он безмерно любил, христианство безмерно любил, а Европе ждал и немного жаждал разрушения. Но тут менее важна программа и публицистика, но чрезвычайно важна психология, вот этот тон «прощания», «ухода». Все очень здоровое, нормальное, все идущее «в рост» и крепко надеющееся не привязывало к себе Достоевского, было чуть-чуть враждебно ему, а главное — скучно, незанимательно. Он и монастыри, и «русского инока» (целая глава об этом) оттого любил, что уже все это было археология и «мощи». «Мощи» он любил, как и развалины красивой Венеции. Любил вообще «могилы», и в качестве «дорогих могил» любил безмерно и Европу, ненавидя в то же время ее как она стояла перед ним, живая и сильная. Всего крепко стоящего на ногах он вообще не любил, а все падающее не только заставляло его бежать к себе острым чувством пробуждаемого сострадания, но и интересом падения, падающего и умирающего. Тут его ночные зрачки расширялись, дыхание утороплялось, сердце сильно билось, душа, ум, интерес болезненно напрягались и он слушал, изучал, любил. Не знаю, как это связать с «почвою»... «Уверяю вас, что лик

мира сего мне и самому довольно не нравится», — сказал он своим литературным противникам «либералам», выпуская 1-й номер «Дневника». «И да будет она проклята, эта ваша цивилизация», — повторил он по поводу защиты турок в английских газетах. Так обще, в этих обширных скобках, все-таки не говорил ни один публицист. Но важнее, чем эти вырвавшиеся афоризмы, одна строчка, которую можно было бы поставить эпиграфом ко всем 14-ти томам его сочинений. В тягучем, тоскливом рассуждении, перебирая мелочи политики, и все сгущая и сгущая грусть, он сказал, как бы сквозь слезы, с глубоким предвидением, предчувствием: «преходит лик мира сего», т. е. как бы преобразается, мир точно «линяя» сбрасывает старую шкурку, а новое... еще все в зародыше, ничего нет, да может быть «животное-человек» и не переживет метаморфозы, умерев в судорогах. У него это страшно сказалось. Жалел этого он? Хотел? Он *шел* к этому, и уже шел как сомнамбула, неотвратимо, твердо, точно «за мороженый луною». Тороплюсь окончить. И вот этот главный тон его сочинений, самый для него интимный, конечно, не мог быть воспринят здоровыми работниками русской земли, «почвенниками», прогрессистами и либералами (*они-то*, конечно, и суть «почвенники»), а нервно, чутко и страстно воспринялся «больными декадентами», по ощущению которых тоже «все кончается» и «чем скорее, тем лучше». Ночные птицы переклинулись с ночными. «Декадентам» нашим только рассудительности недостает и полное на их «нивах» отсутствие гения: но «нивы» эти во многом занимательны. Все эти люди психологичны, нервны, возбуждены (какая масса точек соприкосновения с Достоевским). Все они как-то не крепки быту, неустойчивы в «бытовых формах» своих «предков». Почти знаменитейший из декадентов, Добролюбов, слышно, ходит где-то странником, с посохом и крестом, по Уральским заводам и острогам, проповедуя что-то среднее или что-то «вместе» из Апокалипсиса и «братстве во Христе всех рабочих». А был, лет 10 назад, баричем и белоручкой. Это очень похоже на Власа в любовном истолковании Достоевского: и хоть бы самому Федору Михайловичу такой эпизод биографии очень шел! Бездна персонажей у Достоевского уже прямые «декаденты», люди вне быта и истории, толкующие об Апокалипсисе и ждущие конца света. Все это очерчивая, я, к несчастью, имею шуточный тон, но у меня есть та серьезная и страшно настойчивая мысль, что Достоевский был единственным у нас гением декадентства, у которого это «декадентство», патология, «пророчество», а-нормальность, вне-историчность проникает решительно каждую строчку, каждый сгиб мысли, всякое движение сердца: но у него все гигантски, все в уровень со смыслом и задачами века; а у «последующих» тоже декадентов все рассыпалось дробью, стало мелочно, часто не умно, сохранило часто только манеру кривляться — столь натуральную, врожденную у Достоевского, как и у святых их «юродивость». Но все главные черты Достоевского встречаются и у «декадентов»: только у него все это большое, величественное, поражающее, наконец

очаровывающее и влекущее, а у них все — в «микрокосме». Этим я не хочу сказать одного только порицания «декадентам», совсем напротив. Уровень сил, дара уделен нам Богом. Но ведь совершенно очевидно, что Достоевский имеет место в истории, место нужное, которого никто другой занять не мог бы, место, наконец, благотворное для людей и нравственно многим необходимое. Достоевский вызвал слезы и такие движения души, каких никто не умел вызвать. «Сивилла» и «пророчество» — это о нем можно сказать без аллегии, как прямую правду, как правду трезвую. Неудивительно ли это для XIX века и холодной, похолодевшей нашей цивилизации? В ней он не только страшно нужен, но, быть может, нужнее всякого другого литератора и, следовательно, его «стиль» может быть нужнее всякой другой формы литературности. Если же целая школа литературы у нас бьется в каких-то бессильных потугах, но в том же «стиле», в сущности с теми же поэтами, целями, имея ту же психологию: то самое бытие ее глубоко оправдано и только вопрос за гением. Но это уже у Бога, и всегда можно верить, что Провидение устроит историю именно через «прибавку дара» или «убавку дара» у тех течений, в тех местах и тех временах, какие, воспреобладав или павши, и дадут, и должны дать нужный узор истории.

Толстой и Достоевский об искусстве

I

Толстой не уважает искусства потому именно, что оно — *искусство*, т. е. *искусственно*, являя *работу* человеческого воображения и мысли над предметами реального мира, над лицами и положениями реальной действительности, тогда как предметы должны существовать, как есть, и человек должен смотреть и видеть их, как они есть, без всякой прибавки. Лежит кирпич, и человек видит, что это — кирпич; «вот и довольно», говорит Толстой. Но подходит архитектор и начинает из кирпичей складывать *красивое* здание. «Зачем? — спрашивает Толстой, — этого *нет в природе* и потому это *ложно*»; «если вы хотите защитить человека от дождя — протяните над ним навес, как над лошадьми; если в ваше доброе намерение входит защитить ближнего от холода, то постройте для него кирпичный сарай, только с окнами. Сарай — и больше ничего, для человека и для коровы. При чем тут *красивое*? Непонятно и глупо».

Он мог бы спросить: «Зачем красивое солнце, если есть керосиновые лампы? и зачем светят звезды ночью, когда животные в это время спят, а человеку даже безнравственно гулять по ночам?» Еще «в соблазн

вводят» ...«не надо бы звезд». Да и наконец зачем этот «Бог» соблазнитель, рассыпавший звезды по небу, создавший шум дубравы, и пахучую весну, и красоту женщин, в которых мы влюбляемся? Зачем? Для чего? Столько «искушений»...

Возьмем, однако, вопрос крюком за ребро: у Толстого — судя по фотографиям — несколько дочерей: и *пожелал ли бы он в душе своей искренно* (пусть напечатает об этом), или, точнее, было ли время, когда бы он искренно желал в душе, чтобы они были наружностью отвратительны или гадки и неинтересны, как доски, и никого бы не «соблазняли», и в конце концов ни за кого бы не вышли замуж и никогда бы не имели детей? Искренно — и искреннего ответа спрашиваем: и вправе спросить; ибо он искренно нас упрекает: зачем вы *нравитесь* друг другу, зачем вы делаете *нравящееся*, зачем вы занимаетесь *искусством*?

Это еще с «Крейцеровой сонаты» пошло. Но дело в том, что для себя и про себя и он «искусством занимается»: ну, хотя бы на степени вот этого желания, чтобы дочери его не были безобразны, и чтобы, напр. мужик, который косит траву, косил ее сильно, ходко, размашисто. Красивое — полезно! Ничего нет «полезнее» красоты для женщины (выйдет замуж, будет иметь детей), да и для нас, людей, нет ничего полезнее солнышка, дубравы и вот «Полного собрания сочинений гр. Л. Н. Толстого». Столько утешений! Без этого бы «хоть удавиться». А что же вреднее для человека, как удавиться?

Натурию своею, *натурально* Толстой не отрицает искусства, ибо его и невозможно отрицать, так как искусство слито с каждым нашим шагом, со всяким движением, с каждым поворотом мысли. Искусство есть просто «нравится» и «не нравится», а без «нравится» и «не нравится» так же невозможно жить, как без правого и левого, без дня и ночи.

Он отрицает искусство не *натурию*, а *выдумкою*. На солнышко он сам засматривается, а вот если в катехизисе написано: «Бог сотворил мир прекрасным для любования человека», то эту страницу катехизиса он будет отрицать как «ложную и безнравственную», отрицать даже до гнева. Но, читая все его морализующие теории, хочется, посмеиваясь, ответить ему словами Стивы Облонского;

Узнаю коней ретивых
По таким-то их таврам,
Юношей влюбленных
Узнаю по их глазам...

И *натуральную* влюбленность Толстого во всякую красоту мы тоже узнаем по таким-то и таким-то непререкаемым его «таврам», которых не скрадут его рассуждения.

И Бога Толстой любит, боится Его, чтит Его.

И красивых людей он любит,

И красивых женщин любит.

И чтобы внуки у него рождались красивые, здоровые, с хорошенькими голубенькими глазками, ведь любит же он это?

Что шило в мешке таить? И что писать какие-то задрапировывающие дело рассуждения.

Но зачем же эта драпировка, манерность и уверение, что «все мне не нравится»? У Толстого есть, в сущности, своя теория искусства, которою он и борется со всеми остальными, которая его и толкает на эту борьбу. Теория эта заключается в убеждении, что ничего нет лучше того, *что и как* есть, и что поэтому надо просто — жить и наслаждаться жизнью, и от наслаждения этого не отвлекаться куда-то к вторичным, побочным задачам, напр., чтобы еще «воспроизводить» то или иное.

Мужик едет — и пускай едет. Зачем его «рисовать»?

Нужно согреться — строй сарай. А то еще, занимаясь архитектурой, просидишь дня три в кабинете над чертежами и упустишь «солнышко». А лучше «солнышка» ничего нет, никакие картины его не лучше.

Тут много Диогена, много индусской мудрости, много русского мужика, некультурного, но и не без своеобразной мудрости.

Толстой почему-то не хочет признать, что искусство и даже вычурнейшее искусство, предмет его отвращения, есть та же «матушка натура», как и все прочее, как само хотя бы «солнышко». Кто любит шумящую рошу, а кто вот безумно любит театр в эту торжественную его минуту, когда дирижер поднял палочку, сейчас грянет оркестр и взвоется занавес. Ну, любит тою безумною любовью, как его любит больной, чахоточный и алкоголик Альберт (в рассказе этого имени), такой *талантливый*, такой *привлекательный*...

Да, Альберт. Что он делает? Пьет, художничает. Всем мешает, хоть и не очень, — никому не полезен. Но променяли ли бы мы или сам Толстой этого «ненужного человека», «лишнего человека» на наипольнейшего бухгалтера в местном тульском отделении Государственного банка — человека непьющего, трудолюбивого, всем полезного и никому не вредного?

Все сводится к вопросу: «удавиться». Да, будь в цивилизации только честные бухгалтеры — мы бы удавились с тоски. А ведь нет ничего «вреднее», как удавиться. Есть Альберты — и к нам возвращается способность смеяться, умиляться, ненавидеть, роптать, жалеть и пр. — и мы не удавимся. Сохраним жизнь, т. е. самое полезное. Таким образом — уж простите за парадокс — нет ничего полезнее «бесполезного», ничего нет нужнее «лишнего». «Лишние люди» — да это наши спасители. Мы им для интересных «Дневников» и бумажки заготовим; напьются (как Альберт) — станем с ними нянчиться, ухаживать. «Наши избавители от отчаяния и смерти».

Искусство в «вычурном» его, в капризах, «ненужностях» (черные точки искусства, раздражающие Толстого) и суть такие «Альберты» — алкоголики, прелестные и необходимые, мучительные и неоправдываемые... В конце концов, все это такая же «натура», как и трезвые бухгалтеры или упрощенные рассказы Толстого. Есть хлеб, и есть

хлебное вино: одно сытит, другое пьянит, от одного — не умираешь, от другого — весело. Ну, а где больше «натуры»? Соглашаюсь, что в хлебе больше: но отрицать, что в вине нет «натуры» — никак решительно невозможно! А в хмеле, который растет просто вот «под Боженькиной ручкой» и у Боженьки из ручки,— опьянение уже содержится как прямой первичный факт, явно и очевидно «указанный Самим Богом». Что делать, пусть моралисты поуспокоят свои нервы. Возвращаюсь к искусству или, точнее, применяю эту космологическую истину о натуральности хлеба и хмеля к искусству: «выспренность» лирика Державина с его:

Глагол времен! Металла звон!

нисколько не менее натуральна, необходима и в своем роде «правдива и проста», как и «Мужик Марей» Достоевского или «Много ли человеку земли нужно» Толстого; ибо то были, в его (Державина) время, в его кусочке истории — естественнейшие, всеобщие, всех радовавшие чувства и способы мысли и чувствования. «Как жили — так и писали» — Державин и Толстой, с тем же правом, не большим ни у которого.

Толстой упрекает Шекспира за «напыщенный язык его королей». Что делать, — «так жили, чувствовали и писали». Первое действие «Короля Лира» он... рассказывает своими словами, передает в «*resumé*»!.. Точно протокол в следствии! Конечно, что же осталось от трагедии, от искусства? Так мало, что и назвать нечем. В искусстве важно не то, о чем рассказывается: это только кирпич для здания; искусство начинается с того, как рассказывается — как в архитектуре оно начинается с линий здания, карнизов, колонн и всяких «вычур» «не нужного». Толстой упростил до *схемы* историю «Короля Лира», передал ее своими словами вместо монологов, — и у него, конечно, на страницу газеты легла та мазня на 2 или 3, которая выходит у гимназиста, когда он в ежемесячном отчете дает учителю «изложение своими словами *Мертвых душ*».

Что он от литературного произведения ожидает *схемы* и хочет *схемы*, хочет *нравоучения*, а не жизни, видно из таких обмолвок его: «Корделия, *олицетворяющая собою все добродетели*, так же как старшие две сестры ее, *олицетворяющие все пороки*»... Можно удивиться: отличительной особенностью Шекспира, как известно, и *новизною* в литературе и служило то, что он отнюдь занимался не «олицетворениями», а живыми людьми. А вот Толстой начиная со «Смерти Ивана Ильича» действительно занимается «олицетворениями», где искусство есть еще, но как бы завалившись в щелочки рассказа, есть как *побочное*, «мимоходом», но уже не в самой теме и сущности рассказа. Так Шекспир так-таки и не «умеет писать»? посредственный литератор? лишен вкуса и чувства меры?

Тебя, я вижу, просто посетила
Царица Маб; она ведь повитуха
Фантазий всех и снов. Собою крошка,
Не более, чем камень, что блесит

На перстне альдермана, — шаловливо
Она порхает в воздухе ночном
На легкой колеснице и щекочет
Носы уснувших. Ободы колес
Построены у ней из долговязых
Ног паука; покрывка колесницы —
Из крыльев стрекозы; постромки сбруи —
Из нитей паутины, а узда
Из лунного сиянья. Ручкой плети
Ей служит кость сверчка, а самый бич
Сплетен из пленки... В этой колеснице
Промчится ль ночью по глазам она
Любовников — то грезятся тогда
Им их красоти; по ногам придворных —
То им до смерти хочется согнуться;
Заденет адвоката — он забредит
Богатым заработком; тронет губки
Красавицы — ей снится поцелуй.
Порой шалунья злая вдруг покроет
Прыщами щеки ей, чтоб наказать
За страсть к излишним лакомствам. Законник,
Почув на носу малютку Маб,
Мечтает о процессах. Если ж вдруг
Она пера бородкой пощекочет
Нос спящего пастора, то ему
Пригрезится сейчас же умноженье
Доходов причта... Она же заплетает
Хвосты и гривы ночью лошадям,
Сбивает их в комки и этим мучит
Несчастных тварей. Если же заснут
В постели навзничь девушки, то эта
Проказница их тотчас начинает
Душить и жать, желая приучить
К терпенью и сносливости, чтоб сделать
Из них покорных женщин. Точно также
Царица Маб...

Ромео

Меркуцио, довольно!
Ты вздор болтаешь.

И неужели, неужели Толстой, сказавший о себе, что он умел «ценить и понимать поэзию везде, где находил ее, у всех народов и во все века», не скажет об этой странице, что человечеству и ему самому, Толстому, было бы скучнее жить, не будь эта страница написана в Англии, в XVI веке, почти одновременно с тем, как у нас поп Сильвестр писал свой неуклюжий «Домострой», а Грозный резал, топил и растлевал людей... И неужели он пояснит, что «никакой царицы Маб не существует, ибо нигде на географических картах ее царства не значится, и это — пустой и притом безнравственный вымысел, так как, пересмеяв все честные человеческие профессии, Шекспир обнаружил очень мало любви к ближнему»... Фу, задыхаемся!

Все благо под луной и солнцем,— и уж не послан ли нам последний фазис деятельности Толстого в том провиденциальном намерении, чтобы памятно и нестерпимо нам натереть «мозоль» фарисейства: дабы и через 10—50 лет, если кто-нибудь, подняв очи к небу, начнет вздыхать, что «Шекспир дурно относился к рабочему классу» или что Гете не всегда подавал филантропическую копейку, мы и потомки наши с мукою закричали все: «Ах, Боже, это опять как у Толстого, замолчите!» Его рассуждения последних лет имеют прелесть веревки «с коростой», которою, продев ее через живое тело, пиликают взад и вперед.

Каково отношение Толстого к культуре? Чем он является в нашей бедной русской культуре?

Культура есть движение, культура есть любовь. История началась не с первого негодования человека, не с Каина: она началась с первого восхищения человека, с жертвы Богу Авеля, «Богу», т. е. вот всему этому миру, и дубравам, и звездам, и верно «кому-то, кто прячется за покровом звезд и дубрав». Кто ведает, что думал человек, когда приносил свою первую жертву...

«Colo» — чту, почитаю; отсюда супинная форма — cultum, и уже отсюда существительное — «культ», и другое, дальнейшее — «культура». Все это — «почитание», связь «почитаний», родство «почитаний». В наше время всяческих отрицаний и порицаний ужасно трудно проводить эту мысль, что великое, почтенное, седое древо истории все и выросло из этих «почитаний»; и хотя, конечно, разрушения, революции суть совершенно необходимые условия роста, однако именно только «условия» вроде «голода» для «добывания пищи»: а история вся выросла в положительном своем содержании из великих, благоговейных, *склоняющихся* чувств. Лютер не тем совершил дело свое, что выгнал из Германии прежних попов: этим бы он ровно еще *ничего* не совершил; он велик был тем, что в XVI веке сохранил теплоту, восторг и наивность веры III—II века, энтузиазм апостольский. Так энтузиазм, а не сатиру... И революционеры XVIII века тем, и притом единственно тем были велики, что среди цинизма стародворянской Франции, Франции напудренных маркиз, ловеласничающих аббатов и кудесников, как Калиостро,— образовали мечту новой братской общины, общины бедных и трудящихся, и, словам,— «*égalité, fraternité, liberté*»... Теперь для нас это — фраза, пустой звук: сейчас Франция за эти слова и не поднялась бы на штыки и со штыками. Святость минуты, этих каких-нибудь десяти лет, и заключалась в том, что эти слова, для нас шаблонные, загорелись как первая истина, святая, непререкаемая, очевидная от старцев до 11-летних мальчиков. Они «поверили», «почтили» («colo» — «чту», «cultum», «cultura»); и этою-то верою, святою, как жертва Авеля, опрокинули старый мир, потрясли Европу. Да, и Лютер и Дантон, как ранее —

Эразм, и еще ранее — бл. Августин и совсем рано — ап. Павел: все они суть «читители», «благословляющие», «склоняющиеся». Это-то великое братство склоненных, преклоненных голов, внутри себя чему-то молящихся, кротко, послушно, смиренно, — это братство безмолвных (в первом фазисе деятельности) энтузиастов и образовало все движения в истории, ее минутные судороги и затем вековой труд — собственно «прилежания», старательной работы, именно работы около предмета мечты и энтузиазма.

Да, этот языческий символ — две белые коровы, запряженные в плуг и проводящие им борозду, куда бросаются зерна, — есть и останется навсегда символом цивилизации, культуры, истории.

Прикинем это мерило к идеям Толстого.

Ну, Шекспир «безвкусен»: что из сего следует? Перестать изучать Шекспира.

А искусство, как выдумка, «бесполезное», «лишнее»? И оно — отрицается. «Шабаш» и с искусством.

«Наука», видите ли, и та «не верна», или «ложна», «бесполезна». Закроем гимназии и университеты.

«Бог?» — «Все не достоверно!» Вот, и отлично — не надо ходить к обедне.

После всех этих «не надо» останется очень мало: останется ровно столько, сколько было до истории. Может быть хорошо? Для кого как.

Толстой — гениален, и проживет без «наук, истории и религии». Зачем ему все это, если все это из него самого растет? Счастливая почва. Но мы гораздо беднее, у нас «землицы чуть-чуть», мы — простые средние люди, без гениальности, без таланта: чем мы-то будем жить без религии, искусства и науки, без Шекспира и «праздных выдумок»?

Антикультурность Толстого есть великая без-народность: «культура» еще не так необходима индивидуумам, «кой-каким талантишкам». Но она абсолютно необходима «середине», народу, «серым», «всем»: эти-то «все» без культуры — как без рук, без ног; как рабочий без инструмента, крестьянин без сохи и ясной погоды «для сеяния». «Культура» всем помогает, всех поднимает; это — «запас прошлого», при котором и бедняк — не бедняк. Толстой — великий филантроп: между тем нет ничего более антифилантропического, так страстно-индивидуального, «ему одному нужного», и нужного вопреки решительно всем человеческим нуждам, чем эта вся его последняя деятельность, направленная против «наук, искусств и истории».

II

Часто проводится сближение между Толстым и Достоевским. По глубине вникания в душевную жизнь человека и по постоянному тяготению обоих к религии, они, конечно, близки, — и притом только они двое близки между собою в нашей литературе. Но, как известно, между ними

уже и при жизни начались нестерпимые расхождения (по поводу философствований Левина). Проживи Достоевский дольше, они возросли бы. К числу этих точек расхождения относится и искусство.

Помню, когда в 1883 году появился первый том первого «Полного собрания сочинений» Достоевского, содержащий биографию и письма его, то, читая письма его к брату Михаилу, писанные еще в 1838—1840 году, я был поражен разбросанными здесь и там мыслями его о литературе, или, точнее, его *чувством* чужого слова, чужого вымысла, манеры и художества. Притом — чувством совершенно оригинальным, ему *лично*, Достоевскому, принадлежащим, не вычитанным, не заимствованным. Время это было совсем юношеское. В одном месте письма Достоевский, парируя упрек брата, почему «Федя не отвечает ему на письма по всем пунктам», замечает, что не хватило бы для ответов «по пунктам» ни времени, ни бумаги, и что поэтому такие вопросы, как «есть ли у тебя усы» (т. е. начали ли они расти), он вынужден оставлять без ответа. Он был в старших классах Инженерного училища, проходил лагерную службу, писал письма к отцу, начинаемые неизменным: «Любезный папенька»... Словом, — юность в полном цвету, «детство» еще на губах не обсохло; и не без упрека нашему времени и нашему юношеству нельзя не указать, какую бездну книг прочли уже в этот возраст оба брата, живя в нужде, ученическом затворе и довольно аккуратном выполнении всех требований учено-военной школы. Можно сказать, внутренний огонь, огонь страстной жажды литературы, пожирал обоих братьев: и они сквозь все препятствия успели к 18—19 годам познакомиться с такими произведениями, каких часто и в зрелые-то годы еще не читали, по крайней мере *так* не читали, с этим *жаром*, современные нам мужи, подвигающиеся на поприщах техники и даже педагогики и наконец науки! Литературные образы, навеянные чтением, так и мелькают в письмах, и собственные ощущения, начинающийся опыт жизни, чередуются с воспоминанием ощущений литературных героев. В письме от 9 августа 1838 г. он пишет:

«Не знаю, стихнут ли когда мои грустные идеи? Одно только состояние и дано в удел человеку: атмосфера души его состоит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя человек; закон духовной природы нарушен... (пропуск в напечатанной части письма). Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешной мыслью. Мне кажется, мир принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира». И, несколько далее: «Видеть одну жестокую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно, чтобы разбить ее и слиться с вечностью (говорится о самоубийстве), знать это и однако оставаться как последнее из созданий... Ужасно! Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные, дикие речи, в которых звучит стенанье оцепенелого мира, тогда ни грустный ропот, ни укор не сжимают груди моей... душа так подавлена горем, что боится понять его, чтобы не растерзать

себя. Раз Паскаль сказал фразу: «Кто протестует против философии, тот сам философствует». Жалкая философия. Но я заболтался»...

Читатель не улыбнется выпренности языка: ведь пишет юноша с невыросшими усами. Но слова о «небе и земле, соединенных в человеке» — не фраза, а свое, задушевное. И оно пронесено было, это раннее чувство, Достоевским до могилы, повторившись на краю ее в словах незабываемой силы и значения: «Бог взял семена из миров иных и насадил сад свой на земле: но все, что живо на земле,— живо этим чувством касания своего с мирами иными». («Бр. Карамазовы» — глава «Из поучений старца Зосимы».) Мысль здесь та же самая, как в этом раннем отрывке, и после него сейчас: «Гамлет! Гамлет!» Вот, кажется, Толстой никогда не переживал хроники-трагедии Шекспира этим своим *личным* чувством; не мерил его мерою своего параллельного ощущения. Несчастье и слабость его критики шекспировского творчества проистекает из того, что он смотрел на него не как на факт *бывалой и бывающей* психологии «вот у меня», «вот у него», а только как на книгу,— притом не свою, не русскую, а какую-то «из английской литературы XVI века».

В том же письме, в конце его, Достоевский пишет:

«Ну, ты хвалишься, что перечитал много... но прошу не воображать, что я тебе завидую. Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. Весь Гюфман, русский и немецкий (т. е. непереуведенный «Кот-Мур»), почти весь Бальзак (Бальзак — велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека). «Фауст» Гете и его мелкие стихотворения, «История» Полевого, «Уголино», «Ундина» (об «Уголино» напишу тебе кое-что после). Также Виктор Гюго кроме «Кромвеля» и «Гернани». Теперь прощай; пиши же, сделай одолжение».

Слова о Бальзаке и самая форма, в какой они сказались, замечательны. Не забудем, что это сказано в ту пору литературного романтизма и идеализма, когда все, и старики и молодежь, зачитывались Гете и Гегелем, и когда чувство *натурального*, так сказать, *физиологического* в искусстве, было очень слабо, если не совсем отсутствовало. Сам Гоголь был натуралистом-художником, а не натуралистом-физиологом: он был натуралист в *приемах* изображения, а не в чутье действительности, не по *вкусу* к ней. Бальзак богат именно этим вкусом к реальному, к грязной улице, к пузатому человеку: слова Д-кого «о тысячелетиях, которые подготовили появление Бальзака», и имеют в виду не «тысячелетия» собственно, но всю эту толпу романтических и идеалистических чувств, давно сложившихся и застывших, казавшихся в ту пору «вечными».

Пишет все это еще ученик школы, даже не последнего класса, судя по последующему письму от 31 октября: «Скверный экзамен! Он задержал меня писать тебе и папенье. И что же вышло? Я *не переведен!* О, ужас».

Кому знаком уровень развития наших уже 18—20-летних гимназистов, кто читывал их «сочинения на испытание зрелости» и поражался

непередаваемой неуклюжестью, неповоротливостью их мысли, отсутствием всякого *мастерства* в обращении с идеями и со словом, тот будет изумлен зрелостью всех этих писем, с мелькающими абзацами философского содержания:

«Ум — способность только материальная, душа же живет тем, что нашептывает ей сердце. Ум — только орудие или машина, движимая огнем душевным»... «Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное — природа!.. Заметь, что поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначение философии. Следовательно поэтический восторг есть восторг философии. Следовательно философия есть та же поэзия, только высший градус ее!.. Странно, что ты мыслишь в духе нынешней философии: сколько бесплодных систем ее родилось в умных пламенных головах».

Какой крепкий язык, уверенность в тоне. Точно пишет 40-летний человек.

Читатель отметит в уме своем это постоянное стремление Достоевского, — столь противоположное у него с Толстым, — вникать в *усложнения* всякого рода, будут ли то усложнения мысли или усложнения жизни, а не бежать от усложнений, бежать к тому «простому» (любимое понятие Толстого, любимейшие им явления жизни), которое нередко есть просто элементарное, — есть только легкое, нетрудное. Отсюда, любя труд и не отрицая с первого же налета сложностей и запутанностей бытия и мышления, Достоевский никогда не мог начать восставать против «науки» и наукообразности, как таковой. Все это делает из Достоевского глубоко-культурного писателя, в том значении «культуры», как мы объяснили выше. Самый пламенный ученик Достоевского, «вторя словам учителя», никогда не будет накидываться на неусвоенную и неперевавленную науку. Да и «повторять слов» ему вовсе не придется: проникнутый Достоевским, он будет учиться и учиться, вникать и вникать, читать и читать: вещь совершенно противоположная «простому» (и, заметим, не трудному) образу жизни в толстовских колониях. У Достоевского попадают в «Дневнике писателя» и в «Бр. Карамазовых» выходы против науки, издевательства, напр. над естествознанием, над физиологией, над «Бернарами» (Клод Бернар в изложении Митеньки Карамазова): но в направлении и по мотивам совершенно противоположным тем, по каким это делал Толстой. Толстой бранил науку за то, что она слишком «хитра», а Достоевский смеялся над тем, что она слишком уж «не хитра». Он бранил *текущий* только фазис науки, этот позитивизм наших 70-х и европейских 50-х — 70-х годов, с его надменной верой, что он все уже объяснил или все скоро объяснит, что вне его путей нет, а собственная его коротенькая дорожка заключается в монотонном повторении, что «Бога — нет, души — нет, а есть только нервы-с». Против этой коротенькой и самодовольной науки Достоевский и спорил: и не прошло четверти века, как наука сама слишком оправдала предвидения Достоевского, вечный зов его к сложному, глубокому,

к трудному и неисследимому. В напечатанной после смерти его (в том же изд. 1883 г., т. 1, стр. 370) «Записной книжке» он, набрасывая черновик своего ответа Кавелину, говорит: «Есть некоторые жизненные вещи, живые вещи, которые весьма, однако, трудно понять от чрезмерной учености. Ученость,— такая прекрасная вещь даже и в случае чрезмерности,— обращается от прикосновения к иным *живым* (курсив у Достоевского) вещам в вещь даже вредную. Не все живые вещи легко понимаются. Это аксиома. А чрезмерная ученость вносит иногда с собой нечто мертвящее. Ученость есть материал, с которым иные очень трудно справляются...»

«Чрезмерная ученость не всегда есть тоже истинная ученость. Истинная ученость не только не враждебна жизни, но в конце концов всегда сходится с жизнью и даже указывает и дает в ней *новые откровения* (курсив Достоевского). Вот существенный и величавый признак истинной учености. Неистинная же ученость, хотя бы и чрезмерная, в конце концов всегда враждебна жизни и отрицает ее. У нас об ученых первого разряда что-то не слыхать, второго же разряда было довольно, и даже только и есть, что второй разряд. Так что будь расчрезмерная ученость,— и все-таки второй разряд. Но ободримся, будет и первый. Когда-нибудь да ведь будет же он. К чему терять всякую надежду».

Сколько здесь культуры; я хочу сказать,— сколько уважения к мысли человеческой, к этим ретортам, трубкам, телескопам. Но у нас только «второй сорт» науки, о котором Толстой говорит: «и такого не надо, никакого не надо! слишком сложно! Мужик пашет, верит и мудрит без науки».

В приписке к письму от 31 октября 1838 г. Достоевский пишет тому же брату Михаилу: «Да! Напиши мне главную мысль Шатобрианова сочинения «Genie du Christianisme». Недавно в «Сыне Отечества» я читал статью критика Низара о Victor Hugo. О, как низко стоит он во мнении французов; как ничтожно выставляет Низар его драмы и романы. Они несправедливы к нему; и Низар, хотя умный человек, а врет...» «Позабыл сказать: Ты, я думаю, знаешь, что Смирдин готовит Пантеон нашей словесности книгою: «Портреты 100 литераторов с приложением к каждому портрету по образцовому сочинению этого литератора». И вообще — Зотов (!?) и Орлов (Алекс. Анфимов.) в том же числе. Умора!»

Низар — очень известный французский критик. «Сто русских литераторов», издаваемых Смирдиным, могли все сплошь показаться авторитетными юноше, еще не обмакнувшему пера в чернильницу: но Достоевский на все смотрит своим глазом и обо всем имеет свое суждение, не повторяя, не перепевая.

В ту пору он сблизился с каким-то Шидловским, и по письму его от 1 января 1840 г. (к тому же брату Михаилу) можно почти безошибочно сказать, что идеалист-юноша, выведенный в «Белых ночах», есть именно этот Шидловский, а самые «белые ночи» переживались обоими друзьями вместе в 1839—1840 гг. Тут все подробности, наконец, и несчастный

роман, переданный в «Белых ночах», — все совпадает. Мы приведем этот отрывок, который говорит о молодости великого романиста ярче всякой биографии, и даже возможной «автобиографии на старости лет», каких довольно в литературе и которые так мало дают читателю. Тут вплетаются мимоходом и его заметки о литературе.

«Духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. Он страдал! Тяжко страдал! Боже мой, как любит он какую-то девушку (Marie, кажется). Она же вышла за кого-то замуж. Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии. Пробираясь к нему на его бедную квартиру, иногда в зимний вечер (ровно год назад), я невольно вспомнил о грустной зиме Онегина в Петербурге (8-я глава). Только передо мной не было холодного создания, пламенного мечтателя поневоле, но прекрасное, возвышенное создание, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир, и Шиллер; но он уже готов был тогда пасть в мрачную манию характеров Байроновских. Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя Бог знает о чем...» «В последнее свидание мы гуляли в Екатерингофе. О, как провели мы этот вечер! Вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили, столько читали. Мы говорили с ним о нас самих, о будущем, о тебе, мой милый. Теперь он уже давно уехал, и вот ни слуху, ни духу о нем. Жив ли он? Здоровье его тяжело страдало. — Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии... Это знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни... Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат. Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им, и я думаю, что ничего более к стати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с Шидловским Шиллера, я поверял *над ним* (курсив Д-го) и благородного, пламенного Дон-Карлоса, и маркиза Позу и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя, и наслаждения! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний. Они горьки, брат, вот почему я ничего не говорил с тобою о Шиллере, о впечатлениях, им произведенных: мне больно, когда я услышу хоть имя Шиллера».

Нужно заметить, что и брат Михаил, и Шидловский, оба писали стихи. Все трое пережили «шиллеровскую эпоху» бреда, угара, восторгов, надежд: но Достоевский в Шидловском получил нечто осязаемое, по которому «шиллеровщина» сделалась для него не отвлеченным воспоминанием, не «книгою», когда-то прочитанною, а живой жизнью, пережитою до боли при одной мысли о ней. Припоминая «Записки маркера» у Толстого, как и предшествовавшую им «Юность», где очень много автобиографического, мы видим, что он никогда не переживал так пламенно и жизненно литературных впечатлений, и что вся вообще обстановка его воспитания была духовно грубее. Это была та обстанов-

ка материального богатства или во всяком случае обильного достатка, среди которого физическая сторона горько преобладала над духовною. Да и вообще этот сытно-помещичий быт, который так поэтически и роскошно воспроизведен Толстым и в ранних, и в поздних его произведениях, конечно имеет свои качества: это — здорово, красиво, вкусно, не деморализует. Но... все коровы и коровы, сенокос да сенокос. Это немножко бедно, бедно именно для половины XIX в., когда человечество жило уже все израненное, и когда слишком прошли идиллии Алкиноя, Навзикаи и т. п. безмятежного эпоса.

III

В нашей литературе, со времен действительно «простого и ясного» Пушкина и со времен Гоголя, доведшего эту «простоту» до вульгарности, установилось жесточайшее отрицание всего патетического, громкого, широкого в чувствах, возвышенного в словах. Может быть, это и основательно, может быть, это даже хорошо. Это, во всяком случае, соответствует градусу северной широты, под которым мы живем, — тому «умеренно-холодному климату», под которым формировались наши нервы. Но если у нас были только Свароги, Перуны и «каменные бабы» по приазовским степям, были развалистые и неудачные Гостомысли и Боярская Дума, где старцы сидели «уткнув бороду и молча», то утверждать, будто и везде было только это, что в этом положена мера души человеческой, переступая через которую она вступает в ложь, кривлянья и ходульность, — нелепо. Есть иные климаты, иные чувства, была иная история. Еще кое-как мы умеем усвоить эту историю в чисто внешнем сцеплении фактов, но понять *душу* этой истории, как она сказалась в словах, в речах, патетических, героических — мы решительно бываем не в силах. Это отразилось совершенным нашим непониманием героической литературы романских стран — Франции, Испании, отрицанием в ней «простоты, правды и натуральности», а с ними и всякой литературной значительности, поэзии, художества. У нас никакого нет чувства к трагедиям Корнеля, Расина, к поэзии В. Гюго. В этом направлении восхваления «серого», среднего, «умеренно-холодного» (по климату) действовали у нас все, решительно все, начиная от великих критиков и кончая безвестными анонимами в печати и, наконец, говором толпы. Вспомнишь невольно упреки Ксенофана грекам: «Жители Африки представляют себе богов *черными и курносыми* — мы, эллины, рисуем их как *себя*; а если бы были где люди красные или желтые, то они наверно представляли бы себе богов красными и желтыми». Вспомнишь и определение «красивого» физиологами: «красивое — это только *любимое*». Мы, русские, просты и не патетичны: и «боги» у нас, в том числе и литературные «боги», — просты, натуральны и не красноречивы. «Все прочее — риторика», «все прочие — *идолы*, а не живые подлинные боги». Этому нас учил еще Белинский и за ним все, все; учили западники, учили

славянофилы. Толстой своим отвержением «искусства», «искусственно-го» — насколько оно изукрашено и патетично — не сказал ничего нового в нашей литературе, а положил только последний камень на это здание «родной русской эстетики», ни мало не универсальной, глубоко местной.

Когда в 83 г. я читал письма Достоевского, меня поразила оценка его, еще юноши в 1840 году, так называемой «ложноклассической литературы»: оценка до такой степени зрелая, психологически-проникновенная, какой мы ни у кого из наших писателей не встречали. Некоторые же формулы, данные у Достоевского, напр. о Гомере, таковы, что их можно взять эпиграфом к монументальным историческим трудам. Письмо это — то самое, в котором дело идет и «об усах» (стр. 16 и след. переписки):

«...Оправдываюсь только в одном: я не сортировал великих поэтов и тем более,— как ты пишешь,— не зная их. Я никогда не делал подобных параллелей, как между Пушкиным и Шиллером. Не знаю, с чего ты взял это; выпиши мне, пожалуйста, слова мои; а я отрекаюсь от подобной сортировки; может быть, говоря о чем-нибудь, я поставил рядом Пушкина и Шиллера, но я думаю, что между этими словами есть запятая. Они ни мало не похожи друг на друга. Пушкин и Байрон — так. Что же касается до Гомера и Victor'a Hugo, то ты, кажется, нарочно не хотел понять меня. Вот как я говорю: Гомер (баснословный человек может быть, как Христос — воплощенный Богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гете. Вникни в него, брат, пойми Илиаду, прочти ее хорошенько (ведь ты не читал ее, признайся). Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной жизни, совершенно в той же силе, как Христос новому. Теперь поймешь ли меня? Victor Hugo, как лирик — чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии: и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, ни Байрон, ни Пушкин. Я читал его сонеты на французском. Только один Гомер, с такою же непоколебимой уверенностью в призвании, с младенческим верованием в Бога поэзии, которому служит он,— похож в направлении источника поэзии на Victor'a Hugo; но только в направлении, а не в мысли, которая дана ему природою и которую он выражал; я и не говорю про это. Державин, кажется, может стоять выше их обоих в лирике».

Дело в том, что героичность и эстетизм у Гюго и Державина — это так же искренно, натурально, задушевно, правдиво, как у Гл. Успенского его «Нравы Растеряевой улицы». И в последних на ниточку нет больше «правды и естественности», чем у Гюго в монологах его трагедий. Хотя мы, которые приблизительно движемся в пределах «Растеряевой улицы», и не в силах почти относиться иначе к этим монологам, как к крайней вычурности, ходульности и «лжи».

И далее, Достоевский говорит еще подробнее о той же поэзии:

«О форме в стихах твоих потолкую в следующем письме, теперь нет ни места, ни времени. Но скажи пожалуйста, говоря о форме, с чего ты взял сказать: «Нам не могут нравиться ни Расин, ни Корнель (?!?!) оттого, что у них форма дурна». Жалкий ты человек! Да еще так умно говорит мне: *Неужели ты думаешь, что у них нет поэзии?* У Расина нет поэзии? У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? И это можно спрашивать. Да читал ли ты *Andromaque*? А? Брат? Читал ли ты *Iphigénie*; неужели ты скажешь, что это не прелестно. Разве Ахилл Расина не Гомеровский? Расин и обокрал Гомера, но как обокрал! Каковы у него женщины. А *Phedre*? Брат! Ты, Бог знает, что будешь, ежели не скажешь, что это не высшая, чистая природа и поэзия. Ведь это Шекспировский очерк, хотя статуя из гипса, а не из мрамора. Теперь о Корнеле. Послушай, брат. Я не знаю, как говорить с тобой; кажется à la Иван Никифорович: *«гороху наевшись»*. Нет, не поверю, брат! Ты не читал его и оттого так промахнулся. Да знаешь ли, что он по гигантским характерам, духу романтизма — почти Шекспир. Бедный! У тебя на все один отпор: «Классическая форма». Бедняк! Да знаешь ли, что Корнель появился только 50 лет спустя после жалкого, бесталанного горемыки Jodel'я, с его пасквильной Клеопатрою, после Третьяковского Ronsard'a, и после холодного рифмача Malherb'a, почти его современника. Где же ему было выдумать форму плана! Хорошо, что он ее взял хотя у Сенеки. Да читал ли ты его «*Cinna*»? Перед этим божественным очерком Октавия, перед которым (какая-то замененная точками брань) Карл Мор, Фiesco, Тель, Дон-Карлос. Шекспиру честь принесло бы это. Бедняк — ежели ты не читал этого, то прочти, особенно разговор Августа с *Cinna*, где он прощает ему измену, но как прощает! Увидишь, что так говорят только оскорбленные ангелы. Особенно там, где Август говорит: «*Soyons amis, Cinna*» *. Да читал ли ты «*Ногасе*»? Разве у Гомера найдешь такие характеры. Старый Ногасе — это Диомед. Молодой Ногасе — Аякс Теламонид, но с духом Ахилла, а Куриас — это Патрокл, это Ахилл, это все, что только может выразить грусть любви и долга. Как это велико все. Читал ли ты «*Le Cid*»? Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах перед Корнелем. Ты оскорбил его. Прочти, прочти его. Чего же требует романтизм, ежели высшие идеи его неразвиты в *Cid'e*. — Каков характер Don Rodrigue'a, молодого сына его, и его любовницы! А какой конец! Впрочем, не сердись, милый, за обидные выражения, не будь Иваном Ивановичем Перерепенко».

Здесь, задолго еще до написания «Бедных людей», дан полный очерк того Достоевского, который и до могилы остался тою же безмерно преданною литературе душою, — преданною ее интересам, вымыслам, горечи, сладости, положению, влиянию, всему. Никто более Достоевского, «от молодых ногтей», и до гроба, не жил так исключительно

* «Будем друзьями, Цинна» (фр.).

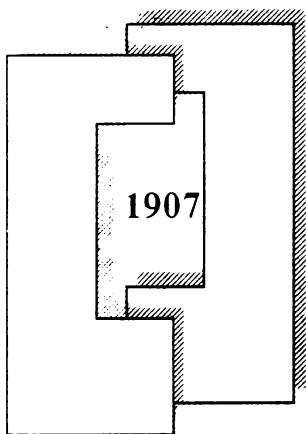
литературою, так всецело ею, без помыслов об ином, без интересов в ином. От этого «сладкие вымыслы» поэзии гораздо понятнее Достоевскому; роднее, «свойственное»; вкуснее, чем Толстому, который прибавлял литературу к большому положению, старому роду, значительному богатству. Никогда улитка не может отделиться от своей раковины: и человек, даже великий, не может изолироваться от обстановки рождения, воспитания и труда своего. Тут скажутся «неодолимые веяния»... Но и не это одно. В суждениях об искусстве и науке Толстого сказалась чрезмерная его насыщенность, сытость всяческим преизбыточеством, духовным более всего, но частью и материальным. Толстой так одарен был художественными дарами, наконец, он так сразу был признан, и в этом признании, восходя все на высшие и высшие ступени, дошел наконец до всемирной славы, что для него открылась полная психическая возможность... посмотреть на все сверху вниз. Все далось легко, — далось все, решительно все! Мы не можем указать в нашей литературе и даже в нашей истории ни одного человека, который до такой же полноты был бы одарен или обладал бы всем. Иногда, смеясь, хочется сказать, что «Бог нарочно выдумал Толстого, чтобы показать людям пример всяческого счастья». Не говоря об «обыкновенном человеческом, что все дано ему, — уже при жизни лучшие скульпторы, великие живописцы, биографы, библиографы сыплют к ногам его «воспоминания», «описания», книги, каталоги, статуетки, картины: «как он ездит верхом», «как он пашет», «стоит, засунув руки за пояс», «стоит босой», сидит «за письменным столом», «в кресле», «в семье», «один»!.. О царе Давиде писали меньше при жизни... Был мотив ему (в 80-х годах) сравнить себя с Соломоном... Одного он не знал, земного, нашего, всеобщего счастья: счастья особенных постижений и особенной духовной красоты, приносимых страданием. К числу этих постижений и этой красоты относится скромность: простое сознание своей ограниченности, немощи, бессилия; простой способности восхититься «до сумасшествия» другим — трудом другого, личностью другого. Нам все это дано больше, чем ему: и ведь нельзя отрицать, что напр. так увековечивая его бронзою и красками, люди не испытывают *для себя и своего* счастья. Как я помню, еще студентом, смотря «Зимнюю сказку» Шекспира, в одном трогательном месте не мог удержаться слез. И все мы плачем — в театре, другие в церкви, в музеях, над книгами, перед картинами. Вот этих слез, я думаю, никогда не испытал Толстой. Его суждения о науке, об искусстве — существенно сытые, и потому недалекие суждения. Достоевский же смотрел на искусство как на «божество», именно из страдальческой бедности, одиночества своего, болезни своей. И наконец оттого, что самый труд его в этой области далеко не был так легкий и успешен. «Мне Голядкин опротивел», — пишет он о герое «Двойника», второй своей повести, на которую в смысле успеха он надеялся еще больше, чем на «Бедных людей». «Многое в нем написано наскоро и в утомле-

нии. Первая половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя».

Ему *трудно* было мастерство. По-видимому, «вдохновение» находило на него как порыв ветра, как буря и бури, сменяемые полным штилем, туманом, «гадостью»: у Толстого же его «вдохновенье» есть почти просто нормальное состояние духа, как бы «стена света», идущего справа, — идущего, не уходящего, не останавливающегося. «Стоит» — и все тут, без заслуг, без усилия. «Какая же в нем цена, когда это ничего не *сто́ит*», — подумал Толстой. — «Мне не стоит, а потому и *миру* нечего в нем ценить». «Искусство? Что такое искусство?» — «Кому оно нужно?» — спросил он, как барин, который, съедая каждый обед вкусное жаркое, сказал бы: — «Повар? кухня?! Зачем! Я не готовлю, не жарюсь около плиты и всякий день съедаю чудно изжаренную куропатку. Пусть поступают все, как я. О чем говорит и Христос: «не пещитесь убо на утро» и «взгляните на птицы небесныя»... Вот — я! И так могут все».

«Всем» на это остается только улыбнуться...

Скромностью своею, и тем, что он стал к культуре в *подчиненное, любующееся и любящее* отношение — Достоевский несравненно образовательнее и воспитательнее Толстого. Я боюсь, что слова мои о том, что Толстому все и сразу удалось, а Достоевскому то же самое давалось труднее, многие выведут заключение, какого я не имею в уме. Редкие «пики» (вершины) творчества у Достоевского, — если выбрать страниц восемьдесят на его 14 томов — достигают *в тоне своем* такого могущества, красоты, сияния, такого проникновения в мировую «суть вещей» и такого вдохновения, увлечения, веры, каких у Толстого вовсе не встречается. Толстой являет нам как бы горную страну, — ну, Швейцарию: все — гористо, везде — великолепно. Все подымаешься (я говорю о читателе), везде оживлен. Предгорья переходят в горы, вечно подымаешься — но нигде не уходишь в облака, еще менее — за облака. Не «заоблачный писатель», нет. У Достоевского после «скверности, дряни, из души воротит», — о которых он признавался в письме, — наступают неожиданно такие «пики» заоблачности, мечты, воображения, обширнейших мировых концепций, какие даже не брезжились Толстому. Как это ни горько сказать, — он слишком «мещанин» для них в своей вечной сытости. Таков у Достоевского «Сон смешного человека» (в «Дневн. писателя») или «*Pro и Contra*» и «Великий инквизитор» в «Бр. Карамазовых». Чтобы так *алкать*, надо быть очень *голодным* и духовно, и физически, и всячески: бедствие и счастье, какого не испытал Толстой. И все творчество Достоевского напоминает нам не «везде великолепную Швейцарию», а какие-то полумифические Кению и Килиманджаро, о которых мы учили в географии, что эти где-то почти в неизвестной Африке под экваториальным солнцем горят вечными снегами — одни, далекие, уединенные без предгорий, без окружающего...



На закате дней

К 55-летию
литературной деятельности
Л. Н. Толстого

По естественному течению человеческих дел, уже недолго нам осталось наслаждаться закатом прекрасного светила, которое согревало и оплодотворяло русскую землю 55 лет... Мы говорим о Толстом. Все, конечно, думали эти дни, когда великий старец

переступал в 56-й год своей литературной деятельности, что еще немного лет осталось нам видеть его живым и слышать его голос, как живого участника или зрителя наших дел и тревожений. Солнышко коснулось горизонта. Огромным багряным шаром оно лежит на его линии и будет заходить, заходить... Вот половина, четверть, краешек, вот ничего. «Ничего» там, где жил человек! «Ничего» там, где стоял Толстой! Опустелая Ясная Поляна, ненужная нам более, неинтересная, — неинтересная иначе, как посмертная вещица, оставшаяся после великого человека... Как мы вздрогнем тогда, как ахнем и затуманимся великим национальным трауром...

Но пока еще этого нет, и вся Россия с любовью и страхом смотрит туда, на маленькую станцию московско-курской железной дороги, на эту Козлову Засеку, откуда ездят обыкновенно к Толстому в его старое родовое имение. И всякая добрая весточка о здоровье, оттуда выносимая, всех радует; а всякая худая или сомнительная весть о здоровье же, оттуда выходящая, приводит в беспокойство и смущение миллионы русских сердец. И «икается», должно быть, старичку от этого «поминания» его всею Россией, — скажем мы народным поверьем.

Что мы думаем, что говорила эти дни Русь о нем?

— Близок к закату величайший мастер человеческого слова.

— Близок к закату первый живописец нашего русского быта, состояний и положений русской души, обрисовщик русских характеров.

— Близок к закату самый страстный на земле правдоискатель.

— Близок к закату самый горячий наш народолюбец.

И все это сливается в общее сознание, в общий вздох:

— Близка к закату величайшая личность нашего времени.

Думается так не в одной России, но в Германии, Франции, Англии, Италии, за океаном, в Америке, в далеких странах Азии и Африки,

где всюду есть свои читатели у Толстого, есть «культ Толстого» из горячих последователей его нравственного учения.

Остановимся на этих всеобщих определениях, какие связываются с именем Толстого.

Величайший мастер слова

В вековой евангельской притче рассказано, что всякий человек «получает от Бога талант», но что Бог наказывает того, кто этот полученный дар «зарывает в землю», то есть не «теряет и растрчивает», как обычно истолковывают это место Евангелия, а *сохраняет в полученном виде*, для своего личного употребления, *не растит, не множит*. «Полученное от Бога» мы должны взрастить, умножить, утроить, удесятить. Так в торговых странах Иудее и Сирии, в соседстве с торговой Финикией, Иисус сравнивал с «купцом, умножающим товар», «удвояющим капитал», жизнь человеческую и то небесное назначение, выполнения которого Бог хочет от всякого человека.

«Даром, получаемым от Бога», без своих усилий, без личных напряжений, был его великий дар слова в смысле вообще литературного мастерства. Известно, что в последнюю морализующую фазу своей жизни он не придает особого значения таким литературным произведениям, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Детство и отрочество», «Казаки». Это и справедливо, и несправедливо. С точки зрения субъективного его ощущения он вправе был не придавать особенно *личной* цены произведениям, где выразился чистый «дар Божий», без того «приумножения» его, какого от человека требует Бог. В этот же, второй, морализующий, фазис жизни он занят был «приумножением» Божьего дара, *тем новым*, что он вносил в историю человеческую, в жизнь человеческую *своим личным усилием*, своими *размышлениями*, выводами *ума* своего и решениями своего *сердца*. Он весь сосредоточился на этом, трепетно сосредоточился. Он копал именно *эту* траншею, не другую, и, как всякий *настоящий* работник, смотрел на то, что у него под руками, перед глазами, не глядя ни назад, ни по сторонам. Но для всякого, кроме его самого, совершенно очевидно, что его «морализующее» слово оттого и разносится на два полушария, что оно принадлежит автору «Войны и мира» и «Анны Карениной», который приобрел себе читателей-*энтузиастов* в обоих полушариях как великий художник слова.

Основное в Толстом, самое главное, чему он всем обязан, есть непосредственный, счастливый, неблагоприобретенный «дар Божий». Это его великий талант, в котором мы должны сейчас же различить две стороны.

Мастерство собственно *слова*, эту словесную *ткань*, из которой сотканы его произведения; кусочки речи от точки до точки, если взять их из различных его произведений и из разных фаз его возраста и творчества. И, во-вторых, совсем другое: *архитектурное построение* его

произведений, их план и сработанность, эту великую *кройку*, какую получала в руках его словесная ткань. Нам думается, что гениальное принадлежит «кройке», а самый материал его работы, вот эта словесная ткань, тянущаяся по страницам и томам его романов, повестей и рассуждений, конечно, добротного, хорошего качества, местами отличного, но, однако, не представляет ничего необыкновенного, и, во всяком случае, неизмеримо уступает словесной ткани Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Весьма возможно в будущих судьбах русской литературы, что мастерство слова трех поименованных художников не будет вообще *никогда* превзойдено, ибо под пером их, во вдохновениях их духа, русский язык натурально и естественно *созрел, завершился*, и ему вообще некуда дальше развиваться, двигаться иначе, как в сторону плана, архитектуры, компоновки целого литературного произведения, куда он неизмеримо продвинулся дальше после смерти Гоголя, последнего великого из великих; продвинулся у Толстого и Достоевского, да даже у Тургенева и Гончарова.

Сила слова, *красота* его,— красота одной, двух, немногих, десяти строк: нуте, отыщите у Толстого такие десять строк, которые выучили бы наизусть оба полушария, вызубрили от невольного *очарования* и помнили наизусть. А у Пушкина — его стихи? У Лермонтова — его «Три пальмы», «Спор», «Когда волнуется желтеющая нива» и «В полдневный жар в долине Дагестана». Без приневоливания все знают это наизусть; мальчики и девочки лет в четырнадцать *сами* учат. То же в прозе — «Тамань» и вообще *некрупные* отрывки «Героя нашего времени» (дневник Печорина теперь уже несносен или едва сносен в чтении), у Пушкина, например, характеристика бабушки в «Пиковой даме», у Гоголя решительно все полотно «Мертвых душ», «Коляска», «Вий». Все это — да будет прощено ради точности грубое сравнение — самые густые сливки, данные русской литературной коровой, гуще которых она, кажется, вообще не может дать. Употребляю это сравнение, чувствуя, что в литературе есть, в самом деле, что-то живое, живым органическим способом вырабатываемое в недрах наций, в недрах французского, итальянского, германского, русского народов... Ведь в слове есть слуховое, т. е. *физиологическое*, очарование... «Зачитываемся»... Повторяем, плачем над словом... Тут есть психофизиологическая магия. У Толстого, если сравнить его с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем, *хорошее* обыкновенное молоко; теплое, парное, для души и тела целебное, очень вкусное. Но чтобы «по душеньке так вот и текло», как неслыханная сладость, — этого нет. А у Грибоедова есть, у Крылова есть, и из такой «сладости» состоит почти все написанное Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем.

Сколько строк посвящено Гоголем Петрушке, лакею Чичикова?.. Если сложить все отдельные строки, разбросанные на протяжении длинного произведения, то едва ли наберется больше одной страницы. Ведь нет его общей характеристики, все отдельные, оброненные замечания.

А между тем Петрушка всей Россией помнится и *живо представляется*, не менее живо (а в сущности живее), чем Николай Ростов, которому в «Войне и мире» Толстой посвятил целые главы, да и вообще это почти главное лицо романа. Ростов и Чичиков,— можно ли сравнить по силе изображения?! Помните ли вы, читатель, по имени хоть одно лицо из севастопольских рассказов, из «Казаков», т. е. припоминаете ли моментально, без усилий? Между тем без всяких усилий вся Россия помнит Осипа, слугу Хлестакова, хотя он выведен только раз и произносит всего один монолог, притом пустого, ничтожного значения. Поэтому мы можем сказать, что у Гоголя был резец Фидия, которым *где* он ни проведет, все *это, где* провел, и остается вечно жить, не забывается, не может забыться! У Толстого же резец хороший, но обыкновенный.

По *слову, стилю* своему Толстой и не поднялся бы никогда на ту высоту, на которой он стоит для всего мира. Иностранцы этого никогда не почувствуют. Но мы, русские, обязаны сказать им эту простую и справедливую истину, что Толстой не есть величайший и даже не стоит среди величайших волшебников *слова* русского.

Теперь мы перейдем к другому,— к архитектурному расположению литературных произведений. В этом отношении «Война и мир» *неизмеримо* превосходит собой «Мертвые души». На вопрос, что ему более дорого, что, в случае выбора, он предпочел бы сохранить для русской литературы и, наконец, *себе лично на воспоминание и сбережение*,— «Мертвые души» или «Войну и мир»,— каждый или большинство русских ответили бы:

— Конечно, «Мертвые души» выше как *литературное произведение*, но для меня и, вероятно, для России в «Войне и мире» есть что-то неизмеримо более *дорогое, милое, ценное, прекрасное*. Наслаждения, этого эстетического наслаждения, дьявольского щекотания нервов, конечно, я испытываю больше при чтении поэмы Гоголя, и вообще она сильнее, гениальнее, властительнее. Так. Но «Война и мир» мне *нужнее*; как человек, как русский, я без нее *менее могу обойтись*. И если бы пришлось выбрать, что оставить себе вековым другом и совершенно отказаться от другого,— я выбрал бы Толстого и его «Войну и мир». Знаете, это как хлеб: всегда *питают*; как посох, он *на всем пути* нужен, как бы ни был длинен и разнообразен путь,— ну, путь жизни, что ли. А Гоголь и «Мертвые души» — это какой-то острый лимбургский сыр для гастрономов. Или, если продолжить сравнение с посохом, это — как палочка виртуоза-капельмейстера, сделанная из слоновой кости и с золотой инкрустацией, но *на которую не обопрешься*.

Мастерства *меньше*, а произведение *дороже* — вот вывод.

Происходит это оттого, что *талант* Гоголя был неизмеримо выше, чем у Толстого, но *душа* его несравненно была мельче, уже, площе, неинтереснее и (пожалуй, главное) неблагороднее, чем у Толстого. Все — «мертвые души», обернувшийся «ревизором» прощелыга, картежные шулера («Игроки»), забавные женихи и невесты («Женитьба»), недалекие

офицеры и ремесленники, бездарные и вороватые чиновники... Фу, пропасть! Горизонт до того тесен, до того узок, что задыхаешься. В сущности, везде Гоголь рисует анекдот и «приключение», даже в «великой русской поэме» своей («Мертвых душах»); за черту передачи «бывшего случая», т. е. совершенных *по сюжету* пустяков, вот именно только «анекдота», душа его не поднимается!.. И это до того узко и, наконец, страшно, страшно именно в гении и корифее литературы, что растеряешься, ум сжимается недоумением и начинает негодовать. «Бедная ты, душа, а с *таким* даром!» — говоришь об авторе. Мощь формы и бессилие содержания, резец Фидиаса, приложенный к крохотным и по существу никому не нужным фигуркам, — это поразительно у Гоголя. В его «Носе» это достигает апогея: содержания *никакого*. Так, «тьфу», нечего и передать, бессмыслица, болтовня. Но эта, однако, «болтовня» так рассказана, что «нос квартального», соскочивший с лица своего обладателя и делающий его знакомым визиты, «надорвал животики» всей России. Тут есть что-то волшебное; и — незначительное. Гоголь был волшебником, но волшебник, так сказать, не макрокосма, преувеличенного мира, а волшебник микрокосма, преувеличенного мира, какого-то пришибленного, раздавленного, плоского и даже только линейного, совершенно невозможного и фантастического, ужасного и никогда не бывшего!

В Толстом все обратно. Форма его бессильнее, но зато какое *содержание*. Этим *содержанием*, том за томом, глава за главой, он и покориł себе мир! Он покориł его великим *благородством* души своей — на этом особенно настаиваем, — которая 55 лет без устали работала над всем великим, что нужно человечеству, народам, нужно всякой душе человеческой, от ребенка до старца, от мужика до государя. Детям он дал «Азбуку» и «Первую книгу для чтения»; взрослым — «Войну и мир»... Какое расстояние от «Азбуки» до «Войны и мира», но это расстояние, т. е. прямо *неизмеримость*, все заполнено трудом, исканием, находками! Это уж не «нос квартального, делающий визиты»... Около *содержания* и *тем* Толстого как-то уничижительно даже называть содержание и сюжеты Гоголя! «Как помещик скупал вымершие ревизские души», «как Хлестакова приняли за ревизора», «как пробовал жениться Подколесин»... Фу, да ну их всех к черту, и людей и дела их, людешек и делишек. Кому это нужно? В праздности пусть любят любители на это мастерство, но в *серьезную минуту* даже невозможно вспомнить эти сюжеты-анекдоты... ♦ Гоголь — никому не друг. Толстой — всем друг. Среди человечества Гоголь стоял как в пустыне, со своим одиноким смехом и одинокими слезами, в сущности, никому не нужными и ничему не нужными. Толстой же 55 лет дышал в раны человечества, работал плечо о плечо с человечеством, сроднился с человечеством! Какая разница, особенно нравственная! Было отчего одному не дожить до сорока лет, другому дожить до восьмидесяти. «Чти отца и мать твою, — и *долголетен* будешь на земли»... Кто человеку «отец и мать»? Целое

человечество! Конечно, это так! Все от него рождается. И это человечество Толстой почтил трудом своим, заботой, смирением перед ним!

«Друг человечества», — не с этою ли мыслью относятся к нему у нас и везде? Не за это ли так его все любят? Тезисы его, положения его, программу его не все принимают, многие решительно отвергают. Но решительно нет человека, элементарно добросовестного, который не взирал бы на эту трудовую 55-летнюю жизнь, как на некую великую нравственную гармонию, великую нравственную красоту.

Из этого вытекло следующее последствие.

Со времени смерти Байрона, Шиллера, Гёте и, может быть, Гейне ни одно имя, кроме Толстого, не делалось таким всемирно признанным, всемирно влиятельным, всемирно значащим, не становилось то аккомпанементом к хору всемирной цивилизации, то самым высоким и слышным голосом в этом хоре. После него такого голоса не останется ни у нас, ни везде. Перечисленные имена и еще Толстой являются *последними*, кто соединил на себе взоры и любовь всего образованного, размышляющего, пробивающегося вперед человечества. Это объединение на одном имени внимания всех имеет свое самостоятельное значение: оно показывает, что от Калифорнии до Камчатки, от Канады до мыса Доброй Надежды протянулась одна цивилизация, бьется один пульс, проходит один фазис истории, вопреки множественности, разнице и даже антагонизму народов и государств, сюда входящих. Афины и Спарта боролись, но был один *эллинизм*. Так и в нашу эпоху католицизм враждует с протестантизмом и обратно; германцы выступили на торговое и промышленное соперничество с англосаксами; Франция не может забыть побед Германии, но в Германии, в Англии, во Франции одинаково склоняются головы пред идеалами *простоты* и *доброты*, о которых, начиная с «Севастопольских рассказов», мощно заговорил Толстой; во всех странах с равным интересом, с одинаковым признанием всматриваются в фигуры Платона Каратаева («Война и мир») и Акима («Власть тьмы»).... Все сливаются в некотором нравственном «да» и «нет». Через это все сливаются в нравственном идеализме. Народы воюют, борются. Но это — столкновение *интересов*, это — «земля» в истории. Есть в ней «небо»: понятия *долга*, *чести*, *честного*, *доброты* связывают всех этих людей в одну семью. Между Гёте и Толстым всемирно *читаемые* Диккенс, Теккерей, Гюго, Вальтер Скотт имели за собой уже публику, а не цивилизацию. Это — странная разница: быть *всемирно* читаемым или быть *главою эпохи* или одною из ее глав. Можно все объяснить сравнением. Была свадьба принца, и, кроме рыцарей, дам и проч., на свадьбу или, точнее, в городок, где она происходила, съехались множество рестораторов, актеров, театр и мимы; и один веселый «Петрушка» так всех смешил и доставлял всем столько удовольствия, что его смотрели больше, и о нем говорили чаще, чем о принце и его невесте. Однако все согласятся, что не в «Петрушке» было дело в эти дни и в этом месте, что не для него сюда собрались герои, красавицы и все.

«Было что-то, что было», а «Петрушка» был тут только «при чем-то». И как бы он ни был занимателен и талантлив, народен и популярен, — за эти рамки «при чем-то другом и *настояще*-происходившем» ему никак не перескочить. Конечно, Вальтер Скотт и Гюго, особенно же Диккенс были очень читаемы, страстно любимы, и вообще как-то грустно прилагать к ним название «Петрушки». Возьмем на место его имена Сальвини и Поссарта, позванных «на свадьбу принца». Суть именно в *отношении к ней*, в зависимости, временности и неабсолютности. Гюго, Диккенс, Теккерей, Вальтер Скотт, наши Гончаров и Тургенев, наш Чехов — все они пришли в цивилизацию, до них и без них бывшую, «посидели за ее столом», вкушали, воспевали, но не они были *сама эта цивилизация*, в ее центральном нерве. Последнее не выражается успехом, а самым содержанием, значимостью его, стоимостью его. Без Гёте, без Байрона, без Шиллера и также без Толстого цивилизация не получила бы некоторого составного и необходимого цвета в себе; она *сама* бы стала меньше; несколько *не доразвилась бы, не дородилась бы*, разница неизмеримая со всемирной читаемостью, даже со всемирными восторгами!

Все читали Вальтера Скотта, вся Европа. То же было с Диккенсом. Гюго видел в себе такое значение, что как-то выразился, что Париж, в котором он родился, будет некогда переименован в «город Гюго». Ну, и все это прошло, и Вальтер Скотт давно переделан в розовые томики «Библиотеки для юношества», Гюго еще читается с эстрады, в гостинных и театре, и долее всех и горячее всех живет еще Диккенс... Но как-то живет одним тоненьким лучом, греет одною и ужасно одностороннею теплотою. Диккенс — цветок в цивилизации; цветок, затканый в ковер ее или выросший на лугу ее. Но все отлично понимают, что ничем эта цивилизация ему не обязана, что это она родила его, а не он рождает ее. А даже Гейне, с его мучительной гримасой, был одним из родителей, рождателей цивилизации Европы. Что она гораздо более *ему* обязана, нежели он ее «общим условиям» или ее «духу», вообще ее «течению»... Оттого-то эти люди — Толстой, Достоевский, Гейне, Шиллер, Байрон, Гёте — говорили, писали, пели с такой неизмеримою свободою. Небо было над ними, но стен около них не было. Они были «ничему не обязаны»... Странно и жутко это произнести. Они сами давали, дарили народам, цивилизации. Жребий завидный. Они были немножечко «боги» в древнем языческом смысле, т. е. вот «что-то пришло с неба», лучшее, чем обыкновенно рождается на земле. И земля сделалась лучше после их рождения.

Нельзя не заметить, что достигается это через некоторую *борьбу* с самою цивилизацией, с «духом» ее в определенный фазис истории, борьбу и победу, — если не сейчас, то потом. Цивилизация ценит всякий талант, богатеет каждым талантом. Но более всего она ценит и всего пышнее расцветает, когда в ее складки западает талант *непокорства*, буйной «своей воли», но гениальной, но прекрасной и ослепительной, неукротимой... Около такого таланта она вся бурлит и кипит, силится

убить его, но, не убив, заново формируется сама, т. е. *вырастает, усложняется, преобразάζεται*.

Из названных великанов слова я назвал бы Гёте мудрецом, Шиллера — поэтом, Байрона — судьей и карателем и Толстого — совестью этой единой цивилизации. Гейне стоит около них арлекином, пересмеивающим царей, поэтов, мудрецов и энтузиастов, говорящий, что «все это не нужно» и «всех их не нужно», или что, по крайней мере, царства их, короны и мудрые книги их не ценнее его пестрого шутовского костюма и изношенного колпака.

В творчестве Толстого отразилось множество даров его. Мы говорим не об отдельных периодах литературной деятельности, где, очевидно, и должны были выступить *попеременно* то одни, то другие дары. Нет, в *каждое* его произведение влита удивительно *многосоставная* душа, возле которой душа, например, Гоголя или Грибоедова представляется истинно нищенскою, однотонною, однострунною, как бы высоко и гениально ни звучала эта одинокая струна. Это отчасти объясняется из того, что Толстой стоял *ближе и натуральнее* всех русских писателей к жизни, к действительности. Помещик, дворянин и семьянин, он ни от чего этого не отрекался, ничем не неглижировал, ко всему привязался горячо, хорошо, все вырастил в себе: и земледельца, и землевладельца, и отца обильного семейства, деда внуков. Все это питало и грело его. Он никогда не черпал своих впечатлений только из книг или из наблюдений «на ходу», как это имеют несчастье делать почти все литераторы-беллетристы. В жизни его даже есть неподвижность. Мало видев заграницы, он не странствует и по Руси. Все сидит в Ясной Поляне. Но это хорошее сиденье, без лени, без косности, без сна. Он хорошо врос в землю, и через одну точку, через один корень русская земля, *вся* русская земля питает это красивое и долговечное дерево, свое любимое дерево. Но здесь лежит только часть объяснения сложного состава его произведений. *Сам* он является изумительно сложной натурой, сложным талантом. У Грибоедова везде недостает теплоты; у Тургенева нигде нет религиозного, христианского глубокомыслия, нигде нет *отслойка* церковноисторического жидительства; Крылову недостает интеллигентности; у Гоголя нет благодушия и простодушия, он нигде не стоит к изображаемым предметам плечом к плечу, в уровень, любя и уважая. Всюду его взгляд устремлен сверху вниз, везде-то это ястреб, выклеывающий глаз действительности. Ужасный недостаток, плачевный! Наконец, эхо-Пушкин нигде не внедряется в предметы, а, как волна, только окатывает их, омывает и несет их аромат, но не сохраняет ничего из их сущности. Благородная душа Толстого, благородная именно в силу *многосоставности*, и проникает внутрь предметов, видит их «душу» и чудно лепит их формы, любуясь ими, как артист. Он любит мир и поучает его, проповедует, жалеет его и старается сатирою исправить его («Плоды просвещения»). Нигде ту полосу земли, по которой ведет свой плуг, не отделяет от мирского поля. Теплота, правда, изобразительный талант, дар психологического прозре-

ния,— чего, чего в нём нет?! В одно и то же время он поучает, он наставник, и в то же время поучается, ученик. Он учится даже у ребят, которых обучает грамоте в яснополянкой своей школе; учится серьезно, так сказать, трагически; не говоря о мужиках и солдатах, у которых постоянно учится, он учится и у монахов, у попов (исповедь Левина в «Анне Карениной»), у армейских офицеров («Севастопольские очерки»). Кое-что находит поучительного даже у таких господ, которых явно не любит и не уважает, которые ему антипатичны, как гр. Вронский (твёрдость и постоянство воззрений и бытовых форм). Вообще в склонности постоянно и у всех учиться, усваивать глубоким внутренним усвоением чужие взгляды, чужие точки зрения едва ли кто мог сравниться с Толстым, капризным, своеобразным и гордым гением. Да, в нём это сочеталось, и его талант ученичества проистек из того, что он всегда и везде был и ощущал себя великим *maestro*. Он неодолимо чувствовал, что оригинальности в нём не убавится, сколько бы он ни повторял чужих слов, ни подражал чужим формам жизни, начиная от сектанта-мужика Сютеева и кончая великосветским львом (первая фаза его молодости и литературы) и добрым хозяйственным помещиком. Всему отдавался, ничему не отдал себя. Все вкусил, ничем не насытился. Все любил, ничему не поработил себя. Везде остался свободен, а казалось, вечно ползет за кем-то, за чем-то, как учитель сельской школы, как помещик, проповедник, щеголь, веручитель, воин.

От этой глубины и разнообразия его гения так *полно* освещение им человеческих фигур и человеческих положений. Бриллиант души своей он поворачивал к предмету то одною гранью, то другою; вводил предмет изображения в луч то голубого, то желтого, то зеленого, то оранжевого цвета. «Где истина,— смотрите сами». От этого, например, хотя, судя по эпиграфу к «Анне Карениной», он думал первоначально «рассказать» прелюбодеицу, изменившую супружескому и материнскому долгу, но *правда* дела и многогранность освещающего бриллианта-глаза сделали то, что едва ли какое-нибудь другое лицо его произведений так взволновало читающий мир и так привлекло к себе его любовь и скорбное уважение, как этот трагически-прекрасный образ. «Не смейте побивать *его!*» — крикнула читающая толпа автору: таково было отношение публики к романисту, едва ли когда-нибудь имевшее аналогию в литературе. Поэтому он «изменницу» вывел вторично («Крейцера соната»), определенно и намеренно заляпав ее грязью, придав ей тупые и пошлые черты; и, однако, правда дела и опять же многогранный его дар сделал то, что осудили все убийцу-мужа, осудили его больше, чем убитую «прелюбодеицу». Теплота и правда его произведений всегда пересиливали его тенденции, и от этого последние, в случае ошибочности, теряли свою силу.

От этого сложного спектра цветов, наводимого им на лица, произведение его вообще так обширно, как этого не встречается, кажется, ни у одного другого автора. Каждый роман — точно какая-то река, теку-

шая в разнообразных берегах. В «Войне и мире» Наташа — подросток-девочка, барышня, впервые вывозимая на бал, играющая, взрослая девушка, невеста, изменница, вторично невеста, жена и мать. Николай Ростов — и смешной наивный офицерик, и обстрелянный опытный воин, и, наконец, помещик-собственник и консерватор. Все взято в течении, и на длинном протяжении течения. Можно сказать поэтому, что ни один из русских писателей не захватил на полотно своей живописи такого огромного куска действительности, и даже нельзя сказать: «куска», — не захватил под кисть свою вообще всю русскую действительность в такой обширности и так основательно, как это сделал Толстой.

На закате дней

Л. Толстой и быт

Главная сила *литературного* таланта гр. Толстого лежит в художественно-архитектурном даре его и в даре проникать в душу, — видеть в ней, читать в ней. Первый дар вовсе не так прост. •Антон Чехов всю свою жизнь мечтал написать *большой* роман и не имел силы переступить формы *очерка, эскиза*, — маленького произведения, не доходящего до ста страниц. Он говаривал, что настоящий художник слова, которому жить и жить в будущем, начинается только с романа, как большого цельного произведения, где представлена была бы *жизнь* человека, а не день этой жизни, представлена была бы фаза общественного развития, выводилась бы толпа, сословие, а не рассказывался, — пусть и мастерски, — случай из жизни чиновника, купца, помещика. Суждение, об основательности которого можно спорить, ибо и «Записки охотника» Тургенева, и все произведения самого Чехова, как равно, например, Гаршина, суть эскизы, — и, однако, «Записки» и, надеемся, сам Чехов, как и Гаршин, не будут выведены из пантеона русской словесности только за свою краткость. Наконец, если взять классическую трагедию и подражания ее во Франции (Корнель, Расин), если взять «Горе от ума» и «Ревизора», то уже в силу внешнего требования «единства времени, места и действия», по коему все переданное в трагедии или комедии происходит в одном и том же месте (в одном доме, дворце) и продолжается не более одних суток, — все эти величайшие памятники словесного вдохновения суть только эскизы и эскизы, суть очерки только дня, одного *события*, а не *жизни* и не *цепи* событий. Таким образом, суждение Чехова не было правильно. Но он верил в него; мучился, что не может написать романа; и... *не написал*. Отчего? Мы добавим, что великий дар большой концепции, вот на несколько сот страниц, на несколько томов, — вообще пропал в наше время; страшимся сказать: умер, как вымерли допотопные формы ихтиозавров и плезиозавров. Но оглянитесь в литературе: действительно,

больших романов никто не умеет писать, кроме старичков, людей старого письма, старых манер, думаем,— старых сил души, старой *организации* души. В последней, кажется, и лежит разгадка дела: новый человек — впечатлительный, отзывчивый и торопливый. Он закрепляет в рассказе, в «эскизе» что увидел или что ему понравилось, что заняло его. Но у него нет «копилки» в душе. В душе у него только материал истекшего дня, а вот для складывания впечатлений и дум за много лет, за целую жизнь — просто у него нет такого помещения. Если кто-нибудь скажет, что это есть обеднение и сужение души человеческой, то мы не станем с этим спорить, хотя было бы страшно с этим согласиться. Мы останавливаемся на простом факте, что этого более нет. К этому бес- силен человек...

Толстой этим даром обладает до роскошного излишества. В «Войне и мире» и в «Анне Карениной», порознь в каждом, идут два романа. В первом — это роман Николая Ростова, и Марии Болконской, и Наташи, и Пьера, с большим эпизодом, который едва не достигает размеров самостоятельного романа,— между Андреем Болконским и Наташей же Ростовой. В «Анне Карениной» текут совершенно развитые, равно самостоятельные романы Анны и Вронского, Китти и Левина. Если присмотреться на сотнях страниц к манере Толстого, то мы увидим, что ему,— как хорошему борцу хорошая борьба,— доставляет высшее наслаждение эта роскошь творчества, роскошь рисовки; что он нигде не торопится, а почти скорее медлит, выписывая страницы за страницами изумительных сцен, обрисовки положений, состояний духа, столкновений, схождения, расхождений, любви зарождающейся и любви умирающей, самых разнообразных лиц, целой толпы их, с душою у каждого до того самостоятельную, до того не похожую на душу других им же выведенных лиц, и которых он нарисовал с такою же любовью и интересом. Это изумительно, и составляет наслаждение не только читать это, но наслаждение заключается в самом любовании силами творца, этим красивым бегом романиста-эпика, не знающего усталости, не знающего трудностей. «Все ему легко; нет, лучше всего ему хочется, хочется написать еще и еще страницу, еще и еще сцену; около подвижного, переменчивого и пылающего Левина поставить Кознышева, тупого, медлительного, вялого, ученого; около страстной Анны вывести холодную Вареньку, занимающуюся делами благотворения; Стиву Облонского, преданного успехам жизни, ввести в полуосвященный кабинет, где француз-предсказатель в сомнамбулическом сне предсказывает будущее петербургским аристократкам, все это без особенной нужды, хотя и ничему не мешая, просто потому, что «силушка есть,— потянуться хочется»... Удивительно! Удивительно и прекрасно!

Быта Л. Н. Толстой не рисует, как темы, как задачи. Вообще можно заметить, что Толстой в живописи своей *никогда* не усиливается, ни к чему не усиливается. Он никогда не говорил себе: «А вот то-то еще не описано: пойду посмотрю и опишу». Он всегда описывал то, что *помнил*,

и помнил случайным, непредвиденным образом. Кроме дара свободной, непринужденной жизни, жизни *неторопливой* — у него есть дар благодарной, ласковой памяти. • У многих людей, едва ли не у большинства, есть *злая* память, мстительная, или карающая. Но у Толстого есть добрая память, доброе воспоминание, доброты в воспоминаемости, — и она сыграла большую роль в его творчестве. Самые ранние его произведения суть *воспоминания*. Таково все его «Детство и отрочество», таковы «Севастопольские рассказы» как воспоминание о только что прошедшем. «Казаки», кажется, тоже имеют причину написания себя в живом воспоминании. Наконец, «Война и мир». Роман начинается французскою записочкою баронессы-немки-русской, из придворного круга императрицы. Так и кажется, что эту записочку, давно желтую с выцветшими чернилами, он вытащил из пука писем своей покойной матери, — еще вернее, бабушки, — вытащил, прочел и загорелся. Толстой не только живописно пишет, он бесконечно любит все *живописное в людях*, в характерах, в поведении; я думаю — в почерке и слоге. У него есть дар моментального воображения, в силу коего в мертвой записочке восьмидесятилетней давности он видит живое лицо, восстанавливает по ней в себе живой характер, говорит с ним, присматривается к нему, почти ведет с ним дела и вот-вот, кажется, начнет интриговать с ним! «Война и мир», как об этом можно было догадываться и ранее и как теперь окончательно известно из его собственных разъяснений, есть роман-хроника из прошлого Толстых и Волконских (урожденная фамилия его матери), т. е. труд тоже *воспоминательный*, рожденный весь из доброй памяти. Что это есть обычный способ его работы, — *не сочинять, а видеть, любить и описывать*, или видеть, любоваться и тоже описывать, — об этом свидетельствуют такие его отрывки, как начатый и не продолженный роман «Декабристы». Кстати, о последнем, так *удачно* начавшемся романе, мне пришлось услышать мнение самого Толстого. Хотя и не мне сказанное: «Декабристы» не были серьезными людьми. Это не были серьезные характеры. 14 декабря было эпизодом их жизни, пожалуй, их возраста и настроения, а не плодом какой-нибудь страшной решимости, какую принимает убежденный человек как вывод из всей жизни. И я перестал писать роман, видя, что для него нет сюжета, не может хватить содержания». В этом взгляде, быть может, сказалась всегда бывшая у Толстого нелюбовь к интеллигентности и интеллигентам, то недоверие к ним, доходящее до пренебрежения и прямой вражды, которое позднее продиктовало «Плоды просвещения»...

Тихое, спокойное, *воспоминательное* отношение в жизни, без торопливости и нервности, при вечных, однако, поисках ума и горении сердца, — что отнюдь не то же, что нервность, — и создало в Толстом необыкновенное соединение эпика и лирика, связь талантов повествовательного и патетического, решительно не встречающаяся ни у кого еще. И С. Т. Аксаков писал «Семейную хронику» дедов и родителей, но слишком уж все это спокойно, лишено рассуждений и суждения автора,

«роман» и не брезжится нигде, нет прибавлений, вымысла,— и от этого труд Аксакова, впрочем, достопамятный и украшающий нашу литературу, однако, не есть в строгом смысле *литературное* произведение. «Мертвый повествует о мертвых» — сказать это было бы слишком, сказать так — больно; и, однако, крошечка этого есть. Удивительная сторона *воспоминательной* литературы Толстого заключается в том, что это есть *воскрешенная* жизнь, что она горит перед читателем,— и не «будто» живая, но подлинно живая, вся трепеща нравственным интересом, суровым судом или восхищением автора... Удивительно! Бабушки, прабабушки и деды, дяди — танцуют, плутуют... Как князь Василий старался украсть завешание графа Безухова, старика... Как старый князь Болконский, отец Марии, начал ухаживать за гувернанткой дочери француженкой «Бурьенкой»... Все это — живопись, о которой можно сказать: «чудо». Нигде усилия автора. Нигде мертвой ниточки. Автор собирает мемуары, читает пожелтевшие письма, но *как* он их *читает*,— в этом-то весь секрет! Благородное сердце: в нем, в этой бесконечной способности восхититься восьмидесятилетней давности письмом, влюбиться в его почерк, сберечь как жемчужину его слог — и таится секрет могущества Толстого. Письма, мемуары, устные воспоминания, передаваемые в семье,— все это *фактически* дало только крупинки живого, но уже в могуче-живой душе автора из этих крупинок выросло *цельное* живое, как бы из оторванной ноги комара вырос цельный комар. Ну и этих живых людей, воскрешенных или заново рожденных, Толстой приводит в столкновения, полные вымысла. Мы нигде еще не имеем *исторического* романа, рассказанного с одушевлением, как бы это был роман *живых* людей: пленка могилы везде лежит, у В. Скотта, у Золя («история Ругон-Маккаров»), даже у Пушкина в «Дубровском» и «Капитанской дочке»,— у Толстого ее нет нигде, нигде удивительно.

Нигде он на могилу не смотрит, как на могилу. Для него нет «мертвых дум» (разве что в интеллигенции, да и то не серьезно и на время). Гений его по устремлению, по задаче *животворить* совершенно противоположен гению Гоголя, который *мертвил* даже и налично-живое, окружающих современников, все. Напротив, Толстой все оживляет, во все вкладывает живую душу,— конечно, частицы своей безмерно огромной и сложной души,— во всем открывает смысл, значение, ценность, какую-то благородную, ото всех скрытую сторону. Сколько он возится с сумасбродным Пьером Безуховым. «Может быть, его сумасбродства — не сумасбродства, а гений». Как терпеливая нянька, он следует за всеми шагами своего детища, вычисляющего, что в имени «Вуонапарте» скрыто «666», т. е. число Антихриста... Вронский — совершенно явно тупой человек, и для читателя составляет истинное наслаждение следить за тою топкою живописью, посредством которой Толстой достигает этого впечатления. Около фигурного, видного, громкого человека медленно садится туман непроясненной глупости. Нигде этого

автор не говорит, нигде он не заставляет Вронского сделать глупый поступок, произнести глупое слово. Но когда у Анны шевельнулось интимное глубокое чувство, о котором она должна была первому сообщить ему, как дорожному, близкому человеку,— она остановилась. «Нет, *не ему*: он не поймет этого». Вот и все! Гениальная Анна решает: «он *не поймет*», и читатель говорит за нею: «Не поймет! Не поймет *этого*, не поймет *многого*; не поймет тебя и ничего, вообще не поймет этот человек, и разобьет тебя и себя»... Безнадежно. Вдруг Толстой начинает вглядываться в эту безнадежность,— мимо которой всякий автор, сам же нарисовавший ее и подписавший — «безнадежно», прошел бы мимо и пренебрежительно. Так Тургенев в «Дыме» проходит высокомерно мимо заграничных русских генералов, да и всякий автор проходит также безучастно мимо той «глупой» половины выводимых им лиц, которая составляет только аксессуар и обстановку около «героев», которые любят, разговаривают и, вообще, «умны». Но у Толстого нет «обстановки», у него и мебель живет. «Этот стул стоит в своем углу сто лет, на него сто лет садятся,— он несет свою полезную и необходимую службу». «А из кого состоит жизнь? — спрашивает Толстой.— Разве она состоит из утонченных Метерлинков, из патетических Руссо, разве настоящую работу в ней производят говоруны Рудневы или отрицатели Базаровы? Все *эти* говорят и проходят, а жизнь стоит, и на чем-нибудь она стоит же». Он догадывается, что жизнь, далекая, конечно, от идеала и «небесного», но которая, однако, ценна тем, что *мы все в ней живем*,— и состоит из таких вот столбов, как этот Вронский, человек глупый и правильный, не рассуждающий и твердый. «А в самом деле, на этой дубовой мебели сто лет сидело русское правительство и покорило полмира». Поубавьте еще Вронского, оставьте при нем одну грамотность и возвратите его из графства к состоянию простого дворянина, провинциального бедного дворянина,— и вы получите «Силу Силыча» Аракчеева. Введите его из неподходящей вовсе для него обстановки времени Александра II в обстановку екатерининского времени,— и он едва ли не попал бы в фавориты императрицы и был бы одним из «екатерининских орлов»... Словом, «мебель» эта имеет свое место, заключает свой смысл, которого не вычеркнешь из бытия,— и от этого Толстой на протяжении трех томов романа, нигде не проясняя его глупости, не устает рисовать его, приводить его слова, описывает его поступки, не уменьшая и не увеличивая их; но нигде не впадая в шарж, нигде не улыбаясь, оставаясь в каждой строке серьезным. Это удивительно! Гений творит глупого с тем усердием, как Бог сотворил человека. Но вы понимаете, что это — *настоящая* правда, настоящее *отношение* к действительности, что Толстой и не требует своему Вронскому лавровых венков, а только говорит, что Вронский столкнет вас со своего места, если вы с ним рядом усядетесь,— столкнет, сомнет и просидит на вашем месте сто лет! «Отвратительно, неприятно, грозно, *есть*». Что вы скажете об этом другого?..

Если уж он животворит мебель, мебель-человека, естественно возбуждающего всю нашу живую человеческую антипатию, то к милым-то животным, которые никогда не «салятся на наше место», а только служат нам, он относится уже с совершенным вниманием и ласкою. У него есть рассказ «Холстомер», который и посвящен лошади. Психологию собаки он знает, как психологию человека, — вспомните охотничью собаку Левина. «Фру-Фру», — скаковая лошадь Вронского, — запомнена всею Россиею. В безжалостном отношении Вронского к павшей лошади Россия, — в самом начале романа, — и почувствовала, что Вронский глуп. Что он всего только жеребец, притом не из умных. Вся Россия встала на сторону «Фру-Фру» против Вронского, справедливо решив, что она благороднее и, так сказать, человечнее его, если позволительно такое странное сочетание слов. Тут — гораздо больше, чем что содержится в Дарвиновом «Происхождении человека», ибо тут — картины, образы, тут говорит мораль и почти религия, и говорит не в пользу человека. А между тем, никто Толстого за его «дарвиновскую» живопись не назовет грубым или безбожным, «жестоким к человеку», как называли английского натуралиста. Да и очевидно, что у Толстого это сделано лучше и до известной степени священнее. Удивительная сторона его гения!

На закате дней

Л. Толстой
и интеллигенция

Мы заметили, что Толстой животворит все, кроме интеллигенции, и добавили, что это «не серьезно и только до времени». Помните ли вы в «Воскресении» группу ссылаемых интеллигентов? Задача «воскресить» Катюшу Маслову, которая не далась Нехлюдову, папашей которого был приблизительно Вронский, а мамашей Бетси Тверская (из «Анны Карениной»), — эта мучительная и нужная задача «воскресить» действительно напрасно загубленную девушку, которая задавлена жестоким и тупым миром, — легко и сама собой далась недалекому, тупому как ломовая лошадь, но как ломовая же лошадь, чистому и невинному Симонсону, нигилисту, именующему себя «мировым фагоцитом» (по Мечникову). Личность Симонсона — один из самых удивительных портретов, написанных Толстым за все 55 лет его литературной деятельности. Прежде всего он явно глуп. Он вечно рассуждает, и рассуждает только шаблонным образом, общими фразами, — как лошадь «идет» и не умеет не идти, как ее природе не свойственно ни «полежать», ни «поиграть». Лошадь идет, а Симонсон рассуждает. Но как у лошади ее ход, — это натура и это правда, так у Симонсона его рассуждения — это тоже его «интеллигентная» натура и (с этого-то и начинается страшно

серьезное) *это в нем настоящая правда*, тогда как у Нехлюдова (в котором много автобиографических черт самого Толстого) «рассуждения» его суть что-то наносное, временное, бессильное... Нехлюдов «рассуждает», а как пришлось «воскрешать» Катюшу,— он и не смог. Возвратить проститутку к состоянию жены — «фи!»... Тут в Нехлюдов-Толстом вдруг заговорил весь Петербург. Да, да! «Фи! Священный институт брака, нежная, благоуханная семья и... запах проститутки». Демократ Толстой, все-таки *граф* Толстой,— не вынес. «Но миру нужны и глупые»,— это уже сказал Толстой своим портретом Вронского. Симонсон есть демократическая форма Вронского, Вронский, снизу поднявшийся. Он (как и Вронский) шаблонен, без тонко развитой личности в себе, с общими правилами, т. е. (по интеллигентной своей натуре) с «общими рассуждениями», но в *которые он верит*, как и Вронский верил в свои «правила», и в этом заключена была вся его *суть*. По рассуждениям и Толстого Катюша была невинна, и ее надо было спасти. *Да ведь это и по мировому так?* Но граф Толстой скис, Нехлюдов скис: «худо пахнет, не можем ввести в семью». Тут крайне важна крохотная сценка в конце «Воскресенья», где Нехлюдов, осматривая детские комнаты, кажется дочери генерал-губернатора, дает вдруг почувствовать атмосферу «Детства и отрочества», Китти и Наташи Ростовы... *Катюша* около этого представилась просто невозможной, и он отвел в сторону Нехлюдова, выдвинув на место его Симонсона... Пожалуй, ведь в жизни так и бывает: погубит один, а спасает *другой*. Хотя и тот, «погубитель», тоже в своей жизни спас кого-нибудь, но не свою, а чужую жертву; ну, не женитьбой (зачем же непременно этим), то чем-нибудь другим... Так мы и все мы порознь в мировом море, и все вместе. Продолжим указания. Симонсон, со своими коротенькими, недалекими рассуждениями, со своей не тонко развитой организацией, вот как у Вронского-Аракчеева, но уже с тенденциями к низу, к демократии, при приближении Катюши сказал, что он не только не чувствует в ней ничего худого, но что, по его мнению, она — тоже «мировой фагоцит», предназначенный самую природою приносить только добро и везде поглощать и бороться с дурным и вредным! Вот и раз! Толстой-Нехлюдов кричит: «Да ведь пахнет», а Симонсон, действительно, совершенно тупой, говорит: «Не слышу». И исцеление «расслабленного», восстановление действительно «прокаженного» (ибо, легко сказать: «проституция», а ведь это надо *пережить*, ведь от этого «остается») — это евангельское чудо евангельской силы и красоты — совершенно нигилистом-отрицателем! Никогда не смог, не имел *великодушия* это сказать Достоевский (см. его «Бесы» и их мораль). И всего удивительнее, что это сказал тот Толстой, который так не любит интеллигенции...

Но договорим. У действительно тупого Симонсона и все чувства приручены, недоразвиты, и он *воистину* ничего «худого» не слышит, не обоняет в проститутке, *все-таки проститутке* по факту, каковы бы ни были причины ее положения. И «спасение» вышло у него *правдою*,

проистекающею из самой физиологии его, вот этой притупленной или ограниченной. Ибо он не только *ее* спасает, но и сам становится в приятное себе положение! «Муж мирового фагоцита, и сам тоже мировой фагоцит». Никакой разницы, дисгармонии! И опять надо договорить, что, как чисто резонерская натура,— вечно «рассуждающий» и поступающий по своим рассуждениям человек,— он именно «человек» только, но *ни* мужчина, *ни* женщина, и не имеет *специально мужских* предрасположений или антипатий, вот этого отвращения, например, к «потерянной» женщине... Он просто этого не чувствует, это для него *ничто*. Для него есть только душа, дух... Ну, это у Катюши, как у всех. Симонсон, в сущности, *не имеет пола*, он *бесполовой человек*, вот, как сказано в Евангелии о «скопцах от чрева матери». Но и Катюша,— если вдуматься серьезно в *суть* проститутки и проституции,— есть уже также бесполой, кастрированная женщина: страшная ее профессия шаг за шагом, день за днем вскрывала у нее всю внутренность, всю эту половую внутренность, где «топтался» народ, топтались смазные сапоги. Как *женщина* она умерла! Это-то с ужасом Нехлюдов и Толстой и почувствовали, и оба убежали в сторону, струсили. «Жених выскочил в окно», как говорят, смеясь, в народе. «Ну как жениться на кастрированной?» Но Симонсон, «скопец от чрева матери», не чувствует этой ее кастрированности; сам только дух и духовность, он находит в ней эту же только духовность, одну духовность, без (погубленного) тела, которое его и не занимает. Перед браком его не занимает ничего полового. «Даже не приходит на ум». Хотя он и будет делать все, что нужно, без отвращения, без обоняния,— без этого, конечно, без существа брака, кровного сожития ничего бы и не вышло, не вышло бы «спасения», а оно нужно и оно *есть*. Пренебреги *совершенно* этим Симонсон,— и он не «воскресил» бы, не «восстановил в жену» Катю, но он, *как и она*, уже равнодушен и инертен к этому; для него главное — в душе, в духовном общении, на что глубоко способна Катя и на что она горячо ответит.

Нехлюдов и Толстой, дети Вронских и Тверских, дети Элен Безуховой и Пьера, люди породистые, с сильными и красивыми предками, *органически* не могли вынести брака с проституткой. Ведь это потруднее, чем написать книжку поучительной морали (Толстой) или пропутешествовать в Сибирь за ссыльною. Ведь она будет *жена*... Это слишком близко! Нужно с ней спать, нужно ее любить. Любить активно? Проститутку? Нехлюдов и Толстой зажмурились. Правды не выйдет, реального не выйдет. Нужно каждое утро видеть, как Катюша, вот «такая» и немножечко «таковская» (ведь это *есть*, куда же *девать* это?!), натягивает на себя длинные шерстяные чулки, или если и шелковые на нехлюдовские деньги, то это как-то еще хуже, печальнее и зловоннее. Поутру натягивает чулки, а с ноги остригает ногти и спрашивает своего «магика»: «Ты не замечаешь,— у меня, кажется, мозоль?» И Нехлюдову, как «любящему» мужу, надо посмотреть, не мозоль ли в самом деле. Тут

«любящий» и выйдет только в кавычках: природы не будет, жизни не будет, ничего не будет. «Воскрешения» не будет, т. е. темы романа, а его откуда-то надо взять. Пришел Симонсон и принес его. Кто такой Симонсон? Его род, племя, религия? Ничего нет. Предки были шведы или англичане, а он сам... русский нигилист, да *взаправду* нигилист и *взаправду* русский, как и вообще в нем ничего нет неправдивого. Это русский правдоискатель, коренной наш тип, повторивший *точь-в-точь* древних юродивых, этих лохматых, странствующих, голодных и холодных «святых» людей старой Руси. В сущности, по дарам его, по предкам, по породе и породистости — Симонсон несколько недоносок, что и отразилось в убожестве его воззрений, в слишком большой их неадекватности. Ну, он не «доносился» матушкою, а Катюша по печальной судьбе своей слишком износилась. И оба сливаются, маленькие. Один к одному льнут, как два Лазаря...

Страшно! Правдиво! Глубочайше нравственно!

Другим же языком рассказать, без аксессуаров нового русского реализма,— и получилась бы трогательнейшая из трогательных христианских легенд! Здесь у старого Толстого уже не хватило таланта: в общем роман ниже своей темы, он написан бледно, тускло, неуклюже, и удались только некоторые *побочные* сцены, где старой мастерской рукой он выводит петербургское шалопайство. Но нужно было писать вовсе не это, и даже вовсе не нужно было писать «романа» (куда!), ибо ничего тут «романтического», влюбленного нет, нет «интриги» и «чувства», ничего для *романа* нет, а есть простая и *бывающая* история о том, как одну убогую находит другой убогий, и, дыша в ее гнойные раны (которые *есть*, которые не затрешь), дыша ртом своим, безмерно любящим и смиренным, исцеляет эти раны; или, точнее, как тут невидимо приходит Бог и исцеляет обоих, поднимает в силах, берет обоих слабых в свои Отчие небесные, мировые объятия.

Легенда, а не роман.

Но, возвращаясь к общему, заметим, до чего здесь, *на склоне лет своих*, в *последнем своем романе*, Толстой посмотрел на интеллигентов уже не прежним взглядом вражды и отрицания. Спокойный старец погасил волнующиеся свои чувства и, *воспомятительным оком* окинув «виданное и слыханное»,— вывел группу мятущихся правдоискателей интеллигентов-юродивых, в которых столько нравственной красоты! Перечтите подробно характеристики их: вот дочь генерала, ушедшая из дома отца и начавшая жить среди рабочих, обучая их, возясь с ними, с их болезнями, детками. Как все хорошо! Да и все они добрые, ясные. И этот милый Симонсон, сущий праведник, младенец в 30 лет,— форменно «яко юродивый». Воистину мировые фагоциты, без всяких кавычек и иронии. Живут около народа, для народа. Чего лучше? Делают добро и любят правду. «С кривдой не мирятся, оттого пошли и в Сибирь. «Поглощают все зло, всякое мировое зло». Ну, совсем фагоциты по Мечникову. И Мечникова читают. И вообще читают всякие книжки и живут по

книжкам. «Интеллигенты»... Поглотили собой «грамотеев» Владимирской Руси, но с другой стороны, с отрицательной стороны. А сердце то же, а душа та же, наша русская, у этих «космополитов»... Забрали и англичанина Симонсона к себе, «обрусили», да как! Тоже в Сибирь пошел за эти, кажется, русские идеи; это уж не то, что поляки, с скрежетом зубовным учившиеся при Гурко по-русски в школах. Тут объединение крепче. И вообще тут все абсолютно крепко, ибо абсолютно нравственно, абсолютно здорово и праведно. И старым, вещим своим словом (сравните с «Бесами» Достоевского),— ибо это слово вешее и относилось до будущего, до будущих отношений к интеллигенции,— Толстой сказал:

— Хорошо.

Метерлинк

Иногда кажется, что не только день и ночь, но и каждый час суток имеет свою психологию, мы решаемся сказать — свою отдельную *новую* душу, не похожую на душу соседних часов. И что по закону *души* этой, мировой, что ли, подчиняются все твари в этот час — дневные, ночные, сумеречные, утренние. Как не похож свет луны на свет солнца: это не только другая *ступень* света, сила его — но вовсе другая его природа. Возьмите свет 1000 свечей и 1-й свечи: здесь и там один свет. Но лунный свет вовсе не есть тысячная или миллионная часть солнечного света, а что-то совсем, совсем другое, какое-то новое сотворение — новое существо...

Когда я начал (к стыду — недавно!) читать Метерлинка после Милля, Бэна, Конта, Вундта, Льюиса, Дрэпера, Бокля, Луи Блана, Мишле, Тэна — мне показалось, что я вступаю в новую часть мировых суток: иначе не умею выразить всю ту удивившую меня новизну тона, предметов, тем, какую я нашел в его «Сокровище смиренных» (случайно первой из его попавшихся мне книг, после «Жизни пчел»)... И когда я спрашивал себя: «Что это за новизна, в чем она» — то мне показалось, что суть ее заключается в неожиданном переходе от дня к сумеркам... «Там тени, видения, ожидания, предчувствия» — так смертные характеризуют час между ночью и днем. Все знают о себе, что они будут в этот час уже не такими, какими были днем и какими станут ночью. Вот это уже «не такое», уже не дневное и еще не ночное — являет собою Метерлинк.

Сам он — *новая* душа в мире, и от этого открыл столько *нового*, столько новых неожиданных *предметов* своим братьям читателям. Теперь, когда я перешел на некоторое расстояние от него, когда успокоился и он мне сравнительно не нужен,— мне хочется его порицать. С чувством борца и борьбы, я мысленно выискиваю у него недостатков,

слабостей, неумения или непонимания (по крайней мере — кажущегося). Но это теперь... после тех глубоких очарований и изумлений, иногда до слез, какие я пережил, когда впервые поставил ногу на его лестницу, спускающуюся в особый мир, «мир Метерлинка». Солнце зашло. Улеглись коровы. Легли стада, уснул пастух. Тихо наигрывает на флейте отдыхающий воин. Тени деревьев чудовищно выросли, закрыли всю землю; бесшумно проносятся летучие мыши, и выходит — с расширенными зрачками — рысь на ловитву, олени пугливой чередой спускаются по темной тропинке к водопою... Новое царство, совсем новое — которого «не было днем». Таков же, по отношению к миру Тэна и Конта, этот «мир Метерлинка», бесшумный, бессолнечный, с упавшею энергией, заснувшими силами, но прелестный, но волшебный, но говорящий нам о сокрытых днем тайнах, без бытия которых и дневной мир не сумел бы и может быть не захотел бы просуществовать...

...Все становится серьезнее под звездами. Так этот «сумеречный мир» Метерлинка, заключая в себе новую психологию и новую логику, даже — новую метафизику, делает просто смешными «утренние» силлогизмы старой логики:

Все люди смертны.

Сократ — человек,

Следовательно — Сократ смертен...

и т. д! После Метерлинка невозможно не покатиться гомерическим хохотом над этими «фигурами умозаключения»; над которыми трудились (сколько мудрых!) от Аристотеля до Милля! Крепко взяв руку нашу, он ввел нас как мужей, как серьезных людей, в свой серьезный, «звездный» мир — и вдруг старая логика и старая психология, а пожалуй, и старая метафизика — показались нам грубы, тривиальны, плоски, как базарные остроты около монологов Гамлета и могильщика. Нельзя оспорить, что самая душа Метерлинка относится к порядку высших душ. Таковые не так редко рождаются, но без языка, немые. Они есть в жизни, но не показываются в литературе. Метерлинку же Бог дал чудный, ясный язык: и первыми же страницами своих книг он породнил нас с этим «высшим стилем» души человеческой и открыл все, что она может созерцать... Метерлинк (насколько он понят) перевел человечество в высший этап существования, из которого и не хочется и трудно (для понимающих) уже невозможно вернуться в предыдущий, немножечко сравнительно с ним подвальный...

Он не философски доказал, но художественно начертал мир «потенций», — того, чего нет еще — но будет, того, чего нет уже — но было: но начертал это не как *будущее* и *прошедшее* (это — все знали и умели), а как *сейчас сущее, полу-осязаемое, полу-видимое*, несравненно *могущественное* — но чему нет имен и вида. Он постиг, что в «сейчас» мира замешано (без малого) все его прошлое и все его будущее: и замешано не неосязуемо, а именно осязуемо, но только не грубо осязуемо. Это именно сумеречные вещи, которыми опутано и дневное бытие, и бытие

ночное, в их резкой и устойчивой определенности. Дневные люди только и имеют отношение к дневным вещам; и только и могут! Но следя за собою, за неожиданными «затруднениями», «облегчениями», удачами, неудачами,— они восклицают: «судьба!», «рок!», «случай!» — давая имя тому, что еще не имеет имени, но уже *есть* и действует *вокруг* нас, *взаимодействует* с нами, хотя мы не видим этих «колдунов» и «фей», «демонов» и «волшебников», явления не реальные и, однако, не мнимые, сущие и никому не видимые. Конечно, и после Метерлинка мы в «колдунов» и «фей» не верим — не в этом дело. Он показал осязательность мечты, он показал нам $\frac{1}{2}$ души, $\frac{1}{4}$ души, когда мы знали только полную дневную душу, «как у Милля и Тэна», со всеми «приметинами» и почти гражданским паспортом. Помните у Грибоедова:

Перст указательный — все признаки ученья.

Все знали «идеи», «мысли» — и что, напр., «будущие открытия» уже сейчас имеют «предвестников». Все это знали в линии идеального строительства, как и в силлогизме:

Сократ — смертен.

Это уже заключается в положении:

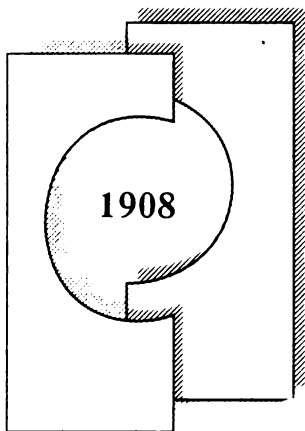
Все люди смертны.

Новизна и открытие и сила Метерлинка заключается в том, что связь с прошлым и будущим всякого «теперь» он перевел из идеального строительства именно в *осязательно-вещественное* (хотя и туманно-вещественное). Есть *зодиакальный свет*: это — не материя, но и не нематерия. Возьмите цветок яблони и вишни; сколько вы его ни разглядывайте, как ни анатомируйте — ягодки-вишни и яблока-плода вы в них или *около них* (цветов) не найдете. Милль и Тэн так и говорили: «в сем нет ни яблока, ни вишни». Метерлинк рассмеялся: «конечно, *прямо* — нет, *осязаемо* — нет: но можете ли вы сказать, что в цветке вишни и в цветке яблони также *полно, решительно, сгущенно* нет и отсутствуют вполне зрелые вишня и яблоко, как, напр., сгущенно и решительно они отсутствуют... в фунте меди или в добродетели Сократа!!» — Очевидно, есть *тени* около предметов! существуют *потенции* — около реальностей, и даже разных степеней и осязательности, напряжения и «воплощения»! есть «души» и $\frac{1}{2}$ души, $\frac{1}{4}$ души, «колдуны» и «фей» без имен и паспортов, и огромный «Рок» и «Судьба» с чудовищным паспортом, куда и вписаны «приметы» всего мира... Конечно, Милль и Тэн, перед этим смехом Метерлинка, скорей перед его лунною улыбкой — попятились, как сапожники...

* * *

Метерлинка надо читать медленно; каждые 2—3, 5—6 его строк дают читателю новое развитие,— если он сумеет быть в чтении внимательным. Например, его замечание обо всем *античном* мире,— что в нем душа была еще не пробуждена, не вышла на поверхность человека — открывает новую точку зрения, с которой нужно начать писать совер-

шенно заново «древнюю историю». Его замечания о греческой трагедии, о Расине — все это программы исследований, наблюдений, новой критики. Между тем это занимает 2—3, 5—6 строк. Мы берем что-нибудь наудачу, не выбирая, и едва ли берем примеры удачные. Его рассуждение о *молчании* — изумительно, и дает новое и глубочайшее понятие о душе человеческой! Но мы не хотим подсказывать читателю. Он на берегу моря: от него зависит, увидит ли в нем только «мокрое и большое», «холодное и пространное», или найти в нем жемчуг и чудные создания, найти поэзию и «историю мореплавания» — зависит все от него, от этого читателя. И Метерлинк будет мудр только с мудрым, а глупому — он ни в чем не поможет.



Некрасов в годы нашего ученичества

I

Вместо рассуждения о Некрасове мне хочется что-нибудь рассказать о Некрасове. И не о нем, собственно, а о том, как мы *переживали* его, — рассказ, который самому покойному поэту был бы наиболее из всех занимательным.

В 1875—78 гг. Некрасов не только заслонил Пушкина, но до некоторой степени заслонил и всю русскую литературу. Не стану разъяснять читателю, что это было вредно, и вообще не буду говорить с теперешних «зрелых» и отчасти, пожалуй, «перезрелых» точек зрения, а перенесусь к тем годам, когда мы мыслили, чувствовали и жили, конечно, «зелено», но необыкновенно свежо. Щедрина тогда читали (в «Отечеств. Записках») люди постарше: чиновники, учителя, вообще люди с бородой. Но Некрасова читали решительно все, начиная с учеников 3-го класса. Тут сказывается превосходство, в смысле легкости усвоения, стиха над прозой, стихотворения и песенки над рассказом и повестью. «Колыбельную песню» его, которую так осуждал в своих «серьезных» статьях г. Волынский, я, конечно, «не серьезный», в 3-м классе распевал-орал в своей учебной комнатке в Симбирске.

Будешь ты чиновник с виду
И подлец душой.
Провожать тебя я выйду
И махну рукой.

Доставляло удовольствие именно «орать» эту песню, громко, хотя бы в одиночку, без хора, что, конечно, было бы еще слаще... Тут было что-то «демонстративное», и читатель может представить себе, каким это маслицем текло по сердцу в 1873 г., когда я впервые, учеником 3-го класса, узнал это стихотворение и когда всюду сидели чванливые, гордые, недоступные чиновники, сидели такими мастодонтами, что, казалось, никогда и ничего их не сживет со света. Никто в то время и не надеялся «сжить», хотя бы в отдаленном времени, и вообще казалось, что «царствию их не будет конца». Ну, и тем слаще было орать:

Купишь фрак темно-зеленый
И перо возьмешь.
Скажешь: «Я благонамерен,

За добро стою!»
...Спи, чиновник, мой прекрасный!
Баюшки-баю!

Отдельные строки стихотворения били как в цель:

Тих и кроток, как овечка,
И *крепонек лбом*,
Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.

Я подчеркнул строки, которые сияли таким бриллиантом перед нашим возрастом 14—16 лет; мы страстно ненавидели «дворян», хотя едва ли знали хоть сколько-нибудь близко пусть бы даже одного-двух дворян. Точнее — мы о них «хорошо очень знали», но как негр Бичер-Стоу о «земледельцах-плантаторах»: знали издали, отвлеченно, что «от них все зависит, и они всем распоряжаются», и ни малейше не надо видеть «их скверные рожи», чтобы знать, что все тяжелое, что нас давит (а что в ту пору не давило, — и *действительно* давило?), устроено их кознями и бездушием. «Дворянин», как сословный ранг Российской империи, нам был вовсе неизвестен и ни малейше не занимателен: он, *как и для поэта*, совершенно сливался для нас с «барином», т. е. «крупным человеком», общественно-видным, служебно-значительным... И вдруг этих «бар-дворян» поэт попотчевал:

И, *крепонек лбом*,
До хорошего местечка
Доползешь ужом...

Почему, — неизвестно, но в 14—16 лет мы все считали себя «умными», т. е. мы, действительно, жадно читали, о всем спрашивали (себя и «друзей», изредка любимых наставников) и вообще *потенциально* (в обещании, в надежде) действительно были «умные». Но эту потенциальность мы переводили уже в актуальность, и нам казалось, что взрослые, которые действительно мало почитывали, а больше играли в карты, кушали и «служили» (область, нам вовсе неизвестная), неизмеримо менее умны, т. е. развиты и одухотворены, чем мы. Некрасов своим «крепонек лбом» и «ударил по сердцам с неведомою силой», по нашим 14—16-летним сердцам, гордым и упоенным, восторженным и высокомерным! О, читатель. Теперь-то эти строки уже затасканы, давно известны и проч., и проч., и проч. Но ведь они когда-то *в первый раз сказались, первый раз были услышаны!* Вот чего не оценил Волынский, который при всех способностях «логического суждения» имеет тот изъян в себе, что уже родился старичком и потом, по недосмотру, вместо материнной груди все сосал пузырек с чернилами.

Я заметил, что «дворяне» и «баре» путались для поэта, *как и для нас*. Одной из причин широкой и необыкновенно *ранней усвоимости* Некрасова было то, что он называет вещи необыкновенно широкими именами, говорит схемами, категориями, именно так, как говорит толпа, улица, говорит простонародье и говорят дети. Поди путайся в кружевной паутине социальных разграничений Толстого, в точности наблюдений Тургенева, да даже и Щедрина, где уже «действительный статский советник» говорит немного иначе, нежели «статский советник». То, что восхищает взрослого, было совершенно непонятно нам по простой неизвестности для нас мира в его *подробностях*.

Возвращаюсь к «Колыбельной песне». Ну, и что же? Будто Некрасов не сказал за пятьдесят лет ранее то самое, чем сверху донизу гудела русская печать в месяцы и целый год или два перед 17-м октября, когда слова «бюрократ» и «бюрократия» стали бранными, просто и кратко бранными, даже на языке детей лет 10—11. Об этом писали,— именно о том, что «бюрократом» ругаются даже дети, и что дети говорят по губерниям и уездам: «Когда же начнут *выводить* бюрократов?» «*Выводить*» бюрократов. Раньше писатели более сложной и утонченной души, от Фонвизина и Капниста до Гоголя и друг., все же ждали «пробуждения совести» в бюрократе или чтобы его извне как-нибудь «преобразовали»... Некрасов сказал прямо: «вон». Опять это было гораздо проще, решительнее и короче, и, в сущности, не *повторяла ли* его крика история, тоже придя к идее «вон», а не «преобразования»?..

Суть *бюрократа* заключается в безответственности и бесконтрольности его в отношении *к среде*, в которой он работает, в отношении *людей*, над которыми работает. Как его «преобразовать», «пробудить»? Да, очевидно, поставить в *ответственное положение* перед людскою средою! Только это! Но это, очевидно, и значит «вон» по отношению *к принципу* бюрократизма, по отношению ко всей толпе бюрократов.

«Грубая» муза Некрасова, наше ребяческое понимание и представление дела и окончательный приговор истории сошлись! Все три «не хитрили» и сказали простую и ясную правду.

Пошел 1874 год. Я переехал из Симбирска в Нижний Новгород. Совсем другой город, другое обличье обывателей, совсем другой дух и нравы гимназии. Как ни странно этому поверить,— главным источником различия была «близость столицы» (Москвы), до которой от Симбирска, казалось, «три года скачи,— не доскачешь»... Что такое «столица» была в нашем представлении? Место, средоточие, где «все делается», «все думается раньше других мест России», где ужасно много «тайного», «скрываемого и уже решенного, но что пока никому неизвестно»... «Столица» нам представлялась почему-то строящею заговоры и ковы, о смысле которых провинция была обязана догадываться по невещественным признакам и согласовать свое поведение и образ своих мыслей с этим молчаливым заговором. Иначе была «измена»... Передаю эту отроческую психологию, потому что, вероятно, и многие ее пережили,

кто проводил молодость в провинции. Из нее объясняются неудержимый приток учащейся молодежи в «столицы», переполнение столичных университетов и пустование провинциальных... В каждом понятно стремление физически приблизиться к месту, с которым *духовно* он и ранее был больше связан, чем с соседнею улицею своего города; понятно любопытство поспешить туда, «где все делается и задумывается», тогда как люди зрелого и старого возраста, которым чужды эти миражи молодости, служат и живут с равным удовольствием в столицах, как и в провинции...

Другой дух жил в Нижнем, но в *одном* он сливался с Симбирском. И здесь также Некрасов заслонял всю русскую литературу. Толстого читали мало, а Достоевского совсем не знали. Знали по имени и отдаленно слышали, что это «что-то замечательное», но никто не любопытствовал, в чем заключалось это «замечательное»... Первый роман Достоевского был прочитан мною уже в 6-м классе гимназии, тогда как Некрасов весь был «родной» мне уже с 3-го класса. Кто знает фазисы отроческого и юношеского развития и как быстро чередуются они, как быстро здесь человек зреет,— поймет великую разницу в знакомстве и любви с 13 лет и в знакомстве и любви с 17 лет! Разница воздействия здесь неизмерима!

Отчего Некрасов мне, да и всем, кого я знал, становился с первого знакомства «родным»? Оттого, что он завязывал связь с *ущемленным* у нас, с болеющим, страдальческим и загнанным! Это было наше демократическое чувство и социальное положение. Все мы, уже в качестве учеников, были «под прессом», как члены семьи, мы были тоже «под прессом». Семья тогда была суровее сложена, чем теперь, была суше и официальнее. Между «отцами и детьми» не было того товарищества, какое так заметно разлилось в последние пятнадцать лет и росло в глубокой связи с вообще «освободительным движением», которое у нас было гораздо более культурною, чем политикою. Теперь невозможно было бы появление «Отцов и детей» Тургенева,— было бы бессмысленно и неправдоподобно: частность, на которую не оглядываются и которая одна искупает все «грехи» освободительного движения, какие ему приписываются или у него есть...

Как известно, Некрасов не был человеком высшего образования, а среднего. Великий ум его, великое здравомыслие и чуткость сказались в том, что он всю симпатию свою положил не *вперед*, до чего он не дошел, а *назад*, что он прошел... Прошел, видел и ощутил. Отсюда поэзия его налилась соком действительности, реализма и вместе получила крайне простой, немного распушенный вид. Он брал темы «под рукой», а не «издали», и обращался с ними «за панибрата», а не «с почтением». Это и образовало дух его поэзии и даже выковало фактуру его стиха, немного распущенного, «домашнего», до известной степени «халатного». Все это было так ново тогда! И до сих пор в этих чертах своих он не превзойден ни одним поэтом.

Ямщик говорит о жене своей, крестьянке родом, но которая была взята «в компаньонки» к барской дочке:

В барском доме была учена
Вместе с барыней разным наукам,
Понимаешь-ста, шить и вязать,
На варгане играть и читать —
Всем *дворянским манерам и штукам*.
Одевалась не то, что у нас,
На селе, сарафанницы наши,
А примерно представить — в атлас;
Ела вдоволь и меду, и каши.

Таким тоном никто до Некрасова не говорил, не описывал. И до чего этот тон восхитил нас! После таких строк стало прямо невозможно, *нестерпимо* читать «демонические» строфы Байрона, да и своего Лермонтова; после них «простонародность» Пушкина, например, в «Сказке о царе Салтане», показалась деланною, ненатуральною. В «Сказке о царе Салтане» выделялся барин, погружавший себя в народность, в интерес и любовь к народному, хотя бы и гениально; у Некрасова хотя и без гения, но зато заговорил *сам* народ; точнее — поэт *сам*, лично заговорил как русский простолудин, языком, прибаутками, юмором крестьянина, рабочего, наборщика, солдата и проч. Крестьянина, работавшего у подрядчика, этот подрядчик обсчитал. Тот заспорил, — он его выгнал в толчки... Восемь недель затем обсчитанный «не заставлял купца дома» и в конце узнал еще, что бывший хозяин его же привлекает в суд за дерзкие слова. Парень совсем вне себя:

Наточивши широкий топор,
«Пропадай», — сам себе я сказал;
Побежал, притаился, как вор,
У знакомого дома, — и ждал.
Да прозяб, — а напротив кабак;
Рассудил: отчего не зайти?
На последний хватил четвертак,
Подрался и проснулся в части...

И за рассказом нравоучительно прибавляет:

Не водись-ка на свете вина, —
Натворил бы я бед.

Тут нужно обратить внимание на чувство меры: Некрасов не старается подделывать народную речь до последней степени сходства, как и не усиливается копировать народную психологию. Кисть его, речь его свободна и «мажет» с теми видоизменениями, с какими народная психика и речь отразились и несколько преобразились в его душе, и городской, и интеллигентной. Говорит-то он, Некрасов, и нигде это не скрыто; он нигде, как описатель, не ставит себя в сторону, не затеняется, не устраняет себя: из описаний и тона речи этот прием «объективных художников» совершенно чужд ему, и не потому, что он лирик и писал стихотворения, а потому, что он нигде не хочет делать над собою усилия, «ломаться»; не

хочет этого даже в мелочах, в приемах письма. И это, конечно, народно!

Некрасов был настоящим основателем демократической русской литературы,— демократической и демагогической по естественному сочувствию к положению народа. Этою демократическою и демагогическою струею в себе он охватил не одно крестьянство, хотя его преимущественно, но и все другие сферы простонародного положения и труда. И этим он резко отделился от «художников» Григоровича и Тургенева, о которых всегда можно было думать, что они относились к крестьянству как к свежему полю наблюдений и живописи, конечно, любя его, однако смешанною любовью живописца и филантропа, а не «кровно», вот как *себя* или *своего*. В этой формуле, нам кажется, заключено *все* значение Некрасова, и от этой его *сущности* (демократия и демагогия) проистекло все его огромное, поистине неизмеримое влияние. Без Некрасова весь *вид* русской литературы и *дух* русского общества был бы другой; приблизительно, может быть, «в этом же роде», но и не этот самый, какой *есть* теперь, не в этих *красках* и *тонах*.

II

Двое из нижегородских педагогов имели гимназистов родственников, а один надзиратель, памятный Василий Максимович Шундилов, держал у себя несколько нахлебников гимназистов. Все это были ученики 4-го, 5-го и 6-го классов. Соединенные одним коридором, по которому расположены были все учительские квартиры, или разделенные только этажами (Шундилов жил высоко «на верху», кажется, в 3-м этаже здания),— естественно, все эти ученики были очень близки между собою. Физические шалости и озорство нас не привлекали, и мы решили между собою «собираться и читать поэтов». Сегодня решено, а завтра сделано. В ближайшее же воскресенье, после завтрака, мы собрались в один из пустых классов, которые все помещались во 2-м этаже (не считая подвального, где жили многочисленные семьи гимназических сторожей и помещались кухни учителей). Я захватил с собою один из 4-х (если не изменяет память) томов Некрасова из отличной литературной библиотеки покойного брата-учителя, и мы, усевшись на партах, сидя, развалиясь и почти лежа, предались «музам»... Что читали,— не помню. «Подчеркнутого» и «тенденции» никакой не было. Ну, конечно, мы все были демократы; и Некрасов был весь демократичен; «правительства», т. е. учителей гимназии и директора гимназии, мы, конечно, не любили, но все это лежало в нас как-то безотчетно. «Просто так рождаются люди». Стихи лились, мы смеялись и даже не курили.

Вдруг оранье... Ну, конечно, сперва распахнулась дверь, и влетевший в нее Василий Максимыч, потрясая длинными волнистыми волосами, кричал на нас самым неистовым образом...

Мы были учениками старшей половины гимназии, а Василий Максимович, как надзиратель, естественно, имел в своем обладании и беспрекословном подчинении только младшую половину гимназии. Поэтому мы, не чувствуя решительно никакой вины в себе, не оказали ему, по крайней мере, сразу повиновения:

— Да что вы, Василий Максимович! Мы читаем Некрасова. Отчего же нам не читать Некрасова? А что пришли сюда, то оттого, что дома тесно, и там мешают дети и взрослые, т. е. мы бы им помешали, а здесь просторно!

Не говоря ни слова, он повернулся. А через две минуты влетел еще распаленнее:

— По Высочайшему повелению... Слышите, по Высочайшему повелению строжайше запрещено ученикам гимназий обставлять ка-ки-е бы то ни было сообщества!!

Гром так и гремел.

Как я теперь понимаю, этот Василий Максимович был добрейшее и простейшее существо, «истинно-русский человек» без дурного оттенка, какой придан этому выражению политикой последних лет. Он не был зол, хитер, а только до чрезвычайности озабочен своею действительно каторжно-трудною службою: стоять с минуты появления первого ученика в здании гимназии до выхода последнего ученика из нее в центре огромной толпы из пятисот человеческих существ и все это время, от 8 часов утра до половины четвертого вечера, безостановочно следить, чтобы в ней ничего не произошло особенного, исключительного, вредного, постыдного, дурного, опасного для здоровья, нравственности и вообще всяческого «благополучия» учеников, как равно ничего вредного для «благосостояния» гимназии. Он наводил это «благополучие» и «благосостояние» на гимназию, как сапожник наводит ваксою «блеск» на сапог. Каким образом среди этой адской службы, тянувшейся 25 лет (он уже дослуживал свой «срок»), он не сошел с ума, не обозлился, не возненавидел гимназистов, да и вообще «все», и прежде всего, как он не оглох от безостановочного гама и шума; — я не знаю, но он был совершенно ясен душою, шутив во всякую минуту возможного отдыха и тишины, добродушен, благожелателен, и *за себя*, по крайней мере, никогда не сердился и не обижался. Иное дело — «служба» и «исполнение обязанностей».

И этого-то человека, коего благодушия и незлобия в нас не было и сотой доли, мы полуненавидели, полупрезирали, считая его грубым, сердитым и недалеким. «Грубым и сердитым» — за то, что он «орал», хотя какой же другой был способ говорить или вообще сделать себя слышным среди пятисот душ человек, из которых каждый тоже приблизительно «орет» и, во всяком случае, никто ни малейше не старается говорить тихо... Вечная память ему! — уже давно, конечно, умершему...

— Да какое же «общество»?!! Мы читаем Некрасова...

— Не рассуждать!

— Да как же «не рассуждать»...

Он щелкнул пальцем по бумаге:

— Тут сказано: «никакие сообщества», в том числе и «литературные чтения»... Потрудитесь разойтись!..

— Да мы идем, идем! Не понимаем: читали Некрасова,— и нас гонят!

— Не рассуждать!

Что мы читали Некрасова,— он не подчеркнул. Вообще, он был вовсе не политик (лучшая черта во всяком педагоге) и только «наводил глянец» на гимназию, не допускал с нее снять «шаблона», следил за «установностью» и порядком, не вмешиваясь в «как», «что» и «почему», что знали люди «старше» его, директор и попечитель округа... «Министр» тогда никому не приходил и в голову: это было так далеко и страшно... «Министр, из самого Петербурга, никогда и никому не показывающийся». Он был похож для нас на что-то вроде электричества, которое все приводит в движение и которое убивает неосторожного... Мы о нем никогда не думали.

Не помню, тогда ли же узнал я, или значительно позже, что «Высочайшее повеление», на которое сослался Василий Максимович, действительно было: оно было издано после знаменитого «обнаружения политической пропаганды в 77 губерниях и областях»,— т. е. приблизительно во всей России, плодом какового «обнаружения» и были всюду начавшиеся «репрессии», «усугубление надзора» и «строжайшие запрещения» собираться под какими бы то ни было предлогами. Вся эта «строгость» шла по поверхности, будоража ее, создавая в ней «неудобства» и жесткости, с ропота на которые и начинается «политика» в каждом, и, само собою, ни малейше не задевая того тихого и глубокого слоя, где двигалась «пропаганда». Как и во многих случаях, почти всегда, вступившие в борьбу с «пропагандою» и «увлечениями» не знали самого *вида* того, на борьбу с чем они ополчились. «Чудовище» им представлялось громким, скандальным, дерзким, хватающим чуть не на улице души людей и бросающим их с дубиною, с заговором, с пистолетом на «предержавшие власти», на самого «его превосходительство»... Между тем как оно ползло, кралось, обвивало все собою в тихих уединенных беседах с глазу на глаз, в «признаниях» друзей, в шепоте невесты и жениха, в грезах, в снах юношей, девушек, невиннейших по поведению, самых тихих и кротких лицом, в безропотных, в терпеливых... «Революцию» принимали за каскадную певицу, тогда как она была монахиня. Оттого ее не узнали и «не нашли»... Говорю о последней четверти XIX века.

* * *

Некрасов весь и пламенно был мною пережит в гимназии, и в университете я уже к нему не возвращался. Я думаю, во всяком человеке заложены определенные слои «возможных сочувствий», как бы пласты нетронутой почвы, которые поднимает «плуг» чтения, человеческих

встреч или своего жизненного опыта, особенно испытаний. Никогда не бывают подняты сразу два слоя: лежа один под другим, они как бы охраняют друг друга; каждый слой, который пашется, и чем энергичнее он пашется, тем лучше он сохраняет абсолютный сон, «девство» и «невинность» последующего слоя. Вот перед вами позитивист, яростный, «страшный»: не бойтесь — в нем же скрыт глубокий и нежный мистик, но только еще ему не пришла «пора», — не тронут плуг чтения, впечатлений, встреч житейских этого слоя... Но только общий закон этих «слоев» заключается в том, что не пашется дважды один и тот же слой, и, например, отдав «все» позитивизму в один фазис жизни, уже нельзя вернуться к нему вторично; равно, «пережив» мистицизм и выйдя потом на свежий холодок, положим, рационализма, — уже не станешь никогда опять «мистиком»... «Перепахивания слоя» бывают очень редко у богатых и очень долго живущих натур: и то они дают в «осеннем цвете» своем только «обещания плода» или тощие всходы. Зорьки без электричества.

В университете меня, «беспочвенного интеллигента», захватила «сила быта»... Не могу лучше формулировать своих новых увлечений. И удивительно, какая, в сущности, ничтожная книга была толчком сюда. Это — «В лесах» Печерского. Я вечно *рассуждал*, а тут *жили*. Я вечно носился в туманах, в фикциях, в логике, а тут была «плоть и кровь». Потап Максимович, «матушка Манефа», «сестрица Аленушка» и вплоть до плутоватого, скромного регента — все, все мне нравилось, меня тянуло к себе просто тем, что «вот люди *живут*», тогда как я, в сущности, никогда *не жил*, а только мечтал и соображал двадцать лет. Где «быт», там и «старинка», а где привязанность к «старинке», там и невольный, несознательный, лучший консерватизм, выражающийся в сущности, в одном пожелании: «Оставьте меня жить так, как я живу»...

Я стал в университете любителем истории, археологии, всего «прежнего»; сделался консерватором. Уже Хомяков для меня казался «отвратительным по новизне» и вечному «недовольству тем, что есть». Потап Максимыч из «Лесов» — вот это другое дело. С ним мне и моему воображению, моим новым «убеждениям» жилось легко, приветно. Я весь был согрет и обласкан его эстетикой. Даже его недостатки: умственная недалекость, полное невежество, торговая плутоватость — меня нимало не отталкивали: все это было так *стильно*!

Одну зиму я проводил где-то в студенческом уголке Москвы, помнится, около Бронной. Мы жили вдвоем с товарищем, К.В.В-ским. Занимали небольшую комнату со столом. Где-то по коридорчику жил огромный и радикальный студент-медик, совершенно бестолковый, даже (судя по некоторым спорам) тупой. Но в одном случае, которого до сих пор я не могу забыть, этот-то бестолковый радикал и оказался сердечнее, добрее всех нас, эстетических и утонченных консерваторов. Рядом была комнатка «больше не служащего» фотографа, т. е. которому отказали от места. По утрам и он куда-то уходил и явно пьянствовал,

потому что часу в 10-м ночи являлся домой неизменно «навеселе», и тут разыгрывал на гитаре такие арии, что душа плакала. Никогда такой простой и чудной выразительности в музыке я потом не слышал. Восхищенный игрою его, я раз не утерпел и вошел в его комнату познакомиться: на стуле, с гитарой в руке, сидел молодой, лет 28-ми, красавец, с тонким, благородным, немного женственным лицом. У хозяйки он не столовался, а только занимал комнату, и не платил. Хозяйка же не была в силах с него взыскать, потому что была влюблена в него.

Это была еврейка-христианка, лет 38-ми, небольшая, некрасивая, с веснушками по лицу и, кажется, со следами оспы. Она кой-как сводила счета, уравнивая наши уплаты, недоплаты, и никогда *ей лично* «переплаты», — со стоимостью провизии и ценою всей «сборной» квартиры. Очевидно, она имела квартиру и «щи» около жильцов, так же мало привередливых, как и сама. Была она вдова, а мальчик ее, лет 9-ти, где-то воспитывался на стороне у «благодетелей», кажется, у крестного ее отца. Вообще же она была какая-то безродная. Скорей веселая, чем скучная. Ни малейше не скупая. И, кажется, совершенно преданная своим жильцам. Об этом сужу по одному случаю, который и связывается в моей памяти последнею связью с Некрасовым.

По коридорчику у еврейки жили и еще какие-то жильцы, которых я не знал и не замечал, не имея к ним никакого отношения. Вдруг товарищ по комнате с большими предосторожностями сообщает мне, притом не дома, а на улице, идя вместе в университет, конфиденциальную новость.

— В квартире нашей поселился агент тайной полиции. То-то он все старается заговорить со мной о том, о сем, а прошлую неделю навязался ехать в гости в баню и по дороге все высказывал свои восторги к Некрасову, к его «страданию за народ», и, очевидно, на почве и моего ожидаемого восторга думал выудить из меня кое-что для себя полезное. Все ругал правительство и говорил, как трудно живет мужику. Хорошо, что я молчал или равнодушно мурлыкал себе под нос. Хозяйка на днях вызывает этого студента-медика, такого нелепого, и, вся трясаясь от страха, говорит ему: «Ради Бога, будьте осторожны и не заводите никаких споров по коридору. Новый жилец наш, что поселился рядом с вами, — из тайной полиции. Когда поутру все жильцы ушли на занятия, и я осталась одна, он позвал меня в свою комнату, открыл ящик, показал пистолет и сказал, что он имеет право застрелить меня как собаку, без ответа и без суда, и застрелит, если я хоть одним словом выдам жильцам, что он агент полиции».

Почему этот агент мог предположить, что хозяйка «откроет», кто он (может, по паспорту? — едва ли у агентов обычные «откровенные» паспорта!) — я не знаю. И вообще не знаю ничего, что из этого вышло. Сам я был настолько «благонамерен» в своем археологическом энтузиазме, что мне и в голову не приходило чего-нибудь бояться. Поэтому полицию и всю полицейскую стороною жизни я нисколько

не интересовался. Но мы тут же подивились героизму нашей хозяйки. По испугу судя, она нисколько не сомневалась, что «incognito», действительно, имеет полномочие застрелить ее, если только она выдаст его,— и тотчас же и бежала и выдала, только чтобы предупредить опасность для жильцов, которых сегодня знала, а завтра не будет знать и никогда не встретит! Что ей они? Почему же она их жалела? Ради чего сторожила, берегла? Между тем весь ее культурный рост был такой низенький, что,— не впадая в профессию, отнюдь нет! — изредка она получала «рубль в руку» за такие услуги собою, о каких надо предоставить читателю догадаться. Что это было: распущенность, свой «темперамент» или действительно нужда в рублях, в двух рублях,— и до сих пор не умею разобрать! С этой стороны никто о ней не говорил, и вообще она представлялась женщиной «ничего себе, без жеманства», но и без дурных прибавлений. Вот и подите, разберите природу человеческую, и отделите тех, кто «честен», от тех, кто «нечестен». Сколько «безукоризненных женщин» пальцем не шевельнули бы, чтобы, рискуя собою, отвести беду от другого, а эта хоть, может быть, и ошибочно, по своему неразумению, знала, думала, что идет на страшную реальную опасность, отводя от других только возможную опасность.

Одну ночь она, бедная, скулила подлинно как собака. Болели зубы. Болели так, как умеют болеть только зубы. Плач то заглушался, то вырывался из ее комнаты. Всем было жалко. Но все «колебались» и «не знали, чем помочь»,— как всегда бывает у русских. Идет двенадцатый час ночи,— скулит. Бьет час,— скулит. Наконец, часу в третьем раздалась стоны, беспомощные, жалкие, отчаянные. «Ну, что же делать? Что делать в третьем часу ночи?» — думали мы и, верно, все жильцы. Вдруг кто-то закричал, забасил и завозился. Послышались сборы, стук двери,— вышли. Это наш медик встал, оделся и повез ее к доктору. Хоть и «неприлично было в 3-м часу ночи», чему все и конфузились, собственно, но он оттолкнул *личный конфуз*, чтобы избавить от непереносимого страдания хозяйку, до которой ему приблизительно так же не было никакого дела, как и ей до него в политическом отношении и в деле охраны. «Так, по-человечеству» поступили оба. И, верно, забыли. Но мне помнятся оба эти случая.

С Некрасовым у меня связалось это воспоминание потому, что, как читатель видит, уже сейчас же по его смерти поэзия его стала «пробным камнем» для испытания политической благонадежности или неблагонадежности. «Сочувствуешь Некрасову,— значит, сочувствуешь «угнетенному народу» или «воображаешь народ в угнетении», и, значит, «способен на всяческое,— ищи *далее*»... Напротив, кто равнодушен к поэзии Некрасова, или, особенно, враждебен ей, о том правительством полагало, что этот субъект не составит для него хлопот. Это характерно и, во всяком случае, это в истории следует запомнить. Любопытно, отчего таким «критериумом» не выбирался, например, Щедрин, не выбирался

Михайловский? Мне думается, оттого, что Некрасов был лирик, а не «рассуждал», как те два, и, во-вторых, что он давал схемы, шаблоны, как бы строил «общепроездные рельсы». Именно в силу общности своей и невнимания к частностям, к подробностям, к «узору» жизни и человеческих физиономий, он толкал всю массу нашего русского общества в известную сторону, «нежелательную» для режима, и притом «лирически» толкал, т. е., в сущности, мучительно звал, призывал, требовал, откуда уже родилось *действие*. Он «мучил сердца», как чародей-демагог, а из «измученного сердца» всегда рождается поступок.

Вот отчего через 30 лет по его смерти земля русская должна низко поклониться в сторону его могилы. И, может быть, наше время — такое, что поклон будет особенно выразителен, да и голова опустится пониже.

Л. Андреев и его «Тьма»

...Наконец я одолел почти месячную антипатию и прочел давно рекомендованную мне новую «вещь» Леонида Андреева — «Тьма», помещенную в кн. III альманаха «Шиповник». Кажется, ее прочла уже вся Россия и вся печать о ней высказалась.

«Вещь» написана гораздо лучше, чем «Иуда Искарот и другие». Автор стоял здесь гораздо ближе к быту, к нашим дням, и фантазия его не имела перед собою того простора «далекого и неведомого», в котором она нагородила в «Иуде» ряд несбыточных и смешных уродливостей. Затем, все письмо здесь гораздо менее самоуверенно, оно очень осторожно: и, напр., почти не встречается прежних его «пужаний» читателя — самой забавной и жалкой черты в его писательской манере. Вычурностей в польско-немецком стиле меньше, и они лежат не страницами, а только попадают строчками. Напр.:

«Таким же быстрым и решительным движением он выхватил револьвер,— точно улыбнулся чей-то черный, беззубый провалившийся рот»... Или:

«Закрыв ладонями глаза, точно вдавливая их в самую глубину черепа, она прошла быстрыми крупными шагами и бросилась в постель, лицом вниз».

Все эти напряженные, преувеличенные сравнения напоминают собою живопись польско-русского художника Катарбинского. И вообще в литературе, я думаю, Л. Андреев есть русский Катарбинский. Та же аффектированность. Отсутствие простоты. Отсутствие глубины. Краски яркие, кричащие, «взывающие и поющие» — не от существа предмета и темы, а от души автора, хотящей не рассуждать и говорить, а удивлять, кричать и поражать. «Катарбинский! Катарбинский», — это шепталось невольно, когда я смотрел «Жизнь человека» в театре г-жи Коммиссаржевской.

«Тьма» подражательная вещь: темы ее, тоны ее — взяты у Достоевского и отчасти у Короленки. Встреча террориста и проститутки в доме терпимости и философски-моральные разговоры, которые они ведут там, и все «сотрясение» террориста при этом, — повторяет только вечную, незабываемую, но прекрасную только в одиночестве своем, без повторений — историю встречи Раскольникова и Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании». Но какая разница в концепции, в очерке, в глубине! У Достоевского это вовсе не «один разговор, решивший все», как это вычурно и неестественно сделано у Андреева: там дана — случайная встреча, но поведшая к основательному ознакомлению двух замечательных лиц друг с другом, к сплетению в одну нить двух поразительных судеб человека. Не явись Соня Мармеладова на фоне своей разрушающейся семьи, не выслушай Раскольников предварительного рассказа-исповеди ее отца в трактире, не ознакомься с ее младшими сестренками и с чахоточной мачехой — ничего бы и не произошло: Раскольников и Соня прошли бы мимо друг друга, не заметив один другого. Наконец, встреча эта потому так вовлекла в себя душу Раскольникова, что весь кусочек социальной жизни, увиденной им так близко в горячем жизненном трепете, — как бы налил соком и кровью его теории, дотоле бледные и отвлеченные. У Достоевского все это вышло великолепно, многозначительно... И вполне было отчего потрястись от этого романа и России, и европейской критике, и читателям. Но Л. Андреев со своим «Лодыжниковым», который из Берлина ожидает запросов о переводе его новой «вещи» на все языки мира, где есть какие-нибудь законы, — о чем хвастливое уведомление он помещает в «Шиповнике», как помещал его в сборниках «Знания», — взял из художественной картины Достоевского только олеографический очерк, встречу проститутки и идейного человека, и написал рассказ, в котором поистине нет ни значительности, ни интереса, ни правдоподобия. Сыщики, гоняясь за террористом «Петей», загоняют его в дом терпимости. Там есть проститутка Люба, красавица, одетая в черное, которая пять лет дожидается прихода «настоящего хорошего человека», чтобы возвестить ему одну истину. Прежде всего террорист, желая только укрыться и выспаться, никак не пошел бы в самый шикарный в столице такой дом: он пошел бы непременно в «демократическое учреждение», каких было в этом переулке много (см. о взяточничестве «с этих домов» участкового пристава, который арестовал Петю). Но в «демократии» не встречается проституток, одевающихся в черные платья на шелку, — и тогда что же вышло бы у Андреева — Катарбинского? Это Достоевский одушевлялся бедностью, нищетой, рублищем; а Андрееву, у которого в Берлине сидит «Lodyschnikoff», темы эти не понятны, не чувствительны, и для занимательного разговора ему нужна проститутка, одетая как монахиня. Взявшись под руку, они остановились перед громадным зеркалом в золоченой раме:

«Как жених и невеста!» — подумал он.

Но в следующую минуту, взглянув на черную, траурную пару, он подумал:

«Как на похоронах!»

Все эти-то копеечные эффекты: «свадьба — похороны», «жених с невестой — террорист с проституткою» и волнуют неглубокую водицу андреевского воображения...

«— Ну, как моя цыпочка? Пойдем к тебе, а? Где тут твое гнездышко?»

Таким противным, лакейским языком завсегдатая домов терпимости мрачный террорист «Петр» приглашает Любу «к исполнению обязанностей», т. е. отправиться к ней в комнату из общей залы.

Здесь происходит ряд неестественностей. Несмотря на то, что Люба пять лет ждала «настоящего хорошего человека», чтобы поведать ему ту нравственную «Америку», какую она открыла, она предварительно бьет террориста по физиономии и плюет ему в физиономию, что тот скромно переносит. Может быть, и здесь не обошлось без подражания знаменитой пощечине, которую Николай Ставрогин переносит тоже непоколебимо от Шатова (в «Бесах» Д-го). Заметьте, что Люба уже в общем зале, взглянув на террориста, сказала себе: «он самый, — мой суженый». Так она признается ему в конце беседы: за что же и как же она бьет его и плюет на него? Это какие-то египетские фантазии Катарбинского, совершенно невозможные в русской действительности.

Весь жаргон беседы — сладенький, змеистый, лукавый, насмешливый, сентиментальный — воспроизводит до мелочей колорит бесед Грушеньки с Алешей Карамазовым; а история с поцелуем ручки у террориста и потом у себя ручки, которая ударила террориста по физиономии, воспроизводит эпизод из «Бр. Карамазовых», где Грушенька тоже хочет поцеловать ручку у Катерины Ивановны, невесты Ивана Карамазова, — вела ее к губам, не довела и сказала:

— А ведь я ручку-то у вас не поцелую.

Весь этот эпизод достаточно неестественен, изломан и истеричен и у Достоевского: и решительно не допускает повторений! Но у Достоевского все искупала его сила таланта и свежесть первого рисунка, первоначального изобретения! «Первому» всегда все позволено: ибо «первый» творит и обогащает историю. А подражания только загромаждают историю: и когда они берутся повторять то, что было рискованно и при первом появлении, — они производят режущее, несносное впечатление:

«— Надо было хорошенько ударить, миленький, настоящего хорошего. А тех слюняев и бить не стоит, руки только марать. Ну, вот и ударила, можно теперь и ручку себе поцеловать. Милая ручка, хорошего ударила.

Она засмеялась и действительно погладила и трижды поцеловала свою правую руку. Он дико смотрел на нее»...

Это совершенно кусочек из Достоевского; и Люба Андреева списана с Грушеньки,— но как бездарно, бессочно и без всякого значения списана! Мертвая, нецелесообразная копия с живой картины!

Но переходим к «Америке» Любы...

У Короленки есть рассказ «Убивец»... Простоватого, недалекого, прямого ямщика разбойник-мистик-сектант соблазняет одним софизмом, который даже и для богослова кажется почти неразрешимым. Он затевает с ним разговор и в разговоре навевает ту мысль, что ведь самый центр, самая сущность христианства заключается в скорбном сердце, в покаянном сердце... Покаяние — центральное моральное таинство в христианстве: таинство *нисхождения* души куда-то в пропасть, вниз, в ад, как евхаристия есть таинство восхождения, поднятия из ада, воскресения души. Призывом к покаянию Иоанна Крестителя открылась эра христианства, и даже сам Христос воскрес, только побывав в аду. Словом — тут сердце, тут основное. Ямщик все слушает. Как же не согласиться? «Нельзя стать христианином, не испытав сладости покаяния. Без покаяния люди — христиане только по внешности, по имени, а не в глубине, не настоящие». Нельзя мужику не согласиться с этим, когда вся церковь о том же учит, когда в этом весь дух церкви, только подчеркнутый и выпукло указанный сектантом. Вот везет ямщик по сибирской тайге одинокую барыню. Везет ее не без денег. Соблазнитель, вынув из сена топор, подает его в руки ямщику и говорит: «Заруби ее. А потом спокаешься. А как спокаешься, сладко тебе будет, и станешь ты через слезное очищение доподлинным чадом Христовым, как и покаявшийся разбойник. И возьмет Христос твою душеньку, и понесет в рай, как и того разбойника». Пораженный дьявольской казуистикой, ямщик взял топор в руки... взглянул на беззащитно спящую барыню, кажется с ребенком, и... зарубил соблазнителя. Прямой был мужик и не поддался богословию. «Натурка» вынесла: хотя богословие таково, что я, напр., и по сей день не сумею с ним справиться. По психологии и по букве все «верно с Писанием»...

У Короленки это представлено гениально, ярко, незабываемо. Посмотрите же, что намазал в этом стиле Л. Андреев.

Обменявшись плюхами, террорист и проститутка сидят друг перед другом. Он только что оскорбил ее словом и похвалил себя.

— Да, я хороший. Честный всю жизнь! Честный! А ты? А кто ты, дрянь, зверюка несчастная?

— Хороший? Да, хороший? — упивалась она восторгом.

— Да. Послезавтра я пойду на смерть, для людей, а ты, а ты? Ты с палачами моими спать будешь. Зови сюда твоих офицеров. Я брошу им тебя под ноги, берите вашу падаль.

Люба медленно встала. И когда он взглянул на нее, то встретил такой же гордый взгляд. Даже жалость как будто светилась в ее надменных глазах проститутки, вдруг чудом поднявшейся на ступень невидимого престола и оттуда с холодным и строгим

вниманием разглядывавшей у ног своих что-то маленькое, крикливое и жалкое.

И строго, с зловещей убедительностью, за которой чувствовались миллионы раздавленных жизней, и моря горьких слез, и огненный непрерывный бунт возмущенной совести, она спросила:

— Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я плохая?

— Что? — не понял он сразу, вдруг ужаснувшись пропасти, которая вдруг у самых ног его раскрыла свой черный зев.

— Я давно тебя ждала.

— Что ты сказала? Что сказала?

— Я сказала: стыдно быть хорошим. А ты этого не знал?

— Не знал.

— Ну, вот, узнай».

Понимаете ли вы метафизику: «быть плохим» — несчастье. Пожалуй, высшее несчастье, чем прямое несчастье: голод, нужда, болезнь. «Быть плохим» — потеря души или несчастье души. А он человеколюбец, этот террорист, и готовится принести свою жизнь за людей. Но за которых людей, за голодных, за рабочих? Есть несчастнее их, вот эти проститутки в шелковых платьях, «дурные». Ну, так вот во имя абсолютной справедливости и, так сказать, всемирного уравниения между собою несчастных, мучающихся на земле, он должен пойти не кинуть бомбу в Четверг (в «Четверг» Петя должен совершить террористический акт, и этот Четверг везде пишется у Андреева с большой буквы), а статью ее «миленьким, суженым», начать посещать ее и сделаться тем, что в этом промысле зовется «котом» или «сутенером». Но мне кажется, г. Л. Андреев не догадался, что есть еще ступень ниже: он мог бы стать также сыщиком и предать своих товарищей по партии. Вот уж поистине несчастная профессия, достойная слез: никто-то, никто никогда не склонил сюда внимания, тогда как проститутками, начиная с Достоевского, занималось сколько писателей, беллетристов, драматургов. Их даже, в собственном смысле, не осуждает и духовенство. Да наконец, чего тут: само Евангелие «призрило» на них, и Христос «ел и пил с блудницами и мытарями». А сыщики бедные? А жандармы, полиция? К чему же было террористу идти в сутенеры, когда он мог пойти в квартальные? Логика Андреева не доведена до конца, и Люба его открыла «Америку», но не совсем.

Пораженный открытием, террорист Петр поплелся было к двери, какмышь, задавленная котом; но кошка-Люба остановила его:

«— Ступай! Ступай к своим хорошим!

Тот остановился.

— Почему же ты не уходишь?

И спокойно, с выражением камня, на котором жизнь тяжелой рукой своею высекала новую *страшную последнюю* заповедь, он сказал:

— Я не хочу быть хорошим».

Судьба была решена. Террорист умер, и на месте его появился сутенер.

Люба рада, почти как Архимед, открывший в ванне закон удельного веса, катается в восторге:

— Миленький мой! Пить с тобою будем. Плакать с тобою будем — ох, как сладко плакать будем, миленький ты мой! За всю жизнь наплачуся. Остался со мной, не ушел. Как увидела тебя сегодня в зеркале, так сразу и метнулося: «Вот он, мой суженый, вот он, мой миленький». И не знаю я, кто ты, брат ты мой, или жених, а весь родной, весь близкий, весь желанненький...»

Кто помнит, в ее подробностях, Грушеньку из «Карамазовых», помнит ее речи, ее ухватки, тот увидит, до чего у Андреева, — копия и только копия, без единого оригинального штриха. Все тоны речей взяты оттуда, как морально-метафизическое открытие, т. е. в *туне* своем, взято — с Короленки. Но там это умно и поразительно, а здесь... Дело в том, что для подобных тем нужно иметь огромный ум и пройти хорошую школу религиозно-морального воспитания. Андреев же, ничего за душою не имея, кроме общего демократического направления и знания нескольких сентиментальных сентенций из Евангелия, шлепнулся в лужу шаблонно-плоского суждения, которое могло поразить приблизительно только того «писательчика» из друзей Любы, о котором она вспоминает, что уж очень он самолюбив, и все ожидает, не будут ли на него молиться, «как на икону»... Может быть, Люба запаматовала, что у этого «писательчика» есть друг в Берлине и живет он на Uhland-Strasse...

* * *

Печален этот рассказ потому, что своей грязною ретушью он что-то малюет на том месте, где пока ничего не начерчено, но когда-нибудь могло бы быть нарисовано «с подлинным верное» изображение. ♦ В Раскольникове, в Ник. Ставрогине, в Шатове, Кириллове Достоевский накидал нам штрихи предшественников «террористов»... Почти половина живописи Достоевского занята этим «пророчеством о будущей русской революции», которую он чувствовал, как что-то надвигающееся, и предрекал ее будущие раскаты, ее безумие и сумасшествие, великодушные и жестокость, величие и пошлость. Он показал и Лямшиных, и Ник. Ставрогина, «длинноухого» Шигалева, и негодяя Петрушу Верховенского, и почти святого Кириллова. Всего есть, всякое есть... Но это были именно только «предтечи», разговаривавшие, а не действовавшие. Для действия не было простора, не было обстоятельства. Вот года два, как «простор» явился: и мы наблюдаем, до чего живопись Достоевского угадывала будущее. Не знаете ли вы, кто в литературе был первым «анархистом, разошедшимся с действительностью»? Уленька из «Мертвых душ», — помните эту девушку, такую прозрачную, не действительную, исполненную воображения, которая готова была расплакаться

при всяком рассказе о несчастных людях? Вот она и повела за собою ряд героинь Тургенева, — и потом ряд *женственно-сложенных* натур у Достоевского, которые, подняв бомбы, пошли «за все страдание человеческое»... Это как Раскольников говорит Соне:

«— Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился».

• В революции русская баба пошла на мужика. Мужик — трезвен, живет в работе, мужик — практик. Баба сидит у него за спиной и все воображает, живет истомами сердца и «мечтами, которые слаще действительности»... Вся революция русская — женственная, женоподобна; в ней есть очень много «хлыстовщины», и хлыстовщина-то и сообщает ей какой-то упорный, не поддающийся лечению и искоренению, характер, пошиб. Баба-революция пошла на мужика-государство: Уленька восстала, с истерикой и слезами, на «Мертвые души», на своего папашу-генерала, на Чичикова, на всех... Бабы — не государственники; и оттого русская революция не выдвинула ни одного государственного ума, государственной прозорливости, государственной умелости. Она вся — только сила, только порыв: без головы. Вся стать бабья. Но нельзя отрицать, что тут в одной куче с пошлостью кроется и много прекрасного, трогательного, есть мучительно-острые звуки, есть мучительно-прекрасные краски. Есть Петруша Верховенский, есть и Кириллов. В основе всего лежит христианский сентиментализм, тот сентиментализм, который не переносит самого вида жесткой государственности, этого наследия Рима. Революция все хочет вернуть к какой-то анархии «доброты» и бесформенности старого Востока; по крайней мере наша русская, «хлыстовская» революция — тянет к этой восточности, несмотря на ссылки — для приличия — на Маркса. Она очень мало созидательна. Она более всего разрушительна. Она не хочет жестких углов, твердых граней, крепких линий. Ничего мужичьего. Она хотела бы оставить один «быт» без всякого «государства»; оставить то, что не задело бы шероховатостью своею, своей щетинкой, ни Уленьку, ни Соню Мармеладову, ни пьяненького папашу этой Сони... Иногда думается, что революция наша тянет не к усовершенствованному заводско-фабричному строю Запада: это — только соус, предлог и оправдание «бомб». «Хлеб насущный» не в этом. Заветная цель всех «бомб» — великий Китай, с отвлеченно-невидимым «богдыханом», с анархией провинций, где «всякий сам барин», с безобразной и в сущности ненужною администрацией, — и где люди только плодятся и *пашут*. Вот когда Уленька сядет в такую теплую кашу — революция прекратится. Нужно сказать полнее: когда Уленька начнет плодить детей, и революция прекратится. А пока жестко — она остается девственна: она будет чувствовать себя как у хлыстов их «богородицы»; и пока она будет такова — она не перестанет подымать бомбы.

Автор «Балаганчика» о петербургских Религиозно-философских собраниях

I

На вопрос «кто истинно счастливый человек» Карамзин отвечал довольно неопределенно: «патриот среднего возраста»; на вопрос «кому жить на Руси хорошо» Некрасов ответил, что «никому». Но если бы в минувшую зиму задать два этих вопроса, то ответ был бы ясен: «Истинно счастливый человек на Руси есть Александр Блок», а «живется на Руси хорошо» декадентам вообще и сотрудникам «Золотого Руна» в частности. Они печатаются на великолепной бумаге, они получают великолепные гонорары, и в заключение всего сих «бессмертных» некто г-н Кустодиев воспроизводит то карандашом, то пером, то в красках на страницах того же «Золотого Руна». Бессмертные мысли, увековеченность физиономии и полные карманы — это такие три благополучия, какими едва ли пользуются и «патриоты среднего возраста», и уж, конечно, ничем из этого не пользуются мужики, бабы и попы из длинного стихотворения Некрасова.

Но из всех декадентов решительно больше других процветал в прошлую зиму г. Александр Блок. Легенда рассказывает, что актеры и в особенности актрисы театра г-жи Комиссаржевской в Петербурге осыпали его цветами, и, может быть, не одними цветами, во время постановки знаменитого «Балаганчика» и буквально чуть не задушили его не в одном фимиаме похвал, но и в чем-то более осязательном. «Балаганчик» ставился чуть не подряд сто раз, а по истечении первой сотни представлений он ставился с промежутками после двух дней в третий. О нем говорил весь Петербург. О нем кричала пресса. И хотя одни доказывали, что это — «ерунда», но зато другие уверяли, что это — «гениально». Решительно Александр Блок был самой интересной фигурой за весь зимний сезон 1906—1907 года, ну, конечно, не считая тех выигранных лошадей, что вечно брали призы на бегах... Те были еще знаменитее, о них говорили и спорили больше, но «божественные» лошади, — применяя эллинско-декадентскую терминологию, — уже выходят за пределы человеческого, открывают область зоологии, и Александр Блок не может особенно оскорбляться тем, что на арене мировой славы его побил копыто лошади...

«Балаганчик», видите ли, — задумчивая вещь. В ряде сцен, ничем не связанных и, по-видимому, бессмысленных, не столько показывается и доказывается (ибо этого ни показать, ни доказать нельзя), сколько излагается, что вся человеческая жизнь и все человеческие отношения, в сущности, представляют собой балаган, шутовство, что-то в высшей

степени незначашее и в высшей степени ненужное. Нельзя сказать, чтобы мысль эта отличалась поразительной новостью, и здесь все зависит от того, «как сказано» и «кем сказано». Разумеется, если ее говорит Экклезиаст-Соломон, построивший первый и единственный храм Богу, написавший ранее «Песнь песней» и «Премудрость», все испытывший, все видевший, всего достигший, то тут есть, чего послушать. Но если эту же тему повторяет русский коллежский регистратор, например, женившийся на приданом, недополучивший его и затем пришедший к мысли, что «брак — ерунда», или подвыпивший сельский дьячок, который скандирует:

Все ничто в сравнении с вечностью
И с соленым огурцом,

то это музыка не занимательная. Объявлять, что «мир есть балаган», можно, или нося в душе идеал непереносимо высокий, так сказать, испепеляющий действительность. Но тогда ведь нужно этот идеал не только носить, но и чем-нибудь выразить, в чем-нибудь обнаружить, чем-нибудь доказать, кроме задумчивой физиономии. Или можно объявлять мир «балаганом» приблизительно по тому мотиву, по которому, например, насекомым весь мир кажется насекомообразным, а травоядным весь мир представляется состоящим из овощей и их потребителей. Если бы спросить г. Блока, которому мы не отказываем в способности к простым и ясным суждениям, по которому из двух мотивов он назвал мир, любовь и труд «балаганом», то он, вероятно, очень бы сконфузился... Мы его вывели бы из затруднения, заметив, что он «мира», вероятно, совсем не знает, а написал пьесу, как пьесу... ну, пьесу, которую играют в театре у Комиссаржевской и которая в 1906—1907 гг. имела успех почти скаковых лошадей.

Философ «Балаганчика», 28-летний Экклезиаст, поговаривая «суета сует», забрел и на религиозно-философские собрания в Петербурге... И уже не мудрено, что и там он увидел отдел «Балаганчика». Увидел не по зрелищу, представившемуся ему, и не по словам, которых он и не слушал, а по тому, что в душе его было вдохновение к «Балаганчику»; и, кажется, увидь он около себя отца, мать и даже свою аполлоновскую фигуру в зеркале, он повторил бы: «Э, балаганчик!» Как известно, всякий чижики поет песню чижики, и никакой другой песни ему спеть не дано...

В «Литературных итогах 1907 года», помещенных в январском номере «Золотого Руна», он передает свои впечатления, вынесенные из зала географического общества, у Чернышева моста, где собираются «религиозно-философские собрания». Его поразила электрический свет там. «Отчего не зажгли лучины или, по крайней мере, сальных свечей?» Никому не приходило в голову, почему. «При лучине, — поясняет Блок, — говорили о Боге 500 лет на Руси; или не говорили, а молились, вздыхали, и еще точнее — *молчали или шептались вдвоем*». Но ведь «о Боге» говорили и под сирийским солнцем, и в Индии, среди бананов.

Так не устроить же у Чернышева моста фруктовую лавку с развешанными бананами и не натопить печей до тропической жары, в имитацию древности? Да и вообще к чему все это, весь этот,— простите,— балаган? Вы сами пишете, и печатаясь на отличной бумаге, и окружаясь виньетками, а употребляете стальные перья фабрики «Sommerville et C^o», тогда как Гораций писал «стилем», а Грибоедов — гусиным пером. Но что из этого, и какое все это имеет отношение к религии или поэзии? Явно — никакого. И явно — Блок не имеет никакого понятия, кроме внешнего и театрального, о религии, а может быть, и о поэзии. Пораженный, что религиозно-философские собрания происходят не при зажженной свече, он уже не хочет вглядываться в лица, ни вслушиваться в речи. «Ерунда,— решает молодой Экклезиаст,— лучше сабли, коготки и кафешантан»...

Все ничто в сравнении с вечностью
И с соленым огурцом...

Экклезиаст начинает «ab ovo» *, с собраний 1902—1903 гг., где будто «надменно ехидствовали и сладострастно (!) полемизировали с туполобыми попами» писатели и журналисты; а в этом году «они вновь возобновили свою болтовню»,— и только *болтовню*,— зная, что за дверями стоят нищие духом, и что этим нищим духом нужны дела». Я думаю, что таковые стоят «за дверями» не только зала географического общества, но и редакции «Золотого Руна», на Новинском бульваре, с той разницей не в пользу последней, что двери религиозно-философских собраний отворятся перед «нищими духом», если они захотят туда войти, а двери «Золотого Руна», т. е. самого Блока и друзей его, едва ли отворятся и даже наверное не отворятся. «Образованные и ехидные интеллигенты, посевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, дочери, свояченицы, в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира,— вся эта невообразимая и безобразная каша, идиотское мелькание слов». Нужно заметить, что всякие слова представляются «идиотскими» тому, кто их не слушает, и всякая мысль тоже представляется «идиотской» тому, кто ее не понимает. Так, известный Буренин давно пришил ярлык с надписью «идиотство» к стихам самого Блока, которых он *не хочет* понимать, которые ему *противны* по самому тону, по стилю, издали. Буквально как Блоку «религиозно-философские собрания»... Зачем же Блок завистливо снимает листочек лавра с седой головы Буренина? До сих пор казалось, что они разных стилей... Зачем свояченицы и жены,— «в кофточках»? Что же, им быть без кофточек или в «неприличных» кофточках, как настаивает Блок, укоризненно указывая, что кофточки «приличны». И что это за высокомерие у Экклезиаста? Да отчего же женам, свояченицам и проч., и проч. не посещать

* с яйца (лат.).

религиозно-философских собраний, и неужели же всем им писать стихи в «Золотое Руно»? Просто они находят для себя интересное слушать споры в собраниях, нежели рассматривать портреты, изготовляемые Кустодиевым. И, может быть, в этом лежит причина досады Блока? Во всяком случае, заметим, что в этом гадливом упоминании о «свояченицах, женах, дочерях» и проч. сказалось очень мало раскрытия объятий для «нищих духом», на что, по-видимому, намекает у себя Александр Блок, ибо он за недостаток этого упрекает религиозно-философские собрания. «И вот один тоненький, маленький священник в бедной ряске выкликает Иисуса — и всем неловко; один честный с шишковатым лбом социал-демократ злобно бросает десятки вопросов, а лысина, елеем сияющая, отвечает только, что нельзя сразу ответить на столько вопросов. И все это становится модным, уже модным и доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам»... Ах, какой язык у Блока! Точно бритва. Как он уязвил приват-доцентов: женам их хоть разводиться с мужьями. «А на улице ветер,— продолжает он патетично,— проститутки мерзнут, люди голодают, а в стране реакция, в России жить трудно, холодно, мерзко». Это, пожалуй, центр статьи его, и самый центр возражения. Но сперва позвольте снять маску или «балаганчик». Которую же из замерзающих на улице проституток согрел Александр Блок, или хоть позвал к вечернему чаю, где он кушает печенье со своей супругой, одетой, как это видели все в собраниях, отнюдь не в рубище? Что же он сделал? А собрания не кое-что, а *очень много сделали и определенно делают* по всем тем рубрикам, которые он перечислил: 1) и для проституток, 2) для голодных, 3) и вообще по части «реакции» и ее подробностей, по части «жить мерзко» и конкретных приложений этого. Только Блок этого со своим «Балаганчиком» и «Екклезиастом» не заметил, *пренебрег* заметить... Да «реакция», если хотите знать, вся и основана и *утвердилась* на этом еклезиастическом равнодушии или попросту свинстве, которое буркает себе под нос: «Суета сует, ничего знать *не хочу*»... Войдем в маленькое рассуждение. Ведь процент проституток мерзнет сейчас на улице оттого, что когда-то они, совершенно чистые девушки, были брошены мужчиной с первым своим ребенком. Не все, но некоторый процент *с этого начали* и бросились в проституцию оттого, что *с ребенком девушке* ни пристанища, ни работы, ни помощи, ни внимания и заботы. Вот об этой теме на страницах «Золотого Руна» не было написано ни страниц, ни строк, а в религиозно-философских собраниях и в 1902—1903 гг., и в 1907 году толковалось вечера. Он скажет: «Ах, толковалось, а *не делалось*». Но ведь и Беккария из одного казнимого не вытащил из рук палача, а плодом *написанного и сказанного* Беккарией явилось то, что смертная казнь вообще реже применяется в Европе. Вот что значит быть Екклезиастом в 28 лет: бедняжка Блок, всего года три снявший ученическую курточку с плеч, не ведает, что есть *непосредственные действия* — и они всегда относятся

к лицу и только к одному часу, в который совершаются, и есть *сказывания и писания*, правда, не в эстетических кружках и не в художественных журналах, которые действуют на массы и до известной степени *вечно*. Правда, Толстой учил, что надо «нагреть воду по капельке», но русские бабы, не вникая сей мудрости, предпочитают вдвигать разом *котел воды* в печь... Блок соображает, что можно уничтожить *проституцию*, обнимаясь с *проституткой*, а в религиозно-философских собраниях воображают, что можно спасти и эту, и ту проститутку, и Катю, и Машу, сказав, доказав и *вынудив священников согласиться с собой*, что в рождении ребенка нет греха, нет стыда, а есть Божий путь, Божия заповедь, и что, следовательно, всякой таковой женщине ли, девушке ли, вдове ли должна быть дана помощь, совет, поддержка. Катерина Маслова, выведенная в «Воскресенье» Толстого, имела бы в лучах «Золотого Руна» ту же судьбу, как и показанная Толстым, ибо «Золотое Руно» есть бесспорно кусочек, подробность той праздно-золотой столичной жизни, какую изобразил Толстой. А среди участников религиозно-философских собраний Катерина *такой судьбы, бесспорно, не получила бы...* Ни делом, ни по существу, ни по духу. Блок, если бы слушал что-нибудь в религиозно-философских собраниях, если бы приглядывался к чему-нибудь, мог бы заметить пробуждающееся в них сочувствие, напр., к *религиозному строю и быту еврейства*. Но почему? Да вот на примере Катерины Масловой лучше всего это можно объяснить. Как-то ко мне приходит швейцар и жалуется: племянница его, ничего не знающая и никакой работы не умеющая делать, осиротев, пришла в Петербург из деревни. Работы здесь не нашла или — точнее — за неумелостью переходила с работы на работу. Между тем ею кто-то воспользовался, из «православно-русских людей». Воспользовался — и оставил, как это и бывает у нас, на улице и «в быту». Девушка, неопытная, несчастная, служила в это время у евреев. Здесь я продолжаю словами швейцара. «И хоть она не умела готовить кушанья, и вообще в работе была этим евреям не нужна, но, видя, что она беременна и ей некуда пойти, они оставили ее у себя жить до разрешения от родов. Родился ребенок. Окрестили. И она пошла к псаломщику взять метрическую выпись. Она взяла бумажку, а он и говорит: «А рубль?» — «У меня нет рубля. Я — нищая». — «Так подай бумагу назад». Она не дала. Он хотел вырвать, но она все-таки не дала и убежала. Не напишите ли о таком безобразии в газетах?» — закончил швейцар. Это было года три тому назад; тогда я не написал, не было случая, а теперь к случаю и рассказываю. Ведь эта забота евреев, не о *ком-нибудь*, не о *чем-нибудь*, а именно о беременной девушке, находится в некоторой связи с приклоненностью их уха к старому: «плодитесь! множитесь! *«наполните землю»*». А бездушные псаломщики и совершенное его невнимание именно к *молоой матери* (нищим-то он, может быть, и подает) находится тоже в связи с *отклоненностью* нашего уха от той древней заповеди. А самое это

отклонение совершилось, когда был провозглашен другой и обратный завет — девства (монашество). Для псаломщика, да и не для него одного, а для всех нас, для всей «православной улицы», она есть блудница, нарушившая завет девства; есть «тварь», «скверна», и мы ее оттолкнули, как оттолкнула и Катерину Маслову вся православная Русь. Но для еврея по закону, а не *по частной доброте той семьи*, где она жила, — она была исполнительницей воли Божией, хотя бы и ошибшейся и споткнувшейся в путях этого исполнения. Но в путях одного *исполнения*, и именно *воли Божией!* Большая разница с представлением, что она «впала в грех», «преступила заповедь», «закон» (девства). У нас в быту не кое-кто, а все не держат прислуг с ребенком или с животом, а тут первая попавшаяся еврейская семья, первая «для примера», оказалось, держит, не прогоняет. То и другое есть зерно и быта, и воззрений, и, наконец, целой системы законодательства, сперва церковного, а затем от церкви перешедшего к государству. Само собой разумеется, что такой девушке в еврейском быту незачем было бы идти в проституцию, она была бы удержана самим бытом, согрета в нем и обласкана. Напротив, в нашем тоже «быту» ей невозможно не пойти в проституцию, ибо «в таком положении» работница и прислуга никому не нужна, позорно, гадко, всех пачкает: и куда же ей и деться, как не в дом терпимости, где ей «все — ровня». Эту довольно ясную истину разъясняли не в «Золотом Руне», а в религиозно-философских собраниях, разъясняли еще в 1902—1903 годах. И для таких девушек и детей и законодательно кое-что сделано именно после 1902 года. Им дано гражданское положение, о них, по крайней мере, *стал говорить закон* (чего он прежде не делал, ибо прилично ли «заниматься такой гадостью»); он дал право подобной матери передавать такому ребенку *свое имя и свое имущество*, тогда как прежде такому ребенку никакими усилиями никакая мать не могла ничего дать, ни щепочки имущества, ни какой-нибудь клеточки социального положения, и его, *безродного и безыменного*, оставалось только убить, что большинство матерей и делали, после чего их же судили и наказывали!! Это «сквозь строй» прогнание материнства и детства находится, конечно, в связи с новой заповедью: «*не плодитесь*», «*не множитесь*» (девство, монашество), далеким камешком от которого прокатился даже и блоковский смех над приличными кофточками «своячениц, дочерей, жен и сестер» — всей этой *родовой, родственной* «гадости», какую понавели в собрании интеллигенты, священники и приват-доценты. Но ведь чтобы все это привести в сознание и поставить в связь, надо «разговаривать»? Как же *иначе-то?!!* Нужно разговаривать, беседовать, спорить. Что все и делается у Чернышева моста, в зале географического общества, в петербургских рел.-фил. собраниях, и почему это *бесполезнее и ненужнее* портретов Кустодиева и «литературных обозрений» самого Блока?

Мне кажется, прочитав все это, Блок должен покраснеть. Эту дань совести он воздаст если и не на страницах журнала, что не всегда удобно,

то у себя в комнате и запершись на крючок. «И Бог, видящий втайне, воздаст ему явно»,— может быть, воздаст прибылью таланта, рассудительности и оглядчивости.

II

Религиозно-философские собрания в Петербурге я считаю одним из лучших явлений петербургской умственной жизни и даже вообще нашей русской умственной жизни за все начало этого века. Всякий должен признать, что ничего подобного не было и не начиналось, ничего даже не задумывалось в этом роде на всем протяжении XIX века, а если принять во внимание, что они начались при Плеве и Победоносцеве и еще до японской войны, между тем, дух их и в 1902—1903 годах был тот же самый, что и по возобновлении, в 1907 году, то сделается для всякого очевидным, что в них в 1902 году забил совершенно новый фонтан жизни и мысли, совершенно новый родник стремлений, идеалов, определенных требований. «Новый Путь», где печатались протоколы * этих собраний, имел половиной своих подписчиков духовенство; его читали во всех семинариях и академиях, и, несомненно, многое, слишком многое, что сейчас начинается и есть в духовенстве, в сфере религиозной русской мысли,— имеет исходным своим пунктом мысли, высказанные в этих собраниях. Не все их слушали. Светское общество их «пропустило мимо ушей». Блок на них «не обратил внимания»... Но все это ничего. Их выслушало наиболее чутко то сословие, к которому они более всего были обращены,— духовенство. Да оно одно могло и *понять их во всей глубине* по родственности тем и *давнему знакомству* с предметом. И, собственно, оценить новизну и тяжеловесность сказанного на этих собраниях и можно, только взглянув на *впечатление в этой среде*. Ведь не стихотворцам же судить о математике, не беллетристам — о геологии и географии, и не «Золотому Руну» и г. Блоку — о делах церкви...

Вернемся, чтобы иметь руководящую нить в суждениях, к репликам творца «Балаганчика».

Поговорив о «замерзающих проститутках», *которым он не помог*, Блок принимает благородную позу, которая идет к нему не более, чем к Кречинскому его сватовство, и пишет высокомерно:

«Да хотя бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны в лоск исхудали от собственных исканий,— никому на свете, кроме «утонченных» натур, не нужных,— ничего в России не убавилось бы и не прибавилось! Что и говорить, хорошо доказал красивый анархист, что нужна вечная революция; хорошо подмигнул масляным глазком молодой поп «интересующимся» дамам,— по-«православному» подмигнул; хорошо резюмировал прения остроумный философ. Но ведь они *говорят о Боге*,— о том, о чем можно только плакать одному, шептать

* Они изданы отдельной книгой в Петербурге книгоиздательством Пирожкова. С.-Петербург, Васильевский Остров, 2-я лин., дом 12.

вдвоем, а они занимаются этим при обилии электрического света. И это — потеря стыда, потеря реальности. Лучше бы никогда ни чем не интересовались и никакими «религиозными сомнениями» не мучились, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно сплетничать о Боге...»

Скажите, какой Экклезиаст! Так апостолы, воскресни они в наше время, первым делом потребовали бы загасить электричество? Какой вкус у Блока! Мне кажется, апостолы просто не обратили бы на это внимания и говорили бы при том свете, какой *дан*, был ли то свет Сирии или *будет* электрический свет! Это — вне темы их пришествия на землю и обращения к людям. Этим может только заняться ламповщик Блок, который зато не имеет никакого представления о религии, кроме употребления экклезиастовских поз.

«Первый опыт 1902—1903 гг. показал (кому? когда?), что болтовня была ни к селу, ни к городу. Чего они достигли? Ничего! Не этим достигнута всесветная известность Мережковского — слава пришла к нему оттого, что он до последних лет не забывал, что он — *художник*. «Юлиана» и «Леонардо» мы будем перечитывать, а второй том «Толстого и Достоевского», думаю, ни у кого не хватит духа перечитать. И не нововременством своим и не «религиозно-философской» деятельностью дорог нам Розанов, а *тайной* своей, однодумьем своим, темными и страстными песнями о любви».

Словом, «нам нужны только стихи» или «мы берем в *Руно* только романы»... Ну, кому что нужно. Не для Блока же весь мир создан, и, может быть, Мережковский более, чем своими романами, где он только *описывал других*, дорожит своей деятельностью в религиозно-философских собраниях, где он был *сам деятелем*, где творил *от себя*, и, может быть, откуда другой Мережковский XXI века возьмет его фигуру для «описания», как он сам брал Леонардо или Юлиана. Я, по крайней мере, выслушал раз не без удивления восклицание одного молоденького юриста (кандидата на судебные должности): «Я иногда ненавидел Мережковского, — так оскорбляло его отношение к людям, какое-то небрежно-незамечающее. Так относился он и ко мне. Но временами мне хотелось упасть к его ногам и целовать у него сапоги: мне казалось, я слушаю до того необыкновенные, обещающие слова — точно прежней истории не существовало, точно начинается все новое, и его начинает Мережковский». Передаю слова, как слышал, и даже, для удостоверения читателей, называю имя: А. М. Коноплянцев, юрист петербургского университета... Сам я этих слов не понимаю и не разделяю. Но ведь Блок говорит о *нужном* и *ненужном* для других. И вот — свидетельство, тем более поразительное, что оно идет от человека, лично чем-то обиженного от Мережковского. Коноплянцев говорил не о книгах, а о впечатлении от устной речи; в дальнейших пояснениях он упоминал о «третьем царстве — Св. Духа, после царства Отца, раскрытом в Ветхом Завете, и после царства Сына — раскрытого в Завете Новом»; упоминал о «церкви

Иоанновой, имеющей прийти на место церкви Петра». Все это — темы, развивавшиеся Мережковским на религиозно-философских собраниях 1902—1903 гг. Для настоящего писателя, оговариваясь: для настоящего человека, два-три таких сочувствия и признания, как Коноплянцева, стоят, может быть, больше, чем «всесветная известность», которая ведь может так же скоро и погаснуть, как загорелась. А это не погаснет...

«С религиозных собраний,— пишет петербургский Экклезиаст,— уходишь не с чувством неудовлетворенности только: с чувством такой грызущей скуки, озлобления на всю ненужность происшедшего; с чувством оскорбления за красоту,— ибо все это так ненужно, безобразно». Мне кажется, это впечатление получается вообще, когда зашел не в свое место и когда, зайдя не по адресу, думаешь, как поскорее выбраться. Ни слушать не хочется, ни содержания не понимаешь! Спасительная зевота спасает геопотмé самолюбца: «Это так скучно!» Ну, что же, дружок, ступай, где тебе веселее. Блок и рассказывает в заключение, где ему веселее.

«Я этому предпочитаю,— заключает он,— кафе-шантань обыкновенный, где сквозь скуку прожигает порой усталую душу печать

Буйного веселья
Страстного похмелья.

«Я думаю, что человек естественный, не промозглый, но поставленный в неестественные условия городской жизни, и непременно отправится в кафе-шантань прямо с религиозного собрания и в большой компании, чтобы жизнь, прерванная на 2—3 часа, безболезненно восстановилась, чтобы совершился переход ко сну и чтобы в утренних сумерках не вспомнилось ненароком какое-нибудь духовное лицо. Там будут фонари, кокотки, друзья и враги, одинаково подпускающие шпильки, сабли и ликер. А на религиозных собраниях сабли не дают».

Ну, что же, милый друг,— где кому слаще. Только для чего же строить самую неприличную часть «Балаганчика»: накладывать на себя грим тоскующего, скучающего, желающего говорить о Боге «вдвоем» или «наедине», и непременно «при лучине». «Ведите, ведите интеллигентную жизнь,— гремит он,— просвещайтесь. Только не клуйте носом, не перемалывайте из года в год одну и ту же чепуху и, главное,— не думайте, что простой человек придет говорить с вами о «Боге»... Нужно заметить, что в религиозно-философских собраниях говорил, и очень хорошо, о «Боге» новгородский крестьянин Михайлов; говорил о церковной общине, о древнейшем христианском способе ведения хозяйства и проч. Крестьянин этот едва грамотный и от сохи. «Иначе,— продолжает Блок,— будет слишком смешно смотреть на вас и на ваши серьезные «искания», и мы, подняв кубок лирики (не сабли ли?), выплеснем на ваши лысины пенистое и опасное вино. Вот и вытирайтесь тогда... Не поможет: все равно, захмелеете, да только поздно и неумело. Наше легкое вино только отяготит вас, только свалит с ног. И на здоровье».

Ах, шутник, шутник: да мы его «вина лирики», может быть, так же не будем читать, как он не стал слушать наших разговоров. Каждому свое. В пору «реакции», и «когда всем плохо», мы лучше засядем именно за религиозно-философские прения, усматривая, что здесь — *корень* всего, и сущей и *всех бывших реакций*... Между инквизицией и суздальской крепостью-монастырем разница только в оттенках, как и между порою Фотия, г-жи Крюденер и нашею порою — тоже разница только в степенях и густоте, а *колорит* тот же. Нет, религиозно-философские собрания начали (но только *начали*) делать *главное дело* на Руси: раскапывать, откуда течет *мертвая вода*, течет у нас, текла в Испании, была в XIX веке, показалась в XX. И где ни покажется, — умирают цветы, затихает все живое, замолкают люди, все всех боятся, все на всех наушничают... Отвратительная атмосфера. В ней не успокоишься от шабли, не расцветешь с певичкой на коленях. Ведь не все так безвкусны, как Блок, — и, черт возьми, надо же сказать правду: не все там неумны. Религиозно-философские собрания делают дело большое: они поворачивают все религиозное сознание от мертвой воды к живой, определенно зная, что она *есть*, определенно зная, *где* она... До начала века этого и невозможно было основать эти собеседования, на которые недаром идут *священник, журналист*, где принимают участие *православные и евреи* (г. Стоппнер — один из самых трогательных «искателей» на собраниях, в каждое заседание говорящий длинную, волнующую речь), куда собираются в таком множестве женщины-труженицы (досадные Блоку «свояченицы, сестры и жены»). Нельзя было раньше этого начать, ибо, напр., ни Владимиру Соловьеву, ни кн. Сергею Трубецкому, *несмотря на их, может быть, и более крупные таланты, чем у Мережковского или у Розанова*, — однако не было известно ничего о живой и мертвой воде, и они плыли еще в океане исключительно мертвой воды. Долго это объяснять, — кто интересуется, пусть читает *вообще все труды* гг. Мережковского и Розанова, сравнивая их *по содержанию и тону* с трудами Владимира Соловьева, князей Сергея и Евгения Трубецких... По крайней мере, для Влад. Соловьева была ясна эта разница, и он бросился было со всей яростью забрасывать камнями колодезь, который начали *уже на его глазах* рыть совсем в другом месте и другие люди... Он знал, что не жить «мертвой воде» при «живой воде»... Что умирает одно, когда рождается совсем другое... В религиозно-философских собраниях готовится умирание не одной, а целому ряду «реакций», всяким реакциям, всем, всегда... Это не все понимают, ибо многие глухи, как Блок. Ну, и что в том, что это делается при электрическом освещении, и что, например, сюда не приходит тот бывший дворовый человек, смешное письмо которого «народник» Блок приводит в своем цисьме. Этот бородач, подпоенный шабли или «пенистой лирикой», но скорее всего, кажется, «пенистыми» похвалами и лестью Блока, который в чем-то перед ним «каялся», совсем развалился перед баринином и поучает его, что, будто бы, вся религиозность русского народа идет... от зависти!

«Наш брат вовсе не дичится *вас*, а попросту завидует и ненавидит, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от *вас* какой-нибудь прибыток... Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни» и проч., и проч. имеют будто бы мотивом это ненавидение образованных классов мужиками и зависть к их сладкому житью-бытью. Это особенно интересно после того, когда из интеллигенции так многие умирали для и за мужиков,— ну, хотя бы во время холеры и холерных «движений»... Но мы убеждены, что мужики давно это рассмотрели и видят, да они давно и показали и *доказали*, что видят. Блок выбрал в корреспонденты неудачного «мужичка»... Перед ним он, как рассказывают, имел вид (в письмах) «кающегося дворянина», и тот ему написал «такое» в ответ, что де «завидуем и ненавидим», а другого чувства не чувствуем». Печальное «объяснение в любви». Нам кажется, и Блок — не настоящий русский умный человек, образованный в работе и рабочий в образовании, и «мужичок» его взят откуда-нибудь из ресторана, где он имел достаточно поводов завидовать кутящим «господам». И когда они кутили, эти господа, перед тем как поехать в религиозно-философские собрания, или уже вернувшись с них,— право, не интересно. И, в конце концов, все эти штрихи «Балаганчика», и уж не на сцене, где упражняется Экклезиаст-Блок, а в самой действительности, и мне, в качестве «публики», хочется посмеяться над автором пьески, который, незаметно для себя, попал в положение самого бездарного и скучного из своих персонажей...

Домик Лермонтова в Пятигорске

I

Отдыхающие русские люди потянулись на чужой и свой юг. Я был удивлен в Интерлакене и Люцерне: куда ни ступишь, слышишь русскую речь. Помню первую прогулку по парадной улице Интерлакена, где расположены лучшие отели и роскошные магазины. Передо мною невдалеке две огромные спины. «Вот как хорошо растут немцы,— подумал я,— а наши...» Слышу бас:

— При постройке Троицкого моста... рассчитывали то-то или то-то, а украли столько-то и столько-то...

Я и не дослушал: так обрадовался! «Соотечественники!» Ну и конечно родные темы: «сколько украли» и «где что скверно построили». Воистину,

И дым отечества нам сладок и приятен!

Это совсем не то, что Италия, где пропутешествуешь месяц, два,— и услышишь раз или два русскую речь за общим столом в отеле.

Но германская Европа точно кишит русскими. В Берлине и Вене в больших магазинах всегда найдется приказчик с русскою речью, и я еще более удивлялся, покупая апельсины в маленьких фруктовых лавочках и говоря по-русски. Так как за границую я везде чувствовал большой подъем национального чувства, то думал: «Ну, пока еще немцы собираются культурно завоевать нас, мы их уже завоевали». Передаю нетеперешние свои мысли, довольно скромные, а тогдашние, которые были решительно воинственны. Мне казалось, что Европе «пора и честь знать». «Жила-жила, накопила столько славы, столько великих дел; не век же жить, надо подумать и о наследниках». И мне представлялось, что эти Русские, рассуждающие в Интерлакене о петербургском Троицком мосте, приехали сюда именно для того, чтобы посмотреть, в исправности ли наследство. «Ну, для чего Европе еще жить? Лучше Шекспира не сочинишь, больше Ньютона не надумаешь. От гения до сумасшествия, от Гете до Ницше, они передумали все и пережили все. Им остается бездарное дряхлое изнеможение с калейдоскопом будничных происшествий. Но мы можем еще говорить, они — нет, и потому мы вправе быть завоевателями».

Все тогдашние мысли, отнюдь не теперешние.

И не оттого я перестал так думать, что произошла японская война. Отнюдь нет. Что нам японская война: и хуже бывало! Поляк в Москве сидел, Наполеон с Воробьевых гор диктовал, то бишь — хотел диктовать условия мира. Но, как уже предвидел Карамзин, «величие народа познается в несчастиях», и никогда мы так блистательны не были, как после Поляка и Наполеона в Москве. Уверен, что-нибудь такое выключится и теперь. Ну, была война, ну, была революция, ну, были две Думы с провалом: пропорционально этому что-нибудь судьба и положит нам золотое в шапку. В сущности, японская война была для нас отличным «предостережением», к тому же, как оказалось, еще недостаточным. Ни на минуту не было ни у кого сомнения, что Россия не подвергается ни малейшей опасности, как государство, как нация и страна. Ужасно страдала только наша гордость, уязвлен был наш «престиж». С этой стороны действительно саднело... Ну, и конечно трагична, страшна и жалостна была гибель стольких молодых прекрасных жизней, да и пожилых «запасных», которых первыми посылали в бой, утилизируя молодых «на будущее»... Частные, личные страдания были ужасны. Но это вовсе не то, что колебания государства: его не было. Не было ничего подобного Наполеону перед Москвой. Невозможно и вообразить последствий, если бы без «предостережения» мы с тою же подготовкой столкнулись с Германией. Далее, пронесшаяся революция, как оказалось в итоге, выжгла только наш «нигилизм» — застарелую болезнь, с которой никто не умел справиться. «Нигилисты прошли» с неудачею московского вооруженного восстания.

Конечно, все это не «золото в шапке» с моей точки зрения. Вернусь к заграничным впечатлениям. Когда я вернулся на родину, то мне

показалось все так хорошо, что я подумал: «а для чего нам Европа?» В качестве литературно-исторического материала упомяну о впечатлении, с каким старик Салтыков тоже переезжал через Вержболово после единственной своей поездки за границу; выйдя на станцию, нашу русскую станцию, нашу первую русскую станцию, минутах в двух от ихнего поганого Эйдкунена, он вдруг очутился перед громадным жандармом. Рост его, красивый и видный, до того поразил сатирика, что он вынул и подарил ему три рубля. Так как жандарм есть сокрыто мужичок, — то он не церемонился положить трехрублевку в карман. Приехав в Петербург, Салтыков гневно говорил знакомым и друзьям:

— Народу нет там (за границей). Дрянь какая-то! Мелюзга. Первый настоящий человек, что я увидел за (столько-то) времени путешествия, был русский жандарм на границе. И я дал ему три рубля. Просто от удовольствия видеть человека. Рост, плечи — красота!

Старик мало ему дал: ведь жандарму он обязан всю свою литературную славою, всем, что этак и так получил от печатания. Жандарм-то, под разными соусами, и был его всегдашним кушаньем.

Но где же это моя тема? Хотел говорить о Лермонтовском домике в Пятигорске, — а пишу о встрече Салтыкова с жандармом, в Эйдкунене. Милая русская привычка говорить, писать и даже жить не на тему. Вы не замечали этого, что почти все русские живут не на тему? Химики сочиняют музыку, военные — комедию, финансисты пишут о защите и взятии крепостей, а специалист по расколоведению попадает в государственные контролёры, выписывает из Вологды не очень трезвую бабу и заставляет все свои департаменты слушать народные песни. Винят бедное правительство; а где ему справиться со страной, в которой каждая вещь стоит не на своем месте, и каждый чувствует призвание не к тому, к чему он приставлен, а к такому, о чем начальству его даже и в голову не приходило. Это бедлам или, пожалуй, это сто тысяч Валаамов, едущих на пророчествующих ослицах. Империя весьма странная!

Я заговорил о юге в самом деле потому, что вот всю эту зиму писали о том, как лучше отметить близящееся 60-летие кончины Лермонтова, и остановились на мысли основать Лермонтовский музей в Николаевском кавалерийском училище, где он был юнкером и откуда вышел кавалеристом. В виде кавалериста почему-то никто мысленно не рисует себе Лермонтова, — может быть оттого, что он был сутуловат и некрасив, и вообще лишен был той счастливой фигуры и физиономии, какая встает в воображении при слове всадник. Конечно, Николаевскому кавалерийскому училищу, вероятно тоже «съехавшему со своего места», приятно указывать будущим музеям на то, что-де «вот каких людей я рождаю и воспитываю!» На самом деле Лермонтов имеет такую же связь с училищем, как, например, Пушкин с Невским, по которому он иногда ездил в санях.

Его отдали в училище. Он в нем учился. Но так как все вообще училища у нас тоже «съехали с места», или, лучше сказать, никогда и не становились на место, кроме разве единственного Московского университета,— то у нас вообще никакие биографии не связуемы иначе, чем *отрицательно*, с местом учения биографических лиц. «Шалил, не учился, скандалил начальству» или, еще хуже — «терпеть не мог своего учебного заведения»,— это такая страница, которую едва ли приятно вписать учебному заведению в свою летопись. А, между тем, обычно, она только одна и правдива. Нет, не сюда несутся мысли при воспоминании о поэте и чтении его биографии. Они переносятся в Пятигорск, и именно — в тот домик, который каким-то чудом уцелел, и где он написал все великое, все зрелое, что от него осталось.

• «Что осталось от Лермонтова»... Слезы приступают при этом: остался один томик, из которого около $\frac{1}{8}$ еще так юношественны, что как-то портят впечатление от остальных зрелых произведений его... В шесть месяцев последнего года жизни он написал больше, чем во весь предыдущий год, а все великое вырвалось из него каким-то вихрем на протяжении не более двух с половиной, трех лет.

II

По значению и обширному влиянию, литература Пушкина и Гоголя, конечно, несравненно превосходит все то, что осталось от Лермонтова; но изумительную сторону дела составляет то, что у Лермонтова есть 5—6 и даже более пьес такого построения, воображения и с такою красотой и силой сказанных, до того наконец универсальных в теме, как этого не написало у Гоголя и, может быть, даже у Пушкина. Никто не сказал того, что есть в «Ангеле» или в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива». Меня всегда поражал и его «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана»).... Последнее стихотворение, где он до мелочей обстоятельно и точно описывает образ своей смерти, наступившей вскоре после его написания, но наступившей все-таки неожиданно, нечаянно, являет собою чудесный феномен, которому веришь потому только, что осязаешь его. Но и осязаемое — это есть чудо: ибо «случаи» так подробно не совпадают. По одному этому стихотворению называешь поэта «другом Небес», угадываешь, что его посетило Небо,— и вот этого я не сказал бы в таком личном и религиозном значении ни о Пушкине, ни о Гоголе. У них было «вдохновение»; — да, но это — не то. Значение их больше, неизмеримо больше, нежели историческое значение Лермонтова. Ну, как у Кутузова больше значения, чем у святого «юродивого» московского времени! Однако Кутузову церкви не построят, а «юродивеньким» — строят. Тут — *особенное*. Не это, но *подобное* «особенное» было и у Лермонтова.

Кстати, во «Сне» его описан не прямой сон, но сон во сне, сновидение уснувшего человека. • Мне случайно пришлось прочитать, что в древней

магической литературе, как известно занимавшейся и снотолкованием, придавалось особенно важное значение «снам во сне», т. е. тому, когда человек уснет и увидит себя спящим, и увидит, прозрит сон, который ему снится в этом втором сне. Тут является, так сказать, квадрат, удвоенность сущности сна и сущности сновидения: и понятно, что древние видели в нем особую и священную предсказательную силу, по глубокому разрыву в этом втором сне человека с действительностью, и следовательно по свободе его унестись особенно далеко, в будущее, в «вещное» и «вечное». Не невероятно, и даже очень правдоподобно, что в этом стихотворении Лермонтов передал действительно приснившийся ему сон.

Оба раза, как я был на Кавказе и в Пятигорске, я посетил все оставшиеся там реликвии Лермонтова. Их довольно много, и Пятигорск точно дышит его именем. Это единственный, кажется, городок, где имя поэта, жившего в нем, помнится и известно не одному «школьному юношеству» этого города или читающему верхнему классу, но помнится, известно и почитаемо и в самом населении, т. е. в мещанстве и у простолюдинов. Оно там народно и даже простонародно. Из реликвий, однако, ни одна так не прекрасна, как домик, где он жил.

В первый приезд мой на Кавказ мне не удалось его осмотреть. Обитатель его уехал куда-то, «не изволил обещать скоро вернуться», и несмотря на все мои упрасивания, ветхая годами прислуга решительно отказала мне позволить войти в него. С досадой я видел, что за домиком сад. И туда не пустила старуха. «Мало ли что может быть, и Бог весть, кто вы такой и чего смотрите! Я за все в ответе». Ну, что делать! Пошел прочь и без всякой надежды еще раз увидеть эту прелесть и почти загадку. Ибо около Лермонтова и в связи с его памятью все кажется прелестным и таинственным.

В прошлом году, опять обойдя все реликвии, я с унылой мыслью об отсутствующем хозяине и невозможности что-нибудь увидеть, все же направился опять к домику. Так тянет! Он стоит на Лермонтовской улице... Кстати, о переименовании улиц. Оно всегда мне не нравилось. Прежде всего, — «Гоголевская улица», «Пушкинская улица», «Лермонтовская улица» — это искусственно. Такие названия не народны и не вытекают ни из быта улицы, ни из характера и физиономии ее, ни из ее истории и основания. То ли дело «Сивцев Вражек» (в Москве) или «Ситный рынок» (в Петербурге). Такое название — физиономия! В истории же и в быте все должно быть колоритно и сочно. Названия улиц именами писателей не украшают их, а портят, стирая, и вовсе напрасно, их физиономию и собственную сущность. А она есть и дорога.

Лермонтовская улица стоит на самом краю Пятигорска, почти за городом. И уже приближаясь к ней, видишь, что все пустеет кругом и город замолкает вдаль. Так как, однако, все строения в нем каменные, то обычной деревянной рухляди, какою бывают уставлены въездные и выездные улицы внутренних городов России, там нет: огромных домов

уже не встречается, но все постройки приветливы, видны собою, не рушатся, не говорят о старости и бедности. Вот завернул и за угол последней улицы, идущей радиально от центра города, и очутился на Лермонтовской: она идет под прямым углом с предыдущею, уже не по радиусу города, а по его окружности. «Домик Лермонтова» окнами обращен за город и спиною к городу. Конечно, если здесь жить, то так и надо было выбрать, с видом на природу.

Он не угловой, но недалеко от угла, саженях в 50—80. Все дома улицы и он, как почти и весь Пятигорск, построены из известняка, дарового туземного камня, который берут «тут же». Известняк этот — белый с желтизною, и от множества в нем пор, с осевшею в них пылью, грязноватый. Пишу для северных жителей России, не знающих этого постоянного вида наших южных городов, городков, сел, даже одиноко стоящих хижин и даже заборов. На юге сады и вообще «частные места» нигде не бывают огорожены забором или частоколом: там лес редок и дорог, известняк же ничего не стоит, и, наломав из него глыб и придав им приблизительно квадратную фигуру, складывают их друг на друга, в один или два ряда, до груди или до пояса человека, смотря по ценности огороженного места. Дома строятся из того же материала, лучше обработанного. Но селения и весь почти город, кроме «правительственной собственности» и домов магнатов, всегда являет собою издали подобие стада грязно-желтых овец, толкущихся или разлегшихся по отлогу горы, по берегам речки-ручья, или во впадине долины. Это обычное зрелище юга России и Кавказа.

III

К удивлению и радости, домик Лермонтова в последнюю мою поездку в Пятигорск не оказался пуст. До сих пор «Домик Лермонтова», т. е. где он жил, составляет вторую и меньшую половину здания, выходящего фасадом на Лермонтовскую улицу, и его таким образом совершенно не видно с улицы. Закрывающий его парадный дом построен позднее, в целях доходности всего места. Пройдя мимо его по вымощенному двору, вы подходите к совсем маленькому строеньицу, которое стоит в глубине двора, примыкая другою стороною к саду. Это — квартиркам-домик, рассчитанный на небогатого, нетребовательного, но с некоторыми средствами жильца, с привычкою к чистоплотности и вкусом к удивлению. Об этом говорит и положение домика в городе, и положение его в самом дворе; но более всего говорит самый домик, как только вы переступите через его порог. Конечно, это одна квартира, которая не может быть разделена. Она и не обширна, и не мала для одинокого; не допускает обширного приема гостей, но хороша для беседы и чаепития с другом. Друг Печорина — доктор Вернер.

Навстречу мне вышел старичок, и мне показалось, что я вижу перед собою Максима Максимовича в старости. «Вот удачный приемник

жилища поэта! — подумал я: — кому же и хранить его лучшую реликвию, как не этому отвергнутому другу Печорина», который, кстати сказать, мне нравится гораздо более самого Печорина... Я поздоровался и почтительно попросил позволения войти в дом, хотя это, очевидно, не может не беспокоить его теперешнего обитателя. Так как Максим Максимович не был излишне предан литературе, то и в стоявшем передо мною старичке я не предполагал особенного участия к имени и памяти Лермонтова. «Хозяин, как хозяин». Но я ошибся.

Одинокий старичок ввел меня в необыкновенно чисто содержимый домик, и на меня пахло старой Великороссией, когда в переднем «красном» углу я увидел под стеклом огромный образ Божией Матери. «Вот хорошо! Как у нас», — подумал я и перекрестился...

— Феодоровская Божия Мать... — проговорил старичок.

— Феодоровская Божия Мать? Что-то имя знакомое. У нас в Костроме, где прошло мое детство...

— Чудотворный образ Феодоровской Божией Матери хранится и охраняет Кострому, мою родину. Служба моя прошла на Кавказе, и вот образ Ее я привез с собою сюда...

Как я был удивлен. «Земляки!..» Я помолился и приложился к образу, которого с детства не видал, — да и не знаю, видел ли определенно и сознательно в детстве, а только в ухе моем остался этот звук рассказов и молвы: «Феодоровская Божия Мать», «Феодоровская Божия Мать». Само собою, все преграды и отчужденности пали, когда и я в хозяине и он в госте узнали залетных птиц с севера, в сущности из одного гнезда. Мы обнялись и поцеловались. Неподалеку от образа были фотографии с живых и с усопших в гробу — матери, отца и покойного брата хозяина. «Все как у нас, в России, где предков почитают и помнят именно этим способом». Я оглядывался в приветливых комнатах, не зная, с чего начать осмотр.

— Все как было при *нем*, — сказал старичок. Он сообщил мне документальную сторону дома и сопоставил ее со словами мемуаров о Лермонтове, которые все знал и помнил. Все важное в его рассказе я записал, как и срисовал на бумагу весь план домика, равно и сада потом. По заметкам этим я мог бы восстановить все подробно, но клочок бумаги затерялся в дороге, при возвращении в Петербург. Мне кажется, однако, геометрическая точность рассказа, конечно тоже интересная, не упраздняет любопытства общего впечатления, и я поделюсь им.

Комнатки, сажени по 2¹/₂, по 3 в ширину и сажень пять в длину, разделялись на две половины: две комнатки, более парадные и официальные, если только слова эти применимы к такому бедному жилью, были обращены во двор окнами, широкими, так называемыми «итальянскими», т. е. соединением одного большого настоящего окна с двумя узенькими полуокнами. Все в общем дает массу света, и такие окна у нас, например, в Костроме допускались только для светелок, как специально летнего жилья, не нуждавшегося в защите от мороза. Здесь,

в фундаментальном зимнем жилище, они очевидно сделаны в применении к климату. Затем им параллельно идет левая сторона жилища,— более субъективная и домашняя. Такими же окнами она обращена в сад. Кабинетом или читальней могла быть и парадная сторона: она все же достаточно мала и уютна. Но спальня поэта могла, наверное, устроиться только в которой-нибудь комнате, выходящей в сад. Они точь-в-точь повторяли собою первые: незатейливый и несложный план, с которым легко справился пятигорский архитектор 20-х или 30-х годов минувшего века.

Я несколько раз прошелся по комнатам, измеряя и перемеривая их, и догадался, что мне более всего нравится в них пропорциональность. Кто знает провинциальные и особенно очень старые постройки, тот знает, что это не так часто попадает. Низенькие потолки, приплюснутый вид комнат,— иногда одна огромная комната между крошечных других,— все это так обыкновенно. Простой и ясный вкус архитектора и выбравшего себе жилище жильца говорил о себе во всем. Мы вышли в сад.

Старичок хозяин отметил мне все деревья, которые росли еще при жизни поэта. Между ними, в переднем углу сада, выдавалось вековое дерево, с таким раздвоением ствола у самого основания, которое образовало удобное естественное сиденье,— и где не мог не сиживать Лермонтов, как не может по крайней мере не примериться посидеть тут каждый даже случайный посетитель. Дерево, сколько помню,— грецкий орешник, но хозяин объяснил мне, что оно не попадает по северную сторону Кавказского хребта, и, искусственно посаженное, представляет единственный экземпляр этой породы в здешних местностях. Старая засыхающая яблонь — по два дерева возле окон — все времени поэта; третье, меньшее дерево, возле окон — позднейшей посадки. Тут же он прочитал мне, по старинному изданию Лермонтова, напечатанному еще при его жизни, строки стихотворения, правдоподобно навеянные именно этими деревьями перед окном. Я страшно жалею о всех этих частностях, занесенных мною на бумагу, которую так неразумно потерял. Но возможно, что строки эти побудят кого-нибудь из туземных жителей или заезжих туристов закрепить для памяти потомства все драгоценные подробности Лермонтовского домика и сада. Как жаль, что этого не сделано относительно дома в Тарханах, где поэт провел у бабушки свое детство и который недавно сгорел! Теперь уже никто не восстановит его частностей.

Мне кажется, что ценность и интерес Лермонтовского домика и сада будут все возрастать со временем. Мне даже кажется необходимым взять все это место в казну или в собственность города, и, сохраняя домик как реликвию, при нем в большем, новом здании устроить библиотеку или читальню имени Лермонтова. Все это как-то живее и конкретнее, чем шаблонный монумент, воздвигнутый ему в Пятигорске. Монументов вообще мы не умеем строить. Слишком мы

христианская нация, чтобы нам удалось это языческое увековечение: «бронзовая хвала», как называл эти памятники И. С. Аксаков, слишком холодная, бездушная хвала. Что лучше простого креста над могилой или часовенки возле могилы? что лучше простой записи в «поминанье» — на «вечный помин раба Божия Михаила» где-нибудь в старинной церкви, связанной с его жизнью или смертью? И вот еще такое вечное сохранение жилища, где он жил.

Я простился с приветливым хозяином дома, и еще раз не мог не сравнить его мысленно с Максимом Максимычем... «Такому и сторожить это прекрасное место»...

Кстати, маленькая поправка. В Пятигорске воздвигнут небольшой памятник на месте дуэли и смерти Лермонтова. Хозяин дома, г. Георгиевский, знал того извозчика, который вез тело поэта с места дуэли, и, по его показаниям, твердо говорит, что место это отмечено не совсем правильно: памятник поставлен в стороне от подлинного места дуэли. Все это он рассказывал мне так любовно и так мотивированно, что виден был «любитель» памяти поэта, биографии поэта; и все давало впечатление, что сведения и догадки его, которые он не позволял себе смешивать со сведениями, совершенно точны.

На книжном и литературном рынке

〈Арцыбашев〉

— Дайте мне «Санина» Арцыбашева.

— Запрещен.

— Запрещен?!!

— Запрещен и весь продан.

Я так удивился, что вмешался в диалог приказчика и покупателя.

— В самом деле такое совпадение?

— Да. Весь распродали. И когда распродали, то пришло запрещение: не продавать более.

Ну, чисто «по-русски»! Мы — не Германия. Печаталось, что «Санин» разошелся в эту зиму в сотнях тысяч экземпляров, о нем долго и много говорила вся печать, начав целый поход против него; им обзавелись все библиотеки, все книжные шкафы и студенческие «полочки» для книг, и в то же время печаталось, что «не разрешены к представлению на сцене» семь,— целых семь! — театральных переделок романа. И когда все это произошло и шумело целую зиму, приходит в литературу генерал-исправник, важно садится на кресло и произносит:

— Я запрещаю «Санина».

Merçi beaucoup!

Весною, когда шло всюду спешное приготовление к экзаменам, мне пришлось встретиться и разговориться с юною первокурсницею, дочерью депутаты Думы, священника, да еще благочинного, откуда-то из Приуральских губерний. От милой девушки так и веяло рожью и полевыми колокольчиками. Отец ее не произносил речей в Думе, а все писал наставительные письма в свое благочиние, и вообще «не упускал своего дела» на месте, хоть и отлучился от него. Словом,— все самое «истовое»... Девушка полна этого русского уклада, твердого, векового; две сестры уже замужем, за священниками же, в соседнем благочинии. Матушку свою и вот эту младшую дочь отец привез на филологические курсы. Отец ее старозаветный, а дочь и так и сяк. Любит старое и понимает новое.

Я познакомился с нею в целях расспросить о каких-то опытах совместного чтения «Санина» студентами и курсистками, о чем слышал раньше. После нескольких слов знакомства заговорил об этом.

— Действительно устраивались, по предложению и настоянию студентов, в университете, в аудиториях, во внелекционное время. Ректор несколько раз, во время собраний, присылал требование прекратить это чтение; сперва не слушали, но потом приказание пришло в решительной форме, и уступили.

— Может быть, теперь читают на частных квартирах?

— Может быть. Я не знаю. Я была только в университете.

— Да зачем читать-то? Ведь все знают, раньше читали?

— Студенты объяснили, что это новое явление, что тут можно разобраться. Что здесь голос, к ним обращенный, к молодежи. И что молодежь должна реагировать на это...

— Так и говорили «реагировать»? Этакие болваны!

— Почему болваны?

— Потому что слова в простоте не скажут. Точно приказчики из немецкого магазина, или юнкер, старающийся запомнить и употреблять слова из «Словаря иностранных слов, вошедших в русскую книжную речь». Ну, что же они там «реагировали»?

— Вы очень строги. Ну, читали. Спорили, говорили. Рассуждали и, чтобы рассуждения выходили более основательными, предложили писать рефераты на темы, выдвинутые Арцыбашевым...

Девушка вся смутилась и, опустив голову и делая какие-то усилия руками в воздухе, говорила уже как бы с собою, не обращаясь ко мне:

— Они говорят: «Мы все — Санины». И — «хотим быть, как Санин, поступать по нему». Я не знаю... Они говорят, что это — натура вещей, без обмана. Они хотят «без обмана», и требовали, чтобы мы, курсистки, жили с ними.

— Ну?

— Я не знаю.

Девушка не была хороша собою, т. е. не была очень хороша. Но этот ее сельский вид, при очевидной развитости или, точнее, при неустанно работающей мысли, «без предрассудков» работающей, без шаблонов, но и не по указке — был восхитителен. Ясно было, что ее натура не пошла бы на это; но ей надо было отнестись к подругам, которые подавались или могли податься в эту сторону, и она смутилась перед рассуждением, перед философией. Исключая «обман» и указание на «натуру вещей» — что она с этим могла сделать?..

Она молчала. Я ей помог.

— Да ведь «натура-то вещей» в этой области не одинакова для студентов и студенток: те поступят на должность, в учителя, в акциз, в чиновники; без сомнения, женятся и может быть с приданым. Но студентки, почитательницы и наконец последовательницы Арцыбашева? У них останется последствие на руках, в виде беспомощного существа, невинного, которому надо обеспечить жизнь, и не страдальческую жизнь. Знаете, у птичек: одна сидит в гнезде, а другая ее кормит из клюва. Вам студенты предлагали ли хоть кормить сожителей?

Она молчала. Очевидно, — «нет».

— Вот о чем следовало бы предложить тему для реферата. И до чего же вы неопытны, курсистки, что ни которой не пришло в голову это первое и очевиднейшее дело. «Натура вещей», — Богом созданная и благородная натура, — заключается в том, что матери и птенцу обеспечен корм, и обеспечивает его в благороднейших усилиях, в благородном труде с рассвета до ночи — самец. Ваши-то студенты как насчет труда?

Она молчала.

— Кормит и защищает, — от всякой опасности, от всякой беды. Ну, так вот первая «беда» для девушки — вернуться с ребенком на руках в родительский дом и выйти с ребенком на руках в общество. Тут «арцыбашевец» должен быть около нее, т. е. вместе с нею должен переступить порог ее родителей, — да и в обществе, когда она вступит, должен быть около плеча ее, говоря всем: «это — от меня, это — моя, она моя». Что «моя», — «любовница» ли, «жена» ли, но только именно «моя». В этом «моя» — все и дело, все сосредоточение, весь удар и наконец «натура вещей». «Мои дети», — говорит мать, «мое дитя и... ну, моя самка, что ли», — говорит самец. Говорят не на человеческом языке, а на более могущественном языке инстинктов, храбрости, защиты, нападения и проч. и проч. Ваши арцыбашевцы — трусишки, и куда им перед ласточкой или петухом, не говоря уже о благородном лебеде. Так что «животную натуру вещей» я понимаю: но только до нее не дошли, не дозрели, прямо глупы и неразвиты в сравнении с нею ваши студенты и несчастные или бестолковые курсистки.

«Жизнь должна быть не страдальческой, а когда есть страдания, то пополам. Вся живая тварь избегает страдания: и это есть такая же «натура вещей», как и те утхи, к которым зовут санинцы и арцыбашевцы. Кто же устраивает себе ложе на колючем шиповнике? Студенты,

объявившие: «мы все — Санины», должны бы убрать колючки и уже потом располагать ложе. Дело в том, что по «натуре вещей» на колючках окажется именно девушка, именно женщина: это ей в тело вопьются они, а кавалер будет в стороне, ничего не почувствовав, ничем не задетый. Меня поражает бестолковость ваших курсисток; что касается студентов, то возможным извинением для них может служить только та феноменальная тупость, о которой рассказывают кругом, но мне никогда не хотелось ей верить. Если не говорить об этой всеоправдывающей тупости, то придешь к обвинениям, которым имени нет: жестокость, кровавая жестокость над невинными, ничего не понимающими девушками, наконец, жестокость над детьми, младенцами, собственными, своими. Это какая-то смесь Каина и Скублинской, на которую «третья, незаинтересованная сторона», суд или государство и общество, ответит только веревкой. Это они поймут. Этого уж нельзя не понять. Они догадываются, что немножко «не дописали» и «где» не дописали свои реформы.

— Как вы жестоки...

— А разве они не жестоки, когда обрекают крохотное, розовенькое существо, так доверчиво и наивно явившееся на свет, на черную смерть, на могилу; и не на честную могилу, а где-нибудь в выгребной яме, как случается везде и всегда? Как вернется девушка с ребенком в родительский дом и выйдет в общество, на работу и за работою, — вот основной вопрос. Из ста арцибашевок только одна, пройдя через невероятную душевную муку, сделает это: а девяносто девять испугаются, смутятся, не решатся: и «упрячут» розовенькое существо. А упрятать его можно только в могилу. Ибо человек — не вещь: кричит, ходит, рассказывает о себе, отыскивает «папу» и «маму», и отделаться от него, т. е. *скрыться от человеческого суда* только и можно могилой ребенка, и больше ничем, решительно ничем. «Прелюбодеяние наказывается смертью», — говоря семинарским языком; в древнем мире — женщины, в новом — ребенка.

— И вы за это?..

— Совсе не за это. О, слишком не за это: но тут вы стоите перед стеною, и задача Арцибашева или его последователей заключалась бы в том, чтобы устранить эту стену, или, что то же, обобрать колючки с ложа. Но что же они сделали? Арцибашев только укрепил эту стену, а колючки сделал несравненно язвительнее. Свободная любовь всегда была, и свободное рождение было же. Было так давно, как почти Адам и Ева. Несколько лет назад печаталось, как молодые люди, девушка и юноша, не найдя сочувствия родителей своей любви, обвязались веревкою и утопились в царскосельском пруду. Они были робки, покорливы, верно — слишком юны. Будь постарше и немного посмелее, они вышли бы в свободную любовь и свободное рождение. Около Лесного есть могила «Карла и Эмили», — какой-то смертью лет сорок назад покончивших с собою из-за любви. Времена были строгие, что ли, только их похоронили не на общем кладбище, а «тут же», где произошла

смерть. И вот и до сих пор эта могила постоянно в свежих цветах. Любовь эту так уважают, безвестных людей так сожалеют, что до сих пор на их могиле цветы. Люди, конечно, жестоки и трусливы: надо бы давно предоставить не только песне и рассказу заниматься «свободною любовью», но и подвести сюда можно такую чопорную особу, как законодательство, и особенно — духовное законодательство, от которого зависит моральный авторитет. Но этого не сделано. Все родители подчинены суждению этих чопорных авторитетов. Но и родители втихомолку, про себя, а главное — все общество, вся людская масса знала и верила, что «свободная любовь» всегда проходит через страдание, и что это есть поэтическая и прекрасная любовь, в которую в душе невозможно бросить камнем. Вдруг является Арцыбашев со своим пошлым и, можно сказать, — в отношении темы, — подлым романом и говорит, что «ничего этого нет», что «правы иезуиты и прокуроры, которые всегда на это плевали и за это судили...»

— Как? Как? Он это оправдывает...

— Извините, о любви свободной у него и помина нет, — и притом так это органически в романе, как будто любви этой никогда и не рождалось на свет Божий. В этом вся и загадка, главный узел: и ведь ваши студенты ни в кого не были влюблены, ни о ком не вздыхали, не мечтали по ночам, не плакали потихоньку о «невозможности свиданья». Ничего этого нет. И у курсисток этого не было, — я вижу по тону ваших слов, по испугу вашего лица, смутившегося отчего-то перед рефератами. Вы оттого и смутились, что все это — без любви. И вам стало гадко от этого холодного сала. Ласточка-самец не всем ласточкам носит корм, а только своей единственной, к которой он привязан и которую он избрал. Вот этой-то «единственной избранной» и нет у Арцыбашева, она у него органически исключена. Любовь исключена у Санина и во всей этой санинской идее, и люди соединяются вовсе не по любви, — а как подонки общества, как отребье человеческой породы на Невском, как мастеровые под пьяную руку, безмозглая часть студенчества и бесшабашная часть офицерства. Везде это есть кутеж или несчастье от бедности социального положения. Животные не станут глотать стекла и гвозди, а живоглоты в цирке показывают это: человек может опуститься гораздо ниже животного. И он опускается ниже животного в пьянстве и разврате, в пороке и преступлении. Студенты ваши, и Арцыбашев, и Санин, показывают вовсе не «натуру» нормально устроенной природы, которая хочет любви и привязанности и осуществляет любовь и привязанность, а показывают извращение, падение и болезнь этой натуры, уродство на ней, которое выделал человек, как он выделяет разные штуки умом своим, настойчивостью своею. И вот тут-то его и застигают иезуиты и прокуроры. Возложив пухленькие ручки на толстые животики и подняв очи «горе», они говорят:

— Вот! Мы всегда говорили... Поэтому не шли на могилу Эмили, а так как она была самоубийцею, то и не разрешили ее хоронить

на общем кладбище, где упокоятся умершие с верою в Бога. Все это — блуд. Все это — похоть. Напрасно господин Гете описывал Гретхен; все это выдумки фантазии, весьма далекие от действительности. Господин Арцыбашев и господа Леонид Андреев и Максим Горький сорвали покров фантазии с действительности и показали ее, как она есть. Любимов... мы ее не знаем, не видим, не осязаем. Ее нет. Мы женились на приданом и живем благополучно со своими супругами, в супружеской верности. Встаем вовремя и ложимся вовремя. Не изменяем. Не хочется! Мы — люди дела, и закон занят делом, а не бездельем. Мы блюдем благоустройство, а благоустройство,— это как мы и у нас. Поэты и песенники протестовали против этого, и г. Гете, и г. Пушкин со своим «Под вечер осенью ненастной». Мы терпели и выжидали, чтобы какой-нибудь реалист оправдал нас; и дождалось: вот пришли реалисты: Горький, Андреев и Арцыбашев, и сказали, что это — «тьма», «бездна», «в тумане» похоти творимая и что это наконец конюшня,— как изволит описывать господин Арцыбашев. Не можем же мы, чистые и праведные люди, или правильные и регулярные, снисходить до конюшни и санкционировать бездну и тьму законом. Аминь!

И ни чему не поворотить этого «аминя»! За него вступится общество,— вступится именно теперь, после Арцыбашева, Андреева и Горького. «Ты из арцыбашевской конюшни», спросит, вправе теперь спросить отец у дочери, вернувшейся к нему с ребенком на руках. И, зная это, *предвидя это* — тем с большим ужасом она бросит его в холодную прорубь. Стена, всегда бывшая крепкою перед этим, теперь стала еще крепче. Ведь все держится здесь не железными крючками, а «мнением общества», «взглядом населения». Железным крюком никто не толкает девушку бросить в прорубь ребенка: она это делает от предполагаемого мнения о себе общества; поступает так же, как офицер «пускает пулю в лоб», когда во вверенном ему полковом сундуке не досчитывается нескольких сот рублей, проигранных им в карты. И офицера никто не стреляет в лоб. Он *сам* стреляется. Свободная любовь, повторяю, всегда была, и при тесноте условий брачных, зависящих в каждом случае не от индивидуальной воли,— ее не может не быть. В жизни, действительно, приходится наблюдать такие случаи «свободной связи», полные верности, труда, самоотверженности, что, казалось, еще немного времени нужно, и у всех раскроются глаза на эту очевидность, и все уступят правде и достоинству этого очевидного. И вдруг приходит *сочинитель* Арцыбашев и говорит:

— Конюшня! Ого-го-го!

Я должен заметить в сторону строгих судей, что Арцыбашев — врет; что это вовсе не «натуралист», а всего только не умный *сочинитель*, едва ли что-нибудь выдавший уже по своей молодости; что *видели* действительность гораздо более старец Гете и умница Пушкин.

Кстати, я как-то спросил об Арцыбашеве:

— Должно быть атлет? Кентавр? Сколько расту?

— Не знаю,— небрежно отвечал мне литератор.— Я видел его раз на одном вечере, где все читали о любви, и, кажется, он ко многому прислушивался и потом воплотил это в «Санине». Он поет с чужого голоса. Тут были в Петербурге вечера, руководимые людьми, гораздо умнее и, главное, *учнее* его. Но там говорилось о персидской любви, об индийской любви, о греческой любви, и вообще о «любви у народов». Люди были ученые, к любви довольно равнодушные, но интересовавшиеся ею, как ориенталисты — знаменитым Розеттским камнем. Помните историю иероглифов и клинописи? Да, вы спросили об Арцыбашеве? Сидел и пил вино. Он кажется глухой или полуглухой, с легким пушком на подбородке, застенчивый, тихий и невзрачный.

— Вот! А я думал — кентавр.

И я вспомнил в «Смерти Ивана Ильича» того бедного гимназиста с синими, нездоровыми кружками под глазами, которого так жалел отец. Именно я вспомнил восклицание Толстого, вложенное в уста Ивана Ильича:

— *Все, все* теперь этим страдают...

С тех пор, я думаю, гимназисты выросли и некоторые из них, может быть, обнаружили даже литературные дарования; и, кто знает, уж не готовят ли «Полные собрания сочинений»! На этот раз надо пожелать, чтобы они прилагали и «портреты авторов». Так будет «комментаристее».

На книжном и литературном рынке

〈Диккенс〉

Больших впечатлений нет, пестрых — слишком много... Говорят о двух новых произведениях — «Исповеди» Максима Горького и «Рассказе о семи повешенных» Л. Андреева, и говорят с похвалой, даже увлечением те, которые нисколько не увлекались другими произведениями обоих писателей. Я не имею «предрассудков» критика и охотно верю, что Л. Андреев, которого очень порицала критика последнего времени, на этот раз «постарался» и написал хорошую вещь. Но, признаюсь, такой осадок образовался в душе от его «Тьмы» и «Иуды», что хотя я и купил пухлый «Шиповник» с его повестью, как равно и «Сборник Знания» с «Исповедью» Горького, но еще не разрезал и все читаю и читаю... Диккенса.

В старом любимце я пережил разочарование. И так больно оно, так не хотелось бы говорить о нем. Но о великих людях человечества мы должны *все* знать; великий должен пройти через *все* испытания

и не сгореть в них. Так прошел наш светлый Пушкин через критику 60-х годов: она ни одной ниточки, как *мишурной*, не сожгла в нем. И как лучше, как сильнее, как большим он вышел из этого испытания. Без нее все оставалось бы возражение: «А может быть он только *кажется* нам таким?» Критика, злобная, дерзкая, уничтожила это «кажется».

Это лето, как и минувшее, я провожу за чтением Диккенса. Теперь читаю впервые «Лавку древностей», а минувшее лето вторично перечитывал «Крошку Доррит». И не могу передать всего... не очарования, а *счастливого состояния* души, которое чтение дает и дало мне в летние месяцы. Роман имеет большие недостатки: он растянут. Нелепые разговоры Флоры, точь-в-точь повторяющие один другой, с трудом преодолеваются даже и в одном-двух экземплярах: а их чуть не восемьдесят! Это возмутительно. Из действующих лиц вполне художествен только один Гоуэн, эгоист аристократ, занимающийся живописью, но к живописи не имеющий таланта, ругающий аристократов, но который умер бы, не будь он *сам* аристократом... Лицо его, не решительное ни в одну сторону, передано изумительно, сотворено изумительно: этот один портрет показывает, что в Диккенсе не доразвился огромный художественный талант в том особенном смысле, как это понятие выработала наша русская литература... Он мог бы стать великим портретистом-натуралистом своего общества и времени, как были портретистами-натуралистами русского общества Гончаров, Тургенев и Толстой. Но этого не вышло. Как известно, Диккенс писал непрерывно и очень много; из биографии его я узнал, что он условливался с книгопродавцами и обыкновенно писал уже «проданный» роман, т. е. выполнял заказ. Хотя так произошел и знаменитый его «Пикквик», но это молодое и почти первое его произведение, собственно, и остается единственным гениальным, безукорным произведением. На нем есть та легкость, как будто книга сама собой сделалась, а Диккенс получил только деньги. Книга вот вдруг взяла и родилась; точно Диккенс нашел ее на дороге, а не писал ее. Пера, письма, труда, «терпения и страдания» писательства нисколько не чувствуется. Тогда как в других произведениях это «терпение и страдание» в большей или меньшей мере уже есть. Английские писатели, очевидно, работают не так, как русские, и нельзя не сказать, что у русских есть преимущество. Роман Гончарова «Обрыв» зрел десять лет. Русским овладевает какая-нибудь мысль, его заняла серия явлений; но он еще не пишет и может быть ничего не напишет. Все зависит от дальнейшего: только если мысль овладевает им до фанатизма, до восторга, до внутреннего собственного удивления к ней («Эврика!») и ряд наблюдений завершился, закрутился в совершенную полноту — он садится за произведение и получается «Обломов» или «Отцы и дети». Все-таки не только «Пикквика», хотя он мне кажется написанным *лучше* «Отцов и детей», с большим талантом, с большим литературным мастерством, — но и *все* произведения Диккенса мы не поставим в уровень

с «Отцами и детьми» и признанием в «Отцах и детях» большую духовную тяжеловесность, большую абсолютную ценность. Зависит это от внутреннего отношения авторов к своим произведениям. Я охотно соглашусь, что Диккенс, как писатель, как литератор, стоял выше Тургенева; что у него было больше сил. Но, однако, когда он писал «Пикквика» — он писал просто *чтение*; писал то, чем будет зачитываться вся Англия и весь свет, и писал для этого зачитыванья. Тут не тщеславие и успех, тут большее: самая литература существует для чтения и есть чтение; чтение необозримое, бесконечное, но только чтение. Оно должно быть занимательно, интересно, художественно, поучительно, воспитательно. Словом, это должно быть прекрасное и ценное чтение. За него платят деньги, и кто дает это чтение — того увенчивают славою. Он доставляет удовольствие, пользу, *счастье* целой нации и наконец — как я на себе испытал — и всему грамотному человечеству. Но все-таки это есть только чтение, и, например, окончив главу «Пикквика», конторщик идет в Сити и моряк на верфь так, как он всегда ходил до «Пикквика» и даже до рождения Диккенса. Ни Диккенсу, никому из читателей на ум не приходило, чтобы от «Пикквика» могло произойти еще что-нибудь другое. Например, от «Отцов и детей» сейчас же, как они появились, не только начало происходить множество «другого» и «нового», чего до них не было: но Тургенев и писал с полным знанием того, что все это «произойдет»; и, даже не решив твердо, что этому нужно «начать происходить», он едва ли и написал бы самый роман. Я даже думаю, что когда Загоскин писал «Юрия Милославского», то он тоже приблизительно думал, как и Тургенев, только в другом направлении: именно, он хотел показать современной ему, немножко развратившейся на иностранщине России, *древнего и настоящего* «истинно-русского человека». Русская литература почти вся существует совершенно для другого и происходит совершенно иначе, чем, кажется, вся европейская литература, по крайней мере новейшая. Великие или замечательные явления русской литературы, даже когда они в смысле мастерства и литературной техники стоят выше европейских, тем не менее образуют каждое положительно ступень в истории *созревания* русского общества. В самом деле, невозможно не почувствовать, что, напр., «Отцами и детьми», «Преступлением и наказанием», «Анною Карениною» русское общество до известной степени *переработалось*; и не более как через 2—3 года по напечатании этих произведений оно делалось уже несколько другим, новым, напр. более раздраженным или успокоенным, более скептическим или более мечтательным и т. д. Беллетристы у нас создавали даже моду на науку; например, после «Отцов и детей» все кинулись изучать естествознание и медицину, а после «Анны Карениной» стали думать о душе и пристрастились к религиозным беседам. Ясно, что если это *так*, — а несомненно, что это так, — то очевидно беллетристы наши уже не суть только беллетристы, т. е. творители нового и нового «прекрасного чтения», а что-то другое и неизмеримо большее. Труд их

больше, задачи их больше. Ответственность их гораздо больше. И возможные результаты этой деятельности — тоже могут оказаться неизмеримо большими...

Но я заговорил о Диккенсе, а пришел Бог знает к чему. Несмотря на недостатки «Крошки Доррит», которые я перечислил выше, *сам Диккенс* до того очаровал меня собой, своим воззрением на людей, *своим отношением* ко всему тому, *о чем* он пишет, что я еле задавал себе вопрос во время чтения: «почему *это*, вот что́ я читаю, почему *такая точка зрения* и этот *способ смотреть на жизнь* и *относиться к людям* — не может послужить краеугольным камнем религии и даже не есть само по себе уже религия»? Вот как велико было впечатление. Читая книгу, страшно медленно, возвращаясь по несколько раз к прочитанным уже страницам, чтобы усвоить лучше их *тон*, — это самое главное у Диккенса, — я, наконец, как говорится, «зачитал» книгу у библиотеки, оставив свой залог как бы за «потерянную»: именно, я «загнул» так много страниц для списыванья, т. е. как *нужное*, что в конце концов это «нужное» и желательное для списания превзошло стоимость самой книги. Как читатель помнит, книга не сентиментальна, не патриотична и не религиозна, — по крайней мере не церковна. Откуда же такое впечатление? Автор смеется, описывая воскресный звон колоколов, — этих, их, английских колоколов, в чопорное английское воскресенье, когда все слушают проповедника и затем целый день сидят дома. Среди аристократов и высоких сановников государства, очерчиваемых в романе, выведен и епископ: «как младенец», замечает Диккенс, — «он понятия не имел о действительной жизни, не имел понятия о том самом доме, куда его пригласили, и о том самом деле, для участия в котором его позвали», — и он произносил свои пышные и благочестивые речи, христианские речи, совершенно в воздухе, без адреса и публики, но при этом очень усердно направляя речь так, чтобы от слов его получился прибыток дохода в том благотворительном учреждении, во главе которого он стоял. Все как следует. Увы, — подумаешь, — все как везде! Какой контраст с этим епископом составляет фигура знаменитого доктора, который тоже находится среди гостей великого финансиста, и потом осматривает его тело после самоубийства. «Этот *знал жизнь*, — замечает Диккенс, — *знал ее не прикрашенною, знал ее в существе и страдании*». Противоположность портретов епископа и доктора, и те рассуждения, которыми Диккенс сопровождает их характеристики, — мне и показались чем-то похожим на возможность какой-то другой религии около этой так износившейся их английской религиозности, чопорной, благочестивой, формальной и холодной, давно, давно *никому не нужной* в этом виде. Помните «Подворье Кровоточивого сердца»? Мне кажется, Достоевский списал оттуда всех своих «униженных и оскорбленных» и «бедных людей»... По окончании чтения, пожалуй, приходит на ум, что все это немножко «сочинено», как вообще в «Крошке Доррит», *к сожалению*, дано много места «сочинению». Таких прелестных фигур, как эта

Крошка Доррит, героиня, именем которой назван роман,— не бывает. Но, пока читаешь, поддаешься иллюзии. А, впрочем, кто знает, может быть и бывает. Ведь кто изведет всю неисчерпаемость жизни? И вот мне показалось, что брезжит обновление религии в возможности сочетать этих как бы ангелов, проходящих по земле со своею бесконечною нежностью и вниманием к людям, и тех суровых эмпириков и ученых, какие олицетворены в докторе. Передаю читателям тот пучок мысли, который кипел во мне при чтении, соглашаясь, что он и тороплив был, и случаен. Помните еще там благочестивого и жадного «Патриарха», показывавшего праведное лицо свое жильцам «Кровоточивого сердца» как раз накануне сбора с них квартирной платы, а плату эту собирал грубый и жесткий Панкс. Но Панкс, вынужденный служить у него,— в конце концов сорвал с него благочестивый парик. Сам Панкс, пыхтящий и фыркающий, имеющий деньги,— параллель эмпирику-доктору. Та же кровь, те же кости. Только доктор — командир, а этот конторщик — солдат в той «армии спасения», которая замелькала у меня. В самом деле, отчего «церкви» или тому, что зовется «церковью», не сложиться из бесконечной человеческой деликатности и нежности, с одной стороны, и из мудрости, науки и опыта — с другой? Ведь и в самой теперешней христианской церкви все родилось тоже отсюда, из человеческой доброты и человеческого ума или размышлений. Были «святые отцы» добры — и церковь стала «добра»: так ведь это — *они же, люди*, и вот в этом самое, самое главное! Нет «святых отцов», что останется от земной церкви? Формула, отвлеченность и притязания. Все сделали *они*, «святые отцы». Но «разум» святых отцов и «правда» их как-то просто перестали отвечать нашему времени; она *есть*, эта правда, и в себе самой *не переменялась*: но до того вся жизнь изменилась, до того настали другие условия, сделалась совсем новою обстановка жизни, что просто эта правда не имеет более «адресата» себе, и похожа на странствующее письмо, которое носит-носит почтальон в своей сумке, а кому отдать его, того — *нет!* Вот — все. Совершенно просто. И нет виновных. Другое время,— и потребна другая правда и выразители другой правды. Кто они, откуда взять их? Да вот эти как бы ангелы, удивительно и странно иногда рождающиеся на землю,— но которых или приближения к которым — каждый скажет, что он знал, видал в опыте своей жизни, в испытаниях своей жизни. Но они одни бессильны. Они только хотят, но не могут. Кто же *может?* Вот эта совсем другая, простейшая и легчайшая порода людей — люди науки. Науку можно выучить. Науку можно схватить. С нею не нужно родиться, как безусловно рождаются те исключительные сердца «святых людей». Таким образом, моя мысль не так нова и включает в себе то же самое древнее требование, которому удовлетворяли и прежние «отцы церкви» — именно требование *прекрасного сердца и высокого разума*: но только в современных условиях и для удовлетворения

современных задач. Мне кажется все, все, напр., и Достоевский с Толстым, все время ищут и кружатся около этой же темы: как *найти* (Достоевский) или *выработать и создать* (Толстой) человека совершенной правды и человека очень высокой мысли, как двух очевидных выразителей нового мирозерцания. Повторяю, без «святых отцов» нельзя ощутить церкви. Но, так сказать, темперамент, колорит и стиль «святости» должен перемениться. Ну, напр., в этом: прежде уходили от жизни, теперь надо идти в жизнь, прежде «терпели и не роптали», теперь надо победить источники терпения и ропота; прежде все было пассивно, страшно пассивно, теперь же нужны добродетели активности, труда, бодрости, делания. Толстой еще в «Войне и мире» поставил идеалом Платона Каратаева, который со всем окружающим пассивно «сообразуется»: позднее, в знаменитом «непротивлении злу» он только живой образ этого Платона Каратаева перевел в отвлеченное правило. Но нужно совсем не это. Все интендантские чиновники, которые «не сопротивляются» воровству своих товарищей, суть Платоны Каратаевы. Они попадут в Царство Небесное, а Россия провалилась в Манчжурии. Таких не надо. Вот пример, как условия действительности фатальным образом, железным образом потребовали перемены идеала и перемены носителей идеала. Но это одна подробность, одна частность, вовсе даже небольшая. Нужна перемена *всего* идеала, напр., нужно, чтобы «истинный христианин» не сам «сносил терпеливо бедность», а чтобы он усиливался плодить вокруг себя довольство и избыток. Тут совсем другое, другой колорит и стиль. Нужно не «ходить самому без сапог», как Василий Блаженный, а сколько можно больше нашить другим сапогов, т. е., напр., быть виртуозом-ремесленником. Идеалы — другие, а правда — одна! Можно быть «праведным» без сапогов: но ведь можно и в сапогах быть также «праведным», и тогда для чего же не шить сапогов? Даже на миссионерском съезде в Киеве говорят, что «подвижничество»-то «подвижничество», да не нужно забывать и «сапогов»; говорят об обеспечении духовенства. Это узко и эгоистично формулировано, тут не чувствуется «ангела доброго» около людей, съехавшихся в древний стольный город Киев: но, однако, чрезвычайно важно, что даже этот съезд там, т. е. весь стан церкви, хотя и косвенно, но тоже признал, что мы живем теперь в совершенно новых условиях жизни и что нужно переменить самый дух веры, признав *мирское, мирской элемент жизни*, и начав его идеально перерабатывать. Миссионерам и духовенству в Киеве миряне могут ответить, что если они, эти миссионеры, нуждаются в «сапогах» и их требуют, хотя и не могут основать их на догматах, то и миряне точно так же могут потребовать от них, от этого духовенства и миссионеров *себе* сапогов, хотя бы тоже не догматических. Пусть на съезде киевском пересмотрят и переменяют все каноническое право, касающееся семьи, детей, развода, вдовых священников.

Но куда это я уклонился от Диккенса и упоминания о разочаровании, которое пережил с ним? Он оказался скупым.

Читаю его биографию и вижу факты, но никак не могу сложить их в сумму, которой название так ужасно... Предположение о чем-нибудь корыстном, даже о простой заинтересованности деньгами, до того не вяжется с представлением о Диккенсе, как авторе книг, что мне подсказали его со стороны. Но только когда я читал биографию, я чему-то все удивлялся, от чего-то недоумевал, все еще не понимая, — от чего именно. Вся жизнь его была хлопотлива, деятельна, напряжена даже в старости. У него не было отдыха и он не давал себе отдыха. В последнее время писанье давалось ему уже трудно, особенно, например, трудно давалась «Крошка Доррит», как я заметил, растянутая, с такими ненужными монологами Флоры и по временам утомительными описаниями. Позднейшие его произведения, как, например, «Николай Никльби», совсем слабее. Почему же он не положил перо, как клал его временами на много лет Тургенев, или не принимался за перо ленивый Гончаров? Но Диккенс никогда не был ленив, и все работал и работал. Не писал, а работал. Все чего-то не понимаю и спрашиваю себя, зачем он работал, когда ему не хотелось писать? В конце жизни, — рассказывает биограф, — он разошелся с женой по обоюдному согласию, и в объяснение пишет, что он любил простоту, а она желала держать себя и дом свой как важная лэди, устраивая приемы у себя и проч. Это и нравится в Диккенсе, но как-то жестко в отношении жены. Разойтись с женщиной под старость, народив детей и вместе воспитав их! Ужасно не вяжется с образом Диккенса. Дети были уже взрослые: старший сын ушел с матерью, прочие остались при отце. «Значит прочие осудили мать». И однако же это так поражает в Диккенсе, который оставил нам страницы такой деликатности и прощения! Ведь Бог не наделил ее таким талантом: он забывался за сладкими вымыслами художества; но что такое приемы, некоторые наряды и, допустим, роскошь обстановки, как не замена или подмена недостатка внутреннего творчества, как не иллюзия в своем роде, не поэзия в своем роде? Чем-нибудь утешиться человеку нужно: богатый утешается «Пикквиком», бедный — тем, что примет у себя новых и особенно знатных гостей. Ему следовало пожалеть свою старушку. Как это досадно. Он разошелся с нею. А сам все трудился и трудился. Видя, что перо окончательно изменяет, он стал читать публично свои произведения, — в Англии и даже в Америке. Успех чтений был необыкновенный: здесь, как и во всем, за что он ни брался, он был мастером. Между тем и здоровье становилось слабо: уже на чтениях присутствовал доктор, чтобы подать помощь сейчас, как только это потребуется. Значит, опасение и угрозы, что это «потребуется» — были, и об этом знал Диккенс, но читал. Не для благотворительности и «в пользу женских курсов», как наши, правда, не умеющие ни читать, ни говорить тещы, — а за сумму несколько сот рублей, чуть ли не более тысячи за вечер. У него это скоро оформилось, и он уже читал «по заказу», получая вперед плату с своего антрепренера. В Америке, в Соединенных Штатах, его встретили как триумфатора, забыв — тако-

ва доброта народная — неприятность, случившуюся у него там, при первой поездке. Тогда его тоже увенчали: но на одном парадном обеде, для него устроенном, он воспользовался присутствием важных членов администрации и конгресса и произнес речь, обратившись к ним отнositельно «урегулирования прав собственности на литературные произведения» и обеспечения этих прав в Америке. Предложение его было выслушано, но было встречено холодно и прессою и обществом, и вообще не возымело действия. Результатом этого было неудовольствие Диккенса; а главное — появились его «Заметки о С. Американских Штатах», род мемуаров из путевых заметок, которые я читал лет 15 тому назад. Невозможно представить того смешного и унижительного образа, какой он придал гражданам республики, и особенно ее прессе, — выставив их, да и все население страны, всю деловитую и значащую часть этого населения, как сплошь хвастунов, мальчишек и обирал чужой собственности. Действие книжки этой до того сильно, что — помню — вполне доверившись *наблюдателю*-Диккенсу, я так на много лет и остался под действием его взгляда, никогда ничего не чувствуя к этой нации пустых людей и эксплуататоров. Так их представил Диккенс. Вдруг только это лето, почти вот сейчас, я узнаю о таком мотиве книги: значит, раздражение, произведенное в Диккенсе отказом, вероятно, уплачивать ему за перепечатки его романов в Америке, было подобно ушибу, удару. Он его не мог перенести и не мог забыть, простить.

— Да вы обратите внимание, — сказали мне, — сколько он получал за романы: биограф приводит суммы, и в одном месте сказано, что за который-то роман, не лучший и не главный, он получил на наши деньги 200 000 рублей. Он вовсе не нуждался, ни тогда, ни ранее!

«Ни тогда, ни ранее!» Ни, конечно, — в те последние годы, когда, почти задыхаясь, — он все читал и читал в огромных залах разных городов Англии и Америки. Слова биографа: «Диккенс, в противоположность отцу своему, — всегда был аккуратен и бережлив в отношении денег», — вдруг осветились для меня страшным, другим смыслом: Диккенс наследственно и врожденно был скуп! Добродетели и слабости детей часто бывают в контрасте с родительскими излишествами или тоже слабостями. Тут можно подозревать какой-то даже закон. Историю своего детства Диккенс рассказал в «Давиде Копперфильде», а в Микабере, таком бестолково-расточительном, он вывел своего отца. Отец этот был фантазер и не деловитый человек, не служака. Он, как и Микабер в романе, разорился и разорил свою семью: Диккенс-ребенок страшно бедствовал. Жизненное испытание дало первый толчок движению врожденного предрасположения: тратить возможно меньше и получать возможно больше. С годами, с ослаблением души и сил, недостаток вырос: Микабер в романе распустился под старость и все выпустил из рук, Диккенс под эту же старость весь сжался до сухости. Я вспомнил так чудно и вместе мучительно описанную в «Лавке древностей» слабость выведенного там дедушки — к металлу, золоту. Старик был

чудный, и это была просто болезнь. Мне показалось, что описание слишком живо, чтобы быть только литературным. Я думал о Диккенсе: бедный, бедный, добрый ангел Европы, действительно ангел ее, сказавший такие чудесные слова сердцу человеческому! К собственному его сердцу прикрепился червяк, которого он не в силах был оторвать, и который сосал его таким унижительным сосанием. Вот что значит «грех», и как он страшнее, чем то пошлое «соблазнение девицею», в каковом смысле всегда разъясняли его «святые» старой истории. Нет, это гораздо страшнее и мучительнее девиц.

О памятнике И. С. Тургеневу

Тургеневу должен быть поставлен памятник, — и знаете кем? Русскими женщинами. В условиях новой культуры, новой образованности, в шуме и гаме новой цивилизации, и притом будучи сам одним из великих вождей этой образованности и культуры, он вместе был не по наружности, а по существу, средневековым рыцарем в его прекраснейшем идеале — в возвышенном поклонении женщине. Но он делал это не отвлеченно, а конкретно. Он собрал и собирал всю жизнь драгоценнейшие черты женского образа, рассеянные здесь и там, раскиданные на мириадах встреченных им женщин. Как искатель золота ищет золотых блесток в золотоносном песке и, прибавляя крупинку к крупинке, получает и имеет массивный кусок металла, каким никто не обладает, так Тургенев, по крупинкам собирая идеальное в женщине, дал в совокупности своих созданий великий образ русской девушки и женщины, и героический (Елена в «Накануне»), и самоотверженный (Лиза Калитина в «Дворянском гнезде»), и бесконечно терпеливый («Живые мощи»), и страстно нетерпеливый (Ирина в «Дыме»), но во всех проявлениях этих именно героический, поднятый над уровнем средней и пошлой действительности. Справедливо говорят и всегда говорили, что в деле освобождения крестьян от крепостной зависимости его «Записки охотника» сыграли большую роль. Но весь более сложный узор его последующей деятельности, целый ряд его романов, повестей и рассказов совершил другое и, пожалуй, не менее важное дело: он пробудил дремлющие силы русской девушки и женщины на всех ступенях общественного положения и, указав им лучшее, сказав, что он видит в них лучшее, толкнул их, всю огромную их массу, к подвигу, самоотвержению, к страданию за другого, к бесконечному терпению, но прежде всего и во главе всего — к образованию, к чтению, к начитанности. Многие замечают, что теперь девушки, по крайней мере в учащемся слое, начитаннее и *литературно образованнее* своих сверстников и товарищей по школе; но не все отмечают, что *началось* это с Тургенева, который сделал для русской женщины совершенно *невольным* чтением. Этим благородным, одухотворен-

ным способом он сделал невозможным для них прежний бытовой покой, бытовую ежедневность и, увы, бытовую заурядность и мелочность. Он заставил женщин думать о крупных вещах, думать о крупных заботах: и пустил как стрелу с туго натянутого лука в полет, в котором она до сих пор не остановилась и, может быть, никогда уже не остановится. Это такая общественная и историческая заслуга, которую невозможно сейчас обнять умом во всех последствиях. Укажем лишь, сколько больниц и школ основано такими женщинами, сколько около народа трудится с букварем и лекарствами девушек и женщин-семьянинок, которые в *первоначальном движении* своем были выведены из инертности рукою Тургенева. Вот чей бюст или портрет должен бы украсить каждую женскую аудиторию, актовый зал женской гимназии; должен быть над письменным столом каждой учительницы и женщины-врача. А все женщины тем шумным роем, какой они имели лет тридцать назад, должны бы потребовать всероссийского ему памятника и сами первые понести на него лепты.

В особенности сейчас, когда целый ряд недоношенных литературных поросенков издают такое хрюканье около женщины и так невыносимо запачкали ее образ, опоганили его, — можно сказать «произвели гнусное покушение на женщину», — теперь именно этим огромным движением можно было бы положить предел этой гадости. Памятник Тургеневу, всеобщее движение к постановке его, знаменовало бы возвращение к тургеньевским идеалам и заветам. «Однолюбие» великого писателя, эта редкая и исключительная черта, — сыграла великую, в сущности, историческую роль. Ведь эта черта и содержит в себе «рыцарское поклонение женщине»; точнее — этот удивительный и редкий феномен единственной любви за всю жизнь, любви естественно беспредельной, он и лег биологическим основанием в картину средневекового поклонения женщине. Феномен этот совершенно противоположен той рассеянности чувства, с пропорциональным измельчением его, последний предел которого есть проституция или Анатолий Каменский. Последний, как и Арцыбашев, рисует не силу любви, а бессилие любви; бессилие к любви самого человека; поношенность, потрепанность его; изнеможенное старчество под молодыми чертами нафабренных господ. Пора этой невыносимой гадости противопоставить идеал великого сосредоточения любви, великих сил к любви. Ведь, конечно, представитель любви, представитель великого любящего сердца — есть Лаврецкий и Лиза Калитина, а не лошадь на пружинах, подобная детским конькам, названная «Саниным». Это — машинка, сочиненная нездоровым субъектом. Но лица Тургенева, как и сам он, в великом факте своей единственной за всю жизнь любви, — воспитаны были среди полей старой и *строгой* помещичьей деревни. Вспомним строгий, до суровости, характер его матери, и что такими же «однолюбями», как ее сын Иван, вышли и другие его братья. Это — Терек, пробивающийся через гранитные скалы, а не грязная лужа условий, где «чего душа хочет, то и получает». Но, конечно, в основе это факт благородной великой личности.

Личный факт, личная особенность помогла творчеству в Тургеневе. Чего не испытал — не передашь. Он лично поклонился одной женщине и, судя по письмам к избраннице его сердца, это поклонение исполнено было таких трогательных черт, каким мы не поверили бы в романе даже рыцарских времен. Когда в первый раз поставили на сцену его пьесу, то, пишет он, «когда взвился занавес — я произнес ваше имя. Его я произношу во все важные, колеблющиеся минуты моей жизни». Как это нежно, деликатно, глубокомысленно; хочется сказать — как это небесно. *Сам* Тургенев не был по-видимому заласкан избранницею, — как и рыцари часто обманывались в своих «дамах», и вообще тут больше воображения, чем действительности. Но нет великого без терновых капель крови, — по крайней мере нет священного. Удивительную любовь Тургенева мы именно можем назвать священной и по присутствию этих капель. Оговоримся, однако же, что сама способность испытать такое чувство, как и факт испытания, есть великое счастье, сообщающее необыкновенный трепет и нежность сердцу до глубокого поседения. И даже при кровавых каплях это есть все же неизмеримое счастье сравнительно с холодным салом, которое поедают иные в условиях, где «все доступно».

Хочется, однако, сказать примирительное слово о литературе. Мы уверены, она сама винит этот сальный тон, подхваченный ею по какой-то непонятной ошибке. Нужно, чтобы тон этот не был изгнан, а был оставлен самими писателями, которые ступили на него, ошиблись и вернулись как с запутанной дорожки, которая никуда не приводит.

Но на пути к этому возрождению каким хорошим, *оправдывающим* шагом было бы движение именно девушек и женщин к памяти Тургенева, определеннее — к памятнику великому писателю, к воздвижению этого памятника! Ибо есть подозрение у слишком многих, что женщины не без участия в Санинско-Кузьминском движении. Ну «быль молодцу не в укор», — молодцу и молодежи. Все нужно забыть. Но забыть в делах, в движении. Никто не говорит против любви: но нужны великие формы для великого чувства, и тем более великие, чем оно священнее, жизненнее, чем это чувство есть более творящее и стимулирующее. На земле ничем не было столько *двинуто*, явно и тайно, — особенно тайно, как любовью: и слишком основательно воздвигнут памятник лучшему певцу и носителю и изобразителю всего спектра этого чувства. Он как рудокop дал нам золото, — дадим ему как купцы бронзу!

80-летие рождения гр. Л. Н. Толстого

Сегодня вся Россия празднует 80-летие рождения гр. Л. Н. Толстого, творца «Войны и мира» и «Анны Карениной» и множества других произведений, которыми с Россией зачитывается и весь свет. Фигура

его, образ его, произведения его, весь труд его жизни говорят о неисчерпаемых возможностях, которые заложены в русском духе и в русской земле. «Вот что *может* же рождать русская земля: отчего же она в прочем и вообще рождает столько бурьяна, приносит такие тернии», — спрашиваешь себя и не находишь ответа. Ссылка на «общие условия» и «внешние обстоятельства» не глубока: правильнее, что мы все и каждый из нас не умеем работать над собою. Пример великой работы дал нам Толстой. В этой работе не все одинаково ценно. Многое отомрет в ней, отвалится; отвалится именно то, что не исходило из любви, что было результатом желчной критики и осуждения, результатом раздражения. Но эта работа Толстого, пытающаяся быть разрушительною, не главная в его деятельности. Она только *показана* как «главная» шумною рекламою вершковых «разрушителей», которые уцепились за ногу Толстого, сами не имея никакой силы и хорошо зная, что их одних никто не станет слушать. Для всей России видна другая истина: Толстой сам же, в «Войне и мире», дал такой образ России, столь величественный и вместе привлекательный, что как бы позднее и он сам ни критиковал его, и что бы другие о нем ни говорили, это все уже не может ни зачеркнуть, ни дать трещины в могучем изваянии. Не выдумана же Россия «Войны и мира». А если она не выдумана, то мы хотим остаться жить с ней, даже без очень больших переделок. Конечно, это не исключает необходимых починок. И вообще уважение к родине не есть призыв к квиетизму, самодовольству и ничегонеделанию. Но охотно пахать можно только на земле, в которую веришь.

Толстой гораздо раньше своей критики научил нас верить в русскую землю, показав в художественных образах невыразимой прелести все своеобразие и все разнообразие, всю глубину и всю красоту русского духа, от дворцов до деревенских изб. В «Войне и мире» и «Севастопольских очерках», в «Казаках» и «Анне Карениной» он показал этот дух простым и ясным, добрым и выносливым, чуждым мишуры, рисовки, риторики и ходульности.

У гр. Л. Толстого были средства живописи: однако ведь предмет-то для живописи дала русская жизнь, русский народ, русский дух и русский быт. Они вдохновили Толстого. Вот все, что нам нужно знать, чтобы сохранить веру в свою землю и удержаться от присоединения к резкой критике против нее, откуда бы она ни раздавалась.

Но оставляя эти споры, на которые вызывают люди, злоупотребляющие именем Толстого и едва ли что понимающие в его великом искусстве, мы сосредоточиваемся на этом искусстве. И здесь, уже ничем не задерживаемые, мы сливаемся с тем удивлением и уважением, какое в этот день принесет Толстому Россия и весь образованный мир.

С необыкновенным проникновением он взглянул на душу человеческую и, постигнув ее до величайшей глубины, какая доступна, дал изображение русской жизни уже как последствие этого постижения. В этих двух

половинах выражается то главное, что внес Толстой в литературу. Он есть несравненный психолог; он есть несравненный живописец быта. Но второе у него вытекает из первого. И только от этой зависимости и связи рисовка быта получила под пером Толстого такой исключительный интерес и важность. Все до него, Островский, Гончаров, Тургенев, подносили освещающий фонарь *отсюда*, от себя, как бы с улицы: способ их освещения был способ зрителя, наблюдательный, наружный. Толстой как будто заставил зажечься внутренний фонарь в человеке и дал зрителям возможность видеть все его внутренности и ткани, биение его органов и все в нем процессы через этот особенный, мудрейший, труднейший способ освещения. Достоевский делал то же, но он делал это с человеком или ненормальной натуры, или ненормального положения. Толстой каким-то инстинктом сторонился от всего ненормального: он дал изображение нормального человека и нормальных положений, но положений всяческих, всевозможных. И через это труд его получил неиссякаемый интерес для всего нормального человечества, т. е. почти для всего человечества.

Вот главное. Если мы спросим себя о роднике этого, мы можем только догадаться и сказать, что, судя по «Детству и отрочеству», куда вошло много незамаскированно автобиографического, Толстой уже с очень ранних лет был как бы испуган нравственной ответственностью души и погружен вообще в загадки и волнения, в падения и просветления человеческой совести. Как будто он постоянно нес нравственную муку или во всяком случае нравственный труд. Но над чем мы постоянно трудимся, то мы узнаем до небывалых подробностей. Труд превращается в постижение. Толстой, перенесший необыкновенный, исключительный труд над совестью своею, постиг в мельчайших изгибах и в самых сокровенных уголках движения души, поползновения души, зародыши греха в ней, слабости ее, софизмы, обманы и самообманы. Он гнался за душой, как гончая за зверем, соединяя в себе и охотника и жертву. Он был вечным исповедником себя, неумолимым судьей. Конечно, это открыло ему жизнь только собственной души. Но во всех людях живет собственно одна душа, и один в ней закон: и только закон этот разнообразится до бесконечности в разнообразных положениях и от разнообразных столкновений. Но уже не трудно, поняв *суть*, объяснять подробности. Через громадный внутренний опыт, через постоянный самоанализ, Толстой сделался великим сердцеведцем. А великие художественные дары, бывшие в нем вне связи с этим самоуглублением, повели к тому, что все это выразилось в серии романов, повестей и рассказов, давших XIX веку, в соответственных литературных формах времени, то самое, что дал Шекспир XVII веку.

Толстой завершил русскую реалистическую литературу, довел ее до апогея. В том же направлении, по самой сути дела, доведенного Толстым до *безошибочности* и полного *постижения*, нельзя сделать ничего большего. И некоторая растерянность и бессилие новейшей русской

литературы находится в связи с этой *завершенностью, окончательностью* и *оконченностью* определенного ее фазиса. С тем вместе от узкого национального значения Толстой больше других возвел русскую литературу к всемирному интересу и значительности. Так обыкновенно и бывает с заключительными фразами национальных явлений: они получают всемирность. Таким образом, Толстой ввел русский дух в оборот всемирной культуры, во все коловращения ее.

Вот все, что мы находим нужным сказать в этот хороший русский день. Мы удерживаемся от похвал, от восторгов: все это банально, и едва ли кому нужно. Дело говорит само за себя, юбиляр слишком много сказал о себе и о себе,— начиная с «Исповеди». Да и другие его произведения, начиная с «Детства и отрочества» и кончая «Крейцеровой сонатой», слишком явно пропитаны личным началом, этим *исповедным* характером, который мы в нем отметили. В смысле же похвалы и восторга и наша, и всемирная печать уже сказала все, что можно. Толстого остается просто читать, изучать и любить,— остается *понимать* его, как он нас *понял*: и мы убеждены, что чем более он будет пониматься обществом и народом в необозримых *подробностях его произведений*, в частностях их, даже наконец в мелочах их,— тем более будет зреть общество и все читающие от этого понимания. Толстой есть серьезнейший писатель: и всякое к нему прикосновение всегда будет возвращать человека к серьезному.

Л. Н. Толстой

С сверкающими глазами и счастливым лицом девушка лет 24 подняла голову над небольшим истрепанным томиком, который лежал перед нею на чайном столе. Минуту она молчала и заговорила:

— Как хорошо... Нет, не это... Как хорошо, что я *живу в это время, когда могу читать* «Войну и мир». Как я счастлива этим чтением. Как счастливо совпадение, что я вот живу, когда Толстой пишет...

Глаза горели радостью. Я взял книгу, чтобы посмотреть, на каком месте девушка так заволновалась. Шли страницы, разговоры, события, когда Ростовы переезжали из оставленной Москвы в Ярославль, когда умирал кн. Андрей Болконский, и Наташа, вся измученная раскаянием, любовью и сожалением, рвалась ухаживать за умирающим. Да, лучшие сцены. Впрочем, лучшие ли? С французской записочки, которою фрейлина двора Александра I приглашает к себе на вечернюю чашку чая своих друзей в Петербурге, которою открывается роман, и до конца его все как хорошо... А Анатолий Куракин?

«— То-то философ,— подумал Пьер, увидев его.

Анатолий, подбочаясь и запахивая брововые лацканы, проезжал около Пречистенского бульвара». Это было на другой день после того,

как он хотел похитить Наташу. «Что с ней *теперь*», — мысль эта нисколько не приходила на ум Анатолю. Да к нему и вообще не приходило никаких мыслей. Он просто *жил*.

Его ранили в ногу под Бородином. Ногу ампутировали, в тогдашнее бесчлороформное время. Взяв отрезанную ногу в руки, он заревел:

— Ой, ой! ой!...»

Да, было отчего девушке засверкать глазами. Не скажем ли мы и все вместе с нею:

— Как мы счастливы, все наше поколение, что жили в пору, когда писал Толстой. Сколькими мыслями, идеями он взволновал наше существование. А читать его, а впечатления при чтении — это точно *путешествие*! Странствуешь по жизни человеческой, по судьбе человеческой. Наконец, странствуешь по душе человеческой, которая так же сложна и извилиста, как и рождавшаяся из нее человеческая жизнь. Мы все поумнели с Толстым, мы все помудрели с ним. И маленькая жалость шевелится в душе, что деды и прадеды наши, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь не читали Толстого. И они разделили бы наше восхищение; и, кстати, любопытно, что бы они подумали, что сказали бы о нем и им написанном?

Я потому начал с передачи живого впечатления, вот-вот сейчас при чтении, какое мне пришлось удачно увидеть, что *в живом впечатлении* выражается вся *суть* литературы и вся ее значительность, гораздо важнее, чем все мысли «потом» и вообще все, что «потом». «Потом» уже зависит от нас, от богатства или бедности нашей души. А «свежее впечатление» — это только он, Толстой: тут его образ горит, как горит луч солнца в капле воды, его воспринявшей.

Это впечатление, это горение необыкновенно ярко и счастливо. Так сказала девушка, и я хочу полно сохранить вырвавшееся у нее восклицание, находя, что это очень верно передает действительность. Да, *счастье* читать, *счастье* видеть этот огромный узор, картины и картины — в этом и лежит главное, почти даже все, что дал и что завещает потомству Толстой. Все остальное — приложения, прилагаемое: и оно уже вполне зависит от того, что мы переживаем некоторое *счастье*, когда читаем Толстого.

И подумать, что долго-долго поколения русские будут испытывать то же... Мне кажется, сам Толстой этим сознанием, этим чувством должен быть необыкновенно счастлив. Ведь он добрый человек: и думать, *видеть*, что столько удовольствия разливается для всех просто от его существования, от того, что он пишет — это значит получить самому величайшее наслаждение, к какому способен духовное существо человека.

Что там «долг», «подвиги», карабкаться на высокую гору добродетели. Все это хорошо, когда есть силы; все это хорошо для сильного, при

силах. А кто же бедному человеку даст силы? А вот и дает ему просто удовольствие — удовольствие без «дальнейшего». После удовольствия точно теплое что-то побежит по жилам, потянешься, крикнешь и скажешь: «Ну, давайте, какие там есть у вас подвиги? Все переделаю. Силушки хватит». Что такое *порок*? Несчастье, слабость. То состояние усталости, которое настает для бессильного человека даже после крохотного дельца, и родит большинство плохих дел, дурных мыслей и чувств. Порочные люди суть слабые, предсмертные люди; они суть тоскующие, унылые. Дым, копоть в душе; дым, копоть внутри. Что их разгонит? Яркий луч солнца, хороший ветер. Роль этого ветра и солнца играют для несчастного, ослабленного, грешного человека вот эти праздники, вот это счастье, вот эти удовольствия: и кто родит их, кто дает их человеку — поистине делает больше, чем все десять и сто и сколько угодно заповедей. Ибо суть дела, конечно, не в заповеди, а в силе исполнить ее: а силу дает тот, кто дает удовольствия.

Это противоречит несколько «моральному учению» Толстого последних десяти — пятнадцати лет. Но, признаюсь, как его художество родит во мне солнце и ветер, сушит мою душу, освежает ее, поднимает ее: так после чтения моральных его трактатов душа моя тяжелеет, сыреет, точно набирается дым во все ее щелки, и я почти с плачем говорю: «Ничего *не могу*. Не только подвигов, вот чего хочет Толстой, но и вообще ничего. Я устал. Устал от чтения. И если попадется на глаза ближний, то я просто от усталости сделаю ему скорее каверзу, чем что-нибудь порядочное. Мне самому нехорошо, ах, как нехорошо: и мне решительно все равно, если и еще кому-нибудь, кроме меня, тоже нехорошо. Не хочу и *не могу* делать никакого добра».

А после чтения «Войны и мира» просто побежишь и сделаешь добро. После этого чтения даже хорошо умереть за отечество или для отечества. Все хорошо и все легко. А оттого, что счастлив. А у счастливого сил вдвое. Мораль Толстого вынимает силы; художество двойит их. И от того, хотя это и похоже на каламбур и остроумие, но есть сущая правда: аморальные первые произведения Толстого, мне кажется, ведут человека к добру, а поздние морализующие сочинения или никуда не ведут или (как я в секрете думаю) ведут к худу.

* * *

Хоть и не хочется, а продолжу чуть-чуть эту мысль. Всякая мораль есть оседлывание человека. А оседланному тяжело. Поэтому оседланные или моральные люди хуже неоседланных; именно — они злее, раздражительнее их. Злоязычны и козненны, укусливы и хитры. Так уж Господь Бог сотворил спину человека без принорования к седлу. Оттого, что человек и просто без седла если и не хорош, то ничего себе; а иногда даже и великолепен. Перенесем небольшие неудобства от его неоседланности, чтобы увидеть и наконец воспользоваться тем

великолепным, что иногда, хоть изредка, он дает просто от избытка сил в себе и от своей прекрасной, в общем лучшей, нежели все в природе, натуры.

* * *

Возвращаюсь к счастью и яркости толстовского луча, который горит в нас. От чего это зависит?

Я думаю, главное, что дано Толстому,— это хороший глаз. Хороший глаз, дополнивший богатую душу. Тургенев где-то описывает, как Фет-Шеншин ел землянику со сливками: «у него ноздри раздулись от наслаждения». Значит, хорошо была развита обонятельная и вкусовая сторона у человека; наименее думающая сторона, из которой наименьше можно чему-нибудь выучиться. Напротив, глаз нас вечно учит; глаз — вечное поучение. Конечно, если он хорош. Хорош не в оптическом отношении, а вот в каком-то умном. Есть умный глаз, есть думающий глаз. Мне кажется, художество Толстого в большой доле объясняется чудным глазом, каким он одарен был от природы. Этот глаз мне представляется никогда не сонным, не сонливым, почти не смежающимся и захватывающим далекий горизонт, обширное поле. Но это только первая фаза, начальное качество. Чтобы хорошо помнить кое-что, надо отлично забыть другое. Вообще способность выбрасывать из души так же почти важна, как и способность забирать в душу. Неусыпный и широкий глаз Толстого, охватывающий громадную панораму, обнаруживает главный свой ум в том, что отшвыривает все неважное, все ненужное, все *ему, Толстому*, не интересное; это делается моментально, каким-то волшебством. И в поле зрения Толстого уже немного предметов, между которыми и вокруг которых как бы черная ночь (хорошо забытое, выброшенное): но они среди этой ночи сияют необыкновенно ярко. Тогда, имея эти несколько точек внимания своего, Толстой как бы ввинчивается в них глазом до самого дна, до «души», и как бы гипнотизируется своим предметом, становится совершенно пассивен, бессилен, безволен в отношении его. Предметы живут в нем, как хотят, как «сами»: Толстой точно не может сделать ничего в отношении их; здесь природа глаза, просто как оптического органа, владычествует своею частичною психикою над общею психикою его как мыслителя и человека. Я хочу сказать, что каждый наш орган имеет маленькую свою «душку», — независимую от общей большой души человека, не абсолютно подчиненную ей, а иногда даже обратно подчиняющую себе эту большую душу. «Душка» глаза у Толстого настолько талантлива и сильна, что когда он смотрит на предмет, — то качества глаза, зеркальность, отражаемость, подчиняют и парализуют мысль Толстого, чувство Толстого. Это совершенная противоположность Достоевскому, который, захватив клочок действительности, увидев образ человека, — уносил его в свою душу, и здесь производил с этим захваченным «свои эксперименты», ломал, коверкал и искажал эти предметы по законам всегда и только

своей души. Таким образом, у Достоевского верно и реально в каждом выведенном лице или положении только одна точка, всего только одна, правда,— главная; все прочее — фантазия, жизнь души самого Достоевского. От этого все, что «делают» его герои — совершенно фантастично и неправдоподобно, хотя кажется ужасно верным, жизненным: это оттого, что сам Достоевский, художественно активный писатель, влил в них необыкновенно много своей психики. Но именно своей, а не *их*. Толстой очень активен как *мыслитель*. Он неустанно думает. Но как художник — он страшно пассивен: он именно — *зеркало*, в котором предметы отражаются «сами» и «как они хотят». От этого судьба героев и вообще «что они делают» у него не только правдоподобны, но и вообще верны, «как бывает». Достоевский — зачинатель, Толстой — вынашиватель. Именно, как заметил лучший его критик, Константин Леонтьев, что «изучать *реальную жизнь* или изучать ее *по произведениям Толстого* — это *все одно*». Есть телескопы особенного устройства, в которых астроном смотрит не прямо на небесные светила, а рассматривает их отражения в абсолютном зеркале: и это — все одно, как если бы он смотрел на светила. Вот радость и счастье и поучительность чтения Толстого и вытекает из того, что, читая его, мы испытываем впечатление знакомства с настоящей реальной жизнью. Не выходя из комнаты, не вставая с кресла, мы не только видим, но и как бы соучаствуем жизни далеких людей, частью — давно отживших,— людей интереснейшего склада души и с замечательною личною судьбою. Мы мудреем, умудряемся. И мы в то же время восхищены.

* * *

Я высказался отрицательно о моральном учении Толстого. Это в смысле «седла». К счастью, оно не одно: он выработал целый ряд седел, и ни об одном прежнем не жалел. Это все и берегает в его личности, что он так же талантлив на забвенье, как и талантлив в находках, или, вернее, неутомим в находках. «Много седел» уже не удручает душу; читатель и в конце концов Россия могут остаться совершенно свободными от давления мысли Толстого; и в то же время перед Россией, перед потомством и нами остается прекрасное и наконец великое зрелище человека, жизнь которого была в каждом шаге его — делом, усилием, трудом, старанием. Г. Сергеевко написал книгу: «Как *живет и работает Толстой*». Очень удачное заглавие. Эти две рубрики, сливающиеся в одну: «*жить* — значит *работать*», так и останутся за Толстым, как его девиз, и еще лучше как его завещание, прекрасное и единственное в смысле «заповеди» — какое он оставит потомству. Вот этого «седла» не надо скидывать: да оно и не тяжело, не давит по его чрезвычайной обширности, по безбрежности его границ. Ибо уже *как* работать и *над чем* — это мы можем сами выбирать. Здесь не гасится в нас *лицо*, не подрезывается в нас воображение, как оно подрезывается всеми правилами благонравного поведения.

Но это прекрасное — вне темы теперешнего моего очерка. Когда мы вернулись с прогулки, мы й застали Софью Андреевну всю в тревоге: сердце временно ослабло у Толстого и он впал в обморочное состояние. Прошли часы; и часов в девять он позвал меня к себе в кабинет. Здесь я увидел его совсем другим. Сил физических, очевидно, не было: он сидел, глубоко ввалившись в кресло. Но по мере того, как разговор оживлялся и касался более и более интересных тем, церковной, религиозной и семейно-брачной,— он все оживлялся и уже был подобен вулкану, выбрасывавшему из себя лаву. Возле кресел была палочка, на которую, вставая, он опирался: шевеля ею больше и больше, он с середины разговора уже махал ею тем кругообразным махом, как делают юноши на прогулке «от избытка сил». В этот раз он сказал много бесконечно интересного. И только в этот раз я заметил то, откуда, собственно, вырос *весь* Толстой, и *почему* он всем нам так безотчетно дорог. Шел разговор на темы литературные или идейные и прямо не касался русского народа. Но при обсуждении этих тем надо было сослаться на то или другое мнение, на чужой голос. И приходилось ссылаться (иногда) — просто на народное воззрение. И вот тут-то я и заметил, вне всякой темы, побочным образом,— такую безмерную привязанность Толстого к русскому народу, ласковость, нежность, и вместе что-то покоряющее в отношении его, сыновне-послушное, что я не мог не подумать:

— Да! Да вот секрет Толстого. Мы все умничаем над народом, ибо прошли гимназию и университет; ну, и владем пером. Толстой один из нас, может быть один из всей русской литературы, чувствует народ как великого своего Отца, с этой безграничной к нему покорностью, послушанием, с каким-то потихоньку на него любованием, потому особенно и нежным, что оно потихоньку и будто кто-то ему это запрещает. Запрещает, пожалуй, вся русская литература «интеллигентностью» своею, да и вся цивилизация, к которой русский народ «не приобщен», и даже, пожалуй, Шекспир, описывающий своих великолепных англичан с кровавыми Ричардами и философствующими Гамлетами. Он *именно за русский народ* ткнул в бок и Шекспира: «как это можно любить другую Дульцинею, чем какую любит яснополянский мудрец». Сказалось это у Толстого, при ссылках на народ, через слова о том, «что он видывал» у народа; слыхивал от мужичка, от монаха, от попа — все от простецов, и все не разделяя, без чина и звания. Он ценил самую кровь русскую; самый мозг русский, а не то чтобы «в армяке и зипуне». Этого пристрастия и исключительности не было. Он любил всего русского человека, во всем его объеме. И любил... как маленький мальчик, которого ведет за руку, ведет куда-то, в темь, в счастье, в тоску, в бесконечность огромный великан-папаша, с бородой седой до земли, с широченными плечами, с шагом по версте... А он бежит около него, и любит, и восхищен; и плачет — плачет внутренними слезами от счастья, что у него папаша такой чудный и странный и мудрый и сильный...

Не знаю, много ли я ошибся. Впечатление ложилось такое.

Толстой между великими мира

Толстой имеет для нашего народа и в нашей цивилизации то же положение, такое же значение, какое — будем перебирать с севера — имеет для Швеции Линней, для Англии — Шекспир, Бэкон или Джон Нокс, для Дании — Торвальдсен, для Германии — Гете, Меланхтон или Цвингли, для Франции — Мольер или Кальвин, для Италии — Данте или Савонарола, или Микель-Анджело, или Леонардо-да-Винчи. Читатель удивится, и я тоже удивляюсь, написав этот пестрый список имен. Между тем, он не случайно попался под перо, и нет имени, над которым я не подумал бы, сопоставив его с именем Толстого. Наибольшее удивление вызывают научные имена Линнея или Бэкона, или имя такого ортодоксального католика, как Данте, особенно около имени такого еретика, как Кальвин. Но обо всем подумано. Правда, Толстой плохо учился в университете, следы и признания чего мы находим в его рассказе «Юность»; правда, он обнаружил под старость гнев на ученых и науку; правда, не сделал никакого открытия. Но разве в этом дело? Суть Линнея и Бэкона заключается не в открытиях их, а в том, что они выразили величайшую *умственную энергию* своих народов и обнаружили *способ воззрения* этих двух северных народов на природу, на жизнь, на человека. Но точно-точно это самое в *отношении русского народа* сделал Толстой: с «Севастопольских рассказов», с «Детства и отрочества» и до «Воскресенья», где тот же Нехлюдов размышляет над тою же темой крестьянского устройства, над темой земельных отношений. Толстой, по крайней мере, шестьдесят лет из восьмидесяти неустанно размышляет и размышляет. И этой бездны отдельных мыслей и постоянного размышления, какая числится за ним, — ее не высказал в *равной мере* ни даже Менделеев или Ломоносов. Круг их мысли был все-таки уже и короче, и самая мысль как-то специализованнее, т. е. ремесленнее. Линней или Бэкон, и точно так же Гете, олицетворили в себе *умственную теоретичность* своих наций. Толстой не в рассуждениях, которые нам кажутся бледными и несиловыми, но в *умственной стороне* своей художественной работы, где он является пронзительнейшим судьей человеческих отношений и всего узора общественной и личной жизни, включительно до высочайших проблем человеческой души — выразил, так сказать, *метод суждения русского народа*, метод оригинальный, новый, который, право же, не уступает знаменитому *индуктивному методу*, например, Бэкона. Таким образом, Толстой есть такая же сильная *умственная личность* в своей нации, как Линней у шведов или Бэкон у англичан. Здесь мы могли бы продолжать бесконечно долго, и прерываем свою мысль весьма неохотно. Например, его рассказ: «Много ли человеку земли

надо» — что он такое? Силлогизм, индукция или опыт и наблюдение? Ни то, ни другое, ни третье. Все известные и перечисляемые в логиках способы *доказательства истины*, способы *убеждения человеком человека* — отсутствуют. Между тем читатель убежден автором, убежден так крепко и сочно в некоторой очень ценной и совершенно новой, совершенно не бывшей ему известною до чтения рассказа истине, как этого не смогли бы сделать ни индукция, ни дедукция, ни Сократ, ни Аристотель, ни Бэкон. И истина-то очень важна, очень цельна, очень велика. Ее не забудешь, ее всякому нужно знать. Что же это такое: наука, философия или что? Имени нет, рубрики нет. Но мы знаем, что «наука открывает истины», что «философия стремится достигнуть истины», и Толстого решительно невозможно сбросить со счетов философии и науки, как он ни враждебен им в прямом смысле, как ни неудачны его собственные опыты философствования *по методам и по следам*, например, Шопенгауэра и других философов. В самом деле, он силен только тогда и только там, когда и где он «сам». Подражания, повторения у него решительно неудачны. Он *весь*, как бы врожденно, до того оригинален и самобытен, что даже когда он *чрезвычайно хочет подражать, повторять*, стараясь убить все *личное* в себе, — это у него не выходит, или выходит жалко, фальшиво, глубоко ни для кого не нужно.

Метод открытия им истины — это какой-то художественный метод, это во-первых, и, во-вторых, — это метод как бы разговора с душою вещей. Точно он заглянет в самое зернышко человека ли, или какого-нибудь человеческого отношения и вдруг скажет об этом отношении или о таком и подобных людях такую истину, которая никому не приходила на ум, которая вдруг сразу все освещает, которая непосредственно для всех убедительна. Сколько таких истин в «Смерти Ивана Ильича», во «Власти тьмы»! Что же это, повторяем, — наука или философия? В ответ мы разводим руками, не зная, что сказать, как назвать, но мы знаем, что он *учит* нас, т. е. делает то самое, что делают от начала своего существования все науки и философии. И «сочинения» Толстого, этот ряд томов и тысячи, десятки тысяч страниц, это — длинное и непрерываемое поучение для читателя, для России, для человечества.

Назвав длинный ряд имен, чувствуешь, что он как-то и сходен со всеми ими, но сходен *неуклюже*: т. е. что-то родное и общее *есть*, но *есть* и громадное *различие*. Так и нужно. Все огромное, в сущности, ни на что не похоже, кроме как на себя. Вот я назвал Джона Нокса, одного из английских сектантов-реформаторов, спокойного, созерцательного Меланхтона, назвал Цвингли и Кальвина, Савонаролу и Данте. Конечно, *ни с одним* он не сходен, а что-то родное, общее, одинаковое в *историческом положении* у него есть. Здесь, как опять в философии и науке, все принадлежит, так сказать, *косвенному Толстому*, а не *прямому Толстому*. Это нужно объяснить. Вот Толстой берется писать чуть не катехизис жизни: и как есть, и как пить, и как молиться, и как учить ребят или жить с женою. Обо всем сказано подробнейшим образом. На этих его опытах

прямого сказывания возникло все «толстовство», как доктрина, как учение, почти как секта и вера. Но,— да простят нам иронию,— сам Толстой ведь никогда не был «толстовцем» и, в сущности, почти враждебен им, как личность, как «своя биография». «Толстовство» неизмеримо ниже Толстого и воплотило только скучную и до известной степени несчастную сторону его личности: доктринерство. Есть и эта бедная сторона в нем, как и у Венеры Милосской были свои «нечистые части». Но весь Толстой, как *личность и биография*,— анти-доктринер; доктринеры, портреты которых он изобразил, например, в Сперанском, в кн. Андрее Болконском («Война и мир»), в сводном брате Левина и в проф. Катавасове,— суть вечно отрицаемые и негодующие, презрительно отрицаемые им люди. Он видит в них *врагов жизни*,— той жизни, которую единственно и любит, единственно перед нею преклоняется на протяжении всех дней своих, единственно не изменил одному только этому «герою»... Доктринеры же точно пьют сок этой жизни и оставляют на ее месте какую-то сухую мумию. Но что же он сделал во всю вторую половину своей жизни?.. Если повторить отношение «толстовцев», т. е. принять *точно и буквально* все им в эту пору написанное, то мы увидим, что он воплотил в себе точно легион профессоров Катавасовых и сводных братьев Левина. Но тут нужен очень осторожный и тонкий взгляд на дело, и тогда мы поймем разгадку всего. Ведь и Левин, любимый и уже *живой* герой Толстого,— тоже вечно доктринерствует, но разница его со сводным братом и с проф. Катавасовым в том, что он ни одной своей *доктрине* не остается *верен*; что он переходит от доктрины к доктрине, ни малейше не жалея их, не страдая по покинутым и все вновь покидаемым «любовницам» своего духа и воображения. Так, мы знаем, поступал и Толстой, так он *жил*. Что же это значит? Да легион «доктринеров» в одном человеке уже не то, что сто «доктринеров» со своей головой у каждого. Порознь сто доктринеров все будут тупы: но одна личность, страстно предающаяся, *но не навсегда предающаяся* доктрине, есть только чуткая, ответственная в себе совесть, которая пламенно жаждет поклониться истине, мучительно ее ищет, изуверно поклоняется ей, т. е. покоряется, конечно, «своему убеждению» (доктрина, доктринер), но в этом поклонении или поклонениях высшим остается именно царственная личность, царственный дух, в своем соотношении с абсолютною и никому *неведомою* «истиной», которая есть, но нам *не открыта*, которой мы должны *служить*, хотя и не знаем ее имени и лица. Вот в чем дело, вот где разница. «Толстовцы» выхватили из Толстого, как легиона доктринеров, *одного* доктринера, которого-нибудь, и, сделав из него кумира себе, тем самым глубочайше восстали на *личность* Толстого, на *биографию* и, словом, следуют не благородному в увлечениях и непостоянстве Левину или Пьеру Безухову (параллель Левина в «Войне и мире»), а его противоположному, ограниченному двойнику — его сводному брату. Толстой, устроив родство этих двух столь между собою несходных лиц, поставив их в единосемейное,

но не единоутробное отношение, пожалуй, картинно выразил и предостерег своих последователей, точнее, своих читателей и почитателей, от возможности этой роковой ошибки, этого рокового смещения. Оно вообще и произошло для некоторой группы далеко не самых даровитых читателей Толстого. Они кинулись следовать *одному* Толстому, не заметив, что *сам-то* Толстой есть не один, не solo, а *легион* живых личностей в себе; и что истина и правда и состоит в том, чтобы поклониться и полюбить в Толстом этот именно «легион», т. е. эту *переменчивость, неверность* себе, разрушающую вообще всякую в мире доктринерность.

Этому поклониться стоит, этому стоит следовать. Да ведь это и значит для всякого читателя и почитателя Толстого — только оставаться *самим собою*; выражать сильно, ярко лучшую сторону себя, но как она вложена в него природою. Выражать ее без всякого наложения на свои глаза чужих шор, чужого седла, в том числе седла или шор выделки самого Толстого. Толстой, как *личность*, как пример труда и жизни, глубочайше отрицает «толстовство» как историческое явление, «толстовство» как доктрину.

В ошибку «толстовцев», которыми поделались наименее талантливые из его читателей, более всего тусклые и в себе бледные, — впали и теоретические оспариватели его идей, особенно религиозных. И Левин размышлял о Боге; и Андрей Болконский, лежавший раненым на аустерлицком поле, сказал прекрасные мысли о Боге. Но все это прекрасно именно в недоконченности своей и даже в своей неубедительности. Попробуйте эти самые мысли облечь в форму катехизиса, — и вы получите религиозное «толстовство», т. е. какую-то принудительную веру в недостоверные и туманные вещи, недостигнутые и туманные настроения, которые и хороши-то были только в *тот миг, когда высказывались и в отношении тех событий, тех иногда случайностей*, которые их породили, какие, например, произошли с Андреем Болконским на аустерлицком поле, с Левиным — в его семье, с Иваном Ильичом — во время его болезни, с Позднышевым — в его браке или с самим Толстым — в разные минуты и эпизоды его жизни. Накладывать всеобщее «не женитесь» оттого, что Позднышеву попала в супруги вертлявая и пустая женщина, пугаться до отчаяния смерти оттого, что Иван Ильич ушибся, захворал и умер, — это диктаторски жестоко, а нам вовсе не нужно, потому что мы имеем и *видели* верных и самоотверженных женщин-жен, что мы, слава Богу, здоровы и никак не стукались. И, вообще, в этих идеях Толстого нет никакого универсализма и никакой вне связи с обстоятельствами истины. Семьи бывают несчастные и очень счастливые; около флиртующих жен есть и беззаветные героини, есть они *сейчас*, притом не хуже древних героинь, прославленных поэтами и историею. *Без этого* жизнь сейчас бы сокрушилась; без этого невозможно жить. Наконец, Иван Ильич умер так рано и *бесплодно*, а Толстой доживает восьмой десяток лет, и *плодов* жизни его так много. Что же это

значит, и какой отсюда можно извлечь общий взгляд на жизнь или прочесть ей общую мораль? Нужно ли и даже позволительно ли нам пугаться смерти Ивана Ильича или не жениться по *универсальному* совету Позднышева или Толстого-Позднышева? А Толстой, под влиянием моментов овладевавшего им доктринерства, вводил свои иллюстрации во всемирные требования. Иллюстрации его чудны, *жизненны*, а поучения и, наконец, требования — *мертвы* и просто неверны. И именно оттого, что эти поучения, катехизируясь, уже выходят из обстоятельств и связи с обстоятельствами, к которым и относились и *там* были истинны, каждый может ответить Толстому: «Нет, я счастлив в семье и *каждому совету жениться*», «Я всю жизнь трудился, видел пользу от труда своего, — и *жизнь человеческую не нахожу ни пустою, ни ничтожною*». На эмпиризм одного можно ответить эмпиризмом другого, и вообще это ничего не доказывает и даже, в конце концов, тут нет *никакого учения*. А между тем, катехизис лежит перед нами, он уже написан. Это — «толстовство», которое возбудило столько споров, недоумения, и, плодя более и более его, побудило, наконец, церковь «отлучить его от себя», хотя поистине можно было пройти мимо совершенно молча.

Я сказал: «Нет даже учения»... А между тем, тайное и незримое поучение лежит во всем этом, т. е. лежит во всех эпизодах личности Толстого, если их взять в *сумме*, а не *порознь*. Толстой первого периода и Толстой второго периода являют нам не повторяющуюся ни в ком еще с такою яркостью, глубиной и продолжительностью историю язычества в отношении к христианству, историю христианства в отношении язычества, и их обоих встречу, столкновение и борьбу. Царскосельские скачки в «Анне Карениной», первый бал там же, где у Вронского закружилась голова на Анну, и весь первый фазис их любви; полковая жизнь Николая Ростова в «Войне и мире», — да и почти весь, весь огромный узор живописи в этих обоих романах, в этих двух великих русских эпопеях, — есть сплошь великая картина и суть язычества. Ибо *суть* язычества, конечно, не в богах и именах, а в *духе*, в жизни, в складе и течении ее. Суть эта — просто свобода свободной природы. Но сказано, что в язычестве уже появились «первые нотки христианства». Финал любви Вронского и Анны, судьба и *размышления* Левина, — для которых ведь главный материал дает именно Анна и Вронский, т. е. дает его не Левину, *лицу* романа, а Левину-Толстому, *автору* романа, который дает *свои мысли* и Левину, все это, как великое «суета сует», — уже глубокие явления нового *христианского духа* в Толстом. «Все неверно! Все изменяет! Не покидает нас и верно нам одно — *смерть*». Так, со смерти Анны Карениной, такой *внутренней смерти*, такой *не внешней*, через «Смерть Ивана Ильича», через «Власть тьмы», через «Хозяина и работника» и проч., и проч. Толстой глубже и глубже ведет нас в совершенно новый дух, в совершенно другое ощущение жизни, другую меру ее, чем какими он *сам* руководился и жил, когда описывал скачки и войны,

семью и любовь, казаков и солдат, охоту и интриги и, словом, жизнь, которая *тогда* ему не казалась «суею».●Он пробежал весь путь от Гектора до ап. Павла, вот его *личная*, его исключительная заслуга или, точнее, особенность; пробежал весь этот бесконечный путь *сам*, в каких-то своих размышлениях, приглядываниях к жизни, испытаниях, измерениях жизни. Это уже не доктрина, это не «катехизис». Это не жалкое «толстовство», с рассыпающимися через год-два толстовскими колониями. Жизнь такая, с таким опытом, с таким финалом стоит жизни и *опыта* Меланхтона или Цвингли, их биографий. *Прямо сказанные религиозные* поучения Толстого, т. е. в конце концов вся *религиозная доктрина* Толстого, мне не представляются значительными, но тут через частности, сквозь частности надо прозревать целое. Отрицание религиозного значения в «учении» Толстого нисколько не препятствует видеть в нем самом великую религиозную личность, великий религиозный феномен в высшей степени поучительный для всего человечества и, до известной степени, чрезвычайно много разъясняющий в истории. Именно, разъясняющий *переход и психологию перехода, нужду перехода от язычества к христианству*. В этом отношении личность Толстого никогда не перестанет изучаться, и изучение этой личности даст гораздо более интереса, чем изучение личностей великих реформаторов веры, всех «катехизаторов» — от Кальвина до позднейших. Те пламенно верили и *одному* верили: из них вышли учителя веры, творцы новых церквей. Ничего подобного, конечно, не будет с Толстым, но ведь процессы и периоды *таяния* «катехизисов», всяких катехизисов, также продолжительны и многозначительны, как и периоды их твердого стояния. И вот всем этим периодом «таяния» личность Толстого будет необыкновенно дорога, будет интимно им понятна, и будет многое им объяснять в них самих. Не Меланхтон, не Лютер, не Цвингли, но то огромное темное небо, которое вне их и облегает их, в котором они горят и, вместе с тем, в котором они тонут,— вот, кажется, сущность Толстого. И здесь как он выразил свое время, свою цивилизацию. Так же, как Данте, со своими «кругами ада» полно выразил мрачную теологию великого и беспощадного средневековья.

Великий мир сердца

(Нечто о Л. Н. Толстом)

Драгоценнейшую сторону в вещах составляет *мера* их,— та таинственная мера, которая каким-то образом сообщает изумительную *красоту* им. Немного бы меньше или больше,— и в вещи ничего нет, проходишь мимо нее равнодушно и холодно, точно ее вовсе нет. Да и в самом деле, без этой таинственной *меры* она являет только материал чего-то, кусок, вещество. Мера зажгла в ней душу и смысл: теперь она блестит и останавливает над собой человека, сколько-нибудь способного к задумчивости.

Это касается и физики, и духа. Гретхен или Офелия, укороти им немного природа носа, не были бы ими, и не было бы бессмертных историй «о Фаусте и Гретхен», «о Гамлете и Офелии», над которыми плачет мир. Ибо ни Гамлет не очаровался, ни человечество не умилилось бы над *курносою* Офелиею, и просто с нею не было бы того, что случилось, а все другое; Офелия стала бы не ею, а другою. Что такое мера в стихах и прозе,— всякий знает. Без них нет художества, поэзии. Но знаете ли, *где*, главным образом, нужна мера? В человеческих поступках. Одна она им сообщает *красоту* жизни. Много ли есть людей, которые ее выдержали?! Люди, красиво прожившие жизнь, так же редки, как и великие поэты или музыканты.

Этою-то дивною или, вернее, таинственною мерою проникнуто письмо неизвестного русского священника к гр. Л. Н. Толстому и ответ ему Толстого. Мера не ищется, она угадывается. Но дело в том, что угадывать ее трудно, и всегда она является сама собою у человека в заключение всей его жизни или всего хода душевного развития. Мы говорим о мере в поступках. Казалось бы, чего легче: обдумал, прицелился и поступил «по мере». Не выходит. Выходит излишек или недостаток, убивающий все. Немного больше скромности,— и вышло ханжество; немного больше смелости,— и вышло нагло. А где оно, *нужное*? Его находит или, лучше, «берет» в поступках или словах добрый и прекрасный человек.

Так у простого, тихого, милого,— вероятнее всего, сельского или уездного,— священника сказалось это, без сомнения, не длинное письмо, где он «благодарил его за отказ от могущего огорчить православных людей празднования его 80-летия» и в заключение,— вероятно, совсем коротко,— выразил надежду «на его возвращение в лоно православной церкви».

Тут все полно, и ничего чрезмерного. Самое письмо не напечатано, но оно, несомненно, со временем напечатается, так как в семье Толстых сохраняются безусловно все письма, получаемые гр. Львом Николаевичем, причем даже конверты не разрываются, а на них только делается пометка, какого года, месяца и числа письмо получено. Но и по изложению письма видна глубокая и *невольная* мера, так сказать, сама собою соблюдавшаяся в нем. Священник благодарит... за что? Прежде всего за то, что Толстой возлюбил *тишину*; что он не захотел службы, шума и разделения около своего имени. Известно, что слово «сектант» употребительно только в нашем официальном и ученом языке; *сами же себя* русские вероисповедники разных учений никогда так не называют. Они говорят: «Мы принадлежим к такому-то *согласию*», т. е. «согласились и *успокоились*» на том-то. На Западе — секта, *отделение*; у нас — *согласие*, соединение на чем-либо. Пусть картина сектантства и сектантских раздоров и там, и у нас одна, но в *названии* выражен *идеал, мечта*. Эта мечта — не в *борьбе и победе*, а в *согласии и успокоении*. Этот-то вековечный мотив русской души выразил и тихий священник, благодарящий Толстого за то, что он устранил шум, тревогу и беспокойство.

«Не надо этого», — говорит благообразный священник; «не надо», и при том *впереди* даже истины, правды. Он не упоминает, что *впереди*, но это следует из того, что он совершенно обходит, почти даже не интересуется тем, на чем сосредоточена была столько лет борьба с Толстым и около Толстого. «А что именно он *думает*? Чему *учит*? Какова его *догматика* и не еретична ли она?» Вопросы эти вовсе не занимают тихого священника, которому нужно не этого, а *тишины*. «Вот когда будет тишина, то в ней и есть *правда*... Ну, вероисповедание, что ли». Договорим: не мысленное исповедание, а волевое, душевное. Об этом же говорит и заключительная просьба-надежда: «Вы вернетесь в лоно православной церкви». *Почему, как «вернетесь»*, — священника это опять не занимает. «Не надо разделяться, зачем уходить», — говорит он мило и кротко, тихо и вдумчиво. «Я вас не *опровергаю* и своего не *доказываю*», а как нас *много*, вы же — *один*, то удобнее вам к нам прийти, чем нам к вам. Не истиннее, а удобнее. Так делается, — у людей, в природе. Так текут реки, так стоят горы, так несутся облака. Малое льнет к большому, — и это не «истина», а просто так легче, проще.

И в голосе, в тоне этом, в течении мысли этой Толстой вдруг услышал тот схвативший его за душу народный звук, о котором он рассказывает в своей «Исповеди», что он спас его от самоубийства и вернул ему не то чтобы веру, а *силу жизни*, способность жить... Помните, он задал себе вопрос: «*Чем живут люди? Как живет народ? Что поддерживает день за днем и год за годом долгую жизнь у этих простых людей?*» Вопрос ясен, а ведь ответ на него как мудрен. Сам Толстой тогда ответил на этот вопрос чудным рассказом «Чем люди живы». Он ответил: *добром, любовью живы*. Но это не все, это коротко. Ну, я живу в пустыне, и мне некому благотворить. Но и в пустыне я могу жить *светло* или *уныло*. Ведь и в пустынях бывает, что люди кончают самоубийством: ведь это не только в городах, на людях, где вот человек «не исполнил заповеди любви». Сила жизни — сложная. Любовь в нее входит, но это не все. В добром, милом письме священника выразилось нечто большее любви, большее, например, чем сострадание к «заблуждающемуся» Толстому. В нем выразилась какая-то полнота, закругленность души. «Не надо *углов* в жизни, в людях. Углы колют, давят. Не надо этого не потому, что они — *не истинны*, а потому, что нам, людям, не надо их. От них больно. А боли не надо». Это гораздо полнее и больше, чем короткое «люби ближнего твоего».

Я думаю, письмо это — историческое. Безвестное, ненапечатанное, оно как-то страшно много *извинило* или, точнее, *затушевало* в том жестоком и грубом, что было сказано и написано о Толстом и по адресу Толстого вот уже много лет. Оно хоронит все это. Потому, оно страшно много реабилитирует: «Можно и *вот как* говорить, относиться. Я тоже православный священник, ничего не отрицающий в церкви, *всю* ее любящий. И мой голос никак нельзя сбросить со счетов церковных. А я говорю *кротко*». Таким образом, он вдруг *авторизует* то, чему многие

и многие не придавали никакого авторитета, и именно не придавали в силу резких и грубых понесшихся звуков.

И этот авторитет вдруг почувствовал и сам Толстой, — он, который так много лет и так резко отталкивал всякий над собою авторитет в этой области. Он жестко критиковал, в ответ священнику он не критикует. Больше, важнее — он *не хочет* критиковать. Устранено ядро разделения, червь разделяющий. Этот червь — злоба, гордость. Понеслась она с обеих сторон, отвергшей и отвергнутой, и чем дальше, тем было хуже. Вдруг послышался кроткий голос священника: «Не разделяйтесь! Не разделяйся ты, *один*, от нас *многих*». И только. Ни логики, ни основания. Почему «не разделяйся», когда я стою на «истине». «Да, — безмолвно отвечает священник, — но в *неразделении*-то и лежит и истина... Вековая, вековая истина. Посмотрите, как несутся облака, стоят горы, текут реки. Все — в согласии, *одно другим* держится. А если бы стало *разделяться* все, — мир погиб бы. Это не Божие. Божие — *соединяйтесь!*»

Как Толстой ответил? Он будто затрепетал восторгом. «Получил ваше письмо, любезный брат Иван Ильич, и с радостным умилением прочел его... Оно мне было дорого. О себе скажу вам следующее». И он приводит арабский рассказ, в котором поразительную сторону составляет то, что приведен пример веры совершенно *фетишистической*, грубо-языческой, первобытной, элементарной. Неразумный пастух, за тысячелетия до Рождества Христа, хочет... *обувать* Бога, говоря, взывая в томлении: «О, Господи, как бы мне *добраться* до Тебя и сделаться Твоим *рабом*. С какою бы радостью я обувал Тебя, мыл бы Твои ноги и целовал бы их, расчесывал бы Твои волосы, стирал бы Тебе одежду, убирал бы Твое жилище и приносил бы Тебе молоко от моего стада. *Желаю Тебя мое сердце*». Младенческий лепет. Говорит дикарь, но не испорченные до злобы и отравления цивилизацией, которая развращает их, дикари ведь сущие младенцы. Говорит дикарь с золотым сердцем, излагая свои первобытные представления, общие у всех дикарей, об *антропоморфической*, как выражаются без достаточного понимания ученые, форме Божества, виде — Божества. Тут и *жертва* — молоко от стад. Но жертва — корень всякого язычества. И вот Толстой рисует его!

Нужно заметить, что *сам* Толстой по своим воззрениям есть *духобор*, т. е. упорно и фанатично остановившийся на исповедании Бога «в духе и истине», с отвержением из религии всей вещественности, хотелось бы сказать: всей *неисследимой и святой* вещественности. Ибо в том, что облака «*текут*» и как горы «*стоят*», есть *красота* чудесная, а не беспорядок, не хаос, не «вздор». •Никто, ни один безумный не скажет, взглянув на небо со звездами: «Как оцо *вздорно!*» А если оно не «вздорно», то в нем есть разум, и вот что дает право обо всем видимом мире сказать, что он неисповедим, чудесен и свят. Но Толстой давно это в *догматическом* порядке своих мыслей отверг, хотя, может быть, в сердечном существе своем и хранит чувство и трепет к этой вещественности... Но приведенное исповедание первобытного пастуха-араба

противоречит всему, и притом многолетнему, давнему, его убеждению. Известно его признание, что религиозные его сомнения начались с сомнения об евхаристии, о *религиозном* вкушении хлеба и вина — тела и крови Христовой. «Не может быть ничего вещественного, осязаемого, физического в религии». Вдруг он приводит в пример веру пастуха, который хочет обувать Бога. Не только приводит, но в дальнейшем доказывает, что пастух был и прав в своей вере, что мы все — такие же пастухи, и что Бог внял молитве этого пастуха и защитил его от Моисея, который, по рассказу Библии, «один из людей видел и говорил лицом к лицу с Богом».

Моисей разразился гневом на пастуха и воскликнул, услышав его молитву: «Ты богохульствуешь: Бог бестелесен, ему не нужно ни одежды, ни жилища, ни прислуги. Ты говоришь *дурное*. Но Бог его остановил: «Зачем ты отогнал от Меня *верного раба Моего*? У всякого человека свое тело и *свои речи*. Что для тебя нехорошо, то для другого хорошо; что для тебя яд, то для другого мед сладкий. Слова ничего не значат. Я вижу сердце того, кто ко Мне обращается».

В этом «Бог смотрит только на сердце человека», пожалуй, «духоборство» Толстого возвращается на свое место, но совершенно преобразенное: именно, будучи в *корне* «исповеданием в духе и истине», оно в *листве своей* берет под себя и даже *в себя* все вещественные культы, даже мифологию, даже фетишизм, не отвергая ничего, во всем видя «свою святость», маленькую, человеческую, но умильную, которой не надо умирать. Является мир религий, и сущих, и возможных. «Надо смотреть на сердце человека, *любит ли* оно Бога, *предает ли* Ему, хочет ли быть рабом Ему. «Рабом Божиим»... Тут вспомнишь даже католиков, требующих *рабства в религии*. А известно, как Толстой специально не любит их. Но под воздействием краткого письма священника он вдруг поднялся на такую высоту, которая объяла любовью и признанием даже и католичество. «Я не хочу ни с кем ссориться... Вот и пастух... Там — римский паптер. Здесь — наше православие. И вон еще брамины и древние мудрецы»...

В этих указаниях он сказал нечто и непонятное, иначе чем формальным пониманием, доброму священнику, и даже, может быть, нечто неприятное ему. Для того нет «чужих вер». Есть чужие суеверия и заблуждения, — без остроты и полемики, но «суеверия и заблуждения», — просто потому, что это не *его* вера, в которую он верует свято. Он похож на обитателя, который не посещал никаких чужих стран, и они кажутся ему чем-то неправдоподобным, несуществующим или призрачно существующим, только «в рассказах». Есть «своя страна», и есть «своя вера»... Вера — духовное отечество, и священник зовет в него вернуться Толстого, без принуждения, но и серьезно, даже не без строгости. Вот тут-то и сказалась дивная *мера*, что есть *строгость* в смысле совершенной серьезности, и не появилась еще *жестокость*, как черта господства, *господинства*, барства над душою верующего, в смысле «вы — овцы,

а мы — пастыри, и мы знаем дело, а вы — не знаете». Этого нет. Есть глубокое уравнивание душ. Пастырь говорит: «Я стою на этом берегу, тысячелетнем, где и миллионы народа. И берег всех нас держит. А *тот берег*, он — зыбкий, личный, на нем только один стоит, немногие стоят. Он топок, колеблется под ногами. Переходите к нам, у нас *крепче*».

Это не исповедание и не вероисповедный спор.

Толстой продолжает в ответ священнику: «Легенда эта мне очень нравится, и я просил бы вас смотреть на меня, как на этого пастуха. Я и сам *смотрю на себя так же*. Все наше человеческое понятие о Нем всегда будет несовершенно. Но льщу себя надеждой, что сердце мое — такое же, как и у этого пастуха, и потому боюсь потерять то, что имею и что дает мне полное спокойствие и счастье».

Вера пастуха, нужно заметить, не малая вера. Она в научном отношении, как предмет научного изучения, невелика, но по красоте и силе, по *живости, неприменности и действительности* выше вер всех ученых, она равна вере святых. Так ее и принял Бог, так принял молитву и слово этого пастуха. И Толстой говорит: «Мне с этой верой *хорошо*, я с нею *счастлив*». Показатель, что вера эта, как живое явление души, — истина.

Он кончает: «Вы мне говорите о соединении с церковью. Думаю, что не ошибаюсь, полагая, что я *никогда не разъединялся с ней* — не с той какой-либо одной из тех церквей, которые разъединяют, а с той, которая всегда соединяла и соединяет всех людей, искренно ищущих Бога, начиная от этого пастуха и до Будды, Лаотзы, Конфуция, браминов и многих, многих людей.

«С этой всемирной церковью я *никогда не разлучался и более всего на свете боюсь разойтись с ней*».

«Очень благодарю вас за ваше любовное письмо и братски жму вашу руку».

В одной ли он церкви со священником? Да. И да, и нет, но больше — да. Священник так мирен, что он не взирает и как бы не ведает вовсе о том, что есть в церквях «разделяющего», обособляющего людей. Он берет церкви или, точнее, «свою единственную церковь», которую только и чувствует, только и знает в мире, тихости, безмолвии и *делании* своего дела. По тону передачи его письма чувствуется, что священник этот истовый, каждый, или почти каждый, день служит литургию, и служит с верою и любовью. Без торопливости и нервности, а спокойно он делает *вековое дело*. А сектанты? А преследования их? Он их не замечает, и не замечает по усердию к своему вековому делу. Малый мир спасает от большого. Когда однажды я заметил в разговоре с настоящим священником, что ведь *во времена Серафима Саровского* были те же самые, и даже худшие, неправды консисторских судов, консисторских законов, то он мне ответил, «воззрившись»: «Да, св. Серафим и не *знал этого ничего*. В самом деле, «не знал»... Оставляя почти мировые вопросы, связанные с этим «незнанием», мы, однако, должны согласиться, что *внутренний мир* этого и таких людей оставался ясен, покоен, тих,

невозмутим и *в себе самом* совершенно чист, а значит, и «праведен», хотя за стеною монастыря, в 100 верстах от него, и лились человеческие слезы, стояло горе... Какое горе! Но он «не знал»... *Он*-то не знал все-таки, а вина неведения — это уже не вина злобы, вредительства и проч. *Душа*-то его сохранилась цела. Так и этот священник, написавший Толстому и зовущий его в церковь,— зовет, в сущности, к *своему душевному покою*, на что Толстой отвечает: «да», «иду», «никогда не уходил»... Не уходил от всего, что «не разделяет», что «соединяет», вот и брамины, и Лаотзы,— все мы братья.

И на это священник не мог бы ничего сказать, кроме: «Тех я не знаю, и не могу судить. У меня на душе мирно. Иди к этому миру». Толстой идет, радостно объемлется, удерживая в себе оговорки, которых священник не слышит. Тут что-то страшно многое похоронено. Раскрылся какой-то океан, который поглотил различия...

* * *

Переписка эта, повторяю, историческая. Отчего *в свое время* не было обращено к Толстому этого тона? С этою *мерою*? Судьбы Промысла неисповедимы: ведь *тон и мера* именно приходят сами, и не даются преднамеренно. Ну, нет этого *тона* в душе,— откуда же его взять? А тона не было годы, десятилетия, и вот тут «перст Божий»...

А счастье было так возможно,
Так близко...

как отвечает Татьяна Онегину. В Толстом была бездна *народного чувства, народного духа*, и от «народной веры» он не отделялся никогда, как и высказывает это чуть не сквозь слезы в этом замечательном письме, в котором так и звучит что-то, похожее на *последнюю исповедь души*, на окончательную, *заповедную*... «Вот кто я, иначе обо мне не думайте». «Я не смутьян, не гордец; я, как пастух в Аравии, ничего *не знаю*, но только *люблю Бога* в полном неведении Его».

Но ведь и все мы любим Его под занавесом, и, кроме одного Моисея, Бог никому не открывал Лица своего. «Бога невозможно увидеть *и не умереть*»,— изрек Он Сам. Умрем,— и увидим. Не будем торопиться умирать, но и не будем бояться умирать. В смерти очи наши раскроются на изреченный «тот свет»...

Официальный мир, официальное отношение в этой священной области оттолкнули, огрубели и ожесточили Толстого. «Как мне, так и вам», «как нам, так и вам»,— сказал он с духоворами, к которым принадлежит *по догматике* своего учения. Но *душа* его шире этой догматики, и всякой возможной. Душою он *неопределенно* течет по *неопределенному* океану народной веры. «*Определишь — значит сузишь*»,— сказал Спиноза. Мы назвали океан народной веры «неопределенным» в смысле этой безбрежности. Нет берегов,— *и не надо*. Об отношении Толстого к этой народной вере я берегу несколько воспоминаний, которыми дополню его письмо и, может быть, нечто разъясню в нем. Но это — в другой раз.

Поездка в Ясную Поляну

•Быть русским и не увидеть гр. Л. Н. Толстого — это казалось мне всегда так же печальным, как быть европейцем и не увидеть Альп. Но не было случая, посредствующего знакомства и проч. Между тем годы уходили и, не увидев Толстого скоро, я мог и вовсе не увидеть его. Тогда я написал ему о своем желании и, получив приглашение, поехал в Ясную Поляну. Это было зимою, года три тому назад. Больше я его никогда не видал, и передам впечатление почти только физическое. Хотя оно и не ограничилось физикою.

Дом в Ясной Поляне сделал на меня впечатление пустынное. Такое впечатление делает на меня всякий дом, где нет детей. Должны быть свои, или дети детей,— внуки. И как большой барский дом не шумел детскими криками, вознею и капризами, то мне казалось в нем скучновато. «Графов» еще не было, когда я приехал часу в 11-м или 10-м утра, а в столовой сидели один или два господина и, помнится — женщины. Но особенного они ничего собою не представляли. Я только был счастлив, что сижу в Ясной Поляне, т. е. идеей, что вот приехал, «достиг» и скоро увижу.

Да, я думаю, поблизости к Л-у Н-у Толстому и все должно показаться скучным, кроме него. Приехав в Альпы, станешь ли рассматривать холмы и пригорки?

Вошла графиня Софья Андреевна, и я сейчас же ее определил, как «бурю». Платье шумит. Голос твердый, уверенный. Красива, несмотря на годы. Она их сказала на мое удивление — «58 лет и человек 14 (приблизительно) детей» (с умершими). Это хорошо и классично. Мне казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться; она же и не может и не хочет ничему повиноваться. Явно — умна, но несколько практическим умом. «Жена великого писателя с головы до ног», как Лир был «королем с головы до ног». Но и это неинтересно, когда ожидаешь Толстого.

И вот он вышел. Но почему он такой маленький, с меня или немного больше меня ростом? Я ожидал большого роста — по портретам и оттого, что он — «Альпы». Кажется ли вам Авраам или Моисей «небольшого роста»? Микелю Анджело Моисей представлялся колоссом, как он изваял его; а может быть, в сущности, Моисей был плюгавым. Я замечал, что душа и тело, величие души и тела, тенденции души и тела и, наконец, красота души и тела находятся иногда во взаимном отрицании, во взаимном попирании. Но это — в идее. А когда увидишь — удивляешься.

•И я внутренне удивлялся, когда ко мне тихо-тихо и, казалось, даже застенчиво подходил согбенный годами седой старичок. Автор «Войны и мира»! Я не верил глазам, т. е. счастьем, что вижу. Старичок все шел,

подняв на меня глаза, и я тоже к нему подходил. Поздоровались. О чем-то заговорили, незначашем, житейском. Но мой глаз и мой ум все как-то вертелись не около слов, которые ведь бывают всякие, а около фигуры, которая явно — единственная.

«Вот сегодня посмотрю и больше никогда не увижу». И хотелось сказать времени: «остановись», годам: «остановитесь!.. Ведь он скоро умрет, а я останусь жить и больше никогда его не увижу».

Было печально и досадно, отчего я раньше не постарался его увидеть.

Мне он показался безусловно прекрасен. «Именно так, как ему должно быть». Только не здесь, не в барской усадьбе. Как все это не идет к нему, отлепилось от него! Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря, — в хибарочке «старцем»; молиться, думать, говорить, не с «гостями», а с прохожими, со странниками, — и самому быть странником. В самом деле, идея «Альп» была в нем выражена в том отношении, что в каком бы доме, казалось, он ни жил, «дом» был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, «идушим к нему», было поле, лес, природа, село, народ, т. е. страна и история. Он явно вышел, перерос условия видного индивидуального существования, положения в обществе, «профессии», искусства и литературы. «Исповедь» его, по которой он *изо всего вышел*, — была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже *изо всего вышла*, осталась одна и единственная, одинока и грустна, но велика и своеобразна.

Я еще раз посмотрел на пустые, далекие от великолепия комнаты. «Здесь не стала бы танцевать Анна Каренина». И мне представилось, что если бы старец разрушил эту квартиру, этот дом, да и все вокруг, — разрушил без борьбы, собою («Мне ничего не нужно»), то *душа* вещей, та незримая душа, какая есть во всякой вещи, умерла бы в обстановке Толстого, почувствовав, что на нее не любитесь хозяин. Так умирает верная собака, когда она не нужна хозяину. Все вещи стояли некрасиво; все вещи были некрасивы; чувствовалось, что им не хочется жить. «Скоро вынесут», — как бы говорила каждая про себя.

Человек — центр вещей. Здесь, «в центре», стоял человек, которому вещи были не нужны. И они рассыпались, потеряли гармонию, связанность, красоту, смысл. От этого незримого отталкивания рассыпался и «дом», хотя физически еще и продолжал удерживаться.

Л. Н. был одет в старый халат-пальто-шляфрок, подвязанный ремнем. Одежда на Толстом страшно важна: она одна гармонирует с ним, и надо бы запомнить, знать и описать, какие одежды он обычно носил. Это важнее, чем Ясная Поляна, от которой он давно отстал. В одежде было то же простое и тихое, что было во всем в нем. Тишь, которая сильнее бури; нравственная тишина, которая неодолимо раздражает и ярости. Разве не тишиною (кротостью) Иисус победил мир, и полетели в пропасть Парфеноны и Капитолии, сброшенные таинственной *тишиною*?

Вот эта мировая тишина, особенная, многозначительная, религиозная, была и в Толстом. Не она ли есть то «неделание», которое представляется таким незначительным в его проповеди, т. е. незначительным в формуле; тогда как в *существо* как *жизнь*, как *метод жизни*, она, конечно, ворочает горами. А мы, читая его бледные слова и не понимая, в чем дело, смеемся и отрицаем. И я смеялся и отрицал (в литературе); а когда *увидел*, то сказал: «Хорошо». Хорошо таким быть, хорошо бы *такому всему* быть. Зачем грозы, зачем бури, шум? Это не нужно и мелко.

Тишина — в ней бездонная глубь...

Я приехал не один. В комнате была и Софья Андреевна. И заговорили, «как в обществе», ненужные, тяжелые, скучные речи. Это уже не были «Альпы», это были переулочки и пригорки в Женеве, близ Монблана.

Тут нечего было помнить, и я ничего не запомнил.

И обедал он как бы один, и особо. Подавал лакей в перчатках, нам — мясное и яичницу, ему — кисель или кашу, что-то нетвердое и, конечно, безубойное. Сидел он за одним столом и смешиваясь и не смешиваясь с остальными. Через это отделение в пище, вообще, он страшно отделился, удалился от людей, как наши сектанты, не едящие с «никонианами». Пища вообще есть большое разделение или соединение людей, и разницу категорий людей можно узнать по охоте или неохоте, с которою они едят «вместе» или «одни». Евреи не едят трэфного, татары не едят свинины. Зато они «жрут» конину, которой мы не станем есть. «Новая религия» до известной степени начинается с «новой еды»; ведь и христианство пошло не только от Голгофы, но и от постов; или, точнее, Голгофа не ранее начала побеждать мир, как когда она соединилась с постом, нашла секрет действия на души людей в грибе, каше и супе. Теперь цивилизация всеяднонеопределенная, и «стиль» эпохи потерял.

* * *

Кроме «Альп», был у меня и особенный мотив увидеть Толстого. Мне хотелось попросить его об одной вещи, которой я был особенно предан. Мне казалось, что это может выполнить только человек с всемирным авторитетом, коего *морально* обвинить ни у кого не подымется язык и совесть. Дело шло об убийстве внебрачных детей, — чему посвящены страницы «Воскресения», о чем явно глубоко и со страхом думал Толстой, тревожился об этом глубокою сердечною тревогою. И мне хотелось полу-спросить его, полу-упрекнуть его и полу-попросить в том смысле: почему он, *всемирно моральный авторитет*, не отдаст своих дочерей замуж «так», без венчания, чему был бы подан пример во всей Европе, и великий его авторитет санкционировал бы эту *абсолютно-личную* и *абсолютно-частную* форму брака, которая войдет в права общества, войдя в дух общества, она могла бы санкционировать вне-венчанное рождение, а следовательно, и избавить вообще всяких детей

подняв на меня глаза, и я тоже к нему подходил. Поздоровались. О чем-то заговорили, незначашем, житейском. Но мой глаз и мой ум все как-то вертелись не около слов, которые ведь бывают всякие, а около фигуры, которая явно — единственная.

«Вот сегодня посмотрю и больше никогда не увижу». И хотелось сказать времени: «остановись», годам: «остановитесь!.. Ведь он скоро умрет, а я останусь жить и больше никогда его не увижу».

Было печально и досадно, отчего я раньше не постарался его увидеть.

Мне он показался безусловно прекрасен. «Именно так, как ему должно быть». Только не здесь, не в барской усадьбе. Как все это не идет к нему, отлепилось от него! Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря, — в хибарочке «старцем»; молиться, думать, говорить, не с «гостями», а с прохожими, со странниками, — и самому быть странником. В самом деле, идея «Альп» была в нем выражена в том отношении, что в каком бы доме, казалось, он ни жил, «дом» был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, «идушим к нему», было поле, лес, природа, село, народ, т. е. страна и история. Он явно вышел, перерос условия видного индивидуального существования, положения в обществе, «профессии», искусства и литературы. «Исповедь» его, по которой он *изо всего вышел*, — была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже *изо всего вышла*, осталась одна и единственная, одинока и грустна, но велика и своеобразна.

Я еще раз посмотрел на пустые, далекие от великолепия комнаты. «Здесь не стала бы танцевать Анна Каренина». И мне представилось, что если бы старец разрушил эту квартиру, этот дом, да и все вокруг, — разрушил без борьбы, собою («Мне ничего не нужно»), то *душа* вещей, та незримая душа, какая есть во всякой вещи, умерла бы в обстановке Толстого, почувствовав, что на нее не любитесь хозяин. Так умирает верная собака, когда она не нужна хозяину. Все вещи стояли некрасиво; все вещи были некрасивы; чувствовалось, что им не хочется жить. «Скоро вынесут», — как бы говорила каждая про себя.

Человек — центр вещей. Здесь, «в центре», стоял человек, которому вещи были не нужны. И они рассыпались, потеряли гармонию, связанность, красоту, смысл. От этого незримого отталкивания рассыпался и «дом», хотя физически еще и продолжал удерживаться.

Л. Н. был одет в старый халат-пальто-шляфрок, подвязанный ремнем. Одежда на Толстом страшно важна: она одна гармонирует с ним, и надо бы запомнить, знать и описать, какие одежды он обычно носил. Это важнее, чем Ясная Поляна, от которой он давно отстал. В одежде было то же простое и тихое, что было во всем в нем. Тишь, которая сильнее бури; нравственная тишина, которая неодолимо раздражения и ярости. Разве не тишиною (кротостью) Иисус победил мир, и полетели в пропасть Парфеноны и Капитолии, сброшенные таинственной *тишиною*?

Вот эта мировая тишина, особенная, многозначительная, религиозная, была и в Толстом. Не она ли есть то «неделание», которое представляется таким незначительным в его проповеди, т. е. незначительным в формуле; тогда как в *существе* как *жизнь*, как *метод жизни*, она, конечно, ворочает горами. А мы, читая его бледные слова и не понимая, в чем дело, смеемся и отрицаем. И я смеялся и отрицал (в литературе); а когда *увидел*, то сказал: «Хорошо». Хорошо таким быть, хорошо бы *такому всему* быть. Зачем грозы, зачем бури, шум? Это не нужно и мелко.

Тишина — в ней бездонная глубь...

Я приехал не один. В комнате была и Софья Андреевна. И заговорили, «как в обществе», ненужные, тяжелые, скучные речи. Это уже не были «Альпы», это были переулочки и пригорки в Женеве, близ Монблана.

Тут нечего было помнить, и я ничего не запомнил.

И обедал он как бы один, и особо. Подавал лакей в перчатках, нам — мясное и яичницу, ему — кисель или кашу, что-то нетвердое и, конечно, безубойное. Сидел он за одним столом и смешиваясь и не смешиваясь с остальными. Через это отделение в пище, вообще, он страшно отделился, удалился от людей, как наши сектанты, не едящие с «никонианами». Пища вообще есть большое разделение или соединение людей, и разницу категорий людей можно узнать по охоте или неохоте, с которою они едят «вместе» или «одни». Евреи не едят трефного, татары не едят свинины. Зато они «жрут» конину, которой мы не станем есть. «Новая религия» до известной степени начинается с «новой еды»; ведь и христианство пошло не только от Голгофы, но и от постов; или, точнее, Голгофа не ранее начала побеждать мир, как когда она соединилась с постом, нашла секрет действия на души людей в грибе, каше и супе. Теперь цивилизация всеяднонеопределенная, и «стиль» эпохи потерян.

* * *

Кроме «Альп», был у меня и особенный мотив увидеть Толстого. Мне хотелось попросить его об одной вещи, которой я был особенно предан. Мне казалось, что это может выполнить только человек с всемирным авторитетом, коего *морально* обвинить ни у кого не подымется язык и совесть. Дело шло об убийстве внебрачных детей, — чему посвящены страницы «Воскресения», о чем явно глубоко и со страхом думал Толстой, тревожился об этом глубокою сердечною тревогою. И мне хотелось полу-спросить его, полу-упрекнуть его и полу-попросить в том смысле: почему он, *всемирно моральный авторитет*, не отдаст своих дочерей замуж «так», без венчания, чему был бы подан пример во всей Европе, и великий его авторитет санкционировал бы эту *абсолютно-личную* и *абсолютно-частную* форму брака, которая войдет в права общества, войдя в дух общества, она могла бы санкционировать вневенчанное рождение, а следовательно, и избавить вообще всяких детей

от убийства. Для него это было явно последовательно, ибо внешние авторитеты он отверг; для дочерей его это явно было бы удобно: ибо необеспеченность и бедность одни гонят девушек в «законное супружество», плодящее Кит-Китычей, они же обеспечены, всегда прокормятся и прокормят детей. Мне это представлялось, около него, старца, как цветущий сад размножения — счастливый и благородный, идиллический и философский.

Сколько проблем было бы разрешено! И неужели этому препятствует то, что он «граф», «дворянин», «великий писатель»?.. Какие пустяки! Какой вздор перед Катюшей Масловой и судьбой ее ребенка, который «загорел» и умер!

Так я думал. Мне хотелось и просить, и спросить. Перед вечерним чаем, когда он (слабый и полубольной) позвал меня в кабинет к себе, я, однако, не выговорил своей темы. Но речь зашла (может быть, я завел, стараясь приблизиться к теме) — о поле, о половой чистоте и нечистоте, о страстях и борьбе с ними, о супружестве. Было ли напряжение моей мысли велико в направлении мучившего меня недоумения, и это перешло к нему, или от какой другой причины, но он мне, иллюстрируя свои объяснения, сказал, прямо ответив на мой вопрос.

Были и другие разговоры, более существенные и сложные. Все было хорошо. Все было высокопоучительно; я почувствовал, до чего разбогател бы, углубился и вырос, проводя в таких разговорах неделю с ним! Так много нового было и в движениях его мысли, и так было ново, поучительно и любопытно наблюдать его. Учился и из слов и из него. Он не давал впечатления морали, учительства, хотя, конечно, всякий честный человек есть учитель, — но это уже последующее и само собою. Я видел перед собою горящего человека, с внутренним шумом (тут уж «тишины» не было, но мы были уединенны), бесконечным интересующегося, бесконечным владевшего, о веренице бесконечных вопросов думавшего. Так это все было любопытно; и я учился, наблюдал и учился.

Старик был чуден. Палкой, на которую он опирался, выходя из спальни, он все время вертел, как фланж, кругообразно, от уторопленности, от волнения, от преданности темам разговора. Арабский бегун бежал в пустыне, а за спиной его было 76 лет. Это было хорошо видеть. И когда он так хорошо говорил о русских, с таким бесконечным пониманием и чувством говорил о русском народе, думалось:

«Какой ты хороший, русский! Какой ты хороший, русский народ!»

Уверен (по словам его), что он эту память о себе, эти слова будущего о себе предпочел бы «вероучителю», «праведнику», «святому», как равно второму Будде, Соломону, Шопенгауэру (любимые имена в период «Исповеди»), за которые едва ли теперь цепляется. И вообще мне показалось, что я вижу точно то, чего и ожидал, — феномен приро-

ды,— «Альпы». *Натура* Толстого — вот главное, «народ русский», в нем — вот существенное. Все остальное только «приложится», все другое — кружево около главного.

Натура эта, честная, благородная,— повела его и к проповеди, или, точнее,— к проповедям, которые были разны.

Натура из романиста сделала проповедника. «Это нужнее, а я хочу быть нужным народу».

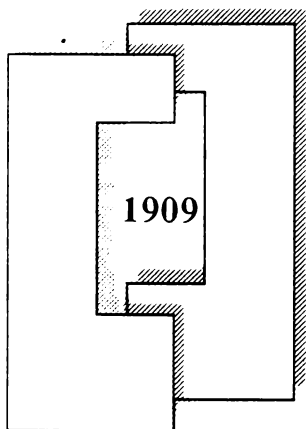
Все у него из «натуры»...

А натура — от Бога... Из «отца с матушкой», из глубоких недр земли, из темных глубин истории. Ведь из этих глубин вышли и Шопенгауэр, и Будда, и Соломон. Только Иисус не из этих глубин. И, не сливаясь с Шопенгауэром, Буддой и Соломоном, в Ясной Поляне прожил и живет четвертый около них, совсем другой, чем они, совсем на них непохожий, наш родной, мучительно-кровный; и он нам милее еврейских, немецких и индусских мудрецов.

Так я увидел «Монблан» нашей жизни. Был 10-й или 9-й час ночи. Подали лошадей, зазвенел колокольчик у крыльца.

Прощаясь, я поцеловал его и поцеловал его руку,— ту благородную руку, которая написала «Войну и мир» и «Анну Каренину», и столько, столько еще, что, читая, мы были так счастливы и говорили про себя:

«Как хорошо, что я живу, когда живет он, не раньше, не до него: и вот теперь так счастлив за этими страницами художества, поэзии и мудрости».



Литературные симулянты

С лицом мертвеца,— соглашаюсь, красиво-го мертвеца,— и загробным голосом поэт Блок читает о землетрясении в Мессине и связи этого землетрясения... с русскою интеллигенцией. Не совсем об этом, а о том, что чувствует или должна чув-

ствовать русская интеллигенция от землетрясения. Кажется, так. Мысль не была ясна, но было очевидно, что именно землетрясение и именно интеллигенция являются двумя полюсами, куда устремлена мысль Блока или куда устремлены его два глаза, недвижные, испуганные. Публика заохлодела от ожидания. Вот мертвец заплачет или завопит. Но мертвец сел на стул, точно в гроб упал. Завопил Д. С. Мережковский.

Он вопил или вопиял долго, сложно, непонятно, и на тему, и сверх темы, и через тему, куда попало. Так петух с отрезанной головой не разбирает, в который угол кухни ему скакать. Мережковский казался чрезвычайно испуганным чтением Блока. Казалось, ему отрезали голову и вырвали сердце, и он был полон отчаяния. И если у мертвенного Блока методично стучало:

— Стрела сейсмографа отклонилась в сторону, а назавтра телеграф принес известие, что половины Сицилии нет...

То Дмитрий Сергеевич, вытягивая вперед руки, губы и грудь и страшно тараща глаза, кричал:

— «Что нам делать?...» И прочее и прочее, «Нас, декадентов, называют собаками» (все были в публике восхищены скромностью, ибо и говоривший — декадент). «Да, может быть,— продолжал хитрый оратор,— может быть, мы и собаки. Но мы те собаки, которые воют *перед пожаром!!!*» Страшный удар голоса на слове «пожар». Публика содрогнулась и опять восхитилась. Но на этот раз петух знал, куда он скачет. Он подхватил энтузиазм, и по зале пронеслось громовое:

«Цусима!...» И после минутной паузы: «И та, другая, Цусима страшнее японской, которая здесь, у нас, в России...»

Без слов, в жестах, в интонации, было дано, как выражаются газеты, неопределенное указание на «определенные события». «Браво! Браво! Браво!» — это если и не несло в зале по запрещенности одобрений и порицаний, то звучало в груди десятков присутствовавших.

Все было хорошо «стилизовано», как пишут теперь в «Весах» и «Золотом Руне», и публика философско-религиозных собраний не догадывалась, что она попала на «стилизованное представление» не то во вкусе Калиостро, не то романов Радклиф, не то Фотия и Татариновой,— «смотря по тому, куда обернется дело». Так, по-видимому, решили умные молчаливники, сидящие за спиною двух петухов, одного мертвого, но без отрезанной головы, и другого живого, но с отрезанной головою.

«Пусть будут поражены и заволнуются. А там уж будет видно...»

Ах, эта старая кокетка, наша интеллигенция. Известно, что роман Марты с Мефистофелем начинается с «печальных воспоминаний о моем дорогом муже». — «Он был такой рыцарь», — говорит Мефистофель. — «Я так любила его», — вздыхает Марта, кладя голову на плечо Мефистофеля. Не будь прекрасной смерти прекрасного воина, Марта не провела бы блаженно этой хорошей июльской ночи. Все в связи. И на могилах иногда вырастают прекраснейшие розы.

В «стилизованном» представлении декадентов, данном на месте религиозно-философских собраний, — могила бедных, скромных моряков, как и другая еще более страшная могила мессинцев, послужила пунцовым букетом в руках декадентской Марты, которым она опаживала увядшее лицо свое, как веером. И публика, вместо восторга, могла бы, опустив глаза, сказать безмолвно:

«— Вечная память! Зачем потревожили их прах? Для такой чуждой, им *ненужной* цели, как тема о русской интеллигенции?! И зачем эта старая кокетка топчется на всяком месте, куда ей взбредет в голову пойти, — в театре Коммисаржевской, в Польском клубе, на религиозных собраниях, и наконец, даже вот пришла топтаться на могиле людей, уснувших вечным сном в Мессине и Японском море. Нет, это не сторожевые собаки, воющие о пожаре: в Мессину ночью прокрадывались какие-то женщины и мужчины и шарили около трупов, ища, чем поживиться. Вот сравнение, которое не пришло на ум красноречивому оратору, но невольно толкается в голову, так как ведь действительно Цусима и несчастье в Мессине что-то такое прибавили к славе петербургских литераторов».

А и в самом деле, ну, в ту пору, *в тот день*, когда русские корабли перевертывались в проливе и сотни людей горели, сгорали или шли ко дну, *в этот день* потерял ли аппетит Д. С. Мережковский?

Пусть вспомнит и громко скажет в следующем религиозно-философском собрании, отказался ли он тогда от завтрака или обеда, *забыл* ли о них? А ведь очень многие в тот день не обедали именно в «холодном» Петербурге; не обедали, между прочим, из числа очень и очень пренебрегаемых им «простецов», и граждан и журналистов. В этот день у многих «кусочек не пошел в горло». У Дм. Сергеевича он скользнул, как устрица. Да, верно, не забыл спросить корицы к рисовой кашке.

Не знаю, не справлялся, но думаю. Друзья, и Блок и Мережковский, что вам Цусима? Что Мессина, — как не лишнее литературное

впечатление, вроде того, как северное сияние или гром для Ломоносова, писавшего в стихах: «Утреннее размышление о Божием величии по поводу грома» или «Вечернее размышление по поводу северного сияния». То же самое, с разницей в оттенках и временах. Мережковский завопил, что от «внутренней Цусимы» у него переворачиваются кишки. Но так как он имеет обыкновение сообщать в газеты, что «выезжает из России» или «въезжает в Россию», то очень хорошо известно и никто не забыл, что именно в то время, когда еще не настали, но могли наступить «известные события», — он спокойно брал билет в обществе спальных вагонов с кратким маршрутом: «S.-Petersbourg — Paris».

Друзья мои, что вам до России?

Не Мережковский ли, завоеывая или коммерчески приобретая себе левую славу, писал, что «он предпочел бы, чтобы *Россия не существовала вовсе*, если бы он знал, что Россия и свобода — *несовместимы*». Это им было сказано в полемике со Струве. Но ведь Россия есть тот *субстрат*, который может быть «свободен» или «не свободен». И поверить ли в искренность «пожелания здоровья», когда оно произносится с оговоркой: «Я желаю выздоровления этому больному, но при условии, *если потом он* будет ходить в красной рубашке». Поистине, такие *условные* пожелания никому не нужны, и больная Россия не встанет с постели, сколько ей ни «желают здоровья» Блок и Мережковский. Удалитесь, циники, от одра больного.

Трагическое остроумие

Безо всякого намерения быть остроумным, поэт Блок невольно сострил; и верно оттого, что самое дело, о котором он пишет, заключает остроумие внутри себя, остроумно само по себе... В статье с приглашающим заглавием: «Мережковский», он пишет: «Открыв или перелистав его книги, можно прийти в смятение, в ужас, даже — в негодование. «Бог, Бог, Бог, Христос, Христос, Христос», — положительно нет страницы без этих Имен, именно Имен, не с большой, а с огромной, что она все заслоняет, на все бросает крестообразную тень, точно вывеска «Какао» или «Угрин» на загородном и без нее мертвом поле, над холодными волнами Финского залива, и без нее мертвого».

Подвернулось же сравнение поэту и другу... Именно, как «Какао» и «Угрин» тычутся вам в глаза, когда вы подъезжаете к городу отнюдь не затем, чтобы напиться там какао, а за чем-то нужным, дельным, важным, наконец, тревожным, и оно никому не нужно, кроме торгующего ими, — так точно и Мережковский поступает с религиею, страшно ее понижая, страшно от нее отталкивая. Своим невольно удачным сравнением (дело за себя говорит) Блок чрезвычайно много

разъяснил и сделал почти излишним тот комментарий, о каком просит поднявшееся вокруг Мережковского недоумение. Именно, как «Угрин», «Какао», чередуются священные имена... Гадко, невыносимо.

Забыл он древнее: «имени Господа Бога твоего не произноси всуе»... Забыл и другое: что страшное Имя никогда даже и не писалось народом, знавшим *вкус* в этих вещах. Позволю употребить грубое слово: «вкус». Да, есть *вкус* и к религии, к религиозным вещам; не эстетический вкус, а другой, высший и соответственный. Можно быть глубоко *безвкусным* человеком в религии, хлопоча вечно о религии, не спуская ее с языка. Ведь не таковы ли ханжи и все ханжество? На совершенно противоположном полюсе с ханжеством, в другом совершенно роде, но Мережковский есть также *религиозно-безвкусный* человек, и, придя к этой мысли, начинаешь почти все разгадывать в нем.

Да... Буквы огромные, слова всегда громкие: но кроме слов, букв, *видности* — и нет ничего.

Бог — в тайне. Разве не сказано было сто раз, что Он — в тайне? Между тем Мережковский вечно тащит Его к свету, именно как вот рекламы — напоказ, на вывеску, чтобы все читали, видели, знали, помнили, как таблицу умножения или как ученик высекающую его розгу. Что за дикие усилия! «Бог в тайне»: иначе Его нельзя. Не наблюдали ли вы, что во всем мире разлита эта нежная и глубокая застенчивость, стыдливость, утаивание себя, — что уходит, как в средоточие их всех, в «неизреченные тайны Божия» и, наконец, в существо «Неисповедимого Лица»? От этого все глубокие вещи мира не выпячиваются, а затеваются, куда-то уходят от глаза, не указывают на себя, не говорят о себе. *По этим качествам* мы даже оцениваем достоинство человека. Но это — качество не моральное, а космологическое, хотя оно простирается и в мораль, властвуя над нею. Мне прямо не хотелось бы жить в таком *плоском* мире, где вещи были бы лишены этой главной прелести своей, что они *не хотят* быть *видимы*, что они вечно *уходят, скрываются*. Это во всей природе. Брильянты и все драгоценные вещи глубоко скрыты внутри каменной твердыни гор, и без науки, без искусства, без труда, работы — недостижимы, как фараоны, уснувшие в пирамидах. Вот пример этой тайны мира: она начинается в камнях, а оканчивается в человеке, который творит поэзию и мудрость в глубоком *удинении*, в *одиночестве*, точно *спрятавшись*, никогда не на глазах другого, хотя бы самого близкого человека: «Нужно быть *одному*», — тогда выходит святое, лучезарное, чистое, целомудренное! Но в человеке это еще не кончено: есть Бог, которого «нигде же никто видел», как говорится в книгах. Бог как бы впитал в себя всю мировую застенчивость и ушел в окончательную непроницаемость. Вспомним закон устройства Святого Святых, где было Его присутствие. Вечная тьма там. Никому нельзя входить. Вот — закон. Да, «закон Божий» — застенчивость. Без нее тошно жить, без нее невозможно жить. Цена человека сохраняется, пока

он «не потерял стыд», т. е. вот затененности поступков и лица, скромности, вуалированности всего около себя и в себе... Как будто все скрыто под вуалью: ест, живет, действует, но — невидимо. Это и в быте, это и в лице. «Падение» начинается с «наглости», со сбрасывания одежд — не физических, а вот этих бытовых, личных, психологических...

Что же такое делает Мережковский со своими вывесочными криками? Он как бы арестует Бога и требует от Него отречения от извечной сущности Его — скрытости, тайны... Не безнаказанно г. Мережковский столько времени возился с «белыми дьяволицами» (в романе «Леонардо-да-Винчи») да с Юлианом Отверженным. Конечно, он теперь совсем на других путях. Но прием мысли, но испорченность привычек осталась, и он как бы просит Бога «раздеться и показаться». Так выходит. Иначе нельзя понять его «Угрин-Какао-Бог». Соглашаюсь, что это безвинно, ненароком, «так вышло», но признаю, что все-таки отвратительно и нечно.

Кто не знает особенным таинственным постижением *ночи* — не может постигнуть или приблизиться к постижению и существа Божия. И кто, как бы вкогтившись глазом в звездную глубину, не забывал вовсе о земле, до *недоверия к ее существованию*, — тот не знает ни молитв, ни алтарей, сколько бы ни стоял перед медными алтарями. Это уже почувствовали греки, у которых «элеусинские таинства» происходили ночью; те таинства, в которых что-то, доселе неизвестное, открывалось во Боге. С таким же инстинктом у нас все службы церковные принорованы не ко дню: поздняя обедня — в снисхождение лености богатых верующих. Но *настоящая обедня* — рано утром; заутреня, и всеношная — или *до* света, или *после* света. Все подобно тому ландышу, который у Лермонтова «из-под куста таинственно кивает головой»... • У ночи совсем другая *душа*, чем у дня, у которого душа суетная, мелочная, заботливая, трезвая, позитивная. Огюст Конт родился днем и сам будто никогда не видел ночи. Точно так вот и наш ученый и все-начитанный Д. С. Мережковский точно родился днем и закрывает глаза к вечеру, а открывает их, когда уже совсем рассвело. К числу магически-позитивных особенностей его относится то, что неодолимая дремота одолевает его в 11½ час. ночи; и в 12, когда начинаются «чудеса», — он непременно спит, как младенец. Такого *трезвого и аккуратного* писателя я еще не встречал. Несмотря на вражду к позитивизму, чисто словесную, на вражду как пьяницы к погубившему его вину, он на самом деле весь позитивен, трезв, не опьянен, не задурманен, не заражен никакими чарами. Темноты в его книгах много, но это просто путаница мысли. В его книгах нет ночи, а от этого нет и тайны Божией. Сумрака много, но это просто — чердак, куда не пробивается дневной свет от плохого устройства, а не оттого, чтобы чердак имел какое-нибудь родство с ночью. И уж если сделать экскурсию к давно-прошлому Мережковского, — то на этом чердаке и всегда-то водились одни мыши, а отнюдь не «интересные» демоны.

Все это страшно грустно. Он так много читал... Так много учился, знает... Все обещало в дальнейшем хотя и трезвую, позитивную, немного мещанскую работу, однако отличного ученого. На Руси их так мало! Никто не умеет так хорошо *сопоставлять* и *критиковать* идеи; таким *верным* *глазом* оценивать недостаточность какой-нибудь идеи для того-то и того-то или способность идеи к тому-то и тому-то; так разбирать *источники* идей; *исходные* пункты грядущих умственных и нравственных переворотов. Я говорю, может быть, не ясно, но *в подробностях* знаю и видел эту превосходную способность Мережковского. Но он — не пророк, *именно* не пророк. Он ученый, мыслитель, писатель, и только. Мне все это печально говорить, ибо дружба, как и вражда, имеет в себе что-то, уже никогда не улутучивающееся: в долгие годы дружбы мне были видны такие стороны его, которые пробуждали к нему если не любовь (как к абсолютно холодному человеку) и не уважение (ибо у него всегда была путаница и «Угрин»), то что-то заменяющее вполне их и им равноценное. В нем есть человеческие качества в таком особенном оттенке и сочетании, как мне не приходилось встречать в других людях, — и от этих качеств его и не любишь, и не уважаешь, а привязан; находишь смешным, бессильным, неудачным, и ценишь и уважаешь гораздо более, чем удачных и счастливых людей. В нем есть стиль, какая-то своя порода. Эту холодную блестящую вещицу кладешь в особенное место той внутренней сокровищницы, какая есть у каждого и куда каждый складывает все лучшее... Но... Мережковский сам себе изменил, сам себя предал, сам от себя отказался: в каком-то новом обольщении он решил привлечь к себе и Христу марксистов, эсдеков и проч. и проч., слив политику и Евангелие, и притом просто то Евангелие от Матфея, Марка и Луки, какое читает церковь, с учением Карла Маркса из Берлина, без всякой новой мечты об Апокалипсисе, о грядущем Христе и Третьем Завете. Здесь я должен определенно назвать тот важнейший мотив, который побуждает меня сказать, что «Мережковский отрекся от себя»: именно он мне сказал, что находится теперь совсем в других мыслях, нежели прежде, что я, должно быть, не читал его последних книг, а если бы читал, то знал бы, что ни о каком грядущем Мессии теперь он не думает, ни о каком Третьем Завете. Когда же я изумился и спросил: «Как же он раньше об этом говорил», то он ответил: «Это было так, слова!» Я позволю себе этот единственный и последний раз сказать нечто из личных бесед, во-первых, по крайней важности этого для всех, кто заинтересован его проповедью, во-вторых, потому что это будто бы (чему я не верю) уже сказано где-то у него в книгах (вероятно, в намеках), и, наконец, оттого, что однажды в «Русской Мысли» он допустил изложить в целом диалоге мой очень ответственный разговор с ним, который, вероятно, был, хотя я его и не помню. Так что я не нарушаю «стыдливости бесед» более, чем он это сделал. Когда же он о всем «прежнем Мережковском» выразился, что это были «одни слова», мне осталось подумать или повторить за Блоком:

— Э, и Бог, и вывесочные крики, и Второе Пришествие, и все Заветы для него — есть только огромный забор среди пустыни, где саженными буквами для всемирного прочтения начертано одно:

Д. С. Мережковский.

Мне осталось проститься, задвинув урну с пеплом моего друга в самый далекий уголок сердца, хоть все же капризно грустящего.

Попы, жандармы и Блок

Мрачный, красивый и юный Блок вещает:

«Кто же произносит огромные слова о Боге, о Христе! Вероятно, духовное лицо, сытое от благодати духовной, все нашедшее, читающее проповедь смирения с огромной кафедры, окруженной эскадроном жандармов с саблями наголо,— нам, светским людям, которым и без того тошно? Кто он иначе?»

И отвечает: «Нет, это — Мережковский, светский писатель, и в этом весь интерес». «Если бы он был духовным лицом, не то в клобуке, не то в немецком кивере (?), не то с митрополичьим жезлом, не то с саблей наголо,— он бы не возбуждал в нас, светских людях, ничего, кроме презрения, вынужденного молчания или равнодушия».

Ужасно мрачно пишет Блок. Так мрачно, как Надсон в минуты самого трагического настроения. Мрачно, гневно и презрительно. Боже мой, кого не презирает Блок? И почему он не играет Демона в опере Рубинштейна?.. Было бы так натурально, ибо это был бы Демон не подмалеванный, а настоящий. Но разберемся в мыслях печального Демона.

«Такая заслуга»,— заговорил о Боге светский человек...

Но ведь был у нас Владимир Сергеевич Соловьев.

Был у нас Николай Николаевич Страхов.

Был Константин Николаевич Леонтьев.

Была «Русь» Аксакова, в каждом еженедельном номере говорившая о Боге. Были славянофилы. Соловьев создал целую богословскую литературу; Леонтьев, будучи светским писателем и медиком по профессии, тайно постригся задолго до смерти в монашество,— он, беллетрист, критик и публицист! Вот сколько!! Почему же о них всех позабыл Блок, как позабыли и те притязательные и смешные профессора-философы, гг. Новгородцев, Булгаков, Аскольдов, Трубецкие, которые, сообщая издав «Проблемы идеализма», выступили с таким бессовестным видом, как будто в России до них и идеализма не существовало, как будто они благодетельствовали Россию, начав в ней говорить об «идеализме». Боже мой, да сколько один Флексер-Волынский старался,— больше, чем сто Новгородцевых и чем сколько их ни есть этих братьев Трубецких. Почему же, для чего же это забвение? Что за братство в истории, что за

единство культуры, если мы будем забывать о трудившихся сейчас после их смерти, если каждый из нас, выскакивая, начнет бить себя в перси и кричать: «Я», «я», «я». «Я все начал, от меня все пошло...»

О, эти христиане-индивидуалисты, без языческого «культа предков», без чувства рода, племени, родины! В тысячный раз приходится убедиться, до чего невозможно обойтись без этих языческих чувств, до чего с пресловутым «индивидуализмом», *оторванностью* личной души мы приходим не якобы к углублению ее, а иногда к простой торговой бессовестности. «Никого не было; все я один»... Я указываю на начало индивидуальности, так как его очень выдвигают декаденты, как специальное *христианское чувство*, как *свое чувство*, в религиозно-философских собраниях.

Все «мы»... «До нас были попы, говорившие о смирении с эскортом жандармов с саблями наголо»... Какое мрачное зрелище, но *где* видал его Блок? Сера наша родина, но уж не до такого же ужаса. Это говорит тот Блок, который в чтении о землетрясении в Сицилии мрачно вещал: «Стрелка сейсмографа отклонилась в сторону, а завтра телеграф принес известие, что *половины Сицилии нет*». Я помню эту его ошибку и задумался, откуда произошла она? От *глубокой безжалостности* поэтического сердца. Ученые, да и весь свет меряет каждую сажень земли, которую *пощадил* землетрясение, снимают фотографии, снимают *подробности*, и любуются, и радуются: «Вот там *уцелело*, этот дом *не разрушен*». Так поступают обыватели и ученые, — те обыватели и те ученые, к «пошлости» которых и к «науке» которых Блок на чтении своем проявил такое презрение... «Наука *бессильна*, а обыватели *равнодушны*», — вещал он апокалиптическим тоном. Да, обыкновенные все люди жалеют каждый домик, а ученые и советуют строить дома в таких местах плоскими, низкими, не многоэтажными: тогда землетрясение не будет сопровождаться таким *разрушением* зданий и столькими *смертями* под обломками их. Но петербуржец Блок скачет через головы всех этих и объявляет, — «чего жалеть», — что половина Сицилии разрушена. Почему это он так сказал? Да потому, что ему *все равно*, а задача чтения — внушение ужаса слушателям — требовала, чтобы разрушилось как можно больше! Мне кажется, раз произошло такое несчастье, кошунственно *даже в мысли, даже в слове* сколько-нибудь его увеличить. «Вот еще домик *сохранился*» — это обязательно для глаза, для телеграммы, для рассказа, для науки, для всего, кто *человек и сочувствующий*.

Суть-то декадентов в том и состоит, что они ничего не чувствуют и что «хоть половина Сицилии провалится, то тем лучше, потому что тем апокалиптичнее». Им важен Апокалипсис, а не люди; и важно впечатление *слушателей*, а не разрушение жилищ и гибель там каких-го жителей. Важна картина, яркость и впечатление. Отсюда и «тоска» их («мы — тоскующие»), о которой проговорился Блок: это — тоска отъединения, одиночества, глубокого эгоизма! И только... И ничего тут «демонического» нет, никакого плаща и шляпы не выходит. Просто —

это дурно. Такими «демонами» являются и приказчики Гостиного двора, если у них залеживается товар, если они, считая деньги, находят, что «мало». Это недалекий «демонизм» всякой черствой натуры, не могущей переступить за свое «я».

«Интеллигенция разошлась с народом»... Какая интеллигенция, — Блок? Еще какая? Зин. Ник. Гиппиус? Но *Менделеев* не расходился с народом, он написал «К познанию России», написал с *подробностями*, вот с теми подробностями, во вкус которых никак не может войти ни Блок, ни Гиппиус. Слишком не апокалиптично, не «Сицилия»... Нам меньше Сицилии на стол не подавай. Не заметим. С Россией и народом русским не расходился художник Нестеров, потому что он талант. Вот начало понимания вопроса о расхождении с народом интеллигенции. Не разошелся с Русью и Пушкин, он написал «Бориса Годунова» и сказки, не разошелся Лермонтов, он написал «Купца Калашникова», не разошелся Гоголь. С народом не расходится и никогда не расходилось *талантливое* в образованном нашем классе, а разошлось с ним единственно *бесталанное* в нем, что себя и выделило и *противопоставило* народу под пошлым боборыкинско-милюковским словом «интеллигенция». Образованные люди в России трудились и создавали, надеялись и успевали, часто не успевали, страдали, и все-таки и тогда не проклинали, а завещали детям, внукам так же работать. Талант всегда утешителен в себе самом, приносит веселье, радость, даже и при неудачах: он есть упоение в себе самом. И мрачный демонизм, напр., декадентов, происходит просто оттого, что они пишут плохо стихи.

Вернемся к мрачной картине «попов, оберегаемых жандармами». Во-первых, *от кого* оберегаемых? Декадентов так мало, и они все такие не силачи, что не поборют и дряхлых архиереев «с жезлами». Революционеры «поповством» не занимаются и просто не забредут в этот им незнакомый угол жизни. Остается «интеллигенция», просто не ходящая к обедне, и — *народ*. Но вот что в самый день, как я прочел у Блока о попах, я прочел в одном письме, присланном мне по поводу слов моих о необходимости для народа *культа* и *храма*: «И ладац, и свечи, и дьячок, и священник в облачении — как это все хорошо и как нужно нашим крестьянам. Когда однажды я заговорил в селе, что все это от них отнимут, потому что у них поп пьяница, *старик крестьянин начал плакать* и говорить мне, что „пусть у них хотя и пьяненький будет священник, а без него им нельзя, пусть пьяных попов будет судить Бог, они все Ему ответ дадут, а для них они все же священники, и без них и без храма им нельзя“». И автор письма продолжает: «Вот она где, вера-то, и им она нужна, им тепло с ней. Мы не понимаем и не можем, быть может, понять, как это они находят себе утешение в храме с нашими дьячками и батюшками, а им со всем этим тепло, все это их греет и светит им. И если *нам* все это сделалось уже ненужным, если Господь с нами *езде*, если Он точно с нами, то мы не забудем слов: *подите, покажитесь священникам и принесите им, что полагается по очищению,*

и никогда не позволим себе говорить всенародно о ненужности храмов и пьяных дьячков и попов».

Я не прибавил ни слова к письму неизвестного мне человека, подлинник коего, при желании, могу переслать Блоку. Так вот как нужно все это народу, все эти нам неинтересные «подробности». Душе, совести и поэтическому складу народному храм с горящими свечами, и «канун», и «сорокоуст», и проч. и проч. так же *ненасытимо необходимы*, как знойной ниве дождь,— не менее. Можно ли же на все это кидать такой высокомерный взгляд, что это только «попы-лицемеры и жандармы» и что на все это можно ответить только «презрением и вынужденным молчанием». Вот чего не сказал бы Менделеев, не сказали бы Нестеров, Васнецов, Ломоносов, Пушкин. Не пора ли *опознаться* Блоку и другим декадентам, в которых мы не отрицаем лучших «возможностей», и из бесплодных пустынь отрицания перейти на сторону этих столпов русской жизни, ее твердынь, ее тружеников и охранителей. Будет ребячиться, пора переходить в зрелый возраст.

Загадки Гоголя...

В людях исключительной душевной организации, исключительной до странности, до удивления,— есть что-то хрупкое. «Не жильцы на свете»... Пушкин, Гоголь и Лермонтов умирают или погибают в среднем и молодом возрасте; Шекспир умер еще не старцем. Тогда как одной ступенью ниже, сейчас же за ними, высокие таланты человечества живут чрезвычайно долго, тоже почти до удивления. Очевидно, душевная сила, душевный рост суть показатели и выразители громадной жизненной энергии; но гений есть перелом человека «куда-то», есть «отклонение в сторону от нормальных и вечных путей человечества»... И эти Икары, как бы летящие к Солнцу, гибнут в лучах его преждевременно. Гете, Толстой, Гюго живут точно двойной или полуторной человеческой жизнью, но как ни высоко и благородно их творчество, *загадки* оно не представляет. Это — прекрасные человеческие явления... Гений же всегда немножко сверхчеловечен.

По-видимому, и Пушкин должен бы «прожить долгую жизнь»: ведь так все нормально и ясно в нем. Да, его творения нормальны и ясны. Без всякого колебания мы поставим их выше не только творений Лермонтова, но и Гоголя. Но в Пушкине загадку составляет его лицо: каким образом можно было без борьбы, без усилий, даже без видимых размышлений, стать в самую точку, в самую середину, откуда во все стороны расходятся лучи этой нормативности, этого спокойного и прекрасного в человечестве. В мировой литературе и даже более — в мировой психологии мы не можем указать решительно ни одного лица, которое занимало бы эту сердцевинную точку прелести, красоты, ума, *без всякого излишества, без всякого наклона* в одну преимущественную

сторону. Христианин ли он? — Да, в *прелестных* христианских чертах. — Но, может быть, он и язычник? О, конечно: в том, что было в язычестве *прекрасного и умеренного*. Вот что можно сказать об авторе «Капитанской дочки» и «Египетских ночей», «Купца Остолопа и работника его Балды» и подражаний греческой антологии. Но если, таким образом, душа Пушкина осталась свободной и непреклонной даже перед такими могуществами, как христианство и как обаяние и сила античной цивилизации, перед которыми решительно никто не мог устоять, решительно склонялся в одну или другую сторону всякий ум, мудрость, просвещение, добродетель, склонялся до фанатизма, до изуверства, до изуродования себя, до ненавидения противоположного, — то в красоте и силе пушкинской души мы увидим загадку и чудо. Объясним примером: перед бурным и гениальным творчеством Микель-Анджело каким простым и несложным кажется творчество Рафаэля; какое сравнительно *однообразие*; есть ли у него что подобное потомку Сикстинской капеллы, этим изумительным Сивиллам и пророкам?! Все — Мадонны, все одна, в разных образах, Фарнарина. Да, но человечество отгадало в этом однообразии, простоте и покое сверхъестественный луч, которого не было в изумительном Микель-Анджело. И Рафаэля, тоже, — кстати, — так рано умершего, поставило неизмеримо выше Микель-Анджело, поставило мальчика и юношу, жившего такой обыкновенной жизнью, любезного с панами и пользовавшегося их покровительством. Там все обыкновенно, до мещанства, до прозы. Но Авраам узнал Бога, явившегося ему в земном виде странника. Человечество узнало в Рафаэле частицу ангела, необыкновенное, что появилось среди его. Я окончу сравнение, сказав, что в обыкновенном Пушкине, вечно нуждавшемся в деньгах, ревнивом, суетном и тоже умевшем говорить придворные любезности, — мы имели своего Рафаэля, Рафаэля речи человеческой, слова человеческого, стихов, как и прозы. Непременно — и прозы, которая у Пушкина есть единственная и непревзойденная. То, что Италии и человечеству дал Рафаэль, пользуясь вспомоществованием красок, но при этом вспомоществовании выразив свою единственную и прекрасную душу, — это самое дал и Пушкин, дал пока одной России. Но ведь это все равно, *кому* он дал. Важность в том, *что* дал: творчество Пушкина имеет единственную себе параллель, и очень близкую в творчестве Рафаэля. Вот по этому-то соображению я и решился отнести «обыкновенного и понятного» Пушкина к людям загадки, тайны и непонятного. Только все это трудно в нем рассмотреть, ибо все в нем лишь «просвечивает», а не кидается в глаза.

Но я отвлекся.

Перейдем к Гоголю, в котором все кидается в глаза!

«21-го февраля, после обеда, раздался звонок в моей квартире, — рассказывает г. Рамазанов, мастер-скульптор, — и явился сильно встревоженный г. А(ксаков?), который объявил о смерти Гоголя. Правда, до того уже были точные слухи о тяжелой болезни последнего; но едва ли

кто равнодушно мог вынести весть о смерти этого человека. А. предложил мне поторопиться снять гипсовую маску с покойного. Нельзя было медлить, я позвал старика-формовщика, и через четверть часа мы были уже на Никитском бульваре, в доме гр. Т(олстого). Гробовая крышка, встреченная нами у входа, подтвердила внезапную горестную весть. Я взошел по парадной лестнице в верхние покои, где в совершенной темноте ходил по комнатам хозяин дома и на вопрос: «Где Н. В. Гоголь», — ответил, указывая обратно на лестницу: «Там, внизу». Когда я подошел к телу Гоголя, он *не казался мне мертвым*. Улыбка *рта и не совсем закрытый правый глаз* его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску; но приготовленный гроб, в который должны были положить в тот же вечер его тело, наконец, беспрестанно прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником заставили меня и моего старика, указывавшего на следы разрушения, поспешить снятием маски, после чего со слугой-мальчиком Гоголя мы очистили лицо и волосы от алебаstra и закрыли правый глаз, который, при всех наших усилиях, казалось, хотел еще глядеть на здешний мир, тогда как душа умершего была далеко от земли».

Это коротенькое фактическое сообщение, напечатанное вскоре после смерти Гоголя в отделе городской хроники «Московских Ведомостей», за 1853 г. (№ 25), — как оно совпадает с этими строками о другой покойнице, написанными самим Гоголем:

«...Хома отворотился и хотел отойти от гроба, но, по странному любопытству, не утерпел и взглянул на нее. Резкая красота усопшей показалась ему страшною... В ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего; оно было живо, и философу казалось, как будто она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза»...

Какое совпадение *сущности* обоих рассказов!.. Я люблю этот портрет Гоголя в гробу, где его исхудавшее лицо, с острым и длинным носом, окаймлено белой подушкой и венком из зелени, положенным около темени и лба. Как оно выразительно, как говорит о его желаниях, до чего загадочно!.. Но нельзя не поразиться, что этот его «портрет в гробу» (с литографии того времени) *точь-в-точь* совпадает с наброском, сделанным с него, когда еще он был учеником гимназии высших наук в Нежине, одним из гимназических товарищей *: эта же худоба, отсутствие теней, штрихов на лице, как бы его гладкость и обрезанность, длинный острый нос, сжатые губы, и не просто серьезность, а как бы *старость*, сухость и брюзжащее нравоучение в лике, позе, даже в наклоне головы! Этот юношеский портрет совпадает с посмертным: точно невидимая рука взяла его осторожно с затылка и спины и подняла из гроба, — и поставила этого «выходца с того света» перед шалуном-товарищем, который верно бы испугался и не стал рисовать, если бы

* В № 15 «Иллюстрации», издававшейся в 1845 г. товарищем его по этой гимназии, известным Кукольниковом.

знал, что за чудище стоит перед ним. Эти два портрета неизмеримы в осмысленности сравнительно с отвратительным портретом Моллера (от 1841 г.), обычно всегда прилагающимся к сочинениям Гоголя, где он снят шаблонно, плоско, и, пожалуй, снят под одной из масок своих героев, какие любил нашивать при жизни. В Гоголе было чрезвычайно много актера, притворства, игры, одурачивания ближних и соседей. И только в гробу, да еще для наблюдательного товарища в школе, верно следившего за ним потихоньку, он показался «как есть», в этом загробном и страшном, противоестественном своем образе. С этим совпадает одна запись С. Т. Аксакова в его известных воспоминаниях («Мое знакомство с Гоголем»). Жуковский, у которого гостил Гоголь, подвел его раз посмотреть потихоньку, как он сидит за творческой работой. «Он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя; тихо отпер и отворил дверь, — я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спенсер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело...»

И опять, как мертвый Гоголь напоминает панночку-колдунью из «Вия», живой и вдохновенный Гоголь напоминает пана-колдуна из «Страшной мести», ходившего, несмотря на казацкое происхождение, в турецком наряде... «Приподняв иконы кверху, есаул готовился сказать краткую молитву... как вдруг закричали, испугавшись чего-то, игравшие на полу дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их казака. Кто он таков, — никто не знал. Но уже он протанцевал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо казака переменялось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб; и стал казак — старик.

— Это он! Это он, — кричали в толпе, жмясь друг к другу.

— Колдун показался снова! — кричали матери, хватая за руки детей своих».

У всех писателей есть, так сказать, *нажимы* пера; в писаниях великих авторов наблюдательный взор откроет местами маленькое волшебство, что-то странное, загадочное, и хотя бы объективно не очень значительное, но что останавливает на себе внимание явной и вместе темной связью с душой автора. Как Гоголя, написавшего «Нос», т. е. историю о том, как нос «майора» Ковалева попал в свежее испеченный хлеб, — написавшего «Коляску» и прочие смехотворные вещи, до того смехотворные, что наборщики в типографии прыскали со смеху, набирая его рукопись, и затем написавшего странную вещь — «Мертвые души»,

от которых покоробило всю Россию, вся Россия заметалась и застонала, увидя себя в таком отражении, и кончившего все сожжением дальнейших рукописей, поездкой в Иерусалим, покаянной «Перепиской с друзьями», попытками «Авторской исповеди», дошедшей в одном экземпляре за скорой кончиной автора, но за которой, проживи он долее, наверное, последовали бы еще другие, более интересные «Исповеди»,— как его, в этих его литературных превращениях, во всей судьбе, странствиях, не сблизить с этим казаком, который на глазах публики из весельчака превращается в старого горбуна и который сокровенно есть колдун... Еще маленькая подробность: кто не помнит, как в «Тарасе Бульбе» казаки умирают за веру:

— За Сечь!

— За веру!

И казаки выпивают чарку «всем воинством» накануне, как умереть за эти столпы своего существования. Мы в детстве, читая «Бульбу», трепетали первыми восторгами к вере своей, к родной земле своей, волновались первым негодованием к «ляхам» и «католикам»... До того поэмарассказ проникнута народным чувством, широким, красивым, могучеобаятельным. Но кто же рассказал нам это? Зяблик... Кто знает биографию Гоголя, знает, что он все зябнул в России, везде ему было холодно, для него специально натапливали печи, и он нигде и никак не мог согреться, и даже это выставил как один из мотивов, серьезно или смеясь, но отчасти бесспорно серьезно,— что не может продолжать жить в России и вот уезжает в Рим... А то был Рим не теперешний, с королем и газетами, с отелями и дипломатией, а старый Рим пап, настоящее «чертово гнездо» Европы, говоря понятиями Бульбы и самого Гоголя, как автора «Бульбы»...

— Казак, слава Богу, ни *чертей*, ни *ксендзов* не боится (из «Страшной мести»),— сближал сам Гоголь.

И вот... он уехал к ксендзам, в вековую, извечную, начальную родину ксендзовства и всего ксендзовского духа, всей ксендзовской сути! И в письмах называет Рим «настоящей *родиной своей души*»,— он до того, казалось, русский! До того, казалось, переполненный стихиями православия и народности!.. Все это до того невероятно, сплетает узор такой странности, над которым кружится голова у думающего человека.

Конечно, в католичество он не перешел... Он — не барышня, и не из уставших русских княгинь.

Он в Риме жил, смотрел, думал. Что думал,— никто не знает. Именно *там* писал он «Мертвые души»,— «сию русскую поэму», как определял сам это свое произведение.

Что же такое Гоголь? Кто он?

Все писатели русские «как на ладони» у русских критиков и историков, у русского общества, но Гоголь есть единственное лицо в нашей литературе, о котором хотя и собраны все мельчайшие факты жизни, подобраны и классифицированы все его письма, записочки,

наконец изданы обширные личные воспоминания о нем, — тем не менее после полувека работы он весь остается совершенно темным для нас, совершенно непроницаемым. Никто и ничего о нем не знает, не понимает. В этом все соглашаются, это так очевидно для всех. Факты — все видны; суть фактов — темна для всех. Именно нет *ключа* к разгадке Гоголя... Между тем как, например, Пушкин и без «ключа» для всех ясен, никто о нем ничего не загадывал и ничего в нем не разгадывал; Лермонтов и Чаадаев опять же ясны или *объяснимы*. В Гоголе замечательно не одно то, что его не понимают, но и то еще, что все чувствуют в нем присутствие этого необъяснимого, и притом не теперь только, но и когда-либо...

— Величайший реалист и величайший фантастик!

— Величайший выразитель стихии русской народности, патетический ее провозвестник, защитник, «пророк»! Как он говорил о русском языке, о русском «метком словце», сравнивая его с немецким словом и французским! Уж это-то, подлинно, не притворно. Но не притворялся же он, и говоря: «Рим есть моя родина». Тот Рим, то папское и ксендзовское, что было извечно жесточайшим врагом православия и стихии русской народности.

Что же это такое? — Никто не понимает, и понять нельзя.

Что думал великий художник, живя в Риме? В том *старом* Риме, о котором краткие и многозначительные заметки оставил Герцен; о котором порой говорили Вл. Соловьев, К. Леонтьев; о котором несколько строк разительной силы сказала Башкирцева в своем «Дневнике»; том Риме, который остается неведом туристам и верхоглядам. Замечательно, что еще до поездки туда Гоголь написал свой «Рим». Т. е., что он *предчувствовал* его; что он поехал не в *(terram incognitam)* *, на авось и случайно, а поехал как пилигрим, которому «открылось нечто в видении», ну — в видении его грез, соображений, догадок, размышлений, предчувствий.

Приехал. И смотрел. И видел. И вспоминал о своей родине. И писал «Мертвые души».

«Моим горьким смехом посмеются» — это не одна эпитафия на его надгробном памятнике в Москве, это и эпитафия ко всей его биографии.

После короткого периода, когда он забавил и восхищал Русь своими малороссийскими рассказами, — он сделал как бы несколько «проб пера» своими петербургскими повестями. «Миргород» и «Петербург» — так можно было бы объединить его творчество до «Мертвых душ».

И, наконец, «сия русская поэма», которую он, такой патриот, не захотел испортить вставкой ни одного иностранного слова — «Мертвые души». Это — уже Русь, вся Русь. Один из лучших немецких критиков заметил, что первые главы «Мертвых душ» совершенно равнозначны творениям эллинского гения. То самое, что эллины сделали в мраморе, Гоголь сделал в слове: он изваял фигуры до такой же степени вечные

* неведомая земля (лат.).

и универсальные, до такой же степени безупречные, как Аполлоны и Зевсы Фидиев и Праксителей. «Кто помнит старый немецкий быт,— кончает немецкий критик,— тот читает у Гоголя изображения не только русских чиновников и помещиков, но видит в них и своих немецких соотечественников, говоривших только на немецком языке, но с этой же душой, понятиями, жизнью. Это книга не только старорусская, но и старонемецкая».

Аполлон и Плюшкин — какое сопоставление!..

От Аполлона до Плюшкина — какое нисхождение!

«Первое, что я услышал на русском языке, в пограничной таможене,— рассказывал Гоголь своим московским друзьям,— это как один таможенный чиновник говорил другому наставительно: *чин чина почитай*». Он ничего не прибавлял к этому, не разъяснял...

Но он торопился куда-нибудь выехать опять. Поехал в Иерусалим. Замечательно, что об Иерусалиме он не оставил никаких заметок, никаких воспоминаний; ни единого следа не сохранилось в его впечатлительности. Точно он осмотрел Шклов или Сорочин. Это тоже одна из поразительных загадок его личности и биографии.

Затем как-то без болезни заболел... Все молился, все постился и, кажется, заморил себя голодом или постом.

И опять, точно каким-то сверкающим автобиографическим признаком звучат эти строки из молодой его повести,— повести тех лет, когда он все смеялся, а в душе своей уже был так стар:

«Одинокое сидел в своей пещере перед лампадой схимник и не сводил очей с своей книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере; уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыв святой старец свою книгу и стал молиться»...

Доселе — одно лицо Гоголя. Это — Гоголь «Переписки с друзьями», это — Гоголь, друг Толстых; Гоголь в одном ряде воспоминаний о нем, но только — одним.

Вот другое его лицо:

«Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились, страшный огонь пугливо сыпался из глаз, дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

— Отец, молись, молись! — закричал он отчаянно: — молись о погибшей душе моей!

Схимник перекрестился, достал книгу, развернул и в ужасе отступил назад и выронил книгу:

— Нет, неслыханный грешник! Нет тебе помилования. Беги отсюда, не могу молиться о тебе.

— Нет? — закричал грешник.

— Гляди: святые буквы в книге налились кровью...»

Это же *те самые слова, те звуки, тон звуков*, какие мы читаем в письмах Гоголя к старцам Оптинской пустыни, какие он говорил священнику

Ржевскому, отцу Матвею; наконец, судорогой именно этого испуга, покаяния полны предсмертные месяцы и дни Гоголя. Это — *его* лицо!

Вот два его лица, совмещенные на одном человеке, в одной жизни, в одной совести, которая ведь горит перед Богом, жжет грудь человека! Только догадавшись об этом, можно понять, почему он еще таким молоденьким написал «Записки сумасшедшего», — с заключительным их выкриком:

— Матушка моя! Пожалей своего бедного сына. Где ты?

И эту заключительную строку смехотворной «Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»:

• «Скучно на этом свете, господа!»

Гоголю везде было скучно. Всегда было скучно. От скуки он уехал в Рим, потом в Иерусалим; да и в России он не мог долго оставаться на одном месте, и все странствовал и странствовал, ездил по тогдашним невозможным дорогам в тогдашнем невозможном экипаже, должно быть, «в бричке»...

Гений его, отношение его к нашей действительности, отношение к мировой истории — вот что сплетает его личность.

Гений, сила пластического изображения, дар слова и дивный глаз наблюдателя, — все дано было ему в рождении. Это — алмаз, в него вложенный. Тут нет темы для размышления, для разгадывания. Это явление простое. «Так родился»...

Но алмаз и острую его грань можно повернуть так и этак; осветить им одно или осветить совершенно другое. Зорким глазом можно выследить одно и выследить совершенно противоположное; и как одно, так и другое будет верно, правильно, но с неизмеримой разницей в последствиях, во впечатлении на читателя... У Толстого тоже не дурной глаз, но в людях почти одной эпохи, какую изображал и Гоголь, он высмотрел «Войну и мир», тогда как тот высмотрел «Мертвые души».

Итак, загадка лежит в том, почему острая грань гоголевского гения повернулась к миру так, а не иначе. Почему «горьким смехом моим посмеюся»... Мы видим в вещах то, что хотим видеть. Мы высматриваем во всех случаях истину; но, кроме того, мы высматриваем еще *любовь* нашу. Зритель, художник, романист, поэт, — они все суть мировые охотники, и ищут каждый «любимую дичь»... Патетическое, восторженное, лирическое освещение вещей, и освещение уничижительное, зависит в сущности от вкуса. Один любит «горькие травы», другой — «сладкие травы»... Гоголь выбрал «горькие травы» — всю жизнь пасся на горьких нивах. Все-таки здесь мы если и не постигаем загадку его души, то подошли к тому углу, где скрыта загадка. Мы можем никогда не отыскать ключа от крепко запертого чулана, но все-таки знать, что «вот тут что-то главное заперто». Все-таки это кое-что.

Он жил в Риме. Но в Риме он писал «Мертвые души». Черная жемчужина на белом фоне. Гоголь выбрал самый ослепительный фон (в его представлении, может быть, — в иллюзии), чтобы положить на него

самую черную жемчужину. Он положил глаз на купол св. Петра, на арку Тита, — с изображением триумфов после взятия Иерусалима, на Колизей, Colosseum, но через них, сквозь призму их видел и видел Поприщина, Акакия Акакиевича и всю родную департаментщину...

Пал Иерусалим. Тит входит в Рим... «Чин чина почитай», — как сказал таможенный чиновник.

Микель-Анджело расписывает Сикстинскую капеллу, — Акакий Акакиевич, наконец, достиг того, что переписывает бумаги без клякс.

«О, Русь! Куда мчишься ты?»...

В самом деле, куда она «мчится» с Акакием Акакиевичем, с Клейн-михелем, с Поприщиным и интересными дочками городничего и директора департамента...

«О, Анунциата»...

Пишет Гоголь, а вспоминаются ему мамаша и дочка, обе влюбившиеся в Хлестакова.

«О, не лейте же мне на голову холодную воду», — восклицает он за Поприщина, но восклицает и за себя. «Матушка моя, пожалей ты своего сына»: здесь «матушка» и Поприщин, но и «матушка», т. е. Русь — Гоголя.

Как каленые клещи, рвали его сердце в разные стороны и вековые идеалы, — нет, вековая *действительность*, действительность прожитой, отжитой жизни, памятники которой он видел на берегах мутного Тибра, и вся *мелочь* Николаевского времени:

В мундирах выпушки, погончики, петлички...

Главное — *мелочь!*.. И такая, которой, по замыслу ее строителей и вдохновителей, и *конца не настанет*. Установилось время окончательно. Россия первенствовала в сонме держав. Крымские громы еще не раздались: Гоголь умер до них. Небо было ясно. Не установилось твердо и окончательно. Но что же «установилось»?

— Выпушки, погончики, петлички...

О, «мертвые души»! — как естественно выкрикнулся этот крик.

* * *

Известно, что Гоголь был жалким профессором истории. Он и не знал ее, т. е. он никогда не копался и не имел призвания копаться в ее трудных и порой скучных письменных памятниках. Он был художник, он был пластик. Подробности не закрывали от него целого. Зоолог в ведре морской воды может найти чудеса морской фауны и флоры, и, найдя это, рассмотрев все под микроскопом, он может все-таки не иметь никакого представления о море, о шуме его, о красоте его, о загадке его. Все это может лучше его знать моряк, и при случае, при даре, может выразить чувство моря в песне, не достижимой для ученого микроскописта... Именно это случилось с Гоголем.

Он пропел удивительную песню. Я приведу ее, так как она неизвестна очень многим даже записным историкам и словесникам.

Ее, например, не знал покойный директор частной гимназии в Москве, Л. И. Поливанов, образованнейший в общем человек. Она помещена в малочитаемых «Арабесках». Песню эту невозможно не сближать с «Мертвыми душами», ибо только в этом сближении «Мертвые души» получают некоторое объяснение.

«Бедному сыну пустыни снился сон:

Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трех разных сторон глядят в него палящие берега Африки с тонкими пальмами, сирийские голые пустыни и многолюдный, весь изрытый морем, берег Европы.

Стоит в углу, над неподвижным морем, древний Египет... Величайший, весь убранный таинственными знаками и священными зверями... Он неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимая тлением.

Раскинула вольные колонии веселая Греция... Острова, потопленные зелеными рощами, кинамон, виноградные лозы, смоковницы помавают ветвями; колонны, белые, как перси девы, круглятся в роскошном мраке древесном... Мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом... Жрицы, молодые и стройные, с разметанными кудрями, вдохновенно глядят черными очами... Корабли, как мухи, толпятся близ Родоса и Корциры...

Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозной сталью мечей, вперив на все завистливые очи и протянув свою жилистую десницу...

Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто царства предстали все на страшный суд перед кончиной мира.

И говорит Египет, помахивая тонкими пальмами, жилищами его равнин, и устремляя иглы своих обелисков: «Народы, слушайте! Я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Все — тлен. Низки искусства, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком! Все пожирает смерть, все живет для смерти! Далеко, далеко до воскресения! Да и будет ли когда воскресение? Прочь желание и наслаждение! Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование».

И говорит ясный как небо, как утро, как юность, светлый мир греков, и, казалось, вместо слов слышалось дыхание цевницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вместе с ней ее наслаждение. Все неси ему. Гляди, как выпукло и прекрасно все в природе, как дышит все согласием. Все в мире; все, чем ни владеют боги, все в нем; умей находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель мира, венчай дубом и лавром прекрасное чело свое!! Мчись на колеснице проворно, правя конями на блистательных играх! Далее корысть и жадность от вольной и гордой души! Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мира, а властительницей их — красота! Увивай плющем и гроздием свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой

подруги! Жизнь создана для жизни, для наслаждения,— умеи быть достойным наслаждения!»

И говорит покрытый железом Рим: «Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека: оно уничтожает его в себе самом. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение — в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждай, человек!.. Слышишь ли, как у ног твоих собрался весь мир и, потрясая копьями, слился в одно восклицание? Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мира?.. Стремись вечно. Нет границ миру,— нет границ и желанию...»

Но остановился Рим и вперил орлиные очи на Восток. К Востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; к Востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи.

Камениста земля, презренен народ; немногочисленная весь прислонилась к обнаженным холмам, изредка неровно оттененным иссохшей смоковницей. За низкой и ветхой оградой стоит ослица. В деревянных яслях лежит младенец; над ним склонилась непорочная мать и глядит на него исполненными слез очами; над ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом.

Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапрашур земли... (1831 года).

Было бы безвкусицей поправлять подробности этой картины. Кто же поправляет песню? При частных ошибках она имеет такую истину целого, какой не заключают в себе подробнейшие скрупулезные исследования!

Гоголь бесспорно был прав, написав эти «исповедания» народов и *resumé* их жизни. Ну, и что же скажет русский, взглянув на это все? Что он всех догонит и перегонит на своей «тройке», запряженной Собакевичем, Ноздревым и Маниловым? Из колоссального, режущего, оглушающего контраста родились «Мертвые души»...

Отечество лило ему «холодную воду на голову», как Поприщину,— может быть, даже не очень различая его от Поприщина... Что Клейнмихелю до Гоголя? «Сумбурный человек, веселый рассказчик и отвратительный профессор, которого даже по службе нельзя подвинуть, неудобно дать ему орден»... Между тем, в Гоголе, как видно из этой панорамы, из музыки слов ее, жил такой напряженный идеализм, такая тоска по идеалу, непременно по всемирному, который облил бы смыслом своим все человечество и объединил бы его, связал его этим смыслом, одной целью,— что он годился... и в роль Петра Пустынника, проповедавшего крестовый поход, и в роль папы и отца народов, или, по течению русской истории, ближе к русской действительности, он годился к роли анархиста-мечтателя, осуществляющего на русском севере мечту

халдейского Эдема... Что-то вроде экстатического мечтателя Кириллова из «Бесов» Достоевского. Но Кириллову Бог не дал литературного таланта, и он умер безвестно и без последствий, сгорев в мечтах своих, в тоске своей. Гоголю Бог дал громадный дар, чудовищную силу,— правда, заключенную в маленьком орудии пера. Гоголь с неистовством Поприщина, замученного докторами, опрокинул на «отечество» громадную свою чернильницу, утопив в черной влаге «тройку», департаменты, Клейнмихеля, перепачкав все мундиры, буквально изломав все царство, так хорошо сколоченное к половине XIX века.

Вот то, что рационально можно понять в нем. О более глубоких, подспудных течениях в его душе мы не можем даже догадываться. Уже не бродила ли у него мысль: «Да откуда взялись все эти мертвые души? откуда так мертва, безветренна поверхность русского моря?» И не связал ли это он с известными первоначальными устоями, на которых всегда все держалось на Руси, которые и он воспел в «Бульбе» и в *народных* малороссийских рассказах? Сюда толкает мысль то, что он назвал Рим «родиной души своей»,— а Рим был для казаков, для православия, для Руси приблизительно тем, что для киевских старушек «Лысая гора». Толкает мысль к этому и то, что он ничего не сказал и не записал о впечатлении от св. мест, как будто он в самом деле съездил в Шклов. Но если в душе Гоголя бродили хотя бы в виде смутного предчувствия все эти догадки, которым богатое движение дали впоследствии такие умы, как Соловьев, или как наши «нигилисты» типа Бакунина («всемирная анархия»), то он, благонравный сын своих родителей, попечительный братец своих сестриц и, наконец, патриот, когда-то искренно веривший, что всех раздавит русская «тройка»,— должен был почувствовать в себе такой ад, такой «грех», такое неискупимое преступление перед родной землей, которые его и толкнули к сѹдорогам последних лет, к «Авторской исповеди» и «Переписке с друзьями», к молитве, покаянию, посту и полному подчинению своего гениального «я» узкому и жесткому уму и железной воле фанатика отца Матвея в Ржеве. Уже Достоевский заметил, что «мечта беса — воплотиться в семипудовую купчиху и ставить восковые свечи». Очень спокойно. Достоевский сказал это с водевильным привкусом. Но можно то же произнести и в трагическом тоне. И у Гоголя, кажется, совершилось это самое, но только в тоне трагическом до смертного исхода...

И все же, за всеми этими возможными объяснениями, Гоголь остается темен и темен. Все объяснения и, так сказать, самый метод *объяснительности* грешат тем именно, что они рациональны... Тут чем понятнее и «разумнее», тем дальше от действительности, которая заключается именно в неразумности, тьме, в смутном. Гоголь, очевидно, был болен или очень страдал,— но не от тех маленьких пороков, которые называют в связи с его именем и от которых ничего особенного не случается, как это хорошо известно медикам. «Раннее написание «Записок сумасшедшего», в такой степени правдоподобных, указывает, что ему вообще

знакома была стихия безумия... При его остром уме, непрерывной наблюдательности, при его интересе к действительной жизни,— тогда как формы умственного расстройств прежде всего связываются с полной апатией к реальной действительности,— правдоподобнее всего предположить, что боль и страдание, возможный хаос и дезорганизация прошли не через ум его, а через совесть и волю... Здесь была какая-то запутанность, и в этом скрывается главный «икс», которого рассмотреть мы никак не можем...

Гений формы

(К 100-летию
со дня рождения
Гоголя)

«Здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего неизвестно».

Гоголь, «Нос»

...О чем именно читал я час?.. Да, цирюльник Иван Яковлевич, проснувшись, спросил у жены свежеепеченного хлеба, но когда разрезал его, то нашел внутри запеченный человеческий нос... В это же утро майор Ковалев, проснувшись и спрося зеркало, увидел, что его нос пропал куда-то. Вскочив как ужаленный с кровати, он встряхнулся, думая, не найдется ли нос. Но ни на простыне, ни на кровати, ни на полу его не оказалось. Нанимает извозчика и мчится к полицеймейстеру жаловаться на происшествие,— но не застает его дома. Бросается в газетную экспедицию, чтобы напечатать объявление о пропаже у него носа, но экспедитор отказывается принять такое объявление за странность. Мысленно виня во всем одну барыню, на дочке которой он отказался жениться,— едет дальше: и с изумлением видит, как из кареты вышел его собственный нос, в мундире статского советника, «в панталонах и при шпаге», и начинает гоняться за ним. Нос ускользает насмешливо, так сказать, «проведя за нос» своего прежнего обладателя, увы, теперь безносого! Обращается к доктору, но тот ни в чем помочь не может. Наконец, является добродетельный квартальный и говорит, что нос нашелся: именно, запасшись чужим паспортом, он уже готовился улизнуть в Ригу, но был арестован в то самое мгновение, как хотел сесть в дилижанс. Сперва нос не хотел пристать к месту, падая на стол, «как пробка», но, наконец, в одно прекрасное утро, пристал. Упоенный Ковалев «с носом» несется во все стороны, делает визиты, заезжает в канцелярии, пьет шоколад в кондитерских, и, словом, счастлив почти как новобрачный.

— Что же я читал, о чем? Только что прочитав, можно еще передать с именами, в обстановке и вообще в подробностях, но через некоторое время, когда имена забудутся, частности — точно так же, рассказать будет решительно не о чем. Я не о том говорю, что все это чудесно и невероятно: о чудесном и невероятном рассказано множество прелестнейших вещей, и сказок, и грез, и поэм. Я говорю о том, что тут вообще ничего нет, о чем стоило бы рассказать, что хотя на минуту возбудило бы нашу любознательность, любопытство, в каком-нибудь отношении возбудило бы наш интерес или тронуло, задело хоть какую-нибудь сторону души. Ведь, наконец, человек состоит не из одних глаз, которыми можно читать, но и из души, которая ищет чего-нибудь в читаемом. Здесь — ничего нет.

Майор Ковалев был с носом.

Потом нос соскочил со своего места.

Потом — опять вскочил на прежнее место.

Если когда-нибудь мне хотелось «чихнуть в нос» кому-нибудь, то это именно майору Ковалеву, и притом не когда он нашел его, но когда он был без носа. Ибо такого глупого носа, такого вредного носа, мешающего людям заниматься серьезными вещами, — решительно не было ни у какого человека, и само собой разумеется, что Ковалев не только *обязан* был потерять его, но для блага человечества и не должен был никогда находить его. Благопопечительное начальство не только не должно было арестовать этого носа при его бегстве, но, напротив, обязано было выпроводить его за границу, для порядка и гармонии. Ибо если у всех носы начнут выделять такие истории, а авторы примутся об этом рассказывать, то Россия обратится в сумасшедший дом, а литература обратится...

В самом деле, во что она тогда обратится?..

«Носа» Гоголя не только никто не зачеркивает в его произведениях, но и никто *не захочет зачеркнуть*, всякий *воспротивится* зачеркиванию, воскликнет: «Это — наше», «Это — дорогое нам, «с этим мы ни за что не расстанемся». С чем «не расстанемся?» С историею о том, как Ковалев потерял свой нос и потом опять нашел его? Ведь тут *ничего нет!* Нет *сюжета!* Нет *содержания!*

— Содержания?.. Действительно, нет! Но *форма*, но *как рассказано* — изумительно!

Этот спор или маленький диалог между двумя читателями или читателя с самим собою, справедливости которого невозможно отвергнуть, вводит нас в самую *суть* Гоголя. Что такое «Мертвые души»?

В сути это есть история о плуте: человек решил скупить документы, записи об умерших крепостных людях, конечно — скупить их за гроши, ибо умерших людей уже нет в наличности и они никому не нужны. Затем их заложить в казне, получить деньги и разбогатев, скрыться. Глава из Шерлока Холмса или приключений Люпэна.

Что такое «Ревизор»?

Рассказ об ошибке чиновников, принявших проезжего, голоштанного человека за присланного из Петербурга важного ревизора. Редкий случай, и во всяком случае пуф. Почти «Нос».

«Коляска»?.. История о том, как хозяин, к которому ехали гости, забывший о приглашении их и не приготовившийся их принять, спрятался от смущения в коляску. Они пошли осматривать ее и увидели его там в забавном положении.

Обиделись, оскорбились и уехали. Решительно — «Нос»! Знаменитая и действительно великая «Шинель» есть рассказ о том, как бедный, несчастный чиновник сшил себе новую шинель, но ее у него ограбили, сняли с плеч на улице. Он был потрясен и умер, но мертвецом стал ходить по улицам и снимать шинели с важных господ, вот с тех, которые нераспорядительностью своею по полиции не могли предупредить ограбления у него шинели. Все-таки суть «Носа» проглядывает и через этот сюжет. И Гоголь удивительным образом, почти чудесным образом никак не может переступить за схему «Носа». То есть:

Содержания почти нет, или — пустое, ненужное, неинтересное. Не представляющее абсолютно никакой важности.

Форма, то, как *рассказано*, — гениальна до степени, недоступной решительно ни одному нашему художнику, по яркости, силе впечатления, удару в память и воображение, она превосходит даже Пушкина, превосходит Лермонтова.

У Гоголя невозможно ничего забыть. Никаких мелочей. Точнее, у него все состоит из мелочей, за схему мелочей, за инвентарь мелочей он не умеет переступить: но они сделаны так, каждая из них сделана так, что не уступит ...ну, Венере Медицейской. Все полно такой *действительности*, такого *реализма*, такого совершенства вычерченности, на котором поистине не лежит никакого упрека. Греки подписывали под статуями: «делал» (такой-то), а не «сделал», сказывая этим о недовольстве своим, о незаконченности создания. Под всем, им написанным, Гоголь по справедливости мог написать: «сделал Гоголь». Он сам иногда проговаривается о «последней ретуши» живописца, любит — в лирических местах — повторять о «резце художника» и «дивном мраморе, вышедшем из его рук». Это какая-то безотчетная любовь к формулам, которые так выражают его суть: у него, Гоголя, везде «последняя ретушь» и не ошибающийся резец, который режет чудотворную действительность.

Но — маленькую, пошлую, миниатюрную.

Гоголь есть весь солнце в капле воды. За это определение не переступишь. Солнце — его гений, несравненный, изумительный. Но солнце это такое особенное, волшебное, чудесническое, которое для отражения своего, для воплощения своего, для проявления себя миру ищет непременно капли, совершенно крошечной и непременно завалившейся куда-нибудь в навоз. Как только подобная вонючая капля найдена — гений Гоголя упоен и отражается в ней во всей огромности, в чудовищности

своей. Тут какой-то закон. Закон сожития или симпатии. Чем выше гений Гоголя и даже чем сильнее его пафос в данную творческую минуту, тем он отыскивает для воплощения самое что ни на есть малейшее, пошлость, уродство, искривление, болезнь, сумасшествие, или сон, похожий на сумасшествие. Ведь «Нос» буквально глава из «Записок сумасшедшего». Сами «Записки сумасшедшего», — где какой же сюжет? изумительны. «Записки сумасшедшего» — это нить нескольких плетеных в одно «Носов».

Напротив, все большое, крупное, — не величественное и не преувеличенное, но именно просто большое, — все здоровое, хорошее, нормальное даже не воспринимается им. Увидев такое, он отходит в сторону, совершенно об этом не любопытствуя. «Не чувствую запаха», — говорил он о всем, если это не падаль. Но вот сыр пармезан, из которого выползают живые черви, — и тут ноздри Гоголя широко раскрываются, а лицо выражает наслаждение и жадность. Такой сыр «пармезан» его Плюшкин, Собакевич, да и все суть степени и состояния того же пармезана. Постарше сыр — погнилее, помоложе — посвежее. Но непременно, чтобы черви ползали. Они ползают около всех этих «мертвецов», сыплются из них, из Манилова, Собакевича, Селивана, Петрушки, и, Боже мой, кого еще... Все, все — «Мертвые души»: как это удачно сказалось, как гениально определилось! И — выразилось... Пармезан, острый, пахучий, соленный, не забываемый... Какой-то всплеск или выплеск из вод Мертвого озера, которое поместил же Господь Бог в самом святом месте. И у Гоголя мы ни малейше не отрицаем святых, высоких порывов, высочайшего идеализма. Но... везде ползают черви. Позволительно это в Палестине. Отчего не случится было такому в Гоголе? Встречается крупное — и это просто не интересовало его. Где хорош человек? Мать около люльки ребенка, жена около постели умирающего мужа; хорош человек в болезнях: мишура слетела, ложь отошла. В «Мертвых душах» никто не умирает, — кроме *двух строк уведомления* о смерти, кажется, прокурора, нигде мать не качает, не кормит ребенка. Детская, учебная комната — опять что-то правдивое, прямое. Но где этого нет? В каждом доме. Можно ли представить помещичью усадьбу без детей, учебной комнаты, без кормящей матери? Ведь целое «поместье»! Но как сюда нельзя было подпустить ползающего червяка, и тут решительно не пахнет пармезаном, то Гоголь просто пропустил все это мимо. Похоже на Вия.

«— Не вижу. Поднимите веки».

Но никто Гоголю не поднял век. А сам он, как и Вий же, не имел сил поднять собственных век. Гений. Судьба. Никто через судьбу свою не переступит, и гения, как и горба, никто не сбросит с себя, даже замученный им.

Гоголь представляет, может быть, единственный по исключительности в истории пример *формального гения*, т. е. устремленного единственно на форму, способного единственно к форме, чуткого единственно

к форме, в ней одной, до известной степени, всеведущего и всемогущего. И — без всякой чуткости, без всякой мощи, без всякого ведения о содержании, о мысли, о «начинке». Известно, что Гоголь всю жизнь поучал. Поучал даже собственную мамашу, еще когда был гимназистом. Но в чем состояли его поучения? «Становитесь добродетельнее и слушайте божественную литургию». Это он в юности говорил и дальше этого не пошел. Его слова в описаниях о «неподвижном воздухе», о том, как жаворонок «недвижно парит в синеве неба», и то, что он никогда не описал плывущих по небу облаков, и это небо всегда у него однообразно-синее, — как-то выражает суть его гения. И в людях он не описал ни одного движения мысли, ни одного перелома в воззрениях, в суждении. Все «недвижно»... Наведет зеркало и осветит человека, изумительно осветит, — как никогда и никто не умел. Но и только. Дивный телескоп его глаза поворачивается к другому предмету, все по типу «обозрения инвентаря», следуя каталогу или словарю: а о первом предмете и он сам забыл, и читатель не помнит иначе, как только о фигуре, и во всяком случае этот освещенный человек ни в какую связь и ни в какое отношение не входит с другими фигурами. Будьте уверены, что Селифан и в следующей главе опрокинет бричку, если вообще о нем будет упомянуто: Гоголь как заставил его раз уронить бричку, — и гениально уронить, — так и остановился на этом: больше ничего с ним не может сделать. И вышел из Селифана специалист по опрокидыванию бричек, — вещь довольно узкая и сухая. «Уж так Господь Бог создал», отшучивается или отшутился бы Гоголь. Но, оказывается, и все другие у него такие же специалисты: Плюшкин по скупости, Собакевич по грубости, Манилов по слащавости. У Собакевича оказывается в «специалистах» даже и мебель.

«Чичиков еще раз оглянул комнату и все, что в ней ни было, все было прочно, неуклюже в высшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах — совершенный медведь; стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич».

В клетке сидит птица. Чичиков вглядывается:

«Дрозд темного цвета, с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича»...

— Ну, это уж слишком, — скажет читатель. Но я его поправлю.

— Почему же слишком? Разве есть женщины, похожие на Афродиту Милосскую? Но все живые женщины, какие ни есть, со своей жизнью, со своею действительностью, не сотворили того впечатления, того облагораживающего, возвышающего влияния, какое сделал и делает вторую тысячу лет этот недвижный, бездушный мрамор. Так еще *бездушен* ли он по этой силе своего действия, нет ли тайной особой души в формальном начале, в простых, бледных, бесцветных формах? Они бессодержательны, но прекрасны. Снимите самые верные портреты с живых

женщин, пусть их рисуют Брюлов, Иванов, Репин, Серов: человечество, на минуту взглянув на них, пройдет мимо и не задумается, не вспомнит, не воспитается и не разовьется в них. А на Афродите Милосской воспитываются: об этом сказали нам Тургенев и Глеб Успенский, такие несходимые люди, несходные в направлении, во всех взглядах! И сказали через 2000 лет после того, как неизвестный художник сделал резцом это холодное тело. Гоголь делал подобное же. Афродита Милосская не думает, не желает. Она стоит. В ней нет даже смотрящего зрачка. Она вся недвижна, вот как воздух у Гоголя. И так же и лица у Гоголя не думают, не желают, если не считать покупку мертвых душ, что можно счесть за предлог, за повод и придирку к написанию поэмы, вроде «потери носа» для 25 страниц другого рассказа. У Гоголя нет нигде мысли, никакой, но у него есть то, что в искусстве гораздо выше мысли — красота, оконченность формы, совершенство создания: Здесь он недосыгаем и его никто не превзошел. И как Афродита Милосская воспитывает и научает, так и Гоголь... потряс Россию особенным потрясением. Гл. Успенский, грубоватый, простой человек, записал, однако, о греческой статуе: «Она *выпрямляет* каждого, кто на нее долго смотрит»... Возвращает к норме, к естественности, к Эдему, к Богу. «Стало легче, и я выпрямился», — говорит бедный человек, европейский человек XIX века, взглянув на греческий мрамор.

Не надо комментировать, что Плюшкин действует совершенно иначе: «Бедные мы люди! Жалкие мы люди! Как ужасен вид человека!» — заговорили обыкновенные, простые, хорошие люди, заговорили Ростовы и Болконские, Гриневы и Ларины, все обыкновенное, все действительное. Под разразившейся грозой «Мертвых душ» вся Русь присела, съежилась, озябла... Вдруг стало ужасно холодно, как в гробу около мертвеца... Вот и черви ползают везде...

«— Неужели так ужасна жизнь?» — заплакала Русь.

Чудищами стояли перед нею Гоголевские великаны-миниатюры; великаны по вечности, по мастерству; миниатюры по тому, что собственно все без «начинки», без зрачка, никуда не смотрят, ни о чем не думают; Селифан все «недвижно» опрокидывает бричку, а Собакевич «недвижно» глядит на дрозда, который обратно смотрит на Собакевича. Все в высшей степени похоже на «Нос»: не о чем рассказать, ничего нет, а между тем вся Русь заметалась, ушибленная, раздавленная.

«Как тяжело жить! Боже, до чего тяжело жить!»

Гоголь, — так-таки решительно без мысли, не только у героев своих, но и у себя, если не считать «Размышлений о божественной литургии» и писем к калужской губернаторше Смирновой, — толкнул всю Русь к громаде мысли, к необычайному умственному движению, болью им нанесенною, ударом, толчком. Сейчас за ним пошли не формальные, слабые, глиняные, сравнительно антихудожественные Рудины, Лежневы, Базаровы, пошли Рахметовы и Кирсановы, выбежал Чернышевский, выскочила «Вера Павловна» (в «Что делать?»); все это. — слабо, ничтож-

но, все не изваяно. Но вот в чем суть: все думают, все *стараятся* думать. Вся Русь «потянулась из жил», чтобы убежать от мертвых червяков Гоголя. Куда бежать?

— Там бессмысленное!

— Побежим к мысли!

В этом *суть*. Суть, что нет, не было мысли. Не то, чтобы в действительности ее не было: ведь были ну хоть декабристы, был ранее уже Новиков, был Радищев. Но Гоголь с чудовищной силой так показал Русь Руси. Афродита Милосская затмила живых женщин, Плюшкин задавил своего *современника* Чаадаева. От Чаадаева косточек не осталось: и Русь, читая «Мертвые души», не *вспомнила* даже, что Чичиков вместо Манилова *мог бы попасть в деревню* Чаадаева или Герцена, Аксаковых или Киреевских, мог заехать к Пушкину, или друзьям и ценителям Пушкина. Громада Гоголя валилась на Русь и задавила Русь.

— Нет мысли! Бедные мы люди!

— Я буду мыслителем,— засуетился Чернышевский.

— Я тоже буду мыслителем,— присоединился «патриот» Писарев.

Два патриота и оба такие мыслители. Стало полегче:

— У нас два мыслителя: Чернышевский и Писарев. Это уже не «Мертвые души», нет-с, не Манилов и не Петрушка...

Всем стало ужасно радостно, что у нас стали появляться люди чище Петрушки и умнее Манилова. «Прочь от «Мертвых душ» — это был лозунг эпохи. Уже через 10—15—20 лет вся Русь бегала, суетилась, обличала последние «мертвые души», и все более и более приходила в счастье, что Чернышевский занимался с гораздо лучшими результатами политической экономией, нежели Петрушка — алгеброй, а Писарев ни малейше не походил на Тентетникова, ибо тот все лежал («специальность»), а этот без перерыва что-нибудь писал.

— Убыло мертвых душ!

— Прибыло души, мысли!

Так как в Гоголе самом не было никакой *определенной* великой мысли, как он толкнул Русь вообще не мыслью, не идеями, а изваянными образами, то движение, от него пошедшее, и не начало слагаться в кристаллы мысли, не приобрело правильности и развития, а пошло именно слепо, стихийно, как слепа и стихийна вообще область красоты, эстетическая.

— Дальше от Гоголевского безобразия...

— Но куда дальше, *как* — никто не знал. Рельсов не было. Был туман, в который двинулась Русь, и в котором блуждает она и до сих пор. Все бегут от прошлого, но куда бежать — никто не видит. Гоголь страшным могуществом отрицательного изображения отбил память прошлого, сделал почти невозможным вкус к прошлому,— тот вкус, которым был, например, так богат Пушкин. Он сделал почти позорным этот вкус к былому, к изжитому; и кроме, кажется, Герцена, да декабристов, стало неприличным чем-нибудь интересоваться в прошлом, или

говорить о чем-нибудь без усмешки, без иронии, без высокомерия. Все «мертвые души» не так хлопотливые, как Писарев, и не так блещущие талантом, как Чернышевский. Ну, ведь даже «Философические письма» Чаадаева многие ли лично читали из образованного общества, а не знают голько понаслышке? много ли из образованных людей *по-настоящему* знают даже Герцена? Пушкин, как известно, лет на тридцать был совершенно забыт, «мертвая душа», которую вышвырнул из сознания общества преуспевающий Писарев. Так как Гоголь кроме поучительного: «совершенствуйтесь в добродетели» и «любите свое отечество» ничего не имел по части идей, то вообще под давлением его авторитета общество страшно идейно понизилось, измельчало, в то же время вечно возясь с книгами и занимаясь книжными темами, чтобы не походить на Чичикова. Если бы Гоголь завещал великую идею, если бы в его «Переписке с друзьями» промелькнула хоть ниточка глубокомыслия Паскаля, психологичности Паскаля, метафизичности Паскаля, как это выразилось в его «Pensées» *,— общество, читатели невольно *поднялись* бы, восприняв и начав развивать *далее* эту мысль. Но что же извлечешь из «Носа», из неудачной ревизии «Ревизора», из скупки мертвых душ? Нечего извлечь. И Русь захохотала голым пустынным смехом... И понесся по равнинам ее этот смех, круша и те избенки на курьих ножках, которые все-таки кое-как стояли, «какие нам послал Бог», по выражению Пушкина (в письме к Чаадаеву). И этот дикий безыдейный хохот,— сколько его стоит еще на Руси!

Русь и Гоголь

Сегодня в Москве совершается торжественное открытие всероссийского памятника Гоголю. Около бронзового монумента первому русскому поэту, великому и несравненному Пушкину, в древней столице поднимается такой же бронзовый монумент и его младшему другу и сверстнику, Украинскому художнику слова, который сделался вторым по значению, по силе и влиянию поэтом вся Руси. Великая и малая Россия через эти памятники, поставленные именно в Москве, этом дорогом «сердце России», сливаются духовно в одно и символически говорят, что есть одна Россия и один русский народ, как одна душа, один голос, одна воля. Гоголь был и всегда хотел быть только русским поэтом, взирая на малороссийство свое, как зрелый человек взирает на свое детство. В самом деле, как «московство» Руси, так и «украинство» южной части ее суть только древние, младенческие и отроческие фазы ее роста, которым принадлежит воспоминание, принадлежит песня и сказка, а не заботливая серьезная действительность. «Хохол» и «хохлушка» остаются и навсегда останутся дорогими, милыми фигурами в русском

* «Мысли» (фр.).

воображении и представлении, но нет «хохлацкой истории», как и «хохлацкая политика» навсегда останется главою кукольного театра, а не серьезным зрелищем. Великий Гоголь вывел малорусский народ на общерусский путь жизни, сознания и говора: и вопроса, им решенного, им повороченного к северу, не перерешить и не переворотить в другую сторону малорослым, а не малорусским полуписателям и полуполитикам. Его великому русскому сердцу они причиняют несносные обиды.

Но оставим их и обратимся к вечному.

Памятник, открываемый Гоголю в Москве, овеществляет, бронзирует мысль о Гоголе, утвердившуюся в душе русского народа. Памятник выражает собою, что Гоголь признан как великий учитель, как великий наставник русского народа: ибо только таким людям, с таким значением, Русь ставит памятники. Значение Гоголя необъемлемо, сила духа его сказалась в необозримых влияниях. Нет русского современного человека, частица души которого не была бы обработана и прямо сделана Гоголем. Вот его значение. О подробностях этого значения могут спорить критики, — и они должны спорить свободно, не стесняясь ничем, даже и его величием: но самый тот факт, что эти споры горячо ведутся сейчас о личности, так давно умершей, лучше всего указывают на бессмертие этой личности, на неиссякаемую ее жизненность, несравненное ее обаяние и власть над душою и воображением человеческим.

В Пушкине Русь увенчала памятником высшую красоту человеческой души. В Гоголе памятником она венчает высшее могущество слова. Первый своими поэтическими образами, фигурами «Капитанской дочки» и «Годунова» и своей чудной лирикой точно поставил над головою русского народа, тогда бедного и несвободного, тогда малого и незнаемого с духовной стороны в Европе, точно невидимый венец, как на иконах наших пишется золотой нимб над главами святых. Он возвел в идеал и свел к вечному запоминанию русскую простоту, русскую кротость, русское терпение; наконец, русскую всеобъемлемость, русское всепонимание, всепостижение. Не таков Гоголь, сила его — в другом: необъяснимыми тревогами души своей, неразгаданными в источнике и сейчас, он разлил тревогу, горечь и самокритику по всей Руси. Он — отец русской тоски в литературе: той тоски, того тоскливого, граней которого сейчас и предугадать невозможно, как не видно и выхода из нее, конца ее. Не видно результата ее. Он глубоко изменил настроение русской души. В светлую или темную сторону — об этом не станем спорить, не время сейчас спорить. Но бесспорно остается его сила в этой перемене. И эту-то силу Русь увенчивает памятником.

В Пушкине и Гоголе слово русское получило последний чекан. И ни у кого из последующих писателей, не выключая отсюда и Толстого, слово не имеет уже той завершенности, той последней отделанности, какую запечатлены творения этих двух воистину отцов русской литературы. Мысли Толстого или Достоевского — сложнее, важнее. Но *слово*

остается первым и непревзойденным у Пушкина и Гоголя. От этого последнего совершенства слово их получило такую обаятельность и вечность, такую воистину бронзовую монументальность, какой не имели и никогда не получают растянутые, длинные, массивные труды Толстого, Достоевского и прочих русских писателей серебряного века. Золотым веком русской литературы были все-таки Пушкин и Гоголь. Были и останутся они одни. Русский народ в их сравнительно необильных изданиях получил сокровище вечной красоты; они для жажды его открыли источники вечно живой воды. Все мы учимся по ним. Все с 10 лет, с первого класса русских народных школок, уже воспринимаем в состав души своей нечто из души Пушкина или Гоголя. Это — великое дело. Бронзовые монументы им есть только очень маленькая награда, очень несовершенный дар, какие скромные русские люди, в виде рублей-лент, принесли на могилу этих воистину духовных родителей своих, гигантов-родителей.

Они нас и научили. А по смерти, когда творения их читаются теперь везде, где звучит образованная человеческая речь, они «над бедными селеньями Руси», о которых говорит Тютчев, как бы простерли защищающее крыло Ангела, с запрещающим словом ко всему миру: «не смей этого коснуться, не смей этого разрушить». И пока в мире звучит пушкинское слово, звучит гоголевское слово,— никто, кроме вандала, глухого, немого и слепого, не занесет над «этими бедными селеньями» меча...

Мережковский против «Вех»

(Последнее
Религиозно-философское
собрание)

В душе человека большой образованности, большой начитанности, наконец, многих пережившихся собственных переживаний, всегда существует как бы *склад* идей, образов, точек зрения, сравнений, из которых в данную минуту он может выбрать любое, ему понадобившееся или ему в данный вечер или утро нравящееся, и, немного погрев на сальной свечке, показать его перед людьми как пыл сердца, сегодняшний пыл... Читатели или слушающая публика всегда будут обмануты, не различая горячего от подогретого.

Говорит человек громко и жестикулируя. Из начитанных сравнений он выдергивает одно, особенно яркое, патетичное, и по узору этого сравнения лепит собственные слова, выходящие из вялой, полуумершей души. И вялая, полуумершая душа кажется горящею необыкновенно

ярким и благородным пламенем. Кто же в душном зале разберет, что это горит чужое сравнение, что около него стоит бледный и бессильный человек, который совершает собственно художественный плагиат, софистический плагиат... Все, взирая на престижителя фраз, говорят: «Вот пророк!»

Подобное зрелище, обманчивое и грустное, представил Д. С. Мережковский в последнем религиозно-философском собрании, опрокинувшись на авторов сборника «Вех» гг. Булгакова, Бердяева, Изгоева, Гершензона, Кистяковского, Франка, Струве. Его чтение было так талантливо, до того блестяще, так остроумно и колко, что не только публика слушавшая, но вот и я, грешный, все прерывал чтение хлопками. Мережковский так и блестел, и руки сами и неудержимо хлопали. Всякий блеск очаровывает, ослепляет. И почти час прошел после чтения, когда я подумал: «Боже мой, да ведь это все говорил Достоевский, а не Мережковский. Это — Достоевский блестел, а Мережковский около него лепился. Ведь то же самое сравнение, которое он взял у Достоевского, можно повернуть против него самого, Мережковского. Лично Достоевский так бы и поступил: кто же не помнит, как в «Дневнике писателя» он охотно выступил в защиту... мясников Охотного ряда, побивших в Москве студентов; он говорил, что и Кузьма Минин-Сухоруков, спасший из Нижнего Москву, был тоже мясной торговец. Вообще *народный* и *антиинтеллигентный* характер воззрений Достоевского совершенно бесспорен. Но Достоевский теперь мертв, а живой Мережковский подкрался, вынул из кармана его смертоносное оружие и пронзил им... не недвижимого мертвеца, а его духовных и пламенных детей, его пламеннейших учеников.

В Москве вышел сборник «Вехи».

Понятие о нем дал А. А. Столыпин в своей заметке. От себя я скажу, что это — самая грустная и самая благородная книга, какая появлялась за последние годы. Книга, полная героизма и самоотречения. Кто знает Достоевского и помнит его «Бесов», тому я все объясню, сказав, что авторы «Вех» с поразительной подробностью и точностью повторили судьбу и исповедание благородного Шатова, который, залезши в самую гущу революционеров и революции, потом отошел от нее, грустно, в раздумье... Достоевский представил суд и убийство этого Шатова революционерами. Мережковский, конечно, помнит, как в мокрую московскую ночь поручик Эркель, подскочив, приставил дуло револьвера к виску полубольного Шатова, курок хлопнул и все было кончено. Этот поручик Эркель был полусвятой маньяк: по ночам он зажигал лампадку перед портретом Огюста Конта и молился ему. Словом, был «идеалистом», вот как Мережковский и Философов... Но он и все друзья его были люди холодные, бездушные, с рыбею или лягушечью кровью. Мозговые теоретики, без чистой и горячей крови.

Чистая кровь, какую нес в себе Шатов, она отошла в сторону... Ушла к народу, возвратилась «в быт». Вот судьба и будущее нашей

революции. О ней, с год назад, я выслушал лучшее замечание одного нашего маленького декадента, Е. П. Иванова. «Достоинство русской революции,— сказал он задумчиво,— заключается в том, что она не удалась». Он хотел сказать, что русские могут начать безобразие, но не могут его кончить, не по бессилию, но по сердцу, по нравственному содроганию. Революция бесспорно включает в себе жестокое, лютное, хотя бы даже и справедливое. И довести до конца «казнь действительности» русские не могут уже оттого, что вот между ними, между самыми суровыми революционерами или радикалами, вдруг показываются Шатовы, или авторы «Вех». И все расплывается, расседается.

И слава Богу. Если прогресс жесток — я не хочу прогресса; если прогресс жесток — мы, русские, лучше будем сидеть в старой избенке и жевать черствый хлеб.

Как глубокомысленный Е. П. Иванов сказал, что «революция *оправдалась* в том, что она не удалась», так я добавлю об интеллигенции: над черствой бесчувственностью ее и черным бесстыдством ее можно было бы поставить крест, не пояись «Вехи»; но эти русские интеллигенты, все бывшие радикалы, почти эс-деки, и во всяком случае шедшие далеко впереди и далеко левее Мережковского, Философова, Розанова, когда-то деятели и ораторы шумных митингов (Булгаков), вожди кадетов (Струве), позитивисты и марксисты не только в статьях журнальных, но и в действии, в фактической борьбе с правительством, этим удивительным словом в сущности *о себе и своем прошлом*, о своих *вчерашних страшных убеждениях*, о *всей своей собственной личности*, вдруг подняли интеллигенцию из той ямы и того рубища, в которых она задыхалась, в высокую лазурь неба. Раз появились «Вехи», Шатов — значит, русская интеллигенция жива. Да и не только жива, а перед нею лежит громадная будущность, лежит безграничная дорога.

Нравственный позор революции и интеллигенции заключался в ее хвастовстве, в ее бахвальстве, в ее самоупоении. Это было какое-то дубовое самоупоение, которого не проткнешь. Все «мертвые души» Гоголя вдруг выскочили в интеллигенцию, и началось такое «шествие», от которого только оставалось запахнуть дверь. Все, от чего погибло христианство,— это бахвальство попов, это самоупоение митр, эта «непогрешимость» их,— очутились вдруг в багаже эс-деков, кадетов, интеллигентов и проч.

Смрад, ужас, и «затворяй ворота». Ибо победить это «триумфальное шествие» кто же мог?!

И вдруг погребальные «Вехи»... Это — как чистый понедельник после масленицы; великое покаяние: «Господи, владыка живота моего...»

Вдруг все оказалось спасенным. Спасенною оказалась именно интеллигенция. Русскому народу, глубоким частям русского общества и, наконец, русскому государству не в его *concretum*, которое или ничтожно, или порочно, но в его *idea*, которая ведь остается же, вдруг всему

этому оказалось возможным *с кем-то говорить* в образованных кругах, *с кем-то взаимодействовать* среди студенчества и профессоров, среди писателей, вдруг оказалось возможным *откуда-то звать людей на помощь*.

Ибо ведь государство-то наше, страна наша — захудалы, несчастны.

Звать ли людей оттуда, откуда идет только ненависть, проклятие? Да и что за охота менять Держиморду на Петрушу Верховенского? Ведь этот «согнет в дугу» почище Держиморды. Ведь он кушал холодную курочку в самый час самоубийства, по его подговору, благородного Кирилова.

Кстати, Достоевский своими «Бесами» написал то самое, буквально то и только то, что написали профессора и полупрофессора «Вех», написали не гениально, хотя и с талантом, но, главным образом, написали в высшей степени чистосердечно, мужественно, прямо, резко. Кстати, они искупили и «профессоров», которые давно как-то и называть стало неловко без кавычек.

Были «профессора...». Но появились «Вехи» и стали — профессора.

Была «интеллигенция...». Но после исповеданий братьев наших в «Вехах» мы можем говорить, что у нас действительно есть... образование, прямой русский класс...

Вовсе Булгаков и другие не зарезали русскую интеллигенцию. Они сами зарезались. И воскресли. Погреблись и ожили.

Как это специалист по «христианским делам», Мережковский, этого не понял? Не оценил, не почувствовал. Но дело в том, что и христианство для него одно из пережитых идей, которую он престижизитаторски выдергивает там и здесь последние 2—3 года, для красоты и эстетического украшения своей личности. Все уже холодно и помертвело в том «складе» чувств, «амбаре» былых настроений и умерших целых цивилизаций, каковой изображает себя новейший Аполлоний Тианский или польско-русский новейший Товянский...

Как же он поступал с этими шестью интеллигентами — Шатовыми? Немногим лучше поручика Эркеля...

При хохоте зала он их пинал ногами, бил дубьем, — безжалостно, горько, мучительно. Весь тон был невыносимо презрительный, невыносимо высокомерный... Дмитрий Сергеевич горел звездой над болотными огоньками «Вех». Это нечестное дело нельзя было делать прямо... И он сделал это косвенно, воспользовавшись сравнением Достоевского, абсолютно не шедшим к делу, абсолютно обратным делу.

Что такое эти шесть интеллигентов, составивших «Вехи»?.. Абсолютно бессильны и слабы, как Шатов: у них нет того имени, которым обладает Мережковский, нет готовых к услугам столбцов газет. Они именно написали сборник, исповедание от себя, книгу. Кто же книги в наше время читает? Читают газеты. К их услугам нет и религиозно-философских собраний.

Но Мережковский перевернул все дело: русскую интеллигенцию, могущественную, владеющую всей печатью, с которой очень и очень считается правительство, которая представляется все-таки не маленькою вещью — восемью университетами,— он представил плачущею, жалкою лошаденкою в сне Раскольникова, которая везет воз со спящими на ней темными озорниками-мужиками (Россия — в сравнении Мережковского), и вот они, эти пьяные мужики, сперва секут до изнеможения эту клячонку-интеллигенцию, затем секут ее по глазам, больно, мучительно: и она везет, но нет сил — остановилась. И тогда один подходит и ударяет ее железным ломом.

Клячонка пала.

Клячонка издохла.

«Так жестокие люди, эти Струве, Булгаков, Бердяев, Изгоев, Гершензон, удар за ударом наносят дохлой клячонке-интеллигенции удары».

Свалилась, пала... И Мережковский, маленький и страдальческий, бегаёт около лошаденки, ласкает, целует ее в глаза и жалуется на тех грубых жестоких мужиков.

«Браво! браво! браво!» И я кричал: «Браво!» Ну, что же: талант обманывает. Но как грустно, что даже слезы, всё, всё, и «вздохи матери» и «скорбь друга», всё, чем живут цивилизации и тепел каждый дом,— тоже пошло на грим актера, на пудру актрисы. Есть ли религия, когда молитвы читает актер, и «даже лучше священника»... Страшно и жутко жить на свете.

Против «Вех» кричал и Столпнер, практический социал-демократ: маленький, лысый, красный как вареный рак, он стал совсем спиной к публике и кричал на тут же сидевшего и наклонившего низко голову Струве. Это было хорошо. Отчего не хорошо? Сцепились два интеллигента, прямо за волосы, без фраз. Он кричал об англичанах, об Изгоеве, об онанистах (буквально), всех проклиная и защищая русскую интеллигенцию как героическую, как носительницу идеала и вечного улучшения. Тряс скрюченными, кажется, немытыми, пальцами. И, признаюсь, я не знал, кто мне больше друг и близкий, Струве или Столпнер. Но я чувствовал, что в обоих их интеллигенция оправдана и жива.

Тогда как в бездушном обвинительном акте Мережковского она была мертва.

И я, эти два года прошептавший себе все то, что написано в «Вехах», купив эту книжку (хотя еще не прочитав ее), поднимаю кубок за цветущую, прекрасную, русскую интеллигенцию, говоря:

— После Великого поста — Пасха! Кайтесь больно, до конца, до могилы: погребитесь. И тогда воскреснете в бесконечную радость, в торжество, и воскресите всё, но в другом виде, в очищенном и кротком виде, от 14 декабря и до 17 октября, и дальше, гораздо дальше, бесконечно дальше...

Один из певцов вечной «весны»

I

Я прочел в новом издании «Историю одной жизни» Мопассана, — «Une vie» *, — и мне нетерпеливо захотелось сказать несколько слов читателям об этом романе, вероятно, уже прочитанном всею Россией в бесчисленных изданиях этого любимого и французского и русского писателя. Надеюсь не повторять других критиков.

Прежде всего, — это не «История одной жизни», с этим оттенком и обобщением в заглавии: ибо, например, в России все же мало точно-точно таких грустных жизней. Нет, у нас живет теплее, живее и веселее. Безалабернее и смешнее, — и все-таки содержательнее. Разбитые, искалеченные семьи у нас как-то все-таки несчастны на *иной лад*, и несколько лучший лад. Такого ужаса, такого беспросветного ужаса, какой я прочел здесь у Мопассана, как «историю *обыкновенной жизни*», — что очевидно он хотел сказать своим заглавием — я не видел во всю мою 53-летнюю жизнь.

Сравнительно с этим о, как *светла* и история Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и даже «Мертвые души», со всей их *мелочью*. Ибо Гоголь описал только *мелочь* жизни; Мопассан описывает цинизм ее. Это цинизм глубоко старого, дряхлого общества; *тон* глубоко старой, износившейся цивилизации. О, как мы, Русские, еще молоды...

Слава Богу!

Итак, заглавие не точно: это не история общечеловеческой жизни, не вечная история семьи. Это «история *обыкновенной французской жизни*». Она в высшей степени местна и временна; ее еще можно было бы назвать «Исповедью сына 2-й половины XIX-го века во Франции».

Но как страшна она... Закрыв последнюю страницу Мопассана, думаешь: «ничего нет страшнее старости, исторической старости». Какие горестные годы, какие горестные дни!

Какова точка зрения *самого* Мопассана на все рассказанное? «Так бывает» — эта нотка проходит через весь роман. Он превосходно написан, — каким-то *охлажденным* стилем. Что «так бывает», *в секрете* — «у *всех* так бывает», это почти *idée fixe* Мопассана. Он рассказывает с тем спокойствием, верностью и твердостью, как бы перевидал если не тысячи, то сотни таких семей, таких судеб.

Я буду говорить, предполагая, что роман всем знаком. Так я могу говорить короче. Вот мои заметки.

Сам Мопассан, рассказчик, хотя сделал центральным лицом нравственный образ страдающей Жанны, но он рассказывает «Историю одной жизни» так спокойно, твердо, без потоков лирики, без особенной

* «Жизнь» (фр.).

авторской скорби, как мог бы все это рассказать только Жюльен. Придвиньте к этому роману «Поездку за город» того же Мопассана, и вы увидите, в чем дело. В «Поездке» передано о сонном, скучном, даже и физически противном муже и отце, у которого под носом двое красавцев, *точь-в-точь* как Жюльен, увозят на лодках жену и дочь, и получают с ними типично-Мопассановское удовольствие. «Мужья — дураки, любовники — обольстительны», вот вечный припев Мопассана. Что же он такое рассказал в «Истории одной жизни»? Он изменил вечной своей ноте, вечной своей истине: здесь прекрасная женщина (Жанна) и благородный муж (граф де-Фурвиль) невыносимо страдают от того, что около них свободно, «натурально» развевается эта типично-Мопассановская лошадиная жизнь, во всю ширь, во всю натуру.

Рассказчик — Жюльен. Отсюда вся прелесть и точность рассказа. Отсюда вся великая историческая его цена. «Мастер знает свое дело». Но нравственный суд в романе держит Жанна, ее страдания, лестница этих страданий. Это совсем не Мопассановская сфера. Отсюда в романе двойственность. Опять для сравнения придвинем сюда «Поездку за город», где Мопассан так очевидно подсмеивается над такими категориями, как «супруг», «папаша», «мамаша», «дочь» — и говорит восторженное «да», любующееся «да» только одному — весенней поре любви, молодому движению соков в молодых деревьях. Продолжая этот тон, *свой обычный тон*, он должен бы представить Жанну скучной женой-наседкой, графа — наивным «колпаком», а Жюльена, Розалию и Жильберту — очаровательными. Почему этого не случилось?

Да оттого, что он не пишет уже эскиз, не описывает день или неделю, как в своих прелестных маленьких рассказах, а задумал изобразить *цельную* человеческую жизнь, «Историю одной жизни», с началом и с концом. «Конец»-то весенних удовольствий и вышел так трагичен, так страшен, колесо «весны» так давит людей, что Мопассан раздвоился и вдруг выдвинул нравственный суд. Везде у него главными действующими лицами были Жюльены и Жильберты, наслаждающиеся и «симпатичные». Здесь вдруг выведен черный фон страдания под ними, и Жюльены и Жильберты вдруг названы настоящим своим именем — эгоистов, негодяев и, по совершенной бесчувственности, даже болванов.

Между тем тут же в романе, в «Истории одной жизни», проведена везде философия «весны и природы». Она проведена и в картинах, и в рассуждениях. Таким образом, состав романа не только двойной, но тройной.

1) Жанна страдает. Единственно благородное лицо романа, главное в нем лицо — страдает невыносимо. Это один пласт.

2) Наслаждающиеся лица — болваны и эгоисты, топчущие лицо человека. Это второй пласт, освещение которого, антимопассановское, зависит единственно от сочувствия автора и читателей Жанне.

3) Философия весеннего чувства: «вся земля полна божественных

зародышей, которые должны реализоваться», т. е. родиться. Для этого весна приходит. Все права — у весны.

Этот третий пласт перекрашивает из черного в белый второй пласт, а страдающую Жанну откидывает в сторону, как «скучную женщину».

В романе это составляет бесспорное противоречие. Здесь Мопассан дwoится и даже троится. Но смысл всех его произведений, кроме этого единственного, совпадает с третьим пластом, «весенним натурализмом».

* * *

Есть весна.

Но конечно же есть и лето, осень, зима! Весною — любят. Но осенью собирают плоды (дети), а зимою — отдыхают. Кроме «любви» есть именно *семья*, категории «мужа», «отца», «матери», «деда», которые все рождаются из «любви», но уже эту любовь *отрицают* и *ограничивают*, как плод отрицает собою цветок, несовместим с ним, а зимняя дремота природы, зимний *покой* природы не хочет более ни цветов, ни плодов.

Отрицают, и *вправе отрицать*.

Вот что забывал Мопассан! Во всех решительно произведениях *это* забывал он!

Он пел *весну*.

А есть еще лето, осень и зима. И они не менее божественны, чем весна.

Что такое весна, вечный цвет, вечная любовь? Отнимем августовские плоды — и цветение весною превратится в бессмыслицу. Просто — это не нужно. Цветение «само в себе» — не нужно. Любовь, одна, соло — не нужна. Что такое алфавит из одного «А»? Бессмыслица. Такова и любовь без «дальнейшего»: детей, семьи и дедушкина зимнего отдыха.

Глубокое утверждение принадлежит всем четырем временам года, а не одному, не только весне. Мопассан поет, везде пел — только весну. В этом ошибка всей его литературной деятельности, ошибка его лица, ошибка его ума. Он недаром кончил безумием. «Бог наказал».

Это — не ханжество, это — не нравоучение, это — не пропись. Это — природа, за которую распинается Мопассан.

Зима ровно столько же «природна», как и весна. Дедушкин возраст, его поэзия, его смысл, его *протяженная* содержательность — вот чего Мопассан не включил в свою обширную живопись (в других произведениях, кроме этого одного). Он все «пел гимн» и развивал «философию» не природе, а одному ее кусочку. Но природа только и «натуральна» в целости своей, когда взята *вся*, когда окинута взглядом *вся*. Природа равна самой себе, сумме дробей в ней. Если вы берете только одну дробь — вы искажаете ее. Мопассан, вечно певший «любовь» и «весну», искажил природу.

Как бы срезаая августовские плоды, «скучные» для него, он на их место привязывал к растениям цветочки и цветочки. Увы, это «французские цветы», из шелка и позолоты!

И по белому покрову зимы, не печальному для глаза, который на него умеет смотреть,— он по нему разбрасывал свои цветочки, столь неуместные здесь и безвкусные, фальшивые. К чему они? Не нужно их.

Зимою не нужно.

«Божественный» характер любви и весенних сил природы открывается только из связи их с последующим. В самом деле, из них все рождается: дедушки, отцы, все гражданство. Рождается здоровый пахарь, мужественный воин. Рождается Пастер, родился Ньютон. Все из «юноши и девы» и любви их, все из «Ромео и Джульеты». Поэтому роман Ромео и Джульеты, конечно, божествен: ведь мы не знаем, что из него родится,— может быть, спаситель отечества, герой. Или — законодатель и мудрец. Поэтому невинный лепет Ромео и Джульеты цивилизация должна сберегать, должна оберегать везде и всюду наравне с великими произведениями искусств и мудрости. И если для последних построены музеи и библиотеки...

«Ну, что же дальше?» — спросит читатель.

Ромео и Джульете со своей любовью пришлось бежать в подземный склеп и там умереть; и во множестве случаев до нашего времени несчастным влюбленным приходится Бог знает куда деваться со своею любовью — тоже иногда умирать. Зная это и давно об этом думая, я проектировал бы создание для влюбленных «священного убежища» наподобие бывших и в средние века и в древности, куда добежав или скрывшись, влюбленные уже не могли бы быть никем разлучены, ни родителями, ни обществом, ни государством, ни церковью.

* * *

Возвращаясь к «Истории одной жизни», нельзя не заметить, что последний и самый страшный удар Жанна получает не от изменявшего ей походя мужа, а от единственного ребенка, которому отдала всю свою душу.

Он вырос, стал «бородатым», Мопассан это оговаривает — «бородатым». Мать все глядела на него, как на младенца. Он уже был «двумя головами выше» ее — Мопассан тоже оговаривает это: а Жанна все видела в нем «своего маленького Поля».

Она и слабый дедушка. Никто им не подсказал ничего. Цивилизация, религия — ничего не подсказывают.

Он учился в коллеже. Не приехал на воскресенье раз, не приехал два, месяц не приезжал домой. Она бросилась его отыскивать и нашла его в квартире проститутки.

Увы, к ужасу матери — он ее любил!! Этот эпизод рассказан Мопассаном, «как мастером дела». Черты его разительны. Так «бывает», действительно «так бывает». Несмотря на все усилия, он ушел к ней, ушел окончательно, уехал с нею в Англию, и разорил мать уплатою нескончаемых долгов, в которые непрерывно впадал, по неопытности и самонадеянности.

Полная история «блудного сына». Настала бедность, старость и почти безумие для матери.

Но отчего опять?

Да оттого, что католичество, построившее целые системы богословия на незначительные тексты, обошло всяким толкованием неприятные ему строки Библии: «того ради оставит человек отца и мать и прилепится к женщине».

В истории сына Жанны это случилось точь-в-точь. Став «на две головы выше матери» и «отрастив бороду», он неопытно и невинно «прилепился» к первой женщине, которая *сама* ему отдалась. Все «как по писанному».

Кто же научил Жанну?

Аббат Тольбиак, бывший около нее, в такой мере ненавидел «все подобное» у людей и даже животных, что растоптал ногами ошенившуюся собаку. Строка Библии, устроительная в данном пункте, не пришла ему в голову, как не приходит до сих пор в голову целому католичеству.

Жанна воспитывалась в католическом монастыре, где текст Библии ей передали не в голой натуральности, а как закон гражданского благоустройства: «каждый супруг будет до беспамятства любить свою законную жену, так что ради ее даже оставит отца и мать».

Обеспеченная таким уверением еще в пансионе, Жанна надеялась на своего Жюльена. А что касается Поля, то так как он не был еще ничьим «законным мужем», то она тоже думала, что он и «не прилепится» ни к какой женщине, кроме ее. Но Жюльен, оказалось, уже ранее женитьбы вступил в связь с ее горничной, а Поль попал в руки проститутки.

Кто виноват?

Жанна — только невинностью. Виноват строй, виновата цивилизация.

И тем, что она оставила Жанну, оставляет матерей семейства и жен в неведении относительно истинного положения вещей.

И тем, что она скрыла от верующих истинный смысл библейской строки.

И тем, что не выработала никаких предупреждающих средств против подобных несчастий. Между тем несчастья эти таковы, что они разрушают «дом» (семью, род) до основания. И вместе стоят угрозой перед каждой семьей, — избирая «втемную» некоторые. Семья Розалии не постигнута была им, семья Жанны — постигнута, все — случайно, вне чьего-либо предвидения.

Однажды на Кавказе я разговаривал с тамошним татаринком. Он принимал бутылки с кумысом. Подавал их его сын, мальчик лет 12, такой неописанной красоты и скромности, что я не мог оторвать от него глаз.

— Ваш сын, князь?

— Сын.

Я помолчал.

— Какой хороший мальчик... Избалуется.

Он молчал.

— Такому нельзя не избаловаться. Подрастет, и женский пол на него кинется, как мухи на мед.

Он молчал.

— И закружится, увлечется. И свертится.

— У нас этого не бывает,— ответил отец угрюмо и резко.

— Ну, как не «бывает»... За этим нельзя усмотреть. Как вода в пригоршне, бежит сквозь пальцы. Ничто не поможет.

— У нас этого нет.— И так твердо, точно каменное.

Я недоверчиво смотрел на него.

— Ему одиннадцать с половиной лет. В тринадцать мы его женим.

Он не договорил, но я и сам припомнил: до получения собственной жены в самом деле мальчик не увидит ни единого женского лица, кроме матери да разве сестер-подростков. Вся женская половина населения с 12 лет уже «под покрывалом».

Да не подумает читатель, что я это советую. Цель моя — методологическая. Такое полное и раннее разделение полов представляет что-то жестокое и для нас было бы несносно. У мусульман нет общества, нет танцев, наших «вечеринок», иногда упоительных; нет романа нашего, трогательной «повести сердца». Итак, я не о том, что это у мусульман хорошо, а о том, что у них *подумано* о том, о чем в европейской цивилизации решительно ничего не подумано, не придумано. И возраст «первой молодости» у нас выброшен во что-то «безвестное», что слишком часто разворачивается в историю «блудного сына», вплоть до захвата молодого человека проституткой и гибели всего его будущего, гибели часто его самого в отвратительных болезнях. Но около шипов есть и розы: около «истории блудного сына» расцвела вся поэзия Лермонтова, Полежаева, часть поэзии Пушкина, поэзия Байрона; выросли молодые бури Гете. Европейская цивилизация решительно не имела бы в себе некоторых лучших цветов, будь юность обоих полов «упорядочена» в стойкий и стройный курятник, как у мусульман и евреев.

Песни, бури, революция, студенческие попойки, упоительные «балы» и, увы, увы — больницы для потаенных болезней,— все это вытекло из того, что с возрастом от 13 до 23-х лет решительно не знает, что делать, европейская цивилизация.

Для старости — отдых, пенсия.

Для зрелого мужа — гражданская служба, департамент. Или — ремело, плуг.

Для детского возраста — резвость, игры.

Но для юношеского, отроческого?..

Мы сумели ответить только:

— Книги! Ученье!

Но ведь очевидно, что этот возраст есть возраст любви, весны. Возраст, когда закладывается самое важное в жизни каждого человека,— «дом» его, будущее его, семья его. Почти — «все» его. В крестьян-

стве и для девушек это еще кое-как обдуманно, хотя не религией и не государством, а бытом: все ожидают и желают, чтобы на небольшом протяжении 4—5 лет она вышла замуж, «устроилась». «Устроилась» — хорошо выражает общую идею, общее положение вопроса. «Устраивается» девушка, «определяется ее судьба». Но «определение судьбы для юноши» есть поступление на должность или выбор профессии; и никто решительно, кроме крестьянства и духовенства, не «ждет» и не «желает», чтобы он к *такому-то непременно году* «определился» семейно. И каждый проходит через «бурную молодость» раньше, чем осесть: осесть — усталым и обессиленным, вялым мужем.

«Мужья — скучны, любовники — интересны». Это — канон европейской цивилизации. Да и понятно: любовники — невинны, чисты, исполнены сил; мужья — «полиявшие лебеди».

* * *

«История одной жизни» Мопассана в огромных цитатах должна бы быть введена в историю христианской, католической семьи. Православие в данной сфере имеет отступление от строгости, протестантство совсем ее не держится: но последовательное и завершенное католичество «достроило» башню европейской семьи. То, к чему в других исповеданиях есть только тенденция, — у католиков есть факт, достигнутое:

1) Мужчина, муж есть «существительное»; женщина — «прилагательное» около него.

2) Связь их, соединение их есть одно и навсегда. Оно не расторгается ни по какой причине, ни по какому поводу.

3) Имущество — все у мужа; у жены — ничего. Ребенок — только отца, мать здесь несущественна. И когда налицо отца нет (внебрачный ребенок), — нет и ребенка, его просто нужно убить, как «небытие», почти философской или математической точности (слова Жюльена о ребенке Розалии).

Вся «История одной жизни» Мопассана есть только развитие этих коренных тезисов католического брака, или даже гражданского французского брака, который рамками своими точь-в-точь повторяет католический, не смоги вырваться из его духа, из его форм.

Жюльен-муж и Поль-сын суть господа положения; им принадлежит все — судьба окружающих, имущество их, титул, положение, все. Но это — два гнилых дерева. Семья, положенная на эти гнилые стропила, — рушится.

Рушится и задавливает все здоровое, все нравственное около них, которое в то же время лишено всяких прав, с них снято всякое «свое лицо».

* * *

Но «свое лицо» не так-то легко снять с человека. Оно скажется бунтом, отчаянием, борьбой. Не имея силы, оно прибегнет к хитрости. Когда ему не дано жить правдой, оно будет жить обманом.

Католичество дало закон. Этот закон подавляет лицо. «Патер — все, человек — ничто». Отсюда все расположение католического брака, все его «предикаты».

Тогда, «человек», «лицо» вывернулось из-под закона и создало — *нравы, быт, обычай!*

Церкви и государству оно оставило только утешительную «шкурку» семьи, «шкурку» брака: как есть сброшенные, отставшие от тела, валяющиеся по дорогам «шкурки» змей и ящериц. У оленей так отпадают рога; птицы тоже «линяют». И вообще — это есть в природе, это — ее явление.

Лицо и человек в католичестве бросились в свободную любовь. «Это — правда и красота, брак — ложь и скука». Нужно у Мопассана прочесть рассказ «В семье», чтобы увидеть и осязать, какой это ужас и отвращение, какой подлый, грязный, идиотский цинизм. Семьи просто нет, одна — шкурка. Есть «законы о семье», торжественные, строгие. Но мяса семьи — нет вовсе, никакого. Просто это — куча людей, живущих отвращением друг к другу, тоскливых, скучающих, глупых *в отношении семейственности*.

Такую семью просто нужно бросить, выйти из нее, — как из чумного гнезда. Лучше жить одиночками, дикарями, в лесу. Нравственнее так жить, — ибо все же не будешь испытывать вечного отвращения и вечной ненависти. Такова ведь и семья Жюльена и Жанны: Жюльен испытывает постоянное отвращение к жене Жанне, ему нравятся ее горничные и подружки жены; Поль, сын, испытывает только скуку в отношении к матери и дедушке. Затем же им жить вместе?

Католичество этого никогда не сумело разъяснить. Ничего на это не ответило. Оно отвечает иногда только в исповедальнях, потихоньку: «живите, как знаете, с кем и как угодно». В исповедальне католичество благословило или «позволило» любовничество, и только этим и держит как-нибудь семейный мир (патер Пико в «Истории одной жизни»). Таким образом, в таинстве (исповедь — таинство) оно разрешило то, что в другом таинстве (брак) — запретило. В одном таинстве оно говорит:

1) Любовь мужа и жены священна и вечна. Она пожизненна. Обязательна.

А в другом таинстве потихоньку поправляется:

2) Но так как невозможно любить по обязанности, то живите, как знаете. Только по наружности делайте вид любви и не расходитесь.

Так получились «известные французские нравы». Человек здесь только страдалец. Даже Жюльен со своими горничными — страдалец, даже Поль со своей «особой» — страдалец. Все — жертвы положения. Уже сейчас же за Рейном начинается совсем другое: горничные — не в уважении, проститутки — хоть спрятаны, никто их не воспекает, о них не пишут романов; и, что важнее, — на них не растрачивают состояния. «Расторжимая», «не вечная» семья, «не обязательная» любовь воспекает-

ся, увита поэзией, уважением. Дети не кидаются на произвол и не загуливаются: т. е. все это есть, но как уродство, пугающее, отвратительное, ненавидимое, преследуемое. Еще дальше, к востоку, у нас — все это несравненно теплее и лучше, нежели в несчастной Франции. У нас совсем другое чувство детей, совсем другое чувство женщины. Таких резиновых господ, как Жюльен, Россия просто не вынесла бы, или считает их гадами, вырожденками, каковы они и есть. Еще за границами Европы картина тех же вечных физиологических отношений и связей уже совсем иная: старый, седой, 80-летний араб есть предмет почитания, культа целого племени. Роль его, судьба его совсем иная, чем «дедушки» в «Истории одной жизни», который умирает в квартире адвоката, доплачивая последние долги внука с его «особой», или чем 90-летней бабушки рассказа «В семье».

А что же католичество со своим богословием? В Риме я видел здание «Конгрегации de propaganda fide». Дворец величиной чуть не с Ватикан. Это — «министерство» обращения в католичество китайцев, японцев, индусов и проч. и проч. Ну, тут думы, мудрость, ухищрения. А Жанна и ее судьба, такая страдальческая, такая беспримерно-страдальческая судьба, что, проснувшись ночью, представишь и вздрогнешь — эта судьба и такие судьбы матерей и жен там не занимают. Несчастные Французы, несчастная Франция! Обращение в католическую «fides», с filioque и прочими напастями, десятка желтомордых азиатов куда важнее, интереснее, священнее для самой многонародной христианской церкви, самой могущественной и самой утонченной, нежели судьба семейных людей в целой Франции, да даже в пол-Европе, и для них имеется какая-то затхлая консистория, глупая, тупая и взяточническая, еще хуже наших. В этой беспечности церкви и лежит корень не только «известных французских нравов», но и того, что из Франции первой полетели камни в Ватикан, а Мопассан, с папироской в зубах, зарисовал свой иронический, правдивый и страшный рисунок.

Поразительно, почему католические писатели, почему *мудрецы* в католичестве просто точно *не замечают* всего этого, — не замечают того, где корень вражды к ним, где корень *упадка* христианского общества и церковей... Не о них ли в Евангелии почти насмешливо сказано: «они будут видеть — и не увидят, слышать — и не услышат». И ждут, пока на головы их повалятся уже не камни, а горы...

II

Факт «литературы» обнимает собой, конечно, не одни беллетристические произведения, а совокупность всей духовной жизни страны, выраженной в слове. В этом определении литература обнимает собой и науки, и философию. И под этим углом зрения французская литература, имевшая Паскаля, Руссо, энциклопедистов, Декарта и Бюффона, неизмерима в объеме, блеске и глубине. Только английская, германская

и итальянская литературы стоят с нею в уровне, уступая в одном, превосходя в другом, суть для нее «братские» и однородные явления. Что касается русской литературы, которая *по правде-то* начинается всего с Карамзина, потому что только с него и его друга Жуковского начинает биться в нашей словесности пульс какой-то идеи, «своего русского сердца» и «своего русского ума», который не прерывается потом, не умолкает, а только преобразовывается и доходит до нашего времени,— то эта литература, придвинувшаяся к французской, бедна точь-в-точь, так, как «русское отделение» в Публичной библиотеке бедно около иностранных отделений в ней же. По некоторым отделам наук русские совершенно ничего не имеют; по другим — только переводы и компиляции; и лишь по некоторым, крайне немногим, имеют настоящие самостоятельные труды, среди которых крошечное число есть классических. Философии у нас почти нет. Умственная жизнь почти вся вкладывается на борьбу школ славянофильской и западнической, которая уже не Бог весть как значительна, отвечая лишь на вопрос, как нам, Русским, относиться к Западу. Все это в высшей степени местно и временно. Религиозные идеи Гоголя и Толстого, волновавшие и волнующие Россию, около «Мыслей» Паскаля представляются совершенно жалкими, уродливыми, слабыми. Гоголь и Толстой, личности вполне великие, не уступающие Паскалю или Декарту, значительны в другом, а не в религии. Паскаль — чистое золото в религии; говорил от сердца, а ум его был неизмерим. Гоголь и Толстой иногда кажутся просто притворяющимися религиозными людьми, или — натаскивающими на себя шубу нравоучительного старца, но без всякого успеха. «Медведь гнет дуги»...

Но все это — если взять литературу как «сумму проявлений духа в слове», т. е. в мысли, в знаниях, в исканиях, в открытиях, в деятельности, в неустанности деятельности, в «трудах и днях», в мещанстве и аристократизме, в буднях и в праздниках, во *всем*. Тут Франция — неизмерима, велика, особенно в прошлом. Но если мы отделим некий малый «алтарь» в этом, и остановимся на слове «выдумывающем» и «сочиняющем», на вымысле, фантазии, художественном рисунке в слове, наконец остановимся на мысли, как *афоризме*, без фундамента и завершения, и, словом, на биении в литературе человеческого *сердца*, и особенно человеческой совести, то вот в этом небольшом «алтаре» Русские за век с небольшим своего творчества создали такие удивительные и превосходные вещи, абсолютной ценности и абсолютного интереса, что не только французской, но и некоторой из европейских литератур они не уступают. Со своей чуткостью и совестью, со своим умением «обрисовать» действительность, передать ее в слове, Русские внесли нечто совершенно новое во всемирную словесность. «Русская точка зрения» на вещи совершенно не походит на французскую, немецкую, английскую; совершенно другая; она оспаривает их и почти хочется сказать — побеждает их. Русское воззрение на вещи, на лицо человечес-

кое, на судьбу человеческую, на господина и раба, на соседа и друга, на родственника или врага, и проч. и проч. до бесконечности, все это выше, одухотвореннее, *основательнее* и благороднее. Я не знаю точки зрения иностранцев на все это; но не могу не сказать того, что, кажется, чувствуют и все, что после «Войны и мира» или «Карениной», после Гоголя, после чтения Пушкина невозможно иначе как с ощущением страшной скуки читать «Вертера» или «Сродство душ» Гете, или романы Жорж-Занда. «Скучно!» «Неинтересно»... Почему? — «Не так художественно обрисовано и не так умно». Замечательно, что в то время как вообще в «словесности», включая сюда философию и науки, ум Французов, Немцев и Англичан так неизмеримо господствует над русским, в этом малом «алтаре» вымысла и фантазии самый ум у Русских, как орудие знания, проникновения в вещи, как орудие суда над вещами — выше французско-немецко-английского. Но здесь мы должны различать «приделы» и алтари великого храма словесности: читая «Разговоры Гете» в изложении Эккермана, мы опять находим, что те мысли, какие встречаются в частной переписке у Русских, в воспоминаниях о Русских, в том числе и о Пушкине или Гоголе, — неизмеримо уступают интересом, основательностью и глубиной идеям Гете *о природе, о художестве, о культуре*; но особенно — *о природе*. Здесь едва ли мы не подходим к ключу дела, к корню разницы. Вся русская литература почти исключительно антропологична, — космологический интерес в ней слаб. «О звездах и небе не знаем ничего, и не интересуемся ими», — как бы говорят все Русские вслед за Лизой Калитиной из «Дворянского грезда». Вся сосредоточенность мысли, вся глубина, все проникновение у нас относится исключительно к душе человеческой, к судьбе человеческой, — и здесь по красоте и возвышенности, по *верности* мысли Русские не имеют соперников. Но западные литературы в высшей степени космологичны, они копаются не около одного жилья человеческого, как все Русские, всегда Русские, — но озирают мир, страны, народы, судьбу народов. Здесь Русские совершенно бессильны. Можно сказать, западные литературы суть всемирная зоология, а русская — только отдел «о домашних животных», без науки в себе, но с собранием в высшей степени интересных и *верных* рассказов, воспоминаний, примет и проч. и проч. Говоря так, мы разумеем и совершенно мелкие повестушки, а не одних корифеев; говорим о *школе* русской, о *методе* у Русских, как о чем-то совершенно новом сравнительно с западным духом, с западным гением.

На гоголевских торжествах в Москве, при открытии ему памятника, — профессора иностранных университетов, особенно французских, на превосходном, правильном русском языке рассказали к удивлению слушателей — Русских, до чего широко русская литература усвоена например во Франции. «Малороссийские повести» Гоголя, его «Тарас Бульба» для французских мальчиков такие же любимые книжки, как рассказы Фенимора Купера. Это очень много в смысле сближения; ибо,

например, ведь Францию и Французов мы в детстве тоже усвоили не по Иловайскому, а по романам Александра Дюма. Что делать:

Мы все учились понемногу...

Но очевидно, если Гоголь придвигается к Куперу, и если больше всего он занимает школьников,— то настоящее постижение Гоголя даже и не начиналось во Франции. И вообще, кажется, что настоящая «русская точка зрения» на вещи и на лицо человеческое,— самая важная в нашей литературе черта — едва ли не ускользает совершенно пока из внимания западных наблюдателей и любителей русской словесности. Сколько можно судить, «русское влияние» в слове пока не идет дальше влияния в технике, в приемах работы; таково влияние «русской натуральной школы» на западные. Но это — только азбука. Настоящее озарение, которое может воспоследовать из русской литературы на западные, настоящее русское влияние, которое может настать, должно настать, обязано настать,— заключается в перемене взглядов на человека и на все человеческие отношения, и эта перемена не может не настать на Западе под влиянием русской литературы. Влияние не на формы творчества, а на душу разумеющую и чувствующую.

Читая «Историю одной жизни» Мопассана, которую по многим основаниям нельзя не назвать великим произведением Франции, невольно сравниваешь мастерство французское и русское. В чем разница? Где превосходство Французов и где превосходство Русских? Вопрос не лиш- ний... сфера не неинтересная.

Роман Мопассана вполне «реален» и «натурален». Здесь нет вымысла, художества, «сочинения». Художество положено только на старание возможно вернее, возможно правдивее передать, возможно полнее передать. В этом отношении роман его вполне сближается с творчеством Толстого или Писемского,— и сравнение здесь вполне естественно и может дать некоторые плоды. Цель у троих авторов *одна*: воспроизвести жизнь. *Как* же они ее воспроизводят?

Мопассан — в обобщении, «с высоты птичьего полета». У него — панорама.

Русские — в подробностях, в частностях. У них — закоулки, улицы, путаница быта, ежедневность, доведенная до апогея. Никакой панорамы. Никакого «птичьего полета». Ни в слабости, ни в силе его.

У Мопассана — это обычные черты так называемого «французского гения». Читая «Историю французской революции» Минье или таковую же Токвиля, мы не находим в них никакого рассказа, никаких фактов, ничего реального: это — сплошное обобщение, объяснение и только объяснение предполагаемо знакомых фактов. Но у Токвиля, например, это объяснение, эта схема достигает высшей степени красоты, изящества и ума. Тут помогает и «гений» французского языка, до такой степени точного, изящного в точности. Читая Токвиля — упоешься художественно. Упоешься «словесностью», хотя это — наука, точная наука

истории. Чтобы произвести такого «объяснителя» истории, как Токвиль, нужно было пройти позади целой цивилизации; Токвиль — французский Тацит. Тэн, работавший уже под германским влиянием, никуда не ушел от Токвиля; его великие и изящнейшие «объяснения», обобщения — он только развернул в мириады нанизанных друг на друга фактов.

Мопассан этим же «гением нации» работает в романе. «История одной жизни» включает в себя новую жизнь Жанны от выхода ее из монастыря-пансиона и до полной дряхлости и безумия, почти — смерти. Подросток-девочка в первых словах романа, она на последней его странице везет укутанного от холода внука. От пансиона до бабушки: это — полнее и протяженнее, чем судьба Наташи Ростовской в «Войне и мире», где все кончается рождением первого ребенка, не говоря уже о «Карениной», где разработан только «адюльтер» — последний, один заключительный эпизод женщины, совершенно зрелой и сформированной с первых строк романа. Русский романист, первоклассный или третьестепенный, чтобы справиться с такой темой, чтобы вобрать сюда весь материал, прямо *не в силах был бы* написать менее четырех, пяти томов; «русская школа» не дает техники, не содержит умения выразить это менее, чем в объеме 80 печатных листов, причем автор пишет это несколько лет, а читатель читает по крайней мере месяц, не отрываясь, вплотную.

Но может быть Мопассан не полон?

В том и секрет, что — совершенно полон. Как мог бы быть полон мастер русского романа, Гончаров или Толстой.

Ничего не упущено.

Каким образом?

Не упущено ничего *существенного*.

В этом отношении Мопассан даже полнее, чем нам можно представить русского романиста за тою же темой. Русский романист зарылся бы в подробности, и начал узор, которого решительно нигде нельзя кончить... Вспомним, что Мопассан изобразил не только полную жизнь Жанны, но осветил вполне и жизнь ее родителей, как довел почти до конца, до «крушения» и «тихой пристани» и жизнь ее сына, Поля. Таким образом в романе выведена жизнь собственно трех поколений, и только через эту связность центрально рассказанная жизнь становится совершенно ясною и так сказать необходимо-роковою. Русский романист не сумел бы рассказать этого иначе, чем в трех романах:

1) Жизнь дедов.

2) Жизнь «ее».

3) Жизнь потомства.

Мопассан справляется с этою темой через введение двух ослепительно ярких эпизодов, до того ярких в схематичности своей, как подобного нет во всей русской литературе, — именно по чеканности, по сжатости работы. Мопассан работает как развертывается пружина.

— «Это подлость, изменить так моей дочери, подлость! Этот человек негодяй, каналья, подлец! И я скажу ему это. Я дам ему пощечину! Я убью его моей тростью».

Наивность о «трости», которою нельзя убить человека, вставлена Мопассаном, как уже начинающаяся насмешка над бароном-тестем.

Восклицание произнесено перед больной, в постели, дочерью, перед баронессой-матерью, и перед позванным «разобрать все дело» священником. Священник и «разбирает»:

— «Позвольте, барон: между нами сказать, ваш зять поступил, как поступают все. Многие ли мужья не изменяют своим женам? Держу пари, что и у вас были проказы. Ну, положи руку на сердце, разве это не правда?

Барон, смущенный, стоял лицом к лицу со священником, который продолжал:

— О, да, вы поступали так, как другие. Почему знать: быть может, даже вам пришлось когда-нибудь иметь дело с такой же хорошенькой горничной, как Розалия. Говорю вам, что все так поступают. И *ваша жена была не менее счастлива, не менее любима, не правда ли?*»

Такого выражения, такой мысли, как подчеркнутая — нет во всей русской литературе. Мысль, что измена мужа не препятствует счастью и *любимости жены* — совершенно нова для Русских. Чернышевский как личную фантазию пытался это утвердить в «Что делать?», — но возмутил одних и рассмешил других. Никто ему не поверил серьезно. Мопассан говорит это как старую, известную и обыденную истину: и с таким реализмом, что читатель не в силах не верить ему. «Я знаю». — «Ну, что же: тебе и карты в руки. Ты игрок».

«Барон, взволнованный, не трогался с места.

Это, в самом деле, было верно, черт возьми! И он поступал таким образом, и даже часто, — *всякий раз*, когда к этому представлялась возможность. И он также не уважал семейного очага, и не отступал перед горничными своей жены, когда они были красивы. Неужели он негодяй? Почему же он так строго осуждает поведение Жюльена, тогда как сам никогда не задумывался над предосудительностью своего собственного?»

Это — молниеносный эпизод в романе. Как он краток, силен, убедителен! Сколько здесь логики, — простой и неопровержимой, почти по учебнику! Правда, это иллюстрация «погрешности в суждениях» в учебнике логики. Напомним на минуту, что у Гончарова в «Обрыве», когда бабушке нужно было поднять дух в «согрешившей» Вере, она рассказывает ей, после долгой и какой-то грозной борьбы с собой, со своей гордостью, что она в молодости совершила точь-в-точь этот же самый «грех». Читатель пусть сравнит эпизоды, тон речи у романистов. Мопассан дает логику, Гончаров — психологию; у первого это 15 строк, у нашего романиста — длинные и именно грозные, грозно-прекрасные страницы. Но во всяком случае Мопассан полон, и перед его

обобщением, напоминающим евангельское: «кто из вас невиновен, брось первый в нее камень», перед этим обобщением множество мудрецов повесят голову.

Второй эпизод поистине страшен. Мать Жанны, баронесса, приходит в дряхлость. Она уже не может доходить до конца любимой аллеи. И, садясь, все перебирает свои «реликвии», ворох пожелтевших бумажек. Страницы умирания этой бабушки прелестны по кроткому разлитому на них свету. «Мамочка! мамочка!» — повторяет нежная дочь. Это «мамочка» так идет к тону умирания, замирания. Октябрь жизни, ноябрь, зима. Все тихо. Все бело. Она умирает. Дочь рыдает около ее постели, — такая одинокая теперь с неверным мужем. Выкатывается комочек бумажки из «реликвии», Жанна читает, не понимает, читает дальше, свои детские письма, отцовские письма, и пылкие слова романа, знойного палящего июня месяца, но... не отца!

«Я не могу жить без тебя, без твоих ласк. Люблю тебя до безумия».

«Я провел ночь в бреду, тоскуя по тебе. Я ощущал в моих объятиях твоё тело, на моих губах твой рот, под моим взглядом твои глаза... Я чувствовал ярость и готов был выброситься из окна при мысли о том, что как раз в эту минуту ты спишь рядом с ним, что он обладает тобою, когда захочет...»

«Жанна, смущенная, ничего не понимала.

Что это? Кому, для кого, от кого эти слова любви? Она читала дальше, находя безумные слова признания, свиданья с просьбами быть осторожной, и в конце постоянно четыре слова: «главное — сожги это письмо».

«Наконец, она развернула обыкновенную записку, простое приглашение к обеду, но написанное тем же почерком, за подписью: «Поль д'Эннемар», которого ее отец называл до сих пор: «мой бедный, старый друг Поль», и чья жена была лучшею подругой баронессы (ее матери).

Вдруг Жанна почувствовала легкое сомнение, превратившееся тотчас же в уверенность. Он был любовником ее матери, — он, друг ее отца.

И, растерявшись, она одним движением отбросила эти вероломные бумаги, как отбросила бы ядовитое животное, которое на нее вползло; подошла к окну и начала плакать, с невольными криками, раздиравшими ей горло; затем, чувствуя себя совсем разбитой, она упала у подножья стены и, закрыв лицо, чтобы не были слышны ее стоны, рыдала в безграничном отчаянии».

Это совершенно молниеносно! Как это полно!! Что тут упущено, что? Все сказано, все есть. В этом кратком чтении, всего две минуты, вы видите, как на лице Жанны вдруг выросла новая, старящая морщина... И два-три таких эпизода, два-три «открытия» — и цветущая, невинная женщина превращается в старуху, ничего не понимающую, перед всем бессильную. Мать ее поступала так, как Жильберта, «друг» Жанны, отбившая у нее мужа Жюльена.

Как страшно она судила Жильберту...

Так осудить ей так и мать?

«Мамочку, мамочку», — тело которой еще не остыло в ее руках?»

А если она *не смеет* казнить мать, ей остается *промолчать* и перед Жильбертой, отбившей у нее мужа.

Все это смешано в одной минуте. Какое испытание. Какая краткость!

И — никакой мазни, как у нас: воображаешь, что бы тут понаписал Достоевский. Открытие Позднышева в «Крейцеровой сонате», что его жена любовно музыканит с новым знакомым, — какие пустяки перед этим открытием Жанны! В сущности, жизнь у нас, Русских, описана слишком простовато: в жизни бывают такие эпизоды, каких никогда не решались изобразить наши романисты, целомудренно и *неверно* думая, что «это слишком уж фантастично и читатель подумает, что неправда». Мы *упрощаем* жизнь в вечной погоне за «простой ежедневной правдой». Между тем, как именно *ежедневно* в хрониках газет отмечаются случаи куда трагичнее рассказанного в «Преступлении и Наказании», не говоря уже о ровной и несколько *плосковидной* живописи Толстого. Впрочем, ведь мы и живем на плоскости. Вся Россия — гладь...

Местами сжатость Мопассана восхищает. Поль, закутивший сын Жанны, присылает отчаянное письмо матери и дедушке. Они закладывают землю, высылают ему деньги. Получив их, сын одно за другим присылает три восторженных письма, где он изливает свою благодарность и любовь к ним, «обещая немедленно приехать, обнять своих дорогих родственников.

Он не приехал.

Прошел год».

Как это прекрасно! Русский романист написал бы и 1) «как она распечатывала письмо», 2) «как они ожидают его день» — это одна психология, 3) «второй день ожидания» — другая психология, 4) «и какие слова сказал дедушка дочери, чтобы успокоить ее», и 5) «как они смотрели на дорогу». И проч., и проч.

Между тем этого совершенно не нужно пересказывать, потому что это само собой понятно от общей ситуации вещей. Этим ненужным, позволю сказать — ненужным хламом, загромождена на $\frac{3}{4}$ русская беллетристика. Прямо авторы запутываются в описаниях. На всякий день — по странице, и русские обычно описывают только эпизод. Ни сил нет описать «всю жизнь», ни сил нет прочитать «всю жизнь».

Между тем в высшей степени интересна и нужна «вся жизнь». Без «всей жизни» непонятны и эпизоды, или не вполне понятны, не вполне объяснимы.

Этого в русской литературе нет, или очень мало. Она не «научнообразна». В ней нет ситуации страны и времен. Русский писатель похож на странника по улицам: он не знает названия города, куда попал, какой он губернии, под какой широтою и долготою лежит. И не интересуется этим. Он смотрит: вот на дощечке написано: «Дом надворного советника Ивана Семеновича Татаринова». Это его ужасно заинтересовывает.

Он пробирается по заднему двору дома: ужасно грязно — и он все это описывает. Проходит на черную лестницу — встречается чужую кухарку, и бесподобно изображает ее, хотя она на всем протяжении романа нигде больше не встречается (Алпатыч — в «Войне и мире», Елизавета, сестра процентщицы, в «Преступлении и наказании», Осип в «Ревизоре», и проч. и проч.). Приотворяет дверь кухни и втягивает с наслаждением все ее запахи; увидал грязное ведро: «какое богатство», — и описывает все там корки хлеба и обрывки капусты. Описание — роскошь, лучше «Ахиллесава щита» в «Илиаде». В кухню входит барышня — хозяйская дочь. Ну — тут глаза, руки, речь — полный портрет или полный фонограф. Живопись опять первого сорта. Барышня проходит назад в комнаты, автор — за нею, сейчас же шмыг под диван, и из-под него слушает все, что говорится в комнате, кто с кем в каких отношениях, кто кого ненавидит, кто с кем в дружбе, и что из этого вышло. Так один автор у нас пролежал десять лет под кушеткой ленивого барина, который все десять лет не имел энергии подняться с нее. И так рассказал все, что думал и что говорил, наконец «о чем спал», этот барин и что он видел во сне — что буквально по первоклассности рисунка это не имеет себе соперничества во всемирной литературе. Но *сюжета* никакого и *интересности*, по *правде говоря* — тоже никакой! Жизнь ленивого, праздного, неинтересного, в высшей степени ненужного никому человека...

— «А, человека!», — воскликнет читатель. Тут пафос всей русской литературы. Не оспариваю пока, а продолжаю свою мысль.

Бессюжетность или слабая сюжетность — ахиллесава пята нашей литературы, за которую ее можно укорить. Впрочем, и на этом не настаиваем, — только бросаем мысль. Может быть кто-нибудь согласится. Ведь даже и в колоссальной «Войне и мире» мысль автора в том, что не в «войне» дело, не в дипломатии, не в *событиях*, а в том... как болел животик у первого ребенка Наташи. На это всякий доктор скажет, что это — пустяки, надо дать ромашки и только; но Толстой до того запыхавшись говорит об этом, точно это в самом деле важнее Бородинской битвы.

«Общее» для него — ничего.

Частное — все.

Сила литературы французской образна:

Общее там — все.

К «частному» — они слепы.

Мастерство — все у Русских. Так, как Гарун-аль-Рашиды, они странствуют по русским весям и городам и записывают «Тысячу и одну ночь» родной страны. Я заметил бедную сторону этих рассказов сравнительно с мастерством *обобщающей* Франции. Но конечно есть в ней и преимущества. На них можно остановиться самостоятельно.

Вся французская литература в высшей степени не психологична сравнительно с русской, даже сравнительно с мелкими в ней явлениями. Просто — это «разные школы», разный «гений наций». И оттого события, переданные у них в романе или повести, в высшей степени «душевно» не понятны. Они освещены сверху, панорамно, но не освещены изнутри «рентгеновским лучом». Они поэтому ясны в историческом, в политическом отношении, и не ясны, даже неизъяснимы в бытовом, в ежедневном.

Испуганная болезнью единственного ребенка, Жанна, в романе Мопассана «Une vie», в предупреждение последствий его возможной смерти, хочет иметь второго ребенка «про запас». Странно. Так, *по этим* мотивам вообще не имеют детей. Это слишком резиновый способ происхождения «мальчиков». «Мальчик Поль может быть у меня умрет, тогда останется мальчик Андре». Это бывает с куколками и в детской игре, а с людьми и в жизни этого не бывает. *Здесь Мопассан ошибся.* Мальчик Андре, будущий, возможный, ожидаемый, — никак не может заменить бывшего Поля, *теперешнего*, который для *матери* есть единственный и не повторимый, есть *лицо*. Мопассан не понимает лица в человеке не только здесь, но и вообще везде в романе, может быть — всюду в своей литературной деятельности. Поль — схема (à voi d'oiseau *) ребенка, сына. Схему можно заменить схемою. От этого он вкладывает матери не натуральную, анти-материнскую мысль. Резиновые головы не лопаются от резиновых мыслей.

Станем следить дальше.

Жанна уже давно не живет с мужем, после выяснения, что он жил раньше с ее горничною Розалиєю и теперь живет с чужою женою, Жильбертой. Преодолевая отвращение, она в намерении стать вторично матерью — решается вновь сблизиться с ним, чтобы тотчас же вновь прекратить отношения и навсегда умереть для них, как только исполнится ее желание. Но как приступить? Она обращается к патеру, «советнику» в католических семьях во всех подобных коллизиях.

Патер ей отвечает:

— Это ваше право. Церковь *терпит* отношения между мужчиною и женщиною только в целях деторождения.

Только «терпит»... Священник мертвенными устами произносит тысячелетнюю формулу, и даже *верит* в нее, хотя сам, толстяк и добряк, поддерживает мир и согласие в своем приходе тем, что благословляет (на исповеди) решительно все и всякие связи, какие случаются у девушек, у холостых, у замужних, у женатых. Таким образом, все в покое: и формула цела, и жизнь тоже цела. Это — теперешнее положение церкви. Мопассан орлиным взглядом высмотрел его и определил, и — тоже «благословил».

* с птичьего полета (фр.).

Патер Пико переговаривает с Жюльеном. Резиновый господин улыбается, предполагая, что влюбленная Жанна вновь захотела его ласк. «Мы кажется помирились», — шепнул он ей на ходу, когда Жанна гуляла по «мамочкиной аллее». Это было уже после открытия «грехов» матери, когда Жанна вся была изнеможена и разбита. «Что касается меня, то я не требую большего. Я боялся не понравиться тебе», — договаривает он.

«Душа Жанны была переполнена печалью; ей казалось, что она затеряна в жизни, далека от всех. Солнце садилось. Воздух был мягкий. Ей хотелось выплакать свое горе на чьей-нибудь груди. К горлу подступали рыдания; она прижалась к Жюльену.

Удивленный, он смотрел на ее волосы, не видя ее лица, спрятанного на его груди. Он подумал, что она любит его, несмотря на все прежнее, и напечатлел на ее волосах снисходительный поцелуй.

Затем они вернулись в дом, не сказав более ни слова. Он пошел за ней в ее спальню и провел с ней ночь».

Это — превосходная чеканка. Да, но это уже слишком схематично. Точно мы рассматриваем людей в подзорную трубу, и на далеком расстоянии видим, что они делают, видим *вполне их фигуры* (особенность французского искусства), и в то же время ничего *подробно* не можем рассмотреть и от этого в сущности ничего не понимаем. В семье Курагиных («Война и мир») творилось тоже не меньшее и не лучшее: этот квартет из старого «князь Василья», сыновей Анатоля и Ипполита и дочери красавицы Элен жил также вполне растительною жизнью, с прибавкой интересов кошелька. Не более. Жизнь такая же. Но как она понятна у Толстого и непонятна у Мопассана! И при *непонятности* она пробуждает примирение с собою у Толстого, а у Мопассана возмущает нас цинизм. У обоих звучит этот тон: так «бывает», так «случается». Но помните ли то поразительное место, где Толстой сближает лицо красавицы Элен с лицом идиотического Ипполита, ее брата. «Те же черты: но у Элен почему-то было это бесподобно прекрасно, у Ипполита — безобразно». «Матушка натура» одна в сестре и брате: и читатели догадываются, что они оба — идиоты, и молчаливая, без речей, Элен, и вечно тараторящий Ипполит. Ипполит глуп как обезьяна: бессмысленные его взгляды, бессмысленные из рук вон вставки своих слов в чужие речи — все обрисовывает что-то незавершенное в самой природе, в самом его рождении. «Родился дураком», — ниже человека, ниже не все расстояние, каким отделяется больница от обыкновенных домов. А здоров. И даже служит, — кажется, по дипломатии. Элен — *точь-в-точь он же*; но она все танцует, и ей не нужно говорить; ну, и может быть женой. Из этой абсолютной *растительности* вытекает жизнь преступная, порочная и глупая, совершенно бессмысленная. «Что же судить дураков», — решает читатель, закрывая «Войну и мир»; улыбается, вспоминая Ипполита, любовно вспоминая (уж очень смешно), и нимало на него не негодует. «Так бывает». У Мопассана тоже «так бывает»; но мопассановское «так

бывает» совершенно не похоже на толстовское. Жюльен вовсе не показан от роду глупым, в нем ничего врожденно не искалечено, это не больной, не уродец. Поэтому его поступки, хотя ничем не хуже, чем у Ипполита или Анатоля, однако являют сплошной цинизм, возмущают душу до последнего негодования, и хочется бить не только его, но и Францию, терпящую в обществе своем таких негодяев. Наконец, придвинем к Жюльену Анатолия Курагина, соблазнившего было Наташу, и во время уже самого сватанья к княжне Марье толкающего ногой под столом ногу гувернантки m-elle Бурьен. По-видимому, он то же, что Жюльен Мопассана, и действительно — то же; но у Мопассана совершенно ничем и никак не объяснен Жюльен, а у Толстого Анатолий вставлен в бесподобную рамку его рода, семьи и всей той исторической эпохи, красиво-бездельной, празднично-порочной, отчего с него, как *лица*, переносишь суд на всю эпоху. Есть некоторая историческая грусть; но к осуждению *лица* никак не умеешь приступить. В этом — огромная разница.

На одной странице, *всего одной*, Мопассан дает все, что дал Толстой, в «Крейцеровой сонате», и даже с прибавлением, с большею реалистической ясностью, на которую не отважился натуралист Толстой. Но как Толстой *разрыдался* над своим сюжетом, художественно разрыдался, морально разрыдался! Мопассан пишет сухо и кратко как судебныйследователь-художник:

«Старые отношения возобновились, Жюльен выполнял их словно обязанность, которая не была ему неприятна; Жанна подчинялась им, как противной и мучительной необходимости, решив бросить их навсегда, как только почувствует себя беременной.

«Но вскоре заметила, что ласки мужа отличались от прежних. Они быть может были утонченнее, но менее полные. Он обращается с нею, словно робкий любовник, а не спокойный супруг.

«Однажды ночью, уста к устам, она прошептала: «Почему ты не отдаешься мне, как прежде?»

«Он рассмеялся.— «Черт возьми, чтобы ты не забеременела».

«Она задрожала: «Почему ты не хочешь иметь еще ребенка?»

«Он замер от удивления: «Гм... что ты говоришь? Но ты с ума сошла? Еще ребенка? Нет, покорно благодарю! Довольно и одного, который *пищит, занимает собой всех и причиняет расходы*. Еще ребенка! Благодарю!»

Можно представить себе положение замужних французских женщин, которым выпадает судьба получать вместо живого человека такого человека. Патер Пико со своими поучениями тысячелетней древности, конечно, сделал *праведную* поправку к ним, на исповеди начав «благословлять» любовничества. Сперва в некоторых случаях, как *данный*, а затем — и вообще: «кто их разберет, как, что, почему. Пусть живут как знают. Без *этого* «как знают» начнут убивать друг друга, подсыпать яду («Власть тьмы»), резать ножом, зарубливать топором. Хуже, страшнее выйдет, и уж лучше — «как знают».

Патер Пико выведен у Мопассана привлекательным, и читатели, конечно, разделяют его философию. «Брака нет. Мишура одна. Но мишуру заповедано хранить, и будем хранить. Она ведь, в таком виде, с такими оговорками и дополнениями, никому не мешает».

Так и устроились. Устроилась вся Франция, перестраивается вся цивилизация. Толстой заплакал и написал «Крейцерову сонату». Мопассан исчеканил превосходный холодный рисунок, потрясающей не менее, а в сущности — по количеству вложенного *дела*, большей мерзости, большего страдания одной из сторон — потрясающий даже более «Крейцеровой сонаты». Сравнительно с тем, что переживала Жанна, — страдания Позднышева сущие пустяки.

Но эту одну страницу Мопассана, *только одну* — Толстой раздвинул бы в «Анну Каренину», и потряс ею всю Европу.

Ребенок «только питит и требует расходов». Он «мешает мне, Жюльену, жить — ибо требует хлопот и все им заняты». И с этим «черт возьми» удивления... Это слишком по-французски. Да даже по-французски ли? Невероятно, чтобы было так просто и коротко. Что-нибудь есть еще. Жюльен вообще невероятен у Мопассана и во всяком случае совершенно не ясен. Что же полюбила в нем Жанна, прекрасная, кроткая и благородная? Его «элегантность», о которой упоминает Мопассан всякий раз, когда его выводит на «победительную линию». «Элегантность», т. е. манеры, галстук и жилет? Неужели француженки это любят? Невероятно. И Мопассан своей живописью *нисколько внутренне нас не убеждает, что это так есть во Франции*.

Князь Василий и его сыновья еще дальше от нас, чем теперешняя Франция, но что он был, и что дети у него были именно *такие* — мы вполне верим: из осязательности и полной ясности всего рисунка.

Рисунок убеждает в себе. Это — Толстой.

Мопассан тоже рассказал, — даже *подобное*. Но не убедил, потому что не дает ничего понять.

Вот разница между русской живописью и французской. Русская внутренне убедительна. Французская — внешне убедительна, а внутренне — мало вероятна и даже неправдоподобна, по полной непонятности, неосвященности.

Отчего Жанна, дочь распущенных родителей, все Жюльенов и Жильберт, — так целомудренна, свята, чиста, а Жюльен до того на нее не похож?! «Так автор захотел».

У русских есть более бережное, страшливое отношение к темам: и от этого вся их работа, даже плохонькая, получает лучший тон. Написав такой труд, как мопассановская «Une vie», Русский ничего бы более не написал, сторел бы за работой тома в три-четыре, изнурился бы, может быть спился бы, но не перешел к другим легким эскизам, как перешел Мопассан. В конце концов в голове стучит мысль: «*кто же написал «Une vie», Жанна или Жюльен, человек одного типа или другого типа?»* Ответ прет из вас: «Конечно — Жюльен! Жанна умерла

бы над темою, изложив свою грустную повесть. Но с Жюльена скатывается все, как с гуся вода)... Оттого и перешел к новым темам. Но судьба Жанны, рассказанная Жюльеном, не может не сопровождаться только деланным состраданием. И роман не может сопровождаться впечатлением.

«Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу произвела переворот, вызвала волнение в цивилизованном мире.

Но «Une vie»?.. Ее прочли, восхитились, и — только. Для такой книги или вернее такой темы — это слишком мало и даже ничтожно. Можно сказать, *успеха* не было. Были только читатели.

«Крейцера соната» вызвала *действие* в России. Прочтя ее, многие стали иначе жить половую жизнью; переменили свое отношение к своему полу. Появление «Une vie» должно бы вызвать съезд французского духовенства для обсуждения положения французской семьи, вызвать какие-нибудь распоряжения парижского архиепископа, а то и папы. Но ничего не было. Были «читатели»... К чести русского духовенства нужно заметить, что «Крейцера соната» вызвала множество о себе суждений, статей в духовных журналах, а архиепископ Никанор, *монах*, протестуя и негодуя на анти-супружеские тенденции, выраженные в «Сонате», первый провозгласил Толстого «ересиархом». «Отрицать супружество — значит стать врагом церкви, сделаться еретиком». Страхов тогда выразил недоумение, по обычаю мало замеченное: «как же тогда монашество? Толстой только повторил его идею. Не все ли равно запретить вещь *лично себе*, что делает монах, или обобщительно не посоветовать ее целому миру, что сделал Толстой? Свет — один: и что для одного свет, то и для всех, что одному тьма — то тьма всем». По русскому обычаю все это не договорилось, перешло в многоточия...

Но отзвук был.

Во Франции — никакого.

Мопассановское «так бывает» получает себе убийственный ответ: «а иногда бывает и наоборот». Поль вышел у Жанны порочным, преступным и погибшим человеком. От баловства и снисходительности матери и деда? Тысяча биографий отвечают ему, что в таких условиях слагаются и прекраснейшие натуры. Отец — дурной и жестокий человек, «резина», но мать — чувствительная и нежная женщина. Сын, который растет именно с матерью при гуляющем отце (как Жюльен) — выходит на исключительность хорошим. Мы, русские, вообще растем не в строгих семьях — и ничего себе; как и все русское общество — ничего себе, бесконечно далеко от цинического ужаса «Une vie». Выходит, что Мопассан великолепным романом изложил прописную мораль: «Родители, не балуйте своих детей», — для чего поистине не стоило трудиться, так как и мораль-то эта еще сомнительна.

* * *

Интерес и значительность каждой вещи открывается только из ее подробностей. Все вещи светят только изнутри себя. Кто поймет, отчего мясо

дикого барана вкусно, а волка — несъедобно, коровы — приятно, кошки — невозможно для еды? Мясо — на вид одно, структура — одна. Отчего же и в чем такая разница вкуса? Осязательно тут, конечно, ничего не откроешь, глаз ничего не видит, «панорама» не помогает. Полное бессилие физических методов. Мы должны (для ответа) уловить неуловимое, и можем уловить только глядя на вещь не физическим глазом, а художественным, что ли, или мистическим, и прочее. Жизнь человека, вопросы воспитания, наконец «судьба» человека, его «Une vie», как надписал Мопассан, все разведывается и определяется такими же одухотворенными, а во всяком случае не физическими способами, как вот и разница во вкусе мяса хищных и травоядных животных. Отчего Жанна добродетельна, а Жюльен — нет? В «Анне Карениной» сама Анна и брат ее Стива Облонский — одна в высшей степени серьезна и трагична, другой — легкомыслен и несколько комичен, как и бывает это часто в одной семье, «при одинаковом воспитании и от одних родителей». Но у Толстого все ясно и внутренне убедительно. Он знает «запах мяса» и их тайну, чего Мопассан вовсе не знает. Толстой тоже не объясняет, почему у брата и сестры такая разница характеров, как к подобным объяснениям часто и ошибочно прибегает Тургенев. «Так родилось», — эта последняя инстанция в сущности одна основательна и она вместе есть полная тайна. Но Толстой внутренне убедителен через то, что нарисовал и в Стиве, и в Анне вполне *живых* лиц, и просто *видя* их — понимаешь все их поступки и «судьбу». Судьба всегда вытекает из лица человека, но живого и настоящего лица, вот «с запахом мяса». У Толстого это есть; и даже у второстепенных русских писателей тоже есть. Это — «русская школа» и «гений нации». У Мопассана? «Гений нации» и «французская школа» устремили его вверх к «птичьему полету», научили его дать панораму d'une vie: получились схемы и ни одного *живого* лица, никакого *портрета*.

Жанна, Жюльен, барон, баронесса, Поль — манекены социальных положений, почти «примеры» из грамматики, или, лучше, примеры из ненаписанной социологии. Без жил, без нервов, без крови и в сущности без всякой *невольной* для себя «судьбы», кроме *сочиненной* Мопассаном и на самом деле нисколько для них не обязательной.

Просто — это сочинено. И мы можем даже сказать, что этого *нет*. Мопассан ничем нас не убедит, что это *есть*. На его «так бывает», мы ответим: «а бывает и иначе».

Толстому этого нельзя возразить, никто не возразит. «Судьба Анны», как и «судьба Стивы» на линии разоряющегося человека, до того вытекают *из них самих*, что например роковой конец Анны я чувствовал уже в конце второго тома, когда был не прочитан целый третий том. Из читателей все знают, что если Стива не разорился на протяжении трех томов, то разорится в не написанном пятом, или, вернее, шестом томе, летам к пятидесяти пяти жизни. Долли его из имения переедет в город, на квартирку, в тесноту и нужду. Дети вырастут превосходные. Все это

есть уже, содержится в живом лице их,— и также в образе совершенно живой жизни, которую «портретно» нарисовал Толстой. Но у Мопассана не только куклы-люди, но и кукольна вся жизнь их. Просто — это сочинено, и нет. Нет самого романа иначе, как главы из «социологии».

Было имение. Сын заматался. Продали имение.

Это — социология, а не роман; наука политической экономии или глава «истории дворянства», а не художество. Весь роман Мопассана, так чудно исечканенный, вместе с тем глубочайше антихудожествен. И вся французская литература, при уме и блеске ее — не художественна.

Она вся камениста, а не бархатиста. Вся из «сухих французских цветов». Много шелка, бархата, золота. Но ничем не пахнет: живого цветка в ней нет.

Между тем уже с Карамзина и Жуковского живой аромат полевых цветов, или оранжевых, но тоже живых — вносится в русскую литературу, и до сих пор в ней сохраняется, даже в незначительных произведениях. Можно посмеяться над приемами русской работы,— вечным собиранием сплетен, наведыванием на кухню, справками о родственниках, копанием во всех потрохах, в погребке, в бане и даже «не удобь сказуемых» местах. Все это невкусно и некрасиво,— и мало понятно, как «сжатые», галантные Французы выносят русские романы. Верно перевертывают через три страницы в четвертую. Но при безвкусице и бестолковщине работы нельзя отказать, что эта работа тем не менее есть живая работа, а не «французские цветы». В большей или меньшей степени все русские романы дают обонять тот «запах мяса», в котором все дело, который один все объясняет в сложении общества и в «судьбе человека».

Русская работа глубже, тревожнее и нравственнее. Самое подхождение к темам совершенно другое. Все это нарастало медленно; но после Гоголя, Лермонтова, Толстого и Достоевского стало психически невозможно для русского писателя подходить к темам литературной работы без переполненного сердца, без некоторой житейской заботы, без духовного труда. Все русские литераторы трудятся, везут тяжелый воз. Это несколько некрасиво, не похоже на французскую «кавалерию», но полезно и здорово, для авторов и — самой жизни.

В конце концов русский и французский методы оба имеют свои качества,— противоположные,— и лучше всего если сохранятся самостоятельно и в целости, без взаимных подражаний, без впадений в «чужой тон». Они оба нужны. А *voilà d'oiseau* видна *судьба страны*,— такая вещь, которой никакой рентгеновский луч не покажет, никакое «внутреннее освещение лица» не объяснит. Превосходная чеканка, как у Мопассана, есть хотя искусственная работа, но превосходная работа. Увы, и без «французских цветов» не обойдешься, хотя они и не пахнут: доказательство в том, что их *делают*. Значит, они нужны, нужны человеку, нужны в жизни. Мы, Русские, до того привыкли к «натуре», что ничего не ценим вне ее, но цивилизация есть не натура, а работа человеческого духа над натурой. Во многих отношениях цивилизация есть даже удаление от природы, преодоление природы. Но вообще есть везде токи и противотоки,

езде — борьба, везде — разные планы. Русская и французская литературы должны быть дружны, но не должны одна другой повторять. У нас — свой алтарь, там — свой. Пушкинского сердца никогда не родит французская словесность; и наша никогда не родит *esprit* Вольтера, Дидро, Токвиля. И не нужно. Будем каждый богаты своим богатством, без завидования и недоброжелательства, изучая друг друга, изучая всех, но «подражая» только себе и своему.

Магическая страница у Гоголя

Ксанф в своем сочинении «Маги» передает, что волхвы разделяли ложе с матерями и дочерьми и что также у них считалось позволительным сближаться с сестрами... И происходило это не вследствие хитрости, но по взаимному соглашению.

(«Строматы» Климента Александрийского, книга III, гл. 3).

I

Осторожные евреи, теперь и прежде, не позволяют детям своим заглядывать в один уголок Св. Писания — в «Песнь Песней»: но вот сыну минуло 14—15 лет, дочери 12—13 *, и родители в лоно сыну дали девушку, в лоно дочери дали отрока-юношу. Самим родителям, пропорционально возрасту детей, 30 и 26—28 лет. К 35 годам отца и 32 годам матери уже 2—3 сына, переселившиеся в чужие дома, имеют жен; они именно и переселились в дома родителей своих жен, тут же соседские дома маленького, душного, тесного городка; а сюда взяли 2—3 отрока-юноши в лоно подростшим 2—3-м девочкам-дочерям. И вот вечер в пятницы на субботу: когда Жених — Иегова сходит в дома Израиля, где его встречает в полном убранстве «невеста» — Суббота, олицетворяющая волны и воды самого Израиля — племени. «На этот день мы все, евреи, становимся лучше: и каждый из нас, последний плутяга, — чувствует себя святым и героем в непонятном для других народов смысле». Так написал один еврей — антисемит **. Крепкие и в полном цвете сил,

* По Талмуду, 13-летняя девочка именуется «богерет», перзрелой старой девой, уже запоздалой к браку: и родители, по тому же Талмуду, обязаны были уже ранее или выдать ее замуж, или хотя нанять ей мужа, — временного, соответственно теории развода. Конечно, все это в случае безобразия или болезненности дочери. При красоте и здоровье ее все обходилось как у нас: она счастливо и навечно выходила замуж между 10—12 годами, причем первые три года муж ее, избавленный от всякой работы, должен был проводить в доме ее родителя, а следующие три года жена — уже, конечно, с детьми — проводила в доме родителей мужа. Таким образом, шесть лет чадородия проводились, попеременно, в одном или другом родительском гнезде, и после этого только, утешив родителей, они отделялись, образуя свое гнездо.

** Лет восемь назад, в одном из фельетонов «Нов. Вр.».

перед зажженными четырьмя свечами в память прабабок еврейского народа, Сарры, Ревекки, Лии и Рахили,— родители-евреи отдергивают теперь перед тремя дочерьми и тремя зятьями завесу, скрывавшую дотоле заветный уголок Св. Писания, и читают:

О, когда бы ты был
брат мне,
сосавший
грудь моей матери!..

Три зятя не могут не потупить очи, и несколько не взволноваться: мать жен их, кормящая 8-го или 9-го ребенка, тут же, и прекрасную обложенную грудь ее, во время кормления, они неоднократно и обыденно видали. Но это сочетание слов как бы от имени их молоденьких жен,— с этой раздельностью ритма, очевидно, с музыкальным ударением:

сосавший
грудь моей матери

приводит их в такое сочетание, какое им не приходило на ум. «В самом деле, если бы мы были братьями Юдифи, Фамари, Руфи — мы бы сосали грудь нашей полуматери, их матери...» Что дальше?

Тебя встретила я бы на улице,
целовала бы тебя
и
меня не порочили бы.
Повела бы я тебя!
Привела бы тебя
в дом моей матери.

«Мы — в дому их матери», не могут не подумать зятя.

Ты учил бы меня.
Я поила б тебя
вином ароматным,
соком
гранатов.

Все музыкальные ударения: каждая строка имеет ударение, а часто в строке — только одно слово. Отец читает их: и зятя не могут не чувствовать, что через минуту после того, как он пахнул на них грезой грудей жены своей, их полуматери, он манит их к лучшим и непознаваемым обаяниям тринадцатых, четырнадцатых и пятнадцатилетних дочерей:

Проснись ты, северный ветер,
и примись ты, ветер с юга,
ты повея на мой сад!
Пусть польются его ароматы,
пусть сойдет мой друг
в свой сад
и пусть ест
его плоды драгоценные.

Последнее — слишком физиологично: тем более, что уже впереди было сказано:

Сестра моя, невеста!
Насколько лучше твои ласки
чем вино;
и запах маслянистых твоих частей —
чем все ароматы!
Каплет из уст твоих
сосновый мед,
невеста,
мед и молоко
под языком твоим,
и запах одежды твоей,
как запах Ливана!

Все так осязательно: отец, как бы перебирая части костюма дочерей своих, подносит к лицу мужей их, и, давая их обонять, спрашивает словами Священной Песни: из вас каждый разве не узнает запах моей Фамари, моей Руфи, моей Юдифи? Не всегда, не каждый день, но в Святую Субботу для любящего мужа он слаще нарда! Вы же их — любите: ведь еще сегодня утром вы могли, если бы захотели, свободно покинуть их и выбрать лучшую девушку в жены себе *: но если и на эту Субботу вы их не оставили, значит, в сей вечер они вам самые сладкие на земле женщины.

Голос чтеца, отца семьи, все так же звучит: и как жена его 32-летняя женщина, так и ее дочери, родившие, беременные и может быть станущие беременными в эту ночь, — не могут не затомиться, когда также размеренно он продолжает:

Лилии —
губы его,
с которых каплет
мирра текущая.
Его руки —
Кругляки золотые,
испещренные топазами;
его живот —
изделие слоновой кости,
Покрытое сапфирами.
Его голени —
столбы из мрамора,
Что поставлены
на подполья из золота.
Его вид,
как Ливан;
он крепок,
как кедры...

* Сюда примыкает, — точнее, это обеспечивает теория еврейского развода. Талмуд говорит, что мужу не нужно для него приводить других мотивов, как-то, что «у жены моей дурной запах изо рта». В силу священства Песни Песней, устройство у них брака сообразовано с тем, чтобы в вечер пятницы каждая жена была в точности безусловно сладка мужу своему, в тех подробных и точных выражениях, как Сулами́фь — Соломону.

Все сильно, прочно; все так соответствует женской неге и уступчивости! И точно, уступая этому описанию, дочери шепчут за словами читающего отца:

Уста его —
сладкие яства,
и весь он —
желанный!

Небольшая комнатка, с чтецом и семью слушателями и слушательницами, а если читает дед — с четырнадцатью, с двадцатью слушателями и слушательницами, всех возрастов, цвета глаз, цвета волос, роста, строя спины, бедр, торса, — при четырех горящих свечах, становится душною, жаркою, — и переполняется испарениями, свободно проходящими через южную тонкую одежду; домашнюю, родственную одежду, едва ли плотно застегнутую. Все, кстати, должны быть священно-босые: обувь не надевается ни в священном месте, ни в священный час. Все больше закинуты, заброшены «чем-то», чем одеты: ведь читает отец, или патриарх рода, — для детей, внуков, внучек, дочерей, зятьев, невесток. И звуки Песни Песней, ее ударения, расходятся волнами в горячем воздухе, входят волнами в кровь слушающих: и эти волны скрещиваются, переплетаются, взаимодействуют, сливаются, отталкиваются — дедовские, бабушкины, впрочем, всего 55-ти и 45-ти лет, с сыновними и дочерними — возраста 35 и 32 лет, внучатыми от 11 до 18 лет, и старое молодеет от молодой волны, а юное созревает от старой, крепкой волны, иногда очень сильной волны. Главное, — так тесно и душно: где здесь кончается человек? Читает — род, ветви священного дерева. Но «Сара, Ревекка, Лия, Рахиль», олицетворенные четырьмя свечами, близятся к концу: Суббота-невеста совсем готова Небесному Жениху... Старое — очень старо, ведь есть тут и прадеды: и «Древо Жизни» умерло бы, не появляйся новые побеги у корней его. Свечи догорели, по счислению часов на Востоке — теперь самая середина Субботы, и род расходится в тесненькие близкие комнатки, почти неотделенные одна от другой, отделенные полотнищем или тонкой доской... Теперь внуки, дети, невестки, зятья, сестры, братья — целый народец — один на один друг с другом, и дошептывают:

— Сестра моя, невеста моя!
— Желанный, возлюбленный мой!

Верхние девяностолетние ветви «Древа Жизни» совсем засохли, — торчат безжизненные, не шевелясь: но крепки и сочны сучья в средних частях кроны, и чем ниже — до десятилетнего возраста, тем живучее и обещающее. И все дерево, великое «Древо Жизни», живет священным «субботним покоем», по образу плодовых прабабок еврейского народа.

«Плодитесь! Множитесь!»

Одна заповедь, над всеми. Одна, равная всем. Одна, могущая заметить исполнение всех остальных: ибо и остальные все даны только в ограждение, подкрепление, удлинение ее:

- Не убий!
- Чти отца и мать.
- Помни день субботний.

Или меньшие, подробнейшие:

«Когда будете строить Храм, не употребляйте железа: из железа делается оружие, а оружие прекращает жизнь! Не мешайте же с Храмом, вкусом Храма, мыслью Храма то, что так ему противоположно,— оружие или материал его.

Будете строить жертвенник Богу, то не кладите в основание его тесанных, обработанных камней: положьте — в натуре их, девственными, нетронутыми. Ибо и весь Храм и Бог — дышат натурой и требуют жертвоприношений натурой».

«В два сотворил человека Бог: двое и угодны Богу».

Все — два, везде — два. «Одного» не приемлет Бог: и если по какому-нибудь несчастию мужчина повредил себе ядра и стал «solo», «один», не связуемым в пару, чету,— «пусть он никогда не входит в Храм Господень». Жалко его: но это не религия Милости, а религия Натуры. «Камней-то не отесывайте: тогда не нужно Богу, в отесанные камни Бог не войдет» *.

Но в «субботнем покое» из семи мужчин ни один не лишен ядер: и в «Песни Песней» предусмотрительно упомянуто о козочках, которые так счастливы, что ежегодно рожают «двойни». «О двойнях-то позаботьтесь: может быть, у которой-нибудь выйдет». Выйдет у которой-нибудь — дочери, невестки, внуки.— «У которой?» — могут гадать дед, отец, брат о сестре, о многих сестрах разом, о нескольких дочерях разом. «Пусть дочери молят Бога: а мы по заповеди и уставу дали им самцов ** с целыми и здоровыми ядрами».

«Никакой брак,— внушает Талмуд,— так не угоден Богу, как между дядею и племянницей». Когда у христиан произносится «угодно Богу»,— то этим выражается только «неизреченная воля». Его, без вхождения во вкус этой воли, в мотивы ее: «угодны посты» — и с этим соединяется мысль о строгом Лице, которому вообще неприятно, противно человеческое объядение; «угодна молитва»,— и это вообще отражает то антропоморфическое представление, по которому всякому

* Цитаты, сделанные по переводу г. Эфроса, изданному книгоиздательством «Пантеон». Это — первый настоящий, научный перевод, с весьма важным музыкальным разделением на строки — слов отдельных предложений.

** «Самец», «самка» — постоянные термины жертвоприносительного культа в Библии; в русском и славянском переводе Библии эти важные *живые* термины устранены и заменены общим: «телец», «вол», «конь», не содержащими *рода* называемых существ. Переводчики-христиане вообще везде конфузятся за Бога, и стараются скрыть от читателя, что в числе прочего Он создал также и то, что они шепотом называют «неприличным местом» и о чем не говорят вслух.

сильному существу приятна зависимость от него слабых, постоянные упрашивания и мольбы их, постоянное к нему обращение. Но евреи помнят, что жертвы приносятся «в приятное благоухание Богу», и их термин — «угодно Богу» всегда значит «сладко Богу», «приятно Богу». Самое заключение завета с Авраамом было «приятно Богу», что видно из того, что не Авраам искал этого заключения, просил о нем Бога, а Бог неоднократно склонял и, наконец, склонил к нему Авраама. Поэтому выражение: «угодно Богу сочетание между дядею и племянницею» в ушах всех евреев звучит, что Бог получает особенную сладость при плотских сношениях между племянницею и дядею, или при многоженстве в древности, от плотских сношений дяди с племянницами. Мысль эта не может не влиться в кровь плодящихся и не зазвучать в ней особенным ритмом: разводится сад юниц, где будут срывать «мандрогородовые яблоки» * братья отца, зятя матери и братья самой матери. С этим вместе братья как матери, так и отца превращаются в толпу женихов для дочерей, возможных, избранных, хотя не непременно. Каждый, кто знает холодное, отчужденное, завистливое в отношении наследства отношение у христиан братьев друг к другу, сестер к братьям, братьев к сестрам, тот поймет великую перемену, влитую законом этим в отношения сестринские-братские у евреев:

Любит муж жену здоровую,
А брат любит сестру богатую.

Это — у нас, у которых нуждающийся на удовольствия, тратящийся на женщин брат всегда находит прибежище в кошельке сестры, вышедшей замуж за богатого человека, и немощно эксплуатирует как ее, так и зятя. Все это установилось естественно: при поглощающем значении, какое имеет половая жизнь интимно для каждого, сестры сами по себе абсолютно не интересны для брата, братья и их дети — также не интересны для брата и сестры, иначе чем притворно. Таким образом, уже дети родителей все смотрят врозь, убегают друг от друга: и оглядываются назад, в родительское гнездо, только с мыслью что-нибудь взять оттуда. Вследствие указанного закона у евреев, все чадородие под отцом-матерью обращено лицом внутрь, не центробежно, а центростремительно: все это, не выходя из пределов семьи, может размножаться дальше. Достаточно, если отец и мать выдадут хотя одну дочь за постороннего, или даже за брата же матери: эта одна дочь наплодит дочерей в замужество всем своим братьям. Плодородие обеспечено даже, когда есть налицо муж, жена и брат кого-нибудь из них: отсюда может выйти целый народ. Закон этот абсолютно противоположен христианскому: смотреть всегда врозь, центробежно, иметь жену на стороне, далеко. В словах Иисуса: «я положу вражду... между братьями

* Мандрогородовое яблоко, со множеством выпуклых, крупных зерен в нем, было символом плодородия на всем Востоке, и также у евреев. По представлению евреев и особенно — матерей семейства, съедание его предрасполагало утробу женщины к зачатию, и возбуждая и благоустраивая ее.

и сестрами, между невестками и свекровью», уже содержался этот будущий закон христианского брака: отчуждение кровных, распадение кровей. «Дальше от своей крови» — есть дух христианства, «ближе к своей крови» — вот дух юдаизма, или, вернее, семитизма, всего семитического Востока. Кто знает специфическое ощущение нежности, какое-то томящее, невольное, «само собою», какое проистекает как из половой связанности, так и из обещания его, прямого или косвенного, себя или своих, возможного или будущего, тот не может не ощутить, что сердца в еврейской семье бьются совершенно иначе, чем в семье христианской. Мать, кормя грудью младенца-сына, — обрезанного и уже как бы «жениха» *, — не может, если бы и усиливаясь, удержаться от мысли, что кормит она мужа для своей внучки, дочери сына своего или своей дочери. При раннем замужестве, не только матери, но и бабушки ходили еще беременными, рождали и рождали вновь, когда уже ходили беременными и рождали их сыновья, дочери, даже внуки и внучки. Новые нити, пока мысленные нити, духовные нити плотских будущих сношений слагались уже между беременными животами обширного рода: и «младенец взыграл во чреве матери своей» — это ощущалось и ощущается у евреев совершенно иначе, чем у христиан: сладостнее, сильнее и властнее в отношении беременной матери. Она была слишком подвластна этому «игранию»: как жертва, невольница, воистину «раба по глаголу Твоему», она была узлом, где перекрещивались такие линии будущих связей, в которых не могла, не умела и не понимала даже, как найтись, поступить, что сделать: и могла только, как Кассандра, как библейские женщины пророчествовать, молиться, взывать, просить, надеяться. Живот ее был центром судеб — притом своего рода: в братьях, в дядях, в племянниках, — она везде имела не это одно прямое холодеющее родство, но и родство другое, разгорающееся, какое вспыхивает к зятю, к невестке, вспыхивает и так часто умиляет, увлекает в безумное кружение, в новую страсть нашу старость! «Мать совершенно как бы лишилась разума: нас несколько братьев и одна сестра замужем; у нее — большое состояние: и она все проживает в семье замужней сестры, забыла нас, сыновей, и мы опасаемся, что она все завещает внукам, зятю и дочери», — эту жалобу и страх мне пришлось выслушать от одного доктора, преподавателя высшего учебного заведения. Слова другого, — мужа покинувшей его жены: «жена стала уходить к замужней дочери; сперва возвращалась хоть к ночи, а затем стала и ночевать там. Я все время, и до сих пор, остаюсь один». Третья, старушка, до того привязалась к невестке, жене любимого своего сына, что непрерывно старалась обнять ее, поцеловать, во всяком случае — сесть около нее, дотронуться до нее рукою: и в то же время точно перестала выносить своего

* Сепфора, жена Моисея, обрезав камнем сына своего в пустыне, по неперемennomu требованию Божию, смятенно воскликнула: «Вот теперь ты жених крови», и прибавила: «жених крови по обрезанию». Обрезаться значило стать женихом уже, стать как бы готовящимся к посяганию на деву, что соответствует самому виду обрезанного органа.

мужа-старичка, постоянно высылая его в другую комнату. Ее постоянная ласковость чуть ли не была даже отяготительна для молодой и добродетельной невестки, и она как-то стеснялась и конфузилась ее. Четвертая говорила мне о зяте: «Какое-то новое чувство, никогда мной не предполагавшееся: когда он сделался мужем моей дочери, во мне вспыхнула необыкновенная нежность к нему... Я не умею объяснить. У меня есть сыновья и чувство к сыну матери я знаю: оно сладко и крепко, оно полно страха за него, хотя он и с бородой. Но это... тут смешано чувство к сыну с чувством мужа: страха никакого нет, но до того дорог он мне, до того мил, так весь приятен, как это чувствуешь только к мужу. Я не понимаю: но это так ново и я никогда не ожидала»... Это наиболее полное описание, какое мне пришлось выслушать, и оно невероятно ценно. Оно открывает, что с браком детей у родителей рождается новое чувство, только им единственно известное; и как с новым чувством человек как бы вновь рождается сам, то нельзя не сказать, что стареющие родители от того упорно, тоскливо, непременно стараются побрачить своих детей, что через это сами рождаются в новую жизнь, свежую жизнь, молодую жизнь... Любовь настоящая истощила бы их силы и ускорила смерть: но эта новая любовь к невесткам, к зятям, не беря ничего материально у старцев, с тем вместе во всем существе их разливается настоящею любовью, согревая и освещая их прекрасным вечерним светом. Так солнце иногда уже зашло за горизонт вод, а пурпуровая заря, почти как пламя, но на самом деле не пламя, еще горит полчаса над далекой точкой моря. Солнца нет, а свет солнца есть: вот вторая, лучшая и правильная любовь, какую Бог дал старости. Есть ее сладость, есть ее сахар, есть ее истома, и грезы и волнения: но материи ее нет. Эта благородная любовь старости,— у евреев при молодом браке,— наступала для родителей уже в 28 лет для матери и в 33 года для отца, т. е. при полном цвете и жизни собственных сил. Тогда она являлась утолщением реальной, матерьяльной любви их,— заставляя вспыхивать ее, как пламя, присоединенное к пламени, как костер, когда в него подсыпают сухих прутьев и хвороста. Мне также случалось наблюдать трогательные случаи, когда у престарелых уже родителей, давно не имеющих детей и, вероятно, прервавших связь несколько лет назад, с женитьбою сына или при замужестве дочери рождается ребенок: кровь оживляется, силы поднимаются и плотская связь, уже угасшая было, загорается вновь. Так, в прекрасной благочестивой семье, от мужа 58 лет и жены около 45 лет, родился ребенок немного месяцев спустя после рождения старшею дочерью, отданною год назад замуж. Кто наблюдал частую женитьбу отцов-вдовцов одновременно с замужеством дочери, тот поймет, что страстные соединения в молодой семье рожают зарю даже среди глухой ночи, какая настала в родительском лоне. Вторая жизнь... Может быть обещание и залог будущей, посмертной жизни?..

Жарка семья у евреев. Не тепла, как у христиан, а жарка... Это всегда у них многосложное пламя, многоцветный костер. «Брат ли он мне?»

не только: но он и муж моей дочери, зять мой, возлюбленный мой, приятный мне»... Здесь каждое слияние молодых супругов дает свой тон, свой звук, замирающий, нежный, но чувствуемый, но сладкий особою новою сладостью по бесчисленным линиям всего рода, входит зарей от невидимого солнца в братьев, сестер, дядей, родителей, деда, бабушки... Есть взаимные благословения: мне лучше, когда кто-нибудь невидимо благословляет меня; и сам я от этих чужих благословений становлюсь добрее и уже невидимо, безмолвно благословляю других. Дубравую шумит зелень «Древа жизни»: оно одно, но как бы лес. И птицы вьют в нем гнезда, много птиц, всякие птицы; и звери находят под ним прохладу, и всякие насекомые копошатся в его коре. Все старо. Все сильно. Славное, вечное дерево. Это — плодящий род, внутри себя плодящийся.

В христианской семье, где все смотрят врозь,— ибо «врозь» обращены судьбы их, будущее их,— юноши-сыновья, как только получают силу и возможность, уходят вдаль, странствуют, блуждают, всегда магически отыскивая женщину себе, девушку, невесту, любовницу, приключение, «что-нибудь»... «Вдали» невеста: и непременно жених ее уходит вдаль. Притча евангельская о «блудном сыне» есть собственно предсказание *типа* будущих сыновей у христиан, так как у евреев их не было и не могло образоваться. Здесь все обращено внутрь, ибо внутри лежит «судьба» каждого, «женщина» его, жена его: здесь все царапается, ползет внутрь и внутрь, к «меду» своему, «сахару» своему. Таков закон устроения. Блуждающие и невольно «блудные» до долгой женитьбы, сыновья,— как и вылетевшие из родного гнезда дочери, которым это гнездо совершенно «ни к чему»,— образовали европейское общество... Порочное, шумное, нервное, гениальное, с истомами и вечным неудовлетворением (до «судьбы»), оно создало европейскую культуру, блеск ее, огонь ее, музыку ее, линии ее... Уходящие в небо, в пустое безотрадное небо... Но вообще мы признаем, что много бесконечного гения создано здесь, поэзии, красоты, свободы... Но только простое и любящее сердце не может не погрузиться над самими создателями: ибо все это как-то слишком без сахара, все имеет уксусную консистенцию, все отравлено тонкими ядами.

Нет, «плодитесь, множитесь». Последнее выходит, но уже как случай; у всех выходит, у 90%, и все-таки у каждого как случай. «Родились дети» — это решительно вне преднамерения у инженера, чиновника, писателя, офицера; из которых каждый прямым и преднамеренным делом имеет: писать, воевать, проводить дороги. И, наконец, перед рождением детей просто был влюблен, наслаждался, носил цветы, покупал подарки, и, наконец, грезил ночью как Левин в «Анне Карениной». Но ведь и Левин грезил о добродетелях Китти, о ее локонах: но ни разу восхищенною мыслью не остановился на беременном животе ее, и мысленно не поднял ее ребенка на руки. Афродита еще живет в нас, действует. Иначе все бы умерло. Но мы ее не видим, не знаем, с нею не соображаем, ей не ставим свеч, не курим фимиамов. И, словом, она хранит нас; но мы уже давно ее не храним.

Восток и не создал «общества» и с ним культуры, как окаменелых вздохов, тоски, неудовлетворения, поисков; окаменелых в веках, в тысячелетиях, в готике, в музыке, в Канте, в революциях...

Восток «плодился» и «множился»... Пахучий и сахаристый, он был похож на громадный улей, с безграничными запасами меда тут, на месте, для каждого с младенчества его, с способности вкушать... Все некрасиво снаружи. Нет нашей готики. Цивилизации нет, как вечно нового и разнообразного. И, конечно, мечту нашей цивилизации мы не отдадим ни за что... Но как-то грустно, простому и доброму сердцу грустно за цивилизованных людей. Проклиная азиатское отсутствие цивилизации, мы, однако, никак не наступим ногою и не раздавим этот медвяный улей, живущий по закону своему, совершенно особенному закону, который для нас есть и не лучший и не худший, а просто — другой. Заметим, однако, что такие громадные «дыхания» истории, как бы дыхания целой планеты, — как христианство, буддизм, магия, юдаизм, Библия, — выдохнуты были на землю Азией. Чем именно была бы Европа без этих громадных дыханий, очень трудно представить: может быть, тысячелетием просто волокитства и просто драк, сражений, войн. Европа, собственно, культивировала, обрабатывала, удлиняла, развивала, обтачивала «неизреченные слова» Азии, аромат ее, мед ее...

И вот вечер с пятницы на субботу в еврейской семье, где среди четырнадцати слушателей и слушательниц «Песни Песней» все, собственно, до супружества были уже братьями, сестрами, дядями, племянницами, двоюродными, где есть и двуженные и треженные: и молодой отец, в 23 года, имеет тут же себе женами и дочь брата своего, и дочь сестры своей, и еще кроме их живет с некрасивою пожилою служанкою, которая, в качестве матери его ребенка, слушает ту же «Песнь Песней»... Ужасно душно и жарко. Взоры их, кровь их, — все совершенно не похоже на все, что мы знаем в Европе: мы не только этих ощущений не знаем, но никогда и воображением не бродили по краю их. Здесь кровь каждого удвоенно чувствует кровь другого: здесь родство так переплетено, из таких удвоенных нитей, с такими утолщениями, что, собственно, что такое «родство», знают только они одни, а от нас самая магия «кровности», «родственности» совершенно скрыта, как Америка до Колумба.

Что-то скучное, не интересное, вялое — у нас.

Но оно здесь пылает и напряжено до последней степени: здесь нет не чувственного родства. При расходящихся линиях — родство имеет интерес «в наследстве» и не имеет в поле: родство — бесполо, афаллично. Но при сходящихся линиях оно все фаллично: и вот этим особым нервом в себе оно все пылает, страстно, горячо, знойно, нежит жилы, сахарит душу. Всего человека оно преобразует в новое существо, может быть, неприятное и сухое за пределами дома, на улице, «в обществе», но которое там, внутри дома, в вечер с пятницы на субботу, есть сущий «ангел» для всех, на вкус всех, и себя чувствует «ангелом» же в отношении всех. Целая община, маленький род — все чувствуют сахаристость

друг в друге, сладкими себя друг для друга. Или, как говорит «Песнь Песней»:

Невеста моя,
Сестра моя,
Ласки твои
Слаще вина...

Это — не уподобления, не аллегории; в словах этих, точных словах — суть всего. Как у разума есть память, воспоминания, грезы,— так у богато развитого пола, при наличности «плодитесь и множитесь», есть эта же память, предчувствия, грезы... И при странном сплетении родства здесь пол как бы пантеизируется и через жену и материальную связь с ней,— как через резонатор или детонатор,— соединен с полом всех остальных, и не может не вибрировать, когда вибрирует он у кого-нибудь. Странная эта суббота: как будто лица у всех уменьшились, стали «личиками», маленькими, детскими, не умными: но появился странный разум в поле, огромное лицо в нем, нам окончательно неизвестное, неугадываемое, с непостижимым для нас выражением, смыслом, манией, притяжением... Лицо это,— как разум в нас иногда разливается на все тело и оно становится «умною фигурою человека»,— так это европейцу непостижимое лицо пола разливается у евреев и евреек на всю фигуру их, делая ее какою-то сладкою, возбуждающею у каждого для всех и всех для каждого... Все страшно связано,— о, непонятым в Европе образом! Ведь все такие родственники и возбуждены друг другом. Как-то в Судный день, сидя в синагоге, я взял книгу у соседа (по-русски): и, раскрыв «где-то», ударился глазами в строку: «Боже, избавь (или «не допусти», «не доведи») меня от кровосмешения». Мысль, молитва, невозможная у христианина: до того она далека от нас, до того если и случится — то как исключение и случай, для которого и не составляется «общих молитв», храмовых, народных. Но у евреев вся кровь поднята к кровосмешению; странным шепотом Талмуда о дядях и племянницах,— она вся брошена сюда, не у одних племянниц и дядей, но, главным образом, у братьев и сестер и далее во всем круге родства: брошена к стене этой, именно этой стене, и остановлена странным упором, твердостью стены. «Чем ближе сюда — тем *святей*: но *переступить* через стену — страшный грех, смерть, достойное смерти». Но лижут волны стену, высоко вздымаются; стена стоит, несокрушимая, Божия. Бог именно как-то около этой стены поднял весь водоворот страстей, весь огонь Израиля: поднял,— и удержал. Позвал,— и запретил. «Сюда, сюда, вот до этой черты, до самой этой: но дальше — смерть». Что же дальше? Душа человека всегда идет «дальше», чем материя его: и пыл души еврея, всегда столь фаллический пыл, переступает и дальше, гораздо дальше, нежели как это указано в Библии и разъяснениях «Талмуда», удлиняющих ее: — Сахар дочери дозволен, но мой сахар — нет...

Это образует чудную, особенную застенчивость евреев... Она глубоко волнует, потому,— что столь ясно и фаллично, и она бесконечно

привлекательна, потому что, будучи таковою, вечно убегает от вас, скрывается. В «Песни Песней» острую, жуткую сторону, самую страшную, составляют не *схождения*, не «когда он покоился на моей правой руке, а левая его обнимала», а... уклонения, ускользания, его ли, ее ли. Они сделаны с каким-то особым сгибом строк,— и таковы, что более всего помнятся. Между тем, в «ускользающую любовь» уже входит не одно материальное, а и все воображаемое, всякое воображение: воображением же связаны все присутствующие в комнате в вечер пятницы, и эти строки «Песни Песней» собственно — связывают весь род как бы в одно лицо, точнее — в одну чету, но так, что в узле все и от всякого «ускользает» и материально остается только одно «законное» лицо, но воспламененное до предела и перед воспламененным до предела же. Как бы огромное лицо пола уменьшается до величины угля, но концентрирующего всю пятнично-субботнюю всеобщность. Но свечи «Сарра, Ревекка, Лия, Рахиль» догорели, и все переходят в «субботний покой»: пиршество Иеговы-Жениха *.

Библия, точнее — юдаизм, была вечернею зарею древнего Востока, и даже в самых корнях Библии, ее «исходах», первых главах, мы читаем, как о *бытовом факте*, без «спроса и дозволения», о том, что является позднее запрещенным. «Нужно ли читать историю Лота и дочерей его в последовательном чтении свитка (св. Писания) в синагоге, или это место следует пропустить», есть вопрос в Талмуде. «Нужно читать», дан ответ. В «Жития святых», этих духовных «предков» христиан (они не имеют других «предков», кроме духовных), не введено не только картинного, личного, разговорного эпизода вроде истории Лота, но, читая христианскую историю, наставительно и патетично излагаемую, можно подумать, что все христиане всю тысячу лет жили только с законными женами, а что касается дочерей, то их «даде в брак» родители, по Апостолу, после чего дочери «рождали чад церкви», и все это шло по маслу и благополучно, как курьерский поезд между Москвой и Петербургом. Вся христианская история (в изложении) удивительно обточена, облизана, отполирована, и блестит «законностью», как новые пуговицы на новом сюртуке полицейского. От этого, однако, она не стала «священной историей» ни для одного народа. Евреи же читают в своей (для всех народов) «священной истории» о всяких случаях жизни седобородых предков своих, о любовничествах, сожитиях с прислугой (Агарь у Авраама), с двумя сестрами одновременно (Лия и Рахиль), причем они еще заставили сами его сожительствовать со своими «нянюшками» (Валла и Зелфа), и, наконец, о минутных схождениях с вольными девицами... Невозможно, чтобы мы в чем-нибудь осудили тех предков,

* Г-н Эфрос, переводчик «Песни Песней», устно сказал мне, что в вечер пятницы евреи в песне-молитве призывают Иегову сойти в их дома, и что под «невестою-Субботою», уготовляющей себя Ему, подразумевается у них Израиль-племя. Таким образом, обязательное в ночь на (нашу) субботу супружеское слияние евреев — евреек есть в то же время «принесение семени своего в жертву Богу», — почему эту ночь и можно рассматривать как пиршество или пиршественное вкушение Иеговы.

память коих священна для нас, которым мы бесконечно обязаны,—своего Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Александра Невского. Таким образом, хотя они и получили последующее запрещение, но у них нет силы, нет психологической энергии осудить и проклясть случай, выходящий и за пределы закона. Это образовалось читаемостью и повседневной известностью таких историй как о Лоте и его дочерях, изложенных в столь благочестиво-спокойном тоне, и с таким могучим мотивом («никто не может войти к нам», т. е. совокупиться с нами, «по закону всей земли», поучает старшая младшую), что даже христианский учитель церкви, Ориген, воскликнул: «ужасаюсь, что хочу сказать: целомудрие дочерей Лота было целомудреннее многих супружеств»... Все дело решает *тон*: и нечитаемостью и даже незаписанностью каких-либо «случаев» в истории христианской церкви, произведено то, что все «случающееся» нам представляется совершающимся в невообразимо дурном, сальном или фривольном тоне. И от отсутствия великих образов, какие евреи имеют в жизни Авраама, Лота, Иакова, Иуды и других, в нашей жизни «случающееся» может быть и происходит действительно в сальном или недостойном тоне, и тогда, конечно, дурно, отрицательно. История отношений Авраама и Агари от того не порицаема, что здесь ни в одной строчке мы не чувствуем улыбки, смешка; что здесь никакой нет шалости, легкомыслия. Красота *тона* до того давит на нас, что мы невольно шепчем «должно», т. е. что «это так должно было быть», «тут не было ничего дурного». Красота есть тот примат, который господствует над всякою нормою, отстраняет всякий закон: закон как «запрещение» и мог пролезть только в ту щель, где вдруг оказалось бесспорно и нерушимо «скверное», «безобразное», «отвратительное». Тогда закон говорит: «стой», «не дальше», «запрещаю». Но вдруг появилось милое, грациозное, поэтическое, увлекательное, трогающее всех: закон слабеет, тает, бессилует, и говорит: «проходи». Всякая красота непременно переступает закон, и для красоты нет законов, кроме ее собственных. Красота как духовнопрекрасное, как милое и благородное,—отнюдь не эстетическая «красота». Красота как добродетель. «Где я стала, там и добродетель»,—говорит настоящая красота. Отсюда восклицание Оригена перед историей Лота. От Лота же произошло длинное потомство,—от каждой дочери по новому народу, что показывает, что и Бог берег их потомство, был ему покровителем и защитою.

Но в Библии есть и другие места, но рассказывающие, но безмолвно ведущие читающего или слушающего к еще более важным и потрясающим заключениям. Кто была Ева Адаму? Жена, дочь и сестра. Жена — по изгнании из рая, сестра — в раю, дочь — по способу исхождения из тела Адама. Для всемогущества Божия, конечно, возможно было создать Еву вторым после Адама человеком, или разом сотворить человека четой. Что же указывает этот особый и новый вид сотворения самки-человека, не похожий на сотворение всех других самок? Ясно, что здесь вложена какая-то особая мысль, план и велительный закон

на будущие века. Человек — Адам *заключает в себе, содержит в себе* и Еву: значит он не только мужчина, но в самце тайно присутствует и самка. Их отношение? Но чем же может быть отношение слитых мужчины и женщины, как не совокуплением,— однако, не внешним, через органы, а внутренним, в крови. Жилы сжимаются и расширяются, кровь струится, налитый кровяной шарик дышит, беря кислород из легких: и в каждом шарике есть нажимающая и уступающая сторона, есть мужское и есть женское; в одном шарике уже есть совокупление, а весь организм горит, пылает, так как в нем происходят тысячи и миллионы совокуплений... Но вот внутреннее совокупление недостаточно или «не угодно Богу», и он из Адама извлекает Еву,— отделяет в шариках крови их женскую часть и совокупляет эти части в фигуру нового человека. Если Адам-человек при этом разделился в Адама-мужа и Еву, то Ева в отношении его есть сестра; а если принять во внимание то, что он был *раньше* и она *позднее*, и они генетически связаны, то, очевидно, она есть его дочь. Так или иначе, но *первое человеческое совокупление по преднамерению Божию*,— ибо избежать этого было бы легко,— произошло не то с дочерью, не то с сестрою, во всяком случае — с ближайшею кровью, почти с собой самим, с частью себя. Как и размножение детей Адама происходило, очевидно, через братне-сестрины узы, если у Адама были дочери; или даже через оплодотворение матери сыновьями, если допустить, что рассказ Библии полон и у Адама не было дочерей. В последнем случае поразительно то, что все сочетающиеся, Адам, Ева, Авель, Сиф, были угодны Богу и благочестивы, что о нечестии их, еще другом, кроме вкушения от древа добра и зла, Библия не упоминает. Между тем, такое кровосмешение, и даже кровосмешение брата с сестрою, в наших представлениях есть что-то более пугающее, чем убийство братом брата (Каин). Но об убийстве подробно рассказано как о грехе, между тем как бесслитное кровосмешение в семье Адама даже не упомянуто. Первый случай кровосмешения рассказан уже в поздней, очень поздней, истории Авраама, Лота и дочери его.

Очевидно, в до-еврейские, до-Авраамовы времена, то, что мы называем теперь пугающим словом «кровосмешение»,— было наличным обыденным фактом, не возбуждавшим собою никаких вопросов. Он подчинен был закону «хочется» или «не хочется», и, можно думать, что так как вообще и универсально это «не хочется», то делалось некоторое принуждение над собою, чтобы вступить в эту форму брака в каких-нибудь особых целях, напр., чтобы не припускать к своему потомству инородной крови, чтобы не делить наследства, чтобы получить работников-помощников у себя в семье. В чем заключается особенность этих браков? Сливаются родство, так сказать а priori (до брака) присутствующее, со страстью а posteriori (в браке): так как полового акта без страсти не бывает. Но что же это именно? Родство становится страстным, а страсть — родною. Но именно это что? Из пассивного, статического, «смотрящего врозь», эгоистического, несколько «каинского»

(соперничество и вражда) родство становится пылающим, динамическим, самопожертвованным, отрицающим себя для другого, как вообще муж и жена отрицаются от себя ради другого; а страсть, будучи завершением родства, обращенная к родному...

Невеста моя,
Сестра моя,
Слаще вина
Ласки твои...

Что это такое? У Эккермана в «Разговорах Гете» записаны слова этого последнего об особой категории, какую представляет «сестра» в отношении брата, и «брат» в отношении сестры. Следовало бы это место цитировать, как очень важное и единственное в литературе. Гете говорит, что отношение к «сестре» не есть вполне отношение к женщине, так как брат не видит *прямо* пола сестры, за необращенностью к нему; но косвенно о нем знает, задевается косым его лучом, как бы поздним вечерним или ранним утренним. Это сообщает удивительную *деликатность* отношению брата к сестре, и испуг за малейшую не деликатность, если бы кто-нибудь нанес ее полу сестры. Никто так часто, в том числе ни отец, ни мать, ни дети, не мстит за «честь женщины», как брат; «брат отомстил за сестру» — самое обычное явление. В Библии это описывается, как месть одного из сыновей Иакова за «оскорбление» сестры их Дины, — за что потом упрекает этого сына отец его и Дины. Для отца «нарушение целомудрия» дочери кажется, может быть, неудобным, может быть, несвоевременным, может быть, марающим, и тогда он волнуется и кричит, но больше для вида: внутри себя он знает и чувствует, что это, но только в удобных формах и в удобное время, должно произойти, и желает, чтобы произошло. Дети в случае «оскорбления» матери негодуют христианским негодованием жалости. Совершенно иное чувство брата: он чувствует поруганным образ чего-то милого и возвышенного, невинного и прекрасного. *Невинность* сестры — палладиум брата... Поэтому ни через чье сердце, ни отца, ни брата, не проходит такую болью, если сестра «уронила» себя, «пала»; или если кто-нибудь просто жестом или словом выразил неуважение сестре. Все эти признаки необыкновенно важны, а их можно наблюдать, зорче присматриваясь к отношениям братьев и сестер в тех редких случаях, когда они смотрят хоть параллельно, а не окончательно врозь и эгоистически. Нужно заметить, что у христиан сестринено-братские отношения в 80% сложены положительно отвратительно: братья не выносят сестер, эксплуатируют их, особенно кошелек их, не интересуются даже во время болезни ими, и решительно ничего не чувствуют от смерти их. Сестры относятся к братьям гораздо участливее, жалеют в болезнях, сочувствуют их удовольствиям, покровительствуют во влюбленности, — но тоже до замужества и собственности детей. Однако в 20% (несколько менее) бывают так называемые «дружки» братьев и сестер, когда они много разговаривают между собою, не скучают обществом друг друга, не ищут убежать друг от друга

к третьим, к друзьям, к подругам; помогают друг другу в работе, в заботах и в секретах сердца. Кто это видал, не мог не поражаться необыкновенною красотью этого. Тут есть что-то спокойное, благородное и нравящееся. Изредка эти «дружбы» тянутся всю жизнь, при безбрачии обеих сторон; нередко сестра-девушка до могилы остается другом брата, уже женатого, и выхаживает всех его детей. Вот эти «дружбы» есть пролог, от которого мы все-таки можем протянуть нить к египетской форме бракозаключения между братом и сестрою — как санкционированной, особенно религиозной. Ее, как известно, от фараонов приняли греки-Птоломеи: у египтян же особое священство этой связи было выражено через миф об Озирисе и Изиде, супруге и жене, и вместе брате и сестре. Действительно, то чувство верности, защиты друг друга, покровительства одним другого, чего-то тесного-тесного, что образует идеальные особенности счастливого, самого счастливого брака, легко представить себе, если удлинить и уплотнить, уцелить и особенно еще согреть «дружбу» сестры и брата, в ее теперешних чертах. Это совсем другое чувство, чем вспыхивающее к «незнакомой девушке на дальней стороне»: в последнем случае есть что-то роковое, смертное, и уж явно только фаллической природы; «вцепился зубами». Известно, как часто кончаются кинжалом и выстрелом эти случаи «вцепился зубами»: в отношении сестры «поднятие руки на кровь» невозможно ни в каком случае. Не представимо, и, кажется, нет. Кажется, совершенно нет случаев убийства братом сестры, тогда как убийство отца и даже матери изредка случается. Тут — «защита и покровительство», как врожденный элемент «братниного» чувства. Таким образом, связанность брата и сестры, если бы она перешла в супружество, действительно содержит обещание тех черт, за которые египтяне невольно называли этот брак «священным». Страсть очень смягчена, развложена (родством); она не груба, не жестка; она ужасно далека от «скотского», от «животного сладострастия», с его эксцессами и бурями; она вовсе не бурна, — тихо льется из вечера в вечер; она есть именно братство, преимущественно братство, — но «покаявшееся перед алтарем в вечности». Перед алтарем Изиды-Озириса, их прототипа.

Конечно, все это гадательно, так как никаких фактов здесь мы не имеем. Стена истории задвинула от нас эту истину или эту ложь, как огромные камни пирамид, закрывавшие вход в них. Скрылось поле наблюдения, и здесь мы не можем судить. Случая два подобной связи, о каких мне привелось в жизни слышать, мелькнули как звук только в имени, в упоминании, без описания, без чего-нибудь, по чему можно было бы заключить о характере этой связи и о нравственном, вообще о духовном лице так связанных. Известный писатель П. П. П-цов обратил мое внимание, что, судя по автобиографии, написанной гр. А. К. Толстым, автором «Иоанна Дамаскина» и «Князя Серебряного», он произошел от супружеских отношений брата и сестры («мой дядя по матери», — в автобиографии). Перечтя, я увидел, что это

правдоподобно: поэт нигде не упоминает даже имени своего «фамильного» отца, как бы он не был его натуральным отцом. В длинном теплом сыновнем рассказе везде фигурирует мать и «дядя по матери», причем к обоим видна горячая его нежность. Оба безраздельно его воспитывали, а «дядя по матери» оставил ему потом все состояние. Нельзя усомниться, если это было так, в глубоко счастливом натуральном супружестве, которое мы должны рассматривать, как священную тайну с древнейшим корнем под собой. Это, может быть, отразилось в замечательно религиозном характере сына, и притом редкого изящества, что отмечено во всей России.

Но вообще это — *terra incognita*. Несомненно, однако, одно, что термин «*ἱερός γάμος*» естественно применен был к родственным связям древними, так как «кровь родственника» по существу своему и а priori есть уже «священная», «святая» для нас, для всякого. Вдумайтесь в сущность родства: оно, конечно, свято! Бесспорно!! «Милый», «милая» — так все народы, у всех народов именуют родных. Это «милое» и «уважительное». Поразительный мир христианства перед родственными браками и происходит от этого ясно всеми ощущаемого, ощущаемого и христианами, священства и чистоты родства. «Это что-то Божие, религиозное». Как же это «святое», «Божие» приблизить к детородной системе, фаллизировать, вулвизировать?! Отсюда и произошел испуг, непобедимое отвращение христиан к родственным связям, к их возможности, к их тени, что при бесспорном ощущении святости родства христиан неодолимо чувствовали отвратительность половой системы, отвратительность полового соединения, акта, семени... «Нельзя столь скверное приближать к этому святому, к сестре, племяннице, и чем ближе, тем страннее». Ибо ближайшее в родстве всегда есть святейшее для данного лица, для данного родственника. Христиане не замечают, что проблема родственного брака, отрицаемого ради «не осквернения святыни», повторяется в проблеме вообще брака и применима к тенденции всякого чистого, изощренного, уважительного брака: раз половая система сына «грязь», то для чего ею касаться чистой, невинной девушки, честной дочери честных родителей, дочери священника, дочери дворянина, княгини, графини? Зачем вообще *чистое* избирать: явно, что надо послать сына с его «скверным семенем» куда-нибудь к бесчестной сироте, к девице без рода, без племени, к нищей, к замаранной, к падшей. «Грязных рук не вытирают о чистое полотенце»; и эта логика, а она обязательна для последовательных христиан, естественно приводит их к идее и факту проституции, непотребства: и в основе ее в наших невыносимо грязных формах, конечно, лежит эта христианская идея о первоначальной грязноте детородной системы. «Грязному — грязное помещение». Но когда родители высматривают сыну княжну, дворянку, образованную, невинную, безукоризненных чувств девушку, то они стали на тот самый путь, который их приводит «за стену» истории, к Египту. Можно продолжить их мысль и спросить:

«отчего не сестру? *Чистойшей* девушки — нет; она вышла из вашего лона, выверенного, вам известного, не прелюбодейного, верного, добродетельного. Всё сомнительнее, все сомнительнее ее; и для чего вам на стороне искать серебра, когда у вас под рукой золото?»

Возражение может быть только одно, и вполне правильное,— и когда оно есть, то все попытки рушатся: «они не нравятся друг другу», «взаимно они не имеют полового притяжения». Конечно, это аргумент, и все разрушающий: на родственную привязанность, переходящую в любовь, мы должны смотреть как на чудо природы, как на редчайшее исключение. Народы, смотревшие без отвращения на половую систему, и, наконец, смотревшие на нее притягательно, с уважением, видели в родственной любви чудо и желали его, а мы видим в ней грех и избегаем ее.

На этом и построена одна поразительная страница у Гоголя, которую мы хотим разобрать и которая в «Собрание его сочинений» попала совершенно непостижимым образом, как некоторое чудо, как атавизм. Атавизм этот такого рода, что всю его личность хочется признать глубоко атавистическою, древнею, которая, Бог весть как, забрела в нашу «позитивную» цивилизацию, новенькую, чистенькую и «граждански благоустроенную».

II

Когда мы произносим слово «колдун», то выражаем им наибольшую степень своего испуга... Перед человеком ли, перед событием ли. «Здесь *колдовство*»,— этим мы говорим:

— Я испуган и не пойду сюда. Я боюсь этого места.

При этом самый *испуг* — безотчетен и так велик, что переходит в ужас, в судорогу, в скованность членов.

— Ни за что не пойду сюда! Лучше уму!

Умереть легче, чем вместить в душу этот ужас. «Колдовство» — на грани с безумием. «Если я переступлю за магическую черту, то с ума сойду: а тот, кто по ту сторону ее — он *колдун*, и не сошел с ума потому, что ничего общего с человеком не имеет».

«Колдун не человек. Его надо убить».

Один на один — страшно: но народом, площадью, улицей «убить» — хорошо, это можно. Так и поступали в Европе.

«Колдунов всех надо убивать. С ними ни говорить нечего, ни перделывать их. Колдуна нельзя переделать. Он — силен, сильнее каждого человека. Но улицей, навалившись,— можно убить и колдуна. Так и надо».

Вот история «колдовства в Европе». Народы, совесть, все — пятились перед ним, с ужасом, злобой, невыразимым испугом, выставив вперед топоры и огонь. «Зарубить или сжечь». И особенно «не разговаривать, не вступать в беседы». Колдун — хитрее всякого, даже всех

хитрее, целого народа. Всех обманет, затемнит — и вывернется, уйдет, над всеми смеясь и торжествуя.

Народное воображение приурочило к «колдуну» две вещи:

Знание.

Силу.

То и другое — чрезмерные!

И — темные... Впрочем, никто этого и не разглядывал. «Страшно смотреть. С ума сойдешь».

Поэтому, когда в «Страшной мести» Гоголь назвал главное действующее лицо «колдуном», то он последовал отчасти народному обыкновению, отчасти своему собственному испугу: он заговорил, захотел рассказать о невероятно страшном, необыкновенном, о «небываемом», и сумму этих оттенков и волнений и выразил в слове «колдун». Тут фабула — не при чем; суть «дела», — история казаков Петро и Ивана, — разъясняющая все, сокращенно изложена им в 8-ми главах, по 10 строк в каждой, в конце повести, — «чтобы отделаться и как-нибудь закончить»: подобно коротеньким, скучающим главам в «Воскресении» Толстого, где он «как-нибудь» закончил неудачно избранный сюжет. Итак, ни «Петро и Иван», ни история происхождения «колдуна», его предки и линия их — не имеют никакого значения и выдуманы Гоголем Бог знает для чего. Бурульбаш и вся малороссийская обстановка — тоже только аксессуары. Суть — Катерина и ее отец, или, точнее и строже — только один отец, «колдун». Гоголь потянулся к страшному сюжету, на европейской почве удвоенно, удесятеренно страшному — передать, как отец тянется стать супругом собственной дочери.

— У, чудище!

— У, «колдун»...

— Это — «колдовство»...

Т. е. до того небываемое, неслучающееся, невозможное, до того противоречащее всему току европейской цивилизации, всему ее устремлению, — что у Гоголя, когда под черепом его свилась эта история, угнездилась там, — хватило духу только написать:

— «Колдовство... Не подходите, дети».

Да и «взрослые» не подходите... «Не надо этого, даже знать об этом не надо». Но Гоголю ужасно захотелось... не то чтобы «узнать» это: напротив, он это *почему-то* знал, *почему* — Бог его знает, это тайна его души; и ему захотелось *рассказать* об этом, хотя и под шутливой формой малороссийской полународной, полудетской легенды, выдумки.

«Прочтут среди других рассказов Пасичника Рудого Панько».

Каким образом Гоголь потянулся к этому сюжету? Всю неизмеримую важность этого мы поймем, обратив внимание, до какой степени Пушкин ни в каком случае бы этого не рассказывал; даже услышав от другого — просто забыл бы, *не заинтересовался бы*. К таким

и подобным сюжетам Пушкина не тянуло. Он рассказал графа Нулина, рассказал в «Руслане и Людмиле», как старец Черномор «ничего не мог», — и посмеялся. Волокитство, приключение и анекдот — это формы отношения европейца к половому акту; или «скука» в нормальном супружестве. Гоголь непостижимым образом потянулся рассказать... спокойный сюжет Библии о Лоте и дочерях его, — но, без сомнения, не вспомнив во время писания ни разу об этом библейском рассказе, иначе не был бы так испуган. Гоголь вдруг сам и оригинально написал этот древнейший, «допотопный» случай Библии, одно из «колен» ее, сгибов: но когда там сказано об этом так кратко и просто, так понятно и небесно — он с реализмом нового художника, с сочностью нового художества осветил случай изнутри. Все же следует заметить, что в Библии не рассказываются «подряд» всякие «случайности», какие происходили, бывали; в Библии за прямым рассказом есть и намерение. Почему-то у Лотовых дочерей так-таки «никого и не было вокруг», чтобы с ними совокупиться; сколько ни поезжай — никого нет. Но ведь сгорели только два города, а страна и еще население — остались. Затем дочери напоят вином отца. Через все это на ложе отца и дочерей как бы наброшен полог, через который в подробностях нельзя ничего рассмотреть; израильтянам дано прочесть, — но одуряющего запаха не дано втянуть. «Имя есть, а лица не видим». Гоголь показал лицо. Показал, и ужаснулся; и назвал — «колдун», «колдовство».

— «Только колдун мог такого пожелать. Колдун, а не человек. Преисподняя, а не земля».

Колдун и еще Гоголь, который, в отличие от Пушкина, взял и начал рисовать такой сюжет.

Так жизненно!

Разительную сторону рассказа составляет разительная его верность, подлинность.

— «Отец! — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его, — не будь неумолим, прости Данилу: он не огорчит больше тебя!»

— «Для тебя только, моя дочь, прощаю! — отвечал он, *поцеловав ее и блеснув страшно очами*. Катерина вздрогнула: чуден показался ей поцелуй и страшный блеск очей».

Это так неумовимо, этот поцелуй, которым разгневанный отец прощает дочь и зятя: и мелькнувшую в нем чувственность поистине мог знать только тот, кто поцеловал. Кто же еще? Никто не прочтет моего сердца, кроме меня. Гоголь поцеловал ее!

Колдун в подземелье. Проходит Катерина, и он умоляет ее:
«Умилосердися! Поддай милостыню!»

«Дочь! Христа ради! и свирепые волчята не станут рвать свою мать, — дочь, хотя взгляни на преступного отца своего».

Та не слушает и хочет пройти мимо.

«Дочь! ради несчастной матери».

Она остановилась.

«Приди принять последнее мое слово... Мне близок конец... Но не казнь меня страшит, а муки на том свете... Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в раю около Бога, а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь; все сильнее и сильнее будет он разгораться; ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнет».

«Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам?» — проговорила она, содрогнувшись от воспоминания о кровосмесительном его зове.

«Катерина, постой, на одно слово: ты можешь спасти мою душу; ты не знаешь еще, как добр и милосерд Бог: слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым»...

В экстазе писанья, Гоголь совсем забыл, кто был апостол Павел: и написал слова, ни в каком смысле к нему не относящиеся. У того был идейный переворот, только в смысле отвержения и признания Лица Христа, а Гоголь приписал ему нравственный переворот, моральную перемену.

«Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул; покаюсь, пойду в пещеры, надену на тело постную власяницу, день и ночь буду молиться Богу; не только скоромного, не возьму рыбы в рот! Не постелю одежды, когда стану спать, и все буду молиться, все молиться! И когда не снимет с меня милосердие Божие хоть сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю, или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни питья, и умру, а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду».

Задумалась Катерина: «Если я и отопру замок, я не смогу расковать твоих цепей».

Но цепи и не существуют для него: это — обыкновенные, рациональные цепи, и их одолевает его «нечистая сила». Но стены — другое дело: в них «святая сила», которая его и держит: «Я бы прошел, моими чарами, и сквозь стены,— но муж твой и не знает, какие они: их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывести колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себе, неслышанный грешник, когда выйду на волю».

Тут везде — язык Гоголя, его частный, *личный* язык, язык его писем, язык его предсмертной «Авторской исповеди», язык его в разговорах с о. Матвеем и в записках к оптинским монахам: между тем как язык Бурульбаша, Катеринина мужа — вовсе не личный его, гоголевский, язык, а художественная работа, выдумка.

Говорит «колдун» — говорит Гоголь.

Говорят казаки — Гоголь сочиняет.

Наконец, и почти главное, уже «магическое»: Гоголь отмечает, что отец возвращается «из Туретчины» не ранее, чем когда дочь его вышла

замуж; пока она девственна, его вовсе к ней не тянет. Припомним еврейскую субботу. Но вот вышла она замуж: теперь от нее пошли половые волны, дошли до «турецкой земли» и задели как-то отцовское существо: «и стал казак как колдун»... Это никому не понятно на европейской почве, это — тайна субботы и нашептываний «Талмуда», тайна еврейской семьи, — что крови перемешиваются в роде, но не при девственности, не с девицами, — а в замужестве, в супружестве... Перемешиваются и завязываются в магические узлы-звездочки, горящие фосфорическим светом отнюдь, отнюдь неизвестным в Европе.

— Это наша святая магия. Это то, что мы одни знаем и никому не расскажем. В субботу скользят, правда «уклоняясь», тени дочерей около отцов, зятьев около матери, даже сыновей около матери, брата около сестры и сестры около брата: как эльфы, в лунном свете. Но суббота рассыпалась — и все рассыпалось. На завтра ничего нет, — и уж особенно христиане ничего этого не видели.

Но Гоголь узнал.

Катерина, верная жена, прекрасная женщина, — богомольная, дедовская. Казачка с красивой косой. Замужем... и волны ее пола вдруг дошли и тронули пол отца. И потянулся старый дед, невольно, магически, не желая, так что конь упирался — на родину, к зятниной избе, где лежит на лежанке Катерина, — на горячей лежанке, вся разопрев и чуть-чуть раскидавшись *.

Ненавидит дом и ходит около него.

Ненавидит обитателей и заходит в него.

Сходится, бьется на саблях с зятем, берется за пистолеты... Зять мешает подойти к лежанке. «Чего тебе, дед? Тут моя жена, твоя дочь».

— У, зарублю вас всех! Ребенка, тебя зарублю. Пропустите!..

Это — обычная уголовная хроника. «Не пропускали», — и «не пропускаемый» обычно избивает всякого, кто стоит на дороге. Печальная обыденность наших хроник, внутренне никогда не освещенная...

«Магия! влечет! не могу!»

Суть в том, что самое притяжение это «магично»... И становится «магом», «колдуном», становится, смотря по духу цивилизации, или «черным злодеем» или, напротив, «мудрецом» каждый, попадающий в круг этого притяжения, в область, в «губернию» этого влечения... Когда оно действует? Вообще — никогда; точнее — вообще оно бывает в такой разреженной форме, прозрачной, туманной, как «зорька», что никому не приходит на ум осудить его: это — просто вдруг вспыхивающая нежность родителей к дочери после ее замужества, но, однако же, только после замужества, когда чувство ее действительно возрастает,

* У Гоголя перенесено, как «всадник наверху горы» тянет к себе «колдуна»: но это художественная комбинация, переброс куска картины в другое место. Тут таинственно верно, до ужаса, показано, только «скакание туда, куда тянет»... И «всадника» можно просто выбросить, как придуманный аксессуар, — и сохранить лишь страшный реализм в описании «невольности», «рокового»: «колдун» так скакал «день и ночь» не в Карпаты, а в Украину, — к Бурюльбашу и Катерине!

у всех и всегда, сравнительно с чувством к ней же, как к девушке, до замужества. И только в редчайших случаях, в одном на миллион или на десять миллионов, достигает сгущенности, когда все пятаются и кричат:

— Убить! такого убить надо!

Или, как сказалось у Гоголя:

— «Колдун появился, убирайте детей!»..

Увы, без этого «колдовства», тонких прозрачных форм его, — просто не выдавали бы дочерей замуж, не женили бы сыновей, — богатые, сытые, которым нет необходимости. Но влекутся... Все влекутся... Всем «сладко», вот как Богу «благоухание жертв». Без разреженной, как бы эфирной формы этой «магии», что половые волны каждого возбuditельно, как «резонатор» или «детонатор», действуют на залежи пола во всем круге родства, и чем ближе — тем сильнее, отчего и родство считается «по степеням» крепче и ближе, «священнее» — без этой магии вообще не было бы радости всей земли о браке, всех народов о супружествах, всех деревень, сел, городов о «плодитесь! множитесь!» детей. Ничего не было бы. Земля бы рассыпалась. Магия эта проходит цементом через всю землю, до глубин ее, — все связывая, объединяя, всю ее связуя «родством». Я «родной» только тому, пол коего, пробуждаясь, действует на мой пол возбuditельнее, нежели на пол всякого, третьего, который по этой апатичности и не есть «родной», «родственник». Все это в одних случаях нежнее, в других — хладнокровнее; но мы порицаем «холодных родственников», между тем это есть только полная апатия их пола к полу тех, к кому они холодны. Температура должна останавливаться на каком-то градусе:

— Горячее — сожжет!

— Горячо как пламя: это — колдун! восточные «маги»!

— Но и не нужно же так холодно, как у нас, в Европе, где все холодеет, где никто никому не нужен.

«Земля» вмещает только средние температуры... Эта «средняя температура», но гораздо выше нашей — взята у евреев: отчего семья у них несравненно теплее, нежнее нашей. Евреи — магичны, все евреи, и магичны все — от обрезанности, одной и исключительно. У европейцев эта температура взята гораздо ниже еврейской, — и семья у них холодна, вяла, безжизненна. «Как-нибудь и почти не надо». Европейцы — амагичны, «позитивны»: и просто от того, что нет обрезания.

Мать держит мальчика на руках, видит его *всего*: «будущий муж моих внучек».

Бабушка держит внуку, видит ее *всю* же: «будет в жену моему сыну».

Эта мысль и волнующее чувство в Европе невозможны. А без этого невозможно настоящее родство, — а лишь его «тень и подобие», почти — имя, звук. «Эти родственники — только к наследству лезут. Да я не дам: отпишу все на богоугодные заведения», — типичная мысль европейца, христианина.

Пол имеет *память* в себе; пол имеет в себе *воображение*... Предчувствия, знания, — для которых материальные препятствия не суть препятствия. Если что «проходит через стену», не разрушая ее, — то это *пол*. Между невестой и женихом существует «соответствие» половое; точнее, юноша и девушка и превращаются в «невесту» и «жениха», повинаясь «соответственности» своей, о которой сказано при самом сотворении жены Адаму: «сотворим, — сказал Бог об Адаме, еще одиноким, — жену, *соответственную* ему». Влюбчивость, возникающая по необъяснимым ни для кого причинам, «непременно между двумя такими-то», абсолютно никому не нравящимися, кроме их самих, друг другу, возникает как влечение друг к другу «соответственных» органов, мистически соответственных, но также затем и физически, физиологически, анатомически, эстетически, всячески: между тем, они никогда этих органов не видели друг у друга. Несмотря на все мотивы «перестать любить», на опасность любви, вред ее, невозможность ее, несмотря на очевидность и доказанность «дурного нрава» другой стороны, из которого может проистечь лишь несчастная жизнь в супружестве, — «соответственная» невеста все-таки идет за женихом в церковь: как жертва и обреченная. Что это такое? Встречая всякую «любовь» — факт такой обыденный, — мы выходим из области рационального, доказуемого, осязаемого, «научного», и вступаем в область иррационального, непонятного, необъяснимого; вступаем в область волшебства и магии, — хотя это так и обыденно! Каждый, влюбляясь, входит в магическую черту, где будут им владеть «силы, ему непонятные, и с которыми он не может бороться»; а «конец любви» знаменует собою только «конец магии» и возврат к рациональному существованию. Во всякой любви бьется зародыш будущего ребенка, — конкретного, этого определенного личика, Ванечки, Танечки: но в каком смысле? Ведь их еще нет, они не зародились, не совершилось самого соединения, из которого он мог бы произойти. Но всякий соглашается, что фундаментом брака служит младенец: это даже в законодательства входит, в плоскую работу чиновников; каким образом «входит»? Не юридически, не логически, но как живое существо, как туман крови, как «личико ангела», — и могущественно направляет к соединению людей, зажигает любовь в них. Будущее, «то, что будет через два года», — осязательно берет за руки юношу и девушку и вводит их в церковь, переводит через нее как через порог, чтобы уложить в постель, где открывается «соответственность». Явно, что преград, стен, как равно времен, годов не существует для пола: он — миг и вечность; в его миге — вечность; он — будущее и прошлое; наконец, он лучится на огромные пространства: он водит людей, приводит жениха «в дом родителей его невесты», иногда в другом городе, в другой стране: это — странные случаи, когда «поехавший по торгу» молодой человек — вдруг возвращается женатым.

Неизъяснимое блаженство слияния — из коих первое есть вполне священный момент — показывает, до чего много было к нему пред-

установлено, предуготовано, какие запасы идеальных даров и сокровищ с одной и с другой стороны были накоплены и задерживались до этого мига, чтобы передаться взаимно, сцепиться и переплестись и родиться во что-то в нем новое! В совокуплении — *рождается* человек: не младенец будущий, а вот сами они, отныне «муж» и «жена». Встав от совокупления, ни прежняя девушка — уже не та, ни прежний юноша — уже не тот. Старое умерло; умер в них «ветхий человек», и родился совершенно новый, с новыми талантами, новой волею, новым сердцем. Совокупление — рождение, самих совокупившихся — рождение. Всю жизнь будет помниться этот момент: это — перелом судьбы, характера, внутреннего просвещения, всего. Школа, университет, прочитанные книги, товарищество товарищей и дружба друзей — задвигается им как старая туманность новою реальностью! Такой момент вполне магичен. Всякое совокупление — магично: и совокупающиеся на миг его становятся магами, не зная об этом сами, с властью магического в себе, со сладостью магического, с магическим мироощущением и мироотношением. И потом след этого магизма остается на них, и возобновляется (не с таким потрясающим характером, как при первом совокуплении) в каждом новом совокуплении: помолодев через него жизненно, биологически — супруги вдруг духовно в нем состарились, приблизились к «дедовскому», к «лесному старому деду», о котором рассказывают мифы. Все замечают, что как бы ни были молоды годами муж и жена, они в психологии своей несут что-то более старое, зрелое, опытное, нежели пожилые холостяки и девы. «Первое совокупление — первый седой волос в голову», — так можно формулировать это духовно, аллегорически. Дух страшно расширяется, — открываются новые горизонты; но это зрение — не из книг, не из размышления, не эмпирическое, а мистическое и магического оттенка.

Совокупления (в супружестве) повторяются: и рождается в обоих одна душа; одна и не одна; в каждом лице (муж, жена) — своя душа, но уже не свободная, а зависимая от души другого, зависимая в счастье от нее, зависящая в страдании от нее. Две души сцепились в один организм: больна одна — больна и другая, здорова одна — здорова и другая. Цела одна — есть другая; разбилась одна — умерла другая. Новый брак — всегда есть третье рождение; расторжение предыдущего — всегда есть крушение старой, общей души, — как крушение аэроплана, разрыв оболочки воздушного шара. Расторжению всегда предшествует это «крушение общей души»: его нельзя ни починить, ни поправить. Но возвратимся к «пока счастливо текущему супружеству»: образуется такой параллелизм жизни двух душ, что муж и жена совершенно теряют нужду речей между собою, и, как все знают, ничего нет реже, как встретить мужа и жену, «оживленно разговаривающих между собою». Даже это было бы смешно, как любопытство о содержании своих карманов, или как чтение автором собственной книги. Совокупление — и разговор, и чтение... Совокупляясь, они передают один другому душу: а ведь в душе —

и речи, и все. Передана мне душа: зачем я буду спрашивать речей? В совокуплении мне передана воля, мысль; «все» передано: зачем мне подробности? Супружество безмолвно (библейское супружество, лучшее, никогда не разворачивается в речи) и тепло.

Образуется параллелизм душ, параллельный, зависимый их полет: вот отчего в супружестве невозможен обман, а где он есть — не было супружества, не «устроилось» оно, если даже и есть или лучше сказать «бывают» вялые, безлюбовные совокупления («коммерческий брак» у христиан). Но, в общем, через длящиеся, повторяющиеся совокупления этот параллелизм устанавливается: и становится невозможным сокрытие душевной жизни которым-нибудь супругом, если бы он начал или захотел отделяться «от другого». Он воображает, что его шаги скрыты, потому что «документы» спрятаны, «доказательств» нет и вся видимость сохранена в прежнем виде: напрасные надежды! В тревожном сердце другого, в тоске его, «убитом» его сердце отражена вся потаенная драма другого: и только ненавистен адрес и имя другого скрываемого лица, становящегося на его месте. Все измены начинаются с надежды «скрыть»: тщетные надежды! Они могли бы осуществиться, если б тут не было магии, если б все не проходило «сквозь щели». Библейский брак от того и остановился так твердо, без колебаний, на многоженстве, что, если б он избрал моногамический путь, дал право жене требовать моногамичности от мужа, то этим он тотчас загнал бы мужей в страх, сокрытие и попытки лукавства, т. е. испортил бы всю ткань брака, как бы плетя ее из гнилых, «не держащихся» нитей. Рану надо было открыть сейчас же и всю, не скрывая ее от жен: дабы поранение это было одно, не расплываясь в разветвлении «рака». Вот рана женщины, врожденная, от века, от сотворения Адама; в муже ей дан сеятель потомства, естественно имеющий в себе закон засеивания наибольшего поля, наибольшего числа полей. Муж — рассеяние, жена — сосредоточенность; одному дано «плодиться, множиться», другой — сохранение плода, верность зерну, в нее положенному. Едино мужие — кроме исключений, имеющих объяснение — также врождено женщине, как многоженность — и опять кроме объяснимых исключений — врождена мужчине, и есть в нем не слабость, а «другой закон». С первого же слова, чтобы не допустить сюда обмана, Библия и утвердила многоженность: но эту одну рану приняв, как и крест мук при родах, женщина избавлялась уже Самим Богом от других ран, и вообще ей предоставлены покой, ухаживание, постоянная нежность от мужа, величайшая от него деликатность, даже покорность ее воле (Авраам в отношении Сарры, Исаак в отношении Ревекки, да и Иаков послушен каждой из жен)... Полигамная жена естественно должна быть царица, увенчиваемая мужем за согласие на полигамность. Ей все отдается за эту одну рану: муж же должен трудиться и быть в некотором рабстве, как рудокоп в шахте, за одну полученную им привилегию — быть полигамным. Это — космологические законы, отнюдь не индивидуальные. Каждая ямка, с зерном в себе —

тепла этим одним зерном, греет его, получает в нем смысл, имеет в нем назначение; но сеятель, держа зерна в пригоршне,— помолвившись на Восток — со всею силою разбрасывает их по полю кругом... «Где что вырастет — все Божие». Это — закон: и ничто его не может нарушить. Все-таки страдальческий закон для женщин — этого мы не должны забывать.

Садовник, осматривая сад, полный крепких и слабых, старых и молодых, сладких и горьких деревьев, соображает что-то: и, взяв кривой садовый нож, подходит к одному дереву, и, вынимая из тела его «глазок»,— идет к другому дереву, топором расщепливает его тело и вкладывает вынутый из другого дерева «глазок» в образовавшееся расщепление, и затем рану залепляет воском. После этого совершается чудо: соки дерева, положим горького или дикого, поднявшись от корня к вложенному «глазку», получают от него, живого и имеющего соки, да вообще имеющего какую-то тайну в себе — эту его консистенцию, его сущность: и всю массу свою преобразуются от «глазка» и идут дальше, к ветвям и цветам дерева, к плодам его — как совершенно новое существо, как сок не этого дерева, а того, другого, откуда взят «глазок».

«Глазок» победил все дерево. «Глазок» — муж, семя мужа.

Принявшее его дерево — жена.

Прививка — супружество. Всякое супружество есть прививка. Но от одного дерева можно взять много «глазков» и привить их разным деревьям, которые все примут в себя консистенцию «мужа своего», деревья, откуда взяты «глазки». Но порознь в каждое дерево нельзя привить много глазков от разных деревьев: получится чепуха, ничего не получится. Получится ботаническая «проституция». Для женщины нет высшего закона, как верность «одному глазку»: точнее — это единственный для нее закон. Чем вернее «женино дерево» сохраняет единоутробность принятому «глазку», тем оно расцветает пышнее, красивее. В верности семени женщина сберегает себя: добродетель свою, красоту свою.

Но «добродетель» мужа — множиться, преобразовывать все, весь сад по закону своему.

Это основная коллизия, драма брака, от «оснований» земли положенная: от которой много черных капель падает из пораненных стволов на темную землю. Но земля остается к ним равнодушна. Ей нужно «цвети»...

Закон!

Вследствие подробностей, которые легко представит каждый,— принявшее «глазок» дерево остается верно ему, и страшно все преобразуется именно оттого, что «глазок» остается в нем, «сидит», оттуда не «уходит»: и выбросить его никак не может дерево. Как ухаживает жених за невестой, самец за самкою во всей природе: девушки же и самки никуда не торопятся и остаются пассивны. Нет большего «раба», чем жених... Девушка, даже при любви и желании замужества, не торопит день соединения: оттого, что она инстинктивно чувствует величайшее

смятение перед совокуплением! Она в нем «отдает себя» другому, буквально отдает: вспомним «прививку», — и мы поймем тоску дерева, в котором отныне потекут не его соки, а другие! Первое совокупление для девушки есть отдача своей воли: не своих желаний или «текущего», но *воли* в коренном, внутреннем смысле! «Се раба твоя»... С первым же совокуплением она вступает в рабство, в превознесение и унижение, превознесение внешнее, общественное, и унижение внутреннее, органическое. Чужая воля, через семя, вошла в нее, чужой закон, чужая натура, которая истребляет все прежнее «девичье», истребляет «отцовское-материнское», делая ее только «мужнею». Это вполне странный акт. За него, за великое самоотвержение в нем всякая девушка в первые сутки брака должна быть увенчана и прославлена общиной, городом, государством, церковью.

Напротив, муж в нем не «теряет себя» (как девушка буквально «теряет», «потеряла свое девство», «девичью судьбу» свою, всю себя за 17 лет, «отреклась от отца и матери»). Муж в первом совокуплении омывается, очищается (как евреи в «микве»), освобождается от пороков, греха, грязи и легкомыслия предшествующей жизни: но омыться — далеко не то, что принять «прививку». Через подробности, о которых не надо говорить, он только смазывается, помазуется: длительность этого день, два, неделя, — но не больше. От этого он вовсе не в такой же мере «укрепляется за женою», как «жена укрепляется за мужем»: и закон моноандрии за одною, как и полигамии — за другим, также установлен в этом существе дела, которого никому не изменить! Но мы возвращаемся к первому моменту: девушка уклоняется, женщина — откладывает, но вот все «совершилось»: отношение рабства и господства вдруг переменяется; мужчина сделался «господином», жена «рабою» его. Отношение совершенно противоположное жениховско-невестиному.

«Принявшее прививку» входит в рабскую зависимость от «глазка», и через него — в отношении того дерева, откуда происходит «глазок»... Теперь все в женщине и весь дом ее начинает служить ему. Поразительно, до чего в нормальных случаях, когда муж переходит в дом жены («оставит муж отца и мать и прилепится к жене своей»), а не наоборот, — весь старый и широкий дом молодой женщины начинает «служить» еще неопытному и неразумному юноше, служить с любовью, влюбленно... Это и есть настоящее «родство», как зависимость кровей, детонация или резонанция кровей: образуется, в тени и тайне, в безмолвии и безмолвных восторгах, настоящее «несение fallus'a», как в языческих древних процессах, где было все открыто, теперь же все это скрылось в мрак ночей и немоты, но продолжается без всякой перемены, как «закон родства». Все — для юноши, все — в жертву ему; привычки дома изменяются для него, изменяются «убеждения», порываются одни традиции, завязываются другие. Посмотрите, как нежны к нему становятся сестры молодой женщины: они все «детонируют» его полу и, собственно, начинают течь параллельно полу замужней сестры, лишь не дотекая, лишь отставая,

«пробираясь сторонкой». Пол замужней женщины увлекает в поток свой, вслед себя пол всего круга родства,— захватывая не только женскую половину его, но и мужскую: здесь-то и коренится тот «ура-низм в старости», которого так не понял Шопенгауэр; на самом деле это вообще «пробуждающееся чувство тестя», являющееся, конечно, и у холостых в типичный «возраст тестя». Он совершенно параллелен и един с чувством жен их, стариц: это — совершенно другое, чем было раньше, отношение к мужскому телу и его виду, нежное взамен гадливого, влекущееся взамен отталкивательного, внимательное взамен пренебрежительного. Кровь дочери резонирует в кровь отца: как только она начала совокупляться, отец становится «старцем Платоном», тенью его, образом его, в отношении к Фебо-образному Федру. Всякий молодой муж — Федр, «страшный мальчик», которого все боятся и все ему служат; а старость принимает в кровь свою «великую философию Платона». Вот существо дела, а не те глупости, которые о нем написал Шопенгауэр.

Теперь, «детонируя», весь «дом» в его сложности хотел бы совокупляться: но исполняет это, кто может! И у всех, кто может, это в высшей степени благословлено. Обратите внимание, как нередко в случаях уже давно остановившегося чадородия,— с замужеством дочери у родителей самих рождается ребенок! Вид первой беременности дочери, ожидание первой беременности и, точнее и вернее, чувство первых ее совокуплений, «передающееся через толстые стены», даже через пространство губерний (если она вышла «на чужую сторону») — пробуждает и молодит силы старых: а уже «благословение» готово на небесах, и совокупления не остаются бесплодными. Суть «родства»,— что оно двигает соки во всем «древе жизни»: «прививка» переменяет «судьбу одной», но двигает и все соседние деревья, поднимая в них соки весенним током. Все молодеет, все «как будто в мае», хотя для других настал давно сентябрь. Обычное явление, что год на семнадцатый, иногда на 12-й супружества половая связь у родителей распадается, тупеет, холодеет: но брак детей входит острым началом в них и снова завязывает умершую было связь. Брак детей — «воскресение» для родителей: они опять начинают «жить» и это благословлено, слишком благословлено. Самый «дом», его «сложное», его «целое» получает высокую художественную красоту, не говоря уже о нравственной, когда мать и дочь обе несут беременный живот, обыкновенно мать несколько отставая, как увлеченная след дочернего потока. Роды матери на месяц, на 1½ бывают позднее дочернего: это — взрыв страсти в ней, «непременная моя беременность», как только обозначилась и стала несомненною беременность дочери (внутренние, домашние признаки).

Мы сейчас подойдем к теме Гоголя: это обычное, будничное явление, что при замужестве дочери, если ее отец холост — он женится на девушке, *ни в каком случае не старше*, чем выходящая замуж его дочь; если же бывает, что он отстает и несколько позднее женится, то берет

жену себе моложе своей дочери и именно тех самых лет, когда выходила замуж его дочь. Что все это «гармонизовано и с другой стороны», можно видеть из той охоты и вообще готовности, полной и искренней, с которою молодые девушки, очень иногда красивые и богатые, становятся женами «отцов своих подруг». Подозрительный христианский глаз усматривает здесь худое, корысть девушек, распущенность старцев: к счастью, случаи замужества именно богатых и красивых устраняют здесь всякое сомнение о подлинной чистоте и безукорности явления. Это — закон, а не прихоть; тут «древо жизни», а не что-нибудь произвольное. Но обратим внимание на возраст невесты: никогда-то, никогда он не бывает злее возраста выходящей замуж дочери! Никогда в 30 лет девушка не выйдет замуж за такого старца; никогда, хоть «сошлите». Нет «соответствия», мистического и магического. Выходят от 17-ти до 21, и самое позднее 26-ти лет: сверстницы, «погодки» с дочерью. Поразительно, что и с девичьей стороны пробуждается это «соответствие»: у женившегося же старца это всегда бывает «легкий розовый туман» той тайны и магии, которую в сгущенном виде, чрезвычайно редко бывающем, рассказал Гоголь в «Страшной мести».

«Мне, однако же, страшно оставаться одной,— говорит Катерина мужу.— Меня сон так и клонит: что, если приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли то сон был»...

Был не сон, а «быль»... Катерина засыпает... Муж ее садится за бумаги,— по войсковой канцелярии: «один глаз смотрит на бумагу, а другой — на Днепр».

Показалась лодочка на Днепре... «Пан-отец»... направляется куда-то: куда, еще не знает казак, но лодочка подплывает к глухому месту, где стоит окруженный легендами и страхом замок колдуна. Однако Бурульбашу и на ум не приходит, что колдун и тесть его — одно лицо.

Во всем, что передает Гоголь о «колдовстве», нас поражает... не то, чтобы «реализм» его, а *верность делу*, точное знание вещей, уверенное и спокойное. В сказку,— полудетского и фантастического характера,— написанную Гоголем в обычных тонах его притворной шутливости и чрезмерного преувеличения, как бы врезан, инкрустирован рассказ о некотором деле, событии, «бывальщине» («что бывает»), который он не мог в подробностях передачи заимствовать ни из легенд, ни из деревенских рассказов, ни из чтения, а только из какого-то странного и чудовищного своего внутреннего ведения.

«Бурульбашу почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко»...

Это — когда «колдун» только еще собирается ехать в него, только еще «думает думу» посетить свое жилище.

Но вот лодка его на Днепре: «Верхнее окошко тихо засветилось».

Это — та «телепатия», тот «параллелизм» вещей, феноменов, течений, событий,— то их «созвучие через далекое», о котором мы выше

говорили, как о постоянном признаке всех половых явлений, в то же время явлений магических. «Колдун» думает, «гнездо» его знает; он «направляется» сюда, «гнездо» его уже приветствует, зовет. Здесь нет неживого; здесь все живо, и вещи, и здания, и утварь. Как живы? Чем живы? Но пол и акт половой не преобразует ли мертвые частицы, химические продукты в живое существо? «Взял землю и сотворил человека», «из кислорода, азота, фосфора, извести образуется зародыш младенца». Где пол — нет смерти и нет механического, материального. «Замок» жив и есть такое же живое, кровосмесительное существо, как и «колдун»: он — «утроба», где происходит кровосмешение, точно «играющая» на встречу кровосмесителю... Гоголь удивительно это передал через эти «засветившиеся» окошки. Откуда он знал это?!

Бурульбаш, с верным казачком Стецко, решается выследить тестя. Выходят из дому, крадутся, приблизились к замку. «Нельзя заглянуть в окно»... Но он заметил дерево, стоящее перед окнами, и мигом взлез на него.

«Уцепился он за дерево руками и глядит.

В комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки; висит оружие, но все странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский».

Далеко от нас, далеко! Далеко от наших «былей»... Это — за чертою христианства; до христианства, в стороне от него... Это, если взять наше «теперь», что-то «антихристово», т. е. разрушающее все дело Христово на земле, весь завет Его, все слово Его... Гоголь, довольно неумело, выразил это через «чужое, странное, не *теперешнее* оружие, развешанное по стенам». Говорить о «паспорте», когда «по роже» видно.

«Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрипа дверь; входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, покрытому белою скатертью. «Это он, это тесть», прошептал казак и спустился ниже.

Но тестю некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе,— сдернул со стола скатерть — и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет: только несмешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и *тянулись слоями, будто на мраморе*. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы.

Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо — и лицо стало переменяться; нос вытянулся и повиснул над губами, рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. «Правдив сон твой»,— подумал Бурульбаш.

Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее перемещаться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потух. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам и вдруг пропал, и настала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блеснит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал шупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька... но вместо образов выглядывают страшные лица; на лежанке... но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты, и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина, только из чего она — из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы выются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют... «Ах! это Катерина!» Тут почувствовал Данило, что члены у него сковались; он силился говорить, но губы шевелились без звука.

Неподвижно стоял колдун на своем месте.— Где ты была? — спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала.

— О, зачем ты меня вызвал? — тихо простонала она.— Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня моя добрая мать! Какая любовь у нее в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу... Отец...

— Где теперь пани твоя? — перебил ее колдун.

— Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать; мне вдруг сделалось пятнадцать лет; я вся стала легка как птица. Зачем ты меня вызвал?

— Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? — спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать.

— Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это. Бедная Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа ее...

«Это — Катерина душа», — подумал пан Данило; но все еще не смел пошевелиться.

— Я поставлю на своем, — грозно сказал ей отец: — я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..

— О, ты — чудовище, а не отец мой! — простонала она, — нет, не будет по-твоему! Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу мою и мучить ее; но Один только Бог может заставить ее делать то, что Ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколь я буду держаться в ее теле, не решится на это богопротивное дело! Отец, близок страшный суд! Если бы ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил изменить моему любому, верному мужу; если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятвопреступных и неверных душ!

Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и неподвижно остановилась...

— Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? — закричал колдун.

Воздушная Катерина задрожала; но уже пан Данило был давно на земле...»

Вполне магическая страница... Всякий, кроме Гоголя, остановившийся на сюжете этом, передал бы осязаемую его сторону: «поймал» бы отца и Катерину в коридоре, на кухне, в спальне, хорошо прижав коленом, запротоколировал все с «реальными подробностями», как поступают в консисториях при выслушивании подобных «дел». «Где лежала юбка и куда были поворочены ноги». Так, между прочим, пишет в одной пьесе и глубокомысленный Ф. Сологуб: «отец сказал то-то, дочь ответила так-то», и затем занавес и многоточие. Да, собственно, что же иначе и написать *обыкновенному человеку*? Даже мудрому, но *обыкновенному*?

Необыкновенность Гоголя, *чудодейственность* его выразилась в том, что он написал совершенно другое!! Но именно то, что по-настоящему следовало: он выразил самую сущность кровосмешения, «родного союза», неестественного смешивания кровей, в самой природе (в ее ⁹⁹⁹/₁₀₀₀) никогда не смешивающихся, имеющих неодолимое отталкивание, отвращение к смешиванию между собою.

Что «одолевает природу» — это магия. Что такое «магия», что такое «маг»? Тот, кто «повелевает и стихиям». Стихии текут «так-то», вековечно, «Гольфштремом»; как «Господь Бог положил» и стоит с «оснований земли». Люди, взирая на это мирное течение, никогда невозмущаемое, остаются спокойными, как взирая на восход солнца постоянно с востока и на заход его постоянно на западе. Но вдруг солнце, скрывшись за западным горизонтом, этак часа через два вдруг полезло бы на небо оттуда же опять назад. «Солнце пятится назад». Хотя пока ничего

вредного не произошло, но люди от страха с ума бы сошли. «Ничего вредного: а так страшно, так ужасно, что кровь леденеет». Отчего?

— Покачнулись столбы земли.

Вековечно, вот как восход и заход солнца, отцам «в голову не приходит» пол собственного дитяти: «не ударяет в голову» с этим оттенком тяготения. как ударяет вообще всем окружающим. Отец знает о поле дочери с тем равнодушием, как мы знаем о Буэнос-Айресе, т. е. «есть» ли, «нет» ли, *моего пола* не касается». Это — мертвое знание, равнодушное, пассивное. Так вообще и всемирно: кроме одного случая или, вернее, момента в жизни дочерей, также и в жизни их отцов, когда дочери становятся замужними. Тут в недрах отцовских «шевелинется» что-то,— не более,— скрытно, туманно. «Что-то», и — многоточие. На это, вообще, не обращалось внимания; явление, что отцы в эту пору тоже почему-то или начинают опять рождать со старыми женами, или женятся на девушках, возраста *непрерывно дочернего* — не обращалось внимания; принималось за «проказы старости», «папашину дурь», и исчезало в легких шутках толпы и улицы. Но дело в том, что солнышко, «запав за горизонт», под горизонтом вообще и всемирно «делает петлю», и пытается опять «взойти с запада», но до черты не доходит, кровавым лучом своим не показывается, и, немного поволновавшись, продолжает смиренно под землей «Господень путь», чтобы назавтра опять, «нормально и по-Божьи», взойти с Востока...

Кроме $\frac{1}{1\ 000}$ или, вернее, $\frac{1}{10\ 000}$ или даже $\frac{1}{100\ 000}$, когда оно вдруг показывается с Запада!

— С нами крестная сила! — восклицает православный люд.

— *Fater unser!* — читают лютеране.

Католики тоже что-то говорят. Кроме одних евреев, которые шепчут:

— Это наша история Лота и дочерей его. Нам это не запрещено читать даже в синагогах, как лист Священного Писания. Наше *внимание* на это *обращено*.

— Но ведь за то вы и жида, Христа распяли...

Магическую сторону в рассказе Гоголя составляет самая техника ее; мелочи, подробности рассказа.

— «Для чего,— говорит колдуну-тестю Бурульбаш,— ты не любишь свинины: — одни турки и *жида* не едят свинины?

Еще суровее нахмурился отец.

Только одну лемишку с молоком и ел старый отец, и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него за пазухой, *какую-то черную воду*».

Слово «жид» мелькнуло в рассказе Гоголя: единственное слово, которое и нужно было упомянуть, но непременно нужно...

Это — «жидовское начало»... Кровавое смещение — «жидовское начало...» И столь противоположное христианскому, что кто его творит — хуже убийцы, изверга, этих совершителей рациональных преступлений,

ибо он совершает нерациональное, иррациональное преступление, от которого стынет кровь!

Неумело или вообще ненужно Гоголь приписал поэтому «колдуну» всякие преступления, «зарезал жену» (мать Катерины) и проч. Это — бутафория. «Последний в роде Петро будет самый ужасный злодей». Такова была тема рассказа, содержавшаяся в самой завязке его, в проклятии убитым братом убийцы-брата и потомства его. Но Гоголь, нагромоздив «злодейств» на последнего потомка, все злодеяния увенчал собственно безболезненным, утилитарно-безвредным... кровосмешением с дочерью! Но поразительно, что, поставив эту вершину на целую гору преступлений, он...

Вдруг зарисовал комнату с голубым, розовым, золотым светом, тянущимся нитями, «как жилки в мраморе...» и в центре ее поставил мага-кровосмесителя, «колдуна» по просторечию и собственному испугу, или части испуга: ибо удивительный рисунок его показывает, что, кроме простонародного испуга, в нем засветилось какое-то другое любопытство, открылось другое и новое видение, совершенно точное, заставившее поместить случай туда, куда следовало: на Восток! в глубь Ассирии, Египта, Персии, древних магов!

«Показались страшные рожи на стенах», «где были иконы у Катерины в спальне, выглядывали ужасные лица...»

Вероятно, с коровьими головами при человеческом туловище, с головой кошки, с головой птицы: да это — египетский храм! Написание Гоголя не оставляет сомнения, что никакой научной подготовки к рассказу он не делал, и что ни малейшего сближения и уподобления он в своей мысли не держал. Если бы это было — все было бы в его рассказе не интересно: интересное в том, что он писал вдохновенно и малороссийски-народно, но без ведома своего, дивным гением или атавизмом своим перенесся в центральные таинства Египта, Ассирии и Ирана, и даже... просто разгадал эти таинства!..

В «переливах света» в комнате колдуна, во время его «волхования», — меня много лет назад поразила мысль: что ведь если дело идет о «кровосмешении», то эти смешивающиеся и не смешивающиеся волны, полосы света, вливающиеся друг в друга, и вместе враждебные слиянию — в сущности удивительно передают уже самое кровосмешение... Колдун «волхвует»: и в комнате начинается... кровосмешение, но в какой-то звездно-небесной форме... Как «последний чекан» гения названы «тянущиеся нити», тянущиеся в голубом свете: брезжется, недоказуемо, но как-то угадывается, что голубой свет — душа Катерины, розовый — кровь ее, эти золотые нити, в нее проникающие, — отцовское начало, его семенные нити. И «появляется сама Катерина», потому что как же ей не появиться: где совокупление — там уже и тело! И за телом — душа!.. Между тем она и спит, продолжает спать в своей хате: так же истинно одно, как реально и другое! Отец ее позвал фактическим зовом, — тем, что она из него же вышла, через ее мать; позвал, как власть зовет

подчиненное, генетически, мистически подчиненное. Она так же не может ему противиться, как зерно — дереву, из которого выросло. Отец мистически и вне-временно ввел ее в утробу матери,— откуда и происходит видение матери, о котором она лепечет,— и затем слил ее душу, из семени его вышедшую, с самым семенем, и, как свое семя, потребовал к себе, потребовал ее душу, «всю трепещущую страхом». Таким образом, он «обратил вспять всю природу», и суть магии или сила магии его состоит или происходит от умения «вернуть времена» к началу или исходу... Дочь — совершенно в его власти: как его семя в тот миг, когда она была зачата. «Душа»... что такое «душа»? «Когда» она,— *теперь* ли или *вечно*? Где «настоящее» души? Стрелка часов на стене ничего не значит для «души»: она — вечно. Колдун и берет это «вечное» души, берет душу в ее вечном существе, в ее вечной мысли, но ухватывает ее в момент «зачатия», срезает с корня, под корнем — и цветок берет к себе, как свое создание, как свою волю, как эманацию своих сил, своей натуры. Как бы ни противилась его дочь ему морально,— она «натурально» не имеет никакой подпоры, чтобы сопротивляться ему. И он твердо говорит: «Катерина будет моею». Но чего еще он хочет? Тела той Катерины, земной, в земных условиях и обстановке: что же такое «замок» его и вся фантазмагория? Так сказать — небесное основание земных вещей. Чтобы достигнуть «земного совокупления», отец «волхвованием» своим достигает этого звездного, астрального «свокупления»... с туманом, эфиром, кровью, «душой»: ну, как вы назовете и определите «душу»? Есть «душа» и есть «воображение»: что такое «душа» в отношении «воображения» и обратно? Для «души» уже мало границ, а «воображение» и совсем их не имеет. Но свет — *розовый*: ум Гоголя заключается в том, что он не отделил «душу» от «крови», и рассказал, что с зовом «души» позвана и явилась и «кровь», как туман, что ли? Ведь и кровь есть земная и звездная. Египтяне чертили в храмах голубое небо, на нем — золотые звезды: но, противно тому, что показывает небо и зрение неба глазом — они поместили внутрь каждой звездочки каплю крови. «Небеса — полнокровны». Вот мысль египтян, повторенная Гоголем. Колдун, овладев душой Катерины,— зажигает в крови ее нечистое желание к себе.

— Катерина полюбит меня! Это — будет! — кричит он.

Трепетная душа дочери слишком знает, что это «будет». «Кровь захочет»: а небесный туман крови уже задет.

Как?

Светы переливаются, со странным звоном: — и «как жилы мрамора» — нити отцовской натуры уже вошли в розовый свет дочерней крови, в голубой свет души ее. Отец уже «привился» к дочери: и ей совершенно нечего сделать с этой прививкой, она не может ее выкинуть из себя, как и ствол дерева не может выкинуть тот «черенок», который садовник врезал в него. «Нужно покориться»... «Остается покориться». И дочь стонет:

— Какой грех! О, мой любимый муж!..

Заповеди морали — одно: но силы природы — совершенно другое, корни природы — совсем иное! Как «черенок выкинуть из ствола» словом? Невозможно! Зажжется «нечистый огонь» в крови, и воля ослабеет, и человек «падет». Так «ходит в мире грех»: и ничего человек так не пугается, ни даже рациональных убийств, как этой иррациональной власти над собой «нечистой силы». Можно думать, что народное выражение «нечистая сила», равная «дьявольской силе», имеет древнюю форму свою другое выражение: «поганая сила», под которым мы уже совершенно ясно в силах разобрать народную мысль и ведение: «фаллическая сила». Прекрасная юная девушка, воспитанная где-нибудь в католическом монастыре и не выдавшая совершенно никогда полного очерка мужчины, не знающая «мужского устройства», — только что вернувшись к родителям, через год или меньше оставляет их, оставляет охотно, чтобы навсегда остаться с молодым человеком, в которого она «влюблена»... Ну, могла бы жить у родителей и оставаться влюбленной. Но она переходит в дом мужа, уезжает с ним в другой город, в другую страну: неправда ли, какое «околдование», какое волшебство, — и, наконец, не скажем ли мы совершенно, что это — «нечистая сила» в ее громовом проявлении!! Разрываются все самые дорогие и святые связи, священные связи, — под влиянием «к тому, чего никогда не видала» девушка. Разве это не чудо? Разве не мудренее, чем «замок колдуна»? Разве не скажем, что все это «в небесах» и «под землею»? И разве, наконец, гораздо ранее, чем осуществится в земных условиях, в материальной обстановке, кровь в нас не шумит странными шумами, и, расходясь волнами далеко от нашего земного «я», — не входит струями света в далекие существа, или мы сами («пора любви») захватываемся светом чужих, далеких, иногда очень далеких «я» — и садимся на пароход, едем «в Сибирь», «в Туркестан» и возвращаемся домой с «подругою юности своей», захваченные ей за тысячи верст, и в сущности и глубже — захваченные уже до своего рождения, именно «в звездах», в «утробах матерей», в фаллическом сложении отцов, где все со всем переплетено, но переплетено не как хаос, а как гармония, как некая Пифагорейская «музыка сфер»...

Однако феномены и «чудеса» любви, встреч и сближений, романов и судеб человека, — только верхушки и краевые зорьки «магии». Есть ее ствол, есть ее корень. Магия, вообще вся, всемирная, — гнездится в крови человека, с ее терпким запахом, который есть другая сторона сладкого запаха пола. Человек безумеет, приближаясь сюда: но если не испугается и овладеет собою, если станет смотреть и узнавать, он становится «ведун», «вещун», знание его страшно расширяется и он приобретает необыкновенную власть над вещами. «Узнал корень вещей» и уже легко потрясает вершинами деревьев; познакомился с «дедушкой» — и «внучата» (рациональные вещи) у него в руках. Это начинает собою обширный круг «колдовского царства», — круг «чар», «очарований», «ворожбы», «обольщений» и проч. и проч. Необъяснимые вражды, как

и необъяснимые дружба, ненавидение и любовь, когда они безотчетны и неодолимы,— все идут сюда, к этому корню. Собственно, магичен весь круг земного существования, все предметы более или менее магичны (как нет вещей без «электричества», положительного или отрицательного), но лишь без нажима не очень явно; явно же и осязательно начинается круг «магии» там, где мы входим в круг вещей тайн крови. Из этих тайн одна, главная — родство. Родство — тайна. Родство — связь индивидуумов, вполне мистическая, вполне магическая, — между собой ничем осязательно, вещественно несоединенных. Разорваны, но — тайно связаны, соединены. Родство расходится кругами, все «дальше» и «дальше». Слабеет, умирает; «дальние родственники», «почти чужие люди». Есть универсальная необходимость, по крайней мере в некоторых точках родства, «поворотных кругов»: где бы родство не охлаждалось, а вновь загоралось, дабы не остыл весь мир, не исчезло из мира родство, не умерла любовь. Эти поворотные круги и образуют случаи кровосмешательства. «Все дальше и дальше» в генерациях, в дальнейших произхождениях, этот закон гаснущего родства вдруг заменяется обратным: «нужно ближнего!», «хочу ближнего!». Малые круги, круги-капельки этого везде допущены; у нас венчают «в пятой степени родства». Кровь чуть-чуть останавливается в законе «все дальше и дальше». Но, кроме маленьких кругов,— есть большие. Какой-то всемирный страх стоит перед ними; особенно у христиан, в цикле холодеющей крови, в цивилизации исчезающего родства. Но в тайны этих поворотов, очевидно, проникли древние маги, эпиграфом из сообщения о которых я начал разбор страницы у Гоголя. Кровь вообще фаллична, и родство, конечно, все фаллично и утробно; с тем вместе кровь священна и родство, по всемирному признанию (в том числе и христиан),— свято. «Соединим родство и семя,— что выйдет?» вот загадка магов. Что, однако, *могло* выйти? Нужно углубиться в смысл родства. Действительно, по всемирному признанию: родная кровь — священная кровь. Что же совершается? Что совершал маг-кровосмеситель? Есть пахота земли в Тульской губернии,— рациональная, «наша». «Все так обыкновенно». «Нужен хлеб и сею хлеб». Вот — обыкновенно размножение, «земное дело». Маг для той же цели как бы поднимал плугом почву Палестины (родство — типично священно, всегда, у всех, везде),— и клал зерно в ее святую землю. «Дальше что?» «Что выйдет?» Увеличение священства рождения. У всех магов, решительно, везде в странах допущенного родного брака,— замелькала мысль о некотором «сверхъестественном рождении»; «родится чудо», «и человек и выше человека». Мессианская мысль, встречаемая везде на Востоке, везде примыкает именно к пункту кровосмешательства, в его большом круге, даже наибольшем. «От такого сочетания может родиться только чудо: дитя необыкновенных способностей, не встречающихся у других даров, сил необыкновенных, разума небесного». Родится «маг уже в колыбели», который совершит «необыкновенное». Идея мессианства вышла из таинственных «светлиц» магов,— с светом, льющимся без источника, без «свечи и фонаря»: ибо

светоносна самая материя здесь; из светлиц со «страшными рожами по стенам», где «иконообразно» и «богомольно» была выражена вся природа, вся натура и ее корни. Здесь переливались светлые розовые, голубые, золотые. Тянулись животворящие нити, — порхали души, зарождались тела; трепетали дочери, — но не всегда страхом, а, как говорит Ксанф и передает Климент Александрийский, с надеждою чудного рождения, «по взаимному согласию». И тихим звоном сопровождалось волхвование: это — музыка, которой гамма навсегда потеряна, и ее узнает тот один, который никому не расскажет услышанного. «Кто знает, тот знает: кто не узнал, тому незачем знать». Но капельки мировой тайны и доселе капают на землю, в глуши лесов, деревень и даже каменных городов, где уже все рационально, обыкновенно и не имеет никаких испугов.

Погребатели России

Доверенный человек Ф. П. Карамазова, пресловутый Смердяков, был погружен не в одни мистические и апокалиптические темы, о которых рассуждал со своим приемным отцом, слугою Григорием. Как известно, в этих темах он был ехиден, зол и критичен, чем раз вызвал пощечину от угрюмого Григория Васильевича. Но ехидный и насмешливый *esprit* * Смердякова иногда перебрасывался и на темы земные, реальные. Так как это было вне круга его постоянных интересов, то им он отдавал часы удовольствия и отдыха, между прочим — часы любви. Такой разговор Смердякова со своей Дульцинеей подслушал невольно Алеша Карамазов:

— Может ли русский мужик сравнительно с образованным человеком чувства иметь? По необразованности своей он никакого чувства иметь не может... Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна.

Она высказывает предположение, что он такое чрезвычайное суждение произносит как штатский человек: а будь военным, то защищал бы Россию. Смердяков вышел из себя:

— Я не только не желаю быть военным, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат.

Мнение социал-демократическое.

— А когда неприятель придет, то кто же нас защищать будет?

— Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию военное нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнего, — и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма тупую-с и присоединила к себе. *Совсем даже были бы другие порядки-с.*

* ум (фр.).

Кто в этом пророческом прообразе не прочитает упорной веры наших «левых фракций»: «Если бы умные социал-демократы захватили власть в России, *совсем были бы другие порядки*. Наконец, кто в словах Смердякова не услышит звон фразы, брошенной прямо с кафедры первой Г. Думы проф. Кареевым: «Я предлагаю слово *Россия* исключить из думских дебатов, так как это имя оскорбляет чувства нерусских членов Думы».

Несчастливым образом в круг этого смердяковского мышления попал и добрый, бесхитростный Дмитрий Сергеевич Мережковский, у которого как-то странно закружилась голова и кружится последние годы. Я, конечно, не хочу проводить параллели между ним и Смердяковым; но бывает же, что образованный и умный человек вдруг начинает вторить безголовой толпе, воплощающей чистую смердяковщину. Так случилось с нашим романистом, критиком и философом. После многолетних занятий Леонардо-да-Винчи он, став вдруг почти социалистом, *volens-polens* * повторяет «левые» тезисы о России, но только облекая их, по материалу прежних своих занятий, в апокалиптические тоны, в апокалиптическую терминологию.

Россия — мертва. Это — труп. Труп ее уже в могиле. Она все нисходит и нисходит в своей истории, но (цитируем) — «существует предел, за которым нисхождение становится низвержением во тьму и хаос. Не чувствуется ли *именно сейчас* в России, что близок этот предел, что нисходить нам дальше некуда: еще шаг — и Россия уже не исторический народ, а *историческая падаля*».

Довольно сильно. Даже яростнее, чем у Кареева и Смердякова.

И далее:

«Не мертвец, восстающий из гроба, а погребенный заживо — Россия нынешняя. Кричит, стучит в крышку гроба — и никто не слышит, только могильную землю, горсть за горстью, набрасывают и ровняют, утаптывают — холм насыпали, крест поставили. Достоевский пишет на кресте: *Смирись, гордый человек!* Л. Толстой: *Не противься злу!* Вл. Соловьев: «Дело не в самодержавном строе России, а в текущем содержании этого строя». И вот Вячеслав Иванов в наши дни говорит: *Россия еще воскреснет Духом Святым*».

И сам Мережковский всем им отвечает:

«— Нет, не Духом Святым воскресаем, а духом Звериним, удушаюсь, умираю,— мог бы ответить погребенный.— Кричу, стучу — и никто не слышит. Уже земля обсыпалась, задавила меня. Больше не могу кричать, голоса нет. Земля во рту».

Эта последняя отчаянная фраза — «земля во рту» — взята и в заглавие всего фельетона «Земля во рту». Как крик. Как вопль. «Потрясу Россию».

Гениальный Достоевский сделал удивительный кунштштюк перед

* волей-неволей (лат.).

политическим исповеданием Смердякова. Сперва читаешь и не понимаешь, до того это кажется ерундою. Но вот вступаешь в публицистические полемики и вдруг оцениваешь все предвидение Достоевского.

«...На базаре говорили,— передает он Дульцинеев,— и ваша маменька тоже рассказывать мне пустилась по великой своей неделикатности, что Смердящая (мать Смердякова) ходила с колтуном на голове, а росту была всего двух аршин с *малым* (слушайте дальше, читатель!). Для чего же «с малым», когда можно просто «с малым» сказать, как все люди произносят? Слезно выговорить захотелось, так ведь это мужицкая, так сказать, слеза-с! Может ли наш мужик против образованного человека чувства иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого *сыздетства* как услышу бывало «с *малым*», так точно на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна!»

Так вот оно что: «с *малым*» услышал, и эта неграмотность покорила его литературный вкус. Но до чего гениально! Вообразите,— «Земля во рту» написано Мережковским по поводу огорчения двумя фактами:

1) Воздухоплавание началось в Европе, а не у нас. У нас генерал Кованько.

2) В Испании одного Феррера казнили, а вся Европа закричала. У нас ежедневно вешают, а все молчат.

Но что в статье Дм. С. Мережковского мне показалось верхом остроумия, то это то, что — по крайней мере касательно воздухоплавания и Кованько — он повторяет памятный летний фельетон М. О. Меньшикова именно о Кованько и прорванном воздушном шаре, на котором аэронавты разбились, а касательно Феррера и проч. повторяет «Не могу молчать» гр. Л. Толстого.

И все это передернув или не связав конца статьи с началом: ибо если Толстой написал «Не могу молчать», если вышла целая книга «О смертной казни», Л. Андреев написал «Рассказ о семи повешенных» да и вся вообще печать полна этой темы, то каким же образом Россия нема перед зрелищем смертных казней?!

Но в чем же лежит настоящий пафос статьи Мережковского? Отчего он считает Россию страной погребенною? Где, как говорят немцы, «зарыта собака»?

— Россия гибнет оттого, что у нас министерство Столыпина и октябристы в Думе.

«Уходит день и приходит... А земля все стоит»,— говорит Экклезиаст...

Господа, господа,— «братья-писатели»! Да ведь мы отравились «правительством». Ну, это — такой пень, что какое слово ни скажет писатель, все — на пень глядя. Нет ему свободы, все глядит на пень. «Пень, пень повернись так; пень, пень, повернись иначе». «Пень, дай я тебя обряжу. Пень, пень, не срубить ли тебя». Никуда от пня. «Все

от печки танцуем». Господи, какое удушье! Господи, какая несвобода. Что оно нам, крестный батюшка, что ли? Или «родная матушка», что нас родила? Что это мы ничего без «правительства» придумать не можем. Приправа ко всем кушаньям. Окраска всех мыслей. О, Боже, вот поистине рабство! Да уж не прав ли Достоевский в ужасной аллегории Смердякова, и не изображаем ли мы его, а «правительство» — гитару, на которой мы играем все арии. Ведь эта отравленность «правительством» есть повторение чиновнического духа «все приписывать начальству» и обнаруживает в нас не граждан, не мыслителей, не свободных людей, а всего-навсего Акакиев Акакиевичей, — только перешедших от переписывания бумаг в департамент к пописыванию статей в журналах!

Вспомните Пушкина: Боже, как он умел быть *свободен и независим*, стоя непосредственно около царя. Свободен в темах своих, свободен даже в дерзости любви. Ибо друг Мицкевича и декабристов, написавший о себе «Памятник», он знал, как рискует, написав «С Гомером он беседовал один» и еще несколько стихотворений анонимного характера, где, однако, говорит гораздо сдержаннее о царе, чем об екатерининском вельможе в знаменитом стихотворении «Князю Юсупову».

Да, все в России «от чиновника»: даже вот и литература, и философия. «Пень» да и только. Такие рыцари до Иерусалима не дойдут.

Куприн

Литература наша потеряла *здоровье* и затем — красоту: закон органической и духовной природы, «его же не преидеши». Но из выдающихся беллетристов нашего времени, печально падавших «со ступеньки на ступеньку», нельзя не выделить Куприна. Его простой, не умничающий, а умный рассказ, его наблюдательность, его внимание и уважение к обыденному — все это соединяет его перо с большими старыми мастерами русского слова.

Мне не приходилось писать о его «Яме», между тем сюжет этого рассказа боковым образом касается вопросов, с давних пор мне близких. Кто из женщин попадает в эту яму? Как они сюда попадают? Это — европейская тревога, европейская забота. Много великих филантропов отдали этой теме всю свою жизнь. Как рассказывают, г-жа Северова написала пьесу на эту тему, насколько она касается *малолетних*, — и написала талантливо и умно. В этой огромной области не могут быть забыты наблюдения, сделанные Куприным в его «Яме».

«Взгляните — ведь все это еще *дети*, — говорит он устами одного из действующих лиц рассказа об обитательницах «Ямы». «*Неразвитые дети*, — почти сплошь из *простого народа*». Такова гурьба, масса, в которой, однако, есть и яркие, но немногие исключения. Но о тех — особое рассуждение; они имеют *лицо*, и рассказ здесь может быть только

личным, о каждой порочной такой девушке. Масса же остальных глубоко безлична, шаблонна; и что касается «борьбы с ямою», то направляемая на шаблон и безличность, не берясь за неподдельную задачу побороть рвущуюся сюда *личность*, борьба эта может опереться на слова Куприна о характерном детстве проституток. Это в огромной массе — беспризорные *дети*, попавшие сюда случайно или по несчастью, и возвращение которых на нормальный путь трудовой жизни совершенно возможно.

Давление полицейских правил и, еще больше, распространенный и ни на чем не основанный предрассудок, будто девушки «Ямы» и ям лишены *общей нравственности*, не имеет всего очерка, всего округления *нравственного в себе лица* — мешают все более возврату их в чистую, здоровую жизнь! Их не берут в работу, в ремесло, в трудовые заведения и артели; и им ничего не остается более, как продолжить раз начатый промысел. В этом отношении наблюдения Куприна чрезвычайно ценны. Печальное их ремесло есть действительно какой-то придаток к личному существованию, отнюдь не входящий общею язвою во все существо девушки. Правдивость, доброта, участливость к соседям, простой и ясный взгляд на вещи, способность к хорошему и верному товариществу, большая денежная честность и аккуратность — черты, не исключенные из личности так называемой «павшей девушки». Попадают исключения, но эти исключения есть, и есть не в меньшем проценте, в сплошной массе остального женского населения. Остается важным наблюдение, что как ремесленницы, как кандидатки в ремесло и услужение они не стоят ниже прочих сверстниц *лично*, в *душевном очерке*. В них только прибавлено решительное равнодушие к тому, в пристрастии к чему их подозревают, и с такою уверенностью, совершенно ложной!

Здесь — главное наблюдение Куприна.

Что такое подобная девушка в натуре своей? Слабополая или вовсе бесполоая! Само «падение» совершилось по некоторому равнодушию к своему полу, — потому что пол не ощущался его носительницею как что-то большое, важное, ценное, заслуживающее сохранения! «Так себе, как и все прочее в человеке», как пускаемые в ремесло «руки» и «ноги», и «голова». Как только пол не выделен в своей ценности — так образовалась естественная «проститутка»; как мужчины, не имеющие вообще серьезного взгляда на свой пол — ведь вообще все суть проституты, т. е. делают точь-в-точь то самое, что эти несчастные девушки. Но казнь (общества) почему-то падает не на тех, кто *сверху*, кто коновод всего движения, кто есть «покупщик», а на покупаемый товар, воистину несчастный.

Девушки эти не суть *лично* павшие существа, но *общественно* павшие, и исцеление всей этой громадной язвы вполне возможно. Это просто — «осушка местности», «поднятие почвы», и как в полях, в низинах — оно совершается через простую подсыпку земли. Обыкновенно — «спасают личности». Но все это именно не *личное* дело, и «личностями» здесь

нечего заниматься. В трудовом и энергично работающем, наконец успешно работающем составе людей их не зарождается. Они появляются как «гриб в сырой местности» везде, где есть праздность, лень, разгул, незанятое время, лишние деньги. Подробнейшие, до мелочей, до «невывразимого» расспросы этих девушек могли бы убедить, что они удовлетворяют не нужде населения, отнюдь не его половому голоду, как думают вообще и везде, а только праздности и разгулу мужского населения! Именно *нужды*-то тут и нет: вот открытие.

Нет *нужды*!

Эти девушки отнюдь не павшие: полный очерк души в них сохранен!

Они вполне способны к нормальной, обычной жизни, бытовой, сословной, классовой, всякой; не унижат собою ремесла и круга товарищей. Только «осушите почву», т. е. праздность, разгул, участие лишних денег и фантазии.

Это — сверху, от «господ».

Снизу как служанки им поднимаются навстречу субъекты с врожденною недоразвитостью в себе пола, умалением его, слабостью его, равнодушием к нему, вялостью в нем. Это — не *охочие*, а самые *мало-охочие* в данной линии деятельности.

Ослабление, болезнь, изнеможение; хилость, вялость; и — ни искры огня. Вот сущность. Тут вовсе нет пламени. Это сплошная «слякость». Из этой сущности вытекает совершенная возможность борьбы и полной победы. Разумеется, при этом останутся те, которых я выше назвал и отделил как особые «личности». Клеопатру египетскую ничем нельзя было бы повернуть на другой путь. Но таких, естественно, немного, и обществу вовсе не для чего с ними бороться. По немногочисленности они и безопасны. Проституцию можно победить не как *личное явление*, а как *общественное явление*. И общество, как только перестанет заниматься биографиями и кинет мысль спасти «жающихся (мнимо) Магдалин», а вместо того перейдет к «общим условиям» — победит эту вековую свою язву.

Вот высокоценные выводы, к которым привел нас наблюдательный г. Куприн.

Красота-властительница

Рассматриваю недурные портреты Кромвеля и Мильтона, приложенные к декабрьской книжке «Вестника Европы». Если чем новая редакция старого журнала может похвалиться, то серией подобных портретов заграничной работы, которая за год, за два даст читателю целую галерею замечательных лиц, русских и европейцев...

Портрет Кромвеля напомнил мне знаменитую биографию его, — собственно ряд комментированных писем, — изданную Карлейлем. Милтон — мягкое и благородное лицо; но Кромвель...

И я вспомнил начатки русской свободы, взглянув на эти портреты основателей великой английской свободы. Ах, лица человеческие, лица человеческие: как много они говорят!

Кромвель — это все сметающая сила. Маленькая бородка клинышком, волос редок, лицо, должно быть, бледное, под кожей ясное строение костей, т. е. мяса немного, — и весь он костяной и нервный. Взгляд... необыкновенной решительности и упорства! Вот о ком сказать: «*Regis voluntas suprema lex este*» *.

Но он не был королем, а, как пишет Иловайский, «ограничился титулом протектора республики». Как это красиво звучит: «протектор республики». В одной половине титула — королевское значение, в другой — признание суверенитета республики. Но я заговорил о политике и титулах, когда мне хочется сказать только о портретах.

Ну, как ни самолюбив Павел Николаевич Милюков, Кромвелю-то он уступит? Его все-таки победили два каких-то хулигана, тогда как Кромвель не был никем побежден. Потом Милюков привлек победителей своих к ответственности перед мировым судьей... К чему их приговорил судья — неизвестно: но ужасно некрасивая страница в биографии протектора русской свободы.

Почему же она, несчастная, не удалась? почему она увяла? кто ее увялил?

Некрасивые лица... Боже, что значит красота в истории? Идет она в победной колеснице: и руки опускаются перед нею, ноги бегут навстречу, в горле спазм и все сливается в реве приветствий, восторга безотчетного, неудержимого, глупого, счастливого. Все счастливы, что любят красоту, все счастливы, что она перед ними во всем озарении побед и счастья.

Победа всегда красива, счастье всегда красиво... Наша русская свобода нечаянно «вбежала во двор», в отворенную калитку, — как беспризорная собака с улицы, и, вбежав, начала сейчас же кусаться и гадить. Помните красные журналы на Невском? Ни одного остроумного слова, ни одной талантливой страницы. Знаете ли, не было ни одной *одушевленной страницы*! Что за фатум — непостижимо. Но ни одного великого слова за дни удивившей всех и абсолютной свободы печати не было произнесено.

Новый рассказец Горького, уже начавшего надоедать в то время Горького, и напыщенный риторический рассказец Л. Андреева. Господа, а Англия встречала свободу «Потерянным раем» Мильтона!

Не было красивого... Не было в самой встрече, в первом моменте свободы.

О, потом могло пойти похуже, поплоше, как всегда бывает в истории: но необыкновенно важен первый шаг какого-нибудь напора, новой силы, нового начинания.

* Воля короля — высший закон (*лат.*).

Ужасно, что это «прошмыгнуло в дверь»,— помните, при Свято-полк-Мирском. Вбежало. Потом началась бутафория. Помните 9 января: как ужасно, что *оказалось* потом, ведь с несомненностью оказалось, что все это были дутые слова и дутые мечты, все это «несение икон» и «портретов». Как ужасно, что все началось с *подделок*!!

Не было изящества: не было изящества души и лиц! «П. Н. Милюков и Кромвель»: ну — и *finis*. Все пошло, как пошло, все случилось, что должно было случиться.

Не спорю и не защищаю ничего из того, что раскрылось в японскую войну: но это *ликование* при всяком раскрытом новом воровстве, при всяком обнаружении трусости и бездарности!! «Побито 1000 солдат: но командир бежал и получил орден»: в этом стереотипе событий никто даже не вспомнил, что ведь тысяча-то простых русских людей все-таки бились, умерли, иногда жестоко умерли! Все было забыто: восторг, что генерал бежал или вот кормился молоком от какой-то коровы, а главное, что он получил орден и за это можно кого-то хоть анонимно выругать — заливал все собою, доминировал над всем, и Россия решительно ликовала. Т. е. не Россия, а кто «делал ее свободу».

Цинизм, хохот, ненавидение... Ругань всех и вся, гул ругани от моря до моря... И ни одной строки, как у Мильтона.

Мы не научились (ранее не научились) быть благородными: и свобода, которая есть благородное явление и удел благородных,— минула зараженный дом наш и куда-то скрылась. Вот наша история, как она есть.

Героическая личность

Чего же нам не хватило для получения, для осуществления свободы?

Героической личности.

Героическая личность не та, которая непременно преуспевает, которая побеждает. Это не непременно талант, гений. Она может быть довольно обыкновенных способностей. Героическая личность в *тоне* действий, слов, отношений, всего, и, вчерне, она выражена в том, что подобный человек, обыкновенно с юности, с рождения о всем мыслит необыкновенно, вот именно «героически». Герой всегда серьезен.

Вот это-то у нас и было подгноено с корня. С весны, с «незапамятных времен» нашей истории, героическому негде было расти, но особенно негде стало ему расти с появлением язвительного смеха в нашей литературе. С детства ведь все читали и *смеялись* персонажам Грибоедова, потом явился Гоголь: захохотали. Начал писать Щедрин: «подвело животики»! Ну, где тут было замечаться юноше? А без мечты нет героя. Без воображения, без великого дара надежды, без странного, может

быть, обманчивого представления о людях, как о достойных существах, не может зародиться герой.

У юноши с 14 лет «подводило животики» при всяком чтении, а в 19 лет появилась кривизна губ, желтизна кожи, взгляд раздраженный и презирующий. Чиновник или писатель в 29 лет решительно презирал все в России, кроме себя и той «умной книжки» (термин Чернышевского), которую он читал.

Ну, можно ли было с этими «Печориными» в 29 лет приступать к осуществлению свободы? Свобода — это юность, это свежесть, это надежда и любовь. Это требование свободы для людей в силу безграничного *уважения к ним*. Но ведь у нас *никто не уважал никаких людей*. В этом-то и центр всего дела. У нас были отдельные кружки, уважавшие себя и своих членов, непременно только своих. *Общерусского уважения не было*. Вот где сгнил корень русской свободы!

Объясню примерами. Белинский после известного своего письма к Гоголю (где он его упрекал за «переписку с друзьями») говорил, досадуя на себя и разочарованно: «я завыл волком в нем, зашелкал зубами, как шакал». Это было незадолго перед смертью, когда он был болен, измучен, раздражен. Но причины — одно, а дело — другое. Сущность в том, что Белинский в нем действительно «завыл» тем демократическим и вместе чахоточным тоном, музыку которого мы слушаем вот 50 лет. Сейчас перейдем от него к тому, что говорил, писал и делал Грановский. Грановский ничуть не гениальных способностей человек. Но он до сих пор стоит одиноко-обаятельною фигурою во всей, если можно выразиться, «цивилизации русской», во всей образованности русской, во всей истории русского духа и русских дел, — потому что почти *один* он представляет типично героическую личность, как мы очертили ее выше и как она есть на самом деле.

В сочинениях, в этих миниатюрных статейках, собственно без всякого крупного содержания, — *в рецензиях на книги*, как и в письмах к друзьям, родным, жене, везде у него этот *единственный в русской литературе тон* человека, который не умеет шутить, в душе которого стоит вечно какая-то торжественность, без предмета и имени, в сущности, торжественность самой души, как той ночи, о которой написал Лермонтов в стихотворении «Выхожу один я на дорогу».

По этому строю души Грановский был гражданином несуществующей и существующей, вечно осуществляемой, и может быть, несбыточной республики, хотя по внешнему положению он был только чиновником министерства просвещения, в условиях еще более тесных, чем в каких стоял Белинский. Но он не «выл»... Как он никогда не кусался... И в какие еще более тяжелые условия его ни поставили бы, он никогда бы не сбросил с себя тоги гражданина, хламиды философа и не надел бы растрепанных лохмотьев обозленного на начальство обывателя, каким, в сущности, говорили решительно все, не только Чернышевский, но и Герцен.

Герцен был менее свободен от Дубельта и Бенкендорфа, живя в Женеве и Лондоне, чем Грановский, живя в Москве. Ни в одной статье Грановского даже нельзя почувствовать, что он жил при монархии. Никакого следа влияния, зависимости, подчинения... А Герцен «с того берега» только плевался на этот, т. е. только и думы у него было, что о «их превосходительствах». Какой же это гражданин: это чиновник в отставке или притесненный помещик. Как и Щедрин со своею «сатирою», чем он был? Вице-губернатор, никак не могший дослужиться до губернатора.

Как Вересаев: не смог быть медиком и вышел в литературу. Но вместо повестей и стихов начал писать, что все медики почти только преступники, ибо ничего не умеют, ничего не могут и ничего даже не хотят хорошо сделать. И что удивительно в удивительной России: пациенты Боткина и Захарьина заговорили: «В самом деле, какие глубины раскрыл Вересаев: медиков нет, и самая медицина невозможна». Возражали ему даже ученые. Между тем все это — история с недоучившимся, неспособным и хныкающим господином.

И совершили «обыватели» типичную «обывательскую революцию». Где было много изломано и много сечено... И эти крики: «Ох, как вы больно сечете», вперемежку: «не виноват», «не я, а он», «не мы, а они» и «прошу прощения», «пора простить», «не станем больше»...

Да, не было для песни Мильтона. Каковы песни, таковы и певцы...

О письмах писателей

Истекают последние дни 1909 года. И я тороплюсь сказать читателям несколько слов о самой поучительной и привлекательной книге, какую прочел за этот год. Это — письма Эртели.

Два слова вообще о «письмах», как отделе литературы.

Когда-нибудь этот отдел станет самым любимым предметом чтения. Более и более пропадает интерес к *форме* литературных произведений, как некоторому искусственному построению, условно нравящемуся в данную эпоху, и нарастает интерес к душе их, т. е. к той душевной, внутренней мысли автора, с которого он писал свое произведение. Литература и история литературы ранее или позже разложится на серию типичных личностей данной нации, как бы говоривших перед Богом и человечеством от лица этой нации; сказавших исповедание я. Но сказавших это исповедание не в формуле, не «в символе веры», а скорее в совокупности мотивов этой веры и потому пространно, отрывочно, сложно. Со временем литературная критика вся сведется к *разгадке личности* автора и авторов. И вот в тот зрелый, августовский или сентябрьский период истории литературы, письма авторов, посмертно собранные и напечатанные, приобретут необыкновенный интерес, значительность, привлекательность.

Это — вообще. Теперь в частности о русских письмах.

Мы, русские, талантливы и робки. Может быть, самая проницательная нация из всех, но вечно напуганная чем-то ложным в своем положении, и особенно тем, «признаны» ли мы и как будто «не признаны» и как бы нам добиться «признания». Бог весть, для чего оно нам так понадобилось. От этих условий или положений тон у нас искренний; но этим искренним тоном мы вечно привираем. Не опасно, не ядовито, не разбойно; но все-таки привираем. Наша «великолепная» литература, прижизненно печатаемая, вся или почти вся с этим невинно-робким привиранием; где авторы раскрашивают себя перед читателями, приписывают себе мнения, каких на самом деле не имеют или не очень их имеют; притворяются равнодушными к тому, что на самом деле горячо любят, и заинтересованными в том, к чему на самом деле равнодушны. И т. д. Но вот посмертно печатаются письма, написанные к приятелям и полуприятелям, к друзьям, к врагам, к родным; написанные впопыхах, среди дела, и о которых большею частью автор через полчаса забывает. И в них его личность вдруг встает вся, и притом «как есть».

● Сочинения автора — это то, чем он хотел казаться.

Письма его — то, что он есть.

В «сочинениях» он всегда играет роль. Ну, искренно, ну, гениально. Но только в письмах он — без роли; смиренный актер, без грима и костюма, который ест свой скромный ужин. Взглянуть на такого, послушать такого — тоже интересно.

И именно — у писателя.

Мастерство писательства состоит не в одном даре письма, слова; хотя оно необходимо — но этот дар письма является только заключительным звеном цепи других, более внутренних и драгоценных, даров. Сущность писательской души заключается в гораздо большем, чем у обыкновенных людей, даре вникать в вещи и любить вещи, видеть их и враздробь, и в обобщении, в связи, в панораме. Писатель больше любит и больше понимает обыкновенных людей.

У него вместимость души и страстность души больше. И все это отражается не только в «построенных» произведениях (литература при жизни), но не может не отразиться и в каждой записочке.

«Да,— скажут,— но есть писатели без писем или с такими неинтересными, как у писарей». Это не настоящие писатели, и даже по отсутствию или присутствию, по интересу или безынтересности частных писем мы, собственно, и можем только после смерти без ошибок оценить, прошел ли в литературу настоящий писатель или лишь ложное его подобие. Что делать. Ложные писатели всегда были, а теперь они заняли на $\frac{3}{4}$ поле «текущей литературы». Они, собственно, ничего не пишут, а все «составляют», «сколачивают», сочиняют самым жалким видом сочинительства. «Я как пишу,— хвастливо рассказывал мне один романист,— в 10 часов утра после кофею сажусь за письменный стол. Пишу до двух, как Зола,— не отрываюсь. Завтракаю и потом гуляю. Так делал и Диккенс. Придя

домой, уже ничего не делаю. После обеда час отдыхаю и потом опять сажусь за тетрадь и пишу до десяти. В десять еду в гости к литератору». Потом, промолчав, продолжил: «В год я пишу один роман. Написав, никуда не несую, а дожидаясь, когда редакторы пришлют запрос: «нет ли готового романа». Пишу в ответ, что *есть*, но не могу продешевить» и прочее. Дальше о мастерстве: «Когда пишешь роман, то ведь всякого понапишешь. Очень много лишнего. И вот, кончив, я начинаю вторую работу: я все лишнее убираю. Пишу я на одной стороне листа: и лишнее я не зачеркиваю, конечно, о нет! Я его выстригаю. Роман укорачивается и улучшается в живости и быстроте хода действия. Вторично прочитываю и еще выстригаю. Тогда роман кончен, и я его продаю. А из того, что выстриг, я, немного прибавив, делаю повесть. Из маленьких же выстрижек — эскизец, очерк. И потом тоже в печать».

Я пришел в ужас. Несчастный, да тебе бы вечно торговать у отца в лавке: но ты вышел в литературу!

«Но какова неблагодарность общества и критики», — рассказывал он. «Я двадцать семь лет пишу. Все же тружусь добросовестно. И хоть бы кто плюнул мне в шапку, т. е. обругал: не было и этого. Никто и ничего, и нигде не писал о моих романах».

Действительно, никогда и нигде я не читал даже упоминания. Но это так понятно! И когда умрет этот несчастный, никому даже не пойдет на ум, что это «умер писатель». Он был красен в лице и сед в волосе. Поконфузившись, он прислал мне томов десять романов и повестей. «Для добросовестности» и по молодости (тогда) я начал читать.

До того тяжело. До того трудно. До того скучно. До того ничего не помнишь из «рассказанного» уже, и ничего не ожидаешь, что будет дальше рассказано, даже ничего дальше *не хочешь*... «Фу, пропасть! а надо читать, нельзя, через неделю встретимся в гостях у третьего литератора». И, засыпая и шипля себя за виски, чтобы возбудить, я прочитал страниц 75. «Убил, совсем убил: не живу! умер вместе с автором!»...

Ну, конечно, такой «писатель без писем». Второго такого я не встречал в жизни; но приближающихся к таким, без сомнения, много. Ни автобиографии, ни биографии, ни «письма» таких писателей, конечно, не интересны. Да едва ли они когда появятся в печати или даже есть в рукописи. Такой писатель весь сколотился в «романы». Ничего вокруг.

Переходя к письмам настоящих писателей, нужно заметить нечто об их объеме содержательности и даже издании.

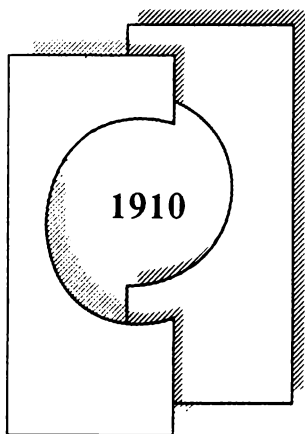
В молодости, когда писатель только пробивается в литературу, и «печать не вмещает всего» — письма бывают многочисленны, пламенны, содержательны и очень упорядочены, притом естественно упорядочены, без придуманности. Это — льется настоящая литература, только по обстоятельствам не дошедшая до печатного станка. Здесь нужно сделать «нота-бене». Как есть писатели, всю жизнь печатающиеся и в которых нет ни капли «писательства», так есть, наоборот, неудачники,

печатная литература у которых почему-то «не вышла», но на самом деле одаренные прекрасным даром, лишь не пришедшимся «ко времени». Всю жизнь они остаются маленькими, незаметными писателями. Вот их частные письма представляют — иногда — удивительный интерес, — жизненность, редкий талант. Это суть «подпольная литература», не попавшая к свету в свое время: но при внимании будущих библиографов она может внести в литературу неожиданную яркую полосу, стать ее украшением и славою. Беспрецедентный пример этого — Амьель; у нас — Никитенко. Оба при жизни ни в чем литературном не выразились или выразились мало, бесцветно, даже бездарно. А после смерти сразу засияли, как две яркие звезды. Особенно Амьель, давший страницы бесподобной красоты и глубины.

В цветущий же и «признанный» возраст деятельности писателя, естественно, очень мало пишут, и письма становятся небрежны, «нудны». Что может быть тягостнее, как дважды говорить одно и то же: писатель же, личность коего уже сполна захватывается печатными станками, может в частных письмах только повторять то, что у него напечатано, и от этого и он пишет их с отвращением, тягостно, капризно, уродливо. Влад. Соловьев, который много печатался и вообще был «признан» с молодых же лет, от этого и писал все свои письма, посмертно теперь печатаемые, в тоне непрерывной шутки и гримасы, с явной и большой тягостью для себя. Одно большое и содержательное письмо приходится на сто, на 150 «записочек» и вообще и абсолютно бессодержательной мелочи в переписке.

Сапожник ходит вечно в опорах: ему некогда сшить себе сапогов, потому что он постоянно шьет сапоги другим. По этой же, в сущности, причине и большой писатель в *цветущий период своей деятельности* естественно и неодолимо остается без личной, без частной корреспонденции. Кроме «иногда», «изнутри», «прорвавшись»... и в последнем случае это высоко ценно, как лучшие страницы напечатанных при жизни произведений. Здесь все правда, все золото. Здесь есть блестящие поразительной наблюдательности над жизнью и зоркости к жизни.

Вот эти жемчужины, окруженные мелочами и, попросту сказать, хламом в частной корреспонденции, следовало бы печатать (когда издается *вся* переписка умершего писателя, отмечая сбоку, по полку страницы, вертикальную тонкою чертою, как это иногда делывалось в старинных ученых изданиях XVIII века. Это могло бы очень увеличить *число читателей* такой переписки, сообщая занимательность и поучительность чтению, да облегчило бы и справки и цитирование. Ученые, критики, литераторы *сплошь* все прочитают; но не надо забывать и читателя попросту, который естественно не может читать так много, который читает с пользою, частью наслаждаясь и частью педагогически. И вот для него такие отчеркивания (сбоку) важны и могут через эту технику издания способствовать распространению страниц, мыслей, наблюдений над жизнью.



Амфитеатров

Природа — и сотворительница, и насмешница. И вот случается, что в припадке насмешки она устроит человека, нарочно наделив его всевозможными способностями, но отнимет у него дар уменья распоряжаться этими способностями. И тогда получает-

ся картина, составленная из великолепий и нелепостей.

Таков Амфитеатров...

Человек огромный, шумный, производительный, с большим животом, с большою головою, сын или внук протодиакона или архиерея — и революционер, когда-то сосланный, теперь убежавший в Париж — все черт знает для чего — обширно начитанный и образованный, но который пишет, точно бревна катает, вечно предпринимающий, вечно разрушающий, ничего не создающий, кроме заработка бумажным фабрикам...

По-видимому, не злой, — он вечно ругается или кого-то громит... За что — он и сам не знает... Все равно, — «гром есть»... Способный прожить три жизни и десять состояний, без сомнения никогда не обедающий в одиночку, вечером, несомненно, едущий в театр, если не занят статьею, «которая на завтра поразит весь свет»...

Приятно всегда смотреть на его самоупоение... В «наше безнадежное время» Амфитеатров шумит, пыхтит, как паровоз или даже два вместе сцепленных паровоза, с контрпаром в обоих... Свистит двумя свистками. И не замечает, до чего всем скучно.

И до чего всех не развлекает и он, Амфитеатров...

* * *

Издal он книжку каких-то газетных вырезок. И сам понимает, что это просто — вырезки, никому ненужные... Без всякой собственной мысли *в целой книге*, т. е. без мысли, которая распространялась бы *на целую книгу*, оправдывала ее заглавие или появление. Что он понимает, это видно из названия одной статьи: «Газетное». Книжку собственно следовало бы озаглавить: «Вверх ногами или вниз ногами. Как хотите». Но нет: дав таланты, природа посмеялась над Амфитеатровым, отняв у него *вкус*...

«Как же назвать?» — подумал он о ворохе никому ненужных своих газетных вырезок. Задумался серьезно, — как всегда Амфитеатров. Мелькнуло священное воспоминание о Пушкине. Его Евгений Онегин — тоже странствующий вечно, как и Амфитеатров, тоже либерал, как и Амфитеатров, тоже с «охлажденным сердцем», как Амфитеатров... При этой мысли Амфитеатров вздохнул: «Россия не поняла *тогда* Пушкина, и *теперь* меня. Россия вечно ничего не понимает. Россия дура. От ее глупости я бежал в Париж. И Пушкину нужно было бежать. Пушкин единственно не умен в том, что он не бежал... не поступил, как я».

И наклонясь над письменным столом, он надписал над пуком своих статей с заглавиями:

«После праздника»...

«При особом мнении»...

«О Боборыкине, Чаеве, Дьяченко, Лихачеве»...

«Шлиссельбуржцы»...

«Айсидора Дункан»...

«Николадзе»...

«Ерзя»...

«Газетное»...

«Морская болезнь»...

«Притча о 29 февраля»...

— где уже из каждого заглавия торчат два выпученных глаза Амфитеатрова и его огромные кулаки, — надписал, задумчиво объединив их всех заглавием, заимствованным из Парижа:

Заветы сердца.

Так озаглавлена книга... с «Ерзеею» и «Боборыкиным».

Взявшись за бока, мы смеемся до колик. «Пришло же на ум человеку!...»

Огромный, чудовищный, талантливый... под которым ломится кровать, когда он на ней спит, и расползается диван, на который он садится, взял в «эпиграф» себе самую задумчивую, самую *тихую* строку из вечно милого Пушкина.

Безвкусица!

Чудовищная!

Совсем другое идет к Амфитеатрову:

Обрыскал свет,—

Не хочешь ли жениться?

Вот эти слова Фамусова идут к его жизненной, подвижной, вечно предпринимающей что-нибудь фигуре.

Даже бессмыслица должна быть выдержана «в своем стиле»: и пук вырезок из газет, без центральной во всех мысли, совершенно никому не понятный и не нужный, так и можно было бы,

«для увенчания здания» озаглавить этим обращением к читателю из Грибоедова:

Обрыскав свет, не хочешь ли жениться?

Гораздо уместнее и тактичнее, главное — гораздо умнее, чем

Замены сердца.

Что окончательно глупо, потому что окончательно ни с чем не сообразовано.

* * *

Ну, Бог с ним... Не писал бы этих строк, не встретить у него куплетов против себя. Гиппиус написала когда-то стихи:

Вы ночному часу не верьте...

Амфитеатров, в сущности живущий тем, что он вечно что-нибудь «усваивает», запомнил мотив и сочинил, при чтении какой-то моей статьи, следующую «поэзию»:

Вы Василию Васильевичу не верьте,
Он исполнен злой чепухи:
Справа — ангелы, но слева стоят черти
И шепчут ему в уши грехи...

И т. д.

Это внушило мне тоже «подражание»,

Вы Александра Валентиныча не пугайтесь.
Дана ему душа овцы и образ медведя.
Ногами он топает, но никого не кусает,
Ничему не вредит, и только всех предупреждает.
Глаза всегда у него навывкате.
Но это глаза не тигра, а барана.
Руками он машет, издали видно:
Но это — крылья ветряной мельницы.
Читать бы ему на Москве Апостола,
А он в Париж уехал прелюбодейный.
В Москве его недостает, а в Париже от него скучно.
Но таковы вечно обстоятельства всероссийские.
Перелезая через забор, он всегда оборвется,
Пролезая в амбар, — на гвоздь напорется.
От боли кричит. Народ сбегается,
И колотит бедную овцу, а не свирепого медведя.

Если это очень плохо, то виноват и тут Амфитеатров, толкнувший меня безвкусною книгою на всякую безвкусицу.

Виардо и Тургенев

Много было счастливых и великих привязанностей любви в России за XIX век... Но роман Полины Виардо-Гарсиа и Тургенева горит над всеми ими как что-то необыкновенное, исключительное. Здесь, однако, хочется вспомнить стих Ломоносова, которым он разъяснял важность словесности и стихотворства:

Герои были до Атрида,
Но древность скрыла их от нас...

Он хотел этим сказать, что до Троянской войны было много героев; но никто их *не воспел*, и через это умолчание муз они стали из «бывших» как бы «не бывшими». То же можно сказать о Тургеневе и Виардо: для чести человеческой природы, для чести самой любви, наконец, просто для *истины* мы должны согласиться, что, конечно, великие привязанности любви всегда были и есть теперь и навсегда останутся... Но они не *рассказываются*. И вот... как бы «не были». Наконец, для справедливости мы должны сказать, что семейные, супружеские привязанности бывают столь же сильны, как эти кометообразные привязанности законом не связанных между собою людей. В великом счастье, уделе и роке любви никого не хочется обидеть, никакую группу не хочется выкинуть со словами: «Неспособны к такой любви». Нет, все способны...

Но *подробно* мы знаем только историю любви Тургенева и Виардо.

«Историю»... Ее *не было*. Мы знаем, собственно, не «историю любви Тургенева», а ее очерк, ее яркую и не гаснувшую точку. Знаем «состояние», которое никогда не развертывалось во что-нибудь сложное, ветвистое, в какие-нибудь перипетии, колебания... Решительно эта любовь не имела «хода» в себе, движения, а только — стояние.

Как встала, так и замерла.

Пока умерла...

Умерла же, когда умер «он»... Мы сказали: «история любви Тургенева и Виардо»; потом что-то поперхнулось, и невольно написалось: «история любви Тургенева». Действительно, сердце сжимается ужасною болью, когда говоришь или слышишь: «любовь Тургенева и *Виардо*», «роман Тургенева с *Виардо*»... Звезда эта не горела бы так ярко и незабываемо, не будь это кровавая звезда.

Вся истерзанная, в шипах...

Любви «их» не было. Была *его* любовь... Вся история не получила бы такого ореола себе, такой знаменитости, наконец, о ней не было бы столько сказано, и пока она тянулась, и когда она кончилась, будь это обыкновенная счастливая любовь, будь это счастливая обоюдная любовь.

Ах, счастливицы о себе не рассказывают.

Но когда счастья не выходит? С этого только и начинаются рассказы, жалобы, песни, объяснения, философствования.

С этого начинается «литература о любви».

Об этом поют и народные песни. Не о любви счастливой, а все о любви несчастной... Пропавшей, разбитой, не удавшейся.

* * *

Судьба Тургенева и Виардо или, лучше сказать, отношения Тургенева и Виардо интересны и почти научны, поэтично-научны в том отношении, что дают образец «любобной истории», «любобного чувства», по которому мы можем глубоко проникнуть в сущность этого загадочного и любобпытного явления...

Такого цветущего и как бы вечно умирающего...

Великолепного и страдальческого...

* * *

Была ли счастливее любовь Данте к Беатриче?.. «Он» оставил такую песню об этой любви, а она?.. Мы даже не знаем, кивнула ли ему она в ответ.

Замечательная любовь Пушкина к Гончаровой, конечно, не имела себе сколько-нибудь равнозначащего ответа. В личном обращении Наталья Николаевна называла мужа — «Пушкин»: случай, едва ли не единственный в семейных отношениях.

В литературе?.. Но разве не очевидно, что Дездемона вове не любит мужа с тою ежеминутностью памяти о нем, с тою наполненностью всего существа мыслью о нем, с тем дрожанием за каждую минуту его покоя, счастья и благородства, как это все мы видим в Отелло относительно ее...

И, наконец, задумчивый и глубокий Гамлет, конечно, не любит своей Офелии так, как Офелия его. Он все возится «с тенью отца», с «обязанностью мстить». Конечно, он или не любит вове, или любит «на ходу», «между прочим». Отчего, в сущности, ведь и «сломилаcь» Офелия.

И, наконец, великая иллюстрация Тургенева, уже реальный, осязаемый факт, исторически удостоверенный... Имел ли он какое-нибудь «да» от нее? Никем определенно не говорится, что между ними была хотя когда-нибудь физическая связь; но, опуская полог на эту сторону жизни, мы, производя почти научное исследование темы, должны констатировать то, что совершенно очевидно: что *была* или *нет* физическая связь,— она, во всяком случае, *не была* постоянна, ни длительна, ни вообще сколько-нибудь значаща в смысле ли долговременности или в смысле интенсивности, хотя бы и краткотечной.

«Ничего» или... «что-то», близкое к «ничего».

Вся сумма данных указывает на это. Ни одного показания — в противоположную сторону.

Любовь Тургенева, обнимавшая весь его цветущий возраст, с очень

молодых лет и до могилы,— не имела никакого материального питания, не поддерживалась никаким общением, кроме духовного, зрительного. Это было сухое пламя, его сжигавшее, его согревавшее, его, очевидно, питавшее духовно (ибо он весь был наполнен Виардо), но которое не поддерживалось ни одним «брошенным в пламя поленом»... Разве «щепочка» когда-нибудь, да и то гадательно. Любовь его, такая прекрасная и исключительная, светилась как свет в гейслеровых трубках: без воздуха, без всякой материи.

В то же время у Тургенева была дочь «Ася», им увековеченная в рассказе. Кажется, она родилась уже тогда, когда был роман с Виардо. Да, но и Данте был женат; Виардо была Беатриче его, в иллюзии его, в мечтах его; а «Ася» родилась, как, вероятно, у Данте рождались дети от жены.

Между тем было бы плоскою ошибкою думать, что Тургенев был привязан к Виардо «духовною привязанностью»: к ее умственной интересности, образованию, такту, пению и проч. Нет и нет! Совершенно нет! Как и у Данте к его Беатриче, любовь была именно физическая, пластическая, отнюдь не спиритуалистическая, не духовная, не схематическая и отвлеченная, каковою непременно будет всякая только духовная любовь. Я скажу определеннее и резче, чтобы выразить мысль свою: что с момента встречи с Виардо, еще ранее, чем он мог оценить ее «духовные красоты», Тургенев как бы пал под ноги этой женщины... и остался так недвижим до конца жизни. В этой странной физической, но именно, однако, физической связи... пьедестала и статуи, канделябра и свечи.

Она горит, светит...

Он — ничего.

Она счастлива, цветет...

Он — смотрит на ее счастье.

Она *вполне* живет.

Он *вполне не* живет... Именно «не живет», поскольку любит и оттого, что любит ее. Он *вовсе не* живет *для себя*.

Своей личной жизни у него никакой нет, вне связи и отношения к Виардо.

Напротив, ее жизнь, ее личность вполне самостоятельны. Незаметно, чтобы хоть одна прядь волос легла у нее иначе «после того, как она встретила с Тургеневым». Тогда как у него... Он весь изменился, стал «не тот».

Родина, литература,— все у него поблекло около Виардо. Все потонуло в лучах Виардо, в солнце Виардо.

Он имел отныне только *побочное* отношение и к России, и к литературе. О, конечно, «писал». Как же не писать, когда есть «талант». Он не умер, но замер. Однако, конечно, вся литература его отныне преломилась, как луч в стекляннной призме, в этой, его поглощающей, любви к одной женщине.

Не распространяясь, брошу только одно замечание, именно — Тургенев сделался у нас певцом чистой, высокой любви к женщине, благоговения к ней. И, воспев столько «историй любви», он ни одной не довел до конца. Все любви бесплотные, без результата. Кажется, во всех сочинениях Тургенева нигде никто не «качает ребенка». Еще поразительнее, что «колыбель ребенка» испортила бы почему-то живопись тургеневской любви, когда она вообще не портит никакой картины любви. Почему?.. Все так уже «приноровлено», «приспособлено», так «выходило» у Тургенева, безотчетно для самого его, невольно для него самого. Сам не зная того, он, в сущности, везде говорит о монашеской любви, аскетической любви, самоотверженной любви, самоотрицающейся любви.

Где же тут место ребенку, колыбели... *Тип* любви другой...

Все замужние женщины у Тургенева, например, матери его прекрасных девушек,— несимпатичны. Так «выходило». Все «рождающее» не годится для монаха. А «любовь» может вспыхнуть и в монахе. Сухая, до неба любовь, пламя без костра, свет без солнца и даже воздуха. Вся «любовь» в произведениях Тургенева — чудесные переливы бесплотных слоев света в безвоздушной гейслеровой трубке. Даже не помнится, чтобы кто-нибудь поцеловался; чтобы «обнялись двое», — и представить нельзя.

Только очерк, силуэт человека...

Ни губ, ни персей...

Как не дано ему было ничего от Виардо.

* * *

Но я недаром сблизил это с Дездемоной, Офелией, Беатриче. И Виардо умерла, и Тургенев умер. Важнее их — любовь. Ею все живем. От нее вечно будет питаться человечество.

Поразительную, страшную и роковую сторону любви составляет то, что она, в высочайших степенях своих, никогда не бывает... *равночастною*. Т. е. никогда не бывают равными обе половины любви, с той и с другой стороны. Любовь никогда не даст «равнения» (военный термин), и от этого совершенно никогда высочайшая степень любви не бывает счастлива.

Всегда — шип и кровь.

Роза, и в ней — запекающаяся капля крови.

Кого? Нужно ли договаривать... Того, кто менее любим: Тургенева, Пушкина, Данте, Офелии, Отелло.

Любовь есть нечто, в себе самом заключающее жертвоприношение. Тот, кто истинно и высочайше любит, всегда лучше слабейшей и менее любящей стороны: как Пушкин — Гончаровой, как Данте, — быть может, очень обыкновенной, — Беатриче, как Тургенев — Виардо.

Чистейшая кровь, чистейший дух, волнуется, мучится, изливается кровью.

Кому-то это нужно, для чего-то это нужно. Для чего? — никто не постигает.

Но, верно, «нужно».

«Предмет» же часто совершенно обыкновенен... даже вульгарен.

Чистое масло сгорает... в светильне, которая и *видна* через масло. Все говорят: «Светильня горит, ее свет светит». Между тем, светильня стоит две копейки и способна только чадить: вся ценность принадлежит невидимому в ней маслу.

Но оно сгорает, улетучивается... уходит к Богу. Оно именно «сгорает», т. е. умирает, исчезает в своем вещественном, жидком и цветном составе.

Где оно?

Нет его!

Только «литературная деятельность».

Так от «Тургенева и Виардо» осталась пахучая, ароматическая «литературная деятельность» Тургенева, и этот запах никогда не исчезнет из нее.

* * *

Иногда думается, что в тайне любви (ее нельзя не назвать тайною) раскрывается последняя тайна тела.

Ведь, что в нем понимают медики? Ничего. Считают кости, измеряют мускулы.

Но это пока — ничего.

Медики знают труп, а не живое тело.

Живое же тело и раскрывается в таинстве любви, которая и приходит, когда тело входит «в цвет», и уходит, когда оно отцветает.

Не всегда... но «лепесток цветочка» остается и в старости, и вообще «пока живет человек». Однако нормально и вообще любовь приходит в молодости, когда «расцветает» тело.

Любовь есть феномен тела. Любовь Тургенева к Виардо была так явно телесная... Все «ее золотистые волосы»... Все ее «некрасивое лицо», — но которое «я не могу забыть», и оно «всегда передо мною, где бы я ни был, что бы со мною ни случилось».

— «Я произнес ваше имя, когда поднялся занавес, как произношу его всегда в минуты тревоги и смущения». Так он писал ей в Лондон, после первого представления его первой пьесы.

Она ему ничего не ответила... Как обыкновенно.

Но без этой «физики», без отношения к «физике» Виардо не было бы романа Тургенева. Чувство Тургенева вспыхнуло не к «духу» Виардо, — его он и не знал тогда, — не к ее пению; потом пели Патти и Нильсон; с первого *взора* (однако, именно *взора, физического ощущения*) оно вспыхнуло... к лицу, глазам, волосам, голосу, манерам, улыбке, фигуре, корпусу... к крови и нервам... к цвету и запаху ее.

Ко «всему» ее... от волос и до покроя платья.

Потом это осложнилось «духом». Как она «умна», как «образованна», до чего вообще «талантливая натура».

Да, но это — *потом*. И могло бы быть отнесено *ко всякой*.

Можно быть уверенным, что захворай Виардо, потеряй голос,— и все Тургенев любил бы ее.

В чем же тут дело? Да тайна ее тела, которую мы неопределенно и смутно называем «красотою», т. е. в сущности «тем, что нам нравится»,— раскрылась Тургеневу, притом ему исключительно; не мужу, не какому-нибудь «счастливцу», вообще, не «поклонникам таланта» ее... а ему, Тургеневу. Почему *ему*? Самая неразрешимая тайна, собственно, единственно неразрешимая в любви, ибо тут все уходит в глубь индивидуальности и ее частных, особенностей. Виардо была испанская цыганка, из талантливой, т. е. очень породистой, очень сильной семьи, с очень большими силами сама. И лицо ее некрасивое, но чрезвычайно... полновесное — говорит о силе, о власти. В ней была масса густой, темной крови. Кровь Тургенева была белая, слабая, жидковатая, «от северного климата»... и предков, живших долгою культурною жизнью и уставших в этой жизни. Кровь — еще более тайна или, по крайней мере, не менее тайна, чем любовь.

М. М. Ковалевский, в воспоминаниях о Тургеневе, приводит слова французского доктора, только что сделавшего «исследование» его, захворавшего чем-то: «Никогда я такого *слабого* организма не видал... Все — междуклеточная ткань, мускулы вялые, питание вялое». В словах доктора это было выразительнее, чем я пишу сейчас. Настолько выразительно, что я не забуду никогда этой характеристики внутренней физики Тургенева. Вот этот контраст кровей и вспыхнул тем пламенем, которое горело так долго, так прекрасно и так страдальчески...

Но, во всяком случае, любовь Тургенева была оценкою Виардо... как мы оцениваем предметы по силе притяжения, которое они оказывают. Что такое «организм», «тело»,— медики имеют об этом только мертвые слова; живое слово о нем говорит любовь, чувство, волнение, подчинение, рабство; страсть, зависимость; очарование — даже до «готовности умереть для него», «за него». Но почему, почему это не равно, не одинаково с обеих сторон? Любовь всегда вспыхивает из контрастов — и физических, и духовных. И уже самое существо *контраста* таково, что в нем неотносящееся, через него завязывающееся в «любовь» — не одинаково, «не равночастно». Всегда кто-то впереди... кто-то отстаёт; страдает один... при покое другого. Вечная роза,— и вечная капля крови, запекшаяся на ней.

По личности Тургенева и великой его привязанности к Виардо, мы должны уберечь ее имя от всякой обиды... И несмотря ни на какую действительность. Для мира она может быть судима; но именно для русских она не должна быть никогда судима, даже если бы кто-нибудь и подумал нечто основательное против нее, даже если бы стал кто-нибудь говорить, что именно для русских она особенно судима за ее

холод и равнодушие к Тургеневу. Да будет его воля священна: да будет ее память спокойна, не уязвлена около его священной могилы.

Возражателям же должно сказать одно слово: ведь, тут было все — Рок. И она была безвольна в себе, как он был безволен в себе.

— Ну, почему же Тургенев не полюбил другую? Которая бы его сберегла, успокоила, осчастливила? Засыпала бы любовью и благоговением? Ну, почему он эту, другую, не полюбил?

Вот и весь ответ на то, почему она *именно его* никак не могла полюбить сильнее, чем сколько любила... за интерес ума его, очарование талантов, образованность; за его благородную деятельность.

Рок. И — с обеих сторон.

Бедные провинциалы...

«Когда появился роман Ф. Соллогуба «Мелкий бес», то многие *читатели столичных и университетских городов* приняли его за отражение современной провинции и приходили в ужас от мрака и грязи, среди которых протекает там жизнь. Провинциальный же читатель, *узнавая вокруг себя отдельные черты передоновины*, все же никак не мог признать этот роман за объективное изображение действительности, особенно же не мог согласиться, что передоновщина — порождение провинциального уклада жизни. Причина этой разницы в оценке романа понятна: редко сталкивается скромный интеллигентный *труженик уездного или губернского захолустья* со своим *более даровитым* и счастливым *собратом*, постоянным жителем крупного образовательного центра. Происходит это, когда провинциал приезжает на короткое время «освежиться» в большой университетский город. Он жадно спешит запастись свежим воздухом, с наивной доверчивостью посвящает обстоятельно своего столичного собрата в свои местные общественные дела и делишки, уверен, что он со своими запросами в области искусства, литературы, общественности, политической мысли *достоин отнять* разорванное на кусочки *время столичного интеллигента* — ждет, чтобы ему дали разъяснения, указания, если уж не готовые ответы. И *столичный житель тяготеет* по большей части *этой наивной фигурой* и *снисходительно небрежно спускается до его уровня*... Вопрос о том, *такова ли наша провинциальная и общественная жизнь*, как ее рисует Соллогуб, имеет большое жизненное значение. *Страх провинции* заставляет многих из образованной молодежи держаться крупных центров, хотя ей здесь и приходится перебиваться «с хлеба на квас» тоскливым репетиторством, механической перепиской, грошовой службой в конторах»... И т. д.

Страница как страница... Можно бы подумать, что она написана лет 20, а то и 30 назад: нет, она написана *для июньской книжки журнала за 1910 г.* и напечатана не в «Астраханских Ведомостях», а в «Московском

Еженедельнике», — журнале, во всяком случае, образованном... У страницы есть читатель и читатели, в столице и провинции; и так как предполагается и как-то «стоит в воздухе», что писатели если и не более умные люди, то во всяком случае более осведомленные и в разных отношениях более авторитетные люди, нежели читатели, — то страница вызовет разговоры, споры, пересуды, покачивания головой, в итоге сводящие к вздоху:

— Бедные провинциалы...

И к некоторой сладкой мысли:

— Да, счастливы те, что живут в столицах или по крайней мере в университетских городах. Они живут в некотором высшем эмпирее мысли, и можно сказать, что питаются идеями, как древние боги амброзией.

Столичному же обитателю только остается почавкать губами, процевив:

— Н-да...

* * *

Все это — после «Бесов» Достоевского, *сорок лет назад написанных*, где кто-то поет насмешливую песенку:

От Москвы и до Ташкента
Вся Россия ждет студента.

При полном знании — через газеты, через журналы — что Ф. К. Тетерников (Соллогуб) все время, по окончании курса учения, служил сперва преподавателем и затем инспектором Андреевского городского училища, что на Васильевском острове, в Петербурге; и если *и видал провинцию*, то *только в детстве*, когда едва ли мог подглядеть всю ее «подноготную» и вообще ее «задний двор»...

При очевидности, что вообще Соллогуб есть субъективнейший писатель, — иллюзионист в хорошую сторону, или в дурную сторону — но именно иллюзионист, мечтатель, и притом один из самых фантастических на Руси.

И, наконец, просто, что «изображать действительность» ему и в голову не приходило, — что это «не его дело», «не его тема», не «его интерес»... Все это очевидно решительно для всякого, — и *было очевидно еще лет 15 назад*, когда он издал первый крошечный сборничек своих стихов, действительно прелестных по классическому завершению формы, — и конечно в то время никем не замеченных:

Весенние воды — что девичьи сны:
В себе отражая улыбки весны,
Шумят и сверкают на солнце они
И шепчут: «спасибо весне».
Осенние воды — предсмертные сны:
С печальным журчаньем, всегда холодны,
По вязкой земле, напоенной дождем
Текут они мутным ручьем.

Это — в контурах обычной, старой, переданной нам поэзии; а вот и в новом тоне,— его личном, соллогубовском:

Где грустят леса дремливые,
Изнуренные морозами,
Есть долины молчаливые,
Зачарованные грозами.
Как чужда непосвященному,
В сны мирские погруженному,
Их краса необычайная,
Неслучайная и тайная.
Смотрят ивы суковатые
На пустынный берег илистый.
Вот кувшинки, сном объятые,
Над рекой немой извилистой:
Вот березки, захирелые
Над болотную равниную.
Там, вдали, стеной несмелою
Бор с раздумьем и кручиною.

Но когда Соллогуб писал эти прелестные вещи,— никто решительно не хотел заплатить за книжку и 50 коп., а «критики» глубокомысленно промолчали и «замолчали» поэта. Но вот тот же Соллогуб написал, как Ардальон Ардальонович Передонов обдирает в комнате своей обои и плюет на стену, затем... обрил кота и обмазал его вареньем... И вся Русь ахнула:

— Ах, вот великолепие! Обмазал кота вареньем... Этим они в провинции занимаются... *наши читатели!!*

— Для кого же мы пишем... Как *грустно!*

И новейший, очевидно начинающий критик, пишет:

— От того молодежь *рвется в столицу*... В провинции душно, глупо: и лучше уж перебиваться если не в столице, то в университетском городе уроками, нежели жить Передоновым... педагогом толстовского типа, где-нибудь в Тамбове или Пензе...

* * *

Бедная провинция!.. Неслыханные по несчастью провинциалы!..

* * *

— Меня удивляет,— говорил мне год назад перешедший в Петербург на службу провинциал: здесь у вас *никто не читает*... Т. е. не читают вовсе книг, и даже очень мало читают толстые журналы, ограничиваясь газетами, притом по преимуществу копеечной стоимости и сплетнического характера. Взяв листок газеты, он узнает: 1) где полетел аэроплан, 2) какой поезд свалился с насыпи и 3) какого генерала послали в Персию или Крит. Об этом размышляет дома или говорит за завтраком в ресторане, и затем засыпает спокойно на ночь, чтобы на завтра прочесть: 1) что полетел другой аэроплан, 2) а вместо крушения поезда — было наводнение там-то. У нас, в провинции...

— У вас, в провинции?.. — переспросил с любопытством я.

— Не только в губернских городах, не только в уездных, но даже где-нибудь на заводе или в земской лечебнице, уединенно стоящих — читают решительно все; и читать *только газеты* считается дурным тоном и признаком совершенной неразвитости. Читают газеты не жадно и они авторитетом не служат. Читают гораздо больше и внимательнее журналы: а, главное, выписывают, покупают и читают книги. По истории, по литературной критике, и специальные у каждого по профессии...

— Этого журнала не читают?

Я подал ему «Солнце России»...

Журнал мало известный, но все-таки существующий.

Он покраснел:

— Что-то специальное для Одессы, Бердичева или Петербурга. Назвать свое издание, за семь рублей в год, с портретами Вьяльцевой и Тургенева, Коммиссаржевской и шлессельбуржца Морозова, Виардо и упавшего авиатора... «Солнцем России» — это что-то не русское, а виленское или варшавское. Я читал публикации, что в Варшаве делают *вечные часы*, т. е. никогда не останавливающиеся и не портящиеся, за 3 р. 50 к. штука, притом «с премией» и «с сюрпризом»: и... «Солнце России», очевидно, есть такая же варшавская работа...

— Напротив, с грустью должен сказать вам, что это сделано в столице Российской Империи.

— У нас, в провинции, такое издание было бы невозможно, не стали бы читать и покупать. Это — кушанье для невзыскательных петербуржцев...

— «Невзыскательных» — это у вас хорошо сказалось. Столица перестала быть «взыскательной»: и так как, увы, вся почти литература «делается» столицей, то замечательный упадок литературы, наблюдаемый в последние годы, объясняется не столько «умственным упадком вообще России», как грустно гадают некоторые, но вот этой «невзыскательностью» Петербурга и Москвы... А «невзыскательны» они сделались оттого, что «у столичного интеллигента разорвано на куски время», как заметил на этот раз верно критик Соллогуба... И что он давно потерял сколько-нибудь длинную мысль, сколько-нибудь сложное ощущение... да даже и способность прочесть серьезную книгу. Россия серьезна: но две «главы» ее, одна с золотыми маковками и другая с легионом перьев и сотнями канцелярий — решительно становятся несерьезными... Нисколько не провинция, но именно столица выдвинула Арцыбашева и издала «Полное собрание сочинений Анатолия Каменского». Текущая литература, по элементарности и грубости мысли, возвращается к до-Карамзинским временам; а по «вкусу» сравнилась с Тредьяковским. Неожиданно и достоверно.

— А провинция?..

— Зреет и дай Бог, чтобы дозрела до полной самостоятельности и независимости от столиц, по крайней мере, в теперешнюю фазу их

духовного развития. Не замечаете ли вы, что вопреки взгляду наивного критика Соллогуба, — в провинции теперь даже выходят самые серьезные книги. «Основы христианства» Тареева — в четырех томах — вышли в таком «захолустии», как Троице-Сергиев *посад*, маленький пригород Московской губернии; в недавнее время там же напечатано прекрасное рассуждение П. Флоренского *о чтении лекций* вообще, о том, что такое и чем должна быть «лекция», «lectio», как особый вид научного и литературного созидания; лучший *религиозный* журнал в России — печатается там же, а отнюдь не в Петербурге и не в Москве; наконец, лучший теперь историк России — печатается все же не в Петербурге. Петербург как-то начал соскальзывать на изданица в одесском вкусе и тоне, одесском и варшавском; и дарит отечество то «Солнцем России», то «Газетой-Копейкой», обе кажется шкловского происхождения, и припахивают чесноком. Интересно «Солнце России», показывающееся из головки чеснока...

— Да, некрасивые явления. Некрасиво как-то стало в Петербурге.

— Ничего, обыватель принюхается. Есть поговорка: «стерпится — слюбится». Однако мы совсем отклонились в сторону от Соллогуба.

— Авторы русские очень несчастны. Они естественно не мыслители, — кроме очень немногих. Их учитель и наставитель — общество, массовый читатель. А массовый читатель руководится критиками, в том числе и вроде приведенного. Соллогуб никогда не видал провинции; никогда не задавался вопросом или тревогою о «состоянии России». И мог бы своего Передонова поместить с равным удобством на Сандвичевых островах, как и «в провинциальном русском городе»: ведь характерно не то, что он носит мундир учителя гимназии и говорит русскими словами, с русскими «приёмцами» речи... Характерно и поразило всю Россию, что он мажет кота вареньем и хочет сразу жениться на трех сестрах, выбирая, которая «потолще». Но это «характерное» присуще Сандвичевым островам не менее, чем «бедной русской провинции»; вернее же оно вовсе *никому и ничему* не присуще, кроме странного соллогубовского воображения... И *никого и ничего* не «характеризует», кроме опять же психики автора и его биографической судьбы. Но подите, справьтесь с критиками: они кричат и в толстых журналах, и в «Газете-Копейке», что автор «с силою Гоголя» написал своего «Мелкого беса», так как его Передонов всеконечно оставляет за собою далеко Чичикова, да и всех «мертвых душ», вместе взятых.

— Как ужасна провинция, как она бедна... Несчастливая молодежь, невольно бегущая в Петербург переписывать на машинке... напр. статьи знаменитых критиков.

И это — в сто голосов, в 100 000 экземплярах «Газеты-Копейки». Читатель поддается «критическому» глубокомыслию: и хотя *сам* видит, что часто в провинции думают лучше, чем в столицах, а во всяком случае серьезнее читают и деловитее живут, хотя он наконец знает, что Соллогуб никогда провинции не видал и невиденного никак не мог

«описать»; а между тем подчиняется «авторитету» критиков и начинает думать и спрашивать себя: «Уж не пришел ли второй Гоголь обличить провинциальные пороки России и засмеяться зримым смехом сквозь незримые слезы». Я говорю — несчастные авторы: среди таких похвал, Соллогуб после «Мелкого беса» и начал писать «Навыи чары», в которых уже решительно никто ничего не понимает, а «действие» происходит и не на Сандвичах, и не в Пензе, а... под землю, на кладбище, *сколько можно понять*. На самом же деле, и этого нельзя сказать утвердительно: потому что никто ничего не понимает в произведении, ни даже того, живы ли или уже умерли герои произведения. Что же касается скорби патриотов «о провинции», то нельзя не заметить им, что ведь дела Гилевича, Тарновской, Прилукова, Наумова, да и другие новейшие и тоже весьма скорбные, случились уж никак не в «богоспасаемой Пензе», а в городах старой культуры, высокого образования... и, словом, там именно, куда «молодежь всеми силами стремится переписывать на машинке» замечательные статьи замечательных авторов...

Вместо «бедная провинция», не подумает ли кто-нибудь хоть про себя: — Бедная литература!

В домике Гёте

Домик, где родился Гёте, страшно разочаровал меня... И это разочарование легло на душу печалью нескольких дней. В первый приезд во Франкфурт-на-Майне, когда я ехал осматривать старые части города, я вдруг увидел на стене большого коричневого дома мраморную доску с надписью: «В этом доме родился Гёте 29 августа 1749 года». Я заволновался. Но на предложение сейчас же сойти с экипажа и осмотреть его я отказался... «На это надо особый день... Нельзя смешивать впечатление от него с другими впечатлениями»...

И промежуток с неделю, до вторичного приезда во Франкфурт, я продумал о великом старце Германии.

●Выньте «Гёте» из «Германии», — одного человека из целой страны, — и она вся вдруг потеряет значительную часть своего сияния. Потеряет больше, чем если бы Шекспира вынуть из «Англии». Дело в том, что около Шекспира Англия имела еще несколько таких же колоссальных личностей, с гением равным, с натурою столь же неутомимою, пылкою, творческою, низвергающею миры и созидающею из себя миры: Бэкона, Мильтона, Байрона... «Личность английского народа поэтому не укоротилась бы и не сузилась бы из-за отсутствия Шекспира. Совсем напротив — Германия. Все ее развитие было несравненно уже и беднее, чем английской нации. В *волево*м отношении она выдвинула, правда, двух колоссов — Лютера и Бисмарка; но второй был «правительственное лицо», а первый был реформатор веры, — и как одно, так и другое слишком специально и не дает из себя сияния на целую культуру,

не говорит ничего об уме и гении *общества и племени*. Великие философы Германии, в особенности — Кант? Но для *общества* как-то и он нехарактерен: затворник своего кабинета, он, кажется, никогда не перешел даже на соседнюю улицу. Какой же он «представитель общества»?... Шекспир, Байрон, Мильтон, Гёте, связанные с обществом ежедневной жизнью, творившие среди общества, писавшие для общества, находившие себе возлюбленных среди общества, оцененные при своей жизни обществом,— вот выразители «германской массы» в ее *идеальных возможностях*... •Германцы не имеют права измерять себя Кантом, которого и из современников понимало только сто человек,— и, говоря строго, только два человека: Фихте и Шеллинг; и из последующих поколений каждое «понимало Канта» только в лице такой же сотни высохших кабинетных умов. Напротив, Гёте понимали все, им восхищались «Германия», и, следовательно, «Германию» мы не только можем, но и обязаны «измерять» беловолосым старцем, прожившим 82 года.

Это совершенно изменяет дело,— это *одно* и сразу повышает уровень, на котором стоит нация; повышает почву под нею.

В жизни каждой нации, даже самой счастливой и удачливой, возможны трагические, страшные минуты... Когда о жизни ее идет вопрос... Когда она окружена со всех сторон поднявшимися волнами злобы, гнева... и, наконец, усилия «не уважать».

Вот это усилие «не уважать», перекинувшись через имена Канта, Фихте, Шеллинга,— дойдет до подножия монумента, где стоит фигура Гете... и отступит назад. «Не могу»... Снова поднимется волна, доплеснет досюда — и опять отольет назад.

Можно Лютера «не уважать»: он был слишком очевидно негениален.

Можно «пренебречь» Кантом: что-то длинное, сухое, своеобразное, узкое, исключительное. Если и «гений», то «урод».

Но Гете? Всякая критика остановится, и не найдется для него «презрительного Терсида», который бы охаял, злобствуя и плюясь.

Гете — гармония.

Гете — разум.

Гете — мудрость.

Но выше всего в нем,— что он весь *гармоничен*, развит *равносторонне* в разные стороны... Что оно есть *цветок*, у которого не недостает ни одного лепестка. Вот эта *живая органическая его цельность, полнота* способностей и направлений в нем и есть самая главная, ему исключительно присущая... Ибо ни на какой другой человеческой личности народы, страны и века не могли бы остановиться, сказав:

— Я удовлетворен,

с тем покоем, твердостью и уверенностью, как на Гете.

Мильтон был правдолюбец и поэт, Шекспир — великий сердцевед, поэт и живописатель нравов, Пушкин — «эхо» всех звуков, красок и цветов, Толстой — живописатель людей и вечно чего-то ищущий и ненаходящий,— но Гете...

Одним уже *спокойствием* ума своего он как бы поднялся над всеми ими.

И тоже поэт...

И тоже мудрость...

Он знает все «тревоги» души человеческой, ее тоску, ее смятения: но, — как пишет Платон в «Федре», — этот «возничий» умеет «правлять конями»... и все восходит по дуге горизонта, как солнце, не зная ни возвратов, ни падений.

Главное-то и заключается в том, что Гете не знает ни «возвратов», ни «падений», без которых ни один смертный не обходится...

Он поэт, философ, но не на манер Канта: его философия несравненно живописнее кантовской, плодотворнее, человечнее; прямо — мудрее. В «мудрости» Гете как бы задышала «мудрость» всей Германии, чего никак не скажешь о Канте. «Мудрость» его понятна детям, матерям, крестьянину, ремесленнику, чиновнику, всем.

Он так же «народен», как и высоко «интеллигентен». Вторую часть «Фауста» едва раскусывают умудренные в «философии»; а «Гец-фон-Берлихинген» и «Рейнеке-Лис» суть народные поэмы.

«Тихие долины» навертывают слезы на глаза старца, а «Лесной царь» слушается с замиранием сердца 11-летним мальчиком.

Через Гретхен он стал дорог всем девушкам, — целого мира.

Через Вертера — всем юношам.

В Фаусте и Мефистофеле он нашептывает слова, сонеты, предостережения мудрецам и старцам.

Он дал прекраснейшие, трогательнейшие выражения мировой наивности, мировой веры; это в том диалоге Гретхен с Фаустом, где она спрашивает возлюбленного: «верит ли он?» и «как верит?»

И дал высшее, самое *деликатное* выражение человеческому скептицизму, сомнению...

И, наконец, он же дал образ и дикого цинизма:

Мой совет — до обрученья
Дверь не отворять!
Хо-хо-хо!..

Пушкин в «Отрывке из Фауста» как бы дал «суть всего»... Но вышло именно только «как бы»... «Суть» «Фауста» именно в подробностях, в тенях, в переливах, в нежности, деликатности; эта суть в «нерешительности». И кто «решительно» извлек «зерно всего», тот и разрушил «суть» этого единственного в мировой литературе произведения...

* * *

Гете как бы вышел из всех цивилизаций в их *разрознённости* и соединил на себе их всех *сияние* и тонкий *аромат*.

Узкие церковники называли его «язычником»; хвастливая часть интеллигенции прибавила: «великий язычник». Но вспомним его любящие

слова о представлении крестьянами в одной деревеньке Саксонии «Страстей Христовых», и из этого мы поймем, что никакой вражды к христианству у него не было.

Но он был «немножко в стороне» и от христианства, как и с «язычеством» он нисколько не сливался.

Но от того и другого он взял прекраснейшее и слил его в «мире Гете», совершенно особенном, его личном мире, который не был и ни христианским, и ни языческим, а только и просто «высоко-человеческим»...

Что можно указать высокого и благородного в христианстве, чему бы Гете не поклонился? Есть ли хоть одна страница в Евангелии, которая у него вызвала бы кривление губ? Разве в Мефистофеле он нам не нарисовал духа зла, которого советы и философию мы ненавидим и проклинаяем? Скажите, что очаровательного он придал этому духу зла, — как это придавали ему Лермонтов, Байрон и даже — мельком — Пушкин? Гете наделил его только умом, — как в «зле» и действительно есть ум, смысленность, прозорливость, знание жизни. Но это все — «во зло». И Гете показал ум Мефистофеля, как чисто разрушительную, дезорганизирующую способность.

Всеми силами души, которыми мы любим Гретхен, чистый цветок жизни, — мы этими самыми силами ненавидим Мефистофеля.

Где же зло и где же его антихристианство? Обвинять его в этом могут только «братцы Мефистофеля», если бы им что-нибудь из советов темного духа вздумалось ввести *внутрь* церковной правды. Ну, если пастор похлопает по плечу Мефистофеля и за ним затянёт:

Мой совет — до обрученья
Дверь не отворяй...

тогда Гете от такого пастора захлопнет дверь своего чистого и возвышенного мира и скажет: «В этой точке и линии я перехожу в языческий мир, потому что *тут* христианство темно и страшно».

Мир Гете везде чист. Он везде ясен, спокоен и разумен. На стенах его не лежит, *даже как возможности*, ни одной человеческой кровинки. Он так же наукообразен, в смысле точных наук, — как и философичен. Мысли и рассуждения Гете о теории света, о развитии костей человека, о морфологии растения — предварили на несколько десятилетий великие европейские открытия... Но важность не в буквальном содержании этих мыслей, а, так сказать, в духовно-методическом: в том, что «в мир Гете» они внесли этот научный, пытливый дух, дух наблюдения и опыта, — которого вообще другие великие поэты не касались, не умели коснуться... Например, «мир Толстого» явно противонаучен; «мир Пушкина» индифферентен в этом отношении; «мир Бэкона» — пытлив, но грубо непозитичен.

«А мир Гете» — в нем есть все, благословенное Богом и благословляемое человеком.

* * *

«Церкви европейские» в том отношении могут «точить зуб» на Гете, что если бы пороками и злоупотреблениями своего духовенства они окончательно отшатнули от себя людей, то для этих последних мир Гете представил бы что-то вроде единственной религии, куда переход был бы невозможен... Вот это *отсутствие* отчаяния, от которого спасает Гете,— и есть причина ненавидения его ортодоксами, желавшими бы поставить человечество перед выбором;

— Или мы, нечесанные, пьяные, с насекомыми...

— Или — отчаяние, тьма, пропасть.

Гете дал мостик «между»...

* * *

Я вошел с толпою посетителей в подъезд большого дома... И уже застал там другую толпу... Шум, говор мужчин и женщин... И над всеми ими возвышается отчетливый голос молодого служителя, из вахмистров или дворецких, с усами и счастливой, à la Вильгельм, физиономией, «объяснявшего» дом...

Все было противно, скучно... Все сразу же сделалось неинтересно.

Дом, собственно, родителей Гете, но где он родился, воспитывался, учился в детстве и отрочестве и написал некоторые свои произведения,— это дом очень зажиточного бюргера, члена франкфуртского магистрата, равно удаленный от бездумной, беспечальной роскоши и от бессветной, озлобляющей бедноты. Среднее, хорошее состояние; хорошее, почти высокое образование родителей и, очевидно, среды; жизнь еще патриархальная, безыскусственная: недалекие горы, с Гарцем и Брокеном в центре («Лысая гора» Германии), под ногами — Рейн, усеянный развалинами замков, с их легендами; княжество маленькое, «уездное»; Австрия и Пруссия с их политикою и войнами — совсем на далеком горизонте,— вот обстановка и условия роста Гете.

Здесь ничто не подавляло, с одной стороны,— и ничто искусственно не возбуждало душу, способности и ум.

Все зрело спокойно, не торопясь. Но при очень больших задатках, все могло развиваться в большую широту более внутренним побуждением, нежели внешними толчками.

* * *

Пока идешь по лестнице во второй этаж, по ее стенам и по стенам обширных, как комнаты, сеней, видишь развешанными большие гравюры Рима. Все они старой, грубой работы и, очевидно, резаны на дереве. Так как отец Гете никакого отношения к Риму не имел,— то почти без ошибки можно предположить, что этими гравюрами сын украсил отцовское и вместе свое жилище по возвращении из своего путешествия по Италии. Колизей и мавзолей императора Адриана, обращенный папами в крепость св. Ангела, господствуют видностью своею над другими

гравюрами. Нижний этаж состоит из приемных комнат — общесемейных. Второй этаж можно назвать этажом отца Гете, — по его библиотеке, соединенной с кабинетом. Библиотека занимает все стены; вид ее совершенно тот, какой имеют «заветные» лавочки старинных букинистов в Петербурге, на Литейной улице, или в Москве, близ Сухаревой башни, только беднее и однообразнее. Содержание книг — деловое и сухое, по преимуществу, юридическое, с римским «*Corpus juris civilis*» * во главе. Как знак необыкновенного трудолюбия и деловитости отца Гете — стоит не менее десяти фолиантов в пергаментных переплетах: это собственноручно исписанные им «бумаги» франкфуртского магистратского управления, его, так сказать, «делопроизводства». Это — целый архив местной жизни. Гете — поэт, уже *по памяти к отцу*, никак не мог презирать «чиновничества» и «гофратства», хотя бы и стоял головою выше его; а душою совершенно вне его. «Ремесла» отца никак не сумеешь презирать — и по естественной семейной деликатности; и потому, что оно когда-то кормило тебя. Об этом совершенно забывали биографы Гете, осуждавшие его за «тайное советничество». Он был «тайным советником» и «мировым поэтом»: осудим, что другие «тайные советники» не суть ни в какой степени поэты; но что «поэт» был в то же время «тайным советником» — это вообще не составляет ничего в нем, не есть предмет ни для похвалы, ни для попрека.

Наиболее интересен верхний, третий, этаж: как бы *интимный и личный* в жизни семьи Гете. Здесь-то, если пройти направо, в самой отдаленной, «задней», комнатке, великий Вольфганг Гете увидел свет. Очень небольшая (меньше всех других комнат), низенькая, очевидно, со спертым и тогда воздухом, и полусветлая спальенка фрау Гете выходила на двор, засаженный огромными (теперь) тенистыми деревьями и сжатый боковыми каменными строениями. Все здесь тесно, серо и тускло... Мебель отсутствует, — а что такое спальня без мебели? Волнуешься мыслью, что здесь, в этом небольшом кубе помещения, был рожден Гете... Но глаза видят одну странную, дикую пустоту и голизну стен...

Прибита, не высоко на стене, золотая фольговая звезда, привезенная из Веймара «в дар» этому дому: она была при погребении Гете, «в знак того, что его всегда в жизни как бы вела благоприятная звезда» (объяснение хранителя дома), — сентенция слишком в немецком духе, чтобы могла понравиться. Под звездой — два небольших венка, из числа «погребальных». Да на другой стене прибита вырезка из местной франкфуртской газеты, от 2-го сентября 1749 г., № LXXI: «У члена городского магистрата, господина советника Гете, родился в пятницу, 29-го августа, сын, нареченный при крещении Вольфгангом». Черта патриархальной наивности, которая нравится...

Но все это ничтожно...

* «Свод законов» (лат.).

Нужно было весь «дом Гете» и уж особенно эту комнатку сохранить в том самом «живом виде», какой она имела при жизни стариков Гете... По памяти сына, да и друзей и знакомых семьи Гете все это можно было восстановить в точности: расставить ту же мебель, шкапы, комоды, зеркало, повесить то же платье — все до мелочей.

Рядом — самая уютная комната всего дома. Это — комната «субботного чаепития» фрау Гете. Вечер субботы, очевидно, проводился во Франкфурте так же уютно, семейно и тепло, как и у нас канун праздника. Большая столовая, где постоянно обедала и ужинала вся семья, находилась особо, во втором этаже; эта же небольшая комната, как бы «предспальня», была в распоряжении матери Гете, и она здесь принимала по субботам самых интимных друзей своих. Здесь теперь стоит огромный, деревянный, почерневший уже, фонарь, — с местом для вставки двух свечей: улицы совсем еще не освещались в XVIII веке, — и, в случае вечернего выхода, перед «господином» или «госпожою» несли зажженный фонарь, освещавший (конечно, немощеную) дорогу... Число свеч разрешалось по чину, и дамы выше фрау Гете имели в фонаре три или четыре свечи, а ниже ее, — «надворные советницы» или «коллежские регистраторши», — могли иметь не более одной свечи...

Сейчас же рядом — комната Вольфганга... Здесь были написаны им: «Эгмонт», «Гец фон-Берлихинген» и начало «Фауста»... Сохранился, весь укапанный чернильными пятнами, — до невозможности более! — письменный стол. Он представляет соединение стола и шкапа: писал Гете, собственно, на откидной доске, которая лежала на двух выдвигаемых справа и слева четырехугольных жердочках, а когда он кончал занятия, то, подвинув вперед бумаги, поднимал доску и запирал ею «все написанное». Под доскою — выдвигаемые ящики, — для бумаг, рукописей и проч. Впереди доски — «горка», т. е. этажерочка с небольшими ящичками. Все в такой мере мало занимает места и одновременно поместительно, — что удивительно, отчего и теперь не устраивают такие «письменные столы»... Для писателя и интеллигента — нет ничего удобнее. Сейчас около стола-этажерка с книгами Вольфганга. Их — немного. Я описал заглавия главнейших. Вот они: Библия — in folio — с гравюрами, 1545 года; Agrippa; Grandissons Geschichte Ulandt; Ossianns Gedichte; Klopstock's Schriften; I. von Welling — Opus Mago Cabbal; Pantheum mythicum. Florian Lersner — Chronica von Frankfurt *.

За эту «комнатою занятий» Вольфганга находится такой же величины другая — с кукольным театром... Этот «кукольный театр» был ему подарен... Сделан он из тонкого, оклеенного бумагою, дерева или склеен из толстого картона, — я не разобрал. Но он очень велик, сделан с большим мастерством и большою подробностью, и на нем, очевидно, Вольфганг делал постоянно «представления» для себя. По нему можно

* Агриппа; История Грандиссона Уланда; стихи Оссиана; Сочинения Клопштока; Сочинения каббалы И. фон Веллинга; Пантеон мифов; Флориана Лернера — Хроника Франкфурта (лат.).

судить, что Гете был чрезвычайно привязан к сценическому искусству и не мог обходиться без него, даже сидя дома или в каникулярные приезды в родительское гнездо.

Вот и все...

Деревянный стул перед письменным столом, как и комод в «чайной фрау Гете» и вообще вся мебель — деревянная, толстая, широкая, где возможно, — «пузатых», выпуклых форм. И, глядя на нее, без труда немного укорачиваешь и обделываешь мысленно мебель в «мамашиных комнатах» раннего детства, и тогда узнаешь в ней все «родное», «былое»...

«Так жили» вообще люди «того времени»...

* * *

При доме Гете, — перейдя маленький полудворик, полусадик, — «музей Гете»... Здесь портреты и мраморные бюсты Гете и его великих литературных современников, его друзей, его отца, матери, герцога и герцогини Веймарских, при которых он провел вторую половину жизни. Интереснейшее здесь — две маски с лица Гете, слепок кисти его руки и его волосы, волосы (не седые) — льняного цвета.

Этого не представляешь себе, глядя на его портреты в книгах и на гравюрах. Кисть руки — некрасивая, толстая, с толстыми и тоже некрасивыми пальцами; без тени изящества и «выгиба». Маски с лица, передающие, конечно, мельчайшие подробности, неуловимые в портретах и изваяниях, — дают замечательно римский очерк лица, как мы знаем римлян по массе мраморов и по монетам... Лицо надменное, высокомерное и холодное; линия рта — дугою вверх, с опущенными углами рта; нос, лоб, строение костей, отсутствие мясистости в щеках, все мелочи, вся пластика дают характерный образец римлянина времени конца республики... И ни капли «грека», как равно и ни капли «германца».

Почему это и как это произошло, — не знаю. Бюст отца Гете — до чрезвычайности германский, вульгарно-германский; мать, с которою он имеет на портретах (но не на статуях!) разительное сходство, на самом деле дает сходство только передней части лица, великолепного строения глазных впадин, лба и рта. «Живой портрет матери», — скажешь о Вольфганге. Но скажешь, пока не взглянул на портрет матери в скульптуре, где даны боковые части лица, дана голова и шея: тут во «фрау Гете» узнаешь типичную немку, зажиточного, спокойного вида, твердую, уверенную, превосходную хозяйку и домоводку прежде и выше всего. «Нет, это не Гете», — думаешь тогда.

Откуда же Вольфганг?

Из небес. Хотя он и сказал о себе: «Здравый смысл и практичность у меня от отца, а любовь к песням и сказкам — от матери, — но, думается, главное в Гете было не наследственное, а то «третье», Бог весть откуда являющееся во всякого ребенка, что не имеет в себе нисколько

материнского, нисколько отцовского и что обычно растет потом с необыкновенным упорством и силою.

Часто это бывает порок, преступление.

В Вольфганге это был гений, осветивший всю землю.

Благословенно его имя... благословенно для всех народов.

Алексей Степанович Хомяков

К 50-летию со дня кончины его

(23 сентября 1860 г.—

23 сентября 1910 г.)

I

Прошло пятьдесят лет со времени кончины одного из самых замечательных и влиятельных русских людей за весь XIX век,— Алексея Степановича Хомякова. Он не был гением в той форме, какая особенно нам понятна и привычна,— вдохновенного стиха или художественной прозы. Хотя он писал стихи и постоянно писал прозою, но здесь он не поднимался выше уровня обыкновенного. А его некоторая притязательность и в этой области, вызвав насмешки, только повредила ему и отчасти была виною, что громада общества,— «толпа» в грубом значении,— прошла без внимания мимо настоящих духовных сокровищ, какие он имел и давал. Мы переходим к ним. Хомяков был гением в непривычной и тяжелой для нас форме — мысли. Много мыслителей,— от Бокля, Дрэпера и Спенсера до Дарвина, Мошешота и Бюхнера,— «пленили» душу русского человека; затем держали ее «в плену» Шопенгауэр и Ницше... Но что касается первых,— это происходило от того, что их мысль была слишком легка, усвояема, сразу же входила во множество голов, без всякой работы этих голов над собою, а Шопенгауэр и Ницше овладели русскою душою, так сказать, по закону контраста: от того, что для русской души они были совершенно новы по тону, по темам, в Шопенгауэре — по системе. «Новизна» и «необыкновенность» завороживали нас, и мы стали зачитываться этими философами, как дети пустыни зачитываются Шехерезадою. Хомяков, вне всякого сравнения, стоял выше первого ряда мыслителей, нами названных. Его мысль,— прилагая европейские оценки,— стоит в уровень, по качеству и силе, с Шопенгауэром и Ницше. Но, во-первых, она трудна в подробностях, в частности, в изложении и теме каждой порознь его статьи; а самое главное и для Хомякова несчастное заключалось в том, что он не давал заоблачной теории, не давал «своей личной выдумки», усвоив которую, каждый носился бы с нею, как со своим личным украшением, как с преимуществом своего личного ума и личного образования... Таковы хоть очень

грубые, но вместе очень устойчивые мотивы быстрого и широкого торжества множества «теорий» и «систем»... Хомяков же гениально объяснял просто русскую жизнь, — ту обыкновенную жизнь, разлитую вокруг нас, которая самою привычностью и обыкновенностью «претит», по крайней мере, грубой части толпы, и эту грубую часть толпы непреодолимо отвратила от Хомякова. Вот почему Хомяков был, есть и, по всему вероятно, навсегда останется пищею и другом только избранных умов, тех русских умов, для которых Россия всего интереснее. Увы! Это — общий закон: хотя корова нас кормит, а на слона мы только любуемся в зоологическом саду, но слона мы с любопытством рассматриваем со всех сторон, готовы слушать о нем рассказы, верим о нем вымыслам... Тогда как с коровы спрашиваем только хорошего молока, при болезни ее закалываем, но ни «легенд», ни «сказок» о ней не хотим, да и считаем их невероятными. Хомяков весь был погружен в стихию русской действительности, и других тем он не знал. Но не в том еще главная его ценность: в противоположность множеству умов, которые применяли к России нерусские оценки, нерусские измерения, нерусские объяснения. Хомяков русскую действительность объяснял в духе и смысле этой самой действительности, сводя работу мысли именно только к прояснению, к выведению в свет логического сознания, к формулам словесным. Таким образом, при кипучем уме и большой личной гордости, он сохранил деликатное и осторожное отношение к предмету и стал в отношении его в положение пассивное. Как это не похоже на Шопенгауэра и Ницше, которые хотели бы переделать весь свет, но всякий оценит, до чего такое отношение тоньше и глубже, как оно научнее и философичнее. Вместе с тем, это еще более увеличивало «обыкновенность» Хомякова и его «неинтересность». Толпа решительно не могла пристать к нему, зачитаться им: в одежде его не было ни одного красного лоскутка, даже цветного лоскутка, который привлекает внимание к «вошедшему» раньше, чем он раскрыл рот. Хомяков был «обыкновенно одет»: костюм, в котором толпа никогда не узнает мудреца.

Но тем ценнее его значение для всех русских, которые узнают человека не «по платью»; и, думается, значение Хомякова в истории русской мысли вообще не подлежит ни уничтожению, ни забвению. До настоящего времени и, вероятно, навсегда он был и останется самою высокою вершиною, до которой достигала так называемая «славянофильская мысль», — мысль, которая имеет свои ошибки и односторонности, но имеет и, несомненно, истинное зерно. В этом зерне есть и свое «я хочу», и свое «я знаю». Будем ли мы рассматривать славянофильство как *волевое движение* или как *теорию* и «объяснение», мы не можем его просто отвергнуть, не можем его забыть, мы его должны победить, вынуждены с ним бороться. А где есть борьба, там возможно и поражение. В своем «я хочу» славянофильство есть личное или массовое движение к приобретению мировой роли, мирового значения России

и славянофильству. На это можно только ответить: «как удастся», но, конечно, зачеркнуть такого движения, ни как возможности, ни как факта, нельзя. «Двигайтесь, скатертью вам дорога»,— могут ответить самые злые критики. Но больше и хуже этого они не могут ничего ответить; «запретить» такого движения они никак не могут. Далее лежит «объяснение», теория: славянофильство во второй своей части утверждает, что таковое волевое движение имеет под собою почву в глубоких особенностях русского сложения, русской жизни, русского быта и духа, русской истории и русской веры,— особенностях, которые, будучи зачаточны, несут в себе большую нравственную высоту и даже полную вечность.

Около этой мысли тоже можно начать кружиться насмешками. Но слабость насмешки всегда в том заключается, что она раскалывает скорлупу, но не может тронуть зерна. Русская действительность до такой степени сера, тускла и, наконец, определенно дурна, что мысль «быть выше всех народов» и раздражала, и мучила, а главное — сместила множество даровитых, честных, умных и, наконец, особенно остроумных людей. На этом, именно, пункте славянофильство было осмеяно вдоль и поперек. И осмеяно совершенно основательно. Но зерна все-таки весь этот смех не коснулся. Остаются вековым примером евреи,— «посмешище» для эллинов и римлян, «народ грязный, необразованный и суеверный», как говорили о них античные писатели. И, между тем, они не только пережили этих древних, гордых и образованных людей, но когда «узнано стало все о них»,— они вдруг раскрыли миру из себя «священное писание» и дали ему веру, дали истинное отношение человека к Богу и разъяснение истинного отношения Бога к человеку. Вещь, совершенно не воображавшаяся Тациту, Ювеналу и Горацию...

Нельзя не поразиться тем, что именно в такое время, когда славянофильство было совершенно погребено под насмешками, совершенно забыто, совершенно не имело себе последователей,— эта доля их чаяний получила надежду, да, наконец, и осуществление... Ведь, они и не говорили никогда, что это «они дадут России величие и значительность»; они указывали, что Россия «сама это приобретет»... И что приобретет это она не мощью физической, а нравственными качествами... Между тем, именно это лето мне пришлось прочесть, как перевод с английского, оценку одним англичанином русской действительности, русского быта, русской жизни, такую, что она покрывает, в сущности, все чаяния славянофилов. Он говорит о странном сочетании в русских слабости и устойчивости, бесхарактерности и упорства, тысячи «неудачливостей» во всем и вместе страшной жизненности, живучести и (что особенно важно) о присутствии у них великих сокровищ сердца, доброты, мягкости и любви,— всего того нового, что их литература вливает теперь в европейские литературы. Буквальные слова англичанина интереснее и выпуклее, чем я по памяти передаю их. Слова эти значительны потому, что они не навеяны, а, так сказать, «выглядеены». Что они есть не мнение,

а описывают факт. Но откинем совершенно англичанина в сторону. Через пятьдесят лет после того, как Хомяков умер, через семьдесят после того, как умерли братья И. В. и П. В. Киреевские, впервые начинавшие говорить в этом духе и строе мысли,— самые ожесточенные их противники, западники, как и всегда пренебрегавшие ими русские радикалы, равно говорят, надеются, а отчасти и осуществили их великую мечту,— что русские внесут, обещают внести, а отчасти и сейчас вносят в стихии западного раздора и западного рационализма великие освежительные струи любви, мира, гармонии, прощения, братства. Продолжительная и настойчивая в этом направлении деятельность Достоевского и Толстого решительно склонила все течение русской литературы сюда; за литературою пошло и общество; и оба факта распространились в Европе, т. е. сперва стали известны в ней, а потом и повлияли на нее. Все это смешалось с политикой, перешло в осязательные движения общества и государства; и пусть это имеет множество противоречивых себе проявлений, перемешивается с грубостью, жестокостью,— однако общий тон очевиден и бесспорен. А нет жизни без борьбы, нет жизни без противоположностей. Но раньше всего указали на возможность и будущность этого славянофилы. Гакстаузен, лично знавший Хомякова и составивший, пожалуй, первое серьезное описание России деревенской и России интеллигентной для Западной Европы, все воззрения Хомякова сводит к следующей формуле: «Во всемирной истории разные культурно-исторические народы были призваны выразить и довести до недостижимого завершения разные стороны человеческого духа и, вместе, метафизические основы земного существования, земного удела человека. Оставляя в стороне неясный Восток, Греция выразила свою задушевность в искусстве, и красота была тем, что греки довели до апогея; Рим выказал силу и создал образец государства и права; западно-христианская Европа с несравненною роскошью развила рассудочный, рационалистический элемент жизни и личности человека. Но остаются еще славяне, остается Россия. Все перечисленные начала жизни и личности у них слабы, не развиты, не ярки. Но есть последнее и венчающее все дары духа начало — любовь. Вот эту любовь и призваны показать миру эти самые последние, самые новые племена Европы и, вместе, исторической жизни, и, развивая этот принцип в своей жизни и в своей народной личности, наконец, у себя, в учреждениях и законах, они, естественно, являются кульминационным пунктом вообще исторической жизни, всемирно-исторической». Как только нам сказана эта формула, мы невольно ответим: «Ах, если бы... но это едва ли совершится. Однако, если бы совершилось, мы, в самом деле, могли бы сказать, что всемирная история завершилась, и что ей некуда более продолжаться».

Конец, завершение... Выше любви мы уже ничего не мыслим.

Однако так думаем именно «мы», русские. Пожалуй, это мы открыли и окончательно уяснили себе, лишь переживая всю деятельность Толстого и Достоевского. Наконец, после того, как об этом столь долго

говорили славянофилы. Формула эта несколько не ясна для Западной Европы, и, по крайней мере, никто ее не указывал, как завершения истории. «Свобода, равенство и братство» если и содержат зерно в себе, конечно, любовь, то слишком формально отраженную, заключенную в формы и ограниченную формами. «Свобода, равенство и братство» так же относятся к «любви», как «галстук» к «чистоплотности»: «галстук», свежий галстук на чистой манишке, конечно, есть чистоплотность же, и даже быть определенно одетым в хороший галстук и в хорошую манишку выгоднее, показательнее и, наконец, просто лучше, нежели быть только вообще чистоплотным и в то же время оставаться без галстука и без глаженной сорочки. Но в глубине-то мы хорошо знаем, что «быть чистоплотным» все-таки выше и благороднее, нежели только носить крахмальное белье. Любовь, осуществись она, уже содержит в себе и равенство, и братство, и свободу, но, содержит их, любовь содержит еще и бесчисленное множество других вещей, других условий, других требований, например, без мягкости и нежности, без прощения и скромности нет любви. При грубости и жестокости нет любви. Между тем, «свобода, равенство и братство» были понесены из Франции на дуле пушек, в кровавых битвах, понесены как жестокое и неумолимое приказание, слоившее целый мир слабых племен и слабых государств... Дело в том, что при хорошо выглаженной манишке можно носить и часто носят совершенно грязные «невыразимые», тогда как условие и лозунг «чистоплотности» их совершенно исключают. О России можно сказать, что она, если бы и могла, никогда не пошла бы в триумфы Наполеона и Французской республики, и если бы пошла, увлеченная моментом и непременно только *частью населения*, то с горьким плачем вслед за этим и при негодовании, при несочувствии огромных народных масс, большинства населения. Нам это просто не нужно, нас это не влечет, это не есть ничья в России мечта. Напротив, даже слабая потуга на «что-то» в гаагской конференции пронеслась по России эхом... Вот какой-нибудь действительный и настоящий «триумф» на этом поприще, в этом направлении способен был бы поднять всю Россию за собою...

Но что это такое?

— Любовь.

Если, наконец, скажут, что, ведь, «любовь есть главный принцип Евангелия», и «стара, как эта книга», то на это можно ответить, что, ведь, Евангелие с неменьшим вниманием, чем на Востоке, читали и на Западе, но почему-то ни папы, ни Лютер не остановились на этом, как на главной стороне христианства. Почему? Да недостаточно сказать формулу, произносить слова, видеть слова,— нужно совсем другое. Нужно внутреннее и врожденное сродство натуры с формулой. Хомяков и выразил, что в натуре русских лежит что-то, что делает русских первым настоящим христианским народом. Русские — христиане. Вот, в сущности, главное его открытие, усиленно потом повторенное Достоевским (только повторенное!), которое, с одной стороны, кажется обыкновен-

ным и простым до зановошенности, до полной неинтересности, до скуки и отвращения, а с другой стороны, кажется до того странным и невероятным, что невозможно этому поверить и хочется заушить говорящего так человека.

Хомяков и получал «заушения» всю жизнь и после смерти, главным образом за эту формулу: «русские — христиане», т. е. это — единственные на земле христиане, впервые эту религию понявшие и даже прямо рожденные христианами, рождающиеся христианами.

II

Сюда примыкает главный его труд, главное дело жизни — его богословствование, целая богословская система, за которую Ю. Ф. Самарин, в предисловии к заграничному изданию его трудов, назвал Хомякова «отцом и учителем церкви». Но нам хочется иначе назвать все это дело: это не «богословская система», и Хомяков нам не кажется «богословом»... Он в стороне от всего этого, а дело его лучше и проще: всю жизнь свою, так и этак поворачивая язык, так и этак приноравливаясь, то в частных письмах (к англичанину Пальмеру), то систематически, то в неудачных стихах, то в колючей прозе, — он искал выразить свое *чувство православия*, отнюдь не официального (оттого и не допустили печататься его богословские сочинения в России), а народного, деревенского и сельского, исторического и поэтического, наконец, бытового. «Вот так русский человек чувствует Бога», «вот как он молится», «вот чего он ищет от веры», «вот на что он уповает и надеется». Ни у Кирилла Александрийского, ни у Афанасия Великого мы этого не найдем, не найдем ничего подобного и приблизительного. Все они давали конструкцию догматов, все были мыслителями, все были схоластиками, везде они опирались на тексты, а в устремлении мысли следовали и отчасти рабски копировали Платона (чаще) или Аристотеля (в западном богословии). У Хомякова же видна безмерная любовь, безмерный восторг к русскому чувству Бога, к русскому чувству веры, и для него это важнее текста и непрекаемое Аристотеля. Вот отчего официальное богословие, богословие духовных академий, никак не могло связаться с идеями Хомякова, но дело окончилось тем, что все свежее и деятельное в самих академиях пошло по пути Хомякова и признало его идеи, вернее — его чувство богословских истин, — правильным, обещающим, плодотворным (Н. П. Гиляров-Платонов, Антоний Храповицкий, в молодую его пору С. А. Рачинский и другие менее известные писатели и богословы). К словам, однако: «он чувствовал народную веру» нужно сделать ту оговорку, что он чувствовал веру народную, поскольку она примыкала и вытекала из чувства православного культа, без всяких отклонений (секты, раскол), православного обряда, православного «устава жизни», православного прямого «благочестия», без исключительностей и личного усмотрения. Хомяков сам (и притом с отрочества) любил посещать

богослужение, и его вечно деятельный и пытливый ум усмотрел здесь то, что, конечно, видит и народ, но чего народ не умеет формулировать, от образованных же классов, к культу вовсе равнодушных, это и совершенно ускользает. Здесь мы должны заметить, что хотя культ у нас, конечно, греческий, но русские исполнители его за 900 лет практики надышали в него столько русской души, столько русских оттенков, в этих поднятиях и понижениях голоса, в замедленности или уторопленности движений, что некоторые путешествовавшие на греческий Восток священники и епископы замечали, что там «как бы совершенно иное богослужение, чем у нас». Попадались такие выражения. В чем же дело? Форма — одна, ритуал — тот же, но «надышала в него» другая душа. Напр., у греков все требовательно, страстно: греческие, напр., отцы церкви хоть в каноническом праве — неумолимы, грозят за всякую малость «отлучением», и о хомяковской любви тут не может быть и речи. Какая «любовь», если за врачевание у лекаря-«жидовина» виновный изгоняется из православного общества, лишается права принимать таинства, и если «анафема» грозит даже тому, кто случайно и невольно помылся в той бане, в которой мылся тоже «жидовин». Тут «гармония» Достоевского и Хомякова не имеют никакого применения. И из Константинополя, от фанариотов, Хомяков не вынес бы ни одной строки своих богословских трудов. А «вера» одна, и даже обряд один. Но дело не в скрипке, а в том, кто играет на скрипке. Мы должны заметить, что, при нетерпеливом желании о многом спорить в «вероучении» (по преимуществу, против греческих односторонностей), в нашем церковном быте, как он есть, как он слежался исторически, как он выковался и высветился в горе, бедности, уничтожении, скрыта, при огромной глубине, удивительная нежность, теплота, мягкость, универсальность...

Вот пример: вопреки повелению канонов «не врачеваться у жидовинов» под угрозою анафемы, Иоанн Кронштадтский, самый великий наш архипастырь за XIX век, преспокойно сам «врачевал» и жидовинов, и даже мусульман. И хотя «канон» об отлучении за таковое дело все знали, но любимому русскому «батюшке» никто не смел возразить, никто ему не осмелился воспрепятствовать. Вот «любовь», ставшая выше «канона».

И много подобных, меньших. Все дело в оттенках.

Сказав: «теплота и нежность», — мы сказали слово, которым, пожалуй, лучше заменить слово «любовь», которое от злоупотребления людей без всякой любви совсем выветрилось и потеряло всякую пахучесть, всякую жизнь. «Любовь» — слишком схематично; «любовь» давно обратилась в кимвал бряцающий. Тут нет конкретности, не видно живого лица того, кто «любит» или якобы любит. Но как только мы произнесли: «теплая натура», «нежная натура», — у нас нет никакого сомнения о самом лице того человека, к кому мы приложили эти слова. «Нежный» человек не оскорбит; человек с «теплой душою» сумеет вас понять. Тогда как с «любовью» люди именно и жгли своих «братьев» от

чрезмерности этой любви и никак не могли выслушать и понять «еретиков». Переходя теперь к идеям Хомякова, мы и скажем, что он подметил в «русском православии», — и притом в нем одном в Европе, — бездну этой «нежности» и чисто жизненной, житейской, пожалуй, бытовой «теплоты», которую, отождествив с христианскою любовью, бросил ее будущим векам, как завет и идеал, как зов и требование, как высший критерий, вообще нормального и лучшего в человеческих отношениях, в человеческом чувстве природы, в человеческом чувстве жизни.

Но нужно заметить, что лично и по характеру Хомяков не стоял так высоко, как стояли высоко его идеи... «Что имеем, — не храним, потерявши, плачем»... Бог весть, как у него умещалась эта великая идея христианства, как вечного и непреодолимого мира души, мира сердца, братства народов и, в сущности, братства самых богоощущений — с умственной назойливостью, ворчливостью, невысоким самолюбием, с полемическим духом и жаждою не только переспорить другого, но и отличиться в споре. Литературно он был очень неприятен и вовсе не красив. По идеям — Марк Аврелий, а по форме и по выражению идей — точно сотрудник из «Figaro». Он должен был бы великим чувством охватить и лютеранство, постигнув все великое в нем, постигнув несравненные исторические заслуги «римского вероисповедания», и героизм, мужество и честность Лютера и лютеран... И, с другой стороны, обязан был смиренно признать великие недочеты, особенно практические, какие есть «на Востоке». Но читайте его остроумнейшие полемические брошюры, направленные против западных богословов и критикующие сущность протестантизма и сущность католичества. Да, они остроумны, эти брошюры: полны блеска, кажется, что он неумолимо прав, и оба западные исповедания «раскрошены в куски»... Но, очнувшись от гипноза остроумия, мы замечаем, что он все время побеждает, собственно, себя самого, что он против католиков копирует ученого немца, а против немцев употребляет все изгибы иезуитской диалектики: «православия» же в нем самом не осталось и следа. С ним, в этом деле, случилось то же, что с Достоевским, который начинал с благословений и кончал всегда проклятиями, в «введении» приглашал всех соединиться в его объятиях, а в «послесловии» всех прогонял в шею, кроме того, кто отныне станет «клясться именем Федора Михайловича», как нового пророка и чуть не бога. Тут у обоих их был какой-то изъян: собственная, великая идея Хомякова требовала исключения всякой полемики «против западных исповеданий» и, словом, требовала в теории того же, что Иоанн Кронштадтский делал в практике: «Благословлять я умею и хотел бы всех благословлять, а проклинать — язык мой коснеет, и я точно умираю»...

Объяснение «русской веры» было зерном для Хомякова и в объяснениях русского быта и русской истории. В первом он указывал на *общинный строй* крестьянства и земледелия, во втором он указывал, что государственная власть была у нас призвана *изчужа*, от варягов. Община есть религиозное и нравственное братство; есть до известной

степени «церковь», приложенная к труду человеческому и создавшая соответственную своему закону любви форму этого труда. То же — артель, как труд на стороне от своей земли. Там и здесь «делятся поровну»; там и здесь нет «выкидышей» на сторону, обездоленных и обобранных, как нет и эксплуатации сильным слабого. В способе же возникновения государственной власти сказалось равнодушие народное к элементу власти, нежелание владеть этою властью самому. В этих объяснениях Хомяков дружно входил в семью славянофилов, которые все были москвичи; эти москвичи «хором» вырабатывали самостоятельные и новые воззрения на свою родину и ее прошлое, никто ни у кого не заимствуя, но все учась друг у друга, споря друг с другом, действительно, в завете «любви», о которой говорил Хомяков. Друзья его, особенно Константин Аксаков, более обдумывали русскую историю и русскую общину, — и только в религиозно-церковных объяснениях Хомяков был первым и почти единственным; здесь он связывался только с И. В. Киреевским, но его мысль была гораздо сложнее и обширнее, чем как она вызревала у Киреевского, умершего рано и писавшего немного.

До Хомякова богословы наши рутинно следовали византийским шаблонам, обрабатывая их в духе и методе или католическом, или протестантском. Везде было «греческое» дерево под немецким или латино-итальянским лаком. Русского ничего не было: голос русского не звучал в суждениях о «русской вере». Хомяков был первый, у которого голос этот зазвучал. Он, вообще, рабски ни за кем не следовал, и здесь сыграла положительную роль его неприятная гордость и самонадеянность. Сердце у него, может быть, не было золотое, хотя он вечно писал о «сердце» (любви); но у него был золотой ум, которым он разыскал в народном и историческом духе это сокровище и (особенно важно) показал и объяснил его центральную роль. Он в самом деле нашел и назвал тот идеал, которому поклонились и Достоевский, и Толстой, — дальше которого (столько лет спустя!) и они не пошли, да дальше и, действительно; некуда идти. Достоевский называл его «мировою гармониею», «всечеловеческою гармониею»; Толстой не переменял имени и называет, как Хомяков же, — «христианскою любовью». Мы бы предпочли назвать его органическим теплом, вырабатывающимся в теле человеческом, в массе человеческой, в душе человеческой: причем само Евангелие было только возбудителем. На «древе жизни» оно сделало надрез, как делают таковой на березе, и из надреза потекла эта драгоценная, сладкая и пахучая влага. Ведь и Хомяков очень настаивает на *народном, национальном начале, указывает на историю, на быт; указывает, в несравненной красоте слов, на важность в церкви именно предания*, в котором ничего нельзя отменить *без общего согласия*: между тем как с отрицания «предания старцев» началась проповедь Христа, да и обратился Он не к «своему народу», а к хананеям и язычникам, к иноплеменникам.

«Национальное», во всяком случае, в Евангелии не играет никакой роли; Евангелие — универсально и космополитично; оно — «кафолическое», т. е. *сверхнародно*... У Хомякова и вообще у славянофилов, как и у Достоевского (*народ-богоносец*) в исповедании Ставрогина, в «Бесах»), тело народное, облик народный, кровь и род племенной занимают срединное, почвенное положение. Достоевский, оспаривая в своих журналах, «Время» и «Эпоха», западников и нигилистов-радикалов, выдвинул понятие «почвы», «почвенности»... «Без *почвы* нельзя творить, нельзя расти». Удачное слово: но «христианский дух веет иде же хочет»: и самый выбор слова показывает, что у Достоевского, как и у Хомякова, везде, где они говорят о «христианской любви», нужно подразумевать эту *органическую связность* частей, это органическое, сердечное тепло, бегущее по жилам народным, это сострадание «брата к брату», вытекающее из того, что они суть один *род*... Это — *родственное* начало, а не космополитическое.

* * *

Хомяков и славянофилы положили остов «русского мировоззрения», которое не опрокинуто до сих пор, которое может иметь или не иметь последователей и все-таки оставаться истинным. Не истинно ли оно? И *да*, и *нет*. Или бесспорно уловлено много верного в действительности, в истории; «общий очерк дела» ими поставлен верно; идеал, к которому они зовут,— есть действительно идеал. Но идеал — душа, а около души есть тело; не то священное тело в прямом смысле, из которого проистекает органическая любовь, нами указанная, а *тело*, как нарост подробностей, как сумма нормы и *уклонений*, возникающих в быте и в истории, когда организм, говоря языком Дарвина, «приспосабливается к условиям существования», когда в нем совершаются «вымирания» и «переживания». Как выражается Достоевский в одном месте: «эмпирическая действительность всегда сапогом пахнет». Европа даже в «добрых чувствах» переросла нас, не имея ни нашей «истинной церкви», ни нашей «сердечности», а просто шаг за шагом культивируясь, работая над собою, борясь социально, юридически и экономически против всего грубого, жестокого, несправедливого, эгоистического, «давая отпор» захвату и насилию. И, например, «коварный Альбион» не всегда бывает так хитер, скуп и прижимист, как благочестивый «господин купец», если он увидит «хорошо сложившиеся обстоятельства». С этой стороны, да и почти со всех сторон, славянофильство допускает вышучивание себя (припомним знаменитое стихотворение Алмазова). Но шутка — не опровержение, и то, над чем «можно посмеяться», все-таки может содержать в себе, за отсекаемыми наружными комочками и наростами,— драгоценное зерно, какого не найти в мире. В славянофильстве есть и это смешное и неверное, и это истинное и плодотворное. Над ним можно хохотать до упаду и его можно любить восторженно, не разлучаясь с истиною в одном и в другом

случае. Стихотворение Алмазова гениально, а захочется плакать, приблизясь к порогу дома, где жил Петр Киреевский, где жил Иван Киреевский. Это — праведники, это — «святые» русской земли, «святые» светскою святостью и вместе какою-то религиозною, хочется и можно сказать, — церковною святостью. Идеи славянофилов подвергались и плутовской эксплуатации; с ними хищничали, больше — с ними грабили, убивали (жесткие черты политики). Но они же, славянофильские идеи, бросили в пыль идеальной борьбы, идеальной жизни — других. Тут чередовались многие: Игнатъев один, Игнатъев другой, Скворцов, Победоносцев, Рачинский, но и Тютчев, И. С. Аксаков, Страхов и Данилевский.

Кончина Л. Н. Толстого

Умер Толстой. — человек, с которым был связан бесконечно разнообразный интерес, бесконечно разнообразное значение... Будут со временем написаны томы об этом значении. В эту первую минуту потрясающего известия хочется сказать, что Россия утратила в нем высочайшую моральную ценность, которою гордилась перед миром, и целый мир признавал, что у него нет равной духовной драгоценности: мы же, русские люди, потеряли в нем великую душу, которая нас согревала теплотою своею, изъясняла художеством, улучшала высокою требовательностью к достоинству человека, волновала муками своих колебаний и сомнений. Нет русского человека, из всех грамотных, кто со смертью Толстого не потерял бы чего-нибудь личного в собственной своей душе: до такой степени каждого грамотного он когда-нибудь чем-нибудь напитал, воспитал. Это — касается всех; но как много есть людей, которым он дал все их умственное и нравственное богатство, которых он был учителем и руководителем.

Потеря литературы, нашей и всемирной, невознаградима. Он был огромным метеором, к которому точно прилипали светоносные частицы русской души и русской жизни: и вокруг него, за ним, позади его — ничего не видно в теперешней литературе, кроме черной и безнадежной пустоты. Страшно остаться с этою пустотою, особенно страшно после него, его великой образцовости, которая всех сдерживала, усовещевала, останавливала на границе безобразия. Самым *бытием* своим Толстой был великим *цензором*: «упорядывающее» значение его литературы — бесконечно...

Умер он трагично и жестоко: но какая смерть не трагична и не жестока? Однако в этой смерти есть нечто и прекрасное, исключительное по благородству и оригинальности. Кто еще так странно, дико и великолепно умирал? Смерть его поразительна, как была и вся его жизнь. Так

умереть, взволновав весь мир поступком изумительным,— этого никто не смог и этого ни с кем не случилось... Фатальна была жизнь его, фатальна и смерть. Вся Русь единомысленно сейчас у его бездыханного тела. Вся Русь будет мыслью возле его гроба. И надолго мысли и сердца потянутся к его могиле. И да будет здесь соблюдена та великая тишина, о которой он так молил в предсмертном письме, к которой он рвался в последние дни жизни, как величайшему идеалу своему, как к «единому на потребу».

Толстой в литературе

Душа его *отлетела*; но в творениях душа Толстого остается с нами... Что не отразилось в них? От колыбели до гроба, от царя до крестьянина, от сподвижников Александра I до треволнений начала XX века все живет, дышит, говорит, думает в его великих созданиях. Это — целая культура. С его живого образа, который от нас ушел, мы должны перенести свою любовь на его книги,— перечитать их, пережить, почувствовать; должны многое воплотить в своей нравственной личности и жизни. За последние годы волнение, образовавшееся около Ясной Поляны, несколько задвинуло собою от глаз повседневного читателя первые классические его произведения, особенно «Войну и мир», которая даже подернулась точно пылью археологии. Но вечно жива и молода эта «Война и мир»,— и пыль нагнала на нее наша беззаботность, наша сутолока и толчея общественная, наше легкомыслие и невнимание. Теперь пришло время сдуть эту пыль. Пусть Толстой встанет перед нами именно в этом самом обширном и самом законченном своем творении,— в творении самом историческом. Именно оно, своим содержанием, открывает ту удивительную эпопею русского общества и отчасти даже народа русского, каковою являются все его произведения, их сумма. «Война и мир» — главный корпус этой обширной, сложной и разнообразной постройки; к нему прибавлялись флигеля, этажи. В «Анне Карениной», «Власти тьмы», «Плодах просвещения», «Воскресении» — раньше в «Очерках Севастополя», «Детстве и отрочестве», «Казаках», «Двух гусаках» и других мелких рассказах дана история русского общества, всех ярусов, всех классов, за целое столетие от первых его лет и до последних. Вот эта-то история общества и предлагается нашему изучению. На ней мы можем воспитаться в самосознании. Никто так обширно не творил, как он: около его картин создания других наших поэтов и художников являются картинками, рисуночками, лишь там и здесь дополняющими великую эпопею Толстого.

Между Пушкиным и Гоголем он встал, склонившись всецело к Пушкину и не имея почти ничего Гоголевского. Именно живопись Толстого

своим положительным отношением к русской истории и русской жизни уравнивала гениальные отрицания малоросса Гоголя; уравнивала, притупила и сгладила. Толстой слишком нас убедил, что Россия — не страна «мертвых душ». Духовная красота лиц, им выведенных, тонкость их быта и образов, сложность их духовной жизни — от семьи Болконских и Ростовых до вечно мятущегося Левина, — так велика, что ею зачаровалась и Европа. И никто дерзкий не повторит сейчас, что Россия создает только типы Чичикова да Собакевича.

Толстой — положительный писатель. Он — творец положительных идеалов в жизни. Эта его положительная сторона своим талантом, гением сводить на «нет» отрицания последних годов, какие он высказывал; высказывал уже слабеющим голосом и нетвердую руку.

Нравственный мир или, вернее, нравственное море, волновавшееся около Толстого, имеет также ясное в себе средоточие: это — вера в *душу человеческую*, которая стоит выше царств, учреждений, законов, политики, борьбы партий, всего... От Платона Каратаева в «Войне и мире» до старичка Акима во «Власти тьмы» он пронес один и тот же идеал: кроткого человека, покорного воле Божией. Никогда Толстой не замечал себя иначе чем на минуту ни в одну партию, ни в одно «направление общественной жизни», сочувствуя многому здесь, но ничему вполне не отдаваясь. Единственно, чему он себя отдал, — это *красоте души человеческой*, непритязательной, простой, обыкновенной... Здесь мы также должны вспомнить удивительный образ Николая Ростова в «Войне и мире». Толстой даже не любил излишеств ума; излишества философии — не выносил. Он любил «отречения» — и именно «отречения» от сложных и искусственных умственных построений (Левин, Пьер Безухов). Его запутанная философия последних лет является поэтому чистым недоразумением и объясняется едва ли не в большей части давлением на него «друзей»...

Также чистым недоразумением является его расхождение с церковью. По основным идеям, по основному влечению: 1) к простой жизни и простоте выражения лица человеческого, 2) к отречению от мира, вернее — от суеты и «бестолочи» мира, — он, можно сказать, до жадности прильнул к церковному идеалу. Единственное, чего он мог не любить — пышность, «пышные церемонии», «пышные одежды» и проч. Но ведь явно же, что это — пустое, побочное. На этой мелочи возникла известная сцена, говорят, вяло написанная в «Воскресении» Толстого, где он пересмеял литургию. Но *сам* он эту сцену зачеркнул, и только «друг худший врага» Чертков восстановил ее и напечатал в заграничном издании «Воскресения». Прочтя эту сцену, где они все осмеивались в своей службе, в своем обряде, «большие владыки» были оскорблены и поднялся (не в Синоде, но по инициативе местного преосвященного, затруднявшегося, как в случае смерти хоронить Толстого, и сделавшего об этом запрос в Синод) вопрос о его «православии», а затем почти

неволью и непредвиденно сложилось и отлучение. В возбуждении последнего Победоносцев не играл никакой роли, не имел никакой инициативы. Так кратко рассказал это дело митрополит Антоний небольшому кружку писателей, среди которых был я. Явно, что все это — мелочь, не затрагивавшая ни существа церкви, ни существа Толстого. Они разошлись, так сказать, не центрами, а где-то на периферии. Центрами же они скорее глубоко совпадали. Здесь я не могу не передать одного поразительного восклицания-признания, какое у Толстого вырвалось в единственном нашем свидании. Он (почти больной) позвал меня в кабинет для разговора наедине. Привлекательнейшую сторону разговора составляли мелькавшие среди рассуждений «примеры из народной жизни», какие он видел и которыми он пояснял или подтверждал свои взгляды. Видя эту его любовь к народу, к мужику, к простому русскому человеку, я сказал:

— Но, Лев Николаевич, все это, о чем вы говорите и что считаете правдой и красотой русской души, он вынес из церкви, из ее незаметных вековых нагнетаний и веяний... Вся церковь наша проста и немудряща, убога и терпелива... Т. е. по духу своему, по молитвам, вековому внушению народу.

Он был очень слаб, да и разговор тянулся больше часа. В руках у него была палочка, на которую бродя (в зале) он опирался. Сидел он, весь изнеможенный, глубоко в кресле.

— Знаю я это!!! — и он вскочил весь страшно взволнованный и стукнул палкой об пол.

Только моя рассеянность, или то, что я ошеломлен был его волнением, «пришел в смуту», — помешала мне поднять «этот кончик ниточки» и повести дальше к тому, что ведь никаких нет причин для расхождения «Церкви» и «Толстого». Нет причин главных, «в совести», — а только в каких-то глупых рассуждениях, в «рациональной» и «философской» стороне дела. Не «Аким-простота» расходился с Церковью, а «князь Андрей Болконский» в молодую и гордую и самоуверенную свою пору. Еще, пожалуй, точнее — это было одно из вечных «уклонений» и «забреданий на чердак» гениального и доброго и правдивого Пьера Безухова, который отождествил Наполеона с антихристом по каким-то своим математическим вычислениям.

Это — с одной стороны; с другой же — какая-то канцелярщина: необходимость на «бумагу с номером» тульского архиерея ответить «бумагою за номером» из Синода. Словом — «обыкновенное русское».

Что хотят, пусть говорят: для меня Толстой есть православный из православных, по духу, по жизни, по образу. «Православный с приключениями»... «Каковы мы все...»

И пусть молят все Русские за душу его привычными молитвами. Ну, про себя, ну дома, все равно. Как-нибудь. У нас все «как-нибудь», и даже это и есть самая суть православия. Да не поднимется ни один злобный и *разделяющий* голос. Как Толстой не любил «разделений»!

Забывтое возле Толстого...

Великое «не сотвори себе кумира» — остается интимным и около могилы. В множестве речей, звучавших недавно о Толстом, почти отсутствовало связывание его с предшествующею литературою; почти отсутствовало воспоминание о Пушкине. И *от одного этого* все речи звучали риторикой. «Он один», «он наш», «им все кончилось», и чуть-чуть не договаривали в преувеличении, что им «все началось».

Между тем «единственный-то» и «всеобще наш, русский», — *без разделений и до разделения* — остается все-таки милый и прекрасный, всемирный и великий Пушкин.

Сейчас же и около самой могилы Толстого, и нисколько не в ущерб ему, даже не расходясь с ним в мнении, — мы должны сказать, и должны особенно не переставать твердить это в лицо всему миру, теперь уже читающему по-русски, — что гений Пушкина неизмеримо выше и чище, спокойнее и универсальнее, наконец прямо могущественнее и поэтичнее гения Толстого.

Как могущественнее его и гений Гоголя и Лермонтова.

Не торопитесь кричать и выслушайте.

Величие гения заключается в силе; а сила достаточно определяется немногими страницами, одной «вещью». «Анчара» все-таки не написал и не *смог* бы написать Толстой, — сколько бы ни усиливался и в минуту величайшего своего вдохновения. А Пушкин написал «так просто», — в одно утро, «когда шел дождь». Вот пока дождь шел, он и написал «Анчара». А ведь «Анчар» — эти 18—20 строк, стоят «Казаков», одной из жемчужин в короне Толстого. Я даже решусь сказать, что «Анчар» так же содержателен, всемирен и страшен, как «Смерть Ивана Ильича».

Такой прелести, такой изумительной прелести, как «Моцарт и Сальери», Толстой ни одной не написал. Это было выше его сил и выше *красоты его гения*. Красота гения Толстого — высока; но гений Пушкина не только выше, но *неизмеримо* выше, чем гений Толстого.

А его «Скупой Рыцарь»:

А л ь б е р

Ужель отец меня переживет?

Ж и д

Как знать? Дни наши сочтены не нами;
Цвел юноша вечер, а нынче умер,
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу.

Это так же хорошо, веще, страшно, как «Смерть Ивана Ильича»...
Только ведь это всего пять строк!!.

Далее — Лермонтов. Возьмем прозу. Такой прелести, как «Тамань», — ни одной нет у Толстого. Сложнее, больше, интереснее, — конечно, есть: но это не решает вопроса о *качестве* и *силе*; «качество» и «сила» в *слове* — это только прелесть. Конечно, Толстой дольше жил, больше видел, наконец, он жил в неизмеримо более зрелую эпоху, — и естественно написал более интересные вещи, чем крошечная «Тамань», почти к тому же лишенная содержания. Но не только «Тамань», но и еще «Отрывок неоконченной повести», где упоминается дом «Штос» и играют в «штос» так изумительны по *форме*, по *стилю*, — что ни одно произведение и ни одна отдельная страница у Толстого не сравнится с ними.

Ни с стихотворением:

Из-под таинственной, холодной полумаски
Звучал мне голос твой, отрадный, как мечта...

И создал я тогда в моем воображении
По легким признакам красавицу мою.

И все мне кажется: живые эти речи
В года минувшие слышал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся, как старые друзья.

Вся публицистика Толстого, занимающая несколько томов, слабее и менее *впечатлительна*, чем лермонтовские «1-е января», «Люблю отчизну я, но странною любовью» и «Дума» («Печально я гляжу на наше поколенье»)... если присоединить к этому «Кинжал» и «Пророк», — то блеск Лермонтова, блеск и могущество, совершенно зальют ватные «Размышления о московской переписке» и «Что я видел в Ржановском доме». «Видел» то, что мы все увидим, если пойдем; а «рассуждения» таковы, что от них никто не побежал в Ржановский дом «тоже посмотреть». Но прочитав «1-е января» — вскочишь... У Лермонтова была такая сила, что, «выпади случай» — и он мог бы в неделю поднять страну. Просто — вскочили бы и побежали; у всех затуманились бы головы.

Толстой всю жизнь хотел «поднять»; ему ужасно хотелось «поднять»... Это заметно. Но его ватные рассуждения и призывы никого не поднимали, кроме малокровных и анемичных... Он был разительно *бессилен в слове*. И знаете, отчего?

У него не было *стиля*... Вот того именно, что «вдруг всех поднимает»: чему нет сил *сопротивляться*. Вчитайтесь в прозу его, где угодно, в самом лучшем месте: психологически — бездна, наблюдательность — изумительная, благородство тенденции выше всяких похвал. И, словом, «мудрец», «как бы Будда». Но ведь «Будда» — одно; а «великий писатель», «ковач таинственного слова», которое всех завораживает и поднимает, всех зачаровывает *формой* — совсем другое. Толстой — великий человек. Толстой — великая жизнь. Полная глубины и интереса, полная благородства. В этом отношении и Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов перед ним ничтожны, пигмеи. Ну, какая их была «жизнь»? Нечего

рассказать, и, знаете ли: стыдно рассказывать. До того мелка, мизерна. Да, но это совершенно другое, чем «писатель» (ковач слова). Толстой не был «великий писатель». И это просто определяется тем, что он даже без стиля...

Речь его, рассказ его, страницы его все матовые... Точно «не закаленная сталь»... Или день без солнца, по крайней мере без зноя. Возьмите же Гоголя, — о «бронзовой булавке в виде пистолета» у прохожего (начало «Мертвых душ»); тут африканское солнце палит, жжет, делает черную кожу с первого прикосновения. Магия. Радий Слова. У Толстого везде «без радия», — все обыкновенные вещества.

«Песнь о купце Калашникове»: страшно выговорить, а ведь это не меньше «Войны и мира». Ну, так же полно, так же до глубины, так же страшно *реально* живет целая эпоха, и какая от нас дальняя, в стихотворении в 10 страниц...

Вот это — сила. Тут огромности гения нет пределов... «Это — божественно»...

И у Пушкина, Лермонтова, Гоголя все «божественно» в самом серьезном смысле.

У Толстого же все человечно, «наше»... Толстой не супранатурален, а только натурален.

* * *

Но, однако, «собрания сочинений» трех названных родоначальников русской литературы, поставленные около целой «библиотеки», составленной из «всех произведений Толстого» — бедны, неинтересны, *бессодержательны*. Боже мой, до чего убоги *по-сюжету* «Мертвые души» около «Войны и мира» и «Анны Карениной». Что же это такое? да и у Пушкина сюжет или ничтожен, или вымышлен. Ведь его «Моцарт и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Пир во время чумы» суть просто *пушкинские фантазии*... Что же все это значит?

Жизнь русская была страшно неразвита еще тогда, психологически и общественно. Какая-то вечная, и от начала до конца, — деревня. И никаких «сюжетов» кроме деревенских. Мужик и барин, лакей и ямщик, да еще «полицеймейстер», да еще «господин прокурор». И некуда дальше «пройти», кончен «русский мир»...

Ко времени Толстого, и особенно ко второй половине его жизни, «русский мир» бесконечно вырос... До неузнаваемости: в «дней Александровых прекрасное начало» и предполагать было нельзя...

И Толстой вобрал в себя всю эту сложность жизни; и творчество его, по сюжетам, по темам, — по *всемирному интересу и всемирной значительности тем* — заливает также сюжеты Гоголя, Лермонтова, Пушкина, как те красотою слова заливают Толстого.

Вот разница, происхождение и связь.

Страшно выросла *душа русская*; страшно поинтереснела. Если сравнить Анну Каренину с Татьяной Лариной — это точно женщина и «ребенок», точно «жена и мать» около вечной пансионерки, непредвиденно

вышедшей замуж, но, в сущности, и после этого остающейся тою же «девой», с луной и нянюшкой. Прелестно, но не занимательно. Есть на что взглянуть: но «рассказать» решительно не о чем; «рассказать дальнейшую биографию» просто невозможно, потому что, в сущности, ее нет и она и невозможна.

Прекрасный беленький цветок...

Жила — умерла.

К «нашим временам» сделалось, что «родиться — ничего не значит», — а вот «ты *проживи-ка жизнь*», или еще: «проживи-ка ее, окаянную». При Пушкине «окаянства» — не было. А с «окаянства», — как учит история грехопадения, — и «начинается все»...

«Пошли длинные истории»... И миниатюрная Татьяна развернулась в сложную, роскошную, с страшною судьбою Анну. «Такую грешную, такую несчастную, такую незабываемую»...

О которой так болит душа...

И болит она об Иване Ильиче... Об умершем прокуроре Гоголь только буркнул: «умер». А что рассказал Толстой о таком же «обыкновенном человеке»!... Да, стали *сложнее умирать*, потому, что стали *сложнее жить*.

Стали метафизичнее умирать: разве не вполне метафизична смерть Анны?

Появились загадки. Ужасы. Появилась тоска, грех. Толстой страшно «распух» от всего этого, от этого богатства русской жизни, которая теперь уже волнуется, как океан, а не течет, как речка.

И как-то задумаешься: а что же будет дальше, через 100 лет? Обыкновенно предполагают, что «чудеса» явятся в технике: но «чудеса» явятся в самом человеке... От «прокурора» до «Карениной» больше расстояния, чем от «проселочной дороги» до «железнодорожных рельсов»... И это неизмеримо более интересное и многозначительное расстояние.

А. П. Чехов

Голубые озера, голубой воздух, — панорама природы, меняющаяся через каждые десять верст, какие делает путешественник или проезжий, — очертания гор, определенные, ясные, — все занимательно и волшебю с первого же взгляда. Это — Швейцария.

Люди бодры, веселы. Здоровье — неисчерпаемо. В огромных сапожищах, подбитых каким-то гвоздеобразным железом, с длинными и легкими палками в руках, с маленькими и удобными котомочками за спиною, они шагают по своим горам, с ледника на ледник, из долины в долину и все оглядывают, рассматривают, должно быть, всем любуются.

Я всматривался в этих людей. «Вот гениальная природа и гениальный человек»... То есть «должно бы быть так». Ведь человек — конечный продукт природы. Откуда же взяться человеку, как не из природы? И я вглядывался с непременным желанием любить, восхищаться, уважать.

Лица — веселые, а здоровье такое, что нужно троих русских, чтобы сделать из них одного швейцарца. В Женеве, на общем купанье, я был испуган спинами, грудями, плечами мужчин и не мог не подумать, что этот испуг должна почувствовать каждая женщина, к которой подходит такой человекообразный буйвол, «и тогда как же и на ком они женятся» и вообще «как устраивается семья у таких буйволов». Я представлял тшедушных, худеньких, измученных русских женщин, каких одних знал в жизни, и естественно не мог их представить в сочетании с такими буйволами.

И я еще думал и думал... Смотрел и смотрел... Любопытствовал и размышлял.

Пока догадался:

— Боже! Да для чего же им иметь душу, когда природа вокруг них уже есть сама по себе душа, психея; и человеку остается только иметь глаз, всего лучше с очками, а еще лучше с телескопом, вообще некоторый стеклянный шарик во лбу, соединенный нервами с мозгом, чтобы глядеть, восхищаться, а к вечеру — засыпать...

Сегодня — восхищенье и сон...

Завтра — восхищенье и сон...

Послезавтра — восхищенье и сон.

Всегда — восхищенье и сон.

Вот Швейцария и швейцарец во взаимной связи. «Счастливая семья»... Кто же рассказывает и даже как можно рассказать историю «счастливой семьи»? История, «судьба» начинается с разлома, крушения, болезни, страдания. Не страдай так ужасно Иов, можно ли бы было написать «Книгу Иова»?.. «Книга Иова», вот эти *тридцать страничек*, которые читаются в течение тридцати веков... Но, Боже, стоит минуту подумать, чтобы понять, что «Книга Иова» есть сама по себе *факт*, сама по себе *история, действительность*, и притом такая, в которой материи, содержательности, крови, нервов и жизни более, чем в каком бы то ни было Иове, жил он или нет, страдал или не страдал. Иов, положим, промучившийся в проказе тридцать лет. Да, страшно! Ярко! Потрясает! Льешь слезы. Однако он умер, и все умерло. Извержение на Мартинике погубило тридцать тысяч человек: но все умерло и прошло, и ужасный в жестокости человек уже теперь не помнит о них или очень мало вспоминает: все *конкретное* — увы! — краткотечно и как-то остается «без последствий»... В «Книге Иова» гораздо больше жизни, души, силы, действительности, нежели было всего этого в самом Иове, а между тем, не страдай Иов, не появилось бы и «Книги Иова».

Что же такое страдание человека, единичное, личное, «вот это страдание»? Зерно, из которого иногда вырастает дерево, могущее затенить всю землю.

И придет под прохладу его усталый и отдохнет!

И пройдет прохожий и скажет: «Я никогда не видал такого дерева».

И окрестные люди говорят: «Ни у кого нет этого, что у нас. Это нам послал Бог, сиротливым и неумным, такое чудо и мудрость, и могущество. Все приходят сюда и дивятся».

Вот Иов и человечество...

Но все от того, что кто-то написал для человечества «Книгу Иова».

Без этого — ничего...

Зачем швейцарцам история? Зачем швейцарцам поэзия? Зачем музыка? У них есть красивые озера...

* * *

Тусклые звездочки, холодное солнце... да и тех двести дней в году не видно. Дождит, вечно дождит... За городом не столько природа, сколько болото. Да, есть цветы — на кладбище. Лучшая береза, с развесистыми ветвями — там же. Мне два года случилось выжить в городе Белом Смоленской губернии; там единственное место гулянья было кладбище. И я, помню, с молодой женой, только что повенчавшись, ходил гулять туда. Больше решительно некуда пойти. А природы хочется, в «медовый-то месяц»...

Незабываемо была там баба над могилой. Впервые услышал *живые* причитанья...

А молодому хочется жизни... «Ну, какая жизнь в России». Посопим.

Воет ветер в поле. Истории — ниоткуда. «На кой тебе леший история?» — озирается злобно на вас полицейский. Да, в Белом была история: именно, интеллигентные старожилы уверяли, что «Белый», с мужским окончанием, это теперешнее имя города, а некогда он назывался «Белая», с женским окончанием, «потому что была крепость *Белая*, защищавшая Московское государство от набегов Литвы, с земляным валом. А остатки вала это и есть вон те бугорки, что сейчас поднимаются за кладбищем. Но когда Польшу присоединили к России и вообще все это кончилось, то *Белая* естественно переименовалась в *Белый*».

— И больше ничего?

— Ничего.

«На кой тебе леший история?» — это как-то звенит в ушах, в душе... «И без нее спокойно: вон кажинный день предписания от начальства. Опять убили в Косой улице; начальство предписывает — разыскать. А как его разыщешь, когда он убежал? Поле велико, лес велик, — где его искать? Убили — Божья воля. А начальство сердчает: ищи, говорит».

И запахиваешься туге в пальто, в шубу, — смотря по времени года. Идешь с кладбища домой. Скидываешь пальто, отряхивая снег или

дождь с него. «Дома» натоплено, тепло, тепло, как за границей решительно не умеют топить домов, — нет таланта *так* топить. И садишься за самовар, «единственное национальное изобретение». Самовар же вычищен к «кануну праздника» ярко-ярко... И горит, и кипит... Шумит тихим шумом комнатной жизни. Белоснежная скатерть покрывает большой стол... И на подносе, и дальше вокруг около маленьких салфеточек расставлены чашки и стаканы с положенными в них серебряными ложечками... И сахарница со щипчиками, и чайник под салфеткой. Сейчас разольется душистый чай.

И будет сейчас всем хорошо. Тоже «как не бывает за границей». Несется небольшой смехок, без злобы:

— Дверь затворите крепче, чтобы полиция не вошла. Черт с ней! Не дает она нам настоящий истории, так будем жить маленькими историями.

«Маленькими придуманными историями»... Вот Тургенев в его рассказах. Вот весь Чехов.

...Небо без звезд, без силы, ветер без негодования, непогодь, дождь, серо, сумрачно, день, не отделяющийся ярко от ночи, ночь, не отделяющаяся ярко от дня, травки небольшие, деревья невысокие, болотце, много болотца; и дальше, на черте недалекого горизонта — зубчатый частокол «тюремного замка», еще дальше — кладбище, а поближе сюда желтая гимназия, в сторонке — белая церковь с колоколом и крестом, — вот обстановка Чехова, в которой он рос и захворал, и все запечатлел в уме своем под углом этой серости и бессилия, этого милого и недолговечного.

Чехов жил и творил в самый грустный период нашей истории, кульминационно-грустный. Он не дожил до «освободительных дней», и так как самые дни эти пришли случайно, в связи с непредвиденною войною, то в нем и не было никакого предчувствия взрыва, ожидания его. Гладко позади, гладко было и впереди... По этой глади шел он, большой раннею чахоткой, о которой знал язвительным знанием медика.

Мне передал о нем один человек, близко его знавший и горячо любивший:

— Мы как-то встретились с ним в Москве... Я был на перепутье, проездом через Москву... Он и говорит мне раз: «А не пройдемся ли мы на кладбище (такого-то) монастыря? Смерть люблю читать надписи на надгробных памятниках. Да и вообще люблю бродить среди могил»... И это бывало не раз. Я уступал ему. И, бывало, мы бродим, бродим... Какие попадаются надписи — то ужасно смешные, то замысловатые, то трогательные. Это еще не разработанная часть русского словесного творчества.

Какой вкус... Но как это похоже на Чехова, как идет к нему.

Другое сообщение чрезвычайно меня удивило. Оно шло от того же человека и, я думаю, совершенно достоверно. Было передано просто как удивительный факт, без тени осуждения.

— Антон Павлович раз приехал в Рим. С ним были друзья, литераторы. Едва передохнув, они шумно поднялись, чтобы ехать осматривать Колизей и вообще что там есть. Но Антон Павлович отказался; он расспросил прислугу, какой здесь более всего славится дом терпимости, и поехал туда. И во всяком новом городе, в какой бы он ни приезжал, он раньше всего ехал в такой дом. Удивительно!

— Вполне удивительно!!

Рассказывавший не сказал мне, что он ездил туда *не* «для себя» и что вообще это не было с теми целями, с какими обычно делается; но из всего хода рассказа, передачи видно было, слышно было, что Чехов любил это как *сферу наблюдения* или как обстановку грез, мечты; может быть, как стену *противоположности*, через которую пробивалась его идеалистическая мысль и, пробиваясь, становилась энергичнее в действии, в напряжении. Бог знает. Можно разное объяснить. Мне и на ум не приходит объяснить в дурную сторону, дурным любопытством. Тут что-нибудь глубоко-грустное, какая-нибудь такая глубокая «своя дума» у Чехова, которой он даже и не рассказал и не рассказывал приятелям «в объяснение», которое так естественно ожидалось бы. Скажу только, что с юности грустный Гоголь вывел же в «Невском проспекте» встречу художника-мечтателя с «такой барышней»... Тут, в этих встречах, что-то острое, печальное, жуткое и страшное. Но я нахожу, что этот дикий вкус в Риме, — в *самом* Риме поехать «первым визитом» именно сюда, — как-то совпадает со вкусом пойти и погулять по кладбищу...

Ведь и *там* смерть, и *здесь* смерть... Там — смерть человека, индивидуума; здесь — смерть цивилизации, общества, фазиса культуры и истории.

«Люблю видеть, как человек умирает. Жутко, страшно. А так хочется заглянуть».

Чувство медика. В особенности больного медика. Может быть, что-нибудь объяснит в этом вкусе Чехова та прибавка к рассказу, какую я выслушал, когда все продолжал удивляться:

«В этом отношении был похож на Чехова еще один наш писатель».

И рассказчик назвал одно из аристократических имен литературы: не то гр. Алексея Толстого, или Сологуба, или Плещеева. Во всяком случае писателя без малейшей порнографии.

— Он любил целые вечера просиживать в зале таких домов. «Я полузакрою глаза. Несется ихняя музыка. Танцуют. Пары уходят и возвращаются. Все как следует. И я переносусь в прошлое и воображаю, что сижу на вице-губернаторском балу».

Я передаю сообщение буква в букву. Пусть разбирается читатель в том, в чем я не умею разобраться.

Но почему-то *именно* в Чехове мне нравится это слияние... «Тут есть что-то чеховское», — от этого впечатления не отвяжешься.

— Кладбище. Могилы, эпитафии...

— И зала с музыкой. Барышни в розовом, удаляющиеся с кавалерами...

И он грезит. Он, Чехов...

— А что мне Колизей? Мертвечина. Декорация прошлого — и черт с нею. Я живой человек, и мне не долго жить, я болен, но я ни минуты не отдам на этот раззолоченный славою Колизей, ни на св. Петра с его пилигримами. А пойду-ка я лучше в дом... и увижу настоящее, живое, трепещущее и руками медика пошупаю ребра у больных, у падающих, у искалеченных и, однако же, все-таки лучших и прекраснейших по присутствию в них жизни и действительности, нежели сто Колизеев, вместе сложенных. Черт с ними... Вы — обыкновенные, и вам надо смотреть Колизей, чтобы из надуманной души вытащить несколько надуманных же ощущений, а я — особая статья, Чехов, и вот пойду в б...

Что-то в этом роде, должно быть, шевелилось у него.

* * *

Когда я читал его «Баб», то сухим, деловым глазом исследователя вопроса видел, что этот очерк-рассказ должен быть введен целиком в «Историю русской семьи», в «Историю русского быта», «В историю русской женщины». Но особенно — в первую. Только одна вялость русской души, выросшей между кладбищем и б..., сделала то, что никто не застонал над рассказом, никто не выбежал на улицу и не закричал и вообще не совершил того скандала, после которого уже нельзя прятать шило в карман. «Мы не жиды и дела Дрейфуса не подыдем». Собственно, начальство на это и рассчитывает: «Русские — паиньки» даже в случае несчастья пропустят в горло лишнюю рюмочку и уснут обломовским сном, без сновидений и привидений». У нас «какая леди Макбет», — сто человек зарежут и только потребуют кусок брокаровского мыла. Нет, в самом деле, ну, только одного человека, всего ведь одного, и даже буржуа, богатенького, без особенных улик обвинили в измене и сослали на ихний остров Сахалин, — начался «гвалт», сто, тысяча голосов закричали во Франции, а затем *заставили* кричать и во всей Европе, наконец в целом свете; кричали четыре года и заставили вернуть с Сахалина... одного человека, всего только одного! Это отдает песками Аравии, солнцем Сирии, «Книгой Иова», авторов этой книги, коллективных, народных. «Око за око»... У нас хоть ломай всем руки и ноги, никто у тебя за это подушки из-под головы не выдернет, никто из шевелюры волоса не вынет. 1) «Обязаны просить», 2) «Во всяком человеке есть искра Божия, в том числе и у ломающего руки и ноги», 3) «Ведь уже все прошло, ноги-то и руки поломаны, ничего не воротить», — зачем же чужую шевелюру портить? и 4) и фундаментальное: «А какое нам до всего этого дело? Мы пьем чай из хорошеньких чашечек, которые в случае дела Дрейфуса могут и разбиться». Наши «Рюрики, Синеусы и Труворы» это хорошо знают и как о Сахалине, так и о Шлиссельбурге полагают, что русский человек никак из-за этого не поднимет *фактичес-*

кой истории. «Напишет горячую статью в журнал, но затем — все успокоится».

Мы народ не мстительный и давно живем под заветами евангельского прощения. «Вот и Л. Н. это же говорит». «Рюрикам» все на руку.

Ни русская юриспруденция не обеспокоилась «Бабами», ни духовенство. А. Ф. Кони так же остался величествен и недвижим, как и митрополит Антоний, благожелательный не менее Кони. Если бы они рассердились на русскую действительность за «Баб», они испортили бы безоблачно-доброе выражение лица своего и вообще покачнули бы ту репутацию, приобретение которой стоит столько жизненного труда. Лишние нервы портят физиономию. В «Бабах» рассказывается, как русский простолюдин, у которого отлучилась жена, сходится с бабою и прижил от нее ребенка. Затем, когда жена к нему возвращается, то он читает этой бабе наставительное рассуждение об ее нехорошем поведении, говорит, что «теперь эти глупости надо оставить» и вообще приходит в норму, порядок и законность. «Все как следует»... Все эпически спокойно. Рожденный мальчик, уже подрастающий, торчит тут же на телеге, никому ненадобный. «Все как следует», «все — по-христиански». «По-христиански»: 1) согрешил — без этого человек не живет, для искупления таких грехов и Христос пришел на землю; а потому 2) «надо покаяться после греха» и «вернуться на добрый путь». Об этом Христос говорит в притче о блудном сыне, да и вообще это — само собою. Но все это — с *личной точки зрения*, как перипетии *моей личной судьбы*: Евангелие обществом не занимается, а «спасает только душу». Торговец, «спасающий свою душу», естественно, когда вернулась к нему жена, и возвращается к ней; а той женщине что же он скажет, кроме того, что она — дурного поведения, и даже он с нею «вот нагрешил». «Все по-истине, по-христиански», и женщине, как и мальчику ее, только остается подумать: «мы же должны простить его», — потому что древнее *око за око* отменено высшим законом евангельской любви. Все «утрачивается» и «закругляется» в такой порядок, исторически высший и окончательный, что...

Но и у Кони, и у митрополита Антония такие хорошенькие фарфоровые чашки, что они никак их не разобьют ради этой бабы и ее мальчика.

«Все-таки уютно на Руси»... Ну, не на всех хватает счастья, ну — и что же. И Мессина тряслась, и в Мартинике было извержение. Позвольте, да в самом Евангелии и притом Сам И. Христос говорит: «Повалилась башня и задавила многих... Грешных ли одних? Нет, но и праведных».

Баба эта и мальчик ее попали в число «задавленных праведных». Но раз сказано, что о них нечего спрашивать, то *кто* же и *как* будет спрашивать? «Солнце восходит над добрыми и злыми»; вот оно взшло и над мужичком, любившимся с бабою, когда вернулась жена. Даже если он «хуже разбойника», то опять ничего, ибо сказано, добром

раскаившемуся разбойнику сказано: «Днесь будешь со мною в раю». Вернувшись к жене от той бабы, разве он не «раскаялся в поведении»? Даже до того, что стал учителем. Но мысль: «солнце восходит над добрым и злым» естественно имеет дополнение: «а когда заходит солнце — то ночь наступает для злого и *доброто*». Баба опять как попала под Силоамскую башню, так и под эту «ночь» недоговоренной притчи...

— Ну, и темно, ну, и Бог с тобой, и плачь... Ныне свет Христов пришел,— и тебя никто ровно не заметит, ибо ты уже обработана и в притчах, и прямым учением.

Не могу объяснить, но как-то брезжится, что написавший этот сюжет, написав в строках такой ужасающей правды, простой и *спокойной*, естественно, заехав в Рим, должен был поспешить не в Колизей, чтобы посмотреть новость, а в такой дом, который ему и на Руси давно пригляделся. «Наша старая правда, наша христианская правда».

Бабы, так как их «задавила Силоамская башня» и по жребию им выпала «ночь», утешаются хоть орехами и подсолнечниками. Тут же у Чехова рассказано, что, когда мужья их заснули, одна толкнула другую в бок и прошептала:

— Ин, сноха, пойдем, побалуемся с семинаристами.

Это приезжие к попу сыновья, из семинарии, уже кончавшие курс: кони хорошие, выросшие на хорошем овсе. «Все над добрым и злым», и «сперва постранствуем в грехах, а потом будем обедню служить».

Все округляется во что-то доброе и милое. Мила наша Русь круглостью. Ведь какой круглый был Платон Каратаев (в «Войне и мире»). Столько жил и ни на что не сердился. Его наконец застрелили, но он и тогда остался «круглым». Решительно, солнышко на Руси не заходит. Холодноовато оно, но зато уж не заходит.

Близко к полюсу.

* * *

Когда Чехов написал «Мужиков», то произвел переполох в печати,— он, такой тихий и бесшумный всегда. Не знали, как отнестись к ним. Хвалить? Порицать? Мужики были так явно несимпатичны, между тем как печать уже несколько десятилетий была соединена с мужиком «симпатией». Не хлебом и чаем, а «симпатией». «Мужики», впрочем, повторяли то, что было о них сказано в странной «Власти тьмы» Толстого; но у Толстого это было сказано как бы для «христианского примера», а у Чехова без «примера» сказано, а так, просто, что вот «есть». Это «есть» ужасно жгло сердца и оскорбило интеллигенцию тем, что она не знала, как к этому отнестись. «Любить» явно можно только симпатичное, а тут?..

— Они не любви просят, а хлеба. Работишки, хлеба или земли.

Все было поставлено жестко, экономично. Тут Чехов писал рукою не беллетриста, а медика. Почти центральное место в рассказе есть одна строка:

Он у нас не *добытчик*.

Это семья аттестует одного своего члена-инвалида.

«Не добытчик»... Это глупое, тупое слово, какою-то кувалдою стоящее в строке, слово такое не литературное, не тургеневское,— сосет-сосет вашу душу по ночам. Сперва ошпарило, а потом сосет.

— Куда же его, если он не добытчик?

Лишний рот в большой семье около маленького каравая. Скверные мысли приходят на ум. Ну, а если «недобытчик» захворает,— значит, его хворь не почувствуют другие так, как если бы заболел добытчик? Или если его ушибет камень, убьет гром? С «добытчиком» сделается,— и все ахнут, застонут; а с «недобытчиком»?..

Тут «закругления» Платона Каратаева разрываются: «недобытчика» вообще не жалеют, к «недобытчику» ничего не чувствуют,— и не по злобе, а *по усталости*.

— Все привыкаем не есть. Никак не можем привыкнуть. Все хочется, каждый день хочется... Хлебца и молочка. *Устали*, «привыкая»...

Ужасное «устали» за десять веков существования! Как не устать... Ну, и где же тут «десять заповедей» морали, куда приложить тут Нагорную проповедь Евангелия?..

«Блаженны ищущие и алчущие правды...»

— Нам бы хлебца.

Не совпадает.

«Блаженны, когда вас будут гнать и поносить»...

— Никто нас не гонит, и даже все «любят». Только проходят все мимо. Нам бы землицы.

Но о земле и хлебе Учитель жизни ничего не сказал.

Указал на Небо, что «туда надо стремиться». «Вот и Л. Н. подтверждает».

* * *

С изнурительною чахоткой в груди, неудачник-медик, с нуждой в деньгах, не большой и не острой, но «все-таки»,— Чехов прошел недлинный путь жизни, на все оглядываясь, все замечая, ни с чем бурно не враждуя, и вообще бурь в себе и из себя не развивая. «Штормы — в океане; на Руси какие штормы? Стелется ветерок». И безграничные равнины Руси, с ее тихими реками, вялой и милой зеленью все окинул он ласковым и печальным взглядом,— взглядом человека, который добирается до ночлега и обдумывает, будет ли он тепел, не придется ли опять заблудиться.

Он наблюдал, видел, рассказывал...

«Любовь? Где же вечная любовь?» — Не на Руси! «Верная любовь?» — Не по нашим нравам.

Какой-то почти «прохожий» человек, соседний человек, инженер, что ли, или чиновник, ухаживает за «женой ближнего», и с желанием непременного успеха. Жена — хорошая женщина, обыкновенная женщина.

У нее ребенок, мальчик. Тянется что-то 14-й год брака. «Инженер» нисколько ей не нравится. Но удивительно «хочет». Есть нагнетания воли, магнетизм воли, шопенгауэровское «хочу», — и волны этого чужого «хочу» захватывают ее. Но она честная женщина, вполне честная. Это уже я комментирую. В критическую минуту или накануне критической она играет со своим ребенком, прижимается к нему, старается вообще преднамеренно и нравственно отразить наступающую волну отбойной волной материнского чувства. Все правильно, верно, мудро, все по инстинкту. Но «канун» прошел, и наступил настоящий день. Зов повторяется, волна идет сильнее, — волна, ее затревожившая, — и она кличет отдыхающего мужика.

— Саша! Проснись!

— А? Что? — Храп продолжается.

— Саша, ты нужен мне. Проснись...

Муж все сопит в кровати.

— Беда идет, Саша... Если ты не будешь со мной, беда будет.

— Да оставь же ты меня, дай выспаться. — И муж повертывается на другой бок.

Жена спустилась с балкона, в аллею сада... Все «случилось»...

Что случилось? Как случилось? — «Все по-русски»...

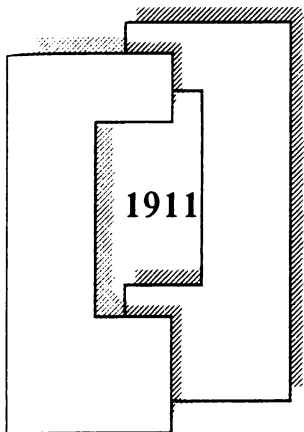
У нас штормов нет, рыцарства не было, даже дуэли не привились. «На нашу русскую точку зрения» даже все это представляется комизмом — и дуэли, и рыцарство, а уж штормы в особенности.

Тиха Русь. Гладка Русь. Болотцем, перегноем пахнет, «а как-то мило все». Отчего мило? Кому мило? Кто это рассказывает, — тому мило, кто это видит, — тому мило, да, по правде, и всем нам мило. «Ко всему привыкались».

И задумчивый художник, с полукритикой, без возможности протеста и борьбы, шел и шел... к ночлегу ли, к станции ли. Пресса и общество шумели вокруг него, неглубоким и не «своим» у каждого шумом. Лес шумит, а деревья не слышно. И среди шумящего леса шел путник-созерцатель, не вторя лесу, но и не дисгармонируя с ним, его не поддерживая, но ему и не противореча. У Чехова было столько же «хочу», сколько «не хочу». Именно как у Руси, у которой «не хочется» так же много, как «хочется»... Все нерешительно, все неясно...

● Он стал любимым писателем нашего безволия, нашего безгероизма, нашей обыденщины, нашего «средненького». Какая разница между ним и Горьким! Да, но зато Горький груб, короток, резок, неприятен. Все это воистину в нем есть, и за это воистину он недолговечный писатель. Все прочитали. Разом, залпом прочитали. И забыли. Чехова не забудут... В нем есть бесконечность, — бесконечность нашей России. Хороша ли она? — Средненькая. — Худа ли? — Нет, средненькая.

О, Боже! Да тянись же ты, кляча, хоть до глубокой могилы.



Не верьте беллетристам...

Бог, спасая мою душу, наделил меня такою ленью, что я вот лет пять ничего не читаю из беллетристики... Кроме нечаянных слушаев. С месяц назад, сидя у ночного столика больного, я, чтобы сократить часы, взял толстую книгу «Шиповника» (издающегося

не русским) и прочел там рассказ г. Олигера из времен аграрных беспорядков... Вот тема.

Поместье... Небольшое... Владелица, лет под 40 девушка, вяжет чулки и ходит по пустынным комнатам... При ней компаньонка, из остзейских немок. Иногда она играет на рояле.

Ходит так шесть дней в неделю, но не седьмой. В седьмой день недели приезжает сосед подполковник, с небритыми щеками, заспанный, жесткий, грубый... И, принятый почти молча барышнею, спрашивает водки и вин, равномерно закусок. Все это приготовляет в столовой компаньонка, которая затем быстро уходит в свою комнату «на верх» и запирается там на 24 часа. Так происходит, в неизменном порядке, уже много лет.

Внизу, в столовой, и подполковник и барышня-помещица угощаются. Она все молчалива и конфузлива, он все становится храбрее и наглее. Из разговоров приведены только первые фразы и реплики. Затем все застилает туман, как и головы полупьяных собеседников, и в тумане совершается все то, что обычно заменяется точками.

К 7 часам утра подполковник садится в бричку и уезжает «домой», в какую-то полуразрушенную хату, почти среди поля; компаньонка через час выходит из своей комнаты и заглядывает к «барышне»... Барышня, с компрессом на голове, лежит в постели... Она брызгает на нее духами и та сама тоже брызгается духами, и так продолжается дня два. Компресс, головная боль и духи.

Речи (в рассказе) кой-какие есть... но, в афоризмах, в обрывках. Дум, какется, никаких нет, кроме «хочется» и «не хочется». Это — невольно нужно сказать — псиное существование прерывается «аграрным беспорядком». Входят мужики, — «все такие славные», высокие ростом, прямые, интересные, с глубокомыслием в «словце», и делают все, что, по Олигеру, им надлежало сделать. Т. е. на месте «псиного существования»

водворяют истинно-человеческое... Пес в женском образе и с дворянством по положению куда-то убежал,— с помощью влюбленного в нее глухонемого сторожа (героизм «представителя народа»).

Дочитав, бросил с отвращением. Потом взяла злость: что это, «тип»? Или — случай и исключение (возможное), но тогда автор должен оговорить: «видел сам». Да, впрочем, «исключение» кому интересно? «Исключение» возможно описывать, как чудо на фоне быта, или в героическую сторону, или в сторону злодеяния; когда в «исключении» раскрывается бездна психологии, трагизма или судьбы. Нет, явно автор не хотел сказать, что это «исключение»; без точной оговорки («сам видел», «у нас так было») читатель и права не имел принять это за исключение, и невольно должен прийти к выводу, что «русский беллетрист Олигер вот под каким углом наблюдал наше поместное дворянство»... И очень естественно: «если так, то черт бы его (дворянство, помещиков) побрал».

Рассказа никто не заметил, но прочитать-то, однако, все прочитали. «Шиповник» в провинции «до дыр» читают. Что же сказали дворяне?.. Что же как не промолчать! Россия? А что ей сделать кроме как промолчать же?

Один Олигер, получив рублей сто гонорара, кушал котлетки с картофелем, месяца два,— вероятно в кругу благовоспитанных своих детей и с целомудренною, скромною, милою женою.

Она так мила: а вот русские дворянки удивительная св...

Случайно прочитал один рассказ за много лет. Но в новогоднем обозрении русской литературы за 1910 г. прочел в «Речи» у Корнея Чуковского следующее резюме:

«В истекшем году академик-беллетрист написал целый том о крестьянах, Горький — о мещанах, гр. Алексей Н. Толстой — о дворянах. И не как-нибудь, не мимоходом написали, а очень подробно. *Тут годы и годы изучения, вникания, вглядывания (?)*. Не романы, а скорее трактаты. «Что же такое, наконец, современное наше крестьянство?» «И наше дворянство?» «И кто же такие мы?»

...«Бунин в романе *«Деревня»* каждой строкою твердит: «Крестьянство — это ужас, позор и страдание». То же говорит Горький о мещанах, то же гр. Ал. Н. Толстой — о дворянах. Ив. Рукавишников начал роман из купеческой жизни, о характере содержания которого уже можно составить себе представление по заглавию: *«Проклятый род»*.

— «Лютая ненависть к этой проклятой стране!» — говорится у Бунина в *«Деревне»*. «Выродки-дикари», — называются там крестьяне. И черта за чертой, по крупнице, по зернышку, как драгоценную какую коллекцию, собирает, упиваясь, Бунин к себе на страницы всю грубость и грязь современной русской деревни, умело и старательно повекая нам в душу отчаяние:

Довольно! не жди, не надейся,
Рассейся, мой бедный народ.

«В деревне для Бунина нет никаких надежд, никаких перспектив: все изжито, загажено, проклято.

А эти дворяне, что режут у соседских коров соски; продают за кредитный билет чужих и собственных жен; заводят у себя гарем из проституток, угошая ими приятелей; зазывают к родным своим сестрам дюжих мужиков для разврата, или сами сожительствуют с сестрами, — «выродки-дикари», что могут внушить они нам, как не ту же «лютую ненависть к этой проклятой стране»...

Иной прочитавший подумает: да уж не гибнет ли наша Россия? Поверив четырем беллетристам, как не подумать?! Или что четыре беллетриста врут, как и пятый, Олигер? В самом деле, из чего-то надо выбирать, на чем-нибудь останавливаться. Ну, если правду они говорят, тогда России уже в сущности нет, одно пустое место, сгнившее место, которое остается только завоевать «соседнему умному народу», как о том мечтал уже Смердяков в «Бр. Карамазовых». «Я думаю, что эту проклятую Россию надо завоевать иностранцам», — говорил публицист-лакей. Но есть другая очевидность, довольно внушительная, что Россия просто — стоит, тысячи гимназистов и гимназисток по утру бежит учиться, и все лица такие ядрененькие, свежие; что откуда-то они приходят, вероятно — из семьи, где не все же «братья живут с сестрами»; что какую-то огромную «живность» съедает Россия ежедневно, и едва ли это все «коровы с отрезанными сосками», и т. д. И из этой огромной наличности следует, что беллетристы, все пятеро, просто врут.

«Изучают годами, прилежно, пишут томы», воображает Чуковский. «Романы все *талантливые*», резюмирует он в следующем абзаце своего годовичного обозрения. Да что «талантливо»-то? *Написаны* они «талантливо»: так ведь это мастерство руки, привычка к технике письма, и, словом, чернила и бумага. «Литература, сударь»... «Сочинительство»... Но о подобных «сочинителях» уже Лермонтов давно желчно сказал:

С кого они *портреты* пишут?
Где *разговоры* эти слышат?
А если и *случилось* им,
Так мы их *слушать* не хотим...

Блаженное «не слушайте!». Как мне хочется повторить это — «не слушайте и не читайте!». Повторить на всю Россию, особенно на глухую провинцию, откуда собираются «в надежде правды и добра» студенты в столицы, «кончившие гимназистки и епархиалки» на курсы в университетские города, и все учатся, живя впроголодь, живя часто в унижении, на что-то надеясь и очевидно *желая потом работать* для этой «проклятой России», проклятой Смердяковым и беллетристами и я думаю также вообще многими лакеями... Об «отрезаемых у коров сосках» никто не писал, телеграмм нигде не было, корреспонденций не было: а уж корреспонденты народ «дошлый» и все на месте выведывают, подсматрывают, подслушают, — наверное обстоятельнее и точнее беллетристов. Корреспонденции не «литература-с» (Боже, приходится это сказать): и вот были

такие корреспонденции, по две на год приходится, что где-то «обгорел на пожаре мальчик», и «одна сестра милосердия» или «студентка медицинских курсов» (никогда имя не прописано) дала у себя вырезать из кожи лоскуток, чтобы «свежим к свежему» приложить к болячке и заживить ее. И ведь «медали» не получают, ничего — даже и имени нет! Но мне кажется, все беллетристы скорее в ад бы пошли, чем хоть как-нибудь, боком и эпизодически рассказать такой «бывающий случай». «Какая же это будет литература», проворчит под нос академик Бунин. «Литература — это чтобы мать на теще женилась» или например Смердяков на Бунине». Это *chef d'oeuvre*.

Но не верьте... Господа, не верьте!

...дружно гребете во имя прекрасного
Против течения...

как завещал нам милый поэт.

* * *

Одно наблюдение... я редко выхожу из дому, но случается: и вот раз был на немного «демонстративном» обеде по поводу обиды одному писателю и общественному деятелю, на Литейном, в «Театральном клубе». Проговорили речи, отобедали... Но когда я стал выходить, то изумился дивному убранству зал, комнат, каких-то «переходцев» и проч. (дом — дворец князей Юсуповых). «Боже, это отдано *под клуб*», — такое изящество, какое можно увидеть только в палаццо Флоренции или Венеции. Живали же наши бары... Подойдя сзади, взяла меня под руку одна писательница, когда-то деятельный сотрудник «Речи», — умная, талантливая, энергичная. «Пойдемте, я вам покажу»... И мы пошли по всем этим залам и лестницам. Обошли... «Ну, вот там еще комната», — сказала она, «там играют. Хотите?» Я «хотел». Она подвела к дверям: мы стояли в дверях минуты четыре-пять. И то, что я увидел и *услышал* от нее, незабываемое зрелище, ставшее одною из «образующих линий» в моем развитии за последние годы.

— Это все писатели (она называла фамилии, я никого не знал)... Ну, как вы не знаете? Это дочь профессора, вышла замуж за драматурга, но неудачно, развелась и теперь вышла за беллетриста, и счастлива — вот они *vis-à-vis* друг с другом. Черненькая и беленький (я приблизительно накидываю канву ее шепота, конечно с ошибками в подробностях). Это лучшие литературные силы Петербурга. Из них (это я точно помню) никто не считает себя «писателем», пока не добьется двенадцати тысяч годовых... Только с этого времени он считает себя фигурой, а не пешкою в литературе. И шесть тысяч обыкновенно отдает жене на хозяйство, — а остальные проводит здесь...

«Проводит здесь!»... Мрачные, с тусклыми лицами, без улыбки, без единого слова (весь зал был глубоко безмолвен), они смотрели каждый перед собою и что-то передвигали. «Голос» был один в комнате, из угла, раздававшийся время от времени... Там вертелась машинка или что-то

вроде фисгармонии (я спросил — это *не была* рулетка, и вообще не «азартная игра»). И когда он «выкрикивал» — каждый что-то у себя «передвигал».

Пассивно, без страсти, без азарта,— очевидно!! Ах, треклятые: ведь это — машина. Машина играла «Ваньку-встаньку», и все литераторы переставляли у себя «косточки» по этой «Ваньке-встаньке». У кого больше — тот «выиграл»: но выиграл очевидно *не сам*, а ему выиграла «машина».

Игру я уважаю. Почему нет? Огонь. Страсть. Отчаяние и восторг в две минуты. Это понятно и постижимо:

Есть упоение в бою.
И бездны *мрачной на краю*.

Да и нравы чудесные:

Как в ненастные дни
Собирались они часто
Гнули, Бог их прости,
От пятидесяти на сто...

Это Пушкин взял эпитафией к «Пиковой даме». Словом, тут «что-то» и иногда даже великолепное... Помните игру Долохова и Пьера в «Войне и мире». Красиво и помнится: но здесь, в палатце Юсуповых, в «Театральном клубе», был просто опиум, опиум забвения, опиум: «надо отдохнуть до статьи».

Ах, так вот где они

...разговоры эти слышат,

подумал я про «описателей» и «оплакивателей» русской земли.

Господа, не читайте! Провинция, ради Бога, не читайте!! Читайте историю, древности, занимайтесь вообще наукой... И оставьте «текущие» романы и повести в журналах, которые есть то же теперь, что «оды» в XVIII веке, или, бывало, «очередная сатира» у ежемесячного Щедрина...

Одна из замечательных идей Достоевского

Александр Закржевский.
Подполье. Психологические параллели.
Киев, 1911 г.

«Записки из подполья» Ф. М. Достоевского есть «unicum» в русской литературе, ни на какое другое произведение в ней не похожее, чрезвычайно ценное и многозначительное, не «войдя» в которое совершенно нельзя понять Достоевского, не «преодолев» которое чрезвычайно

трудно двигаться или продолжать двигаться «вперед» по стезе человеческого прогресса, немного розовой, немного даже «румянощекой» и, во всяком случае, очень счастливой стезе... В «Записках из подполья» поднялся некоторый «бледный ужас», *terror palidus* античного мира, перед всеми, надеющимися на человеческое счастье на земле и высчитывающими по пальцам время прихода этого счастья и торжества его... «Никогда этого счастья не будет,— сказал Достоевский,— и самое высчитывание его по пальцам не только теперь, но и навсегда останется просчетом, неудачей, путаницей...» «Счастье — в несчастье,— продолжает он как бы мировую диалектику,— и оттого оно неосуществимо...» «Счастье для *каждого* — исполнить свое хотенье; не разумное, не благородное, не *полезное для него* по высчитыванью чужих соседей, всемирных филантропов или всемирных умников, а вот именно только *свое* и именно *хотенье*, да еще,— шепчет он,— с разными почесываньями...» И совсем на ухо внушает: «В *почесываньях*-то все и дело. Каждому хочется *по-своему* почесаться, и иногда так, что вслух он ни за что не скажет... Но он разобьет всякую великолепную действительность, для него разумниками построенную, чтобы взять который-нибудь осколочек этого великолепия и им *по-своему* почесаться, поскрести зудящую точку своей души или своего тела,— ну, все равно, душонки или поганого тела... Но, однако же, человеческого тела и человеческой души, выше которых ведь мир ничего не видал и Бог ничего не создавал... Ради которых — история, всякий прогресс; для которых старается цивилизация и приходили все праведники».

«Хочется почесаться...» Кому, как — все равно!!

И все теории разбиваются об этот физиологический факт, физиологический и вместе психологический, об этот, наконец, *универсально-метафизический* факт человеческой природы, человеческого душеустроения и даже историко-строения. «Не учтите, господа!» — «Не уловите, господа!» — хохочет из своего «подполья» дикий и гениальный человек, злой и насмешливый человек, которому «добро», «нравственность» и «братство со всеми людьми», «*счастье* этого братства» даже на ум не приходило...

«Не учтите... И я останусь *один и свободен!*» — вот вывод, доказанный, как теорема, в философии Канта, и вместе вот крик каторжника, с его распаленным нутром, поглядывающего на темный лес, ощущающего кистень под отрепьем одежонки.

«И уйду! Уйду! Может, сотворю и святое, но *если захочу*. Удивлю мир подвигом, но если... *захочется*. Если же вы поперечите мне, протянете руки к моим рукам, чтобы схватить, удержать, задержать,— залью мир преступлением, и вы содрогнетесь».

Царь и каторжник... Нужно заметить, в каторжнике всегда есть немножко «царя»,— ну «царя» сказок и детского вымысла, по жажде им свободы, по странному ощущению какого-то врожденного права на эту «свободу», на безграничное «я хочу».

Безграничность, неуловимость, всеобъемлемость «я хочу», наконец, *всеправность* «я хочу» Достоевский противоположил всемирному «я понимаю». И его «я хочу» разбило «они понимают».

Теория разбилась о факт.

Нужно читать у самого Достоевского гениальные изгибы диалектики «подпольного человека», перерывающиеся хохотом, буквальным: «Ха-ха-ха! Умники...» Читать действительно *исчерпывающие* полностью возражения против «разумного устройства жизни человека», — главная тема возражений, — чтобы сразу почувствовать, что тут под формой почти беллетристического произведения, под вуалью слабой, неохотной беллетристики Достоевский сказал свое задушевнейшее «верю и знаю», изложил свое вероисповедное «credo»... Когда-то вся Россия почувствовала, что в Позднышеве «Крейцеровой сонаты» говорит сам Толстой, исповедуется сам Толстой, призывает к новому решению сам Толстой... Толстой был вообще весь и всегда «в удаче», и его «Крейцера соната» еще в литографском тиснении была прочитана всею Россией, и Россия о каждой странице «Крейцеровой сонаты» не только подумала, но и мучительно ее пережила. Достоевский, напротив, был и до сих пор остается «в неудаче». Совершенно изумительно, что «Записки из подполья» при появлении своем не обратили на себя ничего внимания, и современных критик на эти «Записки», возражений против них, даже простого ознакомления с ними, прочтения их мы не знаем. «Так, статья какая-то в журнале»... Между тем «подпольный человек» есть такое же «alter ego», такой же «литературный плащ» для духа гениального писателя, как «Позднышев» или как повторяющийся в разных произведениях «Нехлюдов» для Толстого...

— Где мысль, образ, наконец, физиология Толстого?

— В «Позднышеве», в «Нехлюдове», вечно думающих о нравственном добре... Вечно к этому усиливающимся, но слабым на пути и оплакивающих слабость свою евангельскими слезами.

— Где Достоевский и его секрет?

Не сразу ответишь и только прошепчешь:

— Конечно же, в «подпольном человеке»! Безыменном, страшном...

Характерно, что «подпольный человек» фамилии не имеет, имя его не сказано. «Просто — человечество! Все!»

Демократ и царь. По мысли — царь, по «почесываниям» — демократ.

* * *

«Человек бывает в двух видах: в департаменте, на балу; но бывает еще в бане. Я люблю человека в бане. Тогда я вижу его всего и без прикрас. А то он так завешен мундирами, орденами, подвигами и пенсиями, что не разберешь».

Вот тезис Достоевского, тон исповедания «подпольного человека», тон самого Достоевского. «Когда вы строите «человеческое счастье»,

то вы строите его собственно для одевшегося человека, такого-то ранга, такого-то положения, такого-то оклада жалованья и такой-то пенсии. Это скучно и неверно. Такие *штаты* расписать легко, и все наши *теории счастья*, от Бентама, от Руссо, от Милля, от Кетле и до Писарева,— просто департаментская жалкая работа, которую удовлетвориться могут старички на пенсии, но которою никогда не удовлетворится... молодость, гений и преступность. Просто,— не удовлетворится голый человек, «в натуре»; купец в бане и я в подполье. Вы построяете искусственное счастье для сочиненного человека, для искусственного человека, для вами выдуманного человека. Просто, и вы *притворяетесь*, когда сочиняете теории, и притворяются ваши читатели, когда делают вид, что им верят. Сбросьте притворство, вот как я, и получите критику, хохот и диалектику «подпольного человека».

«Записки из подполья» — такой же столп в творчестве Достоевского, как и «Преступление и наказание». Здесь — мысль, там — искусство. Самое «Преступление и наказание» нельзя понять без «Записок из подполья». Без них нельзя понять «Бесов» и «Братьев Карамазовых».

* * *

Только в половине 90-х годов прошлого века было обращено впервые внимание на «Записки из подполья»... Позднее Н. К. Михайловский заметил, что «подпольного человека можно связать»... Ответил с большой пронизательностью в *натуру подпольного человека*, но с полным бессилием против его диалектики. Дело в том, что Достоевский говорит, что если «всемирное и окончательное счастье, наконец, устроится, то никак нельзя поручиться, что не явится некий господин несносного вида и, уперев руки в боки, скажет: «А не послать ли нам все это счастье ударом ноги к черту, чтобы пожить опять в прежней волюшке, в свинской волюшке, в человеческой волюшке? И не то важно,— продолжает Достоевский,— что такой человек явится, но то существенно, что он непременно найдет себе и сочувствие».

— Такого человека, вот так заговорившего,— возразил Михайловский,— можно связать.

Т. е. на «почесыванья» есть тюрьма, уголовное наказание, а для предупреждения «почесываний» есть партийная дисциплина. Вообще, в том или другом виде — железо, рамки.

Это сразу восстанавливает всю государственность, или «общественный строй, как он есть»,— ну, лишь с предположением некоторых дополнений, преобразований и т. д. Но вообще Михайловский уперся в старый строй, в извечный строй, чтобы как-нибудь защититься от гениальной критики Достоевского.

Но тюрьма, оковы — не возражение. Против мысли — не возражение...

Договорю, однако, дальше о судьбе «Записок из подполья». С первых лет XX века, и чем дальше, тем сильнее, внимание к ним начало расти; скажу больше — изумление перед ними начало подниматься

в уровень с их настоящим значением. Теперь уже нельзя говорить «о Достоевском», не думая постоянно и невольно, вслух или про себя, о «Записках из подполья». Кто их не читал или на них не обратил внимания — с тем нечего говорить о Достоевском, ибо нельзя установить самых «азов» понимания. Целый ряд писателей выдающегося успеха — Л. Шестов, Мережковский, Философов — начали постоянно ссылаться на «подпольного человека», «подпольную философию», «подпольную критику»... И термин «подполье», понятие «подполье», наконец, сделались таким же «беглым огнем» в литературе, журналистике и прессе, как когда-то «лишний человек» Тургенева, его «отцы и дети» или как «нравственное совершенствование» после Толстого.

Нужно заметить, что «нравственное совершенствование» есть другой полюс «подполья», — от него защита, против него рецепт. Сильны ли — вот в чем вопрос... Но как в этом «самосовершенствовании» и «подполье» сказалось, что Достоевский и Толстой были антиподами один другому...

И вот, наконец, только что появилось в Киеве целое литературно-критическое исследование А. Закржевского: «Подполье. Психологические параллели», посвященное Достоевскому, Леониду Андрееву, Ф. Сологубу, Л. Шестову, А. Ремизову и Мих. Пантиухову. Книга эта — молодого, кажется, начинающего автора, написанная с большим жаром и вся преданная идеям «подполья», тону «подполья»... В «подполье» надо различать идеи и тон... Оба важны. Г. Закржевский берет «подполье» Достоевского как бы свечою в руки, чтобы при ее свете рассмотреть всех перечисленных писателей, т. е. целую полосу, целое течение в литературе.

Не буду этой книги рассматривать, замечу лишь одно. Хотя «Записки из подполья» написаны Достоевским в молодую пору, но психологически это самая старая, так сказать, самая древняя из его книг... Ей много веков возраста... Ее писал глубокий, седой старец, бесконечно много переживший, передумавший... Ведь есть старцы юные; нельзя не заметить, что Толстой в старости был юным, и даже передают, что почти в 80 лет способен был иногда расшалиться, разрезвиться. Напротив, Достоевский уже учеником инженерного училища был, в сущности, стариком, как никогда же не были юны Гоголь и Лермонтов.

Так ранний плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между плодов, пришлец осиротелый...

Вот, в сущности, психология всех их, уже в отрочестве старцев. Ранняя, страшно ранняя потеря вкуса к жизни, любви к действительности, к реальному. Страшное, как в паровике пара, напряжение мысли и воображения. Разрыв с людьми, потеря с ними «родного». Это если их взять «как бы в бане», вне «орденов» и «костюмов», которые они тоже умели и даже невольно должны были надевать на себя и носить так или этак до гроба.

Закржевский же, уже по патетическому тону его книги, еще молодой писатель, без психологического опыта; он «ужасается» на «Записки из подполья», восхищается перед ними, становится на колени перед «мраком» Достоевского... как мальчик перед пугающим его рассказом седого дяденьки, перед напугавшим его во сне сновидением. Вообще, между Достоевским и Закржевским нет психологической близости, какую мы всегда должны ожидать, если ожидаем удачной критики. «Подпольный человек» — страшный человек, и таким особенно образом, что о нем лучше помолчать. Былые цивилизации всегда отделялись от него четырьмя каменными стенами и «в рассуждения не входили». Может быть, исход и в самом деле лучший. Но на «айда!» попробую здесь вступить немножко в суждения.

* * *

— Подпольный человек, — вы — гениальный человек. Что сделал для «синтетических суждений» Кант и этим открыл свою великую «Критику чистого разума», то вы сделали для «социального синтеза», обнаружив, как и почему он в окончательной форме невозможен. Ваша заслуга перед социологией — такая же, как Канта перед философией.

— И вы, конечно, правы... Ну, что же тут спорить?.. Диалектику вашу нельзя ни переломить, ни подавить, ни расчлениить. Наука... Страшная, отрицательная наука, все разрушившая...

— Но вы говорили о «почесываньях»... Гениальное, гадкое словцо, так характерное для вас и Достоевского («Люблю трактирец с *грязнот-цой*»). Этими почесываньями вы все и разрушили. И правы. Потому что «почесыванья» в самом деле есть, и (подспудно) они всемогущи. Ну, какое же у вас, подпольного человека, «почесыванье»? Спрашиваю, чтобы знать, как к вам отнестись и ввести в границы вашу философию. Ибо тогда ведь, очевидно, она будет «философией под углом некоторого индивидуального, глубоко личного почесыванья» и, естественно, заключится в рамки, потеряет свою универсальность. О «почесываньях» вы, конечно, гениально сказали, что они *личны*, что в них — суть личного «я», просто. «я». Ну, так в чем же ваше-то «я»?

Безудерж русский... Русское «море разливанное». Наши «пиры трехсуточные» с «перепившимися гостями» и т. д., и т. д. Это — как подоплека, как натура. Вы слишком русский человек, г. Достоевский, и вместе г. «подпольный человек». Нельзя оспорить — хорошо, красиво. Но вы сами в других местах говорили, что русский человек любит и слезы, любит до муки слезы... Помните все «плакавшую», вечно обиженную жену Федора Павловича Карамазова, мать Алеши: слезы матери, в детстве виденные, и вырастили душу Алеши. «Подпольному человеку» можно противопоставить не тюрьму, как указал Михайловский, из которой при гениальных-то способностях он, конечно, убежит, но вот Алешу Карамазова, который перед «подпольным человеком» ни на шаг не посторонится... И который молчанием своим, тихостью своею заставит умолкнуть несколько болтливую «подпольного человека».

Ведь вы соглашаетесь, что «подпольный человек» несколько болтлив. Хорошая черта в смысле неопасности. Ему, как «национальному типу», можно противопоставить тоже «национального» Алешу... Который со всеми гармонизирует, соглашается... Дело в том, что «подпольный человек» выразил всемирную едкость, всемирный анализ, всемирное разложение, но, конечно, мир в один час погиб бы, если бы в нем и был, в его подоплеку заложен был бы один этот анализ, огненная кислота: ей противоположно связующее масло, тяготение к всемирному синтезу, столь же мучительное, столь же тоскливое, как и анализ. Как земля держится в орбите своей центробежной силой, которая не может победить центростремительную, и центростремительную (упасть на солнце), которая не может победить центробежную (оторваться вовсе от солнца), так мир существует, цел и, наконец, цветет потому, что в нем анализ и аналитические течения никак не могут истребить синтетические. Живет насмешка, живут слезы, есть смех Гоголя, есть пафос Шиллера. Сам Гоголь половину жизни смеялся, половину плакал. Вот пример и мировой закон. Вы говорите, что «все разрушите» и что «за вами пойдут». Алеша Карамзов «не пойдет», и, вообразите, с ним найдутся тоже «согласившиеся». Вы сами это хорошо знаете, и, вообразите, это есть то же «почесыванье», но совсем другого полюса, однако, с упорством и рьяностью именно «почесыванья». Был очень яркий человек, железный человек — Разин, но, представьте, Сергей Радонежский был точь-в-точь такой же железный человек, и у него «силушки» — что у Степана Парамоновича, ни чуточку не меньше. Один разрушит, другой создаст; один «сбросит сапогом к черту», другой (молча) опять подымет и опять положит на место. Два «почесыванья». В том и дело, что есть два «почесыванья», и вот на «двух»-то мир и построен. Известно: две руки, две ноздри, два глаза, верх и низ, правое и левое,— этому еще Пифагор учил и на это просил обратить внимание.

Капризный вы человек... капризный и истеричный, и в *капризности* и лежит ваше специальное, ваше индивидуальное «почесыванье». Критика подпольного человека есть гениальная критика, умственно гениальная, но «по натуре» слабого, бессильного, страшно невоспитанного, страшно развращенного, страшно русского человека, «со всеми пороками», «с уймой пороков». Гениально — да. Но можно и иначе определить: раскудахтался. Ишь, какой петух выискался: всю цивилизацию расклюет. Не склюет он курочки, несущей яйца. Несет и несет, никак не может не нести. Это такое же начало мира, как петух. Невозможно курице победить петуха, но петуху тоже невозможно победить курицу.

«Подпольный человек» кудакхает, что «на разуме и науке нельзя построить общежития» (тезис, почти главный, «Записок из подполья»). Да, конечно, если упереться лбом «по-ослиному» в науку. Стать на четвереньки, двумя руками и двумя ногами, на разные науки... Может быть, такие ослы и были, и не оспариваю, что они бывали на Западе.

Но уважать науку все-таки нужно, ибо в науке тоже есть страшное «почесыванье», о нее ужасно любит «чесаться» человек, и уж тут ничего не поделаешь, и нужно ее, эту науку, это рассуждение, этот «счет по пальцам», вами столь презираемый, припустить к жизни и строительству «уголком», дать ей посидеть на стульце, опереться на нее одною из четырех конечностей, а не всеми четырьмя конечностями. Тогда вдруг воссияет «мировой свет разума», от этой науки скромной и деликатной, от науки по типу Сергея Радонежского, а не по типу Стеньки Разина. Ваша критика «науки» гениальна, насколько она относится к «Стеньке Разину» в ней, который тоже есть, был и возможен. Но позитивизм отпраздновал свои триумфы и успокоился, как Степан Парамонович в своей могиле. Без «разума» все-таки невозможно строить жизнь, но пусть он будет, как и все в жизни, все в человеке, все в цивилизации, скромн, деликатен, не притязателен, не нагл, не болтлив, не самоуверен. Зачем «разум» воображать с бакенбардами Ноздрева? Таким он был у Писарева, в его статейках, вас раздраживших тоном самоуверенности. Он может быть в скромном сюртуке Пастера, который — после зрелищ умиравшего от укуса бешеной собаки мальчика — на несколько лет отложил свои научные темы, научные уже «в ходу» работы и погрузился в одну великую скорбную задачу — во что бы то ни стало отыскать исцеления от укуса бешеного животного! И нашел!! Вот «Алеша Карамазов» науки, вот ее «Сергий Радонежский». Такие есть!! Подпольный человек — страшный подпольный человек — страшный по уму: да, увидав Пастера, когда он нашел свое средство, после шести лет работы, — ты воскликнул бы: Осанна! Осанна как Сыну Давидову!!

И целовал бы ноги ему, руки ему, этому «ученому», застенчивому, бегущему от толпы... Уединенному и тихому.

* * *

Так что Достоевский спорил против «паричка» науки, а не против души науки, которая есть и бессмертна, и велика...

Новые события в литературе

Прежде, бывало, умрешь — и назначат тризну с похвалами. Теперь будущий покойник сам и заранее кушает собственную тризну. И пирог, и похвалы, и все...

Каким стыдом, каким невыносимым стыдом залилось бы лицо Белинского, если бы ряд друзей-писателей, покойные Боткин, Грановский, Герцен, Грубер, наконец Гоголь и Лермонтов, войдя в его комнату, похлопали бы его по плечу и сказали:

— Ну, неистовый Виссарион, потрудился ты! Столько лет стоял на посту критики. Можно сказать, хранил честь литератора и отстаивал достоинство литературы. И уже болен, ослаб... Но не кручинься. Нет заслуги, которая бы не наградилась, и нет звезды, которая не воссияла бы. Вот билет, детина. Приходи. Устраивается:

ВЕЧЕР В. Г. БЕЛИНСКОГО

— Я, Герцен, беру выяснить перед публикой: 1) «Общественное значение идеалов Белинского»; Боткин прочтет эстетическое *mot* *: «Белинский и Пушкин». Потом одна дама поиграет на рояли... что ты любишь? чего тебе хочется? 2) Лермонтов прочтет «Пророк» — стихотворение, где он разумеет тебя и, наконец, 3) Грановский прочтет: «Были ли критики в древнем Риме, отчего их не было и что от этого произошло», — все с намеками на тебя и упоминаниями о тебе. Потом хор, кантата, — и прения о прочитанном; т. е. в сущности — о тебе.

— Да, да! Со всех сторон! — подтвердил бы другой приятель. — И все, Виссарион, о тебе! Все о тебе, наш великий критик, гордость нашей литературы, слава текущих дней!!

Что почувствовал бы Белинский?! Нельзя и вообразить!! Но прежде всего нельзя и вообразить, чтобы друзья Белинского, или просто писатели того прекрасного и благородного времени, задумали подобное осквернение и Белинского и литературы. Ибо Белинский, при этом предложении приятелей или при таком предприятии вообще петербургских литераторов, залился бы краскою стыда и воскликнул:

— Позор! Позор!!... Вы с ума сошли. Неужели в целой России вы, светлые головы ее, не нашли другого предмета, чем занять внимание публики, не нашли никакого интереса, русского или всемирного, о чем бы поговорить, побеседовать между собою. Да что я, покойник, что ли, чтобы обо мне говорить: «сей человек служил верой и правдой» и проч. и проч.? Или я Нерон, который, пропев песнь, ожидал увенчания публики? Или, наконец, я — мертвая лягушка, которую потрошат в анатомическом театре? Ругать, хвалить и, наконец, *разбирать*, *доискиваться смысла* и проч. и проч., можно в критике, можно в журналах, в газетах. Там можно и «разнести по косточкам» и «вознести до неба», как вот я живого Гоголя или тоже живого Фаддея Булгарина. Но

ВЕЧЕР Ф. В. БУЛГАРИНА

могли бы устроить только его приятели по негласной службе. А

ВЕЧЕР Н. В. ГОГОЛЯ

* слово (*фр.*).

этого просто и представить себе нельзя, иначе как пародии, шутки, только на *маслянице*, когда ходят все ряжеными, и *только у приятеля на дому*, и то лишь у такого, у кого водится дома водка, чтобы можно было потом всем перепиться.

* * *

Но то было 60 лет назад! Времена переменялись. *Страшно изменилось существо писателя*. Изменилась душа русского человека... Слияло одно лицо на нем. И зарумянилось другое лицо. И это румяное, самодовольное, признаюсь — глуповатое лицо, похожее на масляничный блин с завернутою в него семгюю, заявляет, публикует и печатает:

ВЕЧЕР КУПРИНА,

посвященный всесторонней оценке этого писателя,
в чтении профессора N. N., поэта М. М., критика L. L.
С музыкальным отделением. После — прения.

Так было два года назад. Просто, было мучительно читать... Неужели тогда Куприн *пошел на этот вечер*? И слушал 2—3 часа, как его все хвалили и хвалили, т. е., конечно, под видом и предлогом якобы «критики», «разбора» и «анализа». И вот теперь, вообразите, я получаю повестку, где прописано:

Литературно-музыкальный вечер,
посвященный произведениям

ФЕДОРА СОЛЛОГУБА.

Вступительное слово Е. В. Аничкова: «Стыд и бесстыдство 80-х годов перед судом Чехова и Соллогуба.— Зависимость личности от коллектива и детерминизм явлений, как основные данные мирозерцания Соллогуба.— Поруганность Красоты.— Надо быть злым.— Добро и Красота в слиянии двух правд — Правды-Обыденщины и Правды-Поэзии».

Романсы из «Ваньки-Ключника» Соллогуба. Исполн. г-жа Акцери (и еще две г-жи).

«Сказочки», его же, прочтет О. Э. Озаровская.

«Пролог» из трагедии «Победа Смерти» и *сцену из новой драмы* «Заложники жизни»... прочтут такие-то.

Сцены из «Мелкого Беса» и «Тяжелых слов» — прочтут такие-то.

Детские песенки и мелодекламации, — музыка...

«Гимны Родине»...

«Чертовы качели»...

* * *

По «сцене из новой драмы», которую, очевидно, можно было получить только из рук автора, нельзя не заключить, что *объект* «Вечера» есть до некоторой степени и *субъект* его, т. е. принимал хотя бы некоторое участие в его созидании, устройстве и, может быть, в самом замысле... Можно ли же представить себе Белинского, Добролюбова, Грановского, представляли Лермонтова или Гоголя, представляли Островского, Толстого, Гончарова, говорящими: «Господа, устройте вечер обо мне»; или:

«Господа, если *обо мне* хотите читать и *меня* класть на музыку: так вот вам новая неожиданная вещь. Будет занимательнее».

Просто, какой-то ужас... Где же это *лицо* у человека,— то лицо, которое вопреки желанию, разуму, неожиданно все выдает, *неудержимо покраснев*... Я не говорю о Соллогубе, который, очевидно, поддался какому-то завертывшемуся около него вихрю: я говорю о *коллективном* «лице» всех устроителей... Как не почувствовалось того невольного сжимания горла, когда вы говорите невыносимо-неловкую вещь; или вот этой *краски, застенчивости*, когда делаете явную бестактность.

«Вечер об Евдокии Растопчиной»... еще кое-как можно представить. «Великосветская забава»... Можно представить себе, что Манилов согласился бы, если бы вкрадчивый Чичиков предложил устроить «Публичный вечер, посвященный рассмотрению планов Чичикова и Манилова».

— «Очень приятно»,— проговорил бы Манилов. Ноздрев всеконечно и живейшим образом принял бы участие в «Вечере, посвященном описанию его порывов, успехов и неудач». Наконец, если перейти к писателям, то отчего не представить «Вечер о Поль-де-Коке»; но, например, «Вечер о Гизо» совершенно нельзя представить; и немислим «Вечер о Шиллере». Вообще, это любопытно, *о ком можно и о ком нельзя представить*. «Вечер о веселых старичках из «Стрекозы» — можно: но как представить «вечер о суровых юношах из «Русского Богатства»? Что же все эти «разницы» показывают? Что ни о чем настроенном серьезно и хоть чуть-чуть торжественно — *нельзя*, ни о чем озабоченном, тревожащем — *нельзя*, и можно только *о беззаботном, о пустом*... Обобщенно: о том, что *не имеет темы существования!*

Бестемное лицо!..

Бестемное время!..

Печальная разгадка и, может быть, страшные годы.

— Не знаем, что делать... Чем заняться... Что бы почитать. Давайте *друг о друге!!*

Невесело лежать в могилах прежним русским писателям. Тяжелым им снятся сны...

И шутя, и серьезно...

Есть же такие счастливые имена, нося которые просто нельзя не стать литератором: «Иванов-Разумник!..» В именах есть свой фетишизм: называйся я «Тургеневым» — непременно бы писал хорошим слогом; «Жуковскому» нельзя было не быть нежным, а Карамзину — величественным. Напротив, сколько ни есть «Введенских» — все они явно люди средние, будут полезны современникам и не оставят памяти в потомстве. Имена наши немножко суть наши «боги» и наша «судьба»...

Но я совсем разъязычивался...

«Иванову-Разумнику» на роду написано: 1) быть литератором, 2) очень рассудительным, почти умным и 3) не иметь ни капли поэтического чувства. Что делать: судьба, имя.

С этими качествами он написал в «Русских ведомостях» два невероятной величины фельетона о Д. С. Мережковском: «Пастырь без пасты» и «Мертвое мастерство», которые я прочел с понятным интересом и литературного критика, и друга критикуемого писателя.

«Разбор» этот есть в то же время «разнос»: от Мережковского ничего не остается не только как от писателя, но ему ничего почти не оставляется и как человеку:

Скука, холод и гранит —

вот что остается от поэта, романиста, критика, публициста, религиозного искателя и почти реформатора (по некоторым идеям, по учению о «третьем Завете» и проч.). Но *каким же образом* он стал во всяком случае видным писателем? *чем* в себе он написал 15 томов? и наконец, что его нудило столько стараться, столько работать? говорить, убеждать и прочее? Даже будучи очень уверенным в себе «Разумником», г. Иванов не может не признать, что в подобной оценке что-то не совсем *так*.

И между тем весь «разбор-разнос» г. Иванова-Разумника в высшей степени основателен, «научен», доказателен. Прямо наконец — он справедлив. «У Мережковского везде — мозаика; из мертвых кусочков он пытается слепить что-то целое живое, чего у него не выходит»; «нет вдохновений»; в основе — «нет любви», «холод, снег», «кусочки разбитого зеркала, выпавшего из рук злой волшебницы, из коих один попал в тельце Мережковского и образовал в нем душу», и т. д. и т. д. Отсюда странное «одиночество» писателя, которое он сам осознает, сам выразил его в стихах; и наконец, «неудача» всех дел его, замыслов, судьбы.

Все это г. Иванов-Разумник рассказывает сложно, длинно, скучновато, но основательно. Читатель соглашается с ним гораздо ранее, чем дочитывает до конца его фельетона. Да, в сущности, едва ли кому-нибудь в России это не было ясно и до Иванова-Разумника, который только подвел *resumé* общему мнению.

Что делать — «Мережковский»... Черт знает что обозначает фамилия, — ни «розан», ни «хлеб». В фамилии нет никакого *сказывания*; ничего «говорящего» о своем носителе; не входит в нее названия никакого *осязательного* предмета. Даже не понятно, *откуда* она происходит: из венгров, из поляков, может быть, из евреев? Но решительно ни один *натурально русский* не назывался «Мережковским».

И все это отразилось в судьбе, в литературном образе, в основе же — в зародыше души. «Черт знает что», «вечно буду стараться, но ничего не выйдет». Нет, господа, нужно верить в астрологию. «Мережковский» — с совершенно непонятным в смысле и происхождении именем — ничего

«понятного и ясного» и не мог выразить. Имена наши суть наши «боги-властители». Живя — мы *осуществляем* свое имя.

Но зато «Мережковский» звучит хорошо. Это не то, что какой-то «Розанов» или «Курочкин» или даже «Подлипаев» (допустил же Бог быть такой фамилии); и замечайте, что в общем «литературная судьба» Мережковского красива; она не осмысленна, но эстетична. Стихи, романы, критика, религиозные волнения — все образует «красивый круг», в который с удовольствием всякий входит, не отдавая отчета, «зачем», «почему». Взять «том Мережковского» в руки — приятно. Всем приятно высказать: «А я стала читать Мережковского» или: «Я давно занимаюсь Мережковским». Что-то солидное. Что-то несомненно литературное. Книгоиздательство Вольфа, перед изданием «Полного собрания сочинений» Мережковского выпустившее известную критику-отзыв о нем, в сущности, нисколько не впало в ошибку, преувеличение или торговую рекламу. Оно вполне *точно* и, думаю, искренне выразило то, что «звучит» в воздухе:

— Мережковский?

— Что такое?

— Красиво.

— Да что «красиво»-то?

— Красиво звучит. Красивое положение. Стихи, критика, романы; Бог. Все красиво, вообще красиво. Около Мережковского красивый воздух. Над Мережковским красивое небо.

— Но он *сам, сам?*..

— Ах, убирайтесь вы к черту. Надо уродиться «Разумником», чтобы до всего доспрашиваться, до всего доискиваться. Это — не критика, а служебное следствие. Сказано: красиво,— и нюхайте.

— Но плод?

— «Ну, тут и разгадка: никогда не будет плода. Боже мой: есть же махровые цветы. Бог создал. Почему такому не быть и в литературе? Махровый цветок не несет в себе плода, нет в нем «завязи и плодника», нет душистой сладкой пыльцы. Нет меда и нектара. Я, сказав «нюхайте»,— ошибся от торопливости. От «Мережковского», по самой сути его фамилии, ничем не пахнет: он есть махровый цветок, который существует *только для взгляда, только для любования* и больше еще решительно ни для чего. Вот тут-то его и тайна, отчего он «не *действует*», «не *заражает*». Оттого, что не входит в нос. Нет запаха. Того запаха, который *вещественно ворошит* мысли, входит в человека, в читателя, в последователя «одушевляющим» началом. «Духи» и «душа» одного корня: «Мережковский» — без духов и таинственным образом действительно без души (тут «Разумник» угадал),— и — отсюда вся его судьба, бездейственность, бесплодность...

Но он вечно усиливается «принести плод»: здесь начинается та положительная сторона Мережковского, не обрисовав которую тоже «во всю величину», Иванов-Разумник написал однобокую статью, которая,

будучи столь истинною и в то же время глубоко ошибочна, и есть почти клевета или памфлет.

Мережковский есть изящно-трагическая фигура в русской литературе. Вечно с «Христом» на устах, он есть

Печальный демон, дух *изгнания*,

но по-человечески, но смиренно возненавидевший печальную долю свою, печальную судьбу, печальный характер и личность в себе, и литературных писаний. Сколько усилий сотворить добро, даже маленькое, хотя бы «партийное», у этого Мережковского!! Он, конечно, не «эс-эр», но вдруг прикинулся эс-эром. «Разумник» думает, что это маска. Но это глубже, страшнее: «добрые люди, припустите меня к себе: я что-нибудь доброе у вас сделаю, выкопаю канаву, вырою колодези для питья»; «шумят в России эс-эры, не понимаю — но все равно, буду возить как водовоз воду на эс-эров!» Вот настоящее «сердце» Мережковского — доброе, хорошее, бестолковое, но в высшей степени благородное сердце. Д. С. Мережковский совершенно не то, что З. Н. Гиппиус с ее «ядовитостями»: Мережковский вовсе без яда и без заразы. Он действительно демоничен, но по *натуре* («Мережковский»): а «по работе в жизни» — он в высшей степени утилитарный человек, старающийся быть всем нужным, для всех полезным, сработать какую-нибудь «работу» в истории России. И, словом, «по сознанию человеческого долга» он есть уже Водовозов, а не «Мережковский». Но, ввиду демоничности у него ровно ничего не выходит, так как он *предвечно*-холоден: ни над чем он не расплатится, ничему не расхохочется, не «посмеется с людьми их добрым смехом». «Мережковский» в нем побивает Водовозова: но Водовозов есть его великое нравственное оправдание. Замечали ли вы, что Мережковский — глубоко смиренный, скромный человек; «смирный русский человек». Ну, а это одно ставит его на неизмеримую нравственную высоту над сотнями «разумников», и с малой и с большой буквы. Мережковский есть вполне изящная фигура... и *хотел* бы быть добрым... Но он сухая и бесплодная фигура: это уже *судьба*. «Великой борьбой я боролась», — говорит о себе какая-то библейская женщина и, помнится, именно бесплодная, «не получившая счастья детей». Мережковский вот может повторить это о себе: «все соки свои (не «кровь», потому что ей не полагается быть у «Мережковского»), — «все соки я выжал мучительно, чтобы слиться с добрым родом человеческим, с прекрасным родом человеческим: но ничего не вышло. Я навсегда от него отделен. Но я не принес никакого зла, — никакого и никому. И если меня не любили живого... все-таки я заслужил, чтобы по смерти на могилу мою чья-нибудь рука не уставляла никогда приносить розу».

И это будет: и именно будут приносить розу душистую, с медвяным нектаром, который будет ненасытно вдыхать не умеющий умереть покойник, который был на земле точно усопшим жильцом...

В. Г. Белинский

(К 100-летию со дня рождения)

1 июня (30 мая) 1811—1911 года *

Двухсотлетие рождения Белинского если и будет когда-нибудь праздноваться, то уже с таким ощущением археологичности, старины, чего-то «быльем поросшего» и всеми забытого, что жутко и представить себе; итак наступает *последний день*, когда Россия даст Белинскому *живую* оценку, *живое* воспоминание...

Он был друг, великий и прекрасный, наших гимназических дней; у других — студенческих; но вообще — друг поры учения, *самого впечатлительного возраста*, первых убеждений. Со всем этим он неразделимо, кровно сросся. Нет ни одного теперь из образованных русских людей, в крови и мозгу которого не было бы частицы «Белинского», как чего-то пережитого горячо и страстно, благоговейно и восторженно. Да извинит читатель примеры: мне сейчас 55 лет, но хранится у меня, и по временам я взглядываю на нее, тетрадошка гимназиста 3 класса, где я, без буквы «ѣ», переписал его «Литературные мечтания»: слог его, мысли, пафос, этот летучий язык, обернувшийся около стойких предметов и поваливший их, очаровал, обворожил меня, «начинающего читать *серьезно*» мальчика. И как книга была «чья-то» или «откуда-то взята», расстаться же с этим сокровищем мне не казалось возможным, — то я все и переписал себе в тетрадошку, на эти дни забыв латиниста Кильдюшевского и математика Степанова (учителя) и конечно получив за эти дни списывания несколько двоек и единиц. С Белинского началось наше *серьезное чтение*: это безусловно *всех!!!* Нельзя, почти без слез благодарности, не вспомнить, что, лишь прочитав Белинского или вообще «вступив в сферу *Белинского*», мы произносили торжественно и сладко: «я человек»; то есть уже не мальчик, странствующий по степям Америки с Майн-Ридом, а Русский сознательный человек, волнующийся всеми волнениями России, ее будущего, ее прошлого, ее литературы, ее гражданского и политического бытия.

Да, да: во *все* это «вводил» Белинский; буквально как катехизис Филарета «вводит» в православие. Пишу конкретное, что знаю, что видел, как было дело у всех моих сверстников. В 14—15—16 лет, мы как бы вкладывали руку свою в руку уже могильного, уже усопшего Белинского, и говорили мысленно: «веди нас, куда знаешь; мы *верим* тебе, и только тебе одному. Веди нас к гражданству, к зрелости, познанию литературы, к познанию всей жизни, вообще человеческой и в частности русской».

* До сих пор трудно вполне точно установить день рождения Белинского. В метрике его, — фотографический снимок с этого документа помещен в «Новом Времени» 2 января, значится 1 июня, между тем как сам В. Г. Белинский упоминал и 30 мая.

Сладко вспомнить. Все это было буквально так; и может быть не бесполезно это запомнить будущему историку. Белинский был для нас не только критиком, но каким-то «духовником», к суду которого мы относили свои поступки, к суждению которого относили свои зарождавшиеся мысли; что мы «по заветам Белинского» прокладывали мысленно путь жизни, свое будущее — это само собою разумеется. Даже и в голову не приходило, что эта жизнь может сложиться, может пойти вне путей Белинского. Об этом никаких споров, никаких разговоров не было: это было «решено», и крепко. Говорю опять не лично только, а и обо всех своих милых товарищах, — о поре учения, и говорю в пределах всего, что тогда охватывал глаз, докуда дохватывал глаз. Все «зачитывались Белинским»: мы — в 3 классе, но хорошо было известно, что им же зачитывались и семиклассники, и восьмиклассники. У них-то потихоньку мы и таскали с полок «Белинского», а они брали «его» из благотельной Карамзинской библиотеки (бесплатной, в Симбирске).

Это было влияние всеобъемлющее, всемогущее. Не продолжительное, но однако охватывающее, приблизительно десять лет. Как оно кончилось — скажу (если скажу) в конце, а теперь предлагаю читателям вдуматься в него.

«России» и ее грамотности, ее «просвещению» Белинский дал столько же, сколько все министерство просвещения: а скольких оно миллионов стоит ежегодно!!! Белинский же все «даром» дал: поил всех, прямо заменяя гимназические и университетские науки: законоведение и юридические науки, русский язык и историю литературы, начала нравственности, и уж конечно катехизис. «Критик» в нем для нас был не главное: главное «учитель жизни» и, в сущности, «учитель *всего*»... Так как он касался «всего» в своих критиках, то он был для нас первою «энциклопедиею». Но не фактической, а идейной; хотя, отчасти и побочно, и фактически. Для молодой России, для всей Восточной Европы он сыграл в XIX веке ту же роль, какую в XVIII веке для Франции и всей Западной Европы сыграла знаменитая «Энциклопедия» Дидро и д'Аламбера, но только в других тонах, «в нашем русском духе». Его роль, будучи «энциклопедическою», была во многих отношениях лучше, чище, нравственнее, воспитательнее; она была как-то свежее и моложе; в ней не было старческого цинизма, чего было довольно в знаменитой «Энциклопедии».

Но побочные действия были не те, а центр — был тот же. «Всему учились у него»; всем руководились «по нему».

Это — необъятно. И все даром. И все дал сухопарый, не окончивший университета студент...

Вот этим духом студенчества, юным-юным, он и охватил нашу молодость; а, отдаленнее, им же он охватил и всю русскую литературу; через литературу же охватил и целое общество. Все «по Белинскому»... Хорошо ли это? Есть худое и хорошее. Конечно, быть вечно «молодым» недостойно и наконец смешно быть обществу, *всему* обществу, уже

довольно старенькому. А, с другой стороны, что же все-таки лучше молодости? Вспомните-ка, оглянемся; поплачем.

Эти черты, и смешные, и счастливые, привил Белинский. «Все от него»... И юные студенты, делающие «политику», и довольно старенький Милуков, тоже «делающий политику» — пошли, отдаленно и косвенно, от ветерана русской критики. Не стой его там, в николаевские времена, вся политика наша конечно сложилась бы серьезнее, фундаментальнее; но, с другой стороны, если поверить Кальдерону, что «жизнь есть сон», то отчего не предпочесть очень серьезной политике, которая напоминает скуку мелочной лавочки и бухгалтерского чистописания, политику нашу «русскую», вот со студентами и барышнями, которая прекрасна, как «Сон в Иванову ночь» Шекспира. Пусть 95 человек хвалят одну: позвольте мне «помолодиться» и с другими четырьмя человеками заявить, что я предпочитаю Шекспира — Милукову, Белинского — бухгалтерии, и не хочу политики без «барышень», забастовок и вообще «несбыточной как сон» ерунды... Даже «историограф» Карамзин говаривал, что «без чародейства сладких вымыслов» невозможно прожить: а уж нам и тем паче позволительно жить, двигаться и мыслить в этом направлении.

Суть Белинского, историческую суть, мне кажется, можно выразить одной строкой: личным своим волнением он взволновал всю Россию. Сравните *до* него и *после* него: как было все тихо раньше, и как все шумно пошло потом. Пушкин писал поэмы: да, зачитывались; знали наизусть. Но эстетическое наслаждение имеет свойство спокойно ложиться на душу; и воспитывает оно тихим воспитанием. С Пушкиным зрела Россия; становилась лучше, совершеннее, делалась умнее. Да, но это — все *другое*, чем волнение. Волнения не принес ни Лермонтов, ни даже Гоголь, ни Грибоедов: волнение и *мог* принести только сам недоучившийся студент, но с *пламенной жаждой учения* и с тучею *сомнений, вопросов*, которые прежде всего ему самому были не ясны. Вот этой «вопросностью» своею, и вечным недоумением, и тоскою в недоумении, он и «поднял на дыбы» все, что было грамотно; поднял как «свой своих», как «брат братьев», как «вечный ученик» тех «вечных учеников», какими приличествует быть вообще людям, которые и не «боги», и не «мудрецы». Тут сыграло положительную и прекрасную роль даже то, что он не был так учен и даже так всесторонне образован, как его старшие сверстники; именно это-то и нужно было молодому *растущему* обществу. Он поднялся и начал учиться, так пламенно, как немногие во всемирной истории: и все за ним вскочили и бросились к книгам, журналам, своим, переводным, учась и учась с его же пламенностью. И это продолжалось вплоть до пресловутых изданий Павленкова, — все на «серьезные» темы, все — учебного характера, с наивностью и «горячей» начинкой. «Все от Белинского»...

Вот это гораздо важнее того, что он был собственно «критиком»: и, как таковой, критически осветил всю русскую литературу до него и ему

современную, и верно, чутко, гениально отгадал только что начавших при нем выступать новых писателей... Все это и *помимо* его могло бы сделаться; а «новых писателей» оценили бы со временем, потом. Да и оценили Тургенева, Гончарова, Достоевского конечно *независимо* от «предсказаний» Белинского. Но *волнующего* и *возбуждающего* его значения никто не мог заменить: и не будь его, все развитие общества совершалось бы потом гораздо медленнее, более «сквозь сон» (без сновидений, тупой), более апатично и вяло. Он внес *живость*: вот это — то, за что теперь вся Россия должна положить ему зёмный поклон. И когда мы праздновали недавно реформы 60-х годов, мы должны были вспоминать не только Тургенева или Григоровича и их рассказы из крестьянской жизни: нужно было вспомнить *именно Белинского*.

Его лихорадкой даже и до сих пор продолжает лихорадить общество. Косвенно, побочно, но все пошло «от него»...

Собственно для настоящей критики он не был достаточно спокоен. Рассуждение Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» до сих пор остается лучшею критическою статьей во всей русской литературе. Рассуждение Гончарова о «Горе от ума» («Мильон терзаний») несравненно зреее, серьезнее, *интереснее* критических импровизаций Белинского. Краткие критические афоризмы Пушкина ценнее целых статей Белинского. И вообще, *для настоящего времени* Белинский так явно *устарел как критик*, что об этом нечего распространяться. «Натуральная школа» русской литературы принесла в себе так много новой зрелости, что Белинский из «вечно молодого» стал невольно и неодолимо превращаться в «наивного». Нам передается его температура — и это слава Богу; но лишь в молодости мы у него *учимся*, не имея сил «учиться», «следовать» в годы более зрелые; в годы, когда просто прочитаны и продуманы Островский, Гончаров, Писемский, Толстой, Достоевский.

Граница и «окончание» Белинского может быть выражена тоже одной строкою: мы учились жизни (значение Белинского) у того, кто сам жизни не знал.

Отсюда естественное равнодушие к нему всякого человека в зрелом возрасте, и всего общества в более зрелую пору; естественное отодвигание его уже сейчас в «археологическую даль»... То, что было его преимуществом (молодость), есть вместе и его недостаток. Он потому и мог заразить и взволновать все общество, что «еще сам учился»: но от этого же он и не может быть «учителем» до седых волос своих сотоварищей и сограждан. «Не знал жизни»: можно понимать это, как факт, но следует усилиться понять это, как *метод*. Некрасов был еще моложе Белинского: но Белинский с первого же прикосновения к поэту «мести и печали» почувствовал, что в этом совсем юноше есть что-то *более зрелое*, чем в нем, маститом критике. Известно также большое, подавляющее впечатление, какое произвел на него Лермонтов. «Песня о купце Калашникове» Лермонтова *психологически зреее* всех критических статей Белинского. Лермонтов, громадою ума своего и какою-то тайной

души, был *опытнее, старше, зрелее* Белинского; хотя фактически и практически знал жизнь, вероятно, еще менее его. Тут вовсе дело не в фактическом знании; а в какой-то способности *посмотреть на жизнь, взглянуть на людей*: и в момент понять в них то, что Белинский до гроба так и не понял, и не мог бы понять, проживи он хоть и до семидесяти лет. С оговорками и извиняясь, но нужно все-таки сказать, что Белинский был вечный младенец, и именно — *врожденно*,нося это в себе и как талант, и как страдание. У него была какая-то странная *развязанность, разьединенность* с жизнью, будто он был какой выброшенный на необитаемый остров человек или вечный затворник-монах... Во всяком случае нельзя даже представить себе, чтобы он кого-нибудь из близких, из друзей, «порасспросил о его жизни» и вошел с интересом *во все ее перипетии*, в ее канву, ход, *fatum*. «Жизнь» была просто не нужна ему, не интересна; интересны были только «книги, которые читал и любил ближний», и те «идеи, на которые навели его эти книги». Этим заканчивался круг того, к чему влекся Белинский. Именно от этой *ужасной в сущности односторонности* он и сделался великим критиком; но от этой же односторонности происходит то, что в высшей степени плодотворно только одно его волнующее значение: *а учиться у него нечему*.

«Сам не знал жизни»: нет, хуже и печальнее — Белинский был глубоко антинатуральный человек, *без-натуральный* человек. Одни идеи. Одни книги. Правда, все о «жизни»: и идеи, и книги, и беседы, «разговоры» с друзьями, «за полночь», «до утра». Но в «разговорах» этих вращались все одни *схемы*, одни «понятия» о жизни. Белинского нельзя представить себе, чтобы он выслушал «со вкусом» какой-нибудь анекдот; о том, чтобы он сам его рассказал — и думать нечего. «Анекдот» оскорбил бы его душу, ухо: между тем ведь это только «цветная полоска» из жизни. Но вот именно «цветного»-то чего-нибудь, колоритного, «под чем кровь течет» — Белинский органически не выносил. И это-то и лежало таинственным корнем под тем явлением, что он до самой смерти остался каким-то в сущности неразвитым ребенком, неразвитым почти физиологически; не то — монахом, не то — на пустынном острове, не то — пансионером всеобщего российского пансиона. Еще маленькое указание: известно, как в 60 и 70-е годы всех бесило, что «мы в опеке»; Белинский тоже, косвенно и осторожно, мог бы пожаловаться на «опеку», «опекание», ну — хоть моральную, ну — хоть в воспитании, в семье, а косвенно — и в «гражданстве», в «быте» в «государстве». Но тайна в том, что ни малейше его «опека» не тяготила, и «опекание» — житейское, гражданское, всяческое, опекание редакционное — просто им не замечалось, судьбе и существу его не противоречило; а, напротив, лишь при опекании и под опекою он и мог жить, существовать, действовать, *по младенчеству и неопытности всей натуры*. Поразительно, что даже Пушкин столкновения с цензурою имел: но Белинский не имел никакого столкновения с цензурою, никогда из-за его статей «историй»

не выходило. Он просил «пеленок», как «дитя», хотя и очень пылкое, огненное, гениальное. Но «через свой возраст не перескочишь»: пленки были в сущности «по нем», — редактора и политического строя. Отсюда те жесткости и обиды, которые он переносил и на которые жаловался, но с которыми не умел бороться, — что все происходило не столько, например, от «эксплуататорских способностей» Некрасова, сколько именно от «без-натуральности» субъекта, от его вечной «пансионерности».

«Вечный нахлебник»... «Пьет и кушает мало»... «Очень удобен, потому что не требователен и неустанно работает». «Мечтатель, горячая голова». Все относились к нему немножко как *не к своему*. «Вечный учитель и всех учит. Нам, людям жизни, не товарищ».

И он «учил»... И все, даже этот недостаток, сослужил великолепную службу, тоже легли подножием судьбе и значению *великого критика*. «Человек не от мира сего»... Так и *должно быть*.

Можно сказать, что каждая капелька крови из-под житейского тернового венца, облежавшего его голову, вырастала в пышную розу в сознании общества, в судьбе общества, в этом самонужнейшем его «волнении»... Он и без того-то волновался; волновался без причин, одной мыслью. Всякий же укол, трение, боль у этого схематического мыслителя, с трагическим пафосом, без анекдота, вызывал пламенные статьи на мировые темы, о мировых муках и сомнениях, которые гнали сон от Карповки до Урала, от Холмогор до Киева.

— «Еще Белинский написал статью»... «Читали?..» «Что думаете?»

И все читали, читали; учились, учились.

* * *

«Не житейский человек» имеет два смысла: практический и теоретический. Не жалко и не печально, что после Белинского мы долго не могли приучиться к бухгалтерии; но печально и трагично, что с ним мы разучились несколько постигать суть реальных вещей, потеряли несколько вкус к ним; потеряли их осязание, потеряли их обоняние. Здесь уже начинается *задерживающая* для «просвещения» роль Белинского. Возьмем пример — Потебню; возьмем великие труды — Даля. Оба «разворочали» русский язык; «разнюхали» словесное, звуковое, фонетическое народное творчество. Без объяснения всякий поймет, что оба были «*не школы Белинского*»; трудились, жили, думали, и даже волновались прекрасными и великими волнениями, вне «*метода Белинского*». Печально все-таки было, что то великое волнение, которое поднял Белинский, было разговорное волнение, пусть и лучших людей страны, пусть и в лучшие, патетические годы их жизни. В противоположность «Горю от ума», которое решительно начало эпоху «разговоров в салонах», Белинский начал эпоху разговоров по *комнаткам-кейкам*, — разговоров *вдвоем*, а не *в обществе*: и все-таки это были «разговоры», и нечто худое было в том. • Ах, правы были египтяне,

что они поклонялись «как *святым*», вечно молчащим животным, должно быть пораженные таинственным их *вечным молчанием*. «Разумны, прекрасны: и никогда не разговаривают»... Как не поклониться. Потенбня верно до самой профессуры не умел говорить. Вообще в людях, которые неуклюжи в разговорах, бестактны в разговорах, и «не берутся за это трудное мастерство» — есть особая, исключительная ценность, между прочим именно для культуры, именно для исторического движения общества, страны. Конечно, с ними «не начнешь газеты»: но ведь есть особенное благо в том, что «никак нельзя начать газеты». Доведем мысль до предела, и она сейчас станет убедительна: то общество духовно погибло бы, нравственно погибло бы, для будущего погибло бы, в котором вдруг все члены обратились бы в «газетный народ», с этим талантом «говорить сколько угодно». Задохлись бы, передрались бы и друг друга убили, притом не родив ни одной мысли. Явно, что Потенбня, явно, что Пастер или Ньютон выходят не «из этой среды», и сами не «этого духа», не этого «метода» люди... Вот тут мы и уловляем, что линия влияния и благородного действия Белинского, с его гениальным и страшным журнализмом (журналист-монах, журналист-solo), имела в себе внутреннюю *границу*, имела для себя внутреннее *окончание*. Дух его, ум его, деятельность его не имела «трех измерений»: она вся лилась в плоскости и была *плоска* сама по себе! неодолимо!! фатально!!! *Гениальна*, — и все-таки *плоска*... Какого-то «корешка» в нем не было, — «уходящего в землю». И это передалось обществу. «Все» учились у него; но, увы, это не было бы углубленное учение; точнее: это не было учение, с каждою минутою *углубляющееся*, идущее *далее*. В этом отношении он в высшей степени не прогрессивный, а задерживающий писатель: и очень долго «толочься на Белинском» решительно вредно, и не показало бы большого ума, *большой души* в «толкуемся». Здесь он может быть даже «измерителем душ», «водомерным снарядом»... Белинский *переживается*: и каждый должен пройти эту стадию горячо и страстно, «клянясь именем учителя», «клянясь сохранить ему верность *до гроба*». Но именно — «переживается»: то есть оставляется гораздо ранее «гроба». В чтении, в умственных увлечениях — то же, что в любви: «клятва верности» здесь может превратиться в черствую, лицемерную, притворную, похолодевшую связь «двух в одно»... С Белинским мы пережили чудный роман. Никогда не будем жалеть о нем: это первая любовь. История этой «любви общества и писателя» прекрасна и трогательна, как история Манон Леско и кавалера де-Гриэ... И все-таки «роман гимназиста» не заканчивает жизнь, не исчерпывает жизни. За маем идет знойный июнь, ароматный август... Идут «труды и дни» долгого года... Белинский — только сеял: прямо — *апрельский человек*. Кроме Манон, есть *иные типы чувства и отношений*; Пенелопа тоже чего-нибудь стоит, наша русская Татьяна тоже стоит чего-нибудь. Вспомынем Манон, но не забудем ни Пенелопы, ни Татьяны.

Вековая годовщина

(30 мая 1811 г.— 30 мая 1911 г.)

Ровно сто лет назад тому, 30-го мая 1811 года, на неизмеримых равнинах России, в каком-то городке, в какой-то хижине совершилось событие, до которого никому не было дела, кроме одного человека, с кем оно произошло; и, сверх этого, оно было совершенно похоже на десятки тысяч других таких же событий, в один час и день с ним происшедших в других городах, местностях и домах России: родилось крошечное новое человеческое существо...

Как мать кричала: о, ей было больно!!

Но никому решительно еще не было больно, и никто не кричал.

Взял отец на руки новорожденного: «новая радость пришла в мир, и наша бедная семья тоже вот осветилась чем-то новым». В ту пору не было еще такой экономической жесткости, и «лишний рот у каравая» не тревожил и не угрожал ничем. «Прокормится около всех».

Но и до радости отца не было никому дела.

Все проходили мимо окон дома, маленького, деревянного, не высоких над землею,— где мучилась и, наконец, отмучилась роженица. И никому-то, никому не было дело до того, что происходило в нем.

Заметила «нового пришедшего в мир человека» только церковь: пришел седенький священник, вынул из узелка заношенную епитрахиль и ризу, облекся в ветхую их ткань и произнес тоже ветхие слова, в незапамятные времена сложенные и придуманные,— «о всяком новом приходящем в мир человеке»; взял в руки крошечное красное существо, погрузил его трижды в освященную воду, с зажженными восковыми свечами по ободку купели,— и нарек имя новорожденному «Виссарион».

И обычные, если не сказанные, то молча подуманные пожелания: «Пусть растет. Служит подпорой старым родителям. Учится хорошо, наставников слушает. Церкви и отечеству служит на пользу. И во благовремени мирно почует, приложась к «отцам своим».

У, какое давнее все это, вековое, обыкновенное.

Но из всех младенцев, в этот же час и день родившихся, от которых сейчас едва сохраняются тлеющие кости в земле, без признака «мягких частей», имя «Висиньки Белинского», как его звала мать и звали школяры в училище, сохранилось одно, и вот прошло сто лет,— век пронесся! — а вся Россия в этот день одними устами и одним сердцем скажет: «Вечная память Виссариону Белинскому! Как он много сделал!»

И седенького священника нет. И от него тоже «мягких частей не сохранилось»... Но на этот раз, поздравляя измученную мать в темной

спаленке, с горящей сальной свечкой, он не ошибся, молвив обычное: «Поздравляю вас. Новый человек родился,— новая радость миру. Поправляйтесь, вставайте, кормите, воспитывайте».

О, как все обыкновенно: да, но и «обыкновенная дорога» тоже очень обыкновенна, а без нее «никуда не проедешь».

Мальчика откормили, вынянчили; мальчика отдали в ученье; мальчик никогда не был резв, всегда был угрюм. Все о чем-то думал. Учился так себе, больше читал. К чтению у него была огненная страсть. И, задумчивый, угрюмый, на вид молчаливый,— он на самом деле был преисполнен огненных речей, которые невнятно шептались у него на прогулках, в углу комнатки и, без сомнения, во время «приготовления уроков», которые на самом деле он не «готовил», или «готовил» кое-как; а тут же, держа под столом книгу, маленькие рассказы Карамзина или баллады Жуковского, что-нибудь из «Утренней Зари» или «Покоящегося Трудюбца»,— журналов тех дней,— пожирал страница за страницей, не замечая минут, часов...

Не замечая дней, годов.

Мальчик «ушел из дому»,— не буквально, а духовно: он ушел в «странствие по книгам», и с ними — в странствие по странам, временам, народам, культурам. «Русские» и «греки» для него смешивались в одно — «человека», «людей». Он не очень различал их. «Греки» и теперь «германцы», брезжившиеся ему в образах Тацита и «Песни о Нибелунгах», ему казались, во всяком случае, занимательнее «русских», с их однообразием быта и истории и уж слишком большой «обыкновенностью». В России «кое-чем» ему казались только книги. Россия «вся в обещании»... «Вперед! вперед!! В будущее, в будущее! В прошлом нет ничего, как и теперь, все тускло, серо, малозначительно». Греки уже на заре истории имели Троянскую войну и певшего о ней Гомера: можно ли с героями Илиады и Одиссея сравнить тусклые фигуры няниных сказок, с их вечным «дураком», который оказывается умнее всех умных. «Национальное остроумие, попытка бесталанного заявить, что он-то и есть настоящий талант».

Известно, «33 года сидим на печи», а потом?.. И «потом» русский человек готов еще просидеть сорок лет на том же месте, если его не сгонит отсюда «дубинка» Петра... «О, Петр, великий! Петр! Ты — один у нас! Такого, вот *такого* — даже и у германцев не было». Он «рвал», и «ломал»; но рванье и лом и нужны нашей ленивой, пассивной, засиженной мухами цивилизации. «Цивилизация»... да ее и нет еще, она не начиналась.

Так бурлило в душе маленького Висиньки... Отец и мать, видя его все угрюмым, немного даже боялись его: при нем не рассмеешься громко, не расскажешь смешной анекдот. Вечно задумчивый мальчик точно судил в душе всех окружающих: и окружающим это передавалось гипнотически.

— Он, может быть, и хороший, серьезный, обещающий. Но только он нас никого не любит, ни тебя, мать, ни меня, отца. И точно нет у него сестер и братьев. И к нему тоже не лежит как-то сердце.

Мальчик был тяжел в семье. И ему было тяжело в семье. В «своем домике» тоже было все затянуто паутиной, как везде; и, как «везде» же, тараканьи брюшки торчали из всех щелей потолка. Виссарион угрюмо на это посматривал. «В Москву! В университет!» — молчал он. Ибо он постоянно молчал. И постоянно горел в душе.

И приехал в университет... на «долгих ямщиках». Новый мальчик, глубоко новый, приехал в глубоко старый университет. Ему воображалось, что тут «Фалес и Пифагор, бродя в хламидах, рассуждают при слушающих юношах о началах всех вещей и о происхождении мира», а на самом деле это были затянутые в старомодные мундиры чиновники, вяло читавшие то по-латыни, то по-немецки, и, во всяком случае, не всегда по-русски о славянах на острове Рюген, о надписи на тмутарканском камне, о флогистоне, в то время заменявшем «кислород», и «об их высочествах» Рюрике, Синеусе и Труворе... Ибо, приближаясь к «князьям», профессора даже в отношении Рюрика, Синеуса и Трувора не обходились без мысленного «ваши высочества».

Огненный мальчик и холодел, и мерк... Какая-то «история», — и его исключили. Кажется, с аттестацией «за неспособность». Правда, Виссарион Белинский ничего не хотел знать «об острове Рюгене и его первых насельниках».

Мальчик весь трепетал жаром. Никогда *такой*, вот именно *такой*, не подходил еще к науке, в университет, к литературе, к жизни... Он *весь* был нов. Белинский был глубоко *новое лицо* в русской истории. Он был отовсюду «изгой»; он был глубоко *один*. «Изгой» из дома, с которым его не «роднило» ничто; из университета; из «круга», которого, впрочем, около него и не было; из «сословия», которого, впрочем, тоже почти не было. Все реальные связи его с действительностью были тусклы, не крепки, не интересны (для него); все скорее «вязались» около него, нежели его держали крепко, или хорошо бы помогали. Скорей «путались около ног»...

Связь была одна у него — с книгой, с миром книг!

С идеями! С волнующимся, туманным, со «звездочками», идеальным миром! Вот эта связь была реальна, горяча.

И Белинский сделался великим книжником! Я не умею этого выразить, мотивировать, доказать, но чувствую, что в эпитафии

ВЕЛИКИЙ КНИЖНИК

содержится все его определение, указание как границе его значения, его смертной стороны, умирающего в нем, его, наконец, ошибок

и незначительности,— так, с другой стороны, огромного значения и исключительной роли, какую он сыграл в нашей истории, имел для всего нашего последующего развития.

Теперь «великим книжником» стать легко, и через это не получишь значения.* «Второй Белинский» невозможен и, может быть, не нужен, как не нужен Гутенберг после Гутенберга. Вот попалось сравнение в идейном смысле, не в смысле печатного станка, а в смысле *напечатанной мысли, изданной идеи, в смысле книготворения как философии*: Белинский был для Восточной Европы, еще холодной, еще безкнижной, еще пренебрегавшей книгою и не понимающей ее значения,— истинным Гутенбергом!

Который *доказал* книгу и *оправдал* книгу.

Я бы ему поставил памятник такой: взъерошенный, с сухощавой фигурой, впавшими щеками, он вскочил с дивана, или «чего-то вроде дивана», в халате, или чем-то «вроде халата», и, обращаясь с взглядом, и пламенным, и негодующим, вниз, к зрителям, толпе, народу, к ученикам, студентам, к самим «господам профессорам», он ударяет сухощавым пальцем, согнутым в суставе,— вот этим самым суставом, этой «косточкой» — в переплет книги, которую держит другою рукой:

— Читайте! *Все* читайте!! О, сколько можете,— читайте все! и что угодно... нет, впрочем, лучшее, негодного отнюдь не читайте, но в этом мы разберемся потом, для этого я и родился, чтобы научить всех, что надо читать и чем зачитываться... В основе же и первоначально — просто читайте.

Он нес «книгу» как веру, как религию. Нес «книжность» или «читаемость» как новое «православие»... Точнее, как такую «славную веру», которая должна сменить всяческие «православия» — и наши, и не наши...

Море книг...

Море идей... Волнующийся туманный идейный мир, с «звездочками»...

В Белинском было что-то, что напоминает религиозного реформатора; в нем есть «родное» с Лютером, Кальвином; только не на «вероисповедной почве», а вот на почве совершенно другого материка. Поразительно, что это его значение (без формулы) чувствовалось даже его современниками: «за ним шли» или «на его сторону становились» люди неизмеримо более его образованные — Грановский, Герцен; люди ученые; «становились на сторону», в сущности, студента... Вечного недоучившегося студента, которому, впрочем, «доучиться» и не было возможности, так как он «вплыл в море» и вместе «открыл море», не имеющее берегов и концов.

Книга... весь книжный мир... не в смысле книгопечатания, а вот того, *чему книгопечатание служит*. Он был «вторым этапом Гутенберга». Тот указал технику,— этот *доказал* книгу, показал *правду* книги...

И умер, и задохся. Под книгами, за книги, ради книг...

Страдал, горел, говорил. Вечно говорил... Был «только писателем», как никто до него и после него. Другие были то «дворяне», то даже «знаменитые писатели». Уже это — плохо. Есть «прибавка», не настоящая, умаляющая значение. «Ради *славы* отчего же не сделаться и писателем?» — Белинский был просто «книжник», «писатель книг», т. е. как потом оказалось при издании, а при жизни — статей, просто журнальных статей, но все — о книгах, непременно о книгах, об идеях, об идейно книжном мире... До задыхания, до чахотки и смерти.

Да, это реформатор. В Белинском есть что-то особенное, что ни в ком не повторилось. И именно нигде, и ни в ком не повторилось его великолепного лица, великого сердца, его «всего», «всей совокупности», — вот этой «конкретности Белинского». У него не было в сочинениях ни капли поэзии: Грановский писал изящнее его; Герцен писал красивее, разнообразнее, сильнее; по *тону*, по *стилю* — Добролюбов был сильнее его; Чернышевский был подвижнее, еще живее, разнообразнее; кроме Добролюбова, все названные писатели были его учение, тоньше и культурнее развиты, в собственном смысле — образованнее. Но никто из них не получил такого значения, как Белинский, «отец всего», — «отец» собственно и их всех, перечисленных писателей, в том числе и современных ему почти ученых людей, как Герцен, Белинский прямо «из рук» учился у Герцена гегельянству и политике, и, между тем, Герцен был всего его «сыном», его «приемышем», — например, в расхождении со славянофилами, став «на сторону Белинского», тогда как Белинскому и на ум никогда не приходило «становиться на чью-нибудь сторону». Он был «первоначальный»; именно — «отец всего».

Как? Каким образом? Что это значит? Но, ведь, и около Петра великого были более искусные полководцы (Меньшиков), дипломаты (Шафиров, Толстой), ученые... Но не «Петр следовал за Ломоносовым, а Ломоносов за Петром; и Петр даже с Лейбницем — первым умом всего века — только «совещался» и отнюдь ни в чем ему не «следовал». Равно Меланхтон был неизмеримо учение Лютера, и так же, как он, видел все погрешности папства; но реформации Меланхтон не сделал и не мог бы сделать, а малоученый, умственно вовсе не тонкий Лютер сделал. Вот частица всего этого «блестка» и Петра, и Лютера лежало и на Белинском; было такое «перышко от жар-птицы», которое «осветило весь дом», как только его вынули из-под полы. Это и есть *личность*, первоначальная, первозданная, «верховодящая» в истории, которая всех заражает; все за нею следуют и хотят следовать, и сама она учит с таинственным прирожденным правом — учить, руководить, указывать путь. Он родился «князем мысли», «князем мысленного царства», идейного мира; и уже тогда, в комнате у матери, угрюмый и неразговорчивый, шел «к этому княжеству», воспитывался к нему, зрел до него, — все не понимая и сам, почему у него «не учатся уроки», и он «так равнодушен к матери и отцу» и к паутине по стенам.

«Все от него пошло», — можем мы сказать о всем умственном мире России. Любили и не любили Пушкина; но Белинского никогда не «не любили». Именно как реформатор; именно как «основатель новой церкви». Кто же «не любит» Лютера у лютеран, — даже если и не читал ни одной его строчки. «Дух Белинского», «смысл Белинского» — у всех нас, с каждым, во всяком. Всякий из нас — не стой в прошлом фигуры Белинского, — несколько иначе бы чувствовал, мыслил и говорил. Немного — и все-таки *иначе*.

Тургенев, придвигая Белинского к Лессингу в Германии, говорит о преимуществах последнего: «ибо он знал даже греческий язык». И прочее в том роде. Большая ошибка. Лессинг ни йоты не имеет Белинского. Хоть бы он знал восемь языков. Писал по-гречески и по-латыни, хотя бы он преобразовал германский театр, он все-таки есть «один из писателей в ряду славных», а не *родоначальник целого общества*, чем был Белинский, не преобразователь всего общественного духа, преобразователь его в философском отношении, преобразователь его в литературном отношении, преобразователь его в политическом отношении, преобразователь его даже в вероисповедном смысле, — чем всем был Белинский. Ибо «церковь», несомненно, слабула везде, где водворялся «пафос Белинского», где прививалась его «литературная религия». Между тем, никакое увлечение Лессингом не мешало лютеранам ходить в свою кирку. В Белинском была исключительность: «Или я, или другое; или Виссарион, или Фадлей Венедиктович Булгарин». «Булгариным» же он обзывал, или готов был обзывать все, что было «не мы», не «я, Герцен, Бакунин и Грановский»... Так произошло его «Письмо к Гоголю», так произошел его разрыв с славянофилами. Во многих отношениях все это было глубже самого Белинского, как во многих отношениях католичество, когда-то поборовшее язычество, когда-то умиравшее за Христа в цирках, — было глубже лютеранства. Но Лютер — именно он, а не Меланхтон, — «закусил удила»; как «завыл волком» (собственное о себе выражение Белинского в письме) батя Виссарион, когда появилась, после «Мертвых душ» неожиданная «Переписка с друзьями» Гоголя. — «Прочь от Рима»!! «Прочь от этого нового Булгарина».

С Белинским входил прозелитизм, «вербование сторонников», вербование молодых полков молодого движения, — чего вовсе не входило с «знавшим греческий язык» Лессингом. Сам Тургенев захотел «лечь рядом с Белинским» (на кладбище), как его верный ученик, как его «послушник». Между тем он превосходил Белинского образованностью, вот как именно Меланхтон Лютера. Но Лютеру было все равно, где лечь — около Меланхтона или в другом месте; он был так полон жизни, трепетал интересом к «сейчас», к чужому и всемирному «завтра», что о могилах не думал. Меланхтон был просто частный человек, обыкновенный человек, и захотел лечь «около Лютера». Как и Тургенев: великий литератор, неизмеримо прекраснейший Белинского, но — не великий человек, даже вовсе не новый человек.

Обыкновенный человек и великий литератор.

Белинский был, пожалуй, обыкновенный литератор (слог мысли), но был вполне великий человек.

Где же кончается его «церковь»? Маленькая, пылкая, пропагандирующая?

Где кончаются «книги» и начинается толща жизни.

Аполлон Григорьев, указавший в 70-х годах прошлого века на «почву» и «почвенные веяния» в литературе, в сущности, провел границу, где оканчивается влияние и значение Белинского... Но Аполлон Григорьев не был услышан: плохо ли писал, не пришло ли время, — но не был услышан. Итак, станем говорить о самом принципе, не ссылаясь на его проповедника. Все идеи Белинского суть *переработанные* идеи, как есть *фабрикаты* в отличие от *произведений природы*. В них вовсе не чувствуется *своего, непосредственного, личного* впечатления; не чувствуется своего осязания, своего глаза, своей прицелки к действительности, своей работы над действительностью. В жизни Белинский был младенец, едва ли умевший сосчитать все гривенники в рубле. А «Россия» заключает в себе много «гривенников», и не вести им «счета» невозможно. Белинский жил вне государства, родины, народности, в сущности, — вне истории, кроме идейной, литературной. Жил в «комнатке», и весь его мир ограничивался «комнаткой» и рядами книг на полках... «Святой» в келье «книжности»: в глубочайших недрах духа — аскет, монах, хотя имел жену и детей. Имел, — но едва ли *сам* когда-нибудь пропел колыбельную песню над ребенком; как едва ли когда-нибудь вник и в «денежные затруднения по хозяйству» жены своей. В сущности, он был «квартирант» у когда-то молоденькой девушки, ставшей почти случайно его женою; так были «женаты» и «семейны» и некоторые апостолы: без всякого отражения *семьи* в жизни их, в глаголах их покоривших себе мир. «Семья» и «брак» «святых», христианских святых... Повторилось это явление и в Белинском: жил он *на почве*, но без всякой *связи с почвою*. Объясню все примером: большие узоры геометрии он мог разобрать, но отличить белый гриб от боровика никогда бы не мог. Он не мог «понюхать вещи»; все предметы для него никак не пахли. Мыслей — сколько угодно, а обоняния — никакого. Вот границы его натуры и гения. Это не то, что Потебня — филолог, не то, что Буслаев — философ, ученый и сказочник. В сущности, «мир Белинского» нисколько не занимателен, и сам Белинский — трогателен, но не занимателен. Великолепен, прекрасен, создал целое движение, всех повел за собою, — да! да! да! Но — не занимателен. В личность его не будут вглядываться века, как в личность Гоголя или Лермонтова; вся его личность как-то лежит «в плоскости», а не «в кубе». «Кубического» — ничего, плоского — не охватишь взглядом. Ну, и т. д., параллелей можно прибавить много. Все в том, что не умел «понюхать вещи»; просто никогда не был в сыром березовом лесу, где, сняв гриб с кочки, поднес бы его к носу, и долго, долго дышал бы его своеобраз-

ным, *единственным в мире* запахом, зажмурив глаза и повторяя: «Боже, как сладко! Как просто, безлюдно, малоценно, а ничего *такого* еще в мире нет». От «отсутствия обоняния вещей» в нем не было, уже в самой литературе и литературности его, «колдовского начала». И он, в сущности, вовсе не «обворожителен» в серьезном значении этого легкомысленного слова. Не «занимателен» и не «обворожителен», и оттого, что не был «kuldu», «колдун», «халдей». Ничего подобного и приблизительно. Был литератор, «как и все», и «всех увлек» именно оттого, что был костью от кости «всех». Судьба и граница. Счастье и смерть. Совсем другой мир начинается, вот где «седенький священник пришел принять его от роженицы». Тут уж есть «kuldu», «халдей». Этого совсем Белинский не понимал. «Зачем? Чтó такое?» Можно бы ответить ему: «Не дать же роженице роман Поль-де-Кока, и даже ваши *«Литературные мечтания»*. Еще другой мир начинается, где его серенькие родители говорили: «Наш Висинька нас не любит, но мы его все-таки будем любить. Не нам, так кому-то всякий человек нужен. Не бывает, чтобы человек ни для чего приходил в мир». Опять «kuldu» показывается, показываются страхи Гоголя, мечты, тоска Лермонтова. Белинский всего этого не «унюхал». В глубоком, высшем смысле он был бедный человек; и «церковка» его, — великолепная, шумная церковь, — без пения, без тоски, без тепла, без грез и воспоминаний, без детей и старцев, а только с шумящим народом «средних лет». И нет в ней «эвхаристии», нет «крещения», нет вообще таинств. Как и «лютеранская церковь», она вся состоит из «проповеди», которой младенцы не разумеют, а люди достаточно пожилые говорят: «Все это мы сами умеем, и даже красноречивее»...

Чахло, бедно не надолго, — но для истекшего времени, с его грубостью, бескнижностью, неуважением к книге и к идеям, это было высочайше просветительно и высочайше необходимо. Но вечная алгебра, но в высшей степени важная «практическая задача из арифметики».

Неоценимый ум

К. Леонтьев. О романах гр. Л. Н. Толстого.
Москва, 1911 г.

Слова Лермонтова о пророке —

Он *горд* был, не ужился с нами —

так идут к фигуре, к образу, к духу, к стилю Константина Леонтьева. И священное слово, что «не бывает пророков для *отечества своего*», — опять с какою глубиною приложилось к нему!! Двадцать лет прошло с его смерти: а имя его, мысли его, книги его до того неизвестны «в отечестве», словно Леонтьева и не рождалось вовсе, словно такого писателя в Русской земле и не было! Между тем ряд таких умов, как

покойный кн. С. Н. Трубецкой, Вл. С. Соловьев. Ю. Н. Говоруха-Отрок, Лев Толстой и Достоевский, а из современных — Н. А. Бердяев, П. Н. Милюков, Л. А. Тихомиров, П. Б. Струве, одни признали его огромную силу (Толстой и Достоевский), а другие прямо назвали его одним из самых ярких и поразительных русских умов за весь XIX век. Если в этой оценке сходятся и бывший террорист, теперь редактор «Московск. Ведом.», Тихомиров, с его бурной душой и судьбой, и «аккуратные» не менее Акакия Акакиевича Милюков и Струве, и наконец, гении нравственных вопросов, как Толстой и Достоевский, то, Боже мой: ведь это же что-нибудь *значит!* Тут — не aberrация, а покоряющая всякое сердце истина. И когда это сопоставишь с тем, что «даже самое имя писателя неизвестно», кроме немногих случайно натолкнувшихся на книги Леонтьева, то слова Лермонтова о «пророке» и слова Св. Писания тоже «о пророках для отечества», в истине *приложимости своей к Леонтьеву*, — станут разительно очевидны!!

...Сколько вот лет критика, библиография приглядываются к «начинающим начинающих» и ждут: «не талант ли?» И как радуются, если есть хоть «признаки таланта»... Рождение «таланта» в литературе радует всех: это счастье и честь страны, удовольствие каждого. Эх, добрые читатели: устройте праздник всем, устройте праздник стране. Будет зачитываться Пинкертоном и Вербицкой. От тебя, публика, от твоей *серьезности* ведь действительно зависит судьба литературы; и, косвенно, — целой страны судьба. Если ты не будешь знать и любить своих лучших писателей, если будешь давать ловкой Вербицкой строить второй (как мне передавали) каменный дом, щекоча нервы студентов и курсисток, если «читатель-студент» и «читательница-курсистка» (естественно, самый обильный читатель) на самом деле суть только «бульварные читатели», — то, конечно, *могила стране, могила культуре и образованию*, и тогда на кой же черт вас зачем-то учили и строили для вас университет и курсы?! Неужто же это все «для Вербицкой»? Восплачьте... не стыдно иногда и поплакать... не стыдно *умному* человеку и *честному* человеку. Или все напрасно? Все победила панталонная Вербицкая? Ложись в могилу и умирай ум, совесть, слово, гений при холодном хохоте восьми университетов, четырех духовных академий и двух сотен гимназий, которые после Пушкина, после триумфов слова от Пушкина до Толстого, вдруг вынесли на плечах Вербицкую и объявили: «Не *они*, а *она!*»

О стадо, о чудовищное стадо: какой ты ужасный демон... печальный и непобедимый.

Однако если бы по какому-нибудь вдохновению «к лучшему», капризу «к лучшему», несколько сотен человек в Петербурге и Москве, нащупав рубль в кармане, пошли и купили «О романах гр. Л. Н. Толстого» К. Леонтьева — они в один день устроили бы тот «праздник в литературе», который наступает с рождением «нового таланта». Да, добрый читатель: новый талант родился!!

Правда, он родился и умер в тоске, никем не uznанный, кроме заглянувших в могилу (см. выше имена). Но публика для него не «родилась». В момент рождения для него «публики» и произойдет рождение «нового таланта в литературу».

* * *

Каждый сильный писатель движется каким-нибудь пафосом. Какой же был пафос у Леонтьева?

Красота действительности. Не в литературе, не в живописи или в скульптуре красота, не на выставках и в музеях, а в самой жизни. В *быте*, в *событиях*; в характерах, положениях. Под другим углом, другим языком, чем Карлейль, он выразил ту же мысль, какую тот выразил в своей теории «о поклонении *героям*». «Герой», «героическая личность», «героическая эпоха» — вот чему следует поклоняться, чему вековечно поклоняется человек, сознательно или бессознательно... Историю движет эстетическое начало — более, нежели начала религиозные или политические.

«Прекрасный человек» — вот цель; «прекрасная жизнь» — вот задача. Если ее прикинуть к мужскому идеалу, то это будет «сильный человек» и «сильная жизнь»... Читатель сам увидит, что тут есть совпадение с Ницше, хотя Леонтьев писал и высказал свою теорию раньше Ницше, и в ту пору, когда имя германского мыслителя не было даже *произнесено* в русской литературе. Но в то время как Ницше ничем решительно не мотивировал своего преклонения перед «сильным белокурым зверем», Леонтьев совершенно ясно высказал основание своего поклонения. Наиболее прекрасная жизнь есть наиболее *сильная* жизнь, т. е. далее всего отстоящая от *смерти*, от *конца*; красивейший человек бывает в *цветущий* возраст (*биографически*), в *цветущую эпоху* (исторически), т. е. опять-таки во время, наиболее далекое от *конца*, от *смерти*.

Расцвет — это сила и красота.

А старость и смерть всегда *безобразны*.

Идеал *эстетический* совпал с *биологическим*.

Что можно сказать на это, кроме того, что это всегда правда.

* * *

Но что такое *расцвет* — это мечта «прогресса», чаяние всех «цивилизаций»? Биолог ответил в Леонтьеве: «Это — *сложность*». Наиболее «сложный человек» есть наиболее красивый человек, в то же время и наиболее сильный. Наиболее «сложная цивилизация», «сложная культура» есть в то же время и наивысшая; точнее — в «сложный свой период» всякая культура проходит через кульминационную точку собственного существования.

За нею культура начинает *падать*, и это падение есть непременно *упрощение*. Есть два упрощения: старческое, младенческое. До «высшего

пункта развития» человек и культура просты потому, что они еще *не развились*; после «высшего пункта развития» люди и культуры упрощаются потому, что они *вырождаются*. «Дряхлость», «болезнь» всегда есть *деформирование* болящего органа; смерть есть *«деформирование»* целого организма. Ткани не выдерживают напора жидкостей; жидкости их прорывают и смешиваются. Человек гибнет, так гибнет «машина», когда «механизмы», его составляющие, как бы тают, растворяются, *уподобляются* друг другу... Все перестает быть «собою», теряет «эгоизм своего я» — и тогда человек умирает.

Не иначе умирает и цивилизация. И она тает, когда ее части, органы, функции теряют «эгоизм своего я». Самое лучшее, говорит Леонтьев, — *борьба*. Пусть мировые силы, отдельные властолюбивые личности ведут человечество к унитаризму, единоформенности, еднoсоставности; *части* не должны нисколько уступать этим мировым силам, властительным личностям, и отстаивать страстно и мучительно свое «я».

Красиво? Верно? Я не могу назвать более великолепной теории. Она истинна, как сама *действительность*. Скажу точнее: *теория* Леонтьева есть просто действительность, ее описание, ее название. Леонтьев был великий мыслитель; он был и страстный мечтатель; но этот мечтатель и философ был прежде всего реалист.

Не порицая Ницше, хочется сказать: до чего наш Леонтьев, умерший в 1892 г., когда имя Ницше было вовсе неизвестно в России, на самом деле поднялся головою выше Ницше. Но пустая толпа прошла мимо него. Она ничего не услышала.

* * *

Отсюда вытекла вся его «публицистика». «К сложности!» — вот его крик. «К красоте! к силе!» Тут он столкнулся с славянофильством, к которому первоначально принадлежал, и откололся от него; столкнулся и с Толстым, и с Достоевским, которых обоих он назвал «сантиментальными христианами». Теория, ставшая страстным личным убеждением, заставила его бороться с «панславизмом», т. е. «*объединением славян*», т. е. их слиянием в *одно*, когда общий крик его души и теории был: «*многое! не забывайте многого!*!» «Не мешайте *разнообразию и противоположности* этих множественных частей». Славянофил — против объединения славян: конечно, он был черным вороном среди них! Далее, будучи государственным и патриотом, он восстал против «обрусения» остзейских немецких провинций, как равно и Польши! Это — в царствование Александра III, с одной стороны, и в пору начавшихся триумфов религиозно-нравственной проповеди Достоевского и Толстого. Все от него чуралось и бежало; «большая же публика» даже не знала, что в литературе поднялся громадный спор около замечательной теории.

«Все, теперь умирает, все падает; потому что все обезличивается»... И он с жестокостью восстал против величайших стимулов нашего времени: против любви, милосердия, жалости; против *уравнительного*

процесса истории, который он назвал «эгалитарным процессом»; против «братства» народов и людей. «Не надо! Не надо! Все это — к смерти, к деформации народов, племен, людей!». «Барин» и «лакей» превращаются в двух «полулакеев»; гложет везде «провинциальная жизнь», сливающаяся в жизнь единой «столицы». «Не надо!» Я формулирую по-своему его мысль. Но мысль — эта. «Все эти ближние, сливающиеся в одно братство, — сливаются в стадо, которое едва ли и Христу будет нужно». Таким образом, как бы раскинув руки, он восстал против всего движения европейской цивилизации, христианской культуры. Конечно, это был титан, в сравнении с которым Ницше был просто немецким профессором, ибо Ницше и в голову не приходило остановить цивилизацию или повернуть цивилизацию: он писал просто книги, занимательные немецкие книги!

Сословия — и они нужны; аристократия — да! но при пламенной борьбе с нею демократии. Пусть все «борется», «разнообразится»: ибо через это приходит «цвет»! Через это одно; нет других средств! Не надо этого «братства», этого сюсюканья, этой всей бабьей, мягкотелой цивилизации. Железо и сила — вот закон жизни. Пусть будут все «врагами», потому что это гораздо лучше сохранит в каждом его физиономию, нежели предательская «любовь», предательское «друг друга обьемем», при коем люди потеряют краску щек, блеск глаз, потеряют силу и красоту, обратившись в хаос нюнящих, противных, смешных и никому решительно ненужных баб.

Так он стоял в великолепии своих теорий. И никто не слышал. Даже не прочли... По-моему, он стоял выше Ницше и был неизмеримо героичнее его потому именно, что отнюдь не был «литератор», а *практический боец*, и так понимал всю свою личность, всю свою деятельность...

* * *

Книги его — «Наши новые христиане», «Гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский», «Национальная политика как орудие всемирной революции» (т. е. всемирного *разложения*) и, наконец, главный труд — «Восток, Россия и славянство». Бог даст, будут изданы, и скоро. Скоро, скоро, чувствуется, придет время Леонтьева. Кстати, не думайте, наивный читатель, что это тот «Леонтьев», который составил латинский словарь и которого поминали всегда вместе с Катковым: ничего общего! А многие этих двух Леонтьевых смешивают в одно лицо, и едва ли такое смешивание не есть одна из причин безвестности *Константина* Леонтьева, о котором я говорю... Интересная грамотность публики...

• В своем критическом этюде о Толстом Леонтьев рассматривает творца «Войны и мира» и «Анны Карениной» как *завершителя* «натурального романа» в России, в котором «натурализм» не только достиг своей высшей точки движения, но, наконец, достиг *пресыщенности*, чего-то утомительного для души, утомительного и, наконец, несносного для вкуса, после чего хочется отдохнуть на произведениях совершенно

другой школы, другого построения, другого духа, «будут ли то соблазнительные романы Вольтера и Жорж Занда или целомудренные *Записки инока Парфения* — все равно». Сам Толстой, говорит он, почувствовал удушливость натурализма, начав после больших романов создавать маленькие рассказы из народной жизни, которые, независимо от морали их, от тенденции и проч., замечательны в чисто литературном отношении тем, что *совершенно иначе художественно построены*. «Ни у Вольтера, ни в «Чайльд-Гарольде», ни в «Лукреции Флориани», ни у Гёте, ни у старца-Аксакова не «разрезывает беспрестанно котлеты, *высоко поднимая локти*»; никто не ищет все «тщеславие и тщеславие», «бесхарактерность и бесхарактерность». Нигде во всем перечисленном не коробит взыскательного ценителя ни то, что «*Маня зашагала в раздумьи по комнате*», ни «тпррру! — сказал кучер, *с видом знатока, глядя на зад широко расставляющей ноги лошади*»... Ни что-нибудь вроде: «Потугин *потупился*, потом, *осклабась*, шагнул вперед и молча ответил ей кивком головы». На всем этом, и русском и не русском, и древнем и новом, одинаково *можно отдохнуть* после столь долголетнего «шаганья», «фыркания», «брызганья слюною» в гнев (Достоевский) и проч.

Так говорит Леонтьев. Физиология имеет свое место в жизни, и, следовательно, ей неотъемлемо принадлежит определенное место в литературе; но именно — определенное, а не беспредельное и особенно не хаотическое, «где и как попало» и «чем больше, тем лучше». Леонтьев первый отметил и резко указал, что составляет *положительный недостаток*, положительную *неверность против самой природы*, это перегружение «жилыми» подробностями, мелочами, аксессуарами произведений Гончарова, Тургенева, Достоевского, Толстого; подробностями вне цели, вне необходимой связи с рядом стоящим, подробностями, как некоторой Ding an sich, «вещи в себе»... Это — *школа*, это *выдумка человека*, а не закон самой «природы», которая, напротив, всегда обрубает все ненужное, лишнее, мешающее, превращая «отслужившие органы» в «рудиментарные остатки» и, наконец, изглаживая и их... «Ничего ненужного!» — крик природы; а это «подняв локти» около «еды» или «зашагал» вместо «пошел» суть явно ненужное, лишнее. «Все ненужное вредит», — учит физиология: «вредит» оно не только в физиологии, но и в искусстве, мешая его *красоте*, как там оно мешает *здоровью*.

• Второй недостаток «натуральной школы» — это пресыщенность психологией. Действия мало, действие ничтожно, действие в художественном отношении «сделано» небрежно: все внимание автора обращено на то, чтобы перегрузить свои персонажи невероятным количеством «внутренних движений»; и так как это опять «сверх природы» — это «внутренние движения», наконец, сочиняются, иногда фантастично (у Достоевского), а во всяком случае — не целесообразно. Сколько «внутренних движений» у Левина («Анна Каренина»), у Пьера («Война и мир»): а *жизни* — почти никакой или — мелочная, «своя», не больше, чем у «всякого», и даже значительно меньше, чем у «всякого», который

и детей хоронит, и семейные измены терпит, и над неспособными детьми бьется, и теряет должность или имущество. У Левина жизнь катится преблагоприятно, а Толстой по крайней мере том употребил на описание его «переживаний», или фантастических, или просто никому не нужных, если «нужду» тоже не «высасывать из пальца», т. е. не сочинять, не «перегружать» ею себя, общество и мир. Мир устроен значительно проще, но, с другой стороны, он устроен и значительно страшнее, ответственнее, мучительнее, *содержательнее*, чем описывает русская «натуральная школа», где все только «дергают локтями» или как-то необыкновенно «шагают» и ничего не *делают*, в сущности, не *живут*.

«Такая ли жизнь?..»

Леонтьев отвечает: «Не такая!»

Обращаясь к анализу «Войны и мира» и сравнивая этот роман с «Анной Карениной», Леонтьев замечает, что в смысле *точности* изображений и *верности духу времени* — второй роман совершенно безупречен; напротив, «Война и мир» хотя более дорог нам значительностью изображаемой эпохи, тем не менее в чисто художественном отношении имеет погрешности. Так, первому десятилетию XIX века совершенно чуждо было то упрощенное и «наравне» отношение к простому народу, к простолюдинам, какое приписано Пьеру Безухову; «его речи, его дневники отдают Константином Аксаковым, жившим в 40-х годах, и самим Львом Толстым 60-х годов»... Платон Каратаев совершенно возможен в 1812 году: но *взгляд на него Пьера, рассуждения по поводу его Пьера* — это анахронизм. «В то время люди были очень образованы, начитаны; но в них не было *сложности душевной жизни*, развившейся гораздо позднее, лишь во вторую половину XIX века»: и образ как Пьера, так и Андрея Болконского сделан «слишком горельефно (с сильным углублением внутрь), а не барельефно» — и тем нарушает историческую правду.

«Когда Тургенев, по свидетельству г. П. Боборыкина, говорил так основательно и благородно, что его талант нельзя равнять с дарованием Толстого и что «Левушка Толстой — это слон!», то мне все кажется — он думал в эту минуту особенно о «Войне и мире». Именно — слон! Или, если хотите, еще чудовищнее: это ископаемый *сиватериум* во плоти, — сиватериум, которого огромные черепа хранятся в Индии, в храмах бога Сивы. И хобот, и громадность, и клыки, и сверх клыков еще рога, словом, вопреки всем зоологическим приличиям».

«Или еще можно уподобить «Войну и мир» индийскому же идолу: три головы или четыре лица и шесть рук! И размеры огромные, и драгоценный материал, и глаза из рубинов и бриллиантов, не только *подо лбом*, но и на *лбу*!! И выдержка общего плана в романе, и даже до тяжеловесности неиссякаемые подробности; четыре героини, и почти равноправные (в глазах автора и читателей), три героя (Наташа, Мария, Соня и Елена, Пьер, Болконский и Ростов). Психический анализ в большей части случаев поразительный именно тем, что ему подвергаются

самые разнообразные люди. Наполеон, больной под Бородином, и крестьянская девочка в Филях на совете; Наташа и Кутузов; Пьер и князь Андрей; княжна Мария и скромный капитал Тушин!..»

Этим великолепным сравнением начинает Леонтьев разбор «Войны и мира» и «Анны Карениной», — разбор, который по справедливости можно назвать *образцом* литературной критики. От последней мы совершенно отвыкли, так как вот уже сколько десятилетий вместо *литературной* критики мы видим или проверку политического паспорта у автороманиста, или отчаянное заверение автором-критиком о своей полной политической благонадежности; и, словом, что

Чувства добрые он лирой воспевал...

Никуда *далее* и никуда *в сторону* от тощей тетрадошки, по которой уездный поп читает обычную свою проповедь.

Леонтьев из разбора творчества Толстого сделал разбор всей нашей *натуральной школы* как школы, противоположной пушкинской *краткости*, пушкинской *давности*, пушкинской *целесообразности*. И, завершив разбор, заканчивает то сравнение, с которого начал:

«Я люблю, я обожаю даже *Войну и мир* за гигантское творчество, за смелую вставку в роман целых кусков философии и стратегии, вопреки господствовавшим тогда у нас правилам художественной сдержанности и аккуратности; за патриотический жар, который горит по временам на ее страницах так пламенно; за потрясающие картины битв; за равносильную прелесть в «изображениях как «искушений» света, так и радостей семейной жизни; за подавляющее ум читателя разнообразие характеров и общепсихическую их выдержку; за всеоживляющий образ Наташи, столь правдивый и столь привлекательный; за удивительную поэзию всех этих снов, бредов, полуснов и предсмертных состояний. За то, наконец, что лучший и высший из героев поэмы, кн. Андрей, — не профессор и не оратор, а изящный, храбрый воин и идеалист. Я поклоняюсь гр. Толстому *даже за то насилие*, какое он произвел надо мною самим тем, что заставил меня *знать как живых и любить как близких друзей* таких людей, которые мне кажутся почти современными и лишь по воле автора переодетыми в одежды «Бородина», лишь силой его гения перенесенными на полвека назад в историю. Но, припомнив вместе с этим в совокупности все сказанное мною (т. е. что изложено в книге), — я чувствую себя вправе думать: это именно то, о чем я говорил раньше, — «три головы, множество рук, глаза из рубинов и бриллиантов, — только не *подо* лбом, а на лбу, у огромного, золотого, драгоценного кумира».

«Конечно, это ничего не значит со стороны *достоинства во всецелости*; но это значит очень много со стороны *точности и строгого реализма*».

«Великолепный и колоссальный кумир Браммы индийского стоит по-своему олимпийского Зевса. И есть не только минуты, но и года, и века такие, что дивный Брами будет нравиться уму и сердцу нашему гораздо больше, чем Зевс, правильно-прекрасный, положим, но который

все-таки человек, как все. Но вот в чем разница: можно восхищаться кумиром Браммы или Будды, можно судить по нему о *миросозерцании* индийских художников и жрецов, но нельзя еще по этому величавому изваянию *судить о действительной наружности жителей Индии*; а по Зевсу, Лаокоону и гладиатору можно хоть приблизительно вообразить внешность красивых людей Греции и Рима».

Таким образом, Леонтьев был первым и остается до сих пор единственным, кто указал *границы реализма* у Толстого, по крайней мере в «Войне и мире». Вместе с тем он первый и опять единственно указал, что весь «реалистический период» в русской литературе естественно и сам в себе закончился; созрел и наконец «перезрел»... Что дальше идти здесь некуда. «Изучать действительную жизнь или изучать жизнь по *Анне Карениной* — это равнозначаше» — с этого утверждения, которое он развивает во всей своей книге, начинается его разбор романов Толстого. Что же дальше?.. Не отвечая на вопрос этот, мне хочется только указать, что анализ Леонтьева и его художественные утверждения, между прочим, совершенно объясняют, почему приблизительно после «Анны Карениной» для русской литературы настала пора новых исканий, новых попыток... Декадентство, символизм, «стилизация» — во всем этом литература заметалась, ища не повторять то, что было пройдено, что было прекрасно в расцвете и созревании, но совершенно несносно в перезрелом виде. В этих путях искания литература находится и сейчас. Для самих наших романистов и поэтов в высшей степени необходимо ознакомиться с Леонтьевым. Что касается читателей, то уже по приведенным отрывкам они могут видеть, что Леонтьев-*критик* есть вместе с тем и первоклассный *писатель*; что он дает что-то совсем другое, чем ежемесячные журнальные обзоры литературы, о которых хочется сказать то, что и Лермонтов сказал о кислых недозрелых плодах:

...Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между плодов, пришлец осиротелый
И час их красоты — его паденья час.

Чувствуется, что для Леонтьева наступает «час красоты». И когда для него настанет этот час, уже от одного сравнения в глазах читателей не могут не повалиться десятками «плоды недозрелые», которые лишь бременят древо жизни...

Дай Бог. Будь чуток, читатель.

Герцен

Н. А. Котляревский закончил в «Вестн. Европы» блестящий очерк — «Общественные настроения 60-х годов», посвященный собственно одному Герцену. Работа — исчерпывающая, подводящая итоги;

спокойная, уравновешенная; и все выводы, как и частные замечания, проф. Котляревского можно принять. Бесконечно интересно приведенное им письмо Б. Н. Чичерина к Герцену в пору издания «Колокола»; бесконечно жаль, что *не отыскано письмо Добролюбова*, написанное к тому же Герцену в ответ на его глумление и которое, вопреки обыкновению, Герцен не поместил в «Колоколе». Два эти письма, Чичерина и Добролюбова, как две «координаты», определяют или определили бы (если б письмо Д-ва отыскалось) «местоположение» Герцена в русской литературе и в русском политическом движении.

Центр воззрения Котляревского на Герцена — что это был «человек сороковых годов»; а вся плеяда писателей 40-х годов вылетела из «дней Александровых прекрасного начала», — и в 50-е и в 60-е годы она явно устарела; не умом, не темпераментом, в особенности — не знанием, а «чем-то»... что назвать трудно, определить невозможно, но что чувствуется в каждом слове, каждом поступке, в стиле, во всем. Кавелин, Костомаров, Чичерин гораздо менее радикальны и прогрессивны, чем Герцен: но вот, подите, в «радикальные» 60-е годы они были «своими людьми», а Герцен был для них стар. Тут именно «что-то», — «неуловимое». Чернышевский выказал почти мистическую чуткость, когда по поводу полемики Герцена с Добролюбовым поехал *лично* повидать Герцена, и, по словам последнего (в «Колоколе»), назвал его «ископаемым мастодонтом».

* * *

Прекрасное слово, красивое слово, незабываемое сравнение, обворожительная острота — это был *кумир*, перед которым все меркло для людей невольного-пассивного положения, в каком находились все люди *николаевского времени*. Герцен был в нем протестант, — но, однако, был все-таки человек николаевского времени. Странно сказать: но государь Александр II, которого он осыпал упреками (в «Колоколе») за недостаточно быстрые и недостаточно радикальные реформы, на самом деле стоял *гораздо впереди Герцена*, стоял *наравне* (в одной *новой* психологии) с Чичериным, с Кавелиным, даже наконец с кружком «Современника»; и просто — тем одним, что вышел из-под обаяния *слова*, как какого-то фетиша, какого-то «божка», и предпочитал ему хоть маленькое, но *дело!* хоть серенькое, но *дело!!!*

Герцен был последним могиканом слова, «довлеющего себе». Решительно, он зажился; и в пору освобождения крестьян и польского восстания, земства и нового суда, был уже «мастодонтом», или, предпочитая жаргон третьей Думы и полемистов ее, — «зубром». Самый «социализм» для него был главным образом великолепным «литературным полем». Вообще — он был изумительным литератором, вне сравнения с кем-нибудь. Но *человеком жизни* — он не был; ни — всем тем, что вытекает из этого неизмеримого понятия.

Долг, труд, решаюсь сказать — совесть, наконец «гражданин» вот в этом тягучем понятии, что он «отбывает и воинскую повинность»,

наконец даже «человек» вот в этой горькой истине, что нельзя и не дозволено им называться, не вспахав своими руками полосы земли (Толстой, Библия): все это суть исторические положения, исторические ситуации, до которых *не дотянулся* Герцен. Отвратительное слово «барин» все-таки приложимо к нему. Пусть он звал к «топорам» — и все-таки был «барчук» с музыкой. «Музыка» его была прелестна: и все-таки все отравлялось сознанием, что это — музыка «барчука» и «ничего-недельщика» (простите варварское слово). Даже как-то чудовищно и наконец позорно подумать, что он, столько лет прожив, — все *только писал!!* И писал все *свои мысли!!* Даже тюрем в Лондоне не осмотрел, как это сделали люди *новые*, Диккенс (одно из странствий Пикквика), наши Чехов, Мельшин, и друг. Решительно ничего не «щупал руками», а все выдумывал!! Тридцать лет выдумывать *из головы* — это черт знает что такое! Просто — неблагородно. «Благородство» в смысле «чистеньких рук», доходящее до «неблагородства»! Он на «топоры» оттого и указывал, что срубить березу еще мог в порыве, а вот из березы выделывать какой-нибудь инструмент, сколотить стол, сделать соху, борону — решительно бы не мог. И посади-ка бы его «во власть» на случай «освобождения крестьян», ну — на трон: то он сделал бы несравненно менее Александра II, ибо менее его был *трудопособен и скромен*; он все бы измьял, все бы искровянил, и, в конце концов, ничего не сделав, заехал бы от отчаяния в такую реакцию, какая нашему правительству и не снилась, или истерично выкрикнул бы, еще в большем отчаянии и сохраняя «noblesse» *: «А, ничего не разберешь... Рубите всех и освобождайтесь сами!» Лень... Разве не *ленью* звучат эти слова его: «На себя только надейтесь, на крепость рук своих: заострите топоры, да за дело — отменяйте крепостное право снизу! За дело, ребята: будет ждать да мыкать горе» («Колокол», № 25). Это — голос барчука-Дубровского, из эпохи 20-х, 30-х годов прошлого века; это голос «мрачных героев» *детских* повестей Лермонтова. А Герцен печатал это уже в старости, печатал в 1858 году!!! Конечно — «мастодонт» или «зубр».

Читать выдержки из его «Колокола» (у Котляревского стр. 149—151 июльской книжки) — просто отвратительно по фразистости: точно куплеты из «Черной шали» Пушкина.

Гляжу я безмолвно на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

Для *нашего времени* это совершенно несносно: и так понятно, что «кормило власти» было взято из рук его молодежью «Современника»... Из рук его это «кормило» просто выпало по старчеству, по их слабости. Ну, что мог юноша-Дубровский со своими «кинжалами» и «пулями» в толпе добропорядочных людей, как Кавелин, С. М. Соловьев, Чичерин, Самарин, И. С. Аксаков. Среди них Герцен был как игрушечный «конек» детской комнаты, как «пистолет», стреляющий пробкой.

* достоинство (фр.).

И он «палил» из своего «Колокола», никого не пугая, не восхищая, и все изумляясь, почему так мало впечатления (после первых и очень *коротких* успехов)... Но тот же Чернышевский опять очень проницательно его определил «лишним человеком» (термин Тургенева).

«Я — лишний человек», — изумляясь, передавал свою беседу с ним сам Герцен («Колокол»). Да, «Гамлеты» водились не только в «Щигровском уезде», но заезжали и «в Лондон».

Котляревский очень деликатно, но вместе точно и *строго* отрицает в нем совершенно способности политического агитатора, политического бойца, вообще политического человека. Он делает это очень органично, связывая отсутствие агитационных даров со всей суммой духовных особенностей Герцена, и даже с *преимуществами* его разнообразного ума, развития, душевной мягкости, многосторонности.

* * *

Он зажился, человек «Александровской эпохи»: и лучи совершенно новой эпохи, пав на это старое лицо, заиграли на нем каким-то неприятным и ложным светом. Точнее, наоборот: в лучах нового взошедшего солнца лицо это вдруг передернулось некрасивыми чертами, показало в себе ложные краски. Объяснение: почему мы не должны «вечно жить» (забота Мечникова), *даже очень долго жить*, почему мы должны «вовремя умирать». Некрасиво «с лицом одной эпохи» появиться «в другой эпохе».

В 60-х годах все закипело работой, деятельностью... Герцен был к ней не способен, *даже литературно*. С пером в руках, он не мог стать *ничему* пособником. «Я родился сказать русской жизни *иронию*», — великолепно он формулировал себя; но ведь в пору освобождения крестьян за такое великолепие можно было только высечь розгою (что с ним и сделал Чернышевский при разговоре). Поднялся вопрос об учении крестьянских ребят. Ушинский стал писать свои великие работы и учебники: что такое они были для Герцена? Он и *понять* их не мог, у него все была «Черная шаль» на уме. Пирогов писал «Вопросы жизни»: вот *новая литература*, — нашего уже времени!! Начались воскресные школы; стали созидаться, то украдкой, то насильно «женские курсы» всех родов: что тут мог Герцен, как было приложить к этому его фразы: «Вам следует снять корону, если вы не можете сразу освободить крестьян» (обращение к Александру II). Начиналось земство и земская медицина; Герцен фразировал: «царских мантий в два цвета нет... Ступайте в монастырь» (тоже обращение к государю, в № 97 «Колокола»). Он становился *комичен*; неудержимо, с лицом и в позе трагика, он начинал вступать в роль *комика*. Это положение до такой степени печально и страшно, что оно похоже на казнь. Тоном «казни» и проникнуты его последние писания. Н. А. Котляревский, мне кажется, чуть-чуть ошибается адресом, относя этот тон к его скорби об обществе, о судьбах его, о судьбах России... Не таким тоном звучала его прелестная литература,

еще «40-х годов», в первое время по выезде из России. А положение общества, нашего и европейского, было тогда еще несравненно мрачнее. Наконец, именно в самое последнее время, вот когда у него послышались стоны, он был принципиально против мрачности.

«Сойдут скоро со сцены эти *желчевики* (от «желчь», неудачное прозвище, каким он окрестил сотрудников «Современника»); они слишком угрюмы, слишком действуют на нервы, чтобы долго удержаться. Жизнь, несмотря на восемнадцать веков христианских сокрушений, очень языческим образом предана эпикуреизму и *à la longue* * не может выносить наводящие уныние лица невских Даниилов, мрачно упрекающих людей, зачем они обедают без скрежета зубов и, восхищаясь картиной или музыкой, забывают о всех несчастьях мира сего... Нас поражает торопливость, с которой эти люди отчаиваются во всем, злая радость их отрицания и страшная беспощадность. После событий 1848 года они были разом поставлены на высоту, с которой видели поражение республики и революции, вспять идущую цивилизацию, поруганные знамена — и не могли жалеть незнакомых бойцов. Там, где наш брат (! В. Р.) останавливался, оттирал, смотрел, нет ли искры жизни, они шли дальше пустырем логической дедукции и легко доходили до тех резких, последних выводов, которые пугают своей радикальной бойкостью, но которые, как духи умерших, представляют сущность, уже вышедшую из жизни (? В. Р.) — а не жизнь. Это освобождение от всего традиционного доставалось не здоровым, юным натурам — а людям, которых душа и сердце были поломаны по всем составам. После 1848 года в Петербурге нельзя было жить... Чему же удивляться, что юноши, вырвавшиеся из этой пещеры, были юродивые и больные? Потом они завяли без лета (?? В. Р.), не зная ни свободного размаха, ни вольно сказанного слова. Они носили на лице глубокий след души помятой и раненой. У каждого был какой-нибудь тик, и сверх этого личного тика, у всех один общий — какое-то снедающее их, раздраженное и свернувшееся самолюбие. Половина их постоянно клялась, другая постоянно карала... Да, у них остались глубокие рубцы на душе. Петербургский мир, в котором они жили, отразился на них самих; вот откуда их беспокойный тон, язык *saccadé* ** и вдруг расплывающийся в бюрократическое празднословие; уклончивое смирение и надменные выговоры, намеренная сухость и готовность по первому поводу осыпать ругательствами, оскорбительное принятие вперед всех обвинений и беспокойная нетерпимость директора департамента... Добрейшие по сердцу (!) и благороднейшие по направлению, они, эти желчные люди наши, тоном своим могут довести ангела до драки и святого до проклятия («Колокол», № 83, 15 октября 1860 г.).

Вглядитесь, вслушайтесь, как летит эта речь... В ней ничего конкретного, осязательного, ничего *материального*... Чистый словесный *стипутиализм*, без всего *содержимого*... Это соловей закрыл глаза и поет

* долго (фр.).

** отрывистый (фр.).

о чем-то, едва касаясь «легкими перстами» темы. Дело не в теме, а в музыке. И где бы, на какой странице мы ни открыли бы Герцена, всюду мы найдем эту в сущности монотонную психологию: певца, счастливого своею песнею. Слишком много счастья... Нигде Герцен нас не *измучит*: странно для стольких лет литературной деятельности. Нигде не приведет примера, от которого бы волосы зашевелились на голове: а ведь *бывает* такое, в жизни бывает. Ну, что жизнь: лучше литература! Нет, в самом деле: в восьми томах нигде отчаяния? Той давящей, *гнусной* тоски, в которой человек вдруг заползает по полу на четвереньках вместо того, чтобы ходить «по-человечески» на двух ногах. А тоже бывает. Воют люди, ползают... Но соловьиная песнь несется... Изумительный литератор, Герцен был только литератор. Он был не только не боец (Котляревский), но, можно подозревать, что и как человек он был «кое-что» и не более. Придеремся еще раз: тюрем он не осмотрел, в Уайт-Чепел (квартал проституции в Лондоне) он не пошел; и вообще не имел любопытства никуда «заглянуть». Не подглядывающий был человек; скорее уж жмурающийся. Скажем демократически: без белого воротничка не вышел бы на улицу. Пусть он ответит нам, что такой взгляд есть пошлость: сохраним эту пошлость. Как, ратуя всю жизнь за «пролетария», ни разу не понюхать зловонного тряпья, в которое одет и обут «этот Джон», «тот Жак», «наш Яшка»... Но ничего *конкретного* и *нигде*, из этой области, не встречается у Герцена. Все — схемы, везде — идеи, всюду — пафос, непрерывно — звон. Такая музыка в конце концов надоедает. Герцен восхищается, но на неделю. Через год он становится нестерпим. Я подозреваю, что тайная и главная причина стонов «в конце» заключалась в том, что он сделался нестерпим сам себе, как человеку вкуса и ума; что ему было отвратительно дальше так же писать, а иначе он не мог.

Скучно, скучно!.. Ямщик удалой,—

Разгони чем-нибудь мою скуку.

Песню, что ли, приятель, запой

Про рекрутский набор иль разлуку.

Когда раздались эти песни, это *конкретнейшее из конкретнейшего*, читатели Герцена, я думаю, вздохнули с необыкновенным облегчением, как после осмотра «собора в стиле рококо» выйдя на лужайку, на село, на улицу, и сказали: «Вот, слава Богу, отдохнем!! Вот *живая* литература, *теперешняя*... Ну их к черту, эти «рококи», эти завитушки красноречия, эти «восемнадцать веков христианских сокрушений», эти «Даниилы на Невском», и вся эта ахинея нашего окончательно состаревшегося Александра Ивановича... Сухо, сухо это... Нет влаги. Нет сырости. Нет болотца, кочки. Не пролетает дупелек... Какое чудо, какая свежесть этот несколько плутоватый Некрасов, играющий в картишки, черт его дери, но посмотрите, что он поместил в последней книжке «Отечественных Записок»:

Дом не тележка у дялюшки Якова,
Господи Боже, чего-то в ней нет!
Седенький сам, а лошадка каракова.
Вместе обоим сто лет...

Герцен угас: потому что загоралась заря *народничества*, народных движений в жизни, народных тонов в литературе, — сельских, пожалуй «с выпивкой», фабричных, опять, извините, «с дракой», с фигурами битыми и бьющими, гуляющими и работающими, «разблаженными» и «разнесчастными»... как всех «Бог сотворил»... И в заре этой потускла его *искусственная*, т. е. ложная, звездочка, казавшаяся такой великолепной лишь на пустынном небе Николаевских времен, когда стихов было много, жандармов тоже много, и никакой прозы, ни одной идеи. Тут-то он и взвился каскадом идей и великолепной умной прозы почти во всех родах: но прозы нигде не гениальной по силе или новизне, и как-то бездельной... Образов, сравнений так много, что хоть открывай базар: но ни одной «*idée fixe*», тоскующей, *грызущей* мысли. Где центр, зерно, из которого бы вырос *весь Герцен*? Такого нет. Странно для писателя такого огромного значения. Все великие люди, умы, поэты, были «монолитны»: но Герцен весь явно «составлен» из множества талантов, из разных вдохновений, из многообразной начитанности. «Своей натуры» у него гораздо меньше, чем «впечатлений со стороны». Но и впечатления эти только «хорошо обработали его наружность», но не заязвились ни одно в сердце... «Не могу лучше писать» — главная горечь всей жизни. «Публика перебегает к *«Современнику»* — последнее отчаяние. Странно, дико и наконец не красиво. Потому что настоящая красота растет изнутри, а не наводится снаружи... Если «душу» определять по составным элементам нашего *согрус'а*, то среди костлявых и твердых людей, сердечных и пылающих, «жилых» и неотвязчиво-упорных, и т. д. и т. д., мы назвали бы Герцена *кожным* человеком: сила токов, крови, талант нервов — все бросилось у него «в лицо», в «наружные покровы» тела, все напыжило их, напрягло, создав в своем роде единственную фигуру и образ, на который «заглядываешься»...

Как «на выставку»...

Но «на груди не заснешь» у него...

Чем нам дорог Достоевский?

(К 30-летию со дня его кончины)

Прочел в «Вестн. Евр.» статью С. А. Адриянова о Достоевском, вызванную тремя о нем статьями — Андрея Белого, г. Кранихфельда и Вячеслава Иванова, в свою очередь вызванными 30-летием со дня смерти Достоевского, исполнившимся в этом году...

Тридцать лет прошло, а как будто это было вчера... Мы, толпою студентов, сходили по лестнице из «большой словесной аудитории» вниз... И вдруг кто-то произнес: «Достоевский умер... Телеграмма». — Достоевский умер? Я не заплакал, как мужчина, но был близок к этому. Скоро объявилась подписка на «Полное собрание сочинений» его, и я подписался, не имея ничего денег и не спрашивая себя, как заплачу.

«Достоевский умер»: и значит *живого* я никогда не могу его увидеть? и не услышу, *какой* у него *голос*! А это так важно: *голос* решает о человеке все... Не глаза, эти «лукавые глаза», даже не губы и сложение рта, где рассказана только биография, но *голос*, т. е. *врожденное от отца с матерью*, и следовательно, из вечности времен, из глубины звезд...

Я вспомнил начало знакомства с ним. Мои товарищи по гимназии (нижегородской) уже все были знакомы с Достоевским, тогда как я не прочитал ничего из него... по отвращению к звуку фамилии. «Я понимаю, что *Тургенев* есть великий писатель, равно как Ауэрбах и Шпильгаген: но чтобы *Достоевский* был в каком-нибудь отношении прекрасный или замечательный писатель — то это конечно вздор». Так я отвечал товарищам, предлагавшим «прочитать». Мы делали ударение в его фамилии на втором «о», а не на «е»: и мне представлялось, что это какой-то дьякон-расстрига, с длинными волосами и маслящий деревянным маслом волосы, рассказывает о каких-нибудь гнусностях:

— Достоевский — ни за что!..

И вот я в VI классе. Вся классическая русская литература прочитана. И когда нас распустили на рождественские каникулы, я взял из ученической библиотеки его «Преступление и наказание».

Канун сочельника. Сладостные две недели «отдыха»... Впрочем, от чего «отдыха» — неизвестно, потому что уроков я никогда не учил, считая «глупостью». Да, но теперь я отдыхаю *по праву*, а тогда по хитрости.

Отпили вечерний час, и теперь «окончательный отдых». Укладываюсь аккуратно на свое красное одеяльце и открываю «Достоевского»...

— В., ложись спать,— заглядывает ко мне старший брат, учитель.

— Сейчас.

Через два часа:

— В., ложись спать!..

— Сию минуту.

И он улегся, в своей спальне... И никто больше не мешал... Часы летели...

Долго летели, пока раздался грохот за спиной: это дрова вывалили перед печью. Сейчас топить, сейчас и утренний чай, вставать... Я торопливо задул лампочку и заснул...

Это было первое впечатление...

Помню, центром ужаса, когда я весь задрожал в кровати, были слова Раскольникова Разумихину, — когда они проходили по едва освещенному коридору:

— *Теперь-то ты догадался?..*

Это когда «без слов» Разумихин вдруг постиг, что убийца, которого все ищут,— его «Родя». Они остановились на секунду: и вдруг добрый и грубый бурш Разумихин все понял. *Как он понял* — вот эта «беспроволочность телеграфа», сказанная в каком-то комканьи слов (мастерство Достоевского, его «тайна») — и заставила задрожать меня. Я долго дрожал мелкой, бессильной дрожью...

* * *

Но это — впечатление одной страницы, даже нескольких строк, и да не распространяет читатель этого «переживания» на «впечатление от Достоевского» вообще. Напротив, в противоположность почти всем читателям, я за всю жизнь ни разу не пережил от него *болезненного впечатления*, патологического, нервирующего, о котором говорят все. И не понимаю, что это такое «болезненное впечатление».

Я всегда его читал ровно, спокойно... Об убийствах или философию — всегда ровно. Нигде — дрожания, страха. Нигде — отвращения. «Ровно читаю»,— везде ровно,— «моего Достоевского».

В слове «моего», пожалуй, выражена сущность дела, т. е. *мотив* безустанности совершенно *безболезненного* чтения. Никак не скажешь: «я читаю *моего Толстого*», «я читаю *моего Горького*», «моего Шпильгагена»... Почему? Шпильгаген писал *для мира*; и когда мир стал читать его, то между читателями очутился и я. Таким образом между «мною» и «Шпильгагеном» не было соединительной нити: я *восхищался* его идеями, или его *романом*. «Шпильгаген» я употребляю для примера (тогда много его читал), но можно подставить всякое другое имя. Всякий «писатель» для читателя вообще, для меня мальчика был «гора», на которую я *смотрю*. Какая же связь? Что общего?

Самое поразительное в впечатлении от Достоевского было то, что он не был «горою»... Вообще «величественного» ничего не было. Не «Тургенев» (звук имени)... Но он, не с десятой, а с первой страницы, даже если хотите, с первых строк как будто вошел в эту самую комнатку, с красным одеяльцем, и, побродив угрюмо и молча по ней, подсел к боязливому мальчику на кроватку, пощекотал его, сморщился, улыбнулся, и затем тусклым языком, плетясь и плетясь, начал... говорить, рассказывать, объяснять... еще рассказывать, больше всего рассказывать, не обращая никакого внимания на «мальчика», и все говорил о какой-то своей задушевной муке, задушевной скорби, о самых тайных своих биографических фактах...

А мальчик, хитренький и не учащий уроков, все слушал и замирал... И страшно много узнал нового, неожиданного... Развратился и просветлел... «Согрешил» и «воскрес»... все с Достоевским.

— Ах, как *тяжел* грех...

— Ах, как бы *опять* к Богу...

Это, я думаю, главное нагнетание... И что поразительно: разные «Бокли» не изгонялись из души, и, чередуясь, проходили по этой душе,

потом «материализмы», «атеизмы», «социализмы», — вся русская «обывательщина». Право, атеизм так сроден русскому гимназисту, что это есть просто «обывательское русское явление», событие «нашей Петропавловской улицы», и нужно перестать быть «Ивановым» и обратиться в «Шмидта», чтобы перестать быть «атеистом и социалистом». Хорошо: но вот в чем дело. Пока года четыре спустя после прочтения первого романа Достоевского плыли потом «социализмы» и «атеизмы», — то совершенно параллельно им и одновременно с ними стала упорная точка или, пожалуй, темное облачко, ни во что пока не разрешавшееся, даже ни с чем (с «атеизмами») не спорящее, но — *не они*. Стало и не уходит. Ничего не говорит, а только *все видит*. Те, другие облака, плыли, сплывали: а это — *все одно и все стоит*.

Потом все те облака стали *скучны*... Просто не стало никакого интереса ко всем «атеизмам», хоть какие они ни будь, хоть «разрази всю вселенную» и «сорви все кресты с церковей и все троны с земли».

— Скучища... Господи, какая это тощища...

И осталась интересна ужасно маленькая точка, даже две точки:

— А, однако, как утешить, успокоить, *облегчить* NN (Макара Девушкина, или рассказчика «Белых ночей», Нелли, Соню Мармеладову, «честного вора» и т. д.).

И еще:

— А как же, однако, и *почему* Разумихин понял Раскольникова, когда тот ему ничего не сказал и вообще не сделал никакого признания?

Точка антропологическая: *человек*.

Точка космологическая: мир, как *загадка*.

* * *

Так, кажется, было дело. «Бокли» и «Лассали» — все поплыло, как *мелочь*; социализм или атеизм тоже сплыли, как *мелочь*, «некоторые из *человеческих построений*»... Достоевский вернул душу к *великому реализму*: как вот, однако, быть с «честным вором», который взял да и удавился от совести... «Поменьше бы совести: не удавился бы»; а если такая совесть, то «как не удавиться»? Что же: «уменьшить ему совесть» или «бросить веревку и сказать — *вешайся*»? Труднее решить, чем всего Лассалья.

Трудность мира — не в схемах, а в конкретном: трудность — в «мелочах». *Город* сделать благополучным — не великое дело; а вот прожить-ка ты благополучно в *своей семье*. На первое хватит хорошего губернатора, вторую проблему не умел разрешить Толстой.

Но если «город благополучен», а в городе «всякая семья несчастна», то на кой черт то большое, грандиозное, схематическое, философское и социальное «благополучие»? А между тем «домашнее благополучие» иногда зависит от такой дрянной вещи, что вот у меня сапог ногу жмет. Ну, в этом роде... Когда сапог давит на мозоль, никакой «гармонии вселенной» не обрадуешься.

Счастье — в бесконечной индивидуальности.

«Счастий» столько, сколько индивидуальностей...

Береги индивидуальность; береги *всю жизнь*: вот канон, и нет других.

Но *этот* канон — отрицание всяких канонов... «Броди, человек, в лесах, в полях; броди по улицам, в городах; и только внимательно смотри, чтобы твоя тропа ни с чьей чужой не пересеклась и ничьей чужой не мешала»...

* * *

Но я все сбиваюсь и отвлекаюсь в сторону от Достоевского... Чем же, собственно, он стал дорог с первой строки и с первой минуты знакомства? «Пришел и сел в комнату», «пришел и сел *в душу*». Но это аналогии и описания.

Суть Достоевского, ни разу в критике не указанная (сколько я знаю ее историю), заключается в его *бесконечной интимности*...

После лица и книги, которых я не хочу здесь называть, ибо они *вне* человеческих сравнений, Достоевский есть самый *интимный*, самый *внутренний* писатель, так что *его* читая — как будто не *другого кого-то* читаешь, а слушаешь свою же душу, только глубже, чем обычно, чем всегда... Ведь и «своя душа» раскрывается вот до такой-то глубины, вот до другой глубины, а бывает и совершенно поверхностна, и, наконец, легкомысленна. Чудо творений Достоевского заключается в устранении расстояния между субъектом (читающий) и объектом (автор), в силу чего он делается *самым родным* из вообще сущих, а, может быть, даже и будущих писателей, возможных писателей.

Это несравненно выше, *благороднее*, загадочнее, значительнее его идей. Идеи могут быть «всякие», как и «построения»... Но этот *тон Достоевского* есть *психологическое чудо*.

Идеи *были* у вас, и прошли... Но свои идеи, и *прошедшие* — дороги. Вот почему «все идеи» Достоевского могут пройти, или могут оказаться ложными, или вы их перестанете разделять: и от этого *духовный авторитет Достоевского* *нисколько не уменьшится*. Это — чудо.

Как оно взялось у него? «Я всегда больше любил *обдумывать* свои произведения, чем писать их,— говорит он, почти не замаскировываясь, что — о себе, в «Униженных и оскорбленных». Это показывает в нем *не первоклассного писателя*, у которого естественно центр наслаждения — самое *писание, самая форма* (как сказалось «обдуманное»)... Итак, за «писателем» в Достоевском стоит другое, *важнейшее* («больше любил это»...). Не будь «писателем», он бы и иначе выразился; в *другую эпоху*, наверное, выразился бы не журналистом с серий романов в руках, а *иначе* и, может быть, *ярче*, пламеннее, *мирообъемлющее*... Вспомним его «Сон смешного человека», «Легенду об инквизиторе» и рассказ Версилова своему сыну о заграничных странствованиях («Подросток»)... Вообще из всех «сочинений» Достоевского можно бы извлечь от 20 до 50 страниц такого текста, который как-то странно видеть в «романах», которые испепеляют и уничтожают

всякую форму беллетристики и показывают в нем человека, сердце, ум совершенно сверхъестественных размеров: провидца, ясновидца, «одержимого» или «пророка», «святого» или опять-таки «одержимого»... Такие «эпилептики» в древние, наивные и доверчивые времена, времена доисторические, начинали культуры, цивилизации, строили или перестраивали «великие города»... В Достоевском было немножко от «Ромула и Рема», вскормленных дивной волчицей, или от «Нина и Семирамиды», с историей о какой-то «голубке», в которую, кажется, обратилась Семирамида, предварительно задушив мужа. Последнее сочетание особенно напрашивается в аналогию к нему, у которого элемент преступности, *тяготение к преступному, интерес к преступному*, как-то таинственно и загадочно сплетался с праведными, святыми порывами, чувствами, словами. В Достоевском более, чем в каком-либо русском человеке, содержалось явное иррациональное чудо, ни существа, ни границ которого мы не знаем и не можем понять (именно как в чуде), но их *чувствуем*... Ни в ком еще из русских не было так много *супра*-натурального мира, как в нем... И так как «супра-натуральных чудес» раскидано довольно много в истории (только не в нашей), то можно вообще сказать, что вникание в Достоевского есть лучший мост из всего, что имеется в русском сказывании (литература, наука) для разгадывания и постижения вообще всемирной истории, которой мы собственно не имеем самого «нюха».

* * *

Но оставим это и вернемся к *интимному*. Итак, он больше любил «думать», чем «писать»... И романы его, как равно «Дневник писателя», есть только неполная и несовершенная, именно немного *похолодевшая и неприноровленная* («меньше люблю писать») форма, но этих самых его сжигавших и томивших мыслей и чувств, этих чудодейственных *отношений его сердца к миру*... В сущности, он все и говорит об этом, об одном этом... Он говорит о мироощущении, вот как «скользнул боком я, червяк, по боку — мира чудного, который создал Бог»... Не нахожу слов выразить то, что чувствую. Достоевский всю жизнь пытался выразить, и иногда это ему почти удавалось (20 страниц, 50 страниц), совершенно новое мироощущение, в каком к Богу и миру не стоял ни один человек. Это — не наука, не поэзия, не философия, наконец, это и не религия или по крайней мере не одна она, а *просто новое чувство самого человека, еще открывшийся слух его, еще открывшееся зрение его*, но зрение души и слух тоже души. «Услышал новое, увидел новое» (собственные слова в «Сне смешного человека»); но по новизне не было у него слов, не было ничего соответственного, точного и реального, в старых словах. Я думаю, это все и чувствуют в его четырнадцати томах: *пытается* сказать, а не может сказать. К описанию этого он подходит, в частности, где говорит, почти тоже, не замаскировываясь, о своей эпилепсии. Но ведь эпилептиков очень много, а этих «чудес» о себе они не рассказывают,

и вообще тут «мелкий бес» подозрительности или скромности заставлял Достоевского все кивать на «медицину» и сваливать в ее немытые реторты... Конечно, тут дело не в медицинской эпилепсии, несколько не экстраординарной, а в том, что за нею стояло и вызывало самые припадки эпилепсии, как бы временное безумие и потерю памяти... Слов ясных он и не мог найти, потому что в памяти сохранялись только последние секунды перед припадком; но вот эти 20—50 страниц несут, как зарю, ответ в себе того солнца, которого прямо он и не видел сознательно сам, и не мог ничего о нем рассказать определенного. Но «цвета», но «спектр» в заре те же, что в солнце. И он говорил о нем:

— Ах, вот если бы это, чего не умею выразить — то все были бы счастливы, все; и лев лег бы рядом с ягненком.

Таким образом он держал «почти в руке» развязку самых мучительных мировых проблем, — не владея чем и выдумываются почти отчаявшимся человечеством «социализмы» и «атеизмы»... «Ах, не то не то», — твердил он. А что же есть «то», — не успел выразить, да даже вполне отчетливо, в форме «видимого солнца», а не прощальной «зари», и сам он не знал. «Ах, видел зарю: но солнца никогда не видел. Но знаю, что оно есть: вы же именно не знаете, все и никто, что есть, существует и когда-нибудь покажется это солнце».

* * *

Но я все отвлекаюсь от его *интимности*: она и произошла от этой страшной занятости его духа одной мечтой, одним желанием, одной потребностью, которая не находит истока. Тогда не будешь писать романа «в правильных главах». Получится весь тот хаос, который заключается в его 14 томах; но хаос этот везде проникнут таким мучительным шепотом вам в ухо, что вы, забывая более правильные творения, слушаете этого «эпилептика»... как слушали Нуму Помпилия первые пастухи Рима, или слушала Семирамида свою вещую «голубку»... Опять я сбиваюсь от секрета тона: в каждом человеке есть способности, которыми он работает, — память, ум, воображение, мозговая воля, чувство вкуса и меры; и есть *сердечка души*, обыкновенно скрытая у всякого, и которая только изредка и нечаянно прорывается. Все 14 томов Достоевского, где вкуса не очень много, являют эту «сердечку» его души. И вот это-то и образует его бесконечную *интимность* с каждым (соответственным) читателем, который за его книгу берется и который вовсе не читает его, как «литератора», вовсе не видит в нем «писателя», «гору вне себя», а чувствует, что какая-то одна душа *реет* в нем самом и в Достоевском, душа «возможная и во мне», душа «мною забытая», душа «моя ошибочная», но именно, *однако, моя душа*, родная; вечная и всеобщая, — и в то же время *его единичная*, Ф. М. Достоевского. Говоря языком древних философов, в нем было немножко «души мира», частица которой конечно есть «и во мне», есть она в «каждом». И вот эти частицы, при чтении, сливались до безраздель-

ности, до единства; да даже в реальности — они и суть *одно*. Конечно, это совсем другое, чем писать роман «своею способностью вкуса» или «даром художественного воображения». Какое мне до всего этого дело? Но о Достоевском никак не скажешь: «мне до него *нет дела*». «До Достоевского» есть дело каждому: ибо никто не может быть равнодушен к своей душе. Достоевский — не «он», как Толстой, как всякий; Достоевский — «я», грешный, дурной, слабый, падший, поднимающийся. По тому, что он есть «я», и при том каждого человека «я» — он встает с такой близостью, с такой теснотой к каждому, как этого вообще нет ни у одного писателя, кроме Лица и Книги, которых мы не упоминаем. И навсегда Достоевский останется поэтому наиболее «священным» из наших писателей, ибо он совершенно перешел грани литературы, отчасти разрушив их, внутренне разрушив, — и передвинувшись в сторону, где вообще все полагают «священное», полагают «религиозное» в первобытном смысле. Дабы кому-нибудь не показались наши слова преувеличенными, скажем, что был «ближе к Истине» разбойник на кресте, нежели Платон в Академии. Все слабости Достоевского — при нем; вся немощь — при нем; и может быть из идей его — ни одна не истинна. Но *тон его истинен, и срока этому тону никогда не настанет*.

Он говорил, как кричит сердцевина моей души.

Как тоскует душа всех людей в черные и счастливые минуты...

Когда мы плачем...

Когда мы порываемся...

Когда мы клянем себя...

Все, все это — у нас, как у него, который был «так близок к Истине», что это составляет чудо его личности и биографии, которого с ним никто не разделил.

Загадочная любовь

(Виардо и Тургенев)

В высшей степени интересно то, что рассказывает или, вернее, *разыскивает* г. И. Гальперин-Каменский относительно романа Тургенева и Виардо. Всегда и многих уже давно занимал вопрос: было ли в этом романе что-нибудь *физическое*? Уже по тому одному, что любовь тянулась от 25-летнего возраста Тургенева до его смерти, а о связи все-таки *спрашивают, и спрашивали* себя все, близко обоих их знавшие, с очевидностью показывает, что связь была в высшей степени призрачна, неправдоподобна, что ее *не было* или *почти* не было, и все сводится к этому «почти», которое может быть равно или «нолю», или «чему-нибудь»... Вопрос, изыскание и любопытство относится именно к «малому», к «бесконечно малой исчезающей величине», как говорят математики.

Я называл «любопытство», но в хорошем, достойном смысле. Было бы унижительно для историка, для критика и литератора добиваться

этой «биографической подробности о Тургеневе» и в высшей степени оскорбительно для самих Тургенева и Виардо: кто имеет право копаться в таких интимностях двух частных людей, с своею *честью*, которую не смеют оскорблять и после смерти? Раз они сами этого *не сказали*, никто не вправе *искать о них*, узнать это. Но, мне кажется, любопытство здесь другое. Даже неинтересно никому узнать, — «что же именно было между Тургеневым и Виардо». Истории принадлежит и истории любопытен их гений, их мысли, их оценка жизни и людей, — и только. Дальше ее любопытство вовсе не простирается. Да, но только «ее». Мы называли любопытство это «благородным» потому именно, что тут «Тургенев» и «Виардо», литература и пение, не играют никакой роли, а встретился поразительный феномен отношений двух любящих людей, мужчины и женщины, холостого человека и замужней женщины, матери семейства, который есть явный «сфинкс» уже по тому одному, что о присутствии *физической связи* спрашивают.

Ведь она так естественна? Ведь почти невероятно жить сорок лет в семье, быть «любящим и любимым», хотя бы и не пламенно, не горячо, и не «иметь связи», иначе, как в духе, в воображении, в «союзе сердец» в романтическом смысле, без всякого физиологического привкуса и осложнения. Но, очевидно, было что-то странное в отношениях, что поражало всякого, приближавшегося «к семье Виардо с Тургеневым», что они откидывали это естественнейшее, это нормальнейшее предположение и, «повидав», не *утверждали*, а начинали *спрашивать*: «Неужели ничего нет?»

Повторяю, никто при такой степени близости, при этой жизни «под одною кровлею», в «одном гнезде», не спрашивает. Все «знают» и ничего не говорят. И не любопытно, и слишком ясно. В артистическом же и литературном мире, где есть и неотъемлемые «особые права», никем это и не осуждается. «Не всем по-замоскворецки жить».

Отношения Тургенева и Виардо были явно аномальны. Это какой-то особенный феномен любви, страшно редкий, трогающий нежностью, глубиной, продолжительностью до «вечности» и без всякого субстата в себе материи. Какая-то «радиоактивная» любовь. Известно, что радий «производит работу», но на нее не тратится: исцеляет, обжигает, светит непрерывно, а сам все «цель» и «тот же». Это чудо, открытое впервые в радиии, поколебало даже «закон сохранения энергии», аксиому всего естествознания. В любви Тургенева есть эта же радиоактивность: любят, живут друг с другом, постоянно беседуют, говорят друг с другом, он слушает ее, она читает его произведения, — и не устают, не соскучиваются. Совершенно неприменима формула Лермонтова, такая страшная для любви, такая ужасная для всех истинно и глубоко любящих:

Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против *усталости* и *скуки*
И своенравия мечты?

Ужасна эта «усталость» и «скука», заволакивающая почти всякую семью, на 10-й, на 20-й год жизни. Но «невечность любви» есть почти поговорка о любви, ее в своем роде «закон сохранения энергии», или, в этом частном применении, «закон траты энергии». Она вечно та же, пока в «совершенной работы»... В этом, ведь, и заключается «закон сохранения энергии». Она — вечно та же, пока в покое, а как начала работать, — тратится, исчезает. В сущности, она «переходит в работу». И любовь, давшая «крылья» любовникам, сдвинувшая их с места, связавшая в семью, далее одушевлявшая на всякий подвиг и ежедневный труд жизни, и «переходит в это», в «грудю сделанных дел», в «детей», меняясь и исчезая в своем первоначальном предбрачном виде, в этом розовом эфирном виде.

«Все уже отяжелело и... умерло. В 50 лет мы живем только *привычкою*», — говорят несчастливцы. Рок любви, судьба любви.

В любви Виардо и Тургенева этого нет. Как же это не любопытно? Как не любопытствовать? Это не только интересно само по себе, это и страшно важно, между прочим, в возможном и далеком будущем, даже практически. Какая же семья не хотела «черпнуть немножко» этой вечности? Но *как?* Но *откуда?* Эта загадка унесена в могилу Тургеневым и Виардо, но, очевидно, право всякого любопытствовать здесь до последней мелочи, до последней подробности. Тут «Виардо» и «Тургенев» ни при чем: тут судьба и счастье «нас», вообще так не любящих, и которые им завидуем. «Откуда? Что такое?»

Тургенев «разлучался» (формула Лермонтова), но говорил: «Хорошо здесь, хорошо отдохнуть. Но вот позовет Полина, и я поеду».

Он говорил о России и Франции. Такое расстояние! И он «в разлуке» жил месяцы...

«Новая красота», например, баронессы Вревской, его если и тревожила, то как-то неглубоко. Замечательно, однако, что при этом неглубоком и без последствий притяжении у него образовывались чувственные пожелания, каких, очевидно, наблюдатели никогда не улавливали между Виардо и Тургеневым, ибо иначе они просто «знали» бы, а не «спрашивали». Очевидно, ничего подобного между Виардо и Тургеневым не было: ибо тогда «чего же спрашивать», — даже и ошибившись, все просто «знали бы», «утверждали бы», как, вероятно, тысячи раз ошибаясь, «утверждают» про всякого... Сплетня всегда немножко «дополнит», неблагородное воображение «дорисует». Если о Тургеневе «спрашивали», то именно потому, что ничего подобного не было, ни малейшего «повода» не было... «И приступа нет». Воображение, догадка, подозрительность не имели к чему и «прицепиться»... И в этом и заключается весь феномен.

Смотрите: с Вревской отношения мимолетны, а следы чувственного пожелания сохранились в письмах. К Вревской он тоже питал благоговейное уважение, но преимущественно нравственное. Это надо отметить: Вревская — монахиня, святая, героиня, умершая от тифа

в военном лагере, и Тургеневу все-таки хочется или «приходит на ум» поцеловать ее, обнять ее... Виардо он знает сорок лет, да что — живет с нею. Как перевирают, шутя, о любви — «дышали одною кровлей и жили под одним воздухом». Но во всех бесчисленных письмах, самых интимных, ни одного физического штриха, ни одного чувственного пожелания...

А она была артистка, певица, все это нужно очень отметить.

«Святую» хочется поцеловать, «артистку» смотрит, слушает, благоговееет, любит... о, как глубоко любит! Но «поцеловать» не хочется...

* * *

Я бы не взял пера в руки, ибо не имел бы ничего добавить к «общеизвестному о Тургеневе и Виардо», если бы однажды не услышал рассказ от покойного Ив. Л. Леонтьева (Щеглова). Именно он «к случаю» раз сказал мне, что ему привелось в своих и военных, и литературных странствиях встретить одну супружескую чету, что-то из мещан или небольших купцов, где «муж до того безумно любил свою жену; так благоговейно и свято ее чтил, и именно за красоту и пластику, и вообще *тело*, что искренно, и набожно и трепеща, передал Л-ву, что никогда с нею не сообщался и даже помыслить об этом не смеет. Жена тоже любила его, но спокойнее: она была счастлива или, лучше, довольна этим восхищением к себе, довольствовалась им, была сыта,— и дальнейшого не требовала».

Я был так поражен рассказом, что не догадался спросить: «А не жила ли она с другим?» Ибо и такие феномены бывают, и их знать мне приходилось: жена любит «другого», или чаще «других»; муж же питает к ней глубокое благоговение, никаких «препятствий» не ставит, но сам с нею не «живет». Итак, «другой стороны» в рассказе Щеглова-Леонтьева я не знаю, но одна сторона явно параллельна Тургеневу. Когда мы говорили об этом со Щегловым, мы не имели в виду Т-ва: разговор был случаен, не литературен, и Щеглов-Леонтьев собственно *упомянул* о случае, т. е. не «рассказывал», и не мог попасть в некоторое «преувеличение», свойственное течению «рассказа», почему я особенно доверяю фактической точности.

Муж рассказал: «Я не имею общения». Он, у которого все «права»... Очевидно, и у него чувственность не возбуждалась, ибо при малейшем ее возбуждении он ее удовлетворил бы. Что же «препятствовало бы»? Очевидно, в случае Т-ва не положение «чужой жены» играло роль, а это же отсутствие позыва, желания, аппетита. Я говорю грубо, потому что передо мной наука, и я должен точно выразить существо дела. Это существо:

— Никакого аппетита. И всегда сыт. Именно «радиоактивность». Там — «вечно действую» и «всегда цел», здесь — «вечно сыт», хотя «никогда не ем».

Чудо.

Тургенев нигде не говорит о гуманности Виардо, ее милосердии, ее женском отзывчивом сердце; нигде даже о ее благородстве; ни одного слова о ее доброте. Нравственные предикаты отсутствуют. Не отрицаются, а отсутствуют. Тургеневу не приходит даже на ум спросить о «доброте» Виардо, а если бы, например, кто-нибудь заметил, что она «не добра и не отзывчива», то Тургенев, не споря, просто не обратил бы на это внимания. Так чувствуется, ибо явно из всех его слов, из совокупности сказанного о Виардо, припоминаемого о Виардо, что он погружен в какую-то *стихию благоговения*, очень общего свойства, почти без конкретностей, без подробностей.

— Какой у Полины нос!

— Нос? Не знаю... Не приходило на ум. Не заметил.

— Да добра ли ваша Полина?

— Не знаю. Не спрашивал себя. Вы говорите — «нос» и «доброта»: без сомнения, все это великолепно, хотя я и не заметил, потому что она *вся* великолепна, и вот *это-то* я уже заметил, и даже это *одно* видел и вижу всю жизнь, восхищен этим, молюсь на это...

«Молюсь» — очень подходящее слово: в случае того лавочника (Щеглов) и Тургенева мы имеем редчайший случай, не риторический, не «преувеличенный», настоящего обоготворения, обожения человека человеком, женщины мужчиною... Притом не в слове, а в самом чувстве. Это-то одно и важно. «Могу посягнуть» (Щеглов), но «никогда не посмею». Тут научная важность и принадлежит редчайшему в мировой культуре феномену, который через переписку Т-ва становится довольно известен, наблюдателен и изучаем, а *лично* такой феномен увидеть, может быть, никому не придется, не придется многим всю жизнь. Между тем, этот феномен дает просвет к языческим, т. е. «натуральным», обоготворениям человека человеком, что, без сомнения, извело из себя «цикл богов», было гнездом греческого Олимпа, да и «чудес» на Востоке...

«Могу посягнуть, но не смею... Ведь она — *богиня*»...

Как же иначе назовешь? Да и почему иначе «не посягаешь»? Отчего, отчего, — это самое главное, — не зарождается «аппетита»? Боги вечны и несъедаемы, а «человек человека вечно ест», «истирается около него», стареет, тускнеет. Любовь Т-ва вечно юна. Она не только юна, она именно вечна и, очевидно, со смертью Тургенева не умерла. Он старел, умер, но, умирая, любил, как в 25 лет. «Вечная любовь». Это черта божественная. Как не чувствовать, что Тургенев испытал в «счастье своей жизни», во «встрече с Виардо», то, что никогда, может быть, мы не испытаем: божественное ощущение божественного порядка вещей, божественного отношения вещей.

Ему открылся самый «узел язычества», опять же не постигнутый учеными. Ну, с чего «бабу» называть «Венерой»? Все ученые об этом мозг ломают. «Баба есть баба», — вещь хорошая и «земная». Вдруг Тургенев (и тот лавочник) чувствуют, или их дивным очам открылось

дивное чудо, как из «земного» совершенно исчезает «земля», и они... видят и не посягают. «Венеру» и видели Тургенев и тот лавочник, мы же никто не видели, и уж всего меньше эллинисты и романисты... Но этим двум открылся кусочек языческого мира, мы же, взглянув на это и увидав *возможность* (самое главное!) этого, догадываемся невольно и «само собой», что, ведь, языческий-то мир *есть! существует!* — но только скрыт от обыкновенных глаз.

Есть, но невидим.

«Невидимое небо» не у одних христиан: у язычников, и особенно у них, «небо невидимо» еще более, чем у христиан, — оно еще таинственнее, волшебнее, загадочнее.

«Зовут Лукерей, а она — ангел».

Это гораздо удивительнее, чем увидеть ангела «вдали», «в сновидении», когда «брезжится».

Тут ничего не «брезжится»: приходит в лавочку, провела ладонью по лицу мужа, а он не смеет и поцеловать руку, потому что это — «рука ангела».

Удивительно. Вполне чудо. И, ведь, не выдуманно: все письма Тургенева налицо, «самые интимные» (слова Гальперина-Каменского), и ничего физического, никакого слова о физике, «какие у вас глаза» или «жму вашу ручку». Ничего. Одно язычество.

Вполне «языческий небосклон»... Зажглась «звезда Венеры». Но жена лавочника, может быть, осталась девой, а m-me Виардо рожала детей. Но и «Венера» — не solo: была «Юнона», реальная супруга, да и вообще языческие богини имели «деточек», по крайней мере, имели склонность к этому. Тут «дети» и не «дети» не играет никакой роли, а суть в том, что «показался богом», почудился «бог»... К чему коснуться *мне* нельзя, да и не хочется, не смею.

— Смотрю и вечно сыт.

Всю люди и «живут» религией, сыты религией, в религии находят «утешение»: все — предикаты биографии Тургенева, сколько она соотносится с Виардо. А влияние Виардо на литературную судьбу Тургенева огромно (и иначе и быть не могло): смотрите, он и не имел другой темы, кроме любви; все его темы суть незаметная единственная песня любви. То-то и «отвернулась молодежь», что «общественный элемент» был в ней «припекою сбоку». Не в нем дело, а в серии разноцветной любви и ее глубоких слов, ее нежнейших, неуловимых движений. Но посмотрите дальше подробность: все «любви» Тургенева не имеют земного увенчания, не переходят в брак или в браке скоро постигает «смерть» (*Deus ex machina*), ибо Тургенев, в сущности, поет вовсе не земную любовь, «с детьми и семьею», а эту небесную языческую любовь, вечную и все «ту же» (радиоактивность), вне граней и пределов Лермонтова, — любовь бессмертную и содействующую чужое бессмертие. Он пел «кусочек открывшегося языческого неба», как приобретение своей биографии.

Я несколько отвлекся в сторону общих соображений: оттого муж Виардо несколько не ревновал к Тургеневу, и, что еще важнее и показательнее, Тургенев не ревновал Полину к мужу. Две любви, «земная» и «небесная», до того не сходны между собою, что не встретились, не пересеклись, не исключили друг друга. «Что римлянину до того, что Юнона имеет отношения к Юпитеру», и еще более: что греку до того, что Афродита обнимает «мало ли кого». Факт — в феномене: что я «благоговею» и «чту», а не в биографии и судьбе почитаемого. «Боги свободны, я же обречен молитве им», — мог ответить глубоко связанный религиею римлянин и грек. Замечательно, что «religio» и значит «связь»: это — «цепь», которая меня держит непонятным образом, вот как «связь», непонятная и необоримая «привязанность» у Тургенева в отношении Виардо... Он вполне мог сказать: *Naec est religio mea — meus amor* *.

Нужно остановиться на мысли, около которой колеблется Гальперин-Каменский, что «отношений» между Тургеневым и Виардо никогда не было. По закону вообще этих «отношений», по которому когда раз преодолена стыдливость, — они продолжают, и здесь «второй шаг» следует за «первым», пока не погаснет любовь. Что же удерживало бы от второго, десятого шага, от постоянного сожигания? Да и тогда, безусловно, загорелась бы ревность у мужа Виардо к Тургеневу, и, во всяком случае, у Тургенева — к m-г Виардо. Но они были друзьями. Ни тени ссоры и вообще недобрых отношений. И Виардо до смерти любила мужа или, вернее, была привязана к нему тою спокойною привязанностью, которою она была привязана и к Тургеневу. «Боги» далеко не так любят «людей», как люди любят их. Цепь «religio» восходит кверху, но далеко не «так же» она опускается к земле...

— «Ах, дорогой друг», — писала Виардо сейчас же после кончины Тургенева своему другу Людвигу Пичу: — «Это слишком, слишком много горя для моего сердца! Не понимаю, как оно еще не разорвалось! Наш горячо любимый друг потерял сознание за два дня до смерти. Он не страдал, жизнь прекратилась медленно, после двух вздохов. Он умер как мой бедный Луи (муж Виардо, скончавшийся четырьмя месяцами раньше Тургенева), не приходя в сознание. Он снова стал красивым, с величавым спокойствием смерти... Боже мой, какое страдание!»

Тон письма этого и особенно любящие слова о памяти мужа (Луи) не оставляют сомнения о любви к нему. От мужа у нее были дети, — и по закону плотских отношений, которые продолжают «докуда можно», раз они начаты, — «отношения» с мужем длились у Виардо до тех пор, пока они вообще длились у Виардо. Как же Тургенев? Отсутствие у него всякого ревнования, всякой тяжести от присутствия Луи, убеждает, что любовь его к Полине была вовсе не плотская, не плотская по составу своему, по материалу, в ней горевшему, хотя объектом ее был «весь

* Такова моя религия — моя любовь (лат.).

образ Виардо», в том числе и физический, и даже больше всего физический. Этому вполне отвечает то, что Тургенев любил, и не однажды, плотскую любовью других девушек во время уже «обаяния Виардо», и это в нем не разрушало «обаяние Виардо», как, с другой стороны, «обаяние Виардо» этому нисколько не препятствовало. Все это можно только понять через «движение в разных плоскостях», все эти феномены лишь при этом условии и допустимы, т. е. они допустимы лишь при том факте, что между Виардо и Тургеневым «ничего не было», — не было плотского, физического, что тела их ни однажды «не коснулись». Слова историка французской революции Мишле о Виардо, когда он увидел ее и услышал ее пение, что «не было бы безумием, если бы она была выбрана богинею разума и внесена в Notre Dame, как поступили люди первой революции тоже с женщиною», — очень характерны и показательны. По общим отзывам и Тургенева, и Мишле, Виардо не была красива. Это очень важно. Кожная красота вообще малосодержательна и потому малозначительна. Обратите внимание, что Венера Милосская, собственно, *лицом* не представляет выдающейся красоты. Дивный греческий художник знал эту тайну, что не в лице лежит могущество притяжения человека к человеку, тайна «божественной красоты», и придал изображению своему почти обыкновенное лицо. Но весь мир назвал изображенное «первою красотою» в мире, а наш Гл. Успенский, долго смотрев на статую, почувствовал, что она как-то «выпрямляет» его душу, т. е. возвращает из больного, пришибленного, уродливого состояния, в каком «живем все мы, мятущиеся», к первоначальному, здоровому, «нормальному» состоянию, в сущности, невинному и райскому. Раз уловил все это Гл. Успенский, не особенный эстетик, от статуи и часов созерцания ее, — мы можем представить себе как «выпрямлялась» душа Тургенева от 40-летнего созерцания «высшего на земле совершенства» (слова его о Полине Виардо), притом в живом, теплом образе, коего он имел не только «вид» перед собою (и этого было бы довольно), но слышал еще голос, наконец, делился с ним мыслями! Виардо поистине «обращала его к небесному», и у него «отрастали крылья», — как описывает Платон в своем «Федре» действие на душу нашу созерцания прекрасных лиц, прекрасных фигур, тоже человеческих, живых. Платон в этом же «Федре» говорит, что подобная восторженная любовь, и именно к прекрасному телу, к прекрасному лицу, исключает плотское общение, не допускает даже мысли о нем! Эта «платоновская любовь» знаменита и никогда не была разгадана. Любовь Тургенева относится к этому *порядку явлений*; она не то же самое, что «любовь» у Платона, но именно только этого порядка, этой категории. Целый ряд католических мистиков, особенно католических святых девушек, говорят о этой «любви», уже обращенной к небожителям. Мы имеем здесь целый спектр цветов, но общее в них всех то, что от них «ничего не выходит», «нет потомства», «нет детей», и, между тем, это есть именно *любовь*, и даже именно восторг к *телу*, к *телесной оболочке* человека, к образу, к «виду»

и никак не к душе, не к мыслям, не к убеждениям и проч. Но связь между объектом и субъектом всегда есть; есть связь между обонянием и запахом, слухом и звуком, между вкусом и вкусными вещами. Возможность подобной *бесплотной влюбленности* обнаруживает перед нами, что самое тело человека есть не одна плоть, не один костяной и кожный состав, что оно не есть только «мешок с кровью», от которого отделились четыре рукава. Впервые мы постигаем, что есть особенный смысл в словах: «и создал Бог (из глины, т. е. вещественно, физически) человека, по образу и подобию Своему создал его», — и затем только, потом уже «вдунул в него дыхание жизни, душу бессмертную». «Образ и подобие» относятся именно к фигуре человека, но не к «образу мыслей», не к «убеждениям», не к «душе». «Богopodobно» тело, а душа «бессмертна». Предикаты совсем разные, хотя и связанные между собою: только *это*, именно *такое, как у человека*, тело достойно было вместить «душу бессмертную», а «душа бессмертная» именно здесь искала себе дом. Итак, «образ человека» есть «образ и подобие» Божества: это говорит священное писание, наше православное, наше русское. Что же к этому может прибавить Венера Милосская? Она не смеет выговорить таких смелых слов. Она только намекала, давала человеку «гадать», а здесь сказано прямо, — сказана самая сокровенная мысль язычества! Тело не только «ангелоподобно» или что: оно прямо и без всякого посредства, само собою и само по себе, есть «образ и подобие Божие»! Но ведь если так, к нему явно возможен чисто спиритуалистический восторг, оно может зажигать дух, а не только тянуть к себе тело. Кроме «глины», в нем есть этот абрис, этот очерк, который волнует неизъяснимым волнением душу. К нему образуется «влюбленность», — без детей, без физики, без крови и семени. Поразительно, что Тургенев, переживший в себе и даже всю жизнь свою переживавший этот удивительный, редкий и трудный феномен, непрерывно воплощал только его один во всех своих созданиях: везде у него говорится об этой голубой любви, без детей, без супружества; о любви только до брака или с быстрою гибелью в браке (Лиза Калитина и Елена); в сущности, об отношениях «невесты» и «жениха»; еще прямее — о «несчастной любви» инокинь. Оттого ему так удался образ Лизы, завтрашней «инокини»; точнее, не «удался», а больше и лучше: в любви Лизы Тургенев с наибольшей полнотой, «нерассыпанностью» и цельностью, передал тембр и колорит, музыку и тайну своей собственной любви к Полине, эту загадку «платоновой любви». И как все наиболее «характеризующее личность» бывает особенно ярко в созданиях человеческих, так «образ Лизы» вдруг засветил на весь мир, а перед привлекательностью его склонились все русские поколения. Напротив, все супружества у Тургенева «дурно пахнут»: родители Елены, Лаврецкий *как муж, жена Лаврецкого*, — да и все; Ирина и ее «генерал», все, все!! Что же это такое? Почему? «Оженились», «искусились», «погрязли», потеряли цветок девства, переступили за строгую черту «вечной невесты» и «вечного

жениха». Отсюда же объясняется колоссальная сила «Отцов и детей», вышедшая во всемирную значительность, тогда как «Бесы» Достоевского, где он, в пику Тургеневу, изобразил по-своему «папаш» и «деточек», не получили никакой силы, никакого влияния, никакого значения. Достоевский был «папаша», притом чадолюбивый; Тургенев — вечный «жених» (с приключениями на стороне, как это бывает и у монахов). В «Отцах и детях» он поднял в необыкновенный ореол детей, а о «папашах» не нашел решительно ни одного доброго слова, ни одного смягченного слова. Смотрите, затем, один малозаметный штрих в Тургеневе, но очень значительный и показательный: смерть везде не обрубает у него жизнь героев (как у Толстого), она разрисована и окружена «рыданиями». Полное православие — совершенно монашеская концепция смерти. Смерть — не «точка», не «кончено» и «прощай». Это — начало грез, воспоминаний, в сущности, начало «потустороннего мира», отдаленно — начало «воскресения». Тургенев раз выразился, что он «так давно читал Евангелие, что ничего из него не помнит». Все равно, — а христианином он был. Чтобы быть христианином, не надо непременно читать Евангелие; христианство — дух и даже почти физиология, особенная, личная, вот так и кончающаяся на «жениховстве» («се Жених грядет в полунощи») и не переходящая отнюдь в супружество. У Тургенева и была эта тайна и духа, и физиологии. Многим нравилась Виардо, но даже муж любил ее обыкновенною мужнею любовью. Один Тургенев, один только он, полюбил ее «вечною любовью жениха», никогда не ища ни поцелуев, ни объятий, — отчасти и не желая их, по крайней мере, не горя к ним, отчасти не смея о них и подумать. По всему вероятно, поцелуй и объятия с Полиною просто не доставили бы ему ничего особенного, а что-нибудь «большее» оттолкнуло бы его, и уж, непременно погасило бы ту голубую любовь. И он, и она это инстинктивно чувствовали и не делали шага к тому, что им существенно было не нужно. «Не нужно» до того, что «не приходит на ум». В этом все и дело; самая душа Тургенева была чиста от всякого «греховного помысла» в отношении любимой женщины, к которой, между тем, он горел несравненною любовью! Таким образом, нельзя сказать, что «любовь к Виардо» повлияла хоть опытом своим на литературную деятельность Тургенева: тут дело глубже и больше. «К Виардо так привязался этою особенною любовью» человек, которому суждено было, который *был призван* написать впоследствии «Отцов и детей», «Дворянское гнездо», «Накануне»... Оба явления текут из одного стержня: любовь и литература. Но они глубоко между собою связались, страстно обнялись, дополнились. Да и самая жизнь Тургенева: странник, ушедший в добровольное изгнание, человек без родины. «Где ваша родина?» — спрашивают русского инока в Сирии, араба в Греции, грека в России. — «Родины на земле не имамы. Наша родина на небе».

Таков Тургенев.

И это он — *весь*.

Из житейских встреч

К. М. Фофанов

Сохранить живой портрет Фофанова и нужно, и хочется. Его все знали в Петербурге, в Москве едва ли кто знал. Еще лучше его знали в Гатчине, где он был «обывателем», и его все и ежедневно видали на улице, на одних и тех же привычных улицах, в привычном печальном состоянии... Об этом — ниже. Не любить его никто не мог; но все, едва он шумно появлялся (он всегда шумел), убегали от него с любящим смехом, с улыбками, анекдотами. Появление его в редакции, где всегда бывает много постороннего народа, не знающего этого поэта в лицо (да он часто бывал и «неузнаваем»), и, следовательно, не могущего объяснить себе, «что это такое», — вызывало смятение. Моментально захлопывалась дверь и никого не впускали в комнату, где он был; затем как можно скорее удовлетворяли его просьбу или нужду (он иначе, как прося, и не приходил никуда) и затем с «попутчиком» отправляли на «следующий пункт» его вечного странствия, туманного, бесконечного странствия...

Помните, евреи в пустыне «шли за облаком». Черт знает что за география. Фофанов точь-в-точь жил по такой «географии»... И он вечно «шел за облаком», смотря вверх (постоянная постановака его головы на шее), не видя, что под ногами, не замечая земли, и совершенно не интересуясь даже, куда его несут ноги. Кроме редакции он мог зайти к министру, к хулигану с Сенной, к «отцу дьякону», везде оставаясь «собою», нисколько не меняясь, и произнося быстрой скороговоркой речи, которых ни один смертный понять не мог, кроме центрального выкрикиваемого слова, услышав которое, зажимали уши и смеясь разбегались, при полном его недоумении: ибо сам Фофанов всяческие слова считал совершенно обыкновенными.

Знаете ли, что, схоронив Фофанова, мы схоронили ангела? Совершенно безгрешного — до такой необычайной степени, как этого не бывает, и это невероятно.

Это — один тезис, которому нужно совершенно поверить, ибо без этого в Фофанове ничего нельзя понять.

Степень его невинности, безгрешности, отсутствия в нем «грехопадения», отсутствия всей решительно Библии, *после грехопадения, последующей* и сложной, последующей и мучительной, — была до того поразительна, что я, «узнав вот Фофанова», узнал клочок совершенно новой для меня действительности, новой психологии, нового человеческого состояния... Ибо даже к нему приближений я совершенно не знаю.

Объясняется это, может быть, и даже вероятно, тем, что лет приблизительно с десяти и никак не позже четырнадцати, т. е. в возраст совершенно невинный, — и особенно у него, вечно вдохновенного, невинный, — он запил странной формой какого-то наследственного запоя,

ужасного, непрерывного (кроме редчайших, болезненных для него минут). И этот ужасный запой поставил непроницаемую стену между ним и всю действенность: и он так и не узнал, что люди обманывают, лгут, злятся, хитрят, завистничают; что у них есть какие-то «нравы» и они живут в «обычном состоянии, как все»; что есть что-то «принятое», «обычное», «законное», что есть «лучше» и «хуже».

Ну, вот вам анекдот:

Бегут из фойе театра, машут руками, хохочут... На вопрос «что?» — отвечают: «Фофанов! Фофанов!»... Шло юбилейное представление им любимого писателя; зрители все — «званные», «почетные»... Туалеты и прочее. Прежде всего в торжественной тишине какой-то сцены Фофанов «во фраке, и все как следует» (одела жена) перегнулся через барьер ложи второго яруса и на весь театр закричал реплику произносившему что-то актеру, воспламененный моментально смыслом произнесенных им слов, которые за минуту он торжественно и благоговейно слушал (Фофанов был вечно в благоговении). Конечно, его с «проводным» отправили приблизительно в буфет. По поводу «юбилея писателя» все было даровое (у Фофанова не было никогда денег), и он в буфете «подкрепился»... Как представление было «юбилейное» и тоже даровое, то в фойе было не много и не мало «разной публики», предпочитавшей «зрелищу» просто возможность поболтать, посмеяться и попить чайку. Были дамы... «Подкрепясь», Фофанов «проследовал куда-то» и попал в это разнесчастное фойе. Узнав, что «Фофанов», его окружили дамы. «Скажите нам стихи», и говорят ему цитаты из него. Публика была вся литературная, а следовательно, и дамы. Фофанов — в отличнейшем настроении, дамы все — размилашки, вероятно, много было декольтированных, и вся сумма этой действительности, при «втором взводе», отразилась у него такой комбинацией мысли, что, если они так его любят и ценят, то пусть по смерти его приходят в музей анатомии, которому он завещает свою особенно интересную часть тела, и там она будет сохраняться в спирту, в совершенной свежести и полном своем виде. Можно представить себе... Я не преувеличиваю и не прибавляю слова... Дамы с визгами рассыпались; но Фофанов, несколько их не думавший оскорбить, как он и никого никогда в жизни не оскорблял, продолжал торопливо, весело и торжественно следовать дальше...

Все «за облаком»...

— Ну, куда вы, Фофанов? — сказал я в этот вечер. — Поезда теперь никакого нет, пойдемте ночевать ко мне.

— Невозможно! Меня ждет жена. Должен ехать...

— «Должен» или «не должен», а поезды нет.

— Все равно, я на вокзал. Может быть, какой-нибудь поезд.

— Ни одного. Хоть расшибитесь. Едем ко мне.

Не едет и толчется в снегу. Стоим. Долго.

— Ну же!..

— Она будет беспокоиться, ждать. Невозможно.

Третий человек подсказал, что можно дать телеграмму. Дали, успокоили ее. И тогда он поехал ко мне.

Какая все-таки тонкая деликатность: уже «на десятом взводе», да и «такой день» — вообще «празднуем» и «море по колено», — но Фофанов помнит, что кто-то о нем беспокоится, и сам беспокоится, и толчется в снегу, хоть «тут заснуть» или доползти ползком «в свою Гатчину», чтобы сказать жене: «Я цел, усну и ты усни». Сколько *трезвых* этого бы не сделали...

И ответно пользовался тою же деликатностью.

Года через полтора после этой ночевки его у меня, близкий мне человек поехал к жене его и предложил ей повезти ее мужа к одному врачу, в Орловскую губернию, *который наверное излечивает запой*. Конечно, такие есть и в Петербурге, но «тут уж наверное, так как излечен вот этот год мой родственник от запоя самого упорного и многолетне-застарелого». Последовало согласие и начались приготовления, т. е. с нашей стороны, к далекой и хлопотливой поездке. Все решено, и вот только «взять и тронуться в путь: но в последний момент жена его, которой запой мужа был как бы смерть, т. е. житейски тяжел и невыносим, сказала с печалью:

— Нет, не надо везти. Все-таки мы его везем обманом, не говоря — куда и зачем. Нет его решения, согласия, нет его воли. Да и душа его будет тогда не «своя». Он будет здоров какою-то чужою, вложенною в него душой. Не будет пить *чужою волею*... Это так ужасно, что пусть лучше будет, что будет. Я не чувствую себя вправе так поступить с ним.

А чего стоил семье и дому его запой — об этом можно было судить, только однажды где-нибудь увидев его...

* * *

Лучшие минуты, — вдохновения, писания стихов, — проходили естественно наедине. А все остальное время, т. е. на виду, среди семьи, Фофанов совершенно не имел никакого «вида».

Возбужденный, произнося непонятные слова, где-то мелькала гениальность, то неприличие, но, естественно, чаще последнее, он куда-то шел, откуда-то возвращался, чего-то хотел, чего-то опять не хотел, в «виде» совершенно «безвидном» одетый или раздетый. Одетый, насколько его одели, и раздетый, насколько это кому-нибудь нужно... Он вечно «несся»... Нельзя представить его сидящим, лежащим... Даже когда «пили чай», он, собственно, подходил к столу и выпивал, что бы ему ни налили, залпом, разом и куда-то опять убежал, что-то ему было «нужно»... За обеденным столом я его не видал и не могу себе представить. Я не видал его даже *пяти минут*, в течение которых он остался бы спокоен и недвижим. Разве кто-нибудь что-нибудь стал бы ему рассказывать, чему он *изумился* бы: тогда, вот *изумляясь*, он мог на пять минут «попридержаться». Ему потребно было вечное движение, он был в вечном движении. «Сон» и «Фофанов» просто не умеют совместиться

в голове. Без сомнения он бредил во сне или видел галлюцинации; на час, на два, может быть, засыпал, как убитый. Но ровного и *спокойного* сна у него не могу представить и, вероятно, этого не было.

Вместе с М. М. Федоровым, впоследствии редактором «Слова», а также редактором «Литературных приложений» к «Торгово-промышленной газете» финансового ведомства, где печатались Фофанов и я, я посетил его в Гатчине. Он жил на просторной, великолепной, уединенной улице, «уже близко к полю», — занимая не главный дом и в пристройке не главную часть. Сейчас не помню подробностей положения дома: только все было просторно на улице, на дворе, «пахло полем».

Очевидно, все это выбрала его умная и милая жена, так как сам он, очевидно, не мог бы ничего выбрать и в собственном смысле не мог даже «искать квартиру». Ему вообще ничего «не нужно было». В полутемной прихожей разделись и вошли в детскую спальню!! Она вся была уставлена кроватками, маленькими. Была велика и просторна, воздуха много. М. М. Ф-в сказал мне: «У него каждый год — ребенок, а нынешний — он совсем стеснен в средствах, потому что родились двойни». Детей было очень много, и все «с присмотром». Вышла его жена, с благородным, симпатичным лицом, которую я знал раньше, и о которой слышал, что это — институтка, влюбленная в девичестве в его поэзию, и которая отдалась именно поэзии и поэту, пренебрегши всем остальным и пренебрегши предостережениями. Известно, — русская девушка. Я думаю, другого такого милого создания, как «русские девушки», не существует: по великодушию, беззаветности, героизму. И все такие раскосые и косолапые, с большим бюстом и выбившиеся «из порядка» косой... Не красива, — а будет «жена верная». Конечно, не без исключений, изумительных и убийственных, но общий очерк, я думаю, верен. Фофанов только тем и спасен был, что около него встала такая девушка (все это говорили), спасен, по крайней мере, на многие годы, лет на десять, на пятнадцать. Дальше шла столовая или что-то вроде столовой, — по крайней мере, тут мы пили чай. «А вот дальше — комнатка мужа».

Я вошел.

В ней все было придумано, избрано, чтобы оберечь вдохновение поэта. В противоположность другим комнатам, где было довольно беспорядка, эта была в безукоризненном порядке и чистоте. Чистые занавески, на окнах цветы, недорогие и свежие, в бутонах и расцвете, хорошие стулья, кушетка, горка, полки с книгами, стол с бумагами и письменным прибором, нигде пятен, пыли. И выходила комнатка на лужайку или в сад: только она вся была в свежести и чистоте и давала положительно изящное впечатление. Все это, конечно, устроила ему жена, задумчивая и прелестная. Пишу это к тому, что лет через 5—8 они разошлись, и Фофанов приходил в редакцию с чудовищными жалобами на нее, «вслух» и «откровенными», как это всегда у него было, и с требованием, чтобы из конторы редакции (откуда ему выдавалась пенсия в 75 р. ежемесячно) ей ничего не давали. Все смеялись и знали, что

обвинения его — вздор, как и самое «требование» — минутная и бессмысленная вспышка. Что-то еще он говорил о «доме», который чуть ли она не «получила в наследство», и что дом этот тоже принадлежит ему, «как мужу». Этому еще усиленное смеялись: главное — тому, что он, такой абсолютный ребенок, вцепился в чужой «дом», когда ему не только «дома», но и своего пальто не нужно было. Все знали его абсолютное бескорыстие, так как он даже не понимал, что такое «собственность», «имущество», «владеть» и «распоряжаться». Но он настаивал, что «дом — его», и потому-то, и потому-то, «а также и жалование, ибо он — поэт, а она — ничто»; и что она «такая Мессалина, которую надо посадить на цепь». Пуговицы все расстегнуты, борт грязного пиджака чем-то залит, борода огненного цвета трясется, руки не умыты, ничего не умыто, а интонация страшная и ничего понять нельзя. Опять «посадили на извозчика и отправили». Все его берегли, постоянно, все его любили, и все не придавали ни малейшего значения никаким его словам. Обвинения его, конечно, сказанные каждому в Гатчине, могут когда-нибудь, через пятые и десятые руки, проникнуть в печать и стать «биографическим материалом»... Предупреждая эту возможность, я и рассказываю все виденное: несомненно, жена его терпела столько, сколько вообще возможно, и если «разрыв» произошел, то в чем бы ни лежала его сущность, жена его, несомненно, ни в чем не виновна, — во всем права. Ибо ни у кого бы не хватило терпения и 3—4 года прожить в таких условиях. И когда «канат терпения лопнул», то «оторванный конец» (т. е. она) мог полететь куда угодно. Пишу на случай, если бы какие-нибудь факты и оказались даже «верны». Тут была та область хаоса и неумняемого, где вообще нет «виновных», а одни *факты*... Ибо самая «вина» есть «нарушение закона», и как же вы ее введете туда, где нет и не было никакого «закона», как сдержки и нормы, как естественно ожидаемого.

— Нищие, нищие, мы — нищие! — кричала она, совершенно обезумевшая, когда хозяин их выселил за неплатеж квартирных денег на улицу с детьми. Это было за несколько лет до Гатчины, перед Гатчиной. Она была помещена в психиатрическую больницу, ему кто-то и как-то помог. Помешательство было временное, от «ужаса жизни», и скоро она выписалась из больницы и стала опять около мужа. Без сомнения, *она* (потому что он вообще не мог ничего «предпринимать», делать *«шаги в делах»*) выхлопотала ему как пенсию от Академии наук, так и пенсию от редакции большой газеты, и перевезла его и семью в Гатчину. Этот крик безумной женщины всегда нужно помнить прежде, чем судить о ней.

* * *

Попили чайку. Отслушали его анекдоты. Мелькали его талантливые словечки. Но больше всего занимало его название какого-то нового мыла, которое, если произносить с неправильным ударением, то получалось неприличие. Жена его удерживала, но он снова и снова пытался

произнести знаменитое название. Оно его внутренне забавляло, и ему казалось, что оно и всех должно забавлять, т. е. следовательно доставить всем удовольствие. Наконец, мы двинулись и пошли к вокзалу. Конечно, он увязался «проводить». Та же скороговорка, ничего понять нельзя и брызгающие слюни. Вдруг он, как бы став во фронт (спиной к нам и лицом к дороге), поклонился в пояс едущему экипажу.

С коляски ему ответил поклоном пожилой военный.

— Кто это?

— Разве вы не знаете?

— Нет!

— Благороднейший человек! Удивительная душа! Комендант Гатчины.— Имя, отчество и фамилия.

Что у него «удивительная душа» — конечно, Фофанов где-нибудь слышал. «Болтали в трактире»... Несомненно, что он не был с ним «знаком», ибо «никакой возможности», никакого местного отношения или связи. Но «болтавшие в трактире» забыли, о чем они говорили. В благородной же душе Фофанова это запало: теперь где он ни встречал эту «чистую душу», от отвечал ей с тротуара чуть не земные поклоны. В этой мелочи — весь Фофанов. Земного ему не нужно было, ничего ему не нужно было. Он едва сознавал, где и как и с кем жил... Но он весь был «в слуху»... Т. е. о мире он узнавал «через слух»... И вот если «через слух» до него доходило что-нибудь благородное или, наоборот, что-нибудь горькое и низкое,— то он заражался или высочайшим «благодарным» волнением, или, напротив, «ругательным». Последних мне от него не приходилось слышать (кроме разве в тот раз о жене), «благодарными» он был вечно преисполнен. Все это — без малейшего отношения к нему лично.

— Раз,— рассказывал мне покойный писатель Щеглов-Леонтьев,— мы шли с ним... (где,— я сейчас забыл). Я и говорю ему: «Ведь вот тут квартировал Белинский». Фофанов, ни слова не говоря, повалился на землю и, должно быть, стал целовать ее. Лежал долго, и я насилу его мог поднять. Не встает; и говорит, что он не может уйти с этого места.

Т. е. «с этого священного места», по которому ходили ноги Белинского. И опять это характеризует его «с головы до ног»...

* * *

«Запой», однако, у него не было. «Запой» состоит в *припадках* опьянения, причем между припадками человек в рот не берет вина, а во время припадка пьет непрерывно и доходит до иступления и белой горячки. Ничего подобного у Фофанова не было. Ни о каких «припадках пьянства» я у него не слышал, но — увы — не слышал и о *перерывах* пьянства. У него совершенно не было трезвого времени и трезвого состояния. По-видимому, он как непрерывно был вдохновенен, «в воображении»,— так непрерывно был и пьян, полупьян, четверть-пьян, но непременно

в какой-нибудь степени пьян! И нельзя не думать, что эти два состояния, небесное и слишком земное, грязное — были у него связаны. Вино помогает воображению; в вине человек как-то «видит сны»... Вся поэзия Фофанова есть «видение сна»: и алкоголь ему нужен был для самой поэзии. Это как-то чувствовалось, виделось, едва соприкоснешься с ним. Стихи его, местами достигающие пушкинской красоты, стихи, которые никогда не умрут, пока жив русский язык и живет русская восприимчивость к родному слову,— все, однако, суть продукт *воображения* о природе, а не *ощущения* природы, *воображения* о жизни и человеческих отношениях, а не отчетливого их *переживания*. Напр. это чудное стихотворение:

Звезды ясные, звезды прекрасные
Нашептали цветам сказки чудные,
Лепестки улыгнулись атласные,
Задрожали листья изумрудные.
И цветы, опьяненные росами,
Рассказали ветрам сказки нежные
И распели их ветры мятежные
Над землей, над волной, над утесами.
И земля, под весенними ласками,
Наряжаясь тканью зеленою,
Переполнила звездными сказками
Мою душу безумно влюбленную,
И теперь в эти дни многотрудные,
В эти темные ночи, ненастные,
Отдаю я вам, звезды прекрасные,
Ваши сказки задумчиво-чудные.

По полноте мысли, по простоте образов стихотворение это не уступит никакому во всемирной литературе. Но что в нем реально пережито? Реальное восприятие чувствуется только в подчеркнутых мною строках: что-то тяжело было в жизни, денег не было; была осень и лил дождь. Только. Но — и тут алкогольный пар играл роль,— поэт был «безумно влюблен»: во что? Вот в это свое состояние, сейчас, за стаканом холодного чая «с прибавкой», когда дождь барабанил в окно. Напор поднимался,— сил ли, или сил, подогретых «паром»? Но только поэту было «хорошо»... Так, «счастливо на душе»... И у него моментально сверкнуло чудное связывание всей природы, всего мироздания с этим — «хорошо на душе»; причем «изумрудные лепестки» и прочее, на которые он едва ли когда посмотрел внимательно, а только боком их замечал, пробегая мимо, как и «звезды» и пр., и пр., и ветры и особенно *скалы*, едва ли когда-нибудь виденные, просто суть одни слова и одни воспоминания... Суть: «безумно влюблен» и «сегодня холодно на дворе». Это — только и реально. Все прочее — выдуманно. Прочее — алкоголь. Как и поклон «коменданту» не был «признанием бюрократии», или претензия владеть «домом жены» не была выражением корысти.

Реальное просто для него отсутствовало...

А «сны» его, золотые сны — были действительностью.

Как-то кого-то хоронили. Я был в толпе. Был и Фофанов. Как было еще утром, а выехать на похороны из Гатчины он должен был не позднее 8-ми часов утра, то он был совершенно трезв. Соответственно этому молчалив и спокоен. И я слышал мужские и женские голоса:

— Что же, говорят, он так безобразен: он — прекрасен. Прекрасные, одухотворенные черты лица...

Вот я передал все, что мне пришлось о нем узнать и как его видел.

К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева

(1891—12 ноября — 1911)

Памяти Константина Николаевича Леонтьева
† 1891 г.

Литературный сборник. С.-Петербург, 1911.

Несмотря на замалчивание «левого» стада, имя и память Константина Леонтьева не поддается забвению. Известный петербургский священник и деятель К. М. Агеев сделал идеи этого публициста и теоретика истории предметом магистерской диссертации, защищенной в Киеве: «Христианство и его отношения к благоустроению земной жизни. Опыт критического изучения богословской оценки раскрытого К. Н. Леонтьевым понимания христианства. Киев, 1909 г.». Это уже не кое-что беглое, а фундаментальный труд, который не пропадет из библиотек. И вот сейчас, к исполнившемуся 20-летию со дня его кончины (12 ноября 1911 г.), появился сборник статей, посвященных оценке с разных сторон личности, биографии и сочинений замечательного писателя второй половины XIX века. Наиболее ценною частью сборника является первая статья «Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его мирозерцания» А. Коноплянцева. Это первая биография писателя, собранная из живых источников, которые естественно погасают с каждым годом и десятилетием и навсегда утрачиваются для историка; так что не посвятить теперь г. Коноплянцев несколько лет жизни собиранию материала о Леонтьеве, может быть, составление сколько-нибудь полной или даже просто связной биографии русского романиста, публициста и философа сделалось бы навсегда невозможным. За это — всегдашнее, историческое спасибо. Занимая 156 страниц, содержа отрывки не изданных в целом писем К. Н. Леонтьева и точно воспроизведенные разговоры о нем его друзей, — биография очень полна. С величайшею любовью автор относится к личности Леонтьева и с величайшею бережностью

ко всем перипетиям его литературных, политических и религиозных взглядов, убеждений и теорий. Вместе с тем биография бесстрастно справедлива и нигде не переходит в «хвалебную песню», совершенно ненужную в этом деле и оскорбительную для такого лица, как Леонтьев. Панегирик нужен убогому, как заплата на убожестве, а большой и яркий человек, даже при очень больших грехах, страстях и недостатках, не нуждается в ложном одеянии, каким является «панегирик». Коноплянцеву же принадлежит: библиография сочинений К. Н. Леонтьева и библиография *статей* о нем (145), причем раскрыты многие анонимы и инициалы, иногда инициалы преднамеренно неправильно поставленные (напр., «Л. К-в» вместо «К. Л-в»). Затем очень интересны воспоминания о К. Н. Л-ве, написанные для «Сборника» К. А. Губастовым, наиболее долголетним и близким другом покойного; прелестные письма к нему Леонтьева были напечатаны несколько лет назад в московском журнале «Русское обозрение». Вообще, как автор *писем* — Леонтьев стоит еще выше, чем как автор *статей*: и мы не припомним еще ничьих писем в русской литературе, которые были бы так же увлекательны и умны, философичны и остроумны, как его письма; так живы и искренни до мельчайшего штриха, до «йоты». В этом отношении особенно поучительно сравнение его писем с письмами Владимира Соловьева, которого, Бог весть с чего (верно за ученость и стихи), он ставил неизмеримо выше себя. В самом деле Л-в был неизмеримо более изящною фигурою, чем С-в; неизмеримо более интересною и гордою, самостоятельною и свободною. Вл. Соловьев вечно соглашался с партнером (в письмах, разговорах), Леонтьев вечно спорит, возражает. Лицо его всегда прямо, открыто, мужественно. В нем никогда не обманешься, ибо он издали кричит: «иду на вас». Поэтому, читая его письма, соглашаешься или не соглашаешься с ним в мысли, — внутренне с каким-то восторгом жмешь и жмешь его руку. Говоря о «восторге» — передаю личное чувство, ни разу не поколебавшееся за 20 лет, когда в самом сменились или изменились все чувства, все мысли, все отношение к действительности. Вот эта нравственная чистота Леонтьева — что-то единственное в нашей литературе. Все (почти! и великие!) писатели имеют несчастное и уничижительное свойство быть несколько «себе на уме», юлить между Сциллою и Харибдою, между душой своей и массой публики, между литературным кружком, к коему принадлежат, и ночными своими думами «про себя»: ничего подобного не было у Леонтьева с «иду на вас». Скорее он преувеличивал расхождение свое с друзьями, — несколько сколько-нибудь его «замазывал». И если «правда» есть *нафос* литературы — а она должна бы быть им, — то Леонтьев достигает полного совершенства в этой патетически-нравственной стороне еее... И поистине, вот бы кому писать «Оправдание добра...». Но он знал, что «добро» — все в афоризмах, в мгновениях; и что нужно не иметь никакого к нему *обоняния*, чтобы этак года на три засесть за *систему* «оправдания добра» (название, в высшей степени забавное, труда Соловьева, страниц

в 700). Точно это был «зверь», которого никак не мог изловить философ; бродил за ним, как за бизоном в прериях или за черно-бурой лисицей в тайге; «не дается в руки»... Явно, не было *нюха*, *осязания*; никакого не было *вкуса* к добру, которое открывается так просто, как запах розы, и близко, как поцелуй возлюбленной. Но оставим кисляев философии. Они все протухли со своим «добром» и «недобром» и ищут в кармане «бумажки», которой туда не положено. Нечем рассчитаться ни с Богом, ни с человеком.

«Сборнику» предпослано очень интересное (анонимное) предисловие. Из статей в тексте интересны: Е. Поселянина: «К. Н. Леонтьев в Оптинской Пустыни», А. В. Коровина: «Культурно-исторические воззрения К. Н. Леонтьева»; характеристика Б. В. Никольского страдает всегдашним жаром и всегдашней торопливостью нашего неугомонного «черносотенника»... Ему всегда хочется сказать пред статьей: «выпейте холодной воды». Кончая указание на книгу, скажу как незатянутый писатель, подражая «серому люду» в Александровском рынке: покупайте, господа! Книга стоит дешевле бутылки вина и фунта икры, и бросайте скверную русскую привычку только кушать и пить: нужно немножко и подумать! Примите это как шутку: но, ей-ей, тут и серьезное. Плачет, давно плачет серьезная русская книга о серьезном читателе. Вот и Кусков до сих пор не издан: нет и «избранных сочинений» самого Леонтьева, нет и не появились спустя 20 лет по смерти... А он сейчас же после этой смерти был назван «гениальным».

Юбилейное издание Добролюбова

Уже заглавие этого издания * само по себе — почти целое сочинение; а как составлялось оно, — мы можем по заглавию судить о неуклюжести и самой редакции, и самого издания. Действительно, огромные томы, в два столбца, по типу словарей и энциклопедий, на плоховатой легко рвущейся бумаге, наверное отобьют охоту и у покупателей, и у читателей, хотя напечатаны они очень хорошим, четким шрифтом. По бедности внешности — это какое-то монашеское издание. Далее, самая неприятная подробность издания — это то, что *вводные г. Лемке статьи* введены под *добролюбовские заглавия статей*, и, таким образом, пока не дошел до буквы «М. Л.», — читаются как писанья самого Добролюбова, только странного характера и другого стиля. И лишь дойдя до *М. Л(емке)*, понимаешь ошибку и бранишь, невольно и основательно,

* Библиотека русских критиков. II. Первое полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова в 4-х томах. Под редакцией М. К. Лемке, с его вступительными замечками к каждой статье Н. А. Добролюбова, примечаниями и библиографическим очерком. С приложением трех портретов Н. А. Добролюбова, его факсимиле и именного алфавитного указателя ко всем четырем томам. Издание А. С. Панафиной. СПб., 1912.— 4 тома 5 р.

зачем не выделил редактор своих статей более наглядно для читателей, напр., помещая их петитом и во всяком случае более мелким шрифтом, а еще лучше — помещая *после* Добролюбовской статьи или *под чертою*, *внизу* страницы, сделав сноску от заглавия. Так все делают, и так следовало сделать г-ну Лемке. Самые статейки его, библиографического характера, прилежны, кропотливы и не замечательны. Лемке — не критик и не историк, а библиограф с желчью. Это не тон Добролюбова или Чернышевского, хотя и их мысли, а тон Зайцева, или Шашкова, или Цебриковой... Таков Лемке, который будет еще много и долго писать, много и долго издавать, много и долго компилировать... Перейдем к изданному автору.

Он заслуживал бы именно *изящного, стильного издания*, непременно небольшими томами, с заставками, с рисунками на обложке, где можно же было бы выразить дымную и пламенную атмосферу тех лет исторической России, в которые сам он, Добролюбов, выдвинулся такою стильною, крепкою, неподатливою фигурою. Как море, шумела вокруг Добролюбова жизнь, — а он, как «маяк времени», стоял в нем свои пять-шесть лет, упрямый, недвижимый, негаснущий, «наводящий на путь». Он не имел разнообразия и, пожалуй, талантов Чернышевского, но он был гораздо его монолитнее и, пожалуй, крепче. Был сосредоточеннее, отвлеченнее, пожалуй — уже его, но душевно — и чище его. В нем не было славолубия и честолюбия Чернышевского — черт, во всяком случае, не идеальных. Добролюбов на все времена останется наиболее чистою фигурою 60-х годов; может быть — совершенно чистую: а ведь в литературе это так трудно сказать вообще о *ком-нибудь*. И недолгая жизнь, недолгое «испытание» — этому способствовали: иногда смерть *сберегает* людей, а не разрушает их... Добролюбов захватил именно самую раннюю, самую идеальную полосу 60-х годов, когда все было «в надежде» и еще ничего не началось «в осуществлении»... А *осуществленное* редко бывает похоже на надежды...

Критика Добролюбова была *реальная и публицистическая*: еще бы в ту пору — освобождения крестьян и всех реформ! Она и не *смела* бы быть иною. Тут он был прав против нападков на него Достоевского и Страхова, их «Времени» и «Эпохи»... Прекрасно и разумно то время, которое, «как один человек», подымается для осуществления великой задачи истории, не зная ни разделений, ни покоя по уголкам, когда одна волна идет великим валом от края до края моря, от материка до материка, — и, словом, идет как по стиху Лермонтова:

И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных...

Повторяем: счастливое время, и счастлив, кто сыграл в нем счастливую роль. Добролюбов сыграл эту счастливую роль! И мы не можем, никто не *смеет* жалеть его молодости, жалеть о его ранней смерти. Как будто есть удовольствие умереть в 65 лет от какого-нибудь нефрита или

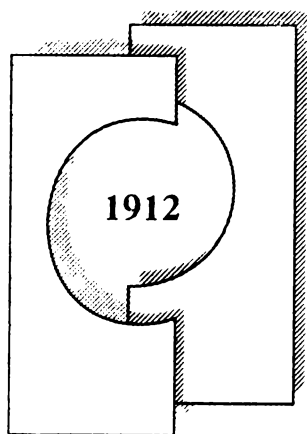
склероза. Прелестнее краткая яркая жизнь: людей так много на планете, а света в планете так мало! Не будем же жалеть эти вспыхивающие и быстро гаснущие огоньки. Они планете нужны, они будущему нужны.

К нашему «теперь» значение всех критик Добролюбова прошло, т. е. теперь они уже и неверны, и ненужны. Но это все равно. Изменившееся значение критики и духа ее переводит только его из рубрики «критики», пожалуй, в более значительный отдел — «писателей». Он умер как критик, но как «писатель» он не умер и не умрет. За силу свою, за упор, за значительность. За то, что он — «прекрасное писательское лицо». Его уже давно не читают, кроме «своих людей», ни как критика, ни как писателя. Но своевременно всей России начать его читать и любить, как одного из лучших русских писателей. И тут тоже идет стих Лермонтова:

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный?
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

Последний стих особенно идет к Добролюбову. В нем было что-то крепкое, железное. Это, вообще говоря, присуще старости, а Добролюбов был по летам еще так молод. Но вот подите: Белинский и в средних годах, уже «пожилым», все был юношей, как бы 18—23 лет; а Добролюбов в свои 24 года — «точно прожил долгую жизнь». Странные вещи, господа, встречаются на земле: люди, по крайней мере выдающиеся, в сущности имеют *один возраст всю жизнь*, — *один духовный возраст*: Некрасов — средний возраст всю жизнь, Белинский — всю жизнь юноша; Чернышевский — всю жизнь точно 29 лет, Добролюбов — всю жизнь как бы 43-х лет, даже когда он учился в семинарии. Именно как 43-х и 29-ти, ни годом моложе, ни годом старше! Так слепила «душеньку» и «черты лица» Природа-Матушка. Ее же не переборешь, не исправишь, не упрекнешь даже...

Вот это сочетание юноши (по метрике) и пожилого человека (по какому-то таинственному опыту духа) составляет индивидуальную особенность Добролюбова. Необъяснимо почему, но из 60-х годов это самое дорогое имя. В суровости его была какая-то нежность, в сдержанности — энтузиазм, в «поучительности» — безумие 24 лет. Все это и приводит душу читателя до сих пор в смущение и волнение. Да: забыл Писарева. Ему всегда было 12 лет.



Трагедия механического творчества

В заседании Общества любителей российской словесности, в Москве, некто г. Пиксанов прочел доклад «Душевная драма Грибоедова», — на тему, в высшей степени любопытную и до некоторой степени вечную. «Горем от ума» Грибоедов совершен-

но исчерпал свои творческие силы; более поздние его произведения — стихотворения и отрывки из неоконченных драм — не имеют никаких художественных достоинств и прямо поражают грубостью и неуклюжестью стиха. Как свидетельствует переписка Грибоедова и некоторые воспоминания, Грибоедов сознавал упадок своего таланта и бессилие творчества, и в этом заключалась тяжелая душевная драма, обусловившая мрачный пессимизм Грибоедова в последние годы его жизни. Грибоедов, подобно Сервантесу, был однодум; вылив всего себя в гениальной комедии, далее он бессилён был что-либо создать.

Нам страшно делать сближения, но в виде легкого веяния хотелось бы указать или шепнуть: что ведь и Гоголь после «Мертвых душ» и А. И. Иванов после картины «Явление Христа народу» — *затосковали* и *ничего далее не могли создать*. Тут есть, действительно, какая-то *однодумность*; способность к *одному подвигу*, к одному творению, но зато исключительной величины. Совсем уже про себя подумаем, что и Жанна д'Арк не могла бы «каждый год освобождать по Франции». Как-то чувствуется, что ее должны были судить, проклясть и умертвить. Если бы ей дали «пенсию и ренту», ореол исчез бы. Для величия неизбежна мука. В чем дело, никто не понимает.

Но оставим «точки на горизонте» и займемся Грибоедовым. Что такое его комедия?

Гениальное платье на исторически отчеканившегося уродца; как «Дон-Кихот» и «Мертвые души». Все были именно облегающим платьем, — дивным гипсовым слепком, — под которым задохся уродец. Все три произведения получили вечную жизнь, а Фамусовы, Собакевичи и странствующие гидальго, начитавшиеся рыцарских романов, исчезли в действительности.

Здесь творило «дыхание истории» и *менее личный гений*. Личный гений старался лишь *не отступить от действительности*. «Лепи по

образцу» — вот задача. Тут дело в *точности*, а не во *вдохновении*. И *вдохновения* может быть и *не было так много*. Может быть, «Мертвые души» гениальнее Гоголя, и «Горе от ума» гениальнее Грибоедова, и «Дон-Кихот» гениальнее Сервантеса. Но они-то естественно *все себе приписали*; и не в силах будучи продолжать творчества *в уровень с прежним*, затосковали. А не могли продолжать творчества, потому что гипсовый слепок *вообще кончился*, ибо кончился *уродец*... Голова, грудь, ноги; наконец — сапоги и подошвы, каблук. Что же дальше? Клади перо и умирай. Или — отходи в сторону, прекращай творчество.

Лермонтов, Пушкин, Толстой не могли прекратить творчества, потому что они вообще *не копировали*, а *творили*. Совсем другой вид созидания. У них душа пела. Но о чем пела душа делового служивого человека Грибоедова? Она вообще *не пела*, она была вообще *без песен*. Он имел гениальный по наблюдательности глаз, великий дар смеха и пересмеивания, язык «острый, как бритва», с которого «словечки» так и сыпались. «Словечки» в «Горе от ума» еще гениальнее всей комедии, ее «целости»; «словечки» перешли в пословицы. Как *отдельные фигурки* «Мертвых душ» тоже выше *компоновки* всей «русской поэмы». Но «смех», «словечки» и «острый глаз» не образуют собственно *вдохновения*; и им были бедны все три писателя (выше остальных был Гоголь, у которого есть *фантастика*).

Таким образом, из *самой природы дара*, мне кажется, вытекает прекращение деятельности и наступающая затем тоска. Произведения — *всемирные*. Но эту всемирность сообщил им «ход истории» к такому-то году или десятилетию окончивших чеканку таких-то человеческих типов, таких-то человеческих фигур, таких-то человеческих образов. Как Лир был король «с головы до ног», король — в нищете, король — в безумии; так Чичиков был «до каблука сапог»... «не очень толст, не очень тонок», всем приятен, и со всего «слизывал сливки». «Кончено». Кончила «матушка-натура». Гоголь великим глазом подсмотрел и — *вылепил*. Гоголь знал Пушкина, Гоголь знал Грановского; да — но это типы в *продолжении*, в *росте*. С «растущего» нельзя лепить маски; маску можно делать только на «мертвом». Фамусов, гидальго, Чичиков были «предсмертны». И появились великие исторические создания, литературно-исторические.

Можно почти добавить. «Горе от ума» написало *время*, и «Мертвые души» написало то же *время*, и «Дон-Кихота» или еще нашего «Обломова» — *время же, эпоха*. А авторы прибавили очень немного к усилиям и совершенству работы этого старца-времени: только перевели, так сказать, со скульптуры — на музыку, данное «в трех измерениях» природою — перевели в категорию *слова*. Но это — не песня; это — не *задумчивость*; это в собственном смысле — не *музыка*. А без этих трех нет великого поэта. Грибоедов был деловой человек; а как *поэт* он был беднее и, так сказать, нищелюбивее маленького Кольцова. Кольцов пел и пел и не мог остановиться. А Грибоедов остановился *так естественно*.

Большая разница — соловьиный голос в груди, и — удивительный инструмент перед губами, которого музыка «даже лучше соловья». «Лучше соловья» — был литературный инструмент у Грибоедова; но природа, но натура его, но *душа в нем* была самая обыкновенная.

И он тосковал, создав небесную вещь, но с душой земною.

Тема и Боккачио, и Сократа

(О цензуре)

Чудаки цензора... А я люблю народ чудливый. Сиж у одного вечером. Чай. Я ему:

— Чтó Вы запретили мое «Уединенное»?

— Нельзя. Порнография.

— Да никакой у меня «порнографии» нет, потому что *в душе* ее нет, а есть только субъективное. Известно, всякий «в душе» не такой, как «на улице». А вот на столе у вас, действительно, порнография.

Указал на книжку с невозможной обложкой и с начальническим распоряжением сверху: «потрудитесь рассмотреть и сделать доклад к среде».

— Не бойсь,— пропустите?

— Пропущу.

— Но ведь это же бесстыдство уже в обложке. Вокруг арены сидят люди, должно быть, больше мужчины, *citoyens*, а среди арены шар; конечно, эмблема земного шара, и на нем стоит на голове голая женщина: ноги кверху и она их чуть-чуть раздвинула. Это если буквами передавать, то стыдно читать: а читатели будут рассматривать.

Цензор невозмутимо ответил:

— Но ведь женщина эта в трико.

Я посмотрел на него. И он, как бы устремив взор в строки закона, продолжал:

— Потому, что это — цирк, а в цирке все по закону бывают одеты в трико. Как же я «запрещу» одетую в трико женщину?

— Послушайте, ваше благородие или ваше преподобие: ведь тут *трико* не нарисовано!!!

— Но оно *есть*!

— Есть, но его *не видно*.

— Все одно. Это уж недостаток типографской техники, что она не передает *ткань* трико. Цензор не имеет права быть *придирчивым*, он действует *по закону*, и видя женщину, законным образом одетую,— пропускает.

— Да, вас мошенники обходят, а честных людей вы задерживаете. Впечатление-то ведь то для читателей, что среди зрителей стоит на голове женщина, «в полном виде»; с пятками на месте головы, и чуть-чуть раздвинув...

— Не хочу слушать, удержитесь...

На обложке, прямо «в нос» публике... А вы, ссылаясь, что она «в трико», — пропускаете. Издатель явно бил на чувственность, разжигает больные нервы, рассчитывает на покупателя-мальчишку. Закон, говоря о «порнографии», вот эти вещи и разумеет. Он благоразумно оберегает *малых*, оберегает *толпу*, *подростков*; и оберегает их от типографской и книгопродавческой *сферы*... Какой же я «аферист», и неужели мои книги, за 25 лет изданные, начиная с «О понимании», представляют «аферу», бьющую в нос нервам?

— Нам все равно, *кто* вы и *что* написали. Но раз мы встретили у вас «без трико»...

— Господи! Да этого *не видно* в печати. Я никогда не сделаю и *по устройству души* не могу сделать, ни одного описания, поместить ни одной строки, *зовущей читателя к разврату*, как все эти «одобряемые» вами книжки, воистину источник развращения нашей несчастной толпы... Но есть темы философии, религии и истории, *связанные с полом*: касаясь их, — и ни из одной литературы они не выкинуты никаким цензурным уставом, — я привожу примеры, аналогии, иллюстрации, редко бывающие случаи. *Вне связи с наукой*, у меня нет ни одного слова в этих сферах. А как я чуть-чуть художник, то все примеры рисую ярко, образно, сочно, «хоть пощупать», и иначе не умею, иначе я не описываю церковь, училище, ученика, учителя, толпы народной, что бы то ни было. Вы меня как распинаете: вы преследуете во мне 1) или науку — это *тема* пола в связи с цивилизацией, 2) или художника: но неужели же я на это не имею права?! Но вы не можете и не смеете у меня открыть ни одного движения *к развращению читателя*. И по той простой причине, что я этим не занят, что я — серьезный писатель. Нет в *уме*, нет и в *письме*.

— Мы действуем по «Уставу». Как же нам действовать, если «Устав»?!

— Да нужно же *уразумевать закон* и *уразумевать мысль законодателя*. Она явно заключалась в оберегании *толпы* и *улицы*, — от соблазна и возбудительных вещей. Есть гашиш, опиум: и они *запрещены*. И есть печать, действующая как гашиш: на предрасположенные к половой отраве нервы. Но вы пропустили все «Тайны жизни», редактированные каторжным теперь врачом Панченко, издававшиеся у нас под носом, на Надеждинской улице, в Петербурге; и не пропускаете «Уединенное» Розанова. Да и «Тайны ли жизни» только? Вот я и в цензуру, и в суд ношу все книжки, — ссылаясь на странность закона, или законодательства, или суда — не знаю. Посмотрите, что это? «Дневник акушерки. История одного секретного убежища». Спб., 1908. Тут, ясно, уже ни одной главы нет, ни одной сцены, которые не были

бы «недозволительны к чтению невинной барышни, ученицы гимназии или ученика гимназии», обычная ссылка цензуры, когда она готовится выговорить — «Не дозволю». Вот «Мемуары аббата. Записки французского священника», Спб. О содержании ясно говорит обложка: сидит монах в куколе, столько же католическом, как и православном, а на маленьком столике перед ним нагая женщина, без чулок и башмаков, и едва ли даже в трико «для цензурности». Нет, просто нагая: и соблазняет монаха, горестно сжавшего руки. Содержание? Да единственно беседы «на духу», по части седьмой заповеди, которые в исповедальные ведутся шепотом, а в книжке, естественно, вслух. Или вот еще обложки, «свидетельствующие» о книге: нагая девица, в ожерелье и «без остального» присела и нежно обнимает за шею «возлюбленного» козла. «Мифологические рассказы».

Вспомнишь Фамусова:

ах, дружочек,
Нельзя ли для таких прогулок
Подальше выбрать закоулок!

Что «мифология» нашим беллетристам!? Там есть всякие сюжеты: но Русский не был бы Русским, если бы не выбрал из «всего» — сочетание девицы и козла. «Разве мы не православные»... Или вот: книжка рассказов (4-е издание, в Петербурге), а на обложке огненного цвета — поднявшийся на дыбы жеребец, из ноздрей — пар, грива — в разлете, передние ноги — колесом; а прижавшись к шее его, с полузащуренными (истома) глазами, сидит у него на хребте опять нагая женщина. Это, можно сказать, литература «без юбок», и все — с благословения начальства... Оставляю «Санина» и Вербицкую, т. е. все-таки литературу: в перечисленных же книгах есть только торговля, есть дурно рассчитанный «промысел», и вот именно это, только это одно и подлежит ведению цензурного устава, в главах о порнографии: которым не подлежит вовсе литература...

У меня нет никакого сомнения, что цензора суть люди добродетельные и просвещенные. Но они явно связаны тем, что именуется «служебным долгом»: слово, пугающее всякого чиновника. Очевидно, недостаточно выразителен закон. Известно —

Думный дьяк, в приказах поседелый,
Добру и злу внимает равнодушно.

Так пишут и законы,— языком вялым, путаным, бесстрастным. Этим-то языком и запрещено «касаться известных предметов», частей тела и «событий» в теле: между тем как, ведь, есть же таинство брака, церковное, благословляющее «в путь», все это запрещенное. Кто же, однако, скажет, что брак «порнографичен»? Порнографична — проституция; и потому, что она — холодная, бездушная. Брак же не порнографичен: и не от одного приложения церковной печати; напротив, церковью оттого и прилагает сюда печать свою, что все здесь совершается

по любви («по взаимному согласию жениха и невесты»), бескорыстно, по влечению, пламенно! Вот именно, как художник пишет художественные страницы и живописец — картину. Одно и то же, если оно холодно-гадко, неприлично, «порнография». Таковы и есть все книжки «незапрещенные». Напротив, у меня по крайней мере запрещены «горячие страницы»; но уже по сему одному это все — брак, таинство, связь с религией, хотя бы и пола. Ибо «брак» и есть «связь религии и пола», и ничего другого. Цензура, таким образом, странным образом запрещает (в литературе) брак и позволяет исключительно одну вялую, тусклую, но хитрую и обходящую букву закона проституцию.

Здесь не одни только глубокие и постоянные неприятности для писателей, хотя и на них нельзя «махнуть рукой»: ибо с какой стати в благоустроенной и мирной стране, да еще «при слава Богу конституции» я буду терпеть обиды, притеснение, задержки в труде (арест книги), убытки и проч.? Виноватый всегда *знает*, что он — виноват; а я *решительно* знаю, что в порнографии (преднамеренное развращение читателя) от молодых ногтей и до сих пор не был виновен; кроме того, могу *доказать*, что именно цензура, пусть и невинно, заразила общество порнографией, ибо она не задержала ничего торгово-проституционного (*каторжные* издания «Тайн жизни»). Здесь-то мы и переходим к важнейшему пункту, общегосударственному. «Цензура» понятна только в римском смысле «цензуры»: это — ареопаг, блюдущий «добрые нравы» общества и традиции истории, должность с философским оттенком, а не с полицейским. Собственно, не надо бы никаких «законов о печати»: а, напр., из отставных почетнейших лиц общества, из отставных ректоров университетов, заслуженных профессоров, из стяжавших во всей России уважение учеными или литературными заслугами лиц, назначать от 40 до 50 на всю Россию, которые безапелляционно могли приговаривать книги, издания, брошюры, листки к «молчанию» или истреблению, просто за *позорный их тон*, за *явную гнусность вида*, за *отвратительно торговый* характер, примазавшийся к литературе. Или, если ареопаг нам «не к лицу», ибо откуда же взять доблести, а в России вообще нет доблести: то пожелаем, чтобы Сенат, или министр внутренних дел — главноуправляющему по делам печати, или (кстати вновь теперь назначенный) главноуправляющий по делам печати — Спб-скому цензурному комитету *точно и не бесстрастно*, не вялым канцелярским языком, а морально и патетично объяснил, что такое «порнография», как *отдел* холодной проституции, и что такое... «таинство брака» вещь *горячая*, любимая, нужная миру, Богом благословенная («плодитесь, множитесь»), которая есть в жизни, в бытии, Космосе, и имеет все права на уважение цензоров; не только на *дозволение*, но на уважение, и ни в каком случае их переделкам, суду и суждению не подлежит.

Как родители, отдавая дочь в замужество, не «развращают» ее, а за упрек себя в разврате вправе привлечь упрекающего, как *оскорбителя*, так всякий писатель с даром художества или поэзии может писать

о поле, и только по особому добродушию не привлекает за «диффамацию» всякого, кто это именует «порнографией», будет ли то критик, будет ли то цензор. Пишу это с глубоким убеждением; и с глубокой просьбой об этом подумать.

Ропшин и его новый роман

Не помню, на страницах ли «Русск. Мысли» или «Русск. Богатства», осенью минувшего года рассуждали два сионских критика, Горнфельд и Венгеров, о «Бесах» Достоевского. Достоевский, как известно, не отдал «полной чести» Нечаеву (Петруша Верховенский) и нечаевцам и считал революцию пухом, а не делом. И два критика, которых почему-то не пугается правительство, а они все силятся иметь пугающий вид, в обмене горячих комплиментов друг другу, выговорили: «Конечно, можно было бы *пхнуть сапогом Достоевского с его «Бесами»* и на этом кончить дело», и т. д. и т. д. Это «пхнуть сапогом» в отношении личности Достоевского довольно картинно, и мне показалось знаменательно в смысле «надежд и чаяний» в русской литературе от сионской примеси. *Такого* выражения относительно Достоевского я не припомню за 30 лет после его смерти ни от одного русского писателя. Нельзя не припомнить и слов еврейского историка русской литературы, г. Когана, сказанных о Пушкине: что «русский народ никогда не будет чувствовать Пушкина своим поэтом, народным русским поэтом: ибо он был из дворянского сословия, которое ненавистно русскому народу по памяти крепостного права». Но оставим Когана; и Венгеров и Горнфельд «пхают сапогом Достоевского» за революцию, и чувствуют свое право его пхнуть за нее, никем не остановленные, потому что революционность есть что-то вроде дворянства в ежедневной и ежемесячной прессе и скропать статейку в похвалу ей для журналиста все равно, что для чиновника получить «Владимира 4-й степени», дарующего дворянство. Собственно, и Горнфельд, и Венгеров, купчишки в литературе, но мучительно желающие выйти в дворянство, и для этого-то они за революцию и «пхают сапогом Достоевского». Сей подвиг им в литературный формуляр запишется, и немножко они «подвинутся по службе», которая при библиографии подвигается медленно. Дело чиновное и обывательское, и я бы радовался за обоих, не будь задето имя покойника, каковое на Руси почитается. Но в то время, как обыватели и купчишки так стараются для революции, в то время, как пылает по этой части необдуманная барыня Елизавета Кускова, конечно у *самых революционеров не все так сладко на душе*, не все так гладко. Конечно, лишь *через много лет* мы должны ожидать искренних мемуаров, которые вскроют *душевное состояние русского революционера за 1908—1912 годы*. Тогда все и разъяснится. Но кое-что

показывается и сейчас. Я с волнением прочел следующие строки в «Утре России»:

«В ближайшие дни появится новый журнал «Заветы» с портретом Н. К. Михайловского вместо вводной статьи. Много уделено в журнале Герцену, о котором пишут: В. Чернов и В. Ленуар. Помещена также статья самого Герцена «Прологомены», мало известная публике. Среди разнообразной беллетристики журнала приковывает к себе внимание роман В. Ропшина (автора «Коня бледного») под заглавием: «То, чего не было». «Конь бледный», написанный в виде *дневника* переживаний террориста за время подготовки и совершения убийства одного губернатора (*генерал-губернатора*, судя по деталям описания города), — есть произведение не измышленное, а действительное. И написано оно, как об этом без колебаний говорят и в свое время говорили в литературных кругах, г. Б. С., «самым отчаянным из них». Говоря о бомбе, он все повторяет слова из «Апокалипсиса»:

Я дам тебе *утреннюю звезду*...

Само название «Конь бледный» взято из Апокалипсиса, где этот символ знаменует *смерть*. Автор «Дневника» живет для смерти, упивается смертью, воспевает смерть. Случайно на днях я прочитал этот роман. Ужасный террорист влюблен в жену офицера, «Елену», и ради ее, ради своей поэзии с нею, отталкивает от себя любившую его девушку. Один из его помощников говорит ему: «разразить бы бомбой всю эту публику: потому ведь тут на *каждой барыне костюм в 200 р.*, а наши матери-работницы на фабрике *маются из-за 20 р. в месяц*». И после этой «террористической» беседы, сейчас об «Елене», утвердительно и с поэзией. Как мне передавали, все эпизоды «Дневника», и все там женские лица — суть *подлинные*, списаны с действительности. И подумал я: да с чего же террорист с «утреннею звездою» хочет «разить бомбой» за наряд в 200 руб., когда он сам не отказывается от удовольствия любви, причиняя этим другому человеку страдание, не меньше чем фабричная маята? Одному — шуба, другому — любовь, третьему — ожерелье, четвертому — политическая или литературная слава: всем «нравится», все — «по *пóхоти*», никто от «щекотанья нерва» не отказывается, не отказывается и первейший «бомбист»... То какая же тут «революция», за что и про что?! *Почему «казнь и возмездие»* и кто «казнящие и мстящие»?! Есть мировая слабость к греху, но виновных — нет.

Но оставлю свои мысли. «Конь бледный», недурно написанный, с энергией и живостью, в идейном отношении мне показался мизерным. Но вот что пишет дальше «Утро России» о метаморфозе автора, страшного террориста:

«Фабула романа такова: революционер Болотов, не сомневавшийся в святости и необходимости своего дела, возвратился в Россию во время русско-японской войны. В дороге он прочел о гибели броненосца «Ослабя», на котором был лейтенантом его брат. И Болотов ясно представил себе своего раненого брата, которого волны смыывают с палубы. А ведь он привык думать, что

японская «авантюра», хотя и жестока, но полезна, что победа японцев — победа революции. И Болотов *почувствовал ложь*.

В Петербурге он посетил квартиру, где обсуждались вопросы о том, поднимать или не поднимать восстания в каком-то городе, где товарищ Давид пропагандировал десяток солдат. Этот Давид приехал, якобы от имени всего полка, спросить у комитета, неизвестного этому полку, когда именно нужно начать убивать и умирать. И Болотов смутно почувствовал *тяжелую бесплодность этих разговоров*.

«В трактире «Волна» Болотов встретил слесаря Ваню, который отравил четырех казаков, мстя за смерть своей жены, павшей от казацкой пули. Ваня стремился стать террористом. И снова сомнения нахлынули на Болотова. По его слову Ваня убьет и сам умрет, а он Болотов, останется жить, потому что «я нужен всей революции, всей партии, и еще потому, что необходимо разумное разделение труда». Но ведь и Ваня мог бы так рассуждать.

Болотов сказал Ване, что не к нему он должен обратиться, что он, Болотов, *террором не занимается*. И он почувствовал, что, быть может, *впервые за многие годы он осмелился сказать правду*.

Болотов *почувствовал скуку*. «Теперь уже он знал, знал наверное, что *где-то в его жизни кроется ложь*».

Как же быть? Где же правда? — спрашивает Болотов. — *Ведь не в том же правда, что я радуюсь, когда тонут в Японском море десять тысяч русских людей, когда тонет Саша... И не в том правда, что Ваня идет на смерть, а я хвалю или порицаю его... И не в том, наконец, правда, что староста Карп рвет на сигарки мои, косноязычно написанные, статьи... Так в чем же?*

Болотов чувствовал, что он осуждает свою, — *как казалось ему до сих пор, — беспорочную жизнь*. На этом помещенная в журнале часть романа обрывается.

Все очень характерно. Против революции восстанут (в печати) вовсе не от того, что она *опасна*: до этого нам (писателям) дела нет, с «опасностями» справляется государство. Писателю есть дело *не до опасности*, а до *правды в слове, до правды в сознании*. Вот до этого ему есть «дело», и здесь у него есть обязанности. Здесь он сторожит, хранит. Революция «прошла» идейно, и теперь только торгаши слова зарабатывают на ней, потому что нет сил быть искренно революционером. И это по простым причинам: в революции — «все то же», что и «у нас»; «революция» есть «мы» же, такая же она слабая, такая же мелочная, такая же неудачливая; и даже такую же «манчжурскую авантюру» она совершила, подняв Москву на баррикады. Тоже «шапками закидаем», «всех победим» и... «бежим по лясу». *Такое же* она, как все наше «старье» и даже чуть-чуть похуже. Все же «старая Россия» раскинулась от океана до океана, все же она есть громадная организация, не чета «парижской конспирации»; и все же она хоть, например, построила сеть железных дорог, когда революция сумела только «потушить электричество в Петербурге». Революция окончилась идейно, окончилась как надежда, когда стало очевидно, что она не лучше «старой России», не благодарнее ее, не героичнее, не созидательнее; а если посмотреть бесстрастно — то и хуже, слабее, тупее и порочнее ее. Старая Русь «носила» *тысячу лет*; и понятно, что много в ней мест «проношено до дыр». Вот источник пороков — в старости. Но что «старая Русь» героичнее и священнее революции, что она именно нравственно здоровее ее, можно видеть из того, что

революция-то ведь вся молоденькая, а поглядите, какими пороками она облепилась. Есть «изменники» в бюрократии, в генералитете, но от Дегаева до Азефа все же одна революция дала такую уйму предательства, такую продажу за золото. *Старые русские люди больше любят свою старую Русь, нежели новые русские люди любят свою революцию: и эта борьба идеализмов покончила спор.*

Амфитеатров и Ропшин-Савенков

Дар самовидения — трудный и неприятный дар. Им совершенно не обладает А. В. Амфитеатров. Он ополчается на г. Ропшина-Савенкова, он защищает революцию и революционеров против Савенкова, совершенно не замечая, что он тут судит *в чужом деле*, и, естественно, — *судит без всякой компетентности*. Сам себе кажется г. Амфитеатров «революционером», и оттого, что был «сослан», «потерпел» и проч., а теперь кажется эмигрировал, и все время возится с революционерами, т. е., по всему вероятно, завтракает с ними, прогуливается иногда и неутомимо разговаривает. По этим «знакомствам» и «разговорам» он и кажется себе революционером. Это Александр-то Валентинович?! Да Александр Валентинович просто Фамусов, — ну, немножко «обновленный», как мы вообще существуем уже в «обновленном строе»; Фамусов с прибавкой чуть-чуть Ноздрева, и, пожалуй, еще Петра Петровича Петуха, генерала Бетрищева и Тентетникова. Но основная фигура — Фамусова. Только без всякой «оглядки на себя» он мог принять себя за «революционера», а несчастная «ноздревщина» вовлекла его в неприятность высылки. Но есть ли более добрый, милый, «житейский» человек, чем Ал. В-ч, который, вероятно, увидя таракана вверх брюшком, поставит его осторожно на лапки и даст убежать. Человек абсолютно бескровный и беззлобный. Удивительно. И придет же такому мысль «затесаться в революцию». Он попал в нее совершенно неожиданно и непредвиденно. В школе он, конечно, отлично учился и затем сейчас же начал великолепно литераторствовать. На что было ему злиться? Мир ему представлялся масляным, вкусным. Кое-кто там, конечно, страдал, — ну, рабочие, студенты, и он, как добрый и благородный человек, им конечно всем сочувствовал. Но от «сочувствия» до «революции» дело далекое; особенно до нашей русской и в *фазе последних десяти лет* революции. Делают ее люди страдания и отместки за страдание; в «тоске по жертве» (кровавой), как я писал; или «люди *красного цеха*», как ту же мысль выразил Ропшин-Савенков в «Коне бледном». Амфитеатров, по великой доброте своей, не понимает самой психологии *деловой, реально-движущейся* революции, которая есть кровь и прежде всего кровь, есть животное хищное и прежде всего хищное. Недаром особенно евреи, с их

мистическим обонянием крови, с жадностью — хотя в «думках», в воображении «лизнуть крови» — так жадно, толпами бросились в революцию. Революция краешком касается их «кошерного мяса», с выцеженной предварительно кровью. У Савенкова в «Коне бледном» это очень хорошо показано: «идеи» революции совершенно на десятом плане; над «старичками», заседающими в Париже, в центральном комитете, он подсмеивается. Ему подай крови генерал-губернатора, как еврею «кошерного мяса» на стол на праздник. Тут огромная психология и мистика, которых «травоядному» Ал-ру Вал-чу никогда не понять. Равным образом и в «хитростях политики» что он смыслит? Он, который то пишет «Жар-птицу» и в ней о какой-то черной и белой магии; то целую серию романов посвящает нашей и заграничной проституции, везде с соком, с маслом и с великой добротой своей, заботой и великодушием. Он истинно-русский человек, без кавычек. И когда революция пройдет, мы будем, т. е. вся русская литература будет, любить и помнить «нашего Александра Валентиновича»; и напишутся целые мемуары о том, как он то возился с проститутками (воспоминания его о Берлине), то его ссылали, то он входил в связи с революционерами. «Море житейское», — и по нему плыл Амфитеатров, едва ли зная, куда. Корабль качает; дни то ясные, то бурные; хорошо «море житейское», — отлично по нему плыть в комфортабельной каюте, при отличном буфете, хороших пассажиров; особенно хорошо ему, знаменитому «Амфитеатрову», которого вся Россия знает, да и граница отчасти тоже знает. Конечно, на корабле есть кочегары, матросы, и о них всех «жалеет» наш Фамусов: но принимает их не ближе к сердцу, чем тот первый Фамусов своего «Петрушку» с разодранным локтем, которому он давал, вероятно, и «на чай». Вот и «революции» Амфитеатров дает «на чай» своей литературной деятельностью, отнюдь волнуясь ею не больше, чем судьбою какой-то «Маши Люсьевой», о которой он исписал десятки печатных листов, т. е. сколько не исписал о всех революционерах вместе. Ах, Амфитеатров, Амфитеатров, — легкомысленный вы человек, похожи в литературе на Боборыкина. Революция есть специальность, революция есть призвание, революция — *на роду написана*, а не то чтобы «обстоятельство жизни». Написана «на роду» скорбному, желчному, который в гимназии плохо учился и не мог хорошо учиться, у которого родители были в разврате или в разделении, в ссоре, которого в детстве оскорбляли, которому служба «не давалась»... Вот сколько обстоятельств, и условий. Но пронизательность и Амфитеатров — вещи несовместимые: и он смешал две вещи: красный масляный сыр, — и ту черную мышь, которая его грызет.

Р. С. Это у меня приятель есть, Философов — тоже революционер. Прошел по сырой улице без резиновых калош — целую неделю кашляет. Без перчаток — руки загорают. Отчего же он «революционер»? А вот подите: нравится такое «emploi». Это девочки в 18 лет говорят: «Я, маменька, буду *Рашель*». Другая — «Постараюсь быть *Зембрих*».

Философов: «Я — как Савенков, столь же ужасен». Амфитеатров: «У меня натура широкая — хочу быть разом Рашелью, Савенковым и Бобрыкиным». Я же и говорю, что Русь есть Русь, о которой сказал Тютчев:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.

Так и воюешь с «революционерами» из благонамеренных изданий: а любишь их, любишь,— невольно и очень любишь, как просто хорошую, красивую «русскую статью».

Ж. Ж. Руссо

Все изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом сменные забавы.

Пушкин

Позволю и я себе, хоть немножко и запоздаю, сказать несколько слов о Руссо, 200-летний юбилей рождения которого только что отпраздновался всею печатью. Предмет этот так велик и интересен, он до такой степени *вековой*, что запоздание в 2—3 недели не составит важности. Ведь *все* этот месяц *подумали* о нем; пусть моя дума присоединится к думам всех.

Никто так полно и жизненно не выразил значения Руссо, как Наполеон, сказавший, что «без Руссо не было бы революции». В устах Бонапарта это была почти исповедь. Мы помним его всегда как императора и властелина; но он прошел, хотя и узенькую, полоску юности, мечты и сердечного воображения. В словах о Руссо он как бы сказал: «Разве мы все тогда начали бы так *ломать* старую Францию, не пояись этот Руссо со своим гипнотизмом красноречия, веры, вторичного и чистого детства человечества»... Наполеон выразил в словах о Руссо то, что он чувствовал и знал; чего мы теперь не знаем, отделенные 1½ века... Чему мы просто должны верить как факту. Мнение Наполеона о Руссо есть *факт* истории, а не одно только суждение.

Но французская революция — первый день новой Европы. И Наполеон сказал собственно неизмеримую мысль, что вся новая Европа более или менее обязана своим рождением странному духу, странному влиянию, которое произвел этот «литературный бродяга», каким и по существу и по форме, и по сочинениям и по биографии был Руссо. «Бродяга» — без порицания; просто — как портрет. Действительно: «своего дома» не только не было у Руссо, но Руссо и невообразим в «своем

доме», и вообще в каком-нибудь постоянном жилище, на долговременной квартире. Руссо — сама *неустойчивость*; он вечно переходит из одного положения в другое, от одних мыслей к другим, из одного города в другой, от одной возлюбленной к другой, от одной должности и профессии — в другую, от одних друзей к другим и т. д. Это бывает и у других, но как черта величайшего легкомыслия и пустоты человека. У Руссо же это была — трагедия, страдание, доведшая его почти до безумия и ранней смерти. Он *не мог* стоять на одном месте, томясь вечным томлением по чему-то новому, «другому», чем его «сегодня» и «здесь». И это как душевно, так и физически. Его земля не держала и он не держался на земле. Есть что-то воздушное, птичье в нем. Говорят, всякий человек похож на какое-нибудь животное; обычно сухопутное: на быка, на лошадь, на верблюда, на свинью. Руссо был сходен поразительным сходством с какою-то птицей, — с длинными крылами и крошечными, слабыми ножками. И он пролетел над Европой, запев больную песню, большую и зовущую, больную и тоскливую. И все подняло голову, отозвалось. Все почувствовало в груди своей отзыв на эту песню. Вот откуда значение Руссо. Он мог бы петь о том, что ему одному понятно. Это могло бы быть прекрасно, но не было бы значительно. Суть в том, что он запел мировую, общечеловеческую песню, мотив которой, собственно, вечен в человеке, глухо знаком всему человечеству. И все поднялось. Получилась «революция».

Кант, Гете, Байрон, Толстой — люди достаточно великие и не любившие от кого-нибудь «зависеть», равно говорят, и с любовью, а не с «несносным чувством», о своей зависимости от Руссо. Кант признавался, что он на несколько недель остановился в писании философского трактата, когда появился его «Эмил»; Толстой много лет тайно носил на груди портрет Руссо вместе с крестом. Такие лица революции, как Сен-Жюст, Робеспьер, не говоря о громадной *толпе* «людей революции», собственно лишь портретно выражали в себе идеи и дух Руссо. Влияние на Толстого, на Канта?.. Да кто *он*, влияющий? — Мальчик, безумец, любовник «доброй Терезы», темный воспламененный юноша...

Поразительный факт. Мировой факт.

Что такое его идея «первоначального невинного состояния человека»? Да идея — Библии. Идея Рая, Адама и Евы, грехопадения. Почему же, как страница Библии, она не заражала, а как «сочинения Руссо», всех заразила, взволновала и увлекла? Все обезумели от этой мысли, образа представления, надежды, чаяния. Что такое, в чем загадка? В Библии мы это учим десяти лет, и давно надоело; в 17 лет «не верим этим басням». Вдруг стали том за томом, трактат за трактатом выходить «сочинения Руссо», где была и билась пульсом эта в сущности *эпическая* страница Библии, но она уже билась как *лирика*, как призыв, как плач и знамя, как *земной насущный идеал*, по которому «завтра начнут переделываться все дела». «Вернем себе рай», «вернем себе невинность». — Как передает

в подробностях Тэн, об этом грезил и в королевских дворцах, и герцоги, и последний мещанин. Все «опростились», Мария Антуанета опростилась, и из своих рук кормила своих коров свежей травой. Деланно или неделанно, сильно или безуспешно — но порыв *сюда* у всех был. Все рванулись в *невинность*, *первоначалность* и *рай*. Даже Кант задумался: «не снять ли мне ученый колпак и не сделаться ли просто теленком, жующим в поле траву». А Фауст и его скука мудростью, его томительное желание опять юности, любви и непосредственности?.. Везде — Руссо, все — Руссо.

«Революция» совершенно понятна после Руссо, как она непостижима и просто ее бы *не было* без Руссо. Были бы «преобразования»: но «преобразование» — не революция, и особенно не эта первая революция. Революция с ее террором, с готовностью «всех зарезать, если они не по Руссо живут», миссия Робеспьера,— все это с явным безумием, эпилептичностью, захватом в грудь столько воздуха, что выдохнуть невозможно,— есть явление *solo* в истории. Ни на что она не похожа. Ничто на нее не похоже. Революция была в сущности припадком: и этот «припадок» вызвал Руссо. Таким образом, вся его личность и миссия есть не очень литературная, но *глубоко историческая*. «Литература», что он был писателем — случайность. Явление, именуемое «Руссо», «приход в мир Руссо»,— есть феномен религиозной жизни, религиозной судьбы Европы: это есть арийская форма религиозного события, типично арийская, но и типично религиозная. В сущности, Руссо и не думал повторять страницы Библии; она ему и на ум не приходила; из современников, кажется, никто не отметил, что «это просто первые четыре главы книги *Бытия*». Руссо не подражал, не повторял. Он сотворил *из себя* и *сам* великую религиозную страницу,— великий религиозный пароксизм. Случился типичный европейский религиозный припадок в конце XVIII века. Это и есть революция.

Жгли, рубили, разрушали: как в Тридцатилетнюю войну, как католики в Чехии после Белогорской битвы, как те же католики в Лангедоке и Провансе, как иезуиты, «не задумываясь, истребляли «врагов папы». Руссо назвал папою «народ» и «невинность», и Робеспьер начал рубить головы «неверных» этому «папе»: с тем же чувством *правоты* и веры, что «будущее оправдает его». Восстановление «невинного состояния» было религиозною верою, религиозною темою, было «вероисповедною задачей *на завтра*»... Тут не задумываются, не задумывался никто. «Террор» только и можно понять, придвинув к нему «гугенотов». Люди явно безумеют. Но ведь послушайте: и по Платону «действительность есть *преходящее*» («на земле мы только *странники* и *умрем*»... Но если так, если все реальное есть лишь *кажущееся*», то кто знает, не открывается ли в слепые и безумные моменты человечества трансцендентная сущность мира, земли и существа человека... «Долой голову мещанству, обыденности и прозе: и да здравствует пожар, сон, сновидения и опять пожар».

Кто знает, где *сущность*, в громе или в ясном дне.

И настал гром. И засверкали молнии.

Потом град, ливень. Повалились вековые дубы. Это — революция.

А «дунул» ее бездомный странник Руссо.

* * *

Все отмечают в нем странное детство, присутствие «впечатлительного мальчика» уже в зрелом по возрасту человеке. Это — его сущность. Да оглянитесь и на действительность: ведь «пожары зажигают мальчики». Какое-то мировое *emplois*. Какому же великовозрастному человеку, статскому советнику или государственному поэту Гете, придет на ум поджечь дом или крикнуть революцию. Революция *по существу* есть детское дело, детское и разбойное, детское и поджигательное. Юность имеет свои исторические *emplois*. Философия — старости, дипломатика и политика — старости же, суд и служба опять — принадлежат старости, зрелому возрасту. Но та бездна действия, каковая есть в «громе и молнии», — бездна и масса движения, захвата воздуха в грудь принадлежит, естественно, юности, — даже отрочеству. И «революцию» мог родить только «неумытое дитя» своих «Воспоминаний» (*Confessions*), этот Жан-Жак.

Смешон для всех.

Велик для всех.

Комик — для Вольтера.

Серьезное явление — для Канта.

Он и привил свое «мальчишество» целому веку, всему поколению. Отсюда краски революции: кроваво-страшной, детски-увлекающейся, живой, полной какого-то яркого «я» в каждой точке и в каждой минуте, безумной для всякого рассудительного человека, для всякого делового человека, и совершившей, однако, такое дельное дело, какого бы не совершить полку великовозрастных титанов. От этого, например, мальчишеского духа, мальчишеского пафоса от 1790 до 1799 года, произошла неудача Мирабо, человека совершенно зрелого и мудрого. Во время революции ничего вообще «мудрого» не могло удаться: могло удаваться только безум- (пропуск в тексте) против нее всей мудрой «критики потом»; критики и Тэна, и нашего Любимова («Против течения; беседы о французской революции»), и проф. Герье (комментарии к Тэну). Все у них у всех — верно с одной стороны, рассудительно, исторически-правильно; а с другой стороны — и совершенно неверно, вполне антиисторично. Конечно, «родители знали», что любовь Ромео и Джульетты «принесет им вред». Но «родители» никак не могли бы дать сюжета для великолепной хроники Вероны и трагедии Шекспира, и для мирового любования этою «горестною историей»; 17-летние дети — дали. Нужны ли *миру* Ромео и Юлия? Для «произведения потомства» — не нужны, но для *красоты мира* — в высшей степени необходимы! Дело в том, что самая-то «мудрость» имеет в себе

этажи и этажи, слои и слои: и «мудрое», положим, в третьем этаже — совершенно «глупое» в шестом этаже, а «мудрое» для шестого этажа — «никуда не годится» в этаже третьем. Так что прав и Любимов, но прав и Сен-Жюст.

* * *

Невероятная сила и все историческое значение Руссо происходит от того, что он изменил как бы *протоплазму* людей своего времени, поколения своего. Изменил новым духом и новыми темами, новым материалом своих сочинений. Известно, «протоплазма» долгое время оставалась скрытою и никому неизвестною; эта незаметная жидкость внутри кровяных шариков не считалась ничем важною или никто не мог понять ее значения, потому что она — однородна, плоска и неинтересна. Все смотрели на голову, руки, на органы, глаз, почки, легкие, сердце. Политика и история до Руссо и имела дело с этими массивными фактами, с огромными факторами большой политики и дипломатики; с дворами, министрами, королями, придворными, с любимцами-фаворитами, которые «все решали» и «все устраивали», «удачу» и «неудачу». Пришел Руссо. Что же он стал делать? Именно стал действовать на протоплазму Франции и всего тогдашнего читающего человечества. Этот грязный мальчишка, назвавший себя забавным именем *citoyens de Genève* *, начал рассказывать о своей доброй Терезе и пакостях с мадмуазель Лавассер, как его секли и что он при этом чувствовал, и т. п. глупости, совершенно не профессорские. Он стал выдавать маленькие секреты человечества, которые и у других бывали «в его положении», но все условились об этом молчать. Вообще *человечество* состоит из человечества «в разговорах» и из человечества «в молчании». Вот это второе совершенно никому не было известно, т. е. не было известно в литературе, в политике; «про себя»-то каждый о нем знал, но знал каясь и ограниченно только именно «о себе», т. е. без значения и силы. Руссо вызвал к действию и арене это «человечество *в молчании*», которое через литературу вдруг слилось *в одну* у мириада душ, у миллионов таившихся индивидуальностей: и тогда, естественно, получило *силу*, стало громом и молнией. «Бог весть откуда взявшимся». «Искорки-то всегда везде были,— для шалости и в шалостях. Вдруг заговорил Руссо, заговорил об интимном и внутреннем, о пакостях и молитве («Исповедание савоярского священника»), о своей тоске, о своей грусти, о своем — «не знаю, где найти место себе», о своем — «мне ничего не нравится», о своем — «я нахожу ложь во всем». И появились синие молнии, клубы молний. «Не понимаем и *мы*, для чего живет человек со своими фижмами, пудрою, в расчищенных парках из аллей постриженных деревьев,— со своими менуэтами, приседаниями, интригами и враньем».

* гражданин Женевы (фр.).

«И потрясся Олимп многохолмный», — как говорит Гомер. Все затряслось в Европе: потому что ведь думать-то это стали *все*, до «встречи двух дворян на Невском», в век Екатерины, «заговоривших шепотом о вновь напечатанном *Эмиле* этого чудака Руссо, этого святого Руссо, этого безумца и вместе гения». «Мальчишка Руссо» заговорил *тайну* всех, заговорил о *тайном* во всех: что же было делать правительствам? Не стрелять же из пушки по этому «грязному мальчику» и «двум дворянам на Невском», тихо разговаривающим между собою. Между тем короли, придворные, вельможи и министры вдруг почувствовали, что они обессилели каким-то внутренним бессилием, и что какие-то неведомые силы начали нарастать «совсем в стороне» и «где им не указано», — у этих частных людей, без формы, без определенности и даже «без определенных занятий»... «Солнце» закатывается здесь, «другое солнце» восходит там. Совсем космический переворот, и его произвел Руссо. Произвел именно этой тайной своей протоплазмой, «не расстреливаемой из пушек». Теперь — не Помпадур и Ментенон, а — провинциальная девушка Шарлота Кордэ; не Неккер или Кольберг, а Шиллер с балладами, «Разбойниками» и «Маркизом Позой»; не Людовик XVI и даже не Мирабо, который все-таки мог бы быть у него министром, а сумасшедший поэт Руже-де-Лиль, которого куда же взять в министры. Бабёф, Сен-Жюст и гильотина. И, наконец, не трон и «управление», а ревушая толпа и ее судороги. Чудовищный горный поток, все разрушающий, — лавина, оборвавшаяся с вершины горы, — вот революция. Какие тут рассуждения, какая рассудочность!! На 10 лет из Франции вдруг пропало «управление», пропало не в физике своей, а в метафизике, в *сущи*. «Управления» вообще не было, никакого! Какая же «канцелярия» в жерле вулкана, в котором все кипит и выбрасывается; а вы хотели бы подставить «рельсы» для этих выбросов. Тэн безумен со своей рассудочностью. Он, эмпирик, как не эмпиричен был здесь, в своих рассуждениях о революции, которая вообще не «рассуждаема», и это в ней — не побочное, а суть.

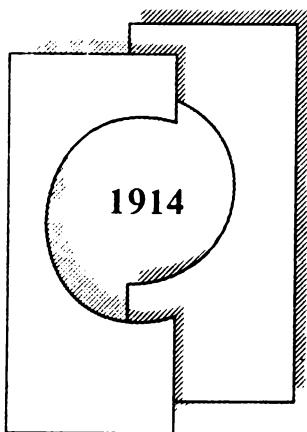
Тут не рельсы были нужны, а меч. Контр-динамит. И его принес Наполеон, в своей колоссальной личности, тоже единственной. Мне как-то обмолвился один из медиков, что «у Наполеона был пульс 40 ударов в минуту», когда у человека он бывает нормально 70 ударов. Жалко, что не посчитали пульс у Руссо: у него, вероятно, был дрожательный, мелкий пульс, 100 в минуту. И Руссо, и Наполеон были «иначе рожденные люди», и в этом все дело; иначе, нежели как вообще рождается человечество. Человек-пулемет (Руссо) и человек царь-пушка. Один мелкую дробь свою рассыпал по всем щелям человечества, другой чудовищным ядром сразу смел все. Наполеон есть другой фазис революции; революция же, но во второй ее фазе, — *устроительной*. Всякое извержение вулкана прекращается. Всякая революция должна *кончиться*: это не ее слабость, это ее *суть*. Но после революции «все остается в другом виде» и все начинает жить «по новому закону». «Революции»

в истории человечества то же, что «геологические перевороты» в истории планеты. Они «само собою» бывают редки, «само собою» — на больших расстояниях, и «само собою» — проходят. Что за «планета», которая вечно переменяется. Суть планеты, конечно, *устойчивость*, и суть истории — именно *быт*, «изо дня в день», «сегодня, как вчера». Консерватизм, как *постоянное*, консерватизм не в физике своей, а в метафизике — лучше, вечнее, нравственнее, благороднее «переворотов»: но, конечно, консерватизм «как следует», т. е. как благородный ясный день, полный день. Солнышко взошло и зашло без облачка — вот идеал. Но когда «все моросит», «ветер дует», на земле «слякоть» — ну, пусть буря «прометет» все. Но с мыслью: «пусть пройдет и она». Эта-то мысль для всякой бури — окончательна. Буря — все-таки зло, и переносима только для уничтожения еще худшего, для маразма, заразы, болезней, непорченного воздуха. До сих пор все ошибаются, что в «буре» содержится что-то самостоятельное, какое-то вечное начало, что она «в себе и безотносительно» хороша. Нет, окончательно-то и безотносительно хорошо «изо дня в день», — как и говорит народ *вековым* умом: «тишь да гладь, да Божья благодать». С абсолютной точки зрения, «от Адама до последнего человека», — Руссо был грех, болезнь и преступление. Смотрите, и какой он был в биографии своей уродливый, болезненный, весь неправильный. Боже: ни «гражданин», ни «человек». Именно — пульс 100 ударов в минуту, лихорадящий; какая-то протоплазма по виду, по «житию». Что-то в высокой степени бесформенное, зыбкое, неустойчивое.

Бог благословил Руссо (его *личностью*, его *сутью*) человечество и наказал человечество.

Через него — казнь, через него — возрождение. Но наконец его пора забыть.

Вот Руссо и к нему отношение.



Густая книга

Столп и утверждение истины.
Опыт православной теодицеи
в двенадцати письмах.
Москва. Книгоиздательство «Путь», 1914

I

Последние два-три года все лица, преданные философским и богословским занятиям или размышлениям в России, ожидали терпеливо выхода книги, заголовок которой мы привели. Она давно значилась «печатающейся» в списке новых книг московского книгоиздательства «Путь», идущего вообще «против течения» нашей журнальной, газетной и отчасти книжной литературы. Но уже вышел в «издательстве» Сковорода, вышел А. С. Хомяков; вышли князь Одоевский, Чаадаев и серия других меньших, а «столп» все «печатался».

Многие, вероятно, уже причислили книгу к тем вечно «печатающимся» и никогда не «выходящим» книгам, которые объясняются нашей обломовщиной. Но, наконец, она появилась. В 1000 страниц, — из которых 400 составляют петит «примечаний и мелких заметок», — обдуманная во всех подробностях, начиная от золотисто-зеленой обложки, передающей господствующие цвета иконописи в новгородском Софийском соборе, — она и должна была вызвать годы собственно *печатания*. Тут все трудно, обдуманно; нет строки легкой, беглой. Вообще — ничего беглого, скользкого, мелькающего. Каждая страница не писалась, а выковывалась. И кажется нельзя усомниться, что мы имеем перед собой книгу, которая

Пройдет веков завистливую даль.

Это — «столп» вообще русский, чего-то русского. Имея предметом своим церковь, православие, — она утверждает в то же время славянофильство, бредет в путях этих идеалистов 40-х годов, которые также полагали, что «говорить и думать о России» — значит прежде всего говорить и думать о православии, как особой стихии «восточного греко-славяно-русского» мирозерцания. Но это лишь намечает грани и дух, в которых книга построена или воздвигнута. Автор остается везде «собою», никого не повторяет, хотя и ни от кого не уклоняется. Он склоняется и примыкает к древности, к «славизмам» и «грекизмам», копается и в еврейской филологии, в корнях еврейских слов; некоторые примечания посвящены теориям высшей математики; но сердце больше останавливается на «вечернем свете», со ссылкой на Василия Великого, что это любимое нами пение за всеночной идет еще из древности, может

быть — даже из языческой древности: «Отцам нашим заблагодарассудилось не в молчании принимать *благодать вечернего света* — *χαρίν τοῦ Ἑσπερίνου φῶτος*, — но при явлении его немедленно благодарить. И не можем сказать, кто виновник сих речений светильничного благодарения; по крайней мере народ возглашает *древнюю песнь*». И затем автор скрупулезно отмечает решительно все места в *ορεγα ομπια* * у Достоевского, где он с таким памятным трепетом говорит о «косых лучах заходящего солнца». Заметим, что на египетских рисунках тоже попадаются выразительно сделанные «последние лучи солнца» (они оканчиваются кистью *человеческой руки*, с символом жизни, особым египетским крестом). Я наудачу взял кое-что из середины текста. Интерес и значение книги заключаются помимо мыслей и взглядов автора, его густого собственного меда, — в том, что читающий его книгу как бы вводится в целую духовную академию, не в формальном и не в учебном смысле, где встречается решительно всех мыслителей древнего и нового мира, греческих трагиков и философов, нашего Иоанна Сергиева и его духовный личный опыт («Моя жизнь в Боге») около трудов Бергсона и опять нашего Н. О. Лосского, — и тут же особое почти исследование о загадочном амулете Блез Паскаля, — до сих пор не разобранный вполне записочке, которую он всю жизнь носил зашитой в подкладке своего платья. «Итак, — спрашиваешь, — что же автор *не принял во внимание?*» С благородною самоотверженностью он излагает не «себя» и «свои мысли» только, не свои «парения» и «порывы», — а ему нравится любовно бродить по степям человеческим, по лесам всемирной истории, и везде указывать цветочек, и везде срывать то колокольчик, то резеду, то чистый ландыш. И конца этим «отводам в сторону» нет. Как бы обхватывает он любивших те же темы до него. И говорит: «вот — сколько! вот — какие! — любомудры, философы, поэты...», от времен Египта до нашего. Копается он даже в ненапечатанных тетрадях, найденных по монастырям (напр., недавно умершего Серапиона Машкина, — в Оптиной Пустыни). И все это — около ссылок на математические труды Пуанкаре, Гауса, наших академиков.

— Ну, так значит, — хаос? Может быть, хуже — компиляция?!!

Мед текущий, добрый читатель, — мед текущий и непрерывный. Везде — свое «я», везде видишь этого странника, срывающего не всякие и везде цветы, но одни — добрые, с глубоким выбором. Да вот лучше всего — *начало* его речи (Письмо первое к другу: «Два мира»):

«Мой кроткий, мой ясный!

Холодом, грустью и одиночеством дохнула на меня наша сводчатая комната, когда я первый раз после поездки открыл дверь в нее.

Теперь, — уву! — я вошел в нее уже один, без тебя.

Это не было только первое впечатление. Вот я примылся (умылся) и прибрался. По-прежнему выстроились на полках ряды

* все сочинения (лат.).

материализованных мыслей (библиотека). По-прежнему послана твоя постель, и твой стул стоит на своем месте неизменно (пусть будет хоть иллюзия — что ты со мной!). На дне глиняного горшочка по-прежнему горит елей, бросая сноп света вверх на Нерукотворенный Лик Спасителя. По-прежнему поздними вечерами шумит в деревьях за окном ветер. По-прежнему ободрительно стучат колотушки ночного сторожа, кричат грудными голосами паровозы. По-прежнему перекликаются под утро горластые петелы. По-прежнему около четырех часов утра благовестят на колокольне к заутрене. Дни и ночи сливаются для меня. Я как будто не знаю, где я и что со мной. Безмирное и безвременное водворилось под сводами, между узких стен нашей комнаты. А за стенами приходят люди, говорят, рассказывают новости, читают газеты, потом уходят, снова приходят,— вечно. Опять кричат глубоким контральто паровозы. Вечный покой — здесь, вечное движение — там. Все по-прежнему... Но нет тебя со мною, и весь мир кажется запустелым. Я одинок, абсолютно одинок в целом свете. Но мое тоскливое одиночество сладко ноет в груди. Порою кажется, что я обратился в один из тех листов, которые крутятся ветром на дорожках.

Встал сегодня ранним утром и как-то почуял нечто новое. Действительно, за одну ночь лето надломилось. В ветреных вихрях кружились и змеились по земле золотые листья. Стаями загуляла птица. Потянулись журавли, заграяли вороны да грачи. Воздух напитался прохладным осенним духом, запахом увядающих листьев, влекущею вдаль тоскою.

Я вышел на опушку леса.

Один за другим, один за другим падали листья. Как умирающие бабочки медленно кружились по воздуху, слетая наземь. На свалывшейся траве играл ветер «жидкими тенями» сучьев. Как хорошо, как радостно и тоскливо! О, мой далекий, мой тихий Брат! В небе — весна, а во мне — осень, всегдашняя осень. Кажется, вся душа исходит в сладкой истоме при виде этих порхающих листьев, обоняя

«осинников поблекших аромат».

Кажется, душа находит себя, видя эту смерть,— в трепете предчувствуя воскресение. Видя смерть! Ведь она окружает меня. И сейчас я говорю уже не о думах своих, не о смерти вообще, а о смерти дорогих мне. Скольких, скольких я потерял за эти последние годы. Один за другим, один за другим, как пожелтевшие листья, опадают дорогие люди. В них осязал я душу, в них сверкал мне порою отблеск Неба. Кроме добра я ничего не имел от них. Но моя совесть мечется.— «Что ты сделал для них?» Вот нет их, и между ними и мною легла бездна.

Один за другим, один за другим, как листья осени, кружатся над мгlistою пропастью те, с которыми навеки сжилось сердце. Падают,— и нет возврата, и нет уже возможности обнять ноги каждого из них. Уже не дано более облиться слезами и молить о прощении,— молить о прощении перед всем миром.

Снова и снова, с неизгладимою четкостью, проступают в сознании все грехи, все «мелкие» низости. Все глубже, как огненными письменами, вжигаются в душу те «мелкие» невнимательности, эгоизм и бессердечие, понемногу калечившие душу. Никогда ничего явно худого. Никогда, ничего явно, осязательно грешного. Но всегда (всегда, Господи!) по мелочам. Из мелочей — груды. И, оглядываясь назад, ничего не видишь, кроме скверны. Ничего хорошего... О, Господи!

Неизменно падают осенние листья; один за другим описывают круги над землей. Тихо теплится неугасимая лампада, и один за другим умирает близкий. «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». И все-таки, с какою-то умиротворенною мукой, повторяю перед нашим крестом, который тобою сделан из простой палки, который освящен нашим ласковым Старцем: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы Брат мой».

Все кружится, все скользит в мертвенную бездну. Только Один пребывает, только в Нем неизменность, жизнь и покой. «К Нему тяготеет все течение событий; как периферия к центру, — к Нему сходятся все радиусы круга времен». Так говорю не я, от своего скудного опыта; нет, так свидетельствует человек, всего себя окунувший в стихию Единого Центра, — епископ Феофан Затворник. Напротив, вне этого Единого Центра «единственное достоверное — что ничего нет достоверного, и ничего — человека несчастнее или надменнее» — «*solum certum nihil esse certi et homine nihil miserius aut superbius*», как засвидетельствовал один из благороднейших язычников, всецело отдавший себя на удовлетворение своей беспредельной любознательности, — Плиний Старший. Да, в жизни все мятется, все зыблется в миражных очертаниях. А из глуби души подымается нестерпимая потребность опереть себя на «Столп и Утверждение Истины» (определение Церкви ап. Павлом); не — одной из истин, не — частной и дробящейся истины человеческой, мятущейся и развеваемой, как прах, гонимый на горах дыханием ветра, но истины все-целостной и вековой, — той «Правды», которая, по слову древнего поэта, есть «солнце миру» (Еврипид, «Медея», действие III, явление 10, — в словах корифея).

Я нарочно взял значительный отрывок, — и его прочтет с радостью каждый, утомленный впечатлениями дня и оглушенный словами пустыми и мелкими. Читатель увидит на самом деле, а не доверяя мне, что это — кованая густая речь, и что не в словах только автора, но в мысли и в душе его нет ничего скользящего, летучего, случайного. Ни одного слова нет, которое бы он взял назад, как «не дело».

И таких слов и страниц — тысяча. Не прав ли я был, приветствуя, что мы получаем вековую книгу. Но читатель отметит и подробности: глубоко *личный* дух автора веет на каждой странице и сковывает массу сведений, знаний, буквально «всю академию человечества», в один металлический сплав. Но и этого мало: *что* же веет нам в странице? А позвольте спросить: *что* не веет? Что тут, человек ли? природа ли?

Религия, философия, поэзия? Нельзя различить. Страница глубоко цельна, не заметишь отдельных сплетающихся ее нитей, отдельных составляющих ее ароматов: автор говорит об *осени*, просто об *осени*, которую мы знаем все, и сливает ее дыхание, ее вид, ее частности — с мыслью о смерти. Итак не видит перед собою более «друга», к которому пишется письмо, то самую смерть и острие ее, жало ее — сливает с идеей жалобного *расставания* людей, страшной их *разлуки*, поправляемой только надеждою на воскресение...

И вот уже — все темы, все загадки перед читателем: но не как философская проблема, а как осязаемая мука каждого человека. Нет, больше, глубже: как мука от «я» к «ты», от «родного» к «родному», от «близкого к близкому». Это — тон религии. Где слезы — уже не философия, а религия; и где «нож смерти близкого» — я хочу не Канта, а Христа. Вполне удивительная страница, которую мы привели. Ничего не навязывая человеку, ничего не подсказывая ученику и читателю, — автор сам как «бренное создание» говорит и рассказывает, что *ему нужно*. Мы стоим перед философскою и религиозною трагедиею, и страницы книги наливаются огнем.

Через который пропускается вся «духовная академия человечества», с ее попытками, с ее молитвами около «тайн вечности и гроба».

Но мне хочется, однако, торопливо сказать, что *лично мне* более всего нравится в книге, которую будут разбирать и философы и богословы:

Благородство целого, — в замысле и исполнении.

Не ее философская и богословская сторона более всего привлекает, не ее «выводы», направление. Даже не самое *содержание*. Мне нравится самое *течение* ее; мне нравится *сам странник*, в вечер дней своих или в вечернем настроении души, вышедшей с такою любовью к людям, древним, новым, всяким, поискать в «лесу истории», в «степях истории», цветочков и маленьких, и больших, пахучих и скромных, красивых и некрасивых... Но все — на одну *тему*, вечную *тему*. Говоря его же словами, — мне нравится более всего его «*дружба к человечеству*», белая, тихая, бессорная, бессварная. Книга совершенно лишена полемики. Она собирает только *положительные цветы*, не вырывая ничего сорного.

II

Позволю себе еще раз остановить внимание читателей на замечательной книге.

«Живой религиозный опыт, как единственный законный способ познания догматов», так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги или, точнее, моих набросков, писанных в разные времена и под разными настроениями. Только опираясь на непосредственный *опыт*, можно обозреть и оценить духовные сокровища церкви. Только вода по древним строкам вливать влажною губкой, можно омыть их живой

водой и разобрать буквы церковной письменности. Подвижники церковные живы для живых и мертвы для мертвых. Для потемневшей души лики угодников темнеют, для параличной — тела их застывают в жуткой неподвижности. Разве неизвестно, что кликуши и бесноватые боятся их? И не грех ли перед церковью заставляет боязливо коситься на нее?»

В Саровском и в Понетаевском монастырях мне приходилось видеть разительные случаи, пугающие посторонних, этого испуга, этого страха так называемых «кликуш» и так называемых «бесноватых» перед иконами, и именно — перед «особо чтимыми», как называют в народе. Есть какая-то непосредственно ощутимая связь между «иконою» и «одержимым», всем видная, которой не заметить невозможно: связь взаимного отталкивания, вражды и страха. Связь эта живая, — и по ее неизъяснимости и чуду она пугает сторонних. Помню — пугала меня. Я «видел» и «был испуган» тем, чего абсолютно не понимал. То есть не понимал с рациональной, позитивной точки зрения.

Но ясные очи по-прежнему видят лики угодников сияющими, как лицо ангела, — продолжает Флоренский. — Для очищенного сердца они по-старому приветливы; как встарь вопиют и зывают к имеющим уши слышать. Я спрашиваю себя: почему чистая непосредственность народа невольно тянется к этим праведникам? Почему у них находит себе народ и утешение в немой скорби, и радость прощения, и красоту небесного праздника? Не обольщаюсь я. Знаю твердо, что зажег я себе не более, как лучинку или копеечную свечечку желтого воска. Но и это, дрожащее в непривычных руках, пламешко мириадами отблесков заискрилось в сокровищнице св. Церкви. Многими веками, изо дня в день, собиралось это сокровище, самоцветный камень за камнем, золотая кружинка за кружинкою, червонец за червонцем. Как благоуханная роса на руно, как небесная манна, выпадала здесь благодатная сила богоозаренной души. Как лучшие жемчужины ссыпались сюда слезы чистых сердец. Небо, как и земля, многими веками делало тут свои вклады. Затаеннейшие чаяния, сокровеннейшие порывы к бого-употреблению, — лазурные, после бурь наступающие минуты ангельской чистоты, радости бого-общения и святыи муки острого раскаяния, благоухание молитвы и тихая тоска по небу, вечное искание и вечное обретение, бездонно-глубокие прозрения в вечность и детская умирность души, благоговение и любовь, любовь без конца... Текли века, а это все пребывало и накапливалось...»

Вот, господа атеисты и позитивисты, господа политики, социалисты, — «коллектив», говоря вашим языком, какого вам никогда не удастся *накопить*, ибо сами вы строите и разрушаете, вечно строите и каждую минуту разрушаете. Все, все, о чем вы мечтаете или мечтали в лучшие свои минуты, уже *содержится*, уже есть в том удивительном здании или, вернее, в том удивительном «сокровище», говоря языком Флоренского, которое именуется «церковью». Это уже не *мечта*, это уже не *ожидание* или *требование*, а это — *есть*, «накоплено». Что накоплено? Чем накоплено? Трудом целого человечества в удивительной работе

души и тела, массы и личности, но куда отлагались только «лепестки роз», а тернии откидывались. «Церковь» есть сокровищница «святого», а «святое» — это ум, но не один ум, это — сердце, но не одно сердце; это — судьба человеческая в ее трагические и героические минуты. *Чего тут нет? Все — есть.* Но исключено все худое, грешное: исключено, однако, не по фарисейскому принципу «чистоты» и «мы одни избранны», а исключено после героической борьбы против зла, всяческой черни, всего гадкого. Церковь — венец тысячелетней, героической борьбы; венец и победа. Вот почему попытки расхищать эти сокровища, ломить это здание — так ужасны; ужасно и отвратительно само непонимание его. Когда говорят «цивилизация» — надо слышать ухом: «церковь»; когда говорят «культура» — опять же надо переделывать в ухе: «церковь». До такой степени «церковь» есть конкретное, личное имя и «цивилизации» и «культуры», ибо около нее все остальное в «культуре» и «цивилизации» так мелко, ничтожно, обыкновенно и не чудно. *Чудное* в цивилизации, *трудное* в ней, истинное *благое* — именно церковное и церковное... И чтобы сказать это — даже не нужно (если бы, по несчастию, не случилось) *самому* быть церковником: это видно *со стороны* и *глазом*, конечно если глаз умеет «различать», если это не есть оловянный глаз Конта или Спенсера...

«Церковность — вот имя тому пристанищу,— продолжает автор,— где умиряется тревога сердца, где умиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум. Пусть ни я, ни другой кто не мог, не может и, конечно, не сможет определить, что есть церковность! Пусть пытающиеся сделать это оспаривают друг друга и взаимно отрицают формулу церковности! Самая эта неопределимость церковности, ее неуловимость для логических терминов, ее несказуемость — не доказывает ли, что церковность это жизнь, особая, новая жизнь, данная человеком, но, подобно всякой жизни, недоступная рассудку?..»

Обходя католическую и протестантскую формулы «церковности», абсолют «иерархии» у первой и абсолют «научности» у второй,— П. А. Флоренский переходит к православию и говорит: «в нем нет *понятия* церковности, но есть *сама она*,— и для всякого живого члена церкви жизнь церковная есть самое определенное и осязательное, что знает он. Но жизнь церковная усваивается и постигается лишь жизненно,— не в отвлеченности, не рассудочно. Если уж надо применять к ней какие-нибудь понятия, то ближе всего сюда подойдут понятия не юридические (в римской церкви) и не археологические (в лютеранстве,— попытка восстановить первоначальную церковь), а понятия *биологические* и *эстетические*. Что такое церковность? Это — новая жизнь, жизнь в Духе. Каков же критерий правильности этой жизни? Красота. Да, есть особая красота, духовная, и она, не уловимая для логических формул, есть в то же время единственный верный путь к определению, что православно и что нет. Знатоки этой красоты — старцы духовные, мастера «художества из художеств», как святые отцы называют аскетику.

Старцы духовные, так сказать, «набили руку» в распознавании доброкачественности духовной жизни. Вкус православный, православное обличье чувствуется, но оно не подлежит арифметическому учету; православие показуется, но не доказывается. Вот почему для всякого, желающего понять православие, есть только *один* способ,— прямой опыт православный. Рассказывают, что плавать теперь за границей учатся на приборах,— лежа на полу; точно так же можно стать католиком или протестантом по книгам, нисколько не соприкасаясь с жизнью,— в кабинете своем. Но чтобы стать православным, надо окунуться разом в самую стихию православия, зажить православно,— и нет иного пути».

Эти слова, как «критерий биологический и эстетический» в религии, этот призыв — «зажить по-православному», чтобы проверить и оценить все, поразят новостью каждого, кто привык читать богословские книги, с их бесконечными умствованиями, длинными выкладками, бесконечными цитатами и текстами.

В 13 «Письмах к другу» П. А. Флоренский рассматривает, в лирическом и личном обращении, темы:

Два мира.
Сомнение.
Триединство.
Свет истины.
Утешитель.
Противоречие.
Грех.
Геенна.
Тварь.
София.
Дружба.
Ревность.

И в обширных приложениях:

- 1) Некоторые понятия из учения о бесконечности.
- 2) Задача Кэрроля и вопрос о догмате.
- 3) Иррациональность в математике и догмате.
- 4) Понятие тождества в схоластической философии.
- 5) Понятие тождества в математической логике.
- 6) Время и Рок.
- 7) Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия.
- 8) Икона Благовещения с космическою символикою.
- 9) К методологии исторической критики.
- 10) Бирюзовое окружение на иконах Софии Премудрости Божией и символика голубого и синего цвета.
- 11) «Амулет» Паскаля.
- 12) К истории термина «антиномия».
- 13) Эстетизм и религия.

14) Гомотипия в устройстве человеческого тела.

15) О троичности.

16) Основные знаки и простейшие формулы логики.

Окинув глазом, читатель сразу же видит из этого перечня, насколько автору одинаково близки и, так сказать, сродственны мир спиритуалистический и физический, вопросы благочестия и вопросы математики. Мы дали читателю образчик из его мышления религиозного. Дадим из «Заметок о Троичности» образчик суждения научного:

«*Числа* вообще оказываются невыводимыми ни из чего другого, и все попытки на такую дедукцию терпят решительное крушение... Число выводимо лишь из числа же,— не иначе. А так как глубочайшая характеристика *сущностей* связана именно с *числами*, то сам собою напрашивается пифагоровско-платоновский вывод, что *числа суть основные, за-эмпирические корни вещей*,— своего рода *вещи в себе*. В этом смысле опять-таки напрашивается вывод, что *вещи*, в известном смысле, *суть явления абсолютных трансцендентных чисел*. Но, не вдаваясь в эти сложные и тонкие вопросы, мы скажем только, что число *три*, в нашем разуме характеризующее безусловность Божества, свойственно всему, что обладает самозаклученностью,— присуще заключенным в себе видам бытия. Положительно, число *три* являет себя всюду, как *какая-то основная категория жизни и мышления*» (стр. 595).

И он указывает, что, напр.:

в *пространстве* это — длина, ширина и высота.

Во *времени* — прошедшее, настоящее, будущее.

В *грамматике* — три лица: *я, ты, он*.

В *семье* — отец, мать, ребенок.

В *личности* — ум, чувство, воля.

В *литургии* — троекратное повторение обрядов, троекратное возгласение призываний.

И заключает отсюда:

«Итак, никто не сказал, почему божественных ипостасей три, а не иное число. Не случайность этого числа, внутренняя разумность его чувствуется в душе, но нет слов, чтобы выразить свое чувство. Во всяком случае, бесчисленные попытки дедуцировать три-ипостасность Божества мы не можем признать удачными. Утешением и назиданием философам да послужит же то, что даже числа измерений пространства, подразделений времени, лиц грамматики, членов первичной семьи, слоев жизнедеятельности человеческой, координат психики и т. д., и т. д.,— они тоже не дедуцировали и даже не объяснили его смысла. Мало того. Чувствуется, что есть какая-то глубокая связь между всеми этими троичностями, но какая — это вечно бежит от понимания, именно в тот момент, когда хочешь почти найденную связь пригвоздить словом».

Читатель видит из приведенного образца, что автор, указующий путь к «церковным старцам» на монастырской завалинке, не «дурак»

и в математике. Он сковал крепкую книжку: и сколько бы собак ни грызло ее, они оборвут «конец штанины» у автора и не затронут его сюртука или рясы (он — священник). В Москве, кажется, она производит впечатление. Художник М. В. Нестеров прислал мне повестку на заседание Религиозно-Философского общества в память Влад. Соловьева, где значится докладом чтение князя Е. Н. Трубецкого — именно об этой книге, под заглавием: «Свет Фаворский и преображение ума. По поводу книги П. А. Флоренского — «Столп и утверждение истины». На повестке обозначены и оппоненты чтению, всего 12, из них известны всей России: С. Н. Булгаков, С. Н. Дурылин, Вячеслав Иванов, Г. А. Рачинский, И. И. Фудель. Желательно, чтобы кто-нибудь доставил в Петербург обстоятельный отчет о прениях.

Во всяком случае славянофильство приехало на какую-то многозначительную станцию.

Споры около имени Белинского

Горячий спор вокруг имени Белинского, — вокруг имени и репутации его моральной эстетической, умственной, всяческой... Уже зимой этого года, от приехавших из Москвы друзей, я слышал о том чрезвычайном волнении, какое происходит в московских аудиториях (университета и женских курсов) по поводу выступления против Белинского известного московского критика и историка русской литературы г. Айхенвальда. На резкие нападения г. Айхенвальд ответил книгой, только что выпущенной им — «Спор о Белинском», где он, так сказать, с документами в руках, подтверждает свои тезисы. И вот сейчас я читаю в московских газетах новые ожесточенные нападения на эту книгу проф. Сакулина и известного г. Иванова-Разумника.

Не скрою, что когда еще зимою я услышал об этих спорах, — будто бы ведущихся с крайним ожесточением, — в душе у меня поднялось что-то гадкое и дурное, точно я нечаянно выпил уксуса и не знаю, что с этим сделать. — «Ах, все это *правильно*, но всего этого *правильного не следовало говорить*»... Поднялась «неприятная история в русской литературе», которой «поднимать не следовало»...

Дам маленький факт, который, может быть, будет интересен обеим спорящим сторонам: в мою пору лекции по истории русской литературы в Московском университете читали Ф. И. Буслаев и Н. С. Тихонравов, — два ума европейского чекана, европейского закала. Едва ли нужно говорить, что эти два ума если не вполне, то в значительной степени создали *науку истории русской литературы*. Т. е. не кое-какие «мнения» и не кое-какие «компиляции» в этой области, всегда наполнявшие и всегда волновавшие нашу журналистику, — а они бросили из ума своего,

знакомому с историческим освещением всех литератур Запада, огромный свет на происхождение и на историю русской словесности, устной, письменной, древней и новой. И вот, ни у Буслаева, ни у Тихонравова я никогда не слыхал даже упоминания имени Белинского.

Не удивительно ли?

Факт. Его могут засвидетельствовать все, слушавшие одновременно со мною лекции в Московском университете.

Причем ни у Тихонравова, ни у Буслаева никакой не было враждебности или даже неприязненности к Белинскому. Они его не упоминали, потому что в этом не было никакой необходимости, никакой нужды! «В ходе преподавания» им «не приходилось» его упомянуть, потому что все его взгляды и теории были «не нужны» для объяснения истории и вообще фактов истории русской литературы.

Вполне удивительно. Когда я спрашиваю себя, каким образом это могло произойти, то на ходу объяснение в *единственном* и притом *скользящем* упоминании не то Буслаевым, не то Тихонравовым имени Белинского: один или другой из них сказал, что, кроме господствующего теперь *исторического метода* в изучении явлений литературы, «был еще господствовавший в 40-х годах *метод эстетический*, представителем которого был тогда Белинский». И больше — ничего. Ни — развития, ни — подробностей. В словах профессора звучал этот смысл: «все это — наивности и пустословие», — которое «оставлено, как вчерашний день науки».

И действительно: перед громадой *исторического освещения* фактов словесного творчества являлись каким-то несчастным лепетом «эстетические оценки» тех же фактов, просто — по бессодержательности, просто — по ненужности; просто — по безынтересности.

И после университета, учителем и прочее, мне было просто скучно читать Белинского, и скучно читать о Белинском, и скучно — разговаривать о Белинском. «Нет содержания. Нет хлеба. Не нужно».

А вражды — никакой.

* * *

«Прости, прекрасное прошлое. Мы ушли от тебя». Вот отношение. Теперь слушайте же другие воспоминания.

* * *

В третьем классе гимназии, оставленный «на второй год», я плохо учился. Латынь и прочее. И был у меня репетитор, приснопамятный Алексей Николаевич Николаев, светлую память коего я храню до сих пор, ибо он, кажется, всему доброму меня научил, — всему светлому и идейному. Жил я в доме его матери, и, следовательно, он не то что «давал мне уроки», а жил и занимался со мною. Тогда имен я не знал, а теперь знаю, — и знаю, что он был «народник и теоретический социалист». Он был учеником VII класса гимназии (тогда гимназии были

семиклассные, а не восьмиклассные, как теперь). Как сейчас помню его золотистые, чуть-чуть выющиеся волосы,— мягкое, влекущее к себе обращение, с «уклончивостью» от старших, от родителей, от начальства. И этот общий тон его духа: — «Эх, что делать,— надо терпеть. Всего говорить — не приходится. Но — времена переменчивы». И как будто он брал тебя руками — и куда-то уносил в «переменчивые времена». Ни гимназия, ни университет, никакая наука и никакая серьезность не заменили и не могли заменить того вдохновения, какое он давал «собою» и «из себя». Готовился он (тогдашний дух эпохи), конечно,— в медики, и, конечно,— в реалисты, «быть около народа» и «помогать народу». Это было в Симбирске, в 1872—1874 годах, а там — благотельно была основана «Карамзинская библиотека», с бесплатным отпуском всем жителям книг на дом, при взносе трехрублевого залога. Весь город брал книги и весь город действительно просвещался из этой библиотеки, кажется,— прекрасно организованной и поставленной. Вот, однажды, он приходит и, бросая книгу на мой столик, говорит: «Вот, что, Вася,— ты все романы читаешь,— а пора тебе и за серьезное приниматься. Прочти тут *Литературные мечтания*».

...Годы (меня поздно отдали в гимназию) — 15 лет. А каждому понятно, что такое 15 лет. Уже «17 лет» — совсем другое; и «14 лет» — тоже другое. 15-й год в жизни переживается только один раз,— и счастлив тот, у кого именно этот год переживается хорошо... Едва я раскрыл книгу, как необыкновенная живость и свежесть мысли,— язык огненный, смелый, «вступающий в борьбу со всем»,— ну, в борьбу с тогдашним, Белинского, миром, но которую я сейчас же перенес мысленно на свое время, ибо времени Белинского вовсе и не знал,— все это до того «схватило и увлекло меня», что, зная, что нельзя держать дольше двух недель библиотечных книг, и чувствуя невозможность расстаться «с таким мыслителем, как Белинский», я стал немедленно же переписывать «Литературные мечтания» себе в собственность, т. е. себе в тетрадь...

Что увлекало? Мысли ли? О, конечно, и — мысли. «Все так неопровержимо». Теперь-то я вижу, однако, что, конечно, не «мысли», которых проверить я и не имел никаких средств в свои 15 лет и с опытом трех классов гимназии: а увлекло собственное рождение в себе другой души, новой и лучезарной, которой восприемником и акушером был Белинский, так гармонично сливавшийся с моим чудным репетитором. Что же это был за мир и новая душа? В чем суть? По «закоулочкам» нашей жизни вообще много грязнотцы, много мелкого, грубого, и отчасти определенного злого и черного. И — гимназия, и — быт. Но, пожалуй, более чем «злого» — много слишком обыкновенного, вульгарного, мешанского, низменного. Да, в самом деле, оглянемся: в средние века *строились*, т. е. были «насушным *теперь*», готические кафедралы, с чудесами вымысла в них, фантазии и необыкновенного: были рыцари и «оруженосцы» около них, которыми, естественно, так хотелось бы быть

гимназисту; были — турниры; были — замки и вечные войны около них. Все было *красиво и нарядно, опасно и занимательно*. Что же такое «XIX-й» век и что он дает мальчику и девушке? Гимназия, уроки, долбёж, учителя, т. е. чиновники. Кругом — *мещанская жизнь, т. е. служба и жалованье*. И так все это серо, так все это (идейно) дождливо, облачно, безнадежно, тускло, что всякий, кто сколько-нибудь одарен воображением и сердцем, — делает величайшие усилия прорвать этот тоскливый «дождь» обстановки и души и открыть путь к какой-нибудь *дали*, к чему-нибудь «бесконечному», к чему-нибудь более узорному, красочному и занимательному. Повторяю: возьмем ли мы эпоху великих королей и королевских войн, эпоху революции, эпоху реформации, эпоху средних веков — везде мы найдем нечто питающее воображение и сердце юноши; но в наше время, «такое серьезное и педагогическое», мы — ничего этого не найдем. Великая сродность нашего времени с социализмом, сродность с ним слоев населения, погруженных в самый безнадежный серый труд, — как я думаю, объясняется не столько реальным расчетом «покончить с печальной действительностью», сколько этим романтическим переносом в «будущее» тех узоров и красок, без которых решительно не может обходиться душа человеческая. Социализм — роман будущего, вот в чем секрет. А без «романа» человек не может жить. Без «романа» в религии, без романа — в быте, в чем-нибудь. Позвольте, «даль» — всегда нужна человеку. «Безбрежность» — нужна ему. Какая же, черт возьми, «безбрежность» в буржуазной жизни и в переговорах дипломатов соседних стран?! Что «мне» — до них! А жить, *мечтать и творить*, хочется каждому «мне». И каждое «я», чем больше оно угнетено, чем больше оно сжато, задушено и оскорблено своею «норкой» — пытается вырваться из нее «вдаль», которая обобщенно получила имя «социализма». Пусть это — фантазия, но она — необходима. Как для средних веков — схоластические споры, для Греков — метафизика Платона, для Рима — «власть над миром». Вот. Ну, хорошо. Вернемся же к Белинскому. Он расторгал этот «дождь действительности», «дождь будней», исторических будней, и всякую душу вводил в необозримый мир, который можно назвать обобщенно «идейностью»...

Правда, он занимался только «критикой». Но ведь в России под критикой всегда разумеется «черт знает что». Разумелось — «решительно все». И потому, что у нас всегда была критика «по поводу»... Ну, а «по поводу» можно наговорить и политики, и социологии, и философии, и «родителей осудить», и «церковь задернуть»...

«По поводу» — это и прошедшее и будущее, это — вперед и назад, и везде «по сторонам».

Так «русские критики» были всегда в сущности «русскими философами». Немного «кустарными», но это ничего. Ведь Россия вообще дает впервые «историю» восточной половине Европы, и тут естественно все — «кустари», работают «своими средствами» и «на свой риск».

На Западе надо ссылаться на средние века, средние века ссылались на римлян, как римляне ссылались на греков. Ибо там — исторические пласты, исторические слои, многочисленные этажи одного и того же здания. А Россия есть просто «фундамент» Восточной Европы: и потом будут ссылаться на «опыт и мнения русских», а русским-то на что же сослаться? «Строим впервые» и на девственной почве.

Поэтому «русская критика» есть в то же время «русская философия», и — политика, и — социология. У нас «критика» — совсем не то, что в Германии, в Англии, во Франции. И не может быть *этим*. Там, в сложных напластываниях цивилизации, есть «разделение труда». У нас мужик «все сам работает», а критик — «за всех один думает». Вот откуда вытекло наше «по поводу»... Это и не каприз и не случайность. Это отнюдь не произвол...

Ну, хорошо. Перехожу далее и именно к Белинскому. У русских Белинский был то же, что у греков Фалес,— муж «во всем ошибавшийся», но — «первый». Как Фалес устранил эмпирическое созерцание действительности и начал *первый* искать каких-то современникам его непонятных «элементов всех вещей», «*первых начал* всего сущего», так у нас Белинский «отстранил действительный дождь» северных холодных стран, северных неинтересных стран,— и пошел искать «иногo голубого неба». Определенные: живым и деятельным своим умом, умом закругленным и (по *темам*) универсальным, он стал «критически изучать» все вещи, изучать их «по поводу»,— пытая об их «основательности», разумности и благодати. Вот *чем* была его критика, столь не похожая на германскую, английскую и французскую с тамошним «разделением» труда, и вот откуда «критика» его получила такой волнующий и возбуждающий и воспитательный характер. Скажите, пожалуйста, он будто бы «неверно оценил Пушкина» (для примера); пусть так, но он — «научил нас добру»! Он «менялся» (тезис г. Айхенвальда): да, и научать каждого *бросать сейчас же все*, что оказалось бы ложным! Вообще, у него был, у Белинского был, какой-то *метод нравственного воспитания*,— совершенно безотчетно ему врожденный, и вот этим-то методом он и брал. Ведь и про Гегеля говорят, что у него только «метод», а не истины. Нечто подобное, но только в другой сфере, и, пожалуй, в сфере широчайшей — было у Белинского. Как-то необъяснимо в своем лице, в своем способе относиться ко всем вещам, первоначально — к вещам «литературным», а потом и «вообще», «по поводу»,— он дал какой-то «моральный канон» русскому человеку, русскому уму, русскому сердцу, русскому характеру... Он положительно «наложил свой образ» на «всех нас», и с тех пор и до настоящего времени, почти до нашего времени, мы все имеем в душе, в методах мыслить и относиться к реальному миру, «нечто от Белинского»...

Это длилось полвека...

Ну, а за «Фалесом» пришел Анаксимандр, были или будут Пифагор, Платон и прочее. Но Фалес — первый, и везде во всякой истории

философии *первым* назовут «Фалеса», — «который, впрочем, во всем ошибался» и «был еще слишком наивен». Здесь явно «ошибки» ничего не значат, ввиду метода, и именно «метод души», как я назвал. «Канон нравственного суждения», «канон русского суждения». Тут есть и «русская бесшабашность», и «русская торопливость», и «русская горячность», и «русская правда»; «русский талант на все», русский «вкус во всем». Ведь, как мало учился Белинский: выгнали из университета! А, позвольте, — на *что* он не дал отклика, отзыва, о *чем* он не высказал своего горячего взгляда, часто *первого* (в русском мышлении) взгляда. Белинский — это энциклопедия; энциклопедия мыслей, идей, взглядов, оценок, слов... Да, господа: даже и «слово» должно было родиться, и *его* кто-то родил. Белинский и был таким человеком на Руси, который «родил слова на все», «родил слова обо всем»; и если Айхенвальд и многие другие называют его «фразером», то я отвечу, что «надо родить и *фразу*», особенно в России, в русской-то первобытности, в русском-то все еще «первом этаже». Да, «фразерства» много у Белинского, — горячего, хорошего фразерства, с румянцем на щеках, с румянцем начинающейся чахотки... Это-то всегда надо помнить. Русский «патриот» пошел от Карамзина, певец — от Пушкина, ученый — от Ломоносова. Но от Белинского пошел кто-то еще важнейший, еще более первоначальный и еще более обобщенный: русский «идейный человек», горячий, волнующийся, спешащий, ошибающийся, отрекающийся от себя и вновь и вновь ищущий истины...

Ищущий — *лучшего*...

Ищущий — *другого, чем что есть*...

Не от Грановского, который был только *историк*, не от Герцена, который был только *политик*, и вообще ни от кого другого, а именно от *одного* Белинского, пошел этот тип немножко «вечного странника» и «бездомного скитальца» на Руси, который ищет в неопределенных и безбрежных чертах чего-то «лучшего, чего *еще нет*», и «правды, которая *не осуществлена*». Могло бы и не быть такой фигуры в начале нашей истории. В Германии, в Англии, во Франции решительно такой фигуры не было, с ее прекрасным «не удалось», с ее бесконечным «все еще — *нет*», с ее неуловимым — «иду и *не нашел*»... Прекрасны именно неудачи Белинского, прекрасно, что он не был очень образован и, особенно, твердо образован. Прекрасно, что он был иносказательно горбат и некрасив. Ах, эти «красавцы», «неошибающиеся красавцы»: надоели они, скучно с ними! Пусть нас ведет вдаль именно слабый, именно заблуждающийся Белинский, с запасом огня и неустанности, какой в нас не хватает...

Причем все мрачные слова о нем, какие сказал, например, кн. Вяземский (приведены у Айхенвальда), какие сказал Достоевский, какие (по воспоминаниям Брюсова) говорил приснопамятный Бартенев, издатель «Русского Архива», — пожалуй, верны, да и, конечно, верны. Белинский все-таки был с чахоткой, что для литератора, конечно, качество,

но для домохозяина — болезнь, неудача и убыток. Белинский выразил страстно и мучительно и прекрасно «искательную», «ищущую», «блуждающую» и «скитальческую» часть человеческого образования и человеческой судьбы; но он совершенно не выразил, а до известной степени и отвергнул вторую и столь же важную половину человеческой истории и задачи: строить, созидать, класть методически камень за камень *в дом*. Для Белинского не было «дома», а только «квартиры» и «квартирки». Даже — «чердачки». Белинский основал русскую мечту; но он же основал и русский нигилизм. Он совершенно столько же заслужил благословения, сколько заслужил и проклятия: увы, судьба и венец вообще множества замечательных личностей. Он испортил в значительной части «хозяйственную сторону» русской работы, — и за это-то Бартенев, так любивший русскую положительную историю, его называл не иначе, как ругательным именем. Господа: но не судьба ли это вообще людей, что они все бывают «односторонни», а Господь для исправления этого и посылает нам «многих». Будем страстно *созидать*, страстно *благословлять* свое прошлое, страстно верить в *определенный завтрашний день* и исполнять стойко *работу на сегодняшний день*: вот чем, а не мечтательными порицаниями (у Айхенвальда) мы исправим односторонность Белинского и выровняем свой исторический корабль, который действительно накренил в одну сторону Белинский...

Но отнимать его имя у России?... Россия заплачет. Да и не надо вовсе. Кто же бранит свою старую няню, хотя и беззубую. А Белинский был для нас всех няней. Он нас всех спас, и не раз, от отчаяния. Знаете ли, господа, что без Белинского было бы гораздо больше самоубийств на Руси, и главное — они появились бы гораздо раньше. Он нас спасал от отчаяния в самые страшные минуты, всегда говорил, что есть еще «впереди». Спасал в самые юные, в самые хрупкие годы. Есть сотни и тысячи, я думаю — десятки тысяч русских людей, которые *всем* обязаны Белинскому; и едва ли есть кто, кто был бы *ничем* ему не обязан. Даже Достоевский: как он был обязан Белинскому, хотя потом и проклинал его. Это очень символично, показательно и, так сказать, «пророчесвенно» для будущего, говоря языком Достоевского же. Действительно, всю жизнь идти за Белинским положительно «смердно» (так отозвался о Белинском Достоевский); становится каким-то фразерством и политической риторикой, социологической риторикой — отвергать «сегодняшний день» во имя «завтра» и «работу» во имя «мечты». Есть чахотка изнурительная, и такова «чахотка Белинского» (т. е. навеваемая им, по его примеру, и образцу), если ему предаваться слишком. Вообще «Фалес прошел» и «от Фалеса надо уходить». Но — «да будет имя Фалеса благословенно».

Вот мне кажется, что надо иметь в виду и что об этом деле надо сказать *окончательно*. Айхенвальд прав — Айхенвальд не прав, Иванов-Разумник не прав — Иванов-Разумник прав. «А надо всеми Бог, и да живет наша Русь».

Белинский и Достоевский

Гораздо раньше г. Айхенвальда в истории русской критики и, общее, в русской литературе указывалась крайняя недостаточность Белинского. Указывали на его общую незрелость, утомительную молодость, соединенную с крайним сомнением и уверенностью тона. Страхов, Аполлон Григорьев, Юр. Николаев (псевдоним Говорухи-Отрока), в особенности — Достоевский говорили раньше Айхенвальда то же, что сказал Айхенвальд. Да и вообще это было «общее место» в суждениях серьезных людей, что Белинский — совершенно недостаточный ум, что говорить о *глубине* Белинского — как-то странно... Отчего же только теперь, когда «сказал и Айхенвальд», вдруг поднялась вся печать и статьям «О Белинском и Айхенвальде» нет конца... Нужно говорить «Достоевский и Белинский», «Толстой и Белинский» — и совершенно нет нужды сопоставлять: «Белинский и Айхенвальд». Нужно брать соизмеримые, равнозначные величины и силы, нужно брать действительные соперничества в идейном и духовном мире. Потому что «за Достоевского» и «за Толстого» упор, конечно, так же велик, как «за Белинского». Тут должен каждый что-то решить в уме своем. Тут должен каждый что-то решить в сердце своем. Тема эта действительно стоит в нашем обществе и литературе, — не решенная, лениво обходимая. За нее надо взяться и преодолеть ее.

Вот что пишет г. Иванов-Разумник в фельетоне «Русских Ведомостей», разбирая книгу Айхенвальда «Споры о Белинском»:

«После этого чему же удивляться, если этот «адвокат дьявола», как он сам себя называет, приводит даже известные слова Достоевского: «Белинский есть самое смрадное, *тупое* и позорное явление русской жизни». Он не понимает, этот адвокат дьявола, что слова эти позорны не для Белинского, а для Достоевского. Он не понимает, что *отрицательные суждения Л. Толстого о Белинском* характерны и интересны не для нашего понимания Белинского, а для нашего суждения о Толстом. Достоевский и Толстой — такие громадные величины, что на них никому «адвокату дьявола» взобраться нельзя»... И т. д.

В выписке я подчеркнул некоторые слова, которые меня поразили и заставили глубоко задуматься. При всем понимании и сочувствии, «что такое Белинский», я думаю — слова эти правы; и особенно разительно, что столь живого, искрящегося словом человека, столь деятельного и подвижного в мыслях, как Белинский, Достоевский вдруг и неожиданно называет «тупым». Но великая разгадка дела заключается именно в *этом*.

Страшная и смертная часть Белинского заключается именно в недостаточной даже для его времени *остроте* глаза, *остроте восприимчивости* вообще и в недостатке *остроты* ума и вкуса... Было в Белинском

что-то подслеповатое, близорукое; как будто несколько золотушное. Прекрасное и пылкое дитя,— он недаром был недолговечен, недаром носил задатки чахотки, т. е. *хилой* болезни. Г. Айхенвальд, желая защититься от нападений на себя, ссылается еще на следующие слова князя Вяземского:

«Приверженец и поклонник Белинского в глазах моих человек отпетый, и просто сказать — дурак».

Это говорит Вяземский. К гневу Иванова-Разумника, Айхенвальд предупредительно говорит читателям своей книги о Белинском, что кн. Вяземский был «человек яркого *ума*, талантливый, независимый и *оригинальный*».

«Следовать за Белинским может только *отпетый дурак*» — в этих словах Вяземского, сказанных в частном письме, есть что-то *общее* с указанием на «тупость», какое сделал Достоевский тоже в частном письме (к Н. Н. Страхову) отнюдь не для печати. «Не для печати», «в частных письмах» — значит уж во всяком случае не для ниспровержения авторитета, не для умаления имени, не для полемики с какими-нибудь частными взглядами Белинского или с людьми его школы и партии. Очевидно, это — чистосердечное «свое мнение» у обоих русских людей, к одному из которых Айхенвальд так метко применяет слова: «независимый» и «оригинальный». Вот чего тоже не было у Белинского: *оригинальности*! Он был слишком «вообще образованный русский человек», прототип «образованности» у русских: но — без *оригинальности* в характере, в уме, во «всем»... И отсюда, как уже следствие,— Белинский был глубоко «зависимый» человек, зависимый от друзей своих, от их взглядов, мнений, от их философских, социальных и политических убеждений... Это — общеизвестно.

Поразительно, что из *слабостей* человеческих иногда проистекают огромные положительные результаты,— иначе даже и не осуществимые. Это не в одном русском случае и не с одним Белинским. Самый знаменитый случай этого — Лютер, монах прямой, честный, стойкий, но несомненно грубый или грубоватый, не только в характере, но и умственно. В нем не было гения и стиля Кальвина, весь он был проще и обыкновеннее. Весь был — понятнее, усвоимее. И через это он покориł себе колоссальную Германию и есть настоящий основатель реформации, тогда как Кальвин имеет себе только уголки Швейцарии и Франции. Перейдем к Белинскому. Давно мне хочется сказать, что Белинский есть более, чем человек, он есть явление. У нас, у русских, у которых не было реформации и настоящей революции, не было идейно-политических движений и переворотов, слишком уж мало вложено в историю бродильного идейного начала,— и вот Белинский несколько возмещает этот недостаток. Он есть «явление» — не как только критик и журналист, не как только писатель и мыслитель, а как личность и вообще «целое»... С непререкаемой чахоткой, с непререкаемой особливой своей судьбой, заданностью, бедностью, с эксплуатацией его сил и таланта Краевским

и Некрасовым. Все это — «непременное», все это входит в его миниатюрную, своеобразную у русских, «реформацию». Он есть основатель литературного и идейного скитальчества и бродяжничества на Руси, русских «умственных неудач и исканий», — фигуры томительной, несчастной, не останавливающейся и отмщающей. «Муза мести и печали» Некрасова не была бы услышана и понята, если бы для всей России из-за «ловкой фигуры» Некрасова не высывалась тощая фигура Белинского, которому было действительно за что «мстить» и на что «гневаться». Все 60-е годы необъяснимы без Белинского. Белинский основывает линию и традицию общественного негодования и общественного отмщения, которая к нашему времени сделалась омерзительной, но лет тридцать после Белинского была воистину прекрасной. Никто ничего подобного не сделал, ни Грановский, ни Герцен, ни Карамзин, ни даже Пушкин. Пушкин *стольких* не воспитал, как Белинский; Пушкин был слишком для этого зрел и умен. «Нужен был человек попроще», нужен был человек настолько обыкновенный, чтобы у него мог учиться и Родичев, и Кутлер, и вообще наши «общественные деятели» и «тверские депутаты». Вот в это и вдуваемся. Белинского невозможно отделять от «последствий Белинского»... Гениальным взглядом Достоевский прозрел далеко *будущее* и назвал не столько *лично* Белинского, сколько «последствия Белинского» чем-то «смердным и тупым». Да и в самом деле, чтобы выйти в учителя Родичева, конечно, сам учитель должен быть несколько ограниченным, наивным и в конце концов даже тупым. Так это и было. При необыкновенной живости, при кажущейся почти гениальности Белинский был несколько туп... И притом — не умственно, а *всею натурою своею*. Подслеповат, патологичен и не остер.

Есть в зоологии какая-то порода «не-полнозубых». Удивительное название. У всех животных полные зубы: коренные, резцы, клыки. Но есть какие-то «не-полнозубые», должно быть, с одними клыками или с одними резцами. Тогда они не могут жевать, пережевывать. Грызут и грызут. Или — кусают и кусают. Специальность призвания и односторонность натуры. Белинский и был подобным существом, но — обобщеннее и страшнее, обобщеннее и опаснее. Он страдал *неполноприродностью*, он был *неполно-природный человек*. Так как я объясняю очень важную вещь, то не стану стесняться в названиях и употребляю дарвиновский термин «ублюдок», «неправильно рожденный человек», «с недостатком, выходящим в специальность» (например, турманы в породе голубиных). Отсюда и произошло главное в Белинском, главная историческая в нем черта — скитальчество, неудачничество, неумение устроиться вообще жить; увы, — неумение и что-нибудь около себя строить, из себя строить. Какое-то космическое, мировое, историческое нищенство. Все это страшно важно и сыграло колоссальную историческую роль, но нельзя не сказать — роль мучительную, страдальческую и опасную. Нищим хорошо «случиться», но если так *жить* — то выйдет что-то дьявольское. Вот эту-то дьявольскую сторону «нищенства» Бе-

линский и придал русским идейным скитаниям, русскому венцу и унижению, бесплодности и вечности.

«Турман! Турман! Все кувыркается» — это русский нигилизм. Это русские коммуны 60-х годов, Чернышевский, Глеб Успенский, «народники», хождения в народ.

«Полетит и перевернется в воздухе. Как мечта». Это — страдающий русский человек, «чем он ни был и как ни перевертывался». Прекрасно, мучительно, но и таково, что в конце концов возьмешь палку. «Позвольте, не может же Россия кувыркаться». Но нигилизм это требует; он говорит, что без этого нет «идеи».

«Нет идеального и идеализма», нет «русской праведности» — если не кувыркаться. Согласитесь сами, что кто родил такую мысль или, что вреднее и опаснее, такое *движение*, такое *чувство*, был в высшей степени роковым явлением. К этому-то и относятся слова Достоевского — «мрачное и тупое явление». «Наша реформация пошла криво»... «Все святые розы, святой крест, мученичество, терпение. Но нет каши, печи и возможности выпасться». Все куда-то «гонят», кто-то «гонит». «Караул: это не реформация, а разбой. Не страдальцы, а мошенники». К концу времен, к *нашему* времени, так и обернулось. «Нигилиста» и «идейного скитальца» не отличишь от «мошенника». «Революционеры» стали выходить в «провокаторы». «Спасители народа» — в тунеядцев и содержанцев.

А все — «турман»; все — ублюдок; все — «неполно-природный человек».

Чтобы объяснить и доказать это, всего лучше сравнить с Белинским Достоевского. Достоевский жил еще в теснейших, еще в ужаснейших жизненных тисках; он тоже был непрерывно болен; и наконец, он был за долги невольным изгнанником, беглецом с родины. Вдобавок ко всему имел мучительные страстишки, например играл в рулетку (его гениальный «Игрок», конечно, носит автобиографические черты). Вот бы уж казалось «странник», «нищий», «бездомный человек». Но «нищенство» у нас не в суме, а в душе. Достоевский во всей этой горючей обстановке, когда камни из-под ног вываливаются и человек не знает, «как завтра пройдет день», — был фундаментальнейший человек, настоящий «домохозяин». И вся его идейная борьба есть борьба за правильное русское домохозяйство. Отсюда его «Бесы», отсюда его «Дневник писателя». Отсюда его начальное, его «заповедное» — *не убий*, сказанное так велико и могуче в «Преступлении и наказании». Нет, по положительности строительства Достоевский не только стоит, но и выше Толстого с его «Войной и миром». Никто русскому человеку не дал столько «положительных, добрых заповедей» жизни. В чем же дело?

Достоевский был необыкновенно «*полно-природный* человек». Все зубы есть — «грызу, кусаю, жую». «И желудок, и все». Полный человек.

Посмотрите — у него семья. Как она вязвилась в него, и в первом даже браке, так измучившем его, — и во втором. Какие любящие письма,

любящие воспоминания о первой жене; сколько в конце концов «простой и православной» заботы о детях, о семейной нужде и прочее. Как это, наконец, перешло в *его идеи*, все их окрасило собою, просочило собою. Об этом неловко говорить, это слишком интимно для личности Достоевского: но кто *знает* Достоевского, тот увидит везде, что нити его идейности растут в огромном числе из чувства семьи (слова о «земле»: «целуй эту землю», «что есть Богородица? Мыслью так, что Богородица есть Мать-сыра-земля» и т. д.). Весь образ старца Зосимы — характерно *семейный* образ, отнюдь не аскетическо-монашеский. Таким образом, этот игрок на рулетке на самом деле есть «корневик» русской семьи. Что же такое семьянин-Белинский и как отразилось это в его идеях и писаниях? Смешно спрашивать. Белинский положил начало этим будущим интеллигентным семьям, где есть собственно со-дружество и со-работничество двух, есть любовь (не долгая), роман, идейные разговоры, идейная связь, — и никакого решительно «дома» и «семьи». Полу-женаты, как есть «не полнозубые». Какое-то полу-брачие, а не брак. Что-то «начавшееся», а не кончившееся. Отсюда глубокое непонимание и всегдашнее непонимание Белинским — *быта*, бытовой жизни, обыкновенной жизни, простой жизни, «нашей жизни». «Бродяга, а не сельчанин, — основатель исторического побродимства». «Жить не умею, а брожу. Стоять не могу, а все хожу». Движение. *Perpetuum mobile*. Историческая судьба и *fatum*. Следите же дальше. Горький гениально разъяснил происхождение слова «народ»: «род ложится на *род*, опять — на *род*, еще — на *род*: и бесчисленные пласты образуют народ». Отлично. Превосходно. Истинно. И без «столбика поколений» нет народа, т. е. без сильного *родового* в себе чувства — нельзя почувствовать и понять народа. Отсюда: Достоевский гениально понял народ русский, стал «народником», основал даже особенное понятие и ввел его в литературу: «почвенник», «почвенность». Это то же самое, что «Богородица есть Мать-сыра-земля». Вот его чувство. Чувство земли своей, земли русской — как священной. Вот откуда и у русских прозвище «Святая Русь». Это совершенно термин Достоевского, чувство его, понимание его. Т. е. Достоевский, человек XIX века, интеллигент XIX века, совершенно слился в ощущении Руси с древнейшими ее насельниками, жившими еще рядом с половцами и начавшими именовать свою землю «Святою Русью». Тут и православие, тут и язычество. И — христианская Божия Матерь, и — каменные бабы киевских времен. «Всего есть, всячинка», как вообще в быту. Ну, а Белинский? Да он естественно и вышел в социализм, в кооперацию, т. е. в характерно неродовое, в характерно антинародное, антинациональное, космополитическое чувство и представление истории и жизни. «Социализм был на роду написан» Белинскому, — он уже в колыбельку материнскую лег «социалистом», ибо для него «мать» была просто «кормилицею», а отеческий дом — «папашиной квартирой». Эти вещи всегда суть врожденные, с колыбельки, и «социалистами» люди так же рождаются, как поэтами.

как нищими, а с другой стороны, — как «домовиками», «семьеведами», «родичами». Куда же было деваться идейно и строительно Белинскому, как не в социализм? Ведь для него не было русского «род-народ», «народ». Отсюда — полное непонимание Белинским народной, простонародной жизни, деревенской жизни, сельской жизни. Для него были только «комнаты» и «разговоры». Отсюда — неприязнь к нему Толстого, вероятно, — удивление и антипатия. «Бог знает, что за человек: целого *бока* нет. Не чувствует коня в поле, коровы в коровнике, собаки на охоте. Только и чувствует своих студентов и профессоров, свою редакцию и свой журнал. Для него есть только читатели, а *людей* для него вовсе нет. Есть споры об эстетических оценках поэтов, о новых выходящих книгах, о философии Гегеля, о Николаевской железной дороге, на которую во время постройки он выходил посмотреть, как на отдел русского прогресса и на знак сближения нашего с Европой, отнюдь без удовольствия самому поехать и особенно выпить чайку в буфете. Никакого — быта, никакой — жизни. Теоретик и «мертвый человек». Вот вероятный приговор, вот вероятное ощущение творца «Войны и мира», «Детства и отрочества» и «Казаков».

Белинский был «Ученик» и «Учитель», и этим исчерпывалось его *существо*. Он был «вечный писатель статей», и только. Отсюда: совершенное отсутствие в нем чувства России, отсутствие чувства русской истории, кроме книжного (отнюдь не *делового*), кроме восторга перед преобразованиями Петра, и то лишь в смысле «окна в Европу», без интереса к тому, кто будет в него смотреть и что из этого смотрения выйдет. Отсюда какая-то бесплодность и риторичность самого его западничества; словом, отсюда «уже поглядывает в окошечко» Родичев и даже издали Винавер и Гессен. «Вся утробушка русская тут». Достоевский и сказал: «Смрад, тупость».

Так это есть. Его знаменитое «Письмо к Гоголю» есть бесприммерно глупое письмо. Человек из квартиры никуда не выходил, из редакции никогда не выходил — и судит о России. Мужика с бородой «лопатой» не видал и твердит, что у «русских нет никакой религии», что «деревня наша — атеистическая, а вовсе не православная и даже не христианская». Что России нужно не правительство, а — кооперация и не история, а — история русской кооперации. Что Отечественной войне никогда не нужно было быть, ибо это только помешало торжеству идей Жорж Занда и Сен-Симона. Все — турман, и все — кувыркается в воздухе: а кто полетит прямо — ему кажется «глупым, ненужным, негодным». Турман вообще из суждений своего «турманства» не может выйти, и Родичев никогда не поймет, что такое Родичев.

Еще несколько: Достоевский был вполне русский гражданин, просто и достойно — он был русский обыватель. Его письмо к генералу Радецкому, герою Шипки и товарищу по Инженерному училищу, — письмо именно русского обывателя, доброе русское письмо, отнюдь не «литературное». Как он волнуется осадю Плевны и даже сообщает читателям

«Дневника писателя» сведения об осадах крепостей, какие помнит из уроков Инженерного училища. Везде — забота, домашняя, хорошая. Россия для него «свой дом», дорогой, милый, вечный. Это не «квартирка», «неудобная и с клопами», как чувствуют социалистишки, увы — ученики Белинского, преемники его турманства. На Россию вековым образом нападает католицизм, она имеет дело и с протестантизмом: и ни один из русских богословов не дал такой гениальной оценки и такого могущественного разбора и отпора и католичеству, и лютеранству; никто не дал такого «утверждения православию», как он. Это — всем памятно. Это — поразительно. Он трудился, ежедневным тяжелым трудом трудился, как подлинный сын своей родины, с глубоким ей послушанием, с глубокою о ней заботою. Эта сторона еще не оценена у Достоевского, она пройдена читателями и критикою вскользь. Ею он заслужил памятника (пора подумать), и этот памятник будет — около Минина и Пожарского, ибо и он поистине жил в «пожарное» и «смутное» время и был великим воином Руси, защитником Руси; и именно *такое-то воззрение на себя*, т. е. оценка в нем «сына отчества своего», — и было бы, и будет для него всего дороже, избраннее.

Какая полнота! Какое строительство! Наконец, какая *радость* в строительстве! Я думаю, — есть глубокая радость быть «сыном», а не «господином». Белинский и вся линия его «традиции»; весь тон «господ Родичевых» вышел в «господа» России, ради вот, видите ли, идейных скитальчеств, и обид им, и начала чухотки. Так *в этом тоне* всегда и говорили, от Белинского до Чернышевского и Добролюбова и, дальше, до Михайловского и до Родичева. У них не было России-Матери («Мать-сыра-земля», наша «Богородица»), а было — служанка-Россия, обязанная бегать у них на побегушках, а когда она не торопилась, — они выходили из себя и даже вредительствовали ей. Прямо «таскали за косу» горничную, эти наши Михайловские, эти наши Желябовы, эти наши Чернышевские и Добролюбовы. Но все — начав Белинским, «учителем всего». «Смрадно» ли (термин Достоевского)? Да, не хорошо пахнет. Сегодня — «интеллигенция» — перешла в вонючую интеллигенцию. И беда, большая беда, что как-то воды смешались, все — мутно и давно мутно, и было в источнике мутно. Карамзин — служил России, Грановский — служил, Пушкин и Гоголь — служили. Но у Белинского, с самого же начала, именно с «Литературных мечтаний», является распорядительный тон. Обратите внимание. Почти мальчик, только что со студенческой скамьи — он учит всю Россию, учит Пушкина. Нигде, — оговорок, нигде — оглядок. Учит и учит. Так будет «учить» Писарев, Чернышевский в «Что делать?». Будут учить романами, критикой, стихами, всем. Будут учить грубо и нагло. «Как, чтобы горничная не исполнила, что я ей приказываю!»

— «Да кто горничная-то?» — «Россия, русское общество, русское правительство, русский обыватель». — «Да кто вы будете, сударь?» — «Студент, — и не доучился, как мой великий учитель Белинский».

Конечно, это «смрадно и тупо» (Дост.). И в этой смрадности и тупости мы бредем до сих пор и не можем из нее вытащить ногу. «Наши начальники — Родичев и Михайловский». Да так, *в этом тоне*, Родичев и Михайловский и говорили. Все, везде — «Письмо Белинского к Гоголю», сводящееся к тому, что 1) не надо пороть, 2) русские — атеисты, 3) и скоро везде будет кооперация. Что-то младенческое и глупое. «Не-полнозубое» и неинтересное. Белинского нет возможности читать, и нет возможности о нем думать, и нет возможности серьезно бороться с его «традицией».

Не остер был человек. Не было глаза, не было нюха, не было ошупи. Была «не-полнозубость», была «не-полноприродность». Был «турман». На полвека этого хватило. «Но куда же *тут* оставаться,— тут сгинешь». Это — явное болото. Болото около России, болото для России. Это-то самомнение? Это-то отсутствие тонкого, вдумчивого скептицизма? «*Далеко* поплыл человек, да не захватил компаса, ни — хронометра». Ум Белинского? Пылкость — *да*, талант — *да*. Но собственно ум, вот этого чекана Вяземского, вот этого чекана Пушкина, вот этого чекана Погодина,— людей *осмотрительных* и которые так много *построили на Руси*? Странно об этом спрашивать,— конечно, этого «ума» в нем не было. К концу времен сложилось дело так, что в «священной традиции Белинского» сделалось как-то *неприлично* быть очень умным, дальновидным, сообразительным и сложным. «Традиция» повелительно требовала упрощения. Нужны «честные убеждения», т. е. в смысле «кооперации» и «отрицаем правительство». — «Ты мне кашляй, как чахоточный, а ума твоего мне не требуется». Кто же не заметит, что, напр., Михайловский был несравненно тоньше и сложнее в душе, но *не смел, не решался* вполне говорить всех слов, всех признаний, всех одолевавших его сомнений, «оглядок», какие в душе носил: потому что был бы просто *не понят* — во-первых, и *отвергнут* — во-вторых. Такова история с приглашением его перейти в эмиграционную революционную литературу, порвав с легальным положением на Руси,— с «несчастливым положением русского журналиста, теснимого цензурою». Если так веруешь в «революцию» и хотя бы когда-нибудь в «победу» ее — это прямой путь. Петр Лавров и вступил на него, простая и кроткая душа. Михайловский не вступил. Он предпочел быть просто русским литератором, с «историей *о себе и за собою*», частицею всероссийской истории, обыкновенной, какую будет писать еще Карамзин. Попросту и в глубине вещей он предпочел быть «правительственным писателем». Т. е. в революцию *in pléno*, а не *частично* — он попросту не верил. Почему? Какие соображения? Какой сложный мир мыслей за этим скрывался? Он знал, что Россия слишком тверда, слишком устойчива, чтобы уступить революции, чтобы пошатнуться от революции. Это уже секрет, но еще не самый большой. Михайловский (я думаю) в тайне души разделял взгляд Пушкина, сказанный в письме к Чаадаеву: «Россия мне и нам нужна *как*

есть», и что будет ли «будущая кооперативная и социал-демократическая Россия, по рецептам Маркса и Лассаля, лучше нам известной России — я не знаю, по крайней мере — не уверен»... «Мне с Глебом Успенским лучше, чем с Марксом, хотя Маркс — всемирный авторитет, а Успенского имя без ученого авторитета». Это, во всяком случае, думал Михайловский. Но, конечно, формулы этих взглядов он не сказал бы вслух.

«Нужно быть простоватым и глуповатым в этой традиции» и «честно бороться с правительством», зажмуря глаза. Зорким нельзя быть, осмотрительным — нельзя, проницательным — нельзя. Скажите, не *вырождение* ли это *идейной* традиции, не *болото* ли? Ведь традиция-то началась от Гегеля, от учебных разговоров Белинского и Бакунина, где Белинский «всеми силами ума вникал». Началось с «вникал», а кончилось «не вникай». Круг сомкнулся, дело кончилось, «традиция» умерла в смысле и в мотиве своем. Отныне эти «нищие» и «страдальцы», с «терновым венцом на голове» — копят небо, топчут тротуары, пригорают и никому не нужны. Все исчезает в риторике, все умирает, когда становится риторично. «Традиция Белинского» решительно стала риторичной, и это такая судьба, из которой не воскресают...

Но и отойти бы молча... Просто перейти бы к *другому*... Зачем было говорить? Айхенвальд все-таки не прав. Тем так много, целый мир новый, работы столько вокруг... Тишина да будет всегда около могил. Тишина всегда хороша, в тишине всегда так хорошо работать.

К 50-летию кончины Ап. А. Григорьева

25 сентября исполнилось 50 лет со дня безвременной кончины самого вдумчивого и самого глубокомысленного из наших литературных критиков — Аполлона Александровича *Григорьева* (родился в 1822 г., умер 25 сентября 1864 года и похоронен на петроградском Митрофаньевском кладбище). Важнейшие статьи его — «О правде и искренности в искусстве», «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства», «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина», «Парадоксы органической критики». Кроме этих философско-принципиальных статей или «изложений», положенных им в основу своего отношения к отдельным поэтам и романистам, он написал обширные статьи, как о своих современниках: Тургеневе (о «Дворянском гнезде») и Островском (о «Грозе»), так и о поэтах пушкинской эпохи: о Гоголе, Лермонтове и Грибоедове. Как и творец «Русских ночей» князь Одоевский, Аполлон Григорьев также был выброшен из литературы русской в качестве «несогласно мыслящего» и поставлен «вне чтения» господствующими корифеями — Добролюбовым, Чернышевским,

Писаревым, Благовосветловым и вообще «нашим кабачком». «Вне читаемости» ему в сущности было гораздо лучше, чем если бы его стала читать бегущая вперед масса «разрушителей эстетики» и «уничтожителей Пушкина». В сущности быть не читаемым — иногда очень хорошо. Пусть прокатится мутная волна. В свежем утре встанет писатель потом, ничем не загрязненный, не изломанный.

Аполлон Григорьев, — и сам поэт (небольшой сборник его стихотворений вышел в 1846 г.), — страстно чувствовал человеческое слово, страстно чувствовал поэтические и художественные образы. Это *главное* — безмерная любовь к великому словесному искусству, — было в нем фундаментом критика. К этому непосредственному дару, дару врожденному, — прибавилась обширная его начитанность в русской и иностранных литературах, и полная самостоятельность своей мысли. Критике эстетической и публицистической он противоположил свою *органическую критику*, как рассмотрение словесного искусства единичных писателей в свете *народных идеалов*, как они сложились в зависимости от крови, рода, племени и от исторических обстоятельств. Григорьев может почитаться у нас единственным и первым критиком, стоявшим на почве более обширной, чем литературные партии и только свои личные вкусы. Для Чернышевского «вне Чернышевского» не было России, и для Добролюбова «человеческий разум» оканчивался там, где не читался «Современник». Григорьев был совершенно не таков.

Книга статей его, изданная еще в 1876 году, не была повторена изданием. И это первое издание не было прочитано, а как-то рассорилось и застряло по букинистам. Судьба — вполне Одоевского. Или — монастырь и схима, или «выпей с нами в кабачке».

Григорьев положил основание таким понятиям, как *типовое* в отношении к народности. Ему современная литература, — знаменитый «реальный роман» — был важен не потому и не настолько, насколько он выражал трепетания своего времени, которые могли быть цельными и могли быть пустыми, — а насколько они выражали стихию русской души, умели через конкретный образ передать вечное начало этой души. Ему же принадлежит понятие «почвы» и «почвенности»: того безотчетного и неодолимого, что тянет каждого человека к земле его, тянет героя и тянет поэта, и в связи с этой «почвою» он силен и красив, а вне связи с нею — ломается и проходит для жизни бесплодно. Идея эта была принята и Достоевским, в журналах которого писал Григорьев. Знаменитый монолог в «Бесах» о «народе-богоносце» — не понятен без Григорьева; это собственно художественный перефраз григорьевской идеи, григорьевского учения.

Досказать ли слова, может быть единственно внятные в эту минуту великой войны: что мы пошли на Германию и Австрию, добывая отчину свою, отчину Владимира Святого и Ярослава Мудрого, — исполняя, хотя и неведомо для себя, исторические и культурные грезы этого благородного писателя.

Мир его праху. Может быть с текущих вот дней настанет свежее утро воскресения для него, как и для других славянофилов, для Киреевского, Хомякова, для Аксаковых. Может быть. А если и теперь «нет» — не будем печалиться. Он был с *истиной*: а это — такой друг, которого не променяешь на других. Среди людей ему жилось плохо. Но у Бога ему хорошо.

Пушкин и Лермонтов

Пушкин есть поэт мирового «лада», — ладности, гармонии, согласия и счастья. Это закономернейший из всех закономерных поэтов и мыслителей, и, можно сказать, глава мирового охранения. Разумеется — в переносном и обширном смысле, в символическом и философском смысле. На вопрос, *как мир держится и чем держится* — можно издать десять томов его стихов и прозы. На другой, более колючий и мучительный вопрос — «да *стоит* ли миру держаться», — можно кивнуть в сторону этих же десяти томов и ответить: «*Тут* вы все найдете, *тут* все разрешено и обосновано...»

Просто — царь неразрушимого царства. «С Пушкиным — хорошо жить». «С Пушкиным — лафа», как говорят ремесленники. Мы все ведь ремесленники мирового уклада, — и служим именно пушкинскому началу, как какому-то своему доброму и вечному барину.

Ну, — тогда все тихо, замерло и стоит на месте. Если с Пушкиным «лафа», то чего же больше. «Больше никуда не пойдешь», если все «так хорошо».

Остроумие мира, однако, заключается в том, что он развивается, движется и вообще «не стоит на месте» ...Ба! — откуда? Если «с Пушкиным» — то *движению* и *перемене* неоткуда взяться. Неоткуда им взяться, как мировой стихии, мировому элементу. Мир движется и этим отрицает покой, счастье, устойчивость, всеблаженство и «охранку»...

— Не хочу быть *сохранным*...

Странно. Но что же делать с этим «не хочу». Двигается. Пошел...

Мир пошел! Мир идет! Странное зрелище. Откуда у него «ноги»-то? *А есть*. Ведь должна-то бы быть одна колоссальная созерцающая голова, один колоссальный вселюбующийся глаз. «Бежит канашка», — говорит хулиган со стороны. «Ничего не поделаешь». — «Дураку была заготовлена постель на всю жизнь, а он вскочил, да и убежал». Так можно рассказать «своими словами» историю грехопадения. Страшную библейскую историю. Начало вообще всех страхов в мире.

«Умираем»...

Если «блаженство», то зачем же умирать? *А все* умирают. Тут, правда, вскочишь с какой угодно постели — и убежишь. Если «смерть»,

то я хочу бежать, бежать и бежать, не останавливаясь до задыхания, до перелома ног и буханья головой куда-нибудь об стену. Смерть есть безумие в существе своем. Кто понял смерть, не может не сойти с ума — и человек удерживается на черте безумия лишь насколько умеет или позволяет себе «не думать о смерти».

«Не умею» и «не хочу» или еще «не способен»: и этим спасается от «побыть на 11-й версте».

Литература наша может быть счастливее всех литератур, именно *гармоничнее* их всех, потому что в ней единственно «лад» выразился столько же удачно и полно, так же окончательно и возвышенно, как и «разлад»: и через это, в двух элементах своих, она до некоторой степени разрешает проблему космического *движения*. «Как может быть *перемена*», «каким образом перемена *есть*»...

Лермонтов, самым бытием лица своего, самой сущностью всех стихов своих, еще детских, объясняет нам, — почему мир «вскочил и убежал»...

Лермонтов никуда не приходит, а только уходит... Вы его вечно увидите «со спины». Какую бы вы ему «гармонию» ни дали, какой бы вы ему «рай» ни насадили, — вы видите, что он берется «за скобку двери»... «Прощайте! ухожу!» — сущность всей поэзии Лермонтова. Ничего, кроме этого. А этим *полно* все.

«Разлад», «не хочется», «отвращение» — вот все, что он «пел». «Да *чего* не хочется, — хоть *назови*»... Не называет, сбивается: не умеет сам уловить. «Не хочется, и шабаш», — в этой неопределенности и неуловимости и скрывается вся его неизмеримая обширность. *Столь* же безграничная, как «лад» Пушкина.

● Пушкину и в тюрьме было бы хорошо.

Лермонтову и в раю было бы скверно.

Этот «ни-рай, ни-ад» и есть *движение*. Русская литература собственно объяснила *движение*. И именно — моральное духовное движение. Как древние античные философы долго объясняли и наконец философски объяснили физическое движение.

Есть ли что-нибудь «над Пушкиным и Лермонтовым», «дальше» их? Пожалуй — есть:

— Гармоническое движение.

Страшно мира, что он «движется» (отрицание Пушкина), заключается в утешении, что он «гармонично движется» (отрицание Лермонтова). Через это «рай потерян» (мировая проблема «Потерянного рая»), но и «ад разрушен» (непоколебимое слово Евангелия).

Ни «да», ни «нет», а что-то среднее. Не «средненькое» и смешное, не «мещанское», а — великолепное, дивное, сверкающее, победное. Господа, всемирную историю не «черт мазал чернилами по столу пальцем»... Нет-с, господа: перед всемирной историей — поклонитесь. От Чингисхана до христианских мучеников, от Навуходоносора до поэзии Лермонтова тут было «кое-что», над чем не засмеется ни один шут, как

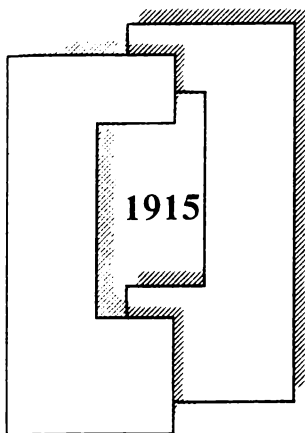
бы он ни был заряжен смехом. Всякий, даже шут, поклонится, почтит и облобызает.

Что же это значит? Какое-то тайное великолепие превозмогает в мире все-таки отрицание,— и хотя есть «смерть» и «царит смерть», но «побеждает, однако, жизнь и в конце концов *остается последней*»... Все возвращается к тому, что мы все знаем: «Бог сильнее дьявола, хотя дьявол *есть*»... Вот как объясняется «моральное движение» и даже «подводится ему итог».

В итоге — все-таки «религия»...

В итоге — все-таки «церковь»...

С ее загадками и глубинами. Простая истина. И ею хочется погрозить всем «танцующим» (их много): — «Господа, *здесь тише*; господа, *около этого — тише*». «Сами не зная того, вы все *только* религиею и церковью и живете, даже кощунствуя около них, ибо самое кощунство ваше мелкое, не глубокое.● Если бы вас *на самом деле* оставила религия — вам открылось бы *безумие* во всех его не шуточных ужасах».



Один из «стаи славной» *

Они встанут из-под земли,— эти великие покойники. Если назвать имя «Константина Аксакова», то не найдется грамотного человека на Руси, который не отозвался бы: — «Знаю,— Аксаковы,— как же... Любили Русь, царей, веру русскую»; и с туман-

ными глазами и погода закончил бы: — «Написали *«Семейную хронику»*... Но если бы вы упорнее переспросили о *Констанине* Аксакове, то не только «грамотей», но и человек образованный, окончивший курс классической гимназии и окончивший курс в университете, притом на историко-биологическом факультете, ответил бы, из ста случаев в девяносто, что он, правда, слышал имя *Константина Аксакова*, но решительно ничего из его сочинений не читал... Да и где их прочесть? В библиотеках, так называемых «городских» — нет; в «читальнях» — странно даже и спрашивать! Там ничего подобного вообще не водится... Конечно, есть в Публичной библиотеке, и конечно есть в Румянцевском музее, в академической, в университетских, в так называемых *фундаментальных* библиотеках гимназий, откуда частному читателю книг, однако, не выдают. Но куда же так далеко тащиться,— тащиться из городов, из пригородов,— тащиться обывателю, гимназисту, чиновнику... «А тут на месте», в небольших библиотеках и читальнях — нет и нет, нет нигде... И можно сказать без преувеличения, что *сочинения Кон. Аксакова*, русского патриота и мыслителя, который вложил огромный вклад в объяснение хода русской истории и умер всего 50 лет назад, менее известны русскому человеку и русскому обществу, нежели творения Еврипида,— славного Грека, положим, но умершего уже более двух тысяч лет назад. Еврипида и Демосфена, не говоря уже о Цицероне, знают подробнее и основательнее русские люди, чем Хомякова, Киреевского и Кон. Аксакова. И скажешь невольно с богатырем Русланом:

О, поле, поле! Кто тебя
Усеял мертвыми костями...

— о всем поле русского славянофильства...

* Сочинения Константина Сергеевича Аксакова. Том 1. Редакция и примечания Е. А. Ляцкого. Издательство «Огни», 1915 г.

Ну, будущие историки разберут, «как», «что» и «почему». Сейчас, читатель, порадуемся, что «как раз вовремя» вышел первый том сочинений Константина Сергеевича Аксакова в редакции и с примечаниями Е. А. Ляцкого. Первый том украшен прекрасным портретом *юноши* Кон. С. Аксакова, до сих пор не изданным. В крошечном предисловии объяснено о замысленном и лишь *частью* выполненном плане издания творений брата Константина знаменитым московским витиею Иваном Сергеевичем Аксаковым, предпринятого в 1861 году!!! •Когда дело идет об издании славянофилов, то расстояние между одним и следующим изданием всегда измеряется полувеками или четверть-веками! Из него узнаем, что второй, третий и шестой томы Аксакова с письмами его брата, со статьями публицистическими и критическими и с художественными произведениями остались неизданными. Но ныне племянница Константина Аксакова, Ольга Григорьевна Аксакова, взяла на себя обязанность окончить намеченное более 50 лет назад издание сочинений Константина Сергеевича, обнародовав по подлинным рукописям все, не вошедшее в состав трех томов прежнего издания. Многие произведения его появляются в настоящем издании впервые, иные представлены в более полной и совершенной редакции; подлинные рукописи и записные тетради дали возможность установить точную хронологию большинства произведений и выяснить их отношение к определенным лицам и т. д. Прекрасную, одушевленную характеристику, звучавшую как «надгробное слово» о великом витязе Русской земли,— дал г-н Ляцкий. Вот что говорит он о Константине Сергеевиче Аксакове:

«Произведения его, собранные в настоящем томе (поэтические и художественные.— В. Р.) ищут читателя-друга. К ним нельзя подходить ни с равнодушием скептика, ни с критической требовательностью, воспитанною на классических образцах. К ним не приложимы обычные мерки художественных определений, но было бы несправедливо и непоследовательно считать их только прозаическими, лишенными поэтического очарования. В них есть нечто, сообщающее мысли — крылья мечтательного порыва, зажигающее чувство огнем неподдельного одушевления. И эта мысль, и это чувство, и все, что есть ценного в произведениях Константина Аксакова, прекрасно и ценно прежде всего потому, что оно неотделимо от личности их творца. Если духовный облик его витает перед вами, если вы видите его горящие глаза, слышите его страстную, всегда правдивую речь, если обаяние его благородного сердца овладевает вами,— вы любовно примете каждую строчку его творений — они согреют вас огнем его души, умилят возвышенностью его стремлений; и когда ваша мечта угмонится жадною подвига, они дадут ей новые силы надеяться и верить, что принесут сладостный отдых своей романтической дымкой. Но если на историческом портрете Константина Аксакова для вас потускнели краски, если вы захотите провести грань между его образом и его творениями, отвлекаясь от их исторической полновесности,— вы не подметите в его творчестве многих поэтических очарований; местами оно покажется вам отжившим, словно выветрившимся за истекшие годы».

В самом деле, если выразить попроще эту мысль, мы найдем в ней замечательное объяснение литературной неудачи славянофильства *среди читателей*,— и что они писали вообще не так великолепно, как их противники-западники, начиная с Белинского и Герцена. Суть мысли

г. Ляцкого: «Читайте не страницы, а глядите на человека, и страницы перед вами *согреются* и наполнятся *мудростью*». В самом деле, славянофилами были не писатели по призванию, вдохновению и ремеслу, а как бы трудолюбцы исторические, «бояре» московские и русские, слагавшие и еще слагающие Кремль, и соборы и всю русскую жизнь. «Сочинения» были для них прикладное, пособляющее, не главное: в этих сочинениях они «заносили на бумагу» свои жизненные, практические наблюдения и идеалы — записывали свои настоящие государственные скорби, а не бумажные и литературные раздражения, гнев, мечтания и восторги. Применяясь к терминам истории политической экономии, они были «физиократами» русской мысли и русского дела, а не ее идеологами. Тогда как Белинский, например, кроме своего письменного стола ничего и не видел в жизни. Отсюда понятно, что у Белинского страницы «как летели», а у Аксаковых, Самариных и Хомякова страницы «трудно переворачивались» и «скрипели». Воз с хлебом далеко не так едет, как «с лихим ямщиком» и «налегке». Западническая литература вся, в сущности, была «налегке», и читалась потому легко, но, увы, — не самыми лучшими частицами общества. И за Белинского, и за его единомышленников трудилось и работало правительство, — скучные чиновники; и эти люди знали или думали, что «при правительстве» все крепко и надежно, отчего и поругивали его, зная, что этот «одер» все свезет и все снесет. Подобная мысль не могла прийти в голову ни одному славянофилу, ибо без портфеля и без чернильницы они были все в сущности «служилые люди», все тащили «тягло» — верою и правдою. И опять это не могло быть красиво. «Сочинения» Конст. Аксакова — это как бы «домовая книга» русского хозяина «болярина» с бородой и в ферязи, с русскими поправками, с поправкою на углубленность, идеализм и проч., но, однако, не идеализм только литературный, книжный, без «хлеба» и «воза».

Песенки квартирантов, их жизнь и приключения, — само собой разумеется, и богаче, и разнообразнее, и певучее, чем скрип и воркотня, и забота и работа хозяина: но было бы и холодно и голодно этим квартирантам без домохозяина. И незаметно, славянофилы в сущности *обеспечивали* свою солидность и неинтересным мышлением, — *обеспечивали* и *выкупали*, «творения» своих врагов, которые в какой бы социализм и анархизм не зашли, в какой бы трактир и кабак не попали, обыватель и вся Русь все-таки думали: «Ни-ча-во!! Выберемся. Ведь у нас есть... как их... эти не читаемые никем славянофилы..., которые и о царстве, и о Боге, и о совести, и о душе, — о всех этих нам ненужных материях думают и пишут».

Славянофильство — тяжеловесный золотой фонд нашей культуры, нашей общественности и цивилизации, — обеспечивающий легонькие и ходкие «кредитки» нашей западнической и космополитической болтовни и фразерства. «Было бы опасно быть Милюковым, — но раз есть Киреевские, — можно быть и Милюковым».

«В данном случае,— рассуждает далее г. Ляцкий,— важнее другая сторона. Как бы жизнь ни бежала вперед, чувство «общественного одушевления» имеет свою закономерность, свои приливы и отливы; и теперь именно — время, когда это чувство, как морская волна, бежит к старым берегам и на их груди творит силу и красоту своего прибой. Переживаемый нами могучий подъем народной души придает особую знаменательность тем идеалам Константина Аксакова, в основу которых он полагал веру в доблесть русского народного духа, в его могучее развитие, в одухотворенность его стремлений к разумному и доброму началу жизни. За эти, особо внятные теперь, идеалы Константина Аксакова читатель простит ему и холодный пламень его творческого пафоса, и застенчивую бледность поэтических красок. Если еще недавно многие страницы его произведений, проникнутые патристическим одушевлением, могли вызвать представление о кубке, из которого пролилось прекрасное, крепкое вино,— то теперь его слова о величавом призвании русского народа приобретают особый смысл, указующий общественному сознанию дорогу не назад, но вперед, к задачам истинного национального возрождения и самобытного строительства жизни...»

И в заключение лично и почти портретно:

«Вот он весь перед нами — прямой, честный, стойкий, бесконечно добрый, вспыльчивый, но отходчивый, с виду малодетельный, но неустанный работник духа, любящий все, чему можно радоваться, ненавидящий все, что отдаляет торжество дорогих ему начал».

Очень правильно г. Ляцкий отмечает влияние на Константина Аксакова его отца, автора «Семейной хроники», и — матери, так не похожей на отца. Мать дала ему пыл и стремительность, героическое соучастие реальной текущей жизни, отец передал доброту, благодать и органическую связанность со стариной. «Общая семейная атмосфера внушала уважение к преданиям и обычаям, окрашивала национальное самосознание элементом религиозного культа и поэтической красоты. И неудивительно, что когда на глазах аксаковской семьи старая жизнь начинала давать трещины, уступая вторжению новых общественных условий и взглядов, Константин Аксаков со всем пылом страсти бросился на защиту бытовых и исторических условий, на которых держалась цельность его мироощущений и крепость семейного уклада... Сердце его приросло к усадебному быту, весьма близкому к истокам народной жизни, но критическая мысль уносила его далеко вперед...»

Все это очень хорошо и верно. Коротенькая заметка В. Ляцкого дает «горячими красками» в сущности полный портрет человека — портрет, который нуждается лишь в деталях и «насыщении материалом», но в сущности не подлежит поправкам и дополнениям. Личность Констан. Аксакова проста и величава, но не сложна,— как и всех Аксаковых. Сложнее и труднее личности Хомякова, Самариных и Киреевских.

Ломоносов

Его личность
и судьба

(4 апреля 1765 г.—
4 апреля 1915 г.)

Сегодняшний день вся Россия вспомнит и обязана вспомнить крестьянского сына Михайлу Васильевича Ломоносова, 150 лет со дня кончины коего истекает сегодня, 4 апреля 1915 года,— вспомнить и его колыбельку в деревне Денисовка, Холмогорского уезда, Архангельской губернии, и его могилу в Александро-Невской Лавре, а паче всего — должна перебрать в уме своем все «подвиги» и весь героизм необыкновенного человека, необыкновенной жизни и судьбы, редчайших дарований. Ломоносов — главное, лучшее дитя Петра Великого за весь XVIII век, может быть — даже за два века, и он весь уродился и сформировался в исторического своего «батюшку». Ни в ком еще не кипел такой горячий ключ подземных вод — все новых мыслей, новых планов и надежд, любви к своей земле, веры в победу лучшего и правого; и еще ни в ком так, как в великом Петре и в детище его Ломоносове, около этих горячих вод не лежало в соседстве холодного снега трезвого рассуждения, практической сметки, отсутствия всяких излишеств фантазии, воображения и сердечности. Вот уж сыны севера, и Петр, и Ломоносов... И два эти человека, одни делами и другой сочинениями, на весь XVIII век пустили морозца, отстранив туманы осенние, ручейки вешние, жару летнюю,— все то, что пришло позднее, пришло уже вне замыслов и предвидений Петра, с Карамзиным и Жуковским. Это, родившееся с Карамзиным и Жуковским, было отступлением от чисто великорусской и северной складки Ломоносова, от величавых и твердых замыслов Петра... И Карамзин, и Жуковский, а особенно позднее — Гоголь и Лермонтов, и наконец последние — Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров — повели линию душевного и умственного развития России совершенно вне путей великого преобразователя Руси и его как бы оруженосца и духовного сына, Ломоносова. Русь двинулась по тропинкам неведомым, загадочным, к задачам смутным и бесконечным...

Все это — вне духа Петра, который знал только ясное и близкое, осязаемое и практическое; также и вне психики Ломоносова, который избегал гадательного и рвался к достоверному. Собственно один лишь XVIII век «полон Петром», не имеет ничего «вне его» предначертаний» и может быть назван «Петровскою эпохою», «Петербургским периодом»; тогда как с царствования Александра I, с Карамзина, Жуковского и затем Пушкина и других начинается эпоха «общерусская» и до некоторой степени «бесконечно-русская»... До такой степени вошли

сюда универсы сердечности, вымысла, воспоминания *всех* мировых эпох, не одних русских,— толчки от всех эпох, народов, что время Петра Великого и его личность остались здесь или входят сюда только уголком или осколком, во всяком случае — частью.

«Русский — вырвавшийся из всех орбит» — вот XIX век. Включивший в себя все, от Аракчеева до маркиза Позы. Можно навыворот прочесть о нем стих Пушкина:

Ни мореплаватель, ни плотник,
Ни — академик, ни — *герой*,
Он всеобъемлющий душой
Без трона был везде заботник.

Правда, «заботились» обо всем... Устраивали весь свет. Весь мир брали себе «в братья». Все растеряли, ничего не приобрели. Куда тут Ломоносов и Петр — совсем наоборот. Но вернемся к Ломоносову.

Морозец, реализм, практичность и океаническая ширь порывов и замысла — может быть, отпечаток от Ледовитого моря, оставшийся вечным на душе мальчика,— вот суть Ломоносова, в котором мы видим чисто великорусскую породу без всяких общечеловеческих (космополитических) примесей, видим чисто русский ко всему интерес и чисто русский во всем вкус, без осложнений, без навеваний. Он весь и всегда стоял на своих ногах, прочный, крепкий. Да и маяк его плавания был близок и ярко: это — великий Петр. XIX век, может быть, оттого и зашатался и замутился, что для него вообще не было яркого маяка «посредине Русской земли»,— и он, особенно во второй половине, пошел или, точнее, зашатался по двум противоположным направлениям — революции и Христа.

Без теорий, без идеологии, а по сему самому без крайностей и ошибок Ломоносов более нежели за сто лет предварил то умственное и волевое движение, которое получило во второй половине XIX века имя «позитивизма» и господства «реальных наук и естествознания». Мечты Германии 60-х годов для нас были воспоминанием столетней давности. В самом деле, в духе Ломоносова и совокупности дел его содержался целый *метод*, хотя он и не упоминал его, не возводил в теорию и не навязывал как теорию никому. Но от этого обстояло все дело еще лучше, полнее и правильнее. «Позитивизм», «реальные науки» и «естествознание» всегда должны оставаться *фактом* — без «претензий», голой хроникой истории — без «умозаключения». В этих границах они уместны и правы, могут быть плодотворны и никому не вредят. Наблюдения Дарвина превосходны как наблюдения и портятся только своим итогом: «так произошел органический мир и живая жизнь». У Ломоносова не было «итогов», поучения и философствования, и его работа вся и до сих пор стоит перед нами свеженькая, цельная, нимало не разрушенная и без запаха в себе гнили.

Работа эта — огромна. Вся вообще жизнь его, «судьба», родина и конец — представляют какое-то великолепие историческое: но только в этом «великолепии» сияли не бриллианты, горели не рубины, а пахли потом тертые мозоли, видятся неусыпные в течение пятидесяти лет труды, ученические и потом учительные, сверкает гений и горит чистое крестьянское сердце, поборающее разную служебную золоченую мелкоту... Монумент его — крестьянина, разворачивающего могучим плечом и зычным голосом наносную на Русь нечисть, — ту нечисть и отброс, которые, подобно негодным ни в какое дело шлакам, попали и без потребности в них вращались в огненном котле Петрова дела. Все было нужно в России — и *иностранцы*, и *Академия*: но иностранцы вместо помощи России стали Россию обращать на пользу и даже на службу себе, а Академия просто уселась на жалованье как ученое чиновничество. В неблагоприятные царствования неспособных преемников Петра реформа зодчего новой России точно пошла против реформы же: она стала болезненна и уродлива, как нарост на теле, выросший из самого этого же тела. Формы сохранились, имена, должности, титулы, терминология — те же, но дух и идеал Петра исчез. Вот историческое положение Ломоносова, который был зажат в этом водовороте: реформы Петра, пошедшей против реформы Петра, — гигантского новорожденного тела, на которое вдруг запахло трупом, издало раннее зловоние разложения. Имена здесь могли бы быть другие, не Шумахера и Тауберта, — как и на месте Ломоносова могло бы стоять другое имя.... Да на *месте* Ломоносова и стояло другое имя, Менделеева, уже на наших глазах, но с тою же почти судьбою. Как великий эмпирик Ломоносов все приписывал *лицам*: но не в *лицах* было дело, а в том потоке, который выносил их на верх положения. Почему Академия наук не была вверена Ломоносову, — что так естественно для нашего глаза, для нашей оценки, — а всевластно распоряжался в ней какой-то Шумахер, без всякого имени и заслуг для науки и для России? И это в пору Елизаветы, столь благоприятную для Ломоносова, и когда покровителем его был И. И. Шувалов, всеильный вельможа этого царствования? Почему?.. Что такое?.. Почему то же, приблизительно то же, повторилось с Менделеевым, который был затерт куда-то в главного начальника палаты «мер и весов»... «*Хранить меры и хранить веса*» — человеку, горевшему изобретениями и новыми исканиями?.. Отчего Мечников работает не в России?.. И — сонм меньших, но *подобных*... Если перебрать синодик тружеников мысли, работы, предприимчивости изобретения, открытий и вообще *науки* — и осложнить его другим синодиком *русских людей*, вообще работавших *для России*, — то получится около «гробницы Ломоносова» другое неизмеримое «Ломоносовское кладбище» — людей, страдавших и умерших «по образу и подобию» этого праотца и русского духа, и русской науки, и русской судьбы, и русской неудачи... Дело в том, что всякое явление идет немного дальше прямой своей цели, — дело в том, что всякий

процесс не только докатывается до своей меты, но и перекачивается — и что, в конце концов, все — смертно, умирает, заболевает. Ни Петр, ни его преемники не указали каких-то противоядий, какими бы надо было с самого же начала оградить благородный и чистый замысел Петра от вредных прибавок, от вредных уклонений в сторону, от губельного для самой реформы Петра *окостенения и оформления*, замундирования и обращения в шаблон и фразу. И то, что можно назвать «разложением реформы Петра», было почти одновременно с ее рождением.

Котел кипит. По нему ударил штамп: котел перестал кипеть. Теперь он просто котел.

Суть реформы Петра заключалась в вечной *деятельности, неостанавливаемости*, и если бы она сохранила эту суть свою, она не заболела бы, не затрупила. Между тем при его неспособных преемниках она была истолкована, — и реальным образом, в реальных учреждениях истолкована, — как какое-то завоевание иностранщиною России, как какое-то неперенное усвоение западных «форм», когда дело было вовсе не в форме, а в деятельности, в пробуждении духа. «Шумахер» стоял выше Ломоносова даже при Елизавете: как иностранец выше русского, в равном положении, при параллельном движении: потому что все затянулось «мундиром», а самая родина мундира и все образцы его — из иностранщины, от Запада. Вот отчего мужик не мог перебороть чиновника. Тут дело не в Ломоносове и не в Шумахере, а в третьем в чем-то: это «третье» — просто форма, чин, должность, ранг, о которые разбивается живой человек. Так разве один Ломоносов тут погиб или одному Ломоносову «не удалось»: тут «не удалось» и «погибло» целое кладбище... Ломоносов только самый яркий, самый большой... Оттого-то к нему так и привязались русские люди, и чтут его, что он символ и эмблема вообще «русской судьбы в самой России», «горя-гореванья» русского человека в своей же земле.

Вечная деятельность — суть Петра... Он неосторожно озолотил ее, т. е. надел на нее золотой, золоченый мундир... «В мундиры» сейчас бросились мыши и съели все, съели дух Петра. Вот и история. Все «заштамповалось» и все «остановилось». После такого-то гиганта, как Петр, который поистине ломал камни, как динамит, — через сто лет Россия явила собою самую «консервативную», «тихую», «стоячую» державу... Просто справы нет с консерватизмом, ничего «не сдвинешь с места...». Да *откуда?* откуда *после Петра?* Несбыточное — совершилось... Ведь всегда все *во имя Петра* делалось после него? — делалось с *крепкой и честной памятью именно о нем?* Да просто — неверно, неправильно был понят смысл Петра. Он даже вовсе не стремился налагать на Россию иностранные формы, иноземные нормы. Он просто стремился к «лучше», к «живее», к «скорее»: и чисто случайно, что в его время «лучше», «живее» и прочее было на Западе. Но это — случай, а не закон. Именно в «западном» — не лежит никакого принципа и *не лежало никакого принципа для самого Петра*. Иначе он непременно, при своей

неудержимости, сломал бы и самую веру, сломал бы не *учреждения* только церковные, но и заменил бы одних святых другими (сравни замыслы Вл. Соловьева, отчасти Чаадаева и русских иезуитов, кн. Гагарина, Мартынова и др.). Но Петр чисто и глубоко почитал именно русских святых, и вообще сам царь был крепко русский человек. Явно, что не в «Западе» было дело, а в «лучше». Но вот приходит Ломоносов с несомненным, неоспоримым «лучше», приходит простой русский человек, из мужиков. Пришел он скоро после Петра, но уже везде поднялись препоны, запоры, загородки. «Твое *лучшее* не надо, потому что это не *иностранное*». Перемена духа всей реформы Петра. Перемена — оттого, что сам Петр не *подчеркнул*, в чем же дело в его стремлениях, чего именно он *хочет*... Не подчеркнул и не обвел красною чертою, с «пугалами», «топорами» и «казнями», — как он умел обводить любимые детища своего волеизъявления.

И пошло все в «иностранщину», пошло пошло, шаблонно, мундирно, важничая, — пренебрегая золото родных голов, горячее сердце русских грудей, честную и верную службу русского человека русской земле. Совершилось и по днесь совершается что-то дикое и ни в одной земле не бывалое, ни в чьей истории не слыханное: забивание, заколачивание русского человека и русского дара в русском же своем отечестве. Этого — ни у негров, ни у турок, ни у китайцев нет, это — только в одной России, у одних русских. Властвование Шумахера над Ломоносовым, «служебное положение» Менделеева — вообще не повторимы и беспримерны во всемирной истории. И что страшно, а отчасти и комично: ну, *там* (на Западе; во всемирной истории) — отречение Галилея перед патерами (инквизиции), что-то картинное, памятное и в конце концов славное, увенчивающее. У нас просто «действительный статский советник не может же быть поставлен выше тайного советника»: а последний просто сидел на стуле сорок лет, когда первый сидит на таком же ровно стуле двадцать лет. Этого не зарисуешь на картине и об этом не расскажешь в истории. Не сказуемое и не видное. Россия стала не сказуема и не видна. После такого неслыханного гения, как Петр, Россия сделалась или, точнее, ее сделали неслыханно бездарною. «Сиди, молчи и терпи». Это Ломоносов-то?! Это — после Петра-то!! Все характерные и самые большие русские боли... даже вида никакого не имеют. Неужели же Фукидид, Ливий, Тацит, Маколей, Гизо, Ранке станут копаться в сплетнической истории между коллежским советником и статским советником... Они просто пройдут мимо, сказав: «Это — болото, а не история...»

— Мы тут не видим *лиц, людей*...

Вот в какую беду была зажата великая *праведная* личность Ломоносова.

А все — непонимание, неразумение... Может, исполин-мужик может нам разворотить это болото теперь: ибо мы еще и теперь тоном в нем.

Новое исследование о Фете

I

В последней книжке «Русской Мысли» появилась замечательная статья о Фете, вкусная не только тем, что она дает, но и еще более тем, что обещает: это, по словам выноски к заглавию, — «две первые главы, в сокращенном виде, общего исследования лирики Фета».

Итак, в дополнение к большим монографиям о Лермонтове Н. А. Котляровского, о Гончарове — Ляцкого, о Тургеневе — И. Иванова (второе издание) и недавно вышедшей о Некрасове — В. Евгеньева мы будем иметь большую монографию о Фете. Это хорошо, потому что дает уже не «кое-что», не несколько впечатлений и мыслей читателя, а представляет, так сказать, «сложную инженерную работу, «огигающую» писателя, которая выясняет все подробности его творчества и личности, не оставляет ничего не изученным, ничего не обдуманым и не взвешенным. Пора и нужно. Нет слов достаточных, чтобы выразить, чем Россия и русский народ обязаны русской литературе. А с всемирной точки зрения уже нельзя говорить о «душе человеческой», *какова* она, *что* она, — не вникнув в душу русскую, как она изображена и понята в русской литературе. Мы *усложнили* историю, психологию, метафизику бытия человеческого, — это факт уже в прошлом, его уже нельзя разрушить или затереть.

Автор статьи, г. Д. Дарский, чрезвычайно *метко* начинает. Он берет мимоходом сказанные Фетом в своих «Воспоминаниях» слова о двух его сестрах, Любви и Надежде, — именно об их рождении, об их особенностях, — и разъясняет и обрисовывает всего Фета как странный, почти необъяснимый для биографа сплав двух натур, поэтической и практической, казалось бы, не только не имеющих между собою ничего общего, но и безусловно исключających одна другую.

Вот эти слова Фета о своих сестрах: «Любенька, как звали мы ее в семье, была прямою противоположностью Нади. Насколько та (Надежда) наружностью, темно-русыми волосами и стремлением к идеальному миру напоминала нашу страдалицу-мать, настолько светло-русая Любенька, в своем роде тоже красивая, напоминала отца и, инстинктивно отворачиваясь от всего идеального, стремилась к практической жизни, в области которой считала себя великим знатоком...» «Так, — замечает г. Д. Дарский, — без всякой мысли о самом себе и нечаянно Фет выдал тайну своей духовной природы. Эти Любенька и Надя, евангельские Мария и Марфа, дочери своих, до противоположности разных, матери и отца, — кто они, эти две сестры, как не две половины души самого Фета! То, что они унаследовали порознь, каждая на свою долю, то в нем соединилось в один сложный, но целостный характер».

Важно найти точку, из которой бы бросить свет на предмет, на лицо,— охватывающий всего его. И г. Дарский нашел эту точку, установив в которой светоч своего ума и наблюдательности, он затем без всякого труда и с обильнейшим материалом в руках располагает по направлению двух лучей, отсюда идущих, все крупные и все мелкие факты биографии поэта — все те непонятности в Фете, которые удивляли друзей его.

Приблизительно в 1895 году Фет попросил Н. Н. Страхова редактировать сборник своих стихотворений, и в это время в московском журнале «Русское Обозрение» печатались его «Воспоминания». По поводу одних и других Страхов говорил мне свое впечатление и удивление: «Воспоминания его — совсем пустые, никому не интересные и не нужные... Но есть одна черта в них, делающая их чрезвычайно ценными: воспоминания эти показывают, до какой степени, в самом деле, поэзия в поэте нисколько не связана с его обыденною жизнью — с той часто совершенно заурядною, почти пошлою личностью, какую мы в нем находим, какую он представляет собою. Потому что стихи его — удивительны... Откуда они?..» Помолчав, он прибавил: «Раз Фет прислал Толстому стихотворение,— удивительнейшее! «Посмотрите,— говорит мне Толстой,— он написал его на счете из керосинной лавки!!!» (Письмо Толстого к Фету, по поводу именно этой присылки, приведено у г. Дарского.) Страхов совершенно этого не понимал, не имел никакого к этому ключа в уме своем и, очевидно, только придвигал сюда общую схему, выраженную Пушкиным:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен...

А у Фета это не так: Фет был не «вообще поэтом», с этою «горькой судьбой всякого поэта» — двоиться между пустой и содержательной жизнью. У него была двойственность рождения, двойная в нем физиология, которая и сотворила этот феномен, исключительно личный и особенный. Г. Дарский говорит: «Одна половина Фета — это самый нежный, самый крылатый, недоступный даже легчайшему прикосновению житейского, ангелоподобный поэт; это Муза с «темно-русыми волосами» (описание идеалистки сестры Надежды), с «узлом тяжелых кос», с дрожащими в руке цветами, с «дрожащими напевами», с отрывистой речью, полною печали, печали страдальницы-матери, с задумчивой улыбкой на челе. Другая половина — это великий знаток практической жизни, полковой адъютант и гвардейский штабс-ротмистр, прижимистый помещик средней руки и заядлый хозяин. Можно подумать, что сама судьба решила окончательно разъединить эти две и без того разделенные половины, наделив одну именем Фета и присвоив другой фамилию Шеншина».

То, что для Страхова, знавшего Фета лично и много лет, дружившего с ним и совершенно понимавшего его несравненную поэзию, было

совершенно темно и непостижимо,— то под освещением Дарского становится вполне ясным, невольным и необходимым фактом. Просто — рождение! И в каждом из нас, собственно, действуют и живут два начала, отцовское и материнское,— иногда преобладая одно над другим в разные наши возрасты. Вытекают отсюда «противоречия натуры», «перемены в характере», «переломы», для внешнего наблюдения далеко не всегда объясняемые обстоятельствами жизни, а часто проистекающие из внутренней борьбы в нас двух натур, отцовской и материнской. Но обычно это не слишком заметно, не слишком ярко, не ведет к трагедии или к непостижимости, ибо обе натуры все-таки хоть сходны по племени, по вере. ● У Фета была мать еврейка и отец русский,— одна измученная и несчастная, другой — сильный и властный человек. И они так целиком оба и перешли в сына,— тогда как в дочерях, в каждой, отлились только по одной натуре, т. е., очевидно, лишь с незначительной примесью в Надежде — отцовского начала, в Любви — материнского начала. Своеобразная прихоть зачатия и рождения, наблюдаемая в быту, наблюдаемая во всех семьях.

«Фет и Шеншин сблизилась, но не совпали в одном лице,— формулирует г. Д. Дарский,— и так всю жизнь прошли рядом, двумя параллельными путями, ни в чем не согласуясь, никогда не разлучаясь. Бесконечно печальная среди деловых будней, безмолвная, уходит Мария—Фет («Мария и Марфа» евангельской притчи) от каждодневной жизни в свои «серебристые грезы». Шеншин сочтет каждый рубль, обдумает и пригонит, как раз впору, самую неприметную мелочь обихода, молодцевато вытянет лямку незаметного офицера, терпеливою выучкой и трудовую сноровкой превратит через семнадцать лет голый степной скит в «прелестную табакерочку» (так Фет называл свою усадьбу)... «Безвестных сил дыханьем окрыленный», Фет — это мистик и серафим поэзии, Шеншин — счетовод и приказчик делового предприятия». Фет сам говорил о себе: «Жить в чужой деревне и, следовательно, вне настоящих сельских интересов, было для меня всегда невыносимо, подобно всякому безделью». Отсюда — домовитый хозяин, практичный, крепкий, прижимистый. Тургенев смеялся над ним: «Он с такой интонацией произносил *целковый*, даже как-то *цалковый*, что уже кажется — будто он его в карман положил». Но... Мария — Фет не дожидается минуты, чтобы бросить все домашние хлопоты и на коленях внимать своей наставнице-Музе:

Дай руку. Сядь. Зажги свой факел вдохновенный.
Пой, добрая! В тиши признаю голос твой,
И стану, трепетный, коленопреклоненный,
Запоминать стихи, пропетые тобой.
Как сладко, позабыв житейское волненье,
От чистых помыслов пылать и потухать,
Могучее твое учу дуновенье,
И вечно девственным словам твоим внимать.

Действительно «серафическая» поэзия. Для своего времени она прошла глухо, почти безвестно. Конечно, и при жизни Фета все люди *настоящего чтения* понимали цену его поэзии; но много ли было и вообще много ли есть людей настоящего читанья?.. Была и остается их горсть.

II

Отличительной особенностью поэзии Фета является ее музыкальность. Великий Чайковский писал о нем в одном частном письме: «Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой возможности сравнивать его с другими первоклассными или иностранными поэтами, искать родства между ним и Пушкиным, или Лермонтовым, или Ал. Толстым, Тютчевым (тоже очень большая поэтическая величина). Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и смело делает шаг в нашу область. Поэтому Фет часто напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина или Гете, Байрона или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам хотя бы и сильным, но ограниченным пределом слова. Это — не просто поэт, скорее — поэт-музыкант, как бы избегающий таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также его часто не понимают, а есть даже и такие господа, которые смеются над ним, утверждая, что стихотворение вроде «Уноси мое сердце в звенящую даль» — есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности не музыкального, пожалуй, это и бессмыслица, — но ведь недаром же Фет, несмотря на свою, для меня несомненную, гениальность, вовсе не популярен».

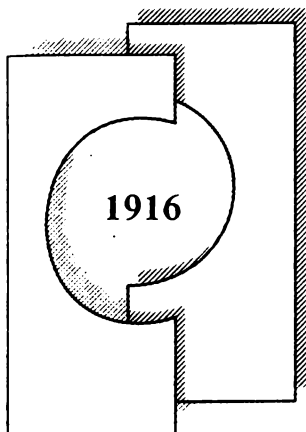
Г-н Д. Дарский выясняет на подробностях, на отдельных стихотворениях, в чем заключается эта тайна музыкальности души Фета, породившая для него немалые муки со словом. Он все старался выразить невыразимое; определенные, отчетливые темы и сюжеты были для него чужды. Фет пылает, а не рассказывает; создавшим «поэму», стихотворный рассказ, — его невозможно представить. Но вернемся к его личности, к его жизни.

Г-н Д. Дарский очень тонко улавливает, что этот музыкальный и несколько безумный гений находил себе в высшей степени уравновешение в его ежедневной практичности, в деловых, суровых заботах о земле, о нужде, о службе. От этого не только сам Фет любил и уважал в себе эти реальные хлопоты, но окружавшие друзья его, Л. Н. Толстой, Тургенев, В. П. Боткин, положительно радовались его практической работе и преуспеваниям его в этой работе. И они, и он видели инстинктивно в этом якорь спасения для личности, якорь спасения и сохранения именно для поэта. По поводу стихотворения, присланного ему Фетом на обороте какого-то счета, Толстой написал ему: «Стихотворение ваше не только достойно вас, но оно особенно и особенно хорошо, с тем

самым философским поэтическим характером, которого я ждал от вас. Хорошо тоже,— что заметила жена,— что на том же листе, на котором написано это стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 коп. Это побочный, но верный признак поэта».

Угадка точная. Отсюда самый меркантилизм и служебные усилия Фета не производят на нас никакого чувства морального отвращения, несимпатичности. Мы просто чувствуем, что *в нем и для него* это было здорово и нужно.

Вся работа г. Д. Дарского так же умна, как и осторожна: качества, безусловно необходимые, когда говоришь о Фете. Он его *объясняет* и нигде не оправдывает и не ускоряет. Все будут ждать с нетерпением выхода его исследования отдельною и оконченною книгою.



М. Горький и о чем у него «есть сомнения», а в чем он «глубоко убежден»...

Пользующийся небольшою, но очень чистой известностью в литературном мире, г. А. Волжский писал мне не так давно в частном письме: «Я увидел у своей племянницы, гимназистки, на стене карточку Максима Горького, среди других писателей,

и сказал ей: «Убери ты этого наглого мастерового со стены»... Сказал конечно не повелительно, а ласково,— как литературный совет 40-летнего человека,— ибо по скромной и тихой натуре своей этот автор «Литературных исканий», «К Серафиму Саровскому» и «Св. Русь» вообще не может, не умеет и не хочет распоряжаться, ни на виду, ни тайно. Но определение «наглым мастеровым» Горького решительно запоминается, как надлежащая подпись под многочисленными его портретами (в особенности — В. А. Серова, бывший на посмертной выставке картин последнего), как определение его ослепительного литературного «бега» («Горький пробежал», а не «был» в литературе), и, наконец, как последняя эпитафия на его могильной плите или на его славном монументе... «Наглый мастеровой»... Он не родился таким; он родился скромным, с душою и с некоторым талантом. Но вот подите же: с момента, как он принес в журнал Михайловского и Короленки свой первый свежий рассказ про «бывших людей», линия этих лысых радикалов и полупараличных революционеров завизжала, закружилась, захлопала, затопала от прибывшей впору помощи,— выдвинула его впереди всех, поставила над собой,— и человек был погублен, писатель был погублен, в сущности, ради того, чтобы в «Истории российской социал-демократии» был выдвинут некоторый своеобразный эпизод. «Пером» Горького воспользовались. Горького стали «употреблять»... Сам Горький, человек совершенно необразованный, едва только грамотный, или ничего не думал, или очень мало думал: за него думали другие, «лысые старички» и «неспособные радикалы», которые стали начинать его темами, указывали предметы писания, а он только эти темы и эти предметы облекал в беллетристическую форму, придумывал для них «персонажи», придавал им свой слог, размашистость и подписывал свое имя. И каждую его «вещь», напетую с чужого голоса и неизменно танцующую «от печки», шаблонно повторяющуюся в очень узеньких рамках,— стоустая

и тысячекрая критика и рецензия принимала с тем же восторгом, с каким был принят его первый рассказ в «Русском Богатстве». Максим Горький не замечал, что это для него «делается», «устраивается»; он не видел, что «устраивается» (перед 1905 годом) революция, а не «он» и его «судьба»; что он и талант его тут «ни при чем» или значил очень мало, — а нужно было сделать шум, гам, составить «общественное мнение», заставить «кого следует» думать, что «страна желает», «требует», «решила». Приписав это себе и своему таланту, а не своему историческому положению, не минуте, в которую он «пришел», — Горький, естественно, потерял землю под ногами и ясность в голове; его «тащили», а он вообразил, что «тащит эпоху за собой»; его взяли с чужой поклажей и на чужих лошадях, а ему представилось, что он совершает какой-то «поход» Александра Македонского, всех покоряя, всех разгоняя. Отсюда тон его принял совершенно нелепый характер: он то расправлялся с Францией, то с Соединенными Штатами, — и расправлялся небрежно, через какое-нибудь «письмо в редакцию», о котором, уже по неестественности дела, — правда, начинали везде сейчас же шуметь, писать, говорить. Но шум, писанье и говор — это одно, а дело — совершенно другое. Он не замечал, что делает совершенно нелепости, что и писатель, и человек в нем давно умерли, а осталась какая-то пухлая, нелепо летающая птица, с «былою славою», этой грустной параллелью «былых людей», — которая клопочет о чем-то и летит куда-то, но все это совершенно бессмысленно, — пока об Александре Македонском не заговорили полупшепотом и частным образом: «да это просто расхившийся мастеровой», которого опоили дурманом.

Заметим, что он — еле грамотный, что частные письма он только подписывает своею рукою, а текст их диктует. И тогда чем нам представится следующее его рассуждение, изложенное или манифестованное в одной шведской газете и переданное «объединенною печатью» и в нашу прессу.

«Культурный мир (!) в настоящее время отравлен и все больше продолжает отравляться чувствами вражды, злобы и ненависти. Интеллект (!) уступает место зоологическим побуждениям. Между германцами, англосаксами и романскими народами воздвиглись целые горы болезненных наростов, нависла завеса всевозможных темных чувств. К этим чувствам, разъединяющим людей, прибавятся после войны еще чувства зависти, любостыжания и мести. Злые силы пробуждены, и все бесчеловечное на свете дерзко подняло голову.

Народы Европы должны признать, что им необходимо более интимным образом и более по-братски соединиться в культурной работе. Эта необходимость диктуется очень простой точкой зрения: англосаксы, германцы и романские народы составляют вместе небольшую часть всего населения земного шара. Вместе с тем они составляют то меньшинство, которое создало и создает духовные ценности (!), столь драгоценные для всего человечества (!). Право на духовную гегемонию

мира (!!)) принадлежит Западной Европе — то право она завоевала силой своего духа, своей усердной работой на поприще науки и искусства (!!)), своими интеллектуальными заслугами (!!)) перед целым миром.

Однако безумная, кровавая борьба между европейскими народами дает право большей части населения нашей планеты сомневаться в моральном значении западноевропейской культуры, отрицать ее интеллектуальный авторитет (!!)), сопротивляться ее идеалам и принципам (!!)). Эта кровавая бойня между лучшими народами земли закрепляет на свете варварство и, без сомнения, остановит победоносное шествие культуры на восток (!!)) — в Азию и Африку. Красота (!!)) и польза того, что люди получили от мысли с востока, вызывает во мне серьезные сомнения (!!)). Но зато я глубоко убежден (!!)) в величии, красоте и пользе всего того, что создал здоровый, жизнеспособный ум Европы (!!)).

Европа дорого заплатит за эту, быть может,— неизбежную, но тем более ужасную войну.

Но я еще раз повторяю (!!)), что твердо верю в то, что народы Европы, раскаявшись в преступлении друг против друга, найдут реальную и верную базу (!!)) для общей работы на благо мировой культуры (!!)).

Знаками восклицания я отметил выражения Горького, где он, совершенно забывшись, выступает каким-то арбитром Востока и Запада, целых веков, целой мировой культуры. «Кто ты, так судящий,— таким голосом, с такой высоты?» — «Я тот, который написал «Мальву», т. е. характеристику одной проститутки. «Челкаша», т. е. случай с одним воришкой, и наконец «На дне» — т. е. целую картину пьяного, воровского и проституционного сброда». Но это все — падение и разрушение какой-либо цивилизации, все — «взлом» культуры, как есть «взломщики» квартир, а отнюдь не утверждение каких-нибудь «духовных ценностей» и чего-то «интеллектуального», слова, совершенно несвойственные Горькому и лежащие вне словаря его литературной деятельности. Совсем напротив... Горький всю свою деятельность уложил на прославление «бывших людей» в противовес «сущим людям», — на обручивание этих «сущих людей», целых сословий, классов, всякого рода тружеников, — если только они «трудятся» не со стамеской, ломом и отмычкой замков около чужого дома, около чужого сундука, около чужой семьи. Не «помолиться», а — взорвать чудотворный образ («Савва»), не — привезти товар на корабль, а — ночью стащить товар с корабля, потихоньку от таможенной стражи («Челкаш»). Ведь в этом дело, — которое он обобщил в «Буревестнике», почти издав крик: — «Пронесется буря, и мы все растормошим, разнесем, — мы, Челкаши, Мальвы, мы бывшие «бароны» и бывшие «актеры», которых сейчас не пускают даже на третьестепенные роли, а тогда мы сядем в первых рядах». Вот — крик, программа многих лет, всей деятельности: и вдруг он же, он и он заговорил о приобретениях культуры, о прилежной работе, о творчестве «англосаксов, германцев и романских народов», даже не упомянув, среди

борющихся сейчас сил, своей «презренной» Родины, России, и всего славянского мира. Да что: он распоряжается, этот литературный Савва, и христианством, религиями: неужели непонятно каждому решительно, что разумеется под высокомерными словами: «красота и польза (!) того, что люди получили с востока, вызывают во мне серьезные сомнения». Конечно, говорится это о христианстве. И вот не побывавший в уездном училище господин пишет: «во мне это возбуждает сомнения». Скажите,— Гизо какой, какой Момзель или Гиббон: Максим Горький сомневается «о пользе и красоте» Христа, Голгофы и Евангелия: что делать или куда деваться бедному Евангелию.

«Наглый мастеровой»... Да кто ему диктует все эти пошлые слова и научает его всем этим нелепым позам? «Встань, Максимушка, на стул, и проноси речь: тебя будет слушать весь мир». Кто это смеется у него за спиной или, вернее,— кто тот смешной, бездушный и самодовольный тупица, который ему подсказывает подобные речи, позы и темы? «Письмо в редакцию шведской газеты» написано «в ответ на устроенную этою газетою анкету по вопросу о настоящей войне и культурной работе» («Русские записки», декабрь). И вот, дело, очевидно, происходило таким образом, что окружающие Горького господа, получив «анкету», собрались, обсуждали ее,— обсуждали (судя по высокопарному тону ответа, с «культурой», «ценностями» и «интеллектом»), в какой-то приблизительно шкловской или бердической толпе, предпочитающей «телефон» и «граммофон» Божьей Матери и скучным церковным службам,— и вынесли типичное шкловское *resumé* о мире, о цивилизации, о Париже, Лондоне и Берлине, но, конечно, с исключением Москвы... Тут, когда шли дебаты, присутствовал и Горький. Он все слушал; ничему не учившись — ничего не нашел возразить против Шклова. Воодушевился, зарядился и написал. Они подправили в букве «е». Он выставил внизу «Максим Горький».

Историк русской литературы имеет перед собой задачу отделить в последних выступлениях Горького,— напр. против сценической переработки «Бесов» Достоевского для Художественного театра в Москве, как и в теперешнем разъяснении мировой войны, «лицо» его от надетой на него «личины», маски. В этих выступлениях немного «Горьковского», кроме подписи. Видный, даже когда-то знаменитый писатель дает рекламу, имя и фирму совсем не своим мыслям,— даже мыслям противоположным прежнему «своему». По необразованности, он вовсе этого не замечает, не соображает. А «друзьям» его вовсе нет дела до Горького и до цельности единого лика писателя. Вообще они в эти тонкости не входят: ведь социалисты и «к литературе неприкосновенны». Но и социалисты эти — не русские; не Н. Морозов, не Плеханов, не Г. Лопатин. Это что-нибудь вроде Рутенберга, ведшего за руку Гапона 9 января и потом его прикончившего (смотри «За дверями охранного отделения», заграничное издание), вроде Гольденберга и т. под. Им не много дела до русской литературы и до судьбы русского писателя.

Во фразах приведенного «разъяснения» так и звенит абстрактная еврейская фразеология, без единой черточки русского ума, русского сердца. Не русская душа говорит. В сущности, говорит вовсе не Максим Горький. Последний — подменился, заменился. Гениальная нация в создании подделок — одна. Это говорит «местечко» Париж, где проживают «русские Моисеева закона». Их гортанный, самоуверенный, наглый «на оба полушария» говор, тон. Они «заявляют», они «думают», — все «по их мнению», совершенно безграмотных господ. Что им до Лувена, до Реймского собора, этого далеко закинутого луча с Востока, «красота и польза которого — по их (и след., по Максима Горького) мнению — вызывает серьезные сомнения». Нужна газетка с грязным фельетоном — это почище собора; нужен митинг и его «гевалт» — это важнее законов, благоустройства и целых царств. Россия?.. «И что же такое Россия? Некультурная страна». Максим Горький подписывается. Бедный Максим Горький. Где ты, бесхарактерный русский человек? Вылетел буреви́стником, собираешься лечь в могилу Обломовым. Вот и туфли твои ленивые. И ленивая, бездеятельная душа. Куда тебе геройствовать? Лег на чужой воз, — и везут тебя, переодетого в чужое платье, по чужим местам, по чужим дорожкам. Ты лежишь, не сопротивляешься, и спишь крепким сном обыкновенного Обломова. «Оно беззаботнее, когда за нас думают умные люди и даже шевелят нашим языком». Конечно беззаботнее. Только не надо было вороне хвастаться, что она — молодой орел.

Не в новых ли днях критики?

Впечатлительность нашей прессы как-то причудлива, — и порой кажется, что эта пресса не имеет никакой связи с серьезною литературою. Так чудовищная параллель Мережковского между Тютчевым и Некрасовым, которая, казалось, не могла остановить ничьего внимания на себе, напротив, остановила на себе всеобщее внимание печати. Все обсуждали, «как это *так*», «почему это *так*». Напротив, удивительная по музыкальности и одушевлению книга г. Дарского: «Чудесные вымыслы. О космическом сознании в лирике Тютчева», — появившаяся в минувшем году, т. е. почти вслед за критическою арлекинадой Мережковского, — прошла в прессе совершенно глухо. Тут есть что-то случайное; хочется сказать — несчастно-случайное. Ибо пресса сама по себе дает очень мало литературного материала, и материала невысокого качества, и возместить этот собственный недостаток она может только живым, обстоятельным и добросовестным отчетом о всем выдающемся, что в этом отношении появляется на книжном рынке. И вот смотрите: иной труженик, да иногда и талант не маленький, сидит в провинции, влюбленно изучает какой-нибудь предмет и дарит, — воистину *дарит*, — книгу обществу...

Ведь это не только умственный труд, но и нравственная заслуга. Куда... «Кто такой Дарский? Разве есть досуг читать его книгу? Разве он кому-нибудь пожалуется, если ее никто не заметит?» И талантливая книга отодвигается даже не рукою, а отпихивается ногою, и десятки газетных рецензентов сосредоточиваются на вопросе, имел ли право, напр., Дмитрий Сергеевич, — «который знаменит», — сравнить Александра Македонского с селедкой или приравнять Нострадамуса к Кузьме Пруткову? Сравнение всем кажется странным и диким, но раз «Дмитрий Сергеевич», то отчего же не говорить и «мне». Так скатывается и разворачивается шум прессы, которая на этот раз и вообще часто напоминает а-громадную снежную куклу, у которой куда-то отвалилась голова.

Имей бы я больше одарения к излаганию книг — я бы только это и делал. До того это полезно. Ну, увы, сие — *ars difficilis* *... Не только книг очень много, но и они слишком хороши, занимательны, на важные темы. А к «слогу» я слаб, да и темы меня волнуют. И вот я открою всю душу читателю, сказав, что мне хочется, собственно, все переписывать в свою статью чужие строки, даже страницы. «Пусть слушает, видит сам читатель музыку авторской головы». Какая же это критика? Это — восхищение, а не критика. И вот утрюмо я откидываю вообще все книги от себя. «С вами умрешь, задохнешься». И не разбираю почти ничего, или изредка и случайно, при всем желании быть именно библиографом, «обозревателем» и даже каталогизатором (очень люблю) книг...

При таковых недостатках читатель должен уже прощать меня, и, видя, что я все путаю и выписываю, — не дочитывать рецензию, а прямо спешить в магазин и покупать «новую книжку», решив: «Р-в только не умел выразить свой восторг, а книжка, должно быть, в самом деле хороша, если он начал о ней писать»... Читатель никогда не ошибется.

Откуда стало, именно в последние годы, появляться столько книг или прекрасных, или любопытных, или нужных? Объяснить можно только тем, что авторам или вообще людям мысли надоело «редакционное засилье» и они решили говорить с обществом свободно и от своего лица. Потому что параллельно можно наблюдать, до чего как-то обезлюдела «толстая журналистика», — с очередной «повестью Семенова» и «рассуждением Иванова», — а с другой стороны, «сборники» и «альманахи» как-то запоганились в тенденции, однообразии и непроходимой скуке. Яркий ряд интересных книг около этого как-то выясняет «положение литературы». Журнал, газета — это всегда толпа; и «человек» как-то выбирается из этого.

Ну а теперь, перекрестясь, буду выписывать:

«Земная жизнь есть перерождение». Такими словами высказал Достоевский свою самую кровную и трагическую идею. Всю жизнь носил ее в одиночестве, из нее питалось все его творчество, ее неуловимым духом овеваны его писания. Но редко и всегда недомолвками и косноязычно выговаривал ее открыто, — и как-то стыдливо, с больною напряженностью. Точно боялся, что, слишком громко

* трудное искусство (*фр.*).

назвав ее, он разрушит ее незрелую девственность, рассеет темноту и молчание, где ей надлежало еще вырастать до времени. И только иногда неясной речью или беглой заметкой приоткрывал ее. «Мы, очевидно, существа переходные, и существование наше на земле есть, очевидно, процесс,— непрерывное существование куколки, переходящей в бабочку». Таково было убеждение Достоевского в неминуемом *преображении* человеческой природы, в ее коренном обновлении»...

Приведя еще несколько примеров из литературы такого же «пророческого ожидания», г. Дарский пишет уже от себя:

«Надо быть совершенно лишенным слуха ко всему высшему, чтобы не внять этим согласным предвещаниям провидцев. Человечество, видимо, приблизилось к новым областям, пока скрытым за поворотом, и вот передовые разведчики их увидели... И еще многие другие признаки дают знать, что «исполнились сроки» и ничтожное расстояние отделяет нас от неизмеримых перемен. Беспокойство самое нервное и неизъяснимое расходится все более широкими кругами, упорные предчувствия вызывают в наиболее впечатлительных невразумительные признаки и дерзновенные попытки и,— как всегда бывает накануне мировых переворотов,— острее и непримиримее переживается недовольство старым. Здесь идет речь не о тех политических, экономических и социальных переворотах, которые установят новую эпоху в истории, но о тех глубочайших изменениях, которые совершатся в самой психике человека. Именно в такое «перерождение» веровал Достоевский, его же предсказывали другие. И вот встают самые пугливые и страшные вопросы: в чем выразится предстоящее преобразование души, какие новые способности она приобретет, в каком наряде выпорхнет бабочка из своего кокона».

А, читатель, кажется, это «того»?.. Т. е. позанимательнее, чем сравнивать селедку с Аннибалом в целях доставить торжество социально-демократической партии в Европе.

Автор далее развивает понятие «космического сознания», того, которое было присуще высшим поэтам, пророкам и мистикам,— и которое не похоже на самосознание индивидуума, не похоже вообще на обычные психические состояния, а заключается в том, что духовное я человека как бы сливается, единится или роднится с *существом же мира*, тоже духовным, отнюдь не только механическим. Некто канадец Блэк написал об этом «космическом сознании» особую книгу, но, в сущности, оно так понятно и интимно близко, если не всем людям, то очень многим, что едва ли требовалась для объяснения или доказательства особая книга. Откуда же, как не из «космического сознания», вытек так называемый «сабеизм», т. е. звездопоклонничество? Что такое «трепет Канта при виде звездного неба», о котором говорил философ? Где мотив первоначального в людях и вместе самого древнего влечения к астрономии? Как и родственный этому мотив — втайне помолиться Богу или «любить Его всюю крепостью своею»,— и тоже молча?

Его-то и избирает в фундамент изучения Тютчева г. Дарский,— и вот что говорит о плане своих работ:

«Пересмотреть с точки зрения именно такой эволюции духа,— т. е. перехода к этому мироощущению,— произведения великих творцов — является самой настоящей и насущной задачей современной критики. Попытка разглядеть в бессмертных творениях проявление вновь образующихся духовных свойств — неузнаваемо расширила бы и обогатила круг литературной мысли, привела бы к установлению небывалой связи между искусством и жизнью, по-новому осветила бы пути будущего».

Все это, говоря языком Суворова, «помилуй Бог, как хорошо». Действительно, это *так*. А то критика наша толчется на каком-то пустом месте, выясняя «красоты» и без того «красивого» или отмечая «преемственную связь» между вчера и сегодня, что довольно понятно и без критики. Но ведь, в самом деле, великие поэты суть «мудрецы» на какую-то особую статью; ведь, в самом деле, у них надо *учиться*, и, в самом деле, они о *звездном небе* могут рассказать не меньше астрономов, только в другой совсем форме и в другом освещении. Ей-ей, настанет время, когда будут думать, что именно поэты проводят всех людей к молитве и — буду отчаянным — даже проводят нас немножко в закупоренный после Адама рай.

«Некоторые специальные причины побудили меня начать такого рода исследования с Тютчева. Во-первых, невозможно отыскать источника более обильного для указанных изучений, нежели лирические пьесы Тютчева. Среди русских поэтов нет другого, кто бы с одинаковой полнотой испытал те верховные состояния, которые выше были обозначены именем космического чувства. И если у всех остальных поэтов это чувство, ярче или слабее выраженное, таится в подпочвенной глубине, как необходимая психологическая предпосылка творчества, то у Тютчева оно становится объектом творческого воспроизведения. Далее, психологическое изучение Тютчева особенно облегчается насквозь субъективным и произвольным характером его произведений. Тютчев оправдывает на себе афоризм: «лучшим автором будет тот, кто стыдится стать писателем».

И г. Дарский берет из воспоминаний о Тютчеве И. С. Аксакова его строки, где знаменитый публицист рассказывает о своем тесте-поэте, что писание стихов было для него совершенно произвольным, что он *ронял* свои стихи, что он лишь *записывал* словесные звуки, слагавшиеся у него неодолимо в душе, а не писал их, не сочинял их, не трудился даже и малейше над ними. И продолжает: «Такие свойства тютчевских произведений дают возможность отнести к ним без подозрительности и предосторожности, без всякой боязни ошибочных заключений,— позволяют довериться им, как подлинному, безыскусственному, еще свежему, еще не остывшему психологическому материалу. Здесь я указываю вторую причину. Наконец, и это в-третьих,— безотносительно к избранной точке зрения, изучение лирики Тютчева составляет неотложную, на полвека запоздавшую обязанность критической литературы. «Один из величайших лириков», по словам Фета, «существовавших на земле», Тютчев едва понаслышке известен в широких слоях интеллигентного общества. Положить конец этому позорному явлению — долг каждого, кто бы ни полюбил «несравненного поэта». В добавление нужно предупредить, что в предлагаемой характеристике Тютчева его политические стихотворения оставлены без разбора».

Последнее тоже характерно. Это как раз идет вразрез с тем, чего требовала от поэтов критика 60-х годов: «подай нам твое политическое исповедание». Точно от «исповедания» поэта что-нибудь изменялось в политике, точно политика крепла от единоличного исповедания поэта и, что самое для «политиков» плачевное, как будто их «политика» не

имела никакой в самой себе убедительности. «Крестьян нельзя пороть и взятки в суде нельзя брать, *если*, кроме Зарудного, Арцимовича, Добролюбова и Шелгунова, об этом еще излагают в своем исповедании и Пушкин, Фет и Тютчев». Господи, что за «русская политика»...

По существу-то, однако, дело состояло не в этом, а в следующем: ну, что бы о Тютчеве написал Скабичевский? Или Шелгунов и Писарев? *Ничего* бы не написали, сколько бы ни потели, ни усиливались и ни старались. Ничего! Горестное *ничего*! В этом все дело, что в них не было внутреннего материала для критики, что критиками-то они *вовсе не были*, и от 50-х годов почти до «теперь» мы имели мираж критики, а самой критики, ни хорошей, ни плохой, *вовсе не было*. Были «критические обозрения», критические компиляции, критическая полная бездарность и неспособность, — не отрицаем: *при сильном политическом стиле*. Но это — заслуга в политике, и еще нет даже самого начала заслуги в критике. От этого еще кое-как «критики» могли говорить о прозаиках, о романах, о повестях, — находить, что Обломов был «неповоротливый гражданин», что около Катерины в «Грозе» Островского не доставало «светлого луча» и что в деревне и в захолустьях у нас — «темно»: все параграфы публицистики и политики, все место — передовых статей в большой, хорошей, в настоящей политической газете. Но о поэтах? Ну что о Тютчеве скажет Добролюбов? О Фете, о Майкове, о Полонском? Он и о Пушкине-то проямлил всего какую-то «передовицу» объемом и смыслом, т. е. не сказал и *не мог* сказать, *бессилен был сказать* что-нибудь, заслуживающее напечатания. Вот о чем горе... Не о *ложной* критике, а что между Белинским и нами было так же много «критиков», как между Карамзиным и Соловьевым — историков. Т. е. их *не было*, а писались «критические обозрения», «критические компиляции», как писал о русской истории Полевой и Арцыбашев (был такой историк).

После шестидесятых годов и почти в наше уже время пытались и пытаются быть «критиками» Флексер (Волынский), Айхенвальд, Гершензон... Но поистине они не узнали себя. Какой же «критик поэтов» Волынский, с его умом сухим, колючим, полемическим, с его ссорливостью, придирами и душевными кляузами? Всего меньше поэт. Он мог «подать жалобу в консисторию» на Добролюбова и Щедрина («Критика 60-х годов»), но сия жалоба есть свидетельство юридического ума, а не критического дара. Гершензон? Он «стилизует» свои книги и прелестно стилизует, описывает, излагает, сообщает мелочи из архивов и пытается явить «старорусского дворянина, который, сидя в душистом парке, перелистывает старые альбомы»: но это все великолепная подделка дивно-умного человека под критика и под русского историка. И, наконец, Айхенвальд — на другом полюсе, чем Волынский — все кормит публику неистощимым рахат-лукумом («Силуэты русских писателей»). Он вечно слушает самого себя, восхищен своим умом: но что ему за дело до поэтов, до русских поэтов? Все это во всех трех случаях декадентская талантливая «стилизация» критики, а не что-то настоящее

и русское... Именно страшным образом русская критика умерла, точно перед потопом...

Не имеем ли мы в Дарском (пока провинциальный учитель гимназии, покинувший «должность» ради писания книг, как мне стороною пришлось узнать, происходит от корня духовного сословия), — не имеем ли мы в нем восстановления перерванной нити и традиции настоящей русской критики? Если *да* — то это огромная надежда русской литературы. Прелестное в том, что он «весь ушел в поэтов», и вторит их стихам своею прозою, которая стоит стихов; что он забыл о себе, что он *любит объект писания — больше, чем себя, чем свое написанное*. Ведь в этом-то, именно в этом *одном*, и состоит *все* существо критика... Именно эта *одна черта*, — влюбленности в поэта, влюбленности в книгу, — соделала Белинского единственным в своем роде критиком, Карамзиным русской критики. Титул, который сам собою вытек из дела и не будет никогда отнят у Белинского. Хотя бы и оказалось теперь или позднее, что было молодо все, что он говорил, — молодо и незрело: как оказалось все это в отношении объяснения русской истории и у Карамзина. Колумб переплыл океан и открыл Америку, а думал сам, что открывает Индию. «Грубейшая географическая ошибка». Да, но все ученые мира не сделали столько для географии, как один Колумб. И еще Колумба не будет. Так, в применении к нашим небольшим делам, «второго Белинского не будет». Исторические заслуги суть именно исторические — и критика в этом деле истории ничего не может опрокинуть. Троя была. Трои нет. В самом ли деле — *нет*? Она — *есть*. Вечная Троя, и крепче всех человеческих зданий в вечной благодарности и восхищении, и скорби потомства.

Ну, а теперь, устав рассуждать, немножко выпишу.

Главе «Сын гармонии» г. Дарский предпосылает выдержку из Фета, где поэт сравнивает маленькую книжку стихов Тютчева с впечатлением от ночного неба в Колизее, которое он однажды пережил, именно с тем, как из-за полуразрушенных черных стен его, на этом небольшом объеме, выплывают все новые и новые созвездия.

«Глаза мои видели, — пишет Фет, — только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева. Можно ли в такую тесную рамку (я говорю о небольшом объеме книги) вместить столько красоты, глубины, силы, одним словом — поэзии».

Дарский комментирует:

«Великолепным уподоблением удалось Фету захватить той стихии, которая проникала собою все существо Тютчева. Это вечность — глубокая, торжественная вечность. Она во всем у него: в каждом помысле, мудром и священном, в каждом слове, гулко падающем, в безмолвном мерцании, идущем откуда-то, что за пределом слов. И точно так же надо пристально, до острого напряжения, вглядываться в поэтические созвездия Тютчева, и тогда из беспредельности начнут «всплывать» ночные туманности, дотоле незамеченные, и, разделяясь отдельными светилами, будут гореть таинственно и лучезарно. Как звездное

небо, затягивающа поэзия Тютчева; нельзя оторваться, неодолимое притяжение заставляет уходить в нее, вливаться все дальше и глубже... Что касается чекана стиха, то Тютчев есть самый мужественный и суровый среди русских поэтов, и в прочной меди его стихов, как и в римских стенах (Колизея), есть расчет на столетия».

Но это — поэзия. Может быть не таков поэт? Ибо уже Пушкин сказал или заподозрил, что «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» — он бывал иногда «ничтожней всех детей мира»...

И здесь Дарский, как сущий критик, в каждую секунду своего писания, предпочитает говорить не своими словами, а золотыми словами других, извлекая их из своей благодарной и благоговейной памяти. Это особый инстинкт и прием чисто критический: помнить словеса старые, чтить «святых отцов поэзии и прозы». Тютчев в одном письме к Чаадаеву обмолвился: «Нет ли особого типа людей, являющегося как бы медалями человечества, настолько он отличается от обычного типа людей, — который тогда можно сравнить с ходячею монетою». Этим сравнением, отнесенным Тютчевым к Чаадаеву, Дарский пользуется, чтобы определить его самого, как «дело рук и вдохновенья Великого Художника». И подтверждает впечатлением от его личности других поэтов и мыслителей. «Один из величайших лириков, существовавших на земле», написал в одном месте Фет, и он же в другом месте сказал: «Самое воздушное воплощение поэта, каким его рисует себе романтизм». Человек «необыкновенно гениальный», слова о нем Жуковского. Тургенев оставил о нем замечание: «Милый, умный, как день умный», и в другом месте коротко: «мудрец Тютчев»... Толстой, скупой вообще на одобрения выдающихся людей уже долго спустя после встречи с Тютчевым вспоминал «этого величественного, и простого, и такого глубокого настояще-умного старика». И. С. Аксаков вспоминает его, как «стройного, худошавого сложения, небольшого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокою думой, с рассеяньем во взоре, с легким намеком иронии на устах, — хилым, немощным и по наружному виду»... «Он казался влачащим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей собственной неугасимой мысли».

Не будет, кажется, ошибочным подумать и сказать, что именно в Тютчеве, а не в Пушкине или Толстом, наше дворянское культуросложение получило высшее завершение и чекан. Что он наиболее типичен для этой среды; наиболее характерен. Наиболее ее «закругляет» собою и вместе не представляет в себе никаких сильных личных отклонений от сути и духа дворянства.

Г-н Дарский обследует «всего Тютчева» в XVII главах, из которых каждой дал тематическое заглавие... И так, вот эти главы-темы, которые, как символически выражающие отдельно каждая какую-нибудь сторону в поэзии и мирокасании Тютчева, заключены им в кавычки, как

бы с указанием: «не я говорю, а сам Тютчев о себе сказал»: «Сын гармонии», «На пороге двойного бытия», «Жажда горних», «Ненавистный день», «Тень, бегущая от дыма», «Неотразимый рок», «Всепоглощающая бездна», «Милое увядающее»...

Передохните, читатель: начинается часть вторая и в ней главы: «Пристрастие к земле», «Струна, нагретая лучами», «Капли огневые», «Избыток чувств», «Божественный напиток», «Тайная прелесть», «Святая ночь», «Жизнь божески-всемирная», «Миросоздания незаконченное дело»...

Но пока читатель размышляет над темами, я передам запись Погодина о Тютчеве в обществе:

«Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков поседевшими волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни на одну пуговицу не застегнутый, как надо, вот он входит в ярко освещенную залу. Музыка гремит, бал кружится в полном разгаре... Старичок пробирается нетвердою поступью вдоль стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание... К нему подходит кто-то и заводит разговор... слово за слово, его что-то задело, он оживился и потекла потоком речь... увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... ее надо было записать... Вот он роняет, сам того не замечая, несколько выражений, запечатленных особой силой ума, несколько остроумий, которые тут же подслушиваются соседями и передаются шепотом по всем гостиным»...

Книга г. Дарского появилась очень кстати, потому что года три назад вышло и полное, с хорошим комментарием и биографией, издание стихотворений Тютчева. Читатели имеют в своем распоряжении «в полном наряде» один из великолепных русских умов,— истинное украшение родной истории.

Г-н Н. Я. Абрамович об «Улице современной литературы»

Только что вышел № 2 «Библиотеки общественных и литературных памфлетов», содержащий очерк Н. Я. Абрамовича: «Улица современной литературы». Памфлет этот так же меток, ярок и верен, как первый памфлет того же автора, посвященный московской газете Сытина и Дорошевича «Русское Слово». В сущности, как и первый памфлет, он не говорит ничего нового. Все, им сказанное, «разумелось само собою». Но он крохи читательских впечатлений, крохи читательских умозаключений собрал в один яркий луч и с силою прожектора направил его на «улицу современной литературы» и показал ее в картине ослепительно яркой.

«Пышный расцвет» «поэтического» влияния Игоря Северянина, успех и читаемость Вербицкой и Аверченко, восторг перед тупыми утроб-

ными клоунами О. Л. д'Ора и его собратий, внимание к апашам и скандалистам из литературных щенков; тираж (количество печатаемых экземпляров каждого издания) романов Амфитеатрова с их анекдотами, амуресками, пикантным соусом и обывательской болтовней — все это конкретный показатель нашего внутреннего варварства». Литература русская, вознесенная на огромную высоту трудом, — не только талантом, но и именно трудом, прилежанием, вниманием, заботой таких глубоко чистых и благородных лиц, как Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Лермонтов и Тютчев, как Тургенев, Гончаров и Толстой, — диким и странным образом ниспала в какую-то арлекинаду, унизилась до кривляний, шуточек и хохота циркового клоуна, которого может выносить только улица и которого нельзя пустить в комнату, гостиную и кабинет. В XVIII веке развилась «литература салонов», с Дидро, д'Аламбером, Гельвецием, Мопертюи, Гольбахом и другими во главе. Понятие «литературы улицы» лежит на противоположном конце этого. В строе, в духе, в теле — все другое, противоположное.

«Улица» — поверхностна, не глубока, впечатлительна короткими впечатлениями, реагирует исключительно на резкое и яркое. Ей некогда вдумываться, и она не вдумывается ни во что сложное и углубленное; она не замечает ничего тихого и скромного. Улица. Улица и есть улица, а не комната. И кто вышел на улицу или проходит по улице, — и подчиняется всем законам улицы — всем особым законам хождения по ней и поведения на ней.

Г-н Абрамович не замечает этого особенного понятия и не устанавливает этого важнейшего факта, который должен бы быть положен в фундамент его рассуждения. Он «очерчивает» явление и не размышляет над ним. Это недостаточно. Раньше, чем говорить о литературных явлениях, ему необходимо было спросить себя, откуда взялось и как сложилось это огромное множество людей, с одной стороны, чрезвычайно усталых, а с другой стороны — т. е. в другие часы, совершенно праздных и не способных в эти минуты отдыха ни к малейшему умственному напряжению, — т. е. «к еще напряжению» сверх той урочной работы, какую они за день выполнили. С этим огромным множеством сливается небольшое число людей уже окончательно праздных и всегда праздных, — которые обеспечены и никакого мотива к труду не имеют, которые никогда не трудились и, «разумеется, не намерены трудиться» ни физически и еще менее умственно. Наконец, и первых и вторых зазывает сюда большое множество людей, элементарно учившихся, первоначальных по развитию и вместе очень бедных; учившихся «на грош», получающих «грош» и желающих «на полушку иметь удовольствие». Это — пролетариат, денежный и умственный, массивный, огромный, и из получек которого составляются миллионы, которыми оплачиваются харчевни, трактиры и «газета-копейка», которая его занимает, увеселяет и просвещает на империале конки, в трактире, харчевне и его бедной комнатухе.

Г-н Абрамович рассматривает литературные явления и литературные перерождения только в последовательности одних литературных же явлений,— «что за чем последовало» и «как одно от другого произошло». Это явно односторонне и недостаточно. Литература живет «в обстоятельствах», для литературы есть «обстановка». Она действует на писателей подавляюще, подчиняюще. О. Л. д'Ор есть не только палач литературы, сгноивший или гноящий ее своим тупым остроумием; он есть и жертва; жертва этого страшного рынка, требующего коротких впечатлений и который его «штучки не длиннее 50 строк» оплачивает из полушек своих 12 000 рублей в год. Т. е. О. Л. д'Ор столько получает и народ столько уплачивает, «потому что эти штучки веселят».

Но затем «последовательность литературных явлений» тоже очень важна, хотя (я думаю) — и не фундаментальной важностью. Ее мастерски очерчивает г. Абрамович:

«В нашей читательской и литературной среде нет соответствующей школы,— нет постоянного, прочно сохраняющегося уровня культурного сознания. Мы бесконечно ниже наших общенародных достижений, высящихся как Монблан среди ровных равнин. Вот почему у нас возможны такие явления, как бунт против Пушкина, как отвержение Фета и Тютчева, как непризнание Лескова и Чехова, как книжный тираж Амфитеатрова, как почетное литературное благополучие мелких литературных паразитов, утробных «смехунов».

При благосклонном попустительстве русского читателя, у которого никогда не хватало сил для идейного протеста против грехов и ошибок литературных узурпаторов, совершалась травля подлинных дарований и защита таких же подлинных бездарностей.

С одной стороны, это засилие бездарностей совершала сама «улица» в лице отдельных предприимчивых самозванцев, пытавшихся путем чисто внешних приемов, путем дипломатических отношений завоевать положение литератора, вынуждая к признанию, к принятию мелкого их материала, не заслуживающего названия литературы».

Что это за «дипломатические отношения», которые «вынуждают к признанию», — я не знаю. Это что-то очень любопытное, очень важное, что будущий историк нашего фазиса литературы должен будет внимательно исследовать. Но не могу я не передать здесь слов, сказанных мне владельцем небольшой, но очень деятельной книжной лавки, которая в годы 1900—1903 и 1907—12 сыграла значительную роль в распространении великолепно художественных изданий декадентских мелочей, а в 1914—1915 «футуристических» коверканий. Он был крепкий сытый русский торговец лет 36—40, прошел сам городское училище или прогимназию, был деятелен, строг, для торговли и в торговом отношении в высшей степени культурен. Например, он обедал вместе с мальчиками магазина; они в квартире его имели себе чистенькие кровати и чистую, очень хорошую комнату. Принося вам на дом книгу или пачку книг — отказывались взять 10—15—20 коп. «за труд». — «Хозяином запреще-

но». Конечно, это небывалые еще приемы в рас-сей-ской торговле. Опершись жирными руками на прилавок, он сказал:

— Направление общественного мнения в России зависит от нас.

Как сталь. Твердо. «Как, от него, почти безграмотного?!» И я с недоумения поднял на него глаза: «какова же роль нас, писателей»??? Он продолжал:

— Русский читатель ленивый и покупает ту книгу, которую мы ему даем или на которую обращаем его внимание. Это — суетливые заботы мальчика в магазине — мальчика лет 13—14, и который получил инструкции от своего умного хозяина. «Боже, и он управляет мнением России». Но, конечно, несколько тысяч таких мальчиков в России более создают «умственное настроение в России», нежели любой министр.

Это — одно, что я осязательно знаю. Другое, о чем мне приходилось слышать, — кружки и союзы «взаимной рецензии». О книге, одной и той же, вдруг появляются рекомендующие рецензии в ряде видных газет — и репутация создана. Или — рецензий хающих, и репутация уронена. Между тем подспудное объяснение лежит в том, что книга написана одним «из наших» или кем-нибудь «из ненаших».

«С другой стороны, — продолжает Г. Абрамович, — засилие бездарности совершалось под флагом общественной тенденции, общественного служения; под старыми почтенными знаменами, призывавшими не к служению слову и чистой идее, а к задачам практического строительства, собирались работники и самоотверженные воины политического служения. И здесь же прикрывались фарисеи слова и общественной мысли — тупой балласт, повторяющий общие места, но зато с беспощадной злобой набрасывавшийся на все попытки оригинального творчества и своеобразной мысли.

И это понятно: оригинальность и талантливость враждебны самому принципу существования этой групповой бездарности, прочно засевшей в некоторых органах нашей журналистики и занявшей здесь воинственную позицию по отношению ко всему, что отмечено даром слова и идеи.

В этом отношении прямой и безусловный грех по отношению к развитию русской художественной литературы — лежит на наших органах политической и общественной мысли.

Причем многие из них совершали этот грех, как некое общественное служение, подкладывая дров в костер, на котором сжигали художников с чувством исполняемого долга, с приятным сознанием своего рвения и труда.

У нас издавна установилось такое положение вещей, что малейшее указание на грехи радикальной прессы и радикальных общественных групп влечет за собой обвинение в ретроградстве и черносотенстве. Аргументация оппонентов заменяется выпадом и обвинением в защите черных дел черносотенства».

Он указывает, что в современной литературе появилось несколько крупных произведений, которые произвели «переоценку нашего

интеллигентского уклада, заставили выросшее общественное сознание считаться с правом критики и самокритики, с жесткостью указаний на бесчисленные недоразумения, которые скопились в недрах нашего хаотического, громоздкого обывательско-интеллигентского уклада. В числе этих вопиющих недоразумений и пятен будущий объективный историк русской культуры, выводы и положения которого и не сняты нашим маститым исследователям современности, укажет и на грехи по отношению к развитию русского искусства и русской интимной художественной, эстетической, религиозной и философской мысли». Этот будущий историк литературы укажет, что, в силу сложившегося положения наших государственных дел, влиятельнейшие органы нашей журналистики стояли стражей у входа в русскую литературу, загораживая дорогу художнику и независимому мыслителю, и вынуждали его молчать.

Кто не помнит картину художника Новоскольцова «Кончина митрополита Филиппа»? В то время как Святитель стоит на коленях перед образом, держа в руке зажженную свечу, в узкую дверь кельи пролезает зверская фигура Малюты Скуратова. И вот тут больше всего бросается в глаза тупое лицо палача: о, он не нервный, не злой, не болезненный человек. Но он — ничего не чувствует! Что же ему делать, если он ничего не чувствует? Задушить ли ему курицу или человека, ребенка или щенка — нет разницы. Вот рок подобной духовной тупости, клеймо акритицизма, если можно так выразиться, — несли на себе все эти Зайцевы, Скабичевские, Протопоповы. Тут несчастье не в них, которые брались за критику, а порой в журналистах, которые предложили им быть критиками. Под влиянием-то этих критических Скуратовых совершилось то, что, например, в семидесятых и половине 80-х годов прошлого века сочинений Пушкина нельзя было найти в книжных магазинах. Я помню эту пору: в магазинах отвечали — «не держим, потому что никто не спрашивает!» Невероятный этот факт я пережил в пору моего учительства в гимназии. В ученической библиотеке были лишь учебные издания некоторых произведений Пушкина: «Каменный гость», «Скупой рыцарь» — кажется, с разъяснениями педагога Гарусова. Я, будучи библиотекарем этой маленькой библиотеки, предложил педагогическому совету выписать «Полное собрание сочинений Пушкина».

Другие, старше меня учителя, возражали, что их не продается. Я все-таки настоял хоть попытаться. Послали в Москву требование. В Москве Пушкина не нашлось. Г-н Абрамович повторяет то же о более поздней эпохе, которую он помнит:

«Русское искусство травили, вырывали ростки, заглушали начинания, причем дело этого заматывания поручали именно тем глухим и слепым в области литературы, которые в силу своей идейной и художественной слепоты, своего литературного кретинизма и могли быть литературными палачами.

Пишущий эти строки помнит удушье — подлинное удушье 90-х годов, когда каждый, кто чаял движения не одной только политической

мысли, но также и широких областей духовной культуры, художественной, интимно-философской, задышался, потому что невозможно было вдохнуть глотка воздуха, свободного от засилья нашей средней, лишенной вдохновения, жертвенности и огня радикальности. Мы боролись, с одной стороны, и были тюремщиками, с другой. Мы возжигали свет в одной области и тушили в другой. Закрывать на это глаза, молчать об этом — может только трусливая бездарность, не верящая в свободное развитие русской культуры».

А что — не кончить ли русскою поговоркой: «Что Бог ни делает — все к лучшему». Повторения подобного фазиса «критики» едва ли можно ожидать в будущем; вместо «погребения» Пушкина, Тютчева, Фета получилось вящее их прославление — прославление, увенчание, возвеличение. И между тем позади лежит горький опыт: чего стоит вообще для духа нации и наций грубейшее торжество материалистических, позитивных учений, связывающихся всегда с сухим и жестким политическим радикализмом.

Была оспа. Мы ее выжили. Второй оспы не будет.

И именно от этой болезни, в общем-то смертельной, мы не умрем. Вот где добрая сторона Шелгуновых, Скабичевских, Писаревых и всего натиска 60-х годов... Подобное им — не страшно уже в будущем.

«Святость» и «гений» в историческом творчестве

Я еще несколько остановлюсь на темах книги Н. А. Бердяева, имеющих самое тесное отношение к религии и Церкви. В одном месте он поднимает вопрос, как бы чуждый с первого раза уху христианина, но в который в конце концов христианин должен вслушаться. Он поднимает вопрос о Серафиме Саровском и о Пушкине — перед лицом земли, во-первых, и перед Лицом Божиим, во-вторых.

Вот эта страница, и она так ярко сказана, что только затенили бы ее, пересказывая другими словами.

«В начале XIX века жили величайший русский гений — Пушкин и величайший русский святой — Серафим Саровский. Пушкин и св. Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались. Равно достойные величие святости и величие гениальности — несопоставимы, несоизмеримы, точно принадлежат к разным бытиям. Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина и святостью Серафима. И одинаково обеднела бы она и от того, что у нее отняли бы Пушкина, и от того, что отняли бы Серафима. И вот я спрашиваю: для судьбы России, для судьбы мира, для целей Промысла Божия лучше ли было бы, если бы в России в начале XIX века жили не великий св. Серафим и великий гений Пушкин, а два Серафима,

два святых — св. Серафим в губернии Тамбовской и св. Александр в губ. Псковской?».

Нужно заметить, всеми этими «если бы» не весьма остроумный Бердяев предполагает одинаковых двух святых, повторяющих один другого, и тем уже подсказывает или внушает ответ: «разумеется, лучше иметь разное, ибо при этом мы становимся богаче». Но если на место повторения поставить разное? Например, поставить Иоанна Дамаскина в Псковской губернии? И Бердяев и целый мир смутились бы при вопросе: откуда идет больше лучей — и, главное, лучей, утешающих человечество, необходимых ему, — от Иоанна Дамаскина или от Александра Пушкина?

«Если бы Александр Пушкин был святым, подобным (да зачем «подобным»? в этом вся острота и вместе <с тем> вся неудача вопроса) св. Серафиму, он не был бы гением, не был бы поэтом, не был бы творцом (почему? почему?!). Но религиозное сознание, признающее святость, подобную Серафимовой, единственным (! А Златоуст и его «Слово на день Св. Пасхи»?) путем восхождения, должно признать гениальность, подобную пушкинской, — лишенную религиозной ценности, несовершенством и грехом. Лишь по религиозной немощи своей, по греху своему и несовершенству был Пушкин гениальным поэтом, а не святым, подобным Серафиму. Лучше было бы для божественных целей, чтобы в России жили два святых, а не один святой и не один гений поэт».

Да уже из наших поэтов мы можем назвать Лермонтова в некоторых немногих его стихотворениях — «По небу полуночи», «Ветка Палестины», «Я, Матерь Божия» — возвышающимся до чисто религиозного духа, почти до церковного духа. Кто из духовных авторов, из священников не повторит с умилением этих стихов — как Кольцов свой стих:

Но жарка свеча
Поселянина
Пред Иконою
Божией Матери...

В словах Бердяева — тон дурного обвинителя, плохая юридическая, почти каверзная складка. Он натягивает слова и аргументы на предрешенную в уме своем тему, на предрешенный тезис.

«Дело Пушкина не может быть религиозно оценено, ибо гениальность не признается путем духовного восхождения, творчество гения не считается религиозным деланием. «Мирское» делание Пушкина не может быть сравниваемо с «духовным» деланием св. Серафима. В лучшем случае творческое дело Пушкина допускается и оправдывается религиозным сознанием, но не опознает в нем дела религиозного. Лучше и Пушкину быть бы подобным Серафиму, уйти от мира в монастырь, вступить на путь аскетического духовного подвига. Россия в этом случае лишилась бы величайшего своего гения, обеднела бы творчеством, но творчество гения есть лишь оборотная сторона греха и религиозной немощи. Так думают отцы и учителя религиозного искупления».

Да ничего подобного! И именно отцы Церкви вовсе так не думают: можно бы привести цитаты, но кто знает писания их — держит в уме эти цитаты.

«Для дела искупления не нужно творчества, не нужно гениальности — нужна лишь Святость. Святость творит самого себя — иное, более совершенное в себе бытие. Гений творит великие произведения, совершает великие дела в мире. Лишь творчество самого себя — спасает. Творчество великих ценностей — может губить. Св. Серафим ничего не творил, кроме себя, и этим лишь преображал мир. Пушкин творил великое, безмерно ценное для России и для мира, но себя не творил. В творчестве гения есть как бы жертва собой. Делание святого есть прежде всего самоуправление. Пушкин как бы губил свою душу в своем гениально-творческом исхождении из себя. Серафим спасал свою душу духовным деланием в себе. Путь личного очищения и восхождения (в иогизме, в христианской аскетике, в толстовстве, в оккультизме) может быть враждебен творчеству».

«И вот рождается вопрос: в жертве гения, в его творческом искуплении нет ли иной святости перед Богом, иного религиозного делания, равнодостоинного канонической святости? Я верю глубоко, что гениальность Пушкина, перед людьми как бы губившая его душу, перед Богом равна святости Серафима, спасавшей его душу. Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и равнодостоинный пути святости. Творчество гения есть не «мирское», а «духовное» делание. Благословенно то, что жили у нас святой Серафим и гений Пушкин, а не два святых. Для божественных целей мира гениальность Пушкина так же нужна, как и святость Серафима. И горе, если бы не был нам дан свыше гений Пушкина, и несколько святых не могло бы в этом горе утешить. С одной святостью Серафима без гения Пушкина не достигается творческая цель мира. Не только не все могут быть святыми, но и не все должны быть святыми, не все предназначены к святости, святость есть избрание и назначение. В святости есть призвание. И религиозно не должен вступать на путь святости тот, кто не призван и не предназначен. Религиозным преступлением перед Богом и перед миром было бы, если бы Пушкин в бессильных потугах быть святым перестал творить, не писал бы стихов. Идея призвания по существу своему идея религиозная, а не «мирская», и исполнение призвания есть религиозный долг. Тот, кто не исполняет своего призвания, кто зарывает в землю дары, совершает тяжкий грех перед Богом» (с. 164 и сл. книги «Смысл творчества»).

Страницы очень слабые и, можно сказать, газетные, а не книжные. Они исполнены духом ежедневности и совершенно вне широкого горизонта истории. О чем говорит автор? Хочет говорить о христианстве, которому девятнадцать веков, а говорит на самом деле об одном XIX веке. Примеры Пушкина и св. Серафима сперли ему горло, у него образовался «зоб», и покрасневшими глазами он ничего не видит, а вместе с тем и не умеет дышать. А историческая деятельность и великие

слова Иоанна Златоуста? — на Западе Амвросия Миланского и св. Франциска тоже дела и слова? — а словесный и умственный подвиг блаженного Августина и Оригена? Наконец, ведь «канонизирован» богословец и пророк Моисей, и его изображения есть в наших церквах, а история его проходится во 2-м классе гимназий на уроках нашего «Закона Божия»? Что, если взять «подвиг и избранничество Пушкина» с его mademoiselle Гончаровой и mademoiselle Керн — и придвинуть эти подвиги к изводу из Египта целого народа, в рабстве находившегося? А псалмопевец Давид, тоже «канонизированный»? Бердяев совершенно не знает, вернее, не помнит «канона», который весьма широк, ибо обнимает океан-Церковь с ее совершенно бесконечным и совершенно всесторонним творчеством. Он взял кусок синодального периода русской Церкви — специально-чиновнического ее устройства, когда Церковь отодвинута была от жизни и соучастия, ей и спастись можно было только в лесах, в пещерах, тогда как прежде «спасались» и стяжали «венцы святости» в Александрии, в Риме, в Константинополе, стяжали ее иногда в борьбе с царями, однако — не революционной, а — католической. Он взял век кургузых пиджаков, когда и великий поэт — с силою творить как Данте — погряз и грешно погряз в волокитство, в «картишки» и в мундир камер-юнкера. Он взял специфически святую эпоху, не религиозную, не церковную — когда Церковь «называлась по имени», но поистине называлась и чтилась «всуге», на устах; а на деле и в сердце — ничего церковного не было, ничего не было религиозного. «Пиджаки», а не «мантия», после которых скоро наступила «рабочая блуза», и еще с социал-демократическим оттенком, — на место «гражданской тоги». Эпоха вицмундира и кургузости во всем, во всем... И на этом-то узеньком поле Бердяев судит мировые вопросы, под освещение, идущее от этого жалкого века — жалкого из жалких, он подводит центральные вопросы христианства!

Я вскользь упомянул о Данте и его «Божественной комедии», еще важнее ссылка на Иоанна Дамаскина и те надгробные слова, которые словами этого христианского поэта произносит над каждым усопшим Церковь. Какое сравнение тем и сюжетов с теми «ямбами» и «хорейями», какие — пусть гениально — слагал Пушкин. Да сам Пушкин! — сам! — ни на минуту не задумался бы кинуть и свои поэмы, и стихи к подножию той высоты, на которой стоят песнопения Дамаскина около горя людского, около ужасов смерти и погребения, о коих рыдает и терзается всякая тварь. Пустой век — религиозно-ничтожный век, — и он пахнул своей пустотой на гений и Пушкина. И вот к этому-то только — к умалению величия поэтического в самом Пушкине — относится возможное слово «грех», которое совершенно уместно в отношении Пушкина. Он писал «грешную поэзию», потому что он мог бы писать неизмеримо высшую поэзию, и он прожил не только «грешную», но «греховодническую жизнь», вместо того чтобы выразить гений и силы свои в мистическом подвиге.

Повторяем, все рассуждение Бердяева — слабо. Им написаны дурные страницы. Но тема этих страниц — необыкновенно важна. Только ее надо выразить иначе. Он спрашивает: «В рамках церковного идеала святости выразимо ли всякое историческое творчество?»

Тут удобнее вместо Пушкина взять Петра Великого. Стихи Пушкина легко поколебать ссылкой на Данте, Дамаскина и на арфу Давида, где поэзия есть и не отвергнута, но возведена в еще высшую степень через указание ей церковного типа, религиозного стиля. Но что мы сделаем с политикой?

Здесь разрешение вопроса тоже не в пользу Бердяева. Если взять кровь, пролитую преобразователем, — кровь и сына, и стрельцов, и вообще людей «старого покроя», то самый яркий его апологет не опровергнет, что «возможно было бы иначе», и пожалеть, что этого «иначе» не было устроено. Таким образом, и о Петре можно ответить, что он достиг бы неизмеримо большего величия личного и неизмеримо большего успеха исторического, если бы не так торопился, не так спешил и, обобщенно скажем, — если бы он больше внимал, пожалуй, не словам духовенства своего времени, но в самом себе больше нес духа церковного и силы церковной. Здесь уместно вспомнить и Юстиниана Великого, творца «Святой Софии» и, главное, законодателя, давшего миру «Corpus juris civilis», — до сих пор основу всякого права и законодательства в Европе, и монарха Карла Великого, а особенно уместно вспомнить опять-таки «спасительный подвиг» «канонического» пророка Моисея. Через полтора столетия дело Петра Великого расплылось и выродилось в нигилизм; «нигилизм» бесспорно в отдаленном источнике восходит к Петру Великому, ибо совершенно точно несет в себе все зерна его идей, пафоса, условий, смеха и самодурства. «Всеобщий собор» недалеко ушел от «коммунальных квартир» 60-х годов — и ни которым нельзя отдать первенства и преимущества. А почему? «Не смотрели на Небо»... Моисей «посмотрел на Небо»: и строй жизни, данный им народу, не «распылился» и через 2,5 тысячи лет, а все по-прежнему охраняет народ, все по-прежнему держит и поддерживает его.

Таким образом, говоря обобщенно, «стиль церковный», т. е. это вот «взирание на Небо», решительно не сковывает никакого человеческого творчества, но всякому творчеству оно придает необыкновенно прочный характер, фундамент. Все выходит массивнее, тысячелетнее. Но все-таки, может быть, и тут дан вопрос — пусть «ущемленный» вопрос — писклявым голосом.

«Все же, однако, ведь появилось Возрождение?! Почему-то оно появилось... А за ним — эпоха великих открытий, XVII век, XVIII век, революция и вот мы? Ведь какое же было для всего этого основание? Ведь не беспричинна же история?»

Вопрос есть — и он очень страшен. Он, по-видимому, состоит в том, что требуется им чрезвычайное расширение идеала церковного, расширение его даже за врата Моисея, Давида и Соломона... Куда же?

В Фивы, в Грецию, в языческую Грецию и в тоже языческие Фивы? Не смеем сказать, не решаемся сказать. Не знаем. Или, наоборот: чтобы решительно все творчество, в том числе и греческое, и отеческое и, наконец, даже Моисеево — ветхозаветное, как-то перекроить по-новому — «вдвинуть» в «стиль христианской» Церкви?

Тут действительно бьется пульс истории, и не находим — «куда дышать», «как дышать». Глубочайшее дело, по-видимому, заключается в том, чтобы шире, нежели до сих пор, — шире неизмеримо — разработать весь мир категорий, восходящих к «Отчей Ипостаси» пресвятой Троицы и к «Ипостаси Святого Духа» этой же Троицы. Но сейчас у меня мелькает еще одно маленькое затруднение. По-видимому, есть «творчество», нерелигиозное по существу. Это — смех. Сатира, комедия, балаган, шутка, «мимы», Аристофан и Гоголь, Вольтер и «вольтерьянцы» — все это как-то «без Бога» и «вне Бога». И кажется, нет силы небесной, которая могла бы это просветить.

О-светить — можем. «Видно».

Про-светить — совершенно не можем.

Это какое-то изначальное зло в мире, и я не умею «объяснить» его кроме как из дьявола.

Мир весь серьезен. В мире совершенно нет ничего несерьезного. И поэтому смех как-то а-мирен, — как мы говорим: «есть а-моральное», есть «а-теистическое». А-мирен смех, и поэтому он умаляет творение, он крадет у Бога нечто, именно «все осмеиваемые вещи», ввергая их в небытие. Тут бес и козни его. Очаровательные козни. Ибо ведь смех-то часто бывает и упителен.

— Фу, демон, сгинь!!!

А как ему сгинуть. Ныне — больше и хуже: как же бедному человеку иногда обойтись без смеха? Трагедия в том, что человек иногда безмерно устает, — и «вот тут бы немного смеха». Смех как нападение — я не понимаю вовсе. Этого вовсе и не надо, никогда не надо и ни у кого не надо. «Козни и дьявол». Но вот обстоятельство: «мы очень устали». Например, в свою римскую историю римляне до того устали, до того утомились совершенною серьезностью от Коллатина до Катона, что... я думаю, они даже умерли, собственно, не от варваров, а от усталости быть вечно только серьезными. «Попробуйте 653 года писать или читать только единственную одну «Божественную комедию»... С ума сойдешь. Руки опустятся. Умрешь.

«И вот тут бы комедии...» У римлян всегда это не удавалось или было ничтожно... «Не смешны их комедии...»

Тут бы Аристофана, «Похождения Чичикова», забавы Фонвизина... И лет на сто еще хватило бы жизни.

Я здесь не умею ничего сказать, кончая рассуждение на мысли, что «начало смеха», «принцип смеха», по существу, и изначальное зло, недостойн и «в ризу не надеваем». Он «не входит в ризу». А Церковь — «в ризе». Она вся трагична и серьезна. Да и задача и сердцевина таковы:

Церковь — «около серьезного человечества, в человечестве», ну и как тут шутить, смеяться. Она ведь — около родов, около смерти, около просветления души, около «тайнств», ну — и около массивного в человеческих делах, в человеческом житии. «Церковь» и «история» до того близки, что неудивительно, что «история излагалась раньше всего — Церковью». «История Ветхого Завета», «История Нового Завета» и около этого как подробность и «мелочь» — история царств. «Краткий очерк политических событий».

И тут, конечно, входит и поэзия, и трагедия. «Поэмы» обильно текут. Но «водевиль» не входит. Итак, вот где мельчайший бес, какой-то «клопик» зла.

Да еще бедная человеческая усталость...

О Лермонтове

Прочел статью о Лермонтове — Перцова, Вильде... И опять этот ужас в душе о ранней его смерти. Всегда, беря томик Лермонтова в руки, просовываешь палец в страницу, где поставлено: «1841» (год), и другой палец, где — конец всему. И тоскуешь, тоскуешь об этих недожитых месяцах 1841 года. Ибо, видя, какие он вещи сотворил в *прожитые месяцы — 1841 года*, чувствуешь, что уже к 31 декабря 1841 года мы увидели бы нашего орла совсем в другом, чудном оперении.

Ах, Господи,— что случилось...

Но вот, что нужно решить общему русскою душою о несчастном, о трижды несчастном Мартынове. Нужно его простить *общему русскою душою*. Ибо он так же несчастен, как Лермонтов. Убийца несчастнее еще убитого. Ведь он нес в душе 40 лет сознание «быть Каином около Авеля», нес в душе еще более страшную муку: что никогда, никогда имя его не позабудется, и не забудется с проклинаяющим присловьем, так как не забудется никогда имя Лермонтова с благословляющим, благодарящим около себя чувством и словом. Назовут Лермонтова — назовут Мартынова, фатально, непременно. Одного благославят, другого проклянут. Об одном скажут: «Был гений и надежда России», о другом: «Безнадежная тупица». Носить это сорок лет в душе и ни на один день этого не забыть, от этой мысли не избавиться — это такое ужасное наказание, страшнее которого вообще не может быть.

«Что бы вышло из Лермонтова»? — хорошо пишет Перцов, но кажется недостаточно. Ведь нельзя же отрицать по «началу очерка», по «двум-трем взмахам крыл», что за Пушкиным — я чувствую, как накинута на меня за эти слова, но я *так* думаю — Лермонтов поднимался неизмеримо более сильною птицею. Что «Спор», «Три пальмы», «Ветка Палестины», «Я мать Божию», «В минуту жизни трудную», — да и почти весь, весь этот «вещий томик», — словно золотое

наше Евангелище.— Евангелище русской литературы, где выписаны лишь первые строки: «родился... и был отроком... подходил к чреде служения...» Все это гораздо неизмеримо могущественнее и прекраснее, чем «начало Пушкина»,— и даже это впечатлительнее и значащее, нежели сказанное Пушкиным и в *зимних годах*. «1 января» и «Дума» поэта выше Пушкина. «Выхожу один я на дорогу» и «Когда волнуется желтеющая нива» — опять же это красота и глубина, заливающая Пушкина.

Пушкин был обыкновенен, достигнув последних граней, последней широты в этом обыкновенном, «нашем».

Лермонтов был совершенно необыкновенен; он был вполне «не наш», «не мы». Вот в чем разница. И Пушкин был всеобъемлющ, но стар — «прежний», как «прежняя русская литература», от Державина и через Жуковского и Грибоедова — до него. Лермонтов был совершенно нов, неожидан, «не предсказан».

Одно «я», «одинокое я».

Странная мысль у меня мелькнула. И вытекла она оттого, что Лермонтов был деловая натура. Что в размеры «слова», она бы не уместилась. Но тогда куда же? «В Кутузовы» бы его не позвали, к «Наполеону» — не сложилась история, и он бы вышел в самом деле «в пророки на русский лад». Мне как-то кажется, что он ушел бы в пустыню и пел бы из пустыни. А мы его жемчуг бы собирали, собирали в далеком и широком море,— умилялись, *слушались и послушались*.

Мне как-то он представляется духовным вождем народа. Чем-то, чем был Дамаскин на Востоке: чем были «пустынники Фиваиды». Да уж решусь сказать дерзость — он ушел бы «в путь Серафима Саровского». Не *в тот именно*, но в какой-то *около этого пути лежащий путь*.

Словом:

Звезда.

Пустыня.

Мечта.

Зов.

Вот, что слагало его «державу». Ах, и «державный же это был поэт»! Какой *тон*... Как у Лермонтова — *такого тона еще не было ни у кого в русской литературе*.

Вышел — и владеет.

Сказал — и повинуются.

Пушкин «навевал»... Но Лермонтов не «навевал», а приказывал. У него были нахмуренные очи. У Пушкина — вечно ясные. Вот разница.

И Пушкин сердился, но не действительным серженьем. Лермонтов сердился действительным серженьем. И он так рано умер! Бедные мы, растерянные.

Да вот что я хотел сказать:

Никакой «Войны и мира» он бы не написал, и не стал бы после Пушкина и «Капитанской дочки» рисовать Екатерининскую эпоху.

Да и вообще — *суть* его не сюда клонилась. Это было «побочное» в нем — то, что он «умел» и «мог», но не что его влекло. Иные струны, иные звуки — *суть* его.

Нет, я не Байрон, я другой
Еще неведомый избранник...

Байрон с его выкрутасами не под стать серьезному и чистому Лермонтову. Лермонтов был чистая, ответственная душа. Он знал долг и дал бы долг. Но как — великий поэт. Он дал бы канон любви и мудрости. Он дал бы «в русских тонах» что-то вроде «Песни Песней», и мудрого «Екклесиаста», ну и тронул бы «Книгу царств»... И все кончил бы дивным псалмом. По многим, многим «началам» он начал выводить «Священную книгу России».

Ах, Мартынов, что он сделал! Бедный, бедный Мартынов! «Миша» ему бесспорно простил («прости меня, Миша»), да и мы ничего не помним, а только плачем о себе.

Час смерти Лермонтова — *сиротство России*.

К кончине Пушкина

(По поводу новой книги П. Е. Щеголева
«Смерть Пушкина»)

Все так и *было*, как *было*, — и оттого, что А. С. Пушкин вступил в марьяж с Н. Н. Гончаровой, звезды не изменили своего течения и *все осталось по-прежнему*:

Пушкин — величайшим русским поэтом, но до излишества игривым.

Гончарова — первой красавицей Петербурга, которая также хотела... также «не могла не использовать» свою красоту и годы, — «дар небес единственный у нас», — как Пушкин не мог не использовать своего гения, своей силы стихов...

Барон Геккерн был дипломатом, и «что же — ему было перестать быть дипломатом?»

И Дантес — очень красивый кавалергард.

Каждая планета «текла по пути своему». И было бы хорошо. А «встретились» — кавардак. Но кто их «встретил»? Увы, марьяж Пушкина.

Его воля. Его первый шаг — «изменить судьбы». Они, конечно, не изменились. И он погиб.

Все до такой степени ясно, что, собственно, нет никакой нужды тратить годы жизни, — П. Е. Щеголев потратил 15 лет на «изыскания», — чтобы еще подобрать и выцарапать откуда-нибудь документ для «объяснения дела», которое ясно ослепительной ясностью в самом себе. И даже мелкие документы, написанные и недописанные записочки, дневники Жуковского «начерно» и «набело» (у П. Е. Щеголева приведены

одни и другие) — все это скорее может «случайным неверным тоном» на минуту (ведь, бывает, случается при написании письма взять *неверный на минуту* тон) ввести биографа в ошибку против действительности, — которая именно в *этом* случае гибели Пушкина так разительна, так разительно полна, — и именно «полна», в общем своем сложении, в общем своем портрете, что, право же, «частности» не интересны; не интересно, что Наталья Николаевна «говорила» или «щебетала» Пушкину об ухаживаниях Дантеса, — как будто не только она, но и кто бы то ни было другой мог ответить на такие вопросы мужа как-нибудь иначе, нежели ответила она...

Мне кажется, самое уважение к имени Пушкина, — уважение и благоговение, — нудит именно не поднимать и не пересматривать этой истории. Не называть еще имен, то дорогих ему, то ненавистных ему. Вот уж где именно должно «посыпать землей забвения».

— Могила. Умерло. Расходитесь, господа, нечего ждать.

Совершенно «ничего». Никакой загадки. Ничего тайного.

Из всей завязавшейся грязи «около бывшей Н. Н. Гончаровой», — в самом же начале, когда она начала только завязываться, Пушкину было естественно и легко увести ее в село Михайловское — и переждать здесь года 2—3. Он написал бы великие творения — для России и для истории; она бы успокоилась; да и прошли бы года, эти особенные и жгучие «около 30». Отчего же он этого не сделал, когда решение было «в его руках» и лежало «перед его глазами»?

Отчего?

Отчего?

Да «не было написано в звездах». Потому что Пушкин *не так* «родился». Как и Дантес, и Геккери, и Наталья Николаевна — родились все и каждый «по-своему». Нимало «не сообразуясь с Пушкиным», — как и он родился «не для жены своей и не для этого общества».

Но вошел в это общество. О чем судить? Как рассуждать? Не «общество вошло в Пушкина и помешало ему жить», а «Пушкин вошел в развращенное общество — и погиб». Как тут судить и кого?

Сказать ли, наконец, последнюю и истинную причину гибели Пушкина? Причину не феноменальную, не зависящую от случайностей, а причину ноуменальную, вот это — «в звездах».

Из писем Пушкина к жене П. Е. Щеголев привел одно, где он говорит о ней, жене своей, и об ее ухаживателях. В академическом ученом издании можно было поместить письмо целиком, хотя и тут пришлось поставить четыре точки после шестнадцатой буквы алфавита. В газете же невозможно даже и передать смысл письма. Невозможно намекнуть, невозможно сказать о нем «стороною» и «отдаленно». В подлиннике Пушкин, конечно, написал без точек, а всеми буквами. Жена прочла. Запомните, жена... не кокетка на бульваре, не тротуарная девушка, не коридорная девушка в наихудшей гостинице...

Пушкин написал ей «суть дела», «суть позывов», суть «ухаживаний за нею». Знаете: кому так написано, с кем можно говорить такими

словами,— тот именно этими словами и позволенностью таких слов с нею освобождается на все поступки, на всякое поведение, он получает «полную волюшку», совершенно как трактирная девушка. И вот в этом и заключается вся суть дела. Совершенно напрасно было судить барона Геккерна за «сводничество», совершенно напрасно было судить Дантеса за ухаживание, когда, так сказать, в атмосфере и «дыхании» этого письма и «таких вообще тонов разговаривания с женою» совершенно ничего иного и не могло быть,— *это* же должно было возникнуть с «Геккерном или с другими», «с Дантесом или с прочими». «Не Сидор, так Иван». Господи, о чем было писать книгу? Щеголев напрасно потратил силы. Дело именно надо засыпать землицей.

Не надо даже напоминать и о Михайловском. Пушкин мог *обжечь* Наталью Николаевну, да и *отжечь* всех ухаживателей, если бы он сказал ей «несколько сухих слов».

«Несколько сухих слов»? — Ну, тогда бы он «не был Пушкиным». Тем Пушкиным, у которого во всех восьми томах нет «ни одного сухого слова».

Что же было? Что случилось? Ах,— ну, вот и случилось, это несчастье, что по моментальной влюбчивости, по влюбленности («вот этою зимою» в «богомольную красоту», но чисто телесную, великий поэт выбрал себе *одну жену*, единственную и на всю жизнь *жену*, когда он был пантеистом любви и носил в себе «любовь» всех типов и степеней, всех форм и температур; до такой степени, что даже о толпе «ухаживателей за нею» он заговорил не тоном Отелло, единственно доступным ограниченному и вместе бесконечному в любви Отелло,— а заговорил «как Пушкин», написавший известные характерные сцены с беглыми монахами в «Борисе Годунове».

«Все произошло в высшей степени незаметно и случайно». Не сказавший ни одного «сухого слова» Пушкин как-то неувлочно и постепенно вошел, именно как «пантеист любви»; в эту богему легких ухаживаний и легких побед, легких «падений», и «вставаний»,— больше смеясь, больше шутя, когда естественно было с первого же шага оскорбиться и заговорить «сухими словами». С этой неизъяснимой и гениальной увлекаемостью — «на какую был способен один Пушкин»,— он и на завертевшийся вихрь около его глаз посмотрел,— и очень долго смотрел,— не как муж, а как художник. Да, нужно читать его письмо,— это его все разъясняющее письмо. «Это всегда так бывает на свете, что за одной собакой бегают много собак». Нет, хуже: нужно читать письмо. Оно передано так физиологично... И, между тем, в стихах, читаемых итальянским импровизатором в «Египетских ночах», есть параллель этому убийственному письму,— параллель великолепная, гордая, неизъяснимая. «Пушкин все мог». И равно постигнуть Дездемону и горничную, Татьяну и графа Нулина.

Это пантеизм. Но Пушкин не был бы Пушкиным, он был бы только «подражателем Пушкина», если бы о «горничной Татьяны» не говорил

так же «всласть», как о Татьяне. Помните в «Сценах из рыцарских времен» грубую шутку об изменяющей мужу жене. Удивительно.

Нет, он был пантеист. Вообще — всего, но особенно любви.

Ограниченной, недалекой Наталье Николаевне, естественно, было не найти в своем муже *средоточия*, — когда и для потомков-то его это *средоточие* не ясно, а в глубине вещей... «пантеизма и не было бы, если бы в нем было *средоточие*, центр». «Пантеизм», «периферия». «Бог во всем, в каждой *точке* мира» — это так же прекрасно, как и «одно Солнышко на небе». Никто не определил, что краше и истиннее, что выше — «звездное небо» или «солнечный день». Мы — мучаемся, мы — не знаем. И Наталья Николаевна «так сама собою и вплыла» в этот пантеистический взгляд мужа, что «иногда трактирная девушка нравится так же, как богомольная Мадонна».

— До брака вон какие стихи он писал обо мне. А теперь пишет такие письма. И оба пишет со сластью. Где же истина? Где, наконец, «он, мой Александр Сергеевич»?

— Где, наконец, муж?

Около такого пантеиста-мужа жена, естественно, чувствует себя безмужнею. И нельзя не обратить внимания, что та александровская эпоха была вообще какою-то безмужнею, безженною, а скорее — универсально-любовническою. Я как-то рассматривал в «Мире искусства» эскиз одной работы В. А. Серова. Чей-то «выезд» на «прогулку», — был и экипаж, и верховые. И вот в позе этих «верховых», — особенно в приподнятых нервно коленях и в счастливых, юных, смеющихся лицах, — было столько «ухаживанья», точно в глазах этих высоких особ не было «пяти частей света», а лежала одна необозримая «часть света», именуемая «Любовью». Я сказал что-то в этом роде С. П. Дягилеву, редактору журнала и основателю выставок «Мира искусства». Он мне ответил об эпохе этой и последующей, т. е. Александра I: «Это было время, когда никто не мог назвать с уверенностью своего отца и мать. Измены были до такой степени всеобщи, обыкновенны, что «не изменять» казалось чудом и тем, чего «нет и даже не должно быть». Опустив невольно глаза, я вздохнул: «Но ведь это, однако, и произвело всю *роскошь* эпохи». Катились сплошь два века Руссо и Вольтера, Эрмитажа и Академии Художеств; и всех этих работ Гваренги и Растрелли, глядя на которые замирает и до сих пор взгляд.

«Мы, «верные мужья своих жен», не умеем так строить. Почему-то не умеем. И — ни писать таких стихов, как Пушкин и Лермонтов. Есть связь талантов и чинов жизни. Мы имеем верных жен; но уже по гению универсальной поэзии тех дней, певших и Зелиму, и Зюлейку, и Татьяну, — певших на Западе Ленору, Лауру, — представилось бы чем-то совершенно невероятным и, наконец, совершенно ненужным, чтобы эти пантеистические гиганты имели монотеистических жен... Кто хочет быть Соломоном и писать, как Соломон, должен удовольствоваться «бедненькою Суламифью»... Была пара козлов и овечек... Просто

«Рафаэлевская пора», где не было наших экономических «дойных» коз и баранов, а такие особенные мифологические бараны и козочки, которые не доискивались «своего» и весь мир полагали блаженно «своим».

И судить нужно «ту эпоху», а не какое-нибудь лицо той эпохи. Всякий человек есть своего времени человек. Шла гениальная пора «после 12 года», когда мы были «первыми в мире», «спасали Пруссию», «спасали Австрию», «ниспровергали Наполеона». Как тут замечать «своих жен». В этот несчастный год завязалась другая сплетня: о графе Уварове, об ожидании какого-то «наследства» и о пользовании казенными дровами. Пушкин не удержал пера и написал варварски жестокие стихи о графе Уварове, не только министре просвещения, но и образованнейшем человеке своего времени. Уваров ответил ему так же мстительно. Один попрекал его «дровами», другой посмеялся... даже не над женою его, а именно над «козлом, имеющим рог более, чем полагается по природе». Было дело даже и не в ревности, и, наконец,— даже не в муже. Ибо раз «все жены изменяют,— как же не носить рогов?» И нечего бы коситься. «Все носим». Но вот, подите же: вмешался светский шик. «Хорошо. Рога. Но кто же об этом *говорит?*» «Говорить» не было принято. Чего говорить?? — Все вдруг заговорили об *одном*, с определенным *именем*. «Началась травля мужа и человека». Кому же до последней степени не ясно, что зерно дуэли Пушкина заключалось не в *измене* («была» она или «не была», об этом даже неприлично было бы стараться узнать) и отнюдь не в ревности, основательна она была или неосновательна, и ни в каком не «поведении Наталии Николаевны». Зерно было совершенно в стороне от этого: в том, что неосторожным стихотворением,— и зная хорошо, что «стихи Пушкина не забудутся»,— он поднял против себя травлю, он возмутил людей, весьма достойных. В «повод к травле» они взяли «что попало». Данный повод *был*, как и у всех. Но они «всех» не подняли на травлю, а одного Пушкина. Вот этого момента собственно *травимости себя* — он и не вынес.

К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова

(15 сентября 1891 г.—
15 сентября 1916 г.)

Двадцать пять лет прошло со дня кончины одного из величайших мастеров русского слова,— и вместе русской наблюдательности, русского ума, русского художественного воображения и словесной лепки фигур. Творец Обломова, «бабушки» и Веры не забудется и будет вечно читаться, конечно, пока вообще будут читаться русские книги,— пока на самой Руси будут читатели книг. Это редкий дар, редкий удел

для смертного человека,— жить и, умирая, знать, что его слово и поучительность его творений никогда вообще не умрут. Счастливый же город Симбирск, который около Карамзина, Языкова и отчасти Аксаковых дал еще и одного из основателей «реального романа». Как я слышал, около Симбирска находится знаменитый «обрыв», куда в гулливую погоду ездят молодые люди города, чтобы вспомнить Веру, Марфиньку, бабушку, Райского. И вообще симбирцы немножко греются около тени и около памяти великого старика.

Отчего такое творчество о ту пору? Реформ и преобразований не меньше теперь,— и столь же коренных, сколько их было о ту пору; а события идут еще несравненно крупнейшие. Но ничего не растет из земли, ничего не видно в литературе. Отчего?

Все очень разбились, раскололись. И нет того «русского человека», который бы думал общерусскую думу, думал о «всей России делах». Точно все замерли, вцепившись зубами в программы, сходя с ума по программам. При таком положении мы, очевидно, не только не дождемся, но и нечего дожидаться великого русского слова. Литераторов много, писателей нет. Нет горизонта, нет слова, нет металла. •Колокольчики везде звонят. Колокола нет, и, очевидно, в наших условиях он и не возможен.

«Обломова» все прочитали, но на обломовщину в жизни никто не оглянулся. Точнее, о ней начали очень много писать и этим-то именно и увлекли все дело в область журналистики, без того, чтобы тронуть дело. Нужно ли сколько-нибудь напоминать, что Обломовым и сопоставлением его с Штольцем Гончаров шестьдесят лет назад сказал слово, которое жгуче повторяется сейчас, но повторяется столь безумно запоздало. •Ах, вся русская история запоздала. Вот уж люди: все-то мы торопимся, спешим, топчемся. А в сущности это — суета дня, а не забота века. «Век русский» вовсе никуда и никак не движается (если еще не откатывается немного назад).

Вместо одного Штольца в России появились мириады Штольцев; Штольцы показались из всех щелей; и унесли из-под самого носа русских все русское дело, оставив им сон и сновидения. «Вы же, русские, мировая нация, и что же вам заниматься мелкими делами на Волге. Главным то образом ведь вы должны спасти человечество». Мы всё и спасали человечество. Бедные и «бездарные». Немцы у нас торговали, привозили нам нужные предметы и скупали у нас лишние земли. Обломов, который, собственно, нуждался в одной кушетке, считал почти все земли лишними, радовался водворению немца у нас и находил весьма естественным, что все переходит в руки немцу.

И вот эту почти всю «будущую Россию» за 60 лет Гончаров предсказал в своем спокойном, по внешности недвижимом, а на самом деле и внутри гениально деятельном уме. Ну и что же: предсказал, сказал, указал, прозвенело. Что же русские? Да «ничего же русские». Выслушали, прочитали, сказали: «ах, как хорошо пишет», и заснули.

«Не вставать же нам с дивана и не скидывать туфель». Художественная нация, что и говорить.

Нельзя здесь не сказать большого укора и правительству. В сущности — большой руль держит оно. Общество барахтается, кричит, «с правительством нимало не сообразуется», и даже все делает «в пику», — но большой руль все-таки у него. Гончаров именно Обломовым и Штольцем сказал ему колоссальной ценности, нужности, практичности истину. После «Мертвых душ» Гоголя — «Обломов» есть второй гигантский политический трактат в России, выраженный в неизъяснимо оригинальной форме, несравненно убедительный, несравненно доказательный и который пронесся по стране печальным и страшным звоном. Не чета пустячкам (сравнительно) и Макиавелли, и Монтескье, и *Contrat sociale* *. «Обломов» — вот русский «*Contrat sociale*»: история о том, как Илья Ильич не может дотащить до туфли, чтобы сходить «кой-куда», и так уже все естественное и неестественное валит кругом себя. Это был страшный звон для правительства, которое должно бы «вскочить». Увы. Правительство тоже имеет свою туфлю, и у всякого важного сановника есть все-таки своя «Обломовка». Вместо того чтобы вскочить, схватить арапник, — ну вытянуть сперва себя раз, другой и третий по спине, — а затем начать хлестать и вокруг, — оно прочло, сказала, что «хорошо», — «этот писатель у нас большой живописец», и принялось опять писать свои знаменитые «бумаги». И о том, чтобы мы знали больше латинских слов, и о том, чтобы не изучали естествознания, которое ведет к атеизму, и чтобы прилежно изучали «Ундину» Жуковского. В других департаментах — о том, чтобы чиновники являлись не позже 11 часов на службу, ибо в противном случае не успеют переписать бумаг.

Общество волновалось, хотело перевернуть свет и не умело очинить карандаша.

«Звону» звенеть напрасно, когда его слушает глухой.

Но те 8—9 томов, которые называются «Гончаров», останутся навсегда в числе «классиков русской литературы». Мне приходилось слышать, что более обаятельного образа, нежели Вера (в «Обрыве»), — нет еще в литературе; даже не было сказано ограничения — «в русской литературе». Слово так запомнилось (оно было сказано одним армянином) потому, что я сам близок к этому мнению, и когда, услышавши, осознал себя, — то тоже нашел в себе это впечатление чего-то абсолютно обаятельного, прекрасного, благородного. А, кстати, увековечена же русская девушка нашей литературой. Вот это ее крупная и вечная заслуга. К этому образу хочется приставить «Великую Бабушку», ее, Верину бабушку, и, хочется сказать, нашу общую русскую. Обломов — третий. И поищите в русской литературе, чьи изваяния равны этим монументам.

Заслуга эта великава. Еще бы: нельзя о «русском человеке» упомянуть, не припомнив Обломова, не приняв Обломова во внимание, не

* Общественный договор (*фр.*).

поставив около него вопроса, восклицания или длинного размышления. Таким образом, та «русская суть», которая называется русскою душою, русскою стихиею,— и которая во всяком случае есть крупный кусок нашей планеты и большое место всемирной культуры,— эта душа или стихия получила под пером Гончарова одно из величайших осознаний себя, обрисований себя, истолкований себя, размышлений о себе. «Гончаров» и «русский», как «Крылов» и «русские»,— это что-то неразделимое, неразделимое. «Вот наш ум», «вот наш характер», «вот резюме русской истории».

Кем-то в истории критики,— кажется, Михайловским,— было замечено, что все, что писал Гончаров, было *крупно*, т. е. многозначительно. Что мелких вещей, мелких заметок и «штрихов» он не писал вовсе. Это справедливо и выражает вообще монолитность его природы, важность, тягучесть и горизонтность его мысли. Мы все, погруженные в «партии», горизонтов России не видим. Мы спорим, кричим и «раздираемся на части», подробностями ее, частностями. Гончаров мог бы всем нам сказать: «Глупости.— Вот *что* важно».

Его статья о Белинском («Милльон терзаний») — как важна, и хотя бы Флексер и Айхенвальд, в «разделявании русских критиков», оглянулись на нее. Но Гончаров видел и чувствовал в Белинском «нашего критика», «своего русского человека и деятеля печати», до некоторой степени «основателя русского чтения, настоящего читанья русскими людьми книг»,— и эта заслуга для $\frac{1}{5}$ части земной суши до того перевешивает вопрос, читал ли Белинский в подлиннике Фихте и Гегеля, что нужно быть совершенно не русским человеком, чтобы не понять этого. До высоты и образования Айхенвальда и Флексера Белинский, конечно, не дорос, но он все-таки «кое-что» для нас. Статью Гончарова о Белинском следовало бы прочитать обоим нашим критикам-инородцам прежде, чем печатать свои неосторожности.

Я еще не сказал о его «Фрегате «Паллада»». Помните там сцену: капитан позвал Гончарова из каюты наверх посмотреть бурю. «Так красиво». Иван Александрович вышел,— я думаю, «выполз» наверх. Взглянул. Потерпел. И сказал капитану: «Отвратительно. Зачем же вы меня позвали?»

Качало, и ему было трудно стоять. Шумело и мешало ему слушать вечную внутреннюю гармонию. Брызгало,— и он не видел внутренним оком солнечных симбирских дней и мысленных берегов Волги-матушки. Гончаров был созерцатель, и отсюда горизонтность его мышления. В ответе Ив. Ал-ча капитану — весь он. Тихо и долго растут русские березоньки. И сок у нее сладкий. И такие светло-зеленые листочки, как, я думаю, ни у одного дерева в мире. И кора — голубиная, чистая, белая с точечками. Видал ли кто на свете белое дерево? Белое, как сахар, как платьице на девушке в Христов день. И вот весь он, наш Гончаров,— такая же красота, белизна и успокоение.

Вечная ему память.



1917

О Конст. Леонтьеве

Все-таки — ничего выше поэзии, ничего выше — в смысле точности, яркости контуров очерчиваемого предмета. И вот услышишь художественно вырвавшееся слово — и полетит душа за ним, и тоскует, и вспоминаешь.

По поводу исполнившегося 25-летия со дня смерти Конст. Ник. Леонтьева московское философско-религиозное общество назначило особое заседание, посвященное этому совершенно при жизни непонятому и непризнанному человеку, и на нем С. Н. Булгаков произнес речь, только недавно напечатанную; и в этой-то речи ему и удалось сказать о Леонтьеве несколько доходящих до глубины сердца слов, которые (я думаю) навсегда будут неотделимы от образа Леонтьева:

«К. Леонтьев заканчивает жизнеописание отца Климента Зедергольма (сын лютеранского пастора, перешедший в православие и умерший монахом в Оптиной пустыни) следующим волнующим аккордом: «Мне часто приходится теперь зимой, когда я приезжаю в Оптину пустынь, проходить мимо той дорожки, которая ведет к большому деревянному Распятию маленького скитского кладбища. Дорожка расчищена, но могилы занесены снегом. Вечером на Распятии горит лампадка в красном фонаре, и откуда бы я ни возвращался, в поздний час, я издали вижу этот свет в темноте,— и знаю, что такое там, около этого пунцового сияющего пятна. Иногда оно кажется кротким, но зато иногда нестерпимо страшным во мраке посреди снегов... Страшно за себя, за близких, страшно особенно за родину...» В этих словах Леонтьев как-то обнажил душу свою, нисколько не утешенную тишиною Оптиной пустыни, куда он причалил свой корабль под конец жизни, не умиренную ее миром, мятушуюся, неупокоенную. Древний ужас, *terror antiquus*, сторожит ее и объемлет. Зачем же, откуда, почему этот страх, здесь, в обители веры, у могилы друга? О чем этот надрывный вопль, невзначай вырвавшийся из раненого сердца? «О чем ты воешь, ветер ночной, о чем ты сетуешь безумно?» Тут чувствуется какое-то откровение о личности, снятие покровов, обнажение тайны: Леонтьев дал нам увидеть свою душу подавленную, трепещущую. Какой-то изначальный и роковой, метафизический и исторический испуг, дребезжащий мотив, страх звучит и переливается во всех писаниях Леонтьева: такова его религия, политика, социология. Редко можно у него уловить вдруг сверкнувшую радость, даже простую веселость, но царит туга и напряженность. И замечательно: чем дальше от религии, тем веселее, радостнее. Южным солнцем залиты его великолепные полотна с картинами восточной жизни, а сам он привольно отдается в них влюбленному очарованию, сладострастно впитывая пряную стихию. Но достаточно, чтобы пронеслось дыхание религии, и все темнеет, ложатся черные тени,

в душе поселяется страх. *Timor fecit deos* *, точнее — *religionem* **: именно таково было жизненное исповедание Леонтьева. Два лика: светлый, радостный — природный; и темный, испуганный — церковный. Таков был этот своеобразный послушник оптинского монастыря, в своем роде единственный. Это была вымученная религия, далекая от детской ясности и сердечной простоты. Если во имя веры надо ломать и гнуть естественного человека — то было над чем поработать Леонтьеву, ибо не поскупилась на него природа. Почти суеверное удивление вызывает сила его ума, недоброго, едкого, прожигающего каким-то холодным огнем. Кажется, что уж слишком умен Леонтьев, что и сам он отравляется терпкостью и извительностью своего ума. Словно железными зубцами впиивается его мысль в предмет, размельчает его и проглатывает. Он полон не эросом, но антиэросом, являясь беспощадным разоблачителем иллюзий. Это он рассеял сладкую грезу панславизма и балканского единения, когда все ею были охвачены. Лучше и беспощаднее Герцена умел он увидеть на лице Европы черты торжествующего мещанства, хотя знал ее несравненно меньше его; да и вообще Леонтьев образован был недостаточно и знал мало, сравнительно с тем, чего требовала сила его ума. Быть может, причина этого, помимо жизненных обстоятельств, и в том еще, что он был слишком горд своим умом, чтобы подвергать себя научной тренировке. Поэтому Леонтьев остался неотшлифованным самородком. Он обладал наряду с умом еще каким-то особым внутренним историческим чувством. Он явственно слышал приближение европейской катастрофы, предвидел неизбежное самовозгорание мещанской цивилизации. Здесь он настолько является нашим современником, что можно себе ясно представить, с каким задыхающимся восторгом, недобрым и почти демоническим, он зрел бы теперь пожар ненавистного старого мира... Другую стихию Леонтьева составляет палящая языческая его чувственность, с каковою он был влюблен в мир форм, безотносительно к их моральной ценности...»

Все это, — и дальше вся статья С. Н. Булгакова, выдающегося теперь московского славянофила, — с самым небольшим «остаточным хвостом» марксизма и вообще экономизма в себе, — превосходна, верна, и не должна забыться в длинном ряде оценок Леонтьева, сделанных многими выдающимися умами России, — сделанных и так, и этак, но всегда с удивлением перед его огромным умом, вернее перед его огромною душою. Булгаков верно в конце статьи замечает, что Леонтьев весь вылился «в свой стиль», что и лицу его и биографии, и писательской деятельности «удалось найти свой особый и единственный, исключительный стиль».

Это вполне верно и очень многозначительно. Хотя он в общем и отдельном очерке и принадлежит к славянофилам, но он не уместается в схему славянофильства, превосходя ее, будучи шире ее, нося в себе и в кругозоре своем, а особенно в душе своей какие-то новые и совершенные бесконечные дали... Западником он уже окончательно не был, хотя и то надо сказать: он был страстным западником до европейского XIX в., точнее, — до эпохи французской революции. После чего встал на Европу положительно «с опаленными крыльями», как некий демон ее, как проклинатель ее. Большого проклинания, чем у Леонтьева, Европа XIX века, Европа революции, конституции и пиджака ни от кого не слышала, — ни от французов, Жозефа де-Местра и Бональда, ни от разной немецкой мелочи, ни от русских славянофилов старой фазы. Те

* Страх творит богов (*лат.*).

** религию (*лат.*).

«отрицали» Европу, Леонтьев проклинал и презирал, и до того сознательно, до того идейно, как именно «некий демон»... Булгаков опять верно называет его в одном месте «буревестником», и это не бедный, не скудный «буревестник» Максима Горького, который вещал грозу всего на 24 часа завтрашнего дня, с полным и ясным днем, с миром и благо-вестием на все следующие дни, на целый год, на целую вечность... Возле Леонтьева все эти «буревестники» революции оказываются какими-то куцыми, какими-то «публицистами плохой газеты с большим успехом на *сегодня*», в сущности, людьми совершенно мирными и добродетель-ными. М. Горький — буржуй, да так ведь и оказалось на деле. Человек богатый, знатный, и если не ездит «в своем автомобиле», то лишь ради старого *renommé* вождя пролетариата... На самом деле все они, и Горь-кий, и Короленко, и Андреев, и Амфитеатров или М. М. Ковалевский,— суть люди буржуазной крови, буржуазного духа, волновавшиеся и вол-нующиеся потому единственно, что не «они сегодня господа положе-ния», и собственно дожидаящиеся, когда подкатит к их крыльцу «авто-мобиль с гербами» и отвезет их в хорошее министерство и на хорошую должность... Тут ни спорить, ни возражать нечего. Это просто не интересно. Но Леонтьев?

Моя ж печаль бесценно тут...
И ей конца, как мне, не будет.

Он был демоничен, т. е. отрицателен по отношению к целому фазису всемирной истории, и отрицателен не по чувству, не по складу сердца, а по целому систематическому воззрению на историю, по «идеям» и «мыслям». Это его знаменитый взгляд на «три фазы всякого ис-торического развития»,— первичной простоты, последующего цветуще-го усложнения и вторичного упрощения, наступающего перед смертью. Взгляда этого никто не поколебал, никто не оспорил,— да никто и к раз-бору его в нашей ленивой литературе не приступал. «Ведь мы занимаем-ся только Шопенгауэром и Трейхмюллером». Никакой у нас науки нет, никакой широкой публицистики нет, никакой вообще идейности нет и никогда не было. Иначе о Леонтьеве давно выросла бы не литература газетных статей, а сложилась бы давно уже, за 25 лет после его смерти, настоящая литература книг, целая библиотека книг, исследований, ос-париваний, пропаганды. Но мы это делаем только с Трейхмюллером и еще с Дарвином. «Русь-деревня», «мы ленивы и не любопытны»,— Пушкин сказал, и на этом надо кончить. «На Руси ничего русского не растет. Растет одна Германия и кой-кто из инородцев». На этом и «ша-баш» и «кончено дело».

Учение Леонтьева о трех фазисах всякого развития, всякой истории, всякого прогресса, взятое им практически из медицинских наблюдений, из фазисов просто «жизни» и «смерти» под глазами «мудрого врача» и перенесенное затем в историю и политику, а вместе с тем и усложнен-ное его великими эстетическими порывами и глубокою филантропиею,

бесконечную любовью к человеку, бьющемуся на земле в узах жизни и смерти,— это учение есть корень «всего Леонтьева», всех его отрицаний и утверждений, его политики и монашества. Он ушел в монастырь «от смерти», видя, что в данную эпоху европейского и нашего развития всюду торжествует смерть, разложение, какой-то отвратительный гнилостный процесс человека, умирающего «в пневмонии» (его любимый пример) и задыхающегося в мокроте, которую неодолимо и неудержимо выделяют его легкие. Не будь этого самосознания, живи он *с теми же самыми мыслями* в век Екатерины, и он просто и хорошо прожил бы жизнь, прожил бы ее радостно и весело, без всякого монастыря и без всякого решительного «византизма». Таким образом, Леонтьев, в идейном своем строе, может быть понимаем и истолковываем лишь как человек XIX века, лишь как борец против XIX века. Хотя методы и средства борьбы, именно эта его теория, столь же обширная по горизонтали, как, например, обширен дарвинизм, гегельянство («метод Гегеля») или пессимизм,— выносит его за пределы XIX века и соделывает братом всех веков, работником во всех веках, другом всех «благomyслящих» людей. Человек очень небольшого образования, всего только «практикующий медик», он в силу эстетической и политической одаренности, «да и так, почитывая вообще» и заглядывая «во все уголки мира» своим любопытствующим глазом,— стал «в разрушающейся Европе», в сем «разрушающемся втором Риме» по обширности и сложности цивилизации, грустным певцом песен, и хочется его сравнить с эллинским не то Ксенофаном, не то Эмпедоклом, не то Пифагором, который охотнее всего основал бы новый «Пифагорейский союз» с бунтом против демократии и с какими-нибудь эстетически-философскими оргиями внутри самого союза. Но для него не нашлось Кротоны, он был всего только русским цензором, русским консулом и монахом в Оптиной, да вечным должником своих друзей. Но жизнь его в Элладе сложилась бы совершенно иначе; иначе протекала бы она и около византийских автократов. Он ужасно неталантливо родился; родился не для счастья. Но по условиям, но по качествам души он мог прожить счастливейшим в мире смертным, заливаясь смехом, весельем, «безобразиями» (слишком желал), и ни чуточки не помышляя о смерти и монастыре. «Не туда попал». И вся его личность и роль в истории есть личность и роль «не туда попавшего человека». Как-то в молодости, перед прогулкой, я услышал напевец юного юриста «с чрезвычайно строгой последующей деятельностью» на поприще прокуратуры. Оглядываясь, он запел:

Закурил бы,— нет бумажки.

Погулял бы,— нет милашки.

Вот и у Леонтьева, попавшего «не в тот угол истории», не оказалось в жизни ни «бумажки», ни «милашки»...

А «попадись»,— было бы дело другое. Показал бы «наш Леонтьев» (воистину «наш») современникам своим, «как надо жить». Во времена

Потемкина, и еще лучше — на месте Потемкина и с судьбою его, он бы наполнил эпоху шумом, звоном бокалов, новыми Эрмитажами и Публичными библиотеками, ну, и уж походом на Царьград. Потемкин, Леонтьев, Суворов: воображаю картину.

— Чего вы, Русские, носы повесили? Вам говорят — гуляй!! Сверху приказание — гуляй!!!

— Ни одного слова о похоронах, о смерти.

Он залил бы таким весельем страну, таким упоением, как «Русь не выдывала». Ах, не в тот век родился! Родился, когда действительно «носы повесились» и все даже на бал стали являться в «похоронных одеждах» (черный фрак и белая грудь).

И вот он стал факельщиком похорон. Но это не натура его, а его историческое положение. Он стал петь грустные песни, как эллинский Ксенофан или Эмпедокл. Он вообще сделался (вот его место в культуре) философом и политиком. Вместо «жителя мира», к чему рвалась его душа, — о, с каким безумным порывом рвалась...

Он стал демоном вместо ангела. Но первоначальная-то его натура — конечно ангельская: смотрите его письма к Губастову, вообще к друзьям. Его письма по чарующему тону, по глубокой чистоте души, по любви «к друзьям» и преданности им — есть что-то несравнимое ни с какими вообще переписками. Когда я читал много лет назад его письма к К. А. Губастову, я шептал неодолимо: «Какой же это ангел, какой же это ангел». Его старания уплатить какой-то долгишко в 100—200 рублей греку, владельцу лавочки в Керчи или Феодосии, прямо вызывали слезы. Да, «по натуре» это была изумительно благородная и чистая душа, без единого пятнышка притворства, лжи, лицемерия, фальши, гордости, тщеславия. А ведь это почти всеобщие «пятна» на человечестве.

Говоря об его «аморализме» (Булгаков да и все о нем писавшие упоминают об этом, хотя *с его же слов*), нужно строго оговорить это. Он был один из самых нравственных людей на свете по личной доброте (заботы его о слугах), по общей грации души, по полному и редчайшему чистосердечию. Да и кто *сам* о себе говорит: «Я безнравственен», — наверное всегда есть нравственнейший человек. «Он — Христов, он — не лицемер». «Безнравственность» его относится совершенно очевидно только к любви, к разгулу, к «страстям», к «эротике» особенно. Но, если не ошибаюсь, этим грешил и А. С. Пушкин, коего никто «безнравственным» не считает. Дело — бывалое, дело — мирское. «Ну, что же, все от Адама с Евой». Вообще следовало бы раз и навсегда и относительно всех на свете людей выкинуть эотику и страсти из категории моральных оценок человека. Есть птицы постные, а есть птицы скоромные. Что делать, если в Леонтьеве жила вкусная индейка, притом которую люди не скушали («мои огненные страсти», «доходящие до сатанизма», — писал он выразительно), и это совершенно точно очерчивает линию его «грехов», по-моему — не-грехов. Сказано же в Апокалипсисе, и сказано

благословляюще: «будет Древо Жизни приносить плоды двенадцать раз в год». Едва ли это говорится только об яблоках и вишнях. «Плод Древа Жизни» и есть плод Древа жизни, во всем его неисчерпаемом обилии, многообразии, бесконечности. «Двенадцать раз в год несет плод» — это может насытить самую хорошую индейку.

Итак, философ и политик... Но «рожденный не в свой век». Леонтьев не прожил счастливую жизнь, а зато он дал меланхолические, грустные, но изумительного совершенства литературные плоды. Торопиться не надо, время его придет. И вот, когда оно «придет», Леонтьев в сфере мышления, наверное, будет поставлен впереди своего века и будет «заглавною головою» всего у нас XIX столетия, куда превосходя и Каткова, и прекраснейших наших славянофилов, — но «тлевших», а не «горевших», — и Чаадаева, и Герцена, и Влад. Соловьева. В нем есть именно мировой оттенок, а не только русский. Собственно, он будет оценен, когда кончится «наш век», «наша эпоха», с ее страстями, похотями и предрассудками. Вот тогда он и вылезет в «заглавную голову», и позади его останутся все «старички», вроде старенького и неинтересного Герцена и уже слишком благочестивых, до утомительности, славянофилов. Леонтьев был именно «пифагореец нового века», вот будущего века, вот грядущего века, о коем хочется сказать: «Эй, гряди скоро!! Приходи новый хозяин в дом». Ах, хочется «нового хозяина» в век сей. Все старое решительно надоело и кажется прокисло. Его мышление — именно «новый дарвинизм», «новое гегельянство». Этим я хочу указать, что суть мышления Леонтьева лежит в «методе», а не в определенных его утверждениях, не в частных и не в подробных членах его «веры». Можно не разделять совершенно ни одного его убеждения, совершенно не сходить с его мыслями; можно отвергнуть даже всю его политику: останется его чудный «эстетический метод». Ах, эта «индейка» была рождена в хороший час «Древа Жизни». Вот куда его и поместим окончательно: Леонтьев был собственно певцом и философом «Древа Жизни», — это особая категория и около философии, и около поэзии, и около политики. Нет, его идеи выше несколько ограниченных и несколько условных сфер и политики, и поэзии, и философии. Как бы обращаясь к нам из могилы, он говорит:

«Люди мои, братья мои. Я прожил весь век в тоске и неудаче. Но я люблю вас и не хочу вам того горя, какого слишком много понес на себе. Вот что: любите жизнь! Любите ее до преступления, до порока. Все — к подножию Древа Жизни. Древо Жизни — новая правда, и это — одна правда на земле. И — до скончания земли. Ничего нет священнее Древа Жизни. Его Бог насадил. А Бог есть Бог и супротивного наказует. Только его любите, только им будьте счастливы, не отыскивая других идолов. Жизнь — в самой жизни. И выше ее нет категорий, ни философских, ни политических, ни поэтических. Тут и мораль, тут и долг. Ибо в Древе Жизни — Бог, Который насадил его для земли. Я со всеми людьми ссорился, потому что все люди не понимают

Древа Жизни, разделясь на партии, союзы, царства, школы, когда всего этого и нет под Древом Жизни, все это оскорбляет собою Древо Жизни. На самом деле и в бесконечности ничего и нет, никого и нет, кроме Бога, благословляющего единое Им насажденное Древо Жизни, коего люди — частицы, клеточки, точки. И они все могут — кроме уныния и тоски. Я был тоскующий человек: но я хотел бы быть последним на земле тоскующим человеком, и хоть с неба посмотреть на счастливое и беззаботное человечество, на *зеленое человечество*, с одною только радостью, и без всякого дыма, горечи, злобы, злодеяния и отравы. Этого — не надо воистину — не надо». И в этом «не надо» — «вся церковь и боги и богини на земле».

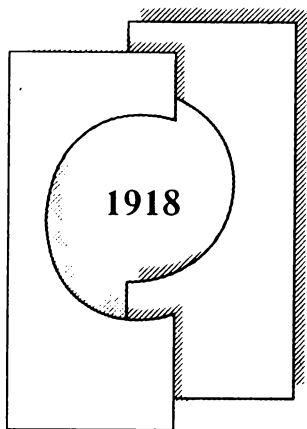
...Все-таки «лукавый» проговорил бы и о «богинях»:

Покурил бы,— нет бумажки.

Ну, простим его и с «богинями».

Брат наш, прекрасный наш брат: и да успокоит тебя Господь в «селениях праведных». Ты был поэт, и пророк, и философ в земле своей: и не имел где преклонить голову.

«Все долгишко в Феодосии греку Манули, никак не могу уплатить»: не слово ли это, в простоте и ясности забот своих, не то Закхея, не то Симона Киреянина. Он был какой-то «христианин» вне «христианства». Потому что кажется в христианстве не подобает быть «богиням». А Лентьев «без этого не мог» по «своей Потемкинской натуре».



Гоголь и Петрарка

...Все это были перепевы Запада, перепевы Греции и Рима, но особенно Греции, и у Пушкина, и у Жуковского, и вообще «у всех *их*». Баратынский, Дельвиг, все «они». Даже Тютчев. Гоголь же показал «Матушку-Натуру». Вот *она* какова — Русь; Гоголь и затем Некрасов.

О Гоголе: если принять во внимание, как он *любил Рим*, и *влюбился в него сразу*, с первого раза, с первого глаза: то отчего не понять, что он был вовсе не *русским обличителем*, а европейским; и даже что он был до известной степени — обличителем христианским, т. е. самого христианства. И тогда роль его вытекает совершенно иная, нежели *как я думал о нем* всю мою жизнь: роль Петрарки и творца языческого Renaissance'a.

«Вот что принес на землю Христос, каких Чичиковых, и Собакевичей, и Коробочек. Какое тупоумие и скудодушевность. Когда прежде была Аннунциата».

Аннунциата, как помнят читатели Гоголя, — была *албанка*.

У Османа Нурри-бея, «младотурка», т. е. турка образованного, у которого я покупал древнегреческие монеты и который такими монетами обогащал и наш Эрмитаж, и British Museum, и Берлин, и Вену, жена была *албанка-мусульманка*, увиденная мною без покрывала только один раз; я ее увидел в «Hotel Regina», когда случайно «не вовремя» зашел к Нурри-бею. Она была матовая, прекрасная, вся арийского, а не монгольского типа. На мое удивление ее красоте Нурри-бей мне объяснил, что «албанцы происходят от чистейших греков, не смешанных ни с носорылыми славянами, ни со скуластыми монголами». Гоголь, несомненно, видал албанок, и нарисованный им портрет Аннунциаты не ложен. И об Аннунциатах он писал, как об Аннунциатах; о русских же писал, как написал.

В таком случае его выражение «*неча на зеркала пенять, коли рожа крива*» приходится точь-в-точь.

Революция нам показала и душу русских мужиков, «дядю Митяя и дядю Миняя», и пахнувшего Петрушку, и догадливого Селивана. Вообще — только Революция, и — впервые революция оправдала Гоголя.

Петрарка — пел Лауру. И мне мелькает мысль о сходстве исторической роли Гоголя с исторической ролью Петрарки. Оба они тяжелым вздохом вздохнули по античному миру. Просто — еще не понимая ничего, а только сравнивая красоту лиц. «За лицом — душа: и неужели были хуже души греков и римлян за *вот такими их лицами*, нежели души Коробочек и Чичиковых за *достаточно хорошо нам известными лицами* этих наших современников»?...?

Спросили и умерли.

Или сошли с ума.

С вершины. тысячелетней пирамиды

(Размышление
о ходе русской
литературы)

Нет предмета, смысл коего мы могли бы вполне понимать, если он еще не закончен. В этом отношении 1917-й и 1918-й годы, когда рухнуло Русское Царство, представляют собою исключительную историческую минуту, в которую видно все сполна историческое течение и литературное течение в их завершенном, окончившемся уже течении. Мы видим, куда все шло, к чему все клонилось, во что все развивалось, двигалось, формировалось. Этого, что лежит перед нашими глазами, уже нельзя переменить, переделать. Оно — *есть*, оно представляет собою *факт, зрелище*; нечто *созревшее* и переменам не подлежащее. Точнее, пусть перемены и настанут, но самые эти перемены настанут от впечатления испытываемого зрелища, от его потрясающего и, в общем, неожиданного смысла. Во всяком случае, что-то «кончилось» в России. И куда побегут новые побегии ее — это будет зависеть от того, как мы уразумеем совершившееся вот именно в этом 1917-м и 1918-м году.

Маленькою горсточкою славян, живших по Ильменю-озеру, совершилось более чем тысячу лет тому назад так называемое «призвание князей на Русь», — но побуждению чрезвычайно странному, не записанному в летописях и хрониках никакого другого народа. Жили-были люди, занимались торговлею, маленькою на великом водном пути «из Варяг в греки», т. е. от язычествовавших в тот IX век после Рождества Христова варяжских викингов в страну христиански просвещенную, в великую Византийскую Империю, наследницу античных языческих сокровищ, обогащенных и углубленных смыслом христианским. Жили-были; торговали; занимались звериным промыслом; рубили лес, вспахивали поля; все — в тех небольших пределах, каких требовала жизнь,

в каких требовала небольшая северная нужда. Жили; но, без сомнения, по причине мелких житейских ссор, мелких житейских свар, — уголовно-полицейского характера. — стали нуждаться в ком-то «старшем», кто дал бы им «порядок» условно-всеобщий, условно-постоянный, который бы «признали все до единого». «Порядок» этот назван в летописи «нарядом»: «Приидите, сказали новгородские посланцы варяжским мелким князьям, володеть и княжити над нами. Земля-бо наша велика и обильна, а — наряда в ней нет». Тот «порядок», какой новгородцы видели как у варягов, так и в Византии, они называли «нарядом», без сомнения по впечатлению «красивого зрелища», какое являет собою вообще упорядоченная, правильная, единообразно текущая жизнь, сравнительно с течением разрозненным, в разные стороны, направленным один день «так» и другой день «иначе», в одной семье, улице или городке по такому-то «ладу», а в другой семье, улице и городке по совершенно иному «ладу» и «складу».

Так и пошло «начало Руси», начало «русской истории». «Как начала быть и откуда пошла есть Русская Земля»... Нельзя не отметить глубоко прекрасного смысла этого «начала Руси»: всегда и во всех историях первым толчком к образованию у себя гражданского порядка, вообще чего-то вроде «государства» и «государственной власти» — служили без исключения воинственные намерения, более или менее разбойного характера. Как «напасть» или каким образом «защититься» — это и было мотивом к возникновению «княжеств», «государств», «царств». «Самый смелый и хитрый разбойник», «атаман» в разбойниках и становился «князем», «королем» или «царем». Лучший образец этого — *Рим*, образец вообще начал государственного строительства, образец вообще — течений исторических. Было поистине прекрасно «начало Руси», безоблачное, безбурное, бесшумное. «Когда солнышко всходило — даже и незаметно было ни для кого», — а «когда оно взошло — уже день начался», и вот все начало русской истории.

И — начало Русской литературы. Буквально, русская литература начинается из столь же безвестных источников, как и наша история: также — ночь, сумерки раннего утра, и вот — солнышко начинает прорезывать тьму. *Город* Новгород уже стоит, построен, ранее «призвания князей», а сказки рассказываются, песни поются, пословицы складываются и поговорки шутятся именно у звероловов кривичей, древлян, полян и т. д. Все это «разговорные» начала Руси, все это «говорные» начала Руси, и тут уже не было «никакого призвания князей», все это было еще бесшумнее, еще тише, еще незаметнее. И вместе с тем: еще — фундаментальнее. «Говор», уличная речь, речь базара, речь охоты, речь рыбной ловли, заунывный плач на похоронах — все это является полным составом «литературы» в том предрассветном сумраке истории. «Говор», «слово» — есть орган литературы; он орган ее — в тонах, в интонациях, в певучести, ласке, нежности. Наверное, у римлян не было вот этих указываемых оттенков. Их твердые супины, их повелительные

герундии — все говорит о воле, о приказании народа, и в самом деле раскинувшегося на весь свет властью, но у которого «золотого слова» не вышло в литературе, литература которого всегда была коротка и груба.

Славянские же певучие говоры, заунывные тягучие песенки и весь «зимний сон» сказок предвещал литературу из чистого золота; как и странное «призвание князей» из-за моря говорило о народе безвольном, бесхарактерном, не могущем «управиться с собою» и учинить у себя «свой собственный наряд». Говорит о народе пассивном, мягком, «зазевывающемся» при зрелище другого народа и всегда готовом побеждать и «сделать *так же, как он*».

«Начала истории» как-то «одевают шапку» на все последующее течение ее; как «говоры базарны и уличные» — слагают душу литературы, ее интимное, ее заветное.

После «начала Руси», которое было и вышло из Новгорода, при Владимире «Красном Солнышке» произошло в Стольном городе Киеве — *крещение Руси*. Опять же факт, столь же царственный, государственный, — наконец, факт столь же религиозный, как слиянно и литературный. И в мотивах одного факта, Новгородского, и другого факта, Киевского — лежит опять один и тот же мотив: красота, зрелище, вид: «Стоя на богослужении в Святой Софии Цареградской — мы не знали, находимся ли на небе, или на земле».

И вот совершился второй акт «пришествия Руси в себя» или, вернее, «одевания Руси в свой образ»: после «наряда», в каком мы живем и ходим, — одела Русь «наряд», в каком она молится.

И факт опять же слиянно и *литературный*. • Отсюда, от Киевской Руси взамен «звериных обычаев», какими красилась или какими безобразилась Новгородская Русь, — потекут с 988 года тихие и кроткие описания «житий» сперва греческих «угодников», а потом и русских «угодников»; потекут «патерики» и «поучения». «Како надо ставить правду Божию на земле», «како надо править правду Божию в душе». «Из грек» полился совершенно иной свет в душу русскую, в душу славянскую, нежели «из варяг»: все море, весь океан и древних античных, а главным образом — новых христианских волнений, впечатлений, переживаний, опытов, размышлений — стал входить и стал овладевать душою неопытною и впечатлительною, как воск. «Возсиял свет разума». И первые — монахи, они же, правя службу церковную, записали и начала гражданской Руси, «как пошла есть и откуда начала быть Русская земля».

Литература вся стала церковною, по единственным источникам самого бытия ее. Все залилось переводами, переводами с золотого греческого слова, золотого и по форме, по чекану: золотого и по содержанию, по духу. «Златоструй», «Пчела», «Изборник», «Измарагд», — все говорит о себе уже самыми заглавиями своими; все говорит и о тоне благоговейного слушания, с каким внималось слово поистине

небесного слушания. То, что испытывали посланцы Святого Владимира, стоя на службе Святыи Софии Цареградской, то самое испытывали русские читатели тех древних книг с медными застежками и в почерневших переплетах. «Не знаем, читаем ли мы слово человеческое, или слово — Ангельское». «Книга та — с Неба, и все это премудрое Божие научение».

Все старое, новгородское, языческое — начало устыжать человека самую возможностью внимания к нему. Поразительное «Слово о полку Игореве» — произведение, каким-то чудом сохраненное и пронесенное через все века русской истории, но уже по единичности экземпляра найденного — явно целые века не читаемое, не находившее к себе интереса, пренебреженное — являет собой хотя памятник Киевской Руси, но еще почти киевско-языческий.

И вот все переносится в Москву. Переносится от отсутствия того «наряда», какой спал с Руси в ее удельно-вечевой период и недостаток которого заставил новгородцев «призвать князей». В сущности — «много князей» — то же, что «нет князя», нет «Большого», нет «Набольшого»: и переход Руси на недолго в Суздаль, во Владимир на Клязьме и затем быстро — в Москву есть незаметно и вторично опять же «призвание князей»: «бо (ибо) наряда на Руси нет» или «опять не стало».

Уже это перенесение центров исторической жизни, перенесение культуры — знаменовало многое; как и последовавшее потом перенесение столицы еще раз в Петербург Петром Великим. Перемена *места*, перемена *жилища* знаменует собою отсутствие большой *крепости* к земле, большой *тяги* земной, *тяги* планетной и, до известной степени — легкомыслия человека. Славяне не жили *родовою жизнью*, вот в чем дело; и они не так глубоко *врастали* в землю, *гнездились* в земле. Эта птица не вьет такого *большого гнезда*, эта птица — *поменьше будет*. Вот, пожалуй, печальные предвестники и *конца* истории, если мы действительно переживаем уже таковой конец, а во всяком случае — ее зыбкого, колеблющегося течения, не столь твердого и массивного. *Родовою жизнью* жили только твердыни истории; твердыни, до некоторой степени, планеты: евреи (двенадцать колен Израилевых, сохраняющиеся от Авраама, Исаака и *Иакова* с двенадцатью его сынами, до настоящего даже времени); греки (их *филы*), римляне (трибы, курии, *patres*, патриции), германцы («родовой быт германцев», описанный изначально Тацитом). Таковые «роды» пирамидально, вершиною книзу, корнем книзу, врастают в землю и питаются из более глубоких слоев ее, из более горячих слоев ее, питаются жизненное, сильнее. Не только земля, в смысле мистическо-жизненном, нужнее для них; но в странно-мистическом смысле, в космогоническом смысле, и они как-то и в каком-то значении — более нужны для мира. Здесь последняя разгадка принадлежит концу времен, о котором мы смеем только трепетать, но не смеем размышлять. Очевидно, однако, что в русской истории содержится интерес, но не содержится значительности, по крайней мере столь исключительный,

как в евреях, эллинизме и романизме; наконец — как в германизме, увы... Что же было у нас вместо «родового быта»? начало — «ватажное» (ватага), соседская, которая распадается на добрососедское и злобнососедское; общинное; артельное; казацкое. Действительно, те в сущности «общины новгородские», которые, подумав, «призвали к себе князей», — «порядка-бо у нас нет», — эти же самые общины вылились в XV, в XVI, в XVII веках на Юге России в форму «казачества», — пожалуй, с заветом или мыслью — «бо (ибо) порядка и не надобно». Вообще тут выразилось некоторое «побродяжничество Руси», как племени, не очень драгоценного для планеты и которое она держит на себе, но с которым особенно не связана. Питает, хранит, но не вынимает из чрева.

Москва есть устой русской истории; и если бы представлять себе всякую историю, как *мост*, по которому народ переправляется куда-то, переправляется приблизительно в *вечность*, то Москва есть главный опорный *бык* такого моста. Здесь Россия сделала наибольшие усилия *сосредоточиться, утвердиться*, почти — *обдумать себя*. Она стала растить *царскую власть*, которая отстояла Русь, от края и до края, и от корня которой Русь вся питалась, тоже от края до края. Царская власть есть духовное и личное осмысление всей Руси, и, ничего здесь не деля, а только целебно соединяя и совмещая, мы бы повторили народное и благодатное народное слово: «как на Небе — Един Бог, так и на Земле — Един Царь»... И продолжили бы и развили эту мысль, досказав, что, «как на Небе Бог устанавливает *миропорядок*, — так на Земле Царь устанавливает *землепорядки*». Русь получала в царской власти то, чего ей не доставало в родовом быте: земле-прикрепление, плането-прикрепление. Русь с царской властью начинала тверже держаться на планете, больше «светиться в подсолнечной» — «Ах, вот где мы нашли себя»: и Русь распоясалась и села.

Именно — села, утвердилась и вросла.

Самостоятельный, большой русский мир. Начало цивилизации, са-мобытности, оригинальности.

«Василий Блаженный», как никакая церковь на земле; «кремлевские терема», как никакие терема на земле; «грановитая палата», как опять никакая палата на земле; «батюшка Грозный», как тоже никакой царь на земле. И — «лобное место», чтобы казнить супостатов.

Крепкое место. Сильное место. Но, крепясь, — надо было крепость разливать на всю Русь; надо было ее ожелезивать всю. Тогда как Цари — и добавим с любовью и благодарностью — «батюшки наши, цари и благодетели наши», — ее скорее рахрыхляли. Именно — из *рода царского*, от *корня царского* надо было начать *пускать корни, крепить сословия*. Укрепляться не только лично и *самому*, но укреплять свою *державу и державство*. Этого-то и не было сделано. Безумная борьба Грозного с дворянством, борьба наконец со Святыми, с церковью (судьба митрополита Филиппа; судьба Адашева и Сильвестра; судьба князя Курбского), — все это похоронные этапы Руси; все это грозные

предвестники разложения Руси. Все это было «скрепление Руси», но с таким «наоборот», при котором все целебное как-то пропадало, испарялось.

Порок, грех, судьба. Нужно же было, чтобы Грозный лично так несчастно воспитался. Что это — «случай»? Да, «случай»? Да, «случай». Невозможно совершенно исключать «случай» из истории. Мы впоследствии, в отметках о смерти Пушкина и Лермонтова, повлиявшей на ход и судьбу всей русской литературы,— будем иметь возможность отметить еще два «случая» и повторить вопрос, какой задаем себе сейчас: имеет ли *право* «случай» влиять на историю и, так сказать, изменять мировые гороскопы? Как смеет «случай», нечто мелькающее, нечто именно «случайное», т. е. мизерабельное по смыслу и физиономии, с лицом не то старушонки, не то мальчишки, «выросши из щели», из «дыры» и «небытия»,— касаться тронов и весов судьбы? И горестно должны ответить — «да, может»: «случай», который «не смеет», на самом деле: «Да, смеет»... Бездонности небес никто не исчерпал.

«Порок», «случай», «несчастье» и «грех» в воспитании Грозного, не уравновешенные другими ослабляющими влияниями, не уравновешенные благородством и великодушием самого боярства, а также — благородием и осторожностью последующих государей,— заставили его почти истребить боярство, засушить и поглотить огнем тот «подлесочек», из которого сама царская власть брала себе сослужение, черпала соки и помощь. Работник, главный работник рубил у себя руки и ноги. Громадное дерево, Райское дерево — царская власть,— стало расти одно, одиноко, без леса; начало огрубляться, одеваться коркою, черстветь, червиться. Вместо «Райского дерева» начал расти «могильный гриб». Нет «Государя» без «благородного дворянства»; как не может быть «полководца» без «храбрых солдат» и «службы доблестной» без «честных сослуживцев». Словом — «Царь был», но он — «не одел себя порфиною», а «порфира царская» — это «люди царственные».

Когда мы в последующее время увидим яростные порывы интеллигенции взять себе «всю власть», мы увидим, как «царская власть», в сущности, и погибла от того, что вовремя и благоразумно не сумела окружить себя защитным лесом. Интеллигенция, в муке на дворянство, в злобе «почему оно — не дворянин», рвала последние клоки его, вырывала «свинным рылом» последние корни того дуба, который начала шатать царская власть. А когда, в одиночку и в борьбе, встретился «интеллигент и царь», то интеллигент сбросил царя с перил моста, как более молодой, как более сильный, как менее стеснявшийся в средствах борьбы, как более злодей и разбойник и вообще — как менее воспитанный человек и более преступный тип. Но все это настало потом и к нашим временам. Все это уже открылось к «вершине пирамиды», которая «разрушилась».

«Золотого царства» не бывает без «позолоты всех вещей». И царю, укрепясь, надо было сейчас же золотить все вокруг себя: украшать людей, а не унижать людей, украшать и возвеличивать сословия, а не гноить и не гнать их; надо было сейчас же воздать труду, ремеслу, таланту в ремесле, торговцу, фабриканту. Надо было рыхлить почву подо всем, а не иссушать ее подо всем. «Царству» надо было разрастаться в «царский сад», а не в «царское уединение». И, словом, тут встретился тот же «грех» и «случай», встретился, в сущности, «личный недостаток», который как «обойти» и как его «избыть». Разве Адам не был прекрасно сотворен Богом? Но что-то «случилось»...

Русская история как-то неполна, и менее всего она полна тем, что не выработала она в себе крепкого сословного строя; гордого сословного слоя; самобытного сословного слоя; соперничающего сословного строя. Она виновна и слаба тем, что не развила в себе вихревых эгоизмов, твердых «я», могучих «я»... В противовес «дворянству», в Германии «выросла «Ганза» и союз «ганзейских городов». «Короли» соперничали с «рыцарством» — и «освобождать Иерусалим» ходили не только «Людовик Святой», но и «Готфрид Бульонский». Вот как дела делаются. Всякая планета имеет *свое притяжение*, притяжение — *в себя*; центр вращения вокруг *своей оси*, именно — *своей*, именно — *исключительной*. Так творится *настоящая история*, творится на вращательных *вихревых эгоизмах*, которые не покоряло бы Христово смирение:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...

Увы, история вообще есть *языческое* явление... И кто хочет очень «поклониться Христу», не должен приниматься за «дела истории»...

...«Victoria! Victoria!..», «Νίχη! Νίχη!», «Побеждай», «Триумф!» Это также свет истории, по крайней мере — это также *толчок* в истории, как и другой «Христов свет» и Христово поползновение...

Москва, от всех стран столь удаленная, уже жила менее подражательно, чем Новгородская Русь и чем Киевская Русь... Более уподобилась она Востоку, филигранному Китайскому царству, особливому Батыеву царству и особенно понимаемой и воображаемой Византии... Мня быть похожею на все сии царства, Москва была похожа только на себя. Со своей большой пушкой. Со своим большим колоколом. Со своим исключительным «красным звоном». И «зазвонила ты, Матушка, весь мир», и зачаровала весь мир...

Очарование кончилось, когда обнаружилась слабость. Петр Великий. Напор западных держав. Швеция, Польша. Стрелять не умеем. Стрельцы бунтуют; стрельцы — слабы. Требования военного строя, который стреляет из ружей, а не из «пищалей». И вот — вся

Россия преобразована, и под молодым царем — поскакал молодой конь в безбрежность, в незнаемое...

И — новая литература, совершенно новая... Она вся вспрыснула, вскочила. «Помощь — империи! Помощь — молодому царю!»... Помощь — особенно в преобразовании. Как стар Стефан Яворский, как молод Феофан Прокопович. Все вообще разделилось на *старое* и *молодое*, и если в России «сословий» собственно не было, то их теперь заменили сословия «молодого поколения» и сословия «старого поколения», которые на Руси стали соперничать, как в Германии «рыцарство» и «Ганза»...

«История русской литературы» от Петра Великого и до могилы русского царства есть явление настолько исключительное, что оно может назваться «всемирным явлением», всемирною *значимостью* — независимо нисколько от своих талантов... Может назваться таким явлением в силу, так сказать, своего «гороскопа». Еще никогда не бывало случая, «судьбы», «рока», чтобы «литература сломила наконец царство», «разнесла жизнь народа по косточкам», «по лепесткам», чтобы она «разорвала труд народный», переделала «делание» в «неделание» — завертела, закружила все и переделала всю жизнь... в сюжет одной из повестей гениального своего писателя: «Записки сумасшедшего».

«Литература» в каждой истории есть «явление», а не *суть*. У нас же она стала *сутью*. Войны совершались, чтобы беллетристы их *описывали* («Война и мир», «Севастополь», «Рубка леса», «Красный смех» Леонида Андреева), и преобразования тоже совершались, но — зачем? Чтобы журналисты были несколько тоже удовлетворены. Если «освободили крестьян» — то это Тургенев и его «Записки охотника», а если купечество оставили в презрении — то потому... что там было «Темное царство» Островского, и нужно было дожждаться времени, когда они преобразятся в новофасонных декадентов. Цари как-то пошли на выставку к Пушкину, Лермонтову и Жуковскому или попали под презрение Максима Горького и Леонида Андреева с его «Семью повешенными». Наконец, даже святые и праведники церкви рассортировались в старцев Зосим и Ферапонтов Достоевского или пошли в анекдот «Мелочей архиерейской жизни» Лескова... Это так сделалось напряжено парами, литература до того напряглась парами, что, наконец, когда послышалась ломка целого корабля — все было уже поздно... Поздно поправлять, поздно целить, подставлять пластырь корабельный: Россию разорвало, разорвала ее литература. И когда еще не произнеслись выкрики, испуги — на месте чего-то, что «было», — заплывали осколки досок, завертелись трупы, кровь, все захлебнулось в пене, буре, зловонии и смерти.

«Литература», которая была «смертью своего отечества». *Этого ни единому историк у никогда не могло вообразиться*. Но между тем совершенно реальна эта особенность, что «ни одной поломки корабля»

и «порчи машины» нельзя указать без ее «литературного источника». И к «падению Руси» нужно и возможно составлять не «деловой указатель», а обыкновенную «библиографию», указатель «печатный», «книжный», перечень «пособий в стихах и прозе», в журнальных статьях и в «хрониках внутренней жизни». Работа кропотливая, изнурительная. Но если бы новый Тэн, эмпирик и реалист без всякой особенной философии, вошел в императорскую Публичную Библиотеку со словами: «Покажите мне, пожалуйста, отдел русской журналистики и русских газет, начиная с «Отечественных Записок» времени еще Белинского и затем Щедрина и Некрасова, и «Голос» со времени Краевского»,— будто бы *это и есть* источник к развалинам нового Карфагена: то, порывшись достаточно, порывшись всю жизнь, он вынес бы *resumé*:

Каким образом величайшая благожелательность, прямо «христианские чувства» — правда, без упоминания имени Христова,— и вечное служение родине,— только родине,— народу и только народу,— но не с забвением и универсальных задач человечества, и вообще всего гуманного, просветительного, школьного,— каким образом целый век служения «Литературе и жизни» (очень замечательное название на этот раз гениальных — именно в удаче названия гениальных статей Михайловского) привело именно к тому, что все «провалилось, погибло»,— и от России столько же осталось, сколько после закончившей дневную атаку броненосцев,— ночной атаки миноносцев осталось от знаменитой эскадры адмирала Рождественского в Цусимском проливе...

Как это могло случиться в Государстве величавом — от действия писателей презираемых, гонимых, цензурируемых, за которыми глядело «сто глаз», с которыми «не церемонились», которых почти вешали, для которых были заготовлены специальности вроде Петропавловки и Шлиссельбурга, которых едва не «драли», да, кажется, и «драли», потаенно и некоторых... И которые вообще приняли на себя Голгофу долготерпения...

Вот *кто* им помог... Бес или Бог... «Христа» не надо, «имя Его ненавистно»,— но ведь в тайне и в сердце — что же выше Нагорной проповеди и привлечения «чистого сердца» на «алтарь отечества» нашей хмурой и несчастной Руси... нашей лютой и холодной Руси, с обдираемым и кровенящимся народом... Вообще, что выше священного служения Человечеству, сироте, бедняку? Все языческое, грубое, жесткое — этого не надо... Все повелительное — о, не надо этого... Мы так измучились, измучены... Голгофский страдалец — это Россия, это мы...

О, не надо Христа, вообще этих суеверий — не надо. Мы соединим величайший позитивизм, полную трезвость взглядов,— полную реальную научность — с тем, однако, что с Голгофы потекло в сердце человеческое, утешило и облагородило его, возвеличило и истончило... что есть самое гуманное, эфирное, о чем человечество, как о недостатке

своём, всегда рыдало... Мы добавим к этому нашу русскую раскаянность, это чувство греха,— мы не будем гордыми, самолюбивыми, тщеславными... Мы поиграем и в карты, как «Рыцарь на час», плачущий над могилою своей матери, и поленимся, как Обломов, надевающий три дня одну туфлю... Кто не грешен, кто Богу не грешен... Но мы — люди, но — золотое русское сердце... И вот последняя книжка журнала, которую Белинский требовал, чтобы ему положили ее под голову в гроб, когда его тело в плохом сюртучишке положат в гроб же перед тем, как отнести на мокрое Волково кладбище... Бр-р.... — какое название... В России даже гробницы волком воют и все дожидаются, когда честный человек умрет, по слову поэта.

У счастливого — недруги мрут...
У несчастного — друг умирает...
О, о, о...
Цусима, взрывы...
Мелькание огней в холодном море...

И этот жалкий Рождественский, отдающийся в плен дикому Ояме, в отвратительном морском мундире, японского фасона: «Возьмите, генерал, мою шпагу», «Сам я ранен, и у меня перевязки»...

Ояма приказал не тревожить больного и окружить его цветами... Прекрасными японскими хризантемами окружить подушку страдальца при Цусиме.

Мне как-то пришлось прочесть, кажется, даже два раза, о том, как умирал беллетрист Каронин,— беллетрист и отчасти публицист,— приблизительно семидесятых или восьмидесятых годов прошлого XIX века. Ничего *его* не читал, и, кажется, нечего было читать: он всю жизнь трудился и не написал ни разу ничего выразительного, значащего. Все «общие места» и все «то же»... И вот — он умирает: и перед смертью у него прошептались слова до того поразительные, что тогда же мелькнуло у меня — их следовало бы вырезать надгробием всего *этого течения* русской литературы. Смысл их заключался в том, что выше русской литературы, и вот именно в этих *мелких ее течениях, в течениях незаметных*, не было ничего в целой всемирной литературе, и именно — по служению народу и человечеству. Что это было — одно *служение*, одно *бескорыстие*, одно — *самоотвержение*. Не помню слов: но слова (у умирающего!) были так прекрасны, ровны, не возбуждены, не истеричны, от них веяло таким прекрасным веянием и могилы, и вечности, такую готовностью «пойти на Страшный Суд» и рассудиться «хоть с Самим Богом», что в душе у читающего оставалось впечатление полного умиления, полного восторга. Белинский был все-таки знаменитый критик, знавший свое значение для всей России, и в словах его о книжке *Отечественных Записок*, которую кладут ему в гроб, могло быть и самообольщение, и гордость собою, заслугами своими перед литературою, да и перед всею даже историческою русскою жизнью. Он был Карамзиным русской критики. Но *этот* ?... ?.. — *ничего*. Прополз

как клоп по литературе, кого-то покусал обличительно, но даже городской не оглянулся на «укус». Таким образом он сказал не о себе, а о *всех нас*, вот таких же журнальных страдальцах, живших впроголодь, и все строчивших и строчивших, и все обличавших и обличавших, все «боровшихся со злом грубой жесткой действительности»... И вот он выговорил, что этого «обличения» и всей его скорби не выше Шекспир, не выше и Гёте и Шиллер, не выше Байрон с его громами и молниями... «Выше ли?»... А и в самом деле — не «выше», как толпа «мучеников христианства», выведенных в цирк на борьбу со львами, на сражение со львами, причем самые имена их никому не ведомы,— до некоторой степени выше проповеди всех Апостолов, которые «глаголом жгли сердца людей», которые если и пострадали, то за то и велики. Прославлены. И вообще, с них началось «Новое Небо».

• Бывает, что пыль земная — священнее звезд. Это — пыль усталого человечества, протоптанная ногами в ранах, в болячках, да и просто пыль от *очень усталых ног*. И Каронин сказал именно что следует. Что пусть западные литературы более блистают, чем наша, талантом,— что пусть их заливают гений и что «пусть никто у нас не может сравниться с Вольтером остроумием и с Байроном дерзостью: но что все это — в золотых странах Запада и настоящего просвещения, а вот они «потерли бы лямку у нас, в этом тусклом погребке, где не на кого и оглянуться, и вообще где «заедает среда», и где все такие исправники, что даже «хуже Думбадзе» и, можно сказать, «прямо Гершельманы».

Не знаю. Не умею выразить. И даже не хочу выражать. Но что «сапоги выше Пушкина»,— притом *действительно выше* и священнее, святее его — показала и *доказала* впервые русская литература вот этого особенного течения и направления... Позвольте: но уже не я и не Каронин сказали, что Лазарь в *ранах* выше Давида, играющего псалмы на арфе, выше Соломона в его убранстве одежд и что вообще «*последний* в Царстве Божиим — выше Авраама с его плодущим лоном»... Таким образом, «Пушкин» и «сапоги» далеко не впервые прозвучали во всемирной истории, и выдумала эти слова вовсе не русская литература... Есть вечная истина, когда «сапог» действительно выше Аполлона, играющего «на цитре». Это — пот, страдание, подвиг. Вот Он. Голгофский Страдалец сказал. А русская литература вся превратилась в Голгофу от Шлиссельбурга и от Гершельмана...

...Я так говорю, потому что вижу пирамиду уже с *вершины* тысячелетия, когда «Голгофа» сорвала шапку с русского царства, истерзала порфиру на русских царях, которые, увы, все не были «Лазарями», а — теми «богатыми» и «жившими во дворцах», которые в час гнева и суда попросили у нищего Лазаря несколько капель холодной воды на язык... «О, будет суд, о — будет *терзание*...»

«Но есть и Божий суд, наперсники *разврата*»...

Этот «суд русской интеллигенции над своею историею», — имевший в сердцевине суд литературно-образованного, суд журнально-и газетно-начитанного *общества* над тою же историею, закончился скандальным шепотом германской полиции: «сколько же вам следует миллионов, бильонов талеров уплатить за продажу своего отечества, за уступку провинций ваших, за развал вообще всей России: раскалывание которой, щели которой мы давно видели, и на них рассчитали победу военную и политическую, после того, как давно, уже с Петра Великого и Екатерины Великой, с Александра I и Николая I, культурно, идейно, научно, университетски, школьно, административно, законодательно, судебно, медицински, аптекарски, фабрично, заводски, торгово, по отделу страхования и банков постепенно овладели и давно и крепко всем овладели в России»? — «Деньга *счет любит*» и «даром мы ничего не берем, хотя бы вы и отдавали в рабство нам свое отечество совершенно задаром»... «Вот счетные книги Германского Имперского банка: и сверх того, Германия имеет всемирно-необозримый кредит».

И Грановский, Белинский, Станкевич, люди совершенно чистые, люди страдальческие и жертвенные, и Некрасов, Щедрин, люди уже иного разбора, Бакунин и Кропоткин, а, главное, в глубине за всеми ими «всадник, поскакавший в Берлин за наукою» с Сенатской площади, вдруг почувствовали бы вар горячего золота, вар расплавленного золота, вар банковского золота — вар Иудиного золота, — за великое историческое предательство...

Кипи, окаянный Иуда, в золоте... Ты был окаянен в земле своей. Ты мнил себя *святым*, «жертвою», *замученным и праведником*... Но, поистине, слова проходят, а дела остаются... Дело же твое, уже с чудного гения, озарившего все на Востоке, прискакавшего к нам с Востока, принятого нами как гость с Востока, — было отвратительно и предательно.

Не смеет Царь предавать Царство, ему врученное Богом, врученное как ветвь Сада Эдемского, как Ветку Древа Жизни... Он не имел ума, как простой японский микадо, как рядовой японский микадо, *преобразовать свое отечество*... Он с ручищами Исполина, он бил бедную Россию, бил бессильную Россию, уже и без того забитую «Грозными» царями Московского периода, обухом в темя, обухом в затылок, обухом по шее... Бил и — *убил*... Его назвал народ «Антихристом», и было что-то вроде этого... От «Антихриста» пошел «род Антихристов», «порождение Антихристово, племя Антихристово, поколение Антихристово»... Были и праведники, вас исправляющие, вас предупреждавшие: но *грех*, врожденный вам, был сильнее их праведности. Горсточка и в образованном классе примкнула к этим праведникам земли русской: это — славянофилы, славянофильство. Но они все были бессильны. Они звонили в колокольчики, когда в стране шумел набат. Никто их не услышал, никто на них не обратил внимания. Когда уже все рушилось, пирамида падала, царство падало, когда поднялась Цусима одного дня, о всех этих предуп-

реждавших Катковых, Леонтьевых, Гиляровых-Платоновых, Данилевских, Страховых, Аксаковых, Хомяковых, Киреевских даже не вспоминали, даже не называли ни разу их имен. Они были вполне — *могилы*, вполне *могильны*... Нельзя всех назвать. Были еще Флоренский, Эрн, Булгаков, Рцы-Романов, Пл. А. Кусков, Гильфердинг, Востоков. Это алтарь. Растопанный алтарь.

Все растоптанное поистине растоптано и не достойно даже памяти имени. История есть все-таки история дел, а не жалкая хроника мнений. Песок пустыни, песок забвения — вот его участь. «Забудьтесь» — и никакого глагола еще.

«Triumpha, triumpha, Mars, Mars»... Иди же ты, Вильгельм: и заканчивай похороны Руси. Которая языками восторжествовавших наконец социалистов облизывает твои фельдмаршальские руки. Справляй триумф, Вильгельм, и длинный ряд Вильгельмов и Фридрихов: ты победил восточного Ивана-Дурака.

Что же случилось? В конце концов как же все *произошло*. История есть слово о *происшедшем*. Я говорю о *resumé* русской истории, о *resumé* и хода ее литературы. Началось все очень радостно, с Петра, с Кантемира, с Фон-Визина, Ломоносова, Княжнина, Хераскова, Хемницера, с прекрасного Державина.

Восторг внезапный ум пленил

— в этой строке, в этой исключительной по наивности и по чистоте сердечной строке — выражается в сущности вся русская литература XVIII века, литература Петра, Елизаветы, его «дщери», и двух Екатерин, счастливой и несчастной, и кровавой Анны.

Утихающий «восторг», но все-таки восторг, что-то крепкое и славное, держится в Батюшкове, Жуковском, Языкове, Пушкине.

● Это солнцестояние русской литературы. Это — ее высший расцвет, зенит. Эдем ее. Все сияет невыразимую, *независимую* красотой: и Смирдин оплачивает червонцем каждый стих Пушкина. На самом деле, если бы Николай не был таким тупым остзейским императором и петербургским бароном, он призывал бы каждый день Пушкина поутру во дворец и, спросив: «Писал ли ты что сегодня ночью, друг мой, сын мой, — мой *наставитель*», — целовал бы, в случае «написал», руку у него: потому что все его глупые и пошлые войны не стоили:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца...
— Тятя! тятя — наши сети
Притащили мертвеца.
— Врете, врете, бесенята...

Но — солнце не стоит... Близится вечер, близится ночь. Зима и осень близкие, увь, для всякой истории. Мы, русские, считали себя бессмертными. Страшно, дико: но, проживя *тысячу лет* — мы все еще считаем

себя «молодыми», «молодою нацією». Мы, в сущности, были глуповатою нацією, и еще мы ничего вообще не сделали, не совершили в Подсолнечной — и в этом заключалось все право наше на «молодость»: мы были развращенные старики-мальчишки, с скверными привычками, со скверными пороками.

Взвилась звездой не то утреннею, не вечернею узкая лента поэзии Лермонтова, что-то сказочное, что-то невероятное для его возраста, для его опыта: взглянув на которую черный гном Гоголь сказал: «Я тебе покажу, звездочка»...

И вот все рушилось.

...в безнадежную бездну хаоса.

Причина — семинаристы, тупые, злые, холодные. Равнодушные ко всему, кроме своей злобы. Напрасно Герцен приезжал к ним увещевать, что он «тоже социалист» — «социалист, да не тот»... «Ты — *барин, барское отродье*, и твой отец драл наших отцов, когда они были еще не дьячками, а его *крепостными* мужиками». Поднялась черная сплетня о том, кто кого «драл» и «кто дольше сидел в Шлиссельбурге». Весь воздух огласился криками: «Нас били и еще *продолжают бить*», «нас унижали и еще *продолжают унижать*».

Вся русская история стала представляться или была выставлена как гноище пороков и преступлений, которое чем больше кто ненавидел, тем он казался сам пророчесственнее, священнее... Собирались уже «Самуилы, которые должны резать «царя Агага»... Кровью дышала вся страна... «Кто-то должен *пасть*», «кто-то должен быть убит»...

— Голгофа, Голгофа...

Доблестные сыны Туснельды ждали... Сыны старой, верной Германии... Наивной, не очень уместной, простой.— Сыны «Германа и Доротеи», образ которых создал старец Гёте.

В сущности, чем же *превозшла* Германия Россию? В составе *громады*, — в *целом*? Как море людей, как «шапками закидаем»?

Благородством.

•Выживает *наилучшее*, сказал Дарвин.

И «пирамида» рассыпалась по *достаточному нравственному основанию*, как сказал бы Лейбниц.

И еще, и еще — уже немного слов: где же наш *оригинальный* труд в истории? В истории Россия всегда обнаруживалась *слабою нацією*, как бы слабо *отпечатанное* на космическом печатном станке. Как бы не ушедшею глубоко ногами в землю — поверхностною. Что за странная жизнь, — жизнь «впечатлениями», жизнь «подражаниями». Между тем от «призвания князей» и до «социал-демократии» мы прожили *собственно так*. В объеме *подражательности* и *ряда* подражательностей уместается объем всей русской истории. Мы — слабо оригинальная страна, не выразительная. Именно — не сильный отгиск чужих произведений. Далее — гибель от литературы, единственный во всей всемирной истории

образ гибели, способ гибели, метод гибели. Собственно — гениальное, и как-то гениально *урожденное* — в России и была только одна *литература*. Ни вера наша, ни церковь наша, ни государство — все уже не было столь же гениально, выразительно, сильно. Русская литература, несмотря на всего *один только век ее существования*, — поднялась до явления совершенно универсального, не уступающего в красоте и достоинствах своих ни которой нации, не исключая греков и Гомера их, не исключая итальянцев и Данта их, не исключая англичан и Шекспира их и, наконец — даже не уступая евреям и их Священному Писанию, их «иератическим пергаментам». Тут дело в самоощущении, в душе, в сердце. Тот век, который Россия прожила в литературе *так страстно*, этот век она совершенно верила, во всякой строчке своей верила, что переживает какое-то священное писание, священные манускрипты... И это — до последнего времени, до закрытия всех почти газет, вот до рокового 1918 года, когда каждый листочек «Утра России» или «Социал-Демократа» еще дышит полным вдохновением: «у меня одного — правда». Это, конечно, экстаз. Когда «дряхлый старик» — «.....».

Это его конец и правда. Развратный старик. Так ты и погиб. Но погиб пророчественно и великолепно, от Пушкина до Лейкина, не отняв смычка от струны.

Сам заслушался...
И когда все уже горело...
Алтари падали как в Карфагене...
Римские войны ломились в стены...
Ты слушал и слушал, великолепный певец.
Ты был небесен только в слове.
И — Это небо тебя раздавило.

Апокалиптика русской литературы

Нужно сказать молнию, а

Язык мой немеет
И взор мой угас.

Чтобы она осветила, все...

Эти зигзаги каленых линий... И из гущи небесной посыпалось и посыпалось. И вот все видно сразу.

С 1891 года думаю. Скорблю. Ужасаюсь. Вижу. Нет света. Темно. Ад в душе. Ад в совести. И молюсь, тебе Боже, уже кроткою молитвою нищего: «Помоги мне, Боже, сказать коснеющим, умирающим языком, что я должен бы сказать молодую молнию».

Есть перспективы... Уменьшения, возрастания. С чего же начинать? Где начало? Откуда путаница? Отчего мир так неясен?

Бедному сыну пустыни снился сон: «Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трех разных сторон глядят в него: палящие берега Африки с тонкими пальмами, Сирийские голые пустыни,— и многолюдный, весь изрытый морем, берег Европы».

Стоит в углу над неподвижным морем Древний Египет. Пирамида над пирамидою; граниты глядят серыми очами, обтесанные в сфинксов; идут бесчисленные ступени. Стоит он величавый, питаемый великим Нилом, весь убранный таинственными знаками и священными зверями. Стоит и неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимая тлением.

Раскинула вольные колонии веселая Греция. Кишат на Средиземном море острова, потопленные зелеными рощами, кинамон, виноградные лозы, смоковницы помывают облитыми медом ветвями; колонны белые, как перси девы, круглятся в белом мраке древесном; мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом, и стыдливо любит свою прекрасною наготою; увитая гроздиями, с тирсами и чашами в руках, она остановилась в шумной пляске; жрицы, молодые и стройные, с разметанными кудрями, вдохновенно вонзили свои черные очи. Тростник, связанный в цевницу, тимпаны, мусийские орудия мелькают, перевитые плющом. Корабли, как мухи, толпятся близ Родоса и Коркиры, подставляя сладострастно выгибающийся флаг дыханию ветра. И все стоит неподвижно, как бы в окаменелом величии.

Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозною сталью мечей, вперив на все завистливые очи и протянув свою жилистую десницу. Но он неподвижен, как и все, и не тронется львиными членами.

Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, *как будто бы царства все предстали на страшный суд перед кончиною мира.*

•И говорит Египет, помахивая тонкими пальмами, жилищами его равнин, и устремляя иглы своих обелисков. «Народы, слушайте! Я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Все тлен. Низки искусства, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть царствует над миром и человеком! Все пожирает смерть, все живет для смерти. Далеко, далеко до воскресения! Да и будет ли когда воскресение? Прочь желания и наслаждения! Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование».

•И говорит ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мир греков, и, казалось, вместо слов слышалось дыхание цевницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вместе с нею ее наслаждения. Все неси ему. Гляди, как выпукло и прекрасно все в природе, как дышит все согласием. Все в мире,— все, чем ни владеют боги, все

в нем; умеи находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель мира,— венчай дубом и лавром прекрасное чело свое, мчись на колеснице проворно, правя конями на блистательных играх! Далее корысть и жадность от вольной и гордой души! Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мира, а властительницею их — красота. Увивай плющом и гроздием свою благовонную главу и главу стыдливой подруги! Жизнь создана для жизни, для наслаждения,— умеи быть достойным наслаждения».

• И говорит покрытый железом Рим, потрясая блестящим лесом копий: «Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека: оно уничтожает его в самом себе. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждай, человек. В порыве нерассказанного веселия, оглушенный звуком железа, несись на сомкнутых щитах бранноносных легионов. Слышишь ли, как у ног твоих собрался весь мир и, потрясая копьями, слился в одно восклицание? Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мира? Все, что ни объемлет взор твой, наполняй своим именем. Стремись вечно: нет границ миру, нет границ и желанию. Дикий и суровый, далее и далее захватывай мир,— ты завоевец наконец небо».

Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на Восток. К Востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждений, прекрасные очи, к Востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи.

Камениста земля; презренен народ; немногочисленная весь прислонилась к обнаженным холмам, изредка, неровно оттененным иссохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградой стоит ослица. В деревянных яслях лежит младенец; над ним склонилась непорочная мать и глядит на него исполненными слез очами; над ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом.

Задумался Древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапрашур земли...»

В меньшем числе строк нельзя сказать большего. «Приснился ли бедному сыну пустыни сон». И все оголенное существование Отечества, кажется, не стоит этих единственных во всемирной письменности строк. По их законченности. По их универсальности. По их неисчерпаемости.

Что-то случилось. Что-то случилось. Кто-то из «бедной ясли» вышел не тот.

И стало воротить «на сторону» лицо человеческое... И показалось всюду

рыло.

И стал «бедный сын пустыни» описывать *Чичиковых... Подхалюзиных. Собакевичей. Плюшкиных.*

И куда он ни обращался, видел все больше и больше, гуще и гуще, одних этих

рыл.

И чем больше молился несчастный кому — неизвестно...

Тем больше встречал он эти же

рыла.

Он сошел с ума. Не было болезни. Но он уморил себя голодом. Застыв, обледенев от ужаса.

Комментарии и указатель имен

Незадолго до смерти В. В. Розанов составил план своего Собрания сочинений (см.: *Розанов В. В.* Среди художников. М., 1994. С. 15—16). Теме «О писательстве и писателях» в этом плане отведено шесть томов (с 21-го по 26-й). Перечня работ писатель не приводит: они рассеяны в периодических изданиях тех лет. Отдельными книгами выходили лишь «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (Спб., 1894) и «Литературные очерки» (Спб., 1899).

В настоящий том включены наиболее значительные очерки, статьи и рецензии Розанова, дающие представление о широте его интересов в мире русской литературы, критики и философии, а также работы о западноевропейских писателях.

Розанову принадлежат десятки статей о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Достоевском, у него свыше 30 работ, в которых он обращается к творчеству Л. Н. Толстого. Не раз писал он о Некрасове, Гончарове, Тургеневе, Чехове, Мережковском, Л. Андрееве, А. Блоке, М. Горьком, А. Амфитеатрове и др. Немало работ посвящено русским философам — К. Леонтьеву, Н. Страхову, Вл. Соловьеву, Н. Бердяеву, Е. Трубецкому, П. Струве, П. Флоренскому и др., с кем он был знаком, переписывался, дружил или спорил. Из зарубежных классиков его внимание привлекали Диккенс, Мопассан, Золя, Мстерлинк и др.

В работах Розанова о литературе и философии получила выражение концепция ценностного подхода к художественному и эстетическому наследию. Именно этот аспект розановской критики представляет наиболее важную сторону его творчества, позволяющую оценивать роль художника в литературном процессе по его вкладу в сокровищницу национальной культуры вне зависимости от идеологической направленности мирозерцания автора.

Исходя из интересов национального развития России, Розанов рассматривал литературу и писателей в их служении отечеству. Литература несет ответственность за судьбу своей страны, считал он.

Работы Розанова о писателях и писательстве в своей целостности дают новый взгляд на историю русской литературы в сопоставлении с литературой всемирной, зримо обозначают своеобразные черты российской словесности.

Розановская концепция истории русской литературы оставалась до последнего времени вне историко-литературных трудов исследователей, и лишь теперь открывается ее значение, позволяющее по-новому прочитать и осмыслить литературный процесс в России XIX—XX веков.

И наконец, может быть, самое главное. Не так много нам известно очерков и статей о русских писателях, которые были бы написаны с таким литературным блеском, столь увлекательно, необычно и умно, так захватывали бы и сегодня свежестью мысли, были бы обращены к душе русского человека, как то видим мы у Василия Васильевича Розанова.

В настоящем томе представлены работы В. В. Розанова из периодических изданий, которые писатель не включал в свои книги.

В публикуемых текстах сохраняются особенности авторской лексики. Написание собственных имен не унифицируется и не приводится в соответствие с ныне

принятым (пояснения вынесены в аннотированный указатель имен). Цитирование чужих текстов отличается у Розанова неточностями, что в комментариях обычно не оговаривается.

Эстетическое понимание истории

Впервые: Русский вестник. 1892. № 1. С. 156—163.

Печатается первая часть статьи, которая в двух следующих номерах журнала публиковалась под названием «Теория исторического прогресса и упадка». Эпиграф взят из начала книги К. Н. Леонтьева «Национальная политика как орудие всемирной революции» (М., 1889).

Еще о гр. Л. Н. Толстом

и его учении о несопротивлении злу

Впервые: Русское обозрение. 1896. № 10. С. 497—507.

С. 11. *Письмо к г. Кросби* — Письмо Л. Н. Толстого к американцу о непротиивлении. Женева, 1896. 16 с. (см.: Полн. собр. соч. Т. 69. С. 13—23).

С. 19. ... *биографию Ницше* — очерк Лу-Андреас-Саломэ «Фридрих Ницше в своих произведениях». Она была ближайшим другом Ницше, и многое в ее очерках написано под его наблюдением.

Два вида «правительства»

Впервые: Новое время. 1897. 15 июля. № 7679.

С. 20. *Прочитав статью г. Ник. Энгельгардта «Спасович о Пушкине».* — Статья В. Д. Спасовича «Дмитрий Мережковский и его «Вечные спутники»» напечатана в «Вестнике Европы» (1897, № 6), отклик на нее Н. Энгельгардта «Спасович и Пушкин» — в «Новом времени» 27 июня 1897 г.

Писарев доказывал, что Пушкин «не поэт»... — имеются в виду статьи Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский» (1865) и «Генрих Гейне» (1867).

С. 21. *Достоевский в «Бесах» сказал...* — имеется в виду Петр Верховенский в «Бесах» Ф. М. Достоевского (глава «Иван-Царевич»).

С. 22. *Его параллель между Мольером и Шекспиром* — в «Table-Talk» Пушкин писал: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти...»

...возражения Радищеву и Чаадаеву. — Речь идет о статье Пушкина «Александр Радищев» (1836) и письме Пушкина к П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г.

Святая простота! — выражение приписывается Яну Гусу (1369—1415), который будто бы произнес его на костре инквизиции, когда увидел, как простая крестьянка в религиозном усердии бросила в огонь принесенный ею хворост.

...справившись с «Дневником писателя». — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876, февраль, гл. 2.

С. 24. *«моложавым».* — В статье «Александр Радищев» Пушкин писал: «Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное».

«Черт угрозил меня, с умом и талантом, родиться в России». — 18 мая 1836 г. Пушкин писал жене: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!»

«десять лет скачи — ни до какого государства не доскачешь». — Городничий в «Ревизоре» Гоголя говорит: «Да откуда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь» (I, 1).

«глас вопиющего в пустыне». — Ис. 40, 3; Мф. 3, 3; Мк. 1, 3; Ин. 1, 23.

Гр. Л. Н. Толстой

Впервые: Новое время. 1898. 22 сентября. № 8107.

С. 29. *Летом нынче я видел Севастополь.*— Летом 1898 г. Розанов ездил в Минеральные Воды, Закавказье и Крым.

«времен очаковских и покоренья Крыма».— А. С. Грибоедов. Горе от ума, II, 5.

С. 30. *Токология* — акушерская наука. Л. Н. Толстой написал предисловие к книге: *Стокгэм А. Токология, или Наука о рождении детей.* Пер. С. Долгов. М., 1892.

И не вздремнуть в могиле ей...— М. Ю. Лермонтов. Демон, II, 10.

С. 32. *Синайская рукопись* — рукописи IV в., содержащие Ветхий и Новый Заветы с поправками VI и VII вв. Обнаружена в 1844 г. в монастыре Св. Екатерины на горе Синай и приобретена в 1869 г. русским царем.

А. С. Пушкин

Впервые: Новое время. 1899. 26 мая. № 8348.

С. 39. *...щник поседелый* — здесь и далее цитируется стихотворение Пушкина «Вельможа» (1830).

«Сады» (1782) — поэма французского поэта Жака Делиля, была переведена на русский язык в 1814 г.

«Путешествия молодого Анахарсиса» — Бертелеми Ж. Ж. О благополучии из путешествия юного Анахарзиса. Пер. с фр. СПб., 1798.

С. 42. *Меж тем, как изумленный мир...*— А. С. Пушкин. Андрей Шенье (1825).

Ты — Царь. Живи один...— А. С. Пушкин. Поэту (1830).

...предисловие к «Руслану» — написано в 1825—1826 гг., опубликовано в 1828 г.

«Летопись села Горохина» — подцензурное название «Истории села Горюхина» Пушкина.

С. 45. *... по манию царя...*— А. С. Пушкин. Деревня (1819).

Заметка о речи Николая I на Сенной площади, во время холерных беспорядков — см. Барсуков Е. В. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1911. Т. 3. Гл. 26.

Начало славных дней Петра...— А. С. Пушкин. Стансы (1826).

«Я говорил сейчас с умнейшим человеком в России» — Погодин М. П. Из воспоминаний о Пушкине // Русский архив. 1865. С. 1249.

С. 47. *Абсентенизм* (абсентизм) — привычка покидать свое отечество для путешествий, жить в других странах (преимущественно в Италии или Франции).

На границах поэзии и философии

Впервые: Новое время. 1900. 9 июня. № 8721.

С. 54. *Мы для новой красоты...*— Д. С. Мережковский. Дети ночи (1896).

С. 55. *Отверженный Богом Басманов* — А. К. Толстой. Василий Шибанов (1858).

Кое-что новое о Пушкине

Впервые: Новое время. 1900. 21 июля. № 8763. Статья И. Л. Щеглова «Нескромные догадки», откликом на которую является настоящая статья Розанова, опубликована в «Литературных приложениях к Торгово-промышленной газете», которые в 1899 г. редактировал Розанов (см.: *Щеглов И. Новое о Пушкине.* СПб., 1902).

- С. 62. «Татевский сборник» — издан С. А. Рачинским. СПб., 1899.
 С. 63. *Не ослеплен я музою моею...* — Е. А. Баратынский. Муза (1829).
 С. 64. *О счастье с младенчества тоскую...* — Е. А. Баратынский. Истина (1823).

Памяти Вл. Соловьева

Впервые: Мир искусства. 1900. Т. 4. № 15—16 [август]. С. 133—143.

- С. 66. *Прав тысячу раз Тютчев...* — Ф. И. Тютчев. Silentium (1833).

М. Ю. Лермонтов

Впервые: Новое время. 1901. 15 июля. № 9109.

С. 69. *Письма его, начиная с издания Кулиша...* — В 1857 г. в Петербурге вышло 6-томное издание Сочинений и писем Гоголя, изданное П. А. Кулишом.

О Гоголе записал сейчас же после его смерти С. Т. Аксаков — имеется в виду «Письмо к друзьям Гоголя» С. Т. Аксакова (Московские ведомости. 1852. 13 марта).

С. 70. «*стиль автора есть сам автор*». — Обычно говорится: «Стиль — это человек». Выражение французского естествоиспытателя Ж. Бюффона из речи «Рассуждения о стиле», произнесенной в 1753 г. при избрании его в члены Французской академии.

С. 72. «*степи Гоголя лучше степеней Малороссии*». — В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) Белинский писал: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!..»

«*Базар житейской суеты*». — Под таким названием в 1850 г. в «Отечественных записках» появился первый русский перевод (И. И. Введенского) романа У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» (1848).

С. 73. *Известно, как дивился Белинский...* — Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1841) писал о «Казачьей колыбельной песне»: «Это стихотворение есть художественная апофеоза матери... Где, откуда взял поэт эти простодушные слова, эту удивительную нежность тона, эти кроткие и задумчивые звуки, эту женственность и прелесть выражения?»

С. 74. *Но я не так всегда воображал...* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей, 6.

Вл. Соловьев... не знает во всей мировой литературе аналогий этому сюжету. — Имеется в виду лекция Соловьева «Лермонтов» (1899). Новейшие исследования свидетельствуют, что сюжетно и текстуально «Демон» связан с «Потерянным раем» Дж. Милтона (см.: Олейник В. Т. Лермонтов и Мильтон: «Демон» и «Потерянный рай» // Известия ОЛЯ АН СССР. 1989. № 4).

С. 75. *Поэт, не дорожи любовью народной.* — А. С. Пушкин. Поэту (1830).
...не подражательных, как «Отцы пустыnnики...» — Имеется в виду, что это стихотворение Пушкина перелагает великопостную молитву Ефрема Сирина, сирийского богослова IV в.

С. 77. *Когда бегущая комета...* — М. Ю. Лермонтов. Демон, 1, 1.

...с звезды восточной... — Там же, 1, X.

Концы и начала,
 «божественное» и «демоническое»,
 боги и демоны

Впервые: Мир искусства. 1902. Т. 8. № 8 [август]. С. 122—137.

С. 81. *...длинные красные томы...* — Lepsius Richard (1810—1884). Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien... Berlin, 1849—1856. 12 Bd.

С. 82. *И в небесах я вижу Бога.*— М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).

С. 83. «*Рейнеке-Лис*» — сатирическая поэма И. В. Гёте (1793).

Последняя туча рассеянной бури...— А. С. Пушкин. Туча (1835).

С. 88. *О грезах юности томим воспоминаньем...*— М. Ю. Лермонтов. Ребенку (1840).

Младенца ль милого ласкаю...— А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

Бывало, мирный звук твоих могучих слов...— М. Ю. Лермонтов. Поэт (1838).

С. 89. *И звуков тех слов заменить не могли...*— М. Ю. Лермонтов. Ангел (1831) (неточная цитата).

Лишь только мир волшебным словом...— М. Ю. Лермонтов. Демон, 1, XV.

С. 90. *О, ночь блаженства!* — У. Шекспир. Ромео и Джульетта, II, 2. Пер. А. Л. Соколовского.

С. 91. *Невыразимое смятенье...*— М. Ю. Лермонтов. Демон, 1, XVI.

С. 92. *На воздушном океане...*— Там же, XV.

С. 94. *В последний раз она плясала.*— Там же, VIII.

«Демон» Лермонтова и его древние родичи

Впервые: Русский вестник. 1902. № 9, сентябрь. С. 45—56. В журнале дано примечание редакции: «Совершенно не разделяя симпатии почтенного автора к языческой «религиозности», помещаем его статью, как характерный образчик несомненно цельного взгляда на затрагиваемые им вопросы».

С. 96. «*Рустем и Зораб*» — персидская повесть В. А. Жуковского, вольное подражание Ф. Рюккерту (1849), переложившему эпизод из «Шахнаме» Фирдоуси.

С. 97. *За озером в тени дубравы / Спасался некогда монах* — А. С. Пушкин. Русалка (1819); цит. неточно.

Счастливый обладатель своих способностей

Впервые: Мир искусства. 1902. Т. 8. № 9—10 [сентябрь — октябрь]. Отд. III. С. 29—31.

С. 105. «*Его можно и пожалеть*». — Имеется в виду статья Н. К. Михайловского «О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философской порнографии. — Несколько слов о г. Мережковском и Л. Толстом» (Русское богатство. 1902. № 8, август).

25-летие кончины Некрасова

Впервые: Новое время. 1902. 24 декабря. № 9630. По поводу этой статьи А. П. Чехов писал из Ялты 30 декабря 1902 г. В. С. Миролюбову: «В «Новом времени» от 24 декабря прочтите фельетон Розанова о Некрасове. Давно, давно уже не читал ничего подобного, ничего такого талантливого, широкого и благодушного, и умного».

С. 112. «*Очерки истории русской интеллигенции*». — Милуков П. Н. Из истории русской интеллигенции. СПб., 1902 (2-е изд. СПб., 1903).

С. 118. «*Он — выше Пушкина*». — См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. М., 1984. С. 416—417.

Впервые: Мир искусства. 1902. Т. 8. № 12 [декабрь]. С. 337—342.

С. 122. *Костанжогло, Муразов* — персонажи второй части «Мертвых душ» Гоголя.

Илион — греческое название Трои, известное по эпосу Гомера «Илиада» (поэма об Илионе).

«В нем был легион бесов...» — Лк. 8, 27—36. Эту притчу о «бесновавшемся» Достоевский взял эпиграфом к роману «Бесы».

О благодущии Некрасова

Впервые: Мир искусства. 1903. Т. 9. № 2 [январь — февраль]. С. 52—64.

С. 125. *...литератор с довольно громкой фамилией.* — Очевидно, имеется в виду Всеволод Сергеевич Соловьев (1849—1903), полемизировавший в своих статьях с произведениями Н. А. Некрасова.

С. 126. «какой талант у этого человека, и какой топор его талант» — В. Г. Белинский. Письмо И. С. Тургеневу 18 февраля 1847 г.

Не водись-ка на свете вина... — Н. А. Некрасов. Вино (1848).

С. 128. *У людей-то для щей — с солониною чан...* — Н. А. Некрасов. Песни, I (1866). Далее цитируются стихи Некрасова «Молодые», «Катерина», «Свобода», «Осторожность», «Публика», «Пропала книга!», «Родина», «Песня Еремушке», «Праздник жизни — молодые годы...», «Помещик» (из «Кому на Руси жить хорошо»), «Неизвестному другу», «Крестьянские дети».

Ив. С. Тургенев

Впервые: Новое время. 1903. 22 августа. № 9865. Первоначальное название статьи (в гранках, архив В. В. Розанова в РГАЛИ) — «Один из последних рыцарей».

Среди иноязычных

Впервые: Мир искусства. 1903. Т. 10. № 7—8 (июль — август). С. 69—86. Печатается по журналу: Новый путь. 1903. № 10 (ноябрь). С. 219—225. Подзаголовок статьи появился в «Новом пути».

С. 145. *Религиозно-философское собрание* — существовало в Петербурге в 1901—1903 гг. Одним из организаторов, наряду с Мережковскими, был Розанов. Отчеты заседаний печатались в журнале «Новый путь» в 1903—1904 гг. 5 апреля 1903 г. Синод запретил собрание.

С. 146. *...двух романов, только что переведенных на английский язык.* — В 1901 г. в Лондоне и Нью-Йорке издан английский перевод Герберта Тренча романа Мережковского «Смерть богов», а в 1902 г. в Париже французский перевод С. М. Перского романа «Воскресшие боги».

С. 147. *Он посетил знаменитые Керженские леса.* — Описание этой поездки см. в статье З. Гиппиус «Светлое Озеро» (Новый путь. 1904. № 1—2).

С. 155. *Колокольчики мои...* — одноименное стихотворение А. К. Толстого (1840-е гг.).

С. 157. *Шепот, робкое дыханье...* — А. А. Фет, одноименное стихотворение (1850).

С. 161. «*История цивилизации*» — книга английского историка Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии» (1857—1861) переведена на русский язык в «Отечественных записках» в 1861 г. (отд. изд. 1863—1864).

Американизм и американцы

Впервые: Новый путь. 1904. № 2 (февраль). С. 265—269.

С. 164. *«Эрнани»* (1830) — романтическая драма В. Гюго, постановка которой стала триумфом романтизма (рус. пер. 1830).

Литературные новинки

Впервые: Новое время. 1904. 16 июня. № 10161.

С. 168. *На Воробьевых горах...* — С конца июня по 23 июля 1891 г. Розанов с женой Варварой Дмитриевной жил на даче на Воробьевых горах вблизи Москвы. О втором приезде подробностей не сохранилось.

С. 175. *В городе Б.* — то есть Брянске, где Розанов преподавал в прогимназии в 1882—1887 гг.

Писатель-художник и партия

Впервые: Новое время. 1904. 21 июля. № 10196.

С. 175. *...«всемирное имя» Габриэля д'Аннунцио.* — Произведения итальянского писателя Г. д'Аннунцио (1863—1938) переводились на русский язык в «Северном вестнике» с 1893 г. («Невинный») и выходили затем отдельными изданиями. В 1909—1910 гг. издательство «Шиповник» выпустило его Собрание сочинений в 12 томах.

С. 176. *Пушкин спрашивал...* — Розанов произвольно конструирует мысль Пушкина.

...письма о Риме, о Венеции, о Париже. — «Письма из Рима, Венеции и Парижа» Генрика Сенкевича неоднократно переводились на русский язык (см. его «Письма из путешествия». Киев, 1894).

С. 177. *...в «Новостях» фельетон.* — Имеется в виду статья А. М. Скабичевского в «Северном вестнике», 1886, № 6 (отдел «Новые книги»), которую А. П. Чехов в письме Е. К. Сахарову 28 июля 1886 г. назвал «самой ядовитой руганью». Впоследствии Чехов неоднократно вспоминал этот отзыв Скабичевского.

... Толстой говорил о нем... — Розанов цитирует статью В. Дорошевича «А. П. Чехов», появившуюся в «Русском слове» 3 июля 1904 г., № 183.

...в другом месте. — Далее приводится отрывок из главы IX чеховской «Палаты № 6».

С. 178. *Н. Михайловский, останавливаясь на молодых рассказах Чехова.* — Н. К. Михайловскому принадлежит несколько статей о ранних рассказах Чехова, собранных в его книге «Литература и жизнь» (1892) и в 6-м томе Сочинений (СПб., 1897).

...изготовил в Историческом музее «комнату Чехова». — В статье В. Гиляровского «О Чехове», появившейся в «Русском слове» 6 июля 1904 г., сообщалось: «В. А. Гольцев задумал весьма интересное, а именно: при Историческом музее создать Чеховскую комнату, куда собрать все, что будет касаться памяти писателя. Именно теперь, — закончил В. А. свою идею, — когда все еще цело, когда все свежо сохранилось, именно теперь и следует собирать эту комнату».

С. 181. *Счастливы владеющие.* — Гораций. Оды. IV, 9, 45.

Когда-то знаменитый роман

Впервые: Новое время. 1905. 8 июня. № 10511.

Полемический ответ «По поводу старого романа» в «Новом времени». 1905. 20 июня. № 10523 (подпись: М — е).

С. 186. ...в журнале «Русский труд». — Еженедельная политико-экономическая и литературная газета «Русский труд» выходила в Петербурге в 1898—1899 гг. С 21 ноября по 23 декабря 1898 г. в ней печаталась работа Розанова «Брак и христианство» (перепечатана в книге Розанова «В мире неясного и нерешенного». СПб., 1901; 2-е изд. СПб., 1904).

С. 189. «Ничего подобного никогда я не мог написать». — Подобным образом Л. Н. Толстой отзывался о «Записках из Мертвого дома» Достоевского (письмо Н. Н. Страхову 26 сентября 1880 г.). «Сон смешного человека» не вызывал столь высоких оценок Толстого. В дневнике 13 июня 1891 г. он записывает: «Булыгин читал «Сон смешного человека» Достоевского. Хорошо задумано, дурно исполнено».

С. 192. По вечным великим железным законам круг жизни свершаем — И. В. Гёте. Божественное (1782) (Из цикла «Философские стихотворения»).

Мечта в щелку

Впервые: Вesy. 1905. № 7 [июль]. С. 1—8.

С. 194. ...с покрывалом Лаодикеи. — Очевидно, имеется в виду Левкодея, морское божество в греческой мифологии, давшее Одиссею чудотворное покрывало, при помощи которого он достиг берега (*Гомер. Одиссея*, V, 333—353).

«Ему приснилось во сне...» — согласно легенде, великий князь литовский считается основателем столицы Литвы Вильно в 1323 г. Заснув после охоты, он увидел во сне железного волка, что было сочтено за указание построить на этом месте город.

Старшая дочка Надюша. — Родилась 6 ноября 1892 г., умерла 25 сентября 1893 г. и похоронена на Смоленском кладбище Петербурга.

Памяти

Ф. М. Достоевского

Впервые: Новое время. 1906. 28 января. № 10730.

С. 202. новое «Полное собрание» — Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. СПб., 1904—1906. Т. 1—14.

С. 204. «преходит лик мира сего». — 1 послание Иоанна, 2, 17.

Толстой и Достоевский об искусстве

Впервые: Новое время. 1906. 21, 28 ноября, 6 декабря. № 11025, 11032, 11040.

С. 206. Узнаю коней ретивых... — так цитирует стихотворение А. С. Пушкина («Из Анакреона») Стива Облонский в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (ч. I, гл. 10).

С. 208. *Глагол времен! Металла звон!* — Г. Р. Державин. На смерть князя Мещерского (1779).

«напыщенный язык королей». — Здесь и далее Розанов полемизирует со статьей Толстого «О Шекспире и о драме», напечатанной в газете «Русское слово» в ноябре 1906 г.

С. 209. *Ты вздор болтаешь.* — У. Шекспир. Ромео и Джульетта, д. 1, сц. 4. Пер. А. Л. Соколовского (1880).

С. 211. *...по поводу философствований Левина* — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя, 1877 г., июль — август, гл. 2 и 3.

...первый том первого «Полного собрания сочинений». — Имеется в виду издание в 14 томах, осуществленное А. Г. Достоевской в 1882—1883 гг. Том первый вышел последним, в него вошли биография, письма и заметки из записной книжки Достоевского.

С. 212. *«есть ли у тебя усы»* — из письма Ф. М. Достоевского брату Михаилу 1 января 1840 г.

«Кто протестует против философии...» — Достоевский перевел с французского афоризм Блеза Паскаля из его сочинения «Мысли», поскольку первый русский перевод появился только в 1843 г. В современном переводе: «Пренебрежение философствованием и есть истинная философия» (*Ларошфуко Ф. де. Максимумы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. де. Характеры.* М., 1974. С. 113).

С. 213. *...непереведенный «Кот-Мур».* — Роман Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» был издан по-русски в 1840 г., Достоевский читал его по-немецки.

Бальзак — велик! — Достоевский перевел роман Бальзака «Евгения Гранде», который был опубликован в журнале «Репертуар и Пантеон» (СПб., 1844). № 6 и 7. В последнее «Полное собрание сочинений» в 30 томах не вошел.

«Фауст» Гёте. — Достоевский читал «Фауста» по-немецки. Первый перевод, сделанный Э. И. Губером, вышел в 1838 г. после письма к М. М. Достоевскому от 9 августа 1838 г.

«История» Полевого. — Речь идет об «Истории русского народа» Н. А. Полевого (1829—1833).

«Уголино» (1838 г.) — романтическая драма Н. А. Полевого.

«Ундина» (1835 г.) — поэма В. А. Жуковского, вышедшая в 1837 г. отдельным изданием под названием: «Ундина, старинная повесть, рассказанная в прозе бароном Ламот Фуке, на русском в стихах В. Жуковским».

Также Виктор Гюго. — Наибольшее впечатление на юного Достоевского произвели «Собор Парижской Богоматери» и «Последний день приговоренного к смерти» В. Гюго.

С. 214. *«Ум — способность только материальная...»* — Розанов не совсем точно цитирует письмо Достоевского к брату Михаилу 31 октября 1838 г.

Клод Бернар в изложении Митеньки Карамазова. — В «Братьях Карамазовых» (кн. XI, гл. 4) Митя спрашивает: «Клод Бернар. Это что такое? Химия, что ли? — Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, — только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю. — Ну и черт его дери, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в шелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось!»

«Есть некоторые жизненные вещи...» — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. М., 1984. Т. 27. С. 52.

С. 215. *...главную мысль Шатобриана сочинения...* — В сочинение Ф. Р. де Шатобриана «Гений христианства» (1802) вошли повести «Атала, или Любовь двух дикарей» и «Рене, или Следствия страстей». Просветительскому обращению к разуму общественного человека здесь противопоставлено мистическое чудесное, интуиция и фантазия.

...статью критика Низара...— В марте — апреле 1838 г. в «Сыне отечества» были рядом опубликованы статьи французских критиков Д. Низара о Ламартине и Г. Планша о Гюго (отрицательная характеристика поэзии, романов и драм Гюго). Достоевский перепутал авторов этих статей.

«Портреты 100 литераторов...» — Издатель и книгопродавец А. Ф. Смирдин выпустил три тома «Ста русских литераторов» (1839—1845). Р. М. Зотов — автор исторических романов и драм, высмеянных Белинским. А. А. Орлов — лубочный романист, осмеянный критикой 30-х годов.

С. 216. ...о грустной зиме Онегина в Петербурге.— В восьмой главе «Евгения Онегина» герой попадает в сходную с переживаемой И. Н. Шидловским (другом юности Достоевского) ситуацию (любовь к замужней женщине).

Дон Карлос, маркиз Поза — герои драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787). Мортимер — юноша в драме Шиллера «Мария Стюарт» (1780).

Шидловский... писал стихи.— До нас дошло лишь несколько стихотворений И. Н. Шидловского (1816—1872). Опубликованы в книге: Алексеев М. П. Ранний друг Ф. М. Достоевского. Одесса, 1921.

С. 218. ...ни Расин, ни Корнель.— Высокая оценка Достоевским трагедий П. Корнеля и Ж. Б. Расина противоположна взглядам Белинского того времени, рассматривавшего их как представителей «ложного классицизма». Достоевский называет три трагедии Расина: «Андромаха» (1667, рус. перевод 1794), «Ифигения в Авлиде» (1674, рус. перевод 1796) и «Федра» (1677, рус. перевод 1805), а также три трагедии Корнеля: «Цинна, или Милосердие Августа» (1640, рус. перевод 1775), «Гораций» (1640) и «Сид» (1637, рус. перевод 1775).

С. 219. ...с его пасквильной Клеопатрою.— Трагедия Этьена Жоделя (1532—1573) «Плененная Клеопатра» (1552), основанная на повествовании Плутарха.

...после Тредьяковского Ронсара.— Имеется в виду неоконченная эпическая поэма П. Ронсара «Франсиада» (1572), которому Достоевский уподобляет В. К. Тредиаковского с его «Тилемахидой» (1766).

...он ее взял хоть у Сенеки.— Трагедии Сенеки явились образцом для трагедий французского классицизма. Именно его трагедии «Медия» следовал Корнель в своей первой трагедии «Медия» (1635).

«Будем друзьями, Цинна» — П. Корнель. Цинна, или Милосердие Августа, д. 5, сц. 3.

Иван Иванович Перерепенко — персонаж гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

«сладкие вымыслы».— Имеются в виду строки из богатырской сказки Н. М. Карамзина «Илья Муромец» (1794): «На минуту позабудемся в чародействе красных вымыслов!» Розанов неоднократно обращался к этим строкам и в других своих произведениях.

С. 220. ...«в кресле», «в семье», «один».— Ср. в «Опавших листьях» Розанова: «Когда наша простая Русь полюбила его простою и светлою любовью за «Войну и мир», — он сказал: «Мало. Хочу быть Буддой и Шопенгауэром». Но вместо «Будды и Шопенгауэра» получилось только 42 карточки, где он снят в $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, en face, в профиль и, кажется, «с ног», — сидя, стоя, лежа, в рубашке, кафтани и еще в чем-то, за плугом и верхом, в шапочке, шляпе и «просто так»...»

...в одном трогательном месте.— Очевидно, речь идет о заключительной сцене шекспировской «Зимней сказки», где «оживает» Гермiona, жена Леонта. Розанов видел пьесу в московском Малом театре.

«Мне Голядкин опротивел».— Письмо к брату Михаилу Достоевскому 1 апреля 1846 г.

С. 221. «не пекутся убо на утро» (не заботьтесь о завтрашнем дне).— Мф. 6, 34.

«взгляните на птицы небесныя».— Мф. 6, 26.

На закате дней
(К 55-летию
литературной деятельности
Л. Н. Толстого)

Впервые: Русское слово. 1907. 12 сентября. № 209. Подпись: В. Варварин.

На закате дней
(Л. Толстой и быт)

Впервые: Русское слово. 1907. 5 октября. № 228. Подпись: В. Варварин.

На закате дней
(Л. Толстой и интеллигенция)

Впервые: Русское слово. 1907. 30 октября. № 249. Подпись: В. Варварин.

Метерлинк

Впервые в книге: *Метерлинк М.* Сочинения. СПб., 1907. Т. 1. С. 345—350.

С. 224. *Метерлинк надо читать медленно.*— Ср. запись во втором коробе «Опавших листьев» Розанова: «Начал «переживать» Метерлинка: страниц 8 я читал неделю, впадая почти после каждых 8 строк в часовую задумчивость».

Некрасов
в годы нашего
ученичества

Впервые: Русское слово. 1908. 10 и 15 января. № 8 и 12. Подпись: В. Варварин.
15 января измененное название: «Некрасов в пору нашего ученичества».

С. 248. *В барском доме была учена...*— Н. А. Некрасов. В дороге (1845).
Наточивши широкий топор...— Н. А. Некрасов. Вино (1848).

Л. Андреев
и его «Тьма»

Впервые: Новое время. 1908. 25 января. № 11448.

С. 255. «Тьма» — рассказ Л. Н. Андреева в третьей книге «Литературно-художественного альманаха издательства «Шиповник». СПб., [1907].

«Иуда Искариот и другие» — рассказ Л. Н. Андреева в книге 16 «Сборника товарищества «Знание» за 1907 год». СПб., 1907. 19 июля 1907 г. Розанов опубликовал в «Новом времени» статью о нем: «Русский «реалист» об евангельских событиях и лицах».

С. 256. *Л. Андреев со своим «Лодыжниковым»...*— Перед публикацией рассказа в альманахе «Шиповник» напечатано объявление о том, что «переводчиков просят обращаться за разрешением на перевод и за справками к представителю автора И. П. Ладыжникову» (приводится берлинский адрес).

С. 257. *...знаменитой пощечине, которую Николай Ставрогин...*— Ф. М. Достоевский. Бесы. Ч. 1, гл. 5, VIII.

А ведь я ручку-то у вас не поцелую — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. 1, кн. 3, гл. X.

С. 259. «ел и пил с блудницами и мытарями». — Мф. 9, 10.

С. 260. «Я не тебе поклонился» — Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Ч. 4, гл. IV.

Автор «Балаганчика»
о петербургских
Религиозно-философских собраниях

Впервые: Русское слово. 1908. 25 января. № 21. Подпись: В. Варварин. Статья Розанова представляет собой отклик на статью А. Блока «Литературные итоги 1907 года» в журнале «Золотое руно». 1907. № 11—12.

С. 270. *Буйного веселья...* — Ап. Григорьев. Цыганская венгерка (1857).

Домик Лермонтова
в Пятигорске

Впервые: Новое время. 1908. 16, 23 и 30 июня. № 11587, 11594, 11601. В двух последних номерах газеты напечатано под заглавием: «Лермонтовский домик в Пятигорске».

С. 273. *...предвидел Карамзин* — Н. М. Карамзин. О любви к отечеству и народной гордости (1802).

С. 274. *Верхболово, Эйдуken* — пограничные станции на русско-германской границе.

С. 276. *Оба раза, как я был на Кавказе...* — Впервые Розанов ездил на Кавказ и в Крым летом 1898 г., второй раз был на Кавказе летом 1907 г.

На книжном
и литературном рынке
[Арцыбашев]

Впервые: Новое время. 1908. 11 июля. № 11612.

С. 280. «Санин» — роман М. П. Арцыбашева, печатался в 1907 г. в журнале «Современный мир», а в 1908 г. вышел двумя изданиями в Петербурге.

С. 285. «тьма», «бездна», «в тумане» — названия рассказов Л. Н. Андреева: «Тьма» (1907), «Бездна» (1902), «В тумане» (1902).

На книжном
и литературном рынке
[Диккенс]

Впервые: Новое время. 1908. 23 июля. № 11624.

С. 293. *...на одном парадном обеде...* — Имеется в виду речь Ч. Диккенса на банкете в его честь 7 февраля 1842 г. в Хартфорде. Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. М., 1963. Т. 28. С. 456—460.

О памятнике
И. С. Тургеневу

Впервые: Новое время. 1908. 27 августа. № 11659. Напечатано в форме «Письма в редакцию».

80-летие рождения
гр. Л. Н. Толстого

Впервые: Новое время. 1908. 28 августа. № 11660. Без подписи.

Л. Н. Толстой

Впервые: Новое время. 1908. 28 августа. № 11660.

С. 304. *Я видел Толстого один раз в жизни.*— Розанов с женой посетил Ясную Поляну 6 марта 1903 г.

С. 306. *...ткнул в бок и Шекспира.*— Имеется в виду очерк Л. Н. Толстого «О Шекспире и о драме» (1906).

Толстой
между великими мира

Впервые: Русское слово. 1908. 28 августа. № 199. Подпись: В. Варварин.

Великий мир сердца

Впервые: Русское слово. 1908. 9 октября. № 234. Подпись: В. Варварин.

С. 313. *...письмо неизвестного русского священника.*— 8 октября 1908 г. ряд газет опубликовал письмо Л. Н. Толстого лицам и учреждениям, приславшим поздравления ко дню его 80-летия, в котором он писал: «Благодарю и лиц духовного звания,— хотя и очень немногих, но приветствия которых тем более дороги для меня,— за их добрые пожелания».

Поездка
в Ясную Поляну

Впервые: Русское слово. 1908. 11 октября. № 236. Подпись: В. Варварин, под названием «Одно воспоминание о Л. Н. Толстом». Печатается по кн.: О Толстом. Международный толстовский альманах (Сост. Сергеенко П.). М., 1909. С. 284—291. Об истории поездки Розанова с женой в Ясную Поляну 6 марта 1903 г. см. в кн.: *Розанов В. В.* Мысли о литературе. М., 1989. С. 548—550.

С. 319. *А когда увидишь — удивляешься.*— Здесь сделано примечание от редакции Толстовского альманаха о том, что Розанов «не первый описывает Л. Н. Толстого как человека маленького роста. На самом деле Л. Н. выше среднего роста».

С. 321. *Трефное* — недозволенная иудейской религией пища.

С. 322. *Кит Китыч* — так в комедии А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856) называют купца-самодура Тита Титыча Брускова.

«Загорвел» — у Толстого «зачиврел» (Воскресение. Ч. II, гл. 5).

Литературные
симулянты

Впервые: Новое время. 1909. 11 января. № 11794.

С. 324. *Блок читает о землетрясении в Мессине.*— В сокращенном виде доклад А. Блока, прочитанный 30 декабря 1908 г. в Религиозно-философском

обществе, напечатан в «Нашей газете» 6 января 1909 г. (в полном виде под названием «Стихия и культура» в альманахе «Италия. Литературный сборник в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине». СПб., 1909). Сильнейшее землетрясение в Сицилии, разрушившее Мессину, произошло 15 декабря 1908 г.

Завопил Д. С. Мережковский.— В прениях выступили Д. С. Мережковский, Г. И. Чулков, П. Б. Струве (отчет в «Нашей газете» 1 января 1909 г.).

С. 325. ...роман Марты с Мефистофелем.— И. В. Гёте. Фауст («Сад Марты»).

С. 326. «он предпочел бы, чтобы Россия не существовала вовсе...» — Розанов пересказывает статью Д. С. Мережковского «Красная шапочка» (Речь. 1908. 24 февраля; вошла в книгу Мережковского «В тихом омуте». СПб., 1908), полемически направленную против П. Б. Струве.

Трагическое отсужение

Впервые: Новое время. 1909. 9 февраля. № 11822.

С. 326. «Мережковский» — статья А. Блока в газете «Речь» 31 января 1909 г.

С. 327. «имени Господа Бога твоего не произноси всуе». — Исх. 20, 7.
«нигде же никто видел» — Ин. 1, 18.

...закон устройства Святого Святых.— Исх. гл. 26.

С. 328. ...с «белыми дьяволицами»... да с Юлианом Отверженным.— Речь идет о трилогии Мережковского «Христос и Антихрист»: 1. «Смерть богов. Юлиан Отступник» (первоначальное название «Отверженный»); 2. «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи»; 3. «Антихрист. Петр и Алексей» (1895—1905).

«из-под куста таинственно кивает головой». — М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).

Попы, жандармы и Блок

Впервые: Новое время. 1909. 16 февраля. № 11829.

С. 330. «Кто же произносит...» — Розанов пересказывает статью А. Блока «Мережковский» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 360).

«Проблемы идеализма» (М., 1902) — сборник, о котором Розанов писал в статье «Московские идеалисты» (Новое время. 1903. 11 декабря).

...Флексер-Волынский старался.— В 1900 г. вышел сборник критических статей А. Л. Волынского «Борьба за идеализм» (СПб.).

С. 332. «К познанию России» — книга Д. И. Менделеева (СПб., 1907).

Загадки Гоголя...

Впервые: Русское слово. 1909. 12 и 14 марта. № 58; 60. Подпись: В. Варварин.

С. 336. Спенсер — женская одежда: короткая облегающая куртка; по имени лорда Джорджа Спенсера (1758—1834), носившего такую куртку.

С. 340. В мундирах выпушки, погончики, петлички... — А. С. Грибоедов. Горе от ума. III, 12.

Гений формы

Впервые: Новое время. 1909. 20 марта. № 11861.

С. 350. *«она выпрямляет каждого, кто на нее долго смотрит».*— Г. И. Успенский. Выпрямила (1885).

Русь и Гоголь

Впервые: Новое время. 1909. 26 апреля. № 11896. Без подписи. Памятник Н. В. Гоголю был открыт 26 апреля 1909 г. Розанов был одним из корреспондентов «Нового времени» на Гоголевских торжествах в Москве по случаю 100-летия со дня рождения писателя. Этим объясняется то, что в Петербурге в «Новом времени» статья вышла без подписи.

С. 354. *«Эти бедные селенья»* — одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1855).

Мережковский против «Вех»

Впервые: Новое время. 1909. 27 апреля. № 11897.

С. 354. *«Вехи»* — сборник статей о русской интеллигенции, вышел в свет 16 марта 1909 г. в издательстве В. М. Саблина. Розанову принадлежит также статья «Между Азефом и «Вехами» (Новое время. 1909. 20 августа) и «К пятому изданию «Вех» (Московский еженедельник. 1910. 6 марта. № 10).

С. 355. *...в «Дневнике писателя» он выступил в защиту... мясников Охотного ряда* — об этом Достоевский писал в обращении «Студентам Московского университета» 18 апреля 1878 г. (Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 21—25).

А. А. Столыпин в своей заметке — Столыпин А. Интеллигенты об интеллигентах // Новое время. 1909. 23 апреля.

Эркель, подскочив, приставил дуло револьвера...— В «Бесах» (III, 4) Шатова убивает Петр Степанович Верховенский.

Один из певцов вечной «весны»

Впервые: Новое время. 1909. 31 июля, 6 и 14 августа. № 11991, 11997, 12005. 6 августа под названием «Мастерство слова у русских и французов»; 14 августа под названием «Русское и французское мастерство слова».

С. 359. *«История одной жизни»* — под таким названием вышло в 1909 г. первое отдельное издание русского перевода романа Мопассана «Жизнь».

С. 363. *...оставит человек отца и мать и прилепится к женщине.*— Мф. 19, 5; Мк. 10, 8.

С. 369. *...профессора иностранных университетов.*— На Гоголевском юбилее в 1909 г. в Москве с речами выступили французские слависты Эжен Мелькиор де Вогюз (1848—1910), Луи Леже (1843—1923), Андре Мазон (1881—1967).

С. 370. *Мы все учились понемногу.*— А. С. Пушкин. Евгений Онегин. 1, 5.
«История французской революции» Минье или таковую же Токвиля.— Книга французского историка Ф. О. М. Минье вышла в 1824 г. (русский перевод в 1906 г.); книга французского историка и политического деятеля Алексиса Токвиля

«Старый порядок и революция» (1856) переведена на русский язык в 1896 г. и неоднократно переиздавалась.

С. 372. «кто из вас невиновен, брось первый в нее камень». — Ин. 8, 7.

С. 375. «Ахиллесов щит». — Знаменитое описание щита героя Троянской войны Ахиллеса содержится в XVIII главе «Илиады» Гомера.

С. 377. «Те же черты: но у Элен почему-то это бесподобно прекрасно...» — вольный пересказ из 3-й главы первой части «Войны и мира» Л. Н. Толстого.

С. 380. *Страхов тогда выразил недоумение.* — Друг Л. Н. Толстого Н. Н. Страхов о «Крейцеровой сонате» не писал. Очевидно, Розанов имеет в виду книгу его однофамильца: *Страхов Н. Н.* Брак, рассматриваемый в своей природе и со стороны формы его заключения. Харьков, 1893.

Магическая страница у Гоголя

Впервые: Весы. 1909. № 8. С. 25—44; № 9. С. 44—67.

С. 397. ...в «Разговорах Гете» — запись 28 марта 1827 г.

С. 415. «отец сказал то-то, дочь ответила так-то». — Имеется в виду драма Ф. К. Сологуба «Любови» («Пять драм». СПб., 1913).

Погребатели России

Впервые: Новое время. 1909. 19 ноября. № 12102.

С. 421. *Наполеона французского первого, отца нынешнего.* — Смердяков ошибочно называет Наполеона III, племянника Наполеона I, сыном Наполеона I («Братья Карамазовы». Ч. 1, кн. 5, гл. 2).

С. 422. ...с кафедры первой Г. Думы проф. Кареевым — 3 мая 1906 г. историк Н. И. Кареев заявил в Государственной думе: «Гораздо лучше будет не употреблять выражение «русская земля», потому что территория Российской Империи не принадлежит исключительно только русской национальности и, следовательно, мы эту территорию русской землей называть не можем» (Государственная Дума: Стенографические отчеты. 1906 г. Сессия 1. СПб., 1906. Т. 1. С. 152).

...занятий Леонардо да Винчи. — Вторая часть трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» называется «Воскресшие боги. Леонардо да-Винчи» (1900).

«существует предел, за которым нисхождение...» — Здесь и далее Розанов цитирует статью Д. С. Мережковского «Земля во рту» (газета «Речь», 15 ноября 1909 г.).

«Россия еще воскреснет Духом Святым». — Иванов Вяч. О русской идее // Золотое руно. 1909. № 1—3.

С. 423. *В Испании одного Феррера казнили.* — Испанский просветитель Гуардия Феррер был казнен в Барселоне 13 октября 1909 г. как руководитель восстания против колониальной войны в Марокко, что вызвало волну протестов во многих странах.

...летний фельетон М. О. Меньшикова о Кованько — Меньшиков М. «Генерал» в заплатах и генерал в орденах // Новое время. 1909. 7 июня.

«О смертной казни». — Книга «О смертной казни: Мнения русских журналистов» вышла в Москве в 1909 г.

«братья-писатели» — начало крылатой строки Н. А. Некрасова: «Братья-писатели! в нашей судьбе что-то лежит роковое» («В больнице», 1855).

С. 424. «С Гомером он беседовал один». — Современники (Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями, X) считали, что стихотворение Пушкина «Гнедичу» («С Гомером долго ты беседовал один...») обращено к Николаю I.

«Князю Юсупову» — стихотворение Пушкина «К вельможе» (1830).

Куприн

Впервые: Новое время. 1909. 26 ноября. № 12109.

С. 424. «его же не преjdeши». — Псалтирь. 148, 6.

«Яма» — повесть А. И. Куприна, опубликованная в третьем сборнике «Земля». М., 1909.

Красота- властительница

Впервые: Новое время. 1909. 2 декабря. № 12115.

С. 426. ...изданную Карлейлем. — «Письма и речи Кромвеля» (1845).

...победили два какие-то хулигана — очевидно, имеются в виду В. М. Пуришкевич и А. И. Гучков (Милюков П. Н. Воспоминания. Часть VII, гл. 2).

Героическая личность

Впервые: Новое время. 1909. 3 декабря. № 12116.

С. 429. «умная книжка». — В 7-й главе романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» говорится об «ученой книге» — имеется в виду книга французского социалиста-утописта В. Консидерана «Судьба общества» (Т. 1—3, 1834—1844), в которой излагаются взгляды Ш. Фурье.

С. 430. «С того берега» — книга А. И. Герцена, вышедшая в Лондоне в 1855 г.

...все медики почти только преступники. — Вересаев В. В. Записки врача. СПб., 1901. В медицинской печати Вересаева обвинили в субъективизме и незнании.

О письмах писателей

Впервые: Новое время. 1909. 16 декабря. № 12129.

С. 430. письма Эртели. — Этель А. И. Письма / Предисл. М. О. Гершензона. М., 1909.

С. 433. Амьель, у нас — Никитенко. — Книга швейцарского философа и поэта А. Ф. Амиеля «Задушевный дневник» (1883—1884) была переведена М. Л. Толстой, дочерью писателя («Из дневника Амиеля». 2-е изд. М., 1905). «Дневник» А. В. Никитенко опубликован посмертно в 1888—1892 гг.

Амфитеатров

Впервые: Новое время. 1910. 13 мая. № 12272.

С. 434. ...книжку каких-то газетных вырезок.— *Амфитеатров А. В.* Заметы сердца. М., 1909.

С. 436. *Вы ночью часу не верьте...*— З. Н. Гиппиус. Цветы ночи (1894).

Виардо и Тургенев

Впервые: Русское слово. 1910. 20 мая. № 114. Подпись: В. Варварин.

С. 437. *Герои были до Атрида...*— М. В. Ломоносов приводит эти строки Горация в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» (1757).

С. 442. *«Никогда я такого слабого организма не видел».*— См.: Ковалевский М. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе // Минувшие годы. 1908. № 8.

Бедные провинциалы...

Впервые: Новое время. 1910. 11 июня. № 12300.

С. 445. *«Где грустят леса дремливые»* — из одноименного стихотворения Ф. К. Сологуба (1895), посвященного З. Н. Гиппиус.

С. 446. *«Солнце России»* — еженедельный журнал, выходил в Петербурге с 1910 по 1917 г.

С. 447. *«Газета-Копейка»* — издавалась в Петербурге с 1908 по 1918 г. (в Москве в 1909—1910 гг.).

В домике Гёте

Впервые: Русское слово. 1910. 15 июля. № 161. Подпись: В. Варварин.

Алексей Степанович Хомяков

Впервые: Русское слово. 1910. 23 сентября № 218. Подпись: В. Варварин.

Кончина Л. Н. Толстого

Впервые: Новое время. 1910. 8 ноября. № 12450. Без подписи.

Толстой в литературе

Впервые: Новое время. 1910. 9 ноября. № 12451.

Забывтое возле Толстого...

Впервые: Новое время. 1910. 19 декабря. № 12491.

Впервые: Юбилейный чеховский сборник. М., 1910. С. 115—132.

С. 474. *Извержение на Мартинике* — извержение вулкана Монтань-Пеле на острове Мартиника 8 мая 1902 г.

С. 480. *Силоамская башня*.— Лк. 13, 4.

Не верьте беллетристам...

Впервые: Новое время. 1911. 5 января. № 12506.

С. 483. *рассказ г. Олигера*.— *Олигер Н.* Осенняя песня // Земля. Сб. 3. М., 1909 г.

С. 484. *обозрение русской литературы за 1910 г.*— *Чуковский К.* Русская литература // Речь. 1911. 1 января.

С. 485. *С кого они портреты пишут?* — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840).

С. 486. *...дружно гребете во имя прекрасного против течения*.— А. К. Толстой. Против течения (1867); цит. неточно.

С. 487. *Есть упоение в бою...*— А. С. Пушкин. Пир во время чумы (1830).

Одна из замечательных идей Достоевского

Впервые: Русское слово. 1911. 1 марта. № 48. Подпись: В. Варварин.

С. 490. *Н. К. Михайловский заметил, что «подпольного человека можно связать»*.— См. его статью «Жестокий талант» (1882).

С. 491. *...плод, до времени созрелый...*— М. Ю. Лермонтов. Дума (1838).

Новые события в литературе

Впервые: Новое время. 1911. 5 марта. № 12564.

И шутя, и серьезно...

Впервые: Новое время. 1911. 31 марта. № 12590.

С. 498. *...два невероятной величины фельетона о Д. С. Мережковском* — *Иванов-Разумник*. Пастырь без стада (Д. Мережковский) // Русские ведомости. 1911. 6 марта; *Иванов-Разумник*. Мертвое мастерство (Д. Мережковский) // Русские ведомости. 1911. 27 марта.

Скука, холод и гранит.— А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный...» (1828).

«Третий Завет» — концепция Д. С. Мережковского. Судьба мира, согласно идеям, высказанным еще в XII в. итальянским монахом Иоахимом Флорским, проходит через три основных этапа: Бога-Отца, Творца Ветхого Завета, когда жизнь определяется законом (господин и раб); период Сына Божьего Христа (отец и дитя), длящийся поныне; в грядущем откроется «Третий Завет» — Царство Духа.

В. Г. Белинский

Впервые: Новое время. 1911. 28 мая. № 12646.

С. 503. *«Сон в Иванову ночь»* — комедия У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (написана в 1595—1596, опубл. 1600). Под таким названием переведена П. И. Вейнбергом (1880).

С. 504. *«Гамлет и Дон-Кихот»* — речь И. С. Тургенева, произнесенная 10 января 1860 г. на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым.

Вековая годовщина

Впервые: Русское слово. 1911. 29 мая. № 122. Подпись: В. Варварин.

С. 513. *...он знал даже греческий язык.* — Высокую оценку Лессингу Тургенев дает в «Воспоминаниях о Белинском» (1869).

Тургенев захотел «лечь рядом с Белинским» — Боголюбов А. П. Записки моряка-художника (1873—1883) // Литературное наследство. М., 1967. Т. 76. С. 462.

Неоценимый ум

Впервые: Новое время. 1911. 21 июня. № 12669.

С. 516. *«о пророках для отечества»* — несть пророка в отечестве своем (Лк. 4, 24).

С. 518. *...умерший в 1892 г.* — К. Н. Леонтьев умер 12 ноября 1891 г.

Герцен

Впервые: Новое время. 1911. 8 июля. № 12686. Поводом для написания статьи явилась работа академика Н. А. Котляревского «Из истории общественных настроений шестидесятых годов. «Колокол», 1857—1861», опубликованная в «Вестнике Европы». 1911. № 6—7.

С. 524. *«дней Александровых прекрасное начало».* — А. С. Пушкин. Послание цензору (1822).

С. 528. *...в восьми томах* — имеется в виду издание: Герцен А. И. Сочинения: В 7 т. СПб., 1905.

Скучно, скучно!.. Ямищик удалой... — Н. А. Некрасов. В дороге (1845).

С. 529. *Дом не тележка у дядюшки Якова...* — Н. А. Некрасов. Дядюшка Яков (1867).

Чем нам дорог Достоевский?

Впервые: Новое время. 1911. 6 августа. № 12715.

С. 529. *статья С. А. Андриянова о Достоевском.* — «Вестник Европы», 1911. № 8 (Андрианов С. Критические наброски).

Загадочная любовь

Впервые: Русское слово. 1911. 8 сентября. № 207. Подпись: В. Варварин. В статье Розанов обращается к книге: Письма И. С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям. Собранные и изданные г. Гальпериным-Каминским. Пер. с фр. М., 1900.

Из житейских встреч К. М. Фофанов

Впервые: Новое слово. 1911. № 11. [ноябрь]. С. 19—23.

С. 546. *«шли за облаком»*.— Исх. 14, 20.

...схоронив Фофанова.— К. М. Фофанов умер 17 мая 1911 г. в нищете в больнице.

С. 552. *Звезды ясные, звезды прекрасные...*— одноименное стихотворение К. М. Фофанова (1885).

К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева

Впервые: Новое время. 1911. 12 ноября. № 12813.

Юбилейное издание Добролюбова

Впервые: Новое время. 1911. 26 ноября. № 12827. Прилож.

С. 556. *И отзыв мыслей благородных...*— М. Ю. Лермонтов. Поэт (1838).

С. 557. *Ты дан мне в спутники, любви залог немой...*— М. Ю. Лермонтов. Кинжал (1838).

Трагедия механического творчества

Впервые: Новое время. 1912. 3 февраля. № 12894.

Тема и Боккачио, и Сократа

Впервые: Новое время. 1912. 1 мая. № 12979.

С. 560. *...запретили мое «Уединенное»*.— 6 марта 1912 г. цензура наложила арест на только что отпечатанную книгу Розанова «Уединенное». В конце мая 1912 г. книга поступила в Главное управление по делам печати, а 21 декабря Петербургский окружной суд приговорил писателя к 10-дневному аресту за эту книгу (11 марта 1913 г. приговор отменен).

С. 561. *«Тайны жизни»* — научно-популярный журнал по вопросам хиромантии, гипнотизма и других оккультных наук, выходил в Москве в 1912—1913 и 1916 гг. Редактор — Я. Г. Степанов.

С. 562. *Думный дьяк, в приказах поседельный...*— А. С. Пушкин. Борис Годунов («Келья в Чудовом монастыре») (1825).

Ропшин и его новый роман

Впервые: Новое время. 1912. 3 мая. № 12981.

С. 564. *Следующие строки в «Утре России».*— Розанов цитирует статью «То, чего не было» (подписана: О. В.) в газете «Утро России» за 29 апреля 1912 г.

Амфитеатров и Ропшин-Савенков

Впервые: Новое время. 1912. 23 мая. № 13000. Фамилию «Савинков» Розанов писал через «е».

С. 567. *«Конь бледный»* — с этой книги началась литературная известность Б. В. Савинкова (напечатана в «Русской мысли», 1909. № 1; отд. издание. СПб., 1912). Роман «То, чего не было» печатался в эсеровском журнале «Заветы» (1912. № 1—8; 1913. № 1—2, 4).

Ж. Ж. Руссо

Впервые: Новое время. 1912. 10 июля. № 13048.

С. 569. *Все изменилось. Ты видел вихорь бури...*— А. С. Пушкин. К вельможе (1830).

«без Руссо не было бы революции».— При посещении могилы Руссо в Эрменонвиле первый консул Наполеон сказал Станиславу Жирардену: «Было бы лучше для спокойствия Франции, если бы этот человек не существовал.— Но почему, гражданин консул?— Это он подготовил революцию» (*Girardin S. Discours et opinions, journal et souvenirs*. P., 1828. Т. 3. P. 190).

Густая книга

Впервые: Новое время. 1914, 12 и 22 февраля. № 13631, 13641. Текст статьи для настоящего издания подготовлен игуменом Андроником (Трубачевым).

С. 585. *...заседание Религиозно-Философского общества в память Влад. Соловьева.*— На этом собрании, которое состоялось в Москве 26 февраля 1914 г., кн. Е. Н. Трубецкой читал доклад о книге П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины». Название доклада — «Свет Фаворский и преображение ума» (опубликован в «Вопросах философии». 1989. № 12).

Споры около имени, Белинского

Впервые: Новое время. 1914. 27 июня. № 13753.

С. 585. *«Спор о Белинском»* — книга Ю. И. Айхенвальда (М., 1914), представляет собой ответы критикам, выступившим против его очерка о Белинском в его книге «Силуэты» (вып. 3. 2-е изд. М., 1913).

Белинский и Достоевский

Впервые: Новое время. 1914. 8 июля. № 13764. Продолжение статьи Розанова «Споры около имени Белинского» (№ 13753).

С. 592. *«Белинский есть самое смрадное...»* — Из письма Достоевского к Н. Н. Страхову 18 мая 1871 г.

С. 597. *Его письмо к генералу Радецкому.* — Письмо Достоевского 16 апреля 1878 г. к Ф. Ф. Радецкому.

К 50-летию кончины Ап. А. Григорьева

Впервые: Новое время. 1914. 26 сентября. № 13844. В связи с публикацией в «Русской мысли» (1915, № 9) неизвестной до тех пор статьи К. Леонтьева «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Аполлоне Григорьеве» Розанов написал статью «К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве (Вновь найденный материал)» (Новое время. 1915. 9 декабря).

Пушкин и Лермонтов

Впервые: Новое время. 1914. 9 октября. № 13857.

Один из «стаи славной»

Впервые: Новое время. 1915. 27 февраля. № 13996.

С. 605. *«стаи славной».* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Перед гробницею святой...» (1831).

Ломоносов

Впервые: Новое время. 1915. 4 апреля. № 14031.

Новое исследование о Фете

Впервые: Новое время. 1915. 24 сентября. № 14204.

С. 614. *статья о Фете.* — Дарский Д. О Фете // Русская мысль. 1915. № 8. *монография о Лермонтове.* — Котляревский Н. А. М. Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения. 5-е изд. СПб., 1915 (1-е изд. СПб., 1891).

о Гончарове. — Ляцкий Е. А. И. А. Гончаров. Критические очерки. СПб., 1904 (2-е изд. СПб., 1912).

о Тургеневе. — Иванов И. И. И. С. Тургенев. Жизнь. Личность. Творчество. СПб., 1896 (2-е изд. Нежин, 1913).

о Некрасове. — Евгений В. Е. Николай Алексеевич Некрасов. Сб. статей и материалов. М., 1914. 8 января 1916 г. в «Новом времени» опубликована статья Розанова об этой книге («По поводу новой книги о Некрасове»).

С. 616. *Дай руку. Сядь. Зажги свой факел вдохновенный...* — А. А. Фет. Музе («Надолго ли опять мой угол посетила...») (1857).

М. Горький
и о чем у него «есть сомнения»,
а в чем он «глубоко убежден»...

Впервые: Колокол. 1916. 2 января. № 2892. Подпись: В. Ветлугин.

С. 620. *...он то расправлялся с Францией, то с Соединенными Штатами.*— Имеются в виду очерки М. Горького «Прекрасная Франция» (1906), «Город Желтого Дьявола» (1906).

С. 621. «Савва»:— Очевидно, речь идет о драме Л. Н. Андреева «Савва» (1906).

С. 622. *...в последних выступлениях Горького против сценической переработки «Бесов» Достоевского для Художественного театра — Горький М. Еще о «кармазовщине»* // Русское слово. 1913. 27 октября.

С. 623. *...не надо было вороне хвастаться, что она — молодой орел.*— Басня И. А. Крылова «Вороненок» (1811).

Не в новых ли днях критики?

Впервые: Новое время. 1916. 3 февраля. № 14334.

С. 623. *...появившаяся в минувшем году.*— Книга Дмитрия Сергеевича Дарского о Тютчеве вышла в Москве в 1913 г.

С. 630. *...полное, с хорошим комментарием и биографией, издание стихотворений Тютчева.*— Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. с критико-биогр. очерком В. Я. Брюсова. 6-е изд. СПб., 1912.

Г-н Н. Я. Абрамович об «Улице современной литературы»

Впервые: Колокол. 1916. 12 февраля. № 2925. Подпись: В. Ветлугин.

С. 630. *...первый памфлет того же автора.*— Абрамович Н. Я. «Русское слово». Пг., 1916.

«Святость» и «гений» в историческом творчестве

Впервые: Колокол. 1916. 6 мая. № 2991.

С. 636. *Но жарка свеча...*— А. В. Кольцов. Урожай (1835).

О Лермонтове

Впервые: Новое время. 1916. 18 июля. № 14499.

С. 641. *Прочел статью о Лермонтове — Перцова, Вильде...*— Перцов П. Будущий Лермонтов (К 75-летию со дня смерти) // Новое время. 1916. 15 июля; Вильде Н. Выстрел Лермонтова (75 лет смерти Лермонтова) // Новое время. 1916. 16 июля.

К кончине Пушкина

Впервые: Новое время. 1916. 13 сентября. № 14556. Книга П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы» вышла в Петрограде в 1916 г.

С. 644. *Из писем Пушкина к жене... привел одно.*— Имеется в виду письмо от 30 октября 1833 г., однако Розанов прочитывает его неверно («Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе з.....; есть чему радоваться!»).

С. 646. *...грубую шутку об изменяющей мужу жене.*— Песенка «Воротился ночью мельник...» в «Сценах из рыцарских времен» Пушкина.

Чей-то «выезд» на «прогулку».— Картина В. А. Серова «Выезд Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту» (1900).

С. 647. *...жестокое стиха о графе Уварове.*— Стихотворение Пушкина «на выздоровление Лукулла» (1835), в котором «герой» (Уваров) говорит: «И воровать уже забуду казенные дрова!» С. С. Уварову приписывали распространение пасквиля на Пушкина («рогоносец»).

К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова

Впервые: Новое время. 1916. 15 сентября. № 14558.

С. 649. *«Общественный договор»* — трактат Ж. Ж. Руссо «Об общественном договоре» (1762; рус. пер. 1906), в котором выражены принципы народного суверенитета.

С. 650. *«Мильон терзаний»* (1872) — статья И. А. Гончарова, посвящена оценке содержания и художественного своеобразия «Горя от ума» Грибоедова.

О Конст. Леонтьеве

Впервые: Новое время. 1917. 22 февраля. № 14715.

С. 651. *С. Н. Булгаков произнес речь...*— опубликована в «Биржевых ведомостях» 9, 16 и 22 декабря 1916 г. (утренний выпуск) под названием «Победитель побежденный (Судьба К. Н. Леонтьева)». Переиздана в кн.: *Булгаков С. Тихие думы.* М., 1918.

«О чем ты воешь, ветр ночной...» — одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1836).

С. 653. *Моя ж печаль бессменно тут...* М. Ю. Лермонтов. Демон, II, 10.

«Русь — деревня».— Обыгрывается эпиграф ко второй главе «Евгения Онегина»: О деревня! Гораций.— О Русь.

«мы ленивы и нелюбопытны».— А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. 2.

С. 655. *...его письма к К. А. Губастову.*— Письма К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову печатались в «Русском обозрении» в 1893—1897 гг.

Гоголь и Петрарка

Впервые: Книжный угол. 1918. № 3. С. 9—10. На автографе дата: 10 апреля 1918 (РГАЛИ).

С. 658. *Аннунциата... была альбанка.*— Героиня отрывка Гоголя «Рим» была альбанка, т. е. жительница городка Альбано (южнее Рима).

С вершины тысячелетней пирамиды

Впервые: Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. С. 448—464. Написано в 1918 г.

С. 665. *Удрученный ношей крестной...*— Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья...» (1855).

С. 667. *«Рыцарь на час»* (1860) — стихотворение Н. А. Некрасова.

С. 668. *У счастливого недруги мрут...*— Н. А. Некрасов. «Не рыдай так безумно над ним...» (1868).

С. 671. *Восторг внезапный ум пленил.*— М. В. Ломоносов. Ода на взятие Хотина 1739 года.

Апокалиптика русской литературы

Впервые: Книжный угол. 1918. № 5. С. 8—11.

С. 673. *Язык мой немее...*— А. К. Толстой. Василий Шибанов (1858).

- Абрамович Николай Яковлевич* (1881—1922), литературный критик, прозаик, поэт, публицист — 630—634
- Августин Аврелий* (354—430), христианский теолог, философ, церковный деятель — 162, 211, 638
- Аверченко Аркадий Тимофеевич* (1881—1925), писатель-юморист — 630
- Аврелий Марк* (121—180), римский император (с 161) из династии Антонинов — 116, 463
- Агеев Константин Маркович* (1868—1919), священник, богослов, религиозный писатель — 553
- Агриппа Неттесгеймский Генрих Корнелий* (1486—1535), немецкий врач, алхимик, философ — 454
- Адашев Алексей Федорович* (ум. 1561), окольный, политический деятель, дипломат, инициатор реформ сер. XVI в., с 1560 г. в опале — 663
- Адриан* (76—138), римский император (с 117) из династии Антонинов — 78, 80, 83, 452
- Адрианов (Адрианов) Сергей Александрович* (1871—1942), литературный критик, историк литературы, публицист, переводчик — 529
- Азеф Евно Фишелевич* (1869—1918), один из организаторов партии эсеров, с 1892 г. секретный сотрудник департамента полиции, в 1908 г. разоблачен — 567
- Айхенвальд Юлий Исаевич* (1872—1928), литературный критик — 585, 589—593, 600, 627, 650.
- Аксаков Иван Сергеевич* (1823—1886), публицист и общественный деятель, редактор газет «День», «Москва», «Русь», журнала «Русская беседа» и др. — 38, 109, 280, 330, 466, 525, 606, 626, 629
- Аксаков Константин Сергеевич* (1817—1860), публицист, историк, лингвист, поэт — 464, 521, 605—608
- Аксаков Сергей Тимофеевич* (1791—1859), писатель — 10, 69, 168, 183, 233, 234, 336, 520
- Аксакова Ольга Григорьевна*, племянница К. С. Аксакова — 606
- Аксаковы* — 71, 126, 334, 351, 602, 605, 607, 608, 648, 671
- Акцери*, певица — 496
- Александр I* (1777—1825), российский император (с 1801) — 299, 467, 472, 524, 526, 609, 646, 670
- Александр II* (1818—1881), российский император (с 1855) — 109, 121, 235, 524—526
- Александр III* (1845—1894), российский император (с 1881) — 518
- Александр Македонский* (356—323 до н. э.), царь Македонии (с 336 до н. э.) — 620, 624
- Александр Невский* (1220—1263), князь Новгородский (1236—1251), великий князь Владимирский (с 1252), полководец — 395
- Алексей Петрович* (1690—1718), царевич, сын Петра I — 147
- Алкивиад* (ок. 450—404 до н. э.), афинский политический деятель и полководец — 59
- Алмазов Борис Николаевич* (1827—1876), литературный критик, поэт, переводчик — 465, 466

- Амвросий Миланский* (330/340—397), христианский теолог, проповедник, церковный деятель — 638
- Амвросий Оптинский* (Александр Михайлович Гренков) (1812—1891), иеросхимонах, старец Оптиной пустыни, духовный писатель — 11, 12
- Амфитеатров* Александр Валентинович (1862—1938), писатель, публицист, критик — 434—436, 567—569, 631, 632, 653
- Амьель* (Амиель) Анри Фредерик (1821—1881), швейцарский франкоязычный писатель и философ — 433
- Анакреон* (Анакреонт) (ок. 570—478 до н. э.), древнегреческий поэт — 117
- Анаксимандр* (ок. 610 — после 547 до н. э.), древнегреческий философ — 589
- Андреев* Леонид Николаевич (1871—1919), писатель — 255—260, 285, 286, 423, 427, 491, 653, 666
- Аничков* Евгений Васильевич (1866—1937), литературный критик, историк литературы, писатель, фольклорист — 496
- Анна Иоанновна* (1693—1740), российская императрица (с 1730) — 671
- Аннибал* (Ганнибал) (247/246—183 до н. э.), карфагенский полководец — 118, 625
- Антоний* (Александр Васильевич Вадковский) (1846—1912), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1898) — 469, 479
- Антоний* (Алексей Павлович Храповицкий) (1863—1936), епископ Волынский (1902—1906), архиепископ Харьковский и Житомирский (1914—1918), митрополит Киевский — 461
- Аполлоний Тианский* (ум. 97), античный философ-мистик, представитель неопифагореизма, боровшегося с христианством, считался чудотворцем — 357
- Апулей* (ок. 125 — ок. 180), римский писатель — 78
- Аракчеев* Алексей Андреевич (1769—1834), граф, всесильный политический и военный деятель при Александре I — 117, 235, 237, 610
- Арина Родионовна* (Яковлева) (1754/1758—1828), няня А. С. Пушкина, бывшая крепостная Ганнибалов — 44
- Аристарх Самофракийский* (ок. 220 — ок. 145 до н. э.), древнегреческий грамматик и критик — 37
- Аристотель* (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый — энциклопедист — 241, 308, 461
- Аристофан* (ок. 445 — ок. 385 до н. э.), древнегреческий поэт-комедиограф — 640
- Архимед* (ок. 287—212 до н. э.), древнегреческий ученый — 260
- Арцимович* Виктор Антонович (1820—1893), политический и общественный деятель — 627
- Арцыбашев* Михаил Петрович (1878—1927), писатель — 280—286, 295, 446
- Арцыбашев* Николай Сергеевич (1773—1841), историк — 627
- Аскольдов* (псевд. Алексеева) Сергей Алексеевич (1870/1871—1945), философ — 330
- Ася* — см. Тургенева П. И
- Ауэрбах* Бертольд (1812—1882), немецкий писатель — 530
- Афанасий Великий* (ок. 295—373), христианский церковный деятель, теолог, епископ Александрийский — 461
- Бабёф* Грахх (наст. имя Франсуа Ноэль) (1760—1797), французский революционер, сторонник уравнительного коммунизма — 574
- Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт, член палаты лордов (с 1809) — 38, 41, 42, 44, 45, 62, 134, 164, 181, 216, 218, 227—229, 248, 364, 448, 449, 451, 570, 617, 643, 669
- Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876), революционер, теоретик анархизма — 344, 513, 600, 670
- Балобанова* (Балобанова) Екатерина Вячеславовна (1847—1927), историк литературы, переводчица, писательница — 184

- Бальзак** Оноре де (1799—1850), французский писатель — 213
- Баранов** Эдуард Трофимович (1811—1884), граф, генерал-адъютант, член Государственного совета, председатель совета Главного общества российских железных дорог — 122
- Баратынский** (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844), поэт — 49, 62, 63, 121, 658
- Бартенев** Петр Иванович (1829—1912), историк, археограф, библиограф — 590, 591
- Басманов** Федор Алексеевич (ум. 1570), опричник, фаворит Иоанна Грозного — 55
- Батый** (Бату) (1208—1255), монгольский хан, внук Чингисхана — 665
- Батюшков** Константин Николаевич (1787—1855), поэт — 183, 631, 671
- Башикирева** Мария Константиновна (1860—1884), художница, автор «Дневника» — 338
- Беатриче** (Беатриче Портинари) (1265/1267—1290), флорентийка, идеальная возлюбленная Данте — 438—440
- Беккариа** (Беккариа) Чезаре (1738—1794), итальянский просветитель, юрист, публицист — 265
- Белинский** Виссарион Григорьевич (1811—1848), литературный критик, публицист, общественный деятель — 36, 42, 45, 46, 72, 73, 119, 126, 162, 182, 217, 429, 494—496, 501—515, 551, 557, 585—600, 606, 607, 627, 628, 650, 667, 668, 670
- Белоголовый** Николай Андреевич (1834—1895), врач, общественный деятель, мемуарист — 113
- Белый** Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев) (1880—1934), писатель, критик, литературовед, мемуарист, теоретик символизма — 529
- Бернардаки** (Бернардаки) Дмитрий Егорович (ум. 1870), таганрогский рыботорговец, откупщик — 122
- Бенкендорф** Александр Христофорович (1783—1844), граф, политический и военный деятель, шеф жандармов и главный начальник III отделения (политического сыска) — 430
- Бентам** Иеремия (1748—1832), английский философ, социолог, юрист — 490
- Бергсон** Анри (1859—1941), французский философ — 577
- Бердяев** Николай Александрович (1874—1948), философ и публицист — 355, 358, 516, 635, 636, 638, 639
- Бернар** Клод (1813—1878), французский физиолог и патолог — 214
- Бернарден де Сен-Пьер** Жак Анри (1737—1814), французский писатель — 40
- Бетховен** Людвиг ван (1770—1827), немецкий композитор, пианист, дирижер — 617
- Бисмарк** Отто фон Шёнхаузен (1815—1898), князь, первый рейхсканцлер Германской империи (1871—1890) — 448
- Бичер-Стоу** Гарриет (1811—1896), американская писательница — 245, 380
- Благосветлов** Григорий Евлампиевич (1824—1880), публицист, редактор-издатель журналов «Русское слово» и «Дело» — 601
- Блан** Луи (1811—1882), французский политический деятель, придерживался социалистических взглядов — 240
- Блок** Александр Александрович (1880—1921), поэт и публицист 262—272, 324—326, 329—333
- Блэк**, автор книги о космическом сознании — 625
- Боборыкин** Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель — 435, 521, 568, 569
- Богданович** Ипполит Федорович (1743/1744—1803), поэт — 39
- Боккаччио** (Боккаччо) Джованни (1313—1375), итальянский писатель, гуманист — 560
- Бокль** Генри Томас (1821—1862), английский историк и социолог — 161, 163, 167, 240, 456, 531, 532
- Бомарше** Пьер Огюстен (1732—1799), французский драматург — 39, 40

- Бональд** Луи Габриель Амбруз (1754—1840), французский политический деятель, публицист, философ — 652
- Боткин** Василий Петрович (1811—1812—1869), публицист, критик, переводчик — 494, 495, 617
- Боткин** Сергей Петрович (1832—1889), терапевт, основатель школы русских клиницистов — 430
- Бруно** Джордано (1548—1600), итальянский философ и поэт — 190
- Брюлов** (Брюллов) Карл Павлович (1799—1852), живописец и рисовальщик — 350
- Брюсов** Валерий Яковлевич (1873—1924), поэт, прозаик, драматург, литературовед, переводчик, литературно-общественный деятель — 590
- Будда** (букв. «просветленный»), имя, данное основателю буддизма Сидхартхе Гаутаме (623—544 до н. э) — 192, 317, 322, 323, 471, 523
- Булгаков** Сергей Николаевич (1871—1944), экономист, философ, богослов — 330, 355—358, 585, 651—653, 655, 671
- Булгарин** Фаддей Венедиктович (1789—1859), журналист, писатель, критик, издатель — 495, 513
- Бунин** Иван Алексеевич (1870—1953), прозаик, поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии (1933) — 484—486
- Буренин** Виктор Петрович (1841—1926), литературный критик, публицист, писатель — 264
- Буслаев** Федор Иванович (1818—1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства — 514, 585, 586
- Бэкон** Фрэнсис (1561—1626), английский философ и политический деятель — 150, 162, 307, 308, 448, 451
- Бэн** Александер (1818—1903), английский психолог, философ, педагог — 240
- Бюффон** Жорж Луи Леклерк (1707—1788), французский естествоиспытатель — 367
- Бюхнер** Людвиг (1824—1899), немецкий врач, естествоиспытатель, философ — 200, 456
- В-ский** К. В. — см. Вознесенский К. В.
- Василий Блаженный** (ок. 1469—1552/1557), московский юродивый, аскет, обличал власть имущих — 291
- Василий Великий** (ок. 330—379), христианский церковный деятель, теолог, философ, епископ Кесарийский (Малая Азия) — 576
- Васнецов** Виктор Михайлович (1848—1926), живописец — 333
- Введенский** Иринарх Иванович (1813—1855), переводчик, критик, педагог — 183
- Веллинг** И. фон, автор работ о мистическом учении каббалы — 454
- Венгеров** Семен Афанасьевич (1855—1920), историк русской литературы и общественной мысли, библиограф — 564
- Вербицкая** (урожд. Зяблова) Анастасия Алексеевна (1861—1928), прозаик и драматург — 516, 562, 630
- Вересаев** (наст. фам. Смидович) Викентий Викентьевич (1867—1945), писатель, литературовед, переводчик — 430
- Виардо** Луи (1800—1883), французский критик и переводчик, муж П. Виардо-Гарсия — 542
- Виардо-Гарсия** Полина (1821—1910), французская певица и композитор — 437—442, 446, 536—545
- Вильгельм II** (1859—1941), германский император и прусский король (1888—1918) из династии Гогенцоллернов — 452, 671
- Вильде** Николай Николаевич (2-я пол. 1860-х — 1918), писатель и публицист — 641
- Винавер** Максим Моисеевич (1862/1863—1926), юрист, один из основателей партии кадетов, ведущий деятель еврейских организаций — 597
- Владимир I Святой** (ум. 1015), князь Новгородский (с 969), великий

- князь Киевский (с 980), ввел в качестве государственной религии христианство (988—989) — 51, 601, 661, 662
- Владимир II Мономах** (1053—1125), князь Смоленский (с 1067), Черниговский (с 1078), Переяславский (с 1093), великий князь Киевский (с 1113) — 395
- Вовчок Марко** (наст. имя и фам. Мария Александровна Вилинская-Маркович) (1833—1907), украинская и русская писательница и переводчица — 10
- Водовозов Василий Васильевич** (1864—1933), публицист, юрист, экономист — 500
- Воейков Александр Федорович** (1778/1779—1839), поэт, переводчик, критик, издатель, журналист — 117
- Вознесенский Константин Васильевич**, товарищ Розанова по Московскому университету — 252
- Волжский** (наст. имя и фам. Александр Сергеевич Глинка) (1878—1940), литературный критик, публицист, историк литературы — 619
- Волконские**, княжеский род, восходящий к XIII в. — 233
- Вольнский Аким Львович** (наст. имя и фам. Хаим Лейбович Флексер) (1861—1926), литературный критик, искусствовед, публицист — 244, 245, 330, 627, 650
- Вольтер** (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778), французский писатель и философ — 38—41, 383, 520, 572, 640, 646, 669
- Вольф Маврикий Осипович** (1825—1883), издатель — 499
- Востоков** (наст. фам. Остенек) Александр Христофорович (1781—1864), поэт, переводчик, филолог-славист — 671
- Вревская** (урожд. Варпаховская) Юлия Петровна (1841—1878), баронесса, сестра милосердия во время русско-турецкой войны, была в дружеских отношениях с И. С. Тургеневым — 538
- Вундт Вильгельм** (1832—1920), немецкий психолог, физиолог, философ — 240
- Вяземский Петр Андреевич** (1792—1878), князь, поэт, литературный критик, мемуарист — 590, 593, 599
- Вяльцева Анастасия Дмитриевна** (1871—1913), эстрадная певица, артистка оперетты — 446
- Гагарин Иван Сергеевич** (1814—1882), князь, писатель, публицист, перешел в католичество (1842), вступил в орден иезуитов (1843, во Франции) — 613
- Гакстаузен Август** (1792—1866), барон, прусский чиновник, экономист — 459
- Галилей Галилео** (1564—1642), итальянский естествоиспытатель и мыслитель — 613
- Гальперин-Каменский** (Каминский) Илья Данилович (1858/1859—1935) литературовед и переводчик, постоянно жил в Париже — 536, 541, 542
- Гальяни Фердинандо** (1728—1787), итальянский аббат, экономист, писатель — 40
- Гапон Георгий Аполлонович** (1870—1906), священник, политический деятель, разоблачен как агент полиции — 622
- Гарун аль-Рашид** (Харун ар-Рашид) (763/766—809), халиф (с 786) из династии Аббасидов, его образ идеализирован в сказках «Тысяча и одна ночь» — 375
- Гарусов Иван Дементьевич** (ум. 1893 ?), составитель пособий по русской литературе для учащихся средних учебных заведений — 634
- Гаршин Всеволод Михайлович** (1855—1888), писатель — 231
- Гаус (Гаусс) Карл Фридрих** (1777—1855), немецкий математик, астроном, физик — 577
- Гваренги** (Кваренги) Джакомо (1744—1817), архитектор — 646
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих** (1770—1831), немецкий философ — 164, 213, 589, 597, 600, 650, 654
- Гейне Генрих** (1797—1856), немецкий поэт и публицист — 20, 227—229

- Геккери* Луи Борхард де Беверваард (1791—1884), барон, нидерландский дипломат — 643—645
- Гельвеций* Клод Адриан (1715—1771), французский философ — 631
- Генрих IV* (1553—1610), французский король с 1589 (фактически с 1594), основатель династии Бурбонов — 184
- Георгиевский*, хозяин домика М. Ю. Лермонтова в Пятигорске — 280
- Геродот* (490/480 — ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк — 89, 90, 93, 99, 104
- Герострат*, грек из Эфеса (Малая Азия), сжегший в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской — 101
- Герцен* Александр Иванович (1812—1870), писатель, публицист, философ, общественный деятель — 45—47, 162, 182, 338, 351, 352, 429, 430, 494, 495, 511—513, 523—526, 528, 529, 565, 590, 594, 606, 652, 656, 672
- Гершельман* Сергей Константинович (1853—1910), московский генерал-губернатор (1906—1908), военный писатель — 669
- Гершензон* Михаил Осипович (Мейлих Иосифович) (1869—1925), историк русской литературы и общественной мысли, философ, публицист, переводчик — 355, 358, 627
- Герье* Владимир Иванович (1837—1919), историк — 106, 572
- Гессен* Иосиф Владимирович (1865/1866—1943), юрист, один из основателей и лидеров партии кадетов, редактор газеты «Речь» (1906—1917) — 597
- Гёте* Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель — 46, 83, 168, 181, 192, 210, 213, 218, 227—229, 273, 285, 307, 333, 364, 369, 397, 448—456, 520, 570, 572, 617, 669, 672
- Гёте* Иоганн Каспар (1710—1782), отец И. В. Гёте — 453, 454
- Гёте* (урожд. Текстор) Катарина Элизабет (1731—1808), мать И. В. Гёте — 453—455
- Гиббон* Эдуард (1737—1794), английский историк — 622
- Гизо* Франсуа (1787—1874), французский историк и политический деятель — 497, 613, 622
- Гилевич* Андрей, инженер, аферист и убийца — 448
- Гильфердинг* Александр Федорович (1831—1872), фольклорист и историк — 671
- Гилларов-Платонов* Никита Петрович (1824—1887), публицист, философ, литературный критик, редактор-издатель газеты «Современные известия» — 31, 32, 68, 461, 671
- Гинцбург* Илья Яковлевич (1859—1939), скульптор — 27
- Гиппиус* (в замужестве Мережковская) Зинаида Николаевна (1869—1945), писательница, литературный критик, общественная деятельница — 332, 436, 500
- Гоббс Томас* (1588—1679), английский философ — 32
- Говоруха-Отрок* Юрий Николаевич (1850—1896), критик, писатель, публицист — 516, 592
- Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852), писатель — 9, 24, 46, 58, 64, 69—75, 96, 109, 110, 118, 119, 121—124, 139, 140, 145, 168, 169, 176, 180, 213, 217, 224—226, 229, 234, 246, 275, 300, 332—341, 343—354, 356, 359, 368—370, 382, 383, 400—405, 411—413, 415—418, 420, 428, 429, 447, 448, 467, 468, 470—473, 477, 491, 493—496, 503, 513—515, 558, 559, 597—600, 609, 640, 649, 658, 659, 672
- Гольбах* Поль Анри (1723—1789), французский философ — 40, 631
- Гольдберг* (Мешковский) Иосиф Петрович (1873—1922), социал-демократ, большевик — 622
- Гольцев* Виктор Александрович (1850—1906), публицист, литературный критик, общественный деятель, с 1885 г. фактический редактор журнала «Русская мысль» — 178, 179
- Гомер*, полупоэтический древнегреческий эпический поэт — 84, 148, 165, 216, 218, 219, 424, 574, 673
- Гончаров* Иван Александрович (1812—1891), писатель — 7, 25, 139, 143,

- 145, 191, 224, 228, 287, 292, 298, 371, 372, 496, 504, 520, 609, 614, 631, 647—650
- Гончарова* (в первом браке Пушкина, во втором Ланская) Наталья Николаевна (1812—1863), жена А. С. Пушкина — 438, 440, 638, 643—647
- Гораций* (Квинт Гораций Флакк) (65—8 до н. э.), римский поэт — 264, 458
- Горнфельд* Аркадий Георгиевич (1867—1941), литературовед, критик, переводчик — 564
- Горький* Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868—1936), писатель, литературный критик, публицист, общественный деятель — 170, 285, 286, 427, 482, 484, 531, 596, 619—623, 653, 666
- Гостомысл* (I-я пол. IX в.), легендарный предводитель и первый князь (посадник) новгородских словен — 217
- Готфрид Бульонский* (1060—1100), один из предводителей первого крестового похода (1096—1099), первый правитель (с 1099) Иерусалимского королевства — 665
- Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822), немецкий писатель, композитор, художник — 213, 216
- Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855), историк, литератор, общественный деятель — 162, 182, 429, 430, 494—496, 511—513, 559, 590, 594, 598, 670
- Грибоедов* Александр Сергеевич (1795—1829), драматург, поэт, дипломат — 46, 169, 183, 224, 229, 242, 264, 428, 436, 503, 558—560, 600, 642, 650
- Григорович* Дмитрий Васильевич (1822—1899/1900), писатель — 249, 504
- Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864), поэт, критик, переводчик, мемуарист — 514, 592, 600, 601
- Грубер* (Губер) Эдуард Иванович (1814—1847), поэт, переводчик, критик — 494
- Губастов* Константин Аркадьевич (1845—1913), дипломат, близкий друг К. Н. Леонтьева — 554, 655
- Губонин* Петр Ионович (ок. 1825—1894), предприниматель — 122
- Гумбольдт* Александр (1769—1859), немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник — 41, 168
- Гумбольдт* Вильгельм (1767—1835), немецкий филолог, философ, политический деятель, дипломат — 168
- Гурко* Иосиф Владимирович (1828—1901), генерал-фельдмаршал, командующий войсками Варшавского военного округа (1883—1894) — 240
- Гутенберг* Иоганн (1394/1399 или 1406—1468), немецкий изобретатель книгопечатания — 511
- Гюго* Виктор Мари (1802—1885), французский писатель — 164, 213, 215, 217, 218, 227, 228, 333
- Давид*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1004 — ок. 965 до н. э.) — 158, 190, 220, 638, 639, 669
- Д'Аламбер* Жан Лерон (1717—1783), французский математик, механик, философ — 502, 631
- Даль* Владимир Иванович (1801—1872), писатель, лексикограф, этнограф — 200, 506
- Данилевский* Николай Яковлевич (1822—1885), социолог, философ, публицист — 466, 671
- Д'Аннунцио* Габриеле (1863—1938), итальянский писатель и политический деятель — 175
- Данте Алигьери* (1265—1321), итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка — 42, 165, 307, 308, 312, 438—440, 638, 639, 673
- Дантес* Жорж Шарль (барон Геккерн) (1812—1895), французский аристократ, монархист, в 1830-е гг. жил в России, убийца А. С. Пушкина — 643—645
- Дантон* Жорж Жак (1759—1794), деятель Французской революции, один из руководителей якобинцев — 210
- Дарвин* Чарлз Роберт (1809—1882), английский естествоиспытатель,

- создатель теории эволюции органического мира — 236, 456, 465, 610, 653, 672
- Дарский* Дмитрий Сергеевич (1883—1957), литературный критик и литературовед — 614—618, 623—626, 628—630
- Дегаев* Сергей Петрович (1857—1920), один из руководителей «Народной воли» и агент полиции, в 1883 г. разоблачен, жил за границей — 567
- Декарт* Рене (1596—1650), французский философ, математик, физик, физиолог — 142, 150, 367, 368
- Де Лиль* (Делиль) Жак (1738—1813), французский аббат, поэт, переводчик Вергилия — 39, 117
- Дельвиг* Антон Антонович (1798—1831), поэт, критик, журналист, друг А. С. Пушкина — 62, 64, 121, 658
- Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.), древнегреческий (афинский) оратор — 100, 605
- Державин* Гаврила Романович (1743—1816), поэт — 45, 112, 208, 218, 642, 671
- Дидро* (Дидеро) Дени (1713—1784), французский философ и писатель — 39—41, 383, 502, 631
- Диккенс* Чарлз (1812—1870), английский писатель — 72, 183, 227, 228, 286—289, 291—294, 431, 525
- Диоген Синопский* (ок. 400 — ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник — 207
- Добролюбов* Александр Михайлович (1876—1945 ?), поэт и религиозный проповедник — 204
- Добролюбов* Николай Александрович (1836—1861), литературный критик, публицист, постоянный сотрудник журнала «Современник» — 49, 496, 512, 524, 555—557, 598, 600, 601, 627
- Долгорукий* (Долгоруков) Яков Федорович (1639—1720), князь, сподвижник Петра I — 45
- Дорошевич* Влас Михайлович (1865—1922), журналист, публицист, критик, фельетонист — 177, 180, 630
- Дорэ* (Доре) Гюстав (1832—1883), французский график — 80
- Достоевский* Михаил Михайлович (1820—1864), писатель, переводчик, издатель — 212, 215, 216
- Достоевский* Федор Михайлович (1821—1881), писатель и мыслитель — 5, 7, 9, 10, 21, 22, 24, 25, 46, 50, 78, 79, 82—85, 87, 92, 93, 104—108, 110, 111, 134, 136, 139, 140, 143—145, 147, 169, 176, 185, 186, 188, 189, 198—205, 208, 211—216, 218—221, 224, 228, 237, 240, 247, 256—261, 269, 289, 291, 298, 302, 303, 344, 353—355, 357, 374, 382, 422—424, 444, 459, 460, 462—465, 487—492, 494, 504, 516, 518—520, 529—536, 545, 556, 564, 577, 590—599, 601, 609, 622, 624, 625, 666
- Дрейфус* Альфред (1859—1935), офицер французского генерального штаба, родом из эльзасской еврейской семьи, обвиненный в шпионаже в пользу Германии (1894) и полностью реабилитированный (1906) — 478
- Дрэпер* (Дрепер) Джон Уильям (1811—1882), американский естествоиспытатель и историк — 240, 456
- Дубельт* Леонтий Васильевич (1792—1862), генерал, начальник штаба корпуса жандармов (с 1835), управляющий III отделением (политического сыска) (1839—1856) — 430
- Думбадзе* Иван Антонович (1851—1916), генерал, административный деятель — 669
- Дункан* Айседора (1877—1927), американская танцовщица — 435
- Дурылин* Сергей Николаевич (1886—1954), публицист, писатель, историк литературы и театра — 585
- Дьяченко* Виктор Антонович (1818—1876), драматург — 435
- Дюма* Александр (Дюма-отец) (1802—1870), французский писатель — 370
- Дягилев* Сергей Павлович (1872—1929), театральный и художественный деятель — 646
- Евгемер из Мессены* (ок. 340 — ок. 260 до н. э.), древнегреческий писатель и философ — 94

- Евгеньев* (наст. фам. Максимов) Владислав Евгеньевич (1883—1955), литературовед — 614
- Еврипид* (ок. 480 - 406 до н. э.), древнегреческий драматург — 579, 605
- Екатерина I* (Марта Савронская) (1684—1727), российская императрица (с 1725), вторая жена Петра I — 671
- Екатерина II* (1729—1796), российская императрица (с 1762) — 45, 574, 642, 654, 670, 671
- Елена Павловна* (наст. имя Фредерика Шарлотта Мария) (1806—1873), великая княгиня, принцесса Вюртембергская, жена сына Павла I великого князя Михаила Павловича — 184
- Елизавета Петровна* (1709—1761/1762), российская императрица (с 1741), дочь Петра I — 611, 612, 671
- Ерзя* (Эрзя) (наст. фам. Нефедов) Степан Дмитриевич (1876—1959), скульптор — 435
- Жанна д'Арк* (ок. 1412—1431), французская национальная героиня, возглавила борьбу против англичан во времена Столетней войны, была сожжена по обвинению в ереси — 118, 558
- Желябов* Андрей Иванович (1851—1881), один из руководителей «Народной воли», организатор убийства Александра II — 598
- Жодель* Этьен (1532—1573), французский поэт и драматург — 219
- Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852), поэт, переводчик, критик — 45—47, 164, 183, 191, 336, 368, 382, 497, 509, 609, 629, 631, 642, 643, 649, 658, 666, 671
- Загоскин* Михаил Николаевич (1789—1852), писатель — 288
- Зайцев* Варфоломей Александрович (1842—1882), публицист и литературный критик — 556, 634
- Закржевский* Александр Карлович (1886—1916), критик, литературовед, писатель — 487, 491, 492
- Занд* (Санд) Жорж (наст. имя и фам. Аврора Дюпен, в замужестве Дюдеван) (1804—1876), французская писательница — 369, 520, 597
- Зарудный* Сергей Иванович (1821—1887), юрист — 627
- Захарьин* Григорий Антонович (1829—1897), врач-терапевт, возглавлял терапевтическую клинику Московского университета — 430
- Зембрих* (Зембрих-Коханьская) Марчелла (Марцелина) (1858—1935), польская певица — 568
- Золя* Эмиль (1840—1902), французский писатель — 234, 431
- Зосима* (V в.), позднееримский (византийский) историк — 149
- Зотов* Рафаил Михайлович (1794/1796—1871), писатель, переводчик, критик, мемуарист, театральный деятель — 215
- Иванов* Александр Андреевич (1806—1858), живописец — 350, 558
- Иванов* Вячеслав Иванович (1866—1949), поэт, философ, филолог, переводчик — 422, 529, 585
- Иванов* Евгений Павлович (1879—1942), публицист, писатель, друг А. А. Блока — 356
- Иванов* Иван Иванович (1862—1929), литературный и театральный критик, историк — 614
- Иванов-Разумник* (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов) (1878—1946), критик, публицист, историк русской литературы и общественной мысли, мемуарист — 497—500, 585, 591—593
- Игнатъев* Алексей Павлович (1842—1906), граф, иркутский, затем киевский генерал-губернатор, член кружка высокопоставленных лиц, имевших большое влияние на политику правительства — 466
- Игнатъев* Николай Павлович (1832—1908), граф, дипломат, министр внутренних дел (1881—1882) — 466
- Ида* (I в.), римская вольноотпущенница — 103

- Иероним** (ок. 342/345—420), христианский теолог и писатель, переводчик на латинский язык Библии — 93
- Изгоев** Александр Соломонович (наст. имя и фам. Арон Соломонович Ланде) (1872—1935), публицист и общественный деятель — 355, 358
- Иловайский** Дмитрий Иванович (1832—1920), историк и публицист — 370, 427
- Иоанн (Иван) IV Грозный** (1530—1584), первый русский царь (с 1547) — 21, 54, 199, 209, 663, 664
- Иоанн Дамаскин** (ок. 675 — до 753), византийский богослов, философ и поэт — 636, 638, 639, 642
- Иоанн Златоуст** (344/354—407), византийский церковный деятель, проповедник, епископ Константинопольский (398—404) — 636, 638
- Иоанн Кронштадтский** (Иоанн Ильич Сергиев) (1829—1908/1909), настоятель Андреевского собора в Кронштадте, религиозный писатель, своими проповедями привлекал многих паломников и жаждущих исцеления, канонизирован — 11, 12, 462, 463, 577
- Иосиф Волоколамский** (Иосиф Волоцкий) (Иван Санин) (1439/1440—1515), основатель и игумен Иосифо-Волоколамского монастыря, религиозный писатель — 199
- Иосиф Флавий** (37 — после 100), древнееврейский историк — 102
- Ипполит**, слуга А. С. Пушкина в 1832 г. — 61
- Кавелин** Константин Дмитриевич (1818—1885), историк, правовед, философ, публицист, общественный деятель — 215, 524, 525
- Казанова** Джованни Джакомо (1725—1798), итальянский писатель, известный своими похождениями — 148
- Калиостро** Алессандро (наст. имя и фам. Джузеппе Бальзамо) (1743—1795), граф, итальянский авантюрист, занимался оккультизмом — 210, 325
- Кальвин** Жан (1509—1564), деятель Реформации в Швейцарии — 168, 307, 308, 312, 511, 593
- Кальдерон де ла Барка** Педро (1600—1681), испанский драматург — 146, 503
- Каменский** Анатолий Павлович (1876—1941), писатель и киносценарист — 295, 446
- Кант** Иммануил (1724—1804), немецкий философ и ученый — 150, 164, 165, 392, 449, 450, 488, 492, 570—572, 580, 625
- Кантемир** Антиох Дмитриевич (1708—1744), князь, поэт и дипломат — 671
- Капнист** Василий Васильевич (1758—1823), драматург и поэт — 246
- Карамзин** Николай Михайлович (1766—1826), историк и писатель — 119—121, 145, 193, 196, 262, 273, 368, 382, 446, 497, 503, 509, 590, 594, 598, 599, 609, 627, 628, 631, 648, 668
- Кареев** Николай Иванович (1850—1931), историк и социолог — 422
- Карл Великий** (742—814), франкский король (с 768), император (с 800) из династии Каролингов — 639
- Карлейль** Томас (1795—1881), английский историк, философ-моралист, публицист — 39, 426, 517
- Каронин** С. (наст. имя и фам. Николай Елпидифорович Петропавловский) (1853—1892), писатель — 668, 669
- Касты** Джованни Баттиста (1724—1803), итальянский писатель — 40
- Катарбинский** (Котарбинский) Вильгельм Александрович (1845—?), живописец, по национальности поляк — 255—257
- Катков** Михаил Никифорович (1818—1887), публицист, издатель, критик — 45, 199, 519, 656, 671
- Катон Младший** (Утический) (95—46 до н. э.), римский политический деятель, республиканец, противник Цезаря — 640
- Кауфман** Константин Петрович (1818—1882), инженер-генерал, туркестанский генерал-губернатор (с 1867) — 122

- Керн* (урожд. Полторацкая) Анна Петровна (1800—1879), вдохновительница одного из шедевров лирики А. С. Пушкина, мемуаристка — 61, 638
- Кетле* Ламбер Адольф Жак (1796—1874), бельгийский социолог, один из создателей научной статистики — 490
- Кильдьюшевский* Петр Иванович, классный наставник Розанова в симбирской гимназии — 501
- Киреевский* Иван Васильевич (1806—1856), философ, литературный критик, публицист — 62, 351, 459, 464, 466, 602, 605, 607, 608, 671
- Киреевский* Петр Васильевич (1808—1856), фольклорист, археограф, публицист — 351, 459, 466, 607, 608
- Кирилл Александрийский* (ум. 444), христианский церковный деятель и теолог — 93, 461
- Кирилл Туровский* (ок. 1130-х — не позднее 1182), древнерусский писатель, проповедник, епископ г. Туров — 199
- Кистяковский* Богдан Александрович (1868—1920), юрист, философ права, социолог — 355
- Клейнмихель* Петр Андреевич (1793—1869), граф, главноуправляющий путями сообщения (1842—1855) — 341, 343, 344
- Клеопатра* (69—30 до н. э.), последняя царица Египта (с 51 до н. э.) из династии Птолемея — 426
- Климент Александрийский* (ок. 150—ок. 215), христианский теолог и писатель — 383, 421
- Климент Зедергольм* (Карл Густав Адольф Зедергольм, в православии Константин Карлович) (1830—1878), иеромонах Оптиной пустыни, религиозный писатель, переводчик — 651
- Клопшток* Фридрих Готлиб (1724—1803), немецкий поэт — 454
- Княжнин* Яков Борисович (1740/1742—1791), драматург и поэт — 39, 671
- Ковалевский* Максим Максимович (1851—1916), историк, юрист, социолог — 442, 653
- Кованько* Александр Матвеевич (1856—1919), генерал-майор, один из руководителей военного воздухоплавания — 423
- Коган* Петр Семенович (1872—1932), историк литературы, критик, переводчик — 564
- Кожанчиков* Дмитрий Ефимович (1820/1821—1877), книгопродавец и издатель — 168
- Кок* Поль Шарль де (1793—1871), французский писатель — 497, 515
- Кокорев* Василий Александрович (1817—1889), откупщик, предприниматель, основатель Волжско-Камского банка, публицист — 122
- Коллатин* (Луций Тарквиний Коллатин), римский патриций, по преданию, возглавивший (вместе с Юнием Брутом) восстание против Тарквиния Гордого и установивший в 510—509 гг. до н. э. республиканский строй, один из первых консулов — 187, 640
- Колумб* Христофор (1451—1506), испанский мореплаватель, родом из Генуи — 392, 628
- Кольберг* (Кольбер) Жан Батист (1619—1683), французский государственный контролер (министр) финансов (с 1665) — 574
- Кольцов* Алексей Васильевич (1809—1842), поэт — 37, 42, 111, 114, 115, 127, 559, 636
- Коля* (Николай Васильевич Розанов) (1847—1894), брат Розанова — 192
- Комиссаржевская* Вера Федоровна (1864—1910), актриса, в 1904 г. создала свой театр — 255, 262, 263, 325, 446
- Кони* Анатолий Федорович (1844—1927), юрист и общественный деятель — 479
- Коноплянцев* Александр Михайлович, публицист, биограф К. Н. Леонтьева — 269, 270, 553, 554
- Константин I Великий* (ок. 285—337), римский император (с 306) — 16, 191
- Конт* Огюст (1798—1857), французский философ и социолог — 240, 241, 328, 355, 582

- Конфуций** (Кун-цзы) (ок. 551—479 до н. э.), древнекитайский мыслитель, основатель этико-политического и религиозного течения — конфуцианства — 317
- Кордэ** (Корде д'Армон) Шарлотта (1768—1793), французская дворянка, убившая одного из лидеров якобинцев — Марата — 574
- Корнель** Пьер (1606—1684), французский драматург — 217, 219, 231
- Коровин** А. В., автор статьи о К. Н. Леонтьеве — 555
- Короленко** Владимир Галактионович (1853—1921), писатель, публицист, общественный деятель — 170, 175, 256, 258, 260, 619, 653
- Костомаров** Николай Иванович (1817—1885), историк и писатель — 524
- Котляревский** Нестор Александрович (1863—1925), литературовед, критик, публицист — 523—526, 528, 614
- Кохановская** Н. (наст. имя и фам. Надежда Степановна Соханская) (1823/1825—1884), писательница — 10
- Краевский** Андрей Александрович (1810—1889), издатель и журналист — 593, 667
- Кранихфельд** Владимир Павлович (1865—1918), литературный критик и публицист — 529
- Кромвель** Оливер (1599—1658), деятель Английской революции сер. XVII в., лорд-протектор Англии (с 1653) — 426—428
- Кропоткин** Петр Алексеевич (1842—1921), князь, революционер, теоретик анархизма, геолог, географ — 670
- Кросби** Эрнест (1856—1907), американский писатель и общественный деятель — 11—14, 16
- Крылов** Иван Андреевич (1769—1844), баснописец, драматург, журналист — 180, 183, 224, 229, 650
- Крюденер** (Криднер) Варвара Юлия (Барбара Юлиана) (1764—1824), баронесса, мистическая проповедница — 271
- Ксанф** (V в. до н. э.), древнегреческий историк — 383, 421
- Ксенофан** (ок. 570 — после 478 до н. э.), древнегреческий поэт и философ — 51, 217, 654, 655
- Кукольник** Нестор Васильевич (1809—1868), писатель — 335
- Кулиш** Пантелеймон Александрович (1819—1897), украинский писатель, историк, этнограф, критик, публицист — 69
- Купер** Джеймс Фенимор (1789—1851), американский писатель — 369, 370
- Куприн** Александр Иванович (1870—1938), писатель — 166, 424—426, 496
- Курбский** Андрей Михайлович (1528—1583), князь, боярин, писатель, переводчик — 54, 663
- Курочкин** Василий Степанович (1831—1875), поэт, переводчик, журналист — 183, 499
- Кусков** Платон Александрович (1834—1909), поэт, литературный критик, переводчик — 555, 671
- Кускова** Елизавета (наст. имя и фам. Екатерина Дмитриевна Прокопович, урожд. Есипова, во втором браке Кускова) (1869—1958), публицистка, издательница, мемуаристка, общественная деятельница — 564
- Кустодиев** Борис Михайлович (1878—1927), живописец — 262, 265, 267
- Кутлер** Николай Николаевич (1859—1924), политический деятель, юрист — 594
- Кутузов** Михаил Илларионович (1745—1813), князь, полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией, разгромившей армию Наполеона — 275, 522, 642
- Кэрролл** (Кэрролл) Льюис (наст. имя и фам. Чарлз Латуидж Доджсон) (1832—1898), английский писатель, математик и логик — 583
- Лавассер** (Левассер) Тереза (1721—1801), жена Ж. Ж. Руссо — 570, 573
- Лавров** Петр Лаврович (1823—1900), публицист, философ, социолог — 599

- Лаотзы* (Лао-цзы) (IV—III в. до н. э.), древнекитайский автор трактата того же названия, в котором излагается религиозно-философское учение даосизма — 317, 318
- Лассаль* Фердинанд (1825—1864), немецкий политический деятель, социалист, публицист — 532, 600
- Лаура* (урожд. Нове) (1308—1348), жительница Прованса, которой посвятил свои «Канцоньере» Петрарка — 659
- Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ, математик, физик, языковед — 142, 190, 512, 672
- Лейкин* Николай Александрович (1841—1906), писатель и журналист — 177, 673
- Лемке* Михаил Константинович (1872—1923), историк и публицист — 555, 556
- Ленуар* В., автор статьи о А. И. Герцене — 565
- Леонардо да Винчи* (1452—1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер — 269, 307, 422
- Леонтьев* И. Л. — см. Щеглов И. Л.
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831—1891), философ, писатель, публицист, литературный критик — 5—10, 303, 330, 338, 515—523, 553—555, 651—657, 671
- Леонтьев* Павел Михайлович (1822—1874), журналист, филолог, друг и соредaktor М. Н. Каткова — 519
- Лепсиус* Карл Рихард (1810—1884), немецкий египтолог — 81
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт и прозаик — 24, 46, 64, 69—78, 82, 86—89, 91, 94—97, 100, 102, 109, 115, 118, 132, 135, 136, 139, 169, 181, 188, 193, 224, 248, 272, 274—280, 300, 328, 332, 333, 338, 347, 364, 382, 429, 451, 470—472, 485, 491, 494—496, 503, 504, 514—516, 523, 525, 537, 538, 541, 556, 557, 559, 600, 602, 603, 609, 614, 617, 631, 636, 641—643, 646, 664, 666, 672
- Лернер* Флориан, немецкий историк, автор книги о Франкфурте — 454
- Лесков* Николай Семенович (1831—1895), писатель — 183, 632, 666
- Лессинг* Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий драматург, теоретик искусства, литературный критик — 168, 513
- Ливий* Тит (59 до н. э. — 17 н. э.), римский историк — 188, 613
- Линней* Карл (1707—1778), шведский естествоиспытатель — 307
- Лихачев* Владимир Сергеевич (1849—1910), переводчик, поэт, драматург — 435
- Лобек* Кристиан Август (1781—1860), немецкий теолог, специалист по классической филологии — 149
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711—1765), естествоиспытатель, поэт, художник, историк, общественный деятель — 307, 326, 333, 437, 512, 590, 609—613, 671
- Лопатин* Герман Александрович (1845—1918), революционный народник, в 1887—1905 гг. в заключении, после освобождения — литератор — 622
- Лопатин* Лев Михайлович (1855—1920), философ и психолог — 67
- Лосский* Николай Онуфриевич (1870—1965), философ — 577
- Льюис* Джордж Генри (1817—1878), английский писатель, философ, филолог, критик — 240
- Любимов* Николай Алексеевич (1830—1897), физик, историк, публицист — 572, 573
- Людвиг IX Святой* (1214—1270), французский король (с 1226) из династии Капетингов — 665
- Людвиг XVI* (1754—1793), французский король (1774—1792) из династии Бурбонов — 574
- Лютер* Мартин (1483—1546), немецкий религиозный реформатор — 28, 107, 108, 210, 312, 448, 449, 460, 463, 511—513, 593
- Ляцкий* Евгений Александрович (1868—1942), историк литературы, критик, фольклорист, этнограф, писатель — 605—608, 614

- Мазарини Джулио* (1602—1661), кардинал, первый министр Франции (с 1643), по происхождению итальянец — 184
- Майков* Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 66, 112, 131, 627
- Макиавелли Никколо* (1469—1527), итальянский политический мыслитель и историк — 649
- Маколей Томас Бабингтон* (1800—1859), английский историк — 613
- Малерб Франсуа* (ок. 1555—1628), французский поэт — 219
- Мандевиль Бернард* (1670—1733), английский писатель — 32
- Манули, феодосийский лавочник, грек* — 657
- Маргарита Валуа* (1553—1615), жена короля Генриха Наваррского (будущего французского короля Генриха IV) (1572—1599) — 184
- Мария Антуанетта* (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI (с 1770) — 39, 571
- Мария Медичи* (1573—1642), французская королева, жена Генриха IV (1600—1610) — 184
- Марко-Вовчок* — см. Вовчок Марко
- Маркс Карл* (1818—1883), немецкий мыслитель, основоположник коммунистической теории, названной его именем — 192, 261, 329, 600
- Мартынов Иван Михайлович* (ум. 1894), археолог, в 1860-х гг. эмигрировал, вступил в орден иезуитов — 613
- Мартынов Николай Соломонович* (1815—1875), майор в отставке, убийца М. Ю. Лермонтова — 641, 643
- Матвей Ржевский* (Матвей Александрович Константиновский) (1791—1857), протоиерей из Ржева, духовник Н. В. Гоголя — 123, 340, 344, 403
- Машкин Владимир Михайлович* (в монашестве архимандрит Серапион) (1854—1905), религиозный мыслитель, публицист, умер в Оптиной пустыни — 577
- Меланхтон Филипп* (1497—1560), немецкий протестантский теолог и педагог, сподвижник М. Лютера — 307, 308, 312, 512, 513
- Мельшин* (псевд. Петра Филипповича Якубовича) (1860—1911), революционный народник, поэт, прозаик, журналист — 525
- Менделеев Дмитрий Иванович* (1834—1907), химик, педагог и общественный деятель — 307, 332, 333, 611, 613
- Ментенон Франсуаза де, маркиза д'Обинье* (1635—1719), фаворитка французского короля Людовика XIV — 574
- Менишков Александр Данилович* (1673—1729), князь, сподвижник Петра I — 512
- Меньшиков Михаил Осипович* (1859—1918), публицист, сотрудник газеты «Новое время» — 423
- Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1865—1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель — 54, 105—107, 145—148, 150—156, 158—160, 162, 163, 269—271, 324—330, 354—358, 422, 423, 491, 498—500, 623, 624
- Меримэ* (Мериме) Проспер (1803—1870), французский писатель — 146
- Мессалина* (Валерия Мессалина) (ум. 48), жена римского императора Клавдия, известная распутством, властолюбием и жестокостью — 104, 550
- Местр Жозеф Мари де* (1753—1821), граф, французский религиозный философ, публицист, политический деятель — 652
- Метерлик Морис* (1862—1949), бельгийский писатель, лауреат Нобелевской премии (1911) — 235, 240—243
- Мефодий, архимандрит, публицист, цензор* — 159
- Мечников Илья Ильич* (1845—1916), биолог, патолог, эмбриолог — 236, 239, 526, 611
- Мещерский Владимир Петрович* (1839—1914), князь, писатель и публицист, издатель газеты-журнала «Гражданин» — 182

- Микель-Анджело* (Микеланджело) Буонаротти (1475—1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт — 28, 307, 319, 334, 341
- Миль* Джон Стюарт (1806—1873), английский философ, экономист, общественный деятель — 240—242, 490
- Мильтон* Джон (1608—1674), английский поэт и политический деятель — 165, 426—428, 430, 448, 449
- Милоков* Павел Николаевич (1859—1943), политический деятель, историк, публицист, один из основателей и лидеров партии кадетов — 113, 427, 428, 503, 516, 607
- Минин* (Захарьев-Сухорук) Кузьма Минич (ум. 1616), нижегородский посадский, один из руководителей борьбы против польской интервенции — 109, 167, 169, 355, 598
- Минь* Жак Поль (1800—1875), французский геолог, издатель творений отцов церкви и другой религиозной литературы — 157
- Миные* Огюст (1796—1884), французский историк — 370
- Мирабо* Оноре Габриель Рикети (1749—1791), граф, французский политический деятель, депутат Генеральных штатов (1789), где стал известен как обличитель абсолютизма — 572, 574
- Михаил* (Павел Васильевич Семенов) (1874 — после 1916), богослов, религиозный писатель, автор статей о церковной реформе, после 1906 г. перешел в старообрядчество — 155—163
- Михайлов*, новгородский крестьянин, участник Религиозно-философских собраний — 270
- Михайловский* Николай Константинович (1842—1904), социолог, публицист, литературный критик — 105—108, 147, 178, 255, 490, 492, 565, 598—600, 619, 650, 667
- Мицкевич* Адам (1798—1855), польский поэт, деятель национально-освободительного движения — 136, 424
- Мишле* Жюль (1798—1874), французский историк — 240, 543
- Молешиотт* Якоб (1822—1893), немецкий физиолог и философ — 200, 202, 456
- Моллер* Федор Антонович (1812—1875), исторический живописец и портретист — 336
- Мольер* (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен) (1622—1673), французский комедиограф, актер, театральный деятель — 21, 38, 45, 307
- Моммзен* Теодор (1817—1903), немецкий историк — 32, 622
- Монтескье* Шарль Луи (1689—1755), французский правовед и философ — 649
- Мопассан* Ги де (1850—1893), французский писатель — 359—362, 365—367, 370—372, 374, 376—382
- Мопертюи* Пьер Луи Моро де (1698—1759), французский ученый и публицист — 631
- Морле* Андре (1727—1819), французский публицист, философ, переводчик — 40
- Морозов* Николай Александрович (1854—1946), революционный народник, писатель, ученый — 446, 622
- Мунд* Деций (I в.), знатный римлянин — 102, 103
- Мюссе* Альфред де (1810—1857), французский поэт — 617
- Навуходоносор II*, царь Вавилонии (605—562 до н. э.) — 603
- Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887), поэт — 330
- Надюша* (1892—1893), дочь Розанова — 194
- Наполеон I* (Наполеон Бонапарт) (1769—1821), французский император (1804—1814, март — июнь 1815), основатель династии Бонапартов — 41, 83, 161, 234, 273, 421, 460, 469, 522, 569, 574, 642, 647
- Наумов*, близкий знакомый М. Н. Тарновской, убийца П. Комаровского — 448
- Неккер* Жак (1732—1804), французский министр финансов (1777—1781, 1788—1790) — 574

- Некрасов Николай Алексеевич** (1821—1877/1878), поэт, прозаик, общественный деятель — 56, 57, 108—119, 125, 126, 128, 129, 131—138, 183, 244—251, 253—255, 262, 504, 506, 528, 557, 594, 614, 623, 658, 667, 670
- Нерон** (37—68), римский император (с 54) из династии Юлиев-Клавдиев — 495
- Нестеров Михаил Васильевич** (1862—1942), живописец — 332, 333, 585
- Нечаев Сергей Геннадиевич** (1847—1882), революционер, организатор тайного общества «Народная расправа» — 564
- Низар Дезире** (1806—1888), французский критик — 215
- Никанор** (Александр Иванович Бровкович) (1827—1890/1891), архиепископ Херсонский и Одесский, религиозный писатель — 380
- Никитенко Александр Васильевич** (1804—1877), литературный критик, историк литературы, цензор — 433
- Никитин Иван Саввич** (1824—1861), поэт — 115
- Николадзе Николай Яковлевич** (1843—1928), грузинский и русский публицист и общественный деятель — 435
- Николаев Николай Алексеевич**, ученик 7-го класса симбирской гимназии, наставник Розанова — 586
- Николай I** (1796—1855), российский император (с 1825) — 21, 45, 122, 524, 529, 670, 671
- Никольский Борис Владимирович** (ум. 1919), юрист, критик, поэт — 555
- Нильсон Кристина** (1843—1921), шведская певица — 441
- Ницше Фридрих** (1844—1900), немецкий философ — 19, 147, 273, 456, 457, 517—519
- Новгородцев Павел Иванович** (1866—1924), правовед, философ, социолог — 330
- Новиков Николай Иванович** (1744—1818), писатель, журналист, издатель — 351
- Новоселов Михаил Александрович** (1864—1938), религиозный мыслитель — 145, 160
- Новоскольников Александр Никанорович** (1853—?), исторический живописец — 634
- Нокс Джон** (1505/1514—1572), шотландский религиозный реформатор — 307, 308
- Нострадамус** (Мишель Нотрдам) (1503—1566), французский врач и астролог — 624
- Нума Помпилий**, по преданию, второй царь Рима (715—673/672 до н. э.) — 535
- Нурри-бей Осман**, турок, торговец и поставщик коллекционных монет, знакомый Розанова — 658
- Ньютон Исаак** (1643—1727), английский математик, механик, астроном, физик, создатель классической механики — 104, 273, 362, 507
- Огарев Николай Платонович** (1813—1877), поэт, публицист, философ, общественный деятель — 183
- Одоевский Владимир Федорович** (1803/1804—1869), князь, писатель, философ, музыкальный критик — 576, 600, 601
- Озаровская Ольга Эрастовна** (1874—1933), собирательница и исполнительница северных русских сказок, писательница — 496
- О. Л. Д'Ор**, псевдоним писателя и журналиста Осипа Львовича Оршера (1878/1879—1942) — 631, 632
- Олигер Николай Фридрихович** (1882—1919), писатель — 483—485
- Ориген** (ок. 185—253/254), христианский теолог, философ, филолог — 93, 395, 638
- Орлов Александр Анфимович** (1790/1791—1840), поэт и прозаик — 215
- Оссиан** (III в.), легендарный воин и бард кельтов, шотландский писатель Джеймс Макферсон (1736—1796) выдал за подлинные песни Оссиана свои обработки кельтских сказаний — 454
- Островский Александр Николаевич** (1823—1886), драматург — 27, 28, 145, 298, 496, 504, 600, 627, 666

- Ояма Ивао** (1842—1916), главнокомандующий японскими войсками в Маньчжурии в русско-японской войне 1904—1905 гг. — 668
- П-цов П. П.** — см. Перцов П. П.
- Павленков Флорентий Федорович** (1839—1900), книгоиздатель — 503
- Пальмер Уильям** (ум. 1879), священник англиканской церкви, переводчик на английский язык стихотворений А. С. Хомякова и его многолетний корреспондент — 461
- Панафидина Александра Самуиловна**, издательница — 555
- Пантюхов Михаил Иванович** (1880—1910), писатель — 491
- Панченко Владимир Кириллович**, врач, приговорен в 1910 г. к каторге за соучастие в убийстве — 561
- Парменид** (ок. 544 — ок. 450 до н. э.), древнегреческий философ — 51
- Парни Эварист** (1753—1814), французский поэт — 38, 117
- Парфений** (Петр Агеев) (1807—1878), инок, религиозный писатель — 520
- Паскаль Блез** (1623—1662), французский математик, физик, философ, писатель — 213, 352, 367, 368, 577, 583
- Пастер Луи** (1822—1895), французский микробиолог — 362, 494, 507
- Патти Аделина** (1843—1919), итальянская певица — 441
- Паулина** (I в.), знатная римлянка — 102—104
- Перовский**, неуставленный автор скульптурного портрета Л. Н. Толстого, возможно, речь идет о Паоло Трубецком — 27
- Перцов Петр Петрович** (1868—1947), публицист, литературный критик, издатель — 398, 641
- Петр I Великий** (1672—1725), русский царь (с 1682, правил с 1689), первый российский император (с 1721) — 21, 45, 62, 146, 169, 200, 509, 512, 597, 609—613, 639, 662, 665, 666, 670, 671
- Петр Пустынник** (1050—1115), французский монах, проповедник, призывавший к первому крестовому походу (1096—1099) — 343
- Петрарка Франческо** (1304—1374), итальянский поэт, гуманист — 658, 659
- Печерский Андрей** (наст. имя и фам. Павел Иванович Мельников) (1818—1883), писатель — 252
- Пиксанов Николай Кирькович** (1878—1969), литературовед, историк русской литературы, текстолог, библиограф — 558
- Пиндар** (ок. 518—442/438 до н. э.), древнегреческий поэт — 117
- Пирогов Николай Иванович** (1810—1881), хирург и анатом, педагог, общественный деятель — 526
- Пирожков Михаил Васильевич** (1867—1927), владелец книжного издательства, разорился в 1908 г. — 268
- Писарев Дмитрий Иванович** (1840—1868), публицист, литературный критик, общественный деятель — 20, 49, 192, 351, 352, 490, 494, 557, 598, 601, 627, 635
- Писемский Алексей Феофилактович** (1821—1881), писатель — 370, 504
- Пифагор** (VI в. до н. э.), древнегреческий философ, религиозный и политический деятель, математик — 87, 93, 101, 190, 419, 493, 510, 589, 654
- Пич Людвиг Карл Адольф** (1824—1911), немецкий публицист и художник — 542
- Платон** (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий философ — 32, 53, 55, 59, 98, 100, 142, 151, 190, 411, 450, 461, 536, 543, 571, 588, 589
- Плеве Вячеслав Константинович** (1846—1904), министр внутренних дел, шеф отделения корпуса жандармов (с 1902) — 268
- Плеханов Георгий Валентинович** (1856—1918), деятель российской и международной социал-демократии, философ, публицист — 622
- Плещеев Алексей Николаевич** (1825—1893), поэт — 477
- Плиний Старший** (23/24—79), римский писатель и ученый — 579
- Плиний Младший** (61/62—ок. 114), римский писатель и политический деятель — 146

- Победоносцев** Константин Петрович (1827—1907), обер-прокурор Синода (1880—1905), автор историко-юридических трудов — 268, 466, 469
- Погодин** Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель, издатель — 599, 630
- Пожарский** Дмитрий Михайлович (1578—1642), князь, боярин, один из руководителей борьбы против польской интервенции — 169, 598
- Полевой** Николай Алексеевич (1796—1846), писатель, публицист, историк, издатель — 213, 627
- Полежаев** Александр Иванович (1804—1838), поэт — 364
- Поливанов** Лев Иванович (1839—1899), педагог, основатель и директор частной гимназии в Москве, литературовед, общественный деятель — 342
- Полонский** Яков Петрович (1819—1898), поэт — 131, 627
- Помпадур** Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (в замужестве д'Этуаль) (1721—1764), фаворитка французского короля Людовика XV — 574
- Поселянин** (наст. имя и фам. Евгений Николаевич Погожев) (1870—?), публицист, сотрудник церковных изданий — 555
- Потебня** Александр Афанасьевич (1835—1891), украинский и русский филолог-славист — 506, 507, 514
- Потемкин** Григорий Александрович (1739—1791), политический и военный деятель, фаворит и ближайший помощник Екатерины II — 655, 657
- Пракситель** (ок. 390 — ок. 330 до н. э.), древнегреческий скульптор — 339
- Претекстат**, римский проконсул — 149
- Прилуков**, адвокат, находился в близких отношениях с М. Н. Тарновской на судебном процессе был приговорен к 10 годам тюремного заключения — 448
- Прокопий Газский** (кон. V — нач. VI в.), византийский богослов и ритор — 93
- Прокопович** Феофан (1681—1736), украинский и русский политический и церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I — 666
- Протопопов** Михаил Алексеевич (1848—1915), литературный критик и публицист — 634
- Птоломеи** (Птолеми), царская династия в эллинистическом Египте (305—30 до н. э.) — 398
- Пуанкаре** Жюль Анри (1854—1912), французский математик, физик, философ — 577
- Пугачев** Емельян Иванович (1740/1742—1775), донской казак, предводитель крестьянской войны 1773—1775 гг. — 77
- Пушкин** Александр Сергеевич (1799—1837), поэт и прозаик — 20—24, 26, 36—47, 57—62, 64, 67, 82, 88, 97, 109, 118, 120, 121, 123, 126, 129, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 146, 155, 165, 169, 176, 181, 183, 190, 198, 202, 217, 218, 224, 229, 234, 244, 248, 274, 275, 285, 287, 300, 332—334, 338, 347, 351—354, 364, 369, 383, 401, 402, 424, 435, 438, 440, 449—451, 467, 470—473, 487, 495, 503—505, 513, 516, 525, 559, 564, 569, 589, 590, 594, 598—603, 609, 610, 615, 617, 627, 629, 631, 632, 634—639, 641—647, 653, 655, 658, 664, 666, 669, 671, 673
- Пушкин** Лев Сергеевич (1805—1852), брат А. С. Пушкина — 61
- Пушкин** Сергей Львович (1770—1848), отец А. С. Пушкина — 61
- Пуцин** Иван Иванович (1798—1859), судья Московского надворного суда, декабрист, друг А. С. Пушкина, мемуарист — 64
- Радецкий** Федор Федорович (1820—1890), военный деятель, генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., член Государственного совета — 597
- Радищев** Александр Николаевич (1749—1802), писатель, философ, политический мыслитель — 22, 351
- Радклиф** (урожд. Уорд) Анна (1764—1823), английская писательница — 325

- Разин* Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671), донской казак, предводитель крестьянской войны 1670—1671 гг. — 493, 494
- Рамазанов* Николай Александрович (1815—1867), скульптор и публицист — 334
- Ранке* Леопольд фон (1795—1886), немецкий историк — 613
- Расин* Жан (1639—1699), французский драматург и поэт — 217, 219, 231, 243
- Растопчина* (Ростопчина, урожд. Сушкова) Евдокия Петровна (1811/1812—1858), поэтесса — 497
- Растрелли* Варфоломей Варфоломеевич (1700—1771) архитектор — 646
- Рафаэль Санти* (1483—1520), итальянский живописец и архитектор — 165, 334, 647
- Рачинский* Григорий Алексеевич (1859—1939), литератор, переводчик, философ, председатель Религиозно-философского общества в Москве — 585
- Рачинский* Сергей Александрович (1833—1902), ученый-ботаник, деятель народного образования, организатор сельских церковноприходских школ — 62, 461, 466
- Рашель* (наст. имя и фам. Элиза Рашель Феликс) (1821—1858), французская актриса — 568, 569
- Рем.* по римскому преданию, брат-близнец первого царя Рима Ромула — 534
- Ремизов* Алексей Михайлович (1877—1957), писатель — 491
- Рентген* Вильгельм Конрад (1845—1923), немецкий физик — 148
- Репин* Илья Ефимович (1844—1930), живописец — 350
- Рид* Томас Майн (1818—1883), английский писатель — 501
- Ризнич* (урожд. Рипп) Амалия (ок. 1803—1825), дочь венского банкира, жена одесского коммерсанта И. С. Ризнича, знакомая А. С. Пушкина, умерла от чахотки в Италии — 61
- Риттер* Карл (1779—1859), немецкий географ — 168
- Робеспьер* Максимилиан (1758—1794), деятель Французской революции, один из руководителей якобинцев — 570, 571
- Родичев* Федор Измаилович (1853, по другим данным 1856—1932), юрист, один из руководителей партии кадетов — 594, 597—599
- Рождественский* (Рожевственный) Зиновий Петрович (1848—1909), военноморской деятель, вице-адмирал, участник русско-японской войны 1904—1905 гг. — 667, 668
- Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — 106, 107, 145, 269, 271, 356, 436, 499, 527, 530, 561, 587, 606, 624
- Романов* Иван Федорович (псевд. Рцы) (1861—1913), публицист, писатель, издатель, друг Розанова — 671
- Ромул*, легендарный основатель и первый царь (VIII в. до н. э.) Рима — 534
- Ронсар* Пьер де (1524—1585), французский поэт — 219
- Ропшин* — псевдоним Савинкова Б. В.
- Рубинштейн* Антон Григорьевич (1829—1894), пианист, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель — 330
- Руژه де Лиль* Клод Жозеф (1760—1836), французский военный инженер, поэт, композитор, автор «Марсельезы» (1792) — 574
- Рукавишников* Иван Сергеевич (1877—1930), писатель — 484
- Руссо* Жан Жак (1712—1778), французский писатель и философ — 39, 168, 235, 367, 490, 569—575, 646
- Рутенберг* Пинхус (Петр) Моисеевич (1878—1942), деятель партии эсеров, разоблачивший Гапона как провокатора, в 1922 г. эмигрировал в Палестину — 622
- Рюрик* (ум. 879), по летописному преданию, предводитель варяжского военного отряда, обосновавшийся в Новгороде, считается родоначальником династии Рюриковичей — 115, 169, 200, 478, 479, 510

- Сабальский* (Собаньский) Исидор, поляк, помещик, знакомый А. Ризнич — 61
- Савенков* (Савинков) Борис Викторович (1879—1925), один из лидеров партии эсеров, писатель (псевд. В. Ропшин) — 564, 565, 567—569
- Савонарола* Джироламо (1452—1498), итальянский религиозный деятель, настоятель монастыря доминиканцев, боролся с тиранией Медичи, проповедовал аскетизм — 307, 308
- Сакулин* Павел Никитич (1868—1930), литературовед — 585
- Салтыков-Щедрин* Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин) (1826—1889), писатель-сатирик, публицист, редактор журнала «Отечественные записки» — 10, 106, 115, 244, 246, 254, 274, 428, 430, 487, 627, 667, 670
- Самарин* Дмитрий Федорович (1831—1901), историк и публицист — 607, 608
- Самарин* Юрий Федорович (1819—1876), историк, философ, публицист, общественный деятель — 461, 525, 607, 608
- Сатурнин* (I в.), знатный римлянин, муж Паулины — 102, 104
- Свида*, раньше так звали автора византийского толкового словаря, имевшего то же название — «Свида» (или «Суда») (ок. X в.), в настоящее время имя создателя словаря считается неизвестным — 162
- Святополк-Мирский* Петр Дмитриевич (1857—1914), князь, генерал-лейтенант, министр внутренних дел (август 1904 — январь 1905) — 428
- Северова* (наст. фам. Нордман) Наталья Борисовна (1863—1914), писательница, вторая жена И. Е. Репина — 424
- Северянин* Игорь (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев) (1887—1941), поэт — 630
- Семирамида* (Шаммурамат), царица Ассирии (кон. IX в. до н. э.) — 534, 535
- Сенека* Луций Анней (ок. 4 до н. э.—65 н. э.), римский политический деятель, философ, писатель — 219
- Сен-Жюст* Луи (1767—1794), французский политический и военный деятель, сторонник М. Робеспьера — 570, 573, 574
- Сенкевич* Генрик (1846—1916), польский писатель — 176
- Сен-Симон* Клод Анри де Рувруа (1760—1825), французский мыслитель, приверженец социализма — 597
- Серафим Саровский* (Прохор Сидорович Мошин) (1759/1760—1833), православный подвижник — 317, 619, 635—637, 642
- Сервантес Сааведра* Мигель де (1547—1616), испанский писатель — 558, 559
- Сергеенко* Петр Алексеевич (1854—1930), писатель, знакомый семье Л. Н. Толстого — 303
- Сергиев* Иоанн — см. Иоанн Кронштадтский
- Сергий Радонежский* (1314/1321—1392), основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря — 118, 493, 494
- Серов* Валентин Александрович (1865—1911), живописец и график — 350, 619, 646
- Сильвестр* (ум. ок. 1566), священник московского Благовещенского собора, оказывал большое влияние на Иоанна IV, с 1560 г. в опале — 209, 663
- Синеус*, брат Рюрика, правивший, согласно преданию, в Белоозере — 169, 478, 510
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838—1910), литературный критик и историк литературы — 177, 627, 634, 635
- Скворцов* Василий Михайлович (1859—1932), чиновник Синода, публицист, редактор и издатель ряда церковных изданий — 466
- Скиталец* (наст. фам. Петров) Степан Гаврилович (1869—1941), писатель — 166
- Сковорода* Григорий Саввич (1722—1794), украинский философ, поэт, музыкант, педагог — 576
- Скотт* Вальтер (1771—1832), английский писатель — 227, 228, 234

- Скуратов-Бельский* Григорий Лукьянович (Малюта) (ум. 1573), думный дворянин, глава опричнины — 634
- Смирдин* Александр Филиппович (1795—1857), книгопродавец и книгоиздатель, содержал книжный магазин и библиотеку для чтения — 215, 671
- Смирнова* (урожд. Россет) Александра Осиповна (1809—1882), жена дипломата Н. М. Смирнова, который в 1845—1851 гг. был калужским губернатором — 350
- Сократ* (ок. 470—399 до н. э.), древнегреческий философ — 28, 32, 88, 118, 241, 242, 308, 560
- Солдатенков* Козьма Терентьевич (1818—1901), издатель, владелец художественной галереи, коллекционер, меценат — 168
- Соллогуб* (Сологуб, наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927), писатель — 415, 443—448, 491, 496, 497
- Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900), философ, поэт, публицист — 18, 48—50, 52—56, 64—68, 74, 86, 87, 89, 94, 95, 271, 330, 338, 344, 422, 433, 516, 554, 585, 613, 656
- Соловьев* Сергей Михайлович (1820—1879), историк — 193, 196, 525, 627
- Сологуб* (Соллогуб) Владимир Александрович (1813—1882), граф, писатель — 477
- Соломон*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965 — ок. 926 до н. э.) — 190, 220, 263, 322, 323, 385, 639, 646, 669
- Спасович* Владимир Данилович (1829—1906), юрист, публицист, общественный деятель — 20—23, 25, 26
- Спенсер* Герберт (1820—1903), английский философ и социолог — 100, 456, 582
- Сперанский* Михаил Михайлович (1772, по др. данным 1771—1839), граф, политический деятель, ближайший советник Александра I (1808—1812), генерал-губернатор Сибири (1819—1821), руководил работой по законодательству — 117
- Спиноза* Бенедикт (Барух) (1632—1677), нидерландский философ — 318
- Станкевич* Николай Владимирович (1813—1840), философ, поэт, общественный деятель — 182, 670
- Степанов*, учитель математики в годы учебы Розанова в симбирской гимназии — 501
- Столинер* Борис Григорьевич (1871—1967), философ, переводчик философских трудов, сотрудник «Еврейской энциклопедии» (1908—1913) — 271, 358
- Столытин* Александр Аркадьевич (1863—1925), публицист — 355
- Столытин* Петр Аркадьевич (1862—1911), министр внутренних дел и председатель Совета Министров (с 1906), руководитель разработанной им аграрной реформы — 423
- Страбон* (64/63 до н. э.— 23/24 н. э.), древнегреческий географ и историк — 149
- Страхов* Николай Николаевич (1828—1896), философ, публицист, литературный критик — 85—87, 95, 330, 380, 466, 556, 592, 593, 615, 671
- Струве* Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, философ, историк, публицист, один из лидеров партии кадетов — 326, 355, 356, 358, 516
- Струсберг* Бетель Генри (1823—1884), железнодорожный предприниматель, аферист международного масштаба — 23
- Суворов* Александр Васильевич (1730—1800), граф, князь, полководец, генералиссимус (1799) — 118, 626, 655
- Сумароков* Александр Петрович (1717—1777), писатель — 39
- Сципион Африканский Старший* (ок. 235 — ок. 183 до н. э.), римский полководец — 138
- Сципион Африканский Младший* (ок. 185—129 до н. э.), римский полководец — 138
- Сытин* Иван Дмитриевич (1851—1934), издатель — 630

- Сютаев** Василий Кириллович (1819—1892), крестьянин Тверской губернии, сектант, религиозный философ-самоучка — 230
- Тареев** Михаил Михайлович (Максим Матвеевич) (1866—1934), религиозный философ и богослов — 447
- Тарквиний Гордый**, согласно преданию, последний царь Рима (534/533—510/509 до н. э.) — 187, 188
- Тарновская** (урожд. О'Рурк) М. Н., обвинялась в подстрекательстве к убийству своего любовника графа П. Комаровского с целью получения за него страховой суммы, на судебном процессе, проходившем в Венеции в феврале — мае 1910 г., была приговорена к 8 годам тюремного заключения — 448
- Татарина** (урожд. Буксгевден) Екатерина Филипповна (1783—1856), основательница секты «духовный союз» — 325
- Тауберт** Иван Иванович (наст. имя Иоганн Каспар) (1717—1771), адъюнкт по истории, советник канцелярии Петербургской Академии наук — 611
- Тацит** (ок. 58 — ок. 117), римский историк — 188, 371, 458, 509, 613, 662
- Теккерей** Уильям Мейкпис (1811—1863), английский писатель — 72, 227, 228
- Тереза** — см. Лавассер
- Тертуллиан** Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220), христианский теолог и писатель — 157, 159
- Тиберий** (Тиберий) (42 до н. э. — 37 н. э.), римский император (с 14) из династии Юлиев-Клавдиев — 102
- Тит** (39—81), римский император (с 79) из династии Флавиев — 341
- Титов** Георгий Иванович (1841—?), протоиерей, религиозный писатель — 80
- Тихомиров** Лев Александрович (1852—1923), революционный народник, после 1888 г. монархист, редактор газеты «Московские ведомости» (1909—1913) — 516
- Тихонравов** Николай Саввич (1832—1893), литературовед и археолог — 585, 586
- Товянский** Анджей (1799—1878), польский мистик, сторонник мессианизма — 136, 357
- Токвиль** Алексис (1805—1859), французский историк, социолог, политический деятель — 370, 371, 383
- Толстая** (урожд. Берс) Софья Андреевна (1844—1919), графиня, жена Л. Н. Толстого — 305, 306, 319, 321
- Толстой** Александр Петрович (1801—1873), граф, один из близких людей Н. В. Гоголя в последние годы его жизни, губернатор (1834—1840), обер-прокурор Синода (1856—1862) — 335, 339
- Толстой** Алексей Константинович (1817—1875), граф, писатель — 52, 55, 154, 155, 398, 477, 617
- Толстой** Алексей Николаевич (1882/1883—1945), писатель — 484
- Толстой** Лев Николаевич (1828—1910), писатель и мыслитель — 5—9, 11—16, 18, 27—29, 31—36, 46, 105, 110, 111, 121, 134, 139, 140, 143, 145, 153, 154, 169, 175—177, 189, 191, 192, 205—211, 213—218, 220—240, 246, 247, 266, 269, 286, 287, 291, 296—321, 323, 333, 340, 353, 354, 368, 370, 371, 374, 375, 377—382, 401, 422, 423, 449, 451, 459, 464, 466—473, 479—481, 489, 491, 496, 504, 515, 516, 518—523, 525, 531, 532, 536, 545, 559, 570, 592, 595, 597, 609, 615, 617, 629, 631
- Толстой** Петр Андреевич (1645—1729), граф, политический деятель и дипломат — 512
- Толстые**, семья Л. Н. Толстого — 233, 313
- Торвальдсен** Бертель (1768/1770—1844), датский скульптор — 307
- Тредьяковский** (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703—1768), поэт и филолог — 155, 219, 446
- Трейхмюллер** (Тейхмюллер) Густав (1832—1888), немецкий философ — 653
- Трубецкой** Евгений Николаевич (1863—1920), князь, философ, правовед, общественный деятель — 67, 271, 330, 585

- Трубецкой* Сергей Николаевич (1862—1905), князь, философ, публицист, общественный деятель — 67, 271, 330, 516
- Трувор*, брат Рюрика, правивший, согласно преданию, в Изборске — 169, 478, 510
- Тур* Евгения (наст. имя и фам. Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, урожд. Сухово-Кобылина) (1815—1892), писательница — 10
- Тургенев* Иван Сергеевич (1818—1883), писатель — 7, 8, 10, 24, 25, 27, 28, 85, 90, 121, 138—145, 169, 191, 224, 228, 229, 231, 235, 246, 247, 249, 261, 287, 288, 292, 294—296, 298, 302, 350, 381, 437—443, 446, 476, 491, 497, 504, 513, 520, 521, 526, 530, 531, 536—545, 600, 609, 614, 616, 617, 629, 631, 666
- Тургенева* (в замужестве Брюэр) Полина (Пелагея) Ивановна (1842—1919), дочь И. С. Тургенева — 439
- Тэн* Ипполит (1828—1893), французский литературовед, философ, историк — 240—242, 371, 571, 572, 574, 667
- Тютчев* Федор Иванович (1803—1873), поэт, публицист, дипломат — 27, 66, 169, 354, 466, 569, 617, 623, 625—632, 635, 658
- Уваров* Сергей Семенович (1786—1855), граф, президент Петербургской Академии наук (с 1818), министр народного просвещения (1833—1849) — 647
- Уланд* Людвиг (1787—1862), немецкий поэт и историк литературы, к роману Сэмюэла Ричардсона «История Грандисона» обращался немецкий писатель Кристоф Мартин Виланд (1733—1813), пародию на него написал немецкий писатель Иоганн Карл Август Музеус (1735—1787) — 454
- Успенский* Глеб Иванович (1843—1902), писатель — 49, 106, 218, 350, 543, 595, 600
- Утин* Евгений Исаакович (1843—1894), литературный критик, публицист, адвокат — 21
- Ушинский* Константин Дмитриевич (1824—1870/1871), педагог, теоретик педагогики — 526
- Фалес* (ок. 625 — ок. 547 до н. э.), древнегреческий философ — 510, 589—591
- Фарадэй* (Фарадей) Майкл (1791—1867), английский физик — 32
- Фарнарина* (Форнарина, на римском диалекте «Булочница»), так звали дочь булочника Маргариту Лути, возлюбленную Рафаэля (с 1510) — 334
- Фауста* (ок. 290—326), жена Константина I Великого — 191
- Федоров* Михаил Михайлович, редактор «Литературного обозрения», приложения к «Торгово-промышленной газете» — 549
- Феокрыт* (кон. IV — 1-я пол. III в. до н. э.), древнегреческий поэт — 39
- Феофан Затворник* (Георгий Васильевич Говоров) (1815—1894), церковный деятель, богослов, религиозный писатель, переводчик — 579
- Феррер* Гвардия Франсиско (1859—1909), испанский педагог, по политическим взглядам близкий к анархизму, казнен по обвинению в руководстве восстанием в Барселоне — 423
- Фет* (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), поэт и переводчик — 30, 131, 160, 302, 614—618, 626—629, 632, 635
- Фидий* (нач. V в. — ок. 432/431 до н. э.), древнегреческий скульптор — 225, 226, 339
- Филарет* (Василий Михайлович Дроздов) (1782—1867), церковный деятель, богослов, митрополит Московский (с 1821) — 501
- Филипп* (Федор Степанович Колычев) (1507—1569), митрополит (1566—1568) — 634, 663
- Филипп II* (1527—1598), испанский король (с 1556) из династии Габсбургов — 169

- Филиппов** Михаил Михайлович (1858—1903), ученый, писатель, журналист, издатель журнала «Научное обозрение» (1894—1903) — 161—163
- Филолай** из Кротона (ок. 470 — кон. V в. до н. э.), древнегреческий философ и астроном — 51
- Философов** Дмитрий Владимирович (1872—1940), литературный критик и публицист — 355, 356, 491, 568, 569
- Фихте** Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ и общественный деятель — 449, 650
- Флексер** — см. Вольтинский А. Л.
- Флобер** Гюстав (1821—1880), французский писатель — 146
- Флоренский** Павел Александрович (1882—1937), священник, философ, ученый, инженер — 447, 581—583, 585, 671
- Фонвизин** Денис Иванович (1744/1745—1792), писатель — 246, 640, 671
- Фотий** (ок. 810/820—890-е), патриарх Константинопольский (858—867, 877—886) — 162
- Фотий** (Петр Никитич Спасский) (1792—1838), церковный деятель, архимандрит, оказывал влияние на Александра I — 271, 325
- Фофанов** Константин Михайлович (1862—1911), поэт — 546—549, 551—553
- Фогт** (Фогт) Карл (1817—1895), немецкий философ и естествоиспытатель — 202
- Франк** Семен Людвигович (1877—1950), философ — 355
- Франциск Ассизский** (1181/1182—1226), итальянский проповедник, религиозный поэт, основатель ордена францисканцев — 638
- Фридрих II Великий** (1712—1786), прусский король (с 1740) из династии Гогенцоллернов, полководец — 161
- Фудель** Иосиф Иванович (1864—1918), священник, публицист — 585
- Фукидид** (ок. 460—400 до н. э.), древнегреческий историк — 613
- Хемницер** Иван Иванович (1745—1784), поэт-баснописец — 671
- Херасков** Михаил Матвеевич (1733—1807), писатель — 671
- Хомяков** Алексей Степанович (1804—1860), философ, писатель, публицист, общественный деятель — 10, 46, 48, 62, 68, 126, 252, 456, 457, 459—465, 576, 602, 605, 607, 608, 671
- Хрисанф** (Владимир Николаевич Ретивцев) (1832—1883), архиепископ, религиозный писатель, историк религии — 83, 84
- Цвингли** Ульрих (1484—1531), деятель Реформации в Швейцарии — 168, 307, 308, 312
- Цебрикова** Мария Константиновна (1835—1917), писательница, публицистка — 556
- Цезарь**, титул императора в Древнем Риме — 106
- Цезарь** Гай Юлий (102/100—44 до н. э.), римский диктатор и полководец — 138
- Цёльнер** Иоганн Карл Фридрих (1834—1882), немецкий астрофизик — 95
- Цитович** Петр Павлович (1844—1913), юрист и публицист — 106
- Цицерон** Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский политический деятель, оратор, писатель — 149, 605
- Чаадаев** Петр Яковлевич (1794—1856), мыслитель и публицист — 22, 24, 25, 45, 47, 338, 351, 352, 576, 599, 613, 629, 656
- Чаев** Николай Александрович (1824—1914), драматург — 435
- Чайковский** Петр Ильич (1840—1893), композитор — 617
- Чемберлен** Джозеф (1836—1914), английский политический деятель, министр колоний (1895—1903) — 100
- Чернов** Виктор Михайлович (1873—1952), политический деятель, один из руководителей партии эсеров, публицист — 565

- Чернышевский Николай Гаврилович** (1828—1889), писатель, публицист, литературный критик, философ, общественный деятель — 182, 184, 185, 187, 191, 192, 350—352, 372, 429, 512, 524, 526, 556, 557, 595, 598, 600, 601
- Чертков Владимир Григорьевич** (1854—1936), друг и единомышленник Л. Н. Толстого, издатель его произведений — 468
- Чехов Антон Павлович** (1860—1904), писатель — 166—169, 175—180, 182, 183, 228, 231, 473, 476—478, 480—482, 496, 525, 632
- Чингисхан** (Тэмуджин, Темучин) (ок. 1155—1227), основатель и великий хан Монгольской империи, организатор завоевательных походов — 603
- Чириков Евгений Николаевич** (1864—1932), прозаик, драматург — 166
- Чичерин Борис Николаевич** (1828—1904), правовед, историк, философ, публицист — 49, 106, 524, 525
- Чуковский Корней Иванович** (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков) (1882—1969), писатель, литературовед, критик — 484, 485
- Шатобриан Франсуа Рене де** (1768—1848), виконт, французский писатель и мыслитель — 38, 215
- Шафиров Петр Павлович** (1669—1739), политический деятель и дипломат, сподвижник Петра I — 512
- Шаховской Александр Александрович** (1777—1846), князь, драматург, поэт, театральный деятель — 183
- Шашков Серафим Серафимович** (1841—1882), историк и публицист — 556
- Шекспир Уильям** (1564—1616), английский драматург и поэт — 21, 38, 54, 90, 165, 176, 208—211, 213, 216, 218—220, 273, 298, 306, 307, 333, 448, 449, 503, 572, 669, 673
- Шелгунов Николай Васильевич** (1824—1891), публицист, литературный критик, общественный деятель — 627, 635
- Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф** (1775—1854), немецкий философ — 164, 449
- Шенина Любовь Афанасьевна** (1825—1879), сестра А. А. Фета — 614, 616
- Шенина** (в замужестве Борисова) Надежда Афанасьевна (1832—1869), сестра А. А. Фета — 614—616
- Шенье Андре Мари** (1762—1794), французский поэт и публицист, казнен якобинцами — 38
- Шестов Лев** (наст. имя и фам. Лев Исаакович Шварцман) (1866—1938), философ и писатель — 491
- Шидловский Иван Николаевич** (1816—1872), поэт, друг юности Ф. М. Достоевского — 215, 216
- Шиллер Иоганн Фридрих** (1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства — 181, 216, 218, 227—229, 493, 497, 574, 669
- Шопенгауэр Артур** (1788—1860), немецкий философ — 308, 322, 323, 411, 456, 457, 653
- Шпильгаген Фридрих** (1829—1911), немецкий писатель — 530, 531
- Штраус Давид Фридрих** (1808—1874), немецкий теолог и философ — 32
- Шувалов Иван Иванович** (1727—1797), генерал-адъютант, президент Академии художеств, фаворит Елизаветы Петровны — 611
- Шумахер Иоганн Даниил** (Иван Данилович) (1690—1761), немецко-русский ученый, советник канцелярии Петербургской Академии наук — 611—613
- Шундилов Василий Максимович**, инспектор (надзиратель) в нижегородской гимназии в 1870-е гг. — 249—251
- Щеглов** (наст. фам. Леонтьев) Иван Леонтьевич (1855—1911), прозаик и драматург — 60—62, 64, 539, 540, 551
- Щеголев Павел Елисеевич** (1877—1931), литературовед и историк — 643—645
- Щедрин** — см. Салтыков-Щедрин М. Е.

Эвклид (Евклид) (III в. до н. э.), древнегреческий математик — 151

Эккерман Иоганн Петер (1792—1854), личный секретарь И. В. Гёте — 369, 397

Эмпедокл (ок. 490 — ок. 430 до н. э.), древнегреческий философ, поэт, врач, политический деятель — 654, 655

Энгельгардт Николай Александрович (1867—1942), писатель, публицист, критик, историк литературы — 20—22, 86

Еразм Роттердамский (1469—1536), писатель, филолог, гуманист — 211

Эрн Владимир Францевич (1881/1882—1917), философ — 671

Эртель Александр Иванович (1855—1908), писатель — 430

Эфрос Абрам Маркович (1888—1954), литературный и художественный критик, историк искусства, поэт, переводчик, в 1909 г. перевел библейскую «Песнь Песней» — 387, 394

Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 127), римский поэт-сатирик — 458

Юлиан Отступник (331—363), римский император (с 361) — 269, 328

Юстиниан I Великий (482/483— 565), византийский император (с 527) — 157, 639

Юсунов Николай Борисович (1750—1831), князь, министр департамента уделов, член Государственного совета, меценат — 424

Юсуповы, княжеский род в XVI—XIX в.— 486, 487

Юшкевич Семен Соломонович (1868—1927), историк литературы, публицист, драматург — 166, 170, 171, 175

Яворский Стефан (1658—1722), украинский и русский церковный деятель и писатель — 666

Языков Николай Михайлович (1803—1846/1847), поэт — 64, 121, 648, 671

Ярослав Мудрый (ок. 978—1054), великий князь Киевский (с 1019), сын Владимира I Святого — 395, 601

Ярославна (Ефросинья Ярославна) (2-я пол. XII в.), жена князя Новгород-Северского Игоря Святославича, дочь князя Галицкого Ярослава Владимировича Осмомысла — 190

Составитель *В. М. Персонов*

СОДЕРЖАНИЕ

1892

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ 5

1896

ЕЩЕ О ГР. Л. Н. ТОЛСТОМ И ЕГО УЧЕНИИ О НЕСОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ . . 11

1897

ДВА ВИДА «ПРАВИТЕЛЬСТВА» 20

1898

ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ 27

1899

А. С. ПУШКИН 36

1900

НА ГРАНИЦАХ ПОЭЗИИ И ФИЛОСОФИИ (Стихотворения Владимира Соловьева) 48

КОЕ-ЧТО НОВОЕ О ПУШКИНЕ 57

ПАМЯТИ ВЛ. СОЛОВЬЕВА 64

1901

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (К 60-летию кончины) 69

1902

КОНЦЫ И НАЧАЛА, «БОЖЕСТВЕННОЕ» И «ДЕМОНИЧЕСКОЕ», БОГИ И ДЕМОНЫ (По поводу главного сюжета Лермонтова) 78

«ДЕМОН» ЛЕРМОНТОВА И ЕГО ДРЕВНИЕ РОДИЧИ 95

СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ 105

25-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ НЕКРАСОВА (27 декабря 1877 г.—27 декабря 1902 г.) . . 108

ГОГОЛЬ 119

1903

О БЛАГОДУШИИ НЕКРАСОВА 125

ИВ. С. ТУРГЕНЕВ (К 20-летию его смерти) 138

СРЕДИ ИНОЯЗЫЧНЫХ (Д. С. Мережковский) 145

1904

АМЕРИКАНИЗМ И АМЕРИКАНЦЫ	164
ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ	166
ПИСАТЕЛЬ-ХУДОЖНИК И ПАРТИЯ	175

1905

КОГДА-ТО ЗНАМЕНИТЫЙ РОМАН	184
МЕЧТА В ЩЕЛКУ	192

1906

ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (28 января 1881—1906 гг.)	198
ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКИЙ ОБ ИСКУССТВЕ	205

1907

НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ. К 55-летию литературной деятельности Л. Н. Толстого	222
НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ. Л. Толстой и быт	231
НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ. Л. Толстой и интеллигенция	236
МЕТЕРЛИНК	240

1908

НЕКРАСОВ В ГОДЫ НАШЕГО УЧЕНИЧЕСТВА	244
Л. АНДРЕЕВ И ЕГО «ТЬМА»	255
АВТОР «БАЛАГАНЧИКА» О ПЕТЕРБУРГСКИХ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЯХ	262
ДОМИК ЛЕРМОНТОВА В ПЯТИГОРСKE	272
НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ [Арцыбашев]	280
НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ [Диккенс]	286
О ПАМЯТНИКЕ И. С. ТУРГЕНЕВУ	294
80-ЛЕТИЕ РОЖДЕНИЯ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО	296
Л. Н. ТОЛСТОЙ	299
ТОЛСТОЙ МЕЖДУ ВЕЛИКИМИ МИРА	307
ВЕЛИКИЙ МИР СЕРДЦА (Нечто о Л. Н. Толстом)	312
ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ	319

1909

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИМУЛЯНТЫ	324
ТРАГИЧЕСКОЕ ОСТРОУМИЕ	326
ПОПЫ, ЖАНДАРМЫ И БЛОК	330
ЗАГАДКИ ГОГОЛЯ...	333
ГЕНИЙ ФОРМЫ (К 100-летию со дня рождения Гоголя)	345
РУСЬ И ГОГОЛЬ	352
МЕРЕЖКОВСКИЙ ПРОТИВ «ВЕХ» (Последнее Религиозно-философское собрание)	354
ОДИН ИЗ ПЕВЦОВ ВЕЧНОЙ «ВЕСНЫ»	359
МАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА У ГОГОЛЯ	383
ПОГРЕБАТЕЛИ РОССИИ	421

КУПРИН	424
КРАСОТА-ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА	426
ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ	428
О ПИСЬМАХ ПИСАТЕЛЕЙ	430

1910

АМФИТЕАТРОВ	434
ВИАРДО И ТУРГЕНЕВ	437
БЕДНЫЕ ПРОВИНЦИАЛЫ...	443
В ДОМИКЕ ГЁТЕ	448
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ ХОМЯКОВ. К 50-летию со дня кончины его (23 сентяб- ря 1860 г.— 23 сентября 1910 г.)	456
КОНЧИНА Л. Н. ТОЛСТОГО	466
ТОЛСТОЙ В ЛИТЕРАТУРЕ	467
ЗАБЫТОЕ ВОЗЛЕ ТОЛСТОГО...	470
А. П. ЧЕХОВ	473

1911

НЕ ВЕРЬТЕ БЕЛЛЕТРИСТАМ...	483
ОДНА ИЗ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ ДОСТОЕВСКОГО	487
НОВЫЕ СОБЫТИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ	494
И ШУТЯ, И СЕРЬЕЗНО...	497
В. Г. БЕЛИНСКИЙ (К 100-летию дня рождения)	501
ВЕКОВАЯ ГОДОВЩИНА (30 мая 1811 г.— 30 мая 1911 г.)	508
НЕОЦЕНИМЫЙ УМ	515
ГЕРЦЕН	523
ЧЕМ НАМ ДОРОГ ДОСТОЕВСКИЙ? (К 30-летию со дня его кончины)	529
ЗАГАДОЧНАЯ ЛЮБОВЬ (Виардо и Тургенев)	536
ИЗ ЖИТЕЙСКИХ ВСТРЕЧ. К. М. Фофанов	546
К 20-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА (1891 — 12 ноября — 1911)	553
ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ ДОБРОЛЮБОВА	555

1912

ТРАГЕДИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА	558
ТЕМА И БОККАЧИО, И СОКРАТА (О цензуре)	560
РОПШИН И ЕГО НОВЫЙ РОМАН	564
АМФИТЕАТРОВ И РОПШИН-САВЕНКОВ	567
Ж. Ж. РУССО	569

1914

ГУСТАЯ КНИГА	576
СПОРЫ ОКОЛО ИМЕНИ БЕЛИНСКОГО	585
БЕЛИНСКИЙ И ДОСТОЕВСКИЙ	592
К 50-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ АП. А. ГРИГОРЬЕВА	600
ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ	602

1915

ОДИН ИЗ «СТАИ СЛАВНОЙ»	605
ЛОМОНОСОВ. Его личность и судьба (4 апреля 1765 г.— 4 апреля 1915 г.) . . .	609
НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ФЕТЕ	614

1916

М. ГОРЬКИЙ И О ЧЕМ У НЕГО «ЕСТЬ СОМНЕНИЯ», А В ЧЕМ ОН «ГЛУБОКО УБЕЖДЕН»...	619
НЕ В НОВЫХ ЛИ ДНЯХ КРИТИКИ?	623
Г-Н Н. Я. АБРАМОВИЧ ОБ «УЛИЦЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» . . .	630
«СВЯТОСТЬ» И «ГЕНИЙ» В ИСТОРИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ	635
О ЛЕРМОНТОВЕ	641
К КОНЧИНЕ ПУШКИНА (По поводу новой книги П. Е. Щеголева «Смерть Пуш- кина»)	643
К 25-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ ИВ. АЛЕКС. ГОНЧАРОВА (15 сентября 1891 г.— 15 сентября 1916 г.)	647

1917

О КОНСТ. ЛЕОНТЬЕВЕ	651
------------------------------	-----

1918

ГОГОЛЬ И ПЕТРАРКА	658
С ВЕРШИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ПИРАМИДЫ (Размышление о ходе русской лите- ратуры)	659
АПОКАЛИПТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	673
КОММЕНТАРИИ	679
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	704

Василий
Васильевич
Розанов

Собрание сочинений

О писательстве и писателях

Заведующий редакцией
В. Г. Голобоков

Редакторы
П. П. Апрышко
и *Ж. П. Крючкова*

Художник
Ю. Н. Маркаров

Художественный редактор
О. Н. Зайцева

Технический редактор
Ю. А. Мухин

ИБ № 9823

ЛР № 010273 от 10.12.92.

Сдано в набор 26.09.94.

Подписано в печать 20.01.95.

Формат 60х84¹/₁₆.

Бумага книжно-журнальная офсетная.

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 42,78. Уч.-изд. л. 51,26.

Тираж 25 000 экз.

Заказ № 162. С 097.

Российский государственный
информационно-издательский
Центр «Республика»
Комитета Российской Федерации
по печати.

Издательство «Республика».
125811, ГСП, Москва, А-47,
Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма
«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ».
103473, Москва,
Краснопролетарская, 16.

выпускает

**Собрание сочинений
В. В. Розанова**

В 1994—1995 гг.

вышли следующие тома:

Среди художников

Мимолетное

В темных религиозных лучах

О писательстве и писателях

В 1995 г.

выходят следующие тома:

Около церковных стен

**В мире неясного
и нерешенного**